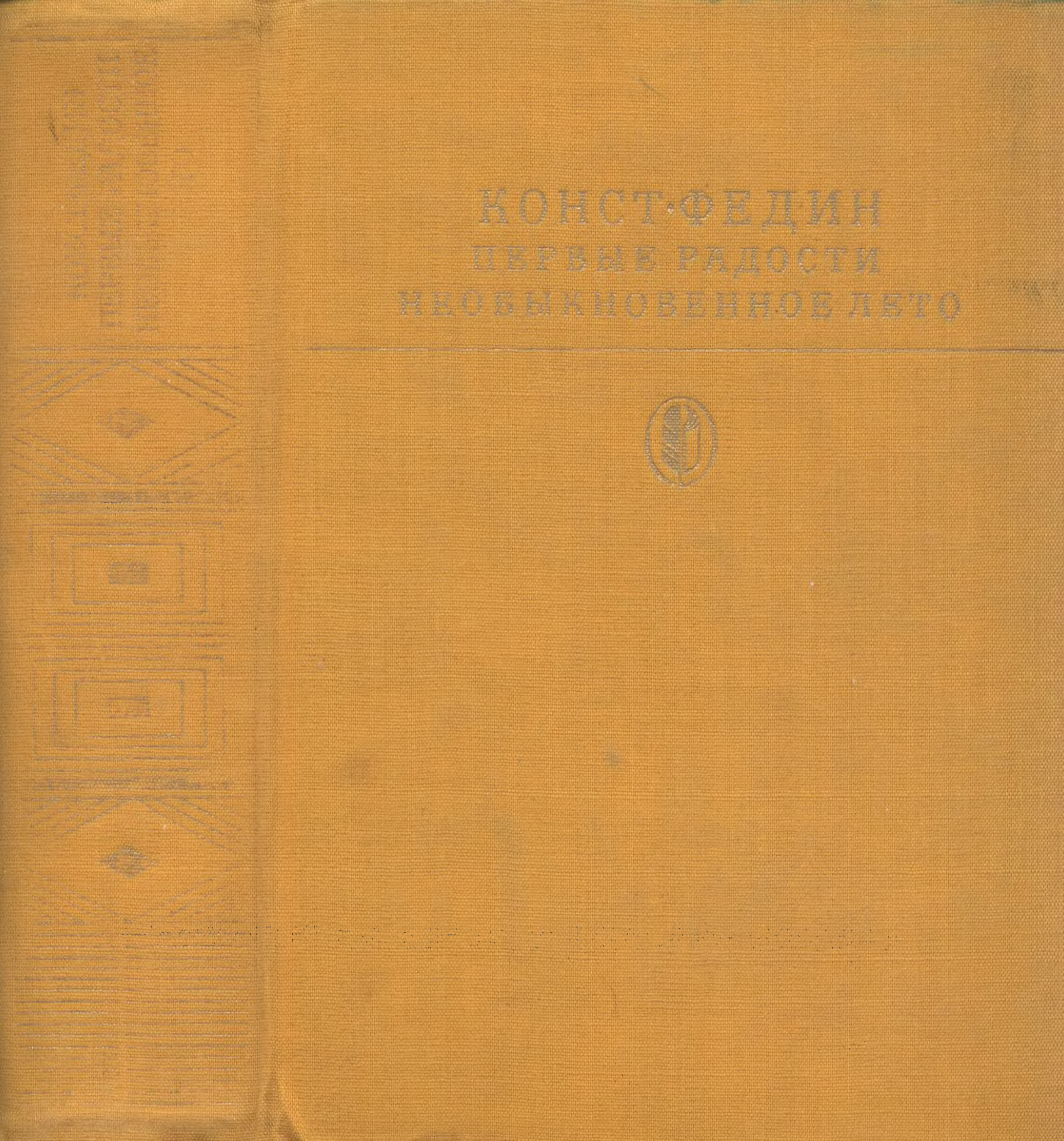

КОНСТ·ФЕДИН
ПЕРВЫЕ РАДОСТИ
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

* *

Советская литература





МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

КОНСТ. ФЕДИН

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ

РОМАН

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

РОМАН



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Р2
Ф 32

Вступительная статья
Б. Брайниной

Примечания
Ю. Оклянского

Иллюстрации
Гр. Филипповского

Ф $\frac{70302-200}{028(01)-79}$ 6-79

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ НОВОГО МИРА

Все, как всегда, в рабочем порядке: стопы книг, аккуратно сложенные листы бумаги, карандаши и ручки, зеленоватый свет лампы.

Федин показывает мне только что полученные переводы романа «Города и годы» из Испании, Италии, Японии, Вьетнама, Монголии[1]. Он проводит ладонью по суперобложкам книг, будто пожимает руки зарубежным друзьям.

— «Городам и годам» исполнилось пятьдесят лет[2],— говорит он медленно, прислушиваясь к своим словам.— Роман мне близок и сейчас. Очень близок.

— Не считаете ли вы, что критики несколько односторонне толковали образ главного героя романа Андрея Старцова: болезненный эгоцентризм, сердце с волей не в ладу, абстрактность этического кодекса «мелкобуржуазного интеллигента»? На самом деле этот герой много сложнее, трагичнее и благороднее, чем казалось раньше. Наивны и споры, типичен ли Андрей Старцов, представляет ли он дореволюционную интеллигенцию. Не менее наивны и разговоры о немецком художнике Курте Ване как о «положительном герое», революционере-большевике, или другая крайность (совсем нелепая!), что это якобы жестокий сектант, маоист. Мне думается, что Курт Ван, в известной мере противопоставленный Андрею, как бы символизирует время великое и беспощадное к ошибкам. Потому, что борьба была беспощадной — не на жизнь, а на смерть. Нельзя медлить, отступить на шаг. Только «вперед и вверх», как написал в последнем своем письме Андрей Старцов.

— В ту пору были такие люди, как Андрей Старцов,— ответил Федин.— Они не были ни правилом, ни исключением. Сначала я хотел написать нечто автобиографическое — не получилось. Андрей Старцов — гибель

---

[1] Роман «Города и годы» переведен на двадцать иностранных языков, на многих из них он издавался неоднократно.

[2] Речь идет о 1974 годе.

судьбы, которая не смогла выразить себя в революционной борьбе. Образ сложный и трагический.

...Предвоенная Германия, империалистическая война 1914 года, Великая Октябрьская революция, революция в Германии, гражданская война, начало нэпа в первой главе «о годе, которым завершен роман»,— такова в общих чертах событийная канва.

Смятенная психология главного героя Андрея Старцова обусловила, как писал Федин еще в 1951 году, «мятежную» композицию романа: сюжет начинается с конца, многогранное сплетение, расхождение сюжетных линий, повествование неожиданно обрывается лирико-публицистическими отступлениями, события, города и годы сменяют друг друга в динамике резких контрастов. В советской литературе, пожалуй, нет ни одного романа о гражданской войне, где бы так отчетливо слышалась «музыка революции» и в праздниках победы, и в самом трудном, роковом, губительном. По «ветряному», порывистому, переменчивому ритму «Города и годы» своего рода «Двенадцать» Блока в прозе, с тем философско-психологическим и социально-историческим размахом, который доступен только эпосу.

По индивидуальным особенностям своего таланта Федин — мастер эпического жанра, и трудно переоценить вклад, который внес он в русский советский роман, обогатив его образами коммунистов-революционеров, непревзойденными картинами природы родного Поволжья (Федин родился на Волге, в Саратове, в 1892 году), поэзией могучего и свободного, меткого и строгого, живописного и музыкального русского языка.

Если говорить о творческом пути Федина, то прежде всего надо рассказать о семи его романах, начиная с «Городов и годов» и кончая «Костром».

«С 1922 до 1924 года я писал роман «Города и годы»,— вспоминал Федин в автобиографии.— Всем своим строем он как бы выразил пройденный мною путь: по существу это было образным осмысливанием переживаний мировой войны, вынесенных из германского плена, и жизненного опыта, которым щедро наделяла революция... С приходом к власти Гитлера немецкий перевод этого романа был сожжен в Германии вместе с другими книгами, разоблачавшими первую мировую войну» [1].

Отвращение к милитаризму и шовинизму, опыт, которым продолжала щедро наделять революция, определили и весь дальнейший творческий путь Федина, последовательного интернационалиста и воинствующего гуманиста.

Тема следующего романа «Братья» (1928) — искусство и революция. Она волновала Федина и в «Городах и годах», хотя и не является там основной.

Знаменательны слова Курта Вана, обращенные к Андрею Старцову,— о том, что революция должна по-новому решить вопросы искусства, ибо старый «клей» не годится, он не может «склеить людей в человечество».

---

[1] Везде цитируется автобиография (1952—1957), которая является последней. «Советские писатели. Автобиографии в двух томах». М., Гослитиздат, 1959, т. II.

В статье «Об едином хозяйственном плане» (февраль 1921 года) Владимир Ильич Ленин писал, что «инженер придет к признанию коммунизма *не так*, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, *а через данные своей науки*, что *по-своему* придет к признанию коммунизма агроном, по своему лесовод и т. д.» [1].

«По-своему» особенно убедительно звучит применительно к искусству, где каждый художник индивидуален. Но даже самая сильная, яркая индивидуальность только тогда подымется на вершину подлинного искусства, когда ее талант вольется в общенародное дело, станет народным.

Взаимопроникновение народности, «первозданности» и тончайшего артистизма с его беспокойными, подчас трагическими внутренними конфликтами — это, по существу, процесс становления главного героя романа «Братья» музыканта Никиты Карева.

Старый мастер органной музыки, учитель Никиты в Дрездене, ставший его другом, сказал ему: «Попробуйте доказать на деле, на опыте доказать, что невозможное — возможно». И вся жизнь Никиты, художника, музыканта, человека — вся его жизнь в искусстве *доказала* правоту слов дрезденского мастера. Невозможное становилось для Никиты Карева возможным, и все трагические утраты, вся скорбь его мученического труда обращались для него радостью новых побед.

Невозможное возможно, если талант и труд художника поднимаются на ту высочайшую вершину гуманизма, когда народная, национальная сила искусства становится революционной, интернациональной силой.

Этой поэтической теме Федин был верен всегда, и спустя почти двадцать лет она с новой глубиной возникает в его романах «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Если в «Городах и годах» и «Братьях» западноевропейская тема лишь одна из составных частей повествования, то в двух последующих романах эта тема становится основной.

«Поездки на Запад конца 20-х и начала 30-х годов,— пишет Федин в автобиографии,— дали толчок и материал к написанию двух романов: «Похищение Европы» (первая книга — 1933, вторая книга — 1935) и «Санаторий Арктур» (1940). В первом мне хотелось показать Западную Европу в ее противоречиях с новым миром, который бурно строился на Востоке, в Советском Союзе. Во втором я даю картину западной жизни, подавленной испытаниями этих лет».

Противоречие буржуазного и социалистического сознания и все социально-политические проблемы с ним связанные для Федина-художника были прежде всего проблемами этическими, ибо, по его словам, воинствующее человеколюбие — этика социализма.

В июне 1947 года Федин подарил мне первую книгу романа «Похищение Европы», изданную в Париже (издательство «Звезда») в 1934 году с

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 42, с. 346.

надписью: «Эта книга была обнаружена в куче дымящегося «товара» на пожаре книжного магазина при взятии Берлина в 1945 году и привезена мне в подарок от красноармейцев, штурмовавших столицу Германии».

Роману «Похищение Европы» выпала завидная доля: он штурмовал фашизм вместе с советскими воинами.

Во время Великой Отечественной войны Федин неоднократно бывал во фронтовых городах и селах. Он видел Орел и многие орловские старорусские городки, разрушенные врагами, видел Ленинград, живущий после девятисотдневной осады, как чудо, как бессмертное украшение нашей культуры. Видел руины памятников петербургской истории — кольцо былых дворцов вокруг Ленинграда. Видел псковские пушкинские памятные места — искаженные нацистскими блиндажами село Михайловское, Тригорское, городище Воронич и Пушкинские горы с могилой поэта.

В результате этих поездок были созданы два сборника рассказов и очерков — «Несколько населенных пунктов» (1943) и «Свидание с Ленинградом» (1945). «История не умирает. История живет» — эти слова из рассказа «Партизаны на Невском проспекте» можно было бы поставить эпиграфом к обоим сборникам.

Враги, превращая в руины русские памятники, хотели умертвить русскую историю. «Но нашу историю умертвить нельзя. Она живет, и Ленинград продолжает свершать ее, глядя вперед упрямым, бесстрашным взглядом. Враг угрожал отнять у него прошлое, лишить его настоящего и будущего. Ленинград поверг врага. Даже стены этого города как живые провозглашают: я был, есть и буду!» («Живые стены»).

Дыхание истории, живая связь времен и в рассказе «Ленинградская натура»: «Ленинград дал пример того, как бьется русский за землю отцов и как защищает советский человек родину своих революционных идей, свою новейшую историю».

Прошлое не умирает: в нем таятся зародыши не только настоящего, но и будущего, «новейшая история» не только советской страны, но и всего человечества.

В послевоенных романах Федина («Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер») — история становления русского революционного характера, начиная с 1910 года и кончая Великой Отечественной войной. Основная идея двух первых романов — идея исторической закономерности обновления русского общества. Действие романов проходит на фоне волжских просторов — Волга, Саратов и его окрестности. Опять споры об искусстве, тема интеллигенции и революции, поиски нового героя.

В романе «Первые радости» — сложная обстановка после поражения первой русской революции, когда в условиях разгула реакции нарастала новая революционная волна, когда народные массы готовились к новым боям. Взаимоотношения людей, судьбы их определяет не застой безвременья, как об этом писали многие литераторы, а подспудное, но чрезвычайно бурное

движение революционных сил, когда, казалось, все находится «в ожидании резкой, спасительной перемены».

Это ожидание «перемены» передано и в картинах природы, на фоне которой, как уже было сказано, развиваются события.

«По-прежнему земля источала удушающий зной, и по тонким, словно замершим в мольбе, пышным цветочкам молодых деревцов видно было, как томится изнуренная природа и ждет, ждет перемены». Зной, предгрозье сопровождают столкновения, встречи, переживания героев.

Главный герой романа Кирилл Извеков — волевой, революционный характер всегда и при всех обстоятельствах. И прежде всего он узнаваем по этой примете, которая так пластично выражена в прямых линиях его бровей, рта, подбородка, в горячей желтизне глаз, в твердой, волевой его походке.

...Старинный губернский город царской России. 1910 год. По улице мчится испуганная девочка, за ней гонится пьяный галах могучего телосложения. У открытой калитки одного из домов стоит юноша, ученик технического училища. Увидев девочку, он посторонился и рукой показал на открытую дверь. Девочка мгновенно юркнула во двор, юноша водворился на прежнее место, загородив собой калитку. Пьяный галах — известный в городе крючник Парабукин. Девочка — его дочь Аночка. Разгневанный неожиданным препятствием, галах поднял руку и замахнулся на юношу. Но тот «не двигался, уткнув кулаки в пояс, закрывая калитку растопыренными локтями, и в поджаром, сухом его устое видно было, что его нелегко сдвинуть с места.

Парабукин опустил руку.

— Откуда ты такой, сатаненок!»

В жесте, интонации юноши, во всем его облике видны стойкость, внутренняя сила, непоколебимая убежденность в необходимости защищать угнетенного, обиженного человека. Могучий галах, который одной рукой мог бы уложить юношу на обе лопатки, был покорен силой этой убежденности. Так состоялось первое знакомство читателя с Кириллом Извековым.

Пока еще юноша, ученик технического училища, он уже становится участником великих дел — революционного переустройства жизни. Он только-только вступил на этот большой путь и потому задает себе вопросы: «Чего я хочу? Кем я буду? Что главное в жизни?»

И как ответ на эти вопросы ему снится символический сон.

«Ему чудилось, что он передвигает, перестанавливает необыкновенно большие массы веществ: река поднималась его рукою вверх и текла в небо; снежные сугробы облаков направлялись в коридор бездонного опустевшего русла; черные дубы устанавливались по берегам в аллею; по аллее катилась беляна, с громом разматываясь, как невиданных размеров клубок, и оставляя позади себя ровно вымощенную янтарными бревнами дорогу».

Да, этого юношу ждут большие дела, он будет передвигать, перестраивать жизнь на новый лад. А пока он собирает силы, проверяет себя, при-

страстно себя допрашивает, чтобы верным и крепким шагом идти по этому столь желанному пути.

Кирилл Извеков стоит в центре не только «Первых радостей», но и второго романа — «Необыкновенное лето».

Все людские судьбы, чувства, страсти будто магнитом притягиваются к Кириллу Извекову, представителю нового поколения большевиков-революционеров. Живой, очистительный ветер грядущего врывается вместе с ним и в старозаветный уклад жизни купца Мешкова, и в модернизированный дом дельца Шубникова, и с особой силой в «алтарь искусства», охраняемый писателем Пастуховым и актером Цветухиным.

Цветухин чувствует, что в искусстве надо искать, что «зритель переживает только то, что пережито сценой». У него смутная, неоформленная, беспокойная потребность деятельности на пользу людям, ощущение своей ответственности перед зрителем. Он как бы репетирует «страшно интересную роль», которая созревает из музыкальных и поэтических находок и воплощается в «телесную силу, в мускулы, пригодные для победы над любой волей». Но что это за воля и почему, во имя чего ее надо побеждать, он не знает.

Образ драматурга Пастухова более противоречив. Так, вспоминая Бальзака, он справедливо утверждает, что природа искусства заключается «в качестве воздействия произведения художника, а не в качестве выделки самого произведения». Он прав и тогда, когда говорит о величайшем значении воображения и о родном брате воображению — высоком даре предвидения. И в то же время Пастухов полагает, что искусство лишено этого дара предвидения, что «воображение не может предугадать ничего», что оно «берет все, без отбора». И больше всего он не прав, когда говорит, что «пророки», умеющие отбирать и предвидеть, лишены воображения.

Основная беда и Пастухова и Цветухина, что, замкнувшись в круге профессионально-кастовых интересов, они перестали видеть главное в жизни народа.

Это сразу почувствовал Кирилл Извеков, хотя и понимал, что тот и другой очень талантливы. В спорах с ними Кирилл нередко проявляет излишнюю запальчивость и прямолинейность. Но он прав в самом главном: подлинный, большой художник не должен, не может пройти мимо великой темы революционного обновления жизни.

В новой встрече с читателем через девять лет, в необыкновенное лето девятнадцатого года, Кирилл уже зрелый революционер, человек острого, решительного ума, воодушевленный большой и благородной идеей; он работает секретарем городского исполкома.

Мы сразу узнаем его по внешнему облику: выдвинутые скулы, прямой рот и такие же прямые, немного сросшиеся брови, небольшая широкоплечая, крепкая фигура, некрупный и сильный шаг. Вот он бросает стремительный взгляд на темное, заслоненное тучами небо, и в этом взгляде «что-то такое заносчиво-жизненное, будто небольшой этот человек ни капельки

не сомневается, что от него одного зависит остановить дождь немедленно или припустить его погорячее».

В этой же главе — знаменательный разговор Кирилла с возвращающимся из плена больным и нравственно искалеченным офицером Дибичем, который во время империалистической войны был начальником Кирилла и спас его от суда, хотя знал, что тот занимался революционной пропагандой среди солдат.

Кирилл выслушивает Дибича с горячим и добрым вниманием, помогает ему понять сущность происходящего, помогает побороть неверие, пессимизм, добивается его духовного и физического исцеления.

Так решались судьбы дибичей в реальной действительности, и в своем романе Федин верен исторической правде — законам истории. Для старой интеллигенции были открыты, свободны пути к новой, народной, советской России. Трагическая судьба Старцова, его гибель в романе «Города и годы» была не правилом, а исключением, как это признал позже сам автор во вступлении к очередному изданию романа.

Федин отнюдь не упрощает процесса разрыва Дибича со старым миром. Дибич пока скорее ощущениями, инстинктом потянулся к новому, к революционному народу, ему еще не хватает политической и философской глубины. И здесь снова ему упорно, терпеливо помогает Извеков. И хотя Дибич думает, что «решил для себя все», ему, если бы шальная пуля бандита не прервала его жизнь, пришлось бы выдержать еще не один бой со старым миром, многому научиться, чтобы стать зрелым, вооруженным философией и политикой строителем нового мира.

Извековы и дибичи в наше время давно не существуют раздельно. Их дети и внуки — единая могучая армия строителей коммунизма — военные специалисты, врачи, учителя, инженеры, агрономы, ученые, деятели искусства. Они наследовали традиции своих отцов — верность революции и уменье беречь честь смолоду и честность во всем: и в отношении к самому себе (к своей профессии, к своему призванию), и к товарищам-соратникам.

Кирилл Извеков — подлинный садовник человеческих душ, строитель нового общества, государственный человек, воспитатель и руководитель. «Я буду радоваться, как художник,— говорит он молодой актрисе Аночке Парабукиной,— когда увижу, что кусок прошлого в тяжелой жизни народа отвалился, и счастливый, здоровый, сильный уклад, который я хочу ввести, начинает завоевывать себе место в отношениях между людьми, место в быту». Эти слова Кирилл претворяет в практику каждодневного своего поведения, он горячо стремится поддержать ростки нового, улучшить жизнь, сделать людей здоровыми, сильными, красивыми.

«Я буду радоваться, как художник...» — здесь сближение работы политика, преобразователя социальной жизни на новый, революционный лад с творчеством художника. В работе революционера Кирилл видит не только политический и социально-этический, но эстетический смысл — борьбу за красоту жизни.

В «Необыкновенном лете» без прежней горячности и прямолинейности, Кирилл стремится помочь Пастухову и Цветухину справиться с противоречиями и принять участие в Истории с большой буквы — отдать свое искусство революционному народу.

Поведением Кирилла управляет тот высокий гуманизм, который лежит в основе коммунистического характера. В самое трудное, ответственное время гражданской войны он не перестает заботиться о каждом отдельном человеке, внимательно вникать в его личную жизнь потому, что революция сделана для человека, для его счастья, красоты, долголетия.

Еще интенсивнее, чем «Первые радости», роман «Необыкновенное лето» пронизан воинствующим духом борьбы со старым миром, с его жестокостью, косностью, лицемерием, ханжеством.

Кирилл непреклонен в повседневном своем человеколюбии, и судьба каждого человека, загубленная волчьими законами капитализма, переживается им с такой эмоциональной остротой, будто это судьба близких, родных людей.

«Обращение к чисто русскому материалу,— пишет Федин в автобиографии,— после того как все прежние мои романы были, больше или меньше, связаны с темой Запада, являлось не только давно созревшим сильным желанием, но было выражением моих поисков большого современного героя. Когда войной решалась судьба родной страны, еще крепче, чем прежде, упрочилось убеждение, что будущее русской жизни нераздельно с ее советским строем и что истинно большим героем современности должен и может быть признан коммунист, деятельная воля которого однозначна Победе. Главным действующим лицом последних своих романов я и стремился сделать этого героя, показав его становление в дореволюционную пору России и в гражданскую войну».

Третий роман — «Костер» посвящен Великой Отечественной войне, действие его развивается во вторую половину 1941 года и протекает преимущественно в Центральной России. Здесь то же стремление найти «образ времени», создать подлинно историческое произведение.

В «Костре» события 1941 года перекликаются с 1919 годом. На вопрос, обращенный к Федину, почему события гражданской войны вплетаются в совсем иную эпоху, «Литературная газета» получила ответ: «Мне хочется в «Костре» не просто показать картины Отечественной войны, а раскрыть прямую связь между ней и гражданской войной. В девятнадцатом году капитализм наступал на горло революции, в сорок первом он повел наступление на коммунизм. И тогда, и теперь старый мир не хотел отступать перед революцией, а революция не идет и не пойдет на уступки старому миру».

Настоящее перекликается с прошлым для того, чтобы среди бушующих и не желающих смириться чувств пришло к Кириллу Извекову точное осознание случившегося, твердый план действий. Война отчеркнула прожитую жизнь от новой, и ему в эти минуты надо было «решать — что брать с собой из пройденного в эту новую жизнь».

Так голос истории звучит в современности, которая становится исторической. Так обыкновенные люди — «рядовые истории» — становятся ее героями.

И эти «рядовые истории», эти новые герои нового времени — деятели революции в дооктябрьский период, борцы за нее и гражданскую войну и защитники Советской страны в Великой Отечественной войне, по существу, являются защитниками всего человечества от угрозы новой войны. Прежде всего их голоса зазвучали во всем мире, объявив войну войне. Вот главный смысл трилогии, ее историческая правда.

Образ времени, история, правда истории — все эти вопросы глубоко волнуют не только русского, но и зарубежного читателя, находят отклик в сердцах и умах прогрессивных людей всего мира. Во многих письмах из-за рубежа говорилось о том, что романы Федина открывают самые драматические страницы жизни русского человека, неразрывно связанной с историей России.

Зарубежные журналы помещают статьи, посвященные этим вопросам. В некоторых из них Федин отмечает упрощенное, прямолинейное толкование исторического жанра — «образа времени» в художественном произведении. Так, журналу «Нью уорлд ревью» от 28 июля 1961 года он отвечает: «Но я не задавался целью писать историю и почти не описывал событий ради них самих, хотя они играют важную роль. Я посвящал все внимание жизни русского человека на самых решающих переломах истории страны. Это романы русских судеб и — может быть — история того характера, которым стал известен советский человек, выросший из небывалых испытаний народа революцией, войнами, строительством нового мира.

Все три романа объединены в целое героями, проходящими эти испытания. И я хотел бы надеяться, что психология этих героев, в конце концов, и есть собственно примета, определяющая жанровое место трилогии в литературе» [1].

Федина заинтересовала работа французского ученого в университете города Лилля, которая называлась «Становление нового человека в России», и работа доцента университета имени Вандербильта города Нешвиль (Теннесси, США) — «Константин Федин, его жизнь и творчество». С этими, в то время еще молодыми учеными, как мне известно, Федин вел интенсивную переписку. Смысл переписки — единство исторической и художественной правды.

Идейно-художественное содержание романов было продиктовано новым жизненным опытом писателя, теми переживаниями, которые принесла с собой война; вернее, эти переживания и потрясения подняли, раскрыли новую грань столь органичной Федину темы истории.

В одном из писем к читателю Федин говорит об огромном напряжении, с каким он работал над «Необыкновенным летом»: «Никогда прежде я так не изнурял, я бы сказал — не истязал себя работой, как нынешним летом

[1] Копия письма — в архиве К. А. Федина.

(речь идет о лете 1947 года в Переделкине, когда Федин кончал роман.— *Б. Б.*). Пожалуй, только лето 1924 года было столь же напряженным, когда писались «Города и годы».

Упоминание о «Городах и годах» не случайно, как и сопоставление процесса работы над двумя романами, отдаленными друг от друга четвертью века. По словам Федина, работая над «Городами и годами», ему приходилось мучительно искать, освобождаясь от старых представлений, способы художественного выражения громадных, неведомых дотоле исторических революционных движений. Теперь же тему гражданской войны и революции, тему воинствующего гуманизма, надо было решать, приведя к гармонии опыт многих и трудных лет, собрав воедино все накопленное, все новые знания о великой эпохе.

Вот один из фактов, подтверждающих, насколько исторически правдиво изобразил Федин своих новых героев.

В 1959 году в Саратове на конференции, посвященной творчеству Федина, Н. Чернышевская (внучка писателя) сказала, что, читая «Необыкновенное лето», она с предельной ясностью увидела тех героев, тех молодых большевиков-саратовцев, которые делали революцию. Она вспомнила, как в 1919 году внук Чернышевского вышел в снежный февральский день из Дома-музея Чернышевского, созданного молодыми саратовскими большевиками, чтобы пойти на фронт гражданской войны защищать революцию.

— Так эстафета передается из поколения в поколение,— закончила Чернышевская свою речь.

Русская тема «Первых радостей» и «Необыкновенного лета» получила большое интернациональное звучание.

Интерес представляют высказывания литературного критика Вюрмсера во французском еженедельнике «Леттр франсез»: «На первый взгляд это может показаться поразительным, но судьба каждой справедливой и настоящей книги такова, что создается впечатление, что она появилась как раз вовремя... Я не знаю ни одного романа, который давал бы точную и такую живую картину «перехода» — перехода от так называемой вечной России с ее славянской душой, нищетой, пьянством и обломовщиной — к России советской!.. Эта книга — провозвестник будущего... С народом — и в этом весь секрет победы, и тот факт, что цели партии и рабочего класса сочетаются с историческими целями страны,— этот факт правдив не только для России и не только для «Необыкновенного лета 1919 года» [1].

В том же «Леттр франсез» говорится, что Кирилл Извеков — один из самых увлекательных героев, когда-либо созданных в романе. Статья заканчивается утверждением, что разговор о Кирилле Извекове — это разговор о том, каким должен быть настоящий человек.

Трилогия построена на чисто русском материале, но Федина продолжала волновать тема Запада, вернее, эта тема жила в нем и в процессе ра-

---

[1] «Les lettres françaises», 1961, 19 июля.

боты над тремя романами. Так, в автобиографии он пишет: «Я отошел сейчас в прозе от западной темы, но надеюсь к ней вернуться, чтобы восполнить известную недосказанность в моих прежних романах введением образа, возникшего во мне как плод знакомства с Роменом Ролланом. Многое открывается воображению, когда встречаешь, то при свете солнца, то в ночной тьме или унылых сумерках, писателей столь разных, как Ромен Роллан и Мартин Андерсен-Нексе, либо как Герберт Уэллс, Леонхард Франк или хотя бы Ганс Фаллада. Взгляды их свидетельствуют о великих противоречиях Запада, выражают его трагическую многоликость... Мне очень хотелось бы и я надеюсь написать книгу, состоящую из картин Запада и рассказывающую о моих зарубежных путешествиях и жизни за границей».

В эту книгу должны были войти впечатления Федина, увидевшего западные страны впервые еще до мировой войны 1914 года и затем сравнивающего их жизнь из десятилетия в десятилетие на протяжении более полувека.

Федин увидел бурно растущий мир освобожденных от капитализма народов. «Если бы мне удалось сказать об этих новых «городах и годах»,— пишет он в автобиографии,— хотя бы только то, чему я сам был свидетелем, я выполнил бы отчасти свою обязанность перед нашим временем, давшим мне так много». Начиная с 1950 года Федин посетил страны, которых прежде не знал,— Чехословакию, Румынию, Венгрию, Англию с Шотландией, Бельгию, Финляндию, и такие, которые больше или меньше были ему известны по давним временам,— Италию, Германию, Австрию, Польшу. Поездки были связаны с общественными задачами, и прежде всего — с международной борьбой в защиту мира.

Идее мира отдавал свои силы и Федин-художник, и Федин — общественный деятель.

Он был членом Советского комитета защиты мира и принимал участие в работе Второго Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве, а также Конгресса народов в Вене и Всемирной ассамблее в Хельсинки.

«Я убежден,— писал он в автобиографии,— что из всех мыслимых целей художника главной — в идейном, моральном смысле — всегда должна быть эта борьба за сохранение мира между народами. Стремлением этим должно быть пронизано творчество писателя, и пока у него есть силы, он обязан отдавать их идее мира».

Федин был уверен, что пожар войны встретит общее сопротивление, что народы всех стран не дадут огню охватить землю. «И не пожаром войны, а чистым утром мира во всем мире будет приветствовать человечество свое завтра».

Он шлет из Вены в газету «Правда» свои впечатления о работе Конгресса народов: «Мне кажется, что на Конгрессе народов в Вене мы впервые со всей убедительной очевидностью увидели, что за последние годы к участию в борьбе за мир привлечены колоссальные массы народов, многие слои общественности различных стран света, которые, желая мира, ранее оста-

вались пассивными либо даже не доверяли движению сторонников мира и отказывались ему содействовать...

В Вене звучат голоса народов. Они сливаются. Они производят тот ветер, который, по восточной пословице, возникает, когда народ вздохнет вместе. Мы чувствуем здесь этот ветер — ветер народной воли, народных требований, надежд и ожиданий».

Единство воли скрепляет и возвышает людей. Но конгресс не только возвышенная демонстрация чувств. Конгресс — это общая работа, работа каменщиков, строящих великое здание мира...

Народная, «вечная тема» мира душевно сблизила Федина со многими зарубежными писателями. Литературные портреты Стефана Цвейга, Леонхарда Франка, Иоганнеса Бехера, Бертольта Брехта, Вилли Бределя, Мартина Андерсена-Нексе, Костаса Варналиса, Хальдора Лакснесса и других, вошедшие в книгу «Писатель, искусство, время», пронизаны глубоким интернациональным чувством, полны тончайшего понимания индивидуальности писателя, особенностей его национальной культуры.

Национальная форма той или иной литературы немыслима в отрыве от революционной идеи. Дружественные связи писателей различных стран и народов вытекают из самых основ советской культуры, и Федин всегда ощущал эти интернациональные связи.

В статье, посвященной французскому поэту Евгению Потье, создателю великой песни «Интернационал», Ленин писал: «Эта песня переведена на все европейские и не только европейские языки. В какую бы страну ни попал сознательный рабочий, куда бы ни забросила его судьба, каким бы чужаком ни чувствовал он себя, без языка, без знакомых, вдали от родины,— он может найти себе товарищей и друзей по знакомому напеву «Интернационала» [1].

Так было, есть и будет. Не только в среде сознательных рабочих, но и в среде лучших мастеров мировой культуры.

Федин в любой стране умел находить товарищей и друзей среди передовых мастеров культуры, выражаясь символически, по знакомому напеву «Интернационала».

Когда талантливому греческому поэту и мыслителю Костасу Варналису была присуждена Ленинская премия «За укрепление мира между народами», Федин, приветствуя его, писал:

«Премия мира имени Ленина — человека, который на другой день после победы Октября, в разгар мировой войны выступил с созданным им Декретом о мире, положившим основу советской политике мира и дружбы между народами,— эта премия его имени, присужденная сторонниками мира, обращает на них всеобщие взоры».

Не случайно вспомнил Федин ленинский Декрет о мире — этот великий исторический документ новой эры, открытой Октябрьской революцией.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 273.

Именно в нем основы, корни советской политики интернационального содружества народов земного шара.

По напеву «Интернационала» Федин издавна узнал и полюбил Костаса Варналиса, высоко оценив национальную самобытность его произведений, предназначенных не одной только Греции, но и всему человечеству.

Книгу «Писатель, искусство, время» заключает небольшая новелла «Преграда войне», где Федин рассказывает о своем первом посещении дворца Цвингера — Дрезденской галереи. Вот он рассматривает жемчужину и славу Дрездена — «Сикстинскую мадонну». Неожиданно рядом с ним возникает человек, на бедре которого свешивается с пояса объемистый револьвер в коричневой кобуре.

«Два символа явились тогда передо мною,— пишет Федин,— выражающие трагический контраст между миром и войной: искусство и оружие. Я посещал потом Цвингер много раз. И всякий раз глубже и глубже видел в искусстве свидетельство интеллектуальной и душевной, благородной силы человека, которая объединяет людей в человечество и — мне думалось — когда-нибудь станет одной из преград войне».

Эти слова своего рода символ веры — сокровеннейшие мысли Федина о роли искусства в судьбах человечества.

Напряженные поиски наиболее полного и точного выражения самых жгучих тем современности в их историческом разрезе, постоянное стремление показать человека, его судьбу пластично, живо, до физической ощутимости его бытия, были характерны для Федина.

Отсюда постоянное стремление обрести естественный, наиболее органический сюжет, который не путем внешних сдвигов, а внутренне закономерно, согласно правде жизни, правде истории раскроет характеры героев, иными словами, человеческие судьбы в процессе их конкретно-исторического развития.

— Герои сами складывали эти сюжеты, других они сложить не могли,— сказал Федин о романах «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

У Федина чрезвычайно острое сознание долга, ответственности перед временем. Он был последовательно строг и к себе и к другим, когда нарушались требования историзма.

Отсутствие исследовательского, творческого отношения к фактам истории естественно влечет за собой утрату живого чувства времени, игнорирование процесса развития.

На читательской конференции в Саратове (сентябрь 1959 года) на вопрос о том, как он относится к экранизации «Необыкновенного лета», Федин ответил, что автор кинокартины пробует подкупить зрителя шоколадками, которых не было в 19-м году.

— Красивый кавалерист сидит на красивом коне и машет ручкой красивой барышне — вот что иногда получается... Сейчас я работаю над третьей книгой трилогии — там Отечественная война 1941 года. Так что же, буду писать, что были шоколад и картинки, что было сладко в 1941-м? Никогда.

Постоянное стремление быть верным времени, чувство эпохи делают произведения Федина (независимо от темы) подлинно драматичными и остро современными.

О новом мире и его драматической борьбе с враждебными силами старого писал Федин во всех своих книгах, начиная с первого романа «Города и годы».

«Новый человек стоит во весь рост перед современником-писателем. Каким он будет изображен в наших книгах, этот человек, переломивший все препоны, избежавший неисчислимые засады, капканы и петли, расставленные на его дороге ненавистниками коммунизма? Каким предстанет он в его собственных глазах и в глазах своих друзей на всех континентах мира?» Эти вопросы задал Федин и самому себе, и другим писателям с трибуны Третьего Всесоюзного съезда советских писателей. И задал потому, что они всегда глубоко волновали его.

На каждом этапе исторического развития страны вопросы эти возникают как бы заново, требуя нового решения, ибо исторически закономерно менялись не только качества характера героя времени («новый человек» становился новым по-новому), но менялся и сам писатель — его отношение к действительности, а следовательно, и его вкусы, его эстетические требования. Это двойное изменение определяло идейно-эстетическое содержание образа героя времени в каждом новом произведении Федина.

И во всем этом многообразии, в непрерывном открытии нового и нового был единый идейно-эстетический стержень. Недаром Федин говорил о себе, что ни одна из его сегодняшних строк не возникла бы без того, что он писал двадцать и даже тридцать лет назад.

Об этой целостности, поразительном единстве творчества Федина сказал Николай Тихонов, его вернейший друг и соратник, начиная с 20-х годов и кончая последними днями его жизни:

«События, о которых рассказывает в своем творчестве Константин Федин, захватывали и Россию, и Запад. То, о чем рассказано в романе «Города и годы» или в «Похищении Европы», нашло свое продолжение в «Костре».

Для Тихонова, по его словам, Федин «был и остается голосом мира и будущего, человеком дружбы народов и торжества веры в человечество».

Таким Федин был и остался для близких и дальних, для тех, кто знал его лично и кто знал только по книгам — книги не умирают.

«Основным качеством слова,— говорил Федин в выступлении на дискуссии о судьбах романа, организованной в Ленинграде (1963 год) Европейским сообществом писателей,— остается всегда смысл. В социалистическом реализме этот смысл — человечность нового мира».

Человечность нового мира! Здесь основные принципы, корни эстетики Федина, философско-этический смысл романов «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Б. БРАЙНИНА

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ

РОМАН

Посвящается Нине Фединой

1

Девочка-босоножка лет девяти трясла на коленях грудного ребенка, прижав его к себе и стараясь заткнуть ему разинутый рот хлебной жевкой в тряпице. Ребенок вертел головой, подбирал к животу голые ножонки и дергался от плача.

— А ну тебя! — рассерженно прикрикнула девочка и, положив ребенка на каменную плиту крыльца, встала, отряхнула колени, прислонилась к теплой стене дома и сунула руки за спину с таким видом, будто хотела сказать: хоть ты изойди криком, я на тебя даже глазом не поведу!

Шел один из последних дней пасхи, когда народ уже отгулял, но улица еще дышит усталой прелестью праздника, и немного жалко, что праздник уже почти кончился, и приятно, что конец не совсем наступил и, может быть, доведется еще гульнуть. Снизу, с берега Волги, пробирались деревянными квартальцами завыванья похмельной песни, которая то сходила на нет, то вдруг всплескивала себя на такую высоту, откуда все шумы казались пустяками — и гармоника с колокольцами, где-то далеко на воде, и безалаберный трезвон церкви, и слитный рокот пристаней.

На мостовой валялась раздавленная скорлупа крашеных яиц — малиновая, лазоревая, пунцовая и цвета овчинно-желтого, добываемого кипяченьем луковой шелухи. Видно было, что народ полузгал вволю и тыквенных и подсолнечных семечек, погрыз и волоцких и грецких орехов, пососал карамелек; ветром сдуло бумажки и скорлупу с круглых лысин булыжника в выбоины дороги и примело к кирпичному тротуару.

Девочка глядела прямо перед собою. Была полая вода, уже скрылись под нею песчаные острова, левый луговой берег как будто придвинулся, потяжелел, а мутная, шоколадно-навозная Волга раскалывалась поперек надвое, от берега к берегу, живой, точно

из шевелящегося битого стекла, солнечной дорожкой. Пахло молодыми тополиными листочками, сладким илом берега, тленом запревших мусорных ям. Мухи жужжали, отлетая от стен и снова садясь. Все насыщалось теплом весны, ее ароматом, ее звуками, ее кирпичной тротуарной пылью, закрученной в поземные вороночки ветра вместе с праздничным сором.

Природа часто переживает важные перемены и очень многозначительно отмечает их странным выжидательным состоянием, которое разливается на все окружающее и волнует человека. Весна, когда она совершит перелом, задерживается на какое-то время, приостанавливается, чтобы почувствовать свою победу. Поторжествовав, она идет дальше. Но эта остановка чудесна. Природа оглядывает себя и говорит: как хорошо, что я бесконечно повторяюсь, чтобы снова и снова обновляться!

Девочка пропиталась этой минутной самооглядкой весеннего дня. У нее были темные синие глаза, не вполне сообразные с белобрысой головой, большие и не быстрые, тяжелее, чем обычно для такого маленького возраста, поэтому взгляд ее казался чересчур сосредоточенным. Косица в палец длиной затягивалась красной тесемкой, платье в полинялых рыжих цветочках было опрятно.

Ребенок все орал и сучил ногами, а девочка не могла оторваться от невидимой точки, в которой не было ничего и, наверно, заключалось все вместе — песня, трезвон, огромная река и солнце на ней, запахи деревьев и жужжание мух.

Вдруг она повернула голову.

На безлюдной улице раздалось цоканье подков с звонким срывающимся лязгом железа о булыжник. Серый конь в яблоках, покрытый синей сеткой с кисточками по борту, рысисто выбрасывая ноги, мчал пролетку на дутых шинах, и по-летнему в белый кафтан одетый извозчик, вытянув вперед руки, потрясывал дрожащими синими вожжами с помпонами посредине. Он осадил лошадь у самого крыльца, перед девочкой, и с пролетки не спеша сошли двое седоков.

На первом была надета черная накидка, застегнутая на золотую цепочку, которую держали в пастях две львиные головы, мягкая черная шляпа с отливом вороного пера, и сам он казался тоже черным — смуглый, с подстриженными смоляными усами. Второй легко нес на себе светлое, цветом похожее на горох, широкое ворсистое пальто, песочную шляпу с сиреневатой лентой, и лицо его, чуть рыхлое, но молодое, холеное, довольное, было словно подкрашено пастелью и тоже легко и пышно, как пальто и шляпа.

— Ну вот,— маслянистым басом сказал человек в накидке,— это он и есть.

Они закинули головы и прочитали жестяную ржавую выве-

ску, висевшую над крыльцом: «Ночлежный дом». Они медленно оглядели фасад двухэтажного здания, рябую от дождей штукатурку, стекла окон с нефтяным отливом, кое-где склеенные замазкой, козырек обвисшей крыши с изломанным водостоком.

— Ты что же, нянька, смотришь,— видимо строго сказал человек в пальто,— посинел младенец-то, надорвется.

— Нет,— ответила девочка,— он визгун, мой братик. Он, как мама разродилась, так он и визжит. Меня с ним на улицу выгоняют, а то он всем надоел.

— Где же твоя мама?

Человек в пальто помигал, как будто у него закололо глаза, дернул легонько девочку за косицу, спросил:

— Кто это тебе ленту подарил?

— Мама. У нее много. Она насобирает тряпок по дворам и наделает ленток разных.

— Зачем?

— А чепчики шить. Она чепчики шьет и торгует на Пешке.

— Как тебя зовут?

— Меня Аночкой.

— Кто у тебя отец, Аночка?

— Крючник на пристани. А вы — господа?

Господа переглянулись, и черный, распахивая накидку, сказал своим необычайным, маслянистым голосом:

— Славная какая девчоночка, прелесть.

Он похлопал ее кончиками пальцев по щеке.

— Где же твой отец сейчас, на пристани или дома?

— У нас дома нет. Он тут, в ночлежке. Он с похмелья.

— Пожалуй, начнем с этого, Александр,— сказал человек в накидке.— Проводи нас, Аночка, к папе с мамой.

И он первый, поводя из стороны в сторону развевающейся накидкой, вошел в ночлежку, а за ним вбежала с ребенком Аночка и двинулся холеный человек в пальто.

Извозчик по-лошадиному раскосо взглянул на них, приподнял зад, вынул из-под подушки козел хвост конского волоса на короткой ручке, спрыгнул наземь, заткнул полы кафтана за пояс и принялся хозяйски обмахивать хвостом запылившиеся крылья пролетки.

2

Молодой, уже известный драматург Александр Пастухов приехал в конце зимы 1910 года на родину, в Саратов, получать наследство по смерти отца, зажился и сдружился с актером городского театра Егором Павловичем Цветухиным.

Наследства, говоря точно, не было никакого. Отец Пастухова, заметный в городе человек, жил довольно бессмысленно, тыкаясь во все направления в поисках заработка, числился то по службе эксплуатации на железной дороге, то по службе тяги, пробовал издавать дешевую газету и даже выставлял свою кандидатуру во Вторую Государственную думу по списку кадетов, но все проваливался, и только одно хорошо делал — носил дворянскую фуражку с красным околышем да все перезакладывал, вплоть до старинного кабинета, когда-то вывезенного из поместья в город. Вот ради этого кабинета и прилетел Александр Пастухов на отцовское гнездовище и поселился на старой квартире, откуда прежние годы ходил в реальное училище.

Теперь, когда нагрянула известность и одна драма Пастухова шла в Москве, другая — в Петербурге, он видел себя не тем мальчишкой, каким недавно бегал за гимназистками, но совершенно новым, ответственным, возвышенным человеком, и потому воспоминания, обступившие его на знакомых улицах, в пустых комнатах дома, где раньше кашлял и рычал пропитой октавой старик, трогали его, и он все время испытывал что-то похожее на грустную влюбленность. Он выкупил кабинет, позвал столяра, наводнившего дом горелой кислятиной клея и пронзительной вонью полукрупки, и все жил, жил, никуда не торопясь, размышляя, не явился ли он на этот свет с особым предназначением и куда поведет его звезда, кивнувшая ему с загадочной высоты, едва он начал привередливую сочинительскую жизнь.

Пастухов сошелся с Цветухиным не потому, что тяготел к актерам. Он высмотрел в Егоре Павловиче человека особой складки, хотя несомненного актера, что признавала и театральная публика, любившая сцену так, как ее любят только в провинции. Цветухин сохранил в себе жар семинариста, читавшего книги потихоньку от ректора, и привел с собою из семинарии в завоеванную театральную жизнь вечную дружбу с однокашником по имени Мефодий, который служил в театре на довольно мрачных выходных ролях. Но, в отличие от актеров, поглощенных суетою и болями театра без остатка, Цветухин отвлекался от своей славы в эмпиреи, мало уясненные им,— в изобретательство, культуру и тайны физической силы, в психологию и музыку. Это были увлечения наивные и, может быть, в конце концов именно театральные, но этот театр был совершенно не похож на службу с ее антрепренерами, газетными редакторами, самолюбиями актрис, долгами буфетчику, сонной скукой дежурного помощника пристава во втором ряду партера. Это была, пожалуй, репетиция, постоянная репетиция страшно интересной роли в каком-то будущем неизвестном спектакле. Роль созревала из музыкальных, психологически

сложных находок и воплощалась в телесную силу, в мускулы, пригодные для победы над любой волей, вставшей на дороге. Цветухин часто встречал в своих фантазиях какого-то человека, поднявшего на него руку. И вот он сжимает эту руку злодея, ставит его на колени или отбрасывает на пол и проходит мимо, спокойный, величавый, с накидкой на одном плече. Что это за человек, почему он стал на дороге Цветухина, Егор Павлович не знал и не останавливался на таком вопросе,— победил, поставил врага на колени и пошел дальше, может быть изобретая какие-нибудь крылья, может быть упражняясь на скрипке.

Но и настоящий театр, вплоть до аншлагов на кассе и суфлеров, Цветухин принимал на свой особый лад. Он считал, что публика может переживать только то, что пережито сценой, и старики актеры посмеивались над ним, находя, что он заражен московской модой на Станиславского, а пригодное в Москве, по мнению стариков, не годилось в провинции, где зритель предпочитал, чтобы его страстно потрясали, а не только чувствительно трогали.

Цветухин придумал поход в ночлежный дом для изучения типов, потому что театр готовил «На дне», и где же, как не на Волге, можно было увидеть живых босяков, уже больше десятилетия царствовавших в русской литературе. В театре отнеслись к выдумке Цветухина с презрением.

— Кого ты хочешь сделать из актера? — спросил трагик.— Видел меня в «Короле Лире»? Ну вот. Меня сам Мариус Мариусович Петипа целовал за моего Лира. Что же, я — королей играю, а какого-то голодранца не изображу? Неправильно, Егор. Пускай репортеры ездят в обжорный ряд бытовые картинки рисовать. У актера в душе алтарь, понимаешь? Не пятнай его грязью жизни. Тебе художественники покоя не дают. Ты вон и усы не бреешь, под Станиславского. А думаешь, почему Художественный театр на Хитров рынок ездил? Потому что он перед интеллигентами заробел. Интеллигенты пойдут, проверят — верно галахи сделаны или неверно. А я так сыграю, что галахи будут в театр приходить проверять — правильно они живут, как я показываю, или неправильно. Я для толпы играю, а не для интеллигентов, Егор.

— Так уже играли, как ты играешь,— сказал Цветухин.— Надо играть по-другому.

— А зачем?

Весь театр задавал этот вопрос — зачем? Аншлагов больше будет? Неизвестно. Актеров больше любить будут? Неизвестно. Жизнь станет легче? Неизвестно. Зачем делать то, что неизвестно?

— Искать надо,— убеждал Цветухин.

— Мудро,— ответствовал трагик.— Ищи в своей душе. Там

все. Там, брат, даже царство божие. А ты галаха не можешь найти.

Тогда Цветухин рассказал о своем намерении Пастухову.

— Очень хорошо,— сказал Пастухов, не долго думая и только приглядываясь к другу.— Поедем. А потом позавтракаем. Под редисочку.

— Я настрою Мефодия, он приготовит,— обрадовался Егор Павлович,— он там от ночлежки поблизости живет. Поедем!

3

Взобравшись на второй этаж, гости очутились в большой комнате, тесно заставленной нарами. Аночка пробежала вперед, к розовой ситцевой занавеске, отделявшей дальний угол, и юркнула за нее. Цветухин и Пастухов внимательно озирались.

Комната освещалась обильно, промытые к празднику окна открывали огромный размах неба в ярко-белых облачках и ту стеклянную дорогу, что лежала поперек Волги, от берега к берегу. Но свет не веселил эти покои нищеты, а только безжалостно оголял их убогое и словно омертвевшее неряшество — вороха отрепья, ведра с промятыми боками, чаплашки, рассованные по углам. Видно было, что скарб этот здесь презирался, но был нужен и с ним не могли расстаться.

У окна женщина в нижней сорочке старательно вычесывала голову, свесив на колени глянцевые русые волосы. У другого окна зычно храпел на нарах оборванец, раскинув босые ноги и руки — желтыми бугристыми ладонями вверх. Голову его покрывала дырявая жилетка, наверно от мух.

— Царь природы,— сказал Пастухов, обмерив его медленным взглядом.

— Неудачное время: пустота,— сказал Цветухин.

Розовая занавеска тревожно приоткрылась, чей-то глаз сверкнул в щелке и тотчас исчез. Цветухин остановился перед занавеской и, с почтительной улыбкой, беззвучно постучал в колыхнувшийся ситец, как в дверь.

— Можно войти?

Низенькая большеглазая женщина, перетирая мокрым фартуком бело-розовые сморщенные пальцы, стояла за корытом, с одного края наполненным мыльной пеной, с другого — горою разноцветных лоскутов. Рядом с ней Аночка усердно раскачивала люльку с братиком, который по-прежнему орал. Приподнявшись на локоть и свесив одну ногу с нар, хмуро глядел на вошедших широкий в груди и плечах, мягкотелый мужик, похожий на Самсона. Он был волосат, светлые кудри на голове, колечки бороды

и усов, пронизанные светом окна, казались мочального цвета, были тонки и шевелились от каждого его грузного вздоха.

— Вы к нам? — спросила женщина.

— Да. Разрешите,— сказал Цветухин, открывая темную, такого же вороного отлива, как шляпа, шевелюру, так что было похоже, что он сменил одну шляпу на другую.

— Мы — познакомиться. Посмотреть, как вы живете.

— Некуда и посадить вас, господа. Хоть сюда вот пожалуйте,— всполохнулась женщина и вытерла фартуком край нар.— Подвинь ногу-то,— сказала она мужику.

Осматривая угол и вдруг отдуваясь, как в бане, Пастухов проговорил с таким небрежно-безразличным видом, будто он давным-давно знаком и с этим углом, и с этими людьми и состоит с ними в совершенно приятельских отношениях:

— Эфиры у вас очень серьезные. Мертвых выноси.

— Окна мыли — все простудились, теперь сквозняков опасаются. Народ все простылый, уж каждый непременно чем-нибудь хворает. И зиму и лето живем в стоячем воздухе.

— Любопытствовать на бедность пришли? — вдруг хрипло спросил мужик.

— Да, познакомиться с бытом и положением,— ответил Цветухин, деликатно заминаясь.

— В таком случае позвольте представить семейство Тихона Парабукина,— прохрипел мужик, не меняя позы, а только заболтав спущенной ногой в широкой, точно юбка, посконной синей штанине и в лапте.— Мадам Парабукина, Ольга Ивановна, труженица, дочь Анна, своевольница, сын Павлик, шести месяцев от рождения, и вот он сам Тихон Парабукин, красавец сорока лет. С кем имею честь?

Пастухов мелко помигал и стал разглядывать Парабукина в упор странным дымчатым взглядом небольших своих зеленоватых глаз, клейко-устойчивых, неотвязных. Цветухин не выдержал молчания.

— Мы хотим ближе изучить ваше положение. То есть в ваших интересах, в интересах бедного класса.

— Не туда адресуетесь. Мы — не бедный класс. Мы, так сказать, временно впавшие,— сказал Парабукин,— впавшие в нужду. Дочь моя, по наущению матери, повторяет, что ее отец — крючник.

— Крючник и есть,— вмешалась Ольга Ивановна,— что это? — И она толкнула ногой валявшееся на полу кожаное заплечье — принадлежность всякого грузчика.

— Извините. По сословию — никогда. По сословию я человек служилый. И живу, как все служилые люди,— семьей, в своем помещении, со своим входом. Вот возьму — воздушный звоночек

проведу и медную карточку приделаю к занавеске, как на парадном, чтобы все понимали.

— Очень интересно вы говорите,— небрежно сказал Пастухов и присел на вытертый край нар.— Послушайте меня. Вы человек с образованием и поймете, что я скажу. Мы не какие-нибудь благотворители, которым делать нечего. Мы актеры. Играем в театре. Понимаете?

— Так, так,— отозвался Парабукин и аккуратно спустил с нар другую ногу.

— Мы просим вас показать нам выдающихся людей ночлежки. Ну, этаких львов, о которых бы по всей Волге слава шла. У вас, наверно, есть свои знаменитости?

— Львы-то? Львов нет. Собаки есть. Собак вам не требуется? — спросил Парабукин и, опустив голову, помолчал.— А скажите, кустюмы вы покупать не будете? Для театра.

— Что, продаете?

— Не желаете ли? — предложил Парабукин, защипнув кончиками пальцев обе свои широченные штанины и потряхивая ими на вытянутых ногах.

— Нет, кустюмы мы не берем,— серьезно сказал Пастухов.

— Ну, что же, может, пожертвуете толику на сооружение храма во имя преподобной великомученицы Полбутылии? — поклонился Парабукин.

— Это — пожалуйста. Чем будете закусывать?

— Поминовением вас за здравие. Спасет Христос,— опять поклонился Парабукин, и на этот раз много ниже, так что кудри свисли до колен.

Пастухов долго шарил по карманам своих легких и пышных одеяний, а хозяева угла ждали, что он там найдет, следя за ленивыми и великолепными его движениями.

— Послушай, Егор,— с крайним удивлением и тихо сказал Пастухов,— оказывается, у меня нет ни копейки!

Парабукин торжествующе хмыкнул.

— Узнаю папашу. Точь-в-точь.

— То есть какого папашу? — недовольно выговорил Пастухов.

— Вашего папашу, покойного Владимира Александровича, господина Пастухова. Он всю жизнь забывал деньги дома. Подойдешь к нему: Владимир Александрович, выручите рубликом на лекарство. Он вот этак приложит пальчик к фуражке: извините, братец, скажет, портмонет дома оставил.

— Ага,— неопределенно произнес Пастухов.— Вас, что же, Владимир Александрович лично знал?

— А как же? Когда он по эксплуатации служил, я в его ведении находился — контролером скорых поездов. Вот мадам может

подтвердить: иначе как во втором классе Парабукины не ездили... А вас я сразу признал — вылитый папаша, гладкий такой портрет. Да видно, вы, вроде меня, в нужду впали — в актеры-то пошли, а?

— Ну, вот лепта на построение вашего храма,— сказал наконец Цветухин, кладя на край корыта полтинник.

Едва Парабукин потянулся за полтинником, как Ольга Ивановна быстро схватила монету и зажала ее в кулаке.

Все благодушие точно рукой сняло с Парабукина. Он вскочил и, как кот, неслышно шагнул к жене.

— Ты брось. Давай сюда.

— Постыдись людей,— сказала Ольга Ивановна, отстраняясь.

Парабукин наступал:

— Мне дали, а не тебе. Мои деньги. Ну!

Он говорил глухо, с тупой сдержанностью, которая не обещает надежды на уступку.

Тогда неожиданно, словно забегая вперед событий и стараясь уверить всех и себя, что она тоже никогда не уступит, Ольга Ивановна закричала:

— Всю пасху пропьянствовал! Кровосос! А я целыми днями на помойках тряпье собирай да тебя корми?! Из мусора не вылезай, от корыта не отходи, ночами из рук иголку не выпусти!

— Отдай, говорят,— угрожающе перебил ее крик Парабукин.

Он хотел уцепить жену за локоть, но она увернулась, вытянула руку, разжала пальцы, и в тот же миг Аночка схватила у нее с ладони полтинник и сунула его себе в рот, за щеку.

Хмель будто ожил в голове Парабукина. Он покачался на месте, мягкое тело его обвисло, руки бесцельно взметнулись и тяжело упали. Он тряхнул большой волосатой своей головой и пробормотал, пожалуй, самому себе:

— Ах, ты так, обезьяна... Погоди...

Вдруг он взвопил:

— Забирай своего горлодера, живо! Пошла с ним вон! Слыхала? Пошла наружу!

Павлик что было силы орал в люльке. Аночка с привычной ловкостью вытащила его и бросилась за занавеску.

Не взглянув на гостей, Парабукин решительно устремился за дочерью.

— Куда, куда? — вскрикнула Ольга Ивановна.

Она стала ему на дороге, он оттолкнул ее и сорвал край занавески.

— Удержите его, господа, удержите! — кричала Ольга Ивановна.

Она кинулась за ним.

Цветухин и Пастухов, раздвинув занавеску, молча глядели им вслед.

В комнате по-прежнему вычесывала голову женщина. Она даже не шевельнулась. Оборванец, все так же раскинувшись, храпел под жилеткой.

Парабукин скрылся за дверью. Ольга Ивановна бежала между нар с криком:

— Помогите, господа! Он ее прибьет, он прибьет девочку!.. Беги, Аночка, беги!

— Пойдем,— сказал Цветухин,— что же мы стоим?

— Спектакль,— отозвался Пастухов с усмешкой, больше похожей на угрюмость,— и мы смотрим, милый Егор, смотрим спектакль.

4

Как только Аночка расслышала, что ее догоняет отец и что мать кричит «беги», она пихнула за щеку вынутый было полтинник, бросила на крыльцо Павлика и побежала. Она обогнула ночлежку и понеслась вверх по взвозу, притрагиваясь на бегу к заборам и стенам, как делают все дети.

Парабукин мчался по пятам. Лапти его гулко хлопали по подсохшей земле, синяя посконь штанов трепыхалась флагами сигнальщика, пыль клубилась позади. Он летел с такой прытью, будто от бега зависело все счастье жизни. С каждым шагом укорачивалось расстояние между ним и Аночкой, и он уже протянул руку, чтобы взять ее, когда она, ухватившись за угол дома, стремглав повернула на другую улицу.

Рысак под синей сеткой, почуяв крепкие вожжи и прищелкиванье хозяйского языка, быстро догонял Парабукина. Придерживаясь за козлы, став на подножку, готовый бог знает к чему, свешивался с пролетки Цветухин. Его друг ни капли не терял из своего немного картинного достоинства, сидя ровно и прямо, и только по глазам его можно было бы видеть, что он с телесным удовольствием и досыта кормит, насыщает свое прожорливое любопытство. Два-три прохожих зазевались на бурное, хотя молчаливое происшествие. Убегающая от галаха девочка не очень привлекла бы к себе внимание, если бы не рысак с примечательными седоками, какие редко появлялись в этом малолюдном квартале.

Дом, мимо которого бежала Аночка, был городской школой,— тяжеловесное беленое здание с каменными заборами по бокам, откуда вымахивали ввысь три престарелых, едва распустившихся пирамидальных тополя.

У открытой калитки школы стоял юноша в двубортной куртке технического училища, надетой на белую ластиковую рубашку с золочеными пуговками по воротнику.

Увидев застращанную девочку и гнавшегося за ней крючника, он посторонился и показал на калитку. Аночка с разбегу юрко перескочила через порог во двор, а он сразу стал на прежнее место, загородив собой калитку.

Парабукин задыхался, голова его дрожала, кудри переливались на солнце спутанным клоком выгоревшего сена, полнощекое бледное лицо лоснилось от пота.

— Пусти-ка, ты, техник,— выдохнул он, протягивая руку, чтобы убрать с пути нежданное препятствие.

Нельзя было в этот момент проявить нерешительность — так жаден был разгон, так кипело стремление Парабукина схватить почти настигнутую и вдруг ускользнувшую девчонку.

— Убери руки,— спокойно и негромко выговорил юноша.

— Ты кто такой?.. Распоряжаться...

— Я здесь живу.

— А мне черт с тобой... где ты живешь... Пошел с дороги... Это моя дочь... Что ты ее прячешь?

— Все равно кто. Во двор я тебя не пущу.

Парабукин отставил назад ногу, вздернул рукав и замахнулся.

— Попробуй,— сказал юноша так же спокойно, только пожестче.

Жесткость проступала во всем его крепком, уже по-мужски сложившемся теле. Он был невысок, даже приземист, из тех людей, которых зовут квадратными: угловато торчали его резкие плечи, круто выступали челюсти, прямые параллельные линии волос на лбу, бровей, рта, подбородка будто вычерчены были рейсфедером, и только взгляда, может быть, коснулась живописная кисть, тронув его горячей темной желтизной. Он не двигался, уткнув кулаки в пояс, закрывая калитку растопыренными локтями, и в поджаром, сухом его устое видно было, что его нелегко сдвинуть с места.

Парабукин опустил руку.

— Откуда ты такой, сатаненок!

Извозчик осаживал не успевшего распалиться подтанцовывающего рысака. Цветухин соскочил на тротуар.

— Сколько вас против одного? — с презрением метнул на него взгляд Парабукин. Он все еще не мог отдышаться. С нетерпением, злыми рывками он раскатал засученный рукав, словно объявляя капитуляцию.

— Скандал не состоялся,— проговорил Цветухин.— Стыдно все-таки отцу запугивать ребенка. Так я думаю.

— Позвольте мне, господин актер, наплевать, как вы думаете,— ответил Парабукин, вытирая рукавом лицо и в то же время делая нечто вроде книксена.— Другого полтинника вы мне не пожертвуете, нет? Или, может, пожертвуете? Похмелиться человеку надо? Требуется, спрашиваю, похмелиться, а?

— Видите вон голубой дом,— спросил неожиданно Цветухин,— вон, угловой, в конце квартала?

— Это Мешкова-то?

— Не знаю чей...

— Я-то знаю: Мешкова, нашего хозяина, которому ночлежка принадлежит.

— Ну, вот рядом флигелек в два окошечка. Зайдите сейчас туда, я дам опохмелиться.

— Это что же... на самом деле?.. Или шутите?

— Ступайте, мы сейчас туда подъедем.

Улыбается ведь иногда человеку фортуна, и, пожалуй, как раз когда он меньше всего может рассчитывать на улыбку! Эта надежда бесхитростно осветила лицо Парабукина, и, глянув на молодого человека, он махнул рукой снова вполне благодушно.

— Повезло тебе, техник, благодари бога.

— Вот что я благодарю,— сказал юноша и оторвал от пояса кулаки.

Цветухин, распахивая накидку, шагнул к нему.

— А я хочу отблагодарить вас за смелый поступок. Я Цветухин.

— Извеков, Кирилл.

В рукопожатии они ощутили сильную хватку пальцев друг друга и мгновенно померились выдержкой.

— Ого,— улыбнулся Цветухин,— вы что, гимнастикой занимаетесь?

— Немножко... Я вас узнал,— вдруг покраснел Кирилл.

— Да? — полуспросил Егор Павлович с тем мимолетным, по виду искренним недоумением, с каким актеры дивятся своей известности и которое должно означать — что же в них, в актерах, находят столь замечательного, что все их знают? — Вы поберегите девчоночку, покуда ей угрожает родитель,— с деликатностью переменил он разговор.— Славная девчоночка, правда?

— Я отведу ее к нам. У меня мать здесь учительницей.

Они распрощались таким же стойким мужским рукопожатием, и Кирилл с увлечением посмотрел вслед пролетке, пока она отъезжала к мешковскому дому. Потом он вошел во двор.

У забора, в жесткой заросли акаций, сидела на земле Аночка. Обхватив колени и положив на них голову, она неподвижно смот-

рела на Кирилла. Грусть и любопытство больших глаз делали ее взор еще тяжелее.

— Что, испугалась?

— Нет,— ответила Аночка.— Папа ведь меня не бьет больно. Он добрый. Он только постращает.

— Значит, ты от страха бежала?

— Да нет! Я бежала, чтобы он деньги не отнял.

И она, разжав кулачок, показала полтинник.

— Ну, тогда ступай к себе домой.

— Я еще маненько посижу.

— Почему же?

— А боязно.

Кирилл засмеялся.

— Тогда хочешь к нам, побыть немножко у моей мамы?

Она потерла о голую коленку полтинник, полюбовалась его наглым блеском на солнце, ответила, помедлив:

— Немножко? Ну-ну.

Он взял ее за руку и, с видом победоносца, повел через двор к старой одностворчатой двери. Аночке бросились в глаза узорчатые завитки больших чугунных петель, прибитых к двери шпигирями с сияющими, как полтинники, шляпками, и она ступила в темные сени с прохладным кирпичным полом.

5

Пастухов и Цветухин вошли к Мефодию — в его тесовый домик из единственной комнаты с кухней, который был тотчас назван хозяином так, как звала такие домики вся Волга:

— Наконец пожаловали ко мне, в мой *флигерь*. Милости прошу.

— Кланяйся,— сказал Цветухин.

— Кланяюсь,— ответил Мефодий и нагнулся в пояс, тронув пальцами крашеный пол.

— Принимай,— сказал Цветухин, накрыв сброшенной с плеча накидкой всего Мефодия, как попоной.

Мефодий захватил в горсть цепочку накидки, позвенел ею, топнул по-лошадиному и слегка заржал. Ради полноты иллюзии он стал на четвереньки.

— Шали! — сказал Цветухин, как извозчик.

Пастухов снисходительно кинул свое великолепное пальто на спину Мефодию, водрузил сверху шляпу, и Мефодий осторожно отвез одежду на кровать, в угол.

Вернувшись, он стал рядом с приятелями, улыбаясь толстыми губами, которые не безобразили, а были красивее всего на его лице, изуродованном меткой пониже переносицы. Метка была наказанным любопытством: мальчишкой он смотрел в щелку за одним семейным приключением, рука сорвалась, опрокинув ящик, на который он опирался, и Мефодий упал носом на ключ, торчавший из дверного замка. Целую жизнь потом он если не рассказывал, то вспоминал эту историю.

Все трое — гости и хозяин — блаженно оглядывали стол, занимавший середину комнаты. Редиска румянилась сочными бочками, либо пряча, либо высовывая наружу белые хвостики корешков. Лук метал с тарелок иссиня-зеленые воздушные стрелы. Огурцы были настолько нежны, что парниковая зелень их кожицы отливала белизной. Розовые ломти нарезанной ветчины по краям были подернуты сизовато-перламутровым налетом, их сало белело, как фарфор. Две бутылки золотисто-желтого стекла, погруженные в миску с подтаявшим снегом, были украшены кудрявой ботвою редиски. Стол накрывала мужская рука — это было ясно видно. Из кухни от русской печи пряно струился в комнату аромат горячего мясного соуса.

У Пастухова раздувались ноздри. Изменившимся голосом, чуть-чуть в нос, он буркнул скороговоркой:

— Послушай, Мефодий: ты фламандец.

Он занес руку над бутылью, но приостановился и заново окинул глазом стол.

— Масло?.. Есть. Соль?.. Есть. Горчица?.. Ага. Хлеб?.. Хлеб! — прикрикнул он.— Мефодий, где хлеб?

Мефодий поднес хлебницу с московскими калачами, приговаривая врастяжечку:

— И похвалил я веселье, ибо нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться... Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердца вино твое. Так сказал Соломон.

Цветухин на иерейский лад повысил ноту:

— Наслаждайся жизнью с женщиной, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей, во все суетные дни твои, потому что сие есть доля твоя в жизни и трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Так сказал Соломон.

— Попы несчастные,— с гримасой боли вздохнул Пастухов и, быстро вырвав бутыль из снега, обернул ее салфеткой и налил водки.

Они дружно выпили, провозгласив спич в одно слово: «Поехали!» — опять серьезно оглядели снедь, точно не решаясь разрушить на столе чудесный натюрморт, и принялись за редиску. Пастухов ел заразительно вкусно — грубо и просто, без жеманства,

как едят крестьяне или баре: с хрустом перекусывал редиску, намазывал на нее масло, обмакивал в соль на тарелке, разрывал пальцами дужку калача и провожал куски в рот решительным, но неторопливым движением. Щеки его были бледны, он отдавался еде, он вкушал ее всею плотью.

— Ты похож на певца, Александр,— засмеялся Цветухин, любуясь им.

— А как же? — сказал Пастухов и широко обвел рукою стол.— Награда жизни. Я люблю людей, которые угощают, как прирожденные хлебодары.

Он взглянул одобрительно на Мефодия, помолчал и добавил:

— Умница... Здоровье Мефодия!

Они чокнулись, произнесли свой краткий спич: «Поехали!» — и в это время услышали звяканье дверной щеколды. Мефодий вышел в сени и, тотчас возвратившись, сообщил, что какой-то галах говорит, будто ему велели прийти.

— Крючник, такой кудрявый, да? — спросил Цветухин.— Зови его сюда.

— На кой черт он тебе нужен? — сморщился Пастухов.

— Зови, зови.

Парабукин вошел согнувшись, будто опасаясь стукнуться головой о притолоку. Улыбка, с которой он обращался к своим новым знакомым, была просительной, но в то же время насмешливой. Глаза его сразу остановились на самом главном — на бутылях с водкой, и он уже не мог оторваться от них, точно от какой-то оси мироздания, перед ним фантастично возникшей. Было понятно, что не требуется никаких слов, и все последующее произошло в общем молчании: Мефодий принес чайный стакан, Цветухин налил его до краев, Пастухов положил хороший кус ветчины на калач, Тихон Парабукин быстро обтер рот кулаком и принял стакан из рук Цветухина молитвенно-тихо. Он перестал улыбаться, в тот момент, когда наливалась водка, лицо его выражало страх и предельную сосредоточенность, как у человека, выслушивающего себе приговор после тяжелого долгого суда. Пил он медленно, глоток за глотком, прижмурившись, застыв, и только колечки светлых его кудрей чуть-чуть трепетали на запрокинутой голове.

— Здорово,— одобрил Пастухов, протягивая ему закуску.

Но Парабукин не стал есть. Он содрогнулся, потряс головой, крепко вытер ладонью лицо и с отчаянием проговорил:

— Господи, господи!

— Раскаиваетесь? — спросил Пастухов.

— Нет. Благодарю господа и бога моего за дарование света.

— Давно пьете? — спросил Пастухов.

— Вообще или за последний цикл?

— Вообще,— сказал Пастухов, засмеявшись.

— Вообще лет десять. Совпало как раз с семейной жизнью. Но не от нее. Не семья довела меня, а, правильнее сказать, я ее.

— Пробовали бороться?

— С запоем? Нет. Тут больше Ольга Ивановна выступает с борьбой. Видели, как она у меня денежку конфисковала? А я не борюсь. Зачем?

— Пьете сознательно, да?

— А вот вы как пьете — бессознательно?

— До потери сознания,— сказал Мефодий.

Парабукин улыбнулся уже совсем безбоязненно. Лицо его расцветилось, Самсонова сила ожила в нем, он стоял прямой и выросший. Пастухов не сводил с него клейкого взгляда, без стеснения, в упор изучая его, точно перед ним возвышался каменный атлант.

Цветухин положил на грудь Тихона ладонь:

— Красота, Александр, а?

— Верно,— согласился Парабукин.— Ольга Ивановна, когда простит меня, положит так вот голову (он похлопал по руке Цветухина и прижал ее к своей груди), скажет: Тиша, мой Тиша, зачем ты себя мучаешь, такой красивый. И заплачет.

Глаза его вспыхнули от слезы, он вздохнул с надрывом.

— Действует водочка? — полюбопытствовал Пастухов.

— Зачем ты себя мучаешь? — продолжал Парабукин мечтательно.— Остановись, Тиша, скажет Ольга Ивановна, вернись к прошлому; как хорошо,— ты будешь контролером поездов, я тебе воротнички накрахмалю, Аночка в школу пойдет, я буду за Павликом смотреть. Остановись.

— А вы что? — спросил Цветухин.

— А я говорю: эх, Ольга Ивановна! Идет смешанный поезд жизни, как его остановишь? И, может, зашел наш с тобой поезд в тупик, в мешковский ночлежный дом, и нет нам с тобой выхода. Она мне: может, это, говорит, не тупик, а станция? — Да, говорю я, станция. Только приходится мне на этой станции грузчиком кули таскать.— Нет, говорит Ольга Ивановна, те, которые считают нашу ночлежку станцией, те бьются за жизнь, а ты не бьешься. Бейся, говорит, Тиша, умоляю тебя, бейся.

Парабукин опять всхлипнул и потянулся к пустому стакану.

— Еще глоточек разрешите.

Пастухов отнял у него стакан.

— Нет,— сказал он,— довольно.

Он отвернулся от Парабукина, на лице его мгновенно появилось выражение брезгливой скуки, он уныло смотрел на еще не разоренный стол.

— Так вы нам порекомендуете какого-нибудь красочного человека из обитателей вашего дома? — спросил Цветухин весьма мягким тоном.

— Дом этот не мой, дом этот — Мешкова,— сердито ответил Парабукин.— К нему и обращайтесь. Он здесь проживает, вы на его дворе находитесь.

— До свиданья,— сказал Пастухов, резко поворачиваясь на стуле и почти всовывая в руку Тихона закуску, которой тот не касался,— калач с ветчиной.— Мефодий, проводи.

Парабукин ушел, выпятив грудь и с такой силой шагнув через порог в сени, что задрожала и скрипнула по углам тесовая обшивка дома.

— Нахал! — проговорил Пастухов.

Когда Мефодий сел за стол, трапеза возобновилась в благоговейной тишине. Захрустели на зубах огурцы и редиска, поплыл запах потревоженного зеленого лука, заработали ножи над ветчиной, взбулькнула водочка. «Поехали»,— сказали приятели — в первый раз негромко. «Поехали»,— произнесли во второй — погромче. «Поехали»,— спели хором в третий, после чего Пастухов засмеялся, отвалился на спинку креслица и начал говорить, пощелкивая редиску, как орехи:

— Дурак ты, Егор Цветухин! Дурак! Все эти оборванцы — ничтожные бездельники. А кто-то придумал, что они романтики. И все поверили и создали на них моду. И ты попался на удочку, вместе с другими внушаешь галахам, что они какие-то поэтичные гении. Теперь ты видал этого волосатого хама? Хам и алкоголик, больше ничего. Разве ты нашел в нем что-нибудь новое? Знакомые персонажи.

— Я их не поэтизирую, Александр, я все это делаю для искусства,— сказал Цветухин гораздо серьезнее, чем требовал снисходительный тон Пастухова.

— То есть как? Ты хочешь точнее воспроизвести на сцене вот такого волосатого пропойцу? Для чего спонадобилась тебе точность? Чтобы сделать на подмостках второй ночлежный дом? Для чего? Ступай сходи на Верхний базар, там есть второй ночлежный дом. Какое дело до этого сцене, театру, искусству?

— Знаю, знаю,— воскликнул Цветухин,— это ты насчет мопса: Гете сказал, что если художник срисует с полной точностью мопса, то будет два мопса, вместо одного, а искусство ровно ничего не приобретет.

— Ну, воп какой ты образованный! Двадцать — тридцать лет назад Золя всем своим трудом проповедовал точное перенесение действительности в романы. Он ездил на паровозе, чтобы затем изобразить в книге машиниста, спускался в шахты, ходил в весе-

лые дома. И я недавно перелистывал старые французские журналы и нашел карикатуру, напечатанную после выхода его романа «Париж». На мостовой, под копытами лошади, лежит бедный Золя в своем пенсне со шнурочком, без цилиндра, и под карикатурой написано: «Господин Золя бросился под фиакр, чтобы затем жизненно описать чувства человека, которого сшиб извозчик...»

— Хорошо! — блаженно пропел Мефодий и налил водки.

Посмеялись, выпили, немного пожевали,— аппетит был уже притушен. Пастухов угостил из большого кожаного портсигара папиросами, и в дыму, обнявшем приятелей серыми ленивыми рукавами, Цветухин произнес с искренним изумлением:

— Ты консерватор, Александр. Ты повторяешь то, что говорят у нас самые отсталые люди сцены, рутинеры. Как ты можешь отрицать, что артист должен изучать подлинную жизнь? Это — мракобесие!

— Не стращай меня словами, Егор. Я художник и слов не боюсь. Слов боятся только газетчики, потому что они придают им больше значения, чем они могут иметь.

Пастухов вынул из нагрудного кармана маленькую красную книжечку, перелистал ее, но не нашел, что хотел, и продолжал спокойно, не торопясь:

— Мне передавали, будто Лев Толстой кому-то там, может быть за чайным столом, недавно сказал: чтобы быть художником слова, надо, чтобы было свойственно высоко подниматься душою и низко падать. Тогда, сказал Толстой, все промежуточные ступени известны и художник может жить в воображении жизнью людей, стоящих на разных ступенях.

— Как хорошо! — вскрикнул Мефодий, схватившись опять за водку.— Это лучше, лучше, чем про Золя! Посильнее. Это — здорово хорошо, а? Правда, Егор, а?

Он слушал разговор упоенно, открыв большой толстогубый рот, но во взгляде его заключалось не только желание ничего не упустить из разговора, но и улыбка человека, видящего больше, чем ему показывают.

Пастухов опять покопался в книжечке и слегка торжественно разгладил отысканную нужную страничку.

— А вот что я выписал из Бальзака: «Одно из зол, которому подвержены выдающиеся умы, это то, что они невольно постигают всё — не только добродетели, но и пороки».

— Какая связь? — передернул плечами Цветухин.— И что здесь противоречит изучению жизни?

— Ты не видишь связи? Толстой говорит, что художнику должно быть свойственно высоко подниматься душою и низко падать. Бальзак говорит, что выдающийся ум постигает добродетель

и порок невольно. Связь в двух словах — свойственно и невольно. Оба говорят о чем-то прирожденном художнику или выдающемуся уму, говорят о том, что постижение высокого и низкого является их свойством по природе, что добро и зло постигается ими помимо их воли. Жизнь воображения — вот сущность художника или выдающегося ума. И, заметь, Толстой говорит: подниматься и падать душою. Душою, дорогой мой Егор, то есть тем же воображением, а не как-нибудь еще. Иначе получится карикатура на Золя. Получится, что низко пасть — значит совершить подлость не в воображении, а в быту, украсть, чтобы постичь душу вора. Вот этакому изучению жизни Толстой и Бальзак и противоречат.

— Почему же Бальзак называет злом это невольное постижение выдающимся умом добродетели и порока?

— Почему? Я думаю...

Пастухов вдруг ухмыльнулся и простодушно ляпнул:

— Я, правда, не думал. Мне это сейчас пришло на ум, нечаянно. Но вот что я твердо знаю: реалисты Бальзак и Толстой нас обманули. Это — самые фантастичные художники из всех, какие были. Они все выдумали, все сочинили. Они совсем не занимались копированием подлинной жизни. Книги их — плоды тончайшего воображения. Именно поэтому они убеждают больше самой жизни. И я исповедую одно: мой мысленный взор есть бог искусства. Мысленный взор, вездесущая мысль, понимаешь? Я вижу мысленным взором любой ночлежный дом так же, как вижу египетского фараона, как вижу мужичью клячу или члена Государственной думы. Вездесущей мыслью я поднимаюсь и падаю, совершаю добро и зло. В воображении своем, в фантазии подвержен прекрасному и отвратительному, ибо я художник.

Он поднял рюмку.

— За художника, против копировщика. За Толстого, против Золя. За бога искусства — воображение!

— Поехали,— докончил Мефодий.

Они начинали пьянеть. Закуски расползались по столу все шире, обращаясь из приманки в отбросы, окурки плутали по тарелкам, не находя пепельницу. Мефодий достал из печи жаровню с тушеным мясом, табачный дым отступил перед паром соуса, пышущего запахом лаврового листа и перца, аппетит ожил, голоса поднялись и зашумели, фразы укоротились, бессмыслицы стали казаться остроумными, веселыми.

— Ты пьяная затычка, Мефодий,— сказал Пастухов,— но у тебя есть вкус. Я тебя обожаю.

— Я пьяница? — вопрошал Мефодий польщенно.— Никогда! Пьяница пьет, чтобы пить. Я пью, чтобы закусывать. Я владею собой, я господин своему слову! А разве у пьяницы слово есть?

— У него есть слово,— хохотал Цветухин.— Скажет: кончено, больше не пью! И два дня маковой росинки в рот не возьмет!

— Послушайте, глухие тетери,— говорил Пастухов.— Вслушайтесь! Какой язык, а? Маковая росинка! Если бы у меня был водочный завод, я выпустил бы водку под названием «Росинка». И внизу, под этим словом, на этикетке, написал бы в скобочках, меленько-меленько: «ма-ко-ва-я».

— Ты стал бы Крезом! — кричал Цветухин.— Какой сбыт! «Росинка»!

— Росинки хотите? Росинки накапать? — бормотал Мефодий и, наливая рюмки, приговаривал: — Солонинка солона, а ветчинка дорога! Душа моя росинка и дешева и хороша!

За шумом они не сразу расслышали стук в окошко — настойчивый, солидный. Мефодий вышел в сени и долго не возвращался. Тогда за ним последовали и друзья.

У дверей стоял человек в добротном пиджаке, застегнутом на все четыре пуговицы, в котелке, с тростью, усеянной разбегавшимися глазками сучков и с серебряным набалдашником. Его борода, расчесанная на стороны, пушистые брови и затиснутые под ними твердые глаза, статная посадка округлого тела — все было исполнено строгости и особого достоинства людей, убежденных, что они не могут ошибаться. Ему было немного за сорок, в русой бороде его лежали первые два седых волоса.

— Меркул Авдеевич, наш домохозяин,— сказал Мефодий.

Мешков приподнял котелок.

— Извините, господа, за беспокойство. Вот этот голубчик говорит, будто приглашен сюда вами. Однако уклоняется ответить, для какой надобности.

На крыльце сидел Парабукин, расставив колени и положив на них локти. Он все еще держал калач с ветчиной, общипанной с одного края, и отгонял стайку мух, суетившуюся вокруг лакомого куска. Он поднял голову. Было что-то виноватое в его взгляде снизу вверх.

— Полстаканчика не поднесете? — попросил он.

— Ни маковой росинки,— отрезал Пастухов.

— Слышал, голубчик? — проговорил Мешков, легонько тронув набалдашником плечо Тихона.— Ступай со двора, нечего тебе тут делать, ступай, говорю я.

Парабукин грузно поднялся и по очереди оглядел всех. Наверно, Цветухин показался ему сочувственнее других, он остановил на нем взор и улыбнулся просительно, но актер покачал головой,— нет, нельзя было ждать богатой милости от этих бессердечных людей!

— Да вы съешьте бутерброд, что вы его в руках мнете? — сказал Цветухин.

— Это... это мое собственное дело, это как я захочу,— ответил Парабукин и, переваливаясь на согнутых коленях, шагами крючника пошел к калитке.

Цветухин обернулся к Пастухову и потряс указательным пальцем.

— Понял?

Пастухов молча мигал на него как будто ничего не разумеющими глазами.

Мешков проводил Тихона до калитки, аккуратно закрыл ее на железную щеколду и опять снял котелок, откланиваясь.

— Нет, нет, пожалуйте теперь к нам,— воскликнул Мефодий.— Да нет, уж не обессудьте, пожалуйте к бедному квартиранту раз в год.

— Просим, просим,— с легкостью изображая радушие, приговаривал Цветухин.

— Не отказывайтесь, прошу вас! Пригубьте, по случаю отходящего праздника, маковой росинки!

Так они, раскланиваясь и расшаркиваясь, ввели в комнату с достоинством упиравшегося Меркурия Авдеевича Мешкова.

6

По-разному можно жить. Но редко отыщется человек, который на вопрос совести — как он живет? — ответил бы, что живет вполне правильно. Даже тот, кто привык обманывать себя, и то найдет на своем жизненном пути какую-нибудь зазубринку, неровность, оставленную ошибочным шагом, привычным пороком или несдержанной страстью. А люди, способные наедине с собою говорить правдиво, так хорошо видят свои ошибки, что, в интересах самосохранения, предпочитают утешать себя поговоркою о солнце, на котором, как известно, тоже есть пятна.

Меркурий Авдеевич искренне признавал, что он не без греха, поскольку все смертные грешны. И он не только считал себя грешником, но и каялся в прегрешениях усердно, каждый год, иногда на первой, иногда на четвертой крестопоклонной, гораздо реже на страстной неделе великого поста, смотря по тому, когда удобнее позволяли дела. Однако если трезво рассудить (а Меркурий Авдеевич рассуждал очень трезво), то каяться — не перед богом и духовным отцом, конечно, а перед собою и перед людьми, особенно перед людьми,— каяться было не в чем, потому что Мерку-

рий Авдеевич жил правильно, то есть так, как повелевала ему совесть, и опираясь на устои, поддерживающие земное бытие.

Он говорил, что главным таким устоем полагает трудолюбие, и действительно требовал от всех трудолюбия и сам любил трудиться, ни одних суток не пропустив, с мальчишеских лет, без труда, без того, чтобы сегодня не прибавить камушка к тому камушку, который был отложен вчера. Такой образ жизни был впитан его кровью настолько глубоко, что всякий другой представлялся ему противоестественным, как голубю — обитание под водой, и он мог уважать только людей, в трудах откладывающих камушек за камушком, прогрессивно и как бы математично стремящихся в таком занятии к назначенному пределу, которым является мирная кончина человека.

Меркурию Авдеевичу принадлежала лавка москательных и хозяйственных товаров на Верхнем базаре и два земельных участка, расположенных по соседству, недалеко от Волги. Участки эти он называл «местами», один — малым местом, другой — большим. На малом месте находился собственный двор Мешкова сплошь из деревянных построек, окрашенных синей масляной краской. Тут стоял двухэтажный дом — обитель крошечной семьи Меркурия Авдеевича (у него была только одна дочь — Лиза) и молодых приказчиков мешковской лавки; затем два флигеля — первый маленький, где проживал Мефодий, и второй надворный, побольше, отданный внаймы слесарю железнодорожного депо Петру Петровичу Рагозину; наконец домашние службы — погребицы с сушилками, куда в летнее время перебирались на жительство приказчики. Большое место частью оставалось пустопорожним и заросло бурьяном и розовыми мальвами, а частью было занято каменным строением, в котором издавна помещался ночлежный дом, и большим мрачным лабазом, приобретенным Меркурием Авдеевичем вместе с канатным производством. Отсюда, из лабаза, в теплые дни расплывался щекочущий, волглый и смолянистый запах деревянной баржи и вылетали песни женщин, трепавших старые канаты на паклю.

Владения собирались Мешковым потихонечку-помаленечку, но не без огорчений. Ему, например, был мало приятен ночлежный дом — хозяйство неопрятное и беспокойное, но переустройство здания под какую-нибудь другую надобность требовало бы непомерных расходов. Лабаз едва покрывал земельную ренту, но возводить на его участке новое строение еще не пришло время. Самое же чувствительное огорчение состояло в том, что Меркурий Авдеевич хотел бы расширить большое место до размера всего квартала, а за ночлежным домом, впритык к пустырю, покрытому бурьяном и мальвами, простирался участок со старинным зданием

начальной школы, и городская управа — хозяин этого богатства — не думала им поступиться. Поэтому Мешков невзлюбил школу, с криком и озорством мальчишек, с учителями — как ему казалось — чересчур независимого вида, и эта нелюбовь даже дивила его самого, уважавшего грамоту и особенно ученость.

Он действительно уважал ученость всякого рода и, называя врачей медиками, судейских чиновников — юриспрудентами и преподавателей естественной истории — натуралистами, выговаривал эти звания с каким-то пугливым реверансом в голосе. Но светская образованность была для него недосягаемо чуждой, и почтение к ней, пожалуй, ограничивалось внешней робостью, вот этим нечаянным оседанием, реверансом голоса. Проникновенно было его уважение к учености духовной: книжниками, начетчиками церковными он покорялся с тех ранних лет, когда начал откладывать первые копеечки впрок. Еще торговым учеником у москательщика, вырисовывая струйкой воды из чайника восьмерки по полу перед подметанием лавки, Мешков любил припоминать мудреные слова проповедей, слышанных в церкви и сделавшихся первоисточником его просвещения. Теперь, в зрелые годы, он захаживал, иной зимний вечер, в кеновию — тесное монашеское общежитие — послушать обличительные состязания миссионеров с инакомыслием, во всяких толках которого Мешков разбирался, как в кредитках. Посреди низкой церкви, за налоями, в прыгающем озарении восковых свечек, обтирая пот с пухлых лиц, монахи предавали сраму стоявших за такими же налоями единоверцев либо старообрядцев. Вечера напролет раздавались здесь рычания на «развратников православия», и люди, заросшие бородами, усатые и с косицами до плеч, яростно доказывали, что «брадобритие и стрижение усов благочестию христианскому нимало не противно, да еще иногда и нужно, паче же усов подстрижение». И такие же волосатые люди, причислявшие себя к «брадоподвижникам», потрясая книгами Кормчей, Стоглавом, Иосифовским служебником, доказывали, что «греха брадобрития мученическая кровь загладити не может». Мешков тщательно складывал в бережливую свою память протоpенные семинариями ходы таких споров — с положением истины и противоположениями, со всеми «понеже первое» и «понеже второе». Многое из любимых умствований запоминал он дословно и, придя домой, повторял с точностью супруге, кротчайшей Валерии Ивановне, например, так:

— Послушай, Валюша, как иеромонах Зиновий излагает довод по растению власов естественному: «Понеже власы суть дело естества, а не сила веры, они растут у нас так, как трава осока и трости на местах влажных; следовательно, сами по себе спасения или святости не составляют. Можно и остриженному иметь

добрую душу, а, напротив, с бородою и с усами бывают нечистивые и злодеи. Итак, что за противность оные брить и подстригать?» Мудро, Валюша? А раскольники извиваются, не хотят покориться истине. В бороде, говорят, образ божий состоит, и брить ее беззаконно. Тогда отец Зиновий разит их ответом: «Никак, ибо: а) бог есть дух бестелесный, а потому ни брады, ни ус не имеет, б) как младенцы и жены бород не имеют, то аки бы они и образа божия непричастны?» Премудро сказано, Валюша, премудро!

И, любуясь остротою своей памяти, торжествуя над пригвожденными еретиками, Меркурий Авдеевич разглаживал бороду, смеялся и восклицал:

— Вот нелепости брадозащитников!

Религиозную ученость он считал старшей, а светскую науку младшей, и если бы между ними существовала зависимость, подобная семейным узам, в его книжной этажерке, наверно, убавилось бы церковнославянской печати. Но наука была, по его размышлению, блудным сыном, который не собирался возвратиться в отчий дом. Поэтому к почитанию образованных людей у Меркурия Авдеевича прибавлялась осторожность: бог их знает, не состоят ли эти самые медики и натуралисты в родстве с беспоповцами, какими нибудь «самокрещенцами» или «погребателями»? Подальше от них — и дело будет надежнее.

И поэтому в дом к Мефодию, к веселому своему квартиранту, Меркурий Авдеевич входил с интересом, но настороженно, тем более что не только узнал актера Цветухина и не только в Пастухове тотчас заподозрил птицу редкостную, может быть такую, каких не видывал, но вдобавок заволновался приглашением выпить, а в этой щекотливой области он управлял собою не совсем уверенно.

— Пожалуйте,— сказал Мефодий, поднося ему пузатую рюмку, так полно налитую, что водка струилась по пальцам.

— Что вы,— ответил он, и голос его сделал реверанс.— Я не употребляю вина. Почти совсем не употребляю.

И тут он встретился глазами с Пастуховым.

7

Перед Меркурием Авдеевичем сидел молодой, но из-за полноты и видимой рыхлости тела казавшийся старше своего возраста человек. В дородности и спокойствии его лица заключалось некоторое превосходство над тем, кого он в эту минуту наблюдал, но его рот и щеки приподнимала любезная гипсовая улыбка, а глаза совершенно не были связаны ни со спокойствием лица, ни с обязательностью улыбки,— любопытные щучьим любопытством, жадно-

холодные глаза. Заглянув в них, Мешков испытал состояние, которое мог бы определить словами: ну, пропал! Но ему было приятно и почти лестно, что вот сейчас гипсовая улыбка дрогнет и необыкновенный человек обратится к нему, очевидно, с просвещенным разговором.

И правда, лицо Пастухова ожило, взгляд соединился со всеми другими его чертами, и он потянулся с рюмкой к Мешкову.

— Бросьте вы, пожалуйста, говорить пустяки! — сказал он деликатно и в то же время панибратски.— Ну кто это поверит, что вы не пьете водки? Скопец, что ли, вы какой-нибудь или барыня из Армии Спасения?

Нет, Мешков как будто и не слыхивал подобного. Речь была ничуть не похожа на то, что он ожидал от образованного человека, и, однако, полна необычайности. «Скопец» особенно поразил его, и он рассмеялся.

— Тогда с праздником,— проговорил он, откинув церемонии.

Он развел на стороны усы и выпил залпом.

— Светлую заутреню где слушали? — спросил Пастухов, уверенный, что именно с таким вопросом надо прежде всего обратиться к Мешкову.

— Имею привычку стоять пасхальную утреню в церкви старой семинарии,— ответил Меркурий Авдеевич, с удовольствием убеждаясь, что попал, и правда, на большого умника.

— Ну как, бурсаки петь не разучились?

— Нет, поддерживают обычай. Христос воскресе по-гречески провели трубно. Христос анэсти эк некрон.

— Ах, трубно? — улыбнулся Пастухов.

— Это наше слово, бурсацкое: трубными гласы взываем,— сказал Цветухин.

— Я помню, вы еще семинаристом «Разбойника благоразумного» певали,— почтительно сказал Мешков.

— Вы меня узнали?

— Как же не узнать такой известности? В театры я не хожу, но вы и сюда появляетесь, и в храме вас случалось видеть. Передавали, вы и этой пасхой на клиросе изволили петь?

— Да, пел.

— Что ты говоришь, Егор? — изумился Пастухов.— Стихиры пел?

— Стихиры.

— Это зачем же?

— То-то, Александр, что мы бурсаки. Нас тянет. Юность вспоминается, каникулы семинарские. Пасха — это такое волнение, все разоденутся, галстуки вот этакие накрутят, приготовят к отъезду корзинки, завяжут постели: утреня и обедня — последняя

служба. Отпоешь и — домой, в отпуск, кто куда — в уезд, по селам, вон из семинарии, на волю! К батям. Весь, бывало, дрожишь от счастья.

— До чего верно, Егор! — умилился Мефодий.— Именно, весь дрожишь! Переживаешь, как на сцене.

— Ничего ты никогда на сцене не переживал,— усмехнулся Пастухов.

Но Мефодий говорил, не слушая его:

— До сих пор, если я не надену сюртука, как прежде в семинарии, мне и пасха не в пасху.

— Подумаешь, актер! — упрямо перебил Пастухов.— Переживает на сцене! Что переживает? Сюртук переживает!.. А в твою, Егор, бурсацкую лирику не верю. Так просто — мода. Нынче все великие актеры на клирос ходят, Апостола читают. И ты подражаешь моде. От художественников своих ни на шаг. Они в ночлежку — ты за ними. Они на клирос — ты за ними. Им на подносе просвирки подают, и ты ждешь, когда тебе поднесут. Ото всего этого кислыми щами разит. Понимаешь?

— Нет, не понимаю,— трезво и недоуменно ответил Цветухин.— Не понимаю, что ты озлился?

— То, что ты подражаешь моде. То, что врешь, будто стихиры поешь из переживаний. Ты их поешь из тщеславия.

Он потер в пальцах хвостик редиски, понюхал пальцы, бросил хвостик на стол, сказал брезгливо:

— Душком пахнет.

Мефодий сердито налил всем водки, точно в наказание.

— Актеру тщеславия стесняться нечего,— произнес он наставительно, высоко приподнимая и опуская рюмку.— Если у нас не будет тщеславия, какие мы актеры?

— А какой ты актер? — опять поддразнил Пастухов.

— Я тень актера. Тень великого актера — Цветухина!

Пастухов долго не говорил, изучая Мефодия остановившимся взором.

— Тень актера? А тщеславие у тебя — не тень.

Подражая его взгляду и так же выдерживая паузу, Мефодий сказал:

— Да ведь и у вас оно не маленькое, Александр Владимирович...

— Мы тоже должны любить славу,— признал Пастухов.— Иначе у нас ничего не получится. Слава — наш локомотив.

— А кем вы будете, извините любознательность? — спросил Мешков, не упустивший из разговора ни звука и особенно захваченный пастуховской манерой говорить — властной и пренебрежительной.

— Я сочиняю всякую чепуху для этих вот удавов (он мотнул головой на обоих актеров), а они меня душат.

Все засмеялись и потянулись чокнуться, а Мешков произнес осевшим до шепота голосом:

— Следовательно, я нахожусь в среде талантов. Разрешите в таком случае — за таланты.

Он и эту рюмку выпил залпом и тотчас ощутил, будто откуда-то через уши вбежал в голову веселящий, предупреждающий ток.

— Все-таки,— уже настойчиво сказал Мешков,— с кем имею удовольствие?..

— Ах, нету вам покоя! Я Александр Пастухов. Говорит это вам что-нибудь?

Меркурий Авдеевич взялся обеими руками за край стола. Как он мог сразу не узнать в этом снисходительном лице единственного наследника Владимира Александровича Пастухова? Тот же бессовестный взгляд, та же небрежная речь, что и у отца. И даже хохочет, как отец: прямо с серьезности — в хохот, точно взорвется что внутри. А щеки, холеные щеки, несмотря на молодость, так и скатываются книзу на подбородок. Да, да, видно, все неприятное перепято сынком от родителя, и не мудрено, что у Меркурия Авдеевича засосало под ложечкой от неутешной обиды.

Он вспомнил, что Владимир Александрович умер его должником, не признавая долга, и что заставить его признать долг было нельзя. Дело началось, еще когда Пастухов служил в управлении дороги. Пастухов выписал требование на хозяйственные товары, которые Мешков должен был поставить дороге, и получил некоторую комиссию от поставщика, конечно негласную. Товар был поставлен, а контроль дороги признать требование в полной сумме отказался. Мешков долго искал с дороги убытки, но безуспешно. Так как дело было проиграно, он предложил Пастухову возвратить комиссию, но, во-первых, к тому времени Пастухов ушел с дороги, а во-вторых, получение комиссии было недоказуемо, о чем он преспокойно и сказал Мешкову с глазу на глаз. Бессилие перед неблагородством поступка лишило Меркурия Авдеевича покоя. Он жил правильной, честной жизнью и мучительно требовал того же от каждого. Получение комиссии за заказ было обычным способом служащих дороги, и то, что поставщик давал деньги, а делавший заказ брал деньги, не мешало им считать друг друга людьми порядочными. Это делалось по-джентльменски, ко взаимному удовольствию и было похоже на музыкальный бой часов, который только сопровождает течение времени, но никакого влияния на время иметь не может. Однако если бы остановился бег самого времени, то к чему было бы заниматься музыкальной иг-

рой! Мешков так и считал, что ввиду несостоявшейся сделки естественно должно отпасть и сопровождение ее аккомпанементов. Этого требовало именно джентльменское понимание дела. Но Пастухов совершенно лишен был таких идеальных понятий. Он находил, что коммерция есть риск, и отвечает за риск только коммерсант. И он заявил Мешкову: «Что вы хотите от меня, Меркурий Авдеевич? Вы хотите сказать, что я получил от вас взятку? Но я никогда не посмел бы обвинить вас в том, что вы даете взятки: я слишком уважаю вашу репутацию честного человека». И после этого он продолжал с улыбкой приветствовать Мешкова на улице, любезнейше поднося два пальца к красному околышу своей дворянской фуражки.

Вот эта улыбка и разбередила обиду Меркурия Авдеевича, едва он услышал имя — Александр Пастухов. Не выпуская из рук края стола, он сказал:

— Как же, Александр Владимирович, как же, имя ваше мне весьма знакомо. За покойным Владимиром Александровичем я числю должок.

— Вы что же так говорите,— усмехнулся Пастухов,— уж не собираетесь ли получить отцовский должок с меня?

— А как вы думаете, Александр Владимирович? Хранить добрую память покойных возложено ведь на наследников.

— Самое лучшее для памяти моего отца — это если вы оставите о ней заботу.

— Единственно на вашу заботу рассчитываю, Александр Владимирович.

— Так вот к вашему сведению,— не без злобы проговорил Пастухов,— я от отца только рассохшийся шкаф получил да кресло о трех ножках. Никаких его обязательств я не принимаю, потому что ничего не наследую. Давайте выпьем за упокой его души и на этом кончим.

— Нет,— ответил Меркурий Авдеевич, отстраняя рюмку,— нет, батюшке вашему о моем спокойствии не было дела, и за его упокой кушайте без меня.

— Ну, это уж вы не по-христиански! — точно обрадовавшись, вскрикнул Пастухов, и с ним вместе неожиданно засмеялись его приятели.

— Не по-христиански? — хмуро спросил Меркурий Авдеевич, приподнимаясь и отодвигая ногами стул.— Христианство желаете мне преподать?

Пришла, видимо, очередь засмеяться ему, и движение его лица как будто начало улыбку, но приостановилось. Кровь помутила глаза, они выпятились из раздвинувшихся век, и в то же время навись бровей сплошным мрачным козырьком опустилась

над переносицей. Заново ощутил Меркурий Авдеевич прилив горячего тока к ушам, точно хватил залпом спиртного, но в этом токе уже не было ничего веселого. Мешков знал: стоило ему поднять голос, как уже нельзя будет удержать рвущегося наружу крика, и если попытаются остановить крик, то завопит самое сокрытое в нем и непокоримо-живучее существо: ярость. Он удержал себя еще более пьянящим, чем этот ток, напряжением. Он не крикнул. Он удушил голос вина. Он дал языку перебрать за стиснутыми зубами обличающие, может быть способные кого-то уничтожить, слова: образованные господа, артисты, юриспруденты! Вот, вот, юриспруденты! Он шагнул по крошечной скрипучей комнате, оглядел этих юриспрудентов — непринужденных господ, посмотрел за окно на улицу, обернулся, произнес очень тихо, чтобы только не крикнуть:

— Нет, господа... насчет христианства... я не позволю...

Он опять взглянул в окно, стараясь перебороть себя, и хотя взор его был застлан гневом, он увидел, со странной яркостью, свою дочь Лизу, которая шла не торопясь, в сопровождении молодого человека — да, да, молодого человека, ученика технического училища Кирилла Извекова,— шла по солнечной стороне улицы, в праздничном гимназическом коричневом платьице, с сиреневым бантом на груди, по форме Мариинской гимназии, шла с кавалером так, будто не существовало родительского дома, который видел ее всеми своими окнами, и синими воротами, и калиткою, и замершим, остановившимся отчим взором Меркурия Авдеевича — о боже мой, видел ее, да, видел ее, свою Лизу, гуляющей с кавалером, сыном школьной учительницы Извековой, тоже непринужденной, как эти господа, независимой, а может быть, и неблагонадежной женщины — натуралистки, конечно натуралистки! Они ведь все натуралисты. Юриспруденты! Дочь Меркурия Авдеевича фланировала по улицам с кавалером! Да-с, другого слова Меркурию Авдеевичу не подвернулось и не могло подвернуться, и он ответил с негодованием:

— Я не позволю, господа, извините, не позволю фланировать!

С этим словом он выбросился,— не вышел и не выбежал, а выбросился вон, схватив котелок и трость и только, на бегу пригибаясь, отдавая поклон:

— Имею честь... господа!

Пастухов живо поднялся и шагнул к окну. Он увидел, как Мешков распахнул калитку и как она захлопнулась, звякнув припрыгнувшей щеколдой.

— Вот с кого надо писать! — быстро сказал он, грубо проводя ладонью по лицу, как будто утираясь после охлаждающего умыванья.

— Так это же не фантазия, а сама жизнь! — воскликнул Цветухин.

Пастухов чиркнул спичкой, швырнул ее в угол, не закурив, повел взглядом на мутный потолок и стены, не видя ничего, а словно удаляясь за пределы низкой комнаты.

— Все равно,— проговорил он умиротворенно.— Пыль впечатлений слежалась в камень. Художнику кажется, что он волен высечь из камня то, что хочет. Он высекает только жизнь. Фантазия — это плод наблюдений.

— Значит, галахи пригодятся, согласен?

— Годится все, что нравится публике.

— А искусство, Александр?

— Сначала — публика, потом — искусство.

— Александр! Ах, Александр!

Пастухов произнес, как снисходительный наставник:

— Егор, милый, я тебя люблю! Ты чудесный провинциал!.. Но пойми: потакать требуется публике. И ты ведь только потакаешь ей своими галахами... Понял?

— Очень даже,— сказал пьяненький Мефодий,— безусловно, разумеется, даже...

8

Ковровая скатерть была усеяна листьями и цветами, и податливая поверхность ее напоминала песчаное речное дно под ногою, когда входишь в воду. Аночка перелистывала большую книгу, а дойдя до картинки, засовывала руку под переплет и гладила ладонью скатерть.

— У вас каждый день скатерть на столе или только по праздникам? — спросила она.

— По будням у нас другая скатерть,— ответила Вера Никандровна, улыбаясь.— Что тебе больше нравится, скатерть или картинки?

— Картинки нравятся для ума, а скатерть — трогать.

— Ты не сказала нам, почему не ходишь в училище.

— А вы спрашиваете — учишься или не учишься? Я и сказала, что не учусь.

— Ишь какая ты точная.

— Не потому, что я точная, а потому, что про что меня спрашивают, про то я отвечаю.

— Ты, наверно, хорошо училась бы.

— Разве вы знаете?

— Я учительница.

— Разве учительницы все наперед знают?

— Все, конечно, нет. Но я вижу, тебе было бы легко учиться.

— Меня мама вот той осенью, которая была перед зимой, совсем отдала в училище. А потом она захотела родить Павлика и взяла меня назад, чтобы я нянчила братика. Ведь папа на Волге зимой не работает, а сама еще больше, чем всегда, шьет. Она, знаете, чепчики, если с прошивками, продает по двугривенному, а если без прошивок, то по гривеннику. Мама меня выучила петли метать, когда чепчик делает на пуговичке, а когда на тесемках, то я умею тесемки пришивать.

Аночка перестала говорить, засмотревшись на раскрашенную картинку в полный лист книги. Вера Никандровна с сыном стояли по сторонам от нее, глядя за ее лицом, переменчивым от любопытства, с приподнятой верхней губой и опущенными тяжелыми вздрагивающими веками. Она чувствовала себя непринужденно и подробно, громко вздыхая, осмотрела жилище Извековых, когда ее привел Кирилл. Подвальная квартира с чугунными коваными решетками на окнах, как у старых церквей, показалась ей чрезвычайно интересной. В большой комнате она остановилась перед книжным шкафом и очень была удивлена, что в маленькой комнате обнаружилась еще целая горка с книгами.

— Это все читаные книги или только так? — спросила она и, узнав, что книги есть всякие, и есть даже читаные-перечитаные, сказала:

— Мама говорит, если бы она не работала, то все время читала бы. Вы, наверно, никогда не работаете?

В обеих комнатах она сосредоточенно изучала постели, накрытые белыми одеялами, и потом утвердительно спросила:

— Наверно, там спите вы, а тут вы, да? А мы спим так: папа с мамой и с Павликом, а я на сундучке, отдельно.

У Кирилла она пересмотрела на стенах картинки, но они ей не понравились: висели какие-то одноцветные бородатые дедушки и огромный рисунок из непонятных белых черточек на синей бумаге.

— Что это?

— Разрез парохода,— сказал Кирилл.

— Как разрез? — удивилась она, переводя взгляд с чертежа на Кирилла и на его мать.

Они засмеялись, и Кирилл спросил:

— Не веришь, что пароход можно разрезать?

Аночка отошла молча от парохода, заглянула в кухню, со вздохом покачала головой на широкую русскую печь.

— У нас в ночлежке кухни нет, а еще когда мы жили на квартире, когда я была немножко больше Павлика, мама гово-

рит — у нас была кухня. А теперь, как Павлик родился, так мама купила керосинку и делает тюрю для Павлика или кашку. А нам с папой, когда купит на Пешке пирог с ливерком, тогда тоже разогреет на керосинке. Во всей ночлежке у нас у одних керосинка. Все как есть у нас просят, только мама ни за что не дает. И верно: на всех ведь не напасешься...

Ей предложили посмотреть книгу с картинками, она быстро села на диван, разгладила на коленках платье, показала Вере Никандровне по очереди растопыренные пятерни, переложив с одной ладони на другую полтинник:

— Чистые. Я недавно мыла.

И вытерла руки еще, для верности, об живот.

Картинка, на которую она засмотрелась, изображала улицу, забитую толпой пестро разодетых людей, махавших руками и приплясывавших. В воздухе над ними реяли яркие зеленые, красные шары, вились и клубились змеями бумажные ленты, сброшенные на толпу другими людьми с балконов больших домов.

— Они в жмурки играют? — спросила Аночка.

— Нет, это карнавал,— ответил Кирилл.

— А почему они все завязались?

— Они не завязались. Это на них маски.

— Зачем?

— Чтобы не узнать друг друга.

— А зачем у них дырки прорезаны? Они ведь все видят.

— Все равно, они узнать не могут друг друга.

— Они артисты?

— Почему артисты? — спросила Вера Никандровна.— Разве ты знаешь, что такое артисты?

— Знаю. Которые притворяются,— не раздумывая, ответила Аночка.

— Притворяются? И ты видела когда-нибудь артистов?

— Видела. К нам вот только что приезжали. Один вот такой вот, черный.

Она показала пальцем на пляшущую черную маску в развевающейся накидке и вдруг фыркнула в кулачок, как школьница на уроке.

— Он подарил папе полтинник, мы с мамой взяли да отняли у папы.

— Он тебя пожалел, а ты смеешься над ним,— сказал Кирилл, тоже посмеиваясь.

— Значит, в театре ты артистов не видала? — допытывалась Вера Никандровна.— И в балаганах тоже не была, нет?

— Я у мамы просила на карусели меня сводить, она все обещает да обещает, а сама не идет.

— Кирилл, ты ведь собирался на карусели, возьми ее с собой. Когда ты идешь?

Он помедлил, одергивая складки рубашки, стягивая их за спину в сборчатый хвостик, торчавший из-под тугого пояса,— как было модно у всех мальчиков.

— Я думал — завтра. Но, наверно, я пойду не один.

Он сказал это просто, однако Вере Никандровне тотчас представилось, что он не хотел этого говорить, что она вмешалась в его особую жизнь, которая все заметнее начинала складываться в стороне от дома, где именно — она еще не могла уловить. Несомненно было, что Кирилл обходил разговоры, способные прояснить ее догадки о новых его интересах, или привязанностях, или увлечениях. Она в душе гордилась, что воспитала сына на основе взаимного уважения, то есть тем, что они не только любили, но и уважали друг друга, и в особенности, конечно, тем, что она уважала сына. В раннем детстве она внушала ему самостоятельность, незаметно подсказывая, что воля сына, по природе, не может противоречить матери, что желания родителей и детей естественно совпадают. Она была убеждена, что эта хитрость даст превосходный результат. И правда, Кирилл действовал всегда так, как хотел, и поэтому у него не было надобности что-нибудь скрывать. Ложь возникает там, где появляется принуждение. Она — горький плод насилия. Вера Никандровна никогда не принуждала сына к тому, чего он не хотел. И Кирилл платил ей за свою независимость полным доверием.

Такое воспитание она считала мужским и дорожила достигнутым, особенно потому, что вырастила сына без мужской помощи (отец Кирилла утонул в Волге, захваченный на лодке бурей).

Вера Никандровна понимала, что наступила зрелость: сыну пошел девятнадцатый год, он переходил в последний класс. Она понимала, что зрелость — это перемены. Она ждала перемен. Но ей никогда не приходило на ум, что с этими переменами исчезает, скажем, откровенность. Что появление скрытности и будет переменой. Она не могла заговорить с Кириллом о том, что он не откровенен. Ей было ясно, что такое допущение, высказанное вслух, нанесет удар зданию, которое она тщательно строила так много лет. Она делала вид, будто ничего не переменилось, но ее поразило, что Кирилл способен ко лжи и утайкам. Это обнаружилось так.

У него заболели глаза. Стали краснеть веки, и краснота отличалась странным оттенком сероватого, иногда багрового цвета. Болезнь сначала напугала, потом ей нашлось объяснение, после чего она показалась уже не такой страшной,— глаза были засорены, опытные люди советовали промывать их чаем в глазной

ванночке. Но когда домашнее средство не помогло, пошли в лечебницу. Врач произвел полагающиеся расспросы и, между прочим, захотел узнать, не имел ли больной дело со свинцом, с каким-нибудь реактивом свинца или, может быть, со свинцовой пылью. Кирилл сказал — нет, не имел, но, подумав, припомнил, что в токарной мастерской училища действительно занимались обработкой цинковых деталей. Доктор поглядел на него весьма пристально и спросил: какие же детали вытачиваются из цинка, он что-то не слышал, для чего? Собственно, ни для чего, с технологическими целями, для пробы инструмента на мягком металле,— ответил Кирилл и мельком поглядел на мать, находившуюся тут же, в глазном кабинете. И по тому, как он посмотрел на нее и затем сразу отвернулся, Вера Никандровна вдруг поняла, что он солгал. Она испугалась своего открытия, тотчас решила, что заблуждается, но с того момента, как решила, что заблуждается, невольно начала следить, всегда ли сын говорит правду. Доктор определил болезнь как свинцовое отравление и высказал намерение заявить, где следует, чтобы в техническом училище получше думали о здоровье своих питомцев. Вере Никандровне почудилось, будто докторское заявление смутило Кирилла, но тут же она увидела, что он вовсе не смущен, а расстроен болезнью, да и сама она была повергнута в страшное беспокойство о его здоровье. Болезнь благополучно прошла, а впечатление от открытия, сделанного в кабинете врача, не уходило. Сердечность отношений между матерью и сыном, конечно, не исчезла, не могла исчезнуть, но едва заметным пятном обозначилась новая пора в нерушимой близости, как обозначается конец лета первым желтым листом, еще скрытым от взора яркой зеленью.

Вот и теперь словно закружился падающий желтый лист, напоминая, что все проходит, мелькнул, исчез, и опять, как всегда, Вера Никандровна смотрит в лицо сыну тем чистым взглядом, который говорит: я в тебя по-прежнему верю и убеждена, что ты ничего от меня не таишь.

— Я пойду погуляю,— сказал Кирилл, накидывая на плечи куртку.

— Ты ведь гулял недавно.

— Я только постоял за калиткой.

Кирилл пошел из комнаты увесистыми шагами еще не сложившейся походки. Он вообще придавал своему телу видимость тяжелого, хотя оно было легко, а движения его — быстры от природы.

Он не успел выйти за дверь. Она отворилась неуверенной рукой, и Парабукин заглянул в комнату из темноты сеней. Его мягкая грива слегка шевелилась на сквозном ветерке, шарова-

ры колыхались, как юбка, он был смутно виден и похож на великаншу.

— Кто это? Что вам надо? — забормотала Вера Никандровна.

— Папа! — воскликнула Аночка, выпрыгивая из-за стола.

— Вон ты где хоронишься,— сказал он кротко, переступая порог.— Здравствуйте, хозяева, извините, я за дочкой. Что ты тут?

— Мне картинки показывают.

— Картинки? Тоже хлеб-соль, спасибо. На-ка, возьми.

Он дал Аночке общипанный по краям бутерброд с ветчиной.

— Пойдем домой. Благодари за гостеприимство.

— Может, мы ее не пустим с вами,— без уверенности произнесла Вера Никандровна.

— Не пустим? Кем вы будете, чтоб и к родителям ребенка не отпускать?

— Вы с ней жестоко обращаетесь. Разве можно?

— Пусть она скажет, как с ней обращаются. Спросите у нее. А? Что же вы не спрашиваете, а?

— Скажи, хочешь идти с отцом или не хочешь? — тихо и ласково проговорила Вера Никандровна.

Аночка оторвала зубами кусок калача, рот у нее был полон, она замотала головой и, шлепая ступнями по полу, приблизилась к отцу. Стоя рядом с ним, она смотрела на Веру Никандровну, как на человека, которого видят впервые и не особенно хотят узнать. Парабукин торжествующе притянул Аночку к себе.

— Ешь ветчину, ветчину-то ешь,— поучал он, тыкая пальцем в бутерброд,— что ты один калач кусаешь?

Он тряхнул гривой и закинул голову, без слов утверждая свою отчую власть, свое превосходство над чужими людьми.

— Скажи спасибо за гостеприимство,— повторил он настойчиво и вызывающе.

Тогда Вера Никандровна обрела свою учительскую строгую нотку:

— Вы говорите о правах родителя, а зачем вам нужны права? Вы свою дочь даже учиться не пускаете. Она способная девочка, ей надо в школу.

— Благодарю покорно. Я тоже с образованием, а если что делаю не как другие, то не оттого, что глупее.

— Тогда вам должно быть совестно.

— Как кто захотел своим умом жить, так его совестью стращают.

— И это вы — при дочери? — ахнула Вера Никандровна.— Значит, вы своим умом решили девочку неграмотной оставить?

— А если вы такая совестливая, возьмите научите ее грамоте.

— Возьму и научу.

— И научите.

— И научу.

Кирилл неожиданно громко рассмеялся, и его смеху сразу отозвалась Аночка, отвернувшись и заткнув ладонью рот. Взрослые увидели себя петухами и, наверно, заговорили бы на другой лад, если бы в этот момент не раздался детский плач и Ольга Ивановна, с Павликом на руках, не влетела бы со двора в сени и затем в комнату.

— Простите, пожалуйста, я вас очень прошу,— заговорила она на бегу, еле переводя дух, поправляя дрожащими пальцами растрепавшиеся косицы волос и моргая огромными своими выпяченными глазами,— очень прошу извинить Аночку... Я все время ее искала, куда она могла убежать?.. Извините, что она не одета... И я тоже не одета. Тише, Павлик, чш-чш-чш! Возьми его, Аночка, он у тебя утихнет... Как же ты, милая, к чужим людям, ведь это нехорошо! Ах, бедная моя... И ведь все из-за тебя, Тиша, ну как тебе не стыдно? Что это такое, что это, а?.. Извините нас, мы очень вам благодарны! Я вижу, вы помирили отца с дочкой. Ах, какой стыд, Тиша...

Она не могла удержать сыпавшейся из нее речи, порываясь ко всем по очереди, испуганная и обрадованная, что, в сущности, все окончилось не так плохо, как она думала. Все глядели на нее, неподвижные и стесненные ее неудержимым чувством.

— И вы ее кормите, вы ее еще кормите бутербродами,— не унималась она, кланяясь Вере Никандровне,— спасибо вам и, пожалуйста, извините всех нас. Спасибо, спасибо. Аночка, дай Павлику калачика, он перестанет кричать. Пойдемте, пойдемте...

Она начала выпроваживать за дверь дочь и мужа, оглядываясь и извиняясь. Вера Никандровна перебила ее:

— Я обещала сводить вашу дочку на карусели. Вы ничего не имеете? Тогда пришлите ее завтра к нам, хорошо?

— Ах, я так благодарна, так благодарна,— рассыпалась Ольга Ивановна.

Извековы вышли их проводить. Парабукин, неловкий и будто растерявшийся, на прощанье спросил у Кирилла с детской любознательностью:

— Вы давеча и правда стали бы драться со мной у калитки?

— Если бы полезли, конечно, стал бы.

— Чудак, молодой человек! Да ведь я на пристанях тюки по двенадцати пудов таскаю. Рояль на спине держу.

— Ну что же,— пожал плечами Кирилл,— в своем доме стены помогают. Справился бы как-нибудь...

Он усмехнулся и стал глядеть, как потянулось через двор странное шествие: девочка с кричащим младенцем на руках, огром-

ный рыхлый Самсон следом за нею и позади маленькая быстрая женщина, которая все говорила, говорила, говорила.

— Удивительная семья,— сказала Вера Никандровна.

— Да, правда, удивительная,— ответил он.— Так я пойду погуляю.

— Пойди погуляй.

И так же, как они вдвоем глядели за Парабукиными, так она одна смотрела теперь вслед сыну, пока он переходил двор, постоял в калитке, раздвинув локти, и пока не исчез на улице.

Неужели он все-таки мог утаивать что-нибудь от нее?

9

В городе был большой бульвар с двумя цветниками и с английским сквером, с павильонами, где кушали мельхиоровыми ложечками мороженое, с домиком, в котором пили кумыс и югурт. Аллеи, засаженные сиренями и липами, вязами и тополями, вели к деревянной эстраде, построенной в виде раковины. По воскресеньям в раковине играл полковой оркестр. Весь город ходил сюда гулять, все сословия, все возрасты. Только у каждого возраста и каждого сословия было свое время для посещения бульвара и свое место, приличное для одних и недопустимое для других. Бульвар назывался Липками и под этим именем входил в биографию любого горожанина, как бы велик или мал он ни был. В новом цветнике, открытом со всех сторон солнцу, слышались пронзительные крики: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло»,— и стрекотанье неутомимых языков: «Вам барыня прислала туалет, в туалете — сто рублей, что хотите, то купите. Черное с белым не берите, «да» и «нет» не говорите, что желаете купить?» В английском сквере после заката, упиваясь густым, дурманящим ароматом табака, безмолвно сидели дамы с зонтиками и серьезные мужчины в чесучовых кителях, читающие романы Амфитеатрова. По утрам кумысный домик привлекал людей со слабыми легкими, и пятна солнца, прорвавшиеся сквозь листву на столики, освещали около недопитых стаканов неподвижно лежащие бледные длиннопалые руки. На праздники являлись послушать военную музыку приказчики, мастеровые и толпою стояли перед раковиной, аплодируя, крича «бис», когда оркестр сыграл марш «Железнодорожный поезд». В аллеях продвигались медленными встречными потоками гуляющие пары, зажатые друг другом, шлифуя подошвами дорожки и наблюдая, как откупоривают в павильонах лимонад, как роится мошкара под газовыми фонарями и дымчато колышется поднятая с земли пудра пыли.

Нет, не здесь встречались Лиза и Кирилл. В городе был другой бульвар — маленький прямоугольник зелени в переулке, недалеко от волжского берега. Тут тоже теснились подстриженные акации у деревянной ограды, и сирени переплетали жгуты своих стволов, напоминавшие обнаженные мышцы, и росли вязы, и старились липы. Но тут не продавали мороженого, и не было павильонов, не играл оркестр, и не пили кумыса. Тут обреталась одна сторожка с мусорным ящиком в форме пианино, к которому сторож прислонял метлу и пару лодочных весел, да было врыто несколько низеньких зеленых скамеек вдоль единственной аллеи, пронзившей бульвар из конца в конец воздушною стрелою. Бульвар носил общеизвестное в городе прозвище: Собачьи Липки, и в его тень заглядывали только случайные прохожие — помахать перед носом фуражкой или платочком, вытереть лысину, передохнуть и — шагать дальше по своим житейским делам.

Собачьи Липки вошли в историю Лизы и Кирилла так, как большие, настоящие Липки входили в истории множества молодых людей — незабвенным, почти роковым обозначением самых дорогих переживаний на пороге юности. Здесь, когда ни Лизе, ни Кириллу еще не исполнилось шестнадцати лет, он передал ей первую записку, сочиненную на чердаке училища, где гнездились голуби, под хлопанье крыльев этих домовитых птиц, при дневном свете слухового окна. В записке трепетало его сокровенное чувство, но если бы ее прочел преподаватель словесности, раскрылась бы другая тайна: перед тем как забраться на чердак с бумагой, пером и чернильницей, он только что кончил читать «Героя нашего времени», и записка к Лизе по словам получилась не менее трагичной, чем прощальное письмо Веры к Печорину, а по смыслу она была полна солнечных надежд. Она была передана Кириллом при расставанье, из ладони в ладонь, и Лиза спросила в испуге:

— Что это?

— Записка,— сказал Кирилл чуть слышно.

— Кому?

— Вам.

— Зачем?

— Прочтите дома,— едва выговорил он, боясь, что она ее не возьмет.

Но она покраснела, сунула записку под передник на грудь и убежала, а он стоял, дыша, как насилу вынырнувший из воды человек.

Они не встречались очень долго, а когда опять встретились, Лиза отдала ему записку назад и проговорила с гневом:

— Как вы смели... как вы смели написать мне на «ты»! Перепишете всё на «вы»!..

Теперь, спустя два года, он стал уже настолько взрослым, что улыбался, вспоминая историю с запиской, но тогда требование рассерженной Лизы пробудило в нем небывалую ответственность, и он старательно исполнил его — переписал свое признание на «вы».

В то первое лето их встреч они открыли в Собачьих Липках свою особую аллейку между зарослями старых сиреней и стеною акаций — узенькую тропу, сокрытую даже от глаз сторожа. Здесь Кирилл впервые взял руку Лизы, и она не отняла ее, и они начали ходить по своей аллейке, волнуясь от этих робких прикосновений друг к другу, обрадованные и счастливые. Здесь в конце лета Лиза выговорила слово, возмутившее ее в начале лета, едва она увидела его написанным на клочке бумаги: ты. Здесь, на другое лето, Кирилл сорвал распустившийся султан белой сирени и, осторожно приложив его к груди Лизы, рядом с ее гимназическим бантом, сказал, что к коричневому платью очень идет белый цвет. И когда Лиза брала сирень, она прижала его пальцы к своей маленькой груди, и оба они секунду стояли как оглушенные. А потом она спрятала султан под передник, чтобы не попасться сторожу.

У них была излюбленная скамейка в дальнем конце аллеи, за сторожкой. Они вели там рассуждения по очень спорным вопросам, например: является ли совесть абсолютным понятием или бывают разные совести, допустим — совесть нищих, совесть гимназистов и техников, совесть женщин и мужчин. Да и вообще, не выдумка ли это — совесть, вдруг сомневался Кирилл. И Лиза шепотом возражала:

— Ты с ума сошел! Когда человек краснеет, ему же ведь совестно...

— Нет, я говорю философски.

— И я говорю философски. Раз кровь бросается в лицо или ты не можешь спать от раскаяния, значит, что-то существует? Это «что-то» есть совесть.

— Ну, если раскаяние — это функция...— говорил он, задумываясь, и разговор терялся в дебрях отвлеченностей, как уплывающие в туман паруса.

Чаще говорилось о том, что станется, когда они будут вместе. Это так и называлось, из года в год: когда мы будем вместе. Каждый подразумевал под этим, что хотел, но оба думали, что прекрасно понимают друг друга. Им вообще казалось, что они все знают друг о друге и давно-давно живут один для другого. Оба они скрывали свои встречи от домашних, Кирилл — потому, что находил, что мать не требует отчета в его личных делах, Лиза — потому, что боялась отца.

Но в третье лето или, вернее, с приходом третьей весны, они обсудили самый важный вопрос: пора ли открыть тайну? Лиза кончала гимназию, Кириллу оставалось учиться год, они уже видели себя студентами, в маленьких комнатах или, может быть — неужели? — в одной комнате, где-то в Москве. Решено было, что Лиза сначала признается матери. Это будет ничуть не страшно: во-первых, Валерия Ивановна кое-что уже подозревает; во-вторых, она так добра, и, значит, в-третьих, она подготовит к новости Меркурия Авдеевича. Кириллу не составит никакой трудности объявить обо всем Вере Никандровне.

— Я просто поставлю ее в известность,— сказал он даже слегка небрежно.

— Тебе вообще легко,— заметила Лиза,— ты ведь и тайну легко держал. А я все время мучаюсь ею. Ведь это все равно что говорить неправду.

— Огромная разница! — решительно возразил он.— В первом случае молчишь, а во втором говоришь.

— По-моему, все равно, молчать о правде или говорить неправду... Скажи, ты мог бы скрыть от меня правду?

— Н-ну... если это ради какой-нибудь очень важной цели... наверно, мог бы.

— А сказать неправду?

— Почему ты спрашиваешь?

— Нет, скажи.

— Солгать? Разве я тебе когда-нибудь лгал?

— Никогда! — негодующе сказала Лиза, но тут же вкрадчивым голосом спросила: — И не будешь?

— Почему ты спрашиваешь? — уже с обидой повторил он.

— Так просто,— ответила она почти нехотя и, немного помолчав, заговорила, словно о чем-то совершенно отдаленном: — Ты с Петром Петровичем знаком?

Кирилл вдруг сбился с шага, быстро взглянул на нее, отвел глаза и пошел медленнее.

Разговор происходил на улице, в тот день, который они назвали днем Независимости. Кирилл увидел Лизу возвращавшейся поутру домой от обедни, подошел к ней, и это было так неожиданно, смело и весело, что они внезапно приняли три решения: провозгласить день Независимости, пройти в тот же день открыто по улице мимо дома Мешковых, а на другой день, в честь Независимости, отправиться вдвоем на карусели. У Лизы стучало сердце, когда они, нарочно неторопливо, нога в ногу, шагали по улице, где всякий кирпичик на тротуаре и всякий сучок в заборе были ей знакомы и где стоял ее родной дом. Она все ждала — вот-вот ее окликнет голос отца, неумолимо-строгий голос, звук

которого мог повернуть ее судьбу, и она была уверена, что добрый глаз матери, наполненный слезою, горько глядит за ней из окна. И ей было страшно и стыдно. Но они прошли мимо дома, и ничего не случилось. И, так же чинно шествуя по улице, Кирилл рассказал Лизе про случай с Аночкой, про знакомство с Цветухиным, и потом они обсудили, как лучше открыть дома тайну, и начали разговор о правде и неправде, и Кирилл вдруг сбился с шага.

— Какой это Петр Петрович? — по виду спокойно отозвался он на ее вопрос.

— Рагозин,— сказала Лиза.

— Да,— ответил он безразлично,— знаком. Так, как мы все знакомы с соседями по кварталу. Кланяемся.

— Ты у него бываешь?

— Зачем мне бывать?

— Вот и солгал! — торжествующе и пораженно воскликнула Лиза.

— Нет,— сказал он жестко, еще больше замедляя шаг.

— Я вижу по лицу! Ты побледнел! Что ты скрываешь? Я знаю, что ты у него был.

— Вот еще,— упрямо проговорил он.— Откуда ты взяла?

— А ты заходил на наш двор с толпой мальчишек? Помнишь, на второй день пасхи, когда к нам пришел болгарин с обезьянкой и с органчиком и привел за собой целую толпу зевак, помнишь?

— Ну и что же — заходил! Посмотрел на обезьянку и ушел. Я даже, если хочешь, заходил больше, чтобы на твои окна посмотреть: может быть, думал, тебя увижу, а вовсе не из-за обезьянки. Нужна мне обезьянка!

— Вот и неправда. Еще больше неправда. Я стояла в окне и смотрела на представление. Могу тебе рассказать, что делала обезьянка, все по порядку. Сначала она показывала, как барыня под зонтиком гуляет, потом — как баба за водой ходит, потом — как пьяный мужик под забором валяется...

— Я вижу, ты все на обезьянку смотрела. Не мудрено, что меня потеряла,— усмехнулся Кирилл.

— Я тебя отлично видела, пока ты стоял позади толпы. А вот ты ни разу не поднял голову на окно. Ни разу! Иначе ты меня увидел бы. Меня позвали дома на минутку, я отошла от окна, а когда вернулась, тебя уже не было.

— Надоело смотреть на ломанье, я и ушел.

— Куда?

— На улицу, домой.

— Я сейчас же побежала посмотреть на улицу, тебя не было. Ты исчез, не уходя со двора. Куда же ты делся? Можно было уйти только к Рагозину.

— Ну, Лиза, при чем тут Рагозин? — повеселев, улыбнулся Кирилл, и его нежность смягчила ее. Успокоенная, но с оттенком разочарования, она вздохнула:

— Все-таки я убедилась, ты можешь скрыть от меня правду.

— Я сказал — бывает правда, которую не надо говорить.

— Как,— опять воскликнула Лиза,— может ли быть две правды? Которую надо и которую не надо говорить?

Она резко повернулась к нему, и так как они как раз заходили в Собачьи Липки, то перед ней, как на перевернутой странице книги, открылась улица, пустынная улица, по которой шел единственный человек, и она узнала этого единственного человека мгновенно.

— Отец! — шепнула она, забыв сразу все, о чем говорила.

Она вошла в ворота бульвара, потеряв всю гибкость тела, залубеневшая в своем форменном платье, вытянувшаяся в струнку. Но тотчас она бросилась в сирени, густыми зарослями обнимавшие аллею.

— Тихо! — строго произнес Кирилл, стараясь не побежать за нею.— Тихо, Лиза! Помни — день Независимости!

Он подтянул на плечо сползавшую куртку, которую с весны носил внакидку, что отличало мужественных взрослых техников от гимназистов, реалистов, коммерсантов, и медленно скрылся там, где шумела, похрустывала тревожно раздвигаемая Лизой листва.

Когда Меркурий Авдеевич подошел к бульвару, аллея была пуста. Он сразу повернул назад. Вымеривая улицу непреклонными шагами, вдавливая каблуки и трость в землю, как будто любую секунду готовый остановиться и прочно стоять там, где заставит необходимость, он слушал и слушал возмущенным воображением, что скажет, придя домой, жене, Валерии Ивановне. Он скажет:

«Потворщица! Что же ты смотришь? Когда бы дочь твоя фланировала с кавалерами в Липках, на большом бульваре,— была б беда, да не было б стыда! Кто не знает, что Липки есть прибежище легкомыслия и распущенности? Но Липки-то общественное место. Там шляются не одни ловеласы, там найдешь и приличного посетителя. Туда даже чахоточные ходят за здоровьем, не только голь-шмоль и компания. А что такое Собачьи Липки? Как этакое слово при скромном человеке выговорить? Кусты — вот что такое твои Собачьи Липки! Кусты, и больше ничего! И в кустах прячется с мальчишкой срамница твоя Елизавета. Вот какое ты сокровище вырастила своим потворством. Нет у твоей дочери ни стыда, ни совести!»

Так Меркурий Авдеевич и скажет: нет у дочери ни стыда, нет у нее ни совести! Нет.

10

Блистающее сединой огромное кучевое облако падает с неба на землю, а ветер свистит ему навстречу — с земли на небо: это люлька перекидных качелей взвивается наверх и потом несется книзу — ух! ух! плещутся девичьи визги, вопят гармонии, голосят парни:

Плыл я верхом, плыл я низом,
У Мотани дом с карнизом...

Барабаны подгоняют самозабвенное кручение каруселей, шарманщики давно оглохли, звонки балаганов силятся перезвонить друг друга,— площадь рычит, ревет, рокочет, кромсая воздух и увлекая толпу в далекий мир, где все подкрашено, все поддельно, все придумано, в мир, которого нет и который существует тем прочнее, чем меньше похож на жизнь.

Паноптикум, где лежит восковая Клеопатра, и живая змейка то припадет к ее сахарной вздымающейся груди, то отстранится. Панорама, показывающая потопление отважного крейсера в пучине океана, и в самой пучине океана надпись: «Наверх вы, товарищи, все по местам,— последний парад наступает! Врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает!» Кабинет «Женщины-паука» и кабинет «Женщины-рыбы». Балаган с попугаем, силачом и балериной. Балаган с усекновением, на глазах публики, головы черного корсара. Балаган с танцующими болонками и пуделями. Театр превращений, или трансформации мужчин в женщин, а также обратно. Театр лилипутов. Дрессированный шотландский пони. Человек-аквариум. Хиромант, или предсказатель прошлого, настоящего и будущего. Американский биоскоп. Орангутанг. Факир... Все эти чудеса спрятаны в таинственных глубинах — за вывесками, холстинами, свежим тесом, но небольшими частицами — из форточек, с помостов и крылец — показываются для завлечения зрителя, и народ роится перед зазывалами, медленно передвигаясь от балагана к балагану и подолгу рассчитывая, на что истратить заветные пятаки — на Клеопатру, крейсер или орангутанга.

В народе топчутся разносчики с гигантскими стеклянными графинами на плечах, наполненными болтыхающимися в огне солнца ядовито-желтыми и оранжево-алыми питьями. Подпоясанные мокрыми полотенцами, за которые заткнуты клейкие кружки, они покрикивают тенорками: «Прохладительное, усладительное, лимонное, апельсинное!» А им откликаются из разных углов квасники и мороженщики, пирожники и пряничники, и голоса снуют челноками, прорезывая шум гулянья, поверх фуражек, платков, шляп и косынок. Сквозь мирный покров пыли, простирающийся

над этим бесцельным столпотворением, здания площади кажутся затянутыми дымкой, и Кирилл оглядывается на все четыре стороны и видит за дымкой казармы махорочную фабрику, тюрьму, университет. Ему уже хочется отвлечься от пестроты впечатлений, он выводит Лизу из толчеи, они останавливаются перед повозками мороженщиков, и он спрашивает:

— Ты какое будешь — земляничное или крем-брюле?

Они берут «смесь», и он, ловя костяной ложечкой ускользающие по блюдцу шарики мороженого, говорит:

— Я помню, что тут делалось, когда я был маленький. Знаешь, осенью здесь тонули извозчики. Лошадей вытаскивали из грязи на лямках. А весной пылища носилась такая, что балагана от балагана не увидишь. Каруселей было куда больше, чем сейчас. Меня еще отец водил сюда, сколько лет назад. Давно...

— Ты не любишь размять мороженое? — спросила Лиза.— Оно тогда вкуснее.

— Нет, я люблю твердое.

— Ну что ты! Когда оно подтает, оно такое маслянистое.

— Это университет прижал балаганы в самый угол,— сказал Кирилл.— Он скоро совсем вытеснит отсюда гулянья. Может, мы с тобой на последних каруселях. Тебе нравится здание университета? Да? И мне тоже. Оно такое свободное. Ты знаешь, его корпуса разрастутся, перейдут через трамвайную линию, вытеснят с площади карусели, потом казармы, потом тюрьму...

— Что ты! — сказала Лиза.— Тюрьму никогда не вытеснят.

— А я думаю — да. Смотри, как все движется все вперед и вперед. Ведь недавно мы с тобой на конке ездили. А теперь уже привыкли к трамваю. И не замечаем, что в пять раз быстрее. И живем уже в университетском городе. И, может быть, не успеем оглянуться, как не будет никаких казарм, никаких тюрем...

— Совсем?

— Совсем.

— Нет,— опять возразила Лиза,— это называется утопией.

— Я знаю, что это называется утопией. Но я сам слышал, как у нас спорили, что мы никогда не дождемся университета. А все произошло так скоро. Ведь верно?.. Давай еще съедим шоколадного и сливочного, хорошо?

— Балаганов будет жалко, если их задушит университет,— сказала Лиза.

— Университет ничего не душит. Он будет насаждать свободу,— произнес Кирилл, подвинувшись к Лизе.

Она посмотрела на белые стены тюрьмы долгим грустным, немного влажным взором и, машинально разминая мороженое, спросила:

— Почему у одного здания на окнах решетки, а у другого какие-то кошели?

Он убавил голос, насколько мог:

— С кошелями это каторжная тюрьма. Там больше политические. Свет к ним проходит, а они ничего не видят, только кусочек неба, если стоят под самым окном. А с решетками — обыкновенный острог. В девятьсот пятом году я видел, как через решетки махали красными платками. У тебя есть знакомые политические?

— Нет. Я очень боялась бы.

— Боялась? — не то с удивлением, не то обиженно переспросил он.

— Я, наверно, показалась бы такому человеку несмышленышем.

— Почему? Ты могла бы говорить, о чем захотела. Все равно как со мной.

— Что за сравнение? Я не могла бы ни с кем говорить, как с тобой. А у тебя разве есть такие знакомые?

— Есть,— ответил он, озираясь.— У меня есть.

— Рагозин? — спросила она быстро.

— Фамилии в таких разговорах не называют.

Ей показалось, он произнес это с некоторой важностью, и, промолчав, она опустила глаза в тарелочку. Мороженое уже растаяло на солнце.

— Я не хочу больше,— сказала она.

— Ты ведь любишь такую размазню.

— Но теперь я не хочу.

Они расплатились с мороженщиком. Незаметно их снова втянул упрямый людской вал, откатывая от одного балагана к другому, и, чтобы народ не разделил их, они взялись за руки.

— Если гуляний не будет, все-таки жалко,— заговорила Лиза.

— Главное в движении...— отозвался он в тот момент, как их остановила толпа перед балаганом, где представлялось усекновение головы черного корсара королем португальским.

Их сдавили со всех сторон жаркие, разморенные тела и, повернув Лизу лицом к Кириллу, прижали ее к нему так, что она не могла шевельнуть пальцем. Она разглядела в необыкновенной близости его темные прямые брови и булавочные головки пота над ними и над верхней прямой и смелой губой. Он был серьезен, и ей стало смешно.

— Да, главное в движении,— повторила она за ним, еще пристальнее рассматривая его губы.— У тебя усы. Я только сейчас вижу.

Он сказал, не замечая ее улыбки, почти строго:

— Все движется. Когда исчезнут балаганы, народ пойдет в театры.

— Ну, театр — совсем другое! Я страшно люблю театр. Так люблю, что отдала бы за него все.

— Зачем? — спросил Кирилл еще строже.

— Чтобы быть в театре.

— Играть?

— Да.

— Ты мне никогда не говорила.

— Все равно этого не будет, это только так, фантазия,— сказала она, вздохнув, и он ощутил ее горячее и легкое дыхание, овеявшее его лицо и чуть напомнившее запах молока.

Так же, как она, он рассматривал ее близко-близко.

Каждая ресничка ее была видна в отдельности, зеленовато-голубой цвет ее глаз был чист и мягок, подбородок, слегка вздрогнувший, нежен, волосы тонки, слишком тонки и полны воздуха. Она жмурилась от солнца и откидывала голову чуть-чуть назад, чтобы лучше видеть его, а он так хорошо, так ясно видел ее. Она постаралась высвободить свои руки, а он нарочно держал их и был доволен, что толпа продолжала давить, колыхаясь.

— Ты не похожа на актрису,— сказал он.

— А какие актрисы?

— Другие. Ты лучше.

Ей удалось повернуться, им обоим хорошо стал виден балаган. Раздвигая холщовые занавески входа, оттуда неожиданно пошел народ, щурясь после темноты и нажимая на толпу. Всполошный колокол, подвешенный на деревянную глаголь, забил к началу нового представления, и на высоком помосте, как на эшафоте, показался португальский король. Облаченный в парчовый кафтан, с короной на мочальных волосах, заплетенных в косицу, он воссел на трон, под самый колокол. Заложив ногу на ногу — в белых нитяных чулках и в золоченых туфлях с загнутыми по-татарски носочками,— он высморкался в красный платок и начал не спеша обтирать мокрую шею. У него была бородка в виде кубика, отклеившаяся с одного бока, и на щеках — румянцы, как китайские яблочки.

Едва притих колокол, из народа крикнул кто-то:

— Пал Захарыч, ну, как?

Павел Захарович, в ситцевой рубахе и в картузе, сразу нашел окликавшего и бурно заработал локтями, стараясь выплыть из толпы, которая уже видела казнь корсара, и вплыть в толпу, которая казни не видала.

— Оттяпали,— с удовольствием и певуче проголосил он, так что все люди вокруг обернулись и стали его слушать.— Оттяпали

начисто! Кровищ-и-и, милый мой! Палач, заплечный мастер, кудри его буйные вот так вот на руку намотал и секирой по шее ка-ак махнет — так башка начисто! И он ее в корзинку — швырк, она так, брат, на дно — стук, точно колода, и тело без головы рухнуло и боле не встало. Оборвата веселая жизнь, конец, значит, отгулялась! Палач перчаточки скидавает и — в корзинку их, следом за башкой. И ручки обтер — я, мол, ни при чем, мне — что прикажут. А король...

Тут Павел Захарович погрозил пальцем на короля португальского, и толпа разом обратила головы, следуя его жесту.

— Вот тот, сидит в короне — он и носом не повел: приказал казнить разбойника и своего слова царского не переменил ни на малость. Глядит, ехидна, как вольная кровушка с секиры на землю капает, и хоть бы что... Эх, брат! Поди сам посмотри, право. Не пожалеешь, ей-богу, право...

Колокол опять забил всполох, и на помост перед народом вышел усатый палач в красном хитоне по колено, в цилиндре и стал бок о бок с королем. Народ волной перевалился ближе к помосту.

В эту минуту Лиза увидела Веру Никандровну, появившуюся с толпой из балагана. Тотчас вспомнив отца и то, что он ни слова пока не сказал о вчерашнем и что еще предстоит самое тягостное, она почувствовала тоскливую боль, тихо наплывшую к сердцу. Она не могла ничего выговорить и предупреждающе сжала руку Кирилла, но он неверно понял и ответил благодарным пожатием. Никуда нельзя было уйти в этой давке от разговора, о котором Лиза старалась не думать. Не сводя глаз с Веры Никандровны, она наконец сообразила, что та видит их тоже и пробирается к ним.

Кирилл вдруг обрадовался:

— Вот мама. Как хорошо! Сейчас я тебя представлю.

Вера Никандровна была не одна,— она вела Аночку, приглаженную и праздничную, стараясь защитить ее от толкотни. Уже до того, как Кирилл произнес: «Это Лиза, познакомьтесь», Вера Никандровна смотрела на нее тем всевидящим, безжалостным и стремительным взглядом, каким глядят только матери, осматривая девушку, которая может все пошатнуть и перепутать в судьбе сына. Лиза вспыхнула, похорошела от смущения, но оно не длилось и минуты, потому что немедленно завязанный разговор стушевал мысли, волновавшие всех, кроме Аночки. Присутствие ее оказалось очень к месту, отвлекая на себя общее внимание.

— Понравилось тебе? — спросил ее Кирилл.

Она ничего не могла ответить: в глазах ее еще темнел только что покинутый сумрак, подсвеченный желтыми мигающими огнями, и в огнях ей продолжали чудиться страшные, бесшумные

люди, как в ночном видении. Их жизнь — в этих огнях — летела так быстро и в то же время была так странно медленна, что Аночка могла бы повторить каждый шаг палача, каждый вздох корсара, каждое мановение короля. Они были величавы и грозны. Могла ли она ответить на вопрос, понравились ли они ей? Они подавили ее.

— Она даже закричала, когда разбойнику отрубили голову,— сказала Вера Никандровна.— Я раскаиваюсь, что повела ее в этот ужасный балаган. Ей было очень страшно. Но она так просила, что нельзя было устоять.

— Нет, нет! Не раскаивайтесь! — вскрикнула Аночка, схватив за руки Веру Никандровну и прижимаясь к ней.— Мне не страшно, правда, правда. Я ни капельки не боялась.

Она вздрагивала, рот ее непрерывно двигался, она то облизывала, то кусала губы.

— Конечно, Аночка, нечего бояться,— сказал Кирилл,— ты ведь знаешь, что это все нарочно.

— Нет, не нарочно, а по-правдышному,— решительно ответила Аночка.

— Ничего не по-правдышному. Что же ты думаешь, корсару на самом деле голову отрубили? И кровь-то не настоящая льется, а из клюквы.

— Нет, не из клюквы.

— А из чего же?

— Из крови.

— Ну ты совсем маленькая.

— Нет, не маненькая. Там большие сидели, и все поверили. Потому что правда. Там и артисты были, которые к нам вчера приезжали.

— Да,— сказала Вера Никандровна,— Цветухин сидел рядом с нами. И, знаешь, Кирилл, очень аплодировал. Я уж удивлялась, неужели ему может понравиться?

— Вон он выходит,— перебил ее сын, выпрямившись, словно боясь, что его могут не заметить.

Цветухин держал под руку Пастухова, который хохотал и отряхивал белый костюм,— они оба были в белом с ног до головы и очень выделялись из толпы, особенно — панамами с желтой у одного и оранжевой у другого ленточками. Они выходили последними и не вместе с публикой, а из какой-то занавешенной лазейки, откуда являлись на помост лицедеи. Народ уже рассеялся и клубился кучей только перед королем и палачом, разглядывая их облачения и секиру, с запекшимися следами чего-то красного на изогнутом лезвии. Оттесненные этой кучей зевак, Цветухин с Пастуховым остановились перед Извековыми. Кирилл снял фу-

ражку, Цветухин поздоровался с ним, узнал Аночку, похлопал по плечу.

— Вчерашняя знакомая, Александр, узнаешь? Вы, я вижу, подружились? — сказал он Кириллу.

— Да. Это моя мама, позвольте представить. Это Лиза Мешкова. Вас я не называю, потому что вы всем известны.

— Мешкова? Дочь того Мешкова? Меркурия Авдеевича? — спросил Цветухин.

— Да,— чуть слышно выдохнула Лиза.

— Александр, дочь того Мешкова,— сказал Цветухин.

Пастухов, подавая руку, продолжал отряхиваться и оглядывать свой костюм. Он обратился ко всем сразу, как к давнишним приятелям, на которых можно и не обращать внимания, разговаривая:

— Ходил смотреть эшафот. Чудовищная машина, скажу вам. Черт знает что! Перемазались в клюкве, живого места не осталось. Ужас что такое!

— Слышишь, Аночка? Я говорил, никакой крови нет, а есть клюква,— сказал Кирилл.

Аночка косилась на Пастухова почти враждебно. Он помигал на нее, перевел глаза на Кирилла, проговорил с поучением:

— Никакой клюквы, молодой человек, да будет вам известно. Самая настоящая пиратская кровь, пролитая настоящим палачом его величества. Ты права, девочка. Это только называют клюквой кровь, чтобы не было чересчур страшно.

Он взял Аночку за подбородок.

— Смотри, Егор, лицо. Сирена. Женщина-рыба, ха!

— Мы видели женщину-рыбу,— с выражением превосходства похвалилась Аночка, уверенная, что над ней никому не удастся подшутить.

— Ну, хочешь сделаться рыбой? — спросил Пастухов.

— Вы противоречите себе,— произнес Кирилл суховато.— Если кровь настоящая, то и сирена настоящая. Как же можно Аночку превратить в сирену?

— Вы полагаете? — серьезно спросил Пастухов, и тогда Кирилл продолжал с достоинством:

— Конечно. Но ведь всем же известно, что эти фокусы основаны на игре зеркал...

— Да? — еще серьезнее сказал Пастухов и потом, помолчав, внезапно, на свой лад, захохотал, вытер ладонью лицо и уже небрежно, процеживая сквозь зубы слова, вымолвил: — Советую вам, молодой человек, бросить все разъедающий скепсис. Излишний рационализм, говоря научно, вот что это такое. Я верю в то, что показывают с подмостков. Верю, что женщин можно превра-

щать и в рыб, и во что угодно. Хотите стать женщиной-рыбой? — вдруг, улыбаясь, повернулся он к Лизе.

— По темпераменту — нет,— ответила она, загоревшись.

Все посмотрели на нее. Краска еще больше разлилась по ее лицу, она увидела, что Кирилл тоже вспыхнул, и заторопилась поправиться:

— Я просто вспомнила, что одну подругу в нашем классе прозвали Карасихой за ее флегматичный темперамент. Я же совсем не флегма,— правда, Кирилл? И уж если превращаться, то во что-нибудь другое.

— В паука хотите? — деловито предложил Пастухов.

Всем стало весело. Вера Никандровна почувствовала прилив гордости за сына и расположение к Лизе, как будто он выдержал важный экзамен, а Лиза помогла ему в этом.

— Вам, правда, понравилась пантомима? — улыбнулась она Цветухину.

— Очень. Я в восторге от корсара, особенно когда он, перед тем как войти на эшафот, отказался просить о помиловании. Как он сыграл! Чудо!

Цветухин ударил себя в грудь, показал на ноги, в землю, поднес руку к лицу Пастухова и указательным пальцем поводил у него под самым носом из стороны в сторону. Это означало: ты хочешь, португальское твое величество, чтобы я встал перед тобой на колени? — шалишь!

Король увидел со своего помоста игру Цветухина, взглянул на палача, они оба засмеялись, и кто-то из толпы сказал: «Смотри, тоже артисты!»

— А вы в котором балагане представляете? — спросила Аночка.

— Я?! — под общий смех воскликнул Цветухин.— Я представляю в самом большом балагане. Подрастешь, приходи смотреть.

— Вы разбойник?

— Страшный разбойник. Меня все боятся.

— Я не боюсь,— сказала Аночка, поднимая голову.

Цветухин обнял ее. Говоря с ней, он все время глядел на Лизу. Что-то общее казалось ему в том, как они слушали его. Только в Аночке было больше недоверия, в Лизе — трепетного любопытства.

— Вы любите театр? — вдруг спросил он у нее.

— Очень,— опять чуть слышно сказала она, и ей было приятно, что колокол, вновь ударивший свой отчаянный набат, почти заглушил ее ответ. Как будто ожидая, что она повторит его,

Цветухин шагнул к ней и произнес громко, но так, что едва ли кто-нибудь слышал, кроме нее:

— Будете в театре — заходите ко мне. Прямо за кулисы.

Она не ответила.

Пастухов тронул его за локоть.

— Пойдем. Мы решили с ним обойти все балаганы,— добавил он, начиная прощаться.

Когда они отошли, Цветухин спросил:

— Заметил, Александр, как она опускает глаза?

— Девочка?

— Не девочка, а девушка.

Пастухов промолчал. Пройдя несколько шагов, Цветухин оборотился назад. В толпе уже не видно было ни Лизы, ни Извековых.

— Прекрасная девушка,— сказал Цветухин.

Пастухов сделал вид, что не слышит.

— Правда, говорю я, какая чудесная девушка эта Мешкова?

Пастухов помигивал на встречных квасников, лоточников, балаганных зазывал. Вдруг он остановил Цветухина и, не говоря ни слова, ткнул пальцем в вывеску. На вывеске был изображен черный пудель на задних лапах, с тростью и белыми перчатками в зубах.

— Понял?

— Что?

— Понял, что это такое?

— Ну, что? Кобель с тросточкой.

— Так вот это ты и есть,— сказал Пастухов убежденно.

Они покосились друг на друга, и оба улыбнулись. Цветухин — с беглым оттенком растерянности.

11

В октябре девятьсот пятого года, во время еврейского погрома, Петр Рагозин был взят полицией на улице с группой боевой дружины, стрелявшей по громилам. При аресте никакого оружия у него не оказалось, но угодливый свидетель утверждал, что Рагозин стрелял и ранил в толпе ломового извозчика. Однако принадлежность арестованного к боевой дружине доказана быть не могла. Продержав Рагозина год в тюрьме, его отправили — за участие в уличных беспорядках — на три года в ссылку.

В тот день, когда он уходил с этапом, умер от скарлатины его двухлетний сын, но он об этом узнал не скоро. Его жена — маленькая женщина — Ксения Афанасьевна, или Ксана,— белень-

кая, с приподнятыми бровками и точеным носиком, с острыми локотками и узко вытянутыми, как челнок, кистями рук, рядом с Петром Петровичем могла сойти за его дочь. Он был ширококостный, сухой. На длинных, слегка покривленных его ногах громоздилось объемистое туловище с большим наклоном вперед, так что казалось, будто оно, того и гляди, свалится с ног наземь. В момент ареста он был лет тридцати, но его большое лицо, в плотной щетинке русой бороды и с усиками колечком, играло доброй, всепонимающей безмолвной улыбкой, какая встречается у бывалых, умудренных возрастом людей, так что ему давали и за сорок. Переваливаясь рядом со своей Ксаной, он родительски оберегал ее наклоненным своим корпусом, и она принимала эту защиту естественно, как существо слабое, хрупкое. Улица любила глазеть на них, посмеиваясь и бормоча рагозинское прозвище: Вавилонское колесо либо просто Вавилон. Посмеиванье это утратило всякую язвительность, а сделалось трогательным, когда у Ксаны появился ребенок и по праздникам Петр Петрович, больше прежнего клонясь вперед и ступая на цыпочки, начал носить его, завернутого в стеганое лоскутное одеяло, с уголком кружевной простыни, обозначавшим место, где должна была находиться голова младенца.

— Эвон, Вавилон покатил свое семейство,— подшучивали соседи.

Они считали Рагозиных счастливой, даже нежной парой. И правда. Ксана запомнила только единственную грубость мужа — в то несчастное утро погрома.

Она стояла тогда с соседями перед воротами, держа икону, чтобы погромщики не приняли дом, в котором она жила, за еврейский. Черная орава, размахивая гвоздырями, свища и воя по-волчьи, катилась дорогами, а кое-кто из старательных охотников до крови забегал во дворы, вынюхивал следы попрятавшихся евреев или брошенные ими квартиры, и толпа кидалась на обнаруженную добычу и крушила подряд — человеческие кости, оконные рамы, кричащих детей, этажерки с посудой, оставляя позади себя ползущий смрад пожаров. Вдруг из-за угла выбежали несколько человек, развертываясь цепочкой поперек дороги. «Бей в упор»,— негромко приказал чей-то голос. Ксана не заметила, как Петр Петрович, стоявший все время рядом с ней у ворот, зашел в дом. Она увидела его, когда он неожиданно появился крайним в цепи и быстро пошел с людьми, ни разу не оглянувшись. Ксана сунула кому-то икону и бросилась за ним. Она схватила его, но он продолжал шагать, не вынимая рук из карманов, не оборачиваясь, маятниковой своей развалкой. Она вцепилась в его пиджак. Он шагал дальше. Она повисла на нем, крича: «Петя, Петенька! Род-

ненький!» Он волочил ее, как будто не замечал тяжести. Она взвизгнула: «Подумай о ребеночке нашем, Петр!» Он оборотился, отодрал ее пальцы от пиджака, с озлоблением толкнул ее на тротуар и ушел. Лежа на земле, она расслышала щелканье револьверной стрельбы и, уткнувшись лицом в ладони, заплакала.

Петр Петрович не вернулся домой. Для Ксаны это было, конечно, неожиданностью, но она поняла ее как неизбежность, подготовленную другими неожиданностями,— тем, что он ушел от нее, не сказав ни слова, тем, что с необъяснимой жестокостью оттолкнул ее, тем, что стрелял в людей из револьвера, тем, что никогда ей не обмолвился об этом револьвере. Целый год по праздникам она ходила в острог, к воротам, обитым железными листами, крашенными в бездушный зеленый цвет, как острожная крыша, и через квадратное оконце с решеткой боязливо просовывала стражнику узелки гостинцев для передачи подследственному Петру Рагозину. Локотки ее делались все острее, пальцы — тоньше, но она удивлялась своей выносливости и говорила про себя, что стала двужильной. Нанявшись работать в чулочную мастерскую, она переехала на новую квартиру — крошечный надворный флигелек мешковского дома, и когда узнала, что мужа ссылают, словно еще больше ожесточилась в упорном стремлении пересилить судьбу.

Ранней свинцовой осенью после томительной болезни умер ребенок. Ночью он умер, а поутру она пошла провожать мужа.

Этап уходил с товарной станции, и Петр Петрович еще раз увидел задымленное депо и свой цех, в котором слесарничал до ареста. Высокий старик, рабочий из цеха, пришел проститься и передал Петру Петровичу на дорогу табачку. К товарному поезду прицепили два тюремных вагона. Один из них заняли уголовными, уходившими в каторгу. Они явились в цепях, и, когда перебирались через пути, тяжело поднимая ноги над рельсами, звон железа стал слышнее всех звуков станции, но не мог заглушить их: по-прежнему вскрикивал маневровый паровоз-кукушка, стучали буфера, по-охотничьи пели рожки сцепщиков, устрашающе шипел в депо отработанный пар. И это был странный спор: жизнь прошла, прошла,— твердило железо цепей, жизнь идет, идет,— кричало и пело железо станции. И спор терзал, терзал Ксану, и она думала только об одном: устоять, удержаться на ногах, не рухнуть на землю, как в то несчастное утро погрома.

— Он уже, наверно, хорошо говорит? — спрашивал Петр Петрович о сыне.

— Да, он хорошо говорит,— отвечала жена.

— А про меня спрашивает?

— Спрашивает.

— Озорной?
— Да, он озорной.
— А как спит? Спокойно?
— Спит очень спокойно.
— Не мешает тебе, как прежде?
— Нет, не мешает.
— Ты поцелуй его от меня.
— Поцелую.
— Зубы у него все вышли, да? Ты покрепче поцелуй-то его.
— Поцелую покрепче.

Так они расстались. Поезд с тюремными вагонами незаметно затерялся между других поездов, неподвижно стоявших или медленно передвигаемых. Товарищ Петра, старик, перед тем как распрощаться с Ксенией Афанасьевной и уйти к себе в цех, заглянул ей в сухие глаза и оторопел: показалось, что это она отсидела год в тюрьме, а не Петр Рагозин. И вдруг Ксения Афанасьевна обратилась к нему с неожиданной просьбой: помочь ей похоронить ребеночка.

— Какого ребеночка?
— Сынка моего покойного.
— Как сынка? Разве ты не о нем сейчас с Петром толковала, поцеловать обещалась?
— Приду домой — поцелую. Он у меня дома на столе лежит.

Тут у старика язык присох к гортани.

Нашлись добрые души, которые помогли ей в горе. Но в горе-то ее и узнали, и слава о ней не лежала — в нарушение поговорки,— а потихоньку катилась из уст в уста и дошла, наверно, до умных людей.

Уж на третью зиму, как Ксения Афанасьевна жила бобылкой, к ней заявился тот самый высокий старик, который провожал Петра Петровича и потом помог хоронить ребенка. Начав с дальнего разговора, он привел к тому, что есть у него дело, требующее верного человека.

— В чем же надобна верность?
— А чтобы молчать.
— Молчать я умею.
— Видал. Знаю. Потому и пришел.

На другой день Ксении Афанасьевне привезли на салазках две кадушки, замотанные старыми одеялами, и спустили их в погреб, установив на березовые поленца, как полагается для зимних солений. Так эти кадушки и стояли завернутыми в одеяла, и Ксения Афанасьевна вспоминала о них, только спускаясь в погреб, за квашеной капустой. Ход на погреб был закрытый, прямо из сеней.

Ближе к весне, как-то в сумерки, к ней подошел на улице ученик технического училища и спросил, когда к ней удобнее заглянуть,— ему поручили передать пакетик. Что за пакетик, он будто бы толком не знал,— просили занести, потому что он недалеко живет. Ксения Афанасьевна успела только заметить, что у техника пресекался голос и он все откашливался, точно подбодряясь. Поздно вечером он принес что-то вроде почтовой посылки. Расстегнувшись и сняв фуражку, он туго протирал мокрый лоб скомканным платочком и молчал.

— Пакетик-то, видно, не легок, что вы так умаялись? — улыбнулась Ксения Афанасьевна.

— Если вам тяжело будет убрать, я помогу,— ответил гость.

Ксения Афанасьевна попробовала поднять пакет и насилу оторвала его с пола.

— Что же это? Ведь больше, наверно, пуда?

— Не знаю,— ответил гость.— Просили только сказать, что вам известно, куда надо пакет поместить.

Он начал застегивать шинель, сосредоточенный, каждой черточкой лица нелюдимо отвергающий всякие расспросы. Ксения Афанасьевна опять улыбнулась.

— Давно этим занимаетесь?

— Чем?

— Гимнастикой,— сказала она, кивнув на пакет.

— Гимнастику я люблю с детства.

— С детства разносите таинственные посылки?

— Что же тут таинственного? Мне поручили, я вас знаю, принес, передал — и все.

— Ну а если я не приму? Я-то ведь не знаю, от кого это.

Вместо ответа он протянул руку, прощаясь и этим как будто отклоняя шутки там, где все было слишком серьезно. В дверях он приостановился, подумал, спросил вполголоса:

— Правда, что ваш муж к будущей зиме вернется?

— Должен вернуться. Осенью — срок.

На этом кончилось первое знакомство Ксении Афанасьевны с Кириллом. Он доставил ей еще такой же пакет, и потом она не видала его несколько месяцев. В эти посещения он по-прежнему уклонялся от доверчивого разговора, и она подумала, что он, может быть, действительно не посвящен, что за кладь ей передает. Но она принимала эту кладь спокойно, потому что ей было сказано, чтобы она принимала и берегла ее вместе с кадушками в погребе.

Когда Петр Петрович возвратился, начался тот особенный период взаимного узнавания, какой обычен для близких людей, насильственно разлученных и долго живших вдалеке друг от друга.

Свойства характеров, житейские навыки и даже телесные черты и приметы, когда-то казавшиеся важными, за время разлуки превратились в незначительные, а те, которые были маловажны, заняли существенное место. К угадыванию перемен, к тому, что давалось глазу, осязанию, чутью, присоединились целые повести о пережитом, в самых неожиданных, мелких и — на чужой взгляд — ненужных подробностях. Постепенно становилось понятно, почему уже нельзя было бы принять Ксению Афанасьевну за дочь Рагозина, почему она утратила хрупкость, а сделалась гибкой, словно увертливой, и почему как будто преобразилась вся стать Петра Петровича: наклон его туловища стал меньше, поступь отвердела, почти утратив раскачку.

Они поняли, что любовь их не прошла, а точно обогатилась временем и что в чувстве, с каким они ожидали друг друга, излишней была только боязнь, что оно померкнет. Они признались и страшно обрадовались, что в своем горе матери и отца видели не только потерянного сына, но еще и того ребеночка, которого обоим хотелось иметь и грусть о котором теперь вдруг переплелась со страстью, дождавшейся полной воли. К этой радости чувства прибавилось то, что оба они приобрели особое понимание происшедшего с ними как чего-то крайне ценного. Ксения Афанасьевна ни разу не сказала мужу, что если бы он не принадлежал к боевой дружине или не вышел бы с дружиной на улицу и не стрелял бы, то не было бы ни острога, ни ссылки, а возможно, не было бы и смерти сына, и они жили бы спокойно. А Петр Петрович не попрекнул ни разу жену тем, что она так долго утаивала от него смерть ребенка. Ее нисколько не устрашило, что мужу предстояло жить под надзором полиции, и она сочла за должное, что он вернулся из ссылки членом рабочей партии. Когда он сказал ей это, она ответила: «Ну и правильно».

О партиях у нее не было ясного представления, но она испытывала неутихавшую личную вражду к зеленым воротам, к окошечку, через которое передавала в острог узелки для мужа. Она с тоской вспоминала часовню у этих зеленых ворот, где ставились свечи перед иконой Христа в терновом венце и где висела железная кружка, опоясанная скобой и запертая увесистым, как на цейхгаузе, замком. Над кружкой церковнославянской вязью начертана была надпись: «На улучшение довольствия заключенных». Дожидаясь однажды на ступенях часовни, когда откроют окошечко в воротах и начнут принимать узелки, Ксения Афанасьевна подумала, что вот если бы не было заключенных, то не было бы и нужды собирать на их довольствие. Но, глядя в часовню, она заметила на иконе, в покорном мерцании свечей, руки Христа, связанные вервием, и неожиданно раскопала в сумке какие-то медяки

и опустила их в кружку, и после этого целый день не проходила у нее обида,— ей все хотелось заплакать, а слез не было и не было, как все годы, пока она жила одна. Вместо слез в ней прояснилось и стало отчетливо-внятным ощущение, что ее муж хотел сделать добро, что он человек справедливый и за это его мучают. Все больше она привыкала думать, что ему свойственно поступать только правильно, только справедливо. Она тревожилась, не повредила ли мужу тем, что согласилась без него хранить опасные вещи, но он одобрил ее. Это взаимное одобрение открыло перед ними новое существование на земле, которое в то же время продолжало прежнее, старое существование и было таким, какое они для себя желали.

Всеми мелочами жизни, похожей на общепринятую, Ксения Афанасьевна прикрывала ту вторую жизнь, которую урывками, от одного удобного случая к другому, начал вести Петр Петрович.

В эту вторую жизнь скоро получил доступ Кирилл Извеков. Мечтательные ожидания, приведшие его сюда, нашли здесь перевоплощение в действительность, превратились в задачи, и самой важной из всех задач стала необходимость ото всего мира утаивать скрытую, вторую жизнь. Может быть, это была не вторая, а какая-то четвертая, даже пятая жизнь. Но она была совсем особенная, и с появлением ее Кирилл почувствовал, что другие жизни пошли от нее поодаль, точно побаиваясь ее и уступая дорогу. Труднее всего было таиться от Лизы, потому что Лиза сама была тайной, возникшей из мечты. Обе тайны обладали чем-то родственным друг другу, и Кириллу иногда казалось, что они готовы слиться в одну. Он был поражен, что Лиза напала на след его общения с Рагозиным, понемногу успокоился, увидев в этом первый шаг к будущему, когда все сольется для них в одно целое и Лиза непременно придет к тому, к чему пришел он.

Так как труднее всего было таиться от Лизы и потом от матери, то невольно складывалась видимость, что утаенное от них утаено ото всех. Близкие знали Кирилла слишком хорошо, они могли прочесть его мысли. А кто из посторонних обратит свое занятое внимание на какого-то ученика технического училища, с его золотыми пуговками на воротнике рубашки, с его синими кантиками, с его нехитрым значком на околыше — крест-накрест молоточек и французский ключ? Чем мог бы привлечь к себе такой молодой человек, скажем, Меркурия Авдеевича Мешкова? Впрочем, для Меркурия Авдеевича, после того как он увидел Кирилла на улице с Лизой, молоточек крест-накрест с французским ключом перестал быть просто школьным значком, и синяя выпушка на петлицах и фуражке получила притягательное содержание.

В тот день, когда Лиза ходила на карусели, Меркурий Авдее-

вич, возвращаясь из лавки, мигом различил в вечерней темноте запомнившуюся по посадке квадратную фигуру в коротенькой тужурке, с белым, выглядывающим воротом рубашки. Кирилл Извеков подошел к дому Мешкова, не озираясь, тихо открыл калитку и быстро исчез во дворе, неслышно опустив за собой щеколду.

Меркурий Авдеевич приостановился. Неужели так далеко зашло дело? Неужели вчерашнее внушение Валерии Ивановне не возымело действия и потворство продолжается? Он бросился к калитке. Двор был пуст. Он осмотрел углы и закоулки. Нигде не было никого. И он вошел к себе в дом на цыпочках, подавляя дыханье и слыша, как перепуганно работает сердце.

Он прямо направился в комнату дочери. Лиза лежала на кровати, опираясь на локти, в домашнем платье с голубыми полосками по синему полю. Кругом нее были разложены книги, она покусывала кончик карандаша и ждала, когда на стуле, рядом с изголовьем, разгорится только что зажженная лампа под цветистым бумажным козырьком.

— Ты дома, дочка? — спросил Меркурий Авдеевич.

— Дома. Что ты так дышишь?

— Быстро шел. Когда у тебя первый экзамен?

— Через два дня.

Он легко погладил ее по плечу и улыбнулся.

— Ну, приходи чай пить.

Затворив дверь, он выдохнул: «Слава богу». Но ведь не причудилось же ему сослепу? Он вышел в коридор и, прогуливаясь по стеклянной галерее, стал поглядывать во двор.

В окошечках Мефодия было темно. У Рагозиных затеплился несмелый огонек, и тотчас Ксения Афанасьевна затянула окно коричневой, чуть просвечивающей занавеской. Все было тихо. Ночь понемногу уравнивала землю с крышами, крыши с небом. Куда мог деваться Кирилл Извеков? Только во флигеля. Зачем Меркурию Авдеевичу нужны были эти флигеля — тесовые хибарки, от которых дохода — грош, а забот полон рот? Один квартирант пьет водку, неизвестно зачем, другой не пьет водки, неизвестно почему. Снести бы эти флигеля и построить на их месте доходный лабаз. Или еще лучше — сломать флигеля и на их месте не строить ничего. А только обнести участок добрым забором и держать ворота на замке круглые сутки. Куда спокойнее, чем думать и заботиться о квартирантах.

Так размышлял Меркурий Авдеевич на своей галерее в темный весенний вечер. Что же касается Кирилла Извекова, то ведь и правда могло померещиться, будто молодой человек зашел во двор. Все было тихо, все было благопристойно на дворе мешковского дома. Бог миловал.

В праздник Красной горки народ шел гулять за город. Рассаживались по рощицам, овражкам, на пригорочках, полянках семьями, с детьми и родней, с кумовьями и товарищами вокруг самоваров, котелков, сковородок. Варили галушки, жарили баранину. Дымки костров завивали склоны окрестных гор, ветер носил запахи листвяной гари, притушенного водой угля, подгорелого сала. Пили казенное вино, голосили песни, играли на гармошках, гитарах.

Рагозины отправились на гулянье рано утром. Ксения Афанасьевна несла самовар, Петр Петрович — корзину с посудой. По пути соединились со знакомым семейством, нагруженным провизией. Пошли на гору прямой улицей деревянных флигельков, заползавших чуть не до самой вершины и все уменьшавшихся в размере, точно у больших не хватало сил взбираться наверх и они отставали, а маленькие карабкались выше. В конце улицы торчали домишки об одно оконце, потом землянки ниже человеческого роста, и на этих норах улица совсем прекращалась. Дальше глинистая лысина горы опоясывалась вырытыми уступами для удержания влаги, на уступах были насаждены благовоспитанными рядами молодые деревца. Они прочно укоренились, потянулись вверх, одни — долговязыми стволиками, другие — мохнатыми кустами. За вершиной, на просторе пологих склонов, насаждения разрослись пышнее и уже шумели листвой, человек в них терялся, отдельные деревья высоко вымахивали кронами над кудрявой порослью, словно предсказывая, каким будет лес. Здесь попадались овраги с оползающими обрывами почвы и с родниками на песчаном дне.

Место для лагеря выбрал Петр Петрович. Он сказал: «Отсель грозить мы будем шведу»,— и уселся на краю самого крутого обрыва, свесив ноги в овраг. Во все стороны отсюда видна была раскачиваемая ветром чаща зеленого молодняка. Принесли воды, раздули самовар, всей компанией начали чистить картошку для похлебки.

Когда закипела в котелке вода, пришел Кирилл. Он посвистел из кустов. Рагозин отозвался и, как только лицо Кирилла показалось между раздвинутой листвы, спросил:

— Легко нашел?

— По самовару.

— Самоваров много.

— Твой со свистом.

Они улыбнулись.

— Похлебку есть будешь, кавалер?

— Буду.

— Ну, вот тебе ножик, чисти картошку.

Он говорил покровительственно, но с добротой, и Кирилл подражал ему в этой манере так же, как подражал в тяжеловатой, качкой поступи, и было похоже, что они посмеивались друг над другом.

— Кто так чистит? Словно карандаш точишь. В ссылку попадешь — тебя засмеют.

— А зачем мне в ссылку попадать?

— Зачем? Картошку чистить учиться. Смотри, как у меня получается: одна ленточка с целой картошки. А тоненькая какая кожурка — на свет все видно, смотри. Смотри, через нее видать, как Ксана нам водочки наливает, видишь?

Он учил Кирилла крошить картошку в котелок, и затирать подболточку из муки с подсолнечным маслом, и перчить, и солить, и заправлять молодым луком. На приволье всякая еда радует сердце, и нет вкуснее пищи, сваренной на таганке и пахнущей дымком хвороста. Все чувства усиливаются и открываются в человеке, стоит ему присесть на корточки перед костром и потянуть носом парок закипевшего варева. И воздух становится слаще, и дали приветливее, и люди милее, и жизнь легче. А всего только и надо — котелок.

После завтрака, развалившись на спине и глядя в небо сквозь зелень танцующих на ветру веток, Кирилл припоминал вслух:

— Нам всем выдали по ведерку, маленькие заступы и деревянные колья, заточенные на одном конце и с перекладинкой на другом. В ведра нам ткнули по пучку саженцев — коротенькие такие прутики. И всей школой мы двинулись на горы. Тут все было размечено, и когда мы пришли, везде стояли другие школы, без конца. Сажать было просто. Мы буравили колом в земле ямку, втыкали в ямку прутик и закапывали заступом. Потом шли за водой, и каждый поливал то, что посадил. Прутики мне были по колено. Чахлые, сухие, в городе не верили, что они примутся. А над тем, что лес будет,— смеялись. Когда мы вернулись в школу, нас фотографировали, как мы были,— с ведерками, кольями, заступами. У меня до сих пор цел снимок. Я сижу по-татарски на земле, в ногах у учителя рисования, а внизу на фотографии надпись: «Праздник древонасаждения». Чудно, что уже девять лет прошло, и не верится, что вот это шумят, колышутся те самые прутики. Интересно, что будет тут еще через девять лет. Как ты думаешь, Петрович? А? Ты знаешь, что будет через девять лет?

— Знаю.

— Ну, что?

— Мне стукнет сорок четыре года.

— Это и я знаю. А ты скажи — хорошо будет?

— Хорошо.

— А что хорошо? — спросил Кирилл, понижая голос.— Революция будет?

— Какой хитрый,— засмеялся Рагозин,— если я скажу — не будет, то ты сейчас в кусты, да?

Кирилл долго не отзывался, пожевывая сорванную веточку неклена. Челюсти выступали острыми углами на запрокинутом его лице. Взгляд его остановился, в желтизне зрачков отражались плавающие зеленые пятна листвы. Сдвинутые брови медленно расправлялись, собирая молодые морщинки на лбу. Он сказал совсем тихо:

— Я выбрал дорогу и не сверну никуда. Все равно, сколько придется идти — девять лет или двадцать девять.

Рагозин приподнялся на локоть. Оттого, что нос и щеки Кирилла были чуть-чуть посыпаны веснушками, он показался Рагозину моложе, чем всегда. Он взял его руку, сжимая ее в своих жестких бугорчатых пальцах.

— Брось,— сказал Кирилл, стараясь высвободить руку.

Рагозин не отпустил.

— Оставь. Я знаю, ты сильнее.

Рагозин продолжал сжимать крепкую, сопротивляющуюся кисть Кирилла, чувствуя, как уменьшается ее стойкость, и улыбаясь.

— Ну, больно. Брось. Что ты хочешь?

Он вырвал руку, потряс ее и размял пальцы.

— Время,— проговорил Рагозин,— время, дорогой мой, большое дело. Когда больно один день — одно. Больно сто дней — другое. Народ терпит. Ему не все равно — девять или двадцать девять.

Он повернулся, не поднимаясь с земли, к костру и сказал громко:

— Ксана, вы бы погуляли.

Ксения Афанасьевна повела своих друзей к роднику, их перекличка и смех долго слышались, когда они скатывались в овраг по оползающей глине.

Наедине Рагозин спросил:

— Принес?

Кирилл вытянул из брючного кармана сверток прокламаций. Его разгладили и соединили с пачкой, которую Рагозин достал из корзины с посудой.

— Отсчитывай по десятку.

Листки тонкой розовой афишной бумаги складывались в четвертку и прятались назад в корзину, под полотенце. Работа шла

легко, беззвучно, и скоро последняя тетрадочка в пол-ладони величиной лежала на месте. Рагозин отставил корзину под куст и опять лег.

— Прежние годы на такой маевочке всегда удавалось сходку провести,— сказал он.— Нынче живи улиткой — таскай на спине весь свой дом, и кухню, и этажерку. Пей чай, играй на гармошке, а чтобы собраться поговорить — ни-ни: завалишь всю работу.

— Этак, конечно, и двадцать девять лет прождешь, за самоваром да с гармошкой,— сказал Кирилл.

— Ведь тебе мой самовар понравился, как он свистит,— улыбнулся Рагозин и отчетливо повторил свист, которым встретил Кирилла.

Послушали. Никто не отозвался. Шумела, разгуливала волнами пахучая, лоснившаяся на солнце поросль, и ястреб чертил над нею бесконечные кривые, изредка разрезая пространство своим острым зовом, точно проводя алмазом по стеклу.

— Я на днях познакомился с Цветухиным,— сказал Кирилл.— Знаешь?

— Слышал. Вон ты куда махнул.

— Я не махал. Просто — случай.

— А ты не сердись.

— Я не сержусь. С ним еще был Пастухов. Драматург такой. Известный.

— Так, так.

— Интересно, какой у них образ мыслей.

— Ты говорил?

— Немного. Об искусстве. Собственно, о балаганах. Мы на балаганах встретились.

— Ну?

— Ничего особенного. Они слабо отдают себе отчет, на каких научных основаниях построены иллюзии. Ну, там женщина-паук и другие фокусы. Некоторую путаницу я заметил.

— Необразованные? — подсказал Рагозин усмешливо.

— Я думаю, к вопросам физики равнодушны.

— А-а...

— Интересно дать им прокламацию...

Рагозин привскочил и, откинув с лица волосы, прижал их ладонью к голове, чтобы они не мешали получше смотреть на Кирилла.

— Ты дал им прокламацию?

— Нет. Это мне сейчас в голову пришло.

— Может, они порядочные люди,— сказал Рагозин, успокаиваясь,— я не знаю. Но уж тут — семь раз отмерь, один отрежь. Какой может интерес толкать их к нам? Любопытство? Рабочий к

революции приходит, как к себе на квартиру,— больше деваться некуда. А они могут подумать.

— У меня именно мысль мелькнула, как они отнеслись бы? — сказал Кирилл.

— Оглядочка нужна. Матери своей ты разве не можешь довериться,— а помалкиваешь и с ней, верно?

Легкий свист послышался неподалеку, и Рагозин кивнул:

— Вот он, мой самовар-то!

Он повторил свист. Минуту спустя на край оврага вышел из чащи высокий худой старик с бородкой клином, в черной праздничной паре и глянул окрест себя.

— Заблудился? — громко кликнул Рагозин.

Старик не спеша подошел, поздоровался, приподняв черный поношенный картузик с узкой тульей.

— Хорошее местечко выбрал, Петр Петрович, для чаепития.

— Милости просим.

— Благодарим. Откушали.

— На свежем воздухе весело пьется. Садись.

— Посидели.

— Ну, постой, коли ноги держат.

— Ноги привыкшие. Двадцать лет в цеху стоят, шестьдесят землю мериют.

Он снова огляделся. Кусты были вровень с его картузиком.

— А тут с каждым годом зеленее становится. Лес наступает,— произнес он с одобрением.

— Вот молодежь старалась, садила да поливала,— сказал Рагозин.

— Так,— вымолвил старик, прищуриваясь на Кирилла.— Раньше, чай, старики для молодых садили, теперь, что же, обратно получается?

— Есть молодые, которые не только о себе думают,— вдруг ответил Кирилл, глядя прямо в прищуренные глаза старика.

— Так... Заодно с нами садить желают?

— Заодно,— сказал Кирилл.

— Так,— опять поддакнул старик и перевел глаза на Рагозина.— Чего это мы с ними, с молодыми, будем садить, Петр Петрович, какие сады малиновые?

— Дай-ка корзинку,— попросил Рагозин Кирилла.

Он вынул из-под полотенца тетрадку, подал ее старику. Тот взял, покрутил в пальцах, словно прикидывая прочность и вес бумаги, нагнулся, подтянул до колена одну штанину, аккуратно запихал листки за голенище рыжего шершавого сапога и так же аккуратно поправил брюки.

— Не маловато будет? — спросил Рагозин.

Старик помолчал, потом качнул головой набок.

— Пожалуй, как бы на одну ногу не захромал.

— На вот, чтобы тебя за пьяного не сочли,— сказал Рагозин, подавая ему еще тетрадку.

Старик спрятал ее в другой сапог.

— Спасибо за хлеб, за соль. Бог напитал — никто не видал,— подмигнул он Кириллу и неожиданно ласково усмехнулся.— Будем, значит, знакомы. А как нас величать, про то вам скажет Петр Петрович. Верно?

— Верно,— согласился Рагозин.— Поговорить есть о чем?

— Разговор сам собой найдется.

— Ну подсаживайся. А ты, Кирилл, ступай потихоньку ко дворам. Да умно иди.

— Я на Волгу пойду,— сказал Кирилл и протянул старику руку.

— До свиданья, товарищ дорогой,— проговорил старик опять с внезапной ласковой усмешкой.

— До свиданья, товарищ,— буркнул Кирилл, чувствуя, как жар поднялся из груди, мгновенно захватывая и поджигая щеки, виски, уши, всю голову.

Он бросился в чащу широким шагом, распахивая перед собою спутанную, цепкую поросль, точно плывя по зеленому гомонящему морю и слыша в буйствующих переливах повторяющееся шумящее слово: товарищ, товарищ! Это его, Кирилла Извекова, впервые назвали таким словом — товарищ, и он сам впервые назвал таким словом — товарищ — старика, из тех людей, с какими ему предстояло жить в будущем. Он шагал и шагал, или плыл и плыл, пока прохладные шелестящие волны зелени не вынесли его к острову — на лысую макушку горы — и отсюда не увидел он — в дуге возвышенностей — огромный город, деревянный по краям, каменный в центре, точно пирог, на кусочки нарезанный улицами на ровные кварталы. Внизу лежал этот непочатый деревянный пирог с каменной начинкой, вверху колесили по синеве нащипанные ветром хлопья облаков, а под самыми ногами Кирилла гривой изгибались вершины холмов, и по этой гриве он пошел к Волге.

Он сбегал по спаду одного холма и взбирался по взгорью другого, чтобы снова бежать вниз и опять подниматься. И это было такое же плаванье, как по молодой зеленой чаще, только волны холмов были больше, и вместо листвы он рассекал горько-сладостный дух свежей полыни, объявшей горы своим пряным дурманом. Так он прибежал к обрыву, который падал в Волгу, и сел на обрыв, расстегнув воротник рубахи, скинув фуражку, сбросив пояс.

Сердце било ему в грудь требовательными ударами, и он смеялся, и потому, что не знал, чему смеется, не мог остановить сме-

ха, а сидел, спустив ноги с обрыва, покачиваясь, и смеялся, и смех казался ему и разговором и песней, какая поется на Востоке, песней о том, что он видел и слышал.

Он видел неохватную долину, по которой шла тяжелая река. Видел Зеленый остров, покрытый тальником, в половину роста затопленным водой и послушно клонившим свои белесые верхушки под накатами ветра. Видел оранжевую беляну, почти омертвевшую посредине реки, похожую на спичечный домик, да где-то далеко-далеко, один за другим,— два каравана барж, точно стежки распоротой строчки. Ползучие тени облаков пятнали рябившую барашками поверхность реки, разгуляй-поле тальника на острове, скученную толпу судов у городского берега. Все двигалось и полнилось отдаленным говором работы, езды,— говором, который доносился ветром и нисколько не мешал все объединявшей тишине.

Отдохнув, Кирилл подобрал ноги, обнял колени и, крепко уткнув подбородок между тугих чашечек, стал приводить мысли в порядок. Он задавал себе строгие вопросы: чего я хочу? — кем я буду?—что главное в жизни? Но как только он намеревался уложить в слова хорошо угадываемый ответ, слова ускользали из яви в какой-то полусон и превращались в расплывчатые, приятно-красочные разводья. Ему чудилось, что он передвигает, перестанавливает необыкновенно большие массы веществ: река поднималась его рукою вверх и текла в небо; снежные сугробы облаков направлялись в коридор бездонного опустевшего русла; черные дубы устанавливались по берегам в аллею; по аллее катилась беляна, с громом разматываясь, как невиданных размеров клубок, и оставляя позади себя ровно вымощенную янтарными бревнами дорогу. Кирилл стоял перед классной доской и делал расчет своей разросшейся руки, и преподаватель черчения одобрительно мотал головой и сбрасывал со своего мясистого носа пенсне — одно, другое, третье, все быстрее, быстрее, и тысячи пенсне устилали мерцающей рябью стекол далекую-далекую воду. «Хорошо,— говорил чертежник,— но, чтобы сдать экзамен, ты должен показать в разрезе город, в котором хочешь жить». Тогда чертеж Кирилла начал расти, расти, выходя за пределы доски, и доска бесконечно наращивалась, и на ней появлялись одинаковые, как соты, комнатки, над которыми мчались тени облаков, и в одной комнатке стояла Лиза. И Кирилл вошел в эту комнатку. «Я сдала все экзамены,— сказала Лиза.— Отвернись».— «Зачем?» — спросил Кирилл. «Отвернись, я тебе говорю».— «Ведь ты — моя жена»,— сказал он. «Все равно, отвернись»,— повторила она и отвернулась сама. Платье ее на спине было застегнуто множеством крючочков, и когда она, подняв над головой руки, начала расстегивать их, ее длинная коса запуталась в крючках, и он подошел и стал выпутывать из крюч-

ков волосы и расплетать косу. Коса пахла полынью, и запах был удушающей силы и все сгущался и теплел. Лиза поворачивалась медленно, медленно, и когда повернулась, Кирилл увидел милое лицо мамы,— с оспинками над верхней губой и на лбу,— и мама проговорила: «Дай мне только слово, что ты никогда не поедешь на Зеленый остров на лодке. Помни, что твой отец погиб на лодке, Кирилл!» Странно переменился ее голос, и его имя — Кирилл — она произнесла грубо, как мужчина.

— Заснул? — так же грубо сказал кто-то недалеко от него.— Заснул, Кирилл?

Он открыл глаза и, не поднимаясь с земли, держа голову на руке, увидел шагах в десяти Рагозина на краю обрыва, лицом к Волге.

— Не вставай, не подходи ко мне,— проговорил Рагозин.— Пойдешь домой — не притащи за собой хвост. Тут, по горкам, прогуливается парень, штаны взаправку. Это ряженый. Смотри.

Рагозин лениво повел взглядом по небосклону и пошел прочь, сказав на прощанье:

— Дождичек собирается. Не застудись.

Тут только заметил Кирилл, как все кругом помрачнело. Он приподнялся на локте. У подгорного берега и на острове еще сверкали теплые желто-зеленые краски, но чем дальше к луговой стороне, тем холоднее были тона, река синела, гребни беляков на ней стали сизыми, и у самого берега протянулась лаковая исчерна-лиловая полоса, точно на дне взболтнули китайскую тушь и она всплыла на поверхность. Над заречьем шла низкая туча с посеребренными краями. Беляну перенесло течением далеко вниз, из оранжевой она сделалась серой, будто закоптев в дыму. Караваны баржей, словно в испуге, торопились приблизиться к городу. Раздалось первое, чуть внятное ворчание весенней грозы, и Кириллу послышалось в нем угрожающее и торжественное ликованье.

Он оглянулся. К обрыву вышагивал независимой походочкой молодец, одетый в красную рубашку и короткий рябенький разглаженный пиджачок. Касторовые шаровары его были заправлены в сапоги и выпущены над голенищами, насандаленными ваксой и сбегавшими узенькими гармошками на союзки. Желтоватая шевелюра молодца была аккуратно подстрижена, на вздернутом припухлом носу сидело пенсне мутного стекла со шнурочком. Он был похож одновременно на приказчика и на слушателя вечерних курсов. Он остановился на обрыве и залюбовался природой через пенсне.

«Ага, голубок!» — сказал про себя Кирилл, чувствуя волнующую гордость оттого, что за ним следили, и что он знал это, и что насквозь видел противного молодца в сапожках и пенсне.

Кирилл лег на спину, изо всех сил потянулся, закрыл фуражкой лицо и с удовольствием выговорил в пахучую, душную атласную подкладку тульи:

— Черт с тобой. Мне дождик нипочем. А вот как тебе, разглаженный болван?..

13

Готовиться к экзаменам — не так просто. Особенно когда сдано девять и осталось еще три, целых три! — неужели когда-нибудь останется один, а потом — не останется ни одного? Нет, еще целых три, целых три!..

Обкусан третий карандаш, а сколько исписано тетрадок, сколько птичек поставлено на программах, сколько раз Валерия Ивановна сказала: «Лиза, кончай, надо спать, лучше пораньше встанешь!»

Вдруг мысль останавливается — и ни с места. Голова набита плотно, как мешок муки,— не пробиться. И где-то глубоко в муке застрял неподвижный обломок фразы — «три элемента». Какие три элемента, почему три элемента, зачем три элемента — ничего не понять! Может быть, три экзамена? Может быть, три обкусанных карандаша? Может быть, три билета на программе, еще не отчеркнутые птичкой? Нет. Просто — три элемента, хоть плачь! Может быть, три мира? Нет, всего один мир, один и тот же мир перед глазами, насквозь понятный мир: стеклянная галерея коридора, за ней внизу — двор с синими флигелями, погребицей, сушилками. Едва начавшееся лето, недвижное солнце, безмолвие. Потом — балалайка. Это молодые приказчики, перебравшиеся на сушилки, налаживают свой дачный репертуар: «Светит месяц ясный», потом вальс «На сопках Маньчжурии», потом рыдающая песня:

В городе Кузнецке — гостиница «Китай»,
Кричу половому — полбутылки дай!
Дайте мне пива, дайте мне вина,
Дайте мне милого, в которого влюблена.

Хлопает калитка, нищий болгарин в рыжем дырявом армяке подходит к флигелю Рагозина. Он стучит в окно воздетой костлявой рукой. Ксения Афанасьевна выносит ему ломоть хлеба. Он распахивает армяк. Под лохмотьями — голое медно-коричневое тело. Он жалко мычит, разевает рот, показывает пальцем на изувеченный язык. Вся улица знает, что ему вырезали язык турки, что это относится к неясно давним годам, которые все называют

временами турецких зверств, знают, что этот болгарин — не один, что все они ходят в неподпоясанных армяках и выпрашивают белье. Лиза слышит, как он мычит на дворе у одной двери, затем у другой, затем калитка докладывает, что нищий ушел, и, точно на смену его мычанию, разливается над улицей трехголосая хриповатая шарманка. Память расставляет по ступенькам тоскливого напева с детства знакомые слова:

Любила меня мать, уважала,
Меня, ненаглядную дочь,
А дочь ее с милым убежала
В осеннюю темную ночь.

Из крайнего окна галереи виден угол школы, каменная беленая ограда, за ней — три тополя, остриями пирамид указывающие в неподвижное небо. Шарманка с треском, похожим на щелканье ружейного затвора, меняет песню за песней, а Лиза глядит на тополя. Зелень резко отделяется от обнимающей ее синевы, но если смотреть не мигая, то синева начинает зеленеть, а листва окрашивается синькой, и мир становится иссиня-зеленым, и белая школа, белая ограда медленно окунаются в этот мир, и Лиза начинает видеть в нем то, что заслонено от глаз ближними крышами и деревцами улицы.

Она видит подвальные окна школы с тяжелыми решетками, видит комнаты,— как их описывал Кирилл,— его комнату с синим чертежом над кроватью и портретами великих людей. Он сказал однажды: «Когда я думаю и гляжу на них, мне представляется, что они могут со мной заговорить, особенно — если засыпаешь. Ты любишь великих людей?» Она ответила, что, наверно, все любят великих людей, но что эта любовь — только в голове, потому что великие люди недоступны. «Почему недоступны? — не согласился он.— Ездят же в Ясную Поляну к Толстому, и он разговаривает с кем хочешь».— «А ты поехал бы к нему?» — «Нет. Я с ним расхожусь. Он считает, что в человеке надо насаждать хорошее, а я считаю, что надо бороться с плохим».— «Это одно и то же».— «Нет. Важно, в каком порядке. Сначала надо уничтожить плохое».— «А у тебя висит портрет Толстого?» — «Прежде висел, теперь я его перевесил к маме».

Лиза видит его маму под портретом Толстого, рассматривает ее лицо близко-близко, как тогда, па балаганах, и оно кажется ей добрым, а оспинки над верхней губой и на лбу — необыкновенно приятными. Лиза думает, что могла бы полюбить маму Кирилла, и непременно полюбит ее, как только будет вместе с Кириллом. Конечно, свою маму она будет по-старому любить, как никого на свете.

Мама Лизы — простой человек. Нельзя вообразить, чтобы над ее кроватью висел портрет Толстого. Лиза даже улыбается — так это несовместимо: мама и бородатый, с мохнатыми бровями, морщинистый Толстой. Хотя, наверно, у мамы на душе как раз лежит то, к чему призывает Толстой: она, конечно, насаждала бы везде только хорошее. У нее один закон, который она не высказывала никогда и который не нуждается в словах, но Лиза могла бы с уверенностью его выразить: любовь красива, злоба безобразна — вот какой чувствует Лиза свою мать.

Опять вспомнился пересказ ее разговора с Меркурием Авдеевичем, прочитавшим ей нотацию, как он сам называл свои бесконечные выговоры.

— Ты отвечаешь за Лизавету, ты — мать,— говорил Меркурий Авдеевич.— В каком духе ты ее воспитала? Нынче она в Собачьих Липках с одним стрекулистом, завтра — с другим, с третьим?

— Зачем же ты ее хочешь обидеть,— с другим, с третьим?! — возражала Валерия Ивановна.

— А ты хочешь сказать — с одним? Это что же означает, у нее — роман?

— Так сейчас уж и роман!

— А как ты думаешь, если она нынче — с ним, завтра — с ним, что же это такое?

— Ну, поговори с ней самой, что это такое.

— Мне совестно говорить с дочерью о романах.

— Ах, Меркуша, что же ты будешь делать, если девушка полюбит? Разве ей закажешь?

— Никто не собирается заказывать. Придет время, встретится порядочный мужчина, женится на ней — люби, пожалуйста. Разве я враг ее счастью? Но романы из ее головы ты должна выбить.

— Да нет у нее в голове никаких романов. Она учиться хочет.

— Вон что! Ты мне хочешь из нее курсистку сделать! Это которые в Липках сидят, стриженые? Благодарю покорно. Одной гимназии мало. Подай еще курсы. Какие же это? Медицины или, может, юриспруденции? В Москве или, может, в Петербурге! А позволительно спросить — в каких целях? Чтобы уехать от родителей и проживать в меблированных комнатах? Из каких соображений? Для какой надобности?

И так — целый вечер, с похаживанием из угла в угол, с пристукиванием по столу и по спинкам стульев, с повышением голоса до вопля и понижением до грознопредупредительного шепота, со всяческими «не попущу!» и «не стерплю», пока Валерия Ивановна не замолчала и не заплакала.

Рассказывая об этой нотации Лизе, она поплакала еще и, прижав Лизину голову к груди, со всхлипом дохнула ей на ушко:

— Уж не влюбилась ли ты и правда, господи сохрани и помилуй?!

И Лиза, обняв ее, сказала ей так же на ухо, что она думает — да, и тоже заплакала. И они сели к Лизе на кровать, плача, обнимаясь, вытирая слезы уголками одного платка, пока он весь не промок и слезы не остановились. Тогда мать начала выспрашивать — какой он, этот самый Кирилл, и как же они прятались целых три года, и что же они теперь думают делать, и как сказать обо всем отцу, чтобы дело кончилось только нотацией.

Сейчас, под грустное причитание шарманки, глядя через стекло галереи в расплывчатый сине-зеленый мир — мир Кирилла,— Лиза заново пережила это сидение на кровати, когда все мысли начинались и кончались сладко-пугающим гаданием о судьбе, а все чувства без остатка растворились в ласке матери. Лиза вдруг оторвалась от окна и побежала в комнаты.

Валерия Ивановна показывала прислуге, как гладят мужские сорочки: сначала спинку и бока, потом рукава, манжеты, плечи, а уж после всего крахмальную манишку, и чтобы на манишке — избави бог! — ни складочки, ни морщинки, ни рубчика. А перед тем как браться за манишку, непременно надо продуть утюг, да подальше в сторонку, чтобы пепел не садился на доску,— ни к чему тогда все глаженье.

— Вот как надо продувать, вот как! — закричала Лиза, с разбегу присаживаясь около матери, обхватывая ее колени и начиная дуть изо всех сил в раскаленные поддувала утюга.

— Перестань, перестань! Смотри, что ты делаешь?— воскликнула Валерия Ивановна, стараясь отодвинуть от Лизы утюг, отмахивая, отдувая от доски пепел и крича прислуге: — Убери белье, закатай его скорее! В корзинку, в корзинку!

Привскочив с пола, Лиза обняла Валерию Ивановну, усадила на табуреточку, села к матери на колени.

— Милая моя, ты заучилась,— сказала Валерия Ивановна с нешутливой тревогой.

— У меня, мамочка, и правда что-то застряло в голове. Я думала, если подуть, так, может, вылетит?

— Знаю я, что у тебя застряло. Ступай-ка на улицу, проветрись...

За воротами, как всегда, Лиза поглядела на строгие зеленые стены и ограду школы. Тополя стояли непреклонными стражами безлюдья и тишины. Они оберегали мир Кирилла, его комнату с портретами великих людей. На перекрестке появился коротенький мужичок с точильным деревянным станочком через плечо, звонко

крикнул: «Е-есть точить ножи-ножницы!» — постоял, озирая молчаливые дома, нехотя поплелся дальше. Из-за угла вышла быстрая женщина с девочкой. Они несли узлы. Девочка еще издали кивнула Лизе, и она узнала Аночку.

— Здравствуйте, барышня,— необычайно общительно сказала женщина, поравнявшись с Лизой.— Аночка, поздоровайся за ручку. Она мне говорила, что познакомилась с вами на каруселях. Я — ее мама, Ольга Ивановна. Очень приятно.

— А мы, знаете, куда? — сказала Аночка.— Мы в театр.

— Да, да,— перебила Ольга Ивановна,— мы несем одежу для театра, нам заказали.

— Одежду? — спросила Лиза тихо.

— Для представления,— сказала Аночка.

— Знаете, разное тряпье,— почти извинилась Ольга Ивановна.— Мы уже другой раз идем. Я сначала насобирала что поприличнее, у знакомых разных. Думала, что-нибудь не очень ношенное. Принесла, а мне говорят — что вы! Несите, говорят, назад. Нам, говорят, нужен самый что ни на есть хлам, словом — ветошь.

— Они будут представлять из жизни бедных людей,— серьезно разъяснила Аночка.

— Я вышла погулять, я провожу вас,— вдруг робко проговорила Лиза.

— Очень приятно,— продолжала торопиться Ольга Ивановна,— погода такая, что прямо тянет пройтись. Аночка, перемени руку, а то устанешь! Возьми вот этот узелок, полегче. Так вот один там актер, старый такой, но собой очень интересный, говорит мне: мы хотим сыграть правду жизни, поэтому нам нужно тряпье, которым самый последний бродяга погнушается. Так я теперь такую рвань насобирала, даже стыдно нести. И можете представить, в ночлежке, как стало известно, что требуются лохмотья, сейчас все начали цену запрашивать — не подступись! Откровенно вам сказать, я не понимаю, к чему в театре показывать бедность? Ведь это некрасиво, правда? Раньше я ходила в театр, когда еще мы с мужем были состоятельные. Так я, знаете, выберу всегда самое красивое представление. Посмотришь — и потом долго-долго вспоминаешь и думаешь, что хотя ты сама никогда так красиво жить не будешь, но все-таки ты видела настоящую красоту. Ведь верно?

Лиза слушала с увлечением, и новая знакомая с ее неудержной, охотливой речью показалась очень занимательной, но за этой речью ей чудилось не то, что хотела передать Ольга Ивановна.

Лиза бывала в театре редко, потому что Меркурий Авдеевич разрешал посещать только рекомендованные гимназией спектакли — с учебной целью. Воспоминания о спектаклях были празд-

ничны, а городской театр вызывал благоговение. У нее немного кружилась голова, когда она, притихшая, поднималась по скользким крашеным асфальтовым ступеням из яруса в ярус, мимо капельдинеров, и заходила в низенькую ложу. Программка дрожала в ее руке, бинокль становился горячим в ладони. Она находилась не в здании, не в зале, а в особой сфере, за пределом жизни. Мир дома и даже мир Кирилла отступали перед третьим миром, недоступным, как божество. Когда подпимался занавес, божество допускало смертных к своему лику. Тогда прекращалось дыхание, останавливалось сердце и начиналось чудо. В какие-то мелькающие моменты Лиза чувствовала, что могла бы быть не собой, а кем угодно — красивее или злее себя, лучше или хуже, старее, возвышеннее, печальнее, ничтожнее, веселее. Она могла бы принадлежать всем и владеть всеми. Во всех своих воображаемых превращениях она отдавала себя людям, и люди покорялись ей. Она становилась тем самым чудом, на которое смотрела. Она становилась актрисой.

Никто не знал об этих состояниях Лизы, и она никому не хотела о них сказать. Глубоко наедине со своим сердцем она признавалась, что сцена для нее такая же несбыточность, как перелет с лебедями за океан. Она была довольна, что на балаганах кончила неожиданный разговор о театре с Кириллом правдивым словом — фантазия. Но другой разговор, возникший еще внезапнее, чем с Кириллом, разговор с Цветухиным, беспокойно повторялся ее памятью, выражая весь свой смысл тоже тем словом, которым кончился: «за кулисы»,— «заходите ко мне, прямо за кулисы». Почему-то у Лизы осталось совершенно ясное впечатление, будто Цветухин произнес эти слова шепотом. Во всяком случае, он наклонился к ней настолько, что, наверно, все обратили внимание, и ей бросился в глаза вороной отлив его открытого правого виска под папамой и его черные подстриженные усы, почти так же близко, как перед тем — молодые незаметные усы Кирилла.

С печальной завистью Лиза посмотрела на Аночку. Маленькой девочке сейчас предстояло войти в театр, в момент, когда наглухо закрыты главные двери и все заперто, кроме бокового таинственного входа около сада, а ей, Лизе, надо было повернуть назад, домой. Вдруг Аночка сжала ее пальцы своей худенькой рукой и пробормотала:

— Пойдемте посмотрим! Там всего много-много!

— Правда, если вам любопытно, зайдемте в костюмерную, очень интересно,— подхватила Ольга Ивановна.

— Что же я скажу? — спросила Лиза, тотчас решив, что пойдет, и испугавшись своей решимости.

— Мы скажем, что вы с нами.

У Лизы быстро возникали и терялись какие-то возражения, но дверь уже отворилась, и на улицу дохнуло влажной прохладой, как от свежевыстиранного белья.

Тут было все в полутенях или в темноте — переходы коридорчиков, ступени, площадки лестниц, словно цветочной пыльцой овеянные сонным светом электрических лампочек. Потом открылась светлая комната с деревянными стойками, на которых в два ряда были навешаны — точно замороженные оболочки каких-то жизней — парчовые, атласные, суконные, шелковые острова в пучине позументов, кружев, стекляруса, лент. Движение воздуха, поднятое Ольгой Ивановной, прокладывавшей своими узлами дорогу среди этого тряпичного космоса, иногда размораживало какую-нибудь оболочку, и, шевельнувшись, она напоминала Лизе то умирающего боярина, то полного нетерпения испанца, то насмешливую французскую маркизу. Аночка приостановилась около пышного кафтана, качавшегося на вешалке, тронула парчу пальцем, шепнула Лизе:

— Это — золото.

— Это — царь Федор,— тоже шепотом сказала Лиза.

Они вошли в мастерскую. Портные в очках, обложенные многоцветными лоскутами, сидя на столе, беззвучно дергали иголками. Ольга Ивановна развязала узлы. Два человека в жилетках стали ворошить принесенное тряпье.

— Мне прямо совестно, не знаю, как совестно,— лепетала Ольга Ивановна.

— Вот это для Барона,— сказал костюмер, распяливая за рукава промусоленный драный пиджак.

— Ах, что вы,— для Барона! — ужаснулась Ольга Ивановна.

Аночка усердно мигала Лизе, чтобы она нагнулась и послушала что-то по секрету.

— Сходим туда.

— Куда?

— Где представляют.

Лиза покачала головой. Но Аночка тянула ее за локоть, и они незаметно начали пятиться к двери.

— Я здесь уже лазила,— сказала Аночка, когда они очутились в узком проходе, где струился смешанный запах клея и парикмахерской. Они спустились по ступенькам, снова поднялись и вошли в затененное ущелье необычайной высоты. Они находились на самом дне этого ущелья, а сверху, откуда несмело проглядывал дневной свет, нависали на них концы неподвижных веревок и громадные застывшие холстины в пятнах красок. Лиза шла впереди, как будто поменявшись ролями с Аночкой, которая засматривалась и мешкала у каждого встречного предмета.

Вдруг Лиза услышала медленные шаги. Из полумрака появился мужчина. Он шел прямо на нее. Место было узкое. Она прижалась к стене направо. Он шагнул в ту же сторону. Она подвинулась налево. Он хотел уступить ей дорогу и сделал то же движение. Тотчас оба они решили поправиться, двинулись вместе, столкнулись, и он спокойно проговорил низким маслянистым голосом:

— Ну, давайте немного постоим.

Она узнала голос Цветухина. Она узнала его лицо,— оно было совершенно такое, каким ожило в ее памяти несколько минут назад, по дороге к театру, только он был без панамы, и на черных его гладких волосах через всю голову стлался матовый отсвет.

— Вы? — мягко спросил он и помедлил.— Вы? Лиза Мешкова? Как вы сюда попали?

Она все время думала, что ответит, если ее спросят, как она очутилась за кулисами, и ей казалось — она ответит так, как было. Но она молча стояла, неподвижно глядя в глаза Цветухину. Он улыбнулся, взял ее под руку, повернул и повел.

— Пойдемте ко мне,— сказал он.

Они выбрались из декораций, поднялись по чугунной лестнице в коридор, и он отворил ближнюю дверь.

Лиза остановилась у входа. Солнце било через окно, отражаясь в стеклах и рамочках фотографий, развешанных вокруг большого зеркала. Всюду играли эти отблески, размножая неисчислимые мелочи, разбросанные по длинному столу. Афиши разящими буквами вычерчивали имя Цветухина, поднимаясь по стенам к потолку, обвитые лентами, повторявшими золотом надписей то же имя. Шпага с бронзовым эфесом лежала на кресле, прикрытом серым плащом. Цветухин взял шпагу, перебросил плащ на стул, показал на кресло:

— Прошу вас.

Лиза не двигалась.

— Как вы прошли сюда днем? У вас в театре знакомые?

Она глядела на него почти с мольбой. Он опять улыбнулся и спросил, пощелкивая шпагой по своей выставленной вперед ноге:

— Вы хотели видеть меня? Да?

Она отвела глаза. Он повторил тише:

— Вам хотелось встретиться со мной? Признавайтесь.

— Нет.

— Вы говорите неправду.

— Это неучтиво,— выговорила она быстро.

— Простите,— сказал он, улыбаясь еще больше,— но я вижу, вы не хотите сказать правду.

— Зачем же вы принуждаете меня говорить?

— Я не принуждаю. Я прошу. Что вас привело сюда в такое время?

— Случайность.

— Ах, случайность! — довольно засмеялся он.— Счастливая случайность. Счастливая для меня. А для вас?

Неожиданно Лиза села в кресло. Сильно сжимая одной рукой подлокотник, она приподняла другую ладонь к Цветухину, будто предупреждая его, чтобы он не приближался.

— Вы говорите со мной, как с девочкой,— сказала она.— Вы ошибаетесь. Девочка вряд ли могла бы понять, что вы избалованный человек. А я вижу — это так. Мне кажется, я это знала раньше, что вы избалованы. Я думала, что это, вероятно... вероятно, у актера. Но я не думала, что вы недобрый. Вы мне показались другим. Если я ошиблась тогда и не ошибаюсь сейчас, это очень жалко.

Она была бледна, губы еще вздрагивали у ней, когда она замолчала. Цветухин смотрел на нее с удивлением. Повременив, он слегка наклонился и произнес озабоченно:

— Я не хотел вас обидеть. Вы, наверно, устали? Да? У вас экзамены?

— Да.

— Много еще осталось?

— Три.

— И потом — конец?

— Конец.

— Совсем?

— Совсем, совсем! — сказала она, легко вздохнув.

— И начинается вольная жизнь, да? Куда же вы? На курсы? Или, может быть, в театр? Да?

Она покачала головой.

— Страшно? — спросил он с любопытством и, не дождавшись ответа, согнул шпагу, рассек ею со свистом воздух и отошел к окну.— Страшно,— сказал он утвердительно,— я понимаю вас, страшно. Берегитесь театра, берегитесь искусства. Вот зверь, не знающий пощады. Он либо поглощает всего человека, либо изрыгает его вон. Ему нужно все, и ему ничего не нужно, кроме себя самого. Слава богу, если он поглотит тебя безраздельно. Горе, если изрыгнет.

Перед Лизой стоял совсем не тот Цветухин, который только что улыбался ей. Солнце охватывало его льющимся в окно свечением, стан его был силуэтно-черным, неподвижным, с откинутой рукой на эфесе шпаги, острием воткнутой в пол.

— Подальше, подальше от этого зверя,— говорил он, любуясь вкрадчивостью своего голоса.— Лучше жить простой жизнью не-

заметного труда, чем здесь, у этого зеркала, с этими красками, в этих плащах. А женщине, особенно женщине, нужно обыденное, неприкрашенное счастье. И если бы вы спросили, чего я желаю вам, вам, молодой девушке, завтра вступающей в вольную жизнь, я бы сказал — любви, самой обыкновенной женской любви.

Он подошел к Лизе и проговорил, низко опустив голос:

— Однако, может быть, вы обладаете тем, чего я вам желаю? Может быть, вы любите?

— Что это у вас за шпага? — спросила Лиза так громко, точно силой звука хотела стряхнуть с себя обаяние его голоса.

— Вы не видали меня в «Гамлете»? Нет? Я хотел бы, чтобы вы посмотрели.

Он стал ан-гард, сделал штосс и сказал в несколько разочарованном и насмешливом тоне:

— Эта шпага пронзает пошлость и ничтожество, которые таятся за занавесом благородства.

— Вы не боитесь, что она пронзит вас? — спросила Лиза, взглянув на него исподлобья.

— О, о! — засмеялся Цветухин.— Вы будете опасной женщиной!

Он наклонился к Лизе, но постучали в дверь, она приоткрылась, в уборную заглянул человек в жилетке.

— Егор Павлыч, не зайдете на примерочку?

— Что там еще?!

— Барона примерить: помрачается рассудок, какие рубища доставлены! Специально как вы желали.

— Я пойду,— сказала Лиза, вставая.

— Погодите, прошу вас,— остановил ее Цветухин, отмахиваясь от человека в жилетке и закрывая перед его носом дверь.— Я хочу вас пригласить... вы любите прогулки на природу? Соберитесь ко мне на дачу, я живу на Кумысной поляне, с вашим знакомым, с Пастуховым. Приезжайте, а?

— Как же это может быть?

— Ну, как может быть... ну, просто — случайно. По счастливой случайности,— улыбнулся он без малейшего оттенка лукавства, даже почти извиняясь.

— Нет, нет, это не может быть. До свиданья.

— Вы заплутаетесь, я провожу вас.

— Нет, нет. Я — не одна.

— Так приезжайте,— крикнул он ей вслед и, остановившись в дверях, послушал, как зачастили ее каблучки по асфальту коридора и дальше — звонко — по чугунной лестнице.

На каком-то повороте к ней подскочила Аночка.

— Ну что? Черный ругался? — спросила она, до шепота сдавливая свое торопливое бормотанье.

— Нет, нет. Черный не ругался! — ответила Лиза, не убавив шага и на ходу прижимая к себе растрепанную голову Апочки.— Но ты ступай к маме, а я пойду одна. Нет, нет! Не провожай. Я — одна.

И вот — она на улице, в певучем свете дня — какого дня! Она идет напрямик через площадь, вымощенную неуклюжим булыжником, но горбатые голубые камни гладко скользят у нее под ногами, как выкрашенный асфальт театральных коридоров, и солнце как будто светит только затем, чтобы перед ее взором, не исчезая, сияло окно с неподвижным черным силуэтом и чтобы она очерченней видела руку, так музыкально положенную на бронзовый эфес шпаги. Третий мир, мир чуда наполнился тяжеловесной кровью, и Лиза слышала и несла его в себе к тем двум другим мирам, в которые возвращалась с безмятежным и странно выросшим сердцем.

Споткнувшись на кривобоком камне, она засмеялась: три экзамена,— что за пустяки! Один шаг, один веселый шаг — и открывается вольная жизнь, прозрачная, как воздух, бесконечность! А Кирилл — милый Кирилл! — он даже не подозревает, как прав: великие люди, пожалуй, доступнее обыкновенных смертных!

14

Троицын день проходил у Мешковых по обычаю отцов. С базара привозили полную телегу березок и травы,— березки расставлялись в углах комнат, подвешивались на притолоках дверей; травою во всем доме устилался пол, по подоконникам раскладывалась ароматная богородская травка, и ставились в горшках и стаканах цветы. Волглое дыхание леса и лугов еще с кануна наполняло дом, а за ночь все жилище делалось томительно-вкусным, как медовый пряник.

Но из комнатных лесов и лугов больше, чем в другие праздники, хотелось к живым деревьям и цветам. Лиза испытывала тягу на волю вдвойне: у нее кончились экзамены, оставался только торжественный выпускной акт,— троицын день был первым днем, когда она проснулась не гимназисткой. Кирилл преподнес ей записную книжку, переплетенную в красный шелк, с золоченой монограммой на уголке — «Е. и К.», что значило: Елизавета и Кирилл. На первой странице он вывел перышком «рондо», как писал на чертежах, тушью, два слова: «Свобода. Независимость».

Они сговорились поехать за город, Лиза предложила — на Кумысную поляну. Дома она сказала, что отправляется с подругами, повод для прогулки был слишком очевидный даже Меркурию Авдеевичу.

Они доехали на трамвае до крайней дачной остановки и пошли в гору низкорослым частым леском из дубняка, неклена, боярышника. Они молчали. Момент был несравним с прошлыми переживаниями, говорить можно было бы только о значительных вещах, об итогах или планах, или даже о неизменном чувстве, но только особенными словами. В заброшенной лесной дороге без колей, в обочинах ее, обтянутых ползучей муравой, в листве, закрывавшей небо глухим гротом, заключалось так много сосредоточенности, что не хотелось ее нарушать разговором. Другой, громадный, необъятный грот из чреватых теплых туч нависал ниже и ниже над лесом, и все вокруг притаилось, чуть дыша и послушно ожидая готовящейся перемены. Темнело, и когда они вышли в реденькую березовую рощу, стволы показались яркими бумажно-белыми полосами, налепленными на лиловый сумрак, и такой же бумажной белизной светились в траве первые ранние ромашки.

Кирилл сорвал цветок, шагнул в сторону, чтобы достать другой, еще шагнул и еще, и это собирание цветов сделалось бессодержательной целью, освобождающей ум от всяких мыслей, и Кирилл зашел далеко в рощу, а когда вернулся, в руках его был неловкий букетик ромашек, и сам он, с этим букетиком, показался Лизе тоже неловким и — как никогда — мальчишески юным, похожим на милый низенький дубок. Она ждала его там, где он оставил ее, пойдя собирать ромашки, и почему-то в ожидании его на месте, в то время как он бродил по роще, она увидела себя взрослой, а его — маленьким, и от этого он стал ей еще милее. Он дал ей цветы, она прижала их вместе с его пальцами к груди и спросила:

— Помнишь?

— Помню,— ответил он.— Только тогда была сирень.

— Да,— сказала она,— и платье было коричневое, форменное. Я его уже больше никогда не надену.

— А на выпускной акт?

— Я надену это синее.

Она все еще держала его пальцы. И тут они поняли, что оба ждут от этого дня чего-то неизбежного.

— К дождю,— сказал Кирилл.— Слышишь, как душно?

— Пусть,— проговорила она так, что он не расслышал, а угадал это слово и за этим словом — готовность не к смешному неудобству дождя, а ко всему, что бы ни случилось.

Лес находился на пределе настороженности, движение умерло, каждый листок как будто навечно отыскал во вселенной свое

место. Потом издалека прибежал по макушкам берез испуганный шорох, и сразу прорвался между стволов самовластный ветер, и все задвигалось, заговорило в смятении: мы были бдительны, бдительны,— свистели ветви, качая на себе трепещущие листья,— мы ждали, ждали, и вот пришла, пришла буря! Лиловый сумрак был внезапно поглощен каким-то солнечным обвалом, березовые стволы на миг почернели, затем все опустилось во тьму, и тотчас лес дрогнул и веселые пушечные залпы ухарски покатились вдогонку друг за другом.

— Это — рядом,— сказал Кирилл,— сейчас польет, бежим.

Он схватил руку Лизы с букетиком, и они побежали к овражку, закутанному приземистым дубняком. Нагнувшись, они подлезли под густое прикрытие и, устраиваясь в плотной и теплой лиственной пещере, услышали над собой барабанные щелчки первых тяжелых капель.

Они сидели, прижавшись друг к другу, и Кирилл обнял Лизу.

— Наше первое жилище,— сказал он.— Неожиданное, правда?

— Будет ли второе? — сказала она.— Все ведь неожиданно на свете.

— Отец отпустит тебя в Москву?

— Кажется, да. Он очень стесняется людей. Он ведь и в гимназию не хотел меня пускать. А потом стало неловко: что же Мешковы — хуже других? Но все-таки он непреклонный.

— Если не отпустит,— сказал Кирилл сосредоточенно,— то ты подожди год, я кончу училище, у меня будет профессия, начну работать. И ты уйдешь ко мне. Уйдешь?

Лиза подумала. Ливень уже мял и трепал рощу,— промокшая, она обвисала под его потоками, в гуле и звоне хлещущих без перебоя струй. Чтобы преодолеть шум, надо было говорить громко — в этом коконе из листвы, окатываемой водой, и Лиза вместо ответа опустила голову. Кирилл спросил снова, почти дотронувшись губами до ее уха, закрытого прядью тонких волос:

— Уйдешь?

— Да,— сказала она.

Он поцеловал ее в щеку, очень тихо, потом, спустя минуту,— еще раз, крепче и дольше. Оба они не замечали, что землю перебрасывало из темноты во вспышки сияюще-белого огня и назад — в темноту, и опять — в огонь, и они не слышали пальбы, радостно одобрявшей это качание из света в тьму,— они были неподвижны.

Они вернулись к ощущению того, что их окружало, только тогда, когда наступила тишина и солнце засеяло все вокруг глянцевыми пятнами и с деревьев отвесно сыпались медлительные благоуханные дождинки.

— Как, уже все прошло? — изумилась Лиза и первой вылезла из-под навеса, поеживаясь от капель, попавших за воротник.

— Все совсем по-другому,— сказала она, выискивая, где легче перепрыгнуть через ручьи, стремившиеся в овражек. Трава, положенная на землю дождем, выпрямлялась, испаринка поднималась над ней, затягивая лужки молочными стельками. Березы были новорожденно-чисты.

Дорога скоро вывела из рощи на поляну, и они сразу услыхали конский топот и ржание. Табун маток с жеребятами бежал трусцой на дорогу, но появление незнакомых людей напугало передних кобыл, они приостановились, затем скачком повернули и пошли сбивчатым озорным галопом наискосок поляны. За ними шарахнулись остальные, и когда они поворачивали свои сытые, но ловкие тела, на мокром глянце их разномастных боков и ляжек вспыхивал солнечный отблеск.

— Они словно одержали победу,— сказал Кирилл.

Из рощи выскакал на иноходце татарин с бельмом на глазу, привстал на стременах, засеменил наперерез табуну и быстро перехватил и выгнал лошадей на дорогу. Кирилл спросил у него, где продают кумыс, он показал кнутом на дальнюю березовую опушку, дико, безжалостно свистнул и ускакал.

У посиневшей от дождя избы, рядом с загоном для доения кобыл, были врыты стол и скамейка. Татарчонок-распояшка покивал свежевыбритой розовато-сизой головой в малиновой тюбетейке, смахнул полой бешмета воду со стола, сбегал на погреб. Стаканы запотели от кумыса, кислинка его отдавала вином и пощипывала горло. Точно по сговору, Кирилл и Лиза остановились на полстакане, потянулись друг к другу и чокнулись кумысом.

— Когда-нибудь,— сказала Лиза,— когда-нибудь мы выпьем с тобой настоящего вина.

— Уж скоро,— ответил он,— я уверен — скоро.

15

Когда допивалась вторая бутылка, татарчонок, отсчитывая сдачу, весело звякнул кисетом с деньгами.

— Артист идут кумыс кушать,— сказал он резво, от удовольствия ощеривая маленькие матовые зубы.

— Ведь это Цветухин с Пастуховым,— сказал Кирилл.

Лиза цедила остатки кумыса, неудобно запрокидывая стакан отодвинутой рукой, будто стараясь заслониться локтем.

Подойдя ближе, Цветухин увидел ее, просиял, хотел снять панаму, но Пастухов удержал его и, остановившись, громко запричитал:

— Смотри, Егор, какая прелестная пара, этот юноша и эта девушка. Как трогательно думать об их грустной судьбе. Девушка, милое созданье, еще надеется жить и ходит пить кумыс, а беспощадный недуг уже подкрался к ней и неудержимо влачит ее в зияющую яму небытия. Природа сверкает всеми цветами, а ее лицо бледно, пальцы ее дрожат, она приговорена. Бедная девушка! Бедный юноша! Бедная пара! Бедные мы с тобой!

Цветухин отмахнулся от него, они со смехом подошли, протягивая через стол руки, и Лиза и Кирилл отвечали им смехом, и татарчонок показывал все зубы, считая, наверно, что веселье не может не сопутствовать этим удивительным людям.

— А что, если бы я была действительно больна? — с неожиданным кокетством спросила Лиза.

— Боже мой, неужели я так похож на дурака? — всерьез промолвил Пастухов.— Ведь вы своим видом опровергаете существование болезни. Я пел панихиду над природой: она меркнет перед вашими красками. Ну, перестаньте, перестаньте краснеть. Это становится неестественным!.. Ахмет, что разинул рот? Три бутылки шампанского, да постарше!

— Вот она — счастливая случайность,— сказал Цветухин.— Где вы пережидали дождь? Почему не зашли к нам на дачу?

— Вы думаете, всем известно, что у вас здесь дача,— сказал Кирилл.

— Я говорил Лизе.

— Да? — удивилась она.— Это было мельком. Я как-то не запомнила... Мы спрятались от дождя под деревьями.

Она приостановилась на секунду и добавила:

— Было очень хорошо. Мы вышли совсем сухими.

— Сухими из воды,— сказал Пастухов.

Он чуть лениво рассматривал всех своим прилипчивым взором. Казалось, он был уверен, что от него ничего не скроется, и, если бы захотели, он, как гадалка, раскинул бы карты будущего. Он видел, что славному юноше предстояла первая обида чувства. О, конечно, обида будет нанесена не злой волей: откуда взяться злу в этой нежной и немного пылкой девушке? Но в руках судьбы — прихотливое перо. Что вычертит оно? Ведь самая любимая его забава — обман. Цветухин — вот кто предназначен испытать еще несмелое увлечение молодых людей. И разве оно устоит перед его искушенной игрой? Он уже взялся за свою роль и будет вести ее, хотя бы от скуки, а если бросит на полдороге, то Лиза все равно предпочтет несчастье с ним любому благополучию. Да и что за благополучие ожидает ее с этим юношей, который поступит чертежником на железную дорогу и будет требовать пирогов с визигой по воскресеньям? Правда, он, видимо, волевой человек. Но

вряд ли Лиза найдет утеху в его упорстве, с каким он будет отстаивать свои воскресные пироги. Мечтательность ее потребует больших радостей, счастливых мук, она предчувствует их с Цветухиным, она уже не может смотреть на него спокойно. Судьба похищает ее и смеется над ее молодым другом. Все ясно видно Пастухову на картах будущего, безжалостно и прискорбно их проницательное сочетание.

— Что вы так смотрите? — спросил Кирилл.

— Я смотрю, какой вы серьезный человек.

— Почему вы находите?

— Ну, хотя бы потому, что вы сердито разговариваете.

— Нет, нет,— отозвалась Лиза,— он просто смущен... так же, как я. Мне кажется, это не он, а вы говорите очень сурово.

— О, вы его не знаете! — почти пропел Цветухин.— Александр исключительно мягкий человек.

— Не мягкий, но доброжелательный,— поправил Пастухов.— Я очень доброжелателен к вам,— сказал он Кириллу, наклонив голову.

— Благодарю.

— Пожалуйста.

Все помолчали. Пастухов выпил стакан кумыса и недовольно утер губы.

— Я думаю,— проговорил он тоном, который требует нераздельного внимания,— я думаю, что...

Он примолк и налил еще кумыса.

— Будем говорить просто,— начал он, понимая, что его ждут.— Вы мне действительно очень нравитесь. Я лет на десять старше вас. Ведь так? Но я молод, душевная жизнь юности мне еще очень близка. Вы сейчас в такой поре, когда ко всему относишься с недоверием. Особенно к тому, что исходит от старших. Всякое слово старшего кажется каким-то церковным наставлением и обижает.

— Не всякое слово,— сказал Кирилл,— и не всякого старшего. Если бы так, мы не могли бы учиться.

Пастухов сделал паузу, которая могла означать, что перебивать его не следует.

— Вы в той поре, когда чужая попытка откровенного разговора принимается за покушение на внутреннюю свободу. Застенчивость переходит в скрытность. Я помню, в ваши годы я был неприветливым, хмурым. Я не мог разговаривать, мне казалось, что никто меня не поймет, что все враждебны моим вкусам, ненавидят мои убеждения.

— Но Кирилл совсем не такой! — обиженно выговорила Лиза.

— А главное,— сказал Кирилл,— нельзя утверждать, кто из нас откровенен, кто — нет: мы едва знаем друг друга.

— Я говорю о себе.

— Вы говорите о себе, но хотите сказать, что я такой же, как были вы. А я не такой. Я не считаю, что все почему-то должны ненавидеть мои убеждения.

— А какие ваши убеждения? — спросил Пастухов, быстро облокачиваясь на стол, точно собравшись долго слушать.

Даже на ярком солнце видно было, как хлынула краска к щекам Кирилла и весь он тотчас отвердел.

— Вот вы и потеряли дар речи,— улыбнулся Пастухов.

— Ничуть не потерял. Но я не понимаю... собственно, что вас интересует? — с неожиданным вызовом воскликнул Кирилл.

— Меня и интересует молодежь,— спокойно ответил Пастухов.— Мне хочется знать, ждет ли она что-нибудь большое или просто так,— упражняется с гантелями, читает «Воспитание воли» Жюля Пейо, ходит в Липки с барышнями. Я, по крайней мере, жил так. А когда пришел девятьсот пятый год, я решительно не знал, что мне делать — идти ли гулять с барышней, бить ли кого гантелями по голове. То есть я очень хотел пойти на баррикады, но не знал к ним дороги. Неужели и с вами так будет?

— Со мной лично?

— Да, друг мой, лично с вами.

— Нет. Со мной будет иначе.

— То есть вы будете знать дорогу на баррикады? — спросил Пастухов, отчеркивая слово от слова внушительными остановками.

Кирилл взглянул на Лизу,— она слегка приподнялась, удивленная, как будто не верящая, что перед ней тот самый Кирилл, с которым она отсиживалась от ливня в овражке. Он сказал отчетливо:

— Я уже теперь знаю.

— Поздравляю вас,— произнес Пастухов без всякой рисовки.

— Завидная уверенность,— сказал Цветухин.— И очень красивая. Дорога на баррикады. Дорога на эшафот. Можно сыграть.

— Я не актер,— вдруг распалился Кирилл,— меня не привлекают эффекты. А что касается эшафота, то хороший солдат не думает о смерти, когда идет на врага. Это во-первых. А потом, я знаю, вы хотите сказать старую истину, что история повторяется. Неизвестно. Еще неизвестно, кто пойдет на эшафот.

— Батюшки мои,— шепотком выдохнул Пастухов.

Кирилл одним духом допил остатки кумыса, словно затем, чтобы утушить свой запал.

Цветухин не спускал глаз с Лизы. Ее лицо отражало не только переходы разговора, но полноту всех ее чувств,— что-то похо-

жее на страх за Кирилла, и гордость, и счастливое недоумение, почти растерянность перед его дерзкими словами. И было в ее разгоряченном лице и во всей тонкой осанке волнение удовольствия, даже блаженства. Цветухин мог, конечно, отнести это волнение к себе — уже потому, что Лиза старалась не смотреть в его сторону. Но, вероятно, ни он, ни Пастухов не догадались бы, что она наслаждается своим участием в чем-то книжно-возвышенном — во встрече на поляне, в необыкновенном разговоре, который проявил несогласие во взглядах и, может быть, обещает ссору. Нет, не вульгарную ссору, не раздор, а именно книжную ссору, как у Тургенева, когда несхожие люди спорят о чем-то несуществующем, но очень существенном, и расходятся с возросшим уважением к самим себе. Оказывается, такие люди возможны не только в книгах, и Лиза находилась среди них. Вольно было Цветухину объяснять ее состояние одним своим присутствием. Он нарочно не отозвался на задор Кирилла: Пастухов затеял спор и пусть продолжает, а ему, Цветухину, гораздо занятнее наивные переживания Лизы. Конечно, ему тоже интересен спор, и он прислушивается к нему, тем более что речь идет об излюбленных предметах, но его достоинство задето неуважительным замечанием об актере, которого будто бы всегда должен привлекать эффект. И как сделано это замечание? Действительно по Тургеневу — с истинно детским ожесточением. Впрочем, из уст такого мальчика, как Кирилл, странно было бы ожидать что-нибудь глубокомысленное. Он даже не подозревает, что Пастухов забавляется им, как кошка мышью. И, однако, Цветухин, вместе с Лизой, не пропускает ни слова из продолжающегося разговора.

После раздумья Пастухов пришел к заключению, что Кирилл даже серьезнее, чем он полагал. Признание это оживило молодое любопытство Кирилла, и он захотел узнать — а вот почему, собственно, Пастухов все время посмеивается,— нет, нет! не над своим собеседником (Кирилл вовсе не страдает гипертрофией самолюбия,— он так и выразился: гипертрофией), не над собеседником, а над самым содержанием беседы, как будто ставя себя гораздо выше своего разговора. Тогда Пастухов спросил, уж не обиделся ли Кирилл за гантели или, может быть, хочет взять под защиту воспитание воли? Обнаружилось, что Кирилл усердно упражняется с гантелями и не видит в том ничего смешного, тем более что вот и Егор Павлович Цветухин занимается гимнастикой по системе Мюллера. А что касается воспитания воли, то это, может быть, смешно единственно в том случае, если неизвестно, для какой цели воля воспитывается. Тут Пастухов не устоял перед соблазном и проказливо сощурился на Лизу:

— С гантелями упражняетесь и про воспитание воли читаете. А в Липки с барышнями не ходите, нет?

Кирилл перекинул ногу через скамейку, вскочил и стал в ту устрашающую позу, которая, вероятно, лучше всего ограждает права личной жизни, но овладел собою и даже усмехнулся:

— Если сознаться, самое приятное из этих занятий как раз — Липки.

Все засмеялись, но Кирилла не утешил холодный душ, которым он окатил сам себя, и он сказал насупленно, точно обойденный супруг:

— Нам уже пора, Лиза.

Он не хотел слышать приглашений на дачу к Цветухину, он твердил тем упрямее, чем больше колебалась Лиза: нам пора, нам пора. Кумыс был давно выпит, с татарчонком расплатились и пошли через поляну,— впереди Цветухин и Лиза.

Пастухов, сощипывая и растирая в пальцах прошлогодние султанчики конского щавеля, говорил, пожалуй, больше для себя:

— То, что я прежде называл волей, теперь мне кажется отчаянием молодости. Это — смелость, которая рождается тоской о недостижимой, лучшей доле, когда опостылит все вокруг своей ложью и хочется либо все бросить и бежать без оглядки, либо все переломить. Поступки, совершаемые в такие моменты, имеют вид волевых. Но в действительности они именно отчаянные. Безответственные перед собою и перед людьми. И юные годы именно такой безответственностью и хороши. О ней-то и вспоминает с грустью обремененный ответственностью, порабощенный долгом взрослый человек.

— А я думаю,— сказал Кирилл,— у юности есть своя ответственность. Ведь в конце концов не так существенна природа воли — отчаяние это или смелость. Важно — к чему воля приложена. Важен результат усилий. Извините: вы сказали, что всего лет на десять старше меня. Но вы как-то гораздо...

— Старее? — перехватил Пастухов, даже как будто обрадованно.— Это потому, что я силюсь понять молодость. Это старит.

Он сорвал ромашку, воткнул ее в петличку своего просторного, похожего на блузу, голубенького пиджачка.

— Мне нравится, как вы говорите. Отовсюду у вас торчат занозы и колючки.

Он хотел взять Кирилла под руку, но тот резко прибавил шаг. Они опять объединились вчетвером, и Пастухов пожаловался, печально ухмыльнувшись:

— Ну, Егор, дорассуждался я до того, что меня назвали стариком. И знаешь, не близко ли это к правде? Я изредка проникаюсь благоговением перед традициями. Когда я последний раз ез-

дил в отцовскую усадьбу, она уже была продана с молотка. Я ходил по чужим, безутешным аллеям, заглядывал в старые дупла деревьев, знакомые с детства, и думал: липа, посаженная дедом Пастухова, не просто — липа, а *госпожа* липа. И, наверно, я чересчур бережлив с родниками, которые у нас безоглядно, чем попало заваливают.

— Ты ведь Аткарского уезда? — спросил Цветухин.

— Нет, с теми Пастуховыми мы не в родстве,— возразил Александр Владимирович с мимолетной надменностью.— Мы хвалынские Пастуховы. Оттуда же родом Радищевы, Боголюбовы.

Он свысока посмотрел на Кирилла и Лизу и вдруг увидел, что оба они ничего не слышат ни о липах, ни о родниках. В глазах Лизы блестел налет внезапного испуга, вот-вот должна была скопиться в них прозрачная детская слеза, и Кирилл был словно поражен этой оторопью, и что-то порицающее, как у судьи, проглянуло на его лбу, жестко очерченном темными волосами. В эту секунду оба они были поглощены друг другом, и Пастухов, как всегда, быстро, свободно переменив тон, сказал Цветухину:

— Пойдем, старик, к себе на дачу: наши друзья (он слегка обнял за плечи Кирилла) приехали сюда — побыть наедине. Им надоела наша меланхолия и всякий вздор.

— Я думал, им хотелось побыть с нами,— проговорил Цветухин, с виду наивно обращаясь к Лизе.

Но она не заметила его лукавства: по-прежнему взгляд ее не отрывался от Кирилла.

Когда, простившись, они остались одни, она сказала торопливо:

— Я вернусь.

— Зачем? — негромко отозвался Кирилл.

— Я сейчас. Я оставила там, на столе, ромашки.

— Вижу. Но зачем возвращаться?

Они сделали несколько медленных шагов, напряженно и прямо, точно боясь коснуться друг друга.

— Ты так неожиданно говорил сегодня... И я стала какой-то рассеянной, понимаешь? Ну, чем же я виновата, что ты совсем, совсем другой!

— Но ведь и ты другая, Лиза!

Они замолчали и пошли быстрее. Поляна заслонялась от них тонкими колонками березовых стволов, которые как будто кружились — ближние отставали, дальние забегали вперед. В глубине рощи разбрелись и стояли почти неподвижные лошади с нагнутыми к земле головами. Испаринка после дождя улетучилась, только в разлапой траве вспыхивали и гасли самоцветами крупные скатавшиеся капли. Овражек, где Кирилл и Лиза пережидали грозу,

был покрыт миротворной тенью, а вершины деревьев, выполосканные ливнем, захлебывались сверканьем зелени.

Только что, когда Кирилл собирал между этих деревьев ромашки, он почудился Лизе мальчиком, а сейчас, покосившись на него, она почувствовала его небывалое превосходство: он был взрослым, она — девочкой. Он, как отец, мог что-то спрашивать с нее, она — как отцу — чего-то не могла ему сказать. Безмолвно они шли среди разящего сияния напоенной, насыщенной довольством листвы, вспоминая, каким легким было их молчание час назад, на этой же заброшенной дороге, под прикрытием этого же грота из неклена, боярышника, дубняка.

Наконец уже на виду трамвайной остановки Кирилл нарушил нестерпимую немоту:

— Ты встречалась с Цветухиным?

И Лиза опять заспешила:

— Знаешь, совершенно нечаянно. И даже смешно. Один раз. Мы с тобой еще не видались после этого, и я собиралась тебе рассказать. Но мне было так хорошо с тобой сегодня, Кирилл... я все, все позабыла. Ты понимаешь? Ты сегодня был весь такой новый!

Он не ответил. Они вошли в трамвай — в светло-зеленый, вымытый, как листва, вагон с воткнутой на крыше троичной березкой,— и Лиза предложила сесть на свободные места. Тогда опять бычком-супругом Кирилл отбоднулся:

— Садись, пожалуйста. Я постою на площадке.

16

Мефодий, одетый Татарином, сидел сбоку от Цветухина, глядя, как он накладывает грим, и говорил, с обидой пошлепывая своими оттопыренными губами:

— Сухим летом заводится на смородине маленький такой червячок и плетет клейкую паутину — все кусты залепит, тронуть нельзя. И от ягоды уже ничего не осталось, одна труха, а он все плетет, плетет. Вот мы, в наших общих уборных, в такой липкой паутинке перепачкались и не можем обобраться.

— Хочешь, чтобы я провалился? — не огрываясь от зеркала, спросил Цветухин.

— Ты — другое. К тебе паутинка не приклеится. Ты, если нашими задами пройдешь, сейчас же и осмотришься — не пристал ли какой репей, и опять к себе, в свой чертог. Ты, Егор,— талант.

— Так, так. Канифоль меня, друг, канифоль, я сейчас заиграю.

— А я — что? — продолжал Мефодий.— Получил роль Татарина: выйди на сцену с завязанной рукой, помолись, помычи — и все. Так из-за этого мычанья сколько я натерпелся от дружков: чем я, вишь, лучше их, что в программе значусь? Роль, вишь, Татарина — великая роль, ее в Художественном театре какой актер играет! Помычит — весь театр рыдает. Помычать надо уметь. Мне бы такой роли ввек не увидеть, если бы я за цветухинскую фалду не цеплялся. «Ты, говорят, льстивый раб». Дураки! Я с Цветухиным на одной скамье брюки протирал, пуд соли съел. Он мне друг, а на вас он чихал.

— Ты — с похмелья? — спросил Цветухин.

— Я не пью. Я читаю. Как тогда Пастухов сказал про Льва Толстого, так у меня Толстой из головы не выходит. Достал книги и будто глаза промываю. Еще больше за себя обидно становится: червь смородинный, паутина! Он перстом своим животворным кору с меня отколупывает, чтобы моего благородства коснуться и меня вознести. А я в страхе вижу — глубок, глубок овраг, в котором я лежу, не выбраться. То отчаяние возьмет, то совестно до слез, и слышишь — ноги сами дергаются, идти куда-то хотят, и как будто из оврага тропинка какая появляется кверху и манит — ступай смелее! А ведь ты, думаю, Мефодий, забунтуешь, смотри — забунтуешь! И так, знаешь, страшно,— мороз по коже.

— Забунтуешь, надо понимать — запьешь,— сказал Цветухин, припудривая себе усы, и вдруг обернулся лицом к другу и спросил пропитым голосом: — Уважаемый алкоголик, похож я на вас?

Разжиженным, туманным взором смотрел он перед собой. Складки щек оползли, рот увял, тряслась голова, но на ней, вздрагивая, капризно хохлились реденькие сивые космы, и в этом хохле было и презрение к убогому лику, который он украшал, и уязвленная гордыня несчастливца.

— Пускай говорят: я льстивый раб,— благоговейно вымолвил Мефодий,— но ты, Егор, может быть, даже гений!

Цветухин распрямился перед зеркалом элегантно и заносчиво, сказал негромко:

— Цыц, леди!

— Гений,— тихим дуновением повторил Мефодий и удалился из уборной, подобрав бешмет, смиренно наклонив голову.

Цветухин не заметил его ухода. Пока он менял свое лицо, болтовня с Мефодием развлекала его, потом она стала мешать: он кончал работу над своим превращением у зеркала, и зеркало начинало работу над ним. Измененное лицо убеждало Егора Павловича, что он больше не существует, и Егор Павлович терял свои приметы одну за другой — посадку, сложенье, рост, пока перед

зеркалом не поднялся расслабленно Барон — кичливый завсегдатай ночлежки и — кто знает? — может быть, впрямь былой обладатель золоченой кареты с лакеями на запятках.

— Цыц, леди! — еще раз произнес Барон и засмеялся тоненьким рассыпчатым смешком.

Выходя на сцену, он всегда нес в себе предчувствие зрителя, как надвигающейся перемены в природе — нежного восхода планеты, или нещадного урагана, или первого порхания снега. Любопытство, сладость, боязнь неизвестности — он не мог бы выразить словом это предчувствие зрителя, это томление, с каким он ожидал выхода перед толпой, да он и не видел толпу, а только в черной пучине ее — чьи-нибудь глаза, которые будут поглощать его неотступно, и он будет играть только для них, играть особенно, перевоплощенно, и они оправдают и разрядят его предчувствие перемены. Такими глазами в толпе почудился ему неожиданно взгляд девочки, бегавшей недавно на посылках за кулисами по каким-то актерским поручениям — за папиросами в буфет или за маркой на почту,— взгляд медлительный, не по возрасту вдумчивый — синий взгляд Аночки. Правда, глаза ее мелькнули и сразу подменились другими — мягкими, будто испуганными, зеленовато-голубыми глазами Лизы Мешковой, и с этим мгновенным ощущением зрителя, как глаз Лизы, Цветухин вышел на сцену.

Лиза находилась в толпе, где-то в амфитеатре, но чувствовала себя выделенной из толпы, потому что была уверена, что ждет появления Цветухина на сцене, как никто другой в толпе. Праздничность зрителей, пришедших на первое представление пьесы, казалась ей недостаточной, и она объясняла это тем, что зрители не знают так хорошо Цветухина, как знает она. С ней рядом сидел Кирилл. Она впервые пошла с ним в театр, и дома было известно, что они идут вдвоем. Меркурий Авдеевич долго обрабатывал ладонью бороду, прежде чем сказать:

— Непонятно, к чему показывать подобное сочинение — «На дне». Я слышал, ездили в Петербург, чтобы разрешили. Напрасно разрешили.

— Ты ведь, папа, не читал пьесу.

— Зачем читать? Люди изо всех сил стараются на поверхности удержаться, а театр тянет на дно. Сочиняют невесть про что. Разные там Пастуховы. Жизни не знают.

Лучше всего было возражать отцу молчанием — податливость располагала его, упрямство приводило в бешенство.

— Ты должна сама разбираться, ты взрослая,— проговорил он осторожно, как будто побаиваясь, не много ли дает дочери вперед, признавая ее взрослой.

Потом он спросил с хитреньким прищуром глаз:

— Что же, ты... пойдешь со своим... молодым человеком?

Вздохнув полной грудью, она ответила чуть слышно:

— Да.

— Так,— произнес он после долгой паузы.

Он начинал уступать: нынче примирился с Кириллом, завтра примирится с Москвой. Это было торжеством: Лиза сидела в театре, никого и ничего не боясь, бесстрашие переполняло ее, как младенца. С этого часа она была вольна в любых увлечениях, и ей показалось непонятным, что акт за актом она может сидеть совершенно неподвижно, когда внутри у нее все взбаламучено потоками движения и глаза щиплет от жаркого прилива крови.

После спектакля, в шуме вызовов, протискиваясь ближе к сцене, среди толпы, которая не хотела расходиться, Лиза говорила:

— Но я-то по сто раз видела людей из нашей ночлежки. Почему же я не знала, что они — такие? Я их ни капельки не жалела. Они даже отталкивали меня. А тут все тряпки на них кажутся завидными, правда?

— Значит, тебе понравился Цветухин,— сказал Кирилл.

— Да ведь и ты согласен, что его Барон самый несчастный из них, и его больше всех жалко. А самое главное, что их всех жалко.

— Нет, главное — что они поднимают в тебе возмущение.

— Да, они поднимают возмущение против... против всего... Именно потому, что их жалко. А Барона больше всех. Видишь, все время вызывают Цветухина.

— Вызывают, потому что он любимец. Это вечно у публики. Может, ему аплодируют за то, что он понравился в прошлом году.

— Нет, за Барона.

— Или, может, за то, что он по улице в накидке ходит.

— Но ты ведь слышишь: все кричат — Барона! Он всех растрогал, и все увидели, что галахи несчастны, как и прочие люди.

— Я себе все это иначе представляю,— сказал Кирилл сухо.

Тогда Лиза крикнула вместе с другими настойчивыми голосами: «Цвету-у-ухина-а!» — и захлопала в ладоши, нарочно поднося руки ближе к Кириллу. Почти в то же мгновенье кто-то взял Лизу за локоть, точно сдерживая ее пыл. Она обернулась. Пастухов ухмылялся прекраснодушно:

— Правильно, правильно: Цветухин хорош!

Обрадовавшись ему как неожиданному союзнику, она выпалила:

— А я никак не могу убедить Кирилла, что Цветухин сделал открытие своим Бароном.

— Это автор сделал открытие, увидел в жизни, что скрыто,— проговорил Кирилл совсем в тоне назиданий Меркурия Авдеевича, так что Лиза подняла брови: откуда это?

— Мне, конечно, приятно слышать такое мнение,— посмеиваясь, сказал Пастухов,— я ведь тоже автор. Но хороший актер делит заслуги с драматургом.

— Не всякий драматург видит в жизни, что скрыто,— так же наставительно и будто рассерженно и лично адресуясь к Пастухову, продолжал Кирилл.— Для этого мало быть даже поэтом, для этого надо быть... (он подвинулся к Пастухову) революционером!

— Вы все про свое! — сказал Пастухов, опять усмехнувшись.— Идемте лучше поздравим Егора Павловича.

— Пойдемте,— едва не вскрикнула Лиза.

— Я не хочу,— сказал Кирилл.

— Оставьте глубокомыслие, друг мой,— отечески посоветовал Пастухов, беря обоих под руку,— радуйтесь хорошему спектаклю — и все.

Занавес перестал раскрываться. Еще с галереи стремглав низвергались неуемные выкрики, а партер уже опустел, и зал сделался великолепнее: под непотушенной люстрой, как угли, тлел красный мятый бархат сидений и ярусных барьеров. Потом вдруг все исчезло, и стало похоже, будто кончился многолюдный бал, и в тихой полутьме витал только запах тончайшей пыли и надушенных платьев.

По сумрачной сцене бегали плотники, ныряя под декорации, волшебно ускользавшие вверх. Свистели вытаскиваемые из пола гвозди. Пожарные расстегивали пояса,— медные каски их уже висели на стене.

Коридором, мимо распахнутых дверей уборных, шел трагик, сыгравший Актера, и, вытирая лицо мраморной от грима салфеткой, зычно повторял слова своей роли:

— Театр трещал и шатался от восторга публики!

Он зашел к Цветухину и трижды облобызался с ним, запустив пальцы в его раскосмаченную шевелюру.

— Как сыграл, старик, как сыграл! Поздравляю. Но ты не думай, что тебе помог твой ночлежный дом. Я ведь тоже хорошо сыграл, а по ночлежкам не ездил. Искра божия помогла тебе, вот что, старик, понял? И мне тоже.

Пастухов обнял Цветухина и минутку помолчал, сжимая ему руку. Потом посторонился, указывая на Лизу с Кириллом, остановившихся при входе.

— К тебе делегация от публики.

Цветухин раскрыл объятия с таким неудержимым радушием, словно не сомневался, что в них должен упасть каждый. И хотя

Лиза отступила от него, он прижал ее к своей груди в лохмотьях Барона, растроганно и великодушно повторяя: «Спасибо! Спасибо!» Потом снова раскинул руки, чтобы заключить в них Кирилла, но тот шагнул за дверь и подал руку из коридора.

— Через порог нельзя! — воскликнул Цветухин, втягивая его в уборную и в то же время спрашивая: — Ну как, ну как?

— Удивительно, удивительно! — отвечала Лиза с засветившимися, влажными глазами.

— Правда? Правда?

— Удивительно!

— Ну, спасибо, спасибо! А вы,— обратился он к Кириллу,— вам понравилось?

— Вообще — да,— сказал Кирилл негромко, так что все прислушались, разглядывая критика, надломившего общий восторженный тон.

— А в частности, что же не понравилось? — спросил Цветухин с любопытством и немного поощрительно, как спрашивают детей.

— Вы не понравились.

— Вот тебе — делегация! — пробасил трагик.

— Я? Но почему же? — удивился Цветухин.

— Вы сыграли слащаво и всех разжалобили. А я читал пьесу, там совсем не так.

— Интересно, что вы вычитали,— уже насмешливо сказал Цветухин.

— В пьесе все эти оборванцы вызывающие и смелые. А вы думаете, что они просто жалкие пьяницы.

Трагик тряхнул своей мраморной салфеткой, точно отгоняя мух:

— Артист обязан волновать. Слышали, как ревела публика? Нет? Раз мы этого достигли, значит, мы победили. И ты, Егор, молодчина! Зачем же умствовать?

Вдруг раздался новый голос: Мефодий — Татарин, сидевший в уголке, распрямляясь и медленно наступая на Кирилла, в своем страшном гриме, сквозь который пробились крупные дробины пота, заговорил гневно:

— Не много ли вы берете на себя, молодой человек? Вы пришли к великому актеру в торжественную минуту, когда зритель устроил ему овацию, и осмеливаетесь его поучать! Да знаете ли вы, что об этом спектакле завтра будет говорить город? Что о нем узнают столицы? Что это — общественное событие? Знаете ли, что к нам за кулисы явился пристав и запретил играть будошника в мундире полицейского, потому что это вызывает в публике насмешки над полицией?

Тут все ахнули, переглянувшись и вскинув головы, словно в чистом небе зажглась молния, и Мефодий, поводя воинственно глазами, зашептал:

— Да после этого нам многолетие будут петь! Спектакль в историю войдет, в историю, молодой человек!

— Я ничего не говорю про спектакль,— сказал Кирилл, со спокойным упорством выдерживая устрашающий взор Татарина.

— Так как же вы беретесь поучать актеров?!

Цветухин отошел к зеркалу, пожимая плечами:

— Оставь, Мефодий. Каждый волен выражать свои убеждения.

Обида в его голосе будто подтолкнула Мефодия, он шагнул вперед, готовясь снова обрушить на Кирилла негодование, но в этот момент между ними стал Пастухов.

— Я беру публику под защиту от актеров.

— Я сумею защитить себя, если мне дадут говорить,— произнес Кирилл, выдвигаясь из-за спины Пастухова, чтобы опять скрестить взгляд с противником.

— О-о, непреклонная гордыня! — обернулся к нему Пастухов.

— Да он просто спорщик! — в испуге пролепетала Лиза.— Мне так стыдно! Я прошу вас...

Она бросилась к Цветухину. Бледная, с протянутой вздрагивающей рукой, она остановилась перед ним, на мгновенье словно потеряв речь. На щеке у нее, как у ребенка, были размазаны слезы. Она выдавила, заикаясь:

— Простите меня... Простите нас! — и побежала вон из комнаты.

Ей что-то стали кричать вслед — Пастухов, Цветухин, за ними еще кто-то, потом она расслышала настигающий стук шагов, но не обернулась ни разу, а слепо неслась полутемными коридорами, лестницами, обгоняя каких-то людей, пока не увидела над собою угольно-темное небо в молочно-голубой остановившейся пыли звезд.

Она пошла безлюдной площадью, и когда ноги ее стали тяжело срываться с круглых лысин булыжника, она вспомнила, как возвращалась этой площадью солнечным днем, после первой встречи с Цветухиным, и ей стало до боли ясно, что этот солнечный день невозвратим.

Придя домой, она наскоро разделась, легла и, с головой укрывшись, заплакала.

— Все пропало,— сказала она в подушку,— я думала, что свободна, и ошиблась. Кирилл будет мучить меня всю жизнь. Ужасный, ужасный человек!

Ей показалось, что в доме ходят. Какие-то шорохи раздались в передней, что-то упало.

— Я брежу. Я несчастна,— прошептала она и, плотнее заткнув ухо одеялом, уснула.

17

Ночная тревога в доме Мешковых началась с того, что кухарка Глаша, трепеща, доложила о приходе какого-то «чина», который требовал Меркурия Авдеевича. Кое-как облачившись, Мешков спустился на кухню и в дергающемся свете лампового фитиля увидел пуговицы и серебро погонов великорослого черного человека. Пришелец назвал себя жандармским ротмистром, заявил, что прибыл для производства обыска на квартире Рагозина, приглашает Мешкова, как домохозяина, понятым, просит, не задерживаясь, одеться и следовать вместе с ним во флигель. Ночь показалась Мешкову пронзающе-холодной, хотя перед тем ему было душно,— он спал под одной простыней. У Валерии Ивановны отбило память — куда девалось пальто Меркурия Авдеевича, и пока топтались без толку от гардероба в переднюю, в чулан и назад к гардеробу, ротмистр два раза крикнул снизу: «Прошу поторопиться!» После чего пропал также и котелок Меркурия Авдеевича, сброшенный впопыхах на пол и закатившийся под стол. Наконец Валерия Ивановна перекрестила супруга в спину, когда он спускался, прочитала над лестницей «Милосердия двери отверзи нам», послушала — не проснулась ли дочь, и пошла на галерею — смотреть во двор.

В темноте Меркурий Авдеевич не сразу различил соединенные с ночью тени жандармов. Они виднелись по стенам, и он не мог сосчитать их, потому что они перемещались то по трое, то парами, пока не столпились кучей на крыльце флигеля. Он слышал тонкий перезвон шпор, звяканье наконечников на аксельбантах, свистящее сопенье носов,— было тихо. Вдруг раздался голос Глаши:

— Ваше благородие, я неграмотна.

— Нужна тебе грамота! — одернул ее ротмистр.— Ты скажи, как я велел, и все.

Ее протолкнули вперед, к двери, она постучала.

Ксения Афанасьевна сразу вышла в сени (как видно, она не спала) и спросила:

— Петя, это ты?

— Это я,— сказала Глаша.

— Что ты? — отозвалась Ксения Афанасьевна.

— Значит, это... Принесли нам, а это — вам. Приказали отнесть вам.

— Что?

— Ну, это...

Ротмистр должен был подсказать шепотом:

— Телеграмма.

— Телеграмма,— выдавила Глаша плаксиво.

Никто не дышал, и Меркурию Авдеевичу почудилось, что растут звезды в небе и весь двор, с постройками, поднялся и пошел беззвучно кверху. Потом внезапно, с страшным шумом, двор будто упал и пошел под землю, и только тогда Меркурий Авдеевич сообразил, что в курятнике у соседей забил спросонья крыльями и заорал петух. «Не пропоет петел трижды, как отречешься от меня»,— вспомнил Мешков и тут же услышал, как совсем другим, низким и отчаянным голосом Ксения Афанасьевна проговорила:

— Я только оденусь,— и бросилась из сеней в дом.

— Ну-ка, Пащенко! Налегли! — в ту же минуту и уже громко приказал ротмистр.

Двое жандармов, слегка присев и потом быстро распрямляясь, ударили плечами снизу вверх по двери и сорвали запор. Все сразу повалили через сени в комнаты и зачиркали спичками. Меркурию Авдеевичу видны были разновеликие тени фуражек и усатых профилей, качавшиеся на русской печке,— он стоял позади всех, у косяка, и не мог переступить через порог: ноги тупо тяготились словно удесятеренным весом.

— Где Петр Рагозин? — спросил ротмистр.

— На работе,— отвечала Ксения Афанасьевна.

— Давно ушел?

— С утра.

— Не сказал — когда ждать?

— Нет.

— Вы ему жена?

— Да.

Голос Ксении Афанасьевны снова переменился,— неприязнь и даже вызов расслышал в нем Меркурий Авдеевич. Не так надо бы разговаривать виноватому человеку — ведь к невиноватому не заявятся ночью с обыском. Невиноватый, конечно, взмолился бы: ваше благородие! — ошибка, навет, клевета! Вот Меркурий Авдеевич — ни в чем не повинен. Да ведь он завопить готов, на колени броситься рад бы! Помилосердствуйте! Ведь позор падет на его голову. Ведь завтра по улице не пройти: у Мешкова в доме притон обнаружен, пристанище зла и нечестивцев. Мешков давал кров преступлению, приючал бунтовщиков. У Мешкова ночные обыски производятся, крамолу ищут. Да тут не то что на колени рухнешь,

тут никаких денег не пожалеешь, только бы умилостивить судьбину.

А Ксения Афанасьевна вдруг совсем перестала отвечать на вопросы. Она сидела, облокотившись на кухонный стол, нахмурив свои вздернутые бровки, и Меркурий Авдеевич смотрел на нее из-за косяка настороженным взором, отражавшим оранжевый свет фонарей, зажженных жандармами. Если бы не эта маленькая женщина за столом, с ее косичками прямых белых волос, заложенных за уши, с ее кулачком, который она уткнула в подбородок, точно для того, чтобы плотнее зажать рот, если бы не она — Меркурий Авдеевич похрапывал бы у себя в спальне, под простынкой, а не жался бы у чужого порога не то нищим, не то изгоем. Начальство о нем позабыло,— зачем Мешков нужен начальству? Приказало стоять в сенях — стой, прикажет убираться — убирайся. Нет, давно бы надо было покончить с квартирантами. Много ли проку от такого Петра Рагозина? Девять рублей в месяц — разве это деньги? Конечно, надо бы сдавать подороже: флигелек совсем недурен — кухонька, две горницы, службы. Если бы брать рублей двенадцать или хотя бы одиннадцать, поселился бы какой-нибудь письмоводитель или какая вдова на пенсии. А то — девять рублей! Разве порядочный человек снимет квартиру за девять рублей? Получай теперь процент со ста восьми рублей валовых: ославили Мешкова, опорочили, зачернили доброе имя. А ведь как берег его Меркурий Авдеевич! Недосыпал, недоедал, пятачка на конку не израсходовал, а все пешечком, пешечком, да обходя всякий булыжничек, чтобы дольше носились подошвы.

— Это что же такое? — вздохнул Меркурий Авдеевич.— Что же, я жизнь свою делал для Петра Рагозина?

У него начинали отекать ноги, а сесть можно было только на порог, потому что комнаты были завалены разрытыми вещами и жандармы клонились над ними, как на жнитве, своими тучными телами. Он стал глядеть, как они сгибались, как тени туловищ, голов и рук переползали со стен на потолок и падали с потолка, торопясь за передвижениями фонарей, проглатываемые светом. Глаза слипались от этого баюканья пляшущими тенями, и вдруг ночная явь подменила свой пугающий смысл неправдоподобием сна.

— Понятой, сюда,— позвал ротмистр.

Ксения Афанасьевна уже не сидит за кухонным столом, а притулилась в уголочке, обхватив ладонями лицо. На столе поднята доска, и под ней, пригнанный в размер стола, лежит плоский ящик, разделенный переборками на ровные ячейки, чуть больше спичечного коробка каждая.

— Наборная касса,— сказал ротмистр Меркурию Авдеевичу,— типографский шрифт. Видите?

Он берет из ячейки свинцовую литеру, проводит ею по пальцу и, показывая всем черный след краски, говорит:

— Свежая. Недавно работали.

Тени переселяются на погребицу и, точно развеселившись, рьяно прыгают по тесовым стенам. Пустые кадушки гулко перекатываются из угла в угол. Возня усиливается, как будто рукопашная схватка подходит к решительному концу. В сени вытаскивают тяжелую крышку погребного люка, обитую половиками, фонари исчезают под землей, и восковая желтизна света струится через люк вверх, облучая стропила.

Снова зовут Меркурия Авдеевича. Жандармы, расступившись, открывают ему дорогу к светлому квадрату люка, и он нащупывает дрожащей ногой хлюпкую лесенку в погреб. Посредине ямы стоит низенькая машина. С нее сброшено и валяется на земле запачканное стеганое одеяло из треугольных лоскутков. Ротмистр давит ногой на педаль машины, она оживает, послушно ворча смазанными передачами.

— Недурные вещицы обретаются на вашем дворе,— игриво сказал ротмистр.— Наверху — наборный цех, внизу — печатный.

Меркурий Авдеевич делает томительное усилие, чтобы очнуться, и в ужасе убеждается, что не спит: прикоснувшись к станку, он ощущает колючую стужу металла и вздрагивает всем телом. Лесенка трясется под ним, когда он вылезает из погреба.

Петух опять горланит и победоносно бьет крыльями. Посветлело. Ксению Афанасьевну, с узелком в руке, повели через двор двое жандармов.

Дойдя до ворот, она обернулась — взглянуть на покинутый флигель — и почти незаметно кивнула Меркурию Авдеевичу, наверно потому, что больше ей не с кем было проститься. Он не ответил. Ему было не до Ксении Афанасьевны. Он приблизился к ротмистру и мягко пощелкал указательным пальцем по его кителю, пониже погона.

— Испачкались, ваше благородие,— сказал он,— многие места испачкали. Может, зайдете ко мне почиститься щеточкой?

— Пожалуй,— согласился ротмистр.

Стоя посредине кухни и понемногу поворачиваясь перед окном, чтобы было видно, где чистить, ротмистр говорил устало, но благосклонно:

— Как же это у вас, батенька?

— Невозможно поверить,— убито отвечал Мешков.

— Неприятно.

— Удар!

— Теперь пойдет.

— Что делать, что делать, ваше благородие?

— Н-да-с.

— Может, чайку откушаете? Самоварчик?

— Какое! Теперь не до того. Теперь надо писать. Дело чрезвычайное. Полковнику немедленно рапорт. А там пойдет. Полковник — губернатору, губернатор — министерству. Дело особо важное. По такому делу — крепость.

— Господи! За чьи грехи?.. Может, все-таки пожелаете согреться, ваше благородие?

— В каком смысле?

— Ну, в смысле коньячку или нежинской рябиновой. После такой ночи.

— Да? Рябиновой?.. Нет. Надо составлять донесение. Жалко, не взяли Рагозина. Наверно, утек. Как вы о нем думаете?

— Не могу знать. Не вызывал подозрений. Вот только что — не пил. Это в нем необыкновенно. А в остальном мужчина аккуратный. Могло ли прийти в голову?

— Да ведь он же поднадзорный! — сказал ротмистр с упреком.

— Слышал. Однако полагал, что человек исправляется.

— Исправляется? — обрезал ротмистр начальственно.— Не слыхал. Не слыхал, чтобы такие тертые калачи, этакие стреляные воробьи исправлялись!.. Готово?

— Готово. Вот только еще на обшлажочке. Вот теперь все чисто.

— Ну-с, чтобы об этом деле... Понимаете? Ни-ни!

— Как не понимать! Но только как же в отношении меня?

— Вызовут.

— А нельзя ли, ваше благородие, мне сейчас подписать как понятому... и чтобы потом не ходить?

— Нет, батенька. Не ходить нельзя. Вызовут. Ваше дело, я говорю,— молчать. И потом этой... как ее? — Глаша? — чтобы язык проглотила. Ничего не видала, ничего не слыхала. Понимаете? Иначе...

Он погрозил оттопыренным пальцем, мотнул им под козырек, сделал оборот по-военному и ушел, оставляя за собой тягучий хрустальный звон шпор.

Меркурий Авдеевич поднялся наверх. Отяжелела и приникла его походка, согнулась спина. Валерия Ивановна глядела на него испуганно. Ей показалось, что он проработал всю ночь на пристани носаком. Он прошел в спальню, помолился, сделав три земных поклона, присел в кресло и, помолчав, как перед отъездом в большое путешествие, сказал с тоской:

— Пришла беда, Валюша.

— Владычица небесная,— тихо пролепетала Валерия Ивановна,— да что же они, воры, что ли?

— Ах, кабы воры!

— Помилуй бог! Неужели убили кого?

— Может, и убили, кто знает. А что фальшивые деньги печатали — это я сам видел.

Они оба перекрестились и провели минуту в оцепенении. Потом Меркурий Авдеевич сказал:

— Ксению-то увели.

— Да ведь она тяжелая! — ужаснулась Валерия Ивановна.

— А в тюрьме все равно — какая... Лиза не просыпалась?

— Что-то все ворочалась во сне.

— Про обыск ей избави бог знать! — пригрозил Меркурий Авдеевич.

И они снова оцепенели.

18

Уже давно рассвело, а лампа все горела коптящим бессильным огоньком. Вера Никандровна сидела на развороченной постели, держа руки на коленях открытыми ладонями вверх. Изредка она оглядывала комнату с удивлением, которое, на минуту встрепенувшись, медленно гасло. Все предметы смотрели на нее своей обратной, незнакомой стороной и казались пришлыми. Картинки висели криво, синий чертеж парохода держался на одной кнопке. Матрас был вспорот, пустая полосатая оболочка его свисла с кровати. Пол был усыпан мочальной трухой, и на ней виднелись следы сапог. Учебники, тетрадки врассыпную валялись по углам. Зелено-черная «Юдифь», снятая с гвоздя, прислонилась к косяку вверх ногами. Посредине комнаты лежал стул.

Когда-то все эти вещи принадлежали Кириллу. Когда-то он писал в этих тетрадях. Когда-то учебники стояли на этажерке, синий чертеж был аккуратно наколот на стене, матрас застелен белым одеялом. Когда-то... Нет, вот сию минуту Кирилл сидел на этом стуле, посредине комнаты, вот только что он уронил этот стул, шагнув назад от Веры Никандровны, когда она, прощаясь, подняла руки к его лицу, а он сморщился, постарев в один миг на много-много лет. Вот только что она придавила к плечу его голову, а он вырывался из ее объятий и в то же время больно мял и гладил ее пальцы. В ушах у нее еще стоял грохот падающего стула, а все ушло, отодвинулось куда-то за полтора десятка лет, когда Вере Никандровне пришли сказать, что ее мужа Волга выбросила на пески и она должна опознать его труп. Она просидела тогда ночь напролет, так же, как теперь, опустив руки, боясь шелохнуться. Но тогда возле нее, под белым одеялом, спал четырехлетний

Кирюша, и хотя смерть коверкала все прежнее, жизнь оставляла Вере Никандровне остров, на котором пчелы жужжали вокруг медовых деревьев, жаворонки вились в поднебесье, ключи звенели в прохладных рощах. Остров цвел, разрастался, обнимая собою всю землю, охватывая мир, и вот теперь вдруг затонул, проглоченный бездонной трясиной. Белое одеяло сброшено на пол, дом пуст, Вера Никандровна одна.

И ей грезится происшедшее во всей навязчивой застывшей очевидности.

Едва жандармы начали обыск, вернулся из театра Кирилл. Они сами отперли ему дверь и сразу окружили его. Вера Никандровна успела взглянуть ему в лицо и увидеть, как мгновенно почернели его брови, глаза, виски и темным прямым мазком проступили над губами словно вдруг выросшие усы. Они вывернули ему карманы и ощупали его до пят. Они промяли в пальцах все швы его куртки. Они посадили его на стул посредине комнаты. Они стали рыться в его постели, в его белье. Они простукали костяшками пальцев ящики и ножки стола, косяки дверей. Они выгребли из печки золу и перекопали мусор. Они взялись за книги, и когда перелистывали пухлую, зачитанную «Механику» — выпали и мягко скользнули по полу, разлетевшись, семь маленьких, в ладонь, розовых афишек, и старик жандарм с залихватскими баками, не спеша подобрав бумажки с пола, произнес в добродушном удовольствии:

— Ага!

Кирилл сидел прямо, мальчишески загнув ступни за ножки стула, руки в карманы.

— Откуда у вас это, молодой человек? — общительно спросил жандарм, показывая ему афишки.

— Нашел,— ответил Кирилл.

— Не помните, в каком месте?

— На улице.

— На какой же такой улице?

— Далеко.

— От какого места далеко?

— Недалеко от технического училища.

— И далеко, и недалеко. Понимаю. Что же, они так вместе и лежали?

— Не лежали, а валялись.

— Так пачечкой все семь штук и валялись?

— Так и валялись.

— И вы их подняли?

— Поднял.

— Прямо с земли подняли?

— Конечно, с земли.

— А они такие свеженькие, чистенькие, без единого пятнышка, на земле, значит, так вот и лежали?

Кирилл промолчал.

— Ах вы, птенчик дорогой, как же это вы не подумали, что будете говорить, а?

— Я вообще могу вам не отвечать. Не обязан.

— А вот этому вас кто-то научил, что вы можете не отвечать,— укорил жандарм и снова принялся перелистывать книги.

Весь разговор он вел в тоне язвительно-ласкового наставника, заранее уверенного, что школьник будет лгать. Вере Никандровне хотелось прикрикнуть на него, что он не смеет так говорить, что ее сын никогда не лжет. Но упрямым спокойствием своих ответов Кирилл внушал ей молчание. У нее появилось чувство, что он управляет ею, что она должна подчинить ему свое поведение. Ей показалось, что он безмолвно приглашает ее в заговор с ним против воров, шаривших в его вещах. Боль и страх за него как будто отступили перед любованием им. Он знал, как себя держать в минуту отталкивающего и незаслуженного оскорбления. Теперь она воочию видела перемену, которая произошла с ним. О да, он переменился, но переменился так, что она могла гордиться им больше, чем прежде. Все, что происходило в их доме, было, конечно, тягостной ошибкой, которую надо перенести именно так, как переносил сын. Он учил мать держаться с тем достоинством, какое она мечтала в нем видеть, не вызывающе — нет, не грубо, но непреклонно, жестко, по-мужски. Боже, как он вырос, как возмужал! И почему Вера Никандровна поняла это только теперь, в это безжалостное мгновенье?

— Что ж, молодой человек,— проговорил жандарм, откалывая со стены портрет Пржевальского,— играете в революцию, а над кроватью повесили офицера?

— Офицер этот не чета вам, господин жандарм,— ответил Кирилл.— Он принес России славу.

Жандарм сорвал картинку и кинул ее на пол.

— Советую вам подумать о вашей матери, если вы махнули рукой на себя,— произнес он, и слышно было, как он осадил голос, чтобы не закричать.

Кирилл должен подумать о матери — это были чужие, холодные слова, но они обожгли сердце Веры Никандровны отчаянием. Ведь правда, Кирилл не подумал о ней! Он казнит ее своим бесчувствием, не слышит ее боли! Он навлек на нее страшное несчастье, он погубил себя, жестокий, бедный, милый, милый мальчик!

— Кирилл,— позвала она беспомощно-робко,— почему ты не объяснишься? Ведь все это ужасное недоразумение!

— Прощайтесь,— сказал жандарм,— мы отправляемся.

— Как? Вы собираетесь его увести? Вы хотите его взять — у меня? Но...

Она встала и сделала маленький шаг.

— Я мать... И как же можно? Ничего не разобрав...

— Вы не желаете проститься?

Двое жандармов подошли к Кириллу. Тогда она, чуть-чуть вскрикнув, бросилась к нему с протянутыми руками.

И вот, она не знает — много ли, мало ли прошло времени с тех пор, как она обнимала его жарко горящую голову. Она сидит на постели, окруженная разбросанными предметами, которые когда-то принадлежали Кириллу. А его нет. Его больше нет...

Солнечный прямоугольник, изрезанный тенью оконной решетки, укорачиваясь и становясь ярче, подвигался по полу, освещая свинцовый налет золы, клочья и завитки мочала. Мухи все живее жужжали, осчастливленные теплом. Отдохновенно шелестели за окном старые тополя, горластые воробьи ссорились и быстро мирились из-за того, кому сидеть на каком кусте.

Привыкнув к утренним звукам, воспринимая их как беззвучие, Вера Никандровна неожиданно заметила, как что-то нарушает тишину — как будто кто-то крался по соседней комнате и боязливо покашливал. Она очнулась.

В дверях стояла Аночка. Открыв рот, она смотрела на Веру Никандровну распахнутыми неподвижными глазами.

— Ты что? — спросила Вера Никандровна шепотом.

— Я ничего,— торопясь и тряся головой, сказала Аночка.— А вы с кем-нибудь разговаривали?

— Разговаривала? Я не разговаривала.

— Ну тогда... просто так. А я думала, с кем-нибудь.

— Да как ты сюда попала?

— У вас отперто.

— Отперта дверь?

— Вот так вот — настежь. Я вошла, слышу — вы тихонько разговариваете.

— Да, да, значит, забыла. Вон что.

— А зачем у вас лампа горит?

— Лампа? Ах, да, да,— сказала Вера Никандровна, порываясь встать.

Аночка подбежала к столу, привернула фитиль, дунула в стекло, и оттуда вырвался рыжий шар копоти. Сморщившись, она виновато взглянула на Веру Никандровну и вдруг подошла к ней и тихо тронула ее опущенное плечо.

— Это все солдаты разорили? — спросила она сердито и участливо.

— Какие солдаты?

— Ну, которые его забрали.

Вера Никандровна схватила Аночку за руки и, не выпуская их, оттолкнула от себя ее маленькое легкое тельце.

— Откуда ты знаешь? Откуда? Кто тебе сказал? — заговорила она, сжимая и теребя ее руки.

— Маме сказали...

— Что сказали? Кто, кто?

— У нас там дяденька один, ночлежник. Он сказал маме, что он шел ночью, когда стало светать. И что видел недалеко от училища, как ученика солдаты забрали и повели. А мама спросила — какого? А он сказал — а черт его знает какого. В форменной фуражке. Тогда мама говорит, может, это сын учительницы? Это она про вас. Он опять чертыхнулся и сказал — может, и сын. И я тоже подумала.

— Боже мой, боже мой! — вздохнула Вера Никандровна и выпустила Аночку из рук.

— А у нас Павлик ночью не спал, а потом уснул, я его уложила и побежала к вам, посмотреть.

— Все уже знают! Неужели все знают?

Вера Никандровна опять схватила Аночку, заставила ее сесть рядом на кровать и, гладя по растрепанным косичкам, прижала крепко к себе.

— Нет, нет, никто еще не знает, кроме тебя с мамой. Правда? И ты никому не говори. Нельзя говорить, понимаешь? Это все случайность, его отпустят, он скоро вернется. Вернется, понимаешь?

— Ну да, понимаю. Он ведь хороший.

— Он очень, очень хороший! — воскликнула Вера Никандровна, со всей силой поцеловала Аночку в щеку, и вдруг ее речь стала внушительная, почти спокойная: — Вот что, девочка. Ты помнишь Лизу Мешкову? Помнишь, да? Ну вот, поди сейчас к ней и скажи, что я ее прошу прийти ко мне. Но только ничего не рассказывай про Кирилла, хорошо? Поняла? Чтобы она сейчас же ко мне пришла. Ступай. А я пока здесь уберу, подмету.

— Не надо,— сказала Аночка,— не надо подметать: я сейчас сбегаю, вернусь и все как есть подмету.

Вера Никандровна еще раз поцеловала ее, заперла за ней дверь и взялась за уборку. Движения ее были стремительны, как будто она возмещала свою долгую мучительную неподвижность. Мысли, которые у нее накоплялись за ночь и словно леденели под сознанием, теперь размораживались, оттаивали и — ожившие, — рвали преграды. У нее был готов план действий, и она была уверена, что все будет осуществляться так, как она задумала.

Но на первом шагу Веру Никандровну ожидала неудача: возвратилась Аночка и сообщила, что ее встретил Меркурий Авдеевич, допросил, зачем она явилась, и велел передать, что если госпоже учительнице Извековой желательно говорить с кем-либо из семьи Мешковых, то пусть она сама пожалует, а Лизе ходить к ней нет никакой надобности. Аночка выбрала и запомнила из его слов самые главные:

— Он велел, чтобы вы пришли, а Лизу, сказал, ни за что не пустит.

На минуту Вера Никандровна задумалась, подошла к зеркалу, пригладила расчесанные на пробор волосы, сухим полотенцем вытерла лицо и осмотрелась: нет, она ничего не могла позабыть, все, что ей было нужно, находилось с ней — ее план действий, ее воля, ее заточенная в одно острие мысль. Она увидела Аночку, и со щемящей быстротой, впервые за все эти трудные часы, у нее проступили слезы: засучив узенькие рукава, пятясь и делая на каждом шагу обрывистые поклончики, Аночка ширкала веником, прилежно сметая в горку мочальную труху. Пыль обвивала ее с ног до головы веселыми вихрями, играя в покойном тепло-оранжевом луче.

— Девочка, родная девочка,— негромко выговорила Вера Никандровна.

— Вы ступайте,— отозвалась Аночка, выпрямляясь,— а я буду хозяйничать. Вы не думайте: я ведь все умею.

Вера Никандровна почти выбежала за дверь.

Квартал, отделявший училище от мешковского дома, она миновала так скоро, будто перешла из одной комнаты в другую. Синий двор покоился в утренней тишине, как благополучное судно у пристани, готовое к погрузке,— над воротами торчала жердь для флага, оконца подмигивали солнечными зайчиками, крылечки были чисто вымыты.

Мешковы оказали Вере Никандровне прием обходительно-чинный. Меркурий Авдеевич представил ее супруге, Валерия Ивановна даже немного застеснялась, что одета попросту, потому что не была предупреждена.

— Вы извините,— сказал Мешков,— что я вроде как заставил вас прийти: не знаю, как вам передала ваша посланница. Но я-то рассудил, что если уж наша молодежь свела знакомство на стороне от родителей, то нам с наших детей пример не брать. Нам таиться нечего.

— Разве они таятся? Я ведь с вашей Лизой знакома.

— Ну, значит, она не такая секретная особа, как ваш сын,— посмеялся Мешков.— Я вот и подумал, что будет приличнее тайное ихнее знакомство сделать явным.

— Правда,— сказала Валерия Ивановна,— наша Лиза никогда ничего от нас не скрывает. Так уж с самых малых лет приучена... Пожалуйте прямо к самовару. Только не взыщите, у нас ничего не приготовлено. Если бы знать... А то, как говорится, пустой чай...

Они еще рассаживались за столом, когда вышла к завтраку Лиза. Сон, хотя и не очень крепкий, умывание вдобавок к девичьей всесильной природе будто только что неповторенно создали ее для этого утра. Растерянность, овладевшая ею при виде гостьи, еще прибавила прелести, и пока она здоровалась, усаживалась, притрагивалась к чашке, салфетке, брала хлеб, словно отыскивая предмет, который помог бы сохранить равновесие, все трое молча отдавались ее очарованию.

— Я еще вас не видела, Лиза, после окончания гимназии,— начала Вера Никандровна.

— Да,— сказала Лиза.

— Вы, что же, решили на курсы?

— Она прежде ожидает моего решения на этот счет,— заявил Меркурий Авдеевич,— как и во всяком другом крупном деле.

— Конечно,— согласилась Извекова,— такие важные вещи без родителей не решаются.

— Именно родителям такие решения и принадлежат,— настоятельно подчеркнул Мешков.

— Как вам, Лиза, понравилось вчера в театре?

— Очень.

— Кто больше всех из артистов?

— Цветухин.

— Знаменитость,— сказал Меркурий Авдеевич.

— А Кириллу он понравился? — спросила Вера Никандровна.

У Лизы почти вылетело — нет! — но она закашлялась.

Итак, Вера Никандровна уже знает, что случилось вчера в театре. Она, наверно, и пришла, чтобы говорить об ужасной сцене у Цветухина, о бегстве Лизы в одиночестве по ночному городу,— о чем еще? О том, что неизвестно Лизе и что сейчас важнее всего. О том, что с Кириллом. Ведь Лиза бросила его одного с людьми, которые были им раздражены. Наверно, произошло что-нибудь непоправимое. Какое несчастье — знакомство с Цветухиным! Зачем Лиза согласилась пойти к нему за кулисы? Если бы не ссора с Кириллом, сейчас было бы легче. Конечно, было бы тоже страшно, но не так. Ведь Лиза давно готовилась к неминуемой встрече отца с Верой Никандровной. Она предчувствовала, что это будет миг решающий, роковой. Но разве можно было представить себе, что в этот миг она будет в разрыве — неужели в разрыве? — с Кириллом и ей будет неизвестно, что с ним?

— Ах, как ты раскашлялась,— сказала Валерия Ивановна.— Это уж, наверно, театр, там всегда сквозняки.

— Да, театр,— сказал Меркурий Авдеевич, помешивая ложечкой в стакане,— чего только не выделывает театр? Представляет таких персон, какие ютятся по ночлежкам.

— Да, все стороны жизни показывает,— как будто не поняла Вера Никандровна.

— А к чему все стороны показывать? Человеку надобно преподать пример, чтобы он видел, чему следовать. Так и церковь Христова учит. А тут вдруг всяческую низменность выставляют — нате, мол, смотрите, как человек мерзок.

— Да, конечно, церковь и театр — разные вещи,— заметила Вера Никандровна.

Меркурий Авдеевич повел усами с видом превосходства и укоризны: до чего в самом деле люди могут договориться!

— Действительно, разные вещи! — произнес он, улыбаясь.— Ваш сынок, наверно, согласных с вами мнений придерживается? Интересно, как он вам отозвался о вчерашнем представлении?

— Он не мог мне ничего сказать о вчерашнем,— проговорила тихо Вера Никандровна.

— Еще не беседовали с ним?

— Нет,— ответила она и, опустив глаза, попросила: — Мне хотелось бы поговорить с Лизой наедине.

Все затихли на секунду, потом Меркурий Авдеевич осторожно привалился к спинке кресла и возразил:

— Зачем же? Я подразумевал, что мы свиделись для того, чтобы устранить всевозможные секреты. А вы что же, получается — на стороне тайного поведения молодых людей?

— Хорошо,— сказала Вера Никандровна еще тише и, взяв салфетку, неторопливо развернула ее и потом опять сложила ровненько по складкам.— Я хотела вам сообщить, Лиза, что... произошло одно ужасное недоразумение... с Кириллом. Его ночью почему-то... он ночью арестован.

Лиза выпрямилась и встала, держась кончиками пальцев за стол.

— Я хочу у вас просить,— продолжала Вера Никандровна, не меняя голоса, однотонно и словно бесчувственно,— вы ведь хорошо знакомы с Цветухиным. Если бы вы к нему обратились... не одна, а, может быть, вместе со мной. Он, конечно, для вас сделает. Если вы попросите, чтобы он похлопотал о Кирилле, я уверена... Он такой влиятельный. И тогда это все очень скоро разъяснится. Вы ведь знаете Кирилла... Это же все бессмысленная случайность, и, конечно, станет очевидно, что Кирилл... И потом у Цвету-

хина — его дружба с Пастуховым, который тоже очень известен... Я уверена...

Лиза начала медленно опускаться, как будто ей нужно было что-то поднять с пола. Голова ее мягко клонилась и вдруг бессильно легла на стол, толкнув чашку. Прядь тонких волос прилипла к скатерти, потемневшей от расплесканного чая, и лицо превратилось в костяное.

— Лизонька! — выкрикнула Валерия Ивановна, бросаясь к дочери.

Меркурий Авдеевич с мгновенной решимостью взял Лизу под мышки, казалось — без усилий приподнял и понес в ее комнату. Тревога охватила дом. Валерия Ивановна звала Глашу, подбегая к лестнице и стуча по перилам: графин с водой оказался в кухне, шкафчик с лекарствами был заперт, ключи исчезли. Лизе расстегнули платье, намочили виски одеколоном. К ней скоро вернулось чувство. Но мать неустанно обмахивала ее подвернувшимся календарем с царской фамилией на обложке.

Мешков прикрыл дверь Лизиной комнаты и подошел к Вере Никандровне. Она прислонилась к неширокому простенку между окон. Задетый ее плечом филодендрон, доросший до потолка, покачивал тяжелыми листьями, и узорчатые отражения их бледно скользили по ее лицу и рукам, прижатым к груди. Она глядела на Мешкова взором тревожным, но будто отвлеченным вдаль этим мерным колебанием отражений.

Мешков стоял против нее, прочно расставив ноги и дергая на жилете цепочку с часовым ключиком. Дыхание его посвистывало сквозь оттопыренные усы, борода сбилась набок.

— Разрешите заявить вам, сударыня,— произнес он на той глухой и низкой ноте, на которую спускался, когда хотел овладеть гневом,— что моя дочь никаких отношений не имела с вашим сыном и никогда не могла иметь. И посягать на нее я не позволю. По вашему делу вы обратились не туда. В доме моем никто преступных особ под защиту не берет. И я долгом считаю оградить свою дочь от неблагонадежности. Вы уж лично извольте пожинать то, что посеяли. Мы вам не помощники. Имею честь.

Он посторонился, открывая Вере Никандровне дорогу к выходу.

— Что ж,— сказала она, нагнув голову,— ничего не поделаешь. Мне только очень жалко вашу Лизу.

— Это как вам угодно. У нее есть родители, они ее жалеют не по-вашему, а по-своему. Вот вам бог, а вот...— И он показал вытянутым перстом на лестницу.

Не поднимая головы, Вера Никандровна спустилась вниз и вышла на двор. Мешков следовал за ней. Он хотел проводить ее

до калитки, чтобы убедиться, что она действительно покинула его крепостные стены.

Но он не успел перешагнуть порог дома, как остановился: нет, потрясения этих несчастных суток еще не кончились. По двору близился к нему,— выступая самоутверждающе и грозно, в белом летнем мундире с оранжевым кантом по вороту и обшлагам, в оранжевых погонах, в пышно расчесанных и тоже оранжевых усах, сияя новой бляхой на фуражке и начищенным эфесом,— полнотелый апельсиноволицый городовой. Неужели и впрямь продолжались пугающие видения ночи? Неужели никогда больше не обретет Меркурий Авдеевич покоя? Неужели так и будут ходить за ним по пятам то жандармские, то полицейские мундиры? И надо ж, надо же случиться такому греху, что как раз и натолкнись этот идол с бляхой на зловредную посетительницу, о которой Меркурий Авдеевич не хотел бы ни знать, ни ведать!

Но, кажется, нет — полицейский не приметил Веру Никандровну. Он даже не повел на нее глазом. Он шёл прямо на Мешкова, и чем меньше оставалось между ними расстояния, тем ближе подползали концы его оранжевых усов к глазам, тем глубже прятались остренькие точечки зрачков в припухлых скважинах век.

— Здр-равия желаем, Меркурий Авдеевич,— пророкотал городовой, и Мешков узнал в нем квартального своего участка.

— Здравствуй, голубчик,— ответил он с удовольствием и даже с тем реверансом в голосе, какой у него появлялся только в разговоре с весьма исключительными людьми,— что это я тебя не узнал?

— Давно не видали, Меркурий Авдеевич. С масленой недели не заходил. В деревню в отпуск ездил.

— А-а, хорошо. Ну, как в деревне?

— Благодарю покорно. Семейные мои всем довольны. Крестьянство соблюдает порядок.

— Да, конечно. Мужички не то, что городские стрекулисты.

— Так точно.

— А ты что зашел?

— Напомнить, Меркурий Авдеевич: завтра — царский день, так чтобы флажок не запамятовали вывесить. И на ночлежном доме прикажите, чтобы обязательно.

— Хорошо, голубчик, спасибо.

Мешков пошарил в жилете, отсчитал тридцать копеек и дал городовому.

— Благодарим покорно,— сказал городовой и сделал поворот кругом — марш.

«Может, все понемногу и обойдется»,— подумал Мешков, вздохнув, как ребенок после плача.

19

Егор Павлович условился с Пастуховым позавтракать на пароходе: часам к одиннадцати приходил сверху пассажирский «Самолет», долго стоял на погрузке у пристани, и люди, понимавшие в кухне, любили провести часок на палубе.

Погода выдалась сиротская, с туманчиком. Даже к полудню Волга не могла оторваться от мглы, волоча ее осовелыми водами. Воздух переливался в скучном дрожании песочно-бледной дымки, пароходные гудки застревали в ней, весь город приглох. Тупо тукали по взвозам потерявшие звонкость подковы.

Цветухин шел в том состоянии, которое можно назвать бездумьем: мысли его росли, как ветви дерева в разные стороны. Подняв голову и увидев на крыше телефонной станции высокую клетку хитро скрещенных проводов, он вспомнил свои изобретательские увлечения. Он никогда ничего не изобрел и не мог бы ничего разработать, но ему приходили на ум разные технические идеи, вроде, например, электроаккумулятора, который должен быть маленьким, легким и мощным. Если бы Цветухину удалось напасть на совершенно неизвестный вид изоляции, конечно, дело было бы в шляпе. Случайность должна была бы помочь в поисках, как во всяких открытиях, но случайность почему-то не помогала.

На деревянном тротуаре около Приволжского вокзала Егора Павловича обогнала девушка, постукивая новенькими каблучками. Глядя на синий бант косы, хлопавший по ее муравьиной талии, он стал думать о Лизе. Ее волнение нравилось ему, вчерашняя сцена в уборной казалась обещающей: Лиза глубоко оскорбилась за него и в таком смятении убежала, что теперь, наверно, ни за что не примирится с Кириллом, заставившим ее страдать. И — кто знает — может быть, теперь, в этот желтенький денек, она тоже думает о Егоре Павловиче и в ней расцветает чувство, которое вызовет в нем ответ, и потом обнаружится, что они предназначены друг другу, и Егор Павлович женится и будет счастлив.

Все, вероятно, уверены, что актер Цветухин должен быть непременно удачником в личной жизни. Наверно, считают, что, обладая известностью, нельзя нуждаться в ласке и нежности, что любовь и радость ходят по пятам за славой. Только сам Цветухин да еще, пожалуй, Мефодий знают, как далеко это от действительности.

Егор Павлович был женат на актрисе Агнии Львовне Перевощиковой, но уже третий год как ушел от жены, и она разъезжала по театрам одна. Женщина язвительная, без заметного таланта, она отличалась небольшим умом и рассчитывала на Цветухина, как на парус, который вынесет ее на простор успеха, но парус не

мог сдвинуть ее с места, да это едва ли удалось бы целой артели бурлаков. Она винила его в безучастии, а когда он хотел помочь ей — обижалась, потому что способна была только поучать, но не учиться. Всю недолгую совместную жизнь с ней Цветухин видел себя постоянно в чем-то обвиненным. Это был не брак, а судебное разбирательство, и, лишь уйдя от жены, вечный подсудимый почувствовал себя оправданным.

Но к тридцати годам даже добрые друзья — плохие утешители одиночества. Нет-нет и вспомнит себя Егор Павлович подсудимым, усмехнется и спросит — да так ли уж все было худо? А если один раз вышло худо, не получится ли лучше во второй? И вот, спускаясь на берег, он слушает, как постукивают новенькие каблучки по деревянным ступенькам, и все не может оторвать взгляда от синего банта, подпрыгивающего на муравьиной талии, и смотрит, смотрит на него, пока он, порхнув, не исчезает где-то на пристанном складе, за горами рогож. Надо бы, наконец, возбудить дело о разводе, да другие дела мешают взяться.

Работа в театре с ее людностью и горько-сладкой отрадой то полнила, то опустошала Егора Павловича. Он привык к этой лихорадке и немного побаивался, что вот, может быть, запретят пьесу, в которой он так славно сыграл Барона, и на том окончится затянувшийся сезон, и до октября он останется наедине с собой.

Так, подумывая о том, о сем, Егор Павлович добрался до пристани и проследовал по качким сходням, сторонясь от крючников, мерно двигавшихся двумя лентами,— одни, пригнутые грузами,— на пароход, другие, распрямившиеся, с пустыми заплечьями,— на берег. Войдя на нижнюю палубу парохода, Цветухин остановился.

Слева был открыт люк носового трюма, куда скатывали по нашлифованным доскам грузы и где, в глубине, освещенный электричеством, скучно орал на крючников боцман, сняв фуражку и почесывая в затылке. Справа, перед машинным отделением, громоздилось необычайное по неуклюжести и в то же время воздушное сооружение из огромных плоскостей, планок, проволочных тяжей и скреп. Цветухин сразу догадался, что это — разобранный биплан, и тут же расспросил и узнал, что это авиатор Васильев перевозит свой летный аппарат. Машина занимала страшно много места, но так, что казалось, будто и не занимает никакого места: везде можно было пролезть, и всю ее было насквозь видно, и снизу, и сверху, и с боков, и вся она была ясной, простой, но в простоте ее, в каждой ее проволочке пряталась загадка, и парусина ее крыльев, пролакированная, барабанно-тугая, была таинственна. Цветухин, подобрав свою накидку, принялся обходить биплан со всех сторон, заглядывать под крылья, щупать их, щелкать по парусине, обнюхивать лак, измерять по-плотничьи — раздвинутыми в цир-

куль пальцами — длину и ширину плоскостей. У него почему-то стучало сердце, он слышал его. Панама сбилась и упала ему под ноги, он наступил на нее, поднял, торопливо закатал ее в трубку, и все ходил, и приседал, и вставал на цыпочки, исследуя спину аппарата. Он мешал крючникам разворачиваться перед люком, они все кричали на него:

— Пазволь! Па-азволь!

Наконец один из носаков больно двинул его тюком в плечо и крикнул:

— От че-орт! Барин, зашибу!

Тогда он медленно отошел от биплана и крутой лесенкой с начищенными медными пластинами стал подниматься на пассажирскую палубу.

Пастухов сидел лицом к реке, за маленьким столом, пил жигулевское пиво и закусывал раками.

— Я думал, не придешь,— сказал он и позвонил официанту.

— Есть у тебя листок почтовой бумаги? — нетерпеливо попросил Цветухин.— Или вырви из записной книжки.

Пастухов долго вытирал салфеткой пальцы и шарил по карманам, потом бросил на стол заношенное письмо. Егор Павлович принялся складывать из бумаги какую-то фигурку, тщательно загибая углы, вымеривая и отрывая стороны. Пастухов следил за его работой и обсасывал раковые шейки. Пришел официант.

— Еще дюжину раков,— сказал Пастухов,— и хорошую стерлядку.

— Паровую? — нагнулся официант.

— Паровую.

— Кольчиком?

— Кольчиком.

Цветухин сложил фигурку, поднялся и сказал Пастухову:

— Поди сюда, смотри.

Они стали у парапета палубы, и Цветухин бросил фигурку. Она полетела дальше и дальше от парохода, медленным, равномерным движением и плавно опустилась на воду, растопырив свои крылышки. Пастухов некоторое время следил, как ее подхватило течение, затем посмотрел безучастно на приятеля, вернулся к столу, заткнул за жилет салфетку, сказал:

— Интересная птичка,— вырвал у рака клешню и легко разгрыз ее.

— Это не вызывает у тебя никаких мыслей? — спросил Цветухин.

— Никаких.

— Печально.

— Я тупой.

— Ты лентяй. А ведь тут не требуется изнуряющей работы ума. Птичка пролетела по гипотенузе треугольника, которая в три раза длиннее его высоты. Значит, если я спрыгну на таких крыльях с высоты в версту, я пролечу три версты.

— Если ты спрыгнешь с такой высоты, ты хрустнешь, как рак на моих зубах.

— И заметь,— серьезно продолжал Цветухин,— птичка летит без двигателя. А если ее снабдить двигателем с легким сильным аккумулятором, ее полет можно во много раз увеличить.

— Ты что, видел внизу биплан?

— Да. Но мне, Александр, кажется, что наши авиаторы стоят на ложном пути. Считают, что птице нужно оттолкнуться от земли, чтобы полететь. Это неверно. Если держать птицу за ноги, она все равно полетит. Ей не нужно ни толчка, ни разбега. Она может порвать нитку, которой ее привяжут к земле, может поднять в воздух тяжесть одной силой своих крыльев. Надо придумать две вещи: как подняться в воздух без разбега и как сделать легчайший двигатель.

— Охладись, мыслитель,— посоветовал Пастухов, наливая пива.— И хочешь, я скажу о твоих выдумках? Ты вчера великолепно играл. Это твое дело. Занимайся им. Леонардо изобретал крылья. А мы знаем его только как художника.

— Наша вина.

— Нет. Почитай его «Кодексы». Когда он пишет о своем «Потопе», его язык содрогает человека. Он говорит: *пусть будет виден темный воздух*. Это — бог дней творения: да будет свет. А чертежи его машин — почтенная реликвия, не больше.

— Ты хотел бы летать? — перебил Цветухин.

— Я все время летаю.

— Но ты даже не видел аэроплана в полете.

— Видел. Над гипподромом поднялся сверчок, сделал круг над крышами и сел на телеграфные провода. Авиатор свихнул челюсть.

— Птенец сначала выпадает из гнезда, Александр!

— Понимаю. Птенец станет птицей. Но я всегда буду летать лучше. Я сижу, ем рака и вижу, как твоя птичка размокла в воде, как она повисла склизлой ошметкой на весле, которое вскинул лодочник. Разиня рот, лодочник глядит на берег. Я вижу берег. Он пузырится горбами товаров, в траншеях между ними ползают людишки. Вон двое остановились возле кучи воблы, откинули угол парусины, выбрали рыбину покрупнее, колотят ее об ящик, оторвали голову, чистят. Слышишь, как потрескивает шкурка, которую сдирают со спины? Видишь, как выпрыскивает из шкурки серебряная чешуя? А у меня перед носом все тот же рак.

— Ты не боишься сесть на телеграфные провода? — спросил Цветухин.

— Очень может быть — даже мордой в лужу. Но такие полеты — моя профессия, другой я не хочу.

Цветухин замолчал. Ему по-прежнему мерещилась бумажная моделька, он следил за ее полетом мыслью, глаза же словно повторяли путь, на который толкнул его Пастухов: сквозь желтую мглу ему виднелся берег в холмах и буераках товаров, затянутых парусиной.

В это время начиналась смена крючников — одна артель уходила с погрузки, другая готовилась ее заступить и подкреплялась перед работой приварком. На земле, между сваями, подпиравшими огромный пакгауз, откуда недавно ушла весенняя вода, сидели на коленях в кружок грузчики, черпая из котла похлебку. Их батя, Тихон Парабукин, был без рубахи, его большое тело с крестом золотистых волос между сосков светилось в полумраке. Он в очередь с товарищами запускал ложку в котел и аккуратно нес ее ко рту, подставляя ломоть хлеба, чтобы не капать.

Ближе к свету, прислонившись к бревну и раскинув на земле босые ноги, Аночка пришивала к отцовской рубахе пуговицы. Ольга Ивановна прислала дочь на берег, с пирогом, с иголкой и навощенными нитками, потому что сама она сердилась на мужа: Тихон пил горькую подряд неделю, шатался по берегу, а если забредал в ночлежку, то буянил, бил себя под сердце, кричал — не буди во мне зверя! — и хватался за бутылку, торчавшую из кармана. Она один раз отыскала его в трактире, другой — нашла под заброшенной днищем вверх косоушкой. Он весь оборвался, пропил заплечье, а когда опять стал на работу, засовестился явиться к Ольге Ивановне на глаза и велел ночлежникам передать Аночке, что ему нужно починиться. Аночка накормила отца любимым пирогом с ливерочком и села за шитье. Пуговицы пришивала она на совесть, по-мужски, как учил отец,— не затягивая нитку, а делая под пуговицей обмотку в виде ножки; заплаты клала, припуская излишек на дырку. Лицо ее было при этом деловым, как у всех женщин, которые обшивали на берегу крючников.

Парабукин заглянул в котел, стукнул ложкой об край, приказал:

— Таскай со всем!

Едоки начали вылавливать в похлебке крошеное мясо, следя, чтобы никто не брал лишнего. Скоро они добрались до дна, почти высушили его ложками и стали, крестясь, подниматься. Надевая на ходу заплечья, помахивая крючьями, они выходили из-под пакгауза на свет своей развалкой и осанистой поступью. Парабукин надел починенную рубаху, легонько, словно неуверенно, погла-

дил ладонью Аночку по волосам. Она пошла вместе с ним, довольная, что угодила ему и что может побыть на берегу и отдохнуть от нянченья наскучившего Павлика.

Артель должна была погрузить на пароход стопудовый становой якорь. Парабукин обошел его, в то время как крючники молча стояли вокруг. Все они понимали, как взяться за трудное дело, но слово было за батей.

— Поддевай,— спокойно проговорил Тихон.

Пятеро приподняли с земли одну лапу якоря, подсунули под нее конец каната и, перейдя к другой лапе, сделали то же с ней. Потом завязали конец узлом на пятке якоря, и вся артель расставилась в линию, по обе стороны каната.

— Берись,— сказал Парабукин.

Они подняли канат.

— А вот нейдет, а вот нейдет! — запел Парабукин осипшим своим голосом, и низкие голоса повторили за ним те же слова ленивым, непевучим говорком, как будто обращаясь к якорю, который мертво лежал, вдавившись в землю. Тотчас низким голосам ответили высокие, звук их объединил артель, она дружно наклонилась, натянув канат и найдя дюжий упор одинаково обутым в лапти ногам.

— А вот пойдет, а вот пойдет! — пропели высокие голоса.

— А вот нейдет, а вот нейдет! — возразили низкие.

— А вот пошла, пошла, пошла! — вдруг звонко спели высокие, и якорь тяжело сдвинулся с места, неохотно вылезая из вдавины и по пути отжимая пяткой сокрытую в земле песчано-желтую влагу. Тогда все голоса уверенно и складно слились, и чудесной волной побежала над берегом двухголосая, радующая и утешающая душу волгаря песня, нехитрые слова которой препираются и подзадоривают, а напев единит и ведет в ногу людей из года в год, из века в век. Якорь полз волоком, тупо приостанавливаясь на всякой неровности и снова нехотя-покорно трогаясь, будто даже его чугунное тело оживлялось всемогуществом песни.

Пастухов и Цветухин, кончив завтрак, долго неподвижно слушали пение, которое наплывало с берега на воду то с одной, то с другой стороны парохода, то набирая силу и звеня колоколом, то мягко утопая далеко в поречной мгле.

— Пойдем посмотрим,— вдруг загоревшись, сказал Пастухов.

Они прошли через салон и остановились на палубе с другого борта, как раз над сходнями, перекинутыми с пристани на пароход. Облокотившись на парапет, они увидели, как головные крючники ступили на сходни и вся артель, держась за канат, точно ветви елки за ствол, начала врастать в пароход, исчезая под палубой.

— Смотри,— сказал Цветухин,— узнаешь?

Парабукин, нагнувшись, двигался последним. Он только для вида держал канат одной рукой и внимательно присматривал за ходом якоря, рога которого размахом были во всю ширину сходен. Кудри его космато закрывали лицо и шею, вздрагивая от грузных рывков тела.

— Хорош! — засмеялся Пастухов.— Страшно, если такой схватит за горло!

— Зачем он тебя схватит?

— Просто так. От постылой жизни.

— Едва ли она ему постыла.— Видишь, вон и дочка его тут... Аночка! — крикнул Цветухин.

Аночка маленькими шажками шла следом за головой якоря, в куче таких же босоногих, как она, мальчишек, сбежавшихся на погрузку и захваченных ею, словно маршем военного оркестра. В этот момент песня прекратилась. Наступила самая тяжелая часть работы — якорь надо было поставить ухом вверх и проволочить стойком по борту палубы, на нос парохода. Аночка вскинула глаза на Цветухина, покивала ему, как старому приятелю, и, воспользовавшись заминкой, шмыгнула на пароход. Она появилась на пассажирской палубе не скоро,— ей пришлось поплутать в коридорах, торкаясь в одинаковые двери кают, и она немного растерялась от роскоши сверкающих полировок, медных поручней, люстр и стекол. Но с Цветухиным она поздоровалась запросто: ей уже доводилось иметь с ним дело, как и с другими актерами театра, куда она несколько раз пробиралась во время дневных репетиций и где к ней стали привыкать. Она и сейчас, ожидая поручения, спросила, не задумываясь:

— Сбегать за чем-нибудь?

— Нет, ничего не надо. Ты что, отцу пришла помогать? — спросил Цветухин, думая о погрузке.

— Да,— ответила Аночка с полной серьезностью.

Пастухов потеребил ее косички, улыбаясь. Она отстранилась от него и добавила весьма независимо, показывая на иглу, вдетую в платье и обмотанную ниткой:

— Я ему все до одной пуговицы пришила. А скоро буду его всего обшивать, сказала мама. Она меня обещала научить шить рубашку. Она скроит, а я сошью.

— Может, ты и мне сошьешь? — спросил Цветухин.

— Не знаю. Я сначала буду помогать маме. А потом — Вере Никандровне. Вера Никандровна будет меня учить грамоте, а я ей помогать.

Аночка бросила юркий взгляд по очереди на Пастухова и Цветухина, поднялась на цыпочки и громким шепотом, так, чтобы слышали оба, дохнула:

— У Веры Никандровны сына забрали.

— У какой Веры Никандровны? — спросил Цветухин. И, сразу круто обернувшись, сказал: — Александр, это что же, Кирилла?.. Кирилла? — опять обратился он к Аночке.— Кирилла Извекова, техника, да?

— Ну да,— сказала Аночка,— а какой же еще сын у Веры Никандровны?

— Что ты болтаешь? Как — забрали?

— Ни капельки не болтаю. Я у Веры Никандровны вчера весь день пробыла. А еще раньше, ночью, один наш дяденька видел, как его забрали и повели.

— Кто повел? Куда? — допытывался Цветухин и, вдруг поняв, что она говорит правду, замолчал и — с поднятыми бровями — опять глянул на Пастухова.

Александр Владимирович стоял не шевелясь. Нижняя часть большого лица его отяжелела, глаза прищуривались и порывисто мигали. Каждая черта его на свой лад выражала разочарование. Он как будто далеко уходил и возвращался, чтобы опять уйти с какой-то неуверенной мыслью. Цветухину почудилось, что Пастухов поймал себя на неприятном заблуждении и не в состоянии поверить, что заблуждался.

— Что же это, Егор, мальчишек хватают? — сказал он наконец.

Взяв Аночку за подбородок и сильно приподняв ее голову, он испытующе глядел ей в смело раскрытые глаза.

Внизу опять стали налаживать певучий спор:

— А вот идет, а вот идет!

Но тут же пение распалось, кто-то перебил его командой: стой! — потом: держись! — потом множество людей разноголосо и смутно зароптало, заругалось, и Аночка, как-то жалостно пискнув, одним прыжком перемахнула через парапет, спрыгнула на перила пристани и оттуда бросилась, по-мышиному изворотливо, между ног у людей, которые затолпились на сходнях.

— Несчастье! — проговорил Цветухин, перегнувшись через парапет и стараясь разглядеть, что произошло внизу.— С Парабукиным несчастье,— быстро сказал он и сорвался с места, прихватив одной рукой накидку.

Парабукин лежал на спине, закрыв глаза и дыша короткими всхлипами, будто сдерживая плач. На лбу его блестел пот. Вокруг тесно стояли крючники, пререкаясь, как упал Тихон — спиной или боком.

— Как же так? — повторял Цветухин, протискиваясь сквозь толпу и обращаясь к каждому, кто давал ему дорогу.

— Подшибли веретеном,— сказал один.

— Каким веретеном?

— Да якорем свалили. Поторопились дернуть,— объяснил другой.— Тесно тут.

— Мы бы развернулись,— сказал третий,— да тут, черт, поставили раскоряку.— Он стукнул кулаком по крылу биплана, отозвавшегося пчелиным гудением проволок.

— Надо доктора. За доктором послать или за фельдшером. В чувство привести,— торопился Цветухин, нагибаясь рядом с Аночкой, которая присела на корточки у головы отца.

— Ничего, народ живучий,— спокойно произнес пристанной агент, поправив за ухом карандашик.

— Аптека, должна ведь быть аптека на пароходе,— не унимался Цветухин.

— Да не мешайся, барин. Не впервой,— сказал исхудалый грузчик в колючей пегой бороде.— Бери, братцы, на конторку его, на корму.

Крючники нагнулись и подняли Тихона.

— Размяк батя,— вздохнул кто-то.

Его понесли, нестройно и часто переставляя ноги. Аночка бежала позади, постукивая друг о дружку стиснутыми кулачками. Цветухин шел за ней.

На корме Тихона опустили, подложив под голову заплечье. Пегобородый крючник снял с гвоздя пожарное ведро, навязал на чалку и, кинув за борт, черпнул воды.

— Ну-ка, дочка,— сказал он,— посторонись! — и окатил Тихона водой.

Кудри Парабукина потемнели и плотно облепили голову, она стала маленькой, и по-покойничьи выдался шишкастый белый лоб. Но тут же дрогнули, приоткрылись лиловатые веки, матово проглянули из-под них еще слепые зрачки, грудь колыхнулась, Парабукин застонал. Подобрав под себя локоть, он хотел приподняться, но не мог.

— Станция...— просипел он.

Аночка ухватилась за его руку.

— Где больно, пап? — вскрикнула она надсадным голоском и опять нетерпеливо стиснула кулачки.

Он повел на нее бледно засветившимся взором, щеки его дернулись.

— Матери... не говори,— выдавил он отрывисто и первый раз ёмко и шумно вздохнул.

Пегобородый выплеснул за борт остатки воды, повесил ведро на место, в ряд с другими, на каждом из которых были намалеваны по одной букве слова «Самолет», и махнул рукой:

— Айда, ребята. Выдюжил батя, отдышался.

Они стали расходиться, вытаскивая и разматывая кисеты с табаком.

Цветухин поднял глаза. На корме парохода, поодаль от толпы пассажиров, наблюдавших сверху за происшествием, стоял Пастухов. Он курил папиросу, нервно и часто выталкивая клубки зеленого дыма. Цветухин, точно боясь стереть грим, аккуратно попрессовал платком височки, лоб, подбородок и посмотрел на платок. Платок был мокрый. Он побыл минуту в неподвижности, вдруг обернулся и подошел к Аночке.

— Возьми, вытри ему лицо.

Аночка, будто не поняв, отстранила платок, но тотчас тщательно и нежно стала обтирать голову отца своим заплатанным узеньким рукавом.

20

В субботу, часу в двенадцатом ночи, у прокурора судебной палаты играли в карты, в домашнем кругу, за двумя столами. Между робберами мужчины выходили на террасу покурить и размяться. Террасу обвивала неподвижная листва дикого винограда, подзолоченная светом электрической лампочки, в котором метались совиноголовки. Исступленный трепет их крылышек, вспыхивавших и потухавших, подчеркивал безмолвное спокойствие ночи.

Прокурор прохаживался под навесом винограда, останавливаясь на поворотах и с любопытством наблюдая за бабочками. С ним рядом ходил и так же останавливался постоянный гость дома, младший из его подчиненных, кандидат на судебную должность Анатолий Михайлович Ознобишин. У него было чуть-чуть кенгуровое сложение — коротковатые руки с маленькими, не мужскими кистями, высокие ноги, утолщенное книзу, немного отстававшее при ходьбе туловище. Добродушный и предупредительный по манере, он нравился не только прокурору, но особенно его супруге и вообще всей дамской половине дома — тетушкам и молодой племяннице, относившейся к нему мечтательно. Сослуживцы находили его вкрадчивым и были уверены, что некоторая тихость не помешает ему обойти по службе даже очень прытких.

— Странная вещь,— сказал прокурор,— на меня это мелькание ночных совок производит всегда успокаивающее впечатление. Даже больше, чем преферанс.

— Преферанс возбуждает,— заметил один из гостей.

— Того, кто садится без четырех на птичке,— усмехнулся прокурор.— А я играю без риска, поэтому отдыхаю.

— Посмотрим, посмотрим, что покажет следующая пулька,— ответил гость, уходя в комнаты.

— Действительно, ваше превосходительство,— сказал Ознобишин, оставшись наедине с начальником,— оторваться от этих бабочек так же трудно, как от костра.

— Искры гаснут на лету,— задумчиво вымолвил прокурор.

— Очень похоже на искры, совершенно верно. И настраивает созерцательно.

— Задумываешься над суетою бытия,— вздохнул прокурор.— Что слышно нового?

— Ничего особенного. В городе все еще разговоры о прокламациях.

— Ах, о мальчуганах? Ну, как дознание?

— Не могу точно сказать. Вы ведь знаете, ваше превосходительство, господин товарищ прокурора меня не жалует. Я дважды просил, чтобы он разрешил сопровождать его на допросы. Обещает, но...

— Гм-м. Что же, вы хотите, чтобы я ему предложил?

— Если вас не затруднит... Для меня было бы поучительно, и, может быть, я принес бы пользу. Дело обещает быть чрезвычайно интересным. Вдруг, например, у нас в камере заговорили, что в деле замешан Цветухин.

— Актер?

— Совершенно верно.

— Скандал! Что же он — в ложи, что ли, подметывал прокламации?

— Он будто бы по другому делу — по делу о типографии.

— Это одно и то же, я убежден.

— Нет, ваше превосходительство, сообщества все еще не установлено... Не удается будто бы соединить. Два разных дела.

— Ах, голубчик, кому не удается? Подполковнику не удается? Подполковник что угодно соединит. Он, как повар: берет уксус и масло, получается соус провансаль.

Анатолий Михайлович засмеялся, и смех его, сдержанно убывая, длился до тех пор, пока на губах его превосходительства держалась улыбка. Потом он произнес чрезвычайно доверительно:

— Называют еще Пастухова.

— Пастухова?

— Да, будто бы Пастухов тоже.

Они постояли молча. По лицам их скользили маленькие тени совок, точно отражая быструю смену мыслей. Из комнат вырвался смех.

— Как же вы говорите — ничего нового? — недовольно упрекнул прокурор, прислушиваясь к смеху.

— Ничего мне достоверно известного, ваше превосходительство. Скажешь, а потом не подтвердится. Получится — Ознобишин наболтал. Ведь до сего дня мне еще не дано ознакомиться с протоколами дознания.

— Да, да, скажу, чтобы завтра же мне доложили.

Прокурор укоризненно покачал головой и покосился через открытую дверь в комнаты, где все еще смеялись.

— И чтобы вас допустили к ознакомлению с делом. Нужно накоплять опыт. Я вас понимаю. Знакомьтесь и потом держите меня в курсе. С тех пор, дорогой мой, как мне прописали очки, чтение дел стало для меня гораздо труднее. Надену очки — клонит ко сну, представьте себе. Сниму — ничего не вижу.

— Зрение, ваше превосходительство,— проникновенно сказал Ознобишин.

— Да,— подтвердил прокурор.— Он ведь модернист?

— Пастухов? — догадался Ознобишин.— Ну конечно, модернист.

— В газетах его хвалят. А отец у него был бестолковый. Все, знаете ли, проектировал. Долгов наделал... Если сын в него, можно думать — сбился. И потом вполне естественно ожидать от литератора... Вы как, читаете модернистов?

— Пробовал, ваше превосходительство. Все как-то у них... на скользких намеках. Иногда даже неприлично.

— Да, они позволяют себе... Однако у некоторых получается увлекательно и, знаете, красочно. Я как-то, еще до очков, прочитал роман... не могу вспомнить автора. Из новых. Но название запомнил: «Девственность», знаете ли. Очень смело. И легко, с интересом читается. Там, видите ли, одна девушка...

В это время на террасу вышла развеселившаяся племянница прокурора с приглашением к ужину, и прокурор направился в комнаты, расспрашивая, над чем же все так весело смеялись.

Сидя, как обычно, рядом с дамами, любезно, слегка неуклюже передавая им своими маленькими ручками блюда и обмениваясь ни к чему не обязывающими уместными словами, Ознобишин испытывал приятно волнующее чувство. Он надеялся, что после удачного разговора на террасе его отношения с товарищем прокурора, наблюдавшим за политическими делами, примут ту короткую доступность, которую все не удавалось установить. Товарищу прокурора не нравилось молодое рвение кандидата. Частенько осаживая Ознобишина, он поучал, что для успешного прохождения службы впереди любознательности должна идти выдержка, и дальше подборки маловажных материалов ничем его не занимал. Теперь, когда камере прокурора палаты предстояло

принять к производству нашумевшее в городе дело, Ознобишин рассчитывал достичь по возможности больше и знакомством с процедурой дознания, и помощью в составлении обвинительного акта. Участие в этом деле рисовалось ему началом весьма значительного, даже, может быть, решающего движения в карьере, и он жалел, что не нашел случая поговорить с прокурором раньше, и радовался, что наконец поговорил. Как большинство молодых людей, он был тревожим неудовлетворенным желанием что-то видоизменять, совершенствовать и думал, что все удивятся, когда обнаружат, как много он открыл такого, чего прежде никто не примечал. Он нисколько не хотел поколебать машину судопроизводства, наоборот — ему представлялось, что, когда его подпустят к ней ближе, она заиграет своими хитрыми деталями так, что даже старые чиновники ахнут и возбоготворят ее еще больше. Главное, о чем он мечтал,— это увидеть живых обвиняемых, и болезненно досадовал, что товарищ прокурора не хотел замечать его интереса к дознанию.

Допросы производились уже второй месяц. Через руки жандармского подполковника Полотенцева прошло немало людей, и следствие обрастало подробностями, как днище корабля ракушками.

Был вызван в жандармское полицейское управление и Меркурий Авдеевич Мешков.

Он явился расчесанный, степенно приодетый, как к заутрене. Вопросы, заданные ему первоначально и касавшиеся установления его личности, были нетрудными. Он отвечал готовно, и вся слаженность и удобство формы усыпили его страх, тем более что Полотенцев все время будто извинялся за невольно причиненное утруждение.

Это был человек с выбритой до сияния продолговатой головой и с математической шишкой на затылке, с коротенькими ярко-желтыми ресничками, словно дублировавшими тонкую золотую оправу очков. Он отращивал длинные белые ногти и при письме упирался в бумагу мизинцем с особенно длинным и особенно белым ногтем. За работой он надевал китель без аксельбантов, и вид его был дорожным, как будто подполковник ехал в мягком купе и нечего было церемониться,— путь дальний, сидеть уютно, собеседники славные, вот-вот он раскроет чемодан и проговорит: «А ну-ка, заглянем, что нам упаковала в путь-дорогу наша дражайшая женушка».

Таким располагающе-добродушным тоном Полотенцев предупредил Мешкова, что за ложные показания свидетели несут уголовную ответственность, если будут изобличены в умышленном сокрытии или же в клевете.

— Понимаю, понимаю,— сказал Мешков, действительно сразу поняв, что удобные вопросы кончились.

Полотенцев спросил, что известно Мешкову о его квартиранте Рагозине, после того как Рагозин скрылся.

— Как же мне может быть о нем что-нибудь известно, если он скрылся? — заволновался Мешков.

— А это я буду вас спрашивать, а вы мне — отвечать,— назидательно поправил Полотенцев.

И он неутомимо спрашивал — казалось Мешкову — об одном и том же на разные лады: кто ходил к Рагозину, кого Мешков видал у Рагозина, кого навещал Рагозин, и потом — кто ходил к жене Рагозина, где бывала жена Рагозина, кого встречал Мешков у Рагозиной?

Меркурий Авдеевич напрягал страшно утомлявшие его усилия памяти, чтобы вместо «не знаю» сказать какое-нибудь другое слово, которое остановило бы неотвязное повторение совершенно бессмысленного вопроса, и у него нарастало пугающее и тоскливое ощущение виновности в том, что он не употребил свою жизнь на такое необычайно важное дело, как наблюдение за квартирантами Рагозиными, а занимался бог знает чем, и вот теперь, из-за этой непростительной ошибки, поверг в несчастье подполковника Полотенцева и вместе с ним обречен мучиться и биться над безответными вопросами. Стоило Меркурию Авдеевичу сказать о Рагозине что-нибудь положительное, например, что тот аккуратно вносил деньги за квартиру, как сейчас же Полотенцев начинал допытываться, не замечал ли он, что Рагозин широко тратил деньги, сколько вообще Рагозин проживал, не было ли у Рагозина скрытых наклонностей к излишествам, или, наоборот,— может быть, Рагозин был жаден к деньгам и копил?

Получалось, что Мешков упрямствует, запирается, скрывает одному ему известные тайны и, конечно, должен будет сам на себя пенять, если подполковник Полотенцев откажет ему в расположении и доверии.

— Так ли я вас должен понимать, что вы не желаете помочь следствию по делу о государственном преступнике, которому вы отдавали внаймы отдельный флигель с надворной службой, где была устроена тайная типография? — спросил Полотенцев, упирая ноготь мизинца в чистый лист бумаги, чтобы записать ответ Мешкова.

— Дозвольте, ваше высокоблагородие,— взметнулся Меркурий Авдеевич, протягивая руку к подполковнику, словно умоляя его подождать записывать, и вытирая другой рукой запотевший лоб.— С радостью готов помочь законному следствию, но как быть, если это не в моих силах?

— Ну что вы говорите — не в ваших силах! — с ласковым укором воскликнул Полотенцев и отодвинул от себя бумагу.— Ну расскажите, что вы знаете о других ваших квартирантах.

— О каких других? У меня только еще этот самый актер.

— Да, да, да, вот об этом самом актере! — обрадовался Полотенцев.— Как его, этого актера?

— Мефодий...— проговорил Меркурий Авдеевич с чувством приятнейшего облегчения, что мысли его высвобождались из тупика, в который их загнал допрос о Рагозине.— Извините, пожалуйста, у меня вылетело из головы, как этого Мефодия по фамилии...

— Потом припомните,— успокаивающе сказал Полотенцев.— Расскажите, что вам известно про общение этого актера с Рагозиным?

— Я хотел сказать...

— Что вы хотели сказать про общение Рагозина с актером, фамилию которого вы запамятовали?

— Не про Рагозина,— безнадежно-тихо ответил Мешков,— не про Рагозина...

— Да, да, да,— спохватился Полотенцев, вскидывая очки на сияющее темя и растирая кулаком зажмуренные глаза,— я, знаете, с этим Рагозиным заговорился. Дни и ночи напролет — Рагозин, Рагозин! Не про Рагозина, а про общение его... с кем вы хотите сказать?

— То есть про Мефодия...— осмелился Мешков.

— Да, да, да, именно. С кем, значит, он?

— У него старинный приятель по семинарии, тоже актер, Цветухин.

— Цветухин,— утвердительно повторил Полотенцев и живо взялся за бумагу.— Любовник и герой Цветухин. Ай-ай-ай!

— Вы записывать? — спросил Меркурий Авдеевич.

— Нет, нет, продолжайте, пожалуйста. Записывать — потом, записывать успеем. Только слегка — карандашиком. Вы говорите, значит,— Цветухин, который бывал у своего приятеля Мефодия, где и встречался с Рагозиным,— так я понимаю?

— Нет,— стараясь придать ответу решимость, возразил Мешков.— Я не могу говорить, чего не знаю. К Мефодию заходил актер Цветухин. Один раз, на пасху, я видел у него также Пастухова. Сына покойного Владимира Александровича.

— Так, так, так. Значит, у Мефодия собирались... собирались... На кого вы показываете?

— Я не совсем так говорю, ваше высокоблагородие. Квартирант мой пригласил меня на пасху, как бы для поздравления с

праздником. И при этом я встретил у него Цветухина с Пастуховым.

— Цветухин, Пастухов,— повторил подполковник, обводя записанные фамилии овальчиками.— И еще кто был при вашей встрече с квартирантом?

— Не то чтобы был при встрече, а подходил к флигерю, заглядывал во двор один галах, ночлежник.

— Вашего ночлежного дома?

— Да, угол снимает в ночлежке, семейный человек, пьяница.

— Фамилию его, конечно, вы запамятовали,— утвердительно сказал Полотенцев.

— По фамилии Рубакин, или... извините, как-то наоборот: Буракин.

— Ничего, ничего, у вас хватит времени припомнить. Значит, собирались ваши квартиранты...— не спеша продолжал подполковник, рисуя овальчики и вписывая в них вопросительные знаки.

— Парабукин! — быстро сказал Мешков, подпрыгивая на стуле и вдруг освобожденно переходя к рассказу.

В самом деле, почему Меркурий Авдеевич должен был бы уклониться от передачи о подробностях досадившего ему разговора с людьми распущенных нравов, какими-то лицедеями и бумагомараками? Ведь он сообщит только то, что было в действительности, ни слова не прибавив, не убавив. Правда, ничего утешительного нельзя сказать ни о Мефодии, ни о приятеле его Цветухине. Люди, бросившие духовную семинарию ради подмостков и увеселений,— солидно ли это? А кто такой Пастухов? Что он там такое сочиняет для театров? Богопротивник, высмеивающий своих друзей за приверженность их к пасхальным стихирам. Неплательщик долгов отца своего и — по всему судя — укрыватель полученного наследства. А что скажешь доброго о пропойце и прощелыге Парабукине? С горечью и состраданием смотрит на всех них Меркурий Авдеевич. Бог им судья!

— Да,— сочувственно и даже с болью отозвался на это печальное описание Полотенцев.— Подумаешь, прикинешь, в какую вы беду себя вовлекли, Меркурий Авдеевич, расселив на своем владении подозрительных лиц. Но вот вы говорите — бог им судья. Бог-то бог, да и сам не будь плох. Мы ведь призваны судить на земле. На небеси осудят без нас. А вы себе даже вопроса не задали: для какой цели подозрительные, как вы говорите, люди собираются у вас во владении и привлекают к общению низкие элементы вроде Парабукина?

— Я не говорю подозрительные, а, так сказать, в отношении нравственности...— осторожно уточнил Мешков.— Люди как бы безнравственные.

— На вашем языке религиозного человека — безнравственные, а на нашем юридическом языке — неблагонадежные. Ведь что получается? Трое ваших квартирантов — один поднадзорный, Рагозин, другой бродяга. Парабукин...

— Да какой же он мой квартирант? — взмолился Мешков.

— Да ведь он проживает не в моей ночлежке, а в вашей!

Подполковник ударил ладонями о стол и внезапно поднялся, шумно отодвигая ногами громоздкое кресло.

— Нет, нет, уважаемый господин Мешков, вы что-то такое...

Он прошелся по кабинету, с видимой решительностью призывая нервы к порядку. Потом приблизился к Мешкову, напряженно поглядел на него, снял очки и опять потер глаза кулаком, точно отгоняя изнуряющий сон.

— Должен вам сознаться: самым огорчительным бывает, когда неожиданно видишь, что ошибся в свидетеле. Когда свидетель по делу в действительности оказывается соучастником в деле, да-с!

Он отвернулся.

— Ваше высокоблагородие,— с тихой покорностью произнес Мешков.— Дозвольте попросить водички.

— Ах, водички! — откликнулся Полотенцев.— Сейчас распоряжусь! — и, весело звеня шпорами, вышел за дверь.

Отвалившись на спинку стула, Мешков обеими руками закрыл лицо. Он старался плотно прижать каблуки к полу, но они отрывались и слабой дробью постукивали о половицы.

Вдруг дверь распахнулась. Черный ротмистр, внезапно появившись в комнате, как будто ввел за собой холод ночи и угрожающие тени жандармов, которые качались на потолке и по стенам рагозинского флигеля, когда Меркурий Авдеевич стоял у косяка, как нищий.

— Подполковник вышел? — спросил ротмистр.

— Так точно,— громко ответил Мешков, встрепенувшись.

— А-а-а! — протянул обрадованно ротмистр.— Старый знакомый!

Он сделал два шага, будто намереваясь пожать Мешкову руку, но — едва тот вскочил — остановился на полдороге и сказал разочарованно:

— По тому делу? Да, батенька, угодили вы в кашу. Теперь пойдет!

— Ваше благородие...— начал Мешков.

— Да нет, что уж, что уж! — отмахнулся ротмистр.— Как вам наш подполковник? А? Светлая голова. Но, знаете, у него — шутки в сторону, шутить не любит. Категорически не любит, нет.

Он повернулся по-военному и так же неожиданно исчез, как вошел.

Опять Меркурий Авдеевич остался наедине и опять присел, ощущая знобкую дрожь в ногах и почти засыпая от приторной немощи всего тела.

Подполковник не торопился вернуться. Придя, он с мрачной энергией разложил на столе принесенные дела в синих папках, взрезал ногтем новую стопу бумаги, пододвинул чернильницу.

— Я просил дозволения — водички,— произнес Мешков.

— Вам разве не давали? Я распорядился,— ответил Полотенцев, берясь за перо.— Итак, приступим к протоколу. Начнем с ваших ценных показаний о Рагозине...

Никогда Мешков не мог понять, откуда нашлись у него силы держаться на стуле и говорить о предмете, который ускользал от внимания, как вода — из дырявого чана, тогда как Полотенцев размеренно наполнял этот чан снова и снова. Много ли прошло времени с того раннего часа, когда Мешков отправился из дому в жандармское управление, он не знал. Ему казалось, что лампа в зеленом папочном абажуре зажжена давным-давно и белый ноготь мизинца, бесчувственно двигавшийся по бумаге, пожелтел от старости. Перед глазами его возникал стакан чаю с ленивым язычком пара, налитый поутру Валерией Ивановной. Он слышал ее уговаривание — выпить хоть глоточек, гнал от себя этот бред и тотчас с вожделением вызывал его в памяти. Слова потеряли для него разумный смысл, и когда кончился допрос, он что-то все еще лепетал.

Качаясь, он доплелся по коридорам до стеклянного тамбура передней и взялся за поручень двери, но в этот момент услышал зычный окрик:

— Обвиняемый Мешков!

Жандармский унтер догонял его, рысцой бежа по коридору.

— Мешков?

— Я Мешков, но я не обвиняемый, а свидетель,— пробормотал Меркурий Авдеевич.

— Подполковник приказал вернуться.

Меркурий Авдеевич пошел назад, держась поближе к стенам. Полотенцев встал из-за стола ему навстречу.

— Извините, я задержал вас на минутку,— сказал он с выражением озабоченности и совершенно искреннего раскаяния.— У меня возник некоторый второстепенный вопрос. Ведь ваша дочь, насколько я знаю, состоит в большой дружбе с молодым человеком по имени Кирилл Извеков. Не ошибаюсь? Нет? Так я хотел узнать — молодой человек этот не бывал у вас в доме, нет?

С пристально-трезвой отчетливостью Меркурий Авдеевич увидел, как мелькнула в сумраке белая полосочка воротника над короткой квадратной спиной тужурки — мелькнула и быстро скрылась за калиткой. И сразу, вместе с этой полосочкой воротника, рябью пробежали перед взором памяти голубые полосы Лизиного домашнего платья. И потом — коричневая, просвечивающая огоньком занавеска в окне рагозинского флигеля и он сам — Меркурий Авдеевич, с верхней галереи пытливо рассматривающий свой тихий двор.

Он неподвижно глядел на подполковника.

Полотенцев молчал. Вдруг он спохватился и заговорил участливо:

— Я вижу, вы страшно устали, и уж, пожалуйста, извините мою настойчивость. Да и вопрос мой прекрасно можно отложить до следующего раза. Я только хотел вам сказать, что ведь молодой этот друг вашей дочки тоже обвиняется в государственном преступлении. Так что уж к следующему разу непременно прошу вас припомнить — бывал ли он в вашем доме? Чтобы уж окончательно разъяснить и насчет него, и насчет вашей дочки. А теперь — будьте здоровы. Эка, ведь вы как измучились! Извините меня, извините: долг службы!..

По улице Меркурий Авдеевич передвигал ноги, как только что приведенный в сознание пьяный. Ничего не осталось от его приодетости. Пиджак странно обвис, брюки пузырились на коленках. Под скомканными, чужими усами он непрерывно ощущал сухие, потрескавшиеся губы. Он долго не понимал, что за туман колышется перед его взором. Только пройдя несколько кварталов, он различил облачко мошкары, преследовавшее его неотступно и покрывавшееся бронзовым отливом, когда он проходил мимо уличного фонаря. Он стал отмахиваться от него, но оно, крутясь, неслось впереди, как насмешливое марево.

Внезапно Меркурий Авдеевич остановился. Впервые за весь день утешительная мысль отпечатлелась в его уме:

— Пусть будет умышленное сокрытие, пусть! Но Лизавету я не выдам. Лизавету я спасу...

Он разгладил бороду, надел аккуратнее котелок, и к нему вернулась обычная походка, чуть-чуть с подпрыгиванием на носках.

21

Когда-то, в один из тех разговоров, которые Лиза называла философскими, в Собачьих Липках зашла речь о том, что такое — судьба. Кирилл сказал, что этим словом, вероятно, называют за-

висимость человека от событий. Лизе не понравилось такое определение.

— А если нет никаких событий? — возразила она.— Если ничего не происходит, а просто идет обыкновенное время, или даже не идет, а стоит, и вообще — скука, и больше ничего. Тогда, что же, судьба исчезает?

Нет, Кирилл считал, что времени без событий не бывает, что скука — тоже событие.

— Хорошо,— сказала Лиза,— пусть события будут какие угодно. Но, ты понимаешь, они идут, идут как ни в чем не бывало. Человек к ним прижился и, может быть, счастлив. И вдруг у него все летит вверх тормашками. Что это такое?

— О чем ты говоришь? — спросил Кирилл.— О личном счастье? Ты ведь знаешь, человек — кузнец своему счастью.

Но Лиза не хотела соглашаться.

— А что же такое, когда кузнец кует в своей кузнице и думает, что все хорошо, а вдруг кузница сгорела, и он остался на пустом месте?

— Это — пожар,— засмеялся Кирилл.

Он любил отшутиться, если не мог чего-нибудь объяснить. И потом — он всегда отыскивал в будущем благополучие. А у Лизы часто возникали странные предчувствия, и вот теперь она убеждена, что они ее не обманули, что в давнем разговоре о судьбе она права: все было обыкновенно, и она была счастлива, и вдруг из ее жизни вырван Кирилл. Все было обыкновенно, и она была счастлива, и вдруг у ней в доме выплыло имя, которое никогда прежде не снилось: Виктор Семенович Шубников. Это и есть судьба...

Городу известны были две вывески — золотом по черному полю: Шубников. Одна — на магазине против Верхнего базара, другая — на большой лавке в рядах базара, в самой его гуще. И там и тут торговали красным товаром. Магазин держал ткани богатые — сукна, бархат, шелка; лавка — ходовые ситцы, сарпинку, сатин. Дело вела вдова Шубникова, Дарья Антоновна, помогал ей племянник Витенька, которого она баловала с детских годов и прочила себе в преемники.

Двадцатилетний человек, любивший хорошо одеться, поболтать в кресле парикмахерской, пока его льняные волосы любезно укладывают накаленными щипцами, выписать по газетному объявлению какие-нибудь наусники из Варшавы или гуттаперчевый прибор для массажа лица изобретения лодзинской гигиенической фирмы,— Виктор Семенович успел приобрести известность среди молодых людей, не утомлявших себя большими трудами. Он был натурой спортивной, нетерпеливой, поэтому ему не удалось закон-

чить образование, хотя он несколько раз бойко брался за науки, переходя из одной гимназии в другую, пробуя и коммерческое и реальное училища, справляя при этих случаях новое обмундирование из отличного сукна собственного магазина и сменив, наконец, коллекцию форменных фуражек на модную кепку велосипедиста.

На велосипеде он ездил отлично, в стиле настоящего гонщика,— наклонившись с высокого седла на низкий, изогнутый в рог буйвола руль с резиновыми накопечниками. Он даже тренировался в езде по треку, думая взять приз на гонках, но слетел с виража, разбив колено, и как бы обиделся на более удачливых соперников.

Зато в езде на лошадях с ним никто не мог потягаться. Он вывез из степи, с Бухарской стороны конька-иноходца игреней масти, по виду — замухрышку, шершавого, со светлым нависом. На масленой неделе он молодцевал перед любителями лошадей, заложив иноходца в крошечные, пухового веса саночки, на которых умещался один человек, да и то в обрез. На Большой Кострижной улице, куда в семейных санях, запряженных покладистой тройкой или парой, даже заворачивать остерегались, а где носились только кровные рысаки, Виктор Семенович показывал на своем маленьком дьяволе дух захватывающие чудеса. Не говоря о красоте и необыкновенной веселости хода лошадки, будто серчавшей в исступленно-игривой побежке, сам ездок вызывал общий восторг лихостью кучерского уменья. Он не ехал, не мчался, не летел, а парил вне земного пространства, оторвавшись от накатанной дороги, весь в снежной муке, и казалось — он не сидит в санках, а запущен струноподобными вожжами, как камень — пращою, в морозный воздух. Принагнувшись на бочок, так что санки перекашивало на один полоз, заглядывая вперед прищуренным глазом, увертываясь от развевающегося долговолосого огненного хвоста и ледяных комьев из-под копыт, он несся за конем-метеором и только гикал:

— Эй! Эй! Эй!

— Витюша! Жми, жми! — кричали ему вдогонку приятели с тротуаров.

И он жал и жал, обгоняя одного за другим рысистых орловцев и ничего не слыша, кроме свиста ветра и барабанной трели комьев по передку санок.

Как всякая страсть, гонка на лошадях требовала жертв, и Виктор Семенович чуть-чуть не пострадал за свое неудержимое увлечение. Один почтенный судейский чиновник, товарищ прокурора палаты, переходя улицу во время масленичного катанья, упал и повредил ногу как раз в тот момент, когда Шубников про-

несся мимо на своем иноходце. Будь этот чиновник другого ведомства, случай не имел бы последствий, но юстиции не стоило труда изобразить дело так, будто ездок сдунул прохожего с ног и только по счастью не задавил насмерть. Дело тянулось год, Дарья Антоновна перезнакомилась и с низенькими и с высокими порогами судебных канцелярий, выручая племянника, пока не покончила тяжбу покрытием издержек на лечение пострадавшего. Молодеческая слава Витеньки после этого еще больше приукрасилась, и он сшил себе кремового цвета шевиотовую поддевочку, чтобы его легче признавали на улице как героя нашумевшего приключения.

Дарья Антоновна содержала племянника в холе, он не знал, пожалуй, ни в чем отказа, работы же требовала с него не много: умру — наработается! В доме ему отводилась особая половина. Там он собирал книги о лошадях, о конькобежном, велосипедном, шлюпочном спорте, каталоги монет и медалей, развешивал на деревянных плечиках костюмы в шкафах, заводил граммофон с блестящим, как у тромбона, рупором, подпевая Вяльцевой и Варе Паниной, проявлял фотографии в ванной комнате и делал массаж лица, борясь с прыщиками.

Этим летом он затеял ремонт своей половины, и Дарья Антоновна отправилась с ним в лавку Мешкова — выбирать обои. Меркурий Авдеевич подал им стулья и самолично начал показывать товар, развешивая куски обоев, которые непрерывно доставались с полок и раскатывались приказчиком. Покупатели были бранчливы, но это только подогревало Меркурия Авдеевича,— он знал цену Шубниковым, они имели право требовать,— и он распушал свое искусство продавца, как павлиний хвост.

— Или вот, пожалуйте, образец тисненого рисунка для кабинета,— говорил он, любуясь.— Если к нему взять вот такую матовую панель, более темного тона, а поверху пустить вот этакий тоненький бордюрчик посветлее, будет очень солидно. Думаете, темновато? Можно, конечно, более освещенное подобрать. Но комнаты желательно всегда разнообразить по краскам, чтобы они отличались. Возьмите вот этот рисунок новейшей выработки — под мятый атлас. Если комната обставлена роскошно, допустим модерном... У вас какая мебель в гостиной? Не модерн?

— У меня гнутая венская,— сказал Виктор Семенович.

— Это вот хорошо подойдет для венской. Смотрите, как получится, если такой богатый тон обрамить широким карнизным бордюром.

— А как вы думаете насчет плафона? — спросил Шубников.

— Я только что хотел вам предложить. Вы как — карнизы решили раскрашивать? Нет? Тогда именно требуется рамка пла-

фона. Очень получается рельефно, если гладко беленый потолок отделяется от обоев, скажем, вот таким пейзажным плафоном. Или, еще лучше... Петя, достань растительный орнамент всех номеров!

В самый разгар вдохновенных примериваний, когда голова начинала идти кругом от бумажных радуг, танцевавших перед глазами, в магазине появилась Лиза. У нее было поручение от матери к Меркурию Авдеевичу, и он велел подождать, пока занимается с покупателями. Она прошла к кассе и развернула на прилавке газету. Ей было все равно, что читать — фельетон о проделках рыбопромышленников, дебаты в городской управе, хронику навигации,— все слова были для нее равнозначны. О чем бы они ни говорили, она видела за ними только свое несчастье. Рука ее перевертывала страницу, когда взгляд еще не отделился от недочитанных строчек, а потом она, как к новому, возвращалась к тому, что уже прочитала.

И вот с момента ее появления оказался в магазине еще один человек, который думал не о том, что делал. Рулоны бумаги продолжали шелестеть и раскатываться, приказчик переставлял лесенку и лазил по полкам, Меркурий Авдеевич любовался своим ораторством, а для Виктора Семеновича уже не было ни панелей, ни плафонов, ни бордюрчиков: из всех мыслимых видов бумаги его привлекала только газета, переворачиваемая на прилавке тонкой неторопливой рукой. Он встал, чтобы удобнее смотреть на Лизу, и поддакивал Меркурию Авдеевичу совершенно невпопад. Взвинчивая усики (у него росли белые колечки над уголками губ, а под носом было еще пусто), одергиваясь и слегка посучивая ножками, он все ждал, что Лиза подымет глаза, в которые он успел окунуться, когда она разговаривала с отцом. Но она не отрывалась от газеты, и позже, вспоминая эту внезапную встречу, Виктор Семенович признавался, что его поразило противоречие между образцом девичьей прелести, каким сразу представилась ему Лиза, и ее противоестественным интересом к мужскому занятию газетой. Если бы он мог заговорить, он, конечно, прежде всего спросил бы — что же такое замечательное вычитывает она из газеты? А если бы Лиза услышала этот вопрос, она, наверно, изумилась бы,— да разве я читаю газету? Если бы на место красноречивого Меркурия Авдеевича вдруг стала бы Лиза, то ей довольно было бы промолвить: вот славненькие обойчики! — и Виктор Семенович немедленно обклеил бы этими обойчиками все свои комнаты. Но она так и не посмотрела на покупателей, а, наскучив дожидаться, исчезла где-то в другом конце лавки.

У Виктора Семеновича прирожденным свойством характера была нетерпеливость. Няньки звали его «Вынь да положь». Уж

если что ему загоралось, то он ночей не спал, пока не исполнялось желание. В младенчестве первым словом, которое он внятно выговорил, было не «мама» и не «баба», а — «пустите». Он все расталкивал ручонками нянек и детей, протискиваясь туда, куда хотелось, и все лепетал — пустите, пустите! И Дарья Антоновна только понимающе мотнула головой, когда он неожиданно потерял интерес к ремонту, и затосковал, и стал наряжаться больше прежнего и пропадать из дому, и нечаянно выдал секрет тем, что поручил некоей Настеньке раздобыть ему фотографию Лизы Мешковой. Все прояснилось, как чистым утром.

Настенька считала себя близкой к дому, являясь изредка на недельку, на две, после отлучек в другие знакомые дома или поездок на моленье в какой-нибудь монастырек. Она умела быть приятной — разговором, сочувствием, готовностью услужить, если услуга не требовала труда. Лицом она напоминала что-то черносливное — оно будто лоснилось удовольствием, в черном молодом взоре всегда играла радость жизни, и, однако, она почиталась женщиной строгой, молельщицей, даже постницей, хотя никто не был так падок на вкусненькое, как она. Очень тонко, почти художественно проявляла она искусство брать, получать, принимать дары, так что у того, кто давал, возникало впечатление, будто это она дала, а у нее взяли, как у благодетельницы.

Никаких усилий не стоило ей найти ход к фотографу, делавшему снимки с гимназистов, которые окончили весною курс. Он получил от Настеньки все мыслимые заверения, что фотография Лизы Мешковой понадобилась в самых благовидных целях, и ему был приятен успех его фирмы.

На снимке Лиза казалась грустной, овал ее лица неуловимо влился в окружение слегка взбитых воздушных волос. Что-то задумчивое не только исходило от взгляда, но передавалось всей карточкой, стоило лишь ее взять в руки. И, взяв ее в руки, Виктор Семенович почувствовал, что прежняя его жизнь — не более как черное крыльцо к тому благоуханному дому, в окно которого он с трепетом заглянул и войти в который стало его невыносимым желанием. Он и умилялся, и плакал, и впадал в летаргию на целые дни, валяясь на диване, и требовал, чтобы ему гадали, и чтобы за него молились, и чтобы звали то доктора — на борьбу с бессонницей, то портного — снимать мерку для нового костюма.

Настенька и Дарья Антоновна с усердием вели саперную работу, отзывавшуюся у Мешковых все более громким упоминанием Шубниковых, пока дальняя сапа не привела к тому, что Меркурий Авдеевич объявил о намерении Дарьи Антоновны пожаловать к чаю.

— Почему так захотелось ей нашего чаю? — спросила Лиза, дичком посмотрев на отца.

— Мы уж сколько лет соседи по магазинам, а семейно все незнакомы,— сказал Меркурий Авдеевич.

— Что же теперь переменилось?

— Да кое-что переменилось, душа моя. Я вчерашний день пришел в банк векселя выкупать, стою перед кассой, дожидаюсь. А директор банка, проходя, увидел меня, остановился и говорит: «Прошу вас, господин Мешков, не утруждать себя ожиданием, а пожалуйте прямо ко мне в кабинет, я распоряжусь, какую операцию для вас надо выполнить, все будет сразу сделано!» — и ручку мне потряс! Прежде директор банка Мешкова и не почуял бы...

Так случилось, что знойным августовским днем, после обедни, Шубниковы, сопровождаемые Настенькой, прибыли к Мешковым откушать воскресного пирога.

22

Виктор Семенович надел костюм цвета кофе со сливками и пикейный, высоко застегнутый жилет. Из нижнего кармана жилета свисала, вместо часовой цепочки, короткая черная шелковая лента и на ней — золотая пластинка, изображающая конверт письма с загнутым уголком. На уголке горел рубин.

Стояла духота, и пиджак был расстегнут. Брелок лежал на жилете, поблескивая при каждом вздохе. Виктор Семенович дышал часто. Он несколько раз начинал разговор, но Лиза отмалчивалась. Ей все больше нравилось, что он спотыкался на всякой фразе и взирал на нее уже растерянно и даже с мольбою. Наконец она сжалилась:

— На вашем брелоке, кажется, что-то написано?

— Да,— сказал он, быстро вынимая часы,— это на память. Посмотрите, пожалуйста.

Она прочитала гравированную надпись, всю в завитушках: «Виктору Семеновичу Шубникову с уважением. Друзья». И на обороте: «Жми, Витюша, жми!»

— Это по какому-нибудь поводу?

— Воспоминание об одной гонке. Прошедшей зимой. На лошадях.

— Значит, это — приз?

— Как бы приз. От товарищей. Моя лошадь пришла первой.

— А что означает «жми»?

— Так себе. Любительское изречение.

— И давно вы — гонщик?

— Я не гонщик. Я любитель.

Настенька, подаваясь всем небольшим проворным телом к Лизе, точно спеша на выручку, сказала одним духом:

— Витенька и на велосипеде катается, и на коньках.

— Сейчас что же — о коньках,— извинился Виктор Семенович.— Сейчас прекрасно на яхте.

— Витенька — член яхт-клуба,— сказала Настенька.— И яхточка у него, посмотрели бы вы, прямо куколка.

Ей приходилось договаривать за всех, чтобы заполнить паузы, и она клонилась то влево, то вправо, потому что видеть сразу всех мешала фарфоровая лампа, высившаяся посредине круглого стола, за которым гости и хозяева расселись.

Если не считать Виктора Семеновича, то Валерия Ивановна мучилась больше всех своей ненаходчивостью в разговоре. Дарья Антоновна, величественная и благосклонная, в лиловом платье, сверкающие складки которого стоймя поднимались с пола на колени и к талии и поглощали собою все кресло, казалась подражанием памятнику. Хотя речь ее началась с обиходных вещей, но повела она ее на высокой ноте, с некоторым даже народохозяйственным или экономическим уклоном. Валерию Ивановну это могло только напугать. Ее понятия об экономике сводились к тому, какой нынче был привоз на базар — большой или маленький, а почему и откуда этот самый привоз взялся — кто его в точности разберет! Конечно, привоз опирается на известные столбы, на которых стоит весь прочий мир. Он зависит от морозов, или от воздвиженья, или от распутицы, от зимнего или от весеннего Николы. Но это уже чересчур отвлеченно. А Дарья Антоновна с привоза перешла не только на полевую страду, но на сельскую жизнь вообще и даже — как она выразилась — на крестьянский вопрос.

— Мы люди хоша и городские,— сказала она,— но от крестьянского вопроса в большой зависимости. Возьмите наше дело — красный товар. То мужик и сарпинку нипочем не берет, а то подай ему что ни есть лучшего ситца. Сейчас деревня — первый покупатель.

Такие рассуждения были по плечу только Меркурию Авдеевичу, но он не мог себя увлечь их теоретической прелестью и говорить свободно, без оглядки.

— Да,— ответил он, подумав,— деревня в настоящий момент охорашивается. Но не всякая специальность может заприходовать у себя деревенское оживление. Наша, например, москатель, как прежние годы была не в ходу, так и нынче.

— Как же такое,— вмешалась Настенька,— что вы говорите! А я все хожу, смотрю и только удивляюсь: на каждой улице дом растет! Да какой красоты необыкновенной! В парадных лестницах — подымательные машины, прямо на самый верх, и ног не

надо. Вместо полов — бетонный паркет, будто это не дом, а собор. Одних банков сколько настроили, куда ни глянь — все банк да банк. Кто-нибудь да деньги туда кладет? И все постройки, постройки...

— Да,— сказала Дарья Антоновна,— постройка, что большая, что маленькая, без вас, Меркурий Авдеевич, не обойдется. Уж за чем-нибудь к вам да заглянут.

— Так ведь это — город, а разговор о деревне.

— Да деньги-то, Меркурий Авдеевич, что в городе, что в деревне — одни.

— Нет, Дарья Антоновна, не одни. Мужик-то лютее за копейку держится.

— Как ни держись, а мужику тоже надо окошечко покрасить, иному — горницу шпалерами обклеить. А там — монопольку открывают, земскую школу строят, церковку обновляют, все к вам да к вам.

— Земству я не поставляю, так что какой мне интерес в школах,— отвечал Мешков,— воздвигаемые церкви — те тоже не вольны, а покупают, где укажет епархиальное ведомство. А мужик скорее бабе лишний отрез купит, чем по окошку олифой мазнет. Получается, что деревенскую копилку-то вытряхивают вам, Дарья Антоновна, а не мне.

«Да, вижу, вижу, что ты прижимист»,— говорили трезвые и усмешливые глаза Шубниковой. Она, как вошла, успела приметить, что обойчики на стенах бедненькие, полы давно не крашены: «своего товара на себя жалеет».

— Я не отказываюсь,— произнесла она, опуская взор в землю,— мы торгуем слава богу. Но и ваше дело окупчивое, и товар ваш бойкий, Меркурий Авдеевич.

— Товар боек, да покупатель торопок.

— С достатком и смелость приходит, Меркурий Авдеевич. Вы сами изволили сказать, что мужичок нынче куда стал порядочнее.

Беседа требовала поворота: Настенька чересчур уж проницательно улыбалась,— понимаю, мол, что Меркурий Авдеевич будет прибедняться, чтобы ничего не обещать в придачу к своей красавице, а Дарья Антоновна — дорожиться, чтобы чувствовали, что ее сокол реет над золотыми горами.

— Да,— сказал Меркурий Авдеевич, поерзав на стуле,— мужичкам убавили прыти, они и раскусили, что трудолюбием достанешь больше, чем поджогами имений. Народ требует руки предержащей.

— Деревню приструнить легче, чем город,— заметила Дарья Антоновна,— мужичок куда пугливее городских.

— Справедливо,— согласился Мешков, настораживаясь.

— В городе куда ни шагни — лихой завистник,— сказала Шубникова.

— Широкая нива для зависти,— признал Мешков без особой охоты.

— Столько всякой неприязни кругом. Живешь, живешь с человеком, сочувствие ему изъявляешь, из беды его выручишь, а потом...— Дарья Антоновна вдруг приклонилась к Мешкову: — Потом — на тебе: своею щедротной дланью пригрел, можно сказать, ядовитое гнездо.

— В каком отношении, то есть, ядовитое? — недоверчиво спросил Мешков.

— Да взять хоша бы вашу неприятность. Я уж вас так пожалела, Меркурий Авдеевич, прямо ночь напролет уснуть не могла. Надо же, думаю, случиться: богобоязненный, уважаемый человек, дочка в доме на выданье,— какой, думаю, страх!

— Вы, собственно, имеете в виду...— начал Мешков, намереваясь строго отклонить всякую неясность, но с нарастающим беспокойством.

— Да я про вашего подпольщика-то,— совсем простодушно заявила Шубникова.

Она с горечью развела руки открытыми ладонями к Мешкову и, наклонив набок голову, замерла наподобие модели, позирующей растроганное сочувствие. Настенька вся так и собралась в комочек от нетерпения, и лицо ее решительно готово было принять любую мину, в зависимости от того, что доведется услышать. Лиза с матерью и Виктор Семенович глядели на Мешкова боязливо и пристально.

Он помрачнел от прилившей к голове крови и несколько секунд не двигался и не мигал. Потом большим пальцем подобрал с губ усы и раздвинул бороду, отчего вид его стал вразумительнее и несколько праздничнее.

— *Моего* подпольщика? — проговорил он, снизив голос.— У меня никаких подпольщиков не бывало, да и не могло быть.

— Ну, которого изловили в вашем доме,— еще шире развела руки Дарья Антоновна.

— Мой дом господь миловал от людей, которых надо бы изловлять. Бог с вами!

— Да ну, на участке, что ли, у вас,— ведь весь город говорит про это.

— Мало ли носят по городу сплетен? В соседнем флигеле взяли как-то жену одного смутьяна. Так, что же, я за нее ответчик?

— Да кто же вас хочет, Меркурий Авдеевич, ответчиком сделать? Я говорю только, какая вам неприятность.

— А почему же неприятность, если меня это не касается? — уже отыскав опору, начинал забирать повыше осанившийся Мешков.

— Уже по одному тому неприятность, что говорят.

— Да вам-то, как доброй знакомой моей, а ныне — и всей моей незапятнанной семьи, вам-то, Дарья Антоновна, не вторить следовало бы тому, что говорят, а пресечь разносящих сплетню.

— Что вы, в самом деле, Меркурий Авдеевич,— сказала неожиданно приказательно Шубникова, резко поправляя складки шумящего платья,— разве кому я позволю намекнуть на вас каким-нибудь словом сомнительным или подозрением, что вы? Я только думаю, какие у вас заботы были, когда взяли эту самую смутьяншу.

— Какие же заботы, если моя совесть чиста и перед богом и перед людьми?

— Кабы вы — один, а то ведь у вас дочь. Материнское-то сердце Валерии Ивановны так и взныло поди от боли, что, может, Лизонька соприкасалась с опасными людьми?

— Ах, лучше и не вспоминать! — от чистого сердца воскликнула Валерия Ивановна.

— Зачем моей дочери касаться опасных людей? — устрашающе взвел брови Мешков.

— Сами ведь изволили сказать, Меркурий Авдеевич, что бунтовщицу взяли у вас со двора? — опять невинно и простовато вопросила Шубникова.

— Хоть бы и со двора,— рассерженно ответил Мешков,— да дочь-то моя не на дворе живет, слава богу, а в доме, и притом — с отцом и матерью, Дарья Антоновна.

— Разрешите, я скажу, как было,— в испуге заговорил Виктор Семенович, желая сразу привести всех к соглашению и накопив к тому достаточно решимости своим молчанием, которым терзался.— Тетушка очень возмутилась, когда узнала, что у вас во дворе обнаружили подполье. То есть как раз в том смысле, как вы, Меркурий Авдеевич, выразились,— она сразу пожелала пресечь. И говорит: замолчи... если, говорит, не знаешь, то и нечего болтать языком... То есть, потому что я ей об этом рассказывал. А я и правда слышал только пересуды. У нас просто так приказчики болтали и болтали, что вот, мол, у Мешковых скрывался один революционер, который будто имел громкое дело... ну, как это теперь называют, заслуги в девятьсот пятом году. То есть это не мои слова: какие могут быть заслуги, если это бунтовщик? Ну, и его схватили. И все. При чем здесь может быть Лиза? (Он повернулся к ней всем корпусом.) Если бы могли вас в чем, извините, подозревать, так это разве какое-нибудь общение... ну, будто вы замешаны с моло-

дежью. Но тогда и всякого... и меня самого можно заподозрить (он сделал движение, которым, вероятно, хотел показать, что — если понадобится—благородно возьмет на себя какую угодно вину, чтобы только снять ее с Лизы).

— Ну что вы говорите, Витенька! — вмешалась, как-то вся мгновенно развернувшись, Настенька.— Ведь можно подумать, что в пересудах, о каких вы рассказываете, поминалась Лизонька.

— Совершенно ничего подобного! — подскочил Виктор Семенович.

— Ну конечно, ничего подобного,— спела Настенька, с проникновением заглядывая в лицо отвернувшейся Лизы.— Кому придет в голову непорочную ангельскую чистоту мешать с земными напастями? Витенька как раз при мне имел разговор с тетушкой. Помните, Дарья Антоновна, вы еще на вашей половине кофеем меня угощали? И не успел Витенька передать эти самые слухи про подпольщика, как Дарья Антоновна сказала: «Довольно!»

— Я и сейчас про это заговорила, только чтобы из ваших уст опровержение услышать, Меркурий Авдеевич,— обиженно сказала Дарья Антоновна.

— Я что же,— тихо произнес Мешков,— я сообщаю вам, что есть.

— Ну, вот и хорошо, все начистоту и разъясняется,— неудержимо продолжала Настенька.— Тогда же Витенька и рассказывает, что в городе арестовали гимназистов и техников и что даже в духовной семинарии нашлись, которые прокламации разносили по городу против царского правительства,— одним словом, вредная молодежь. Дарья Антоновна тогда перекрестилась и говорит: благодарение господу, ты у меня, Витенька, не такой. Но берегись, говорит, ради бога, как бы у твоих приятелей не оказалось кого знакомого с теми арестованными. Вот и весь разговор, как он был, Меркурий Авдеевич. Никаких сплетен про вас не собиралось, а Лизоньку никто даже и не назвал по имени.

Вдруг она оборвала стрекочущую речь. Взор ее, порхнув, нежно опустился на Лизу, и новым, доверительно-лукавым голоском, как по-писаному, она прочла:

— Не хочу кривить душой: называлось, конечно, золотое имечко, но совсем, совсем при особенном случае. Только про то пусть скажет кто-нибудь другой.

Виктор Семенович качнулся, будто отыскивая внезапно потерянное равновесие, и уже готов был что-то говорить, но в этот момент Валерия Ивановна быстро подвинулась к Лизе и — почти шепотом, но так, что все расслышали,— спросила:

— Не худо ли тебе?

Лиза была бледна. Всею силой старалась она удержаться в

той неподвижности, которой сама себя сковала, и вдруг перемогла мешавшее ей усилие и облегченно поднялась.

— Может быть, мама, ты пригласишь к столу? — сказала она.

— Приглашай, Валерия Ивановна,— встряхнулся Меркурий Авдеевич, и его вздох пробудил уснувшую взаимную любезность: с поклонами и благодарностями все начали вставать и перемещаться к накрытому столу.

Но уже ни дразнящий дух горячих пирогов, ни букет варений, ни зеркальность самовара, звездно отражавшего работу вилок и ножей, не могли развеять чинного уныния беседы. Вся она, как околдованная, зачиналась увещанием Валерии Ивановны — «кушайте, пожалуйста», и кончалась восхвалениями Настеньки — «ах, какая вы кулинарка!» или Дарьи Антоновны — «и не запомню я, чтобы ела такое рассыпчатое слоеное тесто!».

Виктор Семенович, чокнувшись нежинской рябиновой с Меркурием Авдеевичем, расхрабрился и попробовал справиться у Лизы, не откушает ли она от живоносного источника, но натолкнулся на такой взгляд, что заробел больше прежнего.

Он промолчал весь завтрак, разве только выжимая из себя «спасибо», а поднявшись, топтался, уступая всем дорогу и пятясь, в сокрушенной деликатности и с пристывшей к губам улыбкой, так что Лиза не сдержалась от усмешки. Тогда его обуяло смятение, он повернулся, толкнул круглый стол с лампой, хотел схватить ее, но еще сильнее надавил на стол и повалил лампу. Шаровидный стеклянный абажур легко скользнул на ковер и, будто вздохнув, расселся надвое, как арбуз.

Виктор Семенович прижал ладони ко лбу. Почти вырвалось у него какое-то слово, вроде — оплачу или отлечу,— но нечленораздельно застряло в горле, и он только шаркал ножкой и картонно кланялся по очереди Меркурию Авдеевичу и Валерии Ивановне, не смея повернуть голову к Лизе.

— К счастью, это к счастью! — воскликнула упоенно Настенька, бросаясь подбирать черепки, в то время как хозяева забормотали что-то, посмеиваясь и успокаивая несчастного. Дарья Антоновна взяла за руку Лизу и сказала нисколько не смущенно, но даже с истинным покровительством:

— Вы, милая, подумаете — Витенька и правда такой увалень, что все кругом валит. Это он вас застеснялся...

— Он уж так всегда ловок, так ловок! — опять завосклицала Настенька, успевая глядеть сразу на всех, готовая все наладить и всех утешить.

Это маленькое приключение неожиданно освежило каждого, кроме Виктора Семеновича, как каламбур освежает заскучавшее общество, и прощание вышло сердечным.

Но едва Мешковы остались одни, между ними лег тягостный сумрак. Лиза отошла к окну, спиной ощущая выжидательные взгляды отца и матери. Пустые чашки на столе, застывший филодендрон, сдвинутая со своих мест мебель, расколотый абажур на скатерти — все будто ждало неизбежного заключения происшедшего.

И Лиза, сжав крепко пальцы поднятых к груди рук, повернулась к матери.

— Это что-то вроде смотрин, мама?

Валерия Ивановна вынула из рукава платочек. Меркурий Авдеевич сказал вызывающе:

— А кабы и смотрины, что же худого? Не нами придумано. В обычае отцов. И церковью не возбраняется. А мы нехристи, что ли?

— Я просто спросила.

— Не просто спросила. С форсом спросила. Не тебе форсить. Видишь, по городу какая молва пошла?

— Молва?

— Про тебя молва, что ты заодно с подпольщиками.

— Папа!

— Что — папа? О чем Шубниковы выспрашивали? Думаешь, мы одни знаем, что ты с кавалером гуляла, который за решетку посажен? Спасать тебя надо, пока не поздно,— спасать! Поняла?

— Поняла,— ответила Лиза,— начинаю понимать.

— С отцом разучилась говорить? Образованной стала? А куда завело образование-то? В жандармском управлении меня спрашивают: «Расскажите, чем ваша дочь интересуется». Что я скажу? Бунтовщиками интересуется? Вы с матерью, как кроты, ничего не смыслите. А вас, может, придут ночью и схватят. Тогда что?

— Да за что же схватят? — всполошилась Валерия Ивановна.

— По театрам с Извековым ходила? И пожалуйте. Разбирать не станут. Опасность самой жизни угрожает, и надо, говорю, Лизавету спасать.

— И Шубникова вы прочите в спасители,— проговорила Лиза, точно утверждая себя в этой мысли.

Тогда Мешков прикрикнул:

— Я за тебя подумаю, кому быть спасителем!

Заложив руки за спину, он круто шагал по комнате, чуть-чуть подтанцовывая на поворотах. Открывалось чтение одной из тех нотаций, которыми зиждились устои семейной жизни, и — слава богу — Мешков еще не выпустил кормила!

— Спасти может одно послушание, ничего больше. Как я тебя растил? В беспрекословии. Кабы ты с отцом пререкалась, ничего бы в жизни, кроме несчастья, не увидела. А что такое по-

слушание? Как понимает послушание церковь? Один святой отец, желая испытать послушника, повелел ему посадить в землю, на высокой горе, кол и ежедневно поливать тот кол, принося воду из-под горы. И послушник исполнял приказание, не прекословя и так смиренно, что даже на ум ему не пришло, что он совершает бессмысленное дело, поливая простой кол. И по смирению его была ему награда: через пять лет поливания кол пустил корень и дал ростки... Разумеется, то был истинно монашеский послух, и я от тебя такового не требую. Но дочернего непрекословия отцу я ожидать вправе, и ты мне в нем не отказывала, за что я тебя ценю. Ты всегда знала, что все делается для твоего блага. Ты думаешь, такой случай, как с Шубниковым, повторится? Напрасно. Послушала бы, что мне о Дарье Антоновне в банке говорили. Кредит у нее такой, какого я и во сне не увижу. А наследник один. Разве я тебя плохому человеку отдам? Ты мне дочь. Я о твоем счастье и днем и ночью...

Лиза вдруг, не дослушав, пошла из комнаты. Было в ее порыве нечто такое, что Меркурий Авдеевич не только обрезал свое говорение, но не решился удержать дочь ни вопросом, ни жестом.

Она спустилась вниз, вышла на улицу. День был томительно ясный, зной еще не достиг полной силы, вся жизнь молкла, охваченная жаром накаленной земли. В такие дни выдается иная минута, когда время словно замирает в ожидании резкой, спасительной перемены, и кажется, вот-вот должен откуда-то принестись внезапный вопль, или крик, или взрыв и воскресить придушенную, почти умерщвленную природу.

Беленый дом школы известковой латкой был приклеен к позеленевшему небу, и тополя чернели недвижными обрубленными подпорами. Покрытая трещинами почва отзывчиво звенела под каблуками. Лиза не ускорила шага, но и не мешкала,— раздумье, колебания остались позади.

Впервые она очутилась перед дверью, отделявшей мир, в котором мысленно она проводила лучшие минуты мечтаний. И она остановилась перед этой одностворчатой дверью, усеянной шляпками шпигирей, в завитках больших петель и с тяжелой ржавой скобой. Здесь в полутемных сенях с кирпичным полом зной остывал, и тонкая прохлада сырости внятно напомнила Лизе хмурую строгость старинных зданий, где камни молча свидетельствуют о человеческих судьбах, и ей показалось, что она стоит не перед дверью, а перед вратами, и если постучит в них, то все прошлое отойдет от нее навсегда.

Она долго не двигалась. Потом осторожно взялась за скобу. Дверь отворила Аночка.

— Как ты сюда попала?

— А я хожу к Вере Никандровне убираться,— отряхивая платьице, сказала Аночка.— Вы к ней?

— Она дома?

— Ага. Идемте, я провожу.

Вера Никандровна встретила Лизу на пороге комнаты Кирилла. Они стояли безмолвно, вчитываясь в мысли друг друга. Они были совершенно разны по всему облику — от сложения и роста до цвета кожи и волос, до любой малейшей черты, но они будто отыскивали очень важное, сокровенное сходство в себе, и страстное желание найти его озаряло их одинаковым, слитным и полным муки чувством. С трудом протягивая вдруг ослабевшие руки, Лиза кинулась вперед, закричав:

— Что с Кириллом?

Если бы Вера Никандровна не подхватила ее, она, наверно, не удержалась бы на ногах.

Обнявшись, они отошли к кровати и тяжело опустились. Боль исказила лицо Лизы, голова ее упала на колени Веры Никандровны. Сначала тихо, потом все сильнее и чаще стали дрожать ее плечи и сотрясаться тело.

Вера Никандровна поглаживала ее спутавшиеся волосы, ее спину и мокрые от слез руки, немного покачиваясь над ней и закрыв глаза.

Когда рыдания улеглись, она приподняла Лизу, отстранила ее и насухо вытерла ей лицо своим платком. Прижав ее к себе, она заставила ее подняться.

— Пойдем,— сказала она негромко.— Пойдем сейчас же.

На секунду она приостановилась и строго посмотрела Лизе в глаза.

— Ты знала? — спросила она негромко.

— О чем?

— О том, что Кирилл держит прокламации.

— Он не говорил мне ни слова.

— Я так и думала,— быстро сказала Вера Никандровна.

Она крепко взяла Лизу под руку и вывела ее из дому. И Лиза шла с ней в ногу, подчиненная ее убеждающей и спокойной власти.

Аночка, высунувшись из двери, неподвижно глядела им вслед своим светящимся, широко раскрытым взором.

23

Счет времени Кирилл начал с того момента, как перед ним открылась неприметная калитка в зеленых воротах острога. Происходила смена караула,— было четыре часа утра,— и у постовой

будки случилась короткая задержка: сменившийся сдавал ключи заступающему и вел разговор о каких-то подводах.

Недалеко от будки высился одинокий осокорь. Нижние ветви его покрывала сытая листва, а верхние, переломанные ветрами, были сухи, и по ним прыгали воробьи, с неудержимой суетой начищая клювы и крича, крича наперегонки о своих утренних чрезвычайных делах. Солнце уже выглянуло из-за приплюснутой крыши тюрьмы и начинало согревать. Двор был голый, земля заглажена подошвами сапог, колесами телег, и только у самых стен пустынная бурая ее лысина чуть-чуть зеленела.

Кирилла провели по этой годами утоптанной тугой земле во второй двор, откуда, вместе с остатками рассветной прохлады, тянуло зловонием выгребной ямы. Несколько каторжан, в куртках и круглых шапках солдатского сукна, копошились возле подвод с бочками. На ближнем Кирилл увидел кандалы: с металлического пояса свисала между ног цепь, раздвоенная у колен и замкнутая на оковах у щиколоток. Каторжанин теребил челку лошади, она мотала головой с большим розовым пятном на храпе, и уздечка звякала на ней, перекликаясь с негромким кандальным звоном.

Кирилл замедлил шаг, но провожатый легонько подтолкнул его в лопатку и сказал глухим голосом возчика: «Зевай!» Кирилл молча обернулся и тут заметил стену, мимо которой его вели: она была в четыре человека вышиной, сквозь штукатурку ее проглядывали лишаями большие старые кирпичи, красневшие на солнце. Он сразу вспомнил очень похожий брандмауэр в декорациях спектакля, в третьем акте, и весь спектакль, и Лизу, и как она убежала, обидевшись за Цветухина и почему-то крикнув: «Простите нас!»

Нельзя было понять, за что она извинялась: ведь он высказал Цветухину свое мнение, больше ничего. И невероятно: только что такую стену Кирилл видел в спектакле, и вот она пришла за ним на тюремный двор, и он уже не зритель, а действующее лицо. Но еще изумительнее, что прошло всего четыре часа (в сущности — несколько минут) с тех пор, как кончился спектакль, а случилось такое множество событий, и они вызвали такую гонку, такую схватку чувств, что кажется, будто Кирилл был с Лизой в театре давным-давно, в какую-то другую жизнь, затянувшуюся пеленой былого.

Он начал счет времени вот с этих четырех часов и вел его сперва числом ночей и дней отдельно, потом — числом полных суток, потом числом недель. Но чем крупнее становился счет, тем придирчивее он слушал, как движется, а иногда замирает время в мельчайших дольках, и научился распознавать любую пору дня так верно, как будто слышал бой часов.

Первым боем часов для него был отдаленный топот копыт по пыльной, мягкой дороге. Топот просочился через крошечное полуоткрытое оконце с решеткой и через железный кошель, закрывавший окно снаружи и похожий на воронку фильтра — широкую сверху, узкую снизу. Все звуки, залетавшие в камеру с воли, фильтровались этим прятавшим свет черным, заржавленным кошелем и были глухи. Но с каждым часом Кирилл улавливал все больше и больше звуков и скоро понял, куда выходит окно. По звукам он начал различать ветры, их направление, их силу. Западный нес мерные вздохи земли под шагами солдатских взводов. Северный — пение и ворчню машинных трансмиссий. Жаркий вестник юга посылал ему звонки трамваев, иногда испуганный рожок велосипедиста. Слух заменил ему зрение, как у слепца. Он видел ушами: прямо против оконца камеры стояли казармы, справа тянулась махорочная фабрика, слева строились новые корпуса университета. Перед его оконцем, за железным кошелем, простиралась пыльная площадь, где он бывал на балаганах, когда-то — с отцом, последний раз — с Лизой. Он ел с ней мороженое маленькой костяной ложечкой, и, окруженные праздной толпой, они смотрели на тюрьму, на оконца, спрятанные от света кошелями, и говорили о том далеком будущем, когда не станет тюрем. Изредка мимо окна пролетали птицы. Чаще это бывали стайки воробьев. От дробного стремительного трещания их крыльев у него билось сердце. Он вспоминал воробьев на осокоре. Иногда он узнавал голубя — по свистящему сильному удару маховых перьев.

Ночами звуки воли умирали, а звуки тюрьмы делались громче. Звуки тюрьмы были шагами по коридору за дверью и разговором стены. Лежа на койке, Кирилл слушал постукивание соседа. Он ничего не понимал. Он только знал, что с ним говорят. Он отвечал бессмысленно. Потом он разгадал, что сосед учит его говорить. Но он не понимал, как надо учиться. И у него был праздник — праздничная ночь торжества, когда вдруг сверкнула мысль, что его учат азбуке. Надо было притворяться спящим, и, боясь шевельнуться, он плакал от радости. На другую ночь он владел делением азбуки на группы букв, хитростью пауз, редких и частых ударов, наукой узников, живущих одним слухом. Едва шаги в коридоре удалялись, он начинал стучать, закрывшись с головой одеялом. Он лежал с этого часа не один в своей каменной шкатулке — он мог говорить. И первое, что он выговорил, было: «Я понял!»

Днем он шагал, поворачиваясь в одном углу правым плечом, в другом — левым, как пишется восьмерка. По диагонали камера равнялась пяти шагам. Он считал шаги сотнями, тысячами. Он ввел перерывы в ходьбе — короткие и длинные. Это были монашеские четки из малых, средних и больших пронизей. Несколько раз в

день он принимался за гимнастику. Он решил следить и ухаживать за собой, как за механизмом. Перебирая четки шагов, он тренировал память восстановлением всего, что когда-нибудь узнал. Он научился делать мысленные чертежи, выводить в уме физические формулы, доказывать теоремы, рисовать карты путешествий.

Лет восемь назад, еще маленьким, он видел в училище первый синематограф. На треножнике посреди зала трещал аппаратик, бросая газовый луч на экран. Газ подавался из баллона, на который давила двухпудовая гиря. Одна картина называлась комической. Маляр выкрасил садовую решетчатую скамейку, поставил вывеску — «Осторожно. Покрашено» — и ушел. Потом в сад явился толстенький человечек с газетой и сел на скамейку, уткнувшись носом в интересную статью. Весь зал хохотал до упаду, когда толстячок, продолжая читать, поднялся и показал зрителям свою спину с полным отпечатком решетчатого сиденья. Но это было только начало веселья. Другая картина изображала состязания пловцов. Они прыгали вниз головой с трамплина огромной высоты. Брызги и волны были как в жизни. Пловцы плыли, отдуваясь. А потом ленту пустили в обратном направлении — с конца к началу. И зал увидел необыкновенную причуду: люди выныривали из воды и летели по воздуху пятками вверх, бежали по трамплину затылком вперед, все происходило шиворот-навыворот. От общего смеха, казалось, колыхался тяжелый, смоченный водою экран.

Кирилл вспомнил веселый сеанс, потому что вспоминал всю свою жизнь, и особенно старался перебрать в уме все смешное. Он удивился, как мало было в его жизни смешного, как редко он веселился. Неужели удел его юности был таким хмурым? Он не хотел это признать. Он был уверен, что испытал много удовольствий, увлечений и не умел скучать. Правда, серьезное влекло его, смешного он не замечал. Но в серьезном он видел радость яркого колебания солнечных пятен в лесу.

Проверяя прошлое, Кирилл ставил себя у тюремных ворот и шел от них назад, раскручивая ленту воспоминаний в обратном порядке. Ход ее был изучен точнее, чем звуки тюрьмы, чем камера, чем ногти, которые приходилось обгрызать зубами, потому что нечем было обстричь. В одной мысли Кирилл укрепил себя наглухо, как крепят на берегу становой якорь: он ничего не знал об участи Рагозина, и поэтому все, что могло быть даже отдаленно связано с этим именем,— все ему было неизвестно. Он обязал себя словом — ничему не верить, все отрицать.

На первом очень коротком допросе, который произошел в камере скоро после ареста и был похож на разговор во время обхода

тюрьмы, он повторил то, что сказал при обыске: листовки он подобрал на улице, они валялись, сложенные в пачку, он положил их в книгу, где они и были обнаружены. Читал ли он их? Да, читал. Почему не уничтожил? Думал уничтожить, когда будет топиться печь, но время летнее, да он и не спешил, так как не придал листкам большого значения. Однако в них оскорблялась личность государя императора — это он понял? Да, понял, но думал, что это — старые листовки, каких, по рассказам, много бывало в 905-м году, и что их кто-то потерял. Это все. Допрос велся жандармским офицером, который, войдя, назвался подполковником Полотенцевым, сказал, что будет производить дознание по делу, добавил, что если у Кирилла возникнут жалобы, он может адресовать их на имя господина товарища прокурора палаты, и указал при этом взглядом на своего спутника, который неприступно молчал. После допроса он объявил, что Кириллу разрешена баня и передача белья с воли и что если он желает читать, то может получить Евангелие.

Кирилл повторял затем не раз каждое слово жандарма, вдумываясь во все скупые оттенки вопросов и уверяя себя, что — нет, тайна не может быть раскрыта, если он будет держаться за свой становой якорь отрицания. Он с нараставшим нетерпением ожидал нового допроса — ему казалось, решающего. Но недели проходили одна за другой, в его камеру никто не являлся, кроме стражника, скучно и бессловесно доставлявшего хлеб, кипяток, похлебку.

Если бы с той бледной полоской света, которая сострадательно падала через оконце, надломив свою живую силу в железном кошеле, — если бы с ней проник в камеру взгляд человека, он увидел бы мальчика с тонкой шеей, вылезшей из широкого сплющенного ворота рубахи. Мальчик был неподпоясан, остроплеч. Размеренно, как животное, он качался из угла в угол своей клетки или, стоя посредине ее, разводил над головой руки ровными, но из-за худобы лишенными эластичности движениями. Отросшие волосы его потемнели, прямее очертив лоб, но брови поднялись над переносицей, будто отражая изгибом своим непреходящее удивление. Лицо приобрело цвет сырого картофеля, веснушки бесследно исчезли, и щеки стали дряблы. Усилилась желтизна глаз, но они не потеплели, а сделались угольными и сухими. Сам Кирилл замечал только одно, как неприятно шелушатся губы, да видел свою худобу,— надо было изощряться, чтобы не свалилась одежда.

Наконец состоялся допрос. Это был семьдесят первый день заключения.

Кирилла провели двором в неказистый дом канцелярии начальника тюрьмы. От обилия света у него шумело в голове, и хотя

надо было идти прямо, его все тянуло сделать поворот то вправо, то влево.

В маленькой комнате, с решетками на двери и окне, он остался один на один с Полотенцевым, который всмотрелся в его лицо сочувственно-строго.

— Ну-с, вот, юноша Извеков. Ваше дело разъясняется. Матушка ваша хлопочет у прокурора о смягчении для вас меры пресечения по состоянию здоровья. Вид у вас действительно болезненный. Вы понимаете, что значит мера пресечения? Нет? Ну, вон вы каких вещей не знаете. А вознамерились чуть ли не царства потрясти, а? Что ж, посмотрим, если медицински подтвердится, что вы больны... Вы прежде болели чем-нибудь?

— Нет.

— А матушка ваша объясняет, что вы страдали золотухой.

— Может быть, в детстве,— сказал Кирилл.

— Ах, в детстве! Ну, это не так далеко, гм... Не так далеко, говорю я, а? Глазами будто бы вы страдали, утверждает ваша матушка. Верно?

— Глаза как-то болели.

— От цинкового отравления, кажется, да?

— Это неправильный диагноз.

— Ах, неправильный диагноз! Однако вы лечились. И помогло. Значит, не такая уж роковая врачебная ошибка, а?

Кирилл молчал. Его отделял от Полотенцева узкий стол с казенными письменными украшениями дешевенького мрамора. Из бронзового стакана выглядывали остро отточенные карандаши. Кирилл вынул карандаш в разноцветной оправе — давно он не ощущал в пальцах прелести этой повседневной простой вещи.

— К тому же вы сами толковали доктору об обработке цинковых деталей, что ли? В истории болезни что-то в этом духе записано. Не припомните, что это за детали? Не типографский ли шрифт случайно?..

— Что же тут общего? — чуть улыбнулся Кирилл.

— Я ведь технически неграмотный,— тоже улыбнулся подполковник.— А вам — карты в руки. Потому и спрашиваю, о каких это вы деталях говорили доктору?

— Не помню. Это было давно.

— В детстве, да? Еще когда вы играли с товарищами в игрушки, да? Был у вас такой приятель в классе — Рудербах. Не скажете, в какие вы играли с ним игрушки?

Кирилл покручивал в пальцах карандаш, не отрывая взгляда от блестевших радуг его полированной поверхности.

— Ну, хорошо, я сам скажу за вас, чем вы занимались с товарищем Рудербахом,— проговорил подполковник с видом раздра-

женного величия.— Вы ходили в типографию, принадлежавшую его отцу, и он вас втихомолку обучал набору. Нам все известно. Рудербах арестован и все рассказал. Запираться нет смысла. Будет только хуже. Зачем вам понадобилось учиться набору?

Кирилл передернул плечами.

— В классе как-то решили выпустить ученические рефераты. Думали сначала — на гектографе. А потом Рудербах говорит, если мы сами наберем, то можно напечатать типографски. Но затея с рефератами не состоялась.

— А что же состоялось? — не спеша спросил Полотенцев.

Он поправил очки, словно лучше нацеливаясь на Кирилла и с изяществом, похожим на дамское, развязывая бантик коленкоровой папки. Он распахнул крышку, откинул ноготками один за другим легкие картонные клапаны.

— Состоялось вот что, да?

Вынув из папки отобранные при обыске у Извекова прокламации, он пододвинул их к нему.

— Узнаете?

— Это — которые я нашел на улице,— сказал Кирилл, вчитываясь в текст листовки.

— Мы поговорим особо, где вы их нашли. Пока вашим признанием устанавливается, что вы учились наборному делу в типографии Рудербаха.

— Я не учился.

— На основании фактов и вашего признания устанавливается, что, занимаясь набором, вы заразили, по неопытности, глаза цинковой пылью.

— Я этого не говорил.

— Остается ответить на вопрос,— непоколебимо продолжал Полотенцев,— как случилось, что заболели вы больше года спустя после обучения наборному делу. Очевидно, вы имели дело со шрифтом где-то помимо типографии Рудербаха. И это с безусловностью выясняется нижеследующим образом.

Полотенцев аккуратно положил рядом с листовками страничный оттиск типографского набора.

— Сравните этот шрифт со шрифтом прокламаций.

— Я не эксперт,— сказал Кирилл,— и вообще все это меня не касается.

— Вы не эксперт. Согласен. Да вашей экспертизы и не требуется. Специалистами уже установлено, что прокламации напечатаны с того же набора, с какого сделан оттиск. А этот оттиск сделан...

Полотенцев медлительно убрал в папку листовки, завязал

изящно бантики и опять поправил очки, нацеливая фокус на Кирилла.

— Оттиск сделан с набора подпольной типографии Рагозина,— сказал он тихо.

Кирилл выронил карандаш и нагнулся поднять. Карандаш закатился под стол. Полотенцев терпеливо наблюдал, как, опустившись на колено, Кирилл шарил под столом, как поднялся, сел на место, воткнул карандаш в стакан острием вниз, заложил руки в карманы.

— Ответьте,— спросил Полотенцев после молчания по-прежнему тихо,— ответьте, по каким оригиналам набирали вы прокламации у Рагозина?

— Я не понимаю ваших вопросов,— сказал Кирилл.— Я никогда не набирал и набирать не умею. А кто такой Рагозин — не знаю.

Полотенцев глядел ему в глаза. Потом он медленно потянулся через стол и вынул из стакана карандаш, который до того вертел в пальцах Кирилл. Графит был обломан.

— Сломался карандашик? — произнес Полотенцев, прищуриваясь.

— Да, извините, я уронил...

— Покажи-ка руку! — крикнул подполковник.

Кирилл вытянул руку из кармана.

— Нет, нет, другую! Вы подняли карандаш правой рукой!

Полотенцев вскочил и обежал вокруг стола. Дернув к себе руку Кирилла, он пристально рассмотрел его пальцы. На указательном и большом темнели блестящие следы размазанной графитной крошки.

— Ты отломил кончик графита. Ты спрятал его в карман. Давай его сюда! Не то я заставлю содрать с тебя шкуру, мальчишка! Встать! Встать! — кричал Полотенцев.— Вывернуть карманы, живо!

Он сам засунул пятерню в карманы Кирилла, вывернул и вытряс их, ожесточенно хлопая ладонями по его ляжкам. Пот проступил у него на выбритом темени, очки сползли. Точно возмещая свою длительную сдержанность, он дергался всем телом, выталкивая из себя рвущиеся, как пальба, вскрики:

— Ты вздумал дать о себе знать на волю? Вздумал нас перехитрить? Тюрьму не перехитришь! Тюрьма не таких обламывала молокососов! Нашелся — титан! От горшка два вершка. Мало тебя, видно, драли. Ну, так здесь обкатают. Запоешь! Затанцуешь!..

Кирилл стоял, не шевелясь, с крепко прихваченной зубами побелевшей нижней губой. Голова его наклонилась вбок, точно он слушал едва внятный звук, как охотник, ожидающий пролета отда-

ленной птицы. Чуть приподнимался на груди расстегнутый широкий воротник рубашки, да изредка слабо вздрагивали пальцы опущенных рук.

Оборвав крик, подполковник вернулся на свое кресло и закурил папиросу. Несколько минут длилась пауза. За окном копали землю, слышно было, как, посвистывая, врезываются заступы в почву и со вздохом падают тяжелые комья. Чей-то подпилок тоскливо оттачивал железо.

— Вот что, Извеков,— голосом обремененного земной тщетой человека сказал Полотенцев.— Вам дадут бумагу, и вы изложите письменно свои показания о Рагозине и вашем с ним участии в подпольной организации. Чистосердечное сознание облегчит вашу участь.

— Я не знаю никакого Рагозина, никакой организации...

— Ну, стоп, стоп! — оборвал Полотенцев.

Бросившись к двери, он приказал через решетку стражнику позвать помощника начальника тюрьмы. Он молча пофыркивал дымком и сновал около двери, пока не явился необыкновенный по поджарости, словно провяленный на солнце, веснушчатый человек в выцветшей форме тюремщика, с шашкой на боку, казавшейся чересчур кургузой для его роста.

— У молодого человека распух язык,— проговорил Полотенцев, не оборачиваясь к Кириллу, а только поведя в его сторону оттопыренным мизинцем с длинным ногтем.— Надо полечить... В карцер! — вдруг тоненько, почти фистулой крикнул он и уставился на Кирилла неяркими, словно задымленными глазами в желтых ободках ресниц.

Приподняв шашку, тюремщик показал ею на дверь и двинулся по пятам за Кириллом.

Когда Кирилл перешагнул через порог своего нового обиталища, у него стало саднить в горле, будто он проглотил что-то острое. В совершенном мраке он нащупал стену и сполз по ней на пол. Удивительно отчетливо увидел он свою камеру — с железным кошелем на высоком оконце, откуда лился бледный милый свет дня и где гудели ветры, принося так много жизни,— и камера почудилась ему навсегда утраченным обетованьем.

24

Мысль искать влиятельной поддержки в хлопотах о сыне не оставляла Веру Никандровну никогда. Но едва эта мысль зародилась — в утро после ареста Кирилла,— как Вера Никандровна увидела, что жила в совершенном одиночестве: некуда было идти, не-

кого просить. Кирилл заполнял собою все сознание, и пока он был с ней, она не подозревала, что в целом городе, в целом мире у нее нет человека, к которому она могла бы обратиться в нужде. Ей показалось, что ее бросили в воду и отвернулись от нее. Она ухватилась за мелькнувшую надежду найти помощь у Цветухина или Пастухова. И странно, надумав и разжигая эту надежду, Вера Никандровна была почти уверена, что от призрачного плана не останется следа, как только будет сделана попытка его осуществить: ожидание улетучится, и его нечем будет заменить. Боязнь потерять надежду стала сильнее самой надежды.

— Как ты думаешь, он отзовется? — раздумчиво спрашивала Вера Никандровна Лизу, держа ее под руку, когда они шли к Цветухину.

— Мне кажется, он чуткий,— отвечала Лиза.

— Я тоже почему-то думаю,— говорила Вера Никандровна неуверенно.

Решительность, с какой она вышла из дому, увлекая за собой Лизу, все больше исчезала, чем ближе они подходили к цели.

Цветухин жил недалеко от Липок, в гостинице, одноэтажные беленькие корпуса которой непринужденно размещались на дворе с газонами и асфальтовыми дорожками. Рядом высилось увершенное причудливыми колпаками крыши здание музыкального училища, откуда несся беззлобный спор инструментов, шутливо подзадоривавших военный оркестр Липок. В отличие от больших гостиниц, здесь селились люди, склонные к оседлости, и жилось тут отдохновенно-приятно.

В то время как Извекова и Лиза проходили по двору гостиницы аллейкой тонкоствольных деревцов, они услышали выхоленный голос:

— Не меня ли вы разыскиваете?

Лиза остановилась. Через открытое окно глядел на нее сияющий Цветухин. На нем была подкрахмаленная рубашка с откладным воротником того покроя, какой модниками Липок назывался «Робеспьер», и в белизне воротника он казался смуглее обычного. В поднятой и отодвинутой руке он держал раскрытую книгу, приветливо помахивая ею.

— Угадал, правда? Ну, пожалуйста, заходите, я вас встречу.

Приход их доставил Цветухину искреннее удовольствие. Его речи, улыбки, любезности были располагающе мягки. Он решил непременно попотчевать гостей мороженым и, хотя они наперебой отказывались, послал коридорного в Липки, дав ему фарфоровую супную миску и написав на бумажке, какие сорта надо взять.

— Но ведь мы к вам по делу, по важному делу,— говорила, волнуясь, Вера Никандровна.

— И совсем ненадолго,— вторила Лиза,— на несколько минут.

— Пожалуйста, не оправдывайтесь и не извиняйтесь,— отвечал Цветухин,— я, видите, чем занимался? Стихами! И просто погиб бы от скуки, если бы вы не пришли. Вы спасли меня, честное слово!

— Но я боюсь, наше дело покажется вам слишком... что вы заскучаете еще больше,— продолжала Извекова нетерпеливо и в то же время робко.

— Что вы! — восклицал Егор Павлович с растроганным изумлением, будто по самой природе своей готов был делать для ближних все, что они пожелают.— Да я уже догадываюсь: вы, наверно, что-нибудь узнали о вашем сыне, да? Ну, как с ним обстоит, как?

— Право,— сказала Вера Никандровна очень тихо, и глаза ее засветились,— вы прямо заглянули в мои мысли. О чем же я могу еще думать? К несчастью, до сего дня нет никакого движения в деле. И я даже не знаю, есть ли какое дело! То есть я убеждена, что нет!

— Конечно, конечно! — горячо согласился Цветухин.

— И вы понимаете, в каком положении Кирилл? За что его держат? Неужели, если у мальчика нашли какие-то бумажки, которые попали к нему бог знает как, неужели его надо держать без конца в таких условиях?

— А он, что же,— спросил Цветухин,— неужели содержится в тюрьме? Я хочу сказать — без перемен?

— Ну, в этом ведь все дело! Тянут, тянут со следствием, точно это бог знает что за преступление!

— Черт знает! — сказал Цветухин, глядя на Лизу с выражением потрясенного сочувствия.

— Действительно,— чуть слышно проговорила Лиза и несмело дернула плечами.

— И вы знаете,— продолжала Извекова,— равнодушие чиновников может прямо свести с ума. Шестая неделя, как я подала прошение прокурору, и до сих пор один ответ: приходите в понедельник.

— О чем прошение? — старался вникнуть Цветухин.

— Я хочу взять Кирилла на поруки.

— А, да, конечно! — одобрил Егор Павлович и добавил: — У чиновников, увы, мало что переменилось с гоголевских времен. Помните? Хлестаков спрашивает Растаковского: «А как давно вы подавали просьбу?» А тот в ответ: «Да если сказать правду, не так и давно,— в 1801 году; да вот уж тридцать лет нет никакой резолюции».

Цветухин произнес это по-актерски, на два голоса, и улыб-

нулся от удовольствия, что хорошо получилось. Лиза тоже улыбнулась и опустила глаза, чтобы не видеть его лица и не рассмеяться. Однако Вера Никандровна молчала, и, уловив ее грустную укоризну, Егор Павлович сказал торопливо:

— Я думаю, его должны выпустить на поруки.

— Я уверена, выпустят,— вскинулась Извекова,— но только в том случае, если моей просьбе будет оказана влиятельная поддержка. Вот мы с Лизой и пришли просить вас не отказать нам, пожалуйста.

— С огромным... то есть счел бы долгом... Но, признаюсь, каким образом мог бы я... не представляю себе, помочь?

— Достаточно вашего имени, если вы обратитесь к прокурору.

— Мое имя! — негромко вздохнул Цветухин, с состраданием к себе и будто с давнишней усталостью.

— Что вы! — изумилась Извекова.— Ваше имя!

— Ваше имя! — повторила за ней Лиза, вся подаваясь вперед и тотчас останавливая себя.

— Да поверьте мне, мои дорогие,— польщенно возразил Цветухин,— это чистейший предрассудок, что актерское имя обладает какой-то магией. Пока мы на сцене — ну, согласен, нам открыта дорога почти к любому сердцу. Но попробуй мы назавтра прийти к человеку, который вчера в театре плакал, глядя на нас, и попроси мы его о чем-нибудь,— боже мой! — какой мы произведем перепуг! В искусстве нами любуются. В быту нас лучше остеречься. Мы народ сомнительный, неустойчивый, истеричный. У нас всегда какие-нибудь неприятности, раздоры, тяжбы, скандалы.

— Вы наговариваете на себя,— с оскорбленным чувством сказала Лиза,— это все неверно, неверно...

— Милый друг! Вы думаете о нас лучше, чем мы заслуживаем. Это — свойство юности. Но вообразите, я являюсь к прокурору, и ему докладывают: пришел актер! Актер? — спросит он и вот этак потянет бровкой.— Что от меня надо актеру?

— Пришел не просто актер, пришел Цветухин! — благоговейно произнесла Лиза.

— О,— сказал Егор Павлович скромно,— вы мало знаете актеров, но я вижу, еще меньше знакомы с прокурорами.

— Важно, чтобы поняли, что об участи мальчика известно общественному мнению,— сказала Вера Никандровна, прижимая дергающиеся пальцы к груди,— и если бы вы все-таки не отказались...

— Позвольте,— воскликнул Цветухин,— общественное мнение! Но что же может быть лучше Пастухова?! Пастухов — вот это действительно общественное мнение! Надо просить Пастухова!

— Я тоже думала о нем. О вас и о нем.

— Ах, что там — обо мне! Вы представляете, как это будет, если Александр Пастухов обратится к властям: известный в Петербурге человек, о котором пишут газеты! Это не актер, это совсем другое!

— Но я боюсь, согласится ли он?

— Конечно, согласится! Он по призванию своему... ну, как сказать?..— общественный деятель и просто будет рад случаю проявить себя. Я убежден. И как замечательно! — я его как раз жду, он обещал прийти, и мы сразу же...

Вдруг, задумавшись, Егор Павлович остановил глаза на Лизе.

— Только как это лучше сделать? Пастухов не сказал, когда придет. Если вы отправитесь к нему, то можете разминуться. Знаете,— вдруг обрадовался он,— сделаем так: вы, Вера Никандровна, пойдете к Пастухову, а Лиза останется здесь на случай, если вы с ним разойдетесь. Так или иначе, он от нас не уйдет.

Лизу напугал странно постаревший взгляд Веры Никандровны, и она не решилась возражать. Условились, что если Извекова застанет Пастухова дома (он жил неподалеку), то она не возвратится. Цветухин проводил ее заботливо и с лаской.

Принесли мороженое, немного погодя — блюдца с ложечками, и пока Цветухин домовито и увлеченно хлопотал, звеня посудой, убирая со стола все, что мешало, Лиза смотрела в окно.

По-прежнему земля источала удушающий зной, и по тонким, словно замершим в мольбе пыльным веточкам молодых деревцов видно было, как томится изнуренная природа и ждет, ждет движения, перемены. Ленивые праздничные голоса нескладно выбегали из окон — оборвавшийся смех, стук кухонного ножа, детский крик. Жара как будто обкусывала и поглощала звуки, не давая им слиться в шум.

— Все готово, пожалуйте,— сказал Цветухин.

— Мы вас очень обременили просьбой? — неожиданно спросила Лиза.

Она повернулась спиной к окну, и ей был хорошо виден Цветухин в сверкающей своей рубашке, перетянутый широким, в ладонь, поясом с узорчатой металлической пряжкой и карманчиком для часов. Перед ней словно блеснул брелок с надписью: «Жми, Витюша, жми!», и она улыбнулась.

— Вы смеетесь? — сказал Цветухин встревоженно.— Я показался вам неискренним, да?

— Получилось, что вы не отказали нам... а можете ничего не делать. Правда?

— Вы ошибаетесь, уверяю вас! Пастухов будет гораздо полезнее в таком деле. Это — его поприще.

— Не сердитесь,— сказала Лиза, шагнув к нему,— можно вас еще попросить?

— Ну разумеется, Лиза.

— Обещайте мне сделать так, чтобы Пастухов помог Кириллу. Он вас обидел тогда, в театре. Он вел себя ужасно, ужасно. Но он совсем не такой, совсем!..

Цветухин взял ее за руку, подвел к столу и, усадив, сам сел рядом.

— Вы очень страдаете за него? — спросил он, немного нагнувшись и заглянув ей в глаза.

Она размазывала на блюдце подтаявшее мороженое. Очень ярко она увидела на миг белую ластиковую рубашку с медными пуговками по вороту, ученический, туго стянутый ремень и пряжку, в которой играл зайчик. Потом ей опять вспомнилось: «Жми, Витюша, жми!», и она посмотрела на пояс с карманчиком.

— Он ваш жених? — спросил Егор Павлович.

— Кто? — быстро отозвалась она.— Я его никогда так не называла.

Внезапно покраснев, она слегка отодвинулась от Цветухина.

— У меня совсем другой жених,— проговорила она с короткой усмешкой.

— Не может быть! Кто такой? Секрет?

— Один спортсмен.

— Спортсмен? Цирковой борец? Гимнаст? Наездник? Вы шутите!

— Почему же?

— Но это ни на что не похоже! Как его фамилия?

— Шубников.

— Шубников...— повторил Егор Павлович.— Шубников... Позвольте. Мануфактурщик?

— Да.

— Боже мой!

Он вскочил, отошел к окну, вернулся, постоял тихо около Лизы, всматриваясь в ее наклоненную голову, и спросил:

— Сватовство? Да?

Она молчала. Он опять сел рядом, теребя шевелюру и будто отвечая своим мыслям частым, обрывистым откашливанием.

— Послушайте, Лиза. Я, кажется, начинаю понимать. Довольно обыкновенная судьба девушки. Любовь к одному, замужество с другим, да? Не надо этого делать. Нельзя этого делать. Нельзя идти против себя. Это потом скажется, всю жизнь будет сказываться. Лучше сейчас взять на себя что-нибудь тяжелое, опасное, перенести какое-нибудь потрясение, но чтобы потом не ломать себя

всегда, не каяться постоянно, когда уже все будет непоправимо. Вас принуждают, да?

— Не знаю,— сказала она.— Это называется как-то по-другому.

— Это называется: вам хотят добра,— верно? Почтеннейший Меркул Авдеевич заботится о счастье своего чада. Ведь так? О,— с горечью засмеялся Цветухин,— о, как я хорошо вижу вашего батюшку в роли устроителя счастья своей ненаглядной дочки! Несчастья, великого несчастья! — вскрикнул он, обеими руками схватывая руку Лизы.— Опомнитесь, милая! Этого не должно быть.

— Этого не будет,— сказала Лиза, высвобождая руку,— если вы поможете Кириллу. Помогите ему, помогите!

Она закрыла лицо, облокотившись на стол.

— Я даю слово,— ответил Цветухин приподнято и задушевно,— даю вам слово, что вместе с Пастуховым сделаю все, что в наших силах. Но и вы дайте мне слово, что не будете безрассудно коверкать свою жизнь.

Она поправила волосы и распрямилась.

— Вы говорите, нельзя идти против себя. Значит, идти против отца?

— А чем помог бы вам Кирилл? — вдруг трезво сказал Цветухин.

Он снова поднялся, молча походил по комнате, заглянул в раскрытую книгу, перелистал несколько страниц, пожал плечами.

— Кирилл еще мальчик, школьник. Вы заметили, как он ревновал вас ко мне? — засмеялся Цветухин.

Лиза опустила голову.

— Хотите, я вам скажу, кто такой Шубников? Этот избалованный купеческий дофин, этот сластена...

— Нет, нет! — сказала Лиза.— Я не знаю его и не хочу знать.

Он перевернул еще страничку.

— Вы любите стихи?

Она не ответила.

Он прочитал сочным, шелковистым голосом, откинувшись к окну:

Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар...

— Хорошо? — спросил он и неслышным шагом подошел к Лизе.

— Я боюсь стихов,— сказала она.

— Почему?

— Я их не понимаю и... люблю.

Он пристально изучал ее лицо.

— Знаете что,— сказал он, будто удовлетворившись своим исследованием и придя к нужному решению.— Возьмите меня в союзники против вашего отца.

Она точно не решалась поднять голову.

— Если вы откажетесь выйти замуж за Шубникова, вам надо будет уйти из дому. Я хочу вас поддержать. Я вас устрою.

Она встала и, не глядя на него, проговорила:

— Это будет не только против отца, но и против меня самой.

— Спасибо, спасибо! — воскликнул он с веселой беспечностью и с тем шумным уверенным смехом, которым владеют хорошие актеры.

Он поболтал ложечкой в расплывшейся на блюдце жидкости и вздохнул неутешно:

— Бедное мороженое, бедное мороженое!

— Я пойду,— сказала Лиза.

— Подождите, может быть, еще придет Вера Никандровна. Куда вам спешить, Лиза?

— Нет, я пойду. Благодарю вас за ваше обещание. Прощайте.

Она подала ему руку и, торопясь, высвободила, почти вырвала ее.

В третий раз она уходила, убегала от Цветухина. Зной опалил ее на дворе. Горячий, неподвижный, томительно предчувствующий перемену, он удушал ее беспощадно.

25

Мебель была давно реставрирована, книжный шкаф и диван стояли зашитые в тесовые решетки, надо было бы отправлять кабинет в Петербург, а Пастухов все еще не мог сдвинуться с места. Он должен был окончить новую пьесу. Московский театр, при поддержке телеграфа, то ласково, то отчаянно и даже грозно увещевал не затягивать работу, и он сам тревожился, что дело близится к осени. Но два-три персонажа его пьесы не догадывались, как выйти из игры, навязанной им автором, и он скучно примеривал к ним обличья своих знакомых, чтобы распутать неподатливый узел.

Он понимал, что слишком зажился в этом городе сарпинки, отставных генералов и мучных королей. Но он знал также, что, когда вывезет отцовский кабинет, больше незачем будет приезжать сюда, под кров своего детства.

За столом, еще тонко отдававшим свежей полировкой, перед распахнутым оконцем, над которым дышала обвисшая кисейная занавеска, он перебирал в памяти ароматы, навестившие его из

соседнего сада, пока он сиживал тут, чиркая бумагу и листая книги. Он вспомнил приторную сладость белой акации — старого дерева, каждую весну мучившего своим дурманом целый квартал. Землисто-медовое дыхание пионов, целыми охапками кочевавших с прохладных клумб к нему на стол и подоконник. Уксусно-коричный запах маттиолы, по вечерам напоминавший открытые двери колониальных лавок. Нежно-девичье благоухание резеды, похожее на отдаленное дуновенье едва начатого покоса. Все это уже прошло, и теперь, с закатом солнца, в окно врывался тяжеловесный наркоз табака, дразнивший обоняние с беззастенчивостью спирта. Да, перед тем как уступить первым вечерним холодкам, август терзал землю своим плодоносящим томленьем, и все живое торопилось набрать в эту пору неиссяканья сладостные запасы на будущее.

Подергивая ноздрями, Пастухов втягивал в себя жаркий ток сада и думал о том, что непременно уедет, как только войдет в силу пора цветов без запаха — георгин и астр; о том, не взять ли некоторые наивные черты Цветухина для одного персонажа в пьесу; о том, что хотя Бальзак, в сущности, плохо писал, но, как никто другой, понимал природу искусства, которая заключается в качестве воздействия произведения художника, а не в качестве выделки самого произведения; о том, что воображение, конечно,— бог, но, как всякое божество, оно есть, в сущности, произвол, хотя и покоящийся на основе реального опыта; что существует родной брат воображения, представляющий более высокий дар ума,— это предвидение, которым обладают только аналитические характеры. Воображение видит по кругу, ему доступно все без отбора, и потому оно не может предсказать ничего; предвидение идет по прямой, от причины к следствию, и для него будущее есть только результат настоящего. Возможно, думал дальше Пастухов, разглядывая мысленным взором толпящихся разношерстных людей из жизни, из недописанной пьесы, из раскрытой на столе книги, возможно, что среди современников, лишенных воображения, есть пророки, которым уже сейчас ясно будущее человека, народов, всей земли. Можно себе представить, путем воображения, любые формы будущего, но выбрать какую-нибудь одну, как неизбежную, доступно только предвидению. Однако пусть воображение беспомощнее предвидения. Оно слаще его. Фантазия слышит все ароматы мира, логика — только сильнейший.

Пастухов мечтал, сочинял пьесу и перелистывал Бальзака. Все вместе было наслаждением. Так когда-то он представлял себе свои зрелые годы — в этой плавности плотских ощущений и в свободном столкновении мыслей. Может быть, город, с которым он скоро расстанется, когда-нибудь из города мучников станет горо-

дом университетов, и, уже академиком, Пастухов еще раз приедет сюда — вспомнить любовный язык акаций, резеды и вечерних табаков, и опять завихрятся мысли, как сейчас: о надеждах юности, о московских студенческих походах по ночным чайным, о первом сердцебиении за театральными кулисами, об утоленном тщеславии после вызовов публики, сразу обо всем — кроме смерти. Нет, нет, о смерти Пастухов никогда не будет думать. Разве существует смерть в искусстве?

Пастухов крепко потер горячее лицо ладонями, точно смывая с себя непрошеную заботу, и стал записывать в красную книжечку отчеркнутые места из Бальзака, перекликавшиеся с его убеждениями. «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но — чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт!.. Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины». «Излишнее знание, так же как и невежество, приводит к отрицанию».

Вдруг он задумался над излишним знанием. Надо ли действительно знать, как делается искусство? Знал ли это Бальзак? Не в том ли секрет его победы, что он вселял душу в две тысячи своих персонажей, не отдавая себе отчета, по каким законам он их создает? Не напрасно ли биться в поисках законов искусства? Они не существуют. Они воплощены в действии. Если искусство действенно, оно закономерно. Если оно мертво для восприятия, какой закон сможет его оживить?

Этот увлекший Пастухова разговор с самим собой был странным образом прерван: тень какой-то головы скользнула на оконной занавеске. По двору прошел, наверно, очень рослый человек,— окна лежали высоко. Насторожившись, Пастухов расслышал звон шпор и потом — колокольчик в передней, как будто неприязненно вскрикнувший. Он пошел открыть.

С крыльца воззрился на него черномазый жандарм, пропахнувший пережженным сургучом, словно таявшим от жары. На всех сгибах тела его, вытянутого вверх, просились наружу огромные мослы. Он откозырял, справляясь о проживающих в доме, и вручил повестку, выковырнув ее крючковатым пальцем из-под обшлага.

Жандармское полицейское управление вызывало дворянина Александра Владимировича Пастухова на сегодня в качестве свидетеля. Он помигал на мрачного посла и спросил в деликатном тоне позволительного сомнения:

— Не ошибка ли это, голубчик?

Нет, никакой ошибки не было.

— Однако по какому же делу?

А это, оказывается, не дано было знать.

— Да тут просто явная ошибка, голубчик: сегодня — праздник, день неприсутственный.

— Никак нет,— браво ответствовал гонец,— кто вас вызывает — присутствуют.

— Что же, ты меня... поведешь посреди улицы? — спросил Пастухов, прикрывая усмешкой крайнюю растерянность.

— Никак нет. Извольте расписаться и явиться сами по себе.

Александр Владимирович расписался и, оставшись один, осторожно, как на запретное место, присел на старый горбатый ларец тут же, в передней. Брезгливость искривила его лицо. Все еще пахло сургучом. Он вскочил, пошел к умывальнику, откашлялся и плюнул, обернулся к двери, не запертой за жандармом, плюнул на нее:

— Тьфу тебе, паленый черт!

Он надел синий пиджачок, посмотрелся в зеркало и сменил синий на светло-гороховый: это был цвет более тонкий и независимый. Он набил портсигар папиросами, но бросил его в стол и достал нераспечатанную жестяную коробку заграничных сигарет, всю в гербах, медалях и вензелечках. Он взял тросточку, дошел до двери, но опять плюнул и вернулся. Перед зеркалом он опрокинул несколько раз пузырек с духами, прижимая горлышко к отвернутым лацканам пиджака. Потом он увидел свою книжечку, прочитал последнюю запись — «излишнее знание, так же как и невежество, приводит к отрицанию»,— сказал вслух:

— Хорошо вам, господа Бальзаки! — и смахнул книжечку в ящик стола.

Оторвав четвертушку бумаги, он написал размашисто: «Егор, милый, если я, черт побери совсем, пропаду, то знай, что меня вызвали...» Рука его приостановилась, затем с нажимом дописала: «в охранку». Он оставил записку посреди стола, махнул рукой на свою рукопись, глядевшую на него из папки разрозненными загнутыми уголками, в кляксах и рисуночках, и вышел, почувствовав, как защипало в горле.

По улице он двигался гордо и с грациозной осанкой, вскидывая игриво тросточку. Никто не подумал бы, что он ничего не видел вокруг и только воевал с неотвязной мыслью: пропаду! Александр Пастухов пропадает ни за понюх табаку! Может, и не исчезнет с лица земли, но ведь какие-нибудь узники Шильона или Бастилии тоже обретались не на других планетах. Земля стала их проклятием. Они были прикованы к ней. Но кто узнал об их участи? А разве наши Мертвые дома хуже берегли свои тайны, чем Шильон? Александр Пастухов твердо помнит, в каком живет царстве-государстве. Александр Пастухов пропадет. Вот он взмахивает легонько тросточкой, а сердце ему в ответ: пропадешь. Вот он

перепрыгивает через канаву, с тротуара на мостовую, а в голове: прыгай не прыгай, все равно пропадешь. Фу ты, господи, да ведь это же сущая ерунда! — бормочет он возмущенно, а в эту секунду сам себе возражает: да ведь в том-то и весь ужас, что пропадешь из-за сущей ерунды!

Это была изнурительная схватка с неподвижным, превосходящим по силе противником, и, замученный ею, он достиг дома, куда его вызывали. Он остановился перед дверями, как перед крещенской прорубью,— это сравнение мигом мелькнуло в уме, и он подумал, что кинулся бы с удовольствием на крещенье в прорубь: там хоть мужики удержат на кушаках, а здесь ведь и соломинки никто не бросит.

Он толкнул дверь с такой недовольной решимостью, будто поразился, что ее перед ним не распахнул швейцар в медалях. Его сразу провели по коридору, пахнущему сургучом, в кабинет подполковника. Он вошел к нему, изящный, приятный, с вопросительной улыбкой задерживаясь в двух шагах от порога, чтобы осмотреться и получить ответ,— куда здесь ставят тросточки и кладут панамы?

— Вот сюда, сюда, пожалуйста,— сказал Полотенцев, торопясь навстречу.— Вы извините, мы вас потревожили в воскресный день. Но, знаете...

— Вполне понимаю, если дело...— ответил Пастухов любезно и немного свысока.

— Вот именно, вот именно. Неотложное дело. Очень рад познакомиться, хотя бы в несколько официальных обстоятельствах. В иных ведь вы труднодоступны...

— Да, мы, знаете, отшельники.

Из-за стола поднялись двое чиновников в накрахмаленных белых кителях и коротко поклонились. Полотенцев назвал товарища прокурора и кандидата на судебную должность. Фамилия — Ознобишин — понравилась Пастухову, и он помигал на молодого человека, с любопытством его разглядывавшего.

— Они как раз интересуются делом,— пояснил подполковник и обратился к товарищу прокурора: — Мы, я думаю, не помешаем?

— Наоборот,— веско сказал товарищ прокурора, и кандидат отрицательно потряс головой.

— Закурить не угодно? — предложил Полотенцев.

Пастухов потянулся за папиросой, но с мягкостью отстранил руку подполковника, не спеша достал из кармана свою коробку и, разрезая этикетку ногтем, проговорил:

— Попробуйте моих. Лучшие сигаретки в мире. Один мой приятель из министерства юстиции (он посмотрел на товарища прокурора и на кандидата) привез мне из последней поездки за

границу. Египетский табак, бельгийская монопольная фирма. Прошу.

Полотенцев взял сигарету, оба чиновника отказались, поклонившись. Кандидат явно повторял то, что делал товарищ прокурора.

Раскуривая медовый табак, Полотенцев говорил:

— Вы ведь у нас давно гостите? Знаем, знаем. Творите, да? Чем нас собираетесь порадовать?.. Ах, новая пьеса! Не скажете, о чем?.. Ах, нет? Но что-нибудь жизнерадостное, бодрое?.. Ах, трудно сказать! Ну, понятно, раньше времени... Процесс творчества. Своего рода — тайна. И вероятно, для вас самого, как это? «И сквозь магический кристалл даль своего романа он еще не вполне ясно различал». Помним, помним с молодых ногтей...

Пастухов заметил беглый взгляд Ознобишина, обаятельно улыбнулся, сказал:

— Очень верная мысль.

— Мысль Пушкина, разве может быть она неверна!

— Мысль безусловно Пушкина,— подтвердил Пастухов.

— Ах, слова, слова не те! — воскликнул подполковник, будто осчастливленный своей догадливостью.— Понимаю, о, понимаю, что для поэта означают слова. Мысль изреченная... Но вы должны извинить. Со школьных лет трудно так уж в точности все упомнить. Иногда рад бы освежить что-нибудь в памяти, повторить. Какое! Посмотрите.

Он сокрушенно повел рукой на гору разноцветных папок впереди и позади себя.

— И к тому же, волею судеб, мы заняты больше не формой, не формалистикой, так сказать,— о нет, напрасно вы подумали бы!

— Я ничего не думаю,— весело сказал Пастухов.— Я вспомнил анекдот. Одному барину пожаловали чин пятого класса. Другой поздравляет его и говорит: «Завидую, ваше превосходительство, какая теперь вам по чину роскошная форма положена!» А тот в ответ: «Э, что там форма, друг мой, а вот со-дер-жа-ние!»

Все замерли на секунду, потом задвигались, потом Ознобишин произнес негромко:

— То есть содержание в смысле оклада?

— Очень тонко изволили подметить: в смысле оклада,— ответил Пастухов, как приговоренный, вздохнув.

Тогда Полотенцев обрадованно захохотал, повторяя:

— Форма — что, а вот со-дер-жа-ние, ха-ха-ха!

— Так вот, если позволите, насчет содержания,— тоже смеясь, сказал Пастухов.— Я не хотел бы отнимать время.

— Да,— спохватился Полотенцев, однако все еще не в силах удержать смех,— один вопрос, который, так сказать, побудил обес-

покоить... Что там у вас происходило, скажите, пожалуйста, с этим Парабукиным?

— Парабукиным? — изумился Пастухов.— Каким Парабукиным? Ах, этим... как его, галахом, которого ушибло на пристани?

— Да, да, да, но только вы ведь ездили к нему в ночлежку много раньше, чем его ушибло, так ведь!

— Господи боже! — слегка отмахнулся Пастухов, досадуя и смеясь.— Ведь это же все выдумки Егора! Ну, Цветухина!

— Ну, понимаю, понимаю! Изучение типов, поиски, так сказать, героев будущих шедевров. Вам это не менее поучительно, чем артисту. Но можете представить, какая история: на берегу среди этих типов разбрасывались прокламации, весьма, знаете ли, решительного,— Полотенцев поднял палец высоко над лысиной,— решительного направления!

— Так вы хотите мне присобачить эти прокламации? — просто спросил Пастухов.

— Присобачить,— опять захохотал подполковник,— вы скажете! Да и как вы себе рисуете нашу, так сказать, форму?

— Меня занимает не форма,— вторил ему любезным смешком Пастухов,— форма — что!

— Понимаю, понимаю! — хохотал Полотенцев.— Вам кажется, у нас все вот так — раз, два и — в кучу! Извините. Мы вам ни одной строчечки не припишем, да и не приписываем, а только хотим, чтобы вы внесли известную ясность.

— Во что именно?

— А вот, можете ли вы подтвердить, что когда вы пригласили Парабукина к знакомому вам актеру, приятелю Цветухина, где присутствовал также Рагозин, то там состоялась передача Парабукину революционных прокламаций?

Пастухов медленно вытерся платком, лицо его словно опухло и стало большим, он проговорил сумрачно:

— Вот что, господин подполковник. Вы задаете вопросы, от которых, может быть, зависит судьба людей и моя судьба. Я поэтому буду вас просить перейти на официальный язык и допрашивать меня... как полагается по закону.

— Ах ты, господи, да вы, оказывается, и есть настоящий формалист! — разочаровался Полотенцев.

— И чтобы не было недоразумений,— упрямо и как бы туповато продолжал Пастухов,— я вам сейчас же заявляю, что фамилию Рагозина я слышу от вас впервые, а также что у Мефодия тогда действительно состоялась передача Парабукину... стакана казенного вина крепостью сорок градусов, который он и выпил за свое здоровье.

— Ну, что же вы сердитесь, Александр Владимирович? — почти обиженно сказал подполковник.— Ведь вот, собственно, вы и ответили. И это, собственно, все. Больше от вас ничего и не потребуется, право.

Он обратился к чиновникам. Товарищ прокурора не проронил ни звука, держась ровно и прямо, как отточенный мелок, будто больше всего остерегался помять свой белоснежный китель. Тогда Ознобишин, подавшись кенгуровым своим корпусом к подполковнику, произнес осторожно, но с какой-то торжествующей яркостью в голубоватом, остром взоре:

— Я не в виде вопроса, господин подполковник, но только, если разрешите напомнить: в деле имеется показание относительно встреч господина Пастухова с Кириллом Извековым.

У него чуть-чуть дрожали женственные его пальчики, и, чтобы скрыть это, он совсем не по-летнему потирал кисти рук. Товарищ прокурора молча косился на него.

— Можно считать это вопросом ко мне? — спросил Пастухов, переводя взгляд с Ознобишина на подполковника.— Я встречался с Извековым и даже слышал, что он арестован. Но встречи были мимолетны, я не могу даже назвать их знакомством, а его арест удивил меня, потому что ведь он еще мальчик.

— Да, да, да, как это все...— с болезненной миной удерживая дыхание, сказал Полотенцев.— С Парабукиным вы знакомы, с мальчиком этим, с испорченным, надо сказать, мальчиком тоже встречались... как это все затруднительно переплетается. Нет, нет, не для вас затруднительно, а для дела. И, я бы сказал,— для нас. И я, поверьте, меньше всего хотел бы вас обременять. Но... вы ведь еще погостите, так сказать, у своих пенатов?

— Нет. Я скоро уезжаю. Навсегда, в Петербург.

— Да что вы! В Петербург? Ну, извините, что воскресный день оказался у вас нарушенным. Вы вот только подпишите, пожалуйста, этот листочек, и пока все.

Полотенцев вытянул за уголок из бювара маленький продолговатый бланк и подал его через стол. Прочитав отпечатанный текст, Пастухов быстро вскинул голову: это была подписка о невыезде.

— Вот тут, внизу,— привстав, говорил подполковник, изящно показывая на бланк длинным белым ногтем оттопыренного мизинца.— Как обозначено: имя, отчество, сословие и... что там еще?

Пастухов глядел на него, напряженно мигая покрасневшими веками.

— Значит, вы меня действительно подозреваете в прикосновении к неизвестному мне делу? — тихо спросил он.

— Ну, что вы, Александр Владимирович. Ведь это чистейшая

проформа, для порядка. Пока мы все это хитросплетение не развяжем.

— Но я могу протестовать? Куда я должен обратиться? Может быть, к вам?

Он повернулся к товарищу прокурора, который, не изменяя позы, а только подержав беззвучный рот секунду открытым, привел наконец в действие свои голосовые связки.

— Об изменении меры пресечения надлежит обращаться с прошением на имя его превосходительства господина прокурора палаты,— спел он неожиданно мелодично.

Пастухов расписался, встал и с легким высокомерием поклонился. Он был похож на человека, обманутого в своем расчете, что имеет дело со светскими людьми.

— Я могу идти? Мне было исключительно приятно познакомиться,— сказал он, безжизненно вздергивая щеки и показывая прочные матовые зубы.

Он еще расслышал, как подполковник, делая вид, что торопится вылезть из-за стола и проводить, говорил вдогонку покровительно-шутливо:

— Ах, я ведь чувствую, что вы за нами все подмечаете, подмечаете, а потом вдруг возьмете да в какую-нибудь комедию нас и вставите!

Но он молча вышел из кабинета, промчался коридором, заткнув платком нос, чтобы не дышать сургучной вонью, и вылетел на улицу.

Кого-то надо было винить в происшедшем, но кого — он не мог взять в толк. Он был опустошен, и злоба боролась с тоской в его сердце.

Отупелый от жары город вдруг хомутом сдавил ему горло. Все было мелким и отчаянным вокруг. Палисадники с нестрижеными, серыми от пыли метлами акаций, бархо́тки на затоптанных грядах, издающие запах почтовых штемпелей, раскаленный булыжник мостовых и убогое тявканье трамвайного колокольца. Боже, какая безнадежность! С детьми на руках и с целыми поездами детей, уцепившихся за юбки, вразвалку тянутся праздничные бабы по тротуарам, останавливаясь перед торговками семечками или крестясь на пустые паперти церквей. Сколько еще воскресений приговорен Пастухов созерцать эти жалкие шествия? Полинявшая вывеска на угловом доме «Гильзы Катык и К°», под ней — отбивающиеся от мух клячи в соломенных островерхих шляпах с дырками для ушей, разморенные извозчики на подножках пролеток, куча свежего навоза и городовой, заткнувший два пальца за борт просаленного мундира. О, эта недвижимая пустота! Чем легче она Бастилий?

Он насилу добрался до дому.

Войдя к себе во двор, он увидел на крыльце женщину. Она неуверенно дергала звонок.

— Никого нет,— отрезал Пастухов.

Она оглянулась и поспешно сошла по ступенькам — невысокая, с крутыми, немного мужского строения плечами, в чесучовом платье, застегнутом на громадные, в целковый, пуговицы, и без шляпы.

— Вы не узнаете меня? — спросила она, волнуясь, но с той ровной внешней медлительностью, к которой приучают себя воспитатели.

У него была хорошая память на лица, и, кроме того, женщина слишком много передала от своего склада Кириллу Извекову, чтобы можно было не узнать ее, но Пастухов, пристально разглядев ее лицо с оспинками на лбу, отвернулся, сощурился и покачал головой,— нет, он не вспоминал.

— Я мать Кирилла Извекова. Помните, он познакомил меня с вами на пасху, на балаганах?

— Простите,— сказал он, как будто не в состоянии уловить что-нибудь в смутных воспоминаниях.— Что же вас ко мне привело?

— Но Кирилла ведь вы знаете?

— Кирилла?

— Да. Ученик технического училища, такой... невысокий, смуглый, с такими... усиками. Кирилл.

— С усиками...— повторил Пастухов, опять отворачиваясь.

— Я не осмелилась бы к вам обратиться, если бы меня не направил ваш большой друг Цветухин. Я сейчас прямо от него. Он меня очень обнадежил насчет вас. Но вы... не припомнили, значит, Кирилла,— с каким-то покорным испугом добавила Вера Никандровна.

— Может быть, вы кратко... объясните?

— Конечно. Я прошу вас выслушать. Мой сын арестован по совершенно... одним словом, у него случайно нашлись какие-то листовки. Я хлопочу, чтобы мальчика выпустили на поруки. Но одних моих хлопот, разумеется, недостаточно. Если бы вы захотели... сочли возможным поддержать... как человек настолько известный...

— Минуточка,— прервал Пастухов,— минутка. Эта идея, значит, принадлежит Цветухину? Насчет меня.

— Да, он сказал, что тоже охотно поможет, но что вы (и он безусловно прав!), что вы гораздо авторитетнее...

— Изобретатель! — засмеялся внезапно Пастухов, утираясь

обеими руками.— Изобретатель! Черт передери его изобретения... простите.

Он стал так же внезапно серьезным и напыщенным.

— Видите ли... Я, конечно, помню вашего сына.

— Да? Спасибо! Я была убеждена! — воскликнула Вера Никандровна, покраснев.

— Минуточка. Я его помню, но из этого ничего не вытекает. Я знаю только, что он мальчик. Но какой мальчик... может быть — испорченный? Вы извините. И не в том дело. Я не могу быть полезным вашему сыну по той простой причине, что сам, да, сам, привлекаюсь по политическому делу. И, возможно, по тому же обвинению, что и ваш сын. Это пока изобретателю Цветухину неизвестно. И вас я прошу об этом забыть. Вот мы тут разговариваем, а может, за нами уже подглядывают. До свиданья!

Он пожал ей руку и удивился, что костлявые пальцы ее были холодны и от краски на ее лице уже ничего не осталось. Опустив глаза в землю, она сказала виновато:

— Простите меня, пожалуйста,— и пошла к калитке.

Но, сделав несколько маленьких шагов, она обернулась и спросила:

— Если вас обвиняют в том же, в чем Кирилла, то, может быть, вы скажете мне, в чем же состоит это несчастное дело? Мне одной... как матери.

Он подошел к ней и вдруг изменившимся голосом, примиренно и грустно, проговорил:

— Если ваш сын так же ничего не знает о деле, как я, то я вас поздравляю.

Ему почему-то захотелось поцеловать ей руку, но он только еще раз пожал ее холодные пальцы.

Дома он старался понять, что хотел сказать своей последней фразой, но мысли были слишком рассеянны. Он умылся, сменил пиджак. Увидев на столе свою записку, он разорвал ее на узенькие полоски и поджег спичкой. Пламя поднялось, припало, розовые тлеющие вспышки пробороздили края полосок, они обуглились, потом превратились в голубой пепел. Пастухов дунул, и пепел невесомо разлетелся.

Черт знает! Вот только что он наслаждался размышлениями за этим столом. Он восхвалял фантазию. О да, он мог по своему произволу вообразить человека, невинно преследуемого слепым законом. Но разве мог бы он допустить, что через минуту сам подвергнется преследованию! В лучшем ли положении Кирилл Извеков? Не из породы ли он людей, способных предвидеть? Но неужели этот мальчик уже знал, что дорога на баррикады лежит через острог? И как ошиблось воображение Пастухова, прочившее

Кирилла в обывателя, в чертежника на станции, тогда как этот мальчик мечтает о переделе мира! Испорченный мальчик! Может быть, Пастухов заблуждается во всех своих представлениях так же, как ошибся в Кирилле? Может быть, Пастухов просто тупица, самонадеянный дурак и бездарь? Может быть, Пастухов и в приятеле своем — Цветухине — тоже ошибается?

Пастухов почувствовал потребность дружеского участия и понял, что должен немедленно все рассказать Цветухину.

Уже клонилось к сумеркам, жар спадал, местами слышался оживающий запах табака, парочки направлялись гулять в Липки. Двор гостиницы поливали из рыжего каучукового рукава, таская его по асфальтовым дорожкам, черневшим от воды. Приятно веяло сырой теплой землей и выкупанной овсяницей газонов.

В аллейке, на которую выходил номер Цветухина, Пастухов услышал скрипку. Тоненько и невинно лилась колыбельная песня Неруды. Пастухов заглянул в открытое окно. Цветухин стоял лицом в темную комнату и, покачиваясь, старательно тянул смычок. Играл он по-ученически, с акцентом на середине смычка и с плохим легато.

— Деревянным смычком да по кожаной скрипке,— сказал Пастухов в окно.

Цветухин оборвал игру, ткнул скрипку в футляр и, маскируя смущение, на полном голосе откликнулся:

— Заходи, заходи, дружище! Жду тебя целый день!

Они уселись рядом на диване, не зажигая лампы, так что видны были только бледные пятна лиц и рук, и тотчас Цветухин спросил, приходила ли к Пастухову Извекова и что он ей обещал.

— А что я должен был обещать?

— Я дал слово Лизе, что мы с тобой поможем Кириллу,— сказал Цветухин.

— Кто такая Лиза? Миловидная барышня? Твоя поклонница? Чудной ты, Егор. Изобретать какие-то бумажные аэропланы, пиликать на скрипке — ну, еще куда ни шло. Но благодетельствовать поклонницам! Это как раз обратное природе актера и самих поклонниц: ты рожден получать, они — давать.

— Я не шучу, Александр.

— Ну, родной мой, мне тоже не до шуток!

— Но помощь нужна не моей поклоннице, а очень хорошему, благородному юноше. Это в твоих возможностях. Если хочешь — твой гражданский долг. И потом — традиция...

— Ага, проникся, проникся! Традиция русской общественной совести, да? Лев Толстой на голоде, Короленко на Мултанском процессе,— так? Сделать из себя рыцаря? Зачем? Чтобы себя уважать? Нет? Чтобы меня уважали другие? Да? Но, во-первых, мне

далеко до Короленки, не говоря о Толстом. Ты думаешь, я этого не понимаю? А во-вторых, нынче не девятьсот пятый год. Время прошло. Не Первая, брат, дума. Моего рыцарского жеста, моей жертвенности или, если угодно, героичности даже здешний «Листок» не приметит, не говоря о Столыпине. Подумаешь, гражданская совесть — Пастухов! Какая-то муха прожужжала! Смахнут в тарелку с мухомором, и все.

— Куда хватил! — удивился Цветухин.— А в девятьсот пятом году ты был героем?

— Тогда в героях не было нужды: твой Кирилл мог бы спокойно раздавать прокламации на улице вместо рекламных афишек.

— Да опомнись! Ведь человеку помогают не ради жеста, не ради самоуслаждения.

— А что же ты от меня хочешь? Чтобы я ходил по темницам утешителем в скорбях и печалях?

— Да дело гораздо проще. Не требуется от тебя ни утешений, ни героизма, а надо сходить к прокурору, и все.

— Зачем?

— Похлопотать.

— О ком?

— Что значит — о ком? О Кирилле.

— О себе, брат, надо хлопотать, а не о Кирилле,— сказал Пастухов.

Тяжело поднявшись, он закрыл наглухо окно, стал к нему спиной и спросил:

— Тебя еще не приглашали в охранку?

— Что ты хочешь сказать? Ты в уме?

— А вот что.

Пастухов опять сел, положил руку на колено Цветухину и так держал ее, пока не рассказал все, что случилось.

Стало настолько темно, что и лица едва выделялись, а предметы в комнате нераздельно соединились в черную таинственную среду, как будто впитывавшую в себя каждое слово и готовую вступить в разговор. На дворе чуть виднелась ветка с неподвижными мелкими листочками, освещенными из соседнего окна, и казалось, что она не связана ни с каким деревом, а держится в воздухе сама собой. Из Липок долетали обрывки духовой музыки, где-то на крыше отзывалось цоканье подков по асфальту, но как будто от этих звуков тишина делалась все глубже.

— Да,— произнес Цветухин после долгого молчания.— Если бы я тебя не ощущал вот так рядом, я был бы уверен, что слушаю во сне.

— На нас наклепали, Егор,— сказал Пастухов.

— Но кто, кто?

— Мы не знаем, что говорил о нас оборванец Парабукин, не знаем, как держит себя испорченный мальчик, не знаем, кто такой Рагозин. Мы ничего не знаем. Мы глупые бирюльки, Егор.

— Нет, нет! Я уверен — все разъяснится. Мы сами с тобой все разъясним, Александр. И потом — они одумаются.

— Кто — они?

— Ну, они. Кто тебя сегодня терзал.

— Нет, нельзя вообразить, чтобы они одумались. Это для них так же противоестественно, как (Пастухов поискал слово)... как головная боль для дятла.

— Что же ты намерен делать?

— Намерен уснуть на этом диване. Дай подушку... я так устал, дорогой друг, что хочется по-бабьи отдаться своей судьбе.

На крышу надвигался стук подков, ближе, ближе, и вдруг из темноты, объявшей город, вырвался ясный пугающий выкрик извозчика:

— Берегись, эй!

И, точно в ответ на выкрик, музыка в Липках весело заиграла военный марш.

26

Тихона Парабукина после ушиба положили в больницу. У него было кровоизлияние в плевру и перелом двух ребер, поправлялся он туго, полнота его исчезла, и сам он замечал, что слабеет.

— Койка пьет мою силу,— говорил он соседу.

Лежал он в маленькой палате с окном в палисадник, куда с другой стороны выходила больничная кухня, и с утра до вечера слышно было, как трут песком посуду, сливают помои, колют дрова.

Парабукин тосковал. Единственным развлечением его был сосед, любивший поговорить о чудесном, но, впрочем, чудеса, о которых он рассказывал, отдавали тоже чем-то больничным. Он мазал длинные волосы деревянным маслом, по субботам подстригал усы, бороду и вообще заботился о благообразии, хотя скуластое, дубовое лицо его не поддавалось никакому украшательству. Он был церковным звонарем и сторожем и вел счет жизни от праздника к празднику.

— От Отдания Преображения до Отдания Успения у нас десять дён. А нынче Усекновение главы. Это еще шесть дён. Вот, значит, сколько, вместо правильной пищии, томят меня ученой диетой.

Парабукин смеялся над ним, однако проникся его простодушием и незаметно стал поверять ему свои горести.

— Горе красит человека,— утешал звонарь.— А жития наша так устроена, что худо и хорошо, как прибытки и убытки, на смычке ходят, а то и, как сестры, за ручку гуляют. Вот ты скажи, какая случилась один раз история. Я тогда тоже животом мучился, только это было в Казани, и лежал я в клинике. Разрезали меня, сделали опытные ходы для прохождения пищии и, между прочим, думали, что я этого не вынесу. Студенты мне говорят, очень у тебя большой сделался перетомит. И правда, я тогда сильно перетомился, жития у меня была тяжелая. Но, между прочим, доктора признали, что опыт ходов в моем животе удался. И, правда, до настоящего времени я терпел. Ну, да я не про себя рассказываю. А вот так же, как ты, лежал со мной рядом немощный такой мужчина и все жаловался, что его профессору не показывают. Я его успокаиваю, говорю, что, мол, ты мало любопытства для профессора имеешь: ходы у тебя обыкновенные, лежи, отдыхай, здоровье свое возьмет, тебя выпишут. А он сердится: еще, говорит, неизвестно, кто больше любопытства имеет: ты или я. И что ты скажешь! Добился ведь своего! Только его профессор выслушал, как сейчас же его — в отдельную палату, купать в ванной, стритца, бритца. Дали ему две подушки, одеяло байковое, и принялись его кормить. Милый мой, чего ему в рот не пихали! И холодного, и горячего, и мясного, и не знай какого. Встретился он мне в коридоре — смотреть не желает. Я вижу — круглый такой стал, как ктитор, и подойти к нему боязно. Ну потом все стало известно: профессор, видишь ли, доглядел, что у него сердце на правом боку помещается. И началось для этого человека полное счастье: одевают, обувают его задаром, мыло там, табачишка, к чаю сахару — сколько хочешь, да еще и деньгами приплачивают. Что ты скажешь? А за все за это студенты его каждое утро слушают да стукают — в том вся его служба. Так он и зажил. Стали его возить по городам, из Казани в Москву, оттуда — в Харьков, и везде слушают да стукают. А он, как барин, и поворачиваться перестал, вокруг него студенты ходят. Слышно потом было, его у нас за границу откупили за большие деньги: своего такого там искали, да не нашли, а конечно, завидно — чем они хуже? Вот, милый мой, был человек сирый, а взял какую силу! И я смотрю да думаю — неизвестно, который из нас с тобой для научного знания больше любопытства имеет. И что за поворот наша жития сделает, о том в Четьи-Минее не сказано...

— Ловок ты язык чесать,— ухмылялся Парабукин. Но после каждой рассказанной истории часами раздумывал и гадал, можно ли ему ждать поворота в жизни, весь разлад которой он по-настоя-

щему увидел с больничной койки трезвым и обострившимся взором.

Раз поутру, когда во всех углах звенели тарелками, больных из палаты Парабукина вызвали на осмотр, оставив его одного. Делалось это впопыхах и сразу внесло волнение, потому что нарушался всем досконально известный больничный порядок. Через некоторое время стеклянную дверь палаты занавесили простыней и на место табуретки у кровати Парабукина поставили стул. А еще через минуту в палату явился незнакомый Парабукину доктор — с бритой головой, в золотых очках, в свежем халате не по росту, накинутом на плечи. Его сопровождал огромный усач, который остановился в дверях и старательно прикрыл простыней все щелки.

Когда доктор усаживался перед койкой, халат сполз у него с плеча, и Парабукин увидел жандармский мундир.

С давних пор, по службе на железной дороге, Парабукин хорошо знал жандармские чины. Подполковникам полагалось купе первого класса — это были люди неприкосновенных высот. Они держались князьками тех особых уделов, какими была жандармерия в замкнутом от большого мира путейском царстве. Презирая и побаиваясь их, путейцы, от мала до велика, не упускали случая показать превосходство своего сословия над этими устрашителями вокзалов. Кондуктора отворачивались от жандармских унтеров, начальники дистанций старались не замечать ротмистров, начальники дорог нехотя отвечали на приветствия полковников.

Лицом к лицу с Полотенцевым, возникшим из докторского халата, Парабукин почувствовал себя возрожденным контролером скорых поездов. Он словно отодвинул дверь в купе и обнаружил грозного пассажира. Он был готов услышать что-то очень суровое о забытых провинностях, которые привели его с железной дороги в ночлежный дом.

Он приподнялся в постели, ошеломленно всматриваясь в подполковника,— исхудалый, в разросшейся, спутанной гриве кудрей.

— Продолжай лежать,— приказал Полотенцев.— Во внимание к твоей болезни я лично прибыл снять с тебя нужные мне показания.

То, что затем услышал Парабукин, изумило его гораздо больше, чем само появление жандарма. Железнодорожная служба и прошлое Тихона Парабукина нисколько не интересовали подполковника. Он хотел знать — зачем приезжали в ночлежку Цветухин с Пастуховым, что они требовали от Тихона и с какой целью ходил он к ним во флигель Мефодия.

Едва начался допрос, как воспоминание о пасхальном визите странных гостей приобрело в глазах Тихона слепящую окраску.

Стало вдруг очевидно, что визитеры приезжали неспроста и, конечно, не с теми намерениями, о которых говорили. Они будто бы искали людей, прославленных ночлежкой, береговых знаменитостей, и Тихон припомнил, что Пастухов назвал этих людей «львами» (и те-те-те! — осенило Парабукина,— вон каких вам нужно было львов!). Тут таилось, конечно, самое главное, и так как Парабукину нечего было скрывать, он тотчас решил, что непременно скроет этот главный разговор о львах. Не станет же он, старый железнодорожник, угождать презренному жандарму!

— Ничего не упомню, ваше высокоблагородие,— твердил он.— Пил горькую.

— Ну, что же, ты без сознания, что ли, был?

— Никак нет, в сознании. Но, однако, в прохождении запойного цикла.

— Но все-таки они тебя к чему-нибудь подговаривали?

— Так точно, подговаривали кустюм продать. Ольга Ивановна, супруга моя, носила им в театр тряпье. Она у меня тряпичница.

— Может, они тебе деньги давали?

— Деньги? Не упомню...

— А как же ты у Мефодия во флигеле очутился?

— Извините, опохмелиться пошел. Когда находит на меня цикл, случается, что я даже, извините, как бы милостыньку прошу. Я к ним обратился, они посочувствовали.

— Ну, а взамен они от тебя чего-нибудь потребовали?

— Так точно, потребовали.

— Ну, ну?

— Поднесли мне стаканчик, а потом потребовали, чтобы я, значит, пошел вон.

— Экой ты какой,— сказал Полотенцев презрительно.— Ну, а теперь ответь мне без твоих пьяных обиняков: вот когда с тобой это случилось, когда тебя на пристани ушибли, как же это вышло, что около тебя оказался актер Цветухин? Да еще и в больницу тебя доставил, а? За какие это заслуги?

— Тут я был без сознания, не упомню.

— Опять, значит, в своем непотребном цикле?

— Никак нет. К тому времени цикл, благодарение богу, закончился. И это я от тягости перелома ребер потерял ясность памяти.

— Либо ты хитрец, каких мало,— проговорил рассерженно Полотенцев, поднимаясь и натягивая на плечи халат,— либо ты просто поганая харя!

— Так точно,— подтвердил Тихон, скроив совершенно бес-

смысленную гримасу, и заросшее, изнуренное лицо его стало отталкивающе-дико.

— Вот что,— сказал подполковник, уходя.— Поправишься, будет в чем нужда или выпить захочешь — приходи ко мне, в управление. Да помни, о чем я тебя спрашивал. Да узнай на берегу, кто там у вас прокламации раздавал. Я в долгу не останусь. Понял?

«Черта лысого!» — подумал Парабукин с торжеством. Ему стало необычайно легко. Уверенность, что он провел за нос жандарма, веселила его. Взволнованно и юношески расцвело его самомнение: ведь недаром же заявилась к нему этакая шишка, почти — генерал, перед которым расступается в трепете вокзальный перрон. Его высокоблагородие господин подполковник! — поди-ка, будет он утруждаться разъездами ради каких-нибудь незначащих дел! Тихон Парабукин — другое. Тихон Парабукин знаком с господином Пастуховым и господином Цветухиным. А господа эти, без сомнения, отмечены неким вышним перстом, почему за ними начальство и охотится. Тут вот, наверно, и образуется поворот в жизни Парабукина, поднимется его блистательная звезда и сразу зальет перед ним светом новую дорогу.

Ему страшно захотелось поделиться с соседями по палате. Но они возвратились на свои койки хмурые и злые. Звонарь лег к нему спиной и скорчился, будто от боли. Парабукин окликнул его, он не отозвался.

— Послушай, дубовая голова,— сказал Парабукин.— Что ты от меня скулы воротишь? Раскаешься. Мне как раз счастье привалило, о котором ты намедни рассказывал. Сердце у меня справа оказалось. Слышишь?

По-прежнему лежа к нему спиной, звонарь спросил:

— Это, что же, доктор по части сердца приходил?

— Вот-вот. Сердцевед. Профессор,— захохотал Парабукин.

— Погоди. Теперь тебя начнут в ванной мыть,— с желчью произнес сосед, и вся палата принялась смеяться и кашлять от смеха. Тихон обиженно отвернулся к стене. Он уже твердо верил, что, ежели бы дело было достойно насмешек, Парабукина не занавесили бы от чужих взглядов: простыня все еще болталась на двери...

В этот день Аночка принесла ему молочного киселька, сваренного Ольгой Ивановной, и он обрадовался дочери, как никогда прежде. Она сидела на краешке железной кровати, он гладил ее тоненькую руку побелевшими от безделья узловатыми пальцами и расспрашивал о матери, о Павлике, о ночлежке.

— Трудно матери с вами,— сказал он горько.— Неправильно я жил, дочка.

— А как правильно? — спросила Аночка.— Мама говорит, кабы ты не пил...

— Пить я не буду,— сказал Парабукин, подумав, и с сожалением вздохнул.— Пить мне теперь здоровье не позволит.

Он слегка потянул Аночку к себе и улыбнулся.

— Хочешь, чтобы у тебя папка знаменитостью стал?

— Это как? — спросила Аночка.— Это как артисты?

— Куда артистам! Так, чтобы меня все знали.

— На берегу?

— На берегу я и так известный. Нужен мне берег!

— А где еще? — сказала Аночка, глядя в окно.— Таким, как артисты, ты все равно не будешь. Они богатые.

— Нашла богатых! Они по шпалам пешком ходят, а я, когда на дороге служил, на пружинных подушках ездил.

— Вот и служи опять на дороге.

— Ты маненькая,— задумчиво ответил Парабукин,— ты не понимаешь.

Они посидели молча, потом Тихон достал ложку и подвинул Аночке кастрюльку с киселем:

— Поешь.

Она замотала головой и отсела подальше. Он подцепил на ложку крутого киселя и протянул ей:

— Поешь, говорю.

Она слизнула кисель, проглотила, закрыла глаза от удовольствия и отсела еще дальше.

— Все равно не буду. Это — тебе,— сказала она,— сладкий.

Вдруг она опять придвинулась к отцу и спросила:

— А про что генерал тебя пытать приходил?

— Кто тебе наболтал?

— Хожатка сказала. Я там дожидалась, в передней, пока к тебе пустят. Она и сказала.

— Расскажи матери, какой я знаменитый: генералы ко мне ездиют! — проговорил он, довольно усмехаясь.

Тогда она прошептала испуганно:

— Он тебя про Кирилла не пытал? Ты не говори ничего: Кирилл хороший.

— Защитник твой,— снисходительно кивнул Тихон.— Не бойся, я не скажу. Зачем мне?

Они простились, как всякий раз, когда приходила Аночка в больницу,— тихо и утоленно, и он остался наедине с запутанными, взбудораженными и прежде незнакомыми мыслями...

Еще не совсем поправившись, он выписался из больницы в яркий погожий день. Все ему казалось обновленным и нежным — малолюдные дома с прикрытыми от солнца ставнями окон, горя-

чий ветерок, изредка невысоко отрывавший от дороги сухую кисейку пыли. Так чувствовал он себя очень давно, в детстве — удивленно перед всякой мелочью и немного слабо, будто проголодавшись.

На перекрестке, около казенной винной лавки, он увидел двух оборванцев. Один пил из полбутылки водку, другой глядел, много ли остается в посуде.

— Смотри, обмерит,— ехидно сказал Парабукин.

На него не обратили внимания. Он прошел мимо, прикидывая в памяти, сколько времени не пил. Выходило — больше семи недель. Он оглянулся. Пил другой, запрокинув голову и выливая бойкую серебристую струю в разинутый рот. Тихон остановился: проклятая койка — пришло ему на ум. Он испытывал приторную пустоту в поясе, и подкрепиться было бы неплохо. Он нащупал в кармане серебро: как-то Ольга Ивановна, позабыв принести в больницу сахару, дала ему денег. Он зашел в казенку, и, когда вдохнул воздух, насыщенный спиртом, у него задрожали колени. Он купил шкалик, вышел на улицу, выбил пробку и, быстро опрокинув водку в горло, пошел прочь. Но, пройдя два-три дома, решил сдать назад посуду, вернулся и, вместо того чтобы получить за посуду деньги, нечаянно, словно за кого-то другого, попросил еще шкалик. Спрятав бутылочку в карман, он двинулся новой, живой и упругой походкой, рассуждая, как будет в своем углу, за чайничком, разговаривать с женой насчет устройства жизни, которая теперь должна свернуть совсем на иной разъезд. Уже недалеко от ночлежки он сообразил, что если явится с водкой, то Ольга Ивановна, пожалуй, отнимет шкалик. Он завернул под ворота каменного строения и выпил водку не спеша, отдаваясь подирающей все тело знобкой истоме. Домики на улице начали приятно перемещаться перед ним, будто заигрывая, и он одобрительно буркнул под нос:

— Жив Парабукин!

Ольгу Ивановну он застал с Павликом на коленях. Она только коротко повела на мужа тревожными глазами и тут же закрыла их.

— Не рада, что вернулся? — сказал он ущемленно.— Не смотри, что я слабый, нахлебником не буду. Найду новую работу. Будем жить.

— Лучше бы ты в больнице остался. Опять за свое: ноги не держат,— всхлипнула Ольга Ивановна, уткнувшись лицом в ребенка.

— Эх! Вот она, жития! — припомнил Тихон своего палатного друга.— Не веришь в меня, нет? А я все переиначу, посмотришь!

Посуду в кармане он слышал на ощупь, деньги тоже были. Он повернулся и пошел. Ольга Ивановна хотела стать на его пути, крикнула надорванно — Тиша! — но он бросился бегом между нар, и позади него беспокойно колыхнулась занавеска.

Он отправился на берег и запил. В своем старом логове — под сваями пакгауза, на рогожах и мешках, он нашел понимание и чувство, которых ему не хватало: соартельники жалели батю, одни — говоря, что все равно он не жилец на белом свете, другие — обнадеживая, что всякая болезнь должна сплоховать перед винным паром.

Опухший, полуголый, он бродил по берегу, появляясь на пристанях, на взвозах, и как-то раз забрел в ночлежку, принеся в ладони гостинцы Аночке — две маковки в палец величиной. Он был мирно настроен, но нес околесицу, больше всего — об артистах, с которыми будто бы был заодно и в то же время — держал их в руках. То вдруг он принимался доказывать первому встречному, что благородство не позволяет ему умереть попусту, то грозил, что потребует за свою шкуру дорогую цену, и, наконец, опять убежал из дому, скитался и пропадал бог знает где, пока неугомонный огненный дух тоски не привел его к Пастухову.

Случилось это в сумерки. Цветухин сидел у своего друга, ведя неторопливую, внутренне сторожкую беседу, какая возникает в ожидании вечера между людьми близких переживаний. Он успел тоже побывать на допросе в охранном отделении, будущее представлялось ему разбитым и немилым. Непричастность к делу, которое заглатывало его, точно он попал в струю воды, всасываемую чудовищной тупой рыбой, побуждала все время искать в уме виновников происшедшего, и бесплодность поисков злила, надоедала. Состояние было схоже с тем, что испытывал Пастухов, и это тоже раздражало.

Александр Владимирович, услышав стук, пошел открывать дверь и отшатнулся: Парабукин был страшен,— отекшая кожа лица его коричневато тускнела, борода и усы казались наростами жухлой коры, потерявшая цвет рубаха была располосована в ленты от ворота до полы, и сквозь дыры проглядывала светлая волосатая грудь. Он был бос, и топтанье его, когда он тронулся в комнаты, пошатываясь, было неслышным, точно его держал воздух.

— Кто вы такой? Извольте уходить,— сказал Пастухов, в испуге отступая.

Парабукин продолжал воздушно двигаться, кланяясь и несуразно расшаркиваясь.

— Уходите, говорю я! Вы нетрезвы! — прикрикнул Пастухов, стараясь ободриться.

— Цветухин. Господин артист. Очень рад,— довольно внятно выговорил Тихон, рассмотрев Егора Павловича и наступая на него.— Имею случай благодарить. За сочувствие. За со-стра-дание к человеку. Очень рад. Благодарю, не ожидал, говорится. А я ожидал. Именно такой благородный акт ожидал. Руку помощи. Другого не может произвести человек ваших рассуждений. Борец за правду и за народ. Понимаю.

— Что вы такое порете? — перебил Цветухин.

Тихон хотел сесть, но Пастухов оттолкнул кресло.

— Вам надо уйти отсюда, слышите вы меня? — отчеканил он, загораживая стол, к которому Парабукин направлялся.— Вам нечего здесь делать. Уходите.

— Напрасно скрываете секретные мысли,— сказал Тихон, как будто трезвея.— Я хорошо все понимаю. И не сомневайтесь: унесу в могилу. Господин артист принял участие в пострадавшем Парабукине. И я благодарен. Сопровождали в больницу для лечения, потому что проницательно оценили. Совершенно верно. Тихон Парабукин есть тот лев, который вам требуется.

— Нам ничего не требуется,— раздражался Пастухов.

— Вы другое,— обернулся к нему Тихон.— У вас, может, свой расчет. Как у покойника вашего родителя. Вы желаете доказать непричастность. Вы человек скупой. Экономический человек. А господин артист — душа и само благородство.

— Но что же вам надо? Опохмелиться, да? — спросил Цветухин.

Парабукин поклонился, тронув половицу кончиками пальцев, и вдруг, подогнув колени, уселся на пол.

— Черт знает что! — воскликнул Пастухов.

— Кресла я не достоин и могу на полу,— сказал Тихон с ухмылочкой.— Я пока человек низкого вида, но только пока! Именно. А когда вы разрешите оказать услугу вашему святому делу, тогда я стану на свое настоящее место. Тогда вы не поверите, что тот самый Парабукин перед вами сидел на полу.

— Ну, пора кончать,— нервно настаивал Пастухов,— мы все поняли. Говорите — что вам надо. И кончено, кончено!

— Извините, наоборот: я сам пришел узнать — чем должен услужить.

— Нам от вас ничего не надо. Вставайте, довольно!

— Не надо? Ничего? Не-ет, извините. Я понимаю, какое вы делаете испытание, чтобы знать, можно вручить мне тайну или нет. Можно! — громко крикнул Парабукин, воздевая руки и тряся ими над головой.— В эти руки можно вложить вашу дорогую заповедь, и Парабукин унесет ее на своей груди в молчание гроба. Не пророню! Хочу прожить не даром, господа! Хочу сослу-

жить святому делу. Доверьте, доверьте Парабукину! Он есть тот человек, которого вы искали. Все сделаю, на все пойду. Доверьте.

— Да вы скажите толком, что хотите? — снова попросил Цветухин.

— Господин артист! И вы, господин... Александр Владимирович! Объявляю вам, как перед Евангелием (Тихон опять затряс рукой), как перед крестом животворящим: отдаю себя совокупно с вами на служение революции!

— Чушь! Пьяный бред! — заволновался Цветухин, принимаясь ходить по комнате.

— Не доверяете? Клятве и честному слову Парабукина не доверяете? Парабукин вас перед жандармом выгородил. Тайну вашу на себя взял, как вы в ночлежку приезжали вербовать людей для подпольного дела! Ни слова не промолвил, а благородно утаил в себе!

Пастухов схватил Тихона за плечо, потряс и потянул вверх.

— Да ты, братец, просто провокатор,— сказал он.— Вставай и убирайся вон, пока я не позвал городового!

— Не прикасаться к личности! — крикнул Парабукин, вскакивая на ноги и вызывающе надвигаясь на Пастухова.

Цветухин тотчас стал между ними. Тихон вздумал отстранить его, но он неожиданно перехватил обе руки Парабукина в запястьях и стал сжимать свои пальцы с медленно нарастающей силой. Лицо его острее очертилось, утратив подвижность, он глядел на Тихона в упор. Попробовав вырваться, Парабукин шагнул назад, но Цветухин не выпустил его, а сделал более широкий шаг, приблизился к нему, разводя его руки, почти касаясь всем корпусом его тела и продолжая вдавливать пальцы в запястье.

— Пусти. Пусти свои когти! Эх! — застонал Тихон.— Койка высосала парабукинскую силу!

Он отступал и отступал все безвольнее, и наконец Цветухин броском толкнул его в дверь.

Пастухов наблюдал внезапную сцену недвижимо, со своей алчной, но уравновешенной пристальностью. Он видел, как, заперев дверь, его друг потер и отряхнул ладони, как поднял голову, словно чем-то привлеченный к карнизу потолка. Вероятно, он пережил момент, который давно знал по своим вещим фантазиям и, может быть, снам: вот он встретил злодея, занесшего над ним руку, и он схватил эту руку, сжал ее, поставил злодея на колени и пошел прочь, свободный, величавый. Он мог поднять голову еще выше, потому что устранил злодея не только со своей дороги, но с дороги друга, смотревшего благодарно и любовно... нет! — смотревшего высокомерно, брезгливо, насмешливо — да, да, насмешливо!

Пастухов смеялся едва слышно, потом громче, раскатистее, пока смех не превратился в хохот и хохот резко не оборвался. Минута прошла в тишине.

— Ты позер, Цветухин,— проговорил Пастухов.

— Не знаю. Допускаю. Но ты не мог выгнать это чудовище, а я выгнал.

Будто не слыша ответа, Пастухов сказал:

— Разве я не говорил тебе, что этот твой кумир, с которым ты носишься, схватит нас за глотку? Мы расплачиваемся за твою позу, за твое оригинальничанье. Дьявол тебя понес в распроклятую ночлежку!

— Я не насиловал тебя, Александр.

— Надо бы! Но из-за тебя все началось. Из-за тебя я сижу в этой дыре и не могу двинутся. Из-за тебя, может, пойду этапом в места отдаленные.

— Послушай, Александр, это уже обидно. Это оскорбительно!

— А черт с тобой, оскорбляйся! — бросил Пастухов, с злобой ломая незажигавшуюся спичку.

— Я ухожу, Александр,— сказал Цветухин как будто осипшим голосом.

— Пожалуйста.

— И не вернусь.

— Буду очень рад. По крайней мере, ко мне забудет дорогу голытьба и все прочие твои фавориты.

Пастухов сел в кресло, лицом к окну, заложив ногу на ногу, и не поворачивался, пока Цветухин, с усилием сдерживая шаги, отыскивал свою накидку, шляпу и удалялся за дверь. Потом он швырнул в угол коробок спичек, вскочил и забегал, завертелся по комнате, что-то восклицая, бурча, отплевываясь, вдруг потеряв без следа обычную картинную внешность.

Цветухин, выйдя на улицу, увидел Парабукина, который лежал на тротуаре, спиной к забору, в той удобной расслабленной позе, в какой можно лежать на кушетке,— скрестив ноги, подперев голову рукой и задумчиво глядя перед собою. Кажется, он плакал. В вечернем свете отекшие коричневые щеки его влажно поблескивали. Может быть, он горевал, что ему уже не удастся переиначить свою жизнь, что в его многоспосной груди сердце обретается там, где у всех смертных — с левой стороны,— и он не представляет для холодного и усталого мира ничего любопытного. Как знать? Издалека его гривастое, смутное и увлажненное лицо казалось даже красивым.

Цветухин недолго посмотрел на него, слегка взмахнул накидкой и перешел на другую сторону улицы.

Наконец Вере Никандровне назначили, когда прийти за ответом на прошение. Лиза решила непременно ее сопровождать.

В приемной камеры прокурора палаты шел летний ремонт, вход был открыт двором, публике для ожидания отвели коридор с деревянными необитыми диванами. К началу занятий никаких посетителей не было. Прошли, насвистывая, маляры с ведерками, явился служитель и поворчал им в спину, озирая затоптанный пол.

Вера Никандровна намеревалась войти в канцелярию, но встретила Ознобишина. Он узнал ее как завсегдатая приемной, сказал, что доложит товарищу прокурора, и просил посидеть.

— Вы вместе? — обратился он к Лизе, вдруг задерживаясь.

— Да, со мной,— ответила Извекова.

— По тому же делу?

— Нет, просто нам по пути, и мы зашли.

— Извините, кажется, вы Мешкова? Я видел вас в гимназии на выпускном акте.

— Да,— сказала Лиза.

«Вот я тебя сейчас разоблачу!» — говорил отчетливый взгляд Ознобишина. «Правда, ты ни в чем не повинна и заслуживаешь сострадания»,— отзывались взгляду участливые складки вокруг рта. «Но как упоительно сознавать, что уже давно отыскано все то, что ты старалась спрятать»,— возражала вкрадчивая усмешка. «Тебе некуда деваться, ты попалась, однако не пугайся, я тебя не трону»,— обнадеживал и добродушно утешал благожелательный облик кандидата.

— Вы хотите о чем-нибудь спросить? — выговорила Лиза, теряясь от этой молчаливой игры незнакомого лица.

— Я только хотел узнать, не по тому ли вы делу, что и госпожа Извекова,— слукавил Ознобишин и, потирая свои немужские ручки, удалился в канцелярию.

— Какой странный человек,— сказала Лиза.— Ему, наверно, все известно о Кирилле, правда? Почему вы не спросили?

— Я как-то раз обратилась к нему, он сказал: отвечать на вопросы по делам относится к компетенции господина товарища прокурора. Ах, Лиза,— вздохнула Извекова, мягко прижимаясь к ней плечом, как будто ища опоры.— Для меня — это вся жизнь. А для них — только дело. Одно из сотни дел.

За поворотом коридора прозвенел высокий смех. Двое молодых чиновников медленно направлялись к выходу. Толстолицый свежевыбритый рассказывал худощавому коллеге, сильно оттягивая его локоть книзу и на каждом шагу останавливаясь:

— Тогда что же наш адвокатишка выкидывает? Не моргнув глазом, он просит у председателя суда слова и говорит: что касается статьи, на которую сослался господин обвинитель, то ему следовало бы обратить внимание на разъяснение сенатской комиссии за номером 1215 от десятого мая тысяча восемьсот девяносто девятого года, где этой статье дается совершенно иное толкование. И садится. Суд удаляется на совещание. Обвинитель сломя голову летит в библиотеку и — можешь себе представить? — ни похожего номера, ни такого числа мая месяца в сенатских решениях не обнаруживает. Тогда он кидается в адвокатскую и — понимаешь — вне себя от злости заявляет, что господин защитник ввел суд в заблуждение, ибо сенатского разъяснения, на которое адвокат сослался, не существует в природе! Тогда наш нахал преспокойно отвечает: «Значит, я ошибся. Но об этом, господин прокурор, вам надлежало сказать суду в зале заседаний, а теперь поздно,— ваш темперамент уже не может иметь влияния на дело!» Как тебе нравится, а?!

Опять высокий смех на звонком фальцете пронесся по коридору, и худощавый чиновник наконец дотянул па своем локте почти повисшего толстяка до выхода.

Как только улеглись отголоски смеха, из поворота коридора, звеня кандалами, появился арестант в сопровождении стражника. Они молча выбрали место наискосок от дивана, который занимали Извекова и Лиза, и уселись спокойно, как люди, привыкшие подолгу терпеливо дожидаться.

Арестант был рослый, с красивым узким лицом и умным, но заторможенным взглядом, без движения в матовых зрачках. Небольшой, правильный, как будто срисованный с картинки рот был взят в скобочки горьких морщин, тень непобритой бороды резко подсинивала щеки. Он сидел с раздвинутыми коленями, узенькая цепь свисала из-под суконной куртки между ног, усами расходясь к щиколоткам. Она коснулась пола несколькими звеньями. Стражник рядом с ним был коротышкой. На бедре у него болтался длинный револьвер в черной кобуре, на которой сияющим салом в подробностях обозначалась система оружия — от курка и барабана до огромной мушки. Садясь, стражник передвинул револьвер с бедра на ногу, и кобура достала кончиком до коленки. Он вытер кулаком соломенно-желтые ершистые брови и грозно кашлянул. Оба они стали глядеть на женщин.

Лизу взволновал остановившийся на ней взгляд арестанта. Неподвижная, притягающая, бессветная глубина его зрачков пробуждала одновременно страх и какое-то почитание. Молодой, видимо очень сильный, человек о чем-то неотступно думал, но лицо его словно навсегда отказалось выражать ход размышлений. Оно

не было мертво, оно было живо, но той живостью без перемен, какая бывает на портрете.

Лизе пришлось употребить очень трудное усилие, чтобы оторваться от глаз необычайного человека. Обернувшись к Вере Никандровне, она увидела, что та тоже смотрит на арестанта и также не может оторваться. Тогда Лиза, с боязнью и неодолимой тягой, опять перевела взор на арестанта и внезапно заметила, как его рот чуть-чуть утратил свою нарисованную правильность и сделался по-детски злым. Она вдруг шепнула Вере Никандровне:

— Можно для него что-нибудь сделать?

— Что-нибудь дать? — не поняла Извекова.

— Да, да. У меня ничего нет. У вас есть?

Вера Никандровна открыла ридикюль.

— Только вы, вы! Я не могу,— сказала Лиза.

Вера Никандровна осторожным голосом спросила у стражника:

— Разрешается подать... ему?

— Христа ради? Христа ради можно,— согласился стражник покровительственно.

Извекова приблизилась к арестанту. Он протянул руку и взял деньги, не проговорив ни слова, а только сдвинув коленки, и кандалы как будто сказали за него, на своем языке, что он хотел.

— Сколько? — поинтересовался стражник.

Арестант разжал кулак. Стражник пальцем пересчитал на его ладони деньги и мотнул головой, разрешая спрятать.

— Поди купи махорки,— сказал арестант, нехотя шевеля губами.

Стражник почесал лоб, сдвинул фуражку на затылок и потом — солидно водворяя ее на положенное место:

— А потребуют к следователю?

— Дай бог — к обеду.

— Смотря как,— усомнился стражник.

— Без тебя дверь, что ли, не найду? — сказал арестант, немного подумав.

— Ты найдешь. А с меня спросят: где конвоир?

Они разговаривали, не глядя друг на друга и по-прежнему рассматривая женщин. Стражник придержал одной рукой револьвер, другой вытащил из кармана жестяную коробку и щелкнул по ней ногтем. Открыв, он поставил ее на сиденье и вместе с арестантом начал свертывать цигарку. Ничего на свете будто не существовало для них, кроме закуривания: серьезны и благоговейны были их движения, точно под руками у них находился жертвенник, а не облезлая жестянка из-под монпансье. Уже кончая курить,

стражник проговорил в таком спокойствии, будто разговор и не прекращался:

— Пойдем домой — купим.

— Домой? — сказала удивленно Лиза, обращаясь наполовину к Вере Никандровне, наполовину к стражнику.

Он блаженно ухмыльнулся, как дед, шуткой напугавший ребенка, и пояснил со снисхождением:

— К себе в тюрьму, барышня.

Вера Никандровна, как всегда — в волнении, прижала руки к груди и, подавшись вперед, почти привстав с дивана, заторопилась:

— Вы извините, я хочу спросить. Не скажете ли... Что может означать, если... Вот у меня сын временно в заключении. И до сих пор разрешалось приносить для него белье. И теперь вдруг запретили. Вы не скажете... почему такое...

— Это смотря как,— ответил стражник.

Арестант покосился на него свысока и спросил:

— Он — политика или уголовный, сын-то?

— Нет, что вы,— какой уголовный! — испугалась Вера Никандровна.

Арестант глядел на нее, и по-прежнему лицо его было красиво и немного злобно в неподвижной правильности черт.

— Про политику — не знаю. А у нас перестают принимать с воли, когда назначат в этап либо если в карцер посадят.

— В карцер — соответственно,— подтвердил стражник.

— Боже мой,— вырвалось у Веры Никандровны, и Лиза в страхе остановила на ней глаза.

Какие-то дамы пришли со двора, за ними ввели нескольких арестантов, и помещение заполнил стук грубых чеботов, тяжелый запах ношеного сукна. Народ рассасывался комнатами, поворотами коридоров,— лабиринтом большого старого здания. На смену исчезнувшим входили новые люди, и уже непрерывно нарастало движение на потребу заработавшей огромной неуклюжей машины, которая пожирала вместо топлива просителей, подсудимых, обвиняемых, свидетелей, жалобщиков, истцов.

В момент большого оживления, точно возникнув из него, показалась фигура Пастухова. Как повсюду, куда бы он ни явился, Александр Владимирович сразу обратил общее внимание своей осанкой — непринужденной, утверждавшей себя, как отрадная самоцель. Все, кто находился в коридоре, следили, как он выступал, а он, наверно, не заметил бы никого, если бы Вера Никандровна порывисто не встала с дивана, когда он проходил.

— Здравствуйте, Александр Владимирович,— сказала она в том взволнованном просительном тоне, какой у нее все чаще прорывался последнее время.— Будьте так любезны: стало ли вам из-

вестно — по одному ли делу с моим Кириллом вас беспокоят или что другое?

У Пастухова быстро вздернулись щеки, образовав обычную непроницаемую, гипсовую улыбку, и он отвел взгляд на Лизу. В то же время он бегло пожал руку Извековой и слегка неряшливо пропустил через приоткрытые зубы не совсем внятные слова:

— Видите ли. Совершенно ничего нельзя разобрать. Впечатление — что я попал в Китай. Кланяются, говорят — не беспокойтесь, но я не могу понять — что этим крючкотворам нужно? Факт тот, что меня тянут по какому-то делу.

Он все смотрел на Лизу, и она по-гимназически поднялась.

— Мы знакомы,— полуспросил он, расшаркиваясь,— тут так темно. Простите... Вы тоже к товарищу прокурора?

— Да, меня должны сейчас вызвать,— сказала Вера Никандровна.— Мы тут давно.

Он понял, что если они пройдут первыми, то его положение затруднится уже тем, что он будет вторым, и ему откажут в просьбе легче. Его щеки поднялись выше.

— Извините, вы не против, если я пройду раньше вас? У меня отчаянно болит голова. Я не спал всю ночь.

Вера Никандровна согласилась без колебаний, даже поспешно, и он с большой живостью проследовал в канцелярию.

Он пробыл там недолго и вышел словно подмененный: вся картинность его увяла, он ступал редкими, скучными шагами. Он подсел к Извековой и выдохнул, отдуваясь:

— Просили подождать. Подождать — это вежливость чиновников.

Рассмотрев арестанта усталым, но ненасытным своим взглядом, он подоткнул большим пальцем нижнюю губу и хитро усмехнулся Лизе:

— Вот так вот закуют в железны кандалы и двинут по Владимирской дорожке. И ничего не поделаешь! Черт знает что!

— Вы, собственно, о чем хлопочете? — спросила Извекова.

— Чтобы сняли подписку о невыезде. Я же не могу тронуться с места. Как квашня — с печки. Дикость! Просил, чтобы принял прокурор, мне отвечают — не полагается. А что полагается? Напишите прошение, прокурор рассмотрит. Дикость!

— Знаете,— вы совершенно правы! — словоохотливо начала Вера Никандровна, готовясь посвятить Пастухова в историю своих хождений, но в эту минуту ее пригласили в канцелярию.

Ознобишин проводил Извекову до кабинета товарища прокурора. Вера Никандровна знала эту комнату — с окнами в полотняных шторах, с внушительным столом посредине, с тремя креслами в отдалении от него и с чиновником, похожим на нерушимую при-

надлежность кабинета. Привстав, он показал на кресло и опустился не сгибаясь. На белом его кителе не заметно было ни одной складки. Сейчас же, как только Вера Никандровна села, он заявил, вытачивая раз навсегда отобранные слова:

— Его превосходительство господин прокурор палаты наложил на вашей просьбе резолюцию: отказать ввиду отсутствия основания для смягчения меры пресечения.

Он взглянул на Извекову. Она молчала, немного побледнев.

— Вы имеете что-нибудь спросить?

— Совсем? Окончательно?

— Вы просили об освобождении вашего сына из-под стражи на поручительство, указав основанием болезнь. Основание отсутствует. Ваш сын здоров.

— Окончательно? — тихо повторила Вера Никандровна.

— То есть что — окончательно? Сейчас он здоров. Если заболеет, основание, очевидно, возникнет.

— Я хочу знать — неужели больше никакой надежды?

— Содержание под стражей остается в силе до конца судебного следствия и приговора по делу.

— Но как же теперь быть? — сказала она с беспомощной простотой.

— Можете просить об освобождении под залог.

— Да? — всколыхнулась и вся как-то затрепетала Вера Никандровна.— Но как, как это сделать, будьте добры?!

— Прошением на имя его превосходительства.

— Нет, я хочу сказать,— ведь это же деньги?

— Денежный залог.

— Я понимаю. Но я хочу спросить — сколько? Сколько надо денег?

— Сумма залога будет определена, если его превосходительство найдет возможным смягчить меру пресечения.

— Но я ведь должна знать — что это такое? Сколько надо денег? Несколько сот рублей или, может быть, тысячу?

— Я могу сказать только на основании прецедентов, ничего не предопределяя. Несколько тысяч. В практике — редко более десяти.

— Позвольте,— сказала Вера Никандровна, детски-изумленно улыбаясь и вздергивая морщинки на лбу,— откуда же я могу взять? Ведь у меня нет.

Товарищ прокурора снова приподнялся:

— Вы извините, но вопрос настолько личный, касающийся, собственно, только вас, что я...

Он скупо развел руки, одновременно наклонив голову.

— Благодарю вас, благодарю,— с прихваченным дыханием

сказала Вера Никандровна и маленькими, частыми шагами ушла из кабинета.

Лиза дожидалась у самого входа в канцелярию. Они миновали арестанта со стражником, уже не заметив их наблюдающих чужих глаз. Пастухов куда-то исчез. Диван заняли новые люди.

Во дворе было много света. Растерянно брели в небе отставшие от толпы некучные облака. Их яркой белизне вторили на земле перепачканные мелом бочки, носилки, огромный ящик с разведенной бирюзовой известью. Убеленные с головы до ног маляры пылили алебастром, занимаясь своей стряпней. Рядом лежал невысокими штабелями тес. Дойдя до него, Вера Никандровна и Лиза сели на доски, как будто раньше сговорившись.

В их молчании, не нарушенном ни одним звуком, заключалась остро угадываемая друг в друге боязнь признаться, что произошла решительная, возможно, непоправимая перемена в судьбе дела, ради которого они сюда пришли. Они мучились молчанием и все-таки безмолвствовали, не зная, как лучше в эту минуту пощадить друг друга. Белая пыль тонко окутывала их, они глотали ее, но даже не думали подвинуться в сторону, уйти со двора, подальше от этого дома, точно приковавшего к себе все их ожидания. Они глядели на бесстрастный фасад с прямыми линиями окон, рассаженных одинаковыми простенками, но вряд ли отдавали себе отчет — куда смотрят, так же как не понимали — зачем сидят в пыли.

— Эй, барышни, попортим шляпки! — с удовольствием крикнул веселый маляр, вывалив мешок извести в ящик и отскочив от густой белой тучи.

Словно внезапно разбуженная, Лиза спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Нет-нет,— тотчас отозвалась Вера Никандровна,— наоборот. Наоборот! Мне сказали — он совершенно здоров. Слава богу.

— А как же просьба?.. Его не отпустят?

— Кирилла? Нет. То есть его отпустят, непременно отпустят, но только не так... не на поруки, а под залог. Понимаешь?

— Под залог? А что же надо заложить?

— Нет, ты не так понимаешь. Ничего не надо заложить. Или — нет. Надо заложить деньги. Дать, внести сколько-нибудь... некоторую сумму. И тогда его отпустят, понимаешь?

— Его отпустят за деньги?

— Ну да. Надо внести деньги. Потом их, конечно, вернут назад. Понимаешь? Когда его совсем оправдают.

— А зачем же вносить, если их потом все равно вернут?

— Не все равно. А только если... когда его оправдают. Ну, как ты не понимаешь! Ну, залог, понимаешь?

— Понимаю,— сказала Лиза чуть-чуть испуганно и с обидой.— Я понимаю. Значит — только пока временно.

— Ну да — пока.

— А за сколько его согласны отпустить?

— Да вовсе не согласны,— раздраженно воскликнула Вера Никандровна и вдруг обняла Лизу и прижалась щекой к ее щеке.— Ну, ты прости меня, милая, прости. Ну, это — такая форма.

— Да я же говорю, что понимаю, что это — форма,— с еще большей обидой, но в то же время растроганно ответила Лиза, почувствовав, как защипало в глазах.

Почти сразу они заговорили необычайно трезво, сосредоточенно.

— Надо написать прошение,— сказала Извекова,— и главное, подумать, откуда взять денег.

— Ну, давайте подумаем.

— Да. У меня есть некоторые вещи. Очень хорошие. Можно отнести в ломбард. И кое-что продать. Есть обручальные кольца...

— Я тоже могу дать кольцо. У меня — с аквамарином. Я все равно не ношу, и дома не узнают,— торопясь, сказала Лиза.— А потом ведь можно будет выкупить?

— Конечно,— подтвердила Извекова.— Но это все-таки очень мало.

— А сколько нужно?

— Надо довольно много. Господи! Что я говорю! — с неожиданным отчаянием вскрикнула Вера Никандровна.

Она облокотилась на колени, согнувшись, охватив голову затрясшимися руками.

— Ведь надо много, много тысяч! Где, где их взять, боже мой?!

— Ну, не волнуйтесь,— слабеньким голоском остановила Лиза,— давайте спокойно подумаем.

— Ах, родная моя! Что же тут думать! Ведь это под силу только богатому человеку. Такому, как твой отец. Может быть, еще богаче! Вот если бы отец твой иначе относился к нашему бедному Кирюше! Если бы он ничего не имел против вашего брака. Он помог бы, наверно помог бы,— правда? Ведь не враг же он тебе, правда?

— Наверно,— сказала Лиза куда-то в сторону, будто отвечала себе.— Но, вы знаете... я вам не говорила... он готовит мне будущее на свой лад.

— Замуж? — спросила Вера Никандровна, распрямившись и быстро подсовывая волосы под шляпу.

Лиза качнула головой.

— А мать? Твоя мать,— неужели она тоже?

— Мама — нет. Но надо знать отца.

— Ему же известно, что вы с Кириллом любите друг друга!— с жесткой ревностью проговорила Извекова.— Как же он может принуждать?

— Он всегда принуждает. Самого себя и других — всех одинаково.

Вере Никандровне показалось, что хорошо знакомая, близкая ей девушка, только что сидевшая рядом, вдруг исчезла. В замерзшем и как-то поблекшем существе она увидела упрямую, непосильную борьбу за решение, которое не поддавалось. Если бы Лизу спросили — за какое решение она так скрытно борется, она не могла бы объяснить. Она знала, что идет к решению, но не в состоянии была поверить, что примет его и что оно осуществится согласием выйти за человека, за которого она не хотела выходить. Ей скорее думалось, что она принимает обратное решение — непременно ослушаться и не выйти замуж, и так как она отвергала ослушание, то ей так трудно было на него решиться.

— Что это за человек? — спросила Вера Никандровна, горячо, до боли сочувственно вглядываясь в Лизу.

— Есть такой Шубников.

— Богач?

— Да.

— Тот самый богач? — будто не поверила Извекова.

— Тот самый,— сказала Лиза, и ее лицо мигом ожило от короткой, как искра, озорной насмешки.— Он совсем без ума от меня.

Она ужасно смутилась и замолчала, настороженно и медленно выслеживая мысль, застигшую ее врасплох.

Тогда Вера Никандровна отшатнулась, стремительно встала и, схватив ее руки, затеребила их, точно стараясь добудиться непробудно спящего человека. Сурово, как провинившегося, негодного своего ученика, она спросила:

— Что ты подумала? Отвечай. Говори, говори, о чем ты сейчас думаешь? Говори. Неужели я неверно понимаю тебя? Молчишь?.. Значит, верно...

Не выпуская ее рук, она опять села.

— Вот что, милая, милая моя,— заговорила она нежно,— неумная моя... великодушная девочка! Если ты на секунду могла допустить, что в мою больную голову тоже забрела такая отчаянная мысль, которая пришла тебе, то даю слово, что этого не было. Клянусь тебе, клянусь жизнью Кирилла...

Она переждала минуту, потом погладила и легонько похлопала по ладони Лизы.

— Если ты выйдешь замуж только потому, что велит отец, это будет ужасно. Это будет страшно и безрассудно. Но если — дру-

гое... если выйдешь замуж, чтобы помочь Кириллу... Потому что ты это сейчас подумала... Если ты это сделаешь ради этого несчастного, неосуществимого залога, то это будет бессовестно и бесстыдно. Я таких денег... нет, таких денег от тебя я не возьму. Нельзя этого, нельзя. Бог с тобой, глупышка.

Лиза рывком повернулась к ней спиной. Они долго не шевелились. Потом Вера Никандровна тоном матери сказала:

— Поправь волосы. Вон идет Пастухов...

Александр Владимирович был уже близко, подвигаясь к воротам своей обыкновенной независимо-легкой походкой. Он тотчас дружески и запросто кивнул Лизе с Извековой, едва их приметил. Поравнявшись, он сделал к ним шаг, но остановился в отдалении, чтобы не подумали, что он намерен задержаться.

— Вижу, вижу,— произнес он и сострадательно покачал головой,— товарищи по несчастью! Отказали? Мне тоже! Тю-тю, все пропало!

Он щелкнул по-мальчишески игриво языком, но тут же неприязненно осмотрел длинным взглядом весь растянувшийся фасад здания.

— Судебные установления,— отчеканил он с недоброй улыбкой,— суд скорый! Что же, будем знакомы! Надо учиться. Надо познать.

Он любезно подтянул щеки вверх.

— Что вы здесь — в такой пылище? Тьфу, изъело все в носу! Извините, я пойду. И вам советую,— на свежий воздух, ну, хоть в Липки. Прочистить мозги от этого сора!

Он мотнул головой на дом и элегантно приподнял панаму.

Улица показалась ему приятно красочной, он нарочно выбирал утешительные подробности и задерживал на них внимание — китайца, качающего головой в витрине чайного магазина, причудливые сосуды на окнах аптеки, наполненные яркими жидкостями, пестрые выставки сарпинок в Гостином дворе, барынь с птицами на громадных шляпах.

Но ему было бесконечно грустно. С пьесой не ладилось, вкус к ней пропал. Сезон был потерян, Москва прекратила телеграфные атаки, сменив ярость любви на равнодушие. Не хватало, чтобы театр потребовал неустойку. Пастухов видел себя обреченным на забвение. Вертелся в голове сумбурный сон, который ночью несколько раз обрывался пробуждениями, чтобы снова тянуться в тяжелом забытьи. Какие-то чемоданы стояли по всей комнате, и Пастухову надо было торопиться. Он силился засунуть в боковой карман чертежную готовальню, а она все выскальзывала наружу. Давно знакомый ему студент по фамилии Карлсон находился рядом — голый до пояса, розовый, полнотелый, с кружевным ворот-

ничком, как у Пьерро. Актриса с чернильными кругами вместо глаз курила папироску, развалясь на постели, Карлсон лег с ней рядом, а ее муж — робкий, трогательный человек в мундире путейца,— не замечая их, толковал Пастухову что-то о детском саде. Действительно, в соседней комнате кружились в хороводе дети. Их было много-много, и Пастухову надо было для них что-то сделать, но он не мог, потому что опаздывал к поезду, а у него все вываливалась из кармана готовальня. Он ловил ее, совал назад, под пиджак, а она опять падала. Тогда тихий путеец дал ему чью-то гребенку, и он начал причесываться. Он причесывался этой чужой гребенкой, поводя ею к затылку, против волоса, а волосы ложились книзу, на лоб, и Карлсон-Пьерро смеялся, поглядывая за ним бесцветными, стерилизованными глазами, и тянулось это нудно долго, а Пастухов опаздывал и спешил, спешил, в ужасе ощущая свою безрукость перед умножавшимися в комнате чемоданами.

Даже воспоминание об этом вздоре угнетало, и он испытал освобождение, когда в Липках, куда он забрел, его окликнул Мефодий. Расцвечиваясь своей толстогубой улыбкой, он пошел обок с Пастуховым, радушно говоря, что не видались сколько лет, сколько зим, что утекло много воды,— и прочие никчемности. Пастухов перебил его:

— Вот что, старик. Нет ли у тебя сонника?

— Ого! До сонника докатился! Заело! — хохотал Мефодий.— Сонника нет. А к одной старушке вещунье могу свести.

— В самом деле, что значит видеть во сне готовальню? Не знаешь?

— Это, брат, вот что,— переходя на серьезный тон Пастухова, сказал Мефодий.— Это когда долго не пьешь алкоголя, то начинают сниться научные приборы. Это интеллект берет верх над человеческим естеством. Готовальня — это нехорошо.

— Я сам вижу, нехорошо. Но зря смеешься над суевериями, семинарист. Все семинаристы циники, давно известно. А вот Владимир Соловьев всю жизнь носил в кармане чернильный орешек, потому что был уверен, что орешек радикально помогает от геморроя.

— С философами бывает.

— Ну, изволь,— не философ, а художник. И какой художник — соловей! Левитан. Слышал? У него было расширение аорты. Так он глину таскал на груди. Целый мешок.

— Убедил, убедил,— сказал Мефодий, покорно клоня голову.— Да и напрасно меня бранишь за цинизм. Я ведь, правда, верю, что готовальня — нехорошо: когда на Цветухина нападает изобретательский стих, он все бредит механизмами.

— Брось, пожалуйста, о своем Цветухине,— пренебрежительно буркнул Пастухов.

— Стыдно? — укорил Мефодий.— Вижу, что стыдно. Поссориться с таким другом! С таким человеком! Ведь Цветухин — гений!

— Дурак он, а не гений.

— Одно другому не мешает. Но я могу наперед сказать, что когда твой биограф дойдет до этого места, что ты прогнал из своего дома великого актера, он назовет это черным пятном твоей жизни.

— Плевать я хочу на биографа.

Резко остановившись, Пастухов с сердцем выкрикнул:

— Ну, пусть, пусть приходит ко мне твой гений! Я ничего не имею! Только я к нему первый — не ходок!

— Он гордый, он не пойдет,— даже с испугом возразил Мефодий.— Ведь это ты его выгнал, а не он тебя.

— Я тоже гордый.

Пастухов потянул Мефодия к скамейке и усадил его, грузно опускаясь вместе с ним.

— Черт меня связал веревочкой с тобой и с Егором! Ведь я не могу разделаться с идиотской подпиской о невыезде! Перестал работать! Подвел театр! Сиди здесь и жди! Чего, чего жди, спрашивается?!

— Сочувствую,— мирно ответил Мефодий.— Но при чем здесь мы с Егором? Мы тоже страдаем. Вчерась заявился ко мне Мешков и преподнес: в недельный срок изволь очистить флигерь. Почему? А он, видите ли, желает снести все надворные постройки, не хочет иметь квартирантов. Не желаю, говорит, подвергаться неприятностям! Я — туда-сюда. И слышать не хочет. Вы, говорит, под подозрением у полиции — и это мне ни к чему. Я — опять ему всякие контра. Какое! Домохозяин!..

— Куда же ты теперь?

— А хоть в ночлежку!

Пастухов помигал, вздохнул, отломил веточку с куста акации, начал обрывать листочки.

— Когда я уеду, можешь поселиться у меня, пока дом за мной,— пожаловал он с добротой, но тут же опять вспылил: — Как, как уехать, вот в чем все дело! Послушай, семинарист. Ты умница. Присоветуй, как мне, как всем нам троим выпутаться из силков?! Такая тоска, что хоть роман заводи!

Он и правда с неутолимой тоской посмотрел на барышень, появившихся из цветников.

Мефодий поразмыслил, прищурился, сказал:

— Тут умом не поможешь. Тут надо не логикой брать, а как-нибудь трансцендентально.

— Сонником? — усмехнулся Пастухов.

— Как-нибудь бессмысленно. Поглупее. Вот, знаешь, как повара. У них есть этакие загадочные штучки. К примеру: чтобы хорошо сварилась старая курица, надо кипятить ее с хрустальной пробкой.

— Брось! — сказал Пастухов с неудержимым интересом.

— Факт! Та же пробка помогает разварить фасоль или горох.

— Вот, черт, здорово! Я не знал.

— Так вот, если бы найти такую хрустальную пробку. Тогда, может, дело пойдет на лад.

Пастухов воскрес. Он глядел на Мефодия жадно и, как ребенок, восхищенно. Ему нравился этот феномен, с отметиной на носу, обладающем, кажется, собачьим нюхом. Пастухов сорвался в хохот.

— Пойдем,— сквозь смех проговорил он, не в силах успокоиться.— Пойдем, тут, рядом,— свежее жигулевское пиво. Поищем хрустальную пробку!

Он обнял и поднял со скамьи Мефодия.

28

В горах, если столкнуть с высоты камень, он сорвет в своем полете другой, третий, они повлекут за собою десятки, которые обвалят сотни,— и вот целая лавина каменьев, глыб и комьев земли рушится в пропасть с нарастающим устремлением, и гул раскатывается по горам, и пыль, как дым, застилает склоны, и перекатами бродит по ущельям грозное эхо. Страшен обвал в горах, и раз начался он, поздно жалеть, что сброшен первый камень.

Так одно решение, вдруг принятое, облекает человека десятками, сотнями неизбежностей, и они вяжут людей, цепляясь друг за друга, и действительные неизбежности перевиваются вокруг мнимых, и часто мнимые властвуют сильнее действительных, как эхо кажется грознее породившего его звука.

Никогда улица, где жили Мешковы, не видала такого пышного события, как свадьба Лизы. Величественный поезд карет — во главе с неприступной кремовой каретой, в которой увезли Лизу венчаться и потом вернулась из церкви молодая пара Шубниковых,— разъезжал по улице, поворачиваясь, выстраиваясь в линию, оттесняя экипажи лихачей, зачем-то исчезая и вдруг возвращаясь во весь опор на прежнее место. То вдруг все кареты замирали торжественнее артиллерии на плац-параде, то вдруг начи-

пали волноваться и двигаться, отражая глянцем своих полированных поверхностей толпу зевак на тротуарах.

Наступил полный листопад, но дул еще теплый ветер, в доме Мешкова изнывали от жары, и окна стояли настежь. Всей улице хотелось проникнуть в эти окна, протискаться к пиршественному столу, внедриться во все тайны свадьбы, в карманы Шубниковых, в сундуки Мешковых, в самые души невесты и жениха — и рокоток судаченья, пересудов, пересказов порхал с одной стороны улицы на другую, влетал во двор, просачивался на кухню и, как сквозняк, опять вырывался на улицу.

Все становилось известным неугасимому человеческому любопытству. И то, что свадьба совсем было расстроилась, так как Меркурий Авдеевич, по скупости, не хотел давать за дочерью никакого приданого. И то, что Виктор Семенович упросил тетушку поступиться гордостью, и она поступилась, потому что — верно ведь — не с приданым жить, а с человеком. И то, что Мешков вместо приданого взялся справить свадьбу и вот теперь пускал в глаза пыль богатой родне. И то, что жених души не чает в невесте, а невеста не спит ночей от гореванья. И тут уж, конечно: стерпится — слюбится. И ворох прочих поговорок. А вперемежку с поговорками: сколько заплачено за паникадила, сколько дано архиерейскому хору, да какое на ком платье, да кто первый ступил в церкви на подножье — жених или невеста и, значит, кто будет верховодить в браке — муж или жена, да чего не соблюли из обычая, да как, бывало, играли свадьбу в старину, да много ли шелковых отрезов перепало свахе. И — господи! — нет иного случая в жизни, который задал бы столько работы языкам, сколько дает свадьба. Стоило появиться в окне расфранченной девушке, обмахивающейся веерком, как на тротуаре загоралось гаданье: что за красавица? с чьей стороны — женихова или невестина? Довольно было прорваться сквозь шум особенно зычному голосу, как начиналось выспрашиванье: кто кричит? не посаженый ли отец? или, может, сват? или, может, дружка?

А что же было в самом доме, что было в доме Меркурия Авдеевича, где не оставалось свободного от людей уголка, где из рук хозяев была вырвана вся власть кухмистером, поварами, лакеями, где громы музыки сменялись пальбой пробок, а пальба пробок — протодиаконским многолетием, где клубился свербящий в носу ароматный чад и неслаженно переливалось восхищенное «ура»!

Чинный порядок давно оттеснен был веселой анархией, и каждый хотел пировать на свой образец.

Настенька все порывалась перетянуть гулянье на старинку. Хлебнув какой-нибудь сливянки, она голосисто заводила плясовую. Но старым песням никто не умел подголосничать, музыка

браво перебивала певицу, и, взмахнув платочком, она шла притопывать между стульев, сладко постреливая лаковыми своими очами, нагибаясь то к сватьям, то к молодым, чтобы курнуть им на ушко фимиама.

Приятели Виктора Семеновича — в сюртуках и фраках, в высоких воротничках с отогнутыми уголками — по очереди возглашали спичи и, уже худо разбираясь в изощренных произведениях кухмистера, требовали у лакеев капустки и моченого яблочка.

Шафер молодого, с лицом, похожим на подгоревшую по краям лепешечку, в бачках и в завитых кудерьках, выпятив крахмальную манишку, тисненную розочками, старался довести до конца речь, наперекор шуму.

— Вспомним, Витюша, детские годы,— вскрикивал он, покачиваясь и простирая руки, точно готовясь спасти своего друга от смертельного шага.— Нашу резвость. Наши шалости. Что говорить! Все это так недалеко. И вот... Из года в год росла наша дружба. Как трогательно, ей-богу! Мы видим тебя уже велосипедистом, Витя! Как позабыть! Или ты мчишься на своем игренем. Какая резвость! Кто не завидовал тебе, когда ты поглощал дистанцию? Легко, как зефир. И вот, глядишь, ты уже обогнал всех нас и на жизненном пути. Ушел на целый корпус вперед. Но, Витя, мы не говорим тебе — прощай! Мы встретимся с тобой и в женатом образе, как встречались в детстве и отрочестве. Сейчас же тебе открылось новое поле деятельности, которое еще не засеяно цветами. Засей его, друг, засей прекрасными ландышами и фиалками! И существуй в свое удовольствие и в удовольствие твоей необъяснимой красоты супруги Елизаветы Меркурьевны. Разреши ее назвать тем именем, которым называешь ты ее сам, когда к ней склоняешь головку,— дорогой твоей Лизой. Лиза, дорогая. Живите, живите в совершенном счастье с золотым человеком, который попался на вашей жизненной дороге. Любите его, как мы его все любим. Честное слово! Таких людей нет. Он человек вне прейскуранта. Ему нет цены... А тебе, Витюша, мы, твои товарищи до гроба, крикнем по-своему. Тебе крикнем, как нашему знаменитому резвому гонщику: жми, Витюша, жми! Ура!..

В десятый раз гости обступили молодых, обнимая их, целуясь друг с другом, расплескивая вино, заглушая криками самих себя.

Чужие взгляды не отрывались от Лизы весь свадебный день — дома, на улице, в церкви. Ей уже стало казаться естественным, что на нее все смотрят изведывающими, любопытными глазами, какими перед венчанием смотрели модистки, портнихи, парикмахеры, подруги, которых называли «провожатками», тетушки, бабушки, разомлевшая от волнений Валерия Ивановна. Волосы Лизы, как никогда, были воздушны. Живые пятна краски перебе-

гали со щек на виски и подбородок. Впервые она надела женские украшения — колье, подаренное Витюшей, перстень с алмазом. Обручальное кольцо она носила уже больше недели. Кроме того, у нее был веер из страусовых перьев. У нее была плетеная серебряная сумочка, где находился крошечный флакон с духами и платочек, обшитый венецианским кружевом. У нее могло бы быть все, что она захотела. У нее не хватало только минуты, чтобы остаться наедине с собой.

То, что с ней происходило, нисколько не напоминало состояние человека, потерявшего дорогую вещь и беспокойно, с надеждой ищущего ее. Нет. Когда она хотела найти своему чувству имя, ей приходило в голову одно слово: безвозвратность. Все было безвозвратно. Сказав однажды: будь что будет, она словно отреклась от прошлого и видела себя новой, другой Лизой. Зернистый, переливчатый камешек сверкал на пальце этой ей самой неизвестной, другой Лизы, веер то раскрывался, то складывался на коленях, и рядом с веером вдруг появлялась мужская рука и веско лежала на колене, прогревая насквозь тонкий шелк платья. Прежняя Лиза, наверно, не потерпела бы ни веера, ни мужской руки у себя на коленях, а этой другой Лизе веер казался богатым, красивым, мохнатые белые волоски его перьев были нежны, а мужская рука заставляла ее немного обратить голову влево и посмотреть на человека по странному имени — муж. Прежняя Лиза, пожалуй, быстро отвернулась бы от человека в сюртуке с остренькими колечками бледных усиков над уголками губ и с удалым светлым коком посредине лба, а эта другая Лиза вглядывалась в маленькие меткие зрачки влажных глаз и снисходительно, чуть грустно улыбалась. Среди бушующих криков гостей Витюша несколько раз поцеловал ее, предварительно утираясь накрахмаленной салфеткой. Она заметила, что у него рыхлый рот. Но она не задумалась — нравится это ей или нет. Просто она не могла ничего переменить: все совершавшееся было непреложно, все прежнее — безвозвратно. С жаждой юности — быть счастливой — она ждала, что будет дальше.

Уже когда пир затихал и старшие почтенные гости разбредались, перед уходом выпивая в передней «посошок» шипучки и кладя на поднос лакею чаевые целковые, а за столом дошумливали вокруг последних бутылок Витюшины друзья, Лиза незаметно вышла на галерею.

Далекие горы темнели. По самой вершине их мерцала, как фольга, прощальная полоса гаснущего света. Чем ниже бежали по склонам городские дома, тем плотнее сливались они в тусклую массу. На ее пепельном фоне траурными подпорами неба возвышались три знакомых пирамидальных тополя. Дневной ветер еще

не совсем улегся, изредка сбивая с тополей горстки черной умершей листвы, которые порывисто рассеивались и пропадали в сумраке. Перед школой никого не было, к вечеру улицы становились холодны, осень надвигалась торопливо. Скоро ли теперь Лиза опять увидит беленый дом и трех его высоких стражей, одинаково верно оберегавших сначала ее надежду, теперь — память о ее несчастье? Когда она вновь станет перед этими окнами — поверенными всех ее размышлений, всех ожиданий? Или, может быть, сейчас, в притихшую минуту, в подвенечном платье, с листиками мирта на голове, она должна сказать через эти стекла последнее «прощай» всему былому, чтоб больше никогда сюда не возвратиться?

Так она стояла, не слыша застольного шума, почти прикасаясь лицом к прохладному стеклу. Потом она вздрогнула и оторвалась от окна: к ней подходил, неровно подпрыгивая на носках, ублаготворенный, мокренький Меркурий Авдеевич.

— Доченька моя,— сказал он, прилежно выталкивая душевные, мягкие нотки и стараясь не комкать слога,— единственная, родная! Вот ты и выпорхнула из гнездышка. Вот я и не услышу больше твоего чириканья. Чирик-чирик! Где ты?..

Он обнял Лизу, запутавшись пальцами в тонком тюле фаты, и приклонил раскосмаченную голову к ее плечу.

— Ты думаешь — просто раставаться с дочей? Тебе не сладко, а отцу с матерью каково? Чирик-чирик? Эх, Лизонька! Что ты мне скажешь? Что скажешь отцу на расставанье, воробушек мой?

Она почтительно приподняла и отодвинула его голову. Поправив фату, отступив на шаг, сжала твердо брови, отвела взгляд за окно.

— Благодарю тебя,— проговорила она низким голосом.— Я из твоей воли не вышла. Сделала, как ты хотел. Но у меня есть теперь просьба, папа. Я прошу у тебя...— Она подождала немного и оперлась рукой о подоконник.— Прошу у тебя милосердия,— сказала она вдруг громче.— Я ведь не сама ухожу из дому, а по твоей воле. Зачем же ты говоришь... кому больнее, кому слаще? Выпорхнула из гнездышка! Не будем никогда об этом. И попроси маму не плакать. Это жестоко. Я не могу. Слезы впереди. К несчастью... впереди!

Меркурий Авдеевич глядел на нее трезвевшими глазами, слегка подаваясь вперед и назад, переплетая пальцы обеих рук за спиной.

— Напрасно,— произнес он, и Лиза расслышала, как он захлебнулся коротким всхлипом.— Напрасно и непохвально так отвечать отцу. По-твоему, отец тебя не жалеет, и за это сама не хочешь пожалеть отца. Коришь меня моей волей. А забыла, что ни

один волос не упадет с головы без воли отца небесного? Все, что совершается, совершается по воле его. Забыла? И еще запомни: живи с мужем по примеру своей матери. Она за четверть века ни разу меня не ослушалась.

— О, если бы она ослушалась только единственный раз! — воскликнула Лиза.— Разве я была бы теперь такой одинокой!

Она выронила веер, наступила на него белой туфелькой. Отец тяжело нагнулся, вытянул веер из-под ноги, отряхнул и разгладил перья, сказал:

— Восстаешь против рассудка. Должна быть счастлива, что господь миловал и тебя, и нас с матерью. Если бы не стала Шубниковой, может, сейчас шагала бы по тракту, следом за...

Он оборвал себя, но Лиза уже смотрела на него в испуге.

— Что ты о нем знаешь? Скажи мне, скажи... и я даю слово, что никогда в жизни больше не заговорю о нем!

— Ничего не знаю. Только благодарю бога, что спас тебя от несчастья. А что ты держишь его в помыслах, когда уже венчалась с другим,— это великий грех. Помни, мы посланы в эту жизнь исполнить свой долг.

— Ах, как знать, зачем мы посланы в эту жизнь! — опять воскликнула она, с силой прижимая ладони ко лбу, и в это время прозвенел голос Витюши:

— Лизонька! Лиза! Пора ехать, надо прощаться!

Он бежал к ней, и фалды сюртука развевались у него по бокам.

— Я тебя ищу по всему дому! Ты расстроена? Что с тобой?

— Нисколько не расстроена, зачем расстраиваться? — успокоил Меркурий Авдеевич, просветляя лицо восторженной улыбкой.— Я ее напутствую на предстоящую дорогу. Живите в мире, в дружбе, милые дети мои! Пойдем простимся!

Он ласково соединил локотки молодых.

Все собрались в гостиной, расставившись полукругом, в середине — Лиза и Витюша. Приложились к благословенной иконе матери божией «Утоли моя печали», перекрестились. Валерия Ивановна обняла дочь и заплакала. У нее не хватало слов, она объяснялась слезами. Лиза, с горящими глазами, молча разомкнула ее руки. Шафер в бачках умильно взял икону и нетвердо двинулся к дверям, впереди молодых. Следом прошли провожавшие.

Кремовая карета с неопределенным вензелем на дверце в третий раз за день приняла в свое пружинно-бархатное лоно Лизу. Витюша сел рядом, обнял ее за талию. По дороге они смеялись над шафером: он сидел напротив, держа на коленях икону, его быстро укачала езда, он начал клевать носом, Витюша подпирал

его свободной рукой в грудь, и при этом коробившаяся манишка щелкала тугим барабанным звуком.

Новый дом Лизы принял ее двумя богатыми столами. Один был накрыт винами и сластями, на другом Шубниковы разложили подарки. Здесь кучились серебро, мельхиор, бронза, в которых практичность Дарьи Антоновны, запасавшей ложки, блюда, соусники, ножи и вилки, проглядывала вперемежку с легкомыслием Витюши, накупившего вздорных подставочек, подвесочек, бокальчиков и фигурок. Тетушка, как бывалый капитан, снаряжала корабль в дальнее плавание, племянник же чувствовал себя вольным пассажиром, отправляющимся развлекаться.

Он вообще брал человеческое бытие с его легкой, приятной стороны, как всякий, кому жизнь досталась готовой, сделанной руками предшественников. Он недолюбливал стариковскую расчетливость и не дорожил обычаями, если они не доставляли удовольствия. Привычки нового времени ценились им дороже. Как-никак, у стариков не было синематографа, они не знали, что такое граммофон, они не верили, что человек может летать на крыльях. Сыграв свадьбу, они запирались в горницах и не спускали ног с лежанки. А Витюша, человек вполне современный, решил во что бы ни стало предпринять свадебную поездку, например, в Крым, на бархатный сезон, или в Санкт-Петербург — в город чудес, где устраивают гонки на скетингринге — на этом летнем катке, и с островов любуются заходящим в море солнцем. Он составил программу времяпрепровождения до поездки, на целую неделю, запомнив вдоль и поперек анонсы во всех газетах. Словом, он принадлежал к людям, умеющим пожить.

Хороший тон требовал начать выходы непременно с городского театра. Там, в первый день после свадьбы, ставили «Гамлета». Витюша гимназистом дважды принимался читать «Гамлета», но оба раза задремывал сейчас же, как только исчезал Призрак. Однако идти в Общедоступный театр было неудобно, хотя там шла пьеса тоже под очень приличным иностранным названием — «Гаудеамус», чего нельзя было сказать о театре Очкина, где играли «Бувальщину» и даже «Каторжну». Странно было бы в самом деле почти прямо из-под венца смотреть «Каторжну»! Для Лизы вопроса этого не существовало: выяснилось, что она обожает Шекспира,— к изумлению Витюши, который просто не поверил, что можно любить такую скуку. Впрочем, он согласился, что сцены с Призраком действительно остаются в памяти. Зато для него не подлежала обсуждению другая часть программы. На гипподроме — по желанию Аэроклуба — должен был состояться «безусловно последний полет на высоту» авиатора Васильева («дождливая погода не препятствует. Играет оркестр, приглашенный Аэроклу-

бом»). Французский цирк давал решительно бессрочную схватку четырех пар борцов. В зале музыкального училища пела известная исполнительница русских песен, любимица публики — Надежда Васильевна Плевицкая. Ни полет, ни борцы, ни Плевицкая у Лизы не встретили никаких возражений,— за своего Шекспира она, кажется, готова была ходить и ездить куда угодно.

Весь этот план удовольствий предстал перед ней в своем принудительном великолепии, когда она, ранним утром, впервые вышла из спальни мужа в столовую.

Она села в кресло. Витюша еще спал. Его дыхание слышалось через открытую дверь. Оно напоминало посасывание курительной трубочки с легким прибулькиванием. Свет был тихим, драпировка окон стесняла его проникновение, он бедно размещал блестки на серебре и бронзе подарков. Лиза устало переводила взгляд с голеньких, тонко вытянутых вверх мельхиоровых женщин на длинношерстого сеттера, на лошадиную голову, на ласточек, свесивших хвостики своих фраков с фарфоровой вазы. Ей не хотелось подойти и ближе осмотреть всю эту зоологию, рассаженную по пепельницам, бюварам и кубкам. Ей казалось, она видит эти вещи очень давно и они скоро ей надоедят, как лишнее время, как чрезмерный досуг. Вся комната была как будто давнишней знакомой, и Лиза думала, что вот теперь, куда бы она ни пошла,— на полеты, в театр или просто на улицу, отбывая какую-нибудь программу развлечений,— она должна будет всегда возвращаться к своим собакам, лошадиным головам, мельхиоровым женщинам с удлиненными изогнутыми телами. Это ее будущее. Оно предначертано ей, уготовано, как неизбежность. И перед ней единственный путь, которым она может идти,— путь примирения.

Она закрыла глаза, чтобы не видеть стола с подарками. Ей сделалось вдруг хорошо,— что она одна, что ее никто не трогает, к ней не прикасаются. Она подобрала ноги в кресло, плотнее запахнула халатик, медленно склонилась и через минуту заснула.

Вечером были поданы лошади. Виктор Семенович, за день утомивший своим изысканным вниманием Лизу, перед отъездом в театр приобрел несколько торжественную форму. На переодевание он не жалел сил. Зеркало увидело на нем по очереди коллекцию галстуков, которые вывязывались бантами, бабочками, узлами. Он ходил по комнатам в наусниках и был похож на кролика, которому обрезали уши. Примеривая жилетки, он спрашивал Лизу:

— Эта не слишком ярка?

Он заставил Лизу переменить три платья, пока, наконец, была найдена гармония: цвет весеннего салата ее шелка превосходно сочетался с кофейным оттенком его визитки. Взяв Лизу под руку

и наклонив к ней голову, Витюша молитвенно постоял перед зеркалом.

— Нам надо так сняться,— произнес он,— что за пара! Я счастлив.

В театре они заняли центральную ложу, известную под именем «губернаторской». Их окружали разодетые в пух друзья и подруги. Тяжелая драпировка красного бархата фестонами ниспадала по сторонам ложи, увенчанная наверху городским гербом — три серебряных осетра на синем щите. Публика начала оборачиваться и шептаться. Если бы Виктор Семенович был постарше, он мог бы сойти и за губернатора,— так был он важен.

Весь зал лежал перед Лизой на ладони. Она легко сосчитала ряды и нашла места, на которых сидела последний раз в театре с Кириллом. Там белели круглые валики причесок двух седых дам. Лиза присматривалась к ложам, поднимала голову к верхним ярусам, разглядывала известную в подробностях живопись занавеса, но ее все тянуло к седым прическам. Ей чудилось, что воздух заполнен светящейся сонной дымкой, и в этой дымке она ощущала себя как воспоминание. В бесконечно отдаленное время она была там, где сейчас находятся седые дамы. Она сама, против своего желания, держалась, как эти дамы,— прямая, стянутая жестким корсетом, недвижная, с высоким валиком вокруг лба. Может быть, она такая же седая, как они? Во всяком случае, она — не Лиза. Она — госпожа Шубникова, супруга именитого в городе мануфактурщика. Она — в губернаторской ложе. О ней шепчется театр. Все прежнее утонуло в забвенье.

И вдруг — точно под ней подломилась тонконогая стремянка — она, как во сне, неудержимо полетела вниз и опять стала Лизой.

Опять между ней и сценой не было никого, будто спектакль играли единственно для нее, и никто не мог видеть, как уносит ее и заглатывает прибой трагедии. Опять перед ней явился Цветухин, которого знала только она,— никто больше и никто лучше ее. И снова был он тем особенным, неизгладимым из души видением — с плащом через плечо, с невесомой кистью руки на эфесе шпаги,— тем небожителем, каким он стоял у окна, в солнечном потоке, и говорил Лизе: «Бойтесь театра!» Как в благодатный водоем лилась в нее потка за ноткой его маслянистого голоса, и она не понимала — кто ее покоряет: Принц датский или Егор Павлович Цветухин.

Витюша мешал ей разговорами. Он не мог удерживать свои впечатления, и чем скупее Лиза отзывалась, тем настойчивее усиливался его шепот. В антракте он пробовал увлечь ее планом путешествия и обиделся, что это не удалось. Во время сцены Акте-

ров с Королем и Королевой он ел шоколад, шурша бумажками, и Лиза остановила энергичную работу его пальцев холодноватой безлюбовной рукой. Он начал смотреть на Актеров с надутой серьезностью, решив доказать Лизе, что относится к Шекспиру достаточно глубокомысленно, а разговаривал только затем, чтобы ей не было скучно. И в самом деле, у такого автора практический человек мог кое-чему научиться.

— Видите это облако? Точно верблюд,— говорил Гамлет.

— Клянусь святой обедней, совершенный верблюд,— отвечал Полоний.

Гамлет. Мне кажется, оно похоже на хорька.

Полоний. Спина точь-в-точь как у хорька.

Гамлет. Или как у кита?

Полоний. Совершенный кит.

— Какой ловкий! — шепнул Витюша восхищенно.

— Кто? — спросила Лиза быстрым взглядом.

— А этот старикашка.

— Полоний?

— Ага. Он умней их всех.

Лиза сказала, что у нее кружится голова. Витюша вскочил, но она удержала его и вышла из ложи одна.

В пустынном, странно тихом фойе с притушенными огнями она села на диван. Почти сейчас же к ней учтиво приблизился капельдинер и спросил — не она ли госпожа Шубникова.

— Шубникова? — повторила Лиза с такой растерянностью, будто речь шла о чем-то совершенно незнакомом.

— Вам записочка от артиста Цветухина.

Она развернула бумажку, второпях надорвав ее, и долго не могла понять разгончивый почерк. Только вглядевшись в подпись — «Ваш Цветухин»,— она приноровила глаза к убегающим друг от друга буквам и прочитала слово за словом:

«Я узнал, что Вы — в театре, и хочу приветствовать Вас с событием, о котором вчера стало известно в городе. Очень, очень желаю Вам счастливого будущего и поздравляю! По этому торжественному поводу играю в Вашу честь. Рад, что Вы смотрите спектакль, и ужасно волнуюсь — что Вы скажете?»

Что она могла бы сказать! Разве то, что выбежала во время действия, потому что муж мешал ей смотреть? Или то, что если бы Гамлет продолжал свою игру кошки с мышью и мышью была бы она, Лиза, а не Полоний, то она, так же как низкий Полоний, соглашалась бы со всем, что говорит Гамлет, потому что не могла бы устоять перед его обаянием? Нет, нет! Она сказала бы о другом! Она сказала бы, что не верит его записке, не может верить

его поздравлениям, не хочет верить, что он был неискренним, когда предупреждал от этого брака. И еще: она сказала бы, что этот вечер в ложе стал для нее прощанием с той Лизой, для которой театр был чудом иного мира — мечтой, сокровенным желанием, и что уже никогда она не увидит Цветухина прежними глазами.

Она сидела, держа на коленях развернутую записку, в пышном праздничном платье, в украшениях на груди и пальцах, с прихотливо уложенными на валик волосами, точно выставленная напоказ. Ничто не мешало ей думать. Иногда пробивался через двери сдавленный голос, и ему словно кто-то отвечал боязливо на вешалках или смелее — в буфете. Потом все опять стихало.

Внезапно появился из ложи Витюша.

— Тебе худо! Я вижу,— с тревогой сказал он.— Тогда поедем домой.

Он нагнулся, протянул к ней руки и так остановился, глядя на записку.

— Письмо?

— Да. Поздравление,— ответила Лиза и сложила листок по сгибам.

— От кого?

— От Цветухина.

— Актера? Вы знакомы?

— Немного.

Он вынул у нее из рук записку и попробовал прочесть.

— Ты разобрала?

— Да.

— Что за глаголица! Прочти, пожалуйста.

Она прочитала все, кроме подписи. Он снова взял записку и рассмотрел ее.

— Ваш Цветухин? Почему?

— Что — почему?

— Почему — ваш?

Он аккуратно вложил бумажку в жилетный карман.

— У тебя с ним что-нибудь было? — спросил он.

— Я не понимаю.

— Что тут понимать,— сказал он, напыживаясь.— Ну, словом, чтобы этого не было. Переписки. И вообще. Он большой повеса. А ты... замужняя женщина.

Витюша степенно одернулся, пощупал галстук.

— Еще раз предлагаю домой. Охота мучиться ради Гамлета. Не мы, в самом деле, для Гамлета.

— Хорошо. Только, пожалуйста, принеси мне воды,— попросила Лиза, отклонившись на спинку дивана.

Он кашлянул, приложив кончики пальцев ко рту, произнес с любезностью — к твоим услугам! — и в полном равновесии чувств пошел в буфет.

Но, увидав капельдинера, раздумал, тронул усики, солидно сказал:

— Послушай, милейший: стакан воды!

29

В хмурые ветреные дни поздней осени Пастухов редко выходил. Он отыскал стряпуху, служившую долгое время его отцу, и с каким-то удовольствием старого байбака, обложившись книгами, воюя с героями своей незадавшейся пьесы, уминал лапшевники, пшенники, картофельники — немудреные произведения русской кухни, для разнообразия изготовляя собственноручно турецкий кофе и глинтвейн. Как никогда, он прислушивался к настроениям одиночества, окрашенным полутонами неуловимого бледного колорита, словно картины французов конца века, которые он любил созерцать и которые вызывали в нем особую, грустную любовь к жизни.

В таком замкнутом, слегка разнеженном состоянии он вышел погулять незадолго до сумерек. Сухие от ночных заморозков мостовые были все еще обильны летней пылью, и она крутилась желтыми конусами смерчей, подымаясь над домами, затягивая перспективы неприветной мутью. Протирая глаза платком, Пастухов добрался до главной улицы, нашел ее унылой, безлюдной и хотел было возвратиться домой, когда заметил небольшую кучку людей у окна «Листка». Он мало читал газеты и решил узнать новости.

Прохожие теснились, пригибаясь к стеклу, за которым висели развернутые страницы последнего номера. Через неподвижные головы Пастухов увидел рамочки объявлений знакомых магазинов, театральные анонсы, портреты новых членов городской управы. Среди них выделялся очень толстый рябой коммерсант, примелькавшийся на улицах своей представительной походкой деятеля, за что его и избрали, как прирожденного отца города. Ничего занятного в газете не было, хотя читатели льнули к стеклу, продолжая силиться разобрать в нараставшей темноте слепой шрифт.

Вдруг вспыхнули оконные лампочки, и на загоревшейся желтым светом полосе Пастухов прочитал ничем не отличный от прочих заголовок: «Исчезновение Л. Н. Толстого». Взгляд быстро схватил первые фразы: «Потрясающую весть принес телеграф. Исчез из дома неизвестно куда великий писатель земли русской...» Пастухов протер покрепче глаза. Пыли набилось много, она цара-

пала веки, слеза набегала больше и больше. «...видимо, тяготился тем, что ему приходилось жить в некотором противоречии с своим учением, на что многие довольно бесцеремонно и указывали. Чуткая душа Толстого не могла не страдать от этого...»

— Что такое? — сказал Пастухов, наваливаясь всем телом на чью-то спину и перескакивая напряженным взглядом через рябившие строчки. «От собственного корреспондента... Местопребывание неизвестно. Первые поиски безрезультатны... Графиня Софья Андреевна покушалась на самоубийство... велел заложить лошадей и... Вечерние телеграммы. Вчера в 1-м часу ночи семья Толстого вся в сборе... Горе семьи, особенно Софьи Андреевны, не поддается описанию...»

Кто-то неприязненно дернулся под плечом Пастухова, и, поддаваясь чужому движению, он отошел прочь. Ноги вели его туда, куда он шел, прежде чем остановиться у газеты. Однако он ощущал, что над ним совершается насилие, что он должен вести себя иначе, потому что думал совсем не о том, что его занимало минуту назад. Он круто повернулся и снова подошел к людям у окна, грубо протискиваясь к стеклу.

«Один землевладелец Одоевского уезда видел Толстого в поезде Рязанской дороги, между Горбачевом и Белевом, на пути в Оптину пустынь...»

— Позвольте,— проговорил Пастухов, ни к кому не обращаясь, в возбужденном недоумении,— какое сегодня число? Ведь это — старая газета.

— Вчерашняя. Нынче не выходила,— отозвался благовидный человек, деликатно уступая свое место.

— Сегодня, наверно, известно, что произошло?—громко спросил Пастухов.

— Вы — про Толстого?

— Ну да. Что это значит? — опять говоря сразу со всеми и уже отворачиваясь от окна, сказал Пастухов.

Он увидел очень разные лица, каждое на свой лад, молча отвечавшие ему,— какого-то глянцевито-бритого, в морщинах, елейного верзилу, похожего на архиерейского певчего, потом — аккуратно застегнутого косенького старца в новой шляпе, рядом с ним — безусого молодца, глядевшего с крайней жестокостью, двух гимназистов и между ними — бросающего вызов, видимо, требовательного рабочего, мужчину в огненных перьях давно не стриженных волос, наконец — того благовидного человека, напоминавшего похвального банковского службиста, который уступил место. Отвечая Пастухову наполненными жизнью то лукавыми, острыми, то скрытными, насмешливыми или сочувственными взорами, эти люди выжидали, когда завяжется настоящий разговор.

— А ежели вы наблюдали, то, конечно, знаете, что животное, например кошка, почуяв приближение смерти, покидает дом и ищет места, где может спокойно умереть,— произнес косенький старец в очень бесстрастном разъясняющем тоне.

— При чем тут кошка? — оборвал Пастухов.

Гимназисты засмеялись, верзила свысока повел на них глазами.

— При том,— терпеливо продолжал старец,— что тем более — человек, существо высокое, даже, возможно, высочайшее во всей природе, хочет умереть вдали от суетных, от праздных интересов.

— Не знаю,— сказал Пастухов, задумываясь.

В нем как будто исчезло обычное, жадное его любопытство к внешему миру, заменившись настойчивым, единственным вопросом, который он задавал самому себе и все же не мог бы с точностью этот вопрос выразить.

— Чего тут разговаривать? — пренебрежительно мотнул головой жестокий молодец.— Выжил старик из ума, а об нем два дня только и калякают.

— Умен! — вызывающе-кратко сказал огненный мужчина.

— Я полагаю,— вмешался благовидный человек, тихо дотронувшись пальцем до рукава Пастухова,— Лёв Николаевич ушел в конце концов от нас с вами.

— Не Лёв, а Лев,— сказал один гимназист.

— Почему — от меня? — недовольно спросил Пастухов.

— Не от вас лично, а от нас с вами,— пояснил человек и обвел скорбным взором все общество.

— И я бы тоже от вас ушел,— сказал жестокий молодец, повернулся и широко зашагал через дорогу.

— Тебя бы выгнали, вот ты бы и ушел,— напутствовал его огненный мужчина.

Пастухов невежливо раздвинул людей руками и отошел в сторону. Прочитав на стеклянной двери крупную белую надпись — *Редакция,*— он с размаху открыл вход и, перескакивая через две-три ступени лестницы, взбежал на второй этаж.

В комнате, за конторкой, заваленной влажными полосками газетных гранок, стоял корректор — кудрявый блондин в пенсне на скрученном черном шнурочке, с вонючей трубочкой во рту, в старом семинарском сюртуке, из-под которого виднелись ноги колесом.

— Я Пастухов,— сказал Александр Владимирович, снимая шляпу.

Корректор вынул изо рта трубочку, смахнул пенсне и отпил из стакана большой глоток холодного, дочерна настоянного чая.

Очевидно, справившись таким образом с некоторым волнением, он пожелал узнать, чем может быть полезен.

— Что известно о Толстом? Он обнаружен?

— Он болен. Он сошел с поезда в Астапове.

— Где это?

— На нашей дороге. Не так далеко.

— Есть подробности?

— В наборе. Сейчас принесут гранки. Вся Россия пишет только о Толстом. Хотите вот пока почитать, это все пойдет в завтрашнем номере.

Он отобрал несколько гранок и положил их на круглый стол за балюстрадкой, отделявшей половину комнаты. Пастухов прошел к столу.

Он увидел прежде всего три портрета Толстого — оттиски поблескивавшей глянцевитой сажи, от которой свежо веяло керосином и аптекой. Это были с детства известные портреты — по школьным хрестоматиям, по цветным обложкам копеечных книжечек, по упругим вкладкам к большим, неповоротливым томам. На одном из портретов Толстой показался Пастухову особенно живым,— большеголовый старик с огромной, точно ветром наотмашь откинутой вбок пышной бородой, с пронзающе-светлым взглядом из-под бровей и в раскосмаченных редких прядях волос на темени. Старик думал и слегка сердился. Удивительны были морщины взлетавшего над бровями лба,— словно по большому полю с трудом протянул кто-то сохою борозду за бороздой. Седина была чистой, как пена моря, и в пене моря спокойно светилось лицо земли — Человек.

У Пастухова оборвалось дыхание. Вдруг он понял, что с этим Человеком он родился, вырос, жил изо дня в день, не замечая его, не думая о нем, как не думают о воздухе. Пугающее изумление охватило его, подобное изумлению ребенка, внезапно потерявшего отца, за спиной которого жилось бездумно и просто. Он смотрел и смотрел на голову старика. Странно летели его мысли. Почему-то больше всего ему вспоминалось детство и какая-то причиненная взрослыми и не понятая ими обида. Потом он думал, что теперь надо переменить жизнь, начать ее по-другому,— начать с необыкновенной ясности. Потом ему показалось, что начинать надо именно с побега, с бегства, как начинает новую жизнь каторжанин, убегая из острога. Затем он сказал себе, что все это — чепуха, и взялся за гранки.

Редакционная статья, под названием «Великая совесть», начиналась словами: «Великая душа великого старца не могла дольше выдержать того обычного существования, той лжи времени, в которой ей приходилось биться и трепетать...» Пастухов не мог

сосредоточиться и вырывал глазами куски текста откуда придется. «Условность и искусственность так называемого «цивилизованного общества», отгородившегося китайской стеной от простого народа...»

Он отодвинул одну гранку, взял другую. «Он ушел, и не ищите его,— возглашала следующая статья.— Он ушел! Взял небольшой чемоданчик с любимыми книгами, надел рабочую блузу, крестьянские сапоги и ушел... Он уединился теперь, чтобы не только свободно жить, но и... кто знает? — свободно умереть. Если ему не удалось до сих пор устроить жизнь, как он хотел, не вправе ли он требовать, чтобы ему дали умереть, как он хочет?.. Не желал ли он похорон по крестьянскому «разряду» — в розвальнях, в телеге, в некрашеном гробу?..»

— Что за дьявол! — воскликнул Пастухов, отшвырнув гранки.— Заботятся о его праве умереть! Но кто дал право хоронить живого человека?!

В комнате никого не было. Он опять пододвинул к себе полоски бумаги и стал читать: «Не только великие люди, а самые обыкновенные, чувствуя приближение смерти, часто ищут одиночества. Они отворачиваются к стене от семьи, от друзей и просят оставить в покое... Не ищите же его! Он сам просит его не искать и оставить в покое. Разве не долг наш свято исполнять волю уходящих от нас в путешествие, из которого нет возврата? Толстой недаром сказал, что он не вернется. Он ушел, но не старайтесь найти след старческих ног. Не бойтесь! Он не умрет, он не погибнет! Дайте ему теперь покой, а жить он будет вечно».

Явился корректор со свежими гранками.

— Послушайте,— вскинулся Пастухов,— вы понимаете что-нибудь? Я ничего не понимаю. Толстой жив?

— Жив.

— Почему же его отпевают? Ведь это уже — тризна!

Корректор надел и тотчас смахнул с носа пенсне, пососал затухшую трубочку.

— Да, конечно,— ответил он, щурясь с застенчивостью близорукого и покачиваясь,— конечно, немного противоречиво.

— Немного? Ну, если — немного!..

— Знаете ли,— глас народа. Народ понимает так, что позвала смерть. А насчет противоречий — что ж? Я перечитываю все по два, по три раза и дивлюсь. Заклинают: оставьте его в покое, не ищите, не трогайте, не мешайте, уважайте волю,— все, как один, и нате-ка, посмотрите.

Он протянул гранки.

Пастухов вдруг с загоревшимся любопытством стал пожирать одну за другой телеграммы, сообщавшие подробности бегства Тол-

стого из дому, поиски следов беглеца по железным дорогам, на станциях, по монастырям,— пересказы со слов очевидцев и родных, домыслы, слухи, толки. Он читал, и ему хотелось знать все больше, все пространнее, как будто проникновение в далекую, загадочную, трепетавшую судьбу могло утолить какую-то раскаленную потребность. Он читал, и непонимание события возрастало в нем все мучительнее.

Он вытер мокрый холодный лоб.

Уже отчетливо видел он в черной ночи приземистый выбеленный корпус скотного двора, у которого наспех закладывают выведенных из конюшни храпящих лошадей. Испуганный свет фонаря, задуваемый ветром. Чемодан, всунутый наугад в повозку. И маленького старика поодаль — в дождевике с капюшоном, из-под которого выглядывает смятая, белая, как пена, борода. Скорее, скорее, торопит старик, вглядываясь в темноту, туда, где за стеною густого парка, стонущего от ветра, прячется барский старый, отныне навечно покинутый, брошенный дом. Скорее, скорее,— могут застигнуть, не пустить, удержать — слезами, воплями, криком. Скорей.

— Но зачем, зачем? — вслух спросил себя Пастухов.

И тут же, словно отвечая ему, глаза его выхватили из колонки текста отрезвляющую, горькую фразу: «...Так, впрочем, в жизни всегда: когда мы делаем самые скверные вещи, это всем кажется самым естественным, а когда сделаем то, что надо,— все поражены и не могут с этим освоиться...»

Он встал и пошел к выходу.

— Разрешите... я сказал о вас...— заговорил беспокойно корректор, отрываясь от своей конторки,— вас очень просят в редакторскую, вас непременно хотят видеть...

— Потом, потом, потом! — отмахивался Пастухов, быстрее и быстрее сбегая вниз.

Он торопился по улицам, неизвестно — куда. Спустившись по взвозу, он повернул назад, в гору, и тотчас опять направился вниз, почти до самой воды. Тьма пеленала Волгу. Бледные сигналы бакенов, казалось, умирали от бессилия. Огни пристаней были жидки. Шум волны упивался своим всесильным господством. Сеяло тонким, как крупчатка, дождем.

В промозглой мгле Пастухов стоял на краю каких-то высоких скользких мостков, нахлобучив мокрую шляпу, засунув руки глубоко в карманы. Он чувствовал свое совершенное одиночество, но уже не в тех тончайших оттенках, которые доставляли грустную усладу, а в безжалостном, грубом тоне все заливающей собою беспросветной тьмы. Он уже был убежден, что уход человека, нежданно овладевшего самым хребтом его сознания, был не просто

уходом, но был уходом-смертью. И как обычно в этом мире действительно важные события непоправимы, так и это событие было до очевидности непоправимо.

Дождь загнал Пастухова домой. Развесив промокшую одежду по стульям, он закутался теплее в кровати и уснул удушающим, неприятным сном.

Наутро он опять был в редакции. Все, что он читал с вечера, было напечатано в газете. С портретов глядел, как будто рассерженнее, чем вчера, живой старик. Взор его показался Пастухову по-мужичьи умным. Из-под усов проскваживала хитрость вместе с укором и усмешливым превосходством над суетою бытия.

Редактор, похожий на угодника Николая — в овальной бородке, с белой скобой волос вокруг лысины,— не спал три ночи, и белки его глаз замутила ржавая краснота. Моргая и посапывая, он разложил перед Пастуховым последние телеграммы.

Земной шар сместил свое тяготение. Земля тянулась к маленькой станции, название которой в один день сделалось вторым именем Толстого. Никто не должен был знать, куда скрылся гонимый высоким желанием старик, и весь мир узнал, где он. Никто не должен был знать намерений его души, и весь мир был посвящен в его тайный замысел. Никому не должно было быть дела до его самочувствия, и весь мир начал заниматься его температурой, хрипами в груди, пищеварением, пульсом. Все понимали, что наступил момент, когда надо посторониться и помолчать, а все теснились, лезли, устраивали давку и болтали, болтали, болтали. Ни у кого не было сил сдержаться, все выбежали на гигантский, открытый четырем ветрам базар мира.

Из столичных газет телеграф сыпал статью за статьей. Все они начинались и кончались словом — ушел. Ушел, ушел, ушел!— повторяли газеты, как будто до этой минуты все были счастливы и спокойны единственно потому, что Толстой никуда не уходил из своей Ясной Поляны, и тотчас потеряли покой и счастье, едва он ушел.— «...ушел от мира, как ушел на склоне дней своих легендарный пророк Моисей, как ушел Будда, возвестивший миллионам людей свое учение...»

— От кого ушел Будда? — спросил Пастухов.

— От супруги своей Ясодары,— ответил редактор.

Он ждал, пока Пастухов окончит чтение, и, едва тот оторвался от телеграмм, обратился к нему, говоря, по усвоенной редакторами привычке, от своего имени во множественном числе:

— Мы просим вас написать статью об уходе.

— У меня нет никаких мыслей. Нет ничего, кроме смятения.

— Напишите о смятении.

— Зачем? — искренне удивился Пастухов.

— Это необходимо. Не говоря о вашей известности, вы — наш земляк.

— Вряд ли это освобождает меня от обязанности писать только тогда, когда есть мысли.

— Довольно будет ваших чувств. Появление вашего имени в газете будет означать, что пресса сочувствует вам. Ведь в городе известно, что вы замешаны в политическом деле.

— В политическом деле? — еще больше удивился Пастухов.

— Не скрывайте. Для нас нет тайны,— вкрадчиво произнес редактор, и лик его изобразил иконописную всепонимающую скорбь.

Улыбнувшись озорной улыбкой, Пастухов сказал:

— Хорошо. Я попробую. Но я буду писать о жизни, а не о смерти. Буду писать о живом Толстом.

— Это прекрасно! — вздохнул редактор, задремывая от усталости.

Чем ближе подходил Пастухов к дому, тем глубже вселялось в него энергичное возбуждение. Силы приливали к душе, увлекая ее, заманивая к большому делу: его чувство сольется с чувством мира, его голос зазвучит в общем плаче,— нет, нет! — в общем славословии! Он напишет, напишет о необъятном сердце мира, о сердце России!

Он нарезал четвертушечками бумагу и уселся. Он хотел сказать о том, что сердце России не могло выпустить за свои пределы человека, принадлежавшего ему как сама тайна жизни, без которой нет сердца. Человек хотел уйти в неизвестность, но это намерение противоестественно, потому что часть не может уйти от целого. Природа восстала против бунта и удержала то, что ей принадлежит. Человек остановлен там, где он всегда был и где всегда будет — в сердце России. Астапово овевается теми ветрами, какие дуют в Ясной Поляне. Кругом — все та же крестьянская Русь, земли Пензы и Тамбова, земли Воронежа и Саратова, Тулы и Рязани. Они породили этого человека и удержат его в своем лоне навсегда.

Пастухов перечитал исчирканные четвертушки. Ему показалось — мысль сводится к тому, что человеку уготована могила там, где он жил, и что он — Пастухов — коленопреклоненно копает вместе с другими эту могилу. Он зачеркнул написанное и походил по комнате.

Другая мысль пришла ему на ум, и он опять принялся за работу. Ему представилось, что культура есть замкнутая цепь принужденного движения. Эту формулу он взял из механики, определяющей такими прекрасными словами понятие механизма. Вся жизнь мыслящего человечества раскинулась перед ним как беско-

печная передача зубчатых колес. Он вспомнил, что Пушкин еще писал «Капитанскую дочку», а молодой Герцен уже пошел в ссылку. Будущее Герцена перенимало движение колеса, которое должно было вскоре остановиться. Какое множество зубцов соприкасалось с колесом Толстого! Кто переймет его движение? не испытывал ли Пастухов в себе частицу силы, переданной людям этой великой жизнью?

Он зачеркнул и эти строки, улыбнувшись: соединять себя даже отдаленно с размышлениями о Толстом ему почудилось мелко. Он решил сварить кофе. Открыв буфетик, он вдохнул горький, пряно-нежный, горелый аромат кофейных зерен и почувствовал освежение. Он обладал обонянием мухи и оживал от запахов, точно прикасался к радостному смыслу существования. Он размолол зерна в мельнице, зажав ее коленками и прислушиваясь к хрустящему треску зубчаток, как к музыке. Ополоснув кофейник, он зажег спиртовку. Пока закипала вода, он курил. Мысли его торкались в разные концы, как в двери. Двери стояли настежь, но выводили в пустые комнаты. Он подумал, что Толстой, наверно, выпил бы сейчас с наслаждением крепкого кофе, а ему дают овсянку, сваренную на воде: в одной из телеграмм сообщалось, что он поел овсянки. Пастухов засыпал кофе и дал вскипеть. Обжигаясь, он выпил чашечку крошечными глотками. В голове прояснело, он поставил себе вопрос: что главное в Толстом? — и сразу ответил: главное — любовь.

Он побежал к столу, налил вторую чашку кофе.

Он описал известное России Дерево бедных. Над площадкой перед яснополянским домом простерло ветви старое дерево. На нем повешен колокол. Каждый, кому нужна помощь, кто хочет услышать доброе слово, может прийти к дереву, ударить в колокол и ожидать в тени листвы, на скамье, когда выйдут из дома. Под Деревом бедных найдется место всем, кто верит, что человек человеку — брат. Может быть, немногим усталым доведется вкусить отдохновение под его шатром. Но каждый живет с сознанием, что в гнетущую минуту горя, отчаяния, нужды можно направить свои стопы под этот шатер, поднять руку к колоколу и позвать на помощь. В час смерти того, кто поставил под деревом скамью и повесил колокол, угаснет надежда отчаявшегося, исчезнет сень бедняка. Повянет дерево, заглохнет колокол. Россия, куда ты пойдешь за словом любви?

Пастухов перестал писать и отдался тому оцепенению, в котором замирает мысль. Потом сбросил бумагу на пол отчаянным размахом руки. Нет! Он хотел писать возвышенно, а выходило слезливо. Против воли он думал о смерти, только о смерти, и о чем бы ни начинал — смерть приглядывала за ним проваливши-

мися очами. Он разогнул спину, подошел к постели, присел, привалился к подушке и неожиданно проспал весь день и вечер до полуночи.

Назавтра он явился в редакцию, чтобы признаться в своем бессилии. Заранее он придумал отговорку: он только театрал, художник, он знает свой шесток,— язык газеты ему не подвластен. Но сонного редактора нисколько не огорчила его неудача.

— Не важно,— сказал он.— Мы решили просить вас поехать нашим корреспондентом в Астапово. Это сейчас было бы ценно для нас, а вам, конечно, соблазнительно.

— О, разумеется. Однако это невозможно по причине, которую вы сами вчера назвали, потому что я замешан в политическом деле и обязан подпиской о невыезде.

Пастухов проговорил это гордо и даже несколько торжественно.

— Ничего,— утешил его редактор с проницательным выражением, которое означало, что он привык к тому, что литераторы набивают себе цену.— Мы попробуем вам помочь. Садитесь, пишите просьбу прокурору палаты и отнесите ее сейчас же. А я попробую поговорить с камерой прокурора по телефону.

Пастухов взволнованно принялся сочинять прошение. Он почуял дохнувший издалека аромат свободы. Один за другим вспыхивали перед ним планы положить конец возмутительному недоразумению и вырваться из надоевшей провинции. Его корреспонденции из Астапово обратят на себя общее внимание, и столичные газеты немедленно добьются его переезда в Петербург. Или, еще лучше,— он заболеет в Астапове, и болезнь потребует лечения в московских клиниках. Или, просто,— он без всякого разрешения выедет из Астапова в Петербург и лично подаст жалобу на охранку министру внутренних дел. Словом, Астапово — подарок судьбы, хрустальная пробка, недостающая, чтобы закипел, наконец, тот застывший горшок, в который Пастухов попал как кур.

Свет повеселел в его глазах, когда он шел к дому судебных учреждений. Буйно махали ему оголенные деревья из Липок, приветствуя его молодую надежду. Народ спешил по улицам, довольный, что свистит ветер, кувыркающий над крышами серые тучи. Гимназистки оборачивались на Пастухова, точно на знаменитость, и ему слышалось, что они шепчут: «Вон пошел Пастухов! Он едет в Астапово! Читали, как он написал про Толстого?» Право, давно уж не выдавался такой бодрый, такой звучный день.

У самого входа в камеру Пастухов встретил Ознобишина. Одетый по-осеннему — в черное — кандидат в высшей степени учтиво снял фуражку и очень тонко — так, чтобы ни в коем случае не

попасть впросак,— замедлил ход, давая понять, что готов остановиться. Пастухов поздоровался.

— Вы к нам? — почти обрадованно справился Ознобишин.

— Да, с прошением к господину прокурору. Мне необходимо срочно выехать в Астапово.

— Мы уже знаем. Товарищу прокурора телефонировали из редакции, и он обещал доложить вечером его превосходительству.

— Вечером? Но вы видите сами — дорога каждая минута. Ведь Толстой...

— Разве так безнадежно?

— У нас крайне тревожные сведения,— важно сказал Пастухов.

— Да,— с придыханием посочувствовал кандидат,— горе мира.

— Я вижу, вам оно близко,— сказал Пастухов благодарным тоном.— Я прошу вас сделать зависящее, чтобы я мог уехать.

— Позвольте ваше прошение, я передам товарищу прокурора. Вам незачем утруждаться.

Быстро приблизившись к Ознобишину и взяв его под руку, Пастухов заговорил так, будто был с ним давно накоротке и уже не сдерживая налетевшее вдохновение выдумки:

— Я вам скажу свой план. Астапово — на нашей дороге. Туда идут один за другим экстренные поезда. Дорога готова сделать все. Наша пресса должна дать самые верные подробности о том, что происходит у великого одра. Честь города! Мы будем впереди столиц. Если через час у меня в кармане — разрешение на выезд,— я отправлюсь с экстренным поездом днем и ночью буду в Астапове.

Мигая, он глядел на Ознобишина в упор.

— К сожалению, доложить его превосходительству раньше вечера невозможно,— сказал кандидат.

— Бог ты мой! — громко вскрикнул Пастухов.— Ведь подумайте — Толстой!

— Я понимаю, но... его превосходительство...— извиняясь, улыбнулся Ознобишин.

— Но что же это у вас за неповоротливое заведение! — оттопыривая губы, прогудел Пастухов.

— Не заведение, но — суд,— заметил кандидат, как бы в шутку, однако высвобождая свою ручку из руки Пастухова.— И уж не столь неповоротливый.

— Ах, не мне это слышать! Как ваше имя, отчество? Анатолий Михайлович? Не вам говорить, Анатолий Михайлович!

— Почему же, Александр Владимирович? — нимало не чувствуя себя пристыженным, наоборот — с некоторым кокетством полюбопытствовал кандидат.

— Ну что же вы спрашиваете? Глупейшая история со мной тянется вот уже какой месяц, и вы все держите меня на привязи, как дворняжку,— сказал Пастухов обиженно.

— Ах, что вы,— застеснялся Ознобишин.— Могу вас заверить — дело близится к концу.

— Не верю,— отвернулся Пастухов.

— Я не вправе сказать с точностью о положении дела, но вопрос решается днями.

— Не верю, не верю! — в отчаянии отмахивался Пастухов.

Тогда уже кандидат сам взял совершенно доверительно Пастухова под руку и, отводя его от подъезда, у которого они стояли, проговорил пониженным голосом:

— Между нами. Строго между нами. Судебное следствие задерживается единственно за нерозыском одного обвиняемого. Вы знаете — кого?

— Откуда я могу знать? Что я имею за отношение к какому-то там розыску?

— Не разыскан, может быть, главнейший персонаж дела — Рагозин,— тихо произнес Ознобишин, скосив на Пастухова пристальный глазок и замедляя шаг.— Заочно приговор по столь важному делу вынесен быть не может, и потому дознание протекало длительнее обычного. Однако...

— Ах ты господи! На кой мне, простите, черт все это? — плаксиво и протестующе перебил Пастухов.— Я хочу одного — чтобы вы с меня сняли подписку!

— Скоро! — прошептал кандидат с каким-то братским участием.

Пастухов остановился, проникновенно посмотрел на Ознобишина и, горячо охватив его женскую руку, потряс ее так сильно, что кандидат скривил губы.

Передав ему прошение и еще раз взяв обещание сегодня же получить ответ прокурора, Пастухов пошел бродить, наслаждаясь еще больше возросшим удовольствием от бодрого ветра, оживленных прохожих, звона трамваев, резвого цоканья рысаков.

Он обедал в ресторане, варил дома кофе, укладывал чемодан, встряхивая костюмы, прикидывая в уме, как оденется в Астапове, если понадобится траур, и какую сорочку наденет, когда, в Москве, пойдет в театр говорить о пьесе. В сумерки он отправился в редакцию, но, узнав, что ответ прокурора ожидается только часам к одиннадцати, весь вечер не мог найти себе места, болтаясь по городу.

Он забрел в синематограф. Тапер импровизировал на пианино драматические переживания, и экран колыхался под взрывами его неудержных аккордов. Пышная, крупная Женни Портен —

блондинка с выпуклыми молящими глазами Брунгильды — тяжело страдала на полотне. Свет дрожал, и его луч часто пересекала большая мечущаяся осенняя муха. «Санта Лючиа, санта Лючиа»,— разрывалось пианино, и Женни Портен рыдала.

На улице было тихо, казалось, ночь затаилась в ожидании нового ветра, который собирался на смену дневному, где-то вдалеке за Волгой. Огни в домах были редки. Переставали хлопать калитки, и целые кварталы Пастухов миновал, не встречая ни души.

Он переступил порог редакции за полночь, едва владея собой от нетерпения. Редактор поднял над столом голову и, не дожидаясь вопроса, сказал:

— Дорогой мой,— не получилось. Прокурор отказал.

Пастухов медленно опустился в кресло.

— Но это — увы! — сейчас уже не имеет значения. Мы получили известие, что Лев Николаевич...— Редактор привстал с опущенной головой и договорил: — ...скончался.

Пастухов почувствовал, что тоже должен встать, но не мог и только наклонился туловищем вперед.

— А вы не знали? — спросил редактор.— Слух уже пошел по городу, публика обрывает наш телефон. Мы ждем только подтверждения телеграфного агентства.

Пастухов молчал. Все кругом было лишним и каким-то обманным — аккуратные гранки на столе, толстый красный карандаш, большой козырек лампы и — в тени — мертво поблескивающая лысина в скобке седых растрепанных волос.

— Все кончается на этом свете,— измученно шамкнул редактор.

Пастухов протянул на прощанье руку.

Его удивила тишина, царившая во всех углах. Но, проходя узенькими сенями, он услышал внезапный пронзительный звонок телефона и, точно освобожденный, ринулся вниз по лестнице.

30

Вбежав в гостиницу, Пастухов принялся стучать в номер. Никто не отзывался. Но он стучал и стучал. Ему необходимо было говорить, и говорить он мог только с одним человеком, только этот человек услышал бы его смятение и отозвался бы как друг.

Пастухов повернулся спиной к двери и начал бить в нее каблуком. Он слышал, как выскочил и звонко подпрыгнул на полу ключ. Потом неожиданно дверь распахнулась, и он увидел Цветухина в белье, с обнаженной грудью, босиком. Мгновение они молчали. Медленно и мягко Цветухин взял его за руку и втянул в комнату.

— Давно бы так,— проговорил он счастливым голосом.— Ведь глупо было, ей-богу.

— Конечно, глупо,— ответил Пастухов с мгновенным облегчением и так просто, будто вообще ничего не произошло между ними.

Они трижды поцеловались и, обнявшись, похлопали друг друга по спинам.

— Послушай, а? Толстой-то, а? — сказал Цветухин.

— Ты уже знаешь?

— Знаю.

Они не разнимали объятий, стоя посредине тесной комнаты, с раскиданной на стульях одеждой, с двумя разворошенными кроватями, и Пастухов ощущал ладонями сквозь тонкую рубашку горячую, податливую, глубоко раздвоенную хребтом спину Цветухина и опять похлопал ее с любовью.

В ту же минуту они услышали громкий свистящий шепот:

— Царица небесная! Матерь божия! До чего хорошо!

— Мефодий. Болван,— улыбнулся Цветухин, глядя через плечо Пастухова на приотворенную дверь.

Мефодий с грохотом ворвался в комнату.

— Милые мои, родимые! — вскрикнул он, взмахивая руками и бегая вприскочку вокруг друзей.— До чего хорошо! Умники, золотые мои! Сердце захолонуло от радости! Наконец-то, наконец! Ныне отпущаеши! Отпраздновать, отпраздновать! Егор, а? Александр Владимирович! Отпраздновать победу разума человеческого над очерствением сердца. Омыть в вине смертный грех вражды и озлобления!

— Да ты, я вижу, омыл,— сказал Пастухов.

— В предвкушении, в предчувствии радости! — бормотал Мефодий, хватая приятелей, дергая, толкая их, отскакивая, чтобы лучше видеть со стороны, и снова кидаясь к ним.

— Ну, ладно, черт с тобой, заказывай,— с удовольствием разрешил Цветухин.

Мефодий изо всей силы начал давить кнопку звонка, в то же время высунув голову за дверь и крича в коридор:

— Дениска! Дениска!

— Ты что? Хочешь поднять всю гостиницу? — приструнил Цветухин.— Ступай в буфет сам, налаживай.

Спустя четверть часа Мефодий — самозабвенный, священнодействующий, притихший — с неуклюжей помощью Дениски звенел посудой, накрывая на стол. В безмолвии все дожидались, пока бутылки займут центральное место и, окружая их, как цветник окружает постамент памятника, рассядутся клумбами тарелки разноцветной снеди.

— Со страхом божиим и верою приступите,— прошептал Мефодий.

Комната была прибрана, Цветухин одет, все приобрело достойный вид, и — с уважением друг к другу, даже почтительно — товарищи разместились за столом.

— Что же,— сказал печально Пастухов,— поминки?

— Да, в самом деле,— будто спохватился Мефодий,— как же это? Как же теперь, а?

— Вот так,— ответил Пастухов и налил водки.

Закусив неторопливо, с глазами, исследовавшими тарелки, они, друг за другом, вздохнули, и Цветухин повторил полувопрос:

— За упокой души, выходит, а?

Еще выпили и поели заливного судака с лимоном.

— Покойник не одобрял,— сказал Мефодий, щелкнув жестким ногтем по графину и с сожалением качая головой.— Это в его полезной деятельности единственная проруха. Можно извинить. Зато какую обедню закатил попам!

— Да, вам влетело,— заметил Пастухов.

— С какой стати — нам? — обиделся Мефодий.— На ногах наших даже праха поповства не осталось. Мы суть протестанты. Разрывом с семинарией мы споспешествовали великому делу великого Протестанта!

— Вы есте споспешествователи,— с издевочкой проскандировал Пастухов и пододвинул пустую рюмку.— На-ка, ритор, налей.

Они весело чокнулись, и уже с загоревшимся взглядом, но опустив голову, Пастухов произнес очень тихо:

— Я вижу, куда клонит (он кивнул на бутылки). Поэтому, покуда мы не пьяны, хочу сказать о том, который больше не вернется (он сделал паузу). Я все время думаю: почему — побег? Почему ночью, с фонарем, с факелом, сквозь тьму? От супруги своей Ясодары? Какие пустяки! Не от времени ли, в котором всё — против него? Не время ли исторгло, отжало его прочь, как что-то чужеродное себе, противное своему существу? Он ведь ушел от нас не один. Он увел с собой наше прошлое. Только ли девятнадцатый век? Больше, чем девятнадцатый век. Больше, чем, скажем, гуманизм. Он прихватил с собой в могилу не одних, скажем, энциклопедистов. Может быть, все лучшее, что было в христианской эре, выразилось напоследок в нем одном и с ним отлетело навсегда. Такого больше не повторится. Вечная память — и только...

Пастухов всклокочил волосы и снова помолчал.

— Кто теперь придет вместо него? Загадка. Но его оружие больше не пригодится. Спор его будет продолжен совсем иными сраженьями. И мы, наверно, друзья мои, к концу нашей жизни

убедимся, что так же, как им законченная эра длилась века, так и следующая за ним иная эра — на века.

Пастухов быстро взглянул на Цветухина.

— Глубоко копнул? — спросил он с иронией.

— Милый! Глубже, ради всего святого — глубже! До чего я это обожаю! — умоляюще попросил Мефодий.

— Перестань,— остановил его Цветухин и положил руку на плечо Пастухову.— Прекрасно, Александр. Продолжай.

— Нет, всё,— с усталостью отозвался Пастухов.— Я не пророк, вещать не хочу. Скажу только одно. Он оставил нам правило, понятное, как слово. Вот земля. Вот человек на земле. И вот задача: устроить на земле жизнь, благодатную для человека.

— И если мы себя уважаем,— сказал Цветухин, продолжая речь друга,— мы ни о чем не имеем права думать, кроме этого правила. Если мы станем учиться у жизни — будет толк. Как он учился. Как он творил ради жизни, а не ради завитушек. Если нет, то мы так и останемся завитушками... Вместе с нашим искусством!

— Вон ты куда! На своего конька,— помигал Пастухов.— Но верно, верно. После него — нельзя шутить ни в жизни, ни в искусстве. Стыдно.

— Стыдно, ай как стыдно! — со слезой воскликнул Мефодий.— Поехали! Золотые мои, поехали дальше! Нельзя топтаться на месте!..

Они ладно выпили, и головы, будто дождавшись с этой рюмкой всеразрубающего удара, освободили их от пут и связей, и они побрели наугад по какому-то увлекательному городу без плана, где улицы переплетались, как нитки распущенного котенком клубка. Здесь все столкнулось и перемешалось — слезы, хула и радость, Французская революция и подписка о невыезде, Столыпин, высказавшийся за снятие с Толстого отлучения, святейший синод, решивший этого не допускать, безошибочность крестьянского глаза, когда он смотрит за всходами, права гражданина и человека, хрустальная пробка Мефодия, стихи Александра Блока, Кирилл в тюрьме, рассветное небо за окном, селедочный хвост в стакане, поцелуи, ругань, пустые бутылки, непротивление злу,— пока все вместе не превратилось в кашу-размазню и не потянуло ко сну.

Хозяин уложил Пастухова у себя на постели, сам устроившись с новообретенным своим жильцом — Мефодием, и они не слышали, как ожил, расшумелся и опять стал утихать холодный, неласковый день.

Очнувшись, они почувствовали необходимость поправить здоровье и отрядили больше всех страдавшего Мефодия за вином.

Но, едва успев выйти, он прибежал назад, хрипя потерянным за ночь голосом:

— Жив! Жив! Жив!

Он махал над кроватями длинным листом бумаги.

— Вставайте! Поднимайтесь! Он раздумал! Он задержался!

Косматые, в расстегнутых рубашках, они сгрудились над листом, почти разрывая его на части. Экстренное приложение к газете начиналось жирными буквами: «Спешим опровергнуть известие о кончине Льва Николаевича Толстого, распространившееся в прошлую ночь,— Лев Николаевич жив».

Они не глядели друг на друга. Мефодий присмирел. Не двигаясь, они с усилием прочитывали нанизанные столбиками телеграммы — сумятицу разноречивых слов, которые утверждали то, во что никто не верил, и отрицали — в чем все были убеждены. Пастухов приколол листок к стене. Цветухин отворил форточку. Принялись одеваться и убирать комнату.

— Я все-таки думаю — ненадолго. Задержался ненадолго,— сказал Пастухов.

— Разве угадаешь? — несмело возразил Мефодий.— Старичок большой крепости. Испытанный временем старичок. Может пересилить.

— Не болтай,— мрачно сказал Цветухин,— делай свое дело.

— Я же понимаю: такой благодарный повод! — обрадовался Мефодий, мгновенно исчезая за дверь.— Сию минуту!

Он и правда прилетел назад так скоро, точно обернулся вокруг себя на одной ножке. Опять сели за стол. Легко, как скатываются в овраг дети, они обрушились в шумную неразбериху, из которой только что с трудом их вытащил пьяный сон.

Двое суток подряд они казались себе то бесконечно счастливыми, то несчастными. Даже если бы они захотели, им не удалось бы припомнить, в каком порядке следовали пивная, театр, глинтвейн и ночевка на квартире Пастухова, стерляжья уха в трактире, пробуждение в номере Цветухина, оладьи на постном масле в обжорном ряду Верхнего базара. Мир стал качелями, либо взлетавшими в поднебесье, либо баюкавшими, как колыбель. Вдруг откуда-то врывался осмысленный беспокойством и болью уличный разговор:

— Ну как, еще жив?

— Помилуйте! Два дня, как умер.

— Что вы?! Это опровергнуто,— читал своими глазами.

— Значит, поторопились?

— Да уж скорее бы,— чего мучиться? Отмучился, довольно...

То неразборчиво, как на залитой чернилами странице, расплывались в памяти составление на почте каких-то депеш — в Мо-

скву, в Петербург. Депеши рвались, переписывались, неожиданно повторяя астаповские телеграммы, и почта сливалась с редакцией газеты, откуда опять поражающе ясно память выносила свежеотпечатанные строки: «Вечером позже температура 36,6, пульс 110, дыхание 36. Больной ел мало».

И вот, после тупых метаний в тумане, Пастухов увидел себя поутру на улице, точно нежданный подарок,— выспавшимся, с ощущением человека, приехавшего на новое место и обрадованного одиночеством. Никто не виснул у него на руках, не наговаривал в уши чепухи, не лез целоваться. Он был хозяином себе и молчал с наслаждением. Чувство желанной трезвости было собрано из приятных мелочей: он был выбрит, переодет, руки пахли мылом, зрение резко отделяло предмет от предмета, точно все вокруг было граненым.

Он издалека увидел людей перед редакцией, но не ускорил шага, а приблизился к окну сдержанно и покойно. Два артиллериста, надушенные одеколоном, отошли от толпы, и совсем молоденький подпоручик со счастливым лицом обратился к товарищу:

— А все-таки он заплакал и сказал: «А мужики-то, мужики как умирают!»

— Ты, что же, думаешь,— он боялся? Он ведь севастополец.

— А все-таки он позавидовал.

— Старикам тяжелее умирать: много знают.

Пастухов увидел за стеклом повешенную высоко над головой длинную полосу прибавления к номеру в широкой траурной рамке. Сверху глядел на людей живой старик. Пастухов заметил, что у него по-детски курчавые волосики на висках, и медленно прочел те слова, которые с уверенностью ожидал найти: «6 ч. 50 м. утра. (От нашего специального корреспондента.) Сегодня в 6 часов 5 минут утра тихо скончался Лев Николаевич».

Потом он пробежал глазами по заголовкам: «Опасное положение.— Последние минуты» — и еще раз полностью перечитал: «Сегодня в 6 часов 5 минут...» — и подписи пяти врачей. Потом стал выхватывать урывками: «...корреспонденты пошли на телеграф, не желая верить в неизбежный конец... Мы, корреспонденты, переживаем всей душой и сердцем последние минуты великого человека... Плачь, Россия, но и гордись!.. Вокруг квартиры страдальца тихо дефилируют корреспонденты...» Но ничего до конца не дочитал и опять вернулся к строчкам: «Сегодня в 6 часов 5 минут...»

Отойдя, он решил, что надо — домой. Он двигался в том уравновешенном темпе, в каком ходил на прогулки. Ему казалось — он продолжает упиваться ощущением трезвости. По-прежнему он видел каждый предмет с поражающей ясностью и резко. Исполнилась неделя с тех пор, как он думал о смерти, которую

ждали все, и он был уверен, что успел свыкнуться с ней и она уже не могла его поразить. Немного удивляла обрывочность мыслей. Почему-то возвращались одни и те же несвязные слова: «...от супруги своей Ясодары тихо дефилируют корреспонденты». Он отгонял убогую бессмыслицу и старался думать стройно, но пе получалось.

Дома было сыро и пахло ночлегом пьяных. Он открыл окна и печную трубу. Выпачкавшись в саже, он тщательно вымыл руки и с полотенцем через плечо подошел к столу.

Раскиданная рукопись напомнила ему, что он пробовал читать из пьесы нетрезвым своим друзьям, и Мефодий кричал, что он гений. Он внимательно сложил листы. Одна фраза постепенно выложилась в его сознании, и он не знал, принадлежит ли она ему или запала из перечитанных за неделю статеек: если бы обитатели иных миров спросили наш мир: кто ты? — человечество могло бы ответить, указав на Толстого: вот я.

Спокойно, с убежденностью осознанной правоты, Пастухов разорвал на клочки рукопись, и сквозняк подхватил и разнес по полу легкие обрывки бумаги. С гримасой презрения и боли он отвернулся от стола, пошел к кровати, постоял неподвижно и вдруг рухнул на постель. Уткнувшись лицом в полотенце, он заплакал навзрыд, как плакал в этой комнате, когда — маленького — его несправедливо и жестоко наказывал отец.

31

Меркурий Авдеевич взбирался по ступенькам ночлежного дома, ревизующим оком изучая обветшалую лестницу. Смотритель ночлежки — отставной солдат скобелевских времен — шел следом за хозяином. Мешков указывал тростью с набалдашником на подгнившие доски, торчащий гвоздь, сломанную балясину перил и оборачивался к солдату, безмолвно заставляя его смотреть, куда указывала трость. Солдат пристыженно качал головой. Так они добрались до помещения с нарами, где ночлежники, поеживаясь от холода, справляли утренние дела перед выходом в город за своей неверной поденной добычей.

В углу, около занавески Парабукиных, пожилой ершастый плотник точил на бруске стамеску.

— Взял бы топорик да починил лестницу,— обратился к нему Мешков.— Голову сломишь — взбираться сюда к вам.

— А мне к чему? Ваш дом, вы и починяйте,— легко ответил плотник, не отнимая рук от бруска.

— Ты что — в деревне? Не моя дорога — так не пройти, не проехать. Лестница-то общая?

— Небось деньги сбирать — так твое, а чинить — так обчее. Толстой какой нашелся. Обчественник.

Соседи по нарам засмеялись. Через узенькую щель занавески высунулась голова Парабукина с утонченными от худобы чертами лица и набухшим свежим синяком под глазом.

— Много ты понимаешь в Толстом,— слегка растерянно сказал Мешков.

— Понимаем,— вмешался Парабукин, откашливаясь.— Не вы один газетки читаете.

— А ты что здесь — чтения воскресные открыл, что ли? — спросил Мешков.— Толстовство, может, проповедуешь? Сколько раз говорено тебе, чтобы освободил угол? Ждешь, когда околоточный выселит?

Он обернулся к смотрителю:

— Ты чего глядишь? Сказано — очисть угол.

— Дак, Меркул Авдеевич, я ему, что ни день, твержу — съезжай, съезжай! А он мне — куда я на зиму глядя с детишками съеду? Сущий ишак, истинный бог.

— Я, Тихон, по-хорошему. Не серди меня, ищи другую квартиру,— сказал Мешков.— Мне подозрительных личностей не надо. За тобой полиция следит, а я тебя держать буду? Чтобы ты тут Толстым людей мутил?

— Задел вас Толстой! Поди, рады, что он богу душу отдал.

— Его душа богу не нужна.

— Еретик? — ухмыльнулся Тихон.

— Ты что себя судьей выставляешь?

— А кому же судить, как не нам? Он к нашему суду прислушивался.

— Какому это — вашему? Он был против пьянства, а ты пьяница. Вон морду-то набили, смотреть тошно.

— Против пьянства он был, это — конечно. А против совести не был.

Меркурий Авдеевич откашлялся, брови его сползли на глаза, он спросил внушительно:

— Ты что хочешь сказать про совесть?

В эту минуту занавеска раздвинулась, и Ольга Ивановна выступила из-за спины мужа. Затыкая под пояс юбки ситцевую розовую кофту в цветочках — под стать занавеске,— она заговорила на свой торопливый лад:

— Верно, Тиша, что верно, то верно! Он был совестливый. Он бедных людей не притеснял, граф-то Толстой, а всю жизнь помогал. Он бы мать с детьми на мороз не выгнал, а имел бы сочувствие.

— Что же к нему за сочувствием не пошла? Может, он чего

уделил бы тебе? А ты за него схватилась, как он помер. С ним теперь поздно манипулировать. Из могилы небось не поможет граф-то твой.

— Злорадуетесь, что еретик умер,— повторил Парабукин с язвительным превосходством, как будто вырастая над Меркурием Авдеевичем и беря под защиту обиженную Ольгу Ивановну.

— Глупости порешь,— строжайше оборвал Мешков.— Христианину постыдно радоваться чужой смерти. Сожалею, а не радуюсь. Сожалею, что старец умер без покаяния, понял? Не очистил себя перед церковью, а умер в гордыне, нечестивцем, вероотступником!

— Ну да! Нечестивец! Анафема! Гришка Отрепьев! Как бы не так! Он чище тебя! Чище всей твоей кеновии со свечками и с ладаном. Кеновия только знает, что всякое справедливое слово гонит.

— Не гонит слово, болтун, а хранит слово. То слово, которое есть бог. Тебе это не по зубам.

— Мне много что по зубам, Меркул Авдеевич. Вот когда в зубы дают, это мне не по зубам. А в рассуждениях я не меньше твоего понимаю.

— Я тебе в зубы не даю. Синяк-то не я тебе наставил.

— Надо бы! Вы дяденька осторожный, знаете, кто примет зуботычину, а кто и ответит.

— Грозишь? При свидетелях грозить мне вздумал?

Мешков осмотрелся. Вокруг стояли ночлежники, ожидая, к чему приведет спор. Ребячье любопытство размалевало их жадными улыбками, будто они собрались перед клеткой, у которой озорник дразнит прутиком рассерженную и забавную птицу.

— Что же это он — против хозяина людей настраивает? — сказал Мешков смотрителю, застегивая пальто на все пуговицы, словно решившись немедленно куда-то отправиться искать защиту.

— Ты... этого... ветрозвон! Прикуси язык-то,— проговорил солдат.

Ольга Ивановна загородила собой мужа.

— Молчи, Тишенька, молчи. Твоих слов не поймут. Мы с тобой бедные, бесталанные, никто к нам не снизойдет. А вам, Меркул Авдеевич, должно быть неловко: человек больной, несчастливый, чего вы с ним не поделили?

— Толстого не поделили,— опять высокомерно ухмыльнулся Тихон.

— Оставь Толстым тыкать! — прикрикнул Мешков, немного присрамленный Ольгой Ивановной, но все еще в раздражении.— Имени его произносить не смеешь всуе! Он дарами редкостными отмечен, а ты лохмотник, и больше ничего.

— Как запел! Дары редкостные! Выходит, против даров ничего не имеешь, себе бы пригребастал, в свои владения. Да беда — богоотступник. Шкура-то, значит, хороша, можно бы на приход записать, да своевольник, из послушания вышел, грехи в рай не пускают. А вот мне он — ни сват, ни брат, и до ума его мне не дотянуться, а я его славлю. Потому что он к истине человека звал. По правилам там звал или против правил — это мне все едино. А люди на него оглядывались, согласны с ним были или нет. Вон и ты оглянулся, Меркул Авдеевич, хоть и бранишься. И в тебе он человека бередит...

Взяв за плечи Ольгу Ивановну, Парабукин легонько отстранил ее и шагнул вперед. Говорил он тихо, тоскливым голосом, точно застеснявшись злобы, и обращался уже только к ночлежникам, обходя взглядом Мешкова, который смотрел прочь, через головы людей.

— Вы на фонарь мой под зенком не кивайте: подраться всякий может. А я сейчас не пью и потому понимаю, что — бесталанный,— Ольга Ивановна говорит правду. Жалко мне, что я на дороге у себя не служу. Ездил бы с поездами, приехал бы на станцию Астапово — сколько раз я там бывал в своей жизни! — приехал бы и постоял у того окна, у того дома, где он умер. Постоял бы, подумал: вот, мол, я из тех негодников, на которых ты взор свой направлял, Лев! Эх, что говорить! Начальник дороги послал ему на гроб венок от железнодорожников. Кабы Тихон Парабукин сейчас служил на дороге, стало быть, и от него был бы в этом венке какой листок или былиночка. А теперь выходит — я уж ни при чем. Эх, Парабукин!

— Такие слова ему, может, отраднее венка, если бы он слышал,— примиренно сказал Мешков,— зачем ему венок?

— Зачем венок,— передразнил Тихон.— Тебе незачем. Ты бы ему кол осиновый в спину вколотил.

Меркурий Авдеевич пошатнулся, тронул дрогнувшими пальцами руку солдата, ища опоры, шумно набрал воздуха, но не крикнул, а выговорил с кряхтеньем, будто отрывая от земли тяжесть:

— Ну, Тихон! Пеняй на себя. Хотел я твоих детишек пожалеть, да ты самого вельзевула ожесточишь. Собирай лоскуты! И чтобы твоего духа не было! А я — прямо в часть! В полиции ты запоешь по-иному! Там твоих манипуляций с графом не потерпят.

Он раздвинул людей, исподлобья следивших за ним, и зашагал между нар, устрашающе пристукивая тростью о пол.

— И с богом, и с богом! — напутственно послала вдогонку Ольга Ивановна.— Мы от вас хорошего не ждали.

Выпяченные глаза ее помутнели, уголок рта, запав глубоко, дергался, широкий лоб покрылся розовыми разводами. Порыв неудержимого движения охватил ее маленькое тело,— она кинулась к сундучку, который служил Аночке кроватью, открыла крышку и начала выбрасывать наружу тряпье вперемешку с одеждой, не переставая говорить:

— Свет не без добрых людей. Пожалеют бедных крошек. Не замерзнем. Аночка, одень Павлика. Вот чулочки. Нет, беленькие приличнее. И сама оденься. На, возьми. Надень кофточку. Ничего. Не умрем. Подвяжи чулочки тесемочкой, натяни, натяни повыше. Жили до сих пор, проживем и дальше. Вот, на — поясок, подпояшь Павлика.

Она хваталась то за одну вещь, то за другую, разглядывая на свет, откидывая в сторону, примеряя на себе и на Аночке, добиваясь одной ей известной красоты сочетанья жалких, давно негодных обносков.

Парабукин молча стоял у занавески. Лицо его было недвижно, он следил за женой в окаменении страха. Вдруг взглянув на него, Ольга Ивановна оборвала речь, быстро шагнула к нему и прижалась щекой к его груди — все еще широкой и большой.

— Не бойся, Тиша,— сказала она, схватив и сжимая его руки,— бояться нечего! Я обо всем подумала. И поговорила, с кем надо. Пойдем все вместе. Оденься и ты.

Она дала ему чистую косоворотку с вышивкой, прибереженную про черный день в сундучке, и он покорно сменил рубашку и надел стеганый рыжий пиджак, изготовленный неутомимым старанием жены.

Ольга Ивановна, отряхнув и пристроив себе на темя слежавшуюся шляпку голубого фетра с канареечным крылышком, дрожащими пальцами натянула резиночку под узел волос на затылке и, подняв на руки Павлика, пошла впереди. За ней — озабоченными, маленькими и строгими шагами — двинулась Аночка и робко последовал муж. Ночлежка провожала их серьезно, как будто поняв, что смешной праздничный наряд женщины извлечен из-под спуда как последнее оружие нищеты против жестокости мира. Только приняв жизненно важное решение, Ольга Ивановна могла обратиться за подспорьем к своему счастливому, но уже позабытому прошлому. Никто не проронил ни слова, пока Парабукины шествовали между нар. И только когда их шаги затихли на лестнице, плотник, уложив в ящик свои рубанки, стамески и сверла, вздохнул:

— Завьет теперь горе веревочкой наш батя!..

Парабукины поднялись по взвозу и обогнули угол. Не доходя до калитки школы, Ольга Ивановна спустила Павлика на землю,

одернула на нем рубашечку, пригладила выпущенные из-под самодельной шапочки светлые, по-отцовски курчавые волосы и взяла его за ручку. Он уже ходил. Переваливаясь, загребая одной ножкой, он боком потянулся за матерью.

Поравнявшись с калиткой, Парабукины не вошли во двор, а, сделав еще два-три медленных, неуверенных шага, остановились перед воротами, которые стояли настежь.

Подле квартиры Веры Никандровны ломовой извозчик кончал нагружать воз мебелью и узлами. Неотъемлемая вершина таких возов — самовар уже сиял между ножек перевернутого стула. Извозчик перекидывал через гору погруженного скарба веревку и натягивал ее, продев конец под грядку телеги и упершись ногой в колесо. Вера Никандровна вышла из дому с двумя лампами в руках. Не могло быть сомнения: она уезжала с квартиры.

Ольга Ивановна пугливо взглянула на мужа. Он уже разгадал ее намерения и понял, что они терпят крах, но молчал. Она сорвалась с места, волоча за собой отстававшего Павлика.

— Милая,— воскликнула она, кивая Вере Никандровне с восторженной приветливостью,— а мы — к вам!

Она выдвинула перед собой Павлика, словно уверенная, что именно он — в шапочке и тесемочном пояске, на своих ненадежных, еще не выпрямившихся ножках — даст исчерпывающее объяснение всему, что происходило.

— Мы — к вам, простите нас, пожалуйста! Я бы ни за что не посмела. Но ведь вы, в разговоре,— помните? — сказали, что уж если нас выгонят из ночлежки, то вы дадите нам как-нибудь приютиться. Так вот, милая Вера Никандровна, Мешков выкинул нас, несчастных, на улицу, как мы есть.

Она повела рукой от Павлика к Аночке и к мужу и тут же одернула на детях платьица и поправила свою шляпку, сбившуюся набекрень.

— Но ведь вы видите,— в смущении проговорила Извекова, показывая глазами на лампы, которые неудобно прижимала к бокам.

— Да! Что это такое? Куда это вы? — стараясь изобразить непонимание, вопрошала Ольга Ивановна.

— А меня, собственно, тоже выгнали.

— Кто же это посмел?

— Ах! — улыбнулась Вера Никандровна.— Все так просто! Попечитель учебного округа приказал перевести в другое училище. Я переезжаю на край города, в Солдатскую слободку.

— Господи! Да как же это возможно?

— Почему не возможно? Сын у меня в тюрьме,— какое же я могу внушать доверие?

Она сказала это с безропотной горечью и так убежденно, что Ольга Ивановна невольно протянула к ней руки, вместе с тем оглядываясь на мужа, словно призывая его к сочувствию.

— Тиша! Мы бы ведь помогли Вере Никандровне перебраться на новоселье, правда? Да ведь сами-то мы в каком положении! На мостовой, прямо на мостовой очутились!

— А что ж, на мостовой! — презрительно сказал Парабукин.— Привыкать, что ли?

— Да ведь — дети, дети! — с мольбой выкрикнула Ольга Ивановна.

— Нет, нет, спасибо вам, не беспокойтесь, я сама,— сказала Вера Никандровна, утешая и как будто извиняясь.

— Справимся, не впервой,— вдруг громко протянул извозчик и сдернул с загривка лошади конец вожжей.— Тронулись, хозяйка!

Неожиданно Аночка бросилась к Вере Никандровне и, схватив за подставку лампу, так же торопливо, как мать, забормотала:

— Я понесу, дайте мне, дайте! Я провожу. Я пойду с вами. Дайте, ну дайте, пожалуйста!

Она тянула и тянула лампу, силясь вырвать ее, а Вера Никандровна крепче и крепче прижимала лампу к себе, глядя на девочку вспыхнувшим, горячим взором. Нагнув голову, она поцеловала Аночку в лоб и шепнула с нежностью:

— Не надо. Пусти. Оставайся с мамой. Хорошо? Как-нибудь потом придешь ко мне.

Она быстро обратилась к Ольге Ивановне:

— Вы простите, что не могу вам помочь: на новой квартире у меня всего одна комнатка. Но если желаете, Аночка может поселиться у меня. Я возьму ее с радостью.

— Ах, ну что вы! Как же это можно? — завосклицала Ольга Ивановна, вытирая слезившиеся глаза кулачком.— Мы вовсе не хотим быть вам в тягость. Зачем же? Да и Аночка — моя единственная подмога, как же я без нее?! Вот если позволите, может, мы поселимся пока тут, на этой вашей квартире? Пока не найдем угол. Право! Ну, хоть бы на денек-другой. Пока квартира пустая, а?

— Квартира эта не пустая: сегодня сюда приедет новый учитель.

— Ах, господи! Как это все... право! Ну а что вы думаете,— с ожившим приливом решимости спросила Ольга Ивановна,— что вы думаете, не пойти ли нам со своим горем к дочке Мешкова?

— К Шубниковой? Почему же? Она человек сердечный. Непременно пойдите.

— Закалякалась, хозяйка,— снова поторопил извозчик, взял лошадь под уздцы и начал поворачивать задребезжавший всею кладью воз.

— Вот хорошо, вот хорошо! И что это мне сразу на ум не пришло? — трещала Ольга Ивановна.— Тиша, возьми Павлика на руки. Пойдем, Аночка. Ты ведь Лизу знаешь? Пойдем. Она теперь барыня, богатая, счастливая, Лизавета Меркурьевна. Она нам поможет. Пойдемте скорей!

Все тронулись за лошадью и прошли двором под неумолчное приговаривание суетившейся Ольги Ивановны. Пока извозчик закрывал певучие ворота, они прощались, высказывая друг другу пожелания добра и удачи. Потом Парабукины двинулись гуськом, во главе с Ольгой Ивановной, и Аночка, обернувшись, помигала Извековой, как подружке, и Павлик, покачиваясь на руках отца, долго, внимательно глядел на лошадь через его широкое плечо.

Вера Никандровна вспомнила, как она смотрела вместе с Кириллом на примечательное шествие Парабукиных по двору, когда впервые узнала это странное семейство, и ей стало тяжко. Она перевела глаза на школу. Три оголенных тополя кланялись ветру и постукивали сухими ветвями. В стенах дома, вырываясь через открытые форточки, зазвенел голосистый звонок, и тотчас переплелись в озорной хор высокие крики школьников: кончился урок.

Больше двадцати лет прожила Вера Никандровна в этих стенах, и этот голосистый звонок, эти озорные мальчишеские крики сделались неотделимой частью ее крови. Здесь начался путь, которым она несла свою свободу, свою любовь, свое горе. Здесь родился Кирилл, и когда она мучилась в родах, все тот же голосистый звонок расплывался по дому, и она старалась считать уроки — первый, второй, третий — и с последним, четвертым уроком появился на свет ребенок, и его новорожденный писк слился с веселым криком катившихся по лестнице отпущенных домой мальчишек. Муж Веры Никандровны подошел к ней, опустился на колени и поцеловал ее в покрытый холодным потом лоб. Здесь, на чердаке, в шуме и свисте голубиных крыльев, проходили ребячьи забавы Кирилла, и — уже юношей — он забирался сюда с любимой книжкой, устраиваясь у слухового окна, которое называл своей дачей. Тут, в этом доме, провел он свой последний вольный день, и отсюда его увели в неизвестность.

Весь этот до боли памятный путь обрывался теперь, как тропинка, которая, затерявшись в побережных зарослях, привела к омуту. Все, что сохранилось от былого, умещалось теперь на возу, и Вера Никандровна пошла за этим возом.

Телега громыхала по булыжнику, извозчик, шагая рядом, покручивал в воздухе концом вожжей и подтыкал изредка под веревку какую-нибудь выскользнувшую спинку стула. Тяпулись улицы, сначала — безмолвные, малолюдные, за ними — шумные, с рокотом пролеток, лязгом трамваев, потом снова — покойные и мол-

чаливые. Показалась далекая грустная гладь серой реки с неприютными песками. Мостовая кончилась, и колеса беззвучно покатились по пыльным колеям между кочек подмерзшей грязи. Вера Никандровна шла и шла обок с возом, прижав к себе, как драгоценность, пропахнувшие керосином лампы, глядя на вымазанную дегтем чеку заднего колеса. Не было ни усталости, ни желания прийти скорее к цели, ни даже воспоминаний, как будто оставленных позади, вместе с белым домом, оградой и качающимися на ветру голыми тополями.

Новое жилище Извековой — флигелек в два оконца — обреталось в протяженном ряду домишек, на огромной площади-пустыре. За пустырем лежали разъезды товарной станции и виднелись чумазые корпуса депо. Колющие, как иглы, свистки паровозов либо тягучие стоны гудков то налетали на пустырь и проносились по крышам флигельков, то уходили далеко в сторону гор и там растворялись в тишине. По ночам явственно слышалось сердитое фырканье пара, звонкий стук молотов по железу, обрывистый скрежет буферных тарелок, передававший от вагона к вагону предупреждающее: держи-держи-держи-держи! Все было навязчиво-ново для слуха.

Вера Никандровна еще не обжила новоселья,— не приноровилась ходить с ведрами к водоразборной будке, запирать на замочки двери, на болты — оконные ставни, топить капризно дымившую крошечную голландку,— когда, нежданно, поздней ночью к ней постучали с улицы.

С тех пор как взяли Кирилла, она постоянно ждала какого-то внезапного, страшного или радостного прихода, который должен был бы положить конец изнурительной тоске и принести полную перемену в судьбе. Иногда ей казалось безразличным, будет ли это поворот к еще худшему несчастью, чем то, которое она несла, или — к облегчению и покою. Но ожидание было режущим, воспаленным, оно подрывало силы, и терпеть его становилось все труднее.

Стук в окно ночью, в маленьком, все еще чужом, затерянном на пустыре флигельке, испугал Веру Никандровну. Она укуталась в шаль, но не вышла и не зажгла света, а, подойдя к стене, стала дожидаться повторения стука. Было ветрено, и в пазах домика распевали тонкие флейты. Паровик, взвизгнув, толкнул поезд пустых гулких вагонов. Состав был длинный, и куда-то далеко-далеко помчалось, затихая, тревожное: держи-держи-держи-держи! Потом стук в окно повторился. Он был упрямее, но в ударах его заключалось что-то не вполне уверенное, деликатное. Вера Никандровна решилась выйти в сени. Там было шумнее — флейты перебирали свои лады смело и бойко. Вера Никандровна притаи-

лась и ждала. Тогда отчетливо раздались три шага: кто-то перешел от окна к двери, и тут же дверь заныла под ударами кулака.

— Кто это? — поперхнувшись, спросила она.

— Извекова, учительница, здесь проживает? — расслышала она негромкий мужской голос.

— А кто это? — повторила она, все еще чувствуя стеснение в горле.

— Да вы не сомневайтесь, не обижу,— отозвался голос с таким радушным спокойствием, что у нее отлегло от сердца, и она немного овладела собой.

— А что вам надо?

— Писулечку передать насчет одного дельца.

— Вы скажите — от кого писулечка и что за дельце.

— Это нам неизвестно,— ответил голос тише и, помешкав, добавил вопросительно: — Но коли вы самая Извекова, то, может, дельце касается до сынка вашего?

У нее вырвалось громко:

— Сейчас я зажгу лампу.

Но вместо того чтобы идти в комнату за лампой, она со всей силой обеих рук ударила снизу по крючку и отворила дверь.

Едва заметно отделяясь от кромешного мрака, в сени ступил человек, показавшийся ей необыкновенной вышины. Принагнув голову, он сделал шаг, оглядываясь и будто примеривая себя к тесноте.

— Где письмо? Давайте! — потребовала Вера Никандровна шепотом, точно перепугавшись шума, который наделала крючком, и уж забыв свой только что пережитый испуг перед пришельцем.

— Огонек вздуть придется,— сказал он,— сумка-то у меня глубока, не нащупаю.

— Да вы не обманываете?

— Теперь чего обманывать: двери-то настежь.

Он говорил с насмешкой, но так ласково, что она, не видя ни его лица, ни глаз, ни того — держал ли он что-нибудь или руки его были пусты,— по одной речи его поняла, что это — старик, и доверилась ему. Очень долго она искала ощупью спички — на шестке, в печурках, в ящике кухонного стола. Тогда, терпеливо подождав, гость похлопал себя по бокам, шаря коробок, и, найдя, спросил:

— Где у вас будет лампочка-то?

В разгорающемся свете Вера Никандровна увидела худое, неплотно обтянутое морщинистой кожей лицо с белой бородкой клинышком и прищуренными глазами. Подпоясанная ремешком суконная куртка, облачавшая старика, поблескивала въевшимися в

материю черными пятнами машинного масла и, видно, была жестка, как лубок. Он снял такой же масленый картузик, положив его на табуретку, и прислонился к косяку, доставая седой головой притолоку.

— Значит, вы самая Извекова и будете?

— А как вы думаете? Пустила бы я вас, если бы была еще кем?

— Я к тому — может, с вами кто проживает?

— Нет, я одна!

— Так. Значит, Вера Никандровна?

— Да уж не шутите ли вы?..

— Дело ночное. Шутить не с руки. Для убежденности спрашиваю.

— Ну, да, да! Я — та самая Вера Никандровна, мать Кирилла,— если вы ищете мать Кирилла Извекова. От него у вас письмо, да? Ну, давайте же, давайте,— почти приказывала она, протягивая руки и приступая к старику.

Шаль сползла с нее одним концом до пола, открыв ночную, в прошивках кофточку, на которой лежала кое-как заплетенная темная косица.

Старик понимающе вздернул и опустил брови, переложил картузик с табуретки на стол, присел и сказал с дедовской хитрецой:

— От кого писуля — сами почитаете. Мы ее, раз-два, достанем из сумочки.

Держась за края табуретки, он вытянул одну ногу, подпер задник пыльного сапога подошвой другой ноги, спихнул головку, взял ее, нагнувшись, в руки и медленно стянул с ноги голенище. Потом он вытащил из сапога стельку и слегка отряхнул ее, качая головой, видимо недовольный ее поношенным видом. Потом опять сунул руку в сапог и начал что-то выковыривать из носка.

— Ах, как вы долго копаетесь! — не вытерпела Вера Никандровна.

— Не иначе так,— мирно согласился старик.— Подальше положишь — поближе возьмешь.

Наконец он вынул согнутую в скобку, по форме носка, закатанную бумажку и подал ее Извековой.

Она раскатала бумажку, припустила огня в лампе и стоя начала разбирать мелко, но старательно выведенные буковки письма.

«Уважаемая Вера Никандровна. Пишет вам друг вашего сына. Я, правда, старше Кирилла, но зовет он меня товарищем, и я его так же. Пишу для того, чтобы вас утешить в вашем беспокойстве за него. Потому что дело для него закончилось не очень плохо, на-

оборот, гораздо легче, чем могли ожидать. Вам, может быть, уже известно, а если неизвестно, то скоро узнаете, что Кирилл получил ссылку на три года в Олонецкую губернию. Места не очень тяжелые, хотя северные. Там он будет не один. Там народ есть порядочный, и ему помогут. Я вам могу обещать, что на первых порах Кирилла поддержат с довольствием и в отношении квартиры. Деньгами тоже. Деньги туда можно будет посылать, когда адрес будет точно известен. Он вам и сам напишет. Литература найдется, так что время для него не пропадет. Там есть образованные люди, в смысле науки он не отстанет, а пойдет вперед. Вера Никандровна, хочу сказать вам еще, что Кириллу дано знать, что вы здоровы. Наверняка не могу обещать, но, может, подвернется случай послать ему письмо. Поэтому вы приготовьте, только небольшое. И еще скажу, что вы в своем сыне можете не сомневаться. Он молодой по годам, а иному старшему годится в пример. Срок быстро пройдет, и Кирилл станет вам опорой, какой вы, может, не ожидали. Не жалейте, что он наложил на плечи ваши испытание, а ему испытание пойдет на пользу, как крепкому человеку. Скажу в заключение, что он замахнулся на большую жизнь и тоже никогда не пожалеет, потому что замахнулся по силам. Будьте здоровы. Приготовьте письмо. А это писание, как прочитаете, уничтожьте без следа».

Вера Никандровна подобрала шаль, закуталась, обернулась к старику. Он обулся и держал картузик на коленях. Пристальный, будто покровительственный, тонкий взор его выражал удовольствие. Она старалась угадать в этом взгляде все, что старик мог знать, и уже понимала, что он как бы создан для того, чтобы под прикрытием добродушной усмешки, за лукавинкой прищуренных глаз таить все, что ему известно. Но она не могла не спросить, что в эту минуту казалось самым важным.

— От кого же это письмо?

— Не обозначено? — изумился старик и сожалительно потряс головой.— Вот те на!

— Вам нельзя говорить, да? Но вы ведь знаете, кто вас послал, правда?

— Да что же послал? Ноги есть — и ступай. Вдаваться не будешь — почему да зачем.

— Но скажите, скажите! Могу я ответить этому человеку? Коротенькой записочкой? Вы передадите?

— Зачем писать, голубушка Вера Никандровна? Память у меня не отшибло, я повторю, что вы накажете, слово в слово.

— Всего несколько строчек, просто — поблагодарить,— сказала она мягко.

— Да ну, уж пиши,— с прежней лаской ответил он.— Ждать-то мне не очень...

— Я сейчас, сейчас!

Она побежала в комнату и тотчас вернулась, на ходу вырывая из школьной тетрадки листок бумаги. Все так же, не садясь, наклонившись к лампе, она стала писать карандашом, и шаль опять медленно начала скатываться с ее спины.

«Вы не захотели, чтобы мне было известно, от кого я узнала такую горькую весть о своем сыне. Но я вижу, вы — его друг и, значит,— мой друг. Спасибо вам, дорогой друг, за помощь, которую вы обещали моему мальчику, и за участие в моем горе. Я тоже верю, верю, что он перенесет страдание с тем достоинством, которое его, кажется мне, отличает. Но сколько опасностей ждет его на пути, сколько опасностей и мученья! Помогите ему, раз вы научили его звать себя товарищем и раз он зовет вас этим именем! А главное, не бросьте его тогда, когда он будет плох, когда от него отвернутся из-за его слабости или малодушия, в час усталости, отчаянья или пошлого соблазна, если такой час придет. Я же обещаю вам, что он не услышит от меня ни слова горечи и не узнает ни об одной моей слезе. Потому что теперь я знаю от вас, что он сам выбрал дорогу, по которой идет, и пусть я буду ему посохом, а не сумой с камнями на этой дороге. Поможем ему делать большую жизнь, если он почувствовал в себе силу ее сделать. Еще раз — большое вам спасибо, неизвестный мне друг и товарищ. Если будете раньше меня писать ему, напишите, что я благословляю его своим материнством».

Она тщательно скатала записку в трубочку, как было скатано письмо, и подошла к старику. С торжеством окончившего возвышенный труд человека и взглядом, умеющим постигать людей, она всмотрелась в его лицо.

— Вот,— сказала она тихо,— передайте это...

Она приостановилась и вдруг, набравшись духу, закончила решительно:

— Передайте Рагозину.

Старик быстро нахлобучил картузик, встал и сунул пальцы за поясок.

— Сами, голубушка, передавайте, коли больше моего знаете,— ответил он.

— Да я не больше знаю,— улыбаясь, сказала она.— Я только слышала, что есть такой человек, и думаю, что это он прислал мне письмо.

— А думки твои бессмысленные ни к чему. Мне пора.

Он стоял, не вынимая рук из-за ремешка, она — протягивая ему записку.

— Делай-ка лучше, что он там наказал,— проговорил он сурово.

— Кто — он?

— Ну, про что он тебе распорядился?

Старик шагнул к столу и взял письмо.

— Что вы хотите? Нельзя! Это мое! — почти закричала Вера Никандровна.— Отдайте!

Шаль упала ей в ноги, косица рассыпалась на пряди, она тянулась к старику, стараясь вырвать письмо. Он оттолкнул ее властно, подошел к печке, бросил письмо на шесток и достал из кармана спички.

— Прочитала? — спросил он грубо и сам ответил: — Прочитала. Запомнила? Запомнила. Баста. Делай на моих глазах, что наказано. Поняла?

Он чиркнул спичку, зажег письмо и спокойно дождался, пока пламя, обрадованно взлетев, сникло и пропало. Он взял в пригоршню пепел и растер его ладонями.

— Давай, что ль, свою писульку,— буркнул он добрее.

Она отдала записку и неожиданно, с каким-то благодарным светом на горящем лице, сказала:

— Погоди.

Она распахнула створку шкафчика в столе и достала бутылку темно-зеленого блестящего стекла. Попробовав вытащить пробку, она сломала ноготь и принялась разыскивать штопор.

— Погоди егозить,— отечески остановил гость.

Коричневыми покривленными пальцами он подцепил пробку, как клещами, и легко вытянул ее из горлышка. Вера Никандровна наполнила стаканчик маслянистой исчерна-рыжей наливкой. Старик снял картузик.

— А себе? — сказал он.

Она налила рюмку. Он стер указательным пальцем клейкую каплю, тяжело сползавшую с бутылки, облизал палец, приподнял стаканчик, слегка подмигнул маленьким сощуренным глазом, спросил:

— За сына, что ль, за твово?

— Ты знаешь его? Да?

Не отвечая, он выцедил наливку до дна, зажмурился и потряс головой.

— Вишневка?

— Сливянка. Так знаешь моего Кирилла?

Все еще не размыкая туго сжатых век, он крякнул:

— Язви-тя! Прямо — престольная, ей-богу.

Потом чуть-чуть приоткрыл глаза и еще раз подмигнул:

— Сына-то?

Он вытер губы, одним движением забрав в кулак и потянув клин бороды.

— С лица-то он в тебя...

— Да, да, он очень похож! — восхищенно подхватила она.— Где ты его видел? Когда?

Счастливая, взбудораженная нетерпеньем, она ждала его рассказа, но он сразу нахмурился, аккуратно впихнул записку за голенище, деловито поднялся, подал руку.

— Благодарим за угощенье. Нам пора.

Не совсем ловко сгибаясь, он вылез в сени, и там она уже не решилась повторять расспросы. Он исчез в том же мраке, из которого явился, безмолвнее и внезапнее, чем пришел.

Вера Никандровна не легла спать. Она сидела на постели до тех пор, пока рассвет не прочертил ровненькие линеечки в щелях ставен. Она вышла на улицу.

Утро было по-ноябрьски злое, белесые тучи свисали на землю, и со станции тяжело поднимались к ним густые, медлительные дымы. Они будто состязались в разноцветности окрасок,— сизо-синие, золотисто-рыжие на путях, огненно-багровые, вишнево-черные над цехами депо, они, как косы — лентами, были перевиты молочными струями пара, перегонявшими их по пути к небу, где все соединялось в сплошную нависъ гари.

Вера Никандровна долго стояла, глядя на незнакомую борьбу дымов, которая словно грозила захватить собой весь мир. Запахи угля, нефти, пережженного масла и красок накатывались временами через огромный, застеленный пылью пустырь. Множились, распространялись, вырастали железные стуки и скрежет.

Но утренний свет прибывал и прибывал неуклонно, и ей казалось — она уже неотделима от маленького незаметного флигелька, у которого встречала это утро и который теперь надолго становился ее новым домом.

Она открыла ставни окон.

32

Вскоре после свадьбы Лизы выдался золотой день, точно затерявшаяся карта из давно сыгранной колоды. Решено было отменить всю намеченную программу удовольствий и идти на яхте.

За рулем сидел Витенька, на парусах менялись двое его закадычных друзей. Лиза устроилась на носу. Ветер дул боковой, шли попеременно правым и левым галсом, выписывая широкую

кривую от песков к берегу и назад к пескам, и Лиза вскрикивала на поворотах, когда перекидываемый парус валил яхту с борта на борт. Лизе не было страшно, она вскрикивала от удовольствия и потому, что это веселило яхтсменов и они смеялись. Яхта была крашена в белое с голубым и носила имя «Лепесток». И правда, легко послушная, она летела по бутылочно-зеленой чешуйчатой волне, и парус ее был похож на загнутый край белого лепестка.

Когда вышли на стрежень, Зеленый остров развернулся всею ширью своих зарослей. Они уже перекрасились по-осеннему — ивово-серебряная поредевшая листва была почти проглочена лимонным тоном, местами — в пятнах табачного оттенка, нежно сливавшегося с неаполитанской желтизной песка.

Шипуче вкололся киль яхты в податливый берег острова, и шумное щелканье хлеставших друг друга ветвей тальника заполнило собою весь простор между рекой, землей и синим небом.

Все выпрыгнули на берег, зачерпнув башмаками рассыпчатого тонкого песка. Раскинули вместо ковра большой парус, расставили посуду. Витенька попробовал свой тенор. Это был голос неискушенного, любящего себя слушать певца, он высоко поднялся и быстро упал, как загоревшаяся солома, и Лиза удивленно вытянула шею, открывая в муже неизвестное и довольно внушительное качество. Выпив вина, попробовали спеть хором, но ни одной песни никто не знал до конца. Дружнее всего получались студенческие куплеты, которых тоже не помнили толком, но зато повторяли с удовольствием.

От зари до зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты шатаются.
А Харлампий святой,
С позлаченной главой,
Смотрит сверху на них, улыбается.
Он и сам бы не прочь
Прогулять с ними ночь,
Да на старости лет не решается.
Но соблазн был велик,
И решился старик,—

дальше что-то выходило нескладно, хотя всем было известно, что старик спустился со своих высот, отвел со студентами душеньку, за что и был исключен из святого сословия неумолимым небесным советом.

Почему-то и Витюша, и — особенно — Лиза взгрустнули, заговорив о бесшабашной жизни. В самом деле, судя по рассказам, какая прелесть московские ночные чайные, где извозчики едят яичницу и тертую редьку; как уютно сидеть на бульваре, перелистывая конспект лекций, а иногда и задремывая на плече друга;

как должны развлекать переезды с корзинкой белья, подушкой и связкой книжек от одной хозяйки к другой; как поэтичны походы на Воробьевы горы, откуда видны сотни газовых уличных фонарей и фейерверки народных гуляний; как забавно сдавать друг за друга зачеты рассеянным профессорам или ходить всем по очереди в одном и том же мундире на вечеринки.

— Жалко только, что эти студенты лезут в политику и портят себе веселую жизнь,— сказал Витюша.

— Да,— согласился приятель,— занимаются сбором денег для ссыльных, заводят оружие, потом устраивают беспорядки. Тут, на острове, есть место, куда студенты приезжали учиться стрелять. Хотите, покажу?

— Недалеко?

— Вон, где большие деревья.

Решили пойти смотреть. Тальник гибко расступался, пропуская тянувшихся гуськом пришельцев, и тотчас плавно смыкал свои прутья за каждым в отдельности, так что казалось, будто чудовищный змий ползет зарослями, распяливая и сжимая кольца одночленного своего тела. Здесь человек терялся, как иголка в стоге сена, и недаром Зеленый остров был излюблен всеми, кто искал надежного уединения,— рыболовами, донжуанами, подпольщиками, самоубийцами, ружейными охотниками, беглецами. Природа покровительствовала равно всем, казня человеческие страсти мошкарою и комарами, вознаграждая ландшафтом, купаньем, привольным отдыхом на горячем пляже. Расцветками своих одежд остров отвечал самой утонченной мечте горожанина, и теперь, в осеннюю пору, озерца, заводи, лозовой подлесок, рощицы и одинокие деревья соединяли в себе удовлетворение и сладость после боли, как чувство матери после родов.

Вышли на поляну, окруженную ветлами и ольхою, между которыми поднимался бледноствольный косоплечий осокорь. Картина была уже подготовлена к переходу на зиму — помятое сухое былье на земле носило палевую окраску, деревья оголились, и небо ярко прорезывалось сквозь темную сеть их ветвей.

Объемистый ствол осокоря на высоте от пояса до головы человека был начисто облуплен от коры, и белая древесина его превращена в решето следами глубоко засевших пуль. Витюше удалось выковырнуть ножом одну расплющенную пулю, и приятели поспорили — какому оружию она принадлежит.

— Конечно, браунингу,— говорил Витенькин друг,— потому что теперь у боевой дружины только браунинги. Я знаю.

— А почему ты знаешь, когда был сделан выстрел?

— Потому что пуля не успела проржаветь. И потому, что она на самой поверхности. Старые пули сидят в глубине, а новые на

поверхности. Ты что думаешь? Весь ствол насквозь забит свинцом. Видишь, дерево-то высохло.

Он потянул книзу большой корявый сук, который с хрустом отломился.

— Как хворост. Ты что думаешь? Может, в это дерево стреляла еще сама Перовская. Она сюда приезжала на сходку.

— А кто это? — спросил Витюша.

— Много будешь знать, скоро состаришься. Вон наши мальчишки, которых летом посадили в тюрьму, больно много знали. Они этой весной тоже сюда приезжали с браунингами, я был на рыбалке, видел.

Лиза слушала с увлечением и так внимательно рассматривала осокорь, будто хотела навсегда унести в памяти каждую щепочку его измочаленного ствола, каждую ямку опаленных следов стрельбы.

Витюша, подойдя к ней, вдруг сильно ущипнул ее два раза в ногу. Она вскрикнула.

— Ты что? — недоуменно спросил он.— Тебя кто-нибудь укусил?

Она ничего не могла ответить,— его лицо выражало совершенно невинное беспокойство. Но тут же с капризной скукой он сказал:

— Ну, нагулялись, довольно. Надо ехать домой.

Его пробовали отговорить, но он заупрямился: у него разболелась голова, наверное — от солнца, и он уверял, что теперь, конечно, расхворается.

На обратном пути он не хотел ни править, ни держать парусов, а уселся на носу, заняв место Лизы, и отпустил только одно слово рулевому, когда у того на повороте сорвалась рука и яхта едва не хлебнула воды:

— Шляпа!

В яхт-клубе, оставшись вдвоем с мужем, Лиза спросила, что с ним происходит, но он сделал вид, будто его окружает только свежий воздух. Она шла за ним с ощущением наказанной. Он нанял лихача и привез ее домой, не проронив ни звука.

Он заперся у себя в комнате и не подавал голоса до вечера, пока не пришла Дарья Антоновна, которой он пожаловался через дверь на нездоровье. Лиза должна была выслушать упреки тетушки: как можно действительно не позаботиться о молодом супруге? Может быть, ему нужен компресс на лобик или грелочку к ногам, а может быть, надо послать за доктором? Стоя перед дверью, расписанной под дуб, и наклонив голову набок, чтобы лучше разбирать ответы больного, Дарья Антоновна вела переговоры:

— А градусник ты не поставил?

Нет, оказывается, градусника Витенька не ставил.

— Но мыслимое ли дело без градусника?

Оказывается — мыслимое.

— Ну, а испарина у тебя есть?

Испарины никакой не было.

— А может, тебя знобит?

Нет, ни капельки даже не познобило.

— Ну, а если только голова, так ведь надо принять что-нибудь внутрь.

А вот принять Витенька ничего не хотел. Он хотел совершенно отдаться страданию, если уж его до этого довели.

— Ах, довели? — ужаснулась Дарья Антоновна, направляя осуждающий взор на Лизу.— Но ведь вот и Лиза стоит здесь у двери и тоже страдает. Так, может, вы тогда лучше вместе будете мучиться,— все-таки облегчительнее, а?

Но на такое лукавство Витенька вовсе не откликнулся.

Уже поздно ночью, когда Лиза засыпала, он появился у постели — в халате и мягких туфлях. Даже усики его раскрутились и повисли, лицо же решительно осунулось и затекло, как будто от излишнего сна. «Не проспал ли он на самом деле весь вечер?» — подумала Лиза. Но нет, Витенька одновременно крайне отличался от человека спросонья: он дышал, как скороход после огромного пробега.

— Если ты считаешь меня идиотом, то напрасно! — распаленно выдохнул он.

— Но ответь же мне, почему ты вдруг переменился? — с искренней тоской воскликнула Лиза.— Что за мысль тебя мучает?

— Желаешь знать мою мысль? Я скажу. Я все равно сказал бы. Я не люблю скрытничать, я прямой. Но ты тоже не скрытничай, для меня это — острый нож, слышишь?

Он наклонился над постелью.

— О ком ты думала на острове, когда стояла у дерева? О ком? Когда мы рассматривали пулю,— о ком?

— Я... о ком? — переспросила Лиза, приподнявшись на локтях и слабо отодвигаясь.— Ни о ком.

— Нет, врешь! — сказал он, следуя за ее движением, так что она все ближе слышала его дыхание.

— Я никогда не говорю неправду.

— А вот говоришь! Не хочешь признаться, что думала о своем Извекове? Я ведь знаю, чтó у тебя было с Извековым! Молчишь? Мне ведь все рассказали, все как есть!

Он продолжал нависать над ней, и Лиза не узнавала его: не то он превращался в младенца, не то дряхлел на виду, и постарев-

ший рот его дрожал от обиды. Потом он распрямился, словно с торжеством убедившись, что произвел необходимое впечатление, и голосом судьи, читающего приговор, объявил:

— Если ты думаешь, что мы поедем в свадебное путешествие, то ошибаешься. Путешествие не состоится.

— Я тебя не принуждаю.

— Ты не имеешь права меня принуждать!

— Хорошо: я тебя не прошу.

— Ага! Ты обиделась! Значит, я тебя разгадал! Если бы я ошибся насчет Извекова, ты не обиделась бы. Имей в виду: я читаю твою душу насквозь!

Он неожиданно всхлипнул и, сгорбившись, пошел из спальни, волоча пришитый к халату длинный пояс с красными помпонами.

Лизу поразило эффектное, почти актерское выполнение семейной сцены, но ей стало жалко Витеньку, и сначала она готова была как-нибудь скорее загладить ссору. Он представился ей очень молодым, гораздо моложе, чем ощущала она себя. Ему недоставало сильного влияния, как распущенному ребенку, и Лиза серьезно обдумывала — с чего начать, чтобы постепенно исправить его характер? Ее чувство к нему было, конечно, несвободно. Поэтому она испытывала подобие вины перед ним и почти догадывалась, что он должен пережить разочарование. Может быть, оттого она его и жалела. Он ждал от нее страсти, и она тоже мечтала отдать свою нежность, но еще боялась окончательно сознаться, что могла бы отдать ее полностью только кому-то другому. Ей стало ясно, что если бы она захотела чистосердечно объясниться с мужем, то надо было бы говорить о самом главном, а самое главное было то, что она вынуждена была скрывать. И она подавила желание скорее загладить ссору. Ведь кто-то из двух должен был бы просить извинения. Если бы стала просить она, значит, она признала бы, что он прав. Но стоило ей это признать, как неизбежно возник бы разговор о самом главном, о том, что она скрывала. Она решила ждать, когда извинится он, потому что в таком случае правота осталась бы за ней, а это и было так: ведь если не считать самого главного, то виноват был именно он,— с его грубостью, хитростью, ребяческим озорством. Как всегда в молодых браках, она еще была убеждена, что жить совместно нельзя в ссоре, и не подозревала, что раздор, обиды, оскорбления редко препятствуют людям трястись в семейном фургоне до могилы. Она сделала первый шаг к перевоспитанию мужа: начала ожидать его раскаяния.

Однако Виктор Семенович не спешил с ремонтом покачнувшегося благополучия. Его натура на редкость легко восполняла потери приобретениями. В первые же недели женитьбы, на глазах Лизы, он мигом сменил одно увлечение другим. То его погло-

щала нумизматика: он ходил по церквам и наменивал в свечных ящиках пятаков, алтынов, грошей и полушек. Он вел знакомства с ктиторами и приваживал нищих, которые несли ему, не без выгоды для себя, старые медяки. У него стояли целые мешки позеленевших денег, и он копался в них, чтобы отыскать по каталогу какой-нибудь семик времен Очакова и покоренья Крыма. То он забросил монеты, наткнувшись в своем столе на старый альбом почтовых марок и тотчас воскресив забытую любовь к филателии. Вместо нищих к нему потянулись школьники, и день за днем шла погоня за марками земской почты и мена Трансваля на Колумбию или Сиама на Канаду.

— Комиссионеры мои, гимназисты — образованный народ,— говорил при этом Витенька,— ведь марки так расширяют кругозор!

Он отдавал все свободное время любому своему увлечению, а так как в его власти было освобождать столько времени, сколько хотелось, то он был занят увлечениями всегда.

Он провел в дом телефон и справлялся у телефонной барышни, который час.

— Центральная? Здравствуйте, барышня. Это говорит Шубников. Который теперь час, скажите, пожалуйста?

Это было модно — не смотреть на часы, а телефонировать на станцию. Время же надо было знать, потому что, кроме дежурных увлечений, которые менялись, было много постоянных: бильярд, парикмахерская, лошадь, приятели.

Вот почему Лиза быстро убедилась, что вся тягость ссоры ложится на нее: Витеньке не хватало и минутки, чтобы поскучать, а она была не занята с утра до ночи. Кроме того, Витенька превосходно владел оружием молчания. Он мог напевать через нос какую-нибудь песенку Вяльцевой, мечтательно глядя на самоварный кран, и абсолютно не слышать даже самых настойчивых вопросов. У него был вид человека, который отрешился от мира во имя доставлявшей блаженство поэтической внутренней жизни, и эта личина задумчивого, слегка сумасшедшего молчальника была его преимуществом над ближним. Конечно, Лиза тоже попробовала молчать. Но для ее женских рук это оружие было тяжеловато, как эспадрон для ребенка. Она то бралась за него, то откладывала в сторону, то снова хваталась, чтобы состязаться до победы, доставляя спортивное удовольствие противнику своей слабостью.

Конец ссоре положило не раскаяние Витеньки, но его внезапное великодушие. Вдруг поутру он предстал перед Лизой как ни в чем не бывало — любезный, милый, предупредительный до галантности, будто заспавший все неприятности и неспособный поверить, что такую счастливую пару, какой были они с Лизой, могло хоть на мгновенье разделить несогласие.

Снова была разработана программа развлечений. Витенька уже не притворялся, что его занимают серьезные вещи. Он любил открытую сцену, ничем не отличаясь от старого и молодого купечества, сложившего так много буйных голов во славу шансонеток из очкинского зимнего сада. От Нижнего до Астрахани шла молва об увеселениях у Очкина, и откуда только не приезжали сюда кутилы откупорить в компании полдюжину шампанского и гульнуть с красавицами, чтобы потом вспоминалось до самой смерти!

Лиза слышала об открытой сцене как о месте запретном и помнила, что, когда подруги в гимназии произносили слово — Очкин, они пересматривались значительным скользящим взглядом и быстро опускали глаза. Но она была дамой, в обществе мужа ей позволительно было посещать все публичные зрелища. И, разодевшись, сопутствуемые друзьями, Шубниковы отправились смотреть певичек.

В саду Очкина рослые пальмы свешивали мертво-лаковые пальчатые листья-опахала над фонтаном, бассейн которого подсвечивался красными лампочками. Черноспинные жирные стерляди стояли острыми носами к ниспадавшим струям воды или медленно гуляли по кругу, лениво шевеля плавниками. По аллейкам так же лениво, как стерляди, кружились полнотелые немки в декольтированных тяжелых платьях, с брошками и веерами на длинных золоченых цепочках. Белые руки их пониже плеч были помечены, как бутылки коньяка, тремя звездочками оспенной прививки, в валиках волос сияли пфорцгеймские бриллианты. Они подбирали шлейфы и, сделав два-три шажка, опять распускали их по асфальтовой дорожке. В олеандрах горели бумажные фонарики. В гротах из ноздреватого камня, обвитого плющом, на диванчиках болтали парочки. Струнный оркестр играл попурри из «Травиаты».

Впервые Лиза обнаружила, как много может означать человеческий взгляд: глаза отнимали здесь первенство у языка в змеиной гибкости выражений. Они лучились, искрились, туманились, млели, открывали бездонные пучины, метали огнем и стрелами, окатывали ледяной водой, возносили на такие высоты, на которых никто никогда не бывал, запрашивали и отказывали, брали и давали, влекли, сулили, переполнялись мольбой и нетерпением, безжалостно мучили, готовы были на все и все отвергали. О, глаза были гораздо богаче жалкой человеческой речи,— каждой мысли они придавали неисчислимые оттенки и простое «да» говорили в любой окраске, от небесно-синей до болотной, от смоляной до карей, от пепельной до чернильно-вороной, и каждое это цветное «да» светилось на свой лад в глазах мужчин и на свой — в глазах женщин, и каждое «да» несло в себе «нет», каждое таило — как

сомнение — «но», и звало, и отталкивало, наслаждаясь своей невысказанной силой.

Этот беззвучный разговор взглядов так взволновал Лизу, что, когда она села за столик в большом зале, ее глаза, не отвечая никому, тоже говорили, говорили о смущении, о любопытстве, о стыде, об удовольствии, о детской растерянности и вспыхнувшем женском всепонимании. Витенька переродился и взыграл, как жерех, которого долго держали в ведре и вдруг выпустили на простор буйного потока. Он выслеживал по страницам меню лакомые блюда и, хищно выхватив добычу, сажал ее в садок — на записку метрдотеля, принимавшего заказ.

Ужин подали, представление началось. Лиза сидела лицом к сцене. Китаец жонглировал копьями и мечами, фокусник превращал голубей в ленты, воду — в дым, партерный акробат расписывался воздушными сальто-мортале. Появилась на просцениуме певица — блондинка в черном платье, окутывавшем ее так тщательно, как будто она боялась показать даже ничтожнейшее пятнышко тела: воротник был поднят косточками до самых ушей, шлейф обвивал ступни ног, черные лайковые перчатки затягивали руки выше локтей. Положив ладонь на ладонь, она прижимала кисти к груди и с томительным усилием старалась расцепить их, и все не могла, и томилась все больше и больше, обводя столики глазами, полными слез, и распевая грустным контральто:

Жалобно стонет ветер осенний,
Листья кружатся поблекшие.

На смену ей выскочила к рампе, под звон рояля, певица совершенно противоположного темперамента. На ней не было никакого платья, а то, что было, казалось, крайне обременяло ее, не давало покоя ни на секунду, и она все хотела стряхнуть с себя сборчатый газовый поясок-пачку и для этого закидывала ноги настолько высоко, что туфельки все время мелькали около лица, и свое нетерпение она объясняла бурными выкриками:

От Китая без ума я!
Что за чудная страна!

Все столики аплодировали и требовали, чтобы она спела «Брандмайора». Она убежала за кулисы, снова выскочила, опять убежала и, вернувшись, пропела «Шантеклеров». От этого столики еще упрямее, еще злее потребовали «Брандмайора». Она сбегала за кулисы три раза и, наконец, исполнила желание зала. Ее восторг от «Китая» и «Шантеклеров» не шел ни в какое сравнение с тем экстазом, который пробуждал в ней «Брандмайор». Она про-

сто кипела, клокотала, извивалась, показывая зрителям всю свою безмерную слабость к тушителю пожаров.

Витенька хлопал в ладоши, не отставая от публики, и опрокинул бокал вина.

— Вот это настоящая штучка! — воскликнул он, отряхиваясь салфеткой.

Но, посмотрев на жену, обнаружил, что она не разделяет его восхищения. Щеки Лизы горели, брови сжались, она глядела себе в тарелку.

— Не понравилась? — с сожалением спросил Витюша.— Ведь это и есть шансонетка!

— Тебе приходится поворачиваться,— сказала Лиза.— Давай переменимся местами.

— Зачем же? Отсюда ведь хуже видно.

— Мне будет приятнее — спиной к сцене.

Они пересели, и Витенька сказал друзьям:

— Она у меня еще ребенок.

Все стали смеяться, упрашивая Лизу обернуться, как только появлялась новая шансонетка.

— Ну взгляни, взгляни,— приставал Витюша, немного пьянея,— ну, эта совсем скромненькая!

— С ней можно идти к обедне,— подпевал один приятель.

— Не видно даже коленок,— заботливо разъяснял другой.

Вдруг Витюша приметил в глазах Лизы странное движение, как будто они медленно переменяли свой светлый зеленовато-голубой цвет на темный и расширялись, росли. Он заерзал, нахохлившись, осмотрелся и среди незнакомых голов, за дальним столиком, уловил выхоленную, отливавшую черным пером шевелюру Цветухина. Снова поглядев на Лизу, он увидел, что она торопливо поправляет воздушные свои чуть-чуть распадающиеся волосы. Ему почудилось — у нее дрожат пальцы. Он нагнулся и сказал негромко:

— Вот зачем понадобилось тебе переменить место!

Она только успела приподнять брови. Он ударил ее под столом носком башмака в лодыжку, так что она сморщилась от острой боли. Он чокнулся с приятелями, высоко поднимая бокал:

— Друзья мои! За святых женщин! За тех, которые не выносят легких зрелищ!

Они не успели допить, когда перед ними возникли Цветухин и Пастухов — в вечерних костюмах, с белыми астрами в петлицах, дымящие необыкновенно длинными папиросами. Пожав Лизе руку, они раскланялись с компанией.

— Познакомьтесь,— сказала Лиза глухо и неуверенно,— мой муж, Виктор Семенович.

Витенька и за ним его товарищи с некоторой строгостью поднялись и наклонили головы.

— Мы хотим вам предложить,— запросто сказал Пастухов,— объединиться за одним столиком. Вам весело, и мы с Егором полны зависти. Хотите — пойдем к нам, хотите — мы переберемся сюда, здесь лучше видно.

— Нет,— ответил Витюша,— моя жена первый раз у Очкина. Она раскаивается, что пошла. Она не переносит открытой сцены. Она любит театр.

Он задел Цветухина беглым взглядом.

— Очень похвально,— серьезно одобрил Пастухов,— давайте глубже исследуем эту проблему за бутылкой Депре.

— Ведь вы спортсмен,— сказал Цветухин, улыбаясь Шубникову,— сейчас будет французская борьба.

— Моя жена не может видеть даже неодетых женщин, тем более — мужчин. Она хочет домой.

Витенька внушительно поклонился.

— Как жаль,— сказал Цветухин Лизе,— мы думали с вами поболтать. Останьтесь.

— Нет, она ни за что не хочет остаться.

— Я вижу, воля супруга — закон,— опять с улыбкой сказал Цветухин.

— Да-с, закон-с! — шаркнул ножкой Витюша и адресовался к приятелям: — Вы заплатите, я потом разочтусь. Идем, Лиза.

Он показал ей дорогу театральным жестом, она простилась и пошла вперед между столиками, он — позади нее, всею фигурой изображая безукоризненно предупредительного и покорного кавалера.

Он опять застегнул себя на все пуговицы. Но, придя домой, будто одним махом рванул свои одеяния неприступного молчальника, и пуговицы посыпались прочь: Виктор Семенович Шубников явился заново во всей полноте натурального своего вида.

Он упал в первое подвернувшееся кресло гостиной, крикнул женским голосом и зарыдал. У него трепетали руки, ноги, тряслась голова, он метался, заливая себя слезами, то откидываясь навзничь, то падая на колени и стукаясь лицом в мягкое сиденье так сильно, что гудели пружины.

Лиза смотрела на мужа с черствой неприязнью, но потом ей стало жутко от мысли, что он припадочный. Она кинулась за водой и поднесла ему стакан, но он отмахнулся, расплескал воду и принялся кричать еще пронзительней. Постепенно весь дом был поднят на ноги, и тетушка прибежала из своей половины. Кое-как Витюшу отвели в постель, где он продолжал кататься по пуховикам до полного изнеможения. К визиту доктора он лежал пластом

и был похож на мертвеца. Тетушка тихо плакала, доктор сочувствовал ей, но лечение назначил самое нейтральное: валериановые капли в случае повторения бурности, а впрочем — покой, обыкновенное питание и ванна двадцати девяти градусов.

Эти двадцать девять градусов (не тридцать и не двадцать восемь) особенно насторожили Дарью Антоновну: очевидно, болезнь была нешуточна, а так как до женитьбы с Витенькой ничего подобного не приключалось и ему становилось явно хуже, если Лиза показывалась на глаза, то причину несчастья надо было искать в неудачном браке.

— Что ж, милая, ходить по комнатам скрестя ручки? — сказала как-то поутру Дарья Антоновна Лизе.— Витенька когда еще поправится, а ведь дело-то не стоит. Ступай-ка посиди за кассой в лавке, на базаре. Мне одной не разорваться.

И хотя Витенька меньше всего уделял забот делу, от Лизы стали требовать так много, точно он работал не покладая рук, и она начала проводить время за торговлей красным товаром, неподалеку от магазина отца, где еще так недавно впервые встретила своего суженого.

33

Когда произносили слово «базар», Лиза вспоминала давний детский страх перед нищим, собиравшим милостыню на Пешке. Он сидел на земле, ощеривая зубы, как лошадь, старающаяся вытолкнуть языком неудобный мундштук, и любой мельчайший кусочек его лица дергался, состязаясь в ужасном танце с головой, плечами, всем телом. Мать сказала ей, что он болен пляской святого Витта, и велела всегда подавать ему две копейки. Она подавала, но всякий раз, бросив медяк в расписную деревянную плошку, которую нищий держал в ногах, она убегала и забиралась подальше в народ, чтобы не видеть пляски страшного лица. Поэтому она постоянно обходила базар как можно дальше.

Правда, на Пешке был один приятный угол — несколько арок старого Гостиного двора, где торговали птицеловы. На облезлых стенах, снаружи и внутри арок висело множество клеток и силков, населенных сотнями щеглов, синичек, снегирей, клестов, свист которых издалека чудился музыкальным ящиком с поломанными иголками. Среди торговцев ей нравился старик птичник, похожий на некрасовского дядю Власа. Он обучал пению молодых соловьев, сидевших у него в закрытых холстинками низеньких клеточках. Лиза останавливалась около Власа, смотрела на его широконосое, овчинного цвета лицо в кучерявом кустарнике бороды и усов, с крошечными на месте глаз щелочками, и ей бывало

удивительно, если вдруг в щелочках вспыхивали два огонька в булавочную головку, а из кустов бороды вырывалось щелканье, трель, посвист и бархатный разлив соловьиной песни. На благовещенье она приходила сюда выпускать на волю синичек, держала в горстях тепленькие пушистые птичьи тельца, подбрасывала их, глядела, как, чиркнув стрелой и выписав два-три фестона в воздухе, синицы садились тут же на фронтон Гостиного двора и долго чистили и расправляли отвыкшие от полетов крылья. Часто потом во сне она видела, как сама взлетает на руках странно легко, быстро, будто бестелесно, и садится на железную крышу Гостиного двора.

Верхний базар был жестким, жадным, каким-то безжалостно-отчаянным, забубенным. Толпа кишела шулерами, юлашниками, играющими в три карты и в наперсток. Дрались пьяные, ловили и били насмерть воров, полицейские во всех концах трещали свистками. Кругом ели, лопали, жрали. Торговки протирали сальцем в ладонях колбасы — для блеска, жарили в подсолнечном масле оладьи и выкладывали из них целые каланчи, башни и горы. Хитрые мужики-раешники показывали панорамы, сажая зрителей под черную занавеску, где было душно и пахло керосиновыми лампами. Деревенский наезжий люд бестолковыми табунками топтался по торговым рядам, крепко держась за кисеты с деньгами. До одури бились за цену татары, клялись и божились старухи, гундели Лазаря слепцы, да божьи старички, обвешанные снизками луковиц, тоненько зазывали: «Эй, бабы! Луку, луку, луку!»

Лиза часами смотрела через окно лавки на неугомонную толчею базара.

Раз в скучный, холодный полдень она увидела высокого мужика с копной белобрысых кудрей, который, держа на руках ребенка, протискивался через кучку людей к шулеру, игравшему в картинку. Игра состояла в том, что шулер метал на подстилочку шоколадные плитки с приклеенными к обложкам красавицами. Плитки ложились картинкой вниз, и любую из них требовалось открыть, как игральную карту. Если партнер брался за головку красавицы, то он выигрывал шоколад, а если — за ноги, то платил его стоимость. Все делалось честно: шулер показывал, как держит плитку кончиками пальцев за уголок, и все видели — где голова, где ноги красавицы; потом он кидал плитку, и она, мгновенно описав дугу и сделав неуловимый поворот, падала на подстилку. Играющий почти наверно обманывался и проигрывал. Но подручный шулера, потихоньку работавший с ним в пару, выигрывал плитку за плиткой на глазах у публики и разжигал азарт простофиль.

Когда мужик с ребенком пролезал через толпу, к нему подскочила сзади девочка, такая же светловолосая, как он, и потянула его за пиджак.

Через отворенную форточку Лиза расслышала настойчивый голосок:

— Пап, а пап! Не надо, ну не надо!

Мужик обернулся, сказал:

— Я выиграю тебе с братиком, постой,— и опять полез, раздвигая людей.

Через мгновенье он снова обернулся с кривой виноватой улыбкой на впалых щеках:

— Проиграл. Погоди, еще одну попытаю.

Но едва он сунулся к шулеру, как подбежала маленькая женщина в шляпке с канарейкой и вместе с девочкой вцепились в его пиджак.

Он отмахнулся, ударил их по рукам, крикнул вполуоборот:

— Да ну вас! Пускай Павлик потянет, Павлик, на свое счастье! Тяни, Павлик!

Он спустил на землю ребенка и, нагнувшись, принялся подталкивать его вперед, под веселое одобрение ротозеев.

В это время женщина с девочкой, озабоченно перешептываясь, стали к окну боком, и Лиза узнала Ольгу Ивановну и Аночку. Она постучала им в стекло, но они не слышали, потому что мужик обрадованно закричал:

— Выиграл! Павлушкино счастье не выдало!

— Ну и хорошо, ну и слава богу, и довольно, и пойдем! — затараторила Ольга Ивановна.

— Да ты постой,— сказал мужик успокаивающе-добродушно,— ведь я только квит: раз проиграл, раз выиграл. Пускай Павлик еще потянет. Он возьмет, он счастливый!

— Выиграл, и хорошо, и довольно!

— Не талдычь, говорю. Пускай Павлик вытянет себе шоколадку. Если выиграет — значит, нам твоя барыня поможет.

Народ уже охотно пропустил его с Павликом, которого он опять толкал вперед. Шулер лихо метнул, все обступили ребенка, крича мужику:

— Ты не подталкивай! Не тронь, пусть сам возьмет! Возьми, малец, конфетку, возьми!

Павлик цапнул плитку и потащил прямо в рот, но к нему потянулось много рук, отняли у него плитку, подглядывая, за какой конец он взялся, и он громко заревел.

— Проиграл! — мотнул головой мужик.— Не повезет нам с барыней. А ну еще.

Он полез в карман за деньгами. Но Ольга Ивановна схватила плачущего Павлика, передала его Аночке и повисла на руке мужика:

— Пойдем, пойдем!..

Лизе захотелось непременно вмешаться,— купить Павлику гостинца, приласкать его, и она выбежала из-за прилавка. Но в эту минуту все семейство Парабукиных медленно вступило в магазин, ей навстречу.

Ольга Ивановна протянула Лизе ручку, часто и удивительно живо кивая,— в своей дергающейся на слабой резинке шляпочке.

— Простите нас, милая Лизавета Меркурьевна, что мы так все к вам сразу! Это — мой муж. А нашу Аночку вы ведь знаете. А это Павлик, мой младшенький. Что же ты, Аночка? Поздоровайся как следует. Поставь Павлика на ножки, вытри ему носик. Мы, знаете, Лизавета Меркурьевна, осмелились сперва — прямо к вам домой, а там нам говорят — муженек ваш расхворался и даже совсем не встает с постели, а вы вместо него в лавке сидите. Вот мы сюда к вам и пришли, простите нас, ради бога. Что это такое с вашим муженьком? Ведь такой молодой! Павлик, вынь пальчик из носика, перестань плакать, вон дяденька тебя возьмет, вон за прилавком! Ну, да ничего, поправится, правда? А вы — как были такой молодой девочкой, так и остались. Как будто и замуж не выходили. Правда, Тиша, я тебе говорила, какая Лизавета Меркурьевна красавица!

— Да уж проси о деле-то,— сказал Парабукин,— не отнимай время.

Он остановился у косяка, смущенно закрывая пальцами подбитый глаз, другой рукой придерживая локоток Аночки, в свою очередь взявшей за ручку Павлика. Перед этой лесенкой выдвинулась Ольга Ивановна, стоявшая посреди магазина, лицом к лицу с неподвижной и растерянной Лизой.

— Уж и не знаю, как начать,— задыхаясь от торопливости, лепетала Ольга Ивановна, и глаза ее старались разгадать, что думает Лиза, и бегали, щурились и вновь выпячивались до болезненно-огромного своего размера.— Вы ведь знаете, мы проживаем у вашего папаши, в ночлежном доме. Так вот, неизвестно почему, и за что, и как это вышло, но только папаша ваш невзлюбил моего Тишу — мужа моего,— вот он сейчас с нами. Невзлюбил, невзлюбил и, знаете, приказал нам съезжать с квартиры. Не верите? Мы, знаете, тоже сначала ни за что не хотели верить. Да теперь, хочешь не хочешь, поверили, потому что Меркурий Авдеевич грозится полицией и слышать не хочет, что у нас дети и что мы без всяких средств пропитания, и Тиша, муж мой, совсем больной после увечья на работе,— смотрите на него,— разве это работник?

И вот одна у нас теперь надежда на ваше на доброе сердце, милая Лизавета Меркурьевна!

— Господи, я что же,— проговорила Лиза, невольно оглядываясь на приказчиков, с любопытством наблюдавших сцену.— Конечно, я чем могу...

— Золотая моя! — воскликнула Ольга Ивановна и всплеснула от умиления руками.— Ведь вы теперь такая богатая! Ведь уж, наверно, найдется у вас какая-никакая комнатка! Уголок какой, так себе, что ни на есть захудалый. Нам ведь, ей-богу, много не надо! Мы с теснотой давно-давно помирились. Уж как-либо, пожалуйста!

— Я, право, не знаю... как мой муж... какие возможности у тетушки, то есть именно — с жильем,— сказала Лиза.— Я думаю, может быть, переговорить с папой?

— Ах, что вы, что вы! Он нипочем не захочет.

— Все-таки, если я его очень попрошу...

— Милая, милая! Вы ведь сама доброта, я вижу! Но разве он согласится? Он уж так на нас рассерчал! Слышать не хочет! А куда мы пойдем с детишечками? Если бы не они, да разве мы с Тишей ходили бы просить по людям? Мы тоже ведь прежде прилично жили. Тиша был очень даже непростым служащим... Может, вы его даже на службу к себе возьмете?

— Ладно, ладно,—прогудел Парабукин.

Лиза взглянула на него, потом — с мучительным, несмелым состраданием — на детей, и Аночка, перехватив ее взгляд, подалась вперед и выговорила в голос матери, сбивчатым, поспешным говорком:

— Правда, правда! Вы скажите, чтобы нас не трогали. Пожалуйста. Я-то не боюсь. Я проживу на улице. И папа мой тоже. А Павлик маненький, ему холодно.

Лиза рванулась к ней и обняла ее за плечи.

— Ах, боже мой! — всхлипнула растроганная Ольга Ивановна, порываясь тоже броситься в объятия к Лизе, но дверь широко распахнулась, почти придавив к косяку Парабукина, и Виктор Семенович Шубников, шагнув в магазин, обвел всех по очереди взыскующим глазом.

— Что это ты обнимаешься,— спросил он Лизу,— с родней, что ли, своей?

Мгновение было тихо, никто не двинулся.

— Кто это тебя ходит разыскивает? Что за свидания такие в магазине?

— Вы нас извините,— собравшись с духом, сказала Ольга Ивановна, и поклонилась, и поправила шляпку, и сделала чуть заметный шажок назад, выражая крайнюю деликатность.— Мы

пришли к вашей супруге, потому что мы ее знали еще в девушках. Мы ее попросили, и она так добра, что обещала помочь в нашем квартирном горе.

— Зря обещает, чего без меня не может выполнить,— сказал Виктор Семенович, рассматривая Ольгу Ивановну как личного своего неприятеля.

— Мы как раз, извините, так и думали — попросить вас, через вашу супругу, которая знает и меня, и вот мою дочку, Аночку. Но как вы оказались нездоровы...

— Прекрасно здоров, чего и вам желаю,— оборвал Виктор Семенович.— А шляться по магазинам, попрошайничать да клянчить не полагается.

— Их просьба касается моего отца,— сказала Лиза.

— Чего же они притащились ко мне?

Ольга Ивановна быстро протянула руки к Лизе:

— Я вас умоляю,— не отказывайтесь! Не отказывайтесь от доброго намерения!

— Вы не беспокойтесь, я сделаю, что обещала,— ответила Лиза суховато, но голос ее дрогнул, и это напугало Ольгу Ивановну.

Вдруг, нагнувшись к Павлику и притянув его к себе, она тут же толкнула его к Лизе и упала на колени. Слезы с каким-то по-детски легким обилием заструились по ее щекам. Подталкивая Павлика впереди себя, она ползла к Лизе с подавленным криком:

— Детишечек, детишечек пожалейте, золотое мое сердечко! Не передумывайте! Помогите, милая, помогите! Не передумывайте!

К ней подступили сразу и Лиза, и Аночка, стараясь поднять ее на ноги, но она забилась и упала. Узел прически на ее затылке рассыпался, и шляпка повисла на волосах. Уткнув лицо в руки, раскинутые на полу, она вздрагивала и выталкивала из глубины груди непонятные, коротенькие обрывки слов.

Парабукин наконец оторвался от косяка, который будто не пускал его все время. Легко подняв Ольгу Ивановну, он повернул ее к себе и положил трясущуюся голову на свою грудь. Аночка подняла с пола шляпку и прижалась к матери сзади, касаясь щекой ее спины и глядя на Виктора Семеновича строгими недвигающимися глазами.

— Пора кончать представление — не театр,— проговорил Шубников, отворачиваясь и удаляясь за прилавок.

— Уйдем, не ерепенься,— глухо сказал Парабукин.

— Не уйдешь, так тебя попросят,— прикрикнул Виктор Семенович, и лицо его налилось словно не кровью, а ярким малиновым раствором.

— Обижай, обижай больше! — откликнулся Парабукин.—

Когда меня обижают, мне и черт не страшен. Не запугаешь. Аночка, бери Павлушку. Довольно ходить по барыням, кланяться. Не помрем и без них.

Он отворил дверь и, все еще не отпуская от груди Ольгу Ивановну, тихо вывел ее на улицу, в толпу.

Лиза медленно и туго провела ладонями по вискам. Опустошенным взором она смотрела на Витюшу. Он листал конторскую книгу за кассой.

— Это все невыносимо бессердечно,— после долгого молчания произнесла Лиза.

— У тебя больно много сердца... до других,— ответил он, не прекращая перелистыванья.

— У тебя его нет совсем.

— Когда нужно, есть.

— Я думаю, оно нужно всегда,— сказала она и, вдруг подняв голову и выговорив едва слышно: — Прощай! — жесткими, будто чужими шагами вышла за дверь.

Она почти бежала базаром — в богатом светлом платье, с непокрытой головой. Ей смотрели вслед. Выкрики, зазыванья, переливы споров торгующихся людей то будто преграждали ей путь, то подгоняли ее снующий бег среди народа.

Добравшись до лавки отца, она передохнула и вошла.

Меркурий Авдеевич приветил ее улыбкой, но тотчас тревожно смерил с головы до ног.

— Пришла? Собралась заглянуть к отцу, соседушка? — полуспросил он мягко, но уже с серьезным лицом.— Вот славно. Что это ты не оделась, в холод такой?

— Пришла,— сказала Лиза, тяжело опускаясь на стул.— И больше не вернусь туда, откуда пришла.

Меркурий Авдеевич перегнулся к ней через прилавок и окаменел. И тотчас как будто все кругом начало медленно окаменевать — приказчики, подручные-мальчишки и вся разложенная, расставленная, рассортированная на полках москатель.

34

Общество помощи воспитательным учреждениям ведомства императрицы Марии устраивало в Дворянском собрании литературный вечер с балом и лотереей. Судейские дамы разъезжали по городу, собирая в богатых домах пожертвования вещами для лотереи и привлекая видных людей к участию в вечере. На долю супруги товарища прокурора судебной палаты выпало поручение нанести визит Шубниковым. Она приехала в сопровождении Ознобишина и была принята Дарьей Антоновной. Пышная гостья в

осенней шляпе с черным страусовым пером говорила благосклонно-ласково. Ознобишин почтительно ее поддерживал. Она хотела бы также поговорить с молодой Шубниковой (с Елизаветой Меркурьевной,— подсказал Ознобишин), чтобы получить согласие на ее помощь в устройстве лотереи, но оказалось, что та не совсем здорова и не может выйти в гостиную. Ознобишин весьма сочувственно поинтересовался — серьезно ли нездоровье Елизаветы Меркурьевны (он еще раз назвал ее полным именем), и сказал, что Общество непременно желает видеть ее на вечере за лотерейным колесом. Дарья Антоновна обещала передать молодой чете об этом желании приезжавших гостей, и они уехали, довольные визитом.

Внезапное посещение столь заметной особы дало повод к новому совету между тетушкой и племянником о том, как же действовать, пока возмутительное бегство Лизы не получило широкой огласки? Решено было, что тетушка пойдет к Меркурию Авдеевичу — требовать отеческого увещевания дочери, после чего Витенька отправится к Лизе, помирится и возвратит ее к себе в дом. Конечно, это было уязвлением самолюбия, но ведь самолюбие пострадало бы еще больше, если бы история стала известна не одним приказчикам, бывшим ее свидетелями. Надо было заминать скандал, пока он не разросся: шутка ли, если в городе заговорят, что от Шубникова сбежала жена, не прожив с ним после свадьбы и двух месяцев?

Уже четвертый день Лиза проводила в своей девичьей комнате. Странное чувство не исчезало у нее: не верилось, что продолжается все та же давнишняя жизнь, плавно несшаяся к неизвестному будущему, которое прихотливо звало к себе в туманных снах или в праздную бездумную минуту лени. Нельзя было объединить себя с девочкой, когда-то выравнивавшей по линеечке вот эти золоченые корешки книг на полке. Ничего не изменилось ни в одной вещице — фарфоровая чернильница с отбитым хвостиком у воробья, шнурочек для пристегивания открытой фортки,— а чувство другое, будто между прежним и нынешним стал какой-то непонятный человек и мешает большой Лизе протянуть руку маленькой. И только мать каждым своим словом, каждым нечаянным прикосновением убеждала, что идет, растет, полнится горем и жаждет счастья все та же цельная, не поддающаяся никакому разрыву жизнь единственной Лизы.

Валерия Ивановна повторила собою удел матерей, отдающих дочь замуж с беззащитной покорностью требовательным обстоятельствам, только потому, что замужество есть неизбежность, а брак, в котором ожидается достаток,— лучше брака, обещающего нищету. Она повторила этот удел тем, что, отдав дочь только потому, что не отдать — нельзя, и сделав ее несчастной, она потом

начала горевать ее горем и с жаром приняла ее сторону в неприязни к молодому мужу. Она словно замаливала свою вину тем, что укрепляла, выхаживала в дочери, как больничная хожатка, вражду к существованию, какого дочь не знала бы, если бы мать его не допустила. Она сердилась одним сердцем с дочерью на беду, которую накликала своим непротивлением судьбе, и одними слезами с дочерью оплакивала эту беду.

В глубине души Лиза была потрясена, что мать без сопротивления выдала ее судьбе. И она не только примирилась, но со старой и еще больше выросшей силой полюбила мать, едва поняла, что своим бегством от мужа освобождала не одну себя, но также ее. Потому что Валерия Ивановна, на секунду ужаснувшись бегства, тотчас обрадовалась ему и восхитилась, как если бы нашла ребенка, которого считала бесследно погибшим.

Снова, как бывало всю жизнь, они говорили, говорили вечерами, подолгу не засыпая, утром и днем, обнимаясь, иногда тихо плача, а то вдруг с женской расчетливостью и терпением рассматривали самые маленькие переживания двухмесячной своей полуразлуки и отчужденности, когда они думали, что между ними уже не будет нежной близости, делавшей их как бы одним человеком.

Все речи сводили дело к тому, что жить с Виктором Семеновичем невозможно, и если случилось, что Лиза ушла от него, то возвращаться было бы ошибкой непоправимой. Если бы уход Лизы от мужа не встречал никаких препятствий, то дочь и мать решили бы дело немедленно, и уже не было бы особой потребности в часовых разговорах, в сидениях рядом на постели, с объятиями и слезами. Но на стороне мужа находился закон, и неизвестно было — воспользуется ли Виктор Семенович своими правами. Неизвестно было, кроме того, какое решение примет насчет дочери Меркурий Авдеевич: он мог ведь отказать ей в своем доме, раз она пренебрегла домом мужа. Но главная неизвестность заключалась в том, о чем мать и дочь сказали меньше всего, но непрерывно все эти дни думали, по-женски перетревоженные, понимая друг друга с мимолетного взгляда, спрашивая и отвечая молча, одними переменами настроений. И когда то, чего Лиза могла ожидать, сделалось ее уверенностью, они обе увидели, что почти решенный уход ее от мужа натолкнулся на такое препятствие, которое невозможно устранить: на четвертый день гощения в своей девичьей комнате Лиза сказала матери, что сама она тоже должна стать матерью.

Рассвет этого дня был совсем зимний — неохотный, серый. Цветы на окнах и разлапый филодендрон казались пепельными. Пахло немного отсыревшей глиной затопленных печей. Кот на диване свернулся катышком, уткнув нос в задние лапы.

Лиза в пуховом платке вышла на галерею — подышать. Впервые после свадьбы она взглянула через окна с частым переплетом рам. Горы почудились ей очень далекими и будто присыпанными золой. Дворы прижались друг к другу и стали меньше,— в неясном, дрожащем, как мгла, плотном свете. Школа потеряла свою белизну, ее очертания обеднели, и даже когда-то рослые тополя рядом с ней стали маленькими, жидкими.

Было очень тихо, и все будто отступило вдаль. Лиза тоже притихла. Уже не глядя в окно, она держалась кончиками пальцев за тонкий переплет рамы. Заснувший от холода шмель — оранжево-черный, как георгиевская лента,— лежал на подоконнике лапками вверх. Паутинка карандашным чертежиком висела между оконной петлей и косяком. Уже забыли, когда открывались окна. Осень кончилась.

Неожиданно Лиза вздрогнула: на галерее появился отец. Он шагал прямо к ней, чуть-чуть подпрыгивая на носках.

С тех пор как дочь вернулась домой, Меркурий Авдеевич замкнулся. Он как бы не мог выйти из окаменения, в какое впал, услышав от Лизы, что она покинула мужа. Он не говорил ни с ней, ни с Валерией Ивановной, и это предвещало особенно грозное и особенно длинное внушение. Он готовил себя к предстоящему, изучая наставления затворника Феофана, труды которого собирал в своей книжной этажерке и считал истинными сокровищами духовного назидания. Он составил мысленно целую беседу из вступления, изложения и заключения и, лишь почувствовав себя вполне подготовленным, владея всеми душевными силами, решил приступить к делу, дабы закончить его раз и навсегда.

Вступление Меркурия Авдеевича должно было состоять из порицания праздномыслия, пустомыслия и вообще всякого сонного мечтания и блуждания мыслей. Изложение касалось того, как в душе и теле рождается потребность, как после первого, иногда случайного удовлетворения потребности возникает желание, всегда имеющее какой-нибудь определенный предмет, и как постепенно таких предметов находится больше и больше, так что за желаниями человек уже не видит потребностей. Что делать душе с сими желаниями? — спросит Меркурий Авдеевич. Ей предлежит выбор — какому предмету из возжеланных дать предпочтение. По выборе происходит решение — сделать или употребить избранное. По решении делается подбор средств и определяется способ исполнения. За этим следует, наконец, дело в свое время и в своем месте. Заключением беседы Меркурий Авдеевич думал сделать переход от положений общего душеспасительного характера к содержанию Лизиного бытия. И тогда разъяснилось бы, что выбор Лиза сделала, так как из всех возжеланных предметов она отда-

ла предпочтение Виктору Семеновичу Шубникову. Решение употребить избранное было принято тем, что Лиза согласилась соединить свою жизнь с жизнью Виктора Семеновича. По решении был найден способ исполнения — сыграна свадьба. И за сим, наконец, последовало, собственно, дело, в свое время и в своем месте.

Как же после столь правильного образа действий могло свершиться происшедшее событие? Оно свершилось вследствие крушения духа. И тут Меркурий Авдеевич должен был выступить в качестве восстановителя утерянного равновесия и направить стопы дочери на путь истины.

Так основательно вооруженный, Меркурий Авдеевич направился к дочери для объяснения. Его удивило, что нашел он Лизу опять у того окна, за которым она стояла в день свадьбы, и почти в той же позе. Он усмотрел в этом плохой знак.

— Продолжаешь упрямствовать? — спросил он, подойдя к Лизе.

— В чем?

— В том, что, как ранее, глядишь в запретном направлении.

Он показал головой за окно. Лиза не ответила.

— Манкируешь своим долгом в пользу бессмысленного сонного мечтания?

Лиза тихо улыбнулась и сказала необыкновенно ровным голосом, как будто мучившие ее поиски давно были утолены:

— Ах, не трудись, папа. Ты хочешь убедить, что надо вернуться к мужу? Это решено. Сегодня я возвращаюсь.

Слова ее застали Меркурия Авдеевича врасплох. Он подготовил себя к такому высокому барьеру, что разбег впустую точно свалил его с ног.

Он отвернулся и зажал ладонями лицо, чтобы подавить волнение. Потом, остро глянув из-под приподнятых мохнатых бровей, потерявших грозность, он поднял руку — погладить дочь по голове.

Когда, прикоснувшись к ее лбу, он быстро перекрестил его, она легко удержала его за руку.

— Я тебя хочу просить за несчастных Парабукиных, которым ты отказываешь в углу: оставь их, они — с детьми.

Меркурий Авдеевич, слегка посопев, усмехнулся:

— В большом господь наделил тебя разумом, а в малом оставил тебе глупость. Нашла о ком пещись. Пусть живут, коли ты просишь. Что я — бессердечный, что ли? Да ты послушай меня: не мешайся в их житье. Они люди простые, не поймут. А галах этот — непокорный строптивец. Жалость ему — яд.

Он махнул рукой и обнял дочь:

— Да пусть. Пусть живут...

Решение Лизы сняло с его сердца камень, да и весь дом сразу ожил, точно от ниспосланного мира. Стали ждать, когда явится за женой Виктор Семенович, и странно засуетились, готовясь его принять, как если бы надо было загладить всех устыдивший проступок.

Лиза побежала сказать Парабукиным о новости. Все в том же пуховом платке, накинутом на голову, и в старом узковатом гимназическом платье, она спешила по избитым кирпичным тротуарам, припоминая знакомые дома, заборы, рытвинки перед воротами, скамейки у палисадников и только наполовину веря, что земля может нести ее так готовно.

У самой ночлежки она увидела Аночку, которая в два прыжка соскочила с каменного крыльца, размахивая пустой бутылкой на коротенькой веревочке. Лиза крикнула ей вслед. Она остановилась и секунду помешкала, но, узнав Лизу, подбежала к ней.

— Вы опять как прежняя,— сказала она, охватывая медленными своими глазами Лизино платье и дивясь своему открытию.

— Мама твоя дома?

— Мама ушла в Пешку. А папа лежит, хворает. А мне мама велела сбегать в лавочку за постным маслом.

Она махнула бутылкой и тут же, еще раз оглядев Лизу и потом — себя, оттянула низко опущенный лацкан старого жакета и похвастала:

— Это я — в мамином. Он мне только маненько широк, да? Она мне его переделает.

— Я хотела к вам зайти,— сказала Лиза,— но теперь не надо, раз я тебя увидела. Передай маме, что вы все можете жить по-прежнему.

— Можем жить?

— Ну да.

— Это как?

— А как вы раньше жили.

— Когда раньше?

— Скажи маме, что вас никто не тронет и чтобы вы оставались тут, на квартире. Поняла?

— Поняла. А папе можно?

— Всей вашей семье. Поняла? И тебе, и твоему братику.

— Нет, нет! Сказать маме — я поняла. А папе сказать можно?

— Ах ты, девочка, ну, само собой!

Чуть-чуть присев и поставив одну ногу на ступеньку крыльца, Аночка проворно спросила:

— Тогда можно — я ему сейчас скажу, а?

— Конечно, можно, беги. Прощай!

Словно пружиной, подбросило Аночку с земли,— она вспрыг-

нула на крыльцо и стремглав понеслась вверх по лестнице, в ночлежку.

Лиза постояла в нерешительности. Ей хотелось заставить себя вернуться домой тем же путем, которым она шла. Но, пожав плечами, она сказала вслух: не все ль равно. Все равно она придет домой, где бы ни шла, все равно сегодня возвратится к мужу,— все решено окончательно, и ничего не изменится оттого, что она мимоходом пристальнее взглянет на дом, влекший — казалось ей — только как прошлое, не больше.

Она обогнула угол и стала подниматься по взвозу. Чем ближе подходила она к школе, тем медленнее делались ее шаги,— не потому, что трудно было идти, нет,— ей хотелось как можно дольше проходить мимо каменной ограды, мимо низких, забранных решетками окон. Она почти приостанавливалась временами и даже дотронулась до стены здания,— приложила ладонь к холодной шершавой известке. Новое, доселе никогда не испытанное внутреннее безмолвие насторожило ее чувства, и у нее не было ни горечи, ни обиды, что все вокруг отвечало словно безразличным молчанием.

Дойдя до калитки, она собралась заглянуть во двор, и в эту минуту до нее донесся настигающий топот прытких ног: Аночка догоняла ее со всей юркой легкостью детского бега.

— Вы ушли,—выкрикнула она, подлетев и с разбегу остановившись.

Она шумно дышала, лицо ее сияло удовольствием, но огромные влажные глаза выдавали растерянность и перепуг.

— Вы ушли,— повторила она, перехватывая пустую бутылку то одной, то другой рукой.— А я забыла сказать — спасибо!

— Что ты! Я же видела, что ты меня благодаришь,— улыбнулась Лиза.— Охота была бежать! Это, наверно, тебя отец послал?

— Я сама. Я подумала, когда мама придет, она меня сейчас и спросит: ты сказала — спасибо? Я и побежала бегом. Вы не сердитесь?

— Нет, нет, все хорошо,— сказала Лиза, вздохнув и положив руку на плечо Аночке,— все хорошо.

Она заглянула в приотворенную калитку. Двор был пуст, дверь извековской квартиры — заперта.

— Ты давно видала Веру Никандровну?

— Она больше тут не живет,— весело ответила Аночка,— она теперь в другом училище, далеко-далеко! Вот когда мы ходили к вам, мы были у нее, я сама видела, как она перевозилась на ломовом.

Лиза отступила, прислонившись спиной к верее ворот.

— Далеко? Ты знаешь где?

— Нет. Я спрошу у мамы, она скажет.

Лиза подождала немного.

— А про Кирилла ты не слыхала?

— Нет. Хотите, узнаю? Сбегаю к Вере Никандровне, а потом приду к вам и все расскажу. Хотите?

— Хочу, хочу! — быстро подхватила Лиза, взяв Аночку за руки и горячо притягивая ее к себе.— Сбегай узнай, хорошо? Хорошо?

— Я, как только мама пустит, так и сбегаю.

— Хорошо, как хорошо,— бормотала Лиза, увлекая за собой Аночку и вдруг останавливаясь: — Что же я тебя тащу? Тебе нужно в лавочку, ступай, ступай!

Они простились, и Лиза пошла скорей, приподнятой над землей поступью, возбужденная внезапностью оживших, не совсем ясных ожиданий, и молчание улиц точно сменило свое безразличие на давний тайный сговор с ней, каким она жила здесь прежде.

Дома ее встретил приехавший Витенька. Он кинулся навстречу, приветливый, праздничный: все сделалось без его усилий и так превосходно, как он мог лишь мечтать.

— Я знал, я знал,— твердил он, уводя Лизу к ней в комнату, где уже была разложена одежда, которую он привез,— осеннее пальто, и шляпа, и перчатки: Лиза ведь ушла в одном платье.

— Милая, дорогая моя! — восклицал Витенька, целуя жену, разглядывая ее, как после бесконечной разлуки.— Ты знаешь, я снялся! И чудесно получился! Нашел обаятельную рамочку и поставил тебе на туалет. Сначала хотел сделать надпись, знаешь какую? Нет, не скажу! Я надпишу то, что ты захочешь! Ты продиктуешь. И потом ты тоже снимешься и надпишешь мне то, что продиктую я, согласна? И я поставлю тебя на свой стол. Пока тебя не было, я сутками напролет смотрел на твою карточку, знаешь, которую еще давно достала Настенька,— где ты гимназисткой. Ах, Лиза!

Она переодевалась, он сидел рядом, слегка заломив переплетенные пальцы и говоря с раскаянием:

— Ну конечно, я взбалмошный. Тетушка меня тоже попрекает, говорит: «Витюша, это все от твоего дурного воспитания». Я говорю ей: «Ну, зачем же вы с этим ко мне адресуетесь? Вы мне дали, я и взял». Но, правда, Лизонька: я себя совершенно, в корень переделаю, и мы с тобой ни разу, ей-богу, ни разу больше не поссоримся! Разве я не мужчина? Возьму себя в руки, вот и все!

Он ни за что не хотел остаться к чаю, как его ни упрашивали, наоборот — он настоял, чтобы Мешковы пришли вечером к Дарье Антоновне, где будет отпраздновано примирение. Он нарочно

отослал домой лошадь, чтобы идти с женой пешком и непременно — по людным улицам, чтобы все видели, какие они счастливые.

Они шествовали рука об руку, не спеша, останавливаясь перед витринами, разглядывая фотографии, почтовые марки, модные зимние шляпки и даже калоши фирмы «Проводник».

— Знаешь,— говорил Витюша, довольный, что прохожие оглядываются на него с женой,— за тобой приезжала прокурорша, приглашала тебя на вечер. Будет шикарный вечер в Дворянском собрании, мы пойдем, правда?

— Да, да.

— Ты сошьешь новое бальное платье: надо им показать! Ты будешь разыгрывать лотерею. Интересно, да?

— Да, да,— отвечала на все Лиза.

Она была сосредоточенно-тиха, и необыкновенная ее ровность будто не давала Витеньке покоя, и он все хотел ее расшевелить.

Дома он водил ее по комнатам, и они выбирали вещи, которые можно пожертвовать для лотереи. Он выдвинул на середину гостиной стол для этих вещей, а сам ушел на тетушкину половину — готовиться к приему Мешковых.

Лиза подолгу с какой-то вялой леностью разглядывала безделушки, снимая их с насиженных мест и относя на стол. Это были нелюбимые вещи, заключавшие вкус, который ей был навязан готовым, построенным чужими руками домом. Но они уже несли в себе напоминания о пережитом, были невольной частью передуманного в этих стенах, и прикосновениями к ним Лиза словно договаривала то, что могла сказать только себе. И когда она увидела стол, заставленный пепельницами, бокалами, вазами, и этих мельхиоровых, посеребренных изогнутых женщин, и бронзовых сеттеров, и птиц с омертвело разинутыми клювами, она отчетливо вспомнила первое свое утро здесь и свою примиренность с происшедшим. И она так же села в кресло подле этого будто нарочно возобновленного свадебного подарочного стола.

Но постепенно странная улыбка начала озарять ее лицо — задумчивая и в то же время бездумная, счастливо-пустая, словно Лиза оставляла все окружавшее — быть, как есть, освобождалась от него ради того, что ей призрачно виделось впереди.

Так ее застал взбудораженный хлопотами, веселый Витюша.

— Ты что грустишь? — обеспокоенно спросил он.— Тебе жалко безделушек? Не хочется расставаться, да? Пустяки какие! Я куплю тебе лучше. Мы купим с тобой вместе, хорошо? А это все отдадим. Ты еще мало собрала. Я прибавлю. Пусть знают Шубниковых, не жалей!

— Я не жалею,— сказала очень тихо Лиза.

— Ну, а что же, что?

— Я хочу тебе сказать...

— Ну что, что? — торопил он.

— У меня будет ребенок.

Витенька смолк. Одернувшись, он распрямился, кашлянул, щипнул колечки усов.

— Не у тебя, а у нас,— поправил он новым, внушительным голосом.— У меня и у тебя. У меня, у Шубникова, будет сын Шубников!

Он подпрыгнул, распахнул руки, кинулся к Лизе, выхватил ее из кресла и, засмеявшись, поднял, почти подбросил ее в воздух.

35

Подполковнику Полотенцеву сообщили вечером по телефону, что подследственная Ксения Афанасьевна Рагозина умирает в тюремной больнице после родов, и спросили — не будет ли каких распоряжений?

— В сознании ли она? — задал вопрос Полотенцев и, получив утвердительный ответ, сказал, что приедет.

Он собирался на благотворительный бал, у него были разложены по стульям сюртук, белье, запонки, он еще не кончил заниматься ногтями,— и в это время позвонил телефон. Он был ревнив к делам службы, в рагозинском деле его постигла незадача, он не мог упустить случая лишний раз допросить жену Рагозина, да еще в такую минуту — перед смертью. Он велел позвать извозчика.

Человек, от которого дознание могло бы получить больше, чем от кого-либо другого, был менее других уязвим: беременность Ксении Афанасьевны до известной степени ограждала ее от пристрастия, с каким велись обычные допросы, хотя — за упорный отказ давать показания — ее дважды держали в карцере. Ей самой вменялось обвинение в соучастии, доказанном тем, что у нее на глазах — в кухне и в погребе — находились наборные шрифты и станок, на котором, очевидно, печатались прокламации. Но она не назвала ни одного подпольщика, утаивала, вероятно, известные ей следы скрывавшегося мужа, а за нерозыском его не мог быть вынесен приговор. Острастки не действовали на нее, попытка облегчить тюремные условия тоже не имела успеха, и в конце концов Полотенцев счел за благо предоставить ее естественному ходу вещей, то есть лишениям, голоду, неизвестности.

Роды начались в камере, без присмотра, и только поутру Ксению Афанасьевну перенесли на носилках в больницу. Она потеряла так много крови, что бабка, принимавшая ребенка, пока не явился акушер, сочла заботу о матери излишней.

Но новорожденный появился на свет здоровым. Это был краснокожий в мраморных жилках мальчишка с пучком слипшихся шоколадных пушинок пониже темени, большеротый, со сжатыми кулачонками и притянутыми к животу фиолетовыми коленками. Глаза он держал наглухо закрытыми, уши были приплюснуты к голове, и кончики раковин белели, точно напудренные. Он пищал не очень сильно, кривя на сторону рот, обведенный старческими морщинами. Его обмыли, помазали ему глаза и нос лечебным снадобьем, отчего он запищал погромче, перебинтовали пупок и отнесли в тазу, в котором обмывали, в соседнюю с родильной комнату.

Ксения Афанасьевна была крайне слаба, но все-таки, когда ее осмотрел акушер и приказал положить в отдельную палату, она попросила, чтобы ей дали ребенка. Его принесли запеленатым в больничную дымчато-рыжую пеленку и положили обок матери так, чтобы удобно было дать грудь. Но у нее не могли вызвать молока, и мальчишка напрасно попискивал и чмокал губами. Наверно, от голода он расклеил, наконец, веки, и в млечно-белой поволоке маленьких щелочек мать поймала его блуждающий неосмысленный взор.

— Карие! — прошептала она изнеможенно-счастливо.

Это был цвет глаз Петра Петровича.

Ребенка взяли, сказав, что его будет кормить мамка. За полдень ему нашли кормилицу-крестьянку — в общей женской камере каторжной тюрьмы. Больничная сиделка навязала ему на ножку тесемку с деревянной продолговатой бирочкой, на одной стороне которой было написано чернилами — «Рагозин», на другой — «крещен в тюремной церкви... наречен...». Для имени и даты было оставлено пустое место.

Обернув младенца серым арестантским бушлатом, сиделка, в сопутствии вызванного конвоира, понесла его двором в женский корпус. Сыпал первый несмелый колючий снежок, испещряя бушлат мокрыми темными пятнышками, и сиделка с бабьей сердобольностью укрывала то место, где находилась голова ребенка. Конвоир шел впереди невеселым служивым ходом, придерживая шашку. При входе в тюрьму стражник, открыв засовы решетки, засмеялся, гулко сказал.

— С приплодом!

И в отдалении другой стражник, отпирая решетку коридора, уловил его смех и угрюмо ухмыльнулся в ответ.

В камере, на крайней к окну наре, рослая арестантка, распустив завязку ворота на холщовой рубахе, кормила ребенка. Сиделка опустила рядом с ней новорожденного, развернула бушлат.

— Вот тебе приемыш, жалей да жалуй.

Женщины, медленно поднимаясь с нар, стали подходить ближе, полукругом обступая кормилицу. Она отняла от груди ребенка, положила его на подушку и взяла к себе на его место принесенного младенца.

— Полегше твово будет,— сказала одна женщина.

Арестантка вложила в жалкий разинутый рот мокрый сосок груди, но новорожденный бессильно чмокал и с писком глотал воздух. Она сжала его губки жесткими пальцами вокруг соска, и он начал судорожно подергивать крошечным подбородком и сопеть ей в грудь.

— Пошел! — одобрила сиделка.

— Мать-то жива еще? — спокойно спросила кормилица, похлопывая свободной рукой закричавшего у ней за спиной ребенка.

— Пока жива.

Все молча глядели, как учится сосать новый обитатель камеры. Наверно, он начал испытывать удовольствие, потому что выпростал из пеленки ножку с биркой и тихонько дергал ею. Раздалось два-три вздоха. Молоденькая арестантка утерлась рукавом и отошла в сторону.

— Свивальников-то у меня нету,— сказала кормилица.

— А вот мать помрет, и возьмешь, что от нее останется носильного,— посоветовала какая-то из женщин.

— Ты погляди,— сказала кормилица сиделке.

— Погляжу,— обещала та и простилась.— Оставайтесь с богом...

О Ксении Афанасьевне можно было и правда сказать, что она была — пока жива. Полотенцев, войдя к ней в палату, подумал, что приехал уже поздно.

При свете убогой лампы, висевшей позади изголовья, круглый лоб Ксении Афанасьевны, остренький носик и скулы были светло-желты, как липовый мед. Тени, закрывавшие глазницы и приподнятую губу, лежали неподвижно, в темноте чуть виднелась опавшая узенькая шея. Рот был открыт, светилась тонкая полоска верхних зубов, и оттого, что спутанные волосы широко раскинулись на подушке, весь череп, казалось, занимал очень немного места и был детским.

Полотенцев сел перед кроватью, нагнувшись и подперев кулаками подбородок. Подобно врачу, он наблюдал, как боролась за жизнь больная. Вероятно, он послушал бы ее пульс, но она держала руки под одеялом. Скоро он решил, что она не спит,— наверно, она заметила, как он входил.

— Пить,— расслышал он довольно внятно.

Он взял со столика поильник и поднес носиком к ее губам. Она глотнула, открыла глаза, и он почувствовал, что она его видит.

— Вы узнаете меня? — спросил он.

Опа не отвечала.

— Как вы себя чувствуете?

— Ничего,— сказала она, и веки ее опять закрылись.

— Но все-таки ваше положение довольпо опасно. У вас теперь сын. Вы обязаны подумать о нем.

Дыхание ее сделалось громким, она вытянула руку наружу, повернула кисть ладонью вверх, уронив ее на одеяло, и рука стала похожа на длинный беспомощный челнок, выброшенный на берег.

— Кто позаботится без вас о ребенке? Только отец. Но он даже не узнает, что у него есть сын. От кого он может узнать?

Ксения Афанасьевна попробовала приподняться.

— Нет, лежите спокойно. Вы ведь понимаете меня? — спросил Полотенцев.

Он пододвинулся ближе. Она теперь смотрела на него взглядом, в котором нарастали все силы ее меркнувшей жизни,— остановившимися, воспламененными зрачками круто скошенных вбок больших глазных яблок.

— Я вижу, вы понимаете, о чем я говорю. Ваш муж не поблагодарит вас, если ребенок погибнет. Скажите, кто может передать Рагозину, что у него родился сын?

Он легонько сжал и потряс ее руку.

— Говорите. Иначе будет поздно. Кто может сказать Рагозину, что у него есть сын? Говорите же!

Она протянула руку и чуть-чуть оторвала от подушки голову, но не могла удержать ее. Полотенцев почти приложил ухо к ее лицу. Он слышал, как стучали у нее от озноба зубы. Она прошептала неожиданно ясно слово за словом:

— Вам надо замучить мужа, как меня.

Он отшатнулся:

— Вы не в своем уме! Вам говорят о ребенке! Первого вы потеряли, хотите потерять другого?

— Сына вы тоже замучаете,— договорила она из последнего усилия.

Он встал и потребовал с возмущением:

— Еще раз: назовите, кому передать, что у вас родился сын?

Она отвернула лицо к стене. Он двинул стулом, отошел на шаг, подумав, спросил на всю палату:

— Какое у вас будет завещательное желание? Я ухожу.

Ее знобило сильнее — одеяло вздрагивало на ней. Вдруг, поворачиваясь, она почти простонала:

— Пусть назовут Петром!

Полотенцев высоко вздернул плечи.

— Второго Петра Петровича желаете отказать нам в наследство? Второго Петра Петровича не будет! Будеть обыкновенный тюремный Иван!

Он неторопливо погарцевал на месте и покинул палату гневным шагом.

— Черт знает! — сказал он помощнику начальника тюрьмы, провожавшему его через двор к воротам.— Какой-то совершенно бесчувственный народ!

Он заехал домой и переодевался без поспешности. В штиблетах с серебряными шпорами, в сюртуке по колено, он накинул в передней серую зимнюю шинель с пелериной и бобровым воротником, когда его опять позвали к телефону. Не сбрасывая с плеч шинели, он вернулся в кабинет. Канцелярия тюрьмы передавала, что дежурный по больнице врач сообщил о смерти Ксении Афанасьевны Рагозиной. Он ответил одним словом:

— Хорошо! — и поехал в собрание.

36

Вечер начали с опозданием — в зале шла литературная часть. Половину фойе заняли выставкой вещей, которые предстояло разыграть в лотерее. Дамы-благотворительницы еще хлопотали, прихорашивая убранство полок и столов. У колес стояли девочки в завитых кудряшках и голубых платьицах, пухлолицые, как херувимы Мурильо: они должны были вынимать билетики. Изредка дамы поправляли на девочках бантики и кудряшки. Посредине выставки красовалось в золоченой раме изображение главного выигрыша — холмогорская корова. Букет хризантем возвышался перед ее носом, предназначенный для счастливца, которому падет выигрыш. Кругом все сверкало, переливалось, искрилось — самовары, чернильницы, татарские туфельки, бутылки шампанского, рупоры граммофонов, будильники, мандолины, мясорубки. Здесь всякий вкус отыскал бы себе приманку, и ни поклонник стихов Надсона, ни знаток кактусов не могли бы пожаловаться, что они позабыты.

По сторонам лотереи были сооружены павильоны: в саженной, чудовищно разинутой пасти тигра красавица, наряженная цирковой укротительницей, продавала крюшон, а под цыганским шатром в цветистых заплатах другая красавица, дородная и упитанная, в костюме цыганки, сидела с попугаем, который выклевывал из ящичка бумажки с предсказаниями счастья. Над шатром висела надпись: «Станешь ворожить, коли нечего на зуб положить».

Когда дамы убедились, что все готово, они приотворили дверь в зал и стали слушать концерт.

Лиза устроилась впереди всех, около самой щелки, и ей хорошо видна была эстрада.

Егор Павлович Цветухин, во фраке, читал «Быть или не быть», и зал следил за ним с почтительной сосредоточенностью, как будто все чиновники, офицеры, купчихи в декольте и светские барышни собрались сюда, чтобы немедленно и окончательно принять то решение вечного вопроса жизни и смерти, которое предложит актер. Цветухин читал просто, но простота его была отлично сделанной и потому — театральной, он каждым словом, каждым жестом хотел сказать: смотрите, как прелестна, как обаятельна моя простота. Ему очень признательно аплодировали,— слава его была неоспорима, никто на нее не покушался.

Но когда после него вынесли маленький столик и кресло и появился перед публикой Александр Пастухов — водворилось то недоуменное живое любопытство, с каким встречают неведомого, но совершенно уверенного в себе исполнителя. «Видите ли,— словно говорил Пастухов, слегка небрежно и удобно усаживаясь в кресло,— удивлять вас я ничем не собираюсь, но уж раз вы меня захотели пригласить, есть у меня один недурной отрывочек из комедии, так себе — пустячок, и я вам его прочитаю, как прочитал бы вечером на даче, за рюмочкой,— вот послушайте-ка». И он без старания, точно для самого себя, начал читать по маленьким листочкам, ни секунды не думая, что ему кто-нибудь помешает, или его голос плохо слышен, или кому-нибудь не понравится его манера себя держать, а с полным, естественным убеждением, что он делает как раз то, чего от него все с нетерпением ожидают. И его слушали, сначала чуть-чуть улыбаясь, потом — подавляя смех, наконец — не в силах удерживаться и смеясь на весь зал и только вдруг пугаясь, что за хохотом ускользнет от слуха что-нибудь еще более смешное и любопытное. И когда Пастухов кончил и стал выходить на вызовы, он тоже смеялся — весело и немного свысока, внушая всем своим великолепно-снисходительным видом, что ведь — господи! — он же ни капельки не сомневался, что все это ужасно как смешно и неотразимо, хотя, конечно, сущая глупость, и по-настоящему он себя и не собирался показывать! Так что посмеяться — посмеемся, пожалуй, господа,— однако вы сами понимаете, что это вовсе не стоит такого шума!

Его триумфом закончилась литературная часть, публика стала выходить из зала, с бравурным призывом «Тореадора», долетевшим с хоров, была открыта лотерея. С билетов сняли печати, колеса завертелись, голубые херувимы опустили в них пухленькие ручки, доставая скатанные бумажки, дамы начали разыскивать на

полках выигрыши, с обворожительными улыбками вручая их публике.

Молодежь расступалась, давая дорогу Цветухину и Пастухову. С ними был Мефодий в старомодном фраке из костюмерной театра, мешковато-уютный, польщенный тем, что небольшая толика взоров, притянутых его знаменитыми приятелями, перепадала и ему. Втроем они подошли к колесу, за которым стояла Лиза. Пошучивая, как вся публика, насчет холмогорской коровы, которую предпочтительнее было бы разыграть в виде сливочного мороженого или выдержанного рокфора, они стали покупать билеты. Мефодий выиграл пачку зубочисток и сказал, что теперь дело стало за бифштексом, то есть опять за той же коровой. Цветухину досталось пять пустышек. Он вздохнул:

— Давно вижу, что потерял ваше расположение. Так вы мне и не ответили, понравился я вам в «Гамлете»? Бог вам судья! Но сегодня-то, по крайней мере, я был лучше этого несносного кумира толпы — Пастухова, а?

— Вы не сердитесь,— улыбалась Лиза,— хотя это совсем несравнимые вещи, но Александр Владимирович побил вашего Шекспира!

— Посторонись,— сказал Пастухов, пренебрежительно заслоняя собой Егора Павловича,— твоя звезда закатилась. Сегодня на коне — я! Будьте любезны (показал он Лизе все свои прочные зубы), вашей собственной ручкой — десять штук!

Необычайно серьезно все четверо раскатывали билетики, вынутые Лизой, пока не попался выигрыш.

— Боже, что это может быть? Я не перенесу! — скороговоркой выпалил Пастухов и взялся за сердце.

Лиза долго ходила от вещи к вещи, отыскивая по ярлычкам выигранный номер, а приятели следили за ней, гадая и подсказывая в нетерпении: кастрюля! — зонтик! — швейная машинка! И вдруг все сразу ахнули: графин!

Лиза несла вместительный хрустальный графин чудесных граней и просвечивающего пышного рисунка по гранатно-багровым блестящим плоскостям. Пастухов принял его священнодейственно, осмотрел любующимся взглядом, потом проникновенно заключил:

— Обидная, оскорбительная ошибка фортуны: эта вещь должна принадлежать, по великим заслугам его перед Бахусом, нашему несравненному другу!

Он преподнес графин Мефодию и поклонился.

— Стой! — остановил его Мефодий растроганно, но в неподдельной тревоге.— Не испытывай судьбу! Видишь?

Он вынул из графина пробку и поднял ее перед очами Пастухова:

— Понимаешь ли ты, безумец, что это означает?

Пастухов уставился на пробку, захлопнул ладонью рот и покачал в испуге головой.

— Ты меня напугал! Понимаю. Понимаю.

Он взял пробку, многозначительно спрятал ее во фрачный карман и, отдавая графин Мефодию, приказал:

— А это таскай ты!

— Символика! — сказал Цветухин.

— Таинственная магия! — грозно проговорил Пастухов и сделал несколько пассов гипнотизера на Цветухина и Лизу.

Они смеялись, а публика накапливалась около лотереи, оттесняя друзей в сторону, и Лизе пришлось отойти от колеса, чтобы расслышать, что ей говорил Цветухин:

— Я пролетел в трубу! Вы должны возместить мой проигрыш первым же вальсом.

Она стала уверять, что уже обещала, явно боясь, что ей нельзя поверить. Он глядел на нее с любованием,— ее возбуждение нравилось ему, ее юность еще жила в ней нетронутой, едва украшенной первым женским расцветом.

— Ну, хорошо, верю, верю. Ну, тогда — не вальс, а хоть какую-нибудь завалящую плясочку — обещаете?

— Завалящую — да.

Шутливому их разговору помешал Мефодий: он незаметно потянул Цветухина за фалду и пробормотал всполошенно:

— Идем скорей, нас представляют прокурору палаты!

Ознобишин, гордясь своим знакомством, уже подвел Пастухова к супруге прокурора, и она изливала восторг, уверяя, что никогда не слышала таких чтецов и не подозревала, что в городе живет человек, пишущий такие забавные, такие милые комедии. Пастухов слушал, чуть наклонив голову, довольный похвалой, со своей улыбкой торжествующего и убежденного совершенства.

— Вы просто всех покорили, и я вас благодарю от имени нашего Общества! Спасибо, спасибо!

— Н-да, н-да, благодарю вас,— говорил прокурор, пожимая Пастухову руку,— вы, как бы сказать, альфой созвездия осветили наше скучающее собрание. И как же вам не грех, живя здесь, скрывать от нас свое вдохновение, свой дар?

— Видите ли, ваше превосходительство,— сказал Пастухов с обаятельной непринужденностью давнишнего знакомого,— я никогда не думал, что могу вас заинтересовать в этом своем качестве.

— Но позвольте, позвольте! Неужели вы полагаете, что мы уж так никогда не берем книги в руки, не заглядываем в театр, не интересуемся... как бы сказать, явлениями...

— Нет, нет,— поторопился Пастухов,— я только полагаю, что ваш интерес к некоторым мнимым, подозреваемым моим качествам мешал вам увидеть во мне что-нибудь другое.

— Подозреваемым? Но мы всегда подозревали в вас именно талант!

— Однако высокое учреждение, которое вы возглавляете, не допускало меня убедить вас в этом, да?

— Вас ко мне не допускали? Ах, да, да, да! — обрадованно спохватился и будто сразу все припомнил прокурор.— Вы говорите об этой истории?! Ну, вы заставляете меня открыть все наши карты! Извольте! Мы вас нарочно никуда не выпускали, прежде чем вы не порадуете нас своим блистательным публичным выступлением!

Пастухов скользнул ладонью по лицу, смывая выражение обаятельного лукавства, и, захохотав, предстал перерожденной веселой душой общества, почти рубахой-парнем.

— Подумайте, подумайте! — восклицала прокурорша, перебивая разговор мужа с Пастуховым.— Вашему другу достался графин без пробки!

Мефодий с Цветухиным нерешительно ждали, как повернет дело Пастухов, когда довольно улыбающийся, уверенный в каждом движении Александр Владимирович вытащил из фрака пробку и потряс ею перед лицом превосходительной четы.

— Я спрятал пробку,— на актеров нельзя положиться, они мечтатели и страшные растери. А пробка мне нужна,— проверить один в высшей степени научный опыт.

— Как, вы занимаетесь и наукой? — сказала прокурорша.

— Вы любите горох, ваше превосходительство? — спросил Пастухов.

— Горох? — удивился ужасно шокированный прокурор, впрочем — с вежливой миной и любопытством.

— Французы едят гороховой суп с похмелья. Как целебное средство. Не слыхали? Очень советую. И вот, когда будете варить, для ускорения положите в горох хрустальную пробку. Это мне сказал большой гурман, и я теперь сам проверю.

— Боже мой, как интересно! — смеясь со всеми, говорила прокурорша, пораженная необычайной шуткой: при ней никто никогда не говорил, что прокурор может быть с похмелья.

Продолжая крутить пробку в пальцах, Пастухов немного пододвинулся к прокурору и сказал почти доверительно:

— Значит, теперь, ваше превосходительство, когда осуществлен коварный план и меня додержали до нынешнего вечера, я могу надеяться, что во мне больше нет нужды у вас в городе?

— Как — нет нужды! Да мы вас только что узнали! — в приступе неудержимого радушия запротестовал прокурор и едва не обнял Пастухова.— Как раз сейчас появилась настоящая потребность вас удержать! Мы вас ни за что не отпустим, пока вы не пожалуете — почитать у нас в узком кругу!

— Абсолютно в узком, интимном кругу,— поддакивала прокурорша,— и вы сейчас же, сейчас нам обещаете!

Казалось, все было отлично — все любезнейше улыбались, и расшаркивались, и кланялись,— но Пастухов не выпускал из рук пробку и решил двигаться к цели, презрев приличия.

— Все же, ваше превосходительство, если говорить не о журавле в небе, а о том воробье, который зажат в кулак...

— Но какой же такой воробей? — поднимал брови прокурор.

— Ах, что — воробей! — говорил Пастухов.— Я чувствую себя тараканом в спичечной коробке!

— Воробей! Таракан! После такого фурора! Однако вы избалованы! И позвольте... если вы опять насчет...

— Да, ваше превосходительство, я опять насчет,— продолжал Пастухов.

— Ах, опять насчет вашей неприятности? Но, господи боже, завтра я дам распоряжение, и... пожалуйста, пожалуйста, поднимайтесь в поднебесье журавлем или там ясным соколом и летите, куда вам угодно!.. Голубчик Познобишин, прошу вас, скажите завтра, чтобы мне дали это дело... ну, это недоразумение с господином Пастуховым.

— И с Цветухиным,— вставил Пастухов.

— И с господином Цветухиным. Пожалуйста. И потом — минуточка,— что это вон там за лысина, вон у лотереи, это — не подполковник? Попросите его, голубчик, чтобы подошел...

— Вот! — вздохнул с великим освобождением Пастухов.— Вот теперь готов я не только читать на эстраде, но — если угодно — нарядиться испанкой и танцевать с кастаньетами!

— А мы вас и заставим, и заставим! — посмеивался прокурор, откланиваясь и следуя за своей дамой.

Пастухов стоял, будто задымленный победой в славной кампании,— ноздри его шевелились, губы были жестко приоткрыты, словно он держал во рту невидимую добычу. Оба друга созерцали его с благоговением.

— Прав я? — жадно спросил Мефодий.

— Ты пророк! — великодушно пожаловал Пастухов и торжественно воткнул пробку в горлышко графина.— Суп сварен. Она мне больше не нужна.

Он взял друзей под руки:

— Левое плечо вперед! В буфет, марш!..

Маршировать было, конечно, немыслимо,— надо было пробираться, протискиваться сквозь гудящие рои публики. В буфет тянулись все, кто выиграл в лотерее, чтобы «спрыснуть» выигрыш, и кто проиграл — выпить с горя, и кто совсем не играл, а предпочитал тратить деньги, не омрачая удовольствия превратностями судьбы.

Виктор Семенович Шубников принадлежал к людям, действовавшим наверняка. Окруженный закадычными товарищами, он провел за столиком все время, пока в зале читали артисты, и не собирался менять место. Ему только хотелось взглянуть на Лизу,— какова она в новой роли, рядом с дамами общества. И, выбравшись из буфета, он постоял в отдалении от лотереи, укрываясь между людьми и наблюдая за женой. Да, он мог сказать себе, что решительно счастлив: платье Лизы было богаче всех, украшения на ней — несравненны по блеску, прическа ее — много выше других,— может быть, самая высокая на балу. Около ее колеса толпилось больше всего публики, она улыбалась очаровательнее всех, она двигалась легче и плавнее других дам, от прикосновения ее рук вещи будто дрожали,— нет, она недаром носила фамилию Шубникова!

Витенька подошел к ней с расплывшимся лицом.

— Я вижу, ты скоро расторгуешься?

— Сидение в магазине пошло впрок,— весело ответила она.— Ты выпил?

— В кругу друзей, в кругу друзей! Мы ждем тебя.

— Не могу. Видишь, что творится,— сказала она и так же весело, мимоходом, прибавила: — Ты ничего не имеешь против? Меня пригласил Цветухин танцевать.

Ему даже понравилась эта неожиданность,— прекраснодушие растворило все его чувства, успех жены казался ему собственным успехом.

— Если ты меня будешь спрашивать, я всегда тебе разрешу!

Она не отозвалась, а только еще живее захлопотала, сличая выигравшие билетики с ярлыками вещей: хлопот было и правда чрезвычайно много.

Витенька возвратился в буфет с ощущением зачарованного поклонника. По пути он гадал у цыганки. Попугай вытянул ему из ящичка полезное правило жизни, гармонировавшее с его убеждениями: «Добивайся настойчиво, и вскоре достигнешь своего. Помни, что тебе завидуют».

Он увидел Цветухина с Пастуховым, которые искали свободное место. Проходя, он раскланялся с Егором Павловичем и предложил разделить компанию за своим столом.

— Вы, поди, тогда у Очкина подумали, что я нелюдим. Но,

знаете, было неважное настроение! А нынче симпатичный вечер, не правда ли? Моя жена говорит,— вы с ней танцуете?

— Вальс она обещала, наверно, вам? — спросил Цветухин.

— Я переуступаю! — от всей щедроты сердца объявил Витюша.

Он хотел поздороваться с Пастуховым и был изумлен, что тот его просто не приметил, как будто Виктор Семенович своей персоной входил в состав электрического освещения, не больше. Это было настолько разительно, что Егор Павлович опешил не меньше Витюши и попытался замять обидную неловкость и даже дернул друга за рукав, но из всех стараний ничего не получилось,— Витюша отошел ни с чем.

Александр Владимирович с необычайной даже для него пристальностью глядел в угол, где поблескивал затылок и вспыхивали очки Полотенцева. Подполковник разговаривал с прокурором. Пастухов следил за тончайшими изменениями лица его превосходительства, за оттенками и вариациями его жестов, словно читая издалека все помыслы прокурора, и вряд ли он узнал бы больше из этой недолгой значительной беседы, если бы слушал ее, стоя рядом.

— Господь с вами,— говорил прокурор с поощрительной усмешечкой,— вы до смерти истомили наших служителей муз! Смотрите, какие дарования, а? Гордость и слава, а?

— Конечно, выше превосходительство,— соглашался подполковник,— но мне продолжает казаться, они служат не только музам, но отчасти некоторому ложному направлению.

— Казаться? — переговаривал прокурор.— Этого маловато, согласитесь. Де́ла-то ведь, как вы мне докладывали, никакого? Нет, нет, давайте-ка отпустим их души на покаяние!

— В том и беда, ваше превосходительство, что они не склонны принести покаяние.

— Ну а если, однако, не в чем, а?

— У каждого есть что-нибудь такое, в чем не мешает покаяться.

— Что-нибудь такое? — снова переговорил прокурор, и уже с нетерпением.

— И потом, ведь это им на пользу, ваше превосходительство.

— Полагаю, не во вред. И, может быть, по справедливости вы правы. Но по закону — нет. Покорно прошу подобрать материал, и я прекращу производство.

— Все дело, ваше превосходительство, понемногу приходит к концу: нынче умерла Рагозина.

— От болезни? — утверждающе и остро спросил прокурор.

— От родов.

— И что же?

— Не отрицала, что муж был главарем.

— И, может быть, еще чего-нибудь не отрицала? — полюбопытствовал прокурор, продолжая настороженно исследовать очки подполковника.

— Не отрицала, чего, по очевидности дела, не следовало отрицать,— несколько загадочно ответил Полотенцев и потер свою математическую шишку.

— Ну-с, меня ждут партнеры,— закончил прокурор.— Извините, помешал развлекаться. Но все из-за артистов. Какие таланты, а? Вытянули что-нибудь в лотерее, нет? Не везет? Что вы! Вам всегда везет! Корову желаю вам, корову!

Он удалился в карточный зал, а Полотенцев пошел к выходу, совсем близко миновав Пастухова и не поклонившись: во-первых, было не в его обычае считать знакомыми тех, кого он узнавал по служебной обязанности, во-вторых, на поклон жандарма могли и не ответить.

Пастухов пропустил подполковника, с напряженным увлечением раскуривая папиросу, и потом массивные его плечи, живот и грудь стали чаще и чаще подергиваться от беззвучного смеха. Он обнял Цветухина, озаренный довольством и беззаботностью, и повел его к столу, за которым уже поместился Мефодий. Они приказали чуть-чуть подогреть бордо и наполнить им выигранный графин. Они болтали, на разные лады возвращаясь к тому, что их одинаково занимало в эту минуту: после встречи прокурора с подполковником, которую Пастухов уверенно истолковал в свою пользу, недавние терзания оборачивались курьезным анекдотом, и оставалось только выпить.

Танцы уже начались, пение меди доносилось громкими вздохами, Цветухин все порывался уйти, но графин был емкий, вино тяжелило, приятели выдумывали тост за тостом, пока, наконец, Александр Владимирович не провозгласил как отпущение грехов:

— Здоровье той, что подарила нас талисманом. За бедную Лизу (он сощурился на Цветухина), за Бедную Лизу и за Эраста!

Егор Павлович выпил стоя, послушно приняв новое крещение, и, уходя, состроил мину рокового соблазнителя.

Он был на той приступочке, на которой вьющийся к небу хмель делает свой первый завиток и откуда все в мире начинает казаться эфирно-легким и доступным. Ему хотелось быть стройнее, чем он был, шагать изящнее своей походки, глядеть горячее, улыбаться ярче, говорить краше. Ему доставляло усладу, что идти было тесно, что он мягко задевал чужие локти, изысканно извинялся и благосклонно извинял.

Лиза представилась ему покорительной и сразу подняла его ступенькой выше, где хмель изгибался вторым завитком — еще не

дерзким, но уже очень смелым. Егор Павлович словно не в первый раз держал Лизу об руку, прокладывал ей путь среди разодетой толпы, вводил ее в блистающий зал, ставил в черно-белый строй пар, подчинял и подчинялся вместе с нею повелевающей музыкальной забаве.

Завалящая плясочка, им, конечно, вспомянутая, оказалась падекатром. Они отворачивались друг от друга, обращались друг к другу лицом, кружились и опять отворачивались, и эта смена движений на секунду точно разлучала их, чтобы потом на секунду соединить, и они то глядели друг другу в глаза и что-то начинали говорить, то обрывали речь и придумывали — что сказать, когда начнут кружиться, и все это повторялось, повторялось, повторялось и становилось лучше и лучше, хотя ритм ничуть не менялся, а только учащалось дыхание и хотелось двигаться дольше и дольше. И хотя они были оцеплены сзади и спереди поездом таких же, как они, пар, у них было чувство, что они — единственная пара и музыка обрушивает с хоров свои громы на них одних.

Слова, которыми они обменивались, касались сознания Лизы с такой мимолетной легкостью, будто пролетала, садилась на верхушку тростинки и вновь летела прочь прозрачная стрекоза. В памяти оставалось одно движение, след рассеченного воздуха, вспышка света, ничто.

Но вдруг речь Цветухина начала мешать пустому полету мыслей, задерживать его, отягощать. Оркестр распался на отдельные инструменты, люстры — на лампочки, танец потребовал внимания.

— Что? Что вы сказали? — спросила Лиза на последнем повороте.

Они отвернулись друг от друга, потом сделали два па, глядя в глаза, потом она положила ему на плечо руку, и он повторил ясно:

— Вы уже убегали от мужа?

К счастью, без остановки шли повороты — третий, четвертый,— и уже нужно было опять становиться спиной к Цветухину и можно было подумать.

— Кто вам сказал?

— Мне просто кажется — непременно убежите.

Какой трудный, однако, этот танец, как неуклюже связаны его глупые части, как быстро устаешь!

— Вам хочется, чтобы я убежала?

— Мне хочется, чтобы вы были счастливы.

Кто-то толкнул Лизу, она замешкалась, звенья поезда позади нее сжались, ей наступили на платье, она взяла Цветухина под руку:

— Я устала.

Он вывел ее из зала, она пошла к лотерее, он придержал ее. Разгоряченный, с влажным поблескивающим лицом, он коротко дышал, часто прикладывая сложенный платок к подбородку, вискам и шее.

— Мне надо работать,— улыбнулась она, показывая на вертящееся колесо.

Он спросил настойчиво:

— Счастливы ли вы?

— Да. Конечно,— ответила она строго и потом, взглянув на него с прямотою человека, готового отстаивать себя дорогой ценой, сказала еще раз: — Да, конечно, счастлива, совершенно счастлива. И вы не должны меня об этом спрашивать!

Она поклонилась и уже не видела, как он на минуту остолбенел, держа платок в остановившейся руке.

Она провела добрый час за чтением билетиков и ярлыков, путая номера, ошибаясь в выдаче вещей, пока одна из дам не сказала ей шутливо и сострадательно, что она утомилась и пора отдохнуть.

Она пошла в буфет. Вокруг двух сдвинутых вместе столов шумели, объединившись, компании Витюши и Цветухина. Хохотали над рассказами Пастухова. Он сидел, как будто разросшись в своем кресле, и по глазам его, чуть склеенным от хмелька, было видно, что он приятно потешался невзыскательностью смешливого общества. Все поднялись, предлагая место Лизе.

— Какие люди, какие люди! — приговаривал Витюша.— Ей-богу, ты не помешаешь: все очень прилично.

— Совершенно стерильно! — уверял сильнее всех подвыпивший Мефодий.

Но Лиза не хотела оставаться: ей было не по себе, кружилась голова, и Витюша внезапно проникся полным сочувствием и усердно закивал, давая понять, что ухватил какую-то важную мысль.

Он вытянул из кармана сверток займовых купонов и объявил, что платит за всех. Но со счетом у него получилось плохо. Приятели взялись помогать и тоже сбились. Пастухов отобрал у всех купоны, скомкав ворохом, и передал Лизе.

— Единственно трезвая душа — протяните нам, пьяненьким, руку помощи!

Она попробовала серьезно считать, но сразу запуталась,— одни купоны были в рублях с копейками, другие в неполных рублях без каких-то копеек, а главное — Цветухин смотрел на нее своими черными горящими глазами не отрываясь. Она капризно призналась, что ей скучно разбираться во всех этих процентах. Тогда Цветухин сказал:

— Попомните слово: не выйдет из вас купчихи, коли не любите считать деньги.

— Эх! — воскликнул Витюша, загребая купоны назад, в карман.— Зачем богатой считать? За богатую другой кто-нибудь сосчитает. Человек! Скажи буфетчику, чтобы прислал счет ко мне домой. Я — Шубников!

Он подал руку Лизе.

— Нынче меня уводит жена. Я согласен. Согласен.

Он шел не очень твердо и все время нашептывал:

— Я тебя сразу понял — маленький Шубников хочет бай-бай. Да? Угадал? Спатиньки хочет наш маленький, да?

На морозце он еще больше размяк, лепет его стал неразборчив, и дома, с грехом пополам раздевшись, он тотчас захрапел.

37

Лиза долго не могла уснуть. Странно повторялись перед ней залы собрания. Возникнув, они застывали, и она могла подробно разглядывать в переливах света каждое лицо из толпы, платья женщин, букеты цветов и те вещи, которые она раздавала в лотерее и которые потом как нелепую обузу весь вечер носили в руках счастливцы. Но всякий раз, когда перед ее взором останавливалось смуглое влажное лицо Цветухина, она старалась забыть его, и перескочить на другое воспоминание, и задержаться на нем, чтобы как можно дольше не приходило на память смуглое лицо. В этой борьбе начиналась изнуряющая путаница, и Лизе казалось, что она никогда не заснет, а всю ночь будет мучиться бессонницей и пробиваться куда-то сквозь нагромождения мешающих забыться картин и вещей. Она бежала от них, но ее бег был очень слаб, ей хотелось вскочить на лошадь, и она даже видела лошадей, на которых можно было бы убежать. Лошади были разные, и среди них мелко переваливался с боку на бок игрений иноходец Виктора Семеновича. Лиза думала вскочить на него, но тут вырвался откуда-то вороной рысак, накрытый большой синей сеткой, и Лиза успела ухватиться за сетку и очутилась в пролетке. Рысак мчал по пустым ночным улицам, сквозь тьму, и на весь город раздавался звон его подков. Дул ветер, и Лиза дрожала от холода — на ней была одна сорочка в кружевах и на голове — ночной чепчик тоже весь в кружевах и с бантом. В совершенной темноте пролетка вдруг остановилась перед огромным черным подъездом, и Лизу кто-то с обоих боков взял под локти и помог сойти. Она открыла тяжелую дверь подъезда,— это был театр. Она двигалась между пустых рядов партера к сцене. В бесконечной высоте на люстре горела одна пыльная желтая лампочка, чуть-чуть озаряя немой зал. Она ступала босиком неслышно, страшно медленно, в своей кружевной сорочке и чепчике, как — перед самой смертью — Пиковая дама,

которую она видела в опере. Она перешла глубокую яму оркестра по узкой дощечке и перешагнула через рампу. Занавес был поднят. Вдруг под ногами вспыхнуло множество огней и ослепило ее. Она стала измерять сцену шагами. Пол был шершавый, занозистый, снизу через щели дул холод. В длину она насчитала двадцать семь шагов, в глубину семнадцать. Может быть, в глубину было больше, но ей что-то темное мешало идти глубже, и она не знала — что там, за темным. Она повернулась. Холод все дул, длинный подол сорочки бил ее по ногам. Она стала считать лампочки, но они разгорались ярче, у нее закололо в глазах, она зажала лицо ладонями, и тут чей-то пронзительный голос закричал отчаянно сзади, из темноты, и Лиза очнулась.

Она дрожала в испуге, но у нее было странно ясное ощущение, что она узнала во сне что-то необычайно новое и сама будто обновилась. Витенька храпел безмятежно. Лиза провела рукой по своему телу — пот проступил у нее на ключицах. Она скинула сорочку, бросила ее в кресло, надела халатик и подошла к окну.

На улице, уже по-утреннему людной, лежал тонкий сухой снежок. Черные следы колес расходились по мостовой, как рельсы. Запорошенные крыши были незапятнанно белы, и дома как будто приподнялись. Небо было сплошь серо. Дымки из труб расшивали по нему синие шары, которые росли, голубели и сливались с небом. Саней еще не было.

Лиза прочла про себя: «Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна...» — и вышла в столовую.

Почти в ту же минуту отворилась другая дверь. Горничная-старуха, шевеля бровями, таинственно манила к себе пальцем Лизу, в то же время подходя к ней на цыпочках.

— Девочка пришла. Девочка вас спрашивает.

— На кухне?

— Да. Вы велели, говорит, прийти. Вы, говорит, дожидаете.

Лиза быстро оглянулась на спальню и, с неожиданной для себя доверчивостью, шепнула старухе, чтобы та посмотрела.

Выбежав в кухню, она увидела Аночку, притулившуюся у дверного косяка, в той же материнской, еще не перешитой жакетке, в какой она была прошлый раз, и в шерстяном поношенном платке.

— Здравствуй,— тихо сказала Лиза,— ну что ты?

— А я была вчера у Веры Никандровны.

— Ну что же, что?

— Она обрадовалась.

— Тебе обрадовалась?

— Обрадовалась, что вы велели сходить.

— Ну?

— Она вот еще меньше живет, как вот отсюда до печки.

— Что же, она о чем-нибудь говорила?

— Мы целые послеобеда все говорили. Она теперь девочек учит, а не мальчиков.

— А о чем я тебя просила — говорили?

— Ага, говорили. Она все спрашивала, спрашивала, а я все как есть рассказала, про то, как мама с папой в лавку к вам ходили и как потом вы...

— Нет, нет. А про Кирилла?

— И про него тоже.

— Ну что, что?

— Она письмо дала.

— Мне письмо? — еще тише, но с неудержимым порывом спросила Лиза.

Она уже стояла вплотную к Аночке и не упускала глазом ни одного ее движения. Аночка расстегнула жакетку и, взявшись за полу, поглядела на Лизу с ясной и хитрой улыбкой:

— Вера Никандровна увидала — у меня подкладка отпорота, спрятала туда письмо и потом сама застебала.

Она подковырнула подкладку, всунула под нее пальчик, дернула, с треском разорвала шов и вытащила маленький конверт с лиловым кантиком по краям. На нем было написано одно слово — *Лизе*,— но это слово разом объяснило все: письмо было от Кирилла.

— Ты подожди... или нет, ступай, ступай! — задыхаясь, проговорила Лиза и толкнула ногой дверь.— Ты потом приходи, после!

— Когда-нибудь или когда? — огорчившись, но без обиды спросила Аночка.

— Когда хочешь, или все равно, погоди,— ничего не соображая, сказала Лиза, подвигаясь к окну и ногтями кое-как общипывая край конверта.

Листок бумаги был исписан кругом не очень мелко,— читать было нетрудно. Лизе казалось, она не ухватывает всех слов, а только читает начало и конец фраз, но она не пропускала ни одной буквы и понимала гораздо больше, чем было выражено буквами, и жадно спешила угадать мысль, которая скрывалась за бумагой и должна была быть самой главной.

Кирилл писал, что вот наконец он может послать письма матери и ей и что он так давно ждал этого и столько раз в голове написал ей это письмо, что теперь ему мешают припоминания — о чем он хотел написать, и, может быть, он не напишет, о чем больше всего надо. С тех пор как он видел ее последний раз, так неожиданно много переменилось в нем самом, что он не совсем разбирает, от чьего имени пишет — от того ли Кирилла, каким она его знала, или от нового, каким он себя сейчас чувствует.

Тут Лиза перехватила дыхание и заставила себя читать медленнее.

«Я теперь совсем в другой жизни, не похожей на прежнюю ни капельки. Училища моего и не существовало будто наяву, а только во сне. Я — в деревне, каких на Волге не найдешь, всего в одиннадцать дворов. До ближнего села семь часов ходьбы лесом. Народу мало, меньше, чем у нас в классе, но он необыкновенный. Начал теперь видеть, как живут, и, знаешь, Лиза, я был раньше ребенком. Ты меня, может быть, сейчас не узнала бы.

Живу у старухи с внучатами, которая по вечерам поет: «Уж я золото хороню, хороню». Я спросил ее, оказалось, она в жизни не видала золота. Здесь даже серебряные обручальные кольца в редкость, у всех медные. Здесь уже снег, как выпал, так сразу лег. Началась великая русская зима. У вас, наверно, еще не холодно? Сказки моя старуха сказывает такие, каких у нас не слыхивали. Без сказок, наверно, нельзя бы прожить.

Я пишу то, что совсем не важно, но я думаю, так ты лучше представишь, где я буду теперь очень долго. Нам с тобой все это бесконечное время надо будет не видаться, и хотя мне очень это тяжело, я решил и знаю, что могу перенести. Но вот о чем я еще решил тебе сразу написать. Дорогая Лиза! Все это так будет тянуться, что тебе может стать невыносимо. Тогда ты знай, что я пойму, если ты не захочешь ждать, когда кончится мой срок, то есть три года. Это я тебе говорю честно, потому что достаточно обдумал. Я не буду считать это обидой, даю слово. Для меня дороже твоя свобода и независимость.

И еще прошу тебя, напиши мне и, пожалуйста, не сердись па меня, если я ошибаюсь. Верно я заметил твою склонность к Цветухину? Если да, то я не могу ничего иметь против, а если нет, то я буду только больше счастлив, чем прежде, и буду надеяться, что мы все-таки будем вместе. Это я все очень передумал.

Это пока все о тебе. Ты сама должна написать мне о себе больше. Я хочу все знать. Я о себе написал очень много маме и просил, если ты захочешь, чтобы она тебе прочитала.

Да, вот еще, между прочим. Когда меня везли сюда, на одной станции мне купили, вместо табаку, потому что я не курю, сушеных яблок. Они были в клочке газеты. Так я узнал, что умер Толстой. Напиши, как ты перенесла эту смерть и как вообще перенесли. Я много думал и пришел к выводу, что он находится все-таки в числе моих великих людей. Помню наш разговор и вообще помню всю, всю тебя! Маме я послал список, какие мне нужны книги. Пиши.

Кирилл».

Лиза опустила руку с письмом. Лицо ее было все залито краской, потемневшие мокрые глаза горели, она смотрела не мигая.

— Мне, что же,— идти? — боязливо спросила Аночка.

Лиза молчала. Вся жизнь сосредоточилась для нее на такой глубине души, которой она прежде у себя не подозревала, и ей казалось, что теперь ей ничего не надо, кроме этой бурной, потрясавшей ее жизни души.

Но когда в кухню заглянула перетревоженная старуха, Лиза в страхе спрятала письмо на грудь и шепотом спросила:

— Что, проснулся?

— Не знаю, матушка, стихли что-то Виктор Семеныч,— тоже шепотом ответила из-за двери старуха.

Тогда Лиза словно впервые заметила Аночку и замахала на нее обеими руками:

— Ты что же стоишь? Ступай, придешь другой раз!

— А Вере Никандровне сказать чего или вы сами? — спросила Аночка, вобрав голову в плечи и съеживаясь, изо всей силы показывая, что отлично понимает, в какую она посвящена тайну.

— Я сама! Я все сама! — опять взмахнула руками Лиза и побежала в комнаты.

Она подкралась к спальной и прислушалась. Витенька храпел, но потише. Лиза приоткрыла одну створку двери. В спальне было полутемно. Муж лежал, раскинувшись, лицом вверх. На кресле, в стороне, белела брошенная кружевная сорочка: точно мертвая Пиковая дама,— вспомнила Лиза свой сон и, вспомнив, уже не могла не повторить памятью все впечатления, с какими ночью засыпала, и опять увидела смуглое лицо Цветухина, его смоляной взгляд, и захотела перечитать то место письма, где Кирилл о нем пишет.

Она тихонько села у окна и незаметно, урывками, вновь пересмотрела все письмо, стараясь разобраться в нем все еще не успокоившимся умом. Она силилась как можно стройнее ответить себе — виновата ли она и должна ли она себя осудить, но долго не могла сложить какой-нибудь ответ и толком не понимала, о чем она себя спрашивает. Она смотрела за окно на снег, и перепутанные фразы беспорядочно возвращались к ней, выражая лучше всех ее вопросов ту самую жизнь души, которая поглотила ее после первого чтения письма: началась великая русская зима — «проснувшись рано, в окно увидела Татьяна» — мы все-таки будем вместе — он все-таки находится в числе великих людей — все-таки из вас никогда не выйдет купчихи,— все-таки, все-таки Пиковая дама!

— Боже мой, чем же я виновата! — прошептала Лиза и беспомощно, по-детски, легла щекой на подоконник.

Понемногу она стала овладевать своими мыслями и с мучительной горечью понимать, что, подчиняясь своему долгу сначала

перед отцом, потом перед мужем, боясь нарушить этот внушенный ей с детства, непреступаемый общеизвестный долг, она пошла против того долга перед самой собою, который никому не был известен, но был несравнимо больше и важнее всего. И хотя теперь Кирилл освобождал ее от этого долга — великодушно и как только мог мужественно,— она чувствовала себя нарушительницей любви, потому что любовь ее не переставала в ней жить сейчас, как прежде.

Ей жгуче хотелось смягчить этот приговор над собою, и она знала, что он смягчается или, может быть, даже рушится перед лицом нового, небывалого в ее жизни и высочайшего долга — перед тем, что она ожидала ребенка,— но ей не становилось легче, а только всеми ощущениями, словно обнаженными мукой, она чувствовала, что уже никакой силой ничего переменить нельзя.

У нее лились слезы, неиссякаемые и страстные, она не вытирала их и продолжала беззащитно лежать лицом на мокром подоконнике, не двигаясь, прижимая к груди смятое письмо.

38

С первыми санями Александр Владимирович Пастухов покидал родной город. Вещи были отправлены в Петербург раньше, и он ехал налегке — с одним чемоданом и портпледом.

Извозчик вез лихо, слышно было ёканье лошадиной селезенки да стук еще некрепких снежных комьев по передку. Пастухов раскраснелся, ветер, точно просеянным песком, поцарапывал его полные щеки. В высокой бобровой шапке, но с расстегнутым воротником, он смотрел вокруг с облегчением,— приобретенное чувство свободы воодушевляло его живостью и новизной. Всю длинную улицу, которая натянутой белой лентой вела к вокзалу, он успевал оглядывать обе стороны домов, почти сплошь знакомых ему, и прощался с ними последней, немного залубеневшей от ветра счастливой улыбкой. «Бог с ним, с отчим домом,— думал он,— прощай навсегда или, может быть, до лучших времен». Но невольно он находил в прошлом что-то неуловимо-приятное и, радуясь отъезду, чуть-чуть жалел, что пережитое уже не возвратится.

Проезжая тюрьму, он отвернулся и глядел на другую сторону все время, пока мимо проползал бесконечный острожный забор. Он сам иногда дивился этому свойству своей натуры — оберегать себя от неприятного: глаза его не любили смотреть на то, что омрачало.

Университет наполовину был в строительных лесах, покрытых длинными полотенцами снега. У казарм солдаты без мундиров, в нательных рубахах и бескозырках, звонко чистили скреб-

ками тротуары. Перед вокзалом извозчики беззвучно отъезжали от подъезда и выстраивали поодаль в ряд своих лошадей, масти которых на чистом снегу стали резче разниться друг от друга.

Пастухов не взял носильщика и медленно прошел с багажом в зал первого класса. Здесь было не очень много народу,— офицеры пили крепкий чай за длинным столом с пальмами, купец, обжигаясь, ел щи, дамы в ротондах взволнованно разговаривали с носильщиками, большая семья расселась в кружок перед раскрытой корзинкой, и нянька, ломая на куски тульский пряник, наделяла им детей. Все были в зимнем, и теплота, пропитанная запахом обедов и папирос, еще больше давала ощущать наступившую зиму.

Цветухин и Мефодий шли навстречу Пастухову, покачивая головами, как будто говоря без слов, что вот ты и покидаешь нас, изменщик, а мы должны оставаться и завидовать твоему счастью. Они взяли у него из рук чемодан и портплед, и все трое уселись за небольшим столом невдалеке от огромной, разукрашенной фикусами стойки буфета. Они глядели друг на друга, улыбаясь, каждый сразу думая о себе и о том, что мог думать о нем другой. Потом Пастухов утер холодное от мороза лицо и сказал довольно:

— Хороша погодка. Что же? Расстанную?

Цветухин поднял голову к часам над буфетом:

— Минут сорок еще осталось.

Они велели подать нежинской рябиновой с пирожками и закурили.

Прошел мимо жандарм в шинели до пола, звеня шпорами и волоча за собой струю суконно-керосинового запаха. Пастухов пофыркал носом, озорно перекрестил себя чуть повыше живота:

— Пронеси, господи!

Все трое засмеялись и разобрали налитые официантом рюмки.

— В таких случаях,— заговорил Пастухов, выпив,— принято оглядываться назад и, что называется, извлекать уроки. Какие вы чудесные мужики! Жалко прощаться. Знаете, ведь я прожил с вами время, достаточное, чтобы родиться человеку. Вместе прошли по самому краешку пропасти и не свалились. Можно сказать — убедились, что чудеса бывают. Но понимаем ли мы себя больше, чем понимали до этого чуда?

— Понимать — мало,— сказал Мефодий.

— Умница,— одобрил Пастухов.— Понимать — мало, но понимать надо. Иногда, в эти месяцы, я слышал дуновение черных крыл за своим затылком. Я спрашивал себя: за что же меня хотят столкнуть в яму? И мог ответить только одним словом: случайность. Потом беда миновала. Спину мою, как в детстве, овевает крылами бабушкин ангел-хранитель. Я спрашиваю себя — за что такая милость? И опять отвечаю: случайность. И вот я смотрю на

нас троих и думаю: внутри у нас бродят какие-то непонятные нам реактивы. Соединились одни — и получились у тебя, скажем, Егор, твои летающие бумажки или твоя скрипка. Соединились бы другие — и ты стал бы раздавать на берегу прокламации. Случайность.

— Выходит, я и актер по случайности? — спросил Егор Павлович довольно мрачно.

— В самом деле! — уязвленно поддержал Мефодий.

— Не в том дело, что ты актер, я драматург, а вот он певчий.

— Почему вдруг певчий? — обиделся Мефодий.

— Ну, не певчий, а семинарист. Это не важно. Важно — ради чего мы поем на все лады нашими козлетонами?

— Ну? — строптиво подогнал Мефодий.

— То-то что — ну! Довольно разыгрывать оскорбленного. Налей лучше.

Они выпили и, прожевывая пирожки, опять молча полюбовались друг другом, понимая, что в эту минуту их не может разъединить никакая размолвка.

— У всех у нас,— продолжал Пастухов,— выпадают дни, когда с утра до вечера ищешь, что бы такое поделать? И то за стихи возьмешься, то к приятелю сходишь, то с какой-нибудь барынькой поваландаешься. Глядишь — пора на боковую. Иногда я боюсь, что так и состаришься. А где-нибудь неподалеку от нас кто-нибудь делает наше будущее. Сквозь дикие дебри, весь изодравшись, идет к цели.

Он приостановился, глянул в окно, добавил:

— Какой-нибудь испорченный мальчик.

— Совесть — когтистый зверь! — улыбнулся Цветухин.

Он тоже повернул лицо к окну.

Начался легкий снегопад, из тех, какие бывают в тихий день, когда редкие снежинки будто раздумывают — упасть или не упасть, и почти останавливаются в прозрачном воздухе, висят, словно потеряв на секунду вес, а затем неуверенно опускаются на землю, уступая место таким же прихотливым, таким же нежным.

— Я об этом думал,— неторопливо сказал Цветухин.— Мне казалось, что мы переносили это наше глупое дело по обвинению и прочее так тяжело, знаешь, почему? Если бы нас привлекли не по ошибке, а поделом, за настоящее участие в деле, может, нам было бы легче, а?

— Как верно! — изумился Мефодий.

— Ошибка-то была, может, в том, что мы не занимались тем, в чем нас обвиняли?

Пастухов посмотрел на Егора Павловича испытующе, потом внезапно захохотал.

— Ну, это ты вошел в роль, актер! Переиграл! И вообще,— знаешь? — ты мне не нравишься. Это про тебя Толстой сказал, что у человека, побывавшего под судом, особенно благородное выражение лица!

Смеясь, они еще налили, и Пастухов поднял рюмку выше, чем прежде.

— Мы слишком много, друзья, участвуем в жизни сознанием. Я хочу выпить за то, чтобы поменьше участвовать в ней сознательно и побольше физически!

Мефодий первый опрокинул за это пожелание, но, крякнув после выпитого, спросил глубокомысленно:

— Это в каком же, однако, смысле?

— Это в том, семинарист, смысле, что все мы — байбаки, понял? Байбаки! Насколько было бы все благороднее, если бы эти месяцы мы находились в кругу хороших женщин. Ведь вот я по лицу твоему постному, Егор, вижу, как тебе недостает возвышающего, прекрасного созданья!

— Почему же ты полагаешь — недостает? — что-то слишком всерьез спросил Цветухин.

— Именно,— сказал Мефодий,— зачем же так опрометчиво полагать?

Пастухов отставил невыпитую рюмку. Взгляд Цветухина показался ему растерянным, даже напуганным до какой-то суеверности.

— Что-нибудь случилось?

— Именно, случилось,— подтвердил Мефодий со вздохом.

— Вернулась Агния Львовна,— быстро сказал Цветухин и неловко, будто извиняясь, улыбнулся.

— Что же ты молчишь? — привскочил и тотчас грузно сел Пастухов.— Как это возможно?

— Не хотелось портить настроение,— без охоты проговорил Цветухин, снова отворачиваясь к окну.

— И почему же невозможно? — продолжал ему в тон Мефодий.— Надо знать характерную актрису Перевощикову. Явилась с чемоданами, коробками из-под шляп, с копченым рыбцом, с медом, с увядшими цветами. Свалила все в кучу, поплакала, поцеловалась, и уже развесила на стене старые афиши, и уже пробует свое контральто, и уже требует, чтобы Егор устроил ее в театре, уже выгоняет меня из номера. Все, как в первом акте комедии.

— К черту! — негромко оборвал Цветухин и занес руку, чтобы стукнуть по столу, но остановился, с проникновением взял бутылку и поглядел на Пастухова подобревшими глазами.— Это разговор длинный, не вокзальный. Скажи, Александр, последний хороший тост, и — конец. Второй звонок.

— Да, второй звонок,— произнес Пастухов так медленно, будто старался и не мог понять, что означают эти слова.— Я предлагаю тост под второй звонок: выпьем за ту женщину, которую ищем мы, а не за ту, которая ищет нас!

— Жестокий тост,— отозвался Мефодий.— Эту женщину, за которую ты пьешь, ты лишаешь великого удовольствия: искать нас!

Они наспех рассчитались с официантом и в суете, вдруг охватившей вокзал, вышли на платформу. Внеся вещи в купе и посмотрев, удобно ли будет ехать, они все втроем оставили вагон.

Под навесом перрона летали, как заблудившиеся, снежинки, испещряя своими недолговечными метками озабоченные лица. Бегом провезли последнюю вагонетку почты с обычными выкриками «па-азволь!». Вышли и потянулись в оба конца жандармы.

— Мало мы посидели,— сказал Мефодий.

— Даже не выпили за искусство,— грустно прибавил Егор Павлович.

— Что ж — искусство? — сказал Пастухов.— В искусстве никогда всего не решишь, как в любви никогда всего не скажешь. Искусство без недоразумения — это все равно что пир без пьяных.

— Запиши, запиши себе в красную книжечку! — воскликнул Мефодий.

— Мне часто кажется, что моя книжечка — бесцельные знания. Я сейчас верю, что самое главное — это цель.

— А я сейчас ни во что не верю,— опять, словно извиняясь, сказал Цветухин.— Кажется, не верю, что Земля вертится вокруг Солнца.

— Да, Агния Львовна нас ушибла,— с сочувствием мотнул головой Мефодий.— Но, милый Егор, в конце концов и не важно — верит человек, что Земля вертится, или нет: на состоянии Земли это не отражается, на человеке тоже.

Пастухов в восторге поцеловал Мефодия.

— Сократ! — дохнул он прямо в его перебитый нос.

— Глупый человек чаще говорит умное, чем умный — глупое,— ответил Мефодий очень польщенно.— Потому умные скучнее глупых. Однообразнее.

Пастухов обнял Цветухина.

— Видишь, Егор,— не будь гораздо умен! Не скучай!

Он успел еще раз поцеловать обоих друзей и — счастливый — вскочил на подножку. Все сняли шапки.

— Берегите друг друга, мужики! — крикнул Пастухов из тамбура.

— Мы нераздельные! — проголосил в ответ Мефодий.— Мы в один день именинники — Егорий да Мефодий!

— Не забывай! — поднял обе руки Цветухин.

— Не забывайте и вы, мужики! — взмахнул своей тяжелой шапкой Пастухов.

Мефодий утерся платком и накрыл голову. Паровоз уже упрятывал в мохнатую белую шубу вагон за вагоном. Пастухов исчез в ней. Мефодий вынул из рук Егора Павловича шапку, надел ее на его черную, в снежинках, шевелюру, легонько повернул его и повел.

Они сторговались с извозчиком — до театра. Мефодий прижал к себе Егора Павловича, заботливо охватив его спину. По дороге он беспокойно посматривал на друга, надеясь вычитать в его взгляде хотя бы маленькую перемену самочувствия. Но Цветухин думал об одном.

— Интересно сказал Пастухов про искусство,— решился заговорить Мефодий.

Егор Павлович не отвечал.

Они ехали сторонними, захудалыми улицами, поднимая с дорог стайки галок и воробьев. Собачонки, выскакивая из калиток, увязывались за санками и, облаяв их, без ярости, по чувству приятного долга, весело убегали назад. Тесовые домишки загоревшихся на снегу разноцветных красок быстро накатывались спереди и пролетали мимо, точно увертываясь в испуге от свистящего бега рысака.

— Что ты сказал? — неожиданно спросил Цветухин.

— Я... это...— не нашелся сразу Мефодий,— насчет Пастухова. Здорово он об искусстве.

Цветухин опять замолчал, уткнув рот в воротник, и только уже на виду Театральной площади, встряхнувшись, вдруг сказал, будто продолжая разговор:

— Это у Александра старая мысль. Он как-то мне толковал про колокольню Ивана Великого и спичечный коробок. Конечно, говорит, без спичечного коробка не обойтись, а от Ивана Великого никакого проку — печку им не растопишь и от него не прикуришь. Но вот посмотрит любой человек в мире на Ивана Великого и сразу скажет — это Москва, это Россия. А коробок потрясет — не шебуршат ли в нем спички? — и если нет — выкинет.

Он отстегнул меховую полость, вылез из саней и, входя в подъезд театра, решительно договорил:

— Будем строить нашу колокольню.

Но тут же вздохнул:

— Жалко, Александр уехал как раз теперь. Он был бы мне большой подмогой.

— А я? — почти кинулся к нему Мефодий.— А мы с тобой? Неужто вдвоем мы не осилим твою беду?

Цветухин сжал ему локоть.

— Спасибо тебе, бурсак!

Они прошли за кулисы обнявшись.

На сцене шла репетиция — вводили новую актрису в «Анну Каренину». Режиссер, тоже новый человек, нервный, пылкий, решивший взять быка за рога, недовольно покрикивал. Занавес был поднят, зал чернел остуженной за первые морозы, сторожкой и немного загадочной своей пустотой. Что-то не клеилось, актеры повторяли и еще хуже портили выходы.

Вдруг режиссер обернулся к залу и крикнул:

— Кто это там?

Все прислушались, всматриваясь в темноту.

— Я сказал, чтобы в зале никого не было! — опять закричал режиссер и опять послушал.

— Да вам почудилось,— лениво сказал трагик.

— Вы думаете, я пьяный? Я слышал в зале кашель!

Опять все затихли, и тотчас из рядов донесся слабенький, видно изо всех сил придушенный кашель.

— Я не позволю с собой шутить во время работы! — взвопил режиссер и бросился вон со сцены.

Сразу с обеих сторон в зале появилось несколько актеров из тех, что помоложе или поживее, и все они двинулись между кресел навстречу друг другу.

— Вон, вон! — разнесся гулкий голос.

— Да никого нет, чепуха!

— Вон прячется!

— Да, да, да, смотрите — в четвертом ряду!

— В пятом, в пятом! Под креслом, видите?

— Дайте свет! Свет в зал!

Все уже разглядели белое пятно в самой середине ряда и, обрадованные нежданным развлечением, с возгласами и шумом стали сходиться в кольцо.

— Ага-а! — прогудел кто-то утробным басом.

— Ага-а! — ответили ему на разные голоса.

— Ага-а! По-па-лась! — прогремели все ужасающим хором.

Потом громкий хохот взмыл в отзывчивую высоту зала, и толпа повлекла к выходу пойманную жертву.

— По-па-лась! — кричала и вопила, забавляясь, веселая орава, не размыкая плотного кольца, а так и втискиваясь в узенькую дверь, которая вела из зала на сцену.

— Не вижу ничего смешного, господа! — ершился режиссер, пытаясь раздвинуть кольцо и заглянуть — что оно скрывает.

— Что там такое? Что?

Тогда актеры разом стихли, расступились, и перед ним возникла девочка, крепко зажавшая ладошками лицо, с белесой ко-

сичкой, в платьице по колено, с свалившимся на одной ноге красным шерстяным чулком.

— Кто это? — воззвал оскандаленный режиссер.

— Да ведь это Аночка! — растроганно сказала старая актриса.

— Это наша Аночка! — заговорили и завосклицали актеры.— Аночка, наша побегушка! Курьер-доброволец!

— Все равно, кто бы ты ни была,— произнес нетерпимо режиссер,— тебе не дано права нарушать порядок. Театр — это не игрушка. Запомни.

Он хлопнул в ладоши и отвернулся:

— Начали, господа, начали!

— Вот теперь у нас тонус! — одобрительно протянул трагик, отправляясь с другими актерами на сцену.

Цветухин подошел к Аночке. Она все еще не в силах была оторвать от лица руки и стояла недвижимо. Плечики ее изредка вздергивались.

— Да ты, никак, плачешь? — спросил Егор Павлович, нагибаясь и обнимая эти ее остренькие дергавшиеся плечики.— Ну что же ты, озорная, ведь это на тебя не похоже. О чем ты, а?

Он отвел ее в сторону и, присев на чугунную ступень лестницы, поставил у себя между колен.

— Что ты, а?

Взяв ее руки, он тихо развел их. Лицо ее не отличалось от белобрысых волос, даже губы побелели, точно она окунулась в студеную воду.

— Ну что с тобой?

— Испугалась,— безголосо пролепетала она.

Он улыбнулся, глядя в ее тяжелые, большие глаза, промытые плачем до глубокой, сверкающей синевы. Он погладил и похлопал ее по спине.

— Ах ты сирена!

— Я не сирена,— отозвалась она сразу.

— Разве помнишь?

— Помню.

— То-то что помнишь,— усмехаясь, качнул он головой и, немного подумав, добавил: — Я тоже помню.

Он посмотрел прочь словно недовольным, взыскательным, осуждающим взором.

— Послушай,— спросил он, сильнее сжимая Аночку коленями,— скажи-ка мне одну вещь. Зачем ты вертишься тут у нас?

Она не ответила.

— Ну, что же ты, словно воды в рот набрала,— говори.

Она уткнула подбородок в грудь.

— Тебе учиться надо, а не лазить тут, как мышонку. Ну, что молчишь?

— Я, может, у Веры Никандровны жить буду, она меня учить будет,— буркнула себе в грудь Аночка.

— И сюда бегать перестанешь, да? Ну, что опять замолчала? Может, мне за тебя сказать, а? Сказать? Ну, ладно, я скажу. Уж не актрисой ли ты хочешь быть, а? Угадал?

Он подсунул палец под ее подбородок и с силой приподнял упиравшуюся голову.

Все лицо Аночки покрывал темный румянец, она смотрела на Егора Павловича в отчаянном испуге. Вдруг, наклонившись к нему, точно падая, она почти прикоснулась к его щеке, но отпрянула, вырвалась из его колен и, перескакивая через раскиданную вокруг бутафорию, без оглядки побежала.

Она схватила на бегу свою одежку, кое-как набросила ее на плечи и выскочила на улицу. Обежав весь театр, она оглянулась, словно надо было увериться, что ее никто не догоняет. Она оделась, обвязала голову платком, подтянула свалившийся чулок. Успокоившись, еще раз осмотрелась и тут как будто впервые увидела этот огромный голубовато-серый дом, в который она бегала, сама не зная — ради чего.

Дом высился один посредине белой нетронуто-чистой площади со своими большими глухо закрытыми дверями, висевшими подряд, как ни в каком другом доме. Широкий балкон прикрывал эти необыкновенные двери, поддерживаемый чугунными столбами, и на каждый столб были надеты, точно согнутые в локтях руки, парные фонари. Высоко над балконом начинались крыши — узенькая, над ней пошире, потом еще шире,— много разных крыш,— одни похожие на козырьки, другие вроде поясков, а самая верхняя — как громадный зонт. Все они были ровно засыпаны снегом, и от этого весь дом казался ясным-ясным, как нарисованный на глянцевой бумаге. Это был, наверно, самый большой дом из всех, которые видела Аночка.

Она пошла прямо через площадь, по снежному полю, высоко поднимая коленки, оставляя следы больших — с маминой ноги — башмаков, и, дойдя до середины поля, оглянулась еще раз и посмотрела на дом издалека и решила окончательно, что это самый большой дом. Потом она еще немножко подумала и еще решила, что этот дом самый красивый.

Больше она не оглядывалась, а, перейдя площадь, пошла таким шагом, каким идут взрослые люди, знающие, что их ожидают неотложные дела и обязанности.

1943—1945

НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

РОМАН

1

Исторические события сопровождаются не только всеобщим возбуждением, подъемом или упадком человеческого духа, но непременно из ряда выходящими страданиями и лишениями, которых не может отвратить человек. Для того, кто сознает, что происходящие события составляют движение истории, или кто сам является одним из сознательных двигателей истории, страдания не перестают существовать, как не перестает ощущаться боль оттого, что известно, какой болезнью она порождена. Но такой человек переносит страдания не так, как тот, кто не задумывается об историчности событий, а знает только, что сегодня живется легче или тяжелее, лучше или хуже, чем жилось вчера или будет житься завтра. Для первого логика истории осмысливает страдания, второму они кажутся созданными единственно затем, чтобы страдать, как жизнь кажется данной лишь затем, чтобы жить.

Поручик царской армии Василий Данилович Дибич пробирался из немецкого плена на родину — в уездный волжский городок Хвалынск. Обмен пленными между Германией и Советской Россией начался давно, но Дибича долго не включали в обменную партию, хотя он этого настойчиво добивался. За повторный побег из лагеря он был посажен в старинную саксонскую крепость Кёнигштейн, превращенную в дисциплинарную тюрьму для рецидивистов-побежчиков из пленных союзных офицеров. Много лет назад в Кёнигштейне был заточен схваченный за руководство дрезденским восстанием 1849 года Михаил Бакунин. Пленные вспоминали имя Бакунина, когда в разговорах с французами заходила речь о непокорстве русского характера, и черпали в этом воспоминании новые силы для преодоления жестокостей режима, изощренно продуманных немцами. Только весной 1919 года Дибича назначили к отправке с эшелоном, но в это время он заболел дизентерией и про-

лежал в больнице целый месяц, едва не закончив счеты с жизнью. Его присоединили к партии больных, он проехал с нею в вагоне Красного Креста через Польшу, весь путь пролежав на подвесной койке, был пропущен через карантин в Барановичах и прибыл в Смоленск, все еще с трудом передвигая ноги. Его подержали неделю в госпитале и отпустили на все стороны.

Очутившись на станции посреди одержимой нетерпением, неистовой толпы, которая словно взялась вращать вокруг себя клади, поноски и пожитки, Дибич неожиданно улыбнулся. Он вспомнил, как четыре года назад уходил на фронт здоровым двадцатитрехлетним прапорщиком, провожаемый университетскими товарищами, и они, обнимая и целуя его, твердили: «До скорой встречи — после победы!» И вот встреча наступила: он опять стоял на русском вокзале, отдаленно напоминавшем тот, с которого началась для него война. В измятой ночлегами, просаленной, потерявшей свой серебристо-сизый цвет офицерской шинели, без погон, с немецким зеленым, сморщенным от дождей рюкзаком за плечами, исхудалый, остроносый, с красными после незаживших ячменей глазами, он улыбался застенчиво и обиженно, видя себя в толпе никому не нужным, еле живым существом и — как он сказал себе в эту минуту — один на один с Россией.

Его толкнули в плечо острым ребром солдатского походного сундучка. Вместе с болью он почувствовал приторную слабость под ложечкой — постоянный и почти привычный, стонущий, как дернутая струна, наплыв голода, вызывавший дрожь в коленях,— и, отойдя к стенке, скинул рюкзак, достал кусок липкого черного хлеба, полученный в госпитале, отодрал горбушку и стал быстро-быстро жевать, широко раскрывая рот, чтобы отлепить хлеб от зубов.

С этого дня Дибич начал продвигаться с запада к центру России, на юго-восток, к тому клину чернозема, который он и раньше знал по своим студенческим поездкам в Москву. Продвижение шло крайне медленно, от одного узла к другому, в случайно подвернувшихся забитых народом вагонах-теплушках или на товарном порожняке. Поезда так же внезапно застревали на каком-нибудь разъезде и стояли ночами напролет, как неожиданно, без объяснимой причины, снимались с места и ползли, ползли полями и дубравами, пока машинист не объявлял, что сел пар и нужны дрова, и пассажиры, поругиваясь, не отправлялись в ближний лесок валить березы.

Сидя в раздвинутых дверях товарного вагона, свесив на волю тонкие в австрийских голубых обмотках ноги, Дибич глядел на землю, проплывавшую мимо него в ленивой смене распаханных полос, черных деревенек, крутых откосов железнодорожного по-

лотна с телеграфными полинялыми столбушками на подпорках и малиновками, заливавшимися в одиночку на обвислых проводах. Это была его двадцать восьмая весна, и она радовала его. Он умилялся до такой степени, что щекотало в горле, когда из-за косогора вдруг вытекала окаченная солнцем ядовито-зеленая лента уже высокой густой озими. Испивая взглядом сияние счастливой, новорожденной этой краски, Дибич простенько мурлыкал под нос какой-нибудь детский мотивчик, вроде «Летели две птички, обе невелички», и смотрел, смотрел, смотрел, не уставая. Леса и закустившиеся пни вырубок отсвечивали рябью маслянистых, едва пошедших в рост листочков. На выгонах — еще без единого цветка — стояли врассыпную, дергая опущенными к траве мордами, низенькие, непородистые, толстобрюхие крестьянские бурёнушки и пестравки, и мальчуганы в тятькиных долгополых шинелях, привезенных с фронта, заплетали кнуты, сидя на припеке и провожая поезд медленным поворотом голов в облезлых папахах. Изредка семенила по взмету, обок с прыгающей бороной, баба, потягивая длинную вожжу и взмахивая хворостинкой на коротконогую, словно падавшую наперед кобылу. Все это было домашне-близким, до мелочей памятным и в то же время удивляло, как что-то впервые открытое, невиданное и невероятное. Победнело, обветшало и будто уросло все вокруг, уменьшилось по сравнению с тем, что хранилось в воспоминании о довоенном прошлом, но все казалось больше прежнего родственным и остро задевало душу.

Только на станциях умиленность исчезала, уступая беспокойному непониманию той раздражающей перемены, которая пронизала людей, сделав их неузнаваемыми в таких знакомых обличьях. Повыскочив из вагонов, народ скучился вокруг крестьянок, выносивших к станциям немудреную снедь в обмен на еще менее мудреные богатства солдат и горожан — спички, соль, нечистые, погулявшие по карманам куски сахару, разорванные пачки махорки. Торг изумлял Дибича совершенно небывалыми отношениями стоимости и ценности, он еще мерил все на копейки мирного времени, и мозг его отказывался уразуметь ту легкость, с какой отдавали жареную курицу за горсть соли. Но бог с ней, с этой экономикой умалишенных! — страшна была не новизна полюбовного обмеривания и обсчитывания,— нет! Ужасно было слышать запахи рынка, видеть, как с хрустом вывертывается у курицы крыло и чьи-то зубы впиваются в белое мясо, и челюсти растирают его в жвачку, и выпяченный кадык ходит по горлу вверх и вниз, вверх и вниз!

Обгоняемый всеми, Дибич торопился к военному магазину, залепленному шевелящимся роем серых шинелей. Он силился протискаться к маленькому оконцу, где гирьки звякали по медной чашке весов, он совал через головы свои документы, он кричал:

— Братцы, пропустите больного! Больного, братцы!

Его отжимали в сторону.

— Тут тоже не здоровые.

Но он тянулся к оконцу с упорством ожесточения, всовывал насильно бумаги человеку за весами, уговаривая с жаром:

— Третий день без пайка. Надо иметь сочувствие! Товарищи!

Несколько человек сразу нацеливались на его документы, с подозрением и неприязнью.

— Чего врешь? За вчерашний день хлеб получен?

Ему кидали бумаги назад, но он не сдавался, заставлял снова взять их, отстаивая свое право на кусок хлеба изнуренными, вытаращенными от натуги глазами, жадным, дергающимся лицом в темной бороде, отчаянно властным криком:

— Ты постой швырять документы, ты погляди! Я — пленный, из германского плена, читай!

На мгновение рядом с ним стихали. Опять испытующие взгляды проверяли его бумаги, потом он слышал язвительный голос:

— Поручик! Потерпишь, ваше благородие! Знаем мы вас, господа офицеры.

Его вновь затирали,— локти его были слишком немощны, чтобы подкрепить право силой.

Иногда в такую минуту Дибичу хотелось бросить свое странствие на полдороге, наняться где-нибудь в деревне батраком за квас и картошку, выждать лучших времен, а главное — набраться здоровья. Но нагнетенное в плену до нестерпимого жара и неугасавшее желание увидеть дом, мать и сестру влекло и влекло его вперед, и если бы ему пришлось ползти в свой далекий и милый Хвалынск на четвереньках, он, наверно, пополз бы.

Вечерами, задвинув от холода дверь вагона, пассажиры начинали разговоры, и только по говору Дибич угадывал в непроглядной темноте, кому принадлежат голоса. Постепенно из этих разговоров он узнавал новую географию страны, рассеченной на куски внезапно рождавшимися подвижными военными фронтами.

Еще в Кёнигштейн доходили слухи о двух Россиях, непримиримо враждовавших между собой, и слова — междоусобица, гражданская война — поражали пленных больше, чем поразило в семнадцатом году слово — революция. По дороге на родину Дибичу сделалось известно, что на юге все белые войска признали своим командующим генерала Деникина, что Сибирь находится под властью адмирала Колчака, провозгласившего себя верховным правителем России, и что эти огромные силы юга и востока, включающие в свой состав все казачество и почти все офицерство былой русской армии, намерены соединиться в районе Поволжья и сомкнуть кольцо вокруг Москвы, которая, защищая Советы, не пере-

ставала мобилизовать людей в Красную Армию. Дибич никогда не слышал прежде ни о Деникине, ни о Колчаке. Но он не слышал также до самой революции ни одного из тех имен, которые она начертала на красных знаменах. Он стеснялся своего незнания, молчал о нем, объясняя его своей неразвитостью и тем, что одичал в плену. Для него было новостью, что на западе и на севере России, так же как на юге и на востоке, шла тоже гражданская война, действовали тоже белые армии под командованием генералов, о которых он никогда не слышал, и что повсюду против этих белых армий дралась советская армия рабочих, матросов и бывших солдат. Он понял, почему пленные французы в Кёнигштейне нападали на русских, обвиняя их в неверности: союзники России давно перестали быть союзниками, и он узнал, что французы, англичане, японцы, американцы вмешались в дела России повсюду, где шла борьба,— на севере и юге, на западе и востоке. Он испытывал неловкость перед самим собою, что худо разбирается в событиях, но он видел, что многие, кого он слушал на вокзалах и в вагонах, не больше понимают в событиях, хотя были их свидетелями и даже принимали в них вольное или невольное участие, пока Дибич сидел в плену. Он чувствовал, что события потребуют от него, чтобы он принял чью-нибудь сторону в борьбе, но он был удивительно неготов к этому. Он только сознавал, что если скажет, что правы белые, то это будет означать, что правы французы, которые помогали белым, а этого он решительно не мог допустить, потому что тогда выходило бы, что правы французы, нападавшие на него в Кёнигштейне, а он возненавидел их за то, что они ненавистно говорили о России. Все остальное казалось Дибичу неразберихой. И, слушая разговоры в темноте закрытого наглухо товарного вагона, он думал, что обстоятельства привели его в туманный и бурный мир из совершенно другого мира, где все было гораздо яснее и проще. Раньше воевали все вместе против одного, для всех очевидного врага. Теперь воевали все порознь, брат шел на брата, и надо было разглядеть в одном брате врага, в другом — друга. Нет, ничего нельзя было взять в толк из этих небывалых клокочущих событий! С беспокойным состоянием спутанных мыслей Дибич засыпал под холодный лязг и дрожание вагона.

Раз, проснувшись поутру и узнав, что поезд стоит на хорошо знакомой ему громадной узловой станции Ртищево, Дибич испытал до дурноты головокружительный приступ голода. Перед войной, проезжая эту станцию, он всегда заходил в вокзал, который славился буфетом. На длинных столах к приходу поездов расставлялись тарелки, наполненные горячим борщом, и пахучий парок язычками поднимался над ними. Здесь была школа официантов: маленькие татарчата из окрестных татарских деревень обучались

на вокзале служить за столом, и все бывало особенно аппетитно, приманчиво и добротно. Едва услышав название станции, Дибич, как в свежепротертом зеркале, увидел перед собой далеко уходящий ряд тарелок с оранжевыми кругами борща, в желтых медалях расплавленного жира и с ленивыми витками пара. Перед каждой тарелкой румянились жареные пирожки. Белый ноздреватый хлеб, нарезанный ломтиками, выглядывал из-за цветочных горшков. Татарчата, с салфетками в руках, отодвигали коленками громоздкие стулья, приглашая гостей сесть. Народ возбужденно спешил к столу.

Голодная тоска охватила все тело Дибича. Он выглянул из вагона. Невдалеке виднелась толпа, обступившая торговок. Подавляя слабость, он выскочил на платформу и побежал к толкучке. Он принял решение, уже давно искушавшее его: обменять на продовольствие немецкий рюкзак. Сорвав его с плеч, он распихал по карманам и за пазуху содержимое — полотенце, фуфайку, бутылку с водой,— вытряхнул рюкзак, разгладил его ладонью и кинулся в ближнюю кучку людей.

Старуха татарка с бурым лицом и слезящимися, изъеденными трахомой глазами сидела на корточках перед кузовком, наполовину прикрытым мешковиной. Обжаренные куры и бадейка с кислым молоком торчали из другой половины кузова.

— Меняю сумку на пару кур,— воскликнул Дибич, подражая бойкости раздававшихся кругом выкриков.

Татарка утерла глаза уголком головного платка и продолжала молча сидеть.

— Ну, что же, хозяйка? Погляди, какой товар,— проговорил неуверенно Дибич.

Старуха взяла рюкзак, повертела в морщинистых пальцах и отдала назад, не проронив ни звука.

— Да ты понимаешь по-русски-то?

— Зачем не понимаешь? Не наш сумка,— вдруг сказала татарка.

— Ну да, не наша — заграничная сумка, лучше нашей, видишь — на клеенчатой подкладке. Не промокнет. Получай за пару кур!

— Ремень рваный,— спокойно возразила старуха.

— Не рваный, а чуть надорван. Починишь.

Она опять дотронулась до рюкзака.

— Худой дырка,— сказала она, покачав головой.

— Зашьешь,— ответил Дибич и насильно сунул ей на колени рюкзак.

Она неторопливо вывернула его наизнанку, ощупала подкладку, рассмотрела узлы и снова отдала назад.

— Давай цену, цену давай, цену! — вскрикнул Дибич, выворачивая сумку налицо.

— Возьми вот хороший молодка,— сказала татарка, вытянув за ногу молодую курицу.

— Да это цыпленок, а не молодка! Ишь скупердяга!

— Наш не скупой дядя, твой скупой дядя,— отозвалась она невозмутимо и положила молодку желтым, блестящим от жира боком поверх кур.

— Ну, ладно,— сказал нетерпеливо Дибич, складывая рюкзак и делая вид, что сейчас уйдет, в то же время не в силах двинуться и оторвать взгляд от курицы.— Давай твоего цыпленка и бадейку молока в придачу. По рукам.

— Зачем бадейка? Большой бадейка,— ответила татарка.— Пей одна кружка.

— Шайтан с тобой, наливай,— обессиленно выговорил Дибич и потянулся к курице.

— Зачем шайтан? Зачем шайтан? — неожиданно крикнула старуха.

Сердитым рывком она накрыла весь кузовок мешковиной и стала быстро вытирать глаза, бормоча под нос на своем непонятном языке.

— Ну, хорошо, хорошо, не шайтан,— почти испуганно сказал Дибич, сдерживая досаду и нетерпение, и приоткрыл кузовок.

Старуха недовольно взяла рюкзак, положила его себе под ноги и стала наливать из бадейки молока.

Дибич жадно смотрел, как тяжелые розоватые куски молока вперемешку с угольно-коричневыми пенками шлепались в кружку, и ему было жалко, что следившие за всем его торгом солдаты тоже смотрели в кружку. Он отвернулся немного и не проглотил, а словно перелил в себя холодные, скользкие куски.

С ощущением необыкновенно нежного вкуса, который напомнил детство, облизывая усы, вытирая проступивший на лбу легкий пот, он зашагал через площадь к станции. На ходу он вывернул куриную ножку совершенно тем жестом, какой не раз с завистью видел, и только было поднес ее ко рту, как услышал обрадованный, всполошенный крик:

— Ребята! Состав на Пензу подали, айдате!

Он сорвался и побежал вместе с другими куда-то в сторону, к дальним путям.

Пассажирские вагоны были пусты, скамейки недавно вытерты, поезд, видно, только что приготовили. С шумом и торжествующим грохотом вагоны начали живо заполняться.

Дибич облюбовал верхнее место, забрался на скамью, лег, подложив под локоть шинель, и принялся за еду. Он мог только меч-

тать о том, чтобы ехать в пассажирском вагоне, удобно вытянув ноги на полке, ехать прямо на Пензу и — значит — на Кузнецк и Сызрань, откуда будет уже рукой подать до дома. Он разрывал курицу на куски, обмакивал их в соль и разжевывал вместе с гибкими хрустящими косточками. Ему виделся большой белый пароход, шлепающий плицами по широкому зеркалу Волги. Зеленые берега ниточками тянулись или петлями извивались по сторонам парохода. Довольные пассажиры, примолкнув, любовались солнечным днем. Глубоко в корпусе судна равномерно дышала машина. Дибич обсасывал мосолки куриных ножек, зажмурившись, и ему чудилось, что уже появляется из-за далекого-далекого поворота весенний Хвалынск в цветущих холмах и горках, сияющий, тихий, счастливый.

Вдруг что-то задвигалось, зашумело кругом. Ругань, женский плач и вой поднялись во всем вагоне, и сквозь шум чей-то командующий и одновременно исступленный вопль прорвался к сознанию Дибича:

— Очистить вагон, говорят! Выходи все до одного!

Кондуктор, в сопутствии увальня охранника с красной перевязью на рукаве и винтовкой прикладом вверх, протискивался сквозь толчею скопившихся в проходе людей, злобно отвечая на крики:

— А черт вам сказал, что поезд на Пензу! Поезд особого назначения! Очистить, без разговоров!

Ругаясь, ворча и мешая друг другу, пассажиры начали вытаскивать свое добро из вагона.

Дибич бережно завернул остатки костей в полотенце, слез с полки, выпрыгнул на полотно и, следом за толпой, медленно пошел по песчаной тропке между путей к горбатому вокзалу.

2

С непрерывной цепочкой людей Дибич втиснулся через полуоткрытую дверь в зал и почувствовал, что его слегка качнуло. Весь пол был засеян человеческими телами, и от махорочного настоя все кругом казалось затянутым паутиной. У дальней стены серый от пыли гигантский буфет крепко спал, как отслужившее, никому не нужное животное. На скамье около него лежали и копошились дети.

Шагая через протянутые по полу ноги в сапогах и лаптях, через корзины и мешки, Дибич добрался до буфета и сел на корточки, прислонившись к торцу скамьи.

Прямо перед собой, у окна, он увидел семейство, настолько непохожее на окружающих людей, что он уже не мог оторвать от него взгляда.

Это были муж, жена, их мальчик лет семи, необыкновенной красоты, перенятой от матери, и седая женщина с мелкими завитушками на висках, смешно, устарело, но преважно одетая, нерусского типа,— вероятно, бонна. Она была самозабвенно поглощена своим делом, присматривая за мальчиком — как он пьет из эмалированной голубой кружечки и жует чем-то намазанные маленькие кусочки черного хлеба. Едва он проглатывал один кусочек, как она давала ему другой, и сейчас же заставляла прихлебнуть из кружечки, и стряхивала с его колен упавшую крошку, и поправляла в его руке кружечку, чтобы он ровнее держал.

Муж и жена были под стать друг другу, он — еще порядочно до сорока, она — совсем молодая, с лицом, от которого исходило лучение расцвета. Нельзя было бы сразу решить, насколько ее изящество было прирожденным, насколько вышколенным. Но в глаза бросалось прежде всего именно изящество, то есть милая простота, с какой она держалась в обстановке, явно и чересчур несовместной с ее манерами. Впрочем, в манерах этих все-таки заметно было кое-что деланное: она, например, оттопыривала мизинчик, держа грубую жестяную кружку, и вообще немного играла мягкими, как подушечки, кистями рук. Может быть, она нарочно преувеличивала изысканность своей жестикуляции, желая сказать, что не поступится ею ни при каких обстоятельствах, а может быть, хотела позабавить себя и мужа комизмом несовместимости этой обстановки с каким-либо изяществом.

Видно было, что оба они хотят шутливостью облегчить затруднительное положение — распивание невкусного кипятка из кружек, сидение на чемоданах среди огромной и как будто неприязненной толпы. Они изредка посмеивались, передавая друг другу что-нибудь с чемодана, накрытого салфеточкой и заменявшего стол. Во взглядах, которые они останавливали на мальчике, сквозила, однако, растерянность и даже испуг. Но, несмотря на эту скрываемую растерянность, они все-таки производили впечатление людей, в глубине совершенно счастливых и красивых от своего счастья.

Дибич невольно начал прислушиваться к коротким словам, которыми семейство перебрасывалось, и постепенно, сквозь гул терпеливых людских голосов, разбирать, о чем говорится. Он давно не видал таких семей, счастливых и ладных, и ему было и странно, и грустно, и почему-то приятно, что такая семья тоже попала во всеобщий водоворот, привычный, но трудный даже для бывалого солдата.

— Ася,— вдруг довольно громко сказал муж,— тебе не кажется, что Ольге Адамовне лучше снять брошку?

— Брошку? — с изумлением и вспыхнувшим любопытством спросила жена, как человек, ожидающий, что сейчас последует что-то очень веселое.

— Брошку,— повторил он, строго помигав на бонну, которая тотчас испуганно потрогала под длинным своим подбородком дешевенькую мастиковую ромашку с божьей коровкой.

— Из-за вашей склонности к роскоши, Ольга Адамовна, нас еще примут за буржуев.

— Ну, Саша, разве так можно? С Ольгой Адамовной, чего доброго, родимчик случится! — с обаятельным сочувствием к старой даме улыбнулась жена, и улыбка ее выразила как раз обратное тому, что она сказала словами, то есть что это очень хорошо — посмеяться над Ольгой Адамовной.

— Я уверен, мы пропадем из-за Ольги Адамовны. У нее аристократический вид. Смотри, как она пренебрежительно глядит на солдат!

— Я абсолютно не гляжу на солдат, Александр Владимирович,— молниеносно покраснев, отозвалась Ольга Адамовна.— Я смотрю только на моего Алешу.

— Абсолютно! — усмехнулся Александр Владимирович.— Что это за слово? Абсолютно? Я такого слова не знаю. Абсолютно? Не слыхал. Абсолютное все отменено. Абсолютного не существует, мадам.

— Я прошу защитить меня, Анастасия Германовна,— сказала бонна тоненько.— Когда я волнуюсь, это отражается на моем Алеше.

— Но ведь, вы знаете, он шутит,— участливо ответила Анастасия Германовна.

— Ах, мадам, надо беречь нервы,— опять громко и со вздохом сказал Александр Владимирович,— мы можем оказаться в гораздо худшем положении. Не сердитесь.

Он отвернулся без всякого интереса и скучно повел глазами вокруг. Дибичу хорошо стало видно его лицо — крупное, с брезгливо подтянутой к носу верхней губой и сильно развитыми ноздрями. Он был гладко побрит, и это больше всего удивляло: когда и где успел он заняться своим лицом — в сутолоке, в грязи и неудобствах дороги?

Вдруг он приподнялся, нацеливаясь немного сощуренным взглядом куда-то к буфету. Потом встал и, несмотря на дородность, сделал несколько очень легких шагов, миновав Дибича так свободно, будто никакой тесноты не было в помине.

Начальник станции с нечесаной бородой, в порыжевшей фуражке брел вдоль буфета, сонно показывая вокзальному охраннику, как лучше разместить людей с их пожитками, чтобы были проходы. За ним тянулся хвост пассажиров, больше всего — солдат. Вертя в руках поношенные документы, они то угрожающе, то безнадежно выкрикивали: «Товарищ начальник! Товарищ начальник!» Он, видно, привык к этим зовам, как к паровозным гудкам, и не оборачивался.

Александр Владимирович остановился, загородив ему дорогу, и сказал любезно:

— Вы обещали устроить нас на Балашов.

— На Балашов поездов не будет,— ответил начальник, не задумываясь.

— Вы помните, я к вам обращался? Я — Пастухов.

— Помню,— проговорил начальник, безразлично разглядывая кожаные пуговицы на широком коротком пальто необыкновенного пассажира.— На Балашов идут только эшелоны.

— Может быть — с эшелоном? — полуспрашивая, почти предлагая, сказал Пастухов.

— С воинским эшелоном? Это — дело начальника эшелона. Я ничего не могу. Поезжайте на Саратов.

— Мне надо на Балашов, а вы предлагаете Саратов.

— Саратов или Пенза,— сказал начальник равнодушно и приподнял руку, чтобы показать, что хочет идти и просит посторониться.

— Из Пензы я приехал,— возразил Пастухов, не двигаясь с места,— зачем же мне возвращаться? Это странно и... несерьезно. Мне нужно в Балашов. У меня семья. Я сижу на вашем вокзале сутки... а у вас даже кипятка нет.

— Ничего не могу. Хотите Саратов? — повторил начальник и, вскинув мертвые глаза на Пастухова, подвинулся, чтобы обойти его стороной.

Тогда скучившиеся солдаты, которые ревниво слушали разговор, начали опять выкрикивать, перебивая друг друга:

— Товарищ начальник! Товарищ начальник!..

Пастухов снова преградил ему путь и сказал упрямо, сдерживая раздражение:

— В конце концов отвечаете вы за свои слова или нет? Вы два раза обещали отправить меня с семьей на Балашов. Вы сами сказали.

— Ну и что же, что сказал? Путь заняли эшелоны, понимаете? Можете вы это понять? — оживая от усталого безразличия, воскликнул начальник.

У Пастухова дернулась щека.

— Потрудитесь не подымать тона,— сказал он тихо.

— Разрешите пройти,— громче выговорил начальник.

— Прошу вас не кричать,— сказал Пастухов, не уступая дороги.

— Никто не кричит. Разрешите пройти.

— Прошу вас дать мне возможность говорить с начальником эшелона.

— Это — ваше дело. Позвольте.

— Э, да кончай, ладно,— прозвенел неожиданно лихой голос.— Разбубнился! Подумаешь!

Молодой солдат в накинутой на плечи шинели и с объемистой сумой в руках надвинулся на Пастухова из толпы. В стальных, немного навыкате глазах его играло веселое и хитрое безумие. Он держал высоко крупную светловолосую голову, увенчанную сплюснутой в блин фуражкой, и белые, необычно для молодых лет мохнатые брови его ходили вверх и вниз торжествующе страшно.

Пастухов попробовал отстранить солдата, но он напирал, быстро перекатывая глаза с начальника на людей и назад, на Пастухова.

— Подумаешь! Я — Пастухов! Отыскался! Я тоже не веревками шит, не лычками перевязан! Я, может, Ипат Ипатьев, раненый воин. А терплю! Сказано дожидай — я дожидаю. А то, ишь ты: я — Пастухов, подай мне Балашов!

— Брось,— сказал солдат постарше, расплывчато, как будто лениво, но смышлено улыбаясь, и примирительно тронул молодого за локоть.

— Нет, не брось, погоди! У меня хоть и один зрачок, а я востро вижу, чего ему на Балашов захотелось! На юг, барин, метишь податься? К белым генералам под крылышко? Я раз-би-ра-юсь!

— Я не барин, у вас нет оснований со мной так говорить,— произнес Пастухов увещательно, как старший.— А вопрос — куда мне ехать, я надеюсь решить без вашего участия.

— Ловкий,— еще более лихо и раздраженно вскрикнул солдат.— Теперь без нашего участия ничего не решается, если желаете знать.

Поднявшийся с пола Дибич был прижат людьми вплотную к спорщикам. Он видел, с каким самообладанием пытался Пастухов не потерять внешнего достоинства и как от этих усилий достоинство переходило в напыщенность и разжигало любопытство и подозрительность толпы. Все были замучены бесплодным ожиданием поездов, томились, изнемогали от скуки. Скандал обещал рассеять тоску. Охранник вяло помахивал винтовкой, чтобы дать выход начальнику станции. Вдруг сзади кто-то пробасил:

— Проверить его, что за человек он есть!

— Мы проверим! — воодушевился солдат.— Проверим, чего он задумал искать в Балашове!

— Что вы пристали? — сказал Дибич.— Человек едет с семьей, никому не мешает.

— А ты что? С ним заодно?

— Кто вам дал право говорить всем «ты»? — набавил голоса Дибич.

Солдат окатил его оценивающим взглядом, сказал полегче, но по-прежнему задорно:

— Из офицеров, что ли? Недотрога.

— Из офицеров или нет — вы не имеете права грубить.

— А какое твое право меня учить?

— Право мое — год фронта! — закричал Дибич на неожиданной и нестерпимой ноте.— Право мое — два побега из плена! Я свое право добыл в немецких лагерях! В немецкой крепости!

Воспаленные ячменями веки его потемнели до гранатовой красноты, он стал быстро и туго растирать руки, сжимая их поочередно в кулаки — то правую, то левую, как будто с нетерпением готовясь к рукопашной и удерживая себя из последней силы. Солдат тоже крикнул, вращая выкаченные безумные глаза:

— Ты что визжишь? Кто я тебе, что ты на меня визжишь?

— Брось, Ипатка, брось! — опять потянул его за рукав пожилой солдат.

— Нет, врешь! — расходился Ипат.— На-ка, держи! — Он ткнул ему в руки свою пузатую суму и тотчас схватил за локоть охранника: — Веди, товарищ, к начальству, веди всех! Там разберутся.

— Проверь их обоих! — снова раздался бас.

Толпа уже гудела, перехватив и раздувая спор,— каждый сыпал в одну кучу всякого жита по лопате. Охранник отмахивался — ему хотелось, чтобы все разошлись по местам,— но солдат понукал его, и народ шумел. Внезапно пронесся грудной женский голос:

— Саша, сейчас! Я с тобой! Не ходи один!

Анастасия Германовна расталкивала людей, пробираясь к Пастухову. Он разглядел ее через головы. Бледный, затвердевшими, точно на холоде, губами он бросил ей небрежно ласково:

— Ничего не случится. Глупости. Ступай к Алеше.

Он обернулся к охраннику:

— Идемте,— и пошел первым, так решительно, что народ расступился.

В пустой узенькой комнате, около застекленной двери, за которой виднелась платформа, сидел человек в штанах галифе и

читал брошюрку. Он поглядел на вошедших, заложил страницу обгорелой спичкой, расставил ноги.

— Кто такие? — не спеша спросил он охранника.

— Шумят.

— Они вот, товарищ, желают на Балашов,— молодецки сказал Ипат, указывая отогнутым большим пальцем на Пастухова и затем поворачивая палец на Дибича,— а вот будто из германского плена берет их под защиту. Народ сомневается.

— Вы что же — народ? — спросил товарищ.

— Народ,— серьезно ответил солдат.— Прежде Томского полка, третьего батальона, двенадцатой роты ефрейтор Ипат Ипатьев. В Красной Армии добровольно. Был в боях. Отпущен по ранению.

— Куда ранен?

Ипат поднял взор на потолок, выпятив шарами голубоватые белки, и, так же как показывал на Пастухова, крючковатым большим пальцем ткнул себе в левый глаз:

— Осколочек угодил под самый под зрачок, отчего произошла потеря зрения на полный глаз. Вот это место, вроде крохотного опилочка.

— Ну, выйди, если понадобишься, позову,— сказал товарищ.

Шагнув к столу с постеленной на нем общипанной по краям газетой в кляксах и писарских задумчивых росчерках, он вытянул из кармана галифе большой, как наволочка, атласный кисет, раскатал его, отщипнул кусочек газеты на столе и принялся медленно скручивать цигарку.

— Запалок нет? — спросил он охранника.

— Спалил все как есть.

Пастухов зажег спичку. В ее свете строго кольнул исподлобья пожелтевший взгляд товарища и потух вместе с огнем.

— Документы.

Пастухов достал бумажник. Дыша тягучим дымом на развернутую важную бумагу, товарищ внимательно читал. Народный комиссар по просвещению удостоверял, что известный писатель-драматург Пастухов отправляется с семьей на родину своей жены, в Балашовский уезд, и обращался ко всем учреждениям и местным властям с просьбой оказывать ему в пути всяческое содействие.

— Закурить не угостите? — попросил охранник.

— Что там у них вышло? — не отрываясь от чтения, проговорил товарищ и подвинул кисет.

— Требовают от начальника посадки. А сказано, посадки не будет.

Товарищ сложил бумагу, не торопясь глянул на Пастухова:

— Начальник станции не бог.

— А кто же бог? — чуть улыбнулся Пастухов.

— Бог нынче отмененный,— с удовольствием протянул охранник, подцепив добрую щепоть махорки.

— Вы зачем же хотите в Балашов?

— От голода. В Петербурге голод.

Минута прошла в молчании. Охранник долго прикуривал, высыпая на стол мелкую крошку огня из цигарки товарища, который думал, поглаживая себя за ухом. Пастухов и Дибич ждали покорно. Охранник, спрятанный клубами дыма, как станционное депо, сказал:

— Норовят к хлебу поближе. Задушат деревню. Едоки, едоки. Тот в шляпе, энтот под зонтиком, а пашет один мужик.

— Тоже — в Балашов? — спросил товарищ у Дибича.

— Я — в Хвалынск.

— Чего же вы вступились?

— Из сочувствия. Я скоро месяц из плена, а все не доберусь до дому. Не сладко греть своими боками полы на вокзалах.

Он подал документ, в штемпелях и закорючках. Товарищ повертел бумагу, изучая иероглифы, скучно вернул ее, оборотился к Пастухову:

— Так что же вы хотите?

— Отправьте меня, к чертовой бабушке, с эшелоном,— отчаянно махнул рукой Пастухов, чувствуя, что наступил момент требовать.— Я сам-третей с семьей. Да старуха, воспитательница сына. Пихните нас куда-нибудь в тамбур.

— Попробуем,— усмехнулся товарищ.

Он аккуратно спрятал кисет и брошюрку в бездонный карман галифе и качнул головой на дверь.

Пастухов вышел за ним на платформу.

Из степи сильно дуло, надо было держать шляпу. Нагнувшись, Пастухов шагал, отставая от бойко перебиравшего ногами товарища и глядя на его странные штаны, пузырившиеся от ветра. Видно, он был добрый малый, этот немногоречивый человек, раз его табачок запросто раскуривали подчиненные. Пастухов думал, что хорошо бы походя рассказать товарищу что-нибудь веселенькое,— нет ничего вернее смеха, когда надо расположить к себе начальство,— но удивительно притупились в дороге мысли, и было даже неловко, что читателю брошюрок, повстречавшему, наверно, в кои-то веки, живого да еще петербургского литератора, так и не услышать от него ни одного занятного слова.

Далеко на запасном пути стоял поезд, вперемежку из товарных вагонов и платформ с пулеметами и обозом. Часовые подремывали на зарядных ящиках, дневальные выметали вагоны с конями, и жирно, свежо пахло навозом.

Сказав, чтобы Пастухов подождал, товарищ взобрался в закопченный вагон-микст.

Пастухов глядел в поле. Лежало оно без конца, без края кое-где в зеленях, кое-где в черных взметах спокойных, ровных борозд, а больше — диким простором сонной степи, еще не очнувшейся после стужи. Ветер гнал с востока полынную горечь запревшего на солнце прошлогоднего былья да холодок сырых далеких оврагов. С бульканьем забирался в поднебесье и потом глухим камнем низвергал себя восхищенный жаворонок. Неподвижность покоилась в небе, неподвижность — на земле. Только черная погнившая скирда шевелилась, нет-нет посылая по ветру вырванный клок соломы.

Медленно со дна памяти всплыли стихи поэта, которого Пастухов считал последним русским гением девятнадцатого века, и со вздохом он выговорил вслух, упирая взор в еле видимый горизонт:

Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!..

Он обернулся на голоса. В распахнутой двери товарного вагона пели красноармейцы. Одни стояли обнявшись, другие свесили босые ноги наружу и толкали ими в спину товарища, который, присев на шпалу, чистил песком котелок.

«Това-ри-щи его трудов»,— заводили низкие голоса и набирали силы, раскачивались, переливались со ступени на ступень, пока серебряный голосок не вспрыгивал выше их всех, на самую верхушку лесенки: «беспе-ечно спали близ дубы-равы!» И опять низкие начинали раскачиваться и забираться вверх, и опять переливчатое серебро запускалось на недосягаемую для них высоту: «беспе-ечно...» И вместе с этим пронзительным «е-е» босые ноги красноармейцев так дружно толкнули того, который присел на шпале, что он покатился с песчаного настила полотна, и котелок, звеня и обгоняя его, запрыгал под откос. И все захохотали, бросив петь, и вдруг лихо повыскакивали из вагона, веселые, молодые, в неподпоясанных, заходивших на ветру пузырями исподних рубахах.

«Бес-пе-ечно» — лилось в ушах Пастухова, и он поддакивал этому озорному, тонкому «е-е» и почему-то думал, что — да, вот именно — беспечно, беспечно, как песня жаворонка, и в этом, наверно, все дело. Внезапно и совершенно нелепо, как ему показалось, вспомнил он профессора Шляпкина, которого когда-то слушал в университете. Профессор был из крепостных, своим трудом добился прочного положения и даже скопил копеечку. Пустив корни, он поставил у себя на даче, в Финляндии, крошечный бюс-

тик Александра II и укрепил под ним надпись: «Царю-освободителю — благодарный Шляпкин». Вот чем надо бы позабавить товарища — пришло на ум Пастухову, и он рассмеялся, и уже когда хохотал, все любуясь развеселыми солдатами, приметил коротенького круглого татарина, проходившего мимо, закутанного в стеганые толстые одежки, страшно похожего на профессора Шляпкина, и тотчас поправил себя, вспомнив, что надпись на бюстике была другой: «Царю-освободителю — от освобожденного». Но, все еще смеясь, решил, что «благодарный Шляпкин» — веселее.

В этот миг его окликнули. Из тамбура вагона-микст легонько кивал ярколицый, рыжеусый командир, без пояса, с маузером на узеньком ремне через плечо.

— Это вы везете семью в Балашов?

— Да. Я прошу погрузить нас с эшелоном. Будьте добры.

— Зачем же мне брать на совесть этакое дело? Там — война.

— Теперь везде война,— сказал Пастухов.

— Ну, какая тут война? Тут просто беспорядок,— снисходительно ответил командир.— Нет уж, извините. Как-нибудь без меня.

— Значит — нельзя?

— Нельзя.

— Тогда — до свиданья,— сказал Пастухов, по виду обиженно, однако со странным облегчением.

Почти весело он возвращался на вокзал. Нелепая фраза не выходила из головы: «благодарный Шляпкин...»

С лукавой улыбкой он остановился перед скамьей. Все трое глядели на него тревожно и молча.

— Папа,— сказал мальчик, робко подвигаясь к нему,— тебя не застрелят?

Ольга Адамовна быстро уткнула лицо в ладони, и кудряшки ее затряслись.

— Зачем? — отозвался Александр Владимирович серьезно и немного растерянно.— Стреляют зайцев. Медведей. Куропаток стреляют.

— А на войне?

— Ну, то — на войне. Какая же здесь война? Здесь просто беспорядок...

Он взглянул на жену. Она сидела очень прямая и красивая от испуга. Глаза ее были мокры. Он опустился рядом, на чемодан, потеребил ее мягкие пальцы, сказал тихо:

— Мы, Ася, должны ехать в Саратов.

И поглядел вверх, за окно — тоскливое и пыльное.

3

Работа для Пастухова была вроде курения: все кругом делалось постылым, если он не мог пробыть наедине с бумагой часа три в день.

— Это все равно что вырвать у жницы серп во время жатвы,— сердито сказал он Асе, когда она, угадывая томленье мужа, положила ему на плечо руку.

Он пробовал пристроить на колени саквояж вверх дном и что-то чиркал карандашиком по листу бумаги. Но рядом бурные пассажиры, сгрудившись вокруг поставленного на попа сундучка, резались до пота в «очко». Они бормотали бессмыслицы, принимались браниться и ржали, как чудище ужасного сна Татьяны.

Ольга Адамовна затыкала Алешины уши, краснела и бледнела попеременно, с мольбой взирала на Александра Владимировича, но он только передергивал плечами:

— Привыкайте, мадам.

— О, я уже приспособилась! Но мой бедный мальчик!..

Вагон был набит народом, как жаровня — крошеной картошкой, приходилось сидеть там, куда воткнула толпа, и на каждой станции пассажиров все прибавлялось. Это были отпущенные на излечение красноармейцы, мужички ближних сел, беженцы с Украины, какие-то командированные москвичи, просто беглецы от городского голода и даже целая партия пленных австрийцев. В воздухе в три этажа торчали с полок разутые ноги, из-под скамеек высовывались головы храпевших вповалку людей. Все это прело, тушилось, как в духовке, отбивалось от мух, но люди не только не чувствовали какого-нибудь поругания над собою, а были убеждены, что едут от худшего к лучшему, как все путешественники по доброй воле, и живо шумели в разговорах.

В Аткарске Пастухову удалось выбраться на станцию за кипятком. На него поглядывали — как церемонно он нес в вытянутой руке медный, начищенный до розоватости кофейник, боясь ошпариться или облить светлый костюм. В очереди к кипятильнику он увидел Дибича и пригласил его — если охота — попить чайку.

Устроившись кое-как, они с благодарностью смотрели за нежными руками Анастасии Германовны: она раздавала чайной ложечкой мелко наколотый сахар, выкраивала перочинным ножом кусочки хлеба и все говорила молчаливой своей лучистой улыбкой, что как, в сущности, мило располагает такая вот поездка в вонючем вагоне, с мухами и картежниками, навстречу полной неизвестности, туда, куда вовсе не собираешься ехать, как это приятно,

если, конечно, умеешь себя хорошо держать в обществе и вот так, как она, обаятельно оттопыривать мизинчик.

— Так вы, значит, хвалынский? — спросил Александр Владимирович.— Я ведь тоже хвалынский. Пастуховых — не слышали?.. Ну да, мой покойник родитель давно оттуда, а я последний раз был там юношей. В городе нас мало знали. У нас когда-то в уезде была усадьба. Нынче о таких вещах не говорят...

Он хитро прищурился на Дибича. Отвинчивая с фляги пробку, он вспомнил, как иногда в петербургском своем кабинете говаривал гостям, показывая на мебель карельской березы: «Это еще хвалынская, дедовская... отец пустил поместье по ветру... только и осталось...» Сейчас весь дом, вместе с карельской березой, был брошен в Питере на произвол, и Пастухов сердился, что голова не упускала случая напомнить об этой неприятности,— он по природе не любил неприятностей.

— Вот тут, в волшебной фляжке, содержится кровь ведьмы,— сказал он с загадочной строгостью в лице и плеснул немножко Дибичу в чай.— Я слил сюда все подонки, какие оставались в буфете,— коньяк, ром, водку и какую-то бабью наливку. Можете представить, когда я разболтал — пошла — пш-ш-ш! — пена. Проглотишь одну ложку — и в жилах просыпается черт.

Дибич глотнул чай и, прислушиваясь к действию напитка, недоуменно поднял брови: и правда, чудесное, давно не испытанное проказливое тепло разбежалось по всему телу. Пастухов с удовольствием засмеялся.

— Послушайте,— сказал он запросто, как старому знакомому,— чего вы только не перевидали, наверно, у немцев, а? Если не противно вспоминать, расскажите. Ну, хоть самое главное.

— Самое главное? — будто к себе обратился Дибич, задумываясь.— Не знаю, как я отвечу на это лет через десять. Если тогда будет интересовать такой вопрос и если протяну еще десять лет. Может, к тому времени немцы будут непорочными духами? Может, и во мне все выродится? А сейчас я помню только два чувства, с какими у них жил: я хочу есть и я хочу бежать. Это и было самое главное.

— Тоска? — подсказал Пастухов.

— Да, конечно, тоска. Ну, не совсем — тоска. Разумеется само собой, тянуло к дому,— свою ведь землю по-настоящему поймешь на чужбине, это так. Но больше всего хотелось — доделать. До конца доделать.

— Что доделать?

— Войну доделать. Понимаете, так иной раз жутко становилось, что все — зря!

— Зря?

— Ну да, зря, попусту прошли через истребление. Это еще у меня с фронта. Люди столько перенесли,— я все видел, вот этими глазами... окрошку, окрошку из людей! Иногда ведь не разберешь, бывало, где щепки, где кости солдатские, где грязь, где кровь,— всё вместе. Я долго верил, что доконаем. И страшно хотелось самому доконать, чтобы непременно своей рукой.

Дибич сжал маленький, костлявый кулачок и с отчаянной тоской постукал им об острую коленку. Он сидел низко на скатанной в комок шинели, и колени торчали вровень с грудью. Щетина вокруг его загоревшегося лица топорщилась, когда он начинал торопиться говорить.

— Я как попал к ним, так дал себе слово, что убегу. А тут еще голод. Из издевательства ведь голод, не по нужде. Если бы пленным давали хоть десятую долю того, что они вырабатывали. Ну, скажем, картошки. А то ведь одни бураки. И тут все то же, как на фронте,— истребление. Участок нам на кладбище отвели,— я сидел в Гросс-Пориче, небольшой лагеришко, тысячи на три,— так мы каждое утро волокли туда покойников. Одни животом мучились, не выносили бурака. Другие унижения не могли стерпеть, руки на себя накладывали. Почти всякую ночь — простите (взглянул он на Анастасию Германовну и сбавил голос) — в отхожем месте удавленников из поясков вынимали. Я тогда твердо думал, что все это мы немецким чертягам сквитаем. И утек. В первый раз — с прапорщиком одним.

— Поподробнее,— вставил Александр Владимирович, усаживаясь как можно удобнее.

— Дело простое. Русскому человеку плен — именно как поясок на шее. Французы, те — другие. У нас в офицерском бараке было половина на половину — французы и мы. Те как прибыли, так сейчас за устройство: крючочки деревянные прибивать для фуражек, распялочки делать для мундиров — прямо парижский салон. Барышни на стенках, песочек под ногами, посылочки от Красного Креста, купля-продажа. Смеются, поют что-нибудь католическое, по-латыни либо по-французски, веселое, как марш. И все чего-нибудь пришивают, натирают, всегда руки в ходу. А русский сидит часами, глаза — в небо, на облачко какое-нибудь, а если запоет, то плакать хочется. Вдруг, правда, развеселится, пойдет в пляс, так что с чердака опилки сыпятся. А потом опять сядет, куда-то в одну точку уставится, да этак на неделю. Ну, вот и я смотрел, смотрел на небо и — прощай!.. Техника известная: надо ждать, когда в полях хлеба поднимутся и колос отцветет. Вызвался я работать: офицеры работали только по своей воле. Вместе с солдатами стал ходить в поле, окучивать бураки. Пригляделся. В конце нашего поля — лесок, небольшой, разрисованный, как все

у немцев,— насквозь просвечивает. За ним узкоколейка и дальше — хлебное поле. Начал я нарочно отставать, будто не справляюсь, и вижу — один прапорщик, тоже из офицерского барака, все норовит замешкаться, отстать еще больше, чем я. Скоро мы с ним объяснились и, чтобы не мешать друг другу, решили пробовать счастья вместе. Первое время за нами очень чутко приглядывали, потом свыклись. Ландштурмист из конвоя все посмеивался — мол, крестьянская работа не для офицеров. Мы поддакивали — спины, мол, непривычные, не умеют кланяться. Убежали мы за полчаса до ша́баша, к вечеру, перед самой поверкой. Расчет был такой, что надо не больше четверти часа, чтобы перебежать леском через узкоколейку и поглубже залечь в хлеб. А когда на поверке недосчитаются, конвоирам надо будет вести пленных в лагерь, и пока дойдут и нарядят погоню — стемнеет, и мы укроемся как следует, тут же, неподалеку, и заночуем. Обыкновенно стараются уйти сразу как можно дальше, а я убедил компаньона, что надо дольше лежать поблизости, потому что поиски ведут с каждым истекшим часом все дальше от места побега, и мы перехитрим — пойдем не впереди, а позади погони. Так все и вышло. Едва мы залегли в хлебе, как раздалась тревога: конвоиры выстрелили и забили в трещотки, вроде таких, как у нас по садам скворцов гоняют. Тут, к нашему счастью, проползал по узкоколейке товарный поезд и все звонил,— колокол у них паром работает, как заведет — конца нет. За этим звоном тревога была не очень заметна, сельчане в окрестности не обратили внимания. Ну, мы-то хорошо слышали, у нас больше всего уши работали. Ночь прошла тихо. Мы лежали в котловинке, посереди поля, и к рассвету набили полные карманы зерна — оно уже сильно налилось, и мы подкрепились. В хлебе мог остаться наш след, как мы ползли, но и тут нам повезло: с восходом подул ветерок, расправил примятый колос, и мы пролежали весь день, словно в тайнике. Жажда только мучила, воды мало захватили в бутылочке из-под одеколона — французы дали бутылочку. Ночью мы пошли и в первый переход перевалили горы на австрийской границе — мечтательные, знаете, места. К утру опять оказались в долинке, опять залегли в хлеб. Это уже в Чехии. Мы очень рассчитывали, что у чехов будет свободнее и что, может, население поддержит. Но показываться все боялись. Так и пошло: днем лежим в поле, ночью маршируем. Жилье обходим, как где огни, так — подальше в сторону. На пятые сутки мы ослабли: хлеба ни крошки, одно сырое зерно. Я еще ничего — тогда был крепкий, а прапорщик мой завел подговоры, что, мол, не лучше ли объявиться, все равно поймают, либо умрешь в поле. Лежит вечером, как камень,— не поднять. К утру разойдется, а потом свалится и спит. Ну вот. Ровно неделя исполнилась, как мы ушли, и вот ле-

жим мы полднем в кустах. Рядом — выгон, стадо пасется. И забредает в кусты корова. Полнотелая такая, крупная, по белому рыжими разводами, и вымя — в ведро, из сосков молоко капает. Взглянул я ей в глаза — мол, не подведешь, кормилица? И она на меня так сердечно посмотрела, со слезой,— мол, пожалуйста, вполне сочувствую,— и просто так отвернулась к кусту и начала щипать. Подполз я под нее, подставил рот под сосок и стал доить. Даже голова кругом пошла, точно пьяный сделался. Глотаю, облился весь, за ворот налилось, тепло так. Потом пальцы свело от усталости, а я все дою и дою. Пододвигается ко мне прапорщик, пусти, шепчет, дай мне! Я говорю — ложись с другого бока. Он заполз, лег, но моя голова ему мешает, и никак он не может приспособиться. Тогда я оторвался, уложил его и стал ему доить в рот, как в дойницу, сразу из двух сосков. Только слышу — шаги. Говорю — кончай, ползем! И отползаю в чащу. А он снова берется неумелыми руками теребить вымя и ничего будто не слышит,— в кустах пошел треск, совсем близко. И вдруг смотрю — паренек-подросток, видно — пастух, шляпка на нем такая востренькая, раздвинул листву и замер — увидел под коровой человека. Не успел я подумать — что лучше? — заговорить с ним или таиться, ждать, как он себя поведет, а он — прыск назад и — бегом!.. На том наше путешествие и кончилось... Залегли мы в самую чащобу. Но слышим — вокруг голоса, и все ближе сходятся, с разных сторон. Подняли нас,— куда уйдешь? Я думаю — хорошо, что поймали чехи-крестьяне, хоть бить не будут. Стал с ними по-русски, они качают головами: так, мол, оно так, ну, а все-таки пожалуйте в холодную. Думал я, они для вида подержат нас, а потом дадут бежать дальше. Да только мы с толпой подходим к деревне, смотрим — на велосипеде полевой жандарм, австрияк. Ну, тут сразу разговор другой... Обидно, знаете, мне было, что взял нас австрияк. Я в шестнадцатом году, в наше наступление, этих тонконогих целыми бреднями в плен брал. Один мой батальон почти тысячу человек в Россию отправил. А тут... да что говорить!.. Вернули нас этапом в Гросс-Порич, заперли в штрафной барак, лишили меня оружия...

— Как — оружия? — перебил Пастухов.

Дибич остановился, подумал недолго, потом вытащил из нагрудного кармана красную ленточку. Пастухов взял ее, разглядел и передал жене:

— Ася, анненский темляк. На шашках носили, помнишь?

Анастасия Германовна благоговейно подержала темляк в своих мягких пальчиках и дала Алеше притронуться к ленточке.

— А еще бывает с белой кисточкой,— сказал Алеша.

— Кисточку я оторвал,— сказал Дибич.

— Вам не нравится? — спросил Алеша, и все улыбнулись.

— Вы были награждены? — спросил Пастухов.

— Да, незадолго до плена — клюквой,— у нас звали этот темляк клюквой. Меня взяли в плен в бою за высоту. Немцы долго с нами возились, перебили мой батальон, я с остатками не сдавался, пока меня не ранило. Немцы оставили мне холодное оружие. Но в лагере комендант был трус, он отобрал у офицеров, которым сохранили оружие, шашки и оставил одни темляки. Это, сказал, вместо квитанций,— кончится война, получите шашки. Я перед побегом зашил темляк в рукав, кисточку пришлось оторвать, она толста. Зашил вот сюда,— вы знаете, как немцы делали с пленными? — вырезывали кусок рукава и на место выреза вшивали красную полосу. Этакую штуку не сорвешь. Я запрятал темляк в эту вшивку. Иголку мне дал француз. У французов все было, даже ножи имелись. А в русских руках и зубочистка страшна. Так вот, когда меня поймали, комендант мне заявил, что за побег меня лишают оружия, и велел темляк вернуть. Я сказал, что потерял. Меня три дня держали без воды. Все швы вспороли, а темляк — вот он,— проговорил Дибич ребячески гордо.

Пастухов удивленно и с любованьем захохотал.

— Русский человек, русский человек,— повторил он,— я понимаю, что в этих руках и зубочистка страшна. Вы хорошо сказали. И непременно — бежать. Бежать! Это — наше свойство. Бегут все: раскольники, невесты, каторжане, гимназисты, толстые. Вы не задумывались над этим? За праведной жизнью. За счастьем, за волей, за сказкой, за славой. Из городов — в леса, из лесов — в города. Странный народ,— заключил он, с любопытством озирая нагромождение тел в вагоне.

— И мы тоже бежим,— застенчиво улыбнулась Ася.

— Только — за чем? — вставил Пастухов.

— Как — за чем? За пошеном, за картохой, за свеколкой,— игриво и хозяйственно перечислила Ася, давая понять, что, не теряя своей воздушной улыбки, она, если хотите, умеет быть земной, как любая деревенская Феклуша.

— Ну и что же? Бежали еще раз? Не угомонились? — спросил Пастухов.

Лицо Дибича стало серым, как половик, испарина засветилась на круглом лбу, он тихонько покачал иссохший свой корпус, взглянул на хлеб.

— Что ж,— сказал он, сжимая зубы,— всего не расскажешь. Второй раз попытал счастья в одиночку. Все казалось, что если бы не компаньон, я бы ушел с первого раза. Но не повезло и на другое лето. Добрался я до Боденского озера. Далеко. Хотел в Швейцарию. Перехватили уже на лодке — поймали прожектором. И — в крепость...

Дибич оборвал себя, вытер лоб трясущейся рукой.

— Долго это протянется? — обвел он вагон помутневшим взглядом.

— Не знаю. Но похоже — не коротко.

— Вы можете объяснить, что это такое? Что происходит? Не названием каким объяснить — названий много,— а чтобы понять.

Пастухов прищурился за окно. Не пробегали, не проходили вешки и кустики, а вяло уползали назад, точно в раздумье — остаться им в поле или двинуться следом за окнами. Поезд трудно брал подъем, натягивая визгливые сцепы.

— Иногда мне кажется, я понимаю все,— проговорил не спеша Пастухов.— А иногда я не в состоянии разобраться даже в самой, казалось бы, очевидности. Может быть, только одно бесспорно: теперь уже весь народ,— а не одни раскольники, не одни толсты́е,— дыбом поднялся и бросился в свой побег. За праведной жизнью. За сказкой.

— За пошеном,— как будто поправила Ася и улыбнулась, но на этот раз — грустно.

— Продолжается русская история и, очень возможно...— начал опять Пастухов, и попридержал себя, и докончил значительно: — Не только русская история, а некая всеединая человеческая история.

— Печальная история,— снова грустно сказала Ася.

— Понять происходящее,— рассуждал Пастухов,— мне мешает особенность моего склада. Не то чтобы ум короток. А впечатлительность излишне велика. Это — трагедия. Трагедия художника. А я, должен вам сказать, художник. Чтобы быть художником, надо обладать острейшей впечатлительностью, иначе не увидишь мира. Но чем острее впечатлительность, тем больше страданий, потому что художник видит горе мира всего в каком-нибудь единичном явлении и не в силах отвратить от этого явления свой взор. Не вообще горе мира, как понятие,— вы понимаете меня? — а в живом человеке, который страдает. Ну, вот я вижу вас,— понимаете? Не вообще человека, а вас, вот в этом вашем побеге, о котором вы рассказали, вот в этой вашей гимнастерочке с нарукавной тряпкой пленного, в которую вы зашили темляк. И вы мне заслонили все, весь мир, то есть в данный момент,— понимаете? — в данный момент я ничего не вижу, кроме вас. Вы для меня — мир. И я не могу уже рассуждать понятиями, не могу говорить вообще, не могу ответить вам, что будет вообще. Пожалуй, только могу сказать — что будет с вами. Вам будет плохо, мне кажется — вам будет очень плохо.

Дибич немного отшатнулся, закрыл лицо, и было видно, как дрожала его рука, стукаясь локтем о колено.

— Ну, Саша! Что ты за ужасная пифия! — вспыхнула Ася.— Не верьте, пожалуйста, ему, я вас прошу. Он никогда не умел предсказывать...

Было похоже, что Дибич заплачет: он подергивался, почти содрогался, и все хотел отнять руку от лица, и все не мог. Наконец она у него будто отвалилась сама собой и повисла, вместе с другой, между колен. И, опять покрывшийся испариной и серый, он скороговоркой вытолкнул извиняющимся голосом:

— Еще кусочек хлебушка не дадите?.. Мне словно худо... после чаю...

Прошла секунда окаменения. Потом Пастухов схватил хлеб, откромсал, раскрошив, косой ломоть и протянул его, почти всунул в руки Дибичу.

— И непременно еще глотните этой ведьма́чки, нате, непременно! — засмущался и заторопился он, наливая из фляжки.

Ася смотрела в землю, кровь обдала ее щеки, и тонкие виски, и лоб, и она сделалась еще больше цветущей и прекрасной.

Дибич начал по-своему быстро-быстро жевать, и было в его алчности что-то животно-обнаженное, точно он вдруг встал, волосатый, передо всеми нагишом.

Ольга Адамовна, испугавшись, скорее загородила собой Алешу.

4

Повременив, пока рассосется толпа, Пастуховы перетаскали вещи на вокзальную площадь. Александр Владимирович скинул пальто, утерся, поглядел брезгливо на грязные ладони, захохотал какой-то своей мысли, поздравил жену:

— С приездом... черт побери! Вот я и на родине.

Виднелись кирпичные облезлые казармы, длинной прямой улицей, посереди дороги, люди гуськом тащили мешки, пулями вспархивали с мостовой бессмертные воробьи, вывески на заколоченных лавках все еще кичились мерклым золотцем — «чай, сахар, кофе». Поверх чемоданов и узлов, сваленных в кучу на булыжник, подбоченилась пестренькая корзиночка для рукоделия Ольги Адамовны, висела сетка с игрушками Алеши — заводной велосипед, четырехцветный мячик, самолет «фарман», книжка с картинками.

— Глупо,— сказал Пастухов.— Ухитрился растерять всех знакомых. За девять лет тут, наверное, не осталось ни одного.

— Саша, я говорю: ступай прямо к самому главному начальству, это всегда лучше,— с глубочайшей убежденностью и на очень тихой, вкрадчивой нотке посоветовала Ася.

— Оставь, пожалуйста. Нужны начальству мои чемоданы!

— Не чемоданы, а ты,— понимаешь? — ты! Скажи, кто ты, предъяви свой мандат и...

— Мандат? Что я — член Реввоенсовета? Продкомиссар? Уполномоченный Совнархоза?

Он фыркнул и повернулся к вокзальному подъезду. Совсем неподалеку он увидел сивобородого человека в сюртуке с глянцевыми рукавами, в выгоревшей шляпе, из-под которой свисали путаные прядки таких же, как борода, сивых волос. Несмотря на старообразность вида, это создание дышало странной живостью. Похожий на ученого или, может быть, губернского архивариуса,— Менделеев и канцелярист,— старик сочетал в чистом своем взоре робость и задор. Он рассматривал Алешу, как мальчишка, решивший свести знакомство и еще не уверенный — что из этого выйдет. Вдруг он петушком пододвинулся к Алеше и, вздернув брови, спросил:

— Куда же такое мы едем, а?

Ольга Адамовна тотчас взяла Алешу за ручку, притягивая к себе, но он нисколько не застеснялся и просто ответил:

— Мы уже приехали. Только папа еще решает, где мы будем жить.

— Вот именно,— буркнул Пастухов.

— Вы извините, что я заговорил с мальчиком,— сказал, покраснев, старик, бойко приподнял шляпу перед Анастасией Германовной и понизил голос, как подобает знающему толк в воспитании: — Такой на редкость красивый мальчик!

— Ну, что вы! — тоже краснея, возразила мать и, быстро глянув на Алешу, спрятала лицо рукой, чтобы он не видел ее удовольствия.

— Значит, ты хочешь быть саратовцем? — опять обратился к Алеше старик.

— Мы петербуржцы,— строго сказал Алеша.

Александр Владимирович усмехнулся:

— Некоторым образом, столичные беженцы. Бежим от самих себя. И тут совершенно чужие. Хоть я сам — здешний уроженец. Пастухов. Не слышали?

— Как? Вы? Ах, такого типа! Тот самый, да? Ага. Понимаю. Как же, как же! — спрашивал и тут же отвечал себе старик.— Теперь узнаю. Какой необыкновенный случай! Так, так. Очень приятно. Разрешите: Дорогомилов, Арсений Романыч, таким образом — ваш земляк.

Он наскоро подал всем руку. Удивительно двоилась его манера: чем суетливее он говорил, тем больше смущался, до заикания, до бестолковости как будто, и в то же время делался все проще и радушнее.

— Я была права — слава всегда на что-нибудь пригодится,— сказала Ася с кислой насмешкой над своим простеньким словцом.

— Вы не посоветуете, где можно бы устроиться на первых порах? — спросил Пастухов.

— То есть — очень просто, на первых порах, например, у меня! — воскликнул Дорогомилов.— На моей квартире. Если, конечно, вам удобно. Я, знаете, неделю прихожу встречать с поездом старых, добрых знакомых, но их все нет! Телеграмма была еще две недели назад: выезжаем. Из Москвы. Подумайте! Так что у меня много свободного места, в моем казенном доме. Я одинокий.

— В каком смысле — в казенном? — поинтересовался Александр Владимирович.

— Ах, такого типа! — захохотал старик, громко прихлебывая воздух.— Не казенный дом, нет. У меня — казенная квартира, городская. В городском доме. Я был главным бухгалтером городской управы, тридцать пять лет, да, да, и так, знаете, остался в этой должности. Только теперь это — отдел коммунального хозяйства. Коммунхоз, знаете. Как же!

— А у меня будет своя комната? — спросил Алеша.

— У тебя будет вилла с фонтаном и собственный выезд,— сурово посмотрел отец.

— Нет, именно своя комната! — с самым серьезным участием наклонился старик к Алеше.— Папа с мамой расположатся в большой комнате, а в ней есть еще маленькая, выделенная из большой. И там будешь ты и вот...— он сделал неуверенный поклон Ольге Адамовне,— если пожелаете, вы.

— Но вы говорите, это — коммунальная квартира? — спросила Ася не без боязни.

— Нисколько! Это — дом коммунальный, городской, а в квартире я как жил один, так и живу... пока, знаете, пока, без всякой перемены.

— Но мы же вас стесним! — растроганно и уже благодарно, с кристальной слезкой в глазу, проговорила Ася, чуть-чуть выпячивая губки.

— Что вы! Да у меня... Ну, поверьте, я буду только рад! У меня же еще две комнаты! У меня этаж, целый этаж! Это мне город всегда давал квартиру... Я уже не помню сколько там лет!

— Фантастично! — сказал Пастухов.

— Судьба? — полуспросила и улыбнулась Ася.

Он кивнул ей, соглашаясь.

— Согласны? — упоенно оборачивался ко всем Дорогомилов и вдруг вздернул над головой шляпу счастливым жестом морехода, поймавшего в трубу долгожданную землю.

Алеша немедленно повторил этот жест, замахав летней белой своей фуражечкой, и крикнул:

— Мама согласна, согласна!

— Что ж ты орешь? — заметил совсем не сердито отец.

— Ну, теперь грузиться! Пойдем за тележкой,— сказал Дорогомилов и протянул руку Алеше.

Но Ольга Адамовна тотчас захохлилась, одергивая на себе изрядно пыльное сак-пальто из какого-то плюш-котика и выдвигаясь на передний план.

— Как можно, однако? Алеша с вами так мало знаком!

— Ах, мы познакомимся, познакомимся! Сейчас. Я сейчас.

Дорогомилов побежал к дальнему крылу вокзала, где еще пестрела разбиравшая пожитки толпа. Он вприпрыжку семенил ножками в круглых штанах, похожих на сосиски, под развевающимися долгими фалдами сюртука. Волосы его колосились из-под шляпы, одно плечо он выталкивал вперед, будто загребая воздух.

Алеша громко рассмеялся и начал подпрыгивать то на одной, то на другой ножке.

— Мама, он ведь нарочно такой, правда? Как все равно елочный.

— Он букинистический,— вразбивочку выговорил Пастухов, помигал с лукавинкой на Асю и внезапно тоже сорвался в смех: — Черт знает что такое! Ни на что не похоже!

— Поверь мне, Саша, поверь, я не ошибаюсь,— сказала Ася с проникновенным, залучившимся выражением лица,— это — праведник на нашем пути. Поверь.

Она как-то особенно придыхнула на слове — праведник.

— Или сумасшедший,— жестко сказал Пастухов.

Часа полтора спустя шествие подходило к дому Арсения Романовича. Он вел за руку Алешу, по пятам провожаемого взволнованной больше всех Ольгой Адамовной. По дороге, на паре двуколок, нанятые мужичонки катили поклажу. Сзади приглядывали за ними с тротуара Пастуховы.

Дом, в котором проживал Дорогомилов, стоял на одной из тихих улиц, примыкавших с Волги к городскому бульвару — Липкам. Это был двухэтажный особняк, когда-то розово покрашенный по штукатурке, а сейчас — бурый, в щербинах, живописных трещинах и с раскрошенным цоколем. Он легко запоминался по тамбуру парадного крыльца, выступавшему на тротуар. В узорчатых оконных и дверных переплетах тамбура еще переливались не добитые мальчишками разноцветные стеклышки. Другие архитектурные приметы здания были довольно обычны для вкуса, в каком любили строить в губернских городах, да и в уездах, лет сто —

полтораста назад: верх в венецианских окнах, с овальными фрамугами, так же как и входная дверь тамбура; простенки от цоколя до карниза в пилястрах, очень плоских, приплюснутых, так что их можно было принять за намалеванные на штукатурке. Заборчик с воротами направо от дома и флигель — налево не отличались ничем от соседних, только старые желтые акации, уже раскрывая листочки, долговязо лезли хлыстами через забор.

Арсений Романович скрылся за калиткой во двор и через минуту, запыхавшийся, отворил тамбур. Начали поднимать наверх вещи. Алеша первый вбежал по певучей деревянной лестнице и очутился в коридоре перед окном. То, что он увидел, превзошло его ожидания. Арсений Романович не только не приврал, рассказывая всю дорогу с вокзала, какие чудеса откроются Алеше на новой квартире, но даже приблизительно не мог передать необычайность мира, вдруг брошенного прямо Алеше под ноги.

По склону вниз спускался большой сад. Одни деревья чуть-чуть распушились, на других еще только высыпали разбухшие почки и висячие бархатные червяки свекольного цвета. Но сад уже казался кудрявым. Пятнышки света будто паслись на узких тропинках, как желтые цыплята. Трава была разной — то маленькая-маленькая, прямая, точно настриженная ножницами, то лопоухая, витая. Старая тачка с отломанным колесом валялась на боку. «Колесо-то мы починим!» — подумал Алеша и взглянул поверх сада.

Сначала он ясно различил белую церковь с колокольней и на ней — высокий тонкий шпиль. Потом, сразу за церковью и за шпилем, он увидел что-то непонятное — живое от сияния, громадное, как много-много полей, уходивших во все стороны до самого неба. Потом он моментально понял, что это — не поля, а вода, и потом еще скорее, чем моментально, сообразил, что эта вода — Волга. Он вскрикнул:

— Волга! Мама, Волга!

Ему никто не отозвался — все были заняты тасканием вещей, и его неожиданно взяло сомнение — не ошибся ли он? Волга должна была быть похожа на Неву, но только гораздо больше. А то, на что смотрел Алеша, нисколько не напоминало Неву. Не было нигде настоящего конца, а там, где, вероятно, начиналась земля, было все так же плоско и бесконечно, как на воде. Там был другой цвет, какой-то сиренево-серый, но цвет тоже живой, подвижной, как на воде. Там даже виднелись деревья и, может, отдельные домики, но они тоже словно росли из воды. И кроме того, Алеша сколько раз слышал, что на Волге много больших пароходов. А тут, как он ни искал глазами, везде была вода и вода, и ни одного парохода. Правда, совсем близко, над крышами домов, Але-

ша заметил две темных лодки, плывших друг другу навстречу. Но лодки могли плыть и не по Волге.

Алеша решил хорошенько проверить — могла ли все-таки это быть Волга, и даже обрадовался, что никто не слышал, как он крикнул — Волга! Как вдруг из-за церкви появился на воде небольшой уголок, и уголок этот стал вырастать, будто выдвигаться из церкви, как крышечка из пенала. Затем уголок превратился в квадратик, и на этом квадратике появился второй квадратик, и они оба продолжали выдвигаться из церкви, и нижний вез на себе верхний, и потом сразу на верхнем выехал третий, совсем так же, как второй на первом, и все они начали вытягиваться в полосы и вдруг ярко забелели на солнце, и Алеша отчетливо разглядел на каждой полосе маленькие окошечки, и окошечек стало выдвигаться из-за церкви все больше и больше, и Алеша понял, что это идет пароход. Да, это недалеко от берега шел пароход! Все больше, больше появлялось пароходных примет — лодка на верхней палубе, лоцманская будка, черная труба, еще лодка, и внизу, под колесом — взбитая яичными белками пена и веером сверкающие волны, и на палубе — опять лодка, и потом — верхняя полоса с окошками оборвалась, за ней оборвалась средняя, потом выползла корма, потом — наклонная мачта с подвешенной наискось лодкой, над ней — лисьим хвостом — флаг,— и вот весь огромный трехпалубный пароход, от носа до кормы, как на ладошке, поплыл перед поднявшимся на цыпочки и ухватившим оконную раму Алешей, и — словно для того, чтобы не оставалось никаких сомнений,— пароход этот гневно изверг из-за трубы клубчатую струю молочно-белого пара, и через секунду глухо толкнулся в окно стариковский рассерженный гудок.

— Пароход на Волге! — вне себя закричал Алеша.

— Ура! — крикнул в ответ Арсений Романович, уронив на последней ступени чемодан, и все, как по сговору, подошли к окну и остановились плечом к плечу, глядя на реку.

— Ах, господи боже мой,— пароход! — после минуты молчания вздохнул отец.— Может, Ася, хорошо, что мы попали в Саратов?

— Ну, конечно, Саша! — ответила мать со счастливым беззвучным смехом.

— Очень, очень хорошо! — подтвердил Арсений Романович и легонько толкнул Алешу в бок: — Правда, Алеша?

— А бывают пароходы еще больше этого? — спросил его Алеша.

— Нет, уж больше этого никогда не бывают! — решительно сказал Арсений Романович.

— Мы поедем на пароходе, папа?

— Гм... может быть, даже на гидроплане,— хмуро проговорил отец и отошел от окна.

Надо было устраиваться, и все опять засуетились. Дорогомилов объявил, что должен идти на службу, и просил Пастухова располагаться как угодно. Алеше он сказал, что в саду можно играть на траве, что в сарае есть верстак, что ходить разрешается по всем комнатам дома.

Квартира была странной — из тех, что возникали не по плану хозяина, а строились казной для неизвестных, именно казенных квартирантов, однако по старинке — толстостенная, с половицами, которых не прогнет и сытый конь, с порогами, которых не сотрут три поколения. Посереди передней комнаты, занятой нежданными гостями, покоилась преобъемистая русская печь,— видно, помещение предназначалось и под кухню, и под столовую, как часто бывало в старых семьях. От печи шли две переборки, и они образовывали маленькую комнату с лежанкой.

На лежанке сразу же и посидел, и полежал, и постоял во весь рост Алеша, измеряя руками, сколько не хватает до потолка, а потом, быстро расставив на ней прискучившие игрушки, улизнул в коридор, к окну. Выходить в сад без Ольги Адамовны ему запретили, и, посмотрев еще немного на Волгу, он начал обследовать квартиру.

В коридоре находилось только единственное окно, с этим самым видом на Волгу, а дальше, к концу, было совсем темно, и в темноте, по стенкам, чувствовалось много вещей и хлама. Привыкнув к сумраку и продвигаясь маленькими шажками вперед, Алеша встречал корзины друг на дружке, разрозненную поленницу дров, шкаф с листом картона вместо оторванной дверной створки, железный рукомойник, большую клетку (наверно — для попугая), кресла и на них сложенную кровать, штабель книг, накрытый половиком, и над книгами — лампу, висящую бог знает на чем. Алеша тихонько трогал вещи, особенно клетку и рукомойник с носиком, который вертелся. Пальцы его сделались шелковистыми, он понюхал их, они пахли, как тротуар летом.

Он дошел почти до самого конца коридора и увидел две противоположных двери. Левая стояла приотворенной на узенькую, в нитку, щелочку, и там было солнце. Он заглянул туда. Это была комната с плитой. Окно выходило в тот же сад, только с другой стороны, под углом, и виден был соседний реденький сад, а церковь высилась сбоку и была отсюда не такой, как из коридора.

На плите лежал спасательный круг, раскрашенный белым и красным, с оборванными петлями веревки по наружной стороне. Алеша приподнял круг, он оказался тяжелым: удивительно, как такой снаряд не только не тонул в воде, но даже мог удержать

утопающего. «Бросай утопающему» — вспомнил Алеша надпись на спасательном круге в Петрограде, на мостике, около Летнего сада, где вдобавок висели и пробковые шары. Он стащил круг с плиты на пол и немножко прокатил его стоймя, как обруч. «Бросай утопающему!» — воскликнул он про себя и осмотрелся — куда бы можно было бросить круг.

За перильцами он увидел лестницу. Она вела во двор — деревянные сени внизу просвечивали полосочками, и выход из сеней был закрыт неплотно. Если бы утопающий обнаружился там, внизу, то круг надо было бы бросать по лестнице, а потом за ним пришлось бы спуститься и можно было бы немножечко выглянуть в сад. Алеша подкатил круг к лестнице и только было набрал полную грудь воздуха, чтобы скомандовать: «бросай...» — как из коридора влетела Ольга Адамовна и, затрясши своими кудерьками, туго зажмурила глаза: она не могла выдержать беспредельного ужаса картины. Потом она кинулась к Алеше, с гримасой страдания отставила круг, отряхнула Алешин пиджачок, отряхнула коленки, отряхнула ладошки и — поборов с помощью этих самоотрешенных действий свою немоту — потребовала ответить:

— Где была эта ненужная тебе вещь?

— Эта ненужная вещь была на плите,— сказал Алеша.

Она, крякнув, втащила круг на плиту.

— Алеша, боже мой! Я не могу сейчас выйти с тобой гулять. Мы должны с мамой разобрать багаж. Дай же мне, мой мальчик, слово, что ты не сойдешь по этой лестнице ни на одну ступень! — произнесла Ольга Адамовна и посмотрела вверх, словно призывая наивысшего свидетеля.

— Я не сойду по этой лестнице ни на ступень,— повторил Алеша совсем так, как повторял на занятиях французским языком, и тоже поднял довольно хитрые глаза к потолку.

Когда Ольга Адамовна ушла, он минуту оглядывался с разочарованием: в комнате ничего, кроме спасательного круга, не обнаружилось. Неизвестно почему здесь находилась плита. Может быть, это было нечто вроде летней кухни.

Он вспомнил о противоположной двери в коридоре и пошел к ней. Она была закрыта, но отворилась легко, едва он нажал. Здесь так же много обреталось вещей, как в коридоре, однако они были освещены двумя окнами, выходившими на улицу. Очевидно, тут жил Арсений Романович: застланная порванным одеялом кровать, письменный стол, похожий на прилавок слесаря и починщика керосинок, стопки, связки, штабеля и горы пожелтевших книг, плюшевое потертое кресло с одним подлокотником, этажерка с цветастой посудой и пробитыми весьма разнообразно стекла-

ми — все говорило о жизни человека деятельных и даже бурных интересов.

Алеша всунул в притворенную дверь сначала нос, потом голову, потом плечо и одну ногу, потом не вошел, а вобрал себя в комнату всего целиком. Но он сделал только единственный шаг.

Внезапно стену пронзили крики двух ярых голосов. Что-то упало, покатилось, застукало, крики превратились в кряхтенье, рычанье, посыпались удары, стало ясно озлобленное бормотанье, приговариванье, и вдруг — грохоча — из распахнувшейся двери слева (которую Алеша не успел заметить) в комнату вывалились двое сцепившихся мальчишек. Алеша отшатнулся и этим испуганным движением наглухо захлопнул за собою дверь. Он был наедине с лихими драчунами. Они колошматили друг друга исступленно, ухватившись за растерзанную книгу и стараясь ткнуть ею в лицо, в то же время бутузя свободными руками бока, спины, головы, плечи — все, что подворачивалось под быстрые кулаки. Все больше вырывалось из книги растерзанных листов, летавших и садившихся вокруг, как голуби, все жестче, точно швейная машинка, барабанили кулаки, и Алеша не мог разобрать, какому из мальчишек попадало больше, кто брал верх, кто сдавал. Ему показалось — страшные бойцы убьют друг друга насмерть. Они менялись местами, увертывались, пригибались до пола, подскакивали, и в мелькании, в трепете, в завихрениях рваной бумаги он лишь разглядел, что один мальчишка был рыжеватый, а другой беленький — такой же, как сам Алеша,— и что они были больше его. Ладони у Алеши похолодели и взмокли, он думал, что надо убежать, но не мог шевельнуться и не мог оторвать глаз от содрогавшего сердце жуткого и великолепного зрелища. Он ничего не понимал из оборванных, как клочья книги, лютых словечек, которые выжимали из себя, кряхтя и захлебываясь, мальчишки, но, сдерживая свое боязливое дыханье, он тоже начинал незаметно покряхтывать и что-то лепетать.

— Съел? — улавливал Алеша сквозь шипенье, удары, треск, шум, стук и топот возни.— На еще, на!.. Слопал?.. Получай!.. Сам получай, сам, сам!.. На, на!.. На еще!.. Раз!.. раз... ать... ать!.. На!.. А!..

Наконец в руках мальчишек остался от книги пустой переплет. Рыжий вырвал его, отскочил, с размаха бросил им в лицо беленькому и крикнул:

— Вот твой Конан-Дойль! Жри!

Но беленький увернулся и опять беззаветно налетел на рыжего, присказывая:

— Я тебя!.. наконандойлю!

Они заработали в четыре руки поверх низко, по-телячьи опу-

щенных голов, но ненадолго. Промахнувшись раза два, они отошли недалеко друг от друга, утерлись рукавами, всхлипывая и дыша со свистом, распоясались, подтянули штаны, одернули рубашки, застегнули пояса, еще раз утерли красные поцарапанные лица, но уже не рукавами, а ладонями, и посмотрели — не осталось ли кровавых следов. Но лица пострадали гораздо меньше книги.

— Попало? — сказал рыжий.

— Тебе еще не так попадет, постой! — отозвался беленький.

Они помолчали, продолжая приводить себя в порядок и оглядывая поле брани. Беленький первый поднял с пола несколько листов и внимательно посмотрел на страницы.

— Вот тебе от Арсения Романыча теперь будет!

— Это тебе будет. Ты зачем рвал у меня книжку?

— А ты чего ее стащил с полки?

— А ты зачем ее запрятал? Сам соврал, что не нашел, а сам нарочно запрятал.

— Я ее нашел, я первый и должен был читать. Все равно потом бы дал тебе.

— А чего ты врал? Я по носу видел, что врешь, когда ты подлизывался к Арсению Романычу.

— Я не подлиза. Это ты подлиза.

— Да, как бы не так! Каким голоском засюсюкал: «Арсений Романыч, если мы найдем Конан-Дойля, можно нам взять?» А сам уж давно нашел и запрятал нарочно черте куда, под географию!

— А тебе чего надо в географии! Полез!

— Чего надо! Я знал, куда запрячешь. У меня нос тонкий.

— Тонкий! Вот я тебе расквашу, он будет толстый.

— Расквась! — сказал рыжий и начал засучивать рукав.

Но все обошлось. Постояв, он тоже поднял с пола листочек.

— Пашка, у тебя какая страница? — спросил беленький немного погодя.

— Семьдесят пятая. А у тебя?

— Одиннадцатая и потом дальше, до шестнадцатой.

— Давай разложим на постели, а потом как следует сложим.

— Мы ее склеим. Я у дедушки возьму клейкой бумаги, у него есть.

Присев на корточки, они стали ползать, вытаскивая листы из-под кровати, стола и кресла и передавая друг другу. После драки они стояли лицом к окнам, да были к тому же так поглощены своей ссорой, что ничего, кроме себя, не видали. Взявшись собирать книгу, они неминуемо должны были подползти к Алеше: некоторые листочки долетели до его ног. Он уже хотел помочь подбирать, потому что страх прошел и он очень был рад, что по-

сле такого отчаянного сражения не оказалось даже тяжело раненых. Но сначала надо было объявиться. Он решил покашлять. И как раз в этот момент рыжий распрямился, оглядывая комнату, и прямо уперся своим желтым бесстрашным взором в Алешу.

— Это что? — спросил он.— Ты чей? Витя, смотри!

Но беленький уже подходил и глядел на Алешу тоже необыкновенно бесстрашными и потому пугающими глазами.

— Наверно — которые приехали к Арсению Романычу из Петрограда,— сказал он.

— Ты из Петрограда? — спросил Пашка.

— Да,— ответил Алеша и поперхнулся слюнкой.

— Чего особенного нашел в тебе Арсений Романыч! — удивился Пашка.

— Ты что же — все видел? — спросил Витя.

— Да. Извините,— сказал Алеша, поклонившись.

— Ничего. Мы не боимся,— сказал Пашка.— Как тебя зовут?

— Меня Алешей.

— Сколько тебе лет?

— Семь-восьмой,— выговорил Алеша в одно слово.

— Мы саратовские, вот я и Витька, а нам восемнадцать лет. А ты петроградский, а тебе всего семь.

— Да, какой хитрый! Так не считают — двоих вместе! — посмелел Алеша.

— Тебе не выгодно. Трусишь, что мы старше. Ну, выходи, козюлька, на одну левую руку! Хочешь? — вызывающе сказал Пашка.

— Нет, не хочу. Мне Ольга Адамовна запрещает драться,— упавшим голосом признался Алеша.

— Это кто?

— Моя бонна.

— Это что?

— Гувернантка,— разъяснил Витя.

— Ты больше слушайся своей губернаторши,— сказал Пашка.— Этак тебе всё запретят, если слушаться будешь.

— Ну, собирай листочки, Алеша,— приказал Витя.

Алеша мигом опустился на колени и с восторгом полного избавления от страха начал ползать. Он вскакивал, подняв два-три листочка, отдавал их мальчикам, опять становился на колени, опять вскакивал и так добрался до той комнаты, откуда выскочили драчуны. Тут он увидел высокие длинные полки с книгами, не в особенном порядке, но расставленные и не очень пыльные.

— Библиотека! — сказал он, присев на пятки.

— А ты знаешь? — спросил Пашка ревниво.

— У моего папы тоже библиотека.

— Такой, как у Арсения Романыча, нет ни у кого,— сказал Витя.

— Мы ее скоро городской сделаем, для всех мальчиков и девчонок,— сказал Пашка.

— Так тебе Арсений Романыч и даст! — возразил Витя.

— А мы, если захотим, отберем,— гордо объявил Пашка,— по новому закону,— что хотят, отбирают!

— Ну и дурак,— сказал Витя.

— Сам дурак. Хочешь только все для себя. Жила!

Они оба нахмурились, вкладывая листы в переплет книги. Через минуту все было собрано, и Пашка сказал Вите:

— Тебе дедушка велел домой идти.

— Да, домой. А сам велел на базаре краску продать.

— Какую?

— Для яиц. Либо продать, либо обменять на яйца.

Витя достал из кармана пакетики, и все трое мальчиков стали разглядывать нарисованных на пакетиках ярких зайцев, петухов и огромные, размером больше зайцев и петухов, алые, лазоревые, лиловые яйца.

— Больно надо теперь твою краску для яиц,— сказал пренебрежительно Пашка,— когда пасха-то прошла.

— Деревенские что хочешь возьмут,— ответил Витя.— Им все надо. Я раз вынес на базар резиночки для записных книжек. Знаешь? — кругленькие такие. Деревенские все до одной похватали.

— У тебя дома пасху справляли? — спросил Пашка.

— Ага. А у тебя?

— У нас мать при смерти. Спрашиваешь! — отвернулся Пашка.

Витя поднял к самому носу Алеши книгу, потряс ею внушительно, проговорил с угрозой:

— Об этом Арсению Романычу ни гугу! Смотри!

Алеша покачал головой и солидно заложил руки за спину.

Когда приятели двинулись к двери, она раскрылась. Ольга Адамовна — в своем необыкновенном сак-пальто и в шляпке-наколочке,— остановившись, приложила руку к сердцу. Длинный подбородок ее странно шевелился.

— Алеша, как мог ты сюда попасть... с этими мальчиками?! Вы кто такие, мальчики? Вы здесь живете?

— Мы ходим к Арсению Романычу,— сказал Витя, осматривая Ольгу Адамовну, как хозяин.

— Это твоя? — нелюдимо спросил Пашка у Алеши.

— Мы познакомились,— сказал Алеша, примирительно обращаясь к Ольге Адамовне.

— Надо было ждать, когда вас познакомят старшие,— заявила Ольга Адамовна.— Что с твоими коленками, Алеша! Идем, я почищу, умою тебя, и мы должны гулять. До свидания, мальчики.

Она взяла Алешу за ручку.

Пашка дернул им вослед головой и понимающе мигнул Вите:

— Айда на базар!

В коридоре Ольга Адамовна встретила Анастасию Германовну, таинственно притронулась к ее локтю и прошептала:

— Сюда ходят такие плохие мальчики! Боже мой! Мы попали в плохой дом!

— Не пугайтесь, милая Ольга Адамовна,— легко дохнула на нее Анастасия Германовна.— Не плохой, а очень смешной дом! Ни одной целой вещи. Какие-то инвалиды. Дом смешных инвалидов!

Она мягко, на свой беззвучный лад, засмеялась и вдруг, в неожиданном порыве, больно прижала голову Алеши к себе под сердце.

5

Меркурий Авдеевич Мешков поднялся рано. Он никогда не был лежебокой, а последний год совсем потерял сон, начинал утро с зарей. Это был уединенный, словно монастырский час. Из смежной комнаты тихо слышалось дыхание дочери. Внук Виктор иногда стукал во сне то коленкой, то локтем об стену,— забияка, и сны-то у него петушиные! В отца, что ли,— Виктора Семеныча? Тот по сей день хорохорится. Уж, кажется, подрезали крылышки и хвост выщипали, от гнезда ни пушинки, ни прутика не оставили, надо бы стихнуть — так нет! Все чего-то прикидывает да сулит: «Погодите, папаша, погодите!» — «Чего годить, неугомона? — спрашивает Меркурий Авдеевич.— Полтора кромешных года годим, а только ближе к смерти. Вон моя Валерия-то Ивановна не дождалась, опочила».— «Все равно,— возражает Виктор Семенович,— возвышен ли ты, унижен ли — все равно с каждым днем ближе к смерти, это верно. Но это зависит от строгости матери-природы. От человека зависит другое. Настоящему человеку дан ум. Уму назначено создать устройство жизни».— «Вишь, как он ловко все устроил, твой ум-то!» — торжествует Меркурий Авдеевич. «Это не мой ум,— опять возражает Виктор Семенович,— это *ихний* ум. А у них ум простой. Они думают силой взять. Двадцатый уж век такой, что без образованности сила ни к чему, разве во вред. Возьмите, папаша, меня. Ну, какой я им сотрудник?

Смеху подобно! А они меня в исполком позвали. Почему? Потому что выше меня по образованности автомобилиста-механика нет во всем городе. Колесить на машине полный идиот может. Но содержать машину — попробуй без образования! Ломать — они без нас! А починять — они к нам! Образование их защемит, папаша, погодите!» — «Я для себя все решил,— отвечает Меркурий Авдеевич,— годить нечего. Да и что ты заладил: папаша, папаша! Три года скоро, как я твоего сына ращу, и Лиза мне уже твое имя вспоминать запретила. Вот как у нас! А ты все — папаша!» — «Вы дед моему сыну, отец моей жене. Что же вы пренебрегаете? — упрямствует Виктор Семенович.— Все восстановится, и Лизу с сыном вернут мне по закону. Так что вы — и бывший мой папаша, и будущий. По гроб доски не отвертитесь!» — «Нет,— не соглашался Меркурий Авдеевич,— Лиза к тебе не вернется, напрасно себя утешаешь, это, брат, мираж-фиксаж. Лиза на вкус свободы отведала».— «Что ж свобода? — не смущался Виктор Семенович.— Пускай неволя, лишь бы хлеба вволю. А хлеб ко мне скорей придет, чем к Лизе. Свобода! Я бы тоже за свободой вприпрыжку побежал, да живот не пускает. Вот я и катаю на «бенце» богом данных властей».— «Богом данных! — укоряет Меркурий Авдеевич.— Бесстыдник!» — «А как же иначе, папаша? — удивляется Виктор Семенович.— У них стыда нет, а у меня должен быть? Этак я никогда с ними общего языка не найду!» — «Что же ты им бражку варить помогаешь?» — уже ярится Меркурий Авдеевич и вещим голосом, будто желая образумить заблудшего, повторяет не гаснущее в памяти пророчество Даниила: нечестивые будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют...

Внук Виктор опять стукнул в стенку, и Мешков подумал: нет, не в мать, не в мать! У Лизы душа — в незабвенную покойницу Валерию Ивановну: удивленная жизнью душа. Вот только упряма сделалась. Откуда бы? Не от меня же?..

Он считал, что свой грех упрямства давно в себе преодолел, особенно с того момента, когда положил уйти из мира, приняв все в мире, как показанное, как премудрость кары божией и сбывание пророчеств. Он решил, что покорствует происходящему по зову сердца своего. Но он хорошо видел, что не покорствовать нельзя: если не дашь — возьмут, если спрячешь — найдут, если не поклонишься — сшибут шапку, да заодно, может, и голову. А когда убедишь себя, что покорствуешь по воле своей и во имя душевного спасения, то и впрямь как будто смиришься и хоть часок — вот такой часок после зорьки — проведешь в преклоненном растворении чувств. Злые люди в это время уже не придут — светло, а добрым людям приходить рано.

Безропотно покачиваются на улице в палисаднике тонкие ветви ивы, вздохи ветра касаются их деликатно, листва серебристо-молочна, нежна, как свет опала. Дерево посажено самим Меркурием Авдеевичем, поливал он его вместе с Валерией Ивановной, и — гляди-ка! — вон как разрослось, и сколько, значит, ушло времени — не счесть и не понять! Да сказать правду — ушло все время, все время Меркурия Авдеевича, осталась одна оболочка. На что ни взглянешь — все напоминает Валерию Ивановну. Кажется, она занимала не великое место во многосуетном повседневье Мешкова, а умерла — словно взяла с собой все. Не умерла, нет. Меркурий Авдеевич называл ее смерть — успением, мирной кончиной, говорил, что душа ее отлетела, вознеслась вот с таким деликатным вздохом утреннего ветерка. Смертью своей она даже мужа не обеспокоила, а так же, как жила, никогда не утруждая, так и отошла — уснула с вечера и не проснулась. Поутру Меркурий Авдеевич подошел к ее постели, нагнулся, да так и пал лицом на холодное и уже твердое лицо жены. Было это год назад, и с тех пор, проверяя в воспоминаниях прожитое с Валерией Ивановной, он не отыскивал — в чем бы повиниться перед нею за всю супружескую жизнь, кроме, пожалуй, самых последних месяцев. В эти последние месяцы существования Валерии Ивановны он угнетал ее своим сумасбродным, до навязчивости выросшим желанием упразднить в доме всякий след красоты, всякий уют, даже всякое удобство. Что это было! Вот висит на гвозде картинка. Меркурий Авдеевич косится, косится на нее, ходит, ходит из угла в угол, подпрыгивая по-своему на носочках, потом вдруг остановится, стащит со стены картинку, выставит ее из рамы и наколет на гвоздь как-нибудь покривее, да еще тыльной стороной наружу, а раму — пойдет на чердак закинет. «За что ты ее, сколько лет мы ею любовались, чем она провинилась?» — взмолится Валерия Ивановна. «Успокойся, мать,— ответит Меркурий Авдеевич,— нам с тобой хуже — им лучше!» — «Да ведь они же не видят!» — воскликнет она. «А вот придут — пускай увидят!» — скажет он. Либо отвинтит от кроватей никелированные шишечки и засунет их куда-нибудь в ящик с гвоздями. А то повернет буфет лицом к стене, так что к нему и подойти неладно, да еще прикажет, чтобы паутину не обтирали, а так бы и оставили — в пыли и в засохших мухах. И опять один ответ: *они* хотят безобразия — пускай любуются безобразием! Цветы он засушил, горшки из-под цветов выкинул, вместо скатерти велел накрывать стол клеенкой и все ждал, что кто-то непременно к нему явится и непременно изумится, как он худо живет, удостоверится, что у него в доме столь же мерзко, сколь мерзко должно быть у того, кто явится, и, значит, как раз так, как требуется временем. Но к нему никто не являлся. Этой

смутной манией он доводил Валерию Ивановну до горючих слез. Однако теперь, по здравом рассуждении, он все-таки склонялся к тому, что был прав и, стало быть, неповинен перед памятью покойницы. Ибо только Валерия Ивановна скончалась, как к нему действительно явились осматривать дом, и двор, и флигели, и затем вскоре муниципализировали все владение, предоставив ему с Лизой и внуком две комнаты. Он жил теперь в бывшем своем доме на положении не квартиранта даже, а комнатного жильца, как жили вселенные в другие комнаты старик из цеховых да трое студентов-медиков. Он жил в чужом доме, в доме, который принадлежал *им,* и к *ним* он причислял и старика, и студентов, правда, тоже не владевших домом, но расположившихся не хуже иного владельца — легко, привольно, беззаботно. Посмотрела бы покойница Валерия Ивановна: прав был Меркурий Авдеевич или нет? Даже кровать, на которой она скончалась, нынче стала достоянием новоявленного хозяина,— на ней почивал жилец-старик. Добро хоть шишечки Меркурий Авдеевич вовремя отвинтил да выкинул! Не то цеховому жилось бы совсем по-вельможьи...

В утренний этот серебристо-опаловый час спал весь дом, весь бывший дом Мешкова — жиличка Лиза с жильцом-сыном, жилец-старик, жильцы-студенты. Бодрствовал один жилец Меркурий Авдеевич. И, перебрав в уме все совершившееся, призвав разум и сердце к смирению, Меркурий Авдеевич достал с этажерки книгу, тетрадку, присел к столу, обмакнул перо в пузырек, выговорил с неслышным воздыханием:

— Бодрствуйте, се гряду скоро!

Библиотека его разорилась: афонские душеспасительные книжечки, вплоть до затворника Феофана, он распродал и роздал, а возлюбленную драгоценность — жития святых, Четьи-Минеи тож — преподнес недавнему своему знакомому, викарному епископу, доживавшему дни в скиту за Монастырской слободкой. Но все-таки немногие книги он сохранил, рассовав их по углам, испачкав нарочно, измяв и оторвав обложки, дабы придать им вид крайней никчемности.

Книга, которую он сейчас усердно штудировал, была самому ему несколько странной, как бы соблазнительной, потому что принадлежала перу нерусского сочинителя, некоему совершенно неведомому и оттого загадочному отставному полковнику Ван-Бейнингену — то ли фламандцу, то ли голландцу по происхождению. Но, несмотря на чужеземность источника, он убеждал Меркурия Авдеевича не только тем, что был дозволен цензурою еще в роковой девятьсот пятый год (понимала же цензура, что делала), но и неоспоримым родством с тем духом православия, который, повергая Мешкова в умиление, питал его ум пищею наидуховнейшей. Он

выписывал в тетрадь хронологию, начиная с сотворения человека — Адама и Евы — в 4152 году, и сопоставлял даты, вослед отставному полковнику, с текстом библейских книг. Разительно волновали его исторические имена, вроде Ассархаддона, царя ассирийского и вавилонского, или Феглафеласара. Иные записи были кратки: «753. Основание Рима». Иные неожиданно подробны: «713. Сеннахерим в Иудее взял в течение трех лет все укрепленные города. Езекия дал 300 талантов серебром (тут Меркурий Авдеевич сначала описался, поставив «рублей» вместо «талантов», но вовремя заметил ошибку и ухмыльнулся в том смысле, что, мол, на триста рублей много не сделаешь, нынче вон ржаная мука стала триста рублей! — и подчистил рубли ножичком, и продолжал выписывать) и 30 талантов золотом за обещанный мир. Но так как он имел намерение сделать нашествие на Египет и боялся оставить в тылу у себя непобежденного врага, то обложил Иерусалим. Езекия и пророк Исайя молят бога о защите, и в одну ночь умерло в ассирийском лагере 185 000 воинов и Сеннахерим отступил в Ниневию, где был убит двумя старшими своими сыновьями, а младший сын Ассархаддон вступил на престол». Пространных выписей становилось в тетради тем больше, чем ближе подвигалась история к новейшим периодам. Ассирийцев и вавилонян сменяли персы, готы, неслыханные маркоманны и алеманны, за ними являлись из приволья ковылей гунны, потом возникали воинственно звучно, как тимпаны и литавры, лангобарды, учреждая, с помощью своих царей Альбоина и Клефа, некий седьмой образ правления, в подтверждение сокровенных предвидений и по выкладкам отставного полковника. Дело развивалось все опаснее, история не дремала: «Альбоин и Клеф, цари лангобардские, были умерщвлены Розамундою, женою Альбоина, дочерью побежденного и убитого им царя гепидов (гепиды — вон еще какая подвизалась разновидность!). Этим Розамунда отомстила за нанесенную ей обиду,— Альбоин заставил ее на пиру пить из черепа ее убитого отца. Это время бессилия продолжалось до 585 года». Бессилие, бессилие,— рассуждал Меркурий Авдеевич, старательно проставляя даты,— а гляди — папа Григорий I уже образовал три новых царства: Баварское, Аварское и Славянское, или Чехское, так что опять имелось в пределах Рима десять государств. (Вот оно: десять государств!) А там пошло: Магомет победил корейшитов и заставил их принять новую, им самим придуманную веру, которая, по его словам, была внушена ему архангелом Гавриилом. Там Омар взял Иерусалим. Там папа Виталий издал буллу, запрещающую лицам не духовного звания читать Библию. Там Гус и Лютер со своей Реформацией, там Игнатий Лойола со своими иезуитами, там папа Григорий XIII со своим новым календарем

(ишь он откуда, новый-то календарь!). И пошло: война Тридцатилетняя, война Словенская, война Гуситская. Чего только не вкусила история! И что более всего потрясало Меркурия Авдеевича в проникновенной книге, это то, что отставному полковнику не составляло нималого труда каждому убиению Альбоина или растерзанию разъяренной толпой императора Фоки, не говоря уже о гибели империй или начале венчания на престол римских пап,— не составляло нималого труда привести сообразное пророчество для ветхих времен из Книги Царств, из Ездры, или Исайи, для новых — из Деяний или Откровения. Так шаг за шагом Меркурий Авдеевич достиг 1773 года, под которым вывел каждое слово с заглавной буквы, кроме последнего, ибо такое слово и писать-то страшно: «Влияние Вольтеровской Литературы. Падение Религиозности и Начало Явного неверия». В сравнении с ужасающим этим фактом не могли помочь ни суворовские победы над турками, ни уничтожение папою Клементием XIV ордена иезуитов по требованию держав,— не могли помочь, ибо сразу затем следовала дата: 1793. И опять с прописных букв: «Первая Французская Революция. Первое Наказание Божие за неверие». Наполеоновские войны оказывались вторым наказанием божиим за грех неверия, а 1848 год, вместе с бегством из Рима папы Пия IX и возвращением его на престол при помощи австрийских солдат,— третьим. И вот понемногу, понемногу отставной полковник Ван-Бейнинген привел Меркурия Авдеевича Мешкова, стопами пророков, прямо к 1875 году, когда в городе Гота состоялся конгресс социал-демократов. Тут уже Меркурий Авдеевич не начертал, а прямо-таки разрисовал прописными траурными литерами: «Маркс, Лассаль и Толстой — представители этого учения». Так похоронно оканчивалась пройденная человечеством историческая стезя, и полковнику только оставалось, с помощью прорицателей, приоткрыть завесу будущего. Здесь Меркурию Авдеевичу виделось немного: на 1922 год полковник назначил гибель папства и тела его, на 1925 — построение сионистами христианского храма, что же касается наипоследнего предсказания, то под датою 1933 Мешков послушно переписал в свою тетрадь: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней».

Это было не совсем понятно, что такое за дни и почему все-таки именно 1335,— да ведь можно ли все уразуметь? Как вообще все образовывалось в ходе земных упований человечества? От Адама и Евы к Ассархаддону, от Ассархаддона к Розамунде, а там, глядишь, и Лев Толстой, а домик-то муниципализирован, а ржаная непросеянная мука-то триста рублей! Хитро! Разъять мудреную цепь не под силу, может, и такому уму, как отставной полковник Ван-Бейнинген! Да и ни к чему. Влечет-то ведь тайна,

заманчивая, как вечный родник, бьющий из сокровенных недр. Утешает вера, а не знание. Знание лишь утверждает веру, а там, где его недостает, там она только сладостнее, как все непостижимое. Блажен, кто ожидает...

Меркурий Авдеевич закрыл тетрадь и книгу. Утро начиналось для всех. Слышалось, как закашлял табакур-старик, как взыграли и начали кидаться сапогами студенты, потянуло керосинкой из комнаты Лизы, прогрохотал вниз по лестнице убежавший в пекарню за хлебом Витя, зазвенькало на улице ведро, подвешенное к бочке водовоза. Из тьмы времен и неисповедимости господних путей день трезво возвращал мысли к заботам житейским.

Выдвинув ящик стола, Меркурий Авдеевич прикинул, какие из обреченных на ликвидацию мелочей следовало бы нынче пустить на базар. Тут лежали канцелярские кнопки, сухие чернила в пилюлях, пара отверток для швейной машины, кусанцы и плоскогубцы, две-три катушки ниток, звездочки с рождественской елки, пакетики с краской для яиц. На пакетиках, по обдумывании, он и остановился: сезон, правда, истек, да Витя — мальчик разбитной, иной раз ему удавалось сбывать несусветную чепуху — вроде стенок отрывных календарей! — найдет охотника и на яичную краску!

Выйдя к чаю и пожелав доброго утра, Меркурий Авдеевич внимательно глянул на дочь. Она была бледна, и то, что прежде он называл в ней стройностью, сейчас показалось ему угрожающей худобой. Слегка игриво он выложил перед Витей пакетики:

— Ну-ка, коммерсант, произведи-ка сего числа этакую товарную операцию...

— Опять? — сказала Лиза.— Я ведь просила, папа...

— Да ты, мамочка, не беспокойся, мне же это ничего не стоит, честное слово,— отбарабанил Витя.

— Базар — не то место, где можно научиться хорошему.

— И не то, без которого можно прожить,— нахмурился Меркурий Авдеевич.— Не я придумал новые порядки. Не я взвинтил цены. Дома-то, кроме пшена, ничего не осталось? Может, у тебя деньги есть? Ну, вот...

— Я говорю, что Виктору не следует ходить на базар.

— А что же, мне прикажешь ходить? Позор-то, конечно, не велик, ежели бывший купец станет на толкучке пустой карман на порожний менять. Да беда, что, вдобавок к бывшему купцу, я — нынешний советский служащий. Как-никак — товарищ заведующий, магазином управляю. Что же ты хочешь, чтобы меня в спекуляции обвинили?

— Я хочу, чтобы Виктор не ходил по базарам. Это кончится плохо.

— Все плохо кончится, я давно говорю. Да не для всех,— сказал Мешков и, дабы призвать себя к смирению, напомнил цитату: — «Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко».

Помолчав, Лиза тихо проговорила, не подымая глаз:

— Словом, Витя идет сегодня последний раз.

— Посмотрим,— сказал Мешков.

— Посмотрим,— спокойно, будто в полном согласии, повторила Лиза.

Он не мог больше выносить пререкания, встал, забрал свой стакан и ушел молча к себе в комнату.

Она поглядела ему вслед. Спина его ссутулилась круто, словно за шиворот сунули подушку. Затылок поголубел от седины. Весь он сделался щупленьким, узким, и что-то обиженное было в его прискакивании на носках.

«Боже, до чего скоро состарился»,— подумала Лиза, и опять, как все чаще за последний год, ей стало жалко отца до грусти. Но она не двинулась с места.

6

Лизу в этот день преследовало беспокойство. Неминуемо произойдет беда, казалось ей, и это не было предчувствием, которое вдруг возникнет и необъяснимо улетучится, это было назойливое ощущение тягости в плечах, тоска во всем теле. Она не пошла на службу. Постепенно она уверила себя, что беда должна произойти с сыном. Он ушел утром и не возвращался.

По дороге домой, к обеду, Меркурий Авдеевич встретил Павлика Парабукина, узнал, что тот не застал Вити дома, и велел — если Павлик увидит его — передать, чтобы внук шел обедать. На дочь Меркурий Авдеевич покашивался виновато. Она мельком сказала, что, наверно, Витя, по обыкновению, зачитался у Арсения Романовича. То, что она крепилась, не показывая беспокойства, словно еще больше виноватило Меркурия Авдеевича, и он насупленно молчал.

Отдохнув, он собрался уходить, когда прибежал Павлик и, еле переводя дух, пугливо стреляя золотыми глазами то на Лизу, то на Мешкова, выпалил, что Витю забрали.

— Как забрали? Кто забрал?

— Грянула облава, и всех, кто торговал с рук, всех под метелку!

— Под какую метелку? Что ты несешь? — выговорила Лиза, так крепко держась за спинку стула, что побелели ногти.

— Дочиста весь базар загнали на один двор и там разбирают — кого в милицию, кого куда.

— А Виктор-то где, Виктор?

— И он заодно там!

— В милиции?

— Да не в милиции, а на дворе, говорю вам!

— Ну, а ты-то был с ним?

— Был с ним, да утек, а его замели.

Оторвав наконец руки от стула, Лиза подбежала к постели, схватила головной платок, бросила его, отворила шкаф, принялась что-то искать в платьях, бормоча: «Постой, постой, ты проводишь меня, Паша, постой...»

Меркурий Авдеевич взял ее за руку, отвел к креслу, усадил, сказал отрывисто:

— Некуда тебе ходить... Я приведу Виктора.

Она в смятении опять поднялась. Он надавил на ее плечо, прикрикнув:

— Сиди! Я за него в ответе. Сам пойду.

Он зашагал так скоро, что Павлик припустился за ним почти бегом. Дорога была не близкая, но до каждой надолбы на перекрестке знакомая Меркурию Авдеевичу: не так уж давно хаживал он, что ни день, на Верхний базар в свою лавку. Он двигался с замкнутой решимостью, точно на расправу, пристукивая жиденьким костыльком, как прежде пристукивал богатой тростью с набалдашником, спрятанной теперь подальше от недоброго глаза.

— Вон,— показал Павлик, когда между рыночных каменных рядов завиднелась кучка людей,— вон, где милиция стоит, туда их согнали.

Меркурий Авдеевич сбавил шаг, перестал пристукивать костыльком. Вдоль корпуса с дверьми на ржавых замках (тут раньше торговали мыльные и керосинные лавки) терся разномастный народ, чего-то ожидая и глазея на двух милиционеров, охранявших ворота былого заезжего двора. Один милиционер был по-молодому строен, еще безбород и — видно — доволен представительными своими обязанностями. Другой рядом с ним был коротенький, напыщенный и с такими залихватскими, раздвинутыми покошачьи подусниками, о каких перестали и вспоминать. Оба они осмотрели Меркурия Авдеевича безошибочными глазами.

— Я насчет своего внука, товарищи. Внук мой нечаянно попал в облаву,— просительно сказал Мешков, подходя осторожно и приподымая картузик.

— Нечаянно не попадают,— ответил молодой.

— Как не попадают? Не ждал попасть, а попал. Полная нечаянность и для матери его, и для меня, старика.

— Совершеннолетний?

— Как?

— Внук-то совершеннолетний?

— Да что вы, товарищ! Мальчоночка, вот поменьше этого будет,— показал Мешков на Павлика.

— Чего же в торгаши лезет, когда молоко на губах не обсохло?

Павлик вытер пальцем губы и отвернулся вызывающе.

— Зачем — в торгаши?! — испугался Меркурий Авдеевич и даже занес руку, чтобы перекреститься, но вовремя себя удержал.— Озорство одно, больше ничего. Ведь они же — дети, что мой внучок, что вот его приятель. То им крючки для удочек спонадобятся, то клетка какая для птички. И все норовят на базар — где же еще достанешь? Ребятишки — что с них спрашивать?

— То-то, спрашивать! — грозно мотнул головой коротенький милиционер, и подусники его стрельчато задвигались.

— Ведь как спросишь? — доверительно сказал Мешков, глядя с уважением на красные петлицы милиционера.— Не прежнее время, сами знаете. Прежде бы и посек. А нынче пальца не подыми: они — дети.

— Посек! — неожиданно заносчиво вмешался Павлик.— А чем он виноват? Удочки, птички! Тоже!

Он с презрительной укоризной щурился на Мешкова и уничтожающе кончил, полуоборачиваясь к милиционерам:

— Жизни не знаете!

— Суйся больше! — приструнил Мешков, оттягивая Павлика за рукав.— Что с ним поделаешь, вот с таким?

— В неисправимый дом таких надо,— сказал милиционер и усмехнулся на Павлика.

— Кем сами будете, гражданин? — спросил молодой.

— Советский сотрудник. Неурочно приходится службу манкировать, чтобы только внучка выручить.

— Ребят через другие ворота отсеивают,— сказал с подусниками.— Пойдем, я проведу двором.

Молодой приоткрыл ворота. Павлик хотел проскочить за Меркурием Авдеевичем, но его не пустили, и он обиженно ушел прочь, по пути изучая расположение омертвелых корпусов, замыкавших целые кварталы.

Двор заполняла толпа. Собранные вместе, люди были необыкновенны. Глядя на них, можно было сразу почувствовать, что в мире произошел космический обвал,— горы покинули свое место, шагая, как живые, вершины рухнули, скалы низверглись в пропасти, и вот — один из тьмы обломочков летевшего бог весть куда утеса оторвался и шлепнулся в эту глухонемую закуту Верх-

него базара. Ветховато, убого наряженное во всякую всячину скопище дельцов поневоле, вперемежку с бывалыми шулерами, карманниками и разжалованной мелкой знатью, понуро ожидало своего жребия. Разнообразие лиц было неисчислимо: одни скорбно взирали к небу, напоминая вечный лик молившего о чаше; другие брезгливо поводили вокруг головами, будто ближние их были паразитами, которых им хотелось с себя стряхнуть; третьи буравили всех и каждого отточенными, как шило, зрачками, словно говоря — кто-кто, а мы-то пронырнем и сквозь землю; иные стояли, высокомерно выпятив подбородки, как будто — развенчанные — все еще чувствовали на себе венцы; кое-кто выглядывал из-за плеча соседа глазами собаки, не уверенной — ударит ли хозяин ногой или только притопнет; были и такие, которые язвительно дымили табачком и словно припевали, что вот, мол,— сегодня мы под конем, посмотрим, кто будет на коне завтра; были тут и обладатели той беспредельной свободы, какая дается тем, кто презирает себя так же, как других, и, обретаясь ниже всех, имеет вид самого высокого. Словом, это был толчок, попавший в беду, жаждущий извернуться, готовый оборонять свое рассованное по карманам и пазухам добро — ношеное бельишко, бабушкины пуговицы и пряжки, ворованные красноармейские пайки, кисейные занавески, сапоги и самогон, сонники и святцы.

— Благодарю тебя, господи, что я не такой, как они,— вздохнул и содрогнулся Меркурий Авдеевич и тут же поправил себя уничиженными словами праведного мытаря: — Прости, господи, мои прегрешения.

Особняком, в углу двора, жались друг к другу подростки, недоросли да горстка мальчуганов, похожих на озорных приготовишек, оставленных в классе после уроков. Меркурий Авдеевич думал сразу отыскать среди них Витю, но страж повел его в каменную палатку, где — за столом — сосредоточенно тихий человек в черной кожаной фуражке судом совести отмеривал воздаяния посягнувшим на закон и порядок.

— Да ты кто? — спрашивал он стоявшего перед ним нечесаного быстроглазого мордвина.

— Угольщик, углей-углей! Самоварный углей с телега торговал. Теперь кобыла нет, телега нет, углей-углей нет, ничего нет. Пошел торговать последней подметка.

— Зачем же ты царскими деньгами спекулируешь?

— На что царский деньги?!

— Я тебя и спрашиваю — на что? Зачем ты назначал цену на подметки в царских деньгах?

— Почем знать, какой деньги в карман? Я сказал — какой деньги будешь давать мой подметка? Царский деньги — давай де-

сять рублей, керенский — давай сто рублей, советский — давай тыщу.

— А это что, не спекуляция —если ты советские деньги дешевле считаешь?

— Какое дешевле?! — возмущенно прокричал мордвин.— Товарищ дорогой! Царский деньги плохой деньги, никуда не годится царский деньги — хочу совсем мало, хочу десять рублей. Керенский деньги мала-мала хороший — хочу больше, хочу сто рублей. Советский деньги самый хороший — нет другой дороже советской деньги — хочу больше всех, хочу тыщу!

Тихий человек засмеялся, хитро подмигнул мордвину, сказал весело:

— Да ты не такой простак, углей-углей, а? Любишь, значит, советские денежки, а? Давай больше, а?

Он велел отвести его в сторону и обратился к Мешкову. Меркурий Авдеевич почтительно рассказал о своем деле.

— Как фамилия мальчика?

— Шубников.

— Шубников? — переспросил человек и помедлил: — Не из Шубниковых, которых вывески тут висят, на базаре?

— Седьмая вода на киселе,— извиняясь, ответил Меркурий Авдеевич.— Покойнице Дарье Антоновне внучатый племянник.

— Я и говорю — из тех Шубниковых? Сын, что ли, будет тому, которому магазины принадлежали?

— Да ведь он бросил его, мальчика-то. Я уж сколько лет воспитываю за отца,— сказал Мешков.

— Документ какой у вас имеется?

Меркурий Авдеевич достал уважительно сложенную бумажку. Милиционер с подусниками наклонился к столу, вчитываясь, заодно с тихим человеком, в обведенные кое-где чернилами сбитые буковки машинописи.

— Мешков,— прочитал он вслух и по-своему грозно шевельнул подусниками.— Прежде в соседнем ряду москатель не держали?

«Ишь ты,— подумал Меркурий Авдеевич,— видно, у тебя не один ус долог, а и память не коротка»,— и вздохнул просительно.

— Да ведь когда было?!

— А вам сейчас бы хотелось,— сказал милиционер.

— Бог с ней, с торговлей. Ни к чему,— ответил Мешков.

Тихий человек долго копался в списках, составленных наспех карандашом, отыскал фамилию Шубникова, поставил перед ней птичку.

— Есть такой. При нем обнаружен один порошок краски для яиц.

Он помолчал, обрисовал птичку пожирнее, сказал раздумчиво и наставительно:

— Дурман распространяете. На темный народ рассчитываете. Бросить надо старое-то. Берите сейчас своего внука. Другой раз так просто не отделаетесь. Торговый ваш дом будет у нас на заметке.

— Покорно благодарю,— отозвался Мешков, смиренно снял картузик, но сразу опять надел и поклонился, и добавил торопливо: — Спасибо вам большое, товарищ.

На дворе милиционер, подходя к толпе ребятишек, выкрикнул Шубникова, но Витя уже бежал навстречу деду, издалека увидев его,— побледневший, с желтыми разводами под глазами, но обрадованный и больше обычного шустрый.

Их выпустили на улицу. Едва они вышли за ворота, как Павлик налетел откуда-то на Витю, подцепил его, и они замаршировали в ногу, бойко шушукаясь. Меркурий Авдеевич освобожденно выступал позади. Припрыжечка его помолодела, он распушил пальцами бороду и вскидывал костылек франтовато легко. Ведь мало того что гроза миновала, он сам принял на себя и выдержал удар, подобно громоотводу, и если мальчик был спасен, то Меркурий Авдеевич вправе был назвать себя спасителем.

Лиза встретила их, услышав высокий голос сына, и, почти скатившись по лесенке, как — от избытка счастья — скатывалась по перильцам когда-то девочкой, она обняла Витю и сказала несколько раз подряд — самозабвенно и нетерпимо:

— Я тебя больше никуда не пущу, никуда, никуда, ни за что не пущу, никуда...

Дед вторил ей:

— Слава богу, слава богу!

Вырываясь из рук матери, настойчиво тянувшихся к нему, Витя второпях рассказывал, как все случилось,— почему ему не удалось убежать, как он шел под конвоем, как затем на дворе всех переписывали и как все прятали товар, стараясь избавиться от продовольствия, которым запрещено торговать. Потом он оборвал себя, слегка закинул голову, молча шагнул к столу и, вывернув вместе с карманом кусок наполовину облепленного газеткой сала, положил его с гордостью на виду у всех. Павлик глядел на своего друга, как на героя. Дед сказал:

— Ах, пострел! Когда же ты словчил?

— Бог с ним, с салом,— проговорила Лиза, подняв и приложив руки к дверному косяку, в то же время укрывая лицо в ладонях.

— А это я уж на дворе,— продолжал в восторге Витя.— Тетенька одна страсть как перепугалась, что ее посадят. У нее пол-

кошелки салом было напихано. Вот она и давай скорей выменивать на что попало. Я ей показал краску — хочешь? Она говорит: милый, все одно отберут, на, на! — и сует мне этот кусок. Целый фунт будет, правда, дедушка? Я отдал ей краску, только один пакетик себе оставил. А начали переписывать, милиционер спрашивает меня — ты чем торговал? Я говорю — ничем, вот у меня только этот порошок. Он взял, посмотрел на меня и ничего не сказал.

— Ну и пострел! — одобрительно повторил дед.

Он ушел к себе в комнату и минуту спустя торжественно возвратился, неся яркую жестяную коробочку монпансье.

— Вот,— произнес он, волнуясь от великодушия,— берег к твоим именинам. Получай. Нынче ты заслужил.

Он не отдал — он церемонно преподнес внуку коробочку, а потом взял сало и принялся аккуратно сдирать с него приставшую газетку. Витя взглянул на мать.

— Нет, нет,— быстро догадалась Лиза и затрясла тонкопалыми кистями рук, точно защищаясь,— нет, нет, я не хочу и видеть этого сала!

— Почему такое? — немного обидясь, возразил Меркурий Авдеевич.— Вместе будем кушать, не обделю,— и понес сало к себе.

— Дедушка, пожалуйста...— остановил его Витя.— Пожалуйста, дай мне таких клейких полосочек, знаешь, у тебя есть, чтобы склеивать бумагу. Мне надо, знаешь...

Говоря, он вздернул рубашку, расстегнул пояс штанишек и вытянул на свет божий спрятанную на животе растерзанную книжку.

— ...надо немножечко подклеить странички.

— Ах ты, читатель! Пострел! Откуда ты знаешь — что у деда есть, чего нет? — по-прежнему великодушно сказал Меркурий Авдеевич.

Он испытывал растворение чувств: внук обладал, конечно, не слишком похвальными задатками (ему недоставало боязни старших, а в будущем это сулило развиться в недостаток богобоязни — основы основ мирозданья), но жизнь-то ведь требовала не робости, а находчивости, и тут Витя обещал лицом в грязь не ударить — он был и смел и сметлив, глядишь — и выйдет в люди, наперекор всем препонам. Вряд ли могли произойти события, способные нарушить извечный канон житейской премудрости, по которому Меркурий Авдеевич оценивал человека: умеет или не умеет человек выйти в люди. Конечно, по пророчествам следует, что время близко, стало быть, конец света вот-вот нагрянет и все человеческое, с его устройством и неустройством, полетит в тартарары. Ну, а вдруг это самое «вот-вот» затянется? Вдруг его хватит, к примеру, на срок целого поколения? А что, если на два поколения?

Что тогда? Земля-то ведь есть земля? Пусть на греховной этой планете заблудшие овцы творят беззаконие. Беззаконие — беззаконием, а закона земли не прейдеши: человеку надо выйти в люди. Вот тут смекалка Виктору и пригодится. Славный мальчик, прямо скажешь — разбитной мальчонка, хотя и туговато воспитуем.

Весь остаток дня Меркурий Авдеевич находился в состоянии тихого довольства. Ему все чудилось, что он избавился от какой-то опасности и даже кого-то очень тонко обошел. Но коли сутки начались криво, не могут они, видно, окончиться на радость и в утешенье.

Придя домой, когда уже смеркалось, Мешков застал одного Витю. Он сидел на подоконнике зигзагом — упершись босыми ступнями в один косяк проема, спиной в другой — и остро вонзился глазами в книгу, прижатую к коленям. В стеклянной банке на подставке для цветов по-весеннему кудрявился нежно-зеленый сноп тополиных ветвей. Жирные листики в ноготок величиной насыщали комнату истомной сладостью.

— А мама? — спросил Меркурий Авдеевич.

— Мама ушла гулять. Заходил... ну, этот, который с ней вместе служит. Мама смеялась, а потом сказала, что она все дома да дома, что ей надоело и хочется пройтись.

— Так. А это что же — подношение, что ли, веник-то в банке?

Оказалось — да, подношение.

— Что же она, не соображает, что, может, человек пришел проверить — почему она на службе не была?

Витя не мог ответить, но, по-видимому, мама и правда не соображала.

— Ведь вот она пошла гулять,— не унимался Меркурий Авдеевич,— а о том не думает, что можно кому на глаза попасться? Раньше бы сказали — манкирует службу. Ну, манкирует и манкирует, не велик страх. А теперь что скажут? Саботаж! А ежели саботаж, сейчас же и пойдут: а кто муж? а кто отец?

И на это Витя ничего не мог ответить, но получалось, что действительно могут спросить — почему, мол, Лиза на службу не ходит, а гулять ходит, и кто же ее ближайшие родичи — не Мешков ли Меркурий Авдеевич, которого держат на заметке за то, что он посылает внука торговать на базаре? Как тогда вывернешься, а?

К этой заботе прибавлялась другая: ночью наступала очередь Мешкова караулить квартал. Все жители несли повинность самоохраны, а он ведь был тоже житель, жилец коммунальной квартиры — не больше. Он всегда с тревогой ожидал такую ночь, боялся — не последняя ли: убьют. Он не показывал страха, но страх

холодил его, и все время тяготила неприятная потребность — глубже вздохнуть.

Прежде в караул его снаряжала Валерия Ивановна. Она одевала его в потертое касторовое пальто, в плешивую каракулевую шапку, загодя приготавливала изношенные калоши, сторожевую дубинку, напутственно крестила его и целовала, и он, с молитвой, удалялся в ночь. После смерти матери Лиза взяла на себя ее обязанность провожать отца. И вот впервые ему приводилось отправляться на тяжелый пост без облегчающего напутствия.

Он прождал Лизу до последней минуты, велел Виктору ложиться, чтобы не жечь понапрасну керосин, вооружился дубинкой и ушел к председателю домового комитета бедноты — за свистком. Там он немного покалякал насчет того, что живется голодно, что самые ужасы — впереди, распрощался и канул в ночь, как в прорубь.

Черным-черно было кругом и тихо. С середины дороги не видно тротуаров. В палисадниках с акациями и сиреньками — угрожающий мрак. Земля все еще источает холод весны. Меркурий Авдеевич взвесил дубинку в руке, перевернул толстым концом книзу: как сподручнее бить, если нападут? Вынув из кармана свисток, он продул его — не засорился ли? Но, впрочем, если и правда нападут — не лучше ли сразу кинуть прочь дубинку, снять пальто, шапку, снять с себя все, до исподнего — нате, бог с вами, отпустите душу на покаяние!

Тягота хождения на ночном карауле заключалась для Мешкова больше всего в этой самой дубинке. Переставляя ее беззвучно по бархатистой уличной пыли, он видел себя не караульщиком, а словно татем, вышедшим на большак попытать счастье. Нет, не этой дубинкой охранялось его, мешковское, былое добро, не этим свистком отпугивали от мешковских окон городушников и громщиков. Не свою таскал Меркурий Авдеевич дубинку, не свой продувал свисточек, не свой караулил порядок.

Ему взбрели на память караульщики, которые являлись, бывало, на рождество и пасху с поздравлениями, и он давал им на праздник по целковому. Это был народ захудалый, немудрящий. У одного старикана, когда он дышал, потешно и прегромко играла в груди музыка, и он с важностью хвастал, что это болезнь редкостная, неизлечимая и дана ему навечно, заместо медали. Чаевые он прятал в шапку, за подкладку, смеясь большим, черным, как шапка, ртом без единого зуба.

Вот и Меркурию Авдеевичу привелось сделаться караульщиком — последним человеком. Только уж никто не побалует его целковым к празднику. За что его баловать? В прежних караульщиках было куда больше проку, они знали, кого стерегли, а кого

стережет Меркурий Авдеевич? В старые его руки всунули дубинку — хорони, береги, карауль, гражданин Мешков, *ихний* порядок, свисти в *ихний* свисточек, стой, Мешков, на страже, как на стрёме!

Перевертывая в мозгу сто раз на такой лад одно и то же, одно и то же, он возвращается, обойдя квартал, к своему дому и останавливается. Он глядит на дом застывшим взором, угадывая в ночи так хорошо знакомые карнизы деревянной резьбы, покатую железную кровлю, печные трубы. Ветшает. И как быстро: за два года такое разрушение! Что же произошло за этот срок с человеком?!

Меркурий Авдеевич утирается холодной ладонью: жестковатые, точно шпагатные брови, провалившиеся виски, запущенная борода, под нею острым челночком нырнул кадык. Снашивается человек, пожалуй, не меньше дома. И опять все то же: ничей дом. *Ихний* дом. Общий. Чей угодно. Бывший дом Меркурия Мешкова. Дом, в котором каждая тесинка полита его потом. Гвоздок какой-нибудь в обшивке — это он, Мешков, недоел. Другой гвоздок — это он недопил. Недоспал. Не поехал на конке. Не купил к чаю баранок. Не дал дочери на подсолнухи. Не велел жене варить варенье: будем строиться. Так изо дня в день, камешек за камешком. Теперь это *ихний* дом, муниципализированный, превращенный в общественную собственность, ничей. Холодом веет от земли. Ни души. Черна ночь.

И вдруг Меркурий Авдеевич слышит голоса — мужской, за ним женский. Тихо. Молчание. Чуть различимые возникают во тьме слитные, наклоненные друг к другу тени. Ближе, ближе. Слышнее шаги. Вот заговорила женщина, и Мешков узнает голос дочери. Странно вкрадчив он, ласковая игра его изумляет Меркурия Авдеевича. Он не может разобрать слов, но переливы голоса звучат в его ушах поразительно заманчиво, и, кажется, он еще слышит их, когда Лиза смолкает.

Потом говорит мужчина. Ах, это тот, из нотариальной конторы, сослуживец Лизы, бывший судейский. Тот самый, который поднес ей, за неимением цветов, веник. Сладенек тенорок, ишь ведь! Меркурия Авдеевича кидает в дрожь: зябко стоять недвижимо на холодной земле. Он перехватывает дыхание: тот, из нотариальной конторы,— Ознобишин его фамилия, Ознобишин! — сладеньким тенорком сказал Лизе — «ты». Вон куда зашло! Дочка Лиза, сбежав от законного мужа, уведя от него сына, не страшась ни бога, ни людей, ночью, вволю нагулявшись, возвращается в отчий дом об руку с возлюбленным!

Поделом тебе, Меркул, за великие твои труды, на старость! Ломай дурака по ночам на улице, со свистулькой, карауль свой позор, свое унижение, чтобы — сохрани бог! — не помешал кто-нибудь родной твоей дочке Лизе целоваться с дружком под воро-

тами! Ведь вон — никак, поцеловались, верно? Вот еще раз, еще,— считай, отец, коли не лень...

А может, все это мерещится Меркурию Авдеевичу во тьме? Черна ночь. Страшно.

Да что утешаться: все правда! Рассталась Лиза с провожатым, звякнула скоба на калитке, зашагал прочь, посереди улицы, нотариальный ухажер Ознобишин.

Тогда, тихонько, следом за ним двинулся Меркурий Авдеевич. Нащупывая ногами колею, доверху застланную растолченной пылью, он шел неслышно. У него тряслись руки. Он опять примерился — за какой конец надежнее взять дубинку. Вздрагивая, он думал, куда лучше метить: по ногам или по голове?

Мгновенно ему сделалось нестерпимо жутко, и он остановился. Ознобишин сразу потерялся во тьме. Если бы Мешков пустил сейчас по нему дубинкой, ее было бы трудно потом отыскать. Без дубинки-то еще страшнее.

Меркурий Авдеевич зажмурился. Внезапный жар ожег его лицо. Он медленно перекрестился и все стоял, боясь разжать веки. Неужели он мог убить человека? Любимого, может быть, человека дочери. Да все равно — какого человека. На улице. Ночью. Как вор. С нами крестная сила!

С усилием он приоткрыл глаза. Из глубины мрака близилось к нему, покачиваясь, светлое пятно, желто облучая то узкие, то широкие круги на дороге, на палисадных заборчиках и домах. Так же нечаянно, как появилось, оно пропало, мрак сделался еще чернее, глухие голоса раздавались невнятно. Меркурий Авдеевич повернул назад, к своему дому, чтобы укрыться во дворе, но только успел сойти с дороги к палисаднику, как свет фонаря, поймав его и ослепив, стал надвигаться прямо на него.

Несколько человек, переговариваясь, подошли вплотную к Мешкову, и один сказал:

— Здорово, караульщик!

Мешков узнал рабочий пикет,— ружьеца виднелись у людей за спинами, патронташи были подвешены к пояскам, одежка была кое-какая — на ком что.

— Здравствуйте,— ответил Мешков покорно.

— Не так надо отвечать,— произнес молодой голос.

— А как надо, научите, братцы,— спросил Мешков.

— Надо отвечать: служу революции, товарищи.

— Не видал ли, кто тут проходил? — опять спросил первый голос.

— Никого не видал.

— И вот этого человека тоже не видал?

Связка лучей сорвалась с Мешкова, взлетела вверх, упала про-

тив него, и в ярком свете он увидел желто-красное лицо Ознобишина. Лизин кавалер стоял неподвижно, и его синие, безропотные глаза слезились.

— Этого человека тоже не видал,— сказал Мешков чуть слышно.

— А ты гляди в оба. Спать нельзя. У гражданина ночной пропуск просрочен.

Они все повернулись, осветив перед собой дорогу, и пошли тесной кучкой, раскачивая узенькими стволами винтовок.

— Прощай, дядя, поглядывай! — крикнул молодой.

— Служу революции, товарищи,— отозвался Меркурий Авдеевич и почувствовал заколотившееся, точно спущенное с привязи сердце: слава богу, пронесло.

Его снова объяла молчаливая темнота. Он услышал, как слезы защипали ему веки. Слезы унижения, они были едки. Он смахнул их кулаком и побрел к дому.

Уже когда он различил огонек лампы в окнах Лизиной комнаты, отворилась калитка со звонким лязгом щеколды. Витя, выскочив на улицу, осмотрелся, крикнул:

— Дедушка!

— Я здесь. Что кричишь? Что такое?

— Пойдем скорее, дедушка. Маме плохо.

— Как — плохо?

— Идем, идем! Она зовет.

Он тянул Меркурия Авдеевича, схватив, сжав и не выпуская его пальцы, пока шли, почти бежали, спотыкаясь, двором, и Мешков тоже сжимал тоненькие пальцы внука, и в этом пожатии рук — большой и маленькой — трепетало больше страха, чем только что испытал Меркурий Авдеевич на улице, чем пережил он за все эти несчастливые сутки.

Лиза нераздетая лежала на кровати, высоко вскинув подбородок. К полу спускалось наполовину упавшее с постели полотенце в черных пятнах и разводах крови. Неправдоподобно большими стали ее светлые глаза, и, заглянув в них, Меркурий Авдеевич почувствовал, что должен сесть. Он неуверенно примостился в ногах дочери, как был — с дубинкой, в шапке, и смотрел на нее безмолвно.

За столом усердно размешивал что-то ложечкой в чайном стакане студент из соседней комнаты. Мучнисто-белые космы макаронами свисали к сморщенным бровям, покачиваясь в такт его движениям. Видимо, он счел молчание за вопрос к себе и сказал радушно-гипнотическим тоном, усвоенным от старой медицины:

— Явление, которое мы наблюдаем...

Но не выдержал и кончил скороговоркой:

— Вы не волнуйтесь, ничего особенного, сейчас остановим, сейчас.

— Лизонька, что же это ты? — проговорил тогда Меркурий Авдеевич, потянувшись к руке дочери и дотрагиваясь так осторожно, будто одним касанием мог причинить боль.

Она подозвала его взглядом. Он подскочил ближе к ее голове и присел на корточки. Она шепнула, прерывая слова боязливыми паузами:

— Пусть Витя... сбегает за Анатоль Михалычем... Он живет на углу...

— За доктором? На каком углу? — торопясь угадать, спросил он.

— Ознобишина... пусть Витя... приведет.

Меркурий Авдеевич хотел возразить, но у него оборвался голос.

— На углу напротив Арсения Романыча...

— Лизонька, ведь — ночь! — заставил себя выговорить Меркурий Авдеевич, отгоняя от своего взора чудом возникшее желто-красное лицо с безропотными глазами.— Ведь — дитя. Ведь обидят... Как можно?

— Витя... скажи... чтоб он шел с тобой... сейчас...

— Я не боюсь, дедушка,— тоже шепотом сказал Витя.

— Да ведь ты и адреса-то не знаешь. Разве найдешь в такую темь? Да и зачем нужен этот самый Ознобишин, бог с ним! Доктора надо, доктора, Лизонька!

— Витя...— опять шепнула она.

— Да ведь пропуска-то у Вити нет! — умоляюще воскликнул Меркурий Авдеевич.— Да у Ознобишина-то этого тоже, может, пропуска нет! Может, его и дома-то вовсе нет! Ведь ночь!

Вдруг Лиза кашлянула, вытянула еще больше вверх заострившийся подбородок и так отвердела в неподвижности, будто вся была переполненной чашей и боялась разлить ее ничтожным движением. Черная полосочка, появившись у ней в углу губ, медленно поползла книзу, на шею.

— Мама, я найду! — неожиданно вскрикнул Витя и бросился вон из комнаты.

— Ничего,— волнуясь, сказал студент, взмахом головы откидывая со лба свои макароны и дрожащей рукой поднося Лизе стакан,— сейчас остановим, сейчас.

Меркурий Авдеевич опустился на постель.

— Ничего не остановишь, ничего,— сказал он надорванно и затряс головой.— Остановить ничего нельзя...

7

Рагозин спал с открытым окном. Еще сквозь сон он расслышал звон ведер и журчание женской болтовни: хозяйки сошлись у водоразборного крана, и дворовая устная хроника начала свою раннюю жизнь.

Он вскинул руки за голову, ухватил железные прутья кровати, потянулся и, еще не открывая глаз, вспомнил — что ему предстояло делать: он был назначен в городскую комиссию по проверке арестованных и за ним должны были прислать лошадь, чтобы ехать в тюрьму. Уже много лет давали ему разные поручения, он привык, что всегда должен передвигаться и что постоянно его ищет новое дело. До революции надо было хитроумными и затяжными путями перевозить оружие, или партийную печать, или документы. После переворота обязанности стремительно разрослись, скрытый, запрятанный в кротовые норы мир взрывом выбросило на поверхность, и жизнь покатилась не то что на виду у всех, а поверх всех, над головами, над шапками, над крышами, как весенний гром. Все стало существенно важно, приходилось быть сразу везде, повсеместно и уже не прикидываясь невидимкой, а у всех на глазах, чтобы — куда ни явился — в депо, в казарму, в больницу, на фабрику — каждый знал бы, что пришел хозяин. В новых и всегда неожиданных местах он чувствовал себя просто, удобно, как испытанный ходок на привале, да и сам иногда шутя называл себя проходчиком по народу.

Рагозин поднялся, подошел к окну. Утро чистой голубизною обнимало спокойные дворовые деревца. Далеко за небосклон оседали плотно настеленные друг на друга дымно-серые полосы тумана. Уже согрелась почва, слышно было, как земля отдавала тепло. Возле лужицы под краном скакали воробьи, распушившись и предерзко, самозабвенно крича. Свирепая ворона сидела на шесте для флага и пучила на воробьев черничный глаз, выжимая из себя краткие, похожие на лягушечьи, зовы.

Утро понравилось Рагозину, он пожалел, что из-за поручения, которое невозможно было отложить, разрушался хороший план — отыскать приехавшего в город Кирилла Извекова и провести с ним часок-другой на свободе. О приезде его он услышал незадолго,— в городском Совете говорили, что его назначили туда секретарем и для него ищут квартиру. Рагозин не видал Кирилла с тех пор, как девять лет назад завалилось дело с подпольной типографией, по которому они оба привлекались к суду. Рагозину грозила крепость, но он вовремя ушел и лет пять скрывался по волжским городам нижнего плеса, от Астрахани до Нижнего, потом очутился на Оке, работал на Коломенском заводе, проживая под вы-

мышленным именем у голутвинского мещанина, успел прослыть там завзятым рыболовом, а к самому перевороту его направили в Петроград. Об Извекове он знал немного. После ссылки в Олонецкую губернию Кирилл, по слухам, был связан с военной организацией большевиков, в семнадцатом году имя его выплыло в газетах — он приехал с фронта на съезд солдатских депутатов и выступал как раз в тот момент, когда Рагозина отправили в Кронштадт. Вернувшись в Петроград, Рагозин уже не застал Извекова. Опять он не слышал о нем добрых два года ни там, где ему случалось бывать до переезда в Саратов, куда его прислали как человека, хорошо знакомого с городом, ни в самом этом городе, где толком никто уже не помнил, да и прежде вряд ли мог знать Извекова — мальчика, когда-то попавшего со школьной скамьи в тюрьму и затем исчезнувшего бесследно на севере, в топях и дебрях приозерной глухомани. Рагозину пришло было на ум, что Кириллу, наверно, любопытно взглянуть на тюрьму, бывшую первой его купелью испытаний, и что, может быть, не плохо как раз с этого возобновить дружбу — пусть Извеков отыщет свою камеру, а Рагозин — свою, в которой он сидел еще в девятьсот пятом, и оба они вспомнят, откуда пошла их закалка. Но тут же он развеселился от такой мысли — явиться к Извекову после девятилетней разлуки и позвать его прогуляться в острог.

Он засмеялся громко, оттолкнулся от окна, подошел к зеркалу, провел обеими ладонями по голове и, увидев себя, подумал, что дружба — вещь капризная, неизвестно, придется ли Извекову по вкусу вот этакий порядочно облысевший и заморщиневший дядя с изрядной проседью в кудрявых усах. Он потрогал в ведре воду. Она согрелась за ночь. Он слил ее и с пустым ведром пошел из комнаты. Хозяйка квартиры в глазастом капоте, толокшая что-то в ступке, не отрываясь от дела, поздоровалась, сказала с одобрением:

— Купаться, Петр Петрович?

— Поплавать малость в ведерке,— ответил он, звеня ручкой, сбегая вниз по лестнице.

Воробьи шарахнулись, точно брызги от упавшего в лужу камня, ворона в оторопи присела на шесте, но раздумала улетать и только возмущеннее прогорланила свое храброе «кра». Вода била из крана в звонкое дно ведра, звук быстро глохнул и подымался, подымался, переходя из гулкого бурления в журчащий плеск, пока поток не вырвался через края и живо не охватил ведра со всех боков струящимся серебром. Петр Петрович не удержался, подставил пригоршню под кран и плеснул водой в лицо, потом на лысину раз, другой, третий. «Кра! Кра!» — вдруг рассвирепела ворона, и он, обернувшись на нее, сказал:

— Кран,— говоришь? Ладно, не забуду! — засмеялся, набрал еще пригоршню воды, плеснул вверх, на испугавшуюся птицу, до отказа закрутил кран и, не вытираясь, побежал с переполненным ведром наверх.

Стоя, голый, в тазу и обливаясь из ковша, он слегка кряхтел от холодка, пробиравшего все тело. Высокий, хотя не ровный, наклоненный наперед, он все-таки почти касался кулаками потолка приплюснутой немудрящей своей светелки, когда растирал спину длинным холщовым полотенцем. Уже за чаем он расслышал тарахтенье подъехавшей к воротам пролетки, наскоро дожевал завтрак и опять бегом спустился во двор. Было в нем что-то еще совсем молодо-слаженное и очень непритязательное — в рабочей кепочке, ставшей после революции вроде непременной всеобщей формы простоты, в русской рубахе и незастегнутом поверх нее коротеньком, не то потемневшем синем, не то посветлевшем черном пиджаке. И на полинялой до рыжизны, утерявшей сверкание крыл пролетке с кожаной подушкой в трещинах он сидел так, будто никакого значения не имело, что он едет на былом купеческом ли, адвокатском ли выезде и словно — того и гляди — он соскочит и начнет запросто мерить саженками мостовую, раскачиваясь на кругловатых высоких ногах.

Вразнотык прискакивая, дергаясь, прыгая на булыжнике, он обдумывал — как приступить к делу, которое даже ему, видавшему виды, казалось и неприятным, и чересчур замысловатым. Комиссию назначили смешанную из представителей разных учреждений и большую,— он был седьмым, и на него возложили председательствование. Следовало проверить всех содержавшихся в предварительном заключении, и самые места заключения, и мотивы, послужившие поводом ареста, и обоснованность действий властей. Комиссия была правомочна освобождать людей, передавать дела из одного ведомства в другое, из младшей инстанции в старшую, требовать ускорения следствия — словом, как прямо указали при назначении, наделялась авторитетом, более веским, чем прокурорский надзор, и властью, выше которой был один суд. Рагозин решил, что члены комиссии порознь будут знакомиться с заключенными и подготавливать решения в бесспорных несложных случаях, а сложные — выносить на рассмотрение всей комиссии. План работы был у него вполне готов, когда он подъехал к воротам тюрьмы.

Он стукнул в решетку окошечка, и оно тотчас распахнулось. Он назвал себя и, едва загремели засовы, окинул глазом ворота. Когда-то зеленые, они были обмалеваны кирпичной охрой, но ему показалось, он узнал даже рисунок — елочкой разбегавшуюся вверх обшивку — и, входя в отворенную калитку, понял, что внимание его раздвоилось: он хотел думать о предстоящем деле, а

мысли уводили его в воспоминания, и чем старательнее он обарачивал их к делу, тем беспорядочнее они рассеивались.

Он увидел пустынный двор с прибитой пыльной землей. Вот такой же голой, бесплодной, выродившейся встретила его эта острожная земля, когда его заставили ступить на нее подневольным плательщиком кровью за немилосердный порядок, который он вознамерился пошатнуть и которого теперь не существовало. Больше десятка лет жизни ушло у него на то, чтобы бежать этих пятен голой земли, оспенными следами развеянных по лицу городов и городишек, и он почти изумился, что знакомый этот двор еще не зарос травой, не ожил, не оплодотворился. Он пробежал взглядом по квадратным оконцам тюремных скучно побеленных корпусов: за какой решеткой платил он свою кровную дань? За какой решеткой кончила дни его маленькая Ксана? За какой отсиживали, отдумывали горькие, злые и добрые думы его товарищи, которых помнил он и которых позабыл, которых издавна знал и которых отроду не видел? Незряче щурились на свет черные оконца, нетронуто высились мертво-белые стены, словно притворявшиеся, что за ними — пусто, что они бездыханны и бездумны. Но, наверно, нет на свете других таких стен, за которыми всегда, каждый час и каждую секунду, думалось бы так много, с таким жаром тоски и так тщетно, и почему же до сих пор — спросил себя Рагозин — все еще должен томиться за ними народ?

— Народ? Народ, да не тот! — вдруг остро усмехнулся он своему вопросу и, оторвав глаза от тюрьмы, опять собрал внимание, озабоченно зашагал навстречу подходившей кучке людей, пожал им руки, спросил:

— Ну, что, все в сборе? Одного не хватает? Будем дожидаться или начнем?

Они прошли во второй двор, в канцелярию тюрьмы или, как теперь говорилось, домзака — дома заключения, условились о порядке разбора дел, и Рагозин остался один в комнате с решетками на окне и дверях.

Ему принесли пачку бумаг. На глаз разделив их, он велел раздать членам комиссии и просмотрел свою долю. Это были протоколы снятых с арестованных показаний, личные документы задержанных, заявления, опросы свидетелей. Иные дела показались ему ничтожными, возникшими из мещанской злости, мусорных самолюбий и наводящих уныние дрязг, иных он не мог сразу понять — что-то мутно ускользающее, как мошкара, витало вокруг невразумительных писаний; иные были, очевидно, серьезны и ждали больших решений. Он рассортировал дела по первому впечатлению и сначала хотел заняться теми, которые счел легкими, чтобы расчистить поле, покончить с обывательщиной — как он на-

звал по виду мелкие дела — и потом перейти к важным. Но, секунду помешкав, он вдруг сказал:

— А пусть потерпят! — и решил действовать как раз обратно — взяться сразу за самое сложное.

На одном листе красным карандашом была сделана наискось и подчеркнута крупная надпись: «Чиновник царской прокуратуры». Рагозин приказал привести этого обвиняемого и начал читать дело. Оно содержало немного: рабочим пикетом был задержан ночью с просроченным пропуском помощник советского нотариуса Анатолий Михайлович Ознобишин, тридцати пяти лет, с высшим образованием; как выяснилось на допросе, в прошлом он имел звание кандидата на судебную должность и служил в камере прокурора палаты, однако, по материалам следователя, он исполнял и более высокие должности, вплоть до прокурора, и это предстояло установить.

Минут через десять Ознобишин был приведен. Он поклонился, не крепко потирая, как бы поглаживая маленькие руки, и поблагодарил, когда Рагозин предложил ему сесть. На обычные вопросы он отвечал кратко, точно, не заставляя ждать, но и не забегая, прилично храня свое достоинство и в то же время показывая полную уважительность к личности допрашивавшего.

— За что же вас, собственно, взяли? — спросил Рагозин, исчерпав всю формальную часть.

— За то, что истек срок моего ночного пропуска. Всего на один день.

— Вы, что же, забыли возобновить?

— Нет, помнил. Но за житейскими хлопотами вовремя не успел. Думал — в этот день не понадобится, а на другой сделаю. В этом я виноват, конечно.

— А зачем вам вообще ночной пропуск?

— Приходится задерживаться на службе — очень кропотные дела. Днем много посетителей, прием. А вечерами приходится оформлять. У нас несколько человек имеют такие пропуска.

— Что же, в этот вечер вы тоже задержались на службе?

— Нет. В этот вечер — нет.

— А где же вы были?

— В этот вечер... просто житейский случай,— сказал Ознобишин неуверенно.

— Загулялись?

— Да.

— Женщина?

— Женщина,— тихо ответил Ознобишин и опустил глаза.

Рагозин видал на своем веку людей в самых различных обстоятельствах, привык распознавать человека не только по сло-

вам его, но по маленьким проявлениям внутренней жизни, которые можно бы назвать химией чувств,— когда переживания то вдруг соединятся в сложное целое, то распадутся на составные части, и одно исключает и прикрывает другое, и лживое кажется правдоподобнее истинного. В Ознобишине он не замечал ни капли притворства и хотел разгадать — не наигранна ли его искренность, не дальновидностью ли подсказано ему чистосердечие.

— Что же вы думаете, неужели вас держат здесь из-за просроченного пропуска?

— Нет, как же это может быть? — даже удивился Ознобишин, и вздернул плечами, и узенько развел руки, показывая своим корректным жестом, что, во-первых, не может допустить такую несправедливость властей, во-вторых, хорошо знаком с законными постановлениями о ночных пропусках.

— Но вы ведь только что сказали, что вас арестовали за неисправность пропуска?

— Да, когда вы спросили — за что меня взяли, то есть арестовали. Арестовали за неисправность пропуска. А сейчас вы спросили, думаю ли я, что меня держат в тюрьме за просроченный пропуск. Я повторяю — нет, не думаю.

— Значит, вы знаете, за что вас держат?

— Нет, мне это неизвестно. Я только могу предполагать, что мое прошлое внушает ко мне недоверие.

— А кем вы были?

— Я служил в камере прокурора судебной палаты.

— В должности?

— Я был кандидатом на судебную должность.

— И долго?

— Может быть, в былое время я сказал бы: к сожалению,— ответил Ознобишин с едва заметной извиняющейся улыбкой и как будто застеснявшись.— Теперь я говорю: к счастью, долго. Около семи лет, начиная с университетской скамьи. У меня, как раньше выражались, была неудачная карьера.

— Почему?

— Ну,— приподнял бровки Ознобишин,— я совсем не карьерист. К тому же у меня не было никакой протекции. Я из простой семьи.

— А была бы протекция?

— Протекция мне вряд ли помогла бы.

— Ну что же это за протекция, которая не помогает! — вскользь проговорил Рагозин.

— Да, конечно,— согласился Ознобишин и тут же добавил, как бы в шутку: — Но в моем случае просто никто не согласился бы протежировать.

— Такой вы неудачник?

— Да, естественный неудачник.

— Как — естественный?

— То есть по своей природе.

Он опять немного опустил глаза:

— Мне не доверяли в прокуратуре.

— Не доверяли?

— Я не совсем был похож на прочих чиновников. Это внушало недоверие.

Рагозин вдруг сказал решительно:

— Не доверяли, не доверяли,— и кончили тем, что назначили вас прокурором.

Ознобишин не только всеми чертами лица, но всем вытянувшимся телом изобразил вопрос, который, однако, никак не мог слететь с его затвердевших и выражавших обиду губ. Насилу одолевая борьбу чувств, он сказал озадаченно:

— Вы позволите разъяснить?

— Мне нужны не разъяснения, а я требую, чтобы вы без утайки сказали о вашем прошлом.

— Я ничего не утаиваю,— потряс головой Ознобишин, все еще не вполне справляясь с обидой, просившейся наружу, и потом заговорил с горькой, но очень скромной учтивой улыбкой:

— Я теперь понимаю, что существует подозрение, будто я выдаю себя не за того, кем был. Это неверно. Я никогда не был прокурором. Перед самой революцией на меня возложили исполнение обязанностей секретаря палаты, но в должности этой я так и не был утвержден. Откуда же могла взяться легенда, что я был прокурором? Я думаю, это только потому, что буквально за два дня до Октября, то есть при Временном правительстве, в палате было получено из Петрограда назначение мое товарищем прокурора. Назначение было от двадцать третьего числа, а переворот, как вы помните, произошел двадцать пятого. Никаких формальностей по назначению не было сделано.

— Почему же вы скрыли это при допросе?

— Я ничего не скрыл. Мне задавался вопрос — кем я был? Поэтому на вопрос — кем я не был? — я не отвечал.

— Но все-таки вы были прокурором, только не при царе, а при Керенском, так ведь, да?

— Нет. Прокурор — это легенда. Но я никак не могу признать себя даже бывшим товарищем прокурора, потому что в должность эту не вступил.

— Ну, а секретарем палаты при царе?

— А эту должность я только исправлял, но утвержден в ней

никогда не был,— с проникновенным убеждением сказал Ознобишин.

Рагозин засмеялся.

— Ловко вы это, право!

— Какая же ловкость? Ведь это все легко подтверждается документами. Архив палаты уцелел. Да и свидетелей я могу указать какое угодно число.

— Ну, а за что же вы так полюбились Керенскому, что он вас назначил прокурором?

— Товарищем прокурора,— поправил Ознобишин,— и не Керенский, а при правительстве Керенского. Керенский меня, конечно, не мог знать. А назначения тогда были валовые.

— Что это такое?

— Валом назначали, по всем судебным округам, вроде, как бы сказать, производства приказом в прапорщики.

— Но целью-то производства было что? Создать аппарат из приверженных Керенскому чиновников, да?

— Целью, как я понимаю, было заменить царских сановников в суде более свободомыслящими и молодыми силами. Назначали тех, кому при царе не давали хода, кому не доверяли почему-либо. Вот и я, как полагаю, в числе многих других был замечен: сидит, мол, человек кандидатом на судебную должность столько лет, очевидно, не очень он пришелся по душе блюстителям царской юстиции.

— Значит, никаких заслуг перед этой самой юстицией у вас не имелось?

— Заслуг? Скорее наоборот,— немного пожал плечами Ознобишин.— Скорее уж неудовольствие мог я вызывать до революции, что, собственно, революция и отметила назначением, за которое я почему-то сейчас должен страдать.

— А! Вас революция отметила, так-так,— усмехнулся Рагозин,— вон какой поворот...

— Нет, не поворот, а я хочу только сказать, что движения по службе до революции у меня не было, что я не располагал начальство к доверию.

— А, собственно, что у вас такое было? — чуть-чуть раздраженно спросил Рагозин.— Вот вы все говорите — недоверие, недоверие. Почему вам, собственно, могли не доверять? За что?

— Это я могу только догадываться, предполагать,— ответил Ознобишин в добродушно-вкрадчивом тоне, как близкому человеку.— Скорее всего, за мое неодобрение репрессий, за недостаточную радивость к политическим делам. На меня, конечно, ничего серьезного не возлагали, так себе — кое-что подготовить, подобрать материалы. Но я старался, в меру маленьких своих возмож-

постей, облегчать нелегкую участь людей, которых преследовал царский закон за убеждения. Революционеров даже, если случалось.

— Вон как,— легонько мотнул головой Рагозин.— Может, приведете какой пример?

— Например, в рагозинском деле, очень у нас нашумевшем,— сказал Ознобишин.

— Это что за... рагозинское дело такое? — спросил Рагозин, помолчав.

— Дело о тайной подпольной типографии, которую держал в погребе революционер Рагозин. Очень много людей было замешано, дело тянулось долго, но Рагозина так и не разыскали. Бежал.

— Он что, этот Рагозин,— сказал Рагозин, в упор смотря на Ознобишина,— он что — эсер?

— Рагозин? Нет, он был из социал-демократов. Рабочий железнодорожного депо. В депо была втянута интеллигенция, много молодежи.

— Вы что же... участвовали в преследовании?

— Дело проходило в палате. И мне кое-что поручали по делопроизводству, так что я был в курсе. Особого влияния я иметь не мог, но все-таки посчастливилось оказать помощь привлеченному по делу Пастухову. Может быть, слышали — известный театральный деятель, драматург?

— Он что же, имел отношение... был тоже в подполье?

— Нет, он был запутан по косвенным связям, но ему грозила ссылка, как многим по этому делу. Цветухин привлекался еще — актер здешний. И ему мне тоже удалось быть полезным. Конечно, мое сочувствие к неблагонадежным, как тогда они назывались, не могло нравиться моему принципалу, то есть товарищу прокурора. Да и сослуживцы-коллеги на меня косились. Вот это я имел в виду, говоря о недоверии ко мне в прокуратуре.

— Большое было, значит, дело? — сказал Рагозин и отвернулся от Ознобишина.

— Рагозинское? Очень разветвленное: прокламации, тайное общество, типография, масса обвиняемых. В нашем округе одно из самых громких.

— Ну, а этот, как его... Рагозин, значит, уцелел?

— Не могу сказать. Во всяком случае, не был разыскан, и, по закону, дело о нем было прекращено. Может быть, и уцелел,— такие примеры нередки, старый режим был бессилен против бывалых революционеров.

— Да, против бывалых, конечно...— буркнул самому себе Рагозин и спросил вскользь: — Он что, был семьянин?

— Рагозин? Насколько помню — нет. Жена у него была, это я знаю, потому что он сам ушел, а жена не успела, ее взяли, и она умерла здесь в тюрьме во время следствия.

— Отчего же? Отчего умерла?

— Ну, знаете,— тюрьма! Но, насколько память не изменяет, кажется — в родах.

Рагозин взялся за бумаги. Он просматривал их, как будто вчитываясь в отдельные строчки, нагнув низко голову, почти не шевелясь. Потом оторвался, быстро спросил:

— А ребенок? Остался ребенок после нее?

— Не могу сказать. Возможно, конечно.

— Понимаю, что возможно. Но я спрашиваю — знаете вы или нет? — грубо спросил Рагозин.

— Не знаю, нет, не знаю,— ответил Ознобишин, настораживаясь и тоненько прищуривая небольшие, вдруг словно успокоившиеся глаза.

— Возможно, понятно — возможно,— проговорил Рагозин попрежнему ровно, без нажима, желая показать, что он не может допустить грубости.— Я почему спросил? Потому что слишком хорошо известно, что таких детей, рожденных в тюрьме, предостаточно.

— Безусловно,— неуверенно подтвердил Ознобишин.

— И о них надо проявлять заботу.

— О детях сейчас заботятся, это правда,— вздохнул Ознобишин.

— Сейчас! — сказал Рагозин опять резко.— Сейчас — другое. А раньше разве о них думали? Родится вот такой от арестантки, и ладно. Куда его? Куда его девали, спрашиваю?

— В приют, обыкновенно,— сказал Ознобишин.

— В приют? В какой приют?

— Были такие сиротские приюты.

— Я понимаю. Я спрашиваю, допустим, у этой... у жены, ну, о которой вы говорите, которая умерла, скажем, остался ребенок. Куда его из тюрьмы, куда должны были поместить?

— Не могу сказать,— произнес Ознобишин нащупывающим новый тон голосом.— Но ведь можно попробовать установить, если бы заинтересовал именно случай с женой Рагозина.

— Установить?

— Да, ведь в рагозинском деле могут найтись следы.

— Вы, что же, думаете, оно сохранилось, это дело?

— Архив палаты цел, как я уже вам сообщил.

— И вы, что же, могли бы отыскать? — в какой-то вспышке нетерпенья спросил Рагозин.

— Вероятно, конечно,— подумав, медленно отвечал Ознобишин,— но вряд ли в моем положении, по крайней мере пока я лишен свободы...

Вдруг долгий, связывающий взаимностью и все понимающий взгляд остановил их, в молчании, друг на друге. Слышалось ясно дыхание Рагозина — частое, с шипящим выталкиванием воздуха в усы, и ознобишинские хрипловатые вздохи через приоткрытый рот. Они пробыли в неподвижности несколько секунд. Затем, шумно перевернув лежащее на столе дело и отодвигая его прочь, Рагозин проговорил, обрезая слова:

— Стало быть, вы утверждаете, что оказали услуги некоторым лицам, которых преследовал царский суд. Как либерал, да? По либеральным мотивам, так?

— Из сочувствия,— мягко пояснил Ознобишин.

— Понятно. Нам не сочувствуют только там, где нет нашей власти.

— Извините, но это было до вашей власти,— деликатно поправил Ознобишин.

— Но говорите-то вы об этом при нашей власти, а не при царе,— возразил Рагозин.— Я попрошу вас письменно назвать свидетелей, которые могут подтвердить ваши показания о прошлой службе. У вас ко мне вопросов нет?

— Один. Кому я должен подать просьбу об освобождении?

— Не надо подавать. Комиссия рассмотрит и решит. Можете идти.

Ознобишин встал и поклонился с тем же учтивым видом, с каким поздоровался, входя. Он был уже у двери, когда Рагозин хмуро остановил его.

— Минутку. Значит, вы могли бы быть полезны в отыскании этого, видно, интересного дела, о котором рассказывали?

— Рагозина? — переспросил Ознобишин и, как необычайно расположенный советчик, отечески ласково сказал: — Да лучше меня для этой цели, пожалуй, никого и не найти. Архив палаты мне знаком. Хотя порыться придется и в архиве охранного отделения, и вот здесь, в местных тюремных делах,— следы могут обнаружиться совершенно неожиданно.

— Может, еще в приютах? — вставил Рагозин.

— В приютах? — не сразу понял Ознобишин, но догадался и воскликнул: — Ну, разумеется, в бывших приютах. Насчет ребенка, да?

— Да, да! Можете идти,— нетерпеливо сказал Рагозин и тут же, подтолкнутый странной неловкостью и раздражением, задал неожиданный для себя самого вопрос: — Вы знаете мою фамилию? Вам сказали?

— Нет. А как ваша фамилия, товарищ?

— Можете идти,— настойчиво повторил Рагозин, как будто его не слушались и он вынужден был требовать.

Он вскочил, едва шаги Ознобишина и провожавшего его конвоира затихли в коридоре. Он вскочил и почти промчался по комнате из угла в угол, раз, и другой, и третий.

— Дурак, ну и дурак! — едва не крикнул он на себя, подбегая к окну и стукнув кулаком по подоконнику.— Еще подумает — я в нем нуждаюсь. Черт меня дернул!.. Надо же, надо было случиться этому как раз сегодня!..

Он еще припечатал кулак к подоконнику, растворил окно, сжал пальцами недвижимые прутья решетки и так застыл.

Двор, голая земля острога опять мертво лежала перед его взором. По ней, может быть, прошла последний раз за свою жизнь Ксана, касаясь натруженной ступней бесчувственной тверди. Ксана! Вмиг ожившая, встала она перед Рагозиным, когда из чужих уст вылетело так долго никем не повторенное, давнее, теплое слово — жена. Он увидел ее руки — как она положила их острыми локотками ему на круглые, грубые колени, вытянула открытыми узкими ладонями вверх, точно ждала, что он их чем-то наполнит, нальет, и она понесет это что-то бережно к будущему. Это будущее настало, а Ксаны не было, и он уже сколько лет идет со своими мыслями наедине. Нет, нет, конечно, он не одинок, у него — товарищи, много товарищей, он всякую думу может запросто и серьезно с ними разделить. Но он должен всегда отыскивать верные, доходчивые слова, чтобы поговорить с товарищами, а Ксана понимала молчаливый поворот его головы, его наполовину прикрытый глаз, его мурлыканье, его кашель и — может быть, самое главное — неловкую и одновременно задорную усмешечку, с какой он взглядывал на жену, когда думал вместе с ней о будущем ребеночке, которого они так ждали. Что Ксана умерла в тюрьме от родов, Рагозин знал еще лет восемь назад и успел свыкнуться с этим неутешным знаньем. Возвратившись на родину, он пробовал разведать о непозабытой смерти, но всюду были новые люди, никто ему не мог ничего сказать. Смерть от родов ему почему-то всегда представлялась как безрезультатные роды. Что после Ксаны мог остаться ребенок, сын,— без сомненья, сын! — это он неожиданно понял только сейчас. Он думал, что с ее смертью все кончилось навечно. И вдруг теперь он увидел, что это было невероятное заблужденье! Что она не умерла совсем, что она оставила ему часть себя, часть его жизни с нею, и эта часть не могла умереть, нет, не могла! Сын, сын, которого он ждал вместе с женой, как возрожденье, как преемника первого ребеночка, умершего еще когда Рагозин уходил в ссылку, сын его единственной Кса-

ны был, конечно, жив! Уверенность эта внезапно впиталась всем существом Рагозина и стала действительностью, как действительностью была высившаяся перед глазами Рагозина огромная, намертво вросшая в голую землю тюрьма. Отсюда, из этой тюрьмы, пошла жизнь его сына, отсюда, из этой тюрьмы, пошло убеждение Рагозина в том, что жизнь сына продолжается, что она не могла прекратиться.

— Я его найду,— сказал он твердо, и насилу разжал похолодевшие от решетки пальцы, и отвернулся от окна, и увидел на столе бумаги, которые звали к работе.

Он вспомнил мгновенно весь допрос и решил, что — нет, Ознобишин не был, конечно, прокурором, потому что если бы был, то не остался бы жить там, где служил,— он слишком для этого умен, слишком осторожен — он бежал бы.

Рагозин записал: «Проверить показания гражданина Ознобишина вызовом свидетелей» — и принялся за следующее дело. Но работа делалась им с непривычным напряжением, он заставлял себя не думать о сыне — и все время думал о нем: как будет его разыскивать, какими путями надо идти, чтобы напасть на след, и кто может помочь, и как наконец сын найдется и он возьмет его к себе и будет с ним жить.

К концу дня Рагозин почувствовал такую усталость, что, пойдя домой пешком, чтобы освежиться, еле-еле добрел. Хозяйка на дворе встретила его охами и сказала:

— А к вам тут приезжал один товарищ, очень жалел, что не застал.

— Что за товарищ?

— Молодой из себя, на машине, машина такая, что мальчишки сбежались со всей улицы.

— Да как же его зовут, не спросили?

— Он вам записочку оставил с адресом. И очень велел кланяться.

Рагозин, не торопясь, поднялся к себе и взял со стола записку без особого желания прочитать, но взглянул на подпись — и не прочитал, а разом проглотил остро начерченные карандашом и кое-где прорвавшие бумагу строчки:

«Петр Петрович, родной! — заезжал и — какая досада — не застал! Но тут ты не уйдешь — Саратов у меня на ладошке! Знаю, какую тебе дали сейчас работу, и не завидую — дело не веселое. Но как только у тебя освободится время, пожалуйста, заезжай ко мне вечером. Я пока у матери: Солдатская слободка, трамвай до конца, спроси школу, там ее квартира. Страшно хочу увидеть тебя — какой ты? С нетерпением жду.

Кирилл».

Рагозин бросил записку на стол, прихлопнул ее ладонью, поднял руки под самый потолок, хрустнул туго сплетенными пальцами, выдохнул:

— Ах, черт! Кирилл! А?!

Засмеялся, шагнул к двери, крикнул хозяйке:

— Самоварчик не раздуете?.. Да хорошо бы... Рюмочки не осталось от прошлого раза, а? Рюмочку хорошо бы!

Опять негромко сказал — ах, черт! — и опять засмеялся.

8

Все старания Дибича сесть на пароход, чтобы ехать в Хвалынск, были напрасны. Но чем больше постигало его неудач, тем больше хотелось добраться до дома, и он решил, что если не попадет на пассажирский, то поедет на буксирном или наймется на баржу водолеем — все равно. Он исходил все пристани, облепленные народом, как медовые пряники — мухами, побывал во всяких конторах и канцеляриях, ночевал в очередях за пропусками, разрешениями, резолюциями, пробовал следовать разным доброхотным советам и, наоборот, действовать наперекор тому, что советовали,— ничего не получалось.

В этих поисках он очутился у военного комиссара города. Но в первый день, когда он пришел, комиссар никого не принимал, на другой день Дибич должен был продежурить до вечера за хлебом, на третий ему сказали, что прием был вчера и надо являться вовремя, на четвертый комиссар был куда-то срочно вызван, и только на пятый Дибича записали в очередь. Как и повсюду, у военкома толпились с виду одинаковые, но на самом деле разнокалиберные люди. Одни были из военнослужащих давно расформированных частей царской армии, искавшие помощи в личных делах, другие — из вновь мобилизованных в Красную Армию, третьи — из отпущенных по болезни, или хлопотавших об отсрочках по призыву, или привлеченных к ответу за уклонение от службы — юные и пожилые, много испытавшие мужчины, оторванные событиями от дома, разумной работы и близких, все усталые, нередко озлобленные, чающие какого угодно, но только скорого решения: либо домой, либо в воинскую часть, лишь бы не это изнурительное сидение на затоптанных крылечках и лестницах, по коридорам и передним, под выцветшими приказами и плакатами.

Дибич был принят за полдень, когда военкома уже измучили жалобами на невыдачу инвалидных пенсий, требованиями содействия и пособий, и он сидел, навалившись на стол локтями, мокрый от духоты, очумелый от папирос. Ему что-то докладывал, са-

молюбуясь, молодой военный с проборчиком и в новой сногсшибательной форме хаки, к которой Дибич сразу возымел отвращение, потому что она напоминала околоштабных хлыщей фронтовых времен и потому что все в ней состояло из чрезмерностей — невиданной длины полуфренч-полугимнастерка, чуть не до колен, с фигурчатыми нагрудными и поясными карманами, как почтовые ящики, ремень шириною в ладонь на щегольской портупее, раздутые в колесо галифе, ровнейшая спираль обмоток на тонких икрах, словно бублики на мочалках.

— Ведь это же некультурно! — видимо с презрением закончил докладчик, разглаживая пробор ребром руки.

— Ты думаешь? — сказал комиссар и постучал по бумагам темными полумесяцами ногтей — раз-два, раз-два, раз-два-три, будто напевая про себя: «Чижик, чижик, где ты был».

— О чем вы, товарищ? — спросил он у Дибича, и, когда Дибич высказал просьбу, разъяснил со скукой: — Это же не наше дело! Вам надо в Центропленбеж, а не к нам.

— Я был там два раза.

— Ну, и что же?

— Центропленбеж посылает меня в эвакопункт, эвакопункт в собес, собес к коменданту, комендант к вам, я в конце концов...— начал Дибич, быстро распаляясь.

— Ч-ш-ш,— приостановил его молодой военный, заткнув большой палец левой руки за портупею и успокаивающе поводя вверх и вниз другими пальцами.

— Вы снабжение где получаете? — спросил комиссар.

— По военной линии, как выписанный из госпиталя.

— Ну и неправильно. Вы должны получать по Центропленбежу.

— Мне безразлично. Я должен попасть на родину, и все.

— Вам безразлично, а нам нет.

— Пока меня не доставят до дома,— упорствовал Дибич,— как бывшего пленного, как больного, как демобилизованного, если хотите — как сумасшедшего,— мне все равно,— я считаю себя за военным ведомством. И я отсюда никуда не уйду, покуда меня не отправят в Хвалынск.

— Ну, ну, ну! — опять попридержал Дибича военный франт.— Вы с кем разговариваете? Товарищ военком говорит, что вы должны идти по общей гражданской линии, по советской, а не по военной. Понятно?

— Напиши ему записочку в Совет, пусть там займутся,— покладисто приказал комиссар и выстукал ногтями «Чижика».

Военный показал Дибичу одной бровью на дверь, щелкнул каблуками и пошел первым. Ботинки у него были похожи на утю-

ги, повернутые тупым концом наперед, и глянцево сияли, как красный яичный желток. Когда он, в смежной комнате, поравнялся со своим столом, зазвенел телефон. Он снял трубку, послушал, сказал небрежно:

— Да, у телефона для поручений Зубинский... Я повторяю: вас слушает для поручений Зубинский... Ну, если вы не понимаете, что такое «для поручений», значит, вы — не военный или просто бестолочь...

Он положил трубку, взял у Дибича документы, прочитал, спросил:

— Вы из кадровых?

В это время снова раздался звонок.

— Опять вы? — сказал Зубинский в трубку и подкинул кверху ловко выделанные плечи френча.— Напрасно сердитесь, дорогой. Я отвечаю: да, у телефона Зубинский, для поручений... Ну да, по-старому это адъютант... Но мы живем не по-старому, а по-новому!.. Ах, теперь понятно? Ну, слава богу...

Кончив разговор, он взглянул на Дибича и, явно рассчитывая на сочувствие, пробормотал:

— Действительно, было удобно и просто адъютант есть адъютант... Вы не кадровый? — повторил он, разглядывая документы.— Нет?.. А когда были произведены в поручики?.. Командовали ротой?.. А, вон что — батальоном... А к штабс-капитану вас не представили?

— А разве все это имеет отношение к тому, что вам приказал комиссар? — нервно сказал Дибич.

Зубинский не ответил, а достал листик бумаги, окунул перо в полупудовую, усыпанную стеклянными пупырьями чернильницу и дольше всякой меры крутил ручку над каким-то невидимым пунктом бумаги, будто разгоняя перо для необыкновенного, как он сам, росчерка. Однако он ничего не написал, остановил кручение и спросил:

— Почему бы вам не вступить в Красную Армию? Вы — специалист, у вас боевой опыт, специалисты нам нужны.

— Я больной,— отрезал Дибич.

— Лучше, чем в армии, вы нигде не поправитесь. Пайки у нас отличные, живо откормим.

— Я не свинья, чтобы меня откармливать,— наливаясь кровью, выпалил Дибич.— Если таких, как вы, ставят вербовать в Красную Армию, то я ее не поздравляю!

Зубинский даже не поднял на него глаз, а только еще раз обмакнул перо и проговорил в бумагу:

— Спокойно, поручик, спокойно.

— Я давно не поручик, к вашему сведению, никакой не поручик! Так же, как вы — не адъютант! — в бешенстве прохрипел Дибич.

Зубинский хладнокровно написал записку, украсив ее действительно акробатическим росчерком, и сказал:

— Напрасно волнуетесь, товарищ. Надо дорожить людьми, которые готовы вам помочь. Вот с этой бумажкой ступайте в городской исполком, к секретарю товарищу Извекову. Если дело не выйдет, приходите ко мне, я человек культурный и не мелочной и вхожу в ваше положение.

— Можете быть уверены — я вас больше не обеспокою! — в необъяснимой злости ответствовал Дибич и ушел, не простившись.

Последнее время он неожиданно для себя вдруг впадал в крайнее раздражение. После плена, где надо было принужденно сдерживать и прятать всякую тень своеволия, его желаниями овладело нетерпенье. Слишком часты и, в сущности, ничтожны были бесконечные препятствия на большом его пути. Взбесившись по пустяковому поводу, он быстро приходил в себя, как человек, доведенный до исступления комарьем и начавший по-мельничному махать руками, бросает это занятие, понимая его бесплодность.

На улице ему стало сразу легче. Его отвлекла перемена, происшедшая за часы, которые он провел у военного комиссара. Когда он входил в дом, день был синий, все вокруг остро прочерчивалось солнцем, можно было ждать зноя. Сейчас под холодным ветром испуганно клонились в палисадниках трепещущие деревья и смутный пепельный свет обволок улицы, точно накинув на них хмурую хламиду. Тучи ярусами настигали друг друга, чувствовалось, что где-то уже хлынул весенний ливень, может быть, с градом.

«Не хватает еще попасть под душ»,— подумал Дибич, набавляя шаг и пригибая голову против ветра.

По мостовым гнало бумажонки, солому, прошлогоднюю пересохшую листву, раскрошенный навоз — целые кадрили завинченного в трубы и воронки мусора, в котором, наверно, без следа затерялись бы дороги, если бы не благодетельные бури. Все пело и перезванивало под напором ветра, стон катился по железным кровлям, свист верещал в колеблемых проводах телефона, стрельба потрескивала от захлопываемых калиток и дверей. Народ бежал под крыши.

Оставалось недалеко идти, и уже совсем на виду был высокий дом на улице, пышно обсаженной зеленью, метавшейся под нажимами ветра, когда прямо навстречу Дибичу, словно опрокинутая из-за угла, вымахнула косая и как будто кудрявая, избела-

свинцовая, шумящая стена воды. Он врезался с разбега в эту стену, торопясь к подъезду дома, и она охватила и вмиг испятнала его с головы до ног темными пятаками, и пятаки стали мгновенно сливаться в черные разводья на плечах, груди и коленках, и Дибич ощутил животворящий колючий холод во всем теле.

Он весь промок, пока взбежал под козырек на ступени подъезда, где уже скучилось несколько человек. Отряхнувшись, он смотрел, как взапуски щелкали несчетными шлепками по земле увесистые дождины, как высеивались и звездами лопались на асфальте белые пузыри, яростнее, яростнее и толще вырывались пенистые струи из водосточных труб по сторонам подъезда, мутно набухал и разливался поток по скату между мостовой и тротуаром.

Перед подъездом мокрый шофер суетился вокруг длинного сверкающего «бенца», стараясь поскорее натянуть тент, но автомобиль уже заливало водой, и от ее живого бега по черным кожаным сиденьям, по радиатору и крыльям машина будто превратилась в покорное животное, застигнутое ливнем в поле.

В этот момент из парадного торопливо вышел на подъезд невысокий, даже коротковатый, плотно сбитый человек со смуглым лицом, чуть покрапленным веснушками на прямом переносье, в белой русской косоворотке с откинутым краем расстегнутого ворота. Он слегка взмахнул кепкой, зажатой в руке, и присвистнул.

— Вот это баня! — сказал он с очевидным удовольствием.

Он по-деловому глянул туда, где полагалось быть небу, а сейчас накатами туманился, то разряжаясь, то темнея, гонимый шквалом водяной хаос, и Дибич совсем нечаянно увидел в этом стремительном взгляде что-то такое заносчиво-жизненное, будто небольшой этот человек ни капельки не сомневался, что от него одного зависит остановить дождь немедленно или припустить его погорячее. В ту же секунду Дибичу почудилось, что он где-то видел это лицо с выдвинутыми скулами, прямым ртом и такими же прямыми, немного сросшимися темно-русыми бровями. Но Дибич не мог прояснить мимолетное воспоминание и рассмотреть получше лицо, может быть, знакомого человека, потому что тот сразу же, поглядев так необыкновенно на небо, нахлобучил кепку и спокойно, даже как будто нарочно замедленным шагом вышел на дождь, к машине, молча и ловко помог распрямить шарниры тента, сел рядом с шофером и укатил, почти уплыл, точно лодкой рассекая озорно несущуюся по дороге рябую, шумную речку. Двое мальчишек, вынырнув неизвестно откуда, в задранных штанишках и облепивших тело лоснящихся рубашонках, с криками зашлепали вслед за автомобилем и тотчас веселыми китайскими тенями исчезли в сером водяном экране.

Дибич вошел в подъезд.

В обширной комнате второго этажа, показавшейся неожиданно торжественной, он застал полдюжины посетителей и стриженую барышню за столиком около двери с надраенной по-морскому медной ручкой. Извекова ждали не раньше чем через час, к нему было записано десять человек, и барышня резонно советовала не терять времени — всех ведь принять невозможно. Но Дибич настоял на своем,— его записали, он сел в ряд с ожидающими и приятно почувствовал, что здесь его хождениям должен прийти конец: так хорошо было сидеть в удобном кресле, такое тепло витало в чистых стенах, такая тишина баюкала слух, точно состязаясь с плеском и хлестанием ливня за зеркальными стеклами окон. Его чуть-чуть познабливало от прохлады мокрой гимнастерки, он поглубже сел в кресло и, наверно, сразу задремал, потому что вдруг обнаружил себя прислонившимся к парапету над пароходным носом, и на носу — загорелого парня, который долго размахивал собранной в кольца легостью и потом молодецки кинул ее на пристань, и она распустилась в воздухе длинной-длинной змейкой и стукнулась о железную крышу конторки, и капитан на мостике прижал рот к слуховой трубе и глухо крикнул в машинное отделение: стоп! задний полный!.. И тогда забурлило, зашипело и заплескалось под плицами колес, и пароход задрожал, и народ бросился с верхней на нижнюю палубу, грохоча ногами, и капитан опять скомандовал: стоп! — и Дибич очнулся.

Он увидел, что ожидавшие люди поднимались, двигая креслами, и через комнату наискось быстро и громко шагал тот самый коротковатый смуглый человек с кепкой в кулаке, которого он встретил на подъезде, и человек этот наотмашь распахнул дверь с медной ручкой и скрылся, и следом за ним скрылась стриженая барышня, затворив дверь. Дибич понял, что довольно крепко уснул. Он хотел спросить у посетителей, ходивших в нетерпении по комнате,— кто этот человек, который пришел, но дверь снова отворилась, и барышня, глядя очень пристально и как-то по-новому, сказала:

— Товарищ Дибич, пожалуйста!

Он совсем не был готов к этому приглашению, слегка замешкался, и она проговорила, кивнув утвердительно:

— Вас, вас просит товарищ Извеков.

Он обтянул себя гимнастеркой, собрав складки назад, под пояс, выправка его будто перемогла усталость, и он по-военному остановился в дверях, когда ступил в кабинет. Он впервые видел такого, как ему думалось, крупного советского работника, и притом не военного, и не представлял себе — как же подобает держаться.

Извеков неподвижно стоял с края стола и глядел на вошедшего немигающими глазами из-под приподнятых своих темных бровей в линейку.

— Ваша фамилия — Дибич? Садитесь,— пригласил он и сам, обойдя стол, первый сел, не спуская взгляда с Дибича.

Вдруг опять, и уже с полной уверенностью, Дибич сказал себе, что видел этого человека, где — не помнит, но видел, и невольно тоже остановил внимание на его табачно-желтых глазах и на этом легком пятне веснушек, врассыпную сбегавших с переносицы, необычных для смуглокожих. Так они несколько мгновений безмолвно смотрели друг на друга, пока Извеков не спросил словно бы приказывающим тоном:

— Скажите, вы не командовали вторым батальоном восьмого стрелкового?

— Так точно, командовал. Я — поручик восьмого запасного.

— Ну, я вас не признал бы, если бы не ваша редкая фамилия! — сказал Извеков и не то с участием, не то с упреком покачал головой.

— Я вас, напротив, как будто узнаю, но не вспоминаю. Может быть — на фронте?

— Ломова помните? Рядового шестой роты вашего батальона Ломова, а?

— Ломов! — приподнялся Дибич.— Ломов, разведчик!

— Ну, какой там разведчик! А уж если разведчик, то по вашей вине,— улыбнулся Извеков.

В этой его улыбке, будто обращенной к самой себе и одновременно насмешливой и стеснительной, Дибичу раскрылась та черта, которой недоставало, чтобы воскресить воспоминание, и тогда в один миг он не только узнал в Извекове своего солдата, но словно взрезал в памяти сразу все, что окружало имя Ломова...

Было это на Юго-Западном фронте, во время майского наступления русских армий, оставившего неизлечимую рану на духе австро-венгерского войска и придавшего духу русских нежданное возбуждение, полное веры в неистощимость народных сил.

Командиром роты Дибич проделал с боями больше чем двухсотверстный марш. К концу марша был тяжело ранен батальонный командир, и Дибича, недавно награжденного аннинским темляком, назначили на его должность. К этому времени австрийцев на многих участках уже заменили германские части, спешившие на подмогу своему разбитому, панически отступавшему союзнику. Прорванный русскими и пришедший в безнадежное расстройство фронт немцы не могли восстановить,— они ставили себе задачей удержать дальнейшее распространение прорыва, угрожавшее их флангу на севере и австро-венгерскому фронту на юге. Пе-

ребрасываемая с запада, обкатанная в боях с французами немецкая пехота кидалась в контратаки против русских полков, уже ощущавших, после длительных битв и переходов, недостаток в пополнениях. Добиваясь создания непрерывности линии фронта, германцы укрепляли и решительно отстаивали новые позиции, местами стараясь вернуть из русских рук выгодные пункты, и с упорством возобновляли атаки, если они сразу не приносили результата.

Батальон Дибича почувствовал смену противника на рассвете, когда захваченная с вечера небольшая высотка подверглась внезапному картечному обстрелу легкой артиллерией, которой до того у австрийцев не было. Дибич был предупрежден штабом своего полка, что против соседей справа и слева появились немцы, что надо ожидать контрудара и необходимо удержать высоту. Еще до начала обстрела он приказал окапываться. Под огнем, перебегая от одного укрытия к другому, он осмотрел расположение батальона и отдал приказ отвести шестую роту в лесок, на самую маковку высоты, в резерв, с тем чтобы там была подготовлена запасная линия обороны. Он не отвечал на стрельбу, но деятельно готовился отразить атаку и всеми силами наблюдал за позицией противника и его огнем. Однако действия немцев ограничились этим неожиданным артиллерийским налетом, а затем все утро и весь день было загадочно тихо, как будто, с треском уведомив о своем прибытии, враг решил, что этого вполне достаточно.

Считаясь с вероятностью ночной атаки, Дибич в сумерки вызвал к себе в недостроенную землянку командиров рот с рапортами о ходе работ по укреплению высоты, с намерением подогнать эти работы. В офицерах он видел еще не столько своих подчиненных, сколько недавних равноправных сослуживцев и приятелей, поэтому в разговоре с ними скоро почувствовал, что они, совершенно так же как он сам, не могут разгадать сумбурной тактики противника и довольно заметно взволнованы. Было признано, что самое главное в этих обстоятельствах — разведка, и Дибич решил, что все роты, за исключением шестой резервной, с наступлением полной темноты вышлют, каждая на своем участке, разведывательные отряды с заданием — проникнуть в ближайшее расположение противника и бесшумно захватить «языка».

И вот после этого решения, задержавшись перед уходом из землянки, командир шестой роты — партнер Дибича по шахматам и тоже из прапорщиков запаса — доложил, что у него — неприятность: с последним пополнением пришел в роту рядовой Ломов, о котором через фельдфебеля стало известно, что он на привалах вел с солдатами опасные беседы о бесцельности войны для простого народа. Рядовой этот новобранцем прошел обучение в Нижнем

Новгороде, до призыва служил чертежником на Сормовском заводе, хорошо грамотен,— на острый нюх фельдфебельского носа тут дело не совсем чисто.

— Что ж,— сказал Дибич, размыслив,— пошли его для начала в разведку,— может, это вправит ему мозги. Я прикажу, чтобы его взяли нынче бывалому разведчику в пару.

Беспокойство продолжавшейся затаенной тишины выросло к ночи нестерпимо. Низкие тучи соединились с темной землей. К моменту вылазки разведок наступил такой мрак, что не видно было пальцев вытянутой руки. Спустя короткое время вправо от Дибича разнеслось несколько выстрелов, тотчас старательно поддержанных пулеметами. Почти сразу затем возникла беглая ружейная пальба далеко слева. Дибич понял, что огонь вызван разведкой, и за один этот час ожидания в непроглядной ночи извел столько табаку, сколько не выкуривал в иные сутки.

Когда вдруг ввалившийся в землянку связной доложил, что «язык» добыт и что это — немец, Дибич подпрыгнул, как мальчишка, обнял солдата, крикнул:

— Живо, живо! Пусть его тащат ко мне! А тем, кто добыл,— по новой паре сапог, нет! — отпуск вне очереди, черт их побрал! Молодцы!

Уже после того как доставленный немец был допрошен и на телеге отправлен с конвоем в штаб полка, Дибич узнал — кому приходится обещанный под щедрую руку отпуск. Оказалось — как раз новичку-разведчику шестой роты и посчастливилось добыть живьем немца, притом — только ему одному и в условиях, совсем исключительных.

В назначенную минуту Ломов в отряде из шести человек выбрался из окопа и пополз по склону вниз. Заросший молодой травой чистый луг скатывался полого, сажен на сто, к неглубокому овражку с ленивой речкой, почти ручьем. Овражек увивался порослью ольшаника и черемухи. За ним опять шел луг, еще сажен на сто, такой же чистый и ровный, кончавшийся невысокой грядой. На гряде должна была находиться передняя линия противника — цель, которую надо было достичь незаметно. Что предстояло там встретить — никто не знал.

Старшим в отряде был унтер-офицер, недовольный, что ему дали неопытного солдата, к тому же — чужой роты. Он успел только спросить Ломова, как его зовут, и приказал: «Держись за мной». С самого начала продвижения по склону отряд разбился на пары, и в средней паре ползли Ломов с унтером, а крайние постепенно отдалялись от нее в стороны, так что след за ними, если бы можно было видеть, расходился, как раздвигаемый шире и шире веер. Но видеть было ничего нельзя. Сейчас же как крайние пары от-

ползли в стороны, Ломов потерял их черные, горбами приподнятые над землей тени, и все меньше и меньше слышал их шорох в траве, пока он совсем не растаял.

Ломов слышал теперь только унтера и себя,— глухое, иногда под остренький треск надломленного, старого стебля прикосновение к земле коленок и кулаков, частое дыхание через открытые рты, тяжелое, скорее угадываемое, чем слышимое, трение о поясницу винтовки, закинутой на спину, и сам себя подгоняющий бег непривычных толчков в ушах: это шумело сердце. Бесконечный мир тьмы был объят молчанием, но молчание это наполнялось непрестанной жизнью луга с невидимым населением его почвы и трав. И это был другой слой шума, лежавший над шумом сердца и отделенный слухом от тишины.

Едва Ломов коснулся руками и коленями земли, он намок от росы, и влага быстро начала пропитывать всю одежду, и скоро родилось ощущение, что он ползет в воде, потому что и лицо стало мокрым, и грудь, и спина, только от земли было прохладно, а со спины тепло — пот проступил на Ломове горячей росой. Он тащил с собою в кулаке тяжелые, длиною в пол-аршина, стальные ножницы на случай, если бы противник успел протянуть перед своими траншеями проволочное заграждение. Он испытывал это самым мучительным неудобством, потому что, когда опирался на кулак, сталь давила пальцы и ладонь, а заткнуть ножницы за пояс он не решался, ему казалось — они непременно выскользнут в траву. У него мелькнула мысль, что можно не ползти, а шагать во весь рост — все равно ничего не видно. Но он тут же ответил себе, что, если нечаянно вспыхнет ракета или скользнет прожектор и осветит шагающих солдат, дело тотчас провалится. К тому же он твердо помнил, что рассуждать нельзя, как нельзя было бы возразить, когда его неожиданно назначили в разведку, и он подумал, что теперь, наверно, всему конец.

Ломову чудилось — он ползет давно, и совсем уже близок овражек с речкой, но вдруг впереди защелкал соловей, и тогда он по звуку догадался, что до речки еще далеко. Щелканье сменилось трелью, посвистом, бульканьем,— десяток колен насчитал Ломов, пока дышавший рядом унтер не просопел шепотом: «Ишь собачий сын!» — и не вздохнул глубоко с каким-то тоже птичьим всхлипом.

Соловьиный голос шутя унес Ломова назад — в юность. Он полз, слушал и видел себя на Зеленом острове, среди голубого тальника, где соловьи переговариваются с тихим плеском воды на песчаной кромке берега. Идет мимо Волга, перламутровая от лунного сумрака, мерцает на стрежне коренного русла красный бакен, плывет, словно дворец уснувшего царства Додона, вся в те-

ремках и башенках, прихотливая беляна, — и на песке сидит недвижно маленький Кирилл Извеков, обняв колени и думая — каким он будет, когда станет большим. Каким он будет, когда понадобится забыть, что он — Кирилл Извеков? Каким будет, когда назовет себя Ломовым? Каким будет вот сейчас, сию минуту, когда до Зеленого острова юности недосягаемо далеко, а мокрый, усталый, согнувшийся в крючок солдат Ломов, таща винтовку и стальные ножницы, слышит душный, сырой запах отцветающей черемухи, видит черную кайму поречного ольшаника, надвигающуюся с медленной неизбежностью ближе и ближе?

Унтер привстал, достигнув кустов, и за ним поднялся на ноги Ломов. Они передохнули, размяли поясницы, скинули с плеч винтовки и вошли в заросли. Глаз настолько привык к темноте, что различал смутными пятнами стволы деревьев, шапки курчавых ветвей. Овражек был неглубок. Нащупывая подошвами землю, они, шаг за шагом, спускались к речке. Ее ленивое журчание раздавалось ясно. Соловей выбивал свои дроби над головами. Скоро чуть-чуть блеснул между листвы черный лак воды. Через минуту они увидели весь ручей. Он был в три шага шириной. Близко от берега они прислонились к толстым деревьям. Наверно, это были вётлы.

В эту секунду пронеслись вдалеке рассеянные выстрелы, и потом взвыли пулеметы. Ломов взглянул на своего начальника. Он был неподвижен. Когда стрельба стихла, он шепнул: «Переждем!» Снова защелкали выстрелы, так же далеко, но по другую сторону, и снова наступила тишина.

Тогда Ломов заметил прямо перед собой две кинувшиеся через ручей тени, и тотчас раздались один за другим два толчка в землю с гремящим, сахарным хрустом береговой гальки. Два человека перепрыгнули речку, и разогнулись, и замерли, прислушиваясь. На черном лаке воды отчетливо видны стали их контуры. Совершенно слитно — как одна — возникли у Ломова две догадки: что это — враги и что это — свои. Враги могли идти на разведку, свои могли возвращаться или заблудиться в зарослях. Но каким-то новым зрением ночной птицы он различил котелками накрывавшие этих людей шлемы, понял, что это — немцы, и тут же содрогнулся от нечеловеческого голоса: это была команда унтер-офицера.

Унтер-офицер не скомандовал, а не похоже на человека, ужасающе крякнул:

— Бей прикладом! — и оторвался от своей ветлы навстречу ближней к нему тени.

У Ломова сразу вспотели ладони, и спина будто отделилась от туловища. Чтобы схватить, как следовало, винтовку, он дол-

жен был бросить ножницы. И вдруг, не думая, вместо того чтобы разжать кулак и выпустить ножницы наземь, он размахнулся и со всей силой пустил ножницами в ту тень, которая была слева и уже успела присесть после внезапного крика. Удар был мягкий и как будто мокрый, и Ломов увидел, что тень тотчас слилась с землей. И, все еще ни о чем не думая, схватив винтовку обеими руками, он повернулся направо и заметил, что другая тень клонилась к сбитому с ног унтер-офицеру, занося над ним руку. Ломов сделал скачок и с разбега, наваливаясь своей тяжестью, ткнул штыком под эту занесенную руку. Ему запомнилось только одно ощущение: как туго и неуклюже вытягивал он штык из упавшего тела. Потом он расслышал стонущий голос унтер-офицера:

— Вяжи свово!

Ломов бросился назад. Немец лежал ничком. Ломов пал коленями на его лопатки, заложил ему руки за спину и, сорвав с себя пояс, стянул их крепким узлом.

— Жив? — спросил унтер.

— Сопит,— ответил Ломов.

— Заткни ему глотку!

Ломов повернул голову, тяжело вдавленную шлемом в гальку, нащупал рот и впихнул в него больше половины скомканной своей фуражки. Потом встал, утерся мокрым рукавом.

Все было по-прежнему. Соловей, не переставая, рассыпал свой дробный щекот. Невозмутимо журчала речка.

Ломов будто очнулся от сна и понял, что убил другого немца штыковым ударом наповал. Он подошел к унтер-офицеру. Тот был сильно ушиблен прикладом в плечо, и Ломов хотел помочь ему идти, но он отказался. Они разделили предстоящую задачу: унтер взял на себя немецкие винтовки, Ломову пришлось тащить раненого немца. Они приползли к своим окопам, изнемогая.

Стало светать, когда Дибич выслушал Ломова. Унтер-офицер не мог явиться — он был взят на перевязку. Все еще мокрый, поеживаясь от утренней свежести, даже в низкой землянке Ломов казался маленьким, щуплым, и странно было слышать его спокойную, несмотря на короткость, вразумительную речь и глядеть в его глаза, желтизна которых, подсвеченная лампой, точно насмешливо загоралась и гасла.

— Ну, что же,— сказал Дибич,— дело вдвойне удачное: добыли языка и помешали немецким лазутчикам. Поздравляю. Начало хорошее.

Ломов промолчал.

— Не знаешь, как отвечать?

— Рад стараться, ваше благородие,— сказал Ломов, чуть заметно прищуриваясь.

— Делает честь шестой роте.

— Рота у нас дружная. Не я — так другой.

— Похвально слышать. Ну... а скажи, пожалуйста, как же насчет войны, а? Подговариваешь солдат не воевать, а сам вроде не прочь? Как тебя понять?

Ломов переступил с ноги на ногу. Дибич не отрывался от его немигающих глаз.

— Разрешите сказать?

— Да, говори. Я хочу знать, о чем толкуешь солдатам у себя в роте.

— Я считаю, война — одно, солдатская верность — другое. О войне каждый думает по-своему. Дело взглядов. А не выручить на фронте своего брата солдата — это может только трус. Тут нет противоречия.

Ломов выговорил эти слова еще спокойнее, чем рассказывал, как добыл «языка», и оттого они прозвучали еще больше — до сухости какой-то — вразумительно, неоспоримо. Вместе с тем Дибичу было ясно, что спокойствие дается Ломову нелегко, и он подумал, что поеживается Ломов не от холода, а от подавленного волнения. Он вздрагивал, как будто по телу его пробегала судорога, и после каждого такого содрогания спокойствие его маленького тела словно укреплялось, и в этом была такая заразительность, что Дибич тоже вздрогнул.

Поднявшись, он сказал, неожиданно обращаясь к солдату на «вы»:

— Вот что. Мне нет дела до ваших взглядов. Но вы их обязаны держать при себе. Война идет, и никто не имеет права ей мешать. Во всяком случае, вам не позволят ей мешать.

Он остановился. Ломов молча ждал.

— И вы прекратите свою проповедь против трусости в одиночку и за общую трусость всей армии, всей России. Потому что хотеть, чтобы все были против войны, значит хотеть, чтобы все были трусы.

Ломов по-прежнему не отвечал. В молчании его было заключено оледенелое несогласие, и Дибич насилу удержал себя, чтобы не поднять голос:

— Не забывайте, что вы — солдат.

— Так точно,— сказал Ломов по-солдатски, но как-то не вполне серьезно, с неуловимой лукавой и стеснительной усмешкой.

— Что значит — так точно? Что значит — так точно, когда с вами говорят, как с человеком? Вы не согласны со мной? По-вашему — мы наступаем зря? Льем кровь зря?

— Разрешите сказать?

— Да, да, говорите!

— Я нахожу, что признать заблуждение — значит проявить мужество, а не трусость. А что такое эта война, если не заблуждение?

— Хорошо,— сказал Дибич, совладав с собой.— Я обязан был предупредить вас, как офицер и командир. Прекратите у себя в роте разговоры на эту тему. И помните, что у военного суда не тот язык, каким говорю с вами я. Ступайте.

Дибич не вспоминал больше ни этого странного рядового шестой роты, ни мыслей, им пробужденных, потому что с того часа было не до воспоминаний о незначащих вещах: перед восходом солнца немцы пошли в атаку. В первые два дня боев они отрезали батальон от полка, окружили высоту и продолжали попеременно артиллерийский огонь и атаки до тех пор, пока раненый Дибич не попал в плен. Шестая рота так и дралась до конца на макушке высоты, защищая свою линию, которая из запасной стала передовой...

Сейчас, в кабинете Кирилла Извекова, Дибич видел удержанный памятью взгляд маленького солдата, сохранивший свою особую черту,— Извеков как будто не хотел показывать веселую насмешливость глаз и знал, что ее скрыть невозможно, и ему было неловко, что она все время возникает.

— Вот куда привела вас судьба,— сказал Дибич.

— Какая же судьба? Мы к этому шли.

— К чему — к этому? К поражению? — с горечью, но нерешительно проговорил Дибич.

— К поражению царской армии. Чтобы теперь идти к победе армии рабочих и крестьян.

Дибич увидел, как вдруг исчезла усмешка Извекова, отвернулся, помедлил, затем сказал, будто отклоняя предложенный разговор:

— Ваша шестая рота сражалась отлично.

— Да,— тряхнул головой Извеков,— отлично, но бесплодно.

— Это можно с сожалением отнести ко всей войне.

— Вы думаете? — быстро сказал Извеков и вскинул локти на стол.— Это неверно! Народ нашел на войне путь к своему будущему. По-вашему, это бесплодно?

— Но вы же сами говорите, что рота дралась бесплодно.

— Да, она проиграла бой. Но часть роты вышла из сражения, уцелела, вы этого не знаете, не могли знать, вам не повезло, вас взяли немцы. И те, кто уцелел, влились теперь в свою новую армию. Она борется за ту цель, которая не могла быть осуществлена той армией, в той войне и которая стала ясной народу во время той войны: за его освобождение.

— Понимаю,— чуть заметно передернул плечом Дибич.— Ломовы проиграли войну, Извековы выиграли.

Извеков улыбнулся, но сразу прикрыл кончиками пальцев, будто взял в щепоть, улыбку и даже немного подпрыгнул, напав на то, что надо было сказать:

— Вот-вот! Вам, я вижу, дело представляется так, что происходившее на войне — одно, а происходящее теперь — другое. А ведь это совсем неправильно! Народ, который был тогда там, сейчас здесь. Его жизнь изменилась, но его жизнь продолжается.

— Но кто же вы все-таки — Ломов или Извеков? — не тая иронии, но в искреннем недоумении спросил Дибич.

— А разве есть разница? — уже открыто улыбнулся Извеков.

— Похоже, мы продолжаем разговор, начатый у меня в землянке три года назад. Но еще больше похоже, что... мы переменились местами. Не находите? — сказал Дибич и, захватив пальцами непросохшую гимнастерку, оттянул ее от своего тела и вздрогнул.— Кажется, я такой же мокрый, как вы были тогда.

— Я тоже,— просто сказал Извеков и пощупал свои прямые плечи.— Очевидно, мы в одинаковом положении. Нет, серьезно. Мы переменились местами, говорите вы. Но вы можете занять такое же место, как я. Или мое место. Если вы таких же убеждений, как я.

— Мне сейчас не до убеждений,— проворчал Дибич.

Он достал бумажку, написанную Зубинским, и протянул ее через стол.

— У вас в Хвалынске родные? — спросил Извеков, прочитав записку.

— Мать и сестра. Я не видел их скоро пять лет.

— Долго. Я со своей матерью не виделся почти девять лет и вот недавно встретился. Я — здешний,— проговорил Извеков доверчиво-непосредственно и немного задумался.— Я понимаю. Я думаю, помогу вам — выпишем вам литер на пароход. Поезжайте.

Он взялся за перо, но остановился, сказал, как бы отвечая своему раздумью:

— Повидаетесь со своими, отдохнете. Только все равно — в Хвалынске или в Саратове — вам не уйти от вопросов, которые вы не решили: переменились мы местами или нет?

— Я не был в России три года,— словно одолевая тяжелую помеху, отозвался Дибич.— Для меня все ново. Я и людей не узнаю.

— Вы знали армию. Солдаты вас любили. Приглядитесь к красноармейцам, это многое объяснит, ко многому вас приблизит.

— Вам бы все сразу. И убеждения, и Красная Армия...

— Сразу? — засмеялся Извеков.— Почему — сразу? Сколько вы уже в России? Месяц? Ну, а нынче иной день — да что там! — иной час дороже месяца. Революция, товарищ Дибич. Есть о чем подумать.

— Мне нечем думать! — обрывисто и сдавленно выговорил Дибич.— Понимаете? Нечем! У меня нет мозга! Я его съел, понимаете? Мне не хватало одних бураков, и я вдобавок к ним ел свой мозг! Два года докладывал свой мозг к немецким буракам, понимаете? Как сухой паек к приварку. Чтобы не превратиться в скотину, чтобы не потерять рассудка, чтобы жить, жить — кормил свой организм, черт его взял, свои клетки запасом мозга, запасом нервов. Вот эти клетки, вот эту шкуру...

Он начал щипать себя за руку, высоко оттягивая словно вощеную тонкую кожу от костлявой пясти. Взор его стал мутным, большой лоб будто еще больше округлился, глазурно-желто, как вынутый из бульона мосол, засветившись от пота.

— Вам плохо? — воскликнул Извеков, быстро поднимаясь и обегая вокруг стола.

Но Дибич уже наклонился головой к острым своим коленям и со странной легкой плавностью медленно выпал из кресла, точно ребенок, на пол.

Извеков без усилий поднял его и оттащил на диван. Бросившись к двери, он отворил ее осторожно и сказал стриженой барышне очень тихо:

— Доктора. Сейчас же. Ко мне в кабинет.

9

О Лизе по возвращении домой Кирилл Извеков не говорил. Прошло слишком много времени с тех пор, как они разлучились. Так же как первые месяцы ссылки мысли о ней были его крылом, помогавшим залетать далеко от замшелой лесной деревушки, так эти мысли сделались неповоротливой обузой, когда ему стало известно о судьбе Лизы. Впервые он узнал власть воспоминаний, и открытие это его поразило. Пока он думал, что разлуке с Лизой положен срок, что он отбудет ссылку и потом для них наступит жизнь, о которой они вместе мечтали,— он видел Лизу хотя и отдаленной от него туманом оцепенелых верст, но живущей с ним напролет дни и ночи. После ее замужества она стала прошлым, но прошлое это обладало истязающей силой, и он с болью принуждал себя забыть о нем, и все не мог. Он сразу перестал упоминать Лизу в письмах к матери, и Вера Никандровна поняла, что ему известна судьба Лизы, и тоже никогда не напоминала о ней.

Но Кирилл знал только о том, что Лиза выдана замуж,— кто ее муж, он не мог догадываться, да и не хотел гадать. В единственном письме к нему, пришедшем в угрюмую пору снегов, в момент нещадной отрешенности ото всего света, Лиза написала ему о своем браке и умоляла не винить ее, хотя бы только потому, что этот брак — ее горе. Она писала о выданье, а не о выходе замуж, поэтому Кириллу долго не приходила на ум прежде волновавшая его склонность Лизы к Цветухину (не мог же Мешков выдать дочь за актера), а когда эта мысль пришла, он неожиданно испытал нечто подобное злорадному утешению — что вот теперь слабость Лизы справедливо наказана. С годами Кирилл вспоминал ее все реже, но затем каждое воспоминание возникало внезапнее и словно бессмысленнее, ловя его врасплох на какой-то неподготовленности к сопротивлению, в безоружную минуту грусти или задумчивости. Уже когда он, после ссылки, скрывал свое имя и был особенно строг к себе, тренируя самообладание и хладнокровие, изображая старательного и недалекого малого, чтобы оправдать паспорт васильсурского мещанина Ломова, дорожащего местом заводского чертежника, он, прогуливаясь по нижегородскому откосу и любуясь огнями ярмарки, вдруг приступом ощущал необъяснимую тягу за кем-то идти из улицы в улицу, кого-то настигать, и долго не в силах бывал подавить захватывающую иллюзию, что он идет, преследуя и настигая Лизу. Он слышал не только ее скользящую поступь, он различал в полумраке вечера ее дыхание — тот тонкий, еле уловимый сладковатый запах парного молока, какой удивлял его, когда он едва не касался ее лица своей вспыхнувшей щекой. Во снах она бывала с ним еще ближе, но сны он умел обрывать, а припадки воспоминаний наяву уязвляли его своей внезапностью.

Для Веры Никандровны Кирилл был в одно и то же время прежним мальчиком, нетронуто сохраненным с момента его ареста памятью сердца, и совсем новым, зрелым мужчиной, казавшимся иногда в чем-то старше ее самой. Целую треть своей жизни он провел вдали от нее, и эта треть была исполнена необыкновенного содержания, о каком Вера Никандровна могла догадываться по письмам Кирилла, составившим главные события девяти лет разлуки. Он писал все годы ссылки, потом сообщил, чтобы она не тревожилась, если писем не будет долго — год и даже много больше, и потом написал только после революции. Она угадывала, что этого требовала так называемая конспирация — нечто столь возвышенное и до священности необъяснимое, что даже догадка о ней делала ее будто соучастницей жестокой сыновней тайны. Она попрежнему оставалась только учительницей, но так как всеми помыслами из года в год шла путем сына и следила по вестям от

него и даже по его молчанию за всеми переменами, в нем происходившими, то она невольно думала о себе не только как о простой учительнице, но как о человеке, чем-то совершенно отличном от всех других.

Когда наконец Кирилл появился, во всех их ненасытных, хотя и малоречивых разговорах был установлен особый строй: Вера Никандровна либо слушала сына, либо отвечала ему. Она как будто продолжала переписку с ним,— он лучше знал, о чем надо и можно было говорить, и если он молчал, значит, его не следовало выспрашивать. О Лизе он не заговаривал, и как раз это было легче всего понять матери,— забвение простиралось над прошлым, и тепло памяти не пробивало его, как солнце не пробивает вечной мерзлоты.

И вот нечаянно беглый луч скользнул в неосвещенный угол.

Вера Никандровна вскоре после Октября рассталась со своим карликовым флигельком на пыльной площади и переселилась в здание школы, где ей дали квартиру. Здесь было непривычно много места — две просторных комнаты, выбеленных и светлых, как классы, громадная кухня и передняя, в которой уместился бы без остатка весь покинутый флигель. Квартира напоминала старое подвальное жилье, служившее Извековым долгие годы до ареста Кирилла, и с его возвращением в этих больших школьных комнатах, под топот и крики учеников, у матери появилось чувство продолжения былой жизни — опять вместе с сыном, опять в школе. Не хватало, пожалуй, только оконных кованых решеток, ячейками своими похожих на связанные восьмерки, да трех, вечно шепчущих за окнами, пирамидальных тополей. Но все-таки иногда Вере Никандровне было пустовато в этом просторе и жалко, что уж не присядешь у крохотной голландки — подкинуть в огонь оборвыш завившейся овчинным клочком бересты: тут печи были неохватные, и с ними насилу управлялся школьный сторож.

Не прошло недели после приезда Кирилла, как матери стало ясно, что жить с ней он не будет. Он говорил ей как раз обратное: что его желание — не разлучаться с ней, но практически ему нужна была квартира в центре, ближе к городским учреждениям, а Солдатская слободка была пригородом, куда скачи, скачи — когда еще доскачешь! Бросить же этот пригород Вера Никандровна не могла. Ее связывала не столько школа, сколько издавна укоренившееся убеждение, что перемена школ отражается на учительском деле вредно: семья школьника должна доверять учителю, а если он будет прыгать с места на место — какая ему вера? Ей было бы обременительно жить в центре, Кириллу — невозможно оставаться на окраине. Они должны были разъехаться. Но сын решил, что будет часто бывать в слободке и что у матери устроит нечто вроде

главного обиталища, для чего заложит в одной из комнат начало своей библиотеки.

Это была давнишняя его цель — библиотека, полки с книгами, такие, которых нельзя сдвинуть с места и которые протянуты — именно протянуты — даже не вдоль стен, а под прямым углом к ним, так, чтобы между полок можно было ходить и стоять — да, да, стоять подолгу в переломленном луче солнца, вытягивая из плотно содвинутых в ряды книг самый необходимый или самый желанный томик, раскрывая его на титуле, на оглавлении, отыскивая какую-то неведомую страницу или изумляясь, что хорошо знакомая строчка таит в себе нечто неожиданно новое и покоряющее. В бродячей и неверной прошедшей жизни Кириллу никогда не приходилось иметь больше связки книг, пригодной для переноски в одной руке, и он мечтал когда-нибудь собрать книг много-много.

Теперь время пришло. Конечно, Кирилл не думал осесть в Солдатской слободке навсегда или хотя бы надолго. Наоборот, он был уверен, что принадлежит событиям, а события требуют от человека подвижности, и он вот-вот будет сорван с места, как лист среди листьев, и унесен неизвестно куда. Но у него, в комнате матери, останется то, без чего нельзя человеку обретаться на земле,— кров, дом, прибежище души, и этим прибежищем, о котором он не перестанет по-прежнему мечтать, будет библиотека.

— Знаешь,— сказал он матери,— мы заложим ее пока из того, что есть у тебя и — немножко, правда,— у меня. Все-таки наберется названий с полсотни. Ну, а полки...

— Полки ты пока возьми из учительской, они там лишние, я достану для учительской шкаф, как только проведу смету.

Вера Никандровна незадолго была назначена заведующей школой и слегка упивалась своей распорядительностью. Даже в дискуссиях о перестройке преподавания она чаще чем нужно произносила слова — смета, штаты, перерасход, отодвинувшие привычный ее лексикон — программа, расписание, часы.

Полка из учительской не понравилась Кириллу. Она была узка и так запачкана чернилами и старыми керосиновыми разводами, что он раздумал было ее брать. Но в учительской обнаружился склад исписанных школьных тетрадок, пущенных на растопку, и обложки их с внутренней стороны не выцвели, были чисты. Этими синими обложками решено было обить полку. Попробовали — получалось очень неплохо. Полку, разумеется, пришлось поставить пока вдоль стены: нелепо было бы ткнуть ее поперек, хотя Кирилл сначала примерил — как выйдет, когда полок будет много,— и выходило тоже очень хорошо.

Вера Никандровна распрямляла столовым ножом проволочки, которыми были сшиты тетради, аккуратно снимала обложки, а

Кирилл облекал в них полку, жестким пальцем проглаживая бумагу на рантах досок.

— Да, я хотел тебе сказать, что смотрел сегодня квартиру, которую мне подыскали.

— Что же ты молчишь? Где это?

— Удобное место. Недалеко от Верхнего базара. В доме Шубникова, знаешь?

Вера Никандровна чуть-чуть охнула, но тотчас перехватила вздох, и Кирилл, не обернувшись, спросил:

— Ты что?

— Укололась,— сказала она,— наколола палец на проволочку.

— Ты осторожнее. Знаешь, эти гвоздики да проволочки...

— А ты смотри не занозись,— сказала она, быстро закладывая за уши спустившиеся волосы.

— У нас в полковом комитете был случай,— сказал Кирилл.— Пришли в одну деревню, в Полесье. Солдаты увидели на каком-то дворе самовар. Давно не попадалось самовара,— давай чай пить. Стал один паренек лучину щепать — вкатил себе в ладонь щепку. Посмеялись. А через два дня свезли его в околоток: антонов огонь. Всю войну прошел, в каких только столпотворениях не был, а тут — на старушечьем деле!

— Умер?

— Нет. Отрезали руку. Славный был парень. Член комитета.

— Вот видишь,— сказала мать.

— Чего же — видишь? Это ты палец наколола, я для тебя рассказываю.

— И большая квартира? — спросила погодя мать.

— Купеческая. Хоть на велосипеде катайся.

— Зачем тебе такая?

— Если бы ты со мной переехала...

— Да если бы можно...

— Я понимаю. Я думаю — займу две комнаты, там есть с отдельным ходом.

Они не глядели друг на друга, занятые своей нетрудной работой. Кирилл приноровился ловко прибивать бумагу к доскам полок снизу — сверху она должна была держаться книгами.

— Не знаю, будет ли тебе там хорошо,— сказала Вера Никандровна.

— На квартире? А почему? Мне ведь не надо ничего особенного.

— Я знаю,— сказала она тише и оглянулась на сына.— Но в этом доме есть нечто особенное.

— Привидения?

— Да, может быть,— ответила она, стараясь усмехнуться.

— Если бы с купцом что-нибудь приключилось недоброе, я еще понимаю. А то — ничего чрезвычайного. Выселили, дом муниципализировали — и все. Мне говорили, он даже где-то у нас на службе. Откуда же взяться привидениям?

Он с улыбкой обернулся на мать и вдруг понял, что она не шутит: все в ней затруднилось — от движений поникших рук и медлительной жизни лица до дыхания. Она повела на него взглядом и увидела, что он ждет.

— За Шубниковым была замужем Лиза,— сказала она.

Смуглость его сделалась как будто темнее, в ней появился зеленовато-оливковый оттенок, он не двигался.

— Ты не спрашивал, поэтому я не говорила,— словно устраняя его упрек, добавила Вера Никандровна.

Он отвернулся, провел тяжеловесно кулаками вдоль полки в обе стороны и так, с раздвинутыми руками, постоял молча.

— У меня вся бумага. Ты отстала,— сказал он.

Она подала ему несколько обложек, он начал обивать нижнюю полку нагнувшись и скрывая лицо. Вдруг он с коротким присвистом втянул сквозь зубы воздух и распрямился.

— Что, и правда заноза? Покажи! — шагнула к нему Вера Никандровна.

— Пустяки,— буркнул он, прикусывая зубами кончик пальца и потом широко размахивая рукой, так, что мать не могла приблизиться.

Он бросил работать и, отойдя к окну, открыл его. Вдалеке звонил трамвай, и угрожающее гудение мотора взбиралось выше и выше, переходя в нетерпеливое вытье и сразу оборвавшись. Обиженное коровье мычание откликнулось трамваю. Стадо начало появляться из-за поворота улицы. Закат уже покрасил тесовые домики, они стали картинными. Пыль вышла над скотом из-за угла, будто коровы несли ее — насквозь зарозовевшую от солнца — на своих рогах.

— Ты говоришь — была,— произнес Кирилл в окно и, не получая ответа, досказал громче: — Была за ним, а теперь?

— Она ушла от него во время войны,— ответила Вера Никандровна.

Он опять умолк и долго смотрел на слободку — как ее домишки сменяли беззаботную розоватость на всполошную красноту и как этот заревный свет, еще горя огнем, уже притушивал все вокруг золистой тенью крадущегося вечера. Довольнее и в то же время просительнее мычал скот, расходясь по воротам и калиткам. Потом все стихло.

— А что же теперь? — спросил Кирилл, будто обращаясь к тишине.

— Я не знаю — что. Она ушла к отцу.

— У нее дети?

— У нее, кажется, один сын.

— Сколько же ему? — спросил Кирилл, помедлив, и вдруг, резко отвернувшись от окна, подошел к матери, торопясь отвел ее к деревянному, по-канцелярски чинному диванчику, и они сели рядом.

— Я вижу, тебе все известно, да? Как это случилось? Как могло, как могло случиться? Что это? Как ты понимаешь? Почему, почему, почему?

Он обрушил на нее эти прорвавшиеся расспросы дерзко, точно развязав в себе сразу все узлы, разворошив, раскидав прочь путы, которыми держал свое неутоленное желание все знать. И мать, словно обрадованная его жадностью, так же неудержно, как он начал расспросы, стала говорить все, что пережила за него когда-то вместе с Лизой, что передумала о Лизе и что когда-либо слышала о ней или догадывалась,— говорить о таких воодушевленных мелочах, так странно зримо, как способна говорить лишь женщина о другой женщине и лишь тогда, когда ставит себе целью ничего не скрыть.

Кирилл сидел, облокотившись на колени, уткнув подбородок в кулаки. Он не пропустил ни слова из рассказа матери. Конечно, он знал Лизу только как Лизу. Но она была, кроме того, Мешковой. Прежде для него Мешковы не существовали, была одна Лиза. Наверно, и о себе он думал в то далекое время только как о Кирилле. А он был еще сыном Извекова, которого, правда, не помнил, и сыном учительницы, вырастившей его тем, кем он сейчас был. То, что Лиза была Мешковой, как будто объясняло, что с ней случилось, но объяснение не удовлетворяло его. По-прежнему казалось, что Лиза пошла против себя, и было непостижимо — почему, и он хмурился, затапливаемый подробностями, которые изливала мать. Обилие их начинало обременять, хотелось сделать этот первый разговор о Лизе последним, заключить его окончательным выводом, и Кирилл сказал:

— Что же ты думаешь о ней в конце концов?

— Я думаю, она слишком добра.

— Слабовольна?

— Нет, добра. Добра к тому, кто к ней ближе в данную минуту. Добра вообще, беспредметно.

— Беспредметно? — переспросил он и протестующе дернул плечами.— Это хуже, чем слабовольна. Это значит безразлична. Но, по-моему, ты ошибаешься. Может быть — мягка?

— Может быть, мягка,— сказала Вера Никандровна, задумываясь вместе с сыном.

Они слышали тяжелые шаги по лестнице — наверно, не спеша поднимался сторож: пора было ставить самовар.

— Но она все-таки ушла от мужа, увела с собой ребенка,— сказала Вера Никандровна,— безвольная женщина едва ли способна на это.

— Мужей бросают из-за страха, из-за отчаяния. Из-за того, что муж опостылел. Это мало говорит о силе, скорее — о слабости. К тому же люди меняются,— сколько лет прожила она с мужем, прежде чем уйти? Это не объясняет, что с ней произошло перед замужеством.

Кирилл встал, потянулся, будто хотел сказать, что больше не вернется к этому разговору.

— Я надеялся разобраться,— проговорил он спокойно,— не разобрался и, видно, никогда не разберусь. Да, наверно, и не надо... Давай кончим полку.

Свет побагровел и, как на сцене, углубил комнаты, сделав их частью согретого зарей мира, уходившего за небосклон. Дверь в переднюю стояла настежь, за нею тоже продолжался этот немой багряный свет.

Тогда шаги на лестнице замолкли, и недолго спустя в передней показался нагнутый в плечах высокий человек. Он стал у порога, сощурился — свет бил ему в крупное усатое лицо.

— Мне указали, здесь проживает товарищ Извеков,— утвердительно спросил он, бережливо выкладывая слова.

Кирилл вышел к нему, вгляделся и сразу приподнял вытянутые руки, точно собрался осторожно принять что-то не совсем удобное и хрупкое.

— Петр Петрович, ты? — сказал он тихо.

Тот взял его за руку, поворотил к свету и одобрительно тряхнул головой.

— Крепенький стал. А будто все тот же.

— Да и ты тот же,— по-прежнему тихо отозвался Кирилл.

— Где там! — сказал Петр Петрович, снимая кепку и заодно скользнув ладонью по голове.— Выщипали кудри-то.

Широко разведя руки, они быстро обнялись, потом отстранились и опять стали осматривать друг друга и смеяться все громче и громче, выталкивая вместе со смехом неразборчивые коротенькие восклицания, понемногу двигаясь из прихожей в комнату. Они были совсем разные — Кирилл на голову ниже гостя, прямой, даже слегка откинутый назад, а гость громоздко-сутулый, с длинными руками и шеей. Но багрово-румяный свет делал их в эту минуту чем-то похожими друг на друга, сливая в единство, и сходство еще увеличивалось обоюдной, счастливой и шумной веселостью.

— Мама, это — Рагозин! — вскрикнул Кирилл, смеясь и снова беря его за руку.

— Вон вы какой,— чуть слышно сказала она.

Она глядела на Рагозина так, будто с необыкновенной высоты и в один миг увидала все прошлое сына, и свое прошлое, и все, чего ей не дано было до сих пор видеть.

— Да, да, понимаете ли,— бормотал Рагозин, точно извиняясь,— так оно и есть, он самый, видите ли, какая вещь...

Все трое улыбались, как люди, долго ожидавшие встречи и от возбуждения утратившие толковые слова, но бестолочью первых слов, которые подвертывались на язык, они выражали как раз то, чего нельзя было не выразить в такой момент.

— Вот какая история,— повторял Рагозин, чуть подмигивая Кириллу.— Встретились, а?

— И ведь ни капельки не переменился! Прямо как живой! — говорил Извеков, кружась около него и притрагиваясь к его рукавам, к его от времени закатанным в трубочки пиджачным бортам.

— А что мне не жить? Теперь только живи! — отвечал Рагозин.

— И усы колечком. Мама! Он и тогда усы колечком носил,— с восхищением вспоминал Кирилл.

— Как подобает! — довольно утверждал Рагозин и пощипывал ус.

— Мама! Ты устрой поскорее нам что-нибудь этакое экстраординарное!

— Как же, как же! — отзывалась Вера Никандровна, продолжая разглядывать гостя.— Сейчас будет самовар.

— Это — да-а! — гудел Рагозин.— Ничего не скажешь! Самовар!

— Ну, спасибо! Удружила. Эх, мама!

— А что же еще можно? — сконфуженно недоумевала мать.

Так, неуклюже изливаясь, проходила первая оторопь радости, пока чувство не улеглось на душе сияющей поверхностью водоема, отволновавшегося после мгновенного налета ветра. Тогда Рагозин, осмотрев полку, взял со стола картонки с крупными надписями рондо — «История», «Социология» — и хитро усмехнулся:

— Красиво изобразил. А библиотека где?

— Библиотека будет.

— Хозяйственно.

Они взглянули друг на друга уже спокойными изучающими взорами, и Рагозин без паузы проговорил:

— Не на книжной полке сейчас судьба будет решаться, как думаешь, а?

— Да, конечно. Но и не без книжной полки тоже.

— Вроде как не без высшей математики, а?

— Вот-вот.

— Не думай — я не против,— сказал Рагозин примирительно и опять засмеялся: — Ершист ты, не любишь, чтобы задевали! И смолоду не любил, помню!

— Да нет, я ничего,— вдруг застеснялся Кирилл и сразу как-то по-ребячьи понесся: — Это у меня, знаешь, из ссылки. Встретился там один редчайший человек, сосланный из Питера. Борода, знаешь, ниже пупа.

— Народник, поди?

— Эсер, думаешь? Ничего похожего. Он про себя говорил, что принадлежит к книжной партии. Библиотекарь, библиограф, ну и наши складывали у него на квартире за полками литературу, прежде чем переправлять из Питера на места. Кончилось ссылкой. Так он, знаешь, нам рассказывал вечерами о книге — слушать было наслаждение. Читает иногда свою лекцию, а у самого по бороде слезы бегут. Об эльзевирах, о венецианских альдинах или о нашей русской вольной печати, о «Колоколе», о «Полярной звезде». Раз я назвал при нем какую-то брошюру книжонкой. Так он весь затрясся: ты что, говорит, хочешь, чтобы я тебя презирал? — Книжонка — это, говорит, презренный язык лицемеров и отребья. Книга — жизнь, честь, слава, богатство, высочайшие взлеты, неизмеримое счастье! Могучая любовь человечества! Что же, спросил я, и погромную макулатуру надо «книгой» величать. Он побледнел: это, говорит, сор, а сор нельзя сшить даже в книжонку.

— Любопытно,— сказал Рагозин.

— Он помнил каждую книгу, которая у него хоть день побывала в руках. И раз признался, что, к стыду своему, предан книгам больше, чем людям. Рассказывал с умилением о московском букинисте, который начинал всякое утро земным поклоном об упокоении раба божия Николая,— это о Николае Новикове, первом российском издателе, первом историке русской литературы. Я бы, говорил бородач, согласен с вами отменить религию, я — человек просвещенный. Но религию нельзя отменять, потому что просвещенному человеку надо молиться за Новикова.

— Я таких встречал, видишь ли,— с живостью кивнул Рагозин,— и я бы их тоже отменил, да нельзя: кто же будет обучать книголюбию?

— Вот-вот! — подхватил Кирилл.— Я уверен — ты это серьезно. Правда? Вот этот книголюб и привил мне свою лихорадку. Богу молиться я не стал, ну а книге преклоняюсь.

— Не сотвори себе кумира,— ухмыльнулся Рагозин, но вдруг прибавил по-деловому: — Давай с тобой заглянем в одно местечко. Литературы — океан! Знаешь, есть такой утильотдел? Там целый

пакгауз бесхозных библиотек. Пороемся. Читать, правда, некогда, да я давно ищу кое-что... из книг, понимаешь ли...

— Да ты не извиняйся, я не против,— поощрительно заметил Кирилл.

Они лукаво косились друг на друга.

— Ершист,— повторил Рагозин.— Значит, ссылка-то не без пользы, коли с таким пылом вспоминаешь. А у меня, бывало, нет-нет да и заноет: не из-за тебя ли, мол, пошел мальчик в медвежий край, сосать лапу?..

— Хоть ты и крестный мой отец, но за меня не отвечаешь. В купель-то я сам полез, верно? Мне другое приходило на ум: не подвел ли я товарищей, а с ними и тебя? Если бы я тогда успел раздать листовки, может, ничего бы и не было?

— Нет, это было широко задумано у охранки: они решили сразу все захватить, брали направо и налево. Народ попал в бредень, как густера. Я только случайно поверх бредня прыгнул.

Уже разгорелась зажженная лампа, и они сели за стол. Едва скользнув воспоминаниями о разделившем их прошлом, они заговорили о том, что теперь все время было на душе — о войне,— как вдруг им помешали: кто-то остановился в сумраке дверей, и Вера Никандровна, прикрывшись от лампы рукой, сказала:

— Это ты? Заходи.

Была всего секунда паузы, когда Извеков и Рагозин словно решали, как отнестись к неожиданной этой помехе разговору, который только что по-настоящему начинался. Но в следующую секунду внимание их невольно переместилось с себя на вошедшую девушку, и они оба, как по сговору, поднялись.

Она поцеловала Веру Никандровну в щеку и подставила для поцелуя свою щеку с такой бездумной быстротой, с какой это делают часто встречающиеся друг с другом близкие женщины.

— Сегодня воскресенье, я решила, вы — дома,— сказала она и, глядя на мужчин, прибавила: — Я только на полчасика.

Говорила она тихо, но голос ее звучал сильно, как у певиц с прирожденной полнотой звука.

— Конечно, ни минуты свободной, где там! — упрекнула Вера Никандровна, но будто даже не без одобрения или гордости, как часто бывает в обращении матерей с детьми.— Кирилл, это и есть Аночка Парабукина.

Аночка не подала, а точно выбросила навстречу Кириллу легкую и немного длинноватую руку, в то же время шагнув к нему совсем неслышно.

— Мы знакомы,— проговорила она по-прежнему тихо, но еще звучнее,— хотя вы меня, разумеется, не можете помнить. Я была вот такая,— она показала себе по грудь.— А вас я бы сразу узнала.

Она поздоровалась с Петром Петровичем, огляделась и, не найдя стула, пошла в соседнюю комнату, до странности легко, каким-то скольжением двигаясь. Однако, несмотря на бесшумность, поступь ее была как бы угловатой, и вся она оказалась легкой не от плавности, но от худобы, особенно заметной по тонким ногам и рукам, к тому же слишком вытянутым, как у девочек, переросших свой возраст. Она принесла стул и подсела к Вере Никандровне. Лампа осветила ярче ее голову, остриженную накоротко, с недевичьим вихром на затылке, с маленькой женственной, светящейся белизны прядкой на лбу и голыми висками. Лицо ее производило впечатление несколько противоречивое: тонкому овалу его и красивому рту и подбородку, пожалуй, не соответствовали чересчур строгие брови, вдруг делавшие суровым выражение медлительных синих глаз.

— Ты что смотришь? — спросила Вера Никандровна Кирилла, который как поднялся, так и стоял, молча следуя взглядом за Аночкой.— Она, наверно, и тебе кажется больше похожей на мальчика? Ишь своевольница! (Вера Никандровна слегка пригладила Аночкин вихор.)

— Я смотрю, какая же прошла вечность! — ответил Кирилл, подвигая стул так, чтобы видеть Аночку, но тут же мельком глянул на Рагозина и шумно отодвинулся на прежнее место. Он решительно намерился продолжать прерванный разговор и, подавляя неожиданную неловкость, произнес именно то, что в таких случаях произносят:

— Так, значит, вот...

Но мысль его пошла другой дорогой, и хотя он обращался к Рагозину, речь велась не к нему.

— Пока смотришь на себя, словно ничего и не случилось: ну, бежит и бежит время, вполне обыкновенно. А взглянешь на других — и как с того света свалишься! — что же с тобой произошло, если вокруг тебя прямо-таки перевоплотились?!

— Я стала, каким вы были, когда я первый раз вас увидала,— сказала Аночка, и спохватилась, и перебила себя быстро: — Нет, нет, по годам, я имею в виду только года!

Она почти рассмеялась и прикусила губу, и брови ее тотчас прыгнули вверх, и тогда в глазах у ней не только исчезла суровость, но они стали изумленно-озорными. Все сразу улыбнулись, и Вера Никандровна сказала, втолковывая, как на уроке:

— Сколько сейчас девочке лет, если девять лет назад она была в два раза моложе мальчика, а сейчас он в полтора раза старше ее?

— Девочке не знаю, а мальчику, на мой счет, лет двадцать семь? — прищурился Рагозин.

— Как ловок считать,— сказал Кирилл,— тебе бы в финансовый отдел.

— Меня уже прочили, друг мой, да я отбоярился.

— Теперь не отбояришься!

— Ух, сердит!

В шутке этой только для Кирилла заключалась какая-то нешуточная сторона. Он все поглядывал на Аночку, клонясь вбок, потому что ее загораживал самовар, и вылетевшее у него слово о вечности еще вертелось в голове. Когда он увидел Рагозина, он не заметил ничего нового в той разнице, которая была между ними прежде: они продолжали двигаться в одном ряду. Приход же Аночки открыл в нем перемену, как будто нагрянувшую моментально: он и правда обнаружил вечность, отделившую его от маленькой белобрысой девочки, припоминаемой невнятно, и разница между ним и ею была совершенно новой. Но странно, раскрыв ему глаза на происшедшую в нем перемену и представ перед ним совсем новой, Аночка напомнила собою в то же время о чем-то неизменном. Она была нисколько не похожа на Лизу, но именно Лизу увидел в ней Кирилл, и странно ему было как раз то, что эта Лиза ничуть не изменялась, оставаясь по-прежнему восемнадцатилетней, по-прежнему красивой, может быть красивее, чем раньше, тогда как он разительно переменился, и они находятся в далеких друг от друга рядах. И потому что Кирилл не привык к таким двойственным ощущениям, он испытывал и неприятность и удовольствие.

— Куда же ты все-таки торопишься? — спросила Вера Никандровна.

— Егор Павлович обещал с нами вечером репетировать.

— Кто это? — спросил Кирилл.

— Наш руководитель кружка. Цветухин, актер.

— Цветухин? Он жив?

— Почему же? Он не такой старый,— насмешливо и едва ли не обиженно сказала Аночка.

— Я хотел сказать — он все еще здесь? — с нажимом поправился Кирилл.

Ну, вот и Цветухин должен был выплыть, как только вспомнилась Лиза,— иначе не могло быть.

— Я тебе не говорила — Аночка будет играть на сцене, в новом театре,— сказала Вера Никандровна с той еле уловимой, не то гордой, не то извинительной ноткой, с какой говорят о начинающих художниках и артистах.— Она уже выбрала профессию.

— Ты хочешь сказать, что кое-кто еще не выбрал? — вдруг усмехнулся Кирилл.

— Тебя это не должно задеть,— прямо ответила мать.— Ты сам говорил, что как только будет можно, станешь учиться, чтобы иметь специальность. Надо кем-нибудь быть. Без специальности нельзя.

— Так, так! — уже смеясь, воскликнул Кирилл и обнял Рагозина, будто призывая его к сочувствию.— Политики всю жизнь учатся и никогда не могут доучиться, верно, Петр Петрович? Надо кем-нибудь быть, а политики — это не «кто-нибудь». Общество строить, мир создавать, жизнь переделывать — какая это специальность? Вот, скажем, стихи писать — это другое. Это — специальность. Хотя что, собственно, стихотворец делает? Чем он занят?

— Он производит вещи,— сказал Рагозин.

— Какие вещи? Сонетами не пашут, на одах не обедают, как на посуде. А поди — специальность! Профессия!

— Вы очень не любите искусство? — строго спросила Аночка.

— Нет, я искусство люблю,— сказал Кирилл и помолчал.— Но я его люблю очень серьезно. Даже больше: я сам хотел бы причислить себя к людям искусства, служить искусству, потому что хотел бы воздействовать на людей. А разве воздействовать на людей не великое искусство? Пока я учусь еще только ремеслу руководить людьми, то есть специальности. Но я знаю, что ремесло это может быть поднято на огромную вершину, на высоту искусства. Когда в моих руках будут все инструменты, все средства влияния на людей, я из ремесленника могу стать художником. У меня будут все радости художника, если я научусь строить новое общество, не меньше, чем у актера, который научился вызывать слезы у зрителя. Я буду радоваться, как художник, когда увижу, что кусок прошлого в тяжелой жизни народа отвалился, и счастливый, здоровый, сильный уклад, который я хочу ввести, начинает завоевывать себе место в отношениях между людьми, место в быту... Нет, нет! Я искусство люблю,— еще раз с глубокой убежденностью сказал Кирилл и, крепче обняв Рагозина, улыбнулся матери: — Уж кем-нибудь мы с тобой, Петр Петрович, будем. Кем-нибудь!

— Он прав? — обратилась Вера Никандровна к Рагозину не потому, что ей нужно было подтверждение правоты сына, а чтобы высказать несомненную уверенность в ней. И Рагозин, кивнув коротко: он прав,— снял руку Кирилла со своих плеч и пожал ее.

— А вы не допускаете, что я буду любить искусство тоже очень серьезно? — спросила Аночка опять так же строго.

— Неужели я это отрицал? — встревожился он.— Я хотел только, чтобы вы не думали, что у меня с искусством недобрые счеты.

— Вы дали повод это подумать, потому что так отозвались о стихах...

— Разве я плохо сказал о стихах?

— Не плохо,— затрясла головой Аночка и поискала слово: — Высокомерно.

— Высокомерно? Ну нет. Это — принадлежность самих поэтов. Они считают, что сочинять стихи куда значительнее, чем делать революцию. Да, может, и вы так считаете?

Аночка не ответила, но, наклонившись к Вере Никандровне, сбормотала проказливо:

— Вот и еще двойка за «Счастье человечества».

— Счастье человечества? — сказал Кирилл.

— Это у них в школе,— улыбаясь, объяснила Вера Никандровна.— «Счастьем человечества» они называли... Как это у вас говорилось, Аночка?

— Я ведь только что окончила гимназию, она, правда, школой теперь называется,— быстро заговорила Аночка.— Ну, и у нас всем предметам были даны особые имена. Между девочек, конечно. Например, литература — это «Заветные мечты». А последний год у нас ввели политическую экономию и конституцию. Их мы окрестили «Счастьем человечества». Ну, и мне за «Счастье человечества» всегда двойку ставили.

— Трудно, видите ли, дается счастье человечества,— засмеялся Рагозин.

— Но ведь мы с вами говорили о «Заветных мечтах»,— сказал Кирилл, взволнованно и без улыбки глядя на Аночку.

— Пожалуй, верно,— проговорила она, отвечая ему неподвижным взглядом.— Но мне кажется, вы не столько дорожите «Заветными мечтами», сколько «Счастьем человечества». И потому, что вы хотите, чтобы все думали одинаково с вами, вы мне для начала знакомства влепили двойку.

— Ну, вы уж понесли какую-то абракадабру,— сказала Вера Никандровна.

Кирилл приподнял пальцы, закрывая свою мимолетную усмешку.

— Я не хочу, чтобы все думали одинаково со мной. Я хочу, чтобы вы думали так же, как я.

— Небольшое требование... Но, вероятно, я не смогу его выполнить.

— Почему же... если оно небольшое?

— Как-то слишком скоро у нас наметились расхождения.

— Например?

— Например, вы почему-то сразу переменились, как только я назвала Цветухина.

— Не знаю, каков он сейчас,— отвел глаза Кирилл.— Раньше я его терпеть не мог. Он самообольщен, как пернатый красавец.

— Как вас звать? Кирилл, а по отцу? — вдруг спросила Аночка.

— А как вы меня зовете за глаза?

— За глаза... я вас никак не зову.

— Ах ты вихор,— улыбнулась Вера Никандровна.— Николаевич, по отцу Николаевич.

— Так вот, Кирилл Николаевич. Позвольте дать вам совет: не высказываться о людях, которых вы не знаете.

— Правда,— беспокойно сказала Вера Никандровна,— Цветухин мужественный и простой человек.

Аночка легко нагнулась к Вере Никандровне и опять с необыкновенной быстротой поцеловала ее.

— Мне надо идти,— сказала она и прибавила, держа в ладонях голову Веры Никандровны и покачивая своей головой в такт раздельным и звучным словам: — Именно мужественный и простой человек!

Вера Никандровна взяла ее руки и спросила, глядя ей близко в глаза:

— Как Ольга Ивановна?

— Маме плохо,— ответила Аночка, словно мимоходом, но так, что уже больше не нужно было ничего говорить, и распрямилась, и обошла стол, чтобы проститься с Кириллом.

Он вдруг неловко выговорил:

— Ну, хорошо. Принимаю совет. Не сердитесь.

— А я не сержусь,— непринужденно ответила она и ушла, мигом исчезнув из комнаты.

С минуту все молчали, потом, вздохнув, Рагозин спросил:

— Тебе, говорят, квартиру нашли! Переезжаешь?

— Нет. Она мне не нравится.

— Э, да ты вон какой! Этакого буржуя тебе палаццо дают, а ты недово́лен?

— Да,— сказал Кирилл, явно думая о другом,— я, братец, задрал нос...

10

В безветренный, почти уже летний день Пастухов вышел из тамбура дорогомиловского дома в легоньком пальтеце по давней моде — до колен, палевой окраски с белой искрящейся ниточкой, и глянул сначала вверх — не хмурится ли? — потом в стороны — куда приятнее направиться? — потом под ноги — не грязно ль? По-

глядев вниз, он заметил троих мальчуганов-одногодков, сидевших на тротуаре спинами к залитому солнцем цоколю дома, с ножонками, раздвинутыми на асфальте в виде азов. Асфальт был исплеван. Они повернули головы к Пастухову, ожидая, скажет ли он что-нибудь или пройдет молча, и в одной из довольно запачканных мордашек он узнал своего Алешу. Он шагнул к ним.

— Что вы тут делаете?

— Играем,— сказал Алеша.

— Как играете? Во что?

— А в кто дальше доплюнется.

— Гм,— заметил Пастухов с неопределенностью, но тотчас прибавил ледяным голосом, еле двигая натянутыми губами: — Пошел сейчас же домой и скажи маме, что я назвал тебя болваном и не велел пускать на улицу.

Он порхнул взглядом по плевкам. Откуда они брались? Этот дом обладал необъяснимой притягательной силой для мальчишек, они льнули к нему, как осы к винограду. Алешу было немыслимо уберечь от них: если его выпускали на улицу, он встречал там одних, в саду его ждали другие, на черной лестнице третьи, в комнатах Арсения Романовича четвертые. Может быть, во встречах с мальчиками не было ничего дурного (Александр Владимирович считал, что дети должны расти, как колосья в поле,— среди себе подобных, а не как цинерарии — каждый в своем горшочке), но мальчиков было слишком много. Ольга Адамовна протестовала, чтобы ее посылали в город с хозяйственными поручениями и чтобы Алеша оставался без присмотра. Она даже попробовала пролепетать, что это не ее обязанность — ходить по базарам. Но не может, в самом деле, Пастухов допустить, чтобы мадам сидела дома, а по базарам ходила Ася. Такое время. Надо мириться. Именно — время, то есть все эти неудобства происходят до поры до времени: кончится ужасная братоубийственная распря, и Александр Владимирович возвратится в свой петербургский кабинет карельской березы. А пока все должны терпеть.

В конце концов Пастухов терпел больше других. Он привык работать, привык, чтобы театры ставили его пьесы. А сейчас в театрах только разговаривали о работе, но работы никакой не делали, потому что пьесы Пастухова перестали играть. В театрах говорили об античном репертуаре, Софокле и Аристофане, о драматургии высоких страстей, Шекспире и Шиллере, о народных зрелищах на площадях, о массовых действах и о зрителе, который сам творит и лицедеет вместе с актёрами. Но в театрах не говорили о Пастухове, о его известных драмах и, право, недурных комедиях. А ведь пьесы его ставили не только у Корша или Незло-

бина, они подымались и до Александринки. Иногда знакомые актеры, встретив его на улице, расцеловавшись и порокотав голосами с трещинкой — как жизнь и что слыхать? — начинали патетически уверять, что он один способен написать как раз то, что теперь надо для сцены — возвышенно, великолепно, в большом плане (громадно, понимаешь, громадно! — говорили они), потому что, кроме Пастухова, никого не осталось, кто мог бы за такое взяться (мелко плавают, понимаешь? — ну, кто, кто? да никого, никого!). Но, отволновавшись, они доверительно переводили патетические ноты на воркование лирики, и тогда получалось, что напиши Пастухов свою возвышенную пьесу, ее никто не поставит, потому что наступила эпоха исканий нового и, стало быть, распада старого, все ищут и не знают — чего ищут, но все непременно отвергают сложившиеся формы, а Пастухов и хорош тем, что имеет свое лицо, то есть вполне сложился (Пастухов — это определенный жанр, понимаешь? — тебя просто не поймут, не поймут, и все! — да и кто будет судить, кто?).

Выходило, что писать не надо. Да Пастухов и сам видел, что писать невозможно. Произошло смещение земной коры — вот как он думал о событиях. И, прежде с таким утешливым чувством игры сочинявший сцену за сценой для своих пьес, он слышал теперь работу собственного воображения, как слышат скрип несмазанной телеги через отворенное окошко. Он трудился прежде так же непроизвольно, как пищеварил. Теперь труд стал для него мучителен, потому что он не знал, что должен делать. Сместилась земная кора,— могла ли улежать на месте такая кроха, как его занятие? Все колебалось от толчков землетрясения, и камни, рушившиеся с карнизов вековых зданий, погребали людей под своими нагромождениями. Воздев руки, чтобы защитить головы, как в библейские времена, люди бежали туда, куда их гнал ужас или толкал случай. Пастухов тоже бежал.

Но по виду он совсем не был похож на беглеца. Нисколько не изменив своему обыкновению хорошо одеваться, он, правда, не купил за два последних года никакой обновки, но вещи его приобрели лишь ту легкую поношенность, какая делает их как бы одушевленными, особенно на людях, умеющих носить, и он казался все еще элегантным, так что опытный глаз сразу признал бы в нем петербуржца. Привычка наблюдать жизнь во всякой обстановке добавила к его независимой осанке некоторое высокомерие, которым он, однако, владел настолько, что оно бывало и незаметно. Он ходил по земле любопытным и судьей одновременно, и то становился простодушен, как зевака, то весь наливался самоуважением, точно посол не очень заметной державы. При этом ему всегда легко давалась любезность и сопутствовала природой дарован-

ная радость бытия. И сейчас, растерянный, обремененный неизвестностью будущего, он сохранял наружность человека, довольного тем, что его окружало.

В Саратове он, как приехал, взялся разыскивать актера Цветухина — друга-приятеля, обретенного в последнюю побывку на родине и не то чтобы забытого, а за петербургскими интересами переведенного из друзей действительных в друзья воспоминания. Как школьных товарищей соединяет школа и затем разводит жизнь, так Пастухова и Цветухина с десяток лет назад соединило пребывание в одном городе, а затем развела разлука и та часто лишь подразумеваемая, но деликатная ступень, какая высится между обитателями столицы и закоренелыми провинциалами.

Цветухин был не меньше Пастухова виноват, что за столь долгий срок они ни разу не дали о себе знать друг другу. Он не причислял себя к любителям писать письма, редко делая исключения даже ради женщин, переписываться же с мужчинами считал за блажь: что я — маклер, что ли, какой — вести корреспонденцию? — говорил он и уверял, что актеры никогда не умели писать никаких писем, кроме долговых. Может быть, он все-таки был немножко обижен молчанием Пастухова и, допуская, что тот ненароком мог бы и не ответить, если бы он первый написал ему, предпочитал не подвергать свою гордость такому испытанию.

Пастухов прежде всего побывал в городском театре,— нигде достовернее не могли бы сказать об известном в городе актере. Но разведать удалось немного: Егор Павлович последнее время не служил в театре, а собирал какую-то особую труппу и занимался с нею не то на железной дороге, не то в гарнизонном клубе, а возможно — и еще где-нибудь.

— Они, знаете, захвачены,— сказал, подморгнув Пастухову, старый человек с небритым подбородком и приподнял ко лбу палец.

— То есть как захвачен? Егор Павлыч?

— Они самые, Егор Павлыч. Они от нас отошли, и в рассуждении у них что-либо совсем стороннее.

— А вы тоже актер?

— Нет, не актер. Я реквизитор. Но вы не сомневайтесь.

Пастухов и не думал сомневаться. Он знал своего друга за человека с причудами, хорошо помнил его скрипку, слабость к изобретательству, его поиски народных типов для воплощения на сцене. Особенно историю с этими народными типами никогда он не мог бы забыть, потому что с ней Цветухин запутал его в пренеприятное жандармское следствие по опасному революционному делу, когда они вместе едва не увязли. Так что от Егора Павловича он равно ждал и вполне обыкновенных поступков, как от очень

милых людей, и вещей самых необычайных, как от больших оригиналов.

Александр Владимирович, выйдя из Липок, пошел к той старой приземистой гостинице рядом с консерваторией, в номерах которой когда-то проживал Цветухин. Он узнал двор, хотя тополя вдоль щербатых асфальтовых дорожек сильно вымахали ввысь и загустели. Как и прежде, в воздухе таяла капель падавших через отворенные окна звуков — арпеджио роялей, поплевывание флейт, нутряные жалобы виолончелей. Высокий красный дом, под своими похожими на сахарную бумагу колпаками крыш, как будто тянулся на цыпочках к небу, приподнимаемый музыкальной смесью голосов. Корпуса гостиницы лежали у него в ногах. Пастухов обошел дальний корпус. Тут тоже были отворены окна, и низенький дом скудно отвечал высокому звонами размолоченного пианино.

Было безлюдно, и Пастухов беспрепятственно осмотрел длинный коридор с запахом шампиньонов и аммиака, незапертые номера, тесно уставленные койками в бурых одеялах, и добрел наконец до зальца с искусственной волосатой пальмой-вашингтонией. Отсюда и вылетали звоны. Стоя в дверях, он послушал это настойчивое подражание музыке. Барышня в очень короткой узкой юбке, наступив на правую педаль ногой в модном, до колена зашнурованном матерчатом ботинке, выдалбливала из пианино «Молитву девы» — мелодию, которая в веках останется памятником мечтательности старой провинции. Указательный палец музыкантша держала, не сгибая, под прямым углом к покорной клавиатуре.

Пастухов кашлянул. Барышня обернулась, оставив палец воткнутым в клавиш. Пианино медленно успокаивалось.

— Вы меня? — спросила барышня.

— Простите, я оторвал вас от вашего экзерсиса.

— Чего?

— Я помешал вам. Скажите — не живет ли здесь актер Цветухин?

— Актер? — быстро проговорила барышня и сбросила ступню с педали, причем инструмент замурзился, как потревоженный старый собакевич.— А он что, делегат?

— Не знаю,— сказал Пастухов,— вполне возможно, конечно.

— Тут больше делегаты.

— Какие делегаты? Может быть, действительно Цветухин находится в их числе?

— Отчего же нет? — согласилась барышня и заложила ногу на ногу.— Кто приезжает на всякие съезды, тот и останавливается. Тут общежитие. В крайних двух номерах студенты консерватории. Но только актеров с ними нет.

— А вы, простите, вероятно, тоже студент консерватории? — поинтересовался Пастухов так почтительно, что никто не заметил бы насмешки.

— Вы думаете — потому что я играю? Нет, я так, любительница. А вам что — разъяснили, что этот актер живет в общежитии?

— Он жил здесь прежде в одном из номеров.

— Давно?

— Порядочно,— сказал Пастухов,— лет, пожалуй, восемь-девять назад.

Барышня, нагнувшись, обхватила свои зашнурованные икры сплетенными пальцами и широко разинула яркозубый веселый рот.

— Что? Девять лет? Да ведь это в прошлом веке! — вытолкнула она с хохотом.— Нет, вы смеетесь! Если правда — столько лет, то вы бы лучше спросили об вашем актере у моего дедушки! Вы, наверно, сами тоже артист?

Глаза ее с любопытством и любованием бегали по его шляпе, костюму, туфлям, почти не задерживаясь на лице. Говорила она бойко и с увлечением.

— А вы здесь служите? — спросил Пастухов, улыбаясь.

— Нет, я в «Зеркале жизни».

— Ах, вы в зеркале жизни? Вон как! Это что же такое?

— Да вот рядом — кино. Не знаете? Я там билетершей. А сюда меня тетя Маша пускает играть на пианине.

— Тетя Маша?

— Ну да, она тут коридорной. У нас в кино тоже есть пианино, да администратор запрещает играть. А я живу недалеко, вместе с тетей Машей, и мы с ней дружим. Она сейчас ушла на обед и велела мне посидеть.

— Чрезвычайно интересно,— сказал Пастухов,— благодарю вас.

— Нет, правда, вы тоже артист? — опять спросила она, и расплела пальцы, и поправила спустившийся на лоб озорной чубик.

— А я вам не скажу.

— Да я сама сразу вижу: артисты все такие замысловатые. А если вы не шутите, что ваш товарищ жил тут так давно, то подите в первый корпус, там комендант, может, он вам скажет.

Пастухов еще раз поблагодарил, испытывая удовольствие от ее резвого взгляда, в котором брезжилась нескрываемая женская жадность, и слегка засмеялся, и она захохотала в ответ, и он ушел. На дворе он опять расслышал тот же упрямый, но учащенный звон пианино, и тотчас представился ему перпендикуляром опущенный на клавиш палец, и он ухмыльнулся.

В облике смешной любительницы музыки он, однако, увидел что-то новорожденное и настолько самонадеянное, что не она показалась ему курьезом, а он сам — со своими поисками прошлого века. Прошлый век! — это слово ошеломило его, примененное к недавнему времени, о котором он привык думать, как об идущем, а оно уже невозвратно ушло. Не был ли он сам прошлым веком? Остатком, обломком, в крошку разбившимся карнизом колеблемого здания? Застывшим в воздухе отрывком давнишнего напева, какой-нибудь жалкой ноткой провинциальной «Молитвы девы»?

— Какая чушь! — отмахнулся он.

Но едва он сказал про свои мысли, что они — чушь, как время, которое он считал вчерашним днем, отошло в такую недосягаемую даль, что он остановился в испуге. Все вокруг почудилось ему решительно изменившимся, непохожим на прежнее, как план города не похож на город. План был тот самый, что и прежде, дома стояли на своем месте, были старой высоты и даже старых окрасок, но во всем виделось новое выражение, жил не прежний, иной смысл. И в этом переменившемся до неузнаваемости окружении он себя одного увидел совершенно прежним. Он бродил, слонялся среди незнакомого города, ища свое прошлое, свой век.

— Я старый,— сказал он себе, медленно выходя на улицу и озирая ее оторопело,— я здесь один такой старый.

Ему надо было найти отрицание этого непрошеного самопризнания в старости, чтобы восстановить блаженное равновесие духа, и вдруг его глаз выделил из прохожих приближающегося необыкновенного человека.

Это был старик с бесцветной лысиной и серпом голубовато-белых волос, положенным концами на массивные уши. В округлой бородке, седых бровях, не уступавших по размеру усам, он был иконописен, и его разящий взгляд мог бы принадлежать сразу и мученику и мстителю. С плеч его свисал жеваный чесучовый пиджак, каких уже не оставалось от былых летних гардеробов, с оттянутыми до колен карманами, топырившимися от засунутых в них газет и свертков. В руке он нес панаму, от давности потемневшую, как высушенная тыква. Подходя к Пастухову, старик морщинил лицо, щеки его сделались гребенчатыми, улыбка обнажала исковерканные изжелена-желтые зубы, словно он набрал в рот фисташковой скорлупы.

— Когда же это вы, Александр Владимирович, в родные края? — пропел он, разводя руки для объятия.— С приездом! Не узнаете?

— Нет, извините,— помигал на него Пастухов.

— Ну, где уж! Молодое растет, старое старится. А ведь я вас

выручал, вытягивал, когда вас преследовала жандармерия за связи ваши с подпольем! Помните?

— Да, да, да, да, позвольте, позвольте...— припоминал и не верил, что может нечто подобное припомнить, Пастухов.

— Ну, ну, ну! — помогал ему старик.

— Да, да, да, что-то такое, действительно...

— Да ну, конечно же, конечно! Вспомните-ка! Еще когда с вас была взята охранкой подписка о невыезде, а?

— Действительно, действительно, как же? — удивился Пастухов.

— Еще когда вы собирались поехать в Астапово, к смертному одру Льва Николаевича, а?

— В самом деле, позвольте-ка, позвольте...

— Да ну же, ну!

— Как же такое, а? Ну, просто, никак не могу, право...

— Ай-ай-ай, Александр Владимирович! Кто тогда хлопотал за вас перед прокурором, а? Кто спасал вас и для искусства и для всех нас? Нуте-ка, а?

— Позвольте, ну, как же? — мучился Пастухов.

— Да Мерцалов, Мерцалов! Помните? — пожаловал наконец старик, убежденный, что его имя осчастливит кого угодно.

— Ах, Мерцалов! — повторил рассеянно Пастухов.

— Ну да, Мерцалов, былой редактор былого здешнего «Листка»!

— Ах, конечно же, здравствуйте, здравствуйте! — воскликнул и с облегчением утер ладонью лицо Пастухов.

Они жали и трясли друг другу руки, и нагруженные карманы старика бились по его коленкам, и он то прикрывал лысину панамой, то снова оголял ее, и Пастухов, рассматривая старика, твердил себе со всею силой оживающего самодовольства: как хорошо, что я молод, молод, молод, что не ношу чесучовых пиджаков, не набиваю карманы газетами, что во рту моем здоровые зубы, как хорошо, как хорошо.

— Как хорошо,— сказал он, беря старика под локоть и поворачивая не в ту сторону, куда тот шел, а куда собирался идти сам,— как хорошо, что я вас встретил. Как вы тут живете, а?

— Живем, как сейчас можно жить,— в трудах, в ожиданиях.

— Не трогают вас за ваш «Листок»? — мимолетно спросил Пастухов.

— За что же? Я ведь не либерал какой-нибудь, помилуйте! С молодых ногтей мечтал о революции. Всем известно. В мрачнейшие времена имел дело с подпольем. Сколько людей выручил, вот так же, как вас.

— Да?

— А что вы думаете? Вы думаете, откуда я узнал, что вы тоже работали на революцию?

— Да? — повторил Пастухов, уклончиво улыбаясь.

— Ну, разумеется! Мы ведь понимаем друг друга, понимаем! Вы ставили на карту свое будущее, свою славу, и я не один раз рисковал головой. Всякое бывало. За вас, помню, клялся и божился, что вы непричастны. А ведь знал, знал — какое там непричастен!

Мерцалов с коротким смешком потряс головой, будто одобряя себя снисходительно за то, что следовало бы пожурить. Пастухов глядел на него пронизывающе-пытливо.

— Я не знал, что вы мне так помогли,— быстро сказал он.— Благодарю вас, хотя и запоздало.

Он протянул старику руку.

— Ах, что там! Это ведь святая обязанность, дело чести. Сколько добра приводилось делать — не запомнишь! Вот ведь и о Цветухине надо было тогда замолвить словечко. Он ведь тоже был не без грешка, хе-хе.

— Вот хорошо — вспомнили. Где он? Я его не могу разыскать.

— Цветухин? Ну, как же — здесь, здесь! Собирает таланты из народа. Труппу составил. Передвижной театр мечтает устроить. Интересная личность. Перессорился со всеми насмерть. Темперамент! Мнится горы сдвинуть.

— Что вы говорите?! Как на него похоже! Но где же его найти?

— Нет ничего проще. Я ведь с театральными людьми на короткой ноге. Пишу о театре. В газете мне — вы понимаете? — приличествующего места не дадут, я человек, так сказать, индивидуальных понятий, хотя, если говорить строго, именно подлинный общественник. Но меня уважают. Не могу пожаловаться. Поручили мне хронику искусства, да, да. Так что я пишу. Немного. Но подождем, подождем.

— Как же все-таки повидаться с Цветухиным? — поторопил Пастухов (он успел заметить, что старик имел пристрастие к излюбленному болтунами словечку «ведь», будто касавшиеся его, Мерцалова, обстоятельства знал или обязан был знать каждый встречный-поперечный).

— Я поспрошаю, где сейчас подвизается наш Егор Павлович, передам о вас, он к вам придет. Будет рад, будет рад. Мы земляков почитаем. Вы где остановились-то?

— У одного знакомого, неподалеку. У такого Дорогомилова, слышали?

— Бог ты мой, вы живете у Дорого...

Старик даже осекся и придержал Пастухова, чтобы стать ли-

цом к лицу. Вздернув скульптурные брови, отчего лысина его двинулась на извилины лба, словно поплывший воск, он тотчас, однако, сменил удивление на добродушный смешок, который, в свою очередь, удивил настороженного Александра Владимировича.

— Я только что случайно познакомился с ним. Что это за фигура?

— Ну, кто же не знает — старожил! Чудак, человек превратностей.

— Мистик? — сам не зная почему, подсказал Пастухов.

— Не думаю. Мечтатель скорее, любитель загадок, утопист.

— И бухгалтер?

— Представьте! Испокон века тянул счетную часть управы. Но, так сказать, житель двух миров. Невинный мистификатор. Не мистик, как вы думаете, а мистификатор! — обрадовался словцу Мерцалов.— Неужели вы его никогда прежде не видели? Его ведь нельзя не приметить — он вечно в окружении мальчишек.

— Вот-вот, что это такое?

— Это его пунктик. У ребятишек он — божок. Вообще целая история. Кое-что, может, и недостоверно, но многие легенды о нем легко поддаются некоторому своду...

Они проходили Липками, и Пастухов ничуть не раскаялся, что принял предложение — посидеть и выслушать предание об Арсении Романовиче. Мерцалов оказался не простым говоруном, а презанятным рассказчиком.

Ходячая в городе дорогомиловская история вела начало с глухих времен, когда Арсений Романович был еще студентом Казанского университета. Как-то летом он попал на охоту по уткам в хвалынские займища, встретился там с компанией охотников, и они затащили его в Хвалынск. В городке, полном тишины и скуки, они покутили, сдружились еще больше и отправились в одно из тамошних поместий, к барону Медему. Тут произошла, что называется, роковая встреча. У Медемов была воспитанница — девушка прекрасная, с воображением, не засоренным какими-нибудь городскими пустяками. Дорогомилов потерял голову, как может потерять молодой человек в августовские вечера, на свободе, среди полей, садов, парков. Он нашел самый нежный отклик и уехал домой окрыленный. Но у Медемов оказались особые расчеты на воспитанницу,— они выдали ее за своего обедневшего родственника, московского гренадера. Несчастье убило Дорогомилова. Он ушел из университета и долго болел. Жил он тогда у крестного отца — камского пароходчика. Это были годы, когда на пароходах наживались неслыханные в Поволжье капиталы. Но одни пароходчики богатели, другие банкротились. И вот благодетель Дорогомилова разорился, и недавний студент, еще не оправившийся от нервной

болезни, переехал к бедным родичам, в Саратов, чтобы вместе с ними бедовать. У него ничего не клеилось, что бы он ни предпринимал. О женитьбе он и не помышлял: он был из породы людей, умеющих держать зароки, а судьба толкнула его к зароку, и он его себе дал: никогда не жениться. Года через два дошел до него слух, что гренадер бросил жену и она умирает от чахотки. Дорогомилов в отчаянии ринулся в Москву, и правда — застал свою возлюбленную умирающей. У нее уже был ребенок. Дорогомилов дал ей слово, что воспитает мальчика, и увез его с собой. Надо было теперь думать не об одном себе, и он поступил на первое подвернувшееся место — в управу. Меньше всего собирался он щелкать счетами, но ребенок требовал ухода, пришлось содержать няню. Дорогомилов проявил такую старательность по службе, что постепенно сделался незаменимым в управе человеком. Но, отдавая самые похвальные старания службе, чтобы упрочить свое положение, Арсений Романович сердцем жил в мире ребенка, привязываясь к мальчику с каждым днем все более страстно. Он усыновил его, сделал его воспитание целью жизни, привык считать себя счастливым, а счастье мальчика казалось ему обеспеченным навсегда. Но обоих ожидал другой удел. Поехав однажды в превосходный день кататься на лодке с приятелем Арсения Романовича — учителем Извековым, они были застигнуты на коренной Волге внезапной бурей. Они не могли выгрести ни к берегу, ни к пескам. Лодку залило и опрокинуло. Извеков первый бросился к мальчику, но не мог, как требуется, ухватить его сзади, мальчик от испуга вцепился в шею своего спасителя, и они оба пошли ко дну. Это случилось, как всякая беда, почти мгновенно, на глазах Дорогомилова. Он удержался за перевернутую лодку, и его прибило к пескам. Труп Извекова был выброшен через неделю на остров, мальчик же пропал бесследно.

Горе не прошло Дорогомилову даром: он попал в психиатрическую больницу. Лечили его без мудрствований, как всех тогда — в сумасшедших домах — успокоительными каплями, купаньем, а чаще — ничем. Он вышел на волю в черной меланхолии. Но вдруг в нем как бы обнаружилось новое призвание. Погибший двенадцатилетний сын его был славным мальчиком,— у него осталось несколько друзей-сверстников, и вот они-то проявили к Арсению Романовичу ни с чем не сравнимое детское участие. Они взялись навещать его, проводить с ним целые дни, и он стал медленно оттаивать в тепле мальчишеской любви. Сначала у него явилась задача — отвлекать своих друзей от Волги. Он сам боялся выйти на берег и перестал глядеть в ту сторону, где искрилась и горела речная гладь. Но, пожалуй, нет вернее способа потерять дружбу детей, чем помешать их тяге к воде. Как ни увлекательны были про-

гулки с Арсением Романовичем в горы и в лес, хождения по деревням, экскурсии на раскопки татарского Увека, или на махорочную фабрику, или к Чирихиной — на чугунолитейный завод, а ребятишки всё косились на Волгу, и перед Дорогомиловым встал выбор: либо утратить расположение детей, либо преодолеть водобоязнь. С годами он ее преодолел, захваченный любовью мальчиков к реке, и тогда начались поездки на пароходах, побывки на рыбачьих станах, которые кочевали по берегам и островам, смотря по ходу стерляди, сазана или леща. Нередко целым выводком, во главе с Арсением Романовичем, как с клушкой, ребятишки высыпали на берег с удочками — таскать густёрку и отливающую синей эмалью чехонь, разжигали костер, варили уху, какой никто не поест, если не полюбит с детства мечтательного сидения с удочкой у воды. С холодами все эти удовольствия кончались, но тогда на первый план выступала дорогомиловская библиотека. Он собирал книги не столько для себя, как для маленьких друзей и, приваживая их любить чтение, делал из них поклонников своего уютного холостяцкого угла. Он, конечно, был прирожденным педагогом, но общение с детьми строил на личной дружбе, и это многим казалось странным, на него покашивались, пока не привыкли, как привыкают к городским дурачкам. Те мальчики, которые с ним не могли сдружиться, дали ему кличку «Лохматый», открыто насмехались над ним, особенно когда он постарел и усвоил слишком чудаческие манеры. Из-за него случались и драки среди мальчишек, нечто вроде рыцарских турниров, когда дело шло о праве на преимущественное внимание Арсения Романовича, а то и просто схватки между защитниками его чести и оскорбителями ее. Для Дорогомилова весь этот романтический мир детских привязанностей, мечтаний, дружб и ссор, мир, выраженный в смелом прямом взгляде подростка, пылающем фантазией, неукротимой любознательностью и наивной чистотой, которую найдешь разве только у дикого животного, еще не обученного охоте,— мир этот стал наркозом Дорогомилова, и чем дальше шло время, тем больше делался старик наркоманом. Дети вырастали, разбредались по свету, но на их место приходили другие, они оставляли Дорогомилову в наследие своих товарищей, передавая им особые заветы, маленькие традиции, неписаный культ почитания старика. У него редко бывало больше четырех-пяти приятелей в одно время, и общение их не напоминало ни школы, ни класса — оно было вольным, как у взрослых, и мальчики считали, что ходят к Арсению Романовичу отдыхать, хотя часто уносили от него больше, чем из классов.

Конечно, Дорогомилов не позабыл ни своей несчастливой встречи в хвалынском поместье, ни приемного сына, которого он

не сумел уберечь. Но он ни с кем не говорил об этой памяти, как почти не отвечал на расспросы о гибели своего друга Извекова. Он представлялся вечно поглощенным обязанностями, вечно мчащимся по неотложному делу, и его потрепанный сюртук, развевающийся на бегу, хорошо знали в городе. Однако, хотя к нему очень привыкли, никто не хотел допустить, что он так прост, все находили и в его поведении, и на его лице нечто необъяснимое, что, впрочем, находят у всякого, кто побывал в сумасшедшем доме.

— Прекрасная история,— сказал Пастухов с довольной улыбкой, выслушав рассказ.— А что это за Извеков? Что-то такое знакомое в этой фамилии.

Мерцалов лукаво покачал всем корпусом и даже как-то мяукнул, выпевая через нос игривый мотивчик.

— Н-да-м, н-да-м, Александр Владимирович, полагаю, что фамилия эта должна вам говорить весьма и весьма много (на лице его засборились во всех направлениях гребешочки складок). Ведь вы пострадали в свое время по одному делу с Извековым, который тогда был еще мальчиком, припоминаете?

— Да? — опять рассеянно сказал Пастухов.

— И этот соратник ваш Извеков — сын утонувшего учителя. А сейчас он ни более ни менее — секретарь здешнего Совета. Н-да-м, н-да-м.

— Вон как,— ответил Пастухов, как будто пристальнее вдумываясь в слова Мерцалова, но тотчас переводя его на другую мысль: — А вы знаете, моя жена Ася, когда познакомилась с Дорогомиловым, сразу почуяла, что это праведник. Как вы полагаете?

— Из семи праведников,— усмехнулся Мерцалов,— которыми держится город, да? Может быть, может быть. Но ведь теперь, вы знаете, держится ли вообще город, а? Удержится ли, хочу я сказать, в этаких корчах планеты?

— Корчи планеты,— повторил Пастухов.

Они всмотрелись друг в друга, молча улыбнулись и стали прощаться: Пастухов — напоминая, что надо разыскать Цветухина, Мерцалов — непременно обещая это сделать.

Подходя к дому и увлеченно перебирая в воображении то черты Дорогомилова, какими они возникли из рассказа Мерцалова, то повадку и приметы характера самого рассказчика, Пастухов нежданно обнаружил, что дверь тамбура стоит настежь. Никого на улице не было видно, и даже мальчуганы, обычно игравшие где-нибудь поблизости, исчезли.

Он взбежал по лестнице. Дверь в квартиру была не заперта, по коридору наперегонки неслись спорящие голоса.

— Нет-с, извините, нет-с, извините,— вскрикивал Дорогомилов на высокой, не столько грозной, сколько умоляющей нотке.

Пастухов вошел в свою комнату. В тот же момент он увидел Асю, и по ее взгляду, горевшему сквозь тонкую слезку, которую Александр Владимирович превосходно знал и которая появлялась не от обиды или горя, а в минуту покорной слабости, по этой трогавшей его почти незаметной слезке понял, что шум в коридоре касался не только кричавшего Дорогомилова, но, может быть, прежде всех — его, Пастухова, семьи. И, остановившись на первом шаге, он сказал не так, как подумал, а как, мимо всякого размышления, слетело с губ:

— Что с Алешей?

Ася покачала головой, улыбаясь с польщенной гордостью матери, чувство которой обрадовано беспокойством отца за ребенка. Она подошла к мужу. Он поцеловал ее мякие пальцы и тогда заметил Алешу.

Мальчик прижался к печке, скрестив руки по-взрослому — на груди,— и выжидательно, с опаской смотрел на отца. Ольга Адамовна сидела в двери маленькой комнаты, ухватив косяк, как ствол винтовки, с выражением стража, решившего окаменеть, но не сойти с поста.

— Хорошо, ты пришел,— сказала Ася.

— Что происходит?

— Нас выселяют,— ответила она просто и с тихой веселостью, словно то, что муж продолжал сжимать ее пальцы, возмещало удовольствием любую неприятность.

— Нас одних?

— И нас, и нашего покровителя, и его скарб, словом — весь экипаж вон с корабля! — засмеялась она, но тут же, только чуть-чуть убавив улыбку, сказала практичным, внушающим тоном: — Ты должен выйти поговорить. Арсений Романович чересчур горячится и, по-моему, портит дело. Явился очень милый молодой военный и немножко форсит. Ты ему сбавь гонор. Слышишь, какое сражение?

Александр Владимирович неторопливо вышел в коридор.

Наваленное до потолка старье не могло даже наполовину поглотить разлив приближающихся криков. Казалось, голосят сразу несколько человек — такое множество оттенков вкладывалось в непримиримый спор. Слышались и угроза, и насмешка, и увещевание, и язвительность, и грубость.

— А я вам десятый раз повторяю, что коммунхоз тут ни при чем, помещение забирает военное ведомство! Военная власть!

— Забирает, забирает! — какими-то пронзительными флейтами высвистывал сорвавшийся голос Дорогомилова.— Никому не позволено забирать имущество коммунхоза без его согласия и разрешения, да-с, да-с!

— Военному ведомству нужно — оно берет. Война, и — как вы изволите говорить — да-с! Война, и да-с!

— Нет, не да-с! Вы делаете плохое одолжение военному начальству, если выставляете его беззаконником!

— Я делаю не одолжение, а то, что надо. А насчет беззакония вы потише. Будет законный ордер.

— Ордер от коммунхоза?

— Законный ордер.

— Законен только ордер коммунхоза!

— Не беспокойтесь.

— Это мне нравится! Меня лишают крыши, мне заявляют, что имущество и книги я могу, если угодно, проглотить — да-с, вы именно так выразились! — и мне же предлагают не беспокоиться! Но поймите же...

Пастухов стоял у окна, освещенный сверканием дня, и как ни щурился, не мог разобрать — что за человек надвигался по коридору, останавливаясь и оборачиваясь, чтобы парировать выкрики Арсения Романовича. Потом из темноты выплыли на свет сразу две фигуры. Первым шел военный в великолепном френче и в надвинутой на брови фуражке с длинным, прямым, как книжный переплет, козырьком и с щегольской крошечной рубиновой звездочкой на околыше. С ним в ногу выступал, по плечо ему, человек с плотно замкнутыми устами, полуштатский-полувоенный, в галифе, пестром пиджачке, в картузе с белым кантом, какие носят волжские боцманы. Пастухов загораживал проход, и военный, негромко шаркнув ногой, придержался, показывая, что надо дать дорогу.

В эту минуту Дорогомилов, протискиваясь вперед, вытянул руки с воплем отчаяния:

— Александр Владимирович!

Он был в одной жилетке и старинной рубашке с круглыми накрахмаленными манжетами, жестко гремевшими на запястьях, волосы его сползли на виски, перепутавшись с бородой, из-под которой свисали концы развязанного галстука в горошек.

— Александр Владимирович! Извините, пожалуйста, извините! Но послушайте. Приходит этот товарищ, осматривает квартиру и объявляет, что она будет занята военным комиссариатом. Прекрасно, прекрасно! Военным властям нужны помещения. Ну-с, а вы с семьей? Ваш маленький Алеша? А я со своей библиотекой? А коммунальный отдел Совета, чьей собственностью является весь этот дом? Гражданина военного все это не интересует. Его интересует война.

— Виноват,— перебил человек, которого интересовала война.

Заложив большой палец за портупею, он на секунду прикрыл

глаза, будто собираясь с терпением и призывая внять доводам разума. Момент этот Александр Владимирович счел удобным, чтобы, кивнув, назвать свою фамилию с внушительной размеренностью, давно установленной им для тех случаев, когда он рассчитывал произвести впечатление. Военный стукнул каблуками и взял под козырек — под свой импозантный козырек и на свой удивительно особливый лад: собрав пальцы в горсть, он раскинул ее и вытянул в лодочку у самого виска, словно погладив выбившуюся из-под околыша кудряшку.

— Зубинский, для поручений городского военкома,— сказал он совсем не тем голосом, каким только что перебранивался, и не без приятности.— Разрешите объяснить. Военный комиссар полагает занять верхний этаж дома под одно из своих учреждений. Гражданин Дорогомилов напрасно волнуется...

— Напрасно! — выкрикнул Арсений Романович и загремел манжетами.

— Совершенно напрасно, потому что ему, по закону, будет предоставлена, возможно, тут же, внизу, комната.

— Комната! Благодарю покорно! А библиотека, библиотека?!

— Относительно библиотеки лично я полагаю, что в случае ее ценности...

— Кто установит ее ценность? Вы? Вы? Вы? — исступленно закричал Дорогомилов.

— В случае ценности,— продолжал Зубинский, слегка играя своим спокойствием,— она подлежит передаче в общественный фонд, в случае же малоценности...

— Малоценности! — почти передразнил Арсений Романович.

— В этом случае она, конечно, останется за ее владельцем.

— Но помещение для книг, помещение! — требовательно возгласил владелец.

— Если недостанет помещения, тогда о книгах позаботится отдел утилизации губсовнархоза.

Дорогомилов качнулся к стене и произнес неожиданно тихо:

— Вы слышали, Александр Владимирович?

— Да,— отозвался Пастухов, усмехаясь Зубинскому,— вы зашли, кажется, чересчур далеко.

— Я отвечаю на вопросы. Это мое мнение, не больше.

— Какое же у вас мнение обо мне с семьей?

— Вот гражданин Дорогомилов требует, чтобы мы заручились ордером коммунхоза. Почему же он поселил у себя без всякого ордера вас, гражданин Пастухов?

Все молчали. Зубинский вежливо и с интересом наблюдал, как обескураженно мигает Александр Владимирович, как приглаживает волосы Дорогомилов, как помалкивает человек с замкнутыми

устами, и наконец медленно перевел взор на Анастасию Германовну, безмолвно следившую за сценой из комнаты.

— Иными словами, гражданина Пастухова с семьей вы просто выкинете на улицу, да? — вдруг спросила она мягко и с улыбкой, которая могла показаться и очаровательной и вызывающей, так что Зубинский, поколебавшись, ответил уклончиво:

— О, с таким именем, как ваше, вряд ли можно остаться под открытым небом.

— Это сказано, пожалуй, по-светски,— все так же улыбаясь, проговорила Ася,— но правда, Саша, мы предпочли бы галантности приличный номер в гостинице?

— Я предпочел бы, чтобы нас не трогали,— мрачно сказал Пастухов.

Зубинский приподнял плечи в знак того, что он отлично понимает, как все это неприятно, но он — человек службы и выполняет долг.

— Я надеюсь, вы поможете со своей стороны гражданам Пастуховым,— обратился он к своему спутнику, который, еще помолчав, с сожалением разжал рот и, будто преодолевая головную боль, выдохнул одно слово:

— Оформим.

— Простите, а вы кто? — сострадательно полюбопытствовала Ася.

— Представитель жилищного отдела,— горько сказал молчаливый человек.

— Ах, такого типа! — вскрикнул оживший Арсений Романович.— Позвольте! Жилищному отделу известны все эти намерения? И вы не проронили ни звука?! Я сейчас же иду вместе с вами и делаю заявление. Официально! Официально!

Ни на кого не взглянув, представитель жилищного отдела вразвалочку направился к лестнице. Зубинский козырнул на свой изысканный манер Анастасии Германовне, изгибом корпуса показывая, что приветствие относится и к Пастухову — побольше, и к Дорогомилову — самую малость, быстро шагнул к выходу, и слышно было, как он молодцевато забарабанил подошвами по деревянным ступеням.

Арсений Романович сложил руки, закрывая ладонями грудь, и низко поклонился Анастасии Германовне:

— Извините мне этот мой вид (он громыхнул манжетами) и эти мои ужасные вопли! Ужасные, ужасные, как на базаре!

Он устремился в темноту коридора с легкостью необычайной.

Оставшись с женой, Пастухов подошел к окну. В тишине раздавалось каждую минуту возобновляемое постукивание его ног-

тей по стеклу. Вдруг он засмеялся, вспомнив любительницу музыки в общежитии.

— Ты что? — спросила Ася.

— Есть люди настолько самонадеянные, что спроси этакого павлина — играет ли он на рояле, он, не моргнув глазом, ответит: не знаю, мол, не пробовал, но думаю, что играю...

— И ты думаешь, Зубинский из такой породы?

— Думаю, да.

— Ну, значит, мы с тобой горим! — весело сказала она, и, повернувшись друг к другу, они так захохотали, будто никаких невзгод и не было вовсе, а они шли навстречу очень заманчивым событиям.

Тогда Алеша, выйдя из своего угла, стал между родителями и Ольгой Адамовной, точно обеспечивая отступление к любой из трех точек, если будет надобность, и сказал:

— Папа, лучше, чем если нас станут кидать на улицу, то давайте будем жить в саду, а? И чтобы Арсений Романыч вместе с нами жил, хорошо?

Александр Владимирович перестал хохотать и, немного подумав, как всегда в разговоре с сыном, сощурился на него и ответил серьезно:

— Да, конечно, мы так и сделаем. Нам с тобой в саду будет чрезвычайно удобно... играть с мамой и с Ольгой Адамовной... в кто дальше доплюнется...

11

День спустя, проходя торговым рядом, называвшимся по старой памяти — Архиерейским корпусом, Пастухов с женой остановились перед газетой, только что наклеенной на кирпичную стену и обрамленной по краям, где стекал клейстер, шевелящимся ободком мух.

Военная сводка Красной Армии была грозной: фронты раскачивали свои действия все более зловеще на юге и на востоке. Нижняя и Средняя Волга по-прежнему была желанной целью белых генералов, одновременный выход к ней деникинского правого фланга с донских степей и колчаковского центра из Заволжья означал бы слияние разомкнутых военных сил контрреволюции, которые теперь поднимались явно для решающего удара. Казаки уральских и оренбургских степей должны были бы сомкнуть звенья мертвой цепи вокруг Республики Советов. Саратов в этой борьбе громадного стратегического масштаба был рукоятью меча, опущенного клинком вдоль Волги, на юг, и одним лезвием обращен-

ного к западу, против деникинских армий, другим — на восток, против казаков. Переломить этот уже испытанный большевиками, послушный им меч, выбить эту рукоять из непокорной десницы революции — было ближайшим намерением белых, и для осуществления его они согласились между собой не пощадить крови.

Поспешно надвигавшееся лето несло с собою на Саратов, казалось, одинаково горячие ветры с трех сторон — с низовья, где так же, как год назад, у всех на устах был Царицын, с донских хлебных равнин, где страшной опухолью набухал новый фронт, и из Заволжья, где, в глубине степей, казаки осадили свою главную станицу — завоеванный красными Уральск. От этих ветров, ускорявших жаркий свой бег, становилось тяжелее дышать, город чувствовал: быть лету знойным.

Всякий хорошо понимал, что жизнь и в самом коротком, и в самом дальнем будущем зависит от гражданской войны, ее повседневного течения, ее конечного исхода. Но, понимая это и либо отдавая войне то, что она требовала, либо противясь ее требованиям, всякий был связан общей жизнью, рассчитанной не на военное, а на мирное будущее, и вдобавок неизбежно вел свой личный быт, то совпадавший, то совсем не вязавшийся с жизнью общей. Все это уживалось в переплетении иногда красочном, иногда бесцветном, и с такими внезапными переменами, что один час никак нельзя было уподобить другому.

По дорогам маршировали рабочие отряды, запыленные, с деревянными мишенями на плечах бойцов. Госпитали мчали на грузовиках свои кровати, учреждения — свои оббитые шкафы. В трудовых школах девочки и мальчики лепили из розового и зеленого пластилина петушков и лошадок и устраивали выставки своих изделий. На заводах и в мастерских паяли и начиняли взрывчатой смесью ручные гранаты. В садике наискосок Липок толпа любителей в поздние сумерки, подковой окружив эстраду, слушала поредевший после войны симфонический оркестрик и наблюдала за извивами худосочного дирижера — городской знаменитости, прямоволосой, как Лист, и черно-синей, как Паганини. На Верхнем базаре, оцепленном нарядом красноармейцев, вели облаву на дезертиров. В газете появлялась значительная статья о предстоящей петроградской постановке «Фауста и города». Шли съезды сельских Советов и крестьянской бедноты. В кино показывали «Отца Сергия» Льва Толстого. У пекарен дежурили очереди за калачом. Городской Совет выпускал обязательное постановление о снятии с домов старых торговых вывесок. Церкви густо благовестили ко всенощной. Против здания бывших губернских присутственных мест возводилась из цемента еще неясно угадываемая конструкция революционного памятника.

Прочитав сводку, Ася и Александр Владимирович перекинулись скорым взглядом, который был им до дна понятен без слов. Но в тот же момент, обернувшись к газете, Ася сказала:

— Смотри.

И они вместе, почти касаясь друг друга головами, приблизились к темным от проступившего клейстера строчкам:

«К приезду А. Пастухова. В Саратов прибыл драматург Александр Пастухов, пьесам которого не раз бурно аплодировали наши ценители театра. Имя его должно быть известно у нас не только поклонникам сценического искусства, но также и в революционных кругах. В свое время А. Пастухов участвовал в распространении в нашем городе подпольных листовок против самодержавия и пострадал от царских охранников. Деятели прогрессивной местной печати предпринимали шаги в его защиту, но безуспешно: мрачные силы прошлого не могли простить начавшему завоевывать популярность литератору его симпатий к угнетенным массам, его самоотверженную помощь революционерам. Теперь, когда рабочий класс открыл широкий простор для творческих талантов народа, мы можем ожидать, что из-под искусного пера нашего земляка А. Пастухова выльется немало произведений, которых от него вправе ожидать современный зритель. Театральная общественность желает ему на этом ответственном пути славных удач и свершений. *ЮМ*».

Они отошли от газеты и завернули за угол, Ася взяла мужа под руку. Не глядя на него, она видела его мину. Оттого, что он вобрал шею в воротник, у него вздулся второй подбородок, нижняя часть лица выросла, губы припухли, как спелый гороховый стручок. Он смотрел вдаль, веки его то начинали мигать, точно стараясь освободить глаза от царапающей помехи, то замирали, полуприкрытые.

Раздался внезапный трезвон на звоннице архиерейского двора, и сразу готовно отозвались многоголосые колокола нового собора: преосвященный выезжал из ворот на своей тяжеловатой, небыстрой паре темно-карих. Пастуховы должны были пропустить карету и увидели его через начищенное стекло дверцы — он слегка наклонял черный клобук и пухлыми, как пшеничный хлеб, короткими пальцами, чуть выглядывавшими из лилового шелкового отворота рукава, благословлял направо и налево.

Ася тихонько перекрестилась.

— Тьфу! Поп переехал дорогу,— буркнул Пастухов с явным умыслом показать, что его настроение превосходно.

— Какой же это поп, Саша? Это монах!

— По-твоему, монах — к добру?

— Непременно к добру!

— Тогда другое дело,— согласился он и, омыв ладонью лицо, засмеялся: — Мерцалов! *ЮМ!* Ах, шут гороховый! Удружил!

— Ты мне никогда не говорил об этой истории,— облегченно сказала Ася.— Подполье, прокламации, революционеры. Что это?

— Да ерунда! Ты же знаешь — или забыла? — старый анекдот с подпиской о невыезде. Ну, действительно, меня тогда здесь подержали, хотели что-то там такое мне приписать... пришить, как говорят по-блатному. Чепуха! Выдумки.

Он помешкал, нервно расстегивая и распахивая пальто, потом вдруг досказал:

— Во всяком случае, сильное преувеличение. Этот заржавленный прогрессист стряпает, наверно, для себя, свою домашнюю кухню, больше ничего. Постную лапшу из провинциальных бредней...

— Но что-то все-таки было?

— Ах, ну что там могло быть! Какие-то пустяки...

Он немножко посвистел, приосанился, и она поняла, что он еще не решил, как отнестись к навязанным ему заслугам.

— Что же, что пустяки,— мурлыкнула она вкрадчиво и любяще,— нам, бедным, и пустяками нельзя брезговать, если пустяки на руку. Все сложилось не по нашей вине, не по нашему желанию...

Он передернулся, она ответила неслышным, шутливым и таким убедительным своим смешком, и тогда он произнес резко:

— Не могу же я, в самом деле... раз это ниже моего достоинства...

Она чуть пожала ему руку выше локтя, он насупился и промолчал всю дорогу до дома...

Арсений Романович с первых дней настоял на том, чтобы Пастухов пользовался кабинетом и библиотекой, потому что заниматься в комнате, где находилась семья, было затруднительно, и Пастухов принял этот порядок. Он расположился за письменным столом, приведя его в чистоту, хотя считал, что как раз этим больше всего нарушает привычки хозяина-холостяка. Но он не выносил ни пыли, ни лишних вещей перед глазами. С тоской он вспоминал свой стол — лампу на высокой хрустальной колонке, бледно-фиолетовый абажур, кубический стеклянный массив чернильницы, желобок из папье-маше с золотым китайским драконом, и в желобке — целую поленницу отточенных карандашей. Карандашами занималась Ася: он их ломал, она чинила, и она же ставила рядом с чернильницей какой-нибудь цветок — смотря по сезону: тюльпаны ранней весной или связку нарциссов, зимой — ветку оранжерейной азалии, малиново-алой, как огонь, летом — левкой,

или просто ромашки, или два-три длинновязых розовых лупина. Прихотливая череда запахов проходила комнатой Александра Владимировича, и чего только он не отыскивал в оттенках благоуханий, и как только не поражал своими открытиями жену.

— Ася! — звал он содрогающим квартиру криком.— Поди сюда!.. Закрой глаза, нюхай. Правда, в этих окаянно-невинных благовещенских лилиях спрятаны опенки? А?

— Да что ты! — восклицала она, счастливая и неверящая.— И правда! А говорят — лилии без запаха! Как же я не замечала?! Боже мой, совершенные опята! Жареные опята!

— Да не жареные, а свежие, только что снятые с гнилого пенька! Такие розоватые со ржавчинкой, кустиком, на палевых ножках. Убирайся, ты ничего не понимаешь, у тебя в носу вата от насморка!.. И заметь: опёнок — происходит от слова пенек, опёнышек растет на пёнышке. Это открытие сделано мною. Поняла? Ну вот, запомни, что у тебя муж — гений. И уходи, пожалуйста, безносая, ты мне мешаешь работать...

В кабинете Дорогомилова пахло следами мышей, при белом свете резво шуршавших книгами, где-нибудь между стеной и задней полкой. Книги пахли книгами: этот аромат не сравним ни с чем. Особенно книги восемнадцатого века, из тех, которые понемногу перекочевывали из усадеб в город, с обветшалыми дворянами или с поповичами, изменившими сельским церковным слободкам отцов — желтые или пепельно-голубые, с едва улавливаемой на свет водяной сеткой страницы «Нового Плутарха», «Словаря суеверий», «Смеющегося Демокрита». Но и позднейших лет книги, прошедшие базарным «развалом», через руки содержателей ларьков и букинистов, несли в своих разворотах букет неповторимой кислятинки и заболони, напоминая и винный бочонок, и обчищенный прут лозняка — первородный запах легко принимающей влагу древесины, которую со временем все больше добавляют в бумагу. Старинная тряпичная бумага немного похожа на выветриваемый бельевой комод или донесшийся издали дух белошвейной мастерской. Но все это только приблизительные уподобления, потому что книга пахнет книгой, как вино — вином, уголь — углем,— она завоевала место в ряду с основными стихиями природы, это не сочетание, но самостоятельный элемент.

Пастухов клал рядом с чернильницей карманные часы: он работал много, однако всегда по часам. Но, воззрившись на золотую шелковинку секундной стрелки, он чувствовал, что обычное сосредоточение фантазии вокруг одной темы не приходит, что — наоборот — в кабинете Дорогомилова мысль развеивается, будто невесомая пыльца цветений — то туда, то сюда, куда дохнет прихотливым воздухом весны. Тогда он шел к полкам и, как попугай, вы-

тягивающий билетик «счастья», тащил за корешок какой-нибудь приглянувшийся томик.

Обычно он брался за историю. То, что прежде казалось достоянием университетских приват-доцентов, архивных крыс и мертво покоилось в прошнурованных «делах» и учебниках, теперь приобретало для Пастухова живой смысл и беспокоило, как личная судьба. Громы, ходившие второй год, днем и ночью, за пределами ненадежных убежищ Александра Владимировича, перекликались с отдаленными событиями, описанными на полузабытых страницах. Наверно, прошлое умирало только мнимой смертью вместе с пережившими свой век летописями, но вечно пребывало в крови народа, взметывая языки старого пламени, едва загорался новый огонь — огонь возмездия и неистовой тоски о лучшей доле.

Пастухов читал о народной войне Пугачева, и Емельян Иваныч возникал перед ним, как призрак, явившийся на желтых лысых взгорьях, обнимающих Саратов. Былой хорунжий стоял без шапки, уткнув кулаки в бока, августовский полынный жар шевелил его русую гриву, и он спокойно и грозно глядел вниз, на городских людишек, которые, с занявшимся духом, взбирались к нему вверх, чтобы положить к стопам покорителя городские ключи. Он въезжал на вороном коне, сам как ворон — жгучий и окрыленный,— с казачьей шашкой на бедре в серебряных, как белое перо, ножнах, с распахнутым воротом пунцовой шелковой рубахи под бешметом, въезжал через открытые Царицынские ворота в город, и народ кидал над головами шапчонки и бежал за его конем, шумя и выкликая изустные челобитные на своих ворогов-утеснителей. В закатный час, под звон соборной колокольни, восседая на приподнятом помосте, крытом отнятыми у богачей закаспийскими коврами, он милостиво принимал присягу горожан, и вольные его сподвижники, руками проворного на расправу войска, развешивали вокруг Гостиной площади изловленных дворян, царевых ставленников, вредных купчишек, и тот же терпкий от полыни степной ветер покачивал на глаголях висельников и, накружившись вокруг них, летел в Заволжье.

С извечным этим ветром уносился Пастухов прочь из пугачевщины, перелетая через желтые горы, через Волгу, через степи на полторы сотни верст и на добрые полторы сотни лет к недавним дням.

Тогда слышался ему топот белого коня и свист его ноздрей, и на коне, прижавшись к гриве, скакал, заломив папаху, светлоусый всадник с прищуренным глазом под стиснутыми бровями, и за всадником, переливаясь, словно ковыль, волнами, накатывались ярые конные полки. Это был балаковский плотник, недавний подпрапорщик из солдат, теперь собравший на просторах Заволжья

конную и пешую рать в защиту революции от возмутившихся против нее уральских станиц. Под знаменем большевиков карал он — красный командир Василий Иваныч — карал и казнивал корыстный старый мир щедрой и увесистой народной дланью. Имя его уже неслось впереди него восточным гортанным клекотом — Чапай, Чапаев — по всему Уралу, по всей Волге. Как прирожденный хозяин степей брал он степные города и станицы, нарекал их новыми именами — повелительный крестный отец — и скакал, скакал, загоняя под собою коней, по великой равнине от Узени до Урала, от Иргиза до Белой. Опаленный все тем же неистребимым полынным жаром августа, отвоевывал он у белых захваченный ими родной уездный город Николаевск, и когда вел свой Первый имени Емельяна Пугачева полк в атаку — сбивать с позиций чешскую артиллерию,— наименовал штурмуемый город Пугачевском, отменив рабочей и крестьянской властью царское его Николаево величанье, и конники, скача в атаку, грянули на всю раздольную ширь: «Даешь Пугача! Даешь!»

Случилось это за девять месяцев до того, как сейчас, весной, Пастухов думал об Емельяне и о Василии Иванычах, отыскивая сходства и различия между пугачевской вольницей и чапаевским краснознаменным войском. Теперь Василий Иваныч бился уже далеко от Пугачевска, ломая и руша строй офицерского корпуса Каппеля. Иные города встречали чапаевских всадников, иная музыка Заволжья — будто барабанный бой — Бузулук, Бугуруслан, Бугульма, Белебей.

Но как ни менялась музыка имен, как ни рвались вперед и ни вращались события, Пастухову все слышался неотвратимо зовущий жар полыни, который объял равнинные пространства русского юго-востока, соединив их во времени и в чувстве. Тогда он думал, что судьбы народа из века в век решались в этом полынном зове юго-востока. Здесь пробовалась прочность русского копья, здесь мерилась крепость сабель, здесь посвист казака играючи перекликался со свистом пули. От поля Куликова до Степана Разина, от Пугача до неизловимых вольниц волжского Понизовья, в степном углу, где сблизились, чтоб снова разминуться, два многоводнейших русла — брат и сестра,— звоном оружия вырубалась история народной славы, народного недовольства, народного гнева. И вот опять, в том же сладостно-горьком степном углу, назад тому немногие месяцы, около города — ключа волжского Понизовья, который величали еще по-царски — Царицыном, выиграна была первая из великих военно-стратегических битв за хлеб, за волю, за Советскую власть. И еще раз, уже сейчас, новой весной, все в той же степи юго-востока — где брат тянет руку сестре — с новым зноем нависала душная туча: казачий Дон лязгал сталью

шашек. Крестьянская, рабочая Волга выкатывала на курганы пушки...

Пастухов вздрогнул от негромкого стука в дверь: Арсений Романович заглядывал в комнату с видом раскаяния в такой непростительной смелости. Нет, нет, он не хотел мешать, ему нужно только на секундочку, и он сейчас же уйдет — варить свой суп из воблы. Правда, ему хотелось сказать об одной новости, но это можно и отложить.

— Да входите вы, пожалуйста, ведь это же — ваш дом! Мне, ей-богу, неловко! Я ничем не занят. Сижу, перелистываю Соловьева. Что-нибудь насчет выселения?

Нет, насчет выселения не было никаких новостей, жалоба Арсения Романовича еще не рассматривалась, а военные власти ничего о себе не давали знать.

— Пока живем, живем! — бодренько сказал Дорогомилов.— Но есть одна новость.

Он извлек из бокового кармана и распахнул газету.

— О вас,— произнес он уважительно.

— Ах да,— быстро ответил Пастухов,— читал.

— Читали? Я тоже прочитал и очень, очень рад!

— Рады?

— Ведь сами вы не сказали бы, что вы не только слуга Мельпомены, но и слуга народа?!

— Ну, знаете,— как бы отклонил незаслуженную честь Пастухов.

— Я только подумал — по какому же вы делу привлекались? По времени получается — по рагозинскому. Не по рагозинскому?

— Некоторым образом, если угодно,— без охоты сказал Пастухов, отходя к окну.— Бросьте вы об этом!

— Я понимаю, хорошо понимаю! — воскликнул Арсений Романович, сделав шаг вперед и сразу же отступив в застенчивой нерешительности.— Эта заметка, как бы сказать, ранит вашу скромность, да? Извините меня, это так понятно, что ведь нельзя же человеку о самом себе так вот и заявить, что я, мол, страдал за народ и имею, что ли, заслуги перед революцией. И даже, может быть, неприятно, если другой кто-нибудь возьмет и заявит — смотрите, мол, вот он, в своем роде, исторический деятель. Ну, и вообще такого типа. Я бы тоже ни за что не проронил бы о себе ни слова, если бы и сделал что-нибудь в прошлом для успеха движения...

— Ну, если бы сделали, то почему же? — убежденно вставил Пастухов.

— Нет, нет, нет! Что вы! — совсем в испуге взмахнул руками Арсений Романович.— Нет! Я почему взволновался? Я как прочи-

тал, так невольно подумал, что неужели вы тоже... то есть неужели вы участвовали в рагозинском деле? И мне, знаете, пришла идея... или, как бы сказать, я перенесся в ваше положение и решил, что вам, наверно, очень было бы интересно узнать, как это тогда все происходило...

— Что происходило?

— То есть нет, нет! Может быть, вы стояли гораздо ближе... и даже наверно, наверно стояли так близко, что вам все отлично в самых мелочах известно!..

— Что известно?

Дорогомилов, переплетя пальцы, теребил руки, прижимая их к груди, розовые, стариковские румянцы выступили над путаной седой бахромой его бороды, он приподымался па носках, словно стараясь куда-то заглянуть, и Пастухов смотрел на него уже с той жадностью, которая обычно возникала, когда он чего-нибудь вовсе не мог понять.

— Я подумал, что если вы причастны к этому делу, то все-таки мне, как вашему знакомому, следовало бы, может быть, сказать, что́ собственно известно лично мне...

— Арсений Романыч! Ну говорите же, ради создателя!

— Нет, нет! Вы только не заключайте, пожалуйста, и я даже буду вас просить дать мне слово, что вы не поймете так, будто я хочу как-нибудь фигурировать или создать впечатление, будто я тоже какой-нибудь революционер, стать как бы в один ряд с вами, Александр Владимирович,— нет, нет! Я просто никому об этом...

— Арсений Романыч!

— Ну, так пожалуйста, пожалуйста!

Дорогомилов расцепил пальцы, сложил аккуратно на столе газету, чиркнув ногтями по ее складкам, и, приведя себя в спокойствие, сказал тихо:

— Вам, вероятно, будет интересно узнать, что Петр Петрович Рагозин, когда его разыскивало в тысяча девятьсот десятом году охранное отделение, никуда не уезжал из Саратова и находился...

Арсений Романович вздохнул глубже и слегка поднял дрожавшую руку, показывая на боковую узенькую дверь.

— ...вот здесь.

— У вас?

— Вот в этой самой библиотечной комнатке.

— Значит, вы...— сказал Пастухов, но Дорогомилов не дал ему договорить.

— Я прошу — поймите меня: я не о себе хочу, а только о Петре Петровиче. Он не потому у меня очутился, что я принимал какое-нибудь участие в его деле, как, допустим, вы, а совсем наоборот — потому что я никакого, ну просто-таки никакого отноше-

ния ко всему этому не имел. А когда подпольному комитету партии стало известно, что готовятся повальные аресты, тогда один мой старый знакомый, который в комитете работал, пришел ко мне и сказал, что надо укрыть одного хорошего человека и что моя квартира вполне для этого безопасна, потому что все меня считают (тут Арсений Романович улыбнулся детской и в то же время хитроватой улыбкой и затем дохнул с открытой душой)... ну, что говорить, считают вроде как за городского дурачка. Это он мне прямо не выговорил, но я понял и согласился, нечего греха таить, согласился, потому что ведь это, ей-богу, так. И потом ко мне хороший человек явился, и я его вот тут вот...

Дорогомилов подбежал к библиотеке, рассек рукой воздух между полок, отпорхнул назад, к старому дивану с желтым исцарапанным кожаным сиденьем, и, прижав к нему обе ладони, закончил с проникновением:

— Вот на этом диванчике, там, за полками, Петра Петровича я тогда и водворил.

Арсений Романович принял вид несколько церемониальный, откинув волосы, одернув сюртук и ожидая, что скажет Пастухов.

Александр Владимирович зашел в библиотечную комнатку, постоял перед полками, медленно вернулся, сел на диван, легко оглаживая прохладную полировку спинки, потом достал портсигар и стал разминать папиросу.

— И долго он у вас там за полками сидел?

— Двадцать семь дней! — не задумываясь, дополнил Дорогомилов.

— Не выходя?

— Не выходя.

— Но как же он...

— Все, все, что ему было нужно, я доставлял...

— Но что же он все-таки целый месяц делал?

— Читал.

— Читал?

— Да. Вот извольте — что это? Соловьев? Читал и Соловьева. И даже на многих книгах оставил заметочки карандашом.

Дорогомилов схватил со стола книгу и поспешно залистал страницы.

— Вот, вот, к примеру...

Пастухов увидел на полях малоразборчивую резкую надпись поперек отчеркнутых строчек и пробежал взглядом отмеченное место. Это была грамота Пугачева, где он, милостью своей императорской личины, жаловал всех своих приверженцев «...рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованьем, и провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью...».

— Вы можете разобрать, что тут написано?

— Могу,— сказал Дорогомилов и прочел: — «Так будет».

— Это написал Рагозин?

— Да, это написал Петр Петрович.

Пастухов поднялся, окученный клубами папиросного дыма, долго стоял, вызывая неподвижностью своей молчаливое и почтительное ожидание у Арсения Романовича.

— Что же — преемственность?

— В каком отношении? — не понял Дорогомилов.

— Я до вашего прихода, читая о Пугачеве, думал о происходящем нынче там, за Волгой, на Дону, по всей России. Порох, заложенный тогда, горит сейчас. Правнуки казацкой вольницы скачут по степям.

— И да и нет! — торопясь, сказал Дорогомилов.— Народный суд, который тогда был силою прерван и который после того сколько раз зачинался опять и сколько раз опять прерывался, он сейчас продолжается, это так. Но цель-то ведь не только суд и кара, правда? Цель-то ведь — устройство иного общества, ведь верно?

— Но вы видите: Рагозин приложил собственную руку под обещанием Пугачева, а?

— Под мечтой его, под благодетельной мечтой! Не под казацкой вольницей! Под будущим приложил свою руку, которое таилось в пугачевском обете, а не под прошлым.

— А не кажется вам, дорогой Арсений Романович, что народ безудержностью своего суда, разгулом страсти своей, крепче укоренит то прошлое, которое сейчас корчует?

— Никогда, Александр Владимирович, никогда, говорю я, ибо он, корчуя, насаждает!

— Хотел бы я думать так, как вы! Но разве не смоет этот карающий поток слабенькие саженцы, которые мы едва видим в его водовороте?

— Слабенькие? Вы называете их слабенькими? Да самый поток-то извергнут одним таким ростком — великой идеей насаждения государства на совершенно народной основе. Поток-то этот всеразрушающий новым государством и направляется! Этим слабеньким, как вы говорите, саженцем!

— Однако не слышно ли слепой стихии в нашем окраинном свисте и топоте конниц?

— Разве что всякое величие может быть названо стихией! Да и не окраинный это свист и топот! Мне слышно другое. Сейчас сказано бессмертное слово, слово о власти труда, которое свяжет все окраины в целое!

— И неделимое?

— И неделимое!

— Но об этом и на Дону говорят, Арсений Романович...

Пастухов как будто поддразнивал его, любуясь священной серьезностью, с какой он выкладывал свои убеждения. Но игра не мешала Пастухову согреваться пылом неусмиримой веры в седоволосом растрепанном человеке, и он чувствовал, что спор влечет к тому самому главному, о чем думалось с каждым днем больше и больше,— о своем месте в происходящем.

— На Дону! — с возмущением сказал Дорогомилов и даже отворотился прочь, показывая, что такого довода он себе решительно не представляет.— Там говорят о неделимой России прошлого. А тут народ настолько сметает все прошлое, что...

Дорогомилов неожиданно схватил Пастухова за лацкан и, подергивая книзу на каждом слове, провещал в каком-то сурово восхищенном рвении:

— ...народ будет вынужден взять на себя все будущее и по необходимости построить свой совершенно иной мир. Как поется в гимне! Да-с! И это будет великий подвиг!

Он тут же застеснялся своего душевного рывка и отскочил сейчас же в сторону, как только досказал о подвиге.

Мысль его поразила Пастухова. В том, как было выговорено слово «необходимость», точно впервые обнажился настоящий смысл непременности и такой предрешенности, что уж будто новому миру ничего не могло оставаться, как только возникнуть. И то, что слово это сказано было старым человеком без какого-нибудь страха или опасения перед будущим, но с юношеским восторгом, наполняло его пророческой силой, которая тотчас, как всякая сила, оказала действие, вызвав в Пастухове желание ей подчиниться. Но он слишком привык начинать с возражений встреченному факту и сразу понял смешную сторону своего желания: хорош бы он в самом деле был, если бы упал в объятия этому чудаку в сюртуке, вдруг признав в нем самого убедительного из пророков, которые до сих пор ни в чем Пастухова не убедили! И, повременив, пока не улеглась потребность слиться чувством с перетревоженным Арсением Романовичем, Пастухов сказал:

— Вы убеждены, что разум переборет страсти прежде, чем они подчинят себе события?

— Он не собирается бороть страсти, это было бы гибелью. Он их направляет.

— Компасом Рагозиных?

— А вы сомневаетесь? Вашим компасом, если вы не выпустили его из рук с тех пор, как держали вместе с Рагозиным.

Дорогомилов вдруг потерял свой взбаламученный облик и глядел на Пастухова похолодевшими, даже жестокими глазами, словно пробуя его выдержку. Уж не осталось следа от уважительности

в голосе, уже совсем будто и не было боязни как-нибудь задеть скромность Пастухова, а было только испытание, взыскательный экзамен, и как экзаменатор, решивший добить ускользающего от прямого ответа ученика, Дорогомилов спросил без обиняков:

— Но, может быть, вы отошли, Александр Владимирович, от взглядов Рагозина за истекшее время и находитесь в другой партии?

Несмотря на примелькавшуюся обычность разговора о партиях, вопрос показался Пастухову необыкновенным и на секунду смутил и почти оскорбил именно тем, что задан был с экзаменаторским намерением принудить к прямому ответу. Кроме того, Пастухов становился из наблюдателя наблюдаемым, и это его крайне умалило в собственном о себе мнении. Но обижаться было малодушием, и он, как всегда в затруднительных случаях, прибегнул к спасительному своему жесту омовения лица. Он утерся ладонью, помигал и с легким сердцем засмеялся.

— Никогда я, милый Арсений Романович, ни к каким партиям не принадлежал, да и не собираюсь принадлежать. Историю, которая со мной приключилась во время рагозинского дела, я когда-нибудь расскажу. А вы расскажите, как же было дальше с Рагозиным, когда он у вас тут сидел?

— Да, да,— вдруг обретая свою беспокойную обязательность, заспешил Дорогомилов.— Замечательно, что я вовсе и не знал тогда, кто у меня укрывается.

— Как так?

— Я же ведь понимал, что спросить об этом значит получить не отказ даже, а просто ничего не сто́ящий ответ, вымышленное имя, и все. И я не думал спрашивать. Я только год спустя узнал, кто был этот хороший человек. И, знаете, хотя прошел уже целый год, я все-таки очень тогда испугался!

Арсений Романович улыбнулся со счастливым удовольствием.

— Испугались через год? — опять засмеялся Пастухов.

— Испугался через год! Очень уж в городе шуму много было вокруг его имени. Да вы помните?

— Ну, а как все кончилось?

— Кончилось просто. На двадцать седьмые сутки, в ночь, я проводил Петра Петровича на берег, в приготовленную заранее однопарную лодку, и он один отплыл по течению, до села Рыбушек, как он мне сказал, где должен был сесть на пароход. Наверно, так все и вышло. Я у него не расспрашивал — с верхним ли он поедет пароходом или с нижним, а лодку мы договорились, что он бросит. С той ночи я его не видел до самой революции: когда он сюда вернулся, я его слушал на митинге.

— Он здесь? — воскликнул Пастухов.

— Да разве вы не знаете? — тоже изумился Дорогомилов.

— И вы с ним не встречаетесь?

— Нет.

— Позвольте,— вскидывая руки, сказал Александр Владимирович,— позвольте! Что же вы столько себе задали треволнений, хлопоча в каком-то там коммунхозе, чтобы вас не выселяли из собственной квартиры, если вам стоило пойти к Рагозину, и он вас во дворец бы переселил, с почестями и с музыкой!

— Это почему же? — спросил Дорогомилов и нагнул вбок голову.

— Как почему, странный вы человечище? Да ведь вы ему жизнь спасли!

Дорогомилов, весь съеживаясь, как от налетевшего озноба, проговорил с подавленной обидой:

— Я провалился бы от стыда, прежде чем это сделал бы.

В эту минуту в коридоре зазвучали голоса, сильнее и сильнее, сначала женские, потом мужской — на редкость полный, с маслянистым переливчатым оттенком, и Пастухов, испытывая неприятное стеснение перед оскорбленным Арсением Романовичем, обрадовался нежданной выручке, насторожился на шум и вдруг с облегчением узнал этот особенный мужской голос и кинулся к двери:

— Цветухин! Пришел Цветухин!

12

Когда Егор Павлович сбрил усы, обнаружилось, что у него — слегка вздернутый нос и выпяченная нижняя губа, которая как бы припечатывала речь в конце слов. Возможно, он носил усы, чтобы сгладить этот недостаток, и так же возможно — сбрил их, чтобы смягчить следы, положенные на лицо работой времени.

Но за этой неожиданной губой и за этими морщинами Пастухов тотчас увидел прежнего Цветухина — бурсака, фантазера, любимца публики, чуть-чуть гарцующего смуглого красавца, и на секунду растрогался. Обнимаясь, они оба ощутили наплыв того родственного молодого, что связывало их в прошлом.

Егор Павлович сразу, однако, как-то заиграл, взяв шутливый, пожалуй насмешливый, тон, к которому прибегают люди независимые, старающиеся показать, что они за себя постоят, если их чувство равенства будет задето чьим-нибудь превосходством. Это — одна из чувствительных заноз, мешающих непринужденности отношения некоторых даже тонких людей провинции к так называемым столичным птицам: боязнь оказаться ущемленными часто лишает гордецов возможности, в свою очередь, обнаружить истинное превосходство над такими птицами.

Произойди первое свидание приятелей наедине, оно прошло бы совсем иначе. А тут Цветухина изучали сразу и Анастасия Германовна, встретившая его с обаятельным, хотя почти артистическим расположением, и взволнованный Дорогомилов, о котором Егор Павлович слышал, как о своем присяжном поклоннике. Вдобавок, встреча сопровождалась одним смешным обстоятельством, толкнувшим Пастухова к игривости, так что, против ожиданий, все пошло слегка вкривь.

С Цветухиным явилась девушка, отрекомендованная им запросто: «Моя ученица Аночка». Она оказалась знакомой Дорогомилова, но, несмотря на это, в первый миг очень смутилась, будто попала бог знает куда, и сразу отступила в тень, за этажерку, с таким вежливо умоляющим выражением лица, словно просила о себе забыть. Оттуда она и выглядывала, наблюдая особенно за Пастуховым.

— Что, старый революционер? — чуть ли не со второй фразы после «здравствуй», пожаловал Цветухин.— Воевать приехал?

Он со вкусом потер руки, точно хотел сказать, что, мол, вот я сейчас возьму тебя в работу!

— Это ты, говорят, здесь воюешь,— усмехнулся Пастухов.— Взорвать театр собрался?

— Мы — что! Перелицовываем, что можем, как костюмеры. Из рогожки парчу делаем. А ты залетел в самое поднебесье. Не достанешь. Революцию делал. От царской охранки пострадал!

Цветухин шельмовски сощурил один глаз, но не настолько, чтобы это можно было счесть за подмигиванье.

— Я-то при чем? — сказал Пастухов, и усмешка его сделалась неподвижной.— Это все ваш Мерцалов.

— Да уж там наш или не наш! Мерцалов или не Мерцалов! Только теперь весь город знает про р-революционные заслуги Александра Пастухова.

— Разве это плохо? — спросила Анастасия Германовна в обворожительном испуге.

— Помилуйте! Помилуйте! — вскрикнул Цветухин и потом сразу опустился до шепота, прикрывая рот указательным пальцем: — Оч-чень, оч-чень хорошо! Замечательно! И, между нами, в высшей степени своевременно!

Он громко засмеялся и опять сощурил глаз.

— У тебя тик? — полюбопытствовал Пастухов.

Ощупывая свое лицо, Цветухин быстро перешел на крайнюю озабоченность.

— Тик? Почему тик? Ты что-нибудь заметил? Ты меня убиваешь. Аночка! У меня тик, а?

— У тебя глаз дергается,— сказал Пастухов.

— Ах, глаз! — снова засмеялся Цветухин.— Так это он ослеплен видом испытанного в боях революционера!

— Ладно, ладно! Вместе ведь прошли наш доблестный путь благородный...

— Ты уверен? — тихо и серьезно сказал Цветухин.

— Не столько уверен, сколько помню, как ты трясся при мысли о жандармах.

Взгляд Цветухина сделался странно отвлеченным.

— Это хорошо, что ты не совсем уверен,— проговорил он вскользь и, выдержав паузу, спросил еще серьезнее: — Ты не допускаешь, что с моей стороны это могла быть конспирация?

— То есть ты трясся... для конспирации?

— Вот именно. Для конспирации.

— От кого?

— От тебя.

Они посмотрели друг на друга в молчании, Цветухин — затаенно-многозначительным взором, его приятель — часто и мелко моргая легкими веками.

Вдруг Егор Павлович захохотал, навалился на Пастухова, туго обхватил его плотный стан и, хлопая ладонями по спине, как делают, разогреваясь на морозе, стал выкрикивать сквозь хохот:

— Поверил! Поверил! Поверил!

Все развеселились, и Пастухов, высвобождая себя из объятий, подобревшим тоном пропел:

— Ну-ну, ступай к черту, комедиант несчастный...

— Погоди, мы еще вернемся к твоей биографии. А сейчас — два вопроса. Во-первых: употребляешь?

— У тебя есть? — недоверчиво спросил Пастухов.

Цветухин, откидывая полу пиджака, показал на вздутый брючный карман.

— Не верю,— скороговоркой буркнул Пастухов.

Цветухин медленно вытянул на свет бутылку с коричневатой жидкостью.

— Не верю,— холодно повторил Александр Владимирович.

Цветухин, оглядев все углы комнаты, истово перекрестился на окно.

— Все равно не верю. Что это?

Цветухин зажмурился и чуть-чуть покачал головой.

— Что за зелье, я тебя спрашиваю, комедиант?

— Пер-вач,— сценическим шепотом произнес Цветухин и вскинул брови до предела.

— Не может быть,— сказал Александр Владимирович потрясенным голосом.— Немыслимо. Неправдоподобно. Противоречит естеству человеческого разумения. Убью, если врешь, Егор!

— Аночка, подтверди! — с мольбой попросил Цветухин.

— Есть ли хоть крупица правды в том, что говорит этот безрассудный человек? — строго обратился к ней Александр Владимирович.— Спиртоносит ли хоть самую малость содержимое этого убогого сосуда?

— К сожалению, да,— улыбнулась из своего укрытия Аночка.

Пастухов взял у Егора Павловича бутылку, приподнял к свету, проницательно вгляделся в загадочный туман влаги, внезапно прокричал:

— А-ся! Немедленно на стол стюдень!

— Боже мой, сколько шуму! — ответила Ася, делая перепуганное лицо и в то же время премило смеясь Аночке, как естественной союзнице.

— Воболка! — неожиданно тонко воскликнул Дорогомилов.— Есть провяленная весенняя астраханская воболка!

Он с прихода гостей не проронил ни звука, сначала не понимая, что происходит — ссорятся ли друзья или шутят, а потом чувствуя, как завораживают и тянут за собою переливы и прыжки цветухинской игры. Раньше Егор Павлович доставлял ему глубоко интимные переживания. Актер был зрелищем, резко отделенным непереходимой чертой: он действовал, а Дорогомилов смотрел. Теперь никакой черты не было, зрелище вошло в самый дом Дорогомилова и звало не к созерцанию, а к действию наравне с актером. Это было невероятно: Арсений Романович будто попал на сцену и участвовал в одном спектакле с Цветухиным!

Но, воскликнув насчет воболки, Арсений Романович тут же застеснялся, потому что все стали глядеть на него с ожиданием — что же он теперь сделает, и ему непременно надо было что-нибудь сделать. Пастухов рассматривал его зашевелившиеся космы с таким изумлением, будто эти сивые пряди волос вдруг ожили на манекене в пыльном окне парикмахерской. Дорогомилов замер. Тогда Александр Владимирович подвинулся к нему, тронул мягко под локоток и произнес, слегка загнусавив, мучительно и сладострастно:

— Арсений Романович, милый! Поколотите! Поколотите! Поколотите ее об угол плиты. Покрепче. Пока не проступят соки. Потом облупите и надерите, родной мой, со спинки, с балычка, этаких тоненьких ремешков. От хвостика к головке.

Цветухин туго зажмурил глаза.

— Ремешками такими, ремешками! — изнывая, договорил Пастухов и тоже зажмурился.

— Чую! Чую настоящего земляка! И отлично понимаю! — опять воскликнул Дорогомилов, и все сразу задвигались в неодолимой потребности скорее все устроить.

Но Егор Павлович дирижерским мановением остановил беспокойство, плавно приблизился к Аночке, взял ее за руку, которой она не хотела давать, и потянул на середину комнаты.

— Прежде чем выпить за повстречанье,— сказал он торжественно,— нам предстоит решить еще один, не терпящий отлагательства, технический вопрос. Фатальный случай сковал это молодое существо...

— Егор Павлович, ну, право же, не надо! — противилась Аночка. Пунцовая краска занялась у нее на всем лице, и она както неловко пятилась, продолжая вырывать свою руку.— Я чувствую себя совсем хорошо!

— А вы не стесняйтесь,— приободрила ее Анастасия Германовна и с женской догадливостью спросила: — У вас каблук оторвался. Правда?

— Бедняжка просто стоит на гвозде! — возбужденно подхватил Егор Павлович.— Каюсь, вина моя. Мы шли через трамвайную линию, Аночка угодила каблуком в рельс,— кнак! — и понимаете? Я бросился на выручку, нашел какой-то там булыжник, стал приколачивать, и знаете — вот эдакий гвоздище, из-под стельки,— ужас! И ничего я не мог поделать! Как мы дошли? — понять невозможно...

— Как вы дошли! — лукаво переговорил Пастухов.

— Как дошли! — не сообразил сразу Егор Павлович, но приостановился: — А что?

— Ничего. Ты ведь про бедняжку Аночку? Или, может, у тебя тоже гвоздь в башмаке?

— Ну, конечно, про Аночку. Но ведь... сердце-то не железное?

— Не железное,— быстро согласился Пастухов.

— А вы разуйтесь,— сказала Анастасия Германовна так ласково и проникновенно, будто давала совет по крайне секретному делу.

Егор Павлович пододвинул Аночке стул. Она села. Он с ловкостью стал на одно колено, чтобы помочь ей снять туфлю. Но она тотчас вскочила, отбежала, прихрамывая, пазад к этажерке, стряхнула прочь туфлю и по-журавлиному подобрала разутую ногу. Смущения ее как не бывало,— она баловливо посматривала на всех, следя за преувеличенным переполохом, поднятым Егором Павловичем.

Дорогомилов готовно отыскивал в своем фантастическом хозяйстве нужные орудия, со звоном, дзиньканьем, стуком перерывал ящики письменного стола, вздымая пыль столетий, чихал, фыркал, ворчал на своих мальчишек, которые были вечным испытанием его любви к порядку. Нашлось кое-что очень полезное: ма-

ленькие слесарные тиски, никелированная наковальня, щипцы для сахара. Но, как на грех, запропастился молоток.

Хитро, насмешливо водил взглядом Александр Владимирович за суетившимся Цветухиным. Егор Павлович, перебегая с места на место, то прижимал к себе Аночкину туфлю, то заглядывал в нее и трогал гвоздь пальцем с видом полного отчаяния. Разгадка как будто уже была нащупана Пастуховым, и он забавлялся потешной сценой. Когда молоток отыскали и Цветухин с азартом выхватил его из рук Арсения Романовича, Пастухов сказал:

— Простите, милая мадемуазель. Кого из трех рыцарей вы хотели бы иметь своим бышмачником?

Стоя по-прежнему на одной ноге так, что согнутая коленка другой, в телесном по моде чулке, торчала из-под короткой юбки, Аночка внимательно глядела на Александра Владимировича.

— Меня зовут Аней или Аночкой. Я буду очень благодарна, если каблук будет прибит прочно.

Пастухову показалось, что перед ним — совсем не та девушка, которая, войдя, пряталась дичком за этажеркой, и особенно удивил голос, вдруг прозвучавший строгой женской нотой.

— Не беспокойся, Аночка, я теперь сделаю, сделаю! — говорил Егор Павлович, нагнувшись над подоконником и мастеря какое-то приспособление.— Ты, Александр, забыл, конечно. А мы с Аночкой сейчас вспоминали, что ведь ты назвал ее когда-то сиреной. Она была большеглазой девчоночкой, с косицами на затылке. Помнишь?

— Да, мне кажется...— лениво отозвался Пастухов и опять стал наблюдать Цветухина, упоенно воевавшего с гвоздем.

Пока продолжалось сапожничанье, Анастасия Германовна хлопотала вокруг стола, и слышно было, как Арсений Романович на совесть выполнял кулинарный рецепт Пастухова: глухое колоченье воблой о чугунную плиту неслось из летней кухни, бойко отзываясь на неровный цветухинский стук молотка.

Наконец вся работа кончилась, и стали рассаживаться довольно неудобно, потому что мешали ящики письменного стола,— мужчины в один ряд, Аночка с Анастасией Германовной напротив.

Были налиты три рюмки (женщины со смехом, но решительно отказались пить), и когда Егор Павлович потянулся за своей рюмкой и открыл рот, чтобы произнести первое застольное слово, Пастухов остановил его.

— Погоди. Я не знаю, что ты такое принес. Может, это тараканья отрава. Недаром от нее шарахается дамский пол. Но я хочу объявить, чем дорогих гостей буду потчевать я. Блюдо, которое смолою горит перед вами, называется вельможьим стюднем.

— У нас говорят — студень,— вставил Цветухин.

— У вас говорят, как хотят. А я говорю, как это кушанье называют в трактирах, откуда распространилась его слава. Настоящий стюдень — это не свиной, не телячий и не еще какой. Настоящий стюдень только говяжий. Варится он из одних ног. От морды допускается класть только губы. Навар должен быть такой, чтобы и в незастылом виде воткнутая ложка не падала, а только клонилась. Вывариваться он должен не бурно, а с томлением, почему требуется русская печь, а плита совершенно противопоказана.

— Пощади! — простонал Егор Павлович, ерзая от нетерпения.

— Когда дрожалка застынет, она должна быть упругой, как резина, прозрачной, как сказочный ала́тырь, что значит — янтарь, и отстой жирка поверху обязан чуточку отдавать паленым копытом. Вот такую штуку вкушали на древней Руси бояре, отчего и пошло имя — вельможий стюдень. Я сам выбирал на базаре воловьи ноги. Мадам у нас есть, Ольга Адамовна, чертыхаясь, палила их при моем личном участии. Ася ходила к шабрам, где, по протекции уважаемого Арсения Романовича, топила печку и двигала ухватом чугунок. У других шабров формы с отваром студились на погребе. В конце концов получилось то чудо, которое у вас разложено по тарелкам. Предлагаю первый тост за Асю.

Он поднес рюмку ко рту, но отшатнулся.

— Что такое?

Он осмотрел всех вокруг с предсмертным ужасом.

— Ага! — мстительно сказал Цветухин.— Ну теперь погоди ты! Я перед твоим стюднем в грязь не ударю. Это изделие народнейшее! (Он щелкнул ногтем по бутылке.) Есть, правда, возвышеннее его. Но то — авиаторское. Бензина сейчас мало, и «ньюпоры» наши летают на чистом спирте, так что с авиаторами можно подняться на недосягаемую высоту. А в штатском обществе выше этого не взлетишь. Это — лесная легенда. Она рождается на дне оврагов, в глубине рощ. Во чреве глиняного очажка, величиной в ту же русскую печь. Каждый очаг — вроде жертвенника тайному божеству. Закрутится дымок, взовьется через кружево деревьев к небу, глядишь — и начнет, как в первую мартовскую ростепель, капля за каплей, падать из змеевика в ведерко теплая влага, наговаривая с тихим звоном лесную легенду. Первая бутылочка этой легенды и прозвана — первач. Если вино гонят не из хлеба, а из арбузов, то это — нардяк. Если...

— Очень поэтично,— сказал Пастухов.— Но ты смерть как скучно рассказываешь.

Егор Павлович беспокойно покосился на Аночку. Она была грустна и слушала состязание чревоугодников без любопытства.

— Погоди,— сказал Цветухин, приобадриваясь.

— Не старайся,— возразил Пастухов.— Никакой мейстерзингер не уговорит меня, что этот желтый яд, настоянный на животе гадюки, можно проглотить. Я уверен, он запрещен докторами.

— Доктора — чудаки! — всплеснул руками Егор Павлович.— Их бы на площадях лаврами венчали, вокруг них детей, как вокруг елки, водили бы, им бы пенсию выплачивали, не успели они университетские штаны сносить... если бы они признали доказанную со времен праведного Ноя истину, что винный спирт благодетелен для человека! И поверь моему предчувствию: они к этому придут! Пропишут человечеству разумное употребление чарочки. И обогатятся! И возвеличатся! И закроют свою медицину навеки, за ненадобностью!

— Аминь,— сказал Пастухов.

Он привалился к плечу Егора Павловича, мигнул Асе, поднял рюмку, озорно добавил:

— За золотой башмачок!

С бесовской искоркой в глазу он глянул на Аночку, зажал пальцами нос, выпил самогон, сморщился, прокряхтел:

— Чудесный ты проповедник, Егор.

— Тебя, кажется, не надо красноречиво уговаривать,— нежно сказала Анастасия Германовна.

— Ты меня глубоко распознала, Асенька,— ответил он и налил еще.

Темп нечаянной пирушки настолько же буйно возрастал, насколько задержался на подступах к первому глотку.

— Послушай, Егор,— сказал Александр Владимирович, когда бутылка опорожнилась наполовину,— где ты добываешь этот восхитительный шерибренди?

— Его не так просто раздобыть. Но есть два закадычных друга — они всегда выручат в нужде. Помнишь ли еще Мефодия Силыча — поклонника муз, моего однокашника? Нет? Эх вы, петербуржцы! Коротка у вас память.

— Оставь, пожалуйста. Во-первых, я все досконально помню. Во-вторых, что ты возносишь себя перед петербуржцами? Подумаешь — глубь земли!

— Добавь: глубь русской земли. А ты — петербургский русский, о которых как будто Достоевский сказал, что они даже не завтракают, а фрыштикуют...

— Чем это я фрыштикую? — обиделся Александр Владимирович.— Паленым копытом стюдня? С твоим крюшоном из жженой пробки, которую размочили в мазуте? Тебе бы этакий фрыштик!

— Спасибо. Я с удовольствием. Да и ты сердишься не на фрыштик, а на то, что забыл Мефодия. Наверно, и Аночкиного отца не припомнишь? Тихона Платоныча Парабукина, а? Уж этого человека забыть стыдно! Из-за него ты ведь и пострадал за революцию, а?

Пастухов поднялся, двинув стулом, грузновато дошел до окна, вернулся.

— Знаешь, Егор Павлович, мне твой тон не нравится. Что ты хочешь сказать? Что я сам подстроил эту глупую газетную заметку?

— Ты с ума сошел! — даже подпрыгнул Цветухин.

— Нет, стой. Я хочу говорить серьезно. Сейчас многие бегут, торопятся заявить, что они тоже чем-нибудь, когда-нибудь услужили революции. Может, это мелко, но понятно. Как ты выразился — своевременно. Но что прикажешь делать мне? Бежать заявлять, что я перед революцией никаких заслуг не имею? Да ведь это же просто идиотство! Ты представь себе: какой-то там Мерцалов приписал мне участие в пропаганде против царизма. Я являюсь в редакцию газеты и говорю... Что, что я говорю? Что меня оклеветали? Что заметка не соответствует действительности? Мне ответят — редакция сожалеет, что введена в заблуждение своим почтенным сотрудником. Но что, однако, ей предпринять? Поместить опровержение? В каком смысле? В том, что Александр Пастухов никогда не выступал против царизма? Но что это будет означать? Что этот самый Пастухов был против революции? Благодарю покорно! Это уж едва ли своевременно! И почему я должен считать Мерцалова клеветником? Он же хотел мне добра! Открыл, можно сказать, дорогу! Состряпал за меня то, ради чего сейчас тысячи людей и людишек унижаются до сделок с совестью, чтобы только оградить себя от немилосердного хода событий. Хотел облегчить мне карьеру в новых обстоятельствах. За что же его казнить? Наконец, этот великодушный добряк мог чистосердечно заблуждаться. Ведь перед царским прокурором он когда-то за меня хлопотал? Охранка мной интересовалась? Подписку о невыезде с меня брала? Значит, это все правда? Значит, Мерцалов если в чем и виноват, то в некотором преувеличении. Но за преувеличение не судят. А за такое преувеличение, какое он допустил, нынче даже и взятку дадут, если представится случай. Стало быть, мне нужно не с опровержением в газету бежать, а писать Мерцалову благодарственное письмо — с совершенным почтением имею честь быть ваш покорный слуга, тьфу!

Александр Владимирович действительно плюнул, опять отошел к окну, отколупнул кусочек окаменелой замазки и бросил об пол.

— Значит, ничего этого не было, Саша,— никакого подполья, никаких листовок? — спросила Анастасия Германовна, как будто с разочарованием.

— Да это же чистый анекдот! — брезгливо махнул он рукой.

— Тогда и отнесись ко всему как к анекдоту,— сказала она, светло и невинно оглядывая все общество.

— Да, но ведь только вы вот тут вчетвером знаете, что это анекдот! — крикнул Пастухов, круто отворачиваясь от окна.— Ведь в газете не напечатано, что это анекдот! Ведь кто прочитает, сочтет все за правду!

— А пусть сочтет за правду,— еще невиннее, на самой тихой нотке утешила Анастасия Германовна,— разве это тебе повредит?

— Ты не понимаешь. Если потом станет известно, что это вымысел, то все решат, что я забежал, что я заискиваю, подстраиваю, что просто вру! Посмотри, как на меня глядят мои же друзья. Ну, взгляни ты на Арсения Романовича! На Егора, который ведь тоже меня заподозрил черт знает в чем!

— Ни в чем не заподозрил. Ты, видно, и меня забыл, если допускаешь, что я о тебе плохо думаю,— вдруг горько сказал Цветухин.

От этой неожиданной перемены тона словно дохнуло отрезвлением. Пастухов сел за стол, воткнул в рот кончик вобловой ленточки и начал медленно вбирать ее губами, как сытый конь — клочок сена. Помолчав, он как-то неловко засмеялся.

— Что вы притихли, Арсений Романыч?

Дорогомилов встрепенулся, нервно огладил бороду, будто готовясь к основательной речи, но ответил кратко и останавливаясь не там, где надо.

— Действительно, как-то сложилось... в смысле затруднительности... не совсем...

Он покашлял и, видимо, решил опять смолкнуть.

— Затруднительно меня понять? — спросил Пастухов.

— Нет, с этой газетной историей... В том смысле, что вам не совсем удобно, что публика будет заблуждаться... насчет особых заслуг. Которые, конечно, были... заслуги... однако...

Он конфузился, обходя мешавшую ему неприятную мысль. Анастасия Германовна поспешила на подмогу со своей примиряющей затруднения улыбкой:

— А зачем непременно нужно, чтобы у каждого были какие-то особые заслуги? Мы ведь не требуем от путейца, чтобы он имел дополнительные заслуги сверх путейских? Он может не иметь и путейских. Довольно, что он просто путеец.

— Я понял — Александра Владимировича беспокоит, что заслуги приписаны не по адресу,— почти сурово отозвался Дорого-

милов и, очень заметно бледнея, прямо поглядел в лицо Пастухова.— Я даже понял так, что вам неприятна не столько фальшь газетной заметки, а то, что вы прослывете сторонником революции. Что ваше имя связывают с революцией.

Александр Владимирович длительно помигал, как бы налаживая встречный взгляд на Дорогомилова, но отвел глаза и вопрошающе остановил их на жене. Потом произнес тихо:

— Видишь, Ася, я прав: мне угрожает общее презрение.

Аночка, все время сидевшая неподвижно, согнулась и, облокачиваясь на колено, заслонила лицо рукой.

— На такого субъекта, как я, даже неприятно смотреть,— чуть двигая губами, продолжал Пастухов.— Вон юная совесть меня уже не переносит.

— Нет, нет! — перебила Аночка, быстро распрямляясь.— Вы не обращайте внимания. Я просто своим мыслям...

— У Аночки дома...— начал было Цветухин, но она, с оттенком строгости, не дала ему договорить:

— Мне, впрочем, жалко, что Егор Павлович затеял странный разговор. Как будто он в чем-то особенно прав. А ведь Александр Владимирович, по-моему, вовсе не должен отвечать за недоразумение. Если это недоразумение. Это недоразумение, Александр Владимирович? — спросила она как-то вызывающе серьезно.

Он секунду смотрел на нее молча, будто не веря, что эта девочка могла задать столь дерзкий вопрос.

— Да,— ответил он вразумительно жестко.

Но, тут же повеселев, он толкнул локтем Егора Павловича и сказал отчетливым шепотом, чтобы все слышали:

— Ага! Золотой башмачок притопнул!

— Вы меня не поймите, что я осуждаю,— опять на свой лад законфузился Арсений Романович.

— Я-то уж никак не хотел тебя обидеть, Александр,— сказал Цветухин.

— Слава богу! Вы всех растопили, Аночка,— с облегчением вздохнула Анастасия Германовна.— Вернитесь-ка, дорогие друзья, к воспетому вами первобытному пойлу.

И она взяла бутылку своим немного кокетливым и обаятельным жестом мягкой руки.

— Что ж,— сказал Пастухов, закусывая воблой,— обижаться было бы смешно. Этакое квипрокво могло ведь случиться и с тобой, Егор. Без меня меня женили. И тоже пришлось бы доказывать, что ты не революционер.

— И не подумал бы! — радостно воскликнул Цветухин.

— А что? Ты — большевик? — словно мимоходом спросил Пастухов.

— Нет. Но согласен большевичить.

— В своем театре?

— Театра у меня пока нет. Но будет. Я очень хочу говорить с тобой насчет своих планов. Именно с тобой. И чтобы ты обязательно принял участие.

— Это в чем же?

— У меня есть кружок. Ну, назови его студией. Два-три актера, но больше всего молодежь. Кое-кто играл в школьных спектаклях, а большинство еще не видело рампы. Если б ты знал, что за прелесть! Какая жажда работать, а главное — какая вера! Мы много толкуем между собой о том, каким теперь будет театр. Революционный театр, и прежде всего, конечно, наш театр. Если бы ты, Александр, послушал!

— Слушаю,— мельком заметил Пастухов.

— Я — что! Ты должен послушать мою молодежь!

— Дети останутся детьми. Но ты-то не ребенок? Мне интересно, что, собственно, хочешь ты?

— Понимаешь, в широком смысле это пока еще искания, даже мечта. Но мы хотим сделать первый шаг к мечте. Мы думаем, это будет театр, который прежде всего может играть во всякой обстановке. Чтобы его можно было передвигать на руках, если нет лошади. Чтобы актеры чувствовали себя, как на сцене, в любой точке земли.

— Земли и неба,— добавил Пастухов.

— Да, это будет небом. Небом актера и зрителя. Да, и зрителя. Он будет встречать нас там, где никогда не думал встретить. У себя за работой. У себя дома. В деревне. На полях. На ярмарке. На городской площади. На войне, если идет война. За отдыхом, если воцарился мир. Словом... Словом,— произнес Егор Павлович и замолк. Растопыренными пальцами он прочесал свою темную шевелюру и так оставил на затылке согнутую в ладони вескую руку. Волосы его уже густо переплела седина, и Пастухов приметил, что голова стала лиловатой.

С того момента, как Егор Павлович заговорил о театре, в тоне его без следа пропала колючая шершавость, явно стеснявшая его самого. Посадка его стала свободной, он весь облегчился и вырос. Аночка следила за ним увлеченно, но требовательным и своевольным взглядом, который будто говорил: смелее, ну, еще смелее! Дорогомилов смотрел, как глядят из рядов на сцену, когда впереди сидит чересчур высокий человек: он вытянулся вбок и запрокинул голову, так что борода вздернулась каким-то оборонительным заслоном. Анастасия Германовна приоткрыла красочный свой рот. Все были заняты Цветухиным. Его голос, его речь словно отодвинули Пастухова в сторонку. Пауза длилась что-то очень долго.

— Словом,— повторил Егор Павлович завороженно и певуче,— наше искусство проникнет в самую жизнь зрителя, а зритель сольется с нашим искусством. Он будет вмешиваться в него и в конце концов его создавать.

Пастухов неслышно засмеялся.

— Побереги себя на будущее. За вход в твой театр пока никто пе заплатит. Лучше скажи, что вы собираетесь играть?

— Мы начали с Шиллера. Ты увидишь, что это такое!

— «Коварство», разумеется?

— Да.

Пастухов быстро глянул на Аночку.

— И вы, конечно, Луиза?

Она вспыхнула и спросила по-детски изумленно:

— Как вы угадали?!

— Да, да,— с улыбкой покачал он головой,— это было очень, очень трудно.

Прихватив зубами кончик большого пальца, он покосился на Цветухина.

— Но еще труднее угадать, кто будет Фердинандом.

— Да,— вызывающе сказал Егор Павлович,— Фердинанда сыграю я.

— Тебе пятый десяток пошел, верно? Пора, брат, стариков играть.

— Что вы! Он такой необыкновенный Фердинанд! — почти негодующе воскликнула Аночка и еще больше покраснела.

Но Александр Владимирович точно не заметил ее пыла и спросил разочарованно:

— Ты, само собой, будешь устранять сцену?

— Да, если это будет диктоваться обстановкой. Но это — не главная задача. Пока у нас будут и занавес и декорации.

— Знаешь, друг мой. Я могу писать на бересте, могу на камне или мелом в печном челе, но все это не будет книгой. Какую бы революцию театр ни совершал, он не уйдет от сцены.

— А Греция? А миракли?

Но Пастухов обошел и это восклицание. Он говорил все задумчивее, и нельзя было разобрать, готовится ли он сосредоточенно, чтобы высказать нечто важное для себя, или ему становится скучно. Он вдруг небрежно пробормотал:

— Идейка не свежа. Либеральные петербургские прожекты передвижных театров.

— Я хочу сделать театр передвижным не по названию.

— Хочешь сделать его бродячим?

— Если это нужно, чтобы он был народным. Как при Шекспире.

— Шекспир не играл Шиллера. Смутно, смутно, друг мой...

— Вначале всякая новая мысль кажется смутной. Но примись за работу, и произойдет кристаллизация идеи. Однажды ты вскакиваешь с постели с совершенно ясной готовой формой в голове.

— Ах, кристаллизация! Ну, тогда, конечно... Изобретатель! Раньше ты был, однако, трезвее.

— Связаннее, а не трезвее. Я теперь нашел крылья, которые искал всю жизнь.

— Я помню твои летающие бумажки. Что ж, авиатор. Если проломишь себе голову, ты в ответе только перед собой. Но пока неизвестна грузоподъемность твоей козявки, зачем ты сажаешь с собой в полет вот эти невинные души?

Пастухов качнул головой на Аночку. Напряженная, но поборовшая свое волнение, она слушала, опустив тяжелые веки, и то притрагивалась к положенной ей, как младшей, Алешиной костяной вилочке, то ровно вытягивала пальцы на скатерти.

— Нет ничего ответственнее, чем совращение в искусство,— сказал Пастухов недовольно.— Ты увлекаешь за собой юношей и девушек. Но ведь ты знаешь, что это за дорога? Ты рисуешь ее яркой и заманчивой. Но разве тебе известно, каким будет искусство? Во что оно превратится под давлением всех твоих и всяческих фантасмагорий? Может быть, оно будет великой печалью для каждого, кого тебе удастся соблазнить? Я распространил бы закон о совращении малолетних на всех, кто совращает молодежь в искусство, кто...

— Так нельзя строить будущее! — оборвал его Егор Павлович.— С такими мыслями нельзя стремиться к лучшему, понимаешь ты или нет?

— Никоим образом нельзя! — вдруг подтвердил Арсений Романович и с силой наклонился вперед, точно собираясь подняться, но тут же снова занял прежнее место и притих.

Тогда Аночка взглянула на Пастухова.

— Почему вы говорите о каком-то совращении? Я не знаю, чем будет со временем искусство. Но сейчас — это часть жизни. Я живу. Я свободно выбираю дело, которому хочу себя отдать. Если у меня найдутся силы, я буду на месте. Ошибиться можно всюду. В прошлом году моя подруга поступила на зубоврачебные курсы. Ее повели в анатомический театр смотреть, как у трупов вырывают зубы. Она упала в обморок и больше на курсы не пошла, а стала учиться пению. Если у меня будут обмороки на сцене, я уйду и попробую работать в анатомическом театре. Я хочу жить так, как хочу. Уверяю вас, меня никто не совращает.

— Очень хорошо,— неожиданно ласково сказал Александр Владимирович.— К сожалению, так гладко получается только в

формальной логике. Вы проходили? Искусство — часть жизни, я живу, я свободна, стало быть... и прочее. Но нигде с такой легкостью, как в искусстве, люди не делаются глубоко несчастными. Для этого надо немного: вы честолюбивы, честолюбие не удовлетворено — вот вы и несчастны. Совсем излишне падать в обмороки.

— А мое честолюбие будет удовлетворено,— убежденно и просто сказала Аночка и совсем по-ребячьи сначала вздернула голову, а потом, будто опомнившись, понурилась и скромненько пригладила свой вихор. Ее веселому движению все засмеялись, и она сама улыбнулась, уже смущенно.

— Конечно, будет удовлетворено,— в восторге поддакнул Егор Павлович.— И ты, Александр, пожалуйста, не запугивай Аночку.

— Я вижу, она не из пугливых. Но я слишком хорошо знаю театр, чтобы замалчивать правду. Возьми зависть, этот иссушающий, как чахотка, медленный огонь...

Он не досказал и подвинулся вплотную к Цветухину.

— Знаешь, чем отличается плохой актер от хорошего?

— Чем?

— Плохой завидует успеху, хороший — таланту.

— Как верно! — выкрикнул Цветухин.— Ведь это метод! Метод, по которому можно без ошибки распознавать и отбирать дарования! Правда, Аночка? Как ты умеешь сказать, чудный, чудесный ты человек.

Егор Павлович прижал к себе голову Пастухова и с неудержимым напором громко облобызал его в губы.

— Я уверен, мы сговоримся! Мы с тобой ищем, поэтому преувеличиваем. Где-то между преувеличений таится истина. Я тоже, наверно, преувеличиваю. Вот тебе моя рука — ты будешь с нами!

— В какой же роли? Панталоне в красных штанах?

— Не шути, не шути! Ты должен быть нашим первым драматургом.

— И какую из моих пьес ты поставишь?

— Ты напишешь для нас новую пьесу.

— Ах, вон что!

Александр Владимирович опять встал и прогулялся. Раскуривая гаснувшую папиросу и снисходительно посмеиваясь, он начал расставлять будто заранее отобранные слова:

— Незадолго до нашего отъезда в Петербурге добивался меня увидеть неизвестный мне человек. В конце концов он прорвал кордоны — Ася уступила его настойчивости. И вот вваливается этакий великанище с кучерявистой и желтой, как мимоза, бородищей. Садится на диван и битых полчаса наводняет мой кабинет задачами исторического момента. Я чувствую, он меня завалит выше головы своей риторикой, и в отчаянии пищу́ ему, что для момента

он тратит чересчур много времени. Он не понимает и гремит дальше. Я взмолился: согласен, согласен, но что я должен делать? Он пришел в себя и вдруг требует, чтобы я немедленно написал пьесу о борьбе за чистоту дворов и особенно выгребных ям. Оказалось, он фармацевт и участвует в кампании Санпросвета по борьбе с угрозой эпидемий.

Александр Владимирович спокойно подождал, когда засмеются. Но никто не засмеялся.

Анастасия Германовна с каким-то вдумчивым восхищением сказала:

— Бородища, как мимоза,— очень хорошо!

— Но ты торопишься сравнить меня с этой мимозой,— возразил Егор Павлович.— Тебе ведь неизвестно, о чем я хочу просить написать.

— А ты меня спросил, о чем я хочу писать? — внезапно озлился Пастухов.— И возможно ли сейчас писать? Я как приехал сюда — строчки не могу выжать! Ты мне давеча Достоевского цитировал. Позволь процитировать Ломоносова: «Музы не такие девки, которых всегда изнасильничать можно». Это он своему меценату написал.

— И ты можешь допустить, что я тебе советую насиловать твою музу?! — с обидой воскликнул Цветухин.

— Когда мы к вам шли,— быстро сказала Аночка,— Егор Павлович говорил, какие вы друзья. Отчего вы все время пререкаетесь?

Она опять глядела на Пастухова взыскательным и тяжеловатым взором.

— Позлятся, позлятся, да и поцелуются,— улыбнулась Анастасия Германовна и взяла в свою нежную горсть Аночкины пальцы.— Вы еще, милая, не привыкли. У нас когда говорят об искусстве, всегда бранятся.

Пастухов молчал. Последние годы его вообще утомляли рассуждения об искусстве. Ему казалось, он уже понял сущность искусства лучше, чем кто-либо другой. Споры о театре, разожженные революцией, напоминали ему сердитые дебаты дачных любителей об игре под открытым небом. Школы и течения искусства давно не возбуждали в нем ничего, кроме скуки. Он был убежден, что все хорошее в искусстве создается вопреки течениям и что для декларированных течений важнее, что ты назовешь себя их сторонником, чем будешь им: они, как партии, собирали голоса. Он не хотел притворяться и, в сущности, презирал всех. Это и было его направлением. Если его втягивали в споры, он кончал обычно заявлением, что любит живое чувство, любит мысль, любит человека во плоти и потому считает себя одним из немногих настоящих реалистов.

Так как его пьесы игрались, он был уверен, что не ошибается. В душе он раз и навсегда решил, что наступила пора безрассудства, потому что делается попытка ввести рассудок в область, которая, как танец, рассудку подчинена меньше всего. Он думал о себе, что никогда не сможет перемениться ни во вкусах, ни во взглядах, и это доставляло ему гордую, хотя немного грустную отраду.

То, что говорилось Цветухиным, он мог бы услышать в каком-нибудь петербургском кружке. Там тоже требовали, чтобы было создано нечто такое, чего никто не знал. Но Пастухова раздражала невинная вера в новизну чаяний. Он назвал это целомудрие провинциальным. К тому же он хорошо видел, что происходит с Цветухиным: когда влюбишься, даже и луна кажется в новинку.

Он сидел, откинувшись в скрипучем кресле, и ждал, куда повернется разговор. Ему самому повернуть его было лень.

Арсений Романович проговорил в раздумье:

— Этот человек... с такой бородой (он застеснялся назвать — с какой и даже прикрыл ладонью свою бороду, правда никак не похожую на мимозу), может, он был не совсем деликатен, но насчет задач исторического момента нельзя, конечно, не задуматься.

— Я именно хотел сказать, Александр, что если ты... если бы твоя будущая пьеса была проникнута духом истории, как он выражается в наши сказочные дни...

— Дух истории! Сказочные дни! — перебил Пастухов.— Ты полюбил громкие слова, Егор. Это же, наконец, просто не в русской традиции. Нас всегда отличала скромность. Откуда эта болезнь?.. История! Когда-то где-то я прочитал о парижских событиях, кажется, начала пятнадцатого века. Там была фраза: «кабошьены соединились с бургиньонами, но были побеждены арманьяками...» Эта фраза не выходит у меня из головы. Стоит ли всерьез брать события, если спустя два-три столетия кем-то и где-то о нас будет сказано, что кабошьены соединились и так далее?

— Только что, вон на том диване, вы говорили об истории по-другому! — сказал Арсений Романович.— Разве за этими бог знает когда умершими словами вам не слышатся страдания и торжество живых людей? За Соловьевым-то вы сидели не ради смеха?

Вдруг снова вмешалась Аночка, но уже не с наивной и осуждающей строгостью, а в каком-то ликовании нечаянно сделанного открытия.

— А правда, Александр Владимирович, вы все это говорите не потому, что так думаете, а почему-то еще?

— То есть что — все это? — переспросил он, сердито помигав на нее.

— Вы, пожалуйста, не сердитесь. Но вы смеялись над вашим фармацевтом. А вам ведь приятно, что он так верит в ваше искусство, такое придает значение вашему слову, что вот вы только напишите, и сразу будут дворы чистить и, может, во дворах совсем по-особенному жить начнут. И ведь правда, сколько бы ваше слово жизней сохранило бы... ну, сколько бы людей больше не заражалось и не умирало. Если бы вы взяли и написали. Правда ведь? Вы сами знаете, что правда.

У нее залучились глаза, словно от умиления, что она все так просто и легко разобрала.

— Бедный Саша, тебя исклевали,— засмеялась Анастасия Германовна.

Он передернул плечами.

— Не считаете же вы серьезно, милая барышня, что с помощью стихов можно поднимать колокола на колокольню? Мы говорим об одном и том же, но думаем разное.

— Я и прошу вас сказать, что вы думаете об идее Егора Павловича.

— Прежде всего я думаю, не надо из меня делать подсудимого. Я возражаю не против слов, и даже не против мыслей. Но события слишком распалили вашу фантазию. И я против состояния, в котором вы находитесь.

— Потому что оно тебе чуждо, да? — сказал Цветухин.— Я считал тебя моложе.

— При чем здесь молодость?

— Революция — это молодость.

— Умри. Я выбью это слово на твоем надгробии. К сожалению, молодость невинна в делах искусства. Впрочем, не совсем невинна. Она мешает искусству.

— Мне непонятно,— призналась Аночка.— Если молодость и революция одно и то же (она немного запнулась)... Разве революция мешает вам писать?

— Она мешает писать против себя,— хмуро произнес Цветухин, но сейчас же встряхнулся: — Не знаю, не знаю! У меня такое чувство, что мы идем садом, охваченным бурей, все гнется, ветер свистит, и так шумно на душе, так волнительно, что...

— Ах, черт! Вот оно! — ожесточился Пастухов.— Выскочило! Волнительно! Я ненавижу это слово! Актерское слово! Выдуманное, не существующее, противное языку... какая-то праздная рожа, а не человеческое слово!.. И твой наигрыш, Егор! Когда я слышу эти одушевленные восклицательные знаки, мне чудится — какой-то здоровячок вертится передо мной нагишом и все время показывает бицепсы!

Он остановился, набирая воздуха, чтобы говорить и говорить,

словно наступила минута пробивать брешь в мешавшей ему стене. И неожиданно замолчал.

Аночка, медленно поднимаясь, в страхе глядела на приотворенную дверь.

Павлик, войдя, манил сестру пальцем. Видно было, что он примчался сюда не переводя дух.

Она, как школьница, перешагнула через стул и подбежала к нему. Он нагнул ее к себе, что-то коротко прошептал, изо всех сил удерживая дыхание.

Арсений Романович вскочил.

— Что такое с мамой, а? — спросил он, насторожившись.

Поднялся Егор Павлович. Бледный, он смотрел за Аночкой выросшими глазами. Она стала со всеми прощаться.

— Дорогая моя, позволь я тебя провожу,— попросил Цветухин, когда она подошла к нему.

— Умоляю вас, не надо.

Она схватила Павлика за плечо, и они выбежали из комнаты. Мальчик успел крикнуть:

— Арсений Романыч, я потом забегу!

Цветухин тотчас собрался уходить. У него тряслась рука, когда он подал ее Пастухову.

— Ну, куда же ты? Подожди. Неужели ни минуты не можешь без золотого башмачка?

— Оставь, оставь! — вырвалось у Егора Павловича.— Ты не представляешь, что значит для Аночки ее мать!

— Она при смерти,— сказал Арсений Романович.

— Откуда же мне знать...— замялся Пастухов.

Он проводил Цветухина по коридору и зашел в свою комнату.

Анастасия Германовна распахнула окно. Уже сильно алело на западе, но было еще душно. Они сели рядом. Все чересчур быстро переменилось, и они должны были помолчать, чтобы собрать мысли. Немного погодя Анастасия Германовна положила руку на колено мужа.

— Ты ведь знаешь легенду о Пилате? — спросила она тихо.— Понтий Пилат, дряхлый, толстый, закрыв глаза, лежит на морском пляже, греет свои подагрические кости и слушает другого старика патриция. У обоих вся жизнь в прошлом. В далеком, славном, счастливом прошлом. «А помнишь ли ты,— спрашивает Пилата старик,— когда ты был еще прокуратором Иудеи, помнишь ли маленького рыжего пророка, который называл себя царем иудейским? Это было как будто до восстания. Книжники требовали его казни, и ты им выдал его, и они распяли его в Иерусалиме. Помнишь? Его звали Иисусом...» Пилат поворачивается другим боком к солнцу и, не открывая глаз, лениво говорит: «Нет, не помню...»

Пастухов спросил:

— Почему ты рассказываешь это богохульство?

— Мне это пришло на память, когда Цветухин укорял тебя, что ты перезабыл его приятелей, и ты стеснялся признаться, что действительно перезабыл. А почему ты их обязан помнить?

— Ты хочешь сделать из меня Пилата?

— Что ты, милый! Но в самом деле: что они, в сущности, для тебя? Рядом с тобой? Разве ты не вправе забыть их?

Она прижала голову к его груди.

— Ты большой. Ты сильный. Ты должен больше всего думать о том, к чему призван.

Он подождал и ответил рассеянно:

— Нет, Ася. Я самый обыкновенный. Слабый. Слабее других.

Он сказал это, и ему стало хорошо, что он так откровенно сказал и что она назвала его сильным, и он знал, что сейчас она возразит — нет, нет! — и поцелует его.

И она возразила:

— Нет, ты сильный! — и открыла свои губы, чтобы он поцеловал.

Спустя минуту он выговорил не совсем твердо:

— Я все-таки думаю, Ася, нам надо отсюда куда-нибудь подвинуться.

— Нам надо, милый, не подвинуться. Нам надо бежать,— сказала она едва слышно и заглянула в его глаза страстно и отчаянно.

13

Ольга Ивановна умирала.

Это длилось долго. Была глубокая ночь. Аночка лежала поперек своей кровати, спустив ноги на пол, заложив ладони под затылок и туго касаясь им стены, лицом кверху. Глаза она зажмурила. Отец и Павлик находились в соседней комнате, у постели умирающей.

Аночка слушала нечастые громкие хрипы матери, наплывавшие откуда-то изглубока, точно из подполья, непохожие на человеческое дыхание и совсем невозможные для Ольги Ивановны, для мамы. Часы-ходики в обычной своей спешке прозвонили три и неслись дальше, с хрустом, как разгрызаемые каленые подсолнушки, отщелкивая бег маятника. Слух ее как будто ничего больше не воспринимал. Она была уверена, что непрерывно бодрствует, что тело ее оковано не потребностью сна, не бессилием, а сознательным нежеланием глядеть на мучение матери. Но то, что ей виделось в это время, было подобно коротким снам, обрываемым

частыми пробуждениями. Она видела то отца, то неожиданно кого-нибудь из знакомых, то вдруг себя, но больше всего, даже почти непрестанно и будто сквозь других людей, как сквозь редкую листву, видела и ощущала мать.

Маленькая, шустрая, рано состарившаяся, Ольга Ивановна, легко приседая, бежала с узелком по улице, торопясь отнести заказчице платье. Или протискивалась через базарную толпу к возу, груженному капустой, и, выбрав кочан, давила его в обхват, пробуя ядреность, чтобы не прогадать лишнего пятака. Или копошилась у себя в углу над столом, выкраивая шитье и потом тонкой кистью руки подталкивая материю под стрекочущую иглу машинки. Этим бегом, суетой, труженичеством безустальных рук неугомонная женщина сколько раз вытаскивала семью из ям, куда невзначай сталкивал ее глава дома — Тихон Парабукин — неизбывной своей приверженностью к вину. Не он, конечно, а Ольга Ивановна была настоящим водителем дома, считая себя одну в ответе и перед детьми, и перед мужем, нуждавшимся в ней иной раз пуще малого дитяти. Она вырастила Аночку, она растила Павлика наперекор всем бедам, с упрямством, которое питалось исступленной ее идеей — освободить их от недоли, какую до дна испила сама. В воспитании Аночки ей помогла Извекова. Вера Никандровна положила начало Аночкиной грамоте, устроила девочку в гимназию, хлопотала за нее перед обществом пособия нуждающимся ученицам и вообще протягивала крепкую руку, лишь только являлась в этом необходимость, вплоть до того, что подарила швейную машинку, за которую Ольга Ивановна благословляла ее, просыпаясь и засыпая. Но не сторонней добродетелью держалось существование семьи, а натянутыми до предела жилами матери. Парабукин не раз порывался поддержать труды жены — отыскивал службу, с ликованием приносил домой первое жалованье, но вскоре пускал по свету больше, чем заработал. Он тоже любил детей, особенно Аночку, но любовью виноватой, а Ольга Ивановна любила самозабвенно, ни на минуту не усомнившись, что любовь ее восторжествует и даст плоды.

В сонной голове Аночки все это прошлое выражалось не мыслями, а перемежающимися видениями, и странно было, что уже все стало именно прошлым с того момента, как в круглых, выпяченных глазах матери она рассмотрела смерть. И она лежала на кровати, точно связанная, ощущая, как отекли руки и ноги, и за всем мельканием полуснов испуганно повторяла в уме, что уход матери будет не уменьшением семьи на одного человека, а концом семьи, концом дома.

Ей показалось, будто что-то переменилось в звуках комнаты. Ходики летели по-прежнему. Но, кроме их хруста, Аночка ничего

не услышала. Она мгновенным движением повернула тело на локоть и похолодела от колючего притока крови к пальцам и коленям. Тяжелый долгий хрип словно наводнил собой весь мир. Потом надолго стихло. Потом опять прорвался, распространился и угас новый хрип.

Значит, все-таки — конец? Как это могло случиться, и неужели так бывает всегда? Еще недавно, еще вчера, зная от доктора, что опасность велика, Аночка верила, что мама не умрет. Еще сегодня поутру Ольге Ивановне вдруг стало лучше, и можно было убеждать себя, что кризис означает конец болезни, а не смерть. Ведь вот прошла же первая болезнь — устрашающий всех сыпной тиф, когда Ольга Ивановна была так слаба и так легка, что Аночка переносила ее на руках, словно ребенка. И Ольга Ивановна начала поправляться, вставать и даже опять взялась было за иголку. Почему же теперь несчастная история с каким-то отеком легкого должна кончиться смертью? Нет, это просто кризис, конец кризиса, его вершина. Ольга Ивановна перешагнет через вершину, вздохнет поглубже, вздохнет и...

Почему она не вздыхает? Нет, вот, вот опять! Опять этот хрип, еще ужаснее, еще неестественнее. Неужели возможно такое клокотание, такой рев в человеческой груди, в узенькой, жалкой маминой груди? И вот молчание. Нет. Вот еще. Нет, послышалось. Неужели все? Неужели это был последний вздох? Нет, не может быть! Если бы Аночка знала, что это — последний, она слушала бы совсем по-другому, совсем по-другому...

Но почему хрипа нет? Сейчас будет. Может, будет уже последний, потому что очень давно не было, очень долго стоит тишина, и комнаты ждут. Вот. Вот начался, начался. Но начался совсем неожиданно, совсем иначе, какими-то короткими толчками. Что это?

— Что это? — спросила Аночка дрожащим голосом и в тот же миг, как будто очнувшись, поняла, что вместо хрипа мамы вдруг вырвались через отворенную дверь все более учащающиеся и растущие, живые, отчаянные всхлипы. Это рыдал отец, чем-то глухо пристукивая о железную кровать.

— Что это? — вскрикнула Аночка.

Она хотела подняться, но ее держала тяжесть, какой никогда прежде не бывало в ее свободном и послушном теле. Она полежала неподвижно.

Из комнаты быстро вышел взъерошенный Павлик, пододвинул стул к ходикам, забрался на него и остановил маятник.

— Зачем? — спросила Аночка и села на постели.

Но Павлик не ответил, и она только увидела его позолоченные, тронутые жаром и как будто осуждающие глаза: наверно, у

него не хватило слов ей объяснить, что часы останавливают, когда в доме умирает человек,— он вычитал это в одной удивительной книге.

Уже рассвело, но предметы казались еще слитными, когда Аночка боязливо вошла в комнату матери. Отец — высокий, исхудалый, в короткой не по росту толстовке черного сатина — стоял у кровати, согнувшись глаголем, положив локти и голову на железный прут изножья. Вздрагивая, голова его билась об руки.

Мать была новой,— Аночка не узнала ее и со страхом отвернулась. Ища опоры, она подвинулась к стене, почти в угол комнаты, и, чувствуя, что сейчас заплачет, поднимая к глазам руки, задела настенную полку и свалила на пол пустую вазочку из папье-маше — единственное украшение дома, раскрашенное маркими цветами.

Точно от этого звука, похожего на щелчок по картонке, отец распрямился, судорожно захватил в кулак простыню и сорвал ее с мертвой. Рухнув на колени, он начал со стонами, громко и часто целовать тоненькие ноги Ольги Ивановны.

Аночка подняла безделушку с пола, поставила аккуратно на место и вдруг выбежала из комнаты, бросилась к себе на постель и тяжело уткнула лицо в подушку.

Два дня затем протекли в странном перемещении лиц,— появлялись, исчезали и опять являлись соседи и знакомые с советами, утешениями. Ольга Ивановна раньше никого не стесняла, а теперь, когда ее уложили на стол, заняла очень много места, и квартирка сделалась еще меньше. Аночка говорила со всеми, кто приходил, а потом забывала, кто был, и спрашивала — почему не зашел тот, с кем она только что разговаривала.

Забегал чаще других Мефодий Силыч — побратан и собутыльник Парабукина. Он считал долгом поддерживать упавший дух вдовца, для чего оба удалялись в сени или на задворки, под старую, отцветающую акацию, и там наспех опоражнивали посуду, которую приносил в кармане утешитель.

Был Цветухин. Он положил в ноги Ольги Ивановны букет сирени. Цветы мгновенно залили квартиру удушающим ароматом, и этот аромат внес с собою безысходно-томительное ощущение покойника в доме. Егор Павлович заставил Аночку прогуляться с ним по улицам. Она согласилась, но, выйдя за ворота и вслушившись в его отвлекающие речи, запротивилась, будто в раскаянии, и кинулась назад.

Была Вера Никандровна. Она принесла вышитый гладью шелковый платок — им повязали голову покойницы, накрыв краями с бахромой руки. Ольга Ивановна стала так белоснежна в сияющей нарядной этой раме, что Аночка не выдержала и, как

ребенок, который прячется от какой-нибудь неожиданности, присела, крепко уткнулась лицом в колени Веры Никандровны, и та долго, убаюкивающе поглаживала ее стриженый затылок.

Павлик больше всех проявил деятельности. Прыткие ноги его как нельзя лучше помогали в эти часы печальных хлопот. Он разузнал нужные адреса, водил отца к гробовщику, ездил на кладбище. Он видел, как упрочилось значение его в доме, и гордость его особенно возросла после того, как он побывал у Мешковых, намереваясь поделиться горем с Витей. Больная Елизавета Меркурьевна страшно разволновалась, вздумала даже пойти проститься с Ольгой Ивановной, но ее уговорили не вставать. Она подробно расспрашивала, как умирала Ольга Ивановна, и потребовала от Павлика, чтобы он немедленно бежал домой — узнать, не нужны ли деньги.

Состоялся семейный совет, в котором Павлик участвовал наравне с отцом и сестрой. Парабукин заявил, что подачек от Мешковых ему не нужно.

— Довольно покойница при жизни настрадалась от Меркула. Ты забыла, как он вас, маленьких, на мороз выгнал? Получим пособие на похороны — перебьемся. Возьми пока у Извековой.

— Вера Никандровна дала, но едва ли нам хватит,— сказала Аночка.

— Ну, попроси у своего актера. Не откажет. Ведь — взаймы,— сказал отец.

Аночка стала сумрачной и не ответила. Он грузно опустился на пустую кровать Ольги Ивановны, глаза его слезились, и уже какой раз за это время он начал всхлипывать. Глядя в землю, Аночка вымолвила горько:

— От водочки, отец...

— Ну ладно, от водочки,— покорно вздохнул он.— Ну, а неужто все от водочки? Неужто так ничего во мне не осталось, кроме что от водочки? Осуждаешь меня. Хоть и умна, а не приметлива. Давно уж и водочки нет. Все вроде смеси горючей из-под грузовика.

Павлик перебил отца:

— Если не хочешь занимать у Витиной мамы, то давай я попрошу у Арсения Романыча? Он даст.

— Вот верно, сынок: он даст, он — блаженный.

— Попросим, если денег не хватит, только если не хватит,— решила Аночка.

Понемногу все устраивалось, как всегда, когда умрет человек. Сначала близким кажется, что они бессильны преодолеть навалившиеся затруднения и горе отняло у них всякую волю. А потом все сделается само собой, и, как бы помимо желания оставшихся,

человека отнесут туда, где беспрепятственно кончается путь каждого.

Только на третье утро доставили тяжелый гроб из сырого, пахнувшего свежей смолой дерева. Витя Шубников смотрел из уголка, как мертвую сняли со стола, опустили в гроб и потом стали поднимать гроб на стол.

— Пособи,— позвал Павлик Витю, и Витя, заставив себя оторваться от своего укромного угла, подбежал к ногам Ольги Ивановны, сунул руки под днище гроба и натужился изо всей мочи. Он сейчас же почувствовал, что пальцы приклеились к невыструганной доске, и когда гроб установили, он испуганно и долго оттирал от пальцев смолу, и чем дальше тер, тем сильнее слышал скипидарный запах гроба.

К выносу собралось неожиданно много людей, но почти все остались у ворот, и провожать пошел маленький кружок. Были поданы дроги.

— Все очень прилично,— бормотал сам себе Парабукин, когда тронулись в путь,— Ольга Ивановна была бы довольна. Спасибочка сказала бы тебе, Тиша.

В это время он вспомнил, что из экономии кладбищенские могильщики наняты только вырыть яму, а хоронить придется самим, и требуются заступ и молоток. Шествие остановилось на перекрестке улиц, и Павлик с Витей побежали назад — разыскивать по соседям нужные вещи.

Было безветренно, наступала духота, город словно примирился с знойными днями и каждым своим дюймом слышал, как раскаляется бело-голубое небо. Все стояли молча позади дрог. Катафальщик в запачканном кремовом балахоне сердито взмахивал рукой, отгоняя шершня от лошади, которая мученически мотала головой.

На поперечной улице показался автомобиль. Он со всей скоростью шел в гору и, долетев до перекрестка, остановился. Процессия должна была бы продвинуться, чтобы дать дорогу, либо автомобилю пришлось бы заехать на тротуар. Но тут в открытом кузове машины невысоко поднялся человек и, как будто в нерешительности, обнажил темноволосую голову. Потом он распахнул дверцу, выскочил на мостовую и поспешно зашагал к дрогам.

Аночка узнала Кирилла. Он подошел прямо к ней, сильно сжал протянутую ему руку и постоял, несколько мгновений ничего не говоря. Продолжая держать руку, он сказал очень быстро и негромко:

— Я хотел проводить вашу мать, но невозможно: у меня срочные дела. Вы извините.

Она высвободила руку из его горячих пальцев.

— Спасибо.

Она не глядела на него, но заметила, что он стал центром внимания. Взор Веры Никандровны выражал одобрение. Стоявший поодаль Дорогомилов напряженно следил за Кириллом: он помнил его мальчиком и с тех пор не встречал. Парабукин как будто не понимал — что за человек приехал на автомобиле. Его беспокоило — почему долго не возвращаются Павлик с Витей. Цветухин поздоровался с Кириллом, как с хорошим знакомым. Ему хотелось попросить его о приеме по важному делу, однако Извеков ответил на приветствие слишком вскользь, и Егор Павлович немного растерялся. Потоптавшись, он отозвал в сторону Мефодия Силыча, чтобы узнать его мнение — удобно ли в такую минуту заговорить о делах?

— Почему нет? — пожал плечами Мефодий и продекламировал: — Мирно в гробе мертвый спи, жизнью пользуйся живущий.

Но Цветухин опоздал со своим намерением: мальчики прибежали с заступом и молотком, и дроги опять тронулись.

Кирилл простился с Аночкой:

— Нужна будет какая помощь — скажите маме, она мне передаст. Я вас очень прошу,— добавил он с неловким движением к ней, будто остерегаясь, что его услышат.

Она наклонила голову.

Кирилл сделал с ней рядом несколько тихих шагов и потом быстро вернулся к машине. Он велел выехать на самый перекресток и остановиться. Упираясь коленом в сиденье, он стоял все еще с открытой головой и глядел вслед удалявшейся процессии. Вдруг он заметил, как Аночка на один миг обернулась, и в солнечном блеске поймал ее далекий взгляд. Он посмотрел еще секунду, потом сел, приказал шоферу ехать:

— Скорее. Я опаздываю.

Он вынул часы и долго держал их перед глазами в качающейся от езды руке, не видя или не понимая — который час.

На кладбище у открытой могилы Парабукин засуетился. Он подходил ко всем по очереди, собираясь о чем-то спросить, но только заглядывал в лица и тотчас отшатывался. Мефодий придержал его за локоть.

— Ты что?

— Она ведь у меня верующая,— шепнул ему Парабукин.

— Отпеть, что ли, хочешь? — спросил Мефодий так, что кругом услышали.

— Суета, суета,— сказал Парабукин, точно без памяти,— а неудобно перед ней, а?

Он робко глянул на дочь. Аночка посоветовалась с Верой Никандровной. Они решили, что отцу не надо перечить.

Он скрылся между крестов и через минуту привел худощавого батюшку в скуфейке и эпитрахили. Сняли крышку с гроба и ближе обступили его. Помахивая пустым кадилом, батюшка начал панихиду. Голос у него был высокий и будто доносился сверху. Сильнее стало слышно птичье верещанье в крупной листве калифорнийского клена, простертого за недалекой оградой, и бубенцы кадила в тон откликались птицам.

Дорогомилов держался между Павликом и Витей. Косматая голова его была вздернута к небу, казавшемуся здесь вознесенным необычайно далеко. Мефодий растрогался и на катавасии «Молитву пролию ко господу» принялся подпевать обрывчивой октавой.

Когда с покойницей прощались, батюшка, глядя на ее расшитый гладью убор, спросил горестно и сожалительно:

— Платочек с ней пойдет?

— Да,— тотчас ответила Аночка и стала перед батюшкой, чтобы загородить от него гроб.

— Все с ней пойдет, все с ней,— опять забормотал Парабукин.

В какой-то ревнивой спешке, вдруг овладевшей им, он накрыл углом платка лицо жены.

Это был последний миг, когда Аночка видела мать. Необъяснимо счастливой и чистой показалась она ей в этот миг и со страшной властью потянула к себе. Аночка неожиданно кинулась к ней, упала коленями наземь около гроба, откинула платок и припала к рукам матери. Руки эти были уже мягкими и не очень холодными, пригретые солнцем. Целуя ту, которая лежала верхней, Аночка приподняла пальцы и ощутила губами внутреннюю, исколотую и словно еще живую, поверхность их кончиков. Она так явно слышала недавнюю ласку этих шероховатых, натруженных пальцев на своем лице, что будто продолжала эту ласку, и не могла оторваться от пальцев, и все целовала, целовала их, заливая слезами.

Ее хотели поднять, Цветухин нагнулся к ней, но она так же неожиданно и с силой встала на ноги, и отошла на шаг от гроба, и вытерла свое потрясенное болью и будто уменьшившееся лицо.

Какая-то кладбищенская старушка, юрко протискавшись вперед, спросила Аночку:

— Сестрица, что ли, она тебе? — И, узнав, что не сестрица, а мать, запричитала: — Ахти! Ведь краше невесты под венцом, матушка! Голубица непорочная, царство ей небесное!..

Парабукин накрыл гроб крышкой и торопливо, на совесть, начал вгонять гвозди. Стук отзывался дробным, словно шаловливым, эхом между крестов. Потом единственный могильщик, ску-

чавший поодаль, кинул на землю смотанное в кольца вервие. Его размотали, просунули концами под гроб и стали поднимать гроб на бугор рыхлой глины, вынутой из могилы.

Вдруг Мефодий Силыч по-рабочему громко приказал:

— Повернуть! Повернуть!

— Зачем повернуть? — бестолково спросил Парабукин.

— Крест-то где будет? Повернуть ногами к кресту!

— Чай, крест в головах!

— Кого учишь? В день воскресения сущие во гробах восстанут из мертвых ликом ко кресту и к востоку. Понял? Заноси ногами к кресту.

Но Парабукин противился. Они пререкались шумно, потом Мефодий оглянулся: попа уже не было, и он метнул глазом на могильщика:

— Что молчишь?

— Поворачивай,— нехотя сказал могильщик, понимая, что его слово дорого, а ему ничего не приплатят.

Когда гроб опустили, Парабукин, не дожидаясь, пока провожавшие бросят прощальную горсть земли, выхватил у Павлика заступ и с таким усердием начал отваливать от бугра комья глины в могилу, что оттуда облаком поднялась рыжеватая пыль. Он работал ожесточенно. Обвислые щеки его быстро белели, грива поседевших кудрей переливалась и взблескивала сединами на солнце, пот закапал со лба наземь.

— Дай сюда, дай,— старался взять у него заступ Мефодий.

Но он не отдавал, у него будто свело судорогой руки, он кидал и кидал землю, все учащая движения, словно работал с кем-то наперегонки. Наконец он стал махать пустым заступом, почти не прихватывая земли, и качнулся от изнеможения.

Тогда Аночка подошла к нему, разжала ему пальцы, отвела его в отдаление, и он лег на землю, облокотившись на покатую могильную насыпь. Он коротко дышал, по прилипшей к груди толстовке было видно, как содрогалось его сердце, бессилие обозначилось в его свесившихся кистях рук и тяжело раскинутых громоздких ногах. Он выговорил, прерывая слова свистом вздохов:

— Ольгу Ивановну... родимую нашу... своими руками...

Аночка не отходила от него. Глядя сквозь просветы неподвижного клена, она наблюдала за сменой работавших вокруг могилы, и почему-то ей чудилось, что она смотрит через уменьшительное стеклышко, и все происходит далеко-далеко. Вот из рук Павлика взял заступ Егор Павлович. Вот на его месте закачался Арсений Романович, и долгие рассыпчатые волосы занавесили его лицо. Вот взяли все вместе крест, опустили концом в могилу, он стал коротенький. Опять принялись кидать глину. Голова Мефо-

дия Силыча клонится, подымается, и продавленный его нос кажется еще некрасивее, чем всегда. Яма сровнялась с поверхностью, начали насыпать холм. Он рос исподволь и неровно с одного края к другому. Птицы подняли возню на дереве, листва задрожала, то укрывая от Анночки могилу, то показывая ее. Глину кидали и кидали, но снизу она была сыроватой и пыль рассеялась, все стало ярче.

Парабукин, отдышавшись, поднялся.

— Пойду.

Аночка вздумала удержать его, он сказал:

— Не хочу смотреть. После.

Она не заметила, как с ним исчез Мефодий Силыч.

Егор Павлович положил на холм вялую сирень. Поникшие султаны ее все еще распространяли запах, который шел от гроба.

Потом все молча двинулись к воротам.

На трамвайной остановке Павлик заявил сестре, что поедет с Витей на Волгу. Она ответила, что надо идти домой. Тогда он сказал, что пойдет к Арсению Романовичу. Нет, он должен домой. Кто же отвезет заступ и молоток? — настаивала Аночка. Тогда он пойдет к Вите. Нет, домой,— повторяла она. Он нахмурился. Ему трудно было не слушаться сестры. Она первая научила его читать, ее слово в доме иной раз решало какое-нибудь важное дело. Может быть, она теперь вздумает взять весь дом в свои руки? Вряд ли. Она, наверно, примется устраивать театр со своим Егором Павловичем. Ей будет не до дома.

— Чего теперь дома делать? — спросил Павлик.

— Тоже, что делал раньше, только лучше,— ответила сестра.

— Ничего я не буду делать. Жизни не знаешь,— сердито сказал он.

Аночка чуть-чуть улыбнулась ему.

Трамвай тащился кое-как. Знакомые понемногу выходили на остановках, прощаясь с Павликом за руку, и кто похлопывал его, кто прижимал к себе и гладил. Егор Павлович подержал его за подбородок. Вера Никандровна поцеловала в щеку.

«Вот еще!» — подумал Павлик.

Проходя своим двором, Аночка увидела за акациями Мефодия Силыча и отца. Они сидели нагнувшись, голова к голове, и, наверно, как всегда, философствовали. Она решила не мешать им.

Предстояло убрать комнаты. Стало очень просторно в этих крошечных комнатах, и впервые за всю жизнь появились словно бы излишние вещи. Им нужно был найти новое место. Но в то же время нельзя было допустить, что они переменят место. Невозможно было представить себе, что будет вынесена куда-нибудь

кровать мамы. Или передвинут стул, на котором мама работала за швейной машинкой.

Самые ничтожные обстоятельства кажутся знаменательными, если они сопутствуют смерти. Аночка старалась занять себя работой, но все останавливалась. Припоминания обессиливали ее. Вдруг у ней в руках оказывался лоскут с красными горошинами из тех бесчисленных обрезков, которые оставались после кройки, и она неподвижно глядела за окно, не выпуская тряпицы. Другой такой тряпицей с красными горошинами она как-то забинтовала маме большой палец, нарывавший от укола. С пальцем Ольга Ивановна долго мучилась. На какой руке болел палец? На правой? Нет, на левой. Маме было больно придерживать материю под иглой, когда она строчила. Аночка не могла выбросить лоскут в сор и заложила его себе в книгу. Потом она смотрела на фотографию, розовато-пепельную от старости, памятную по детству и всегда удивлявшую. Мама сидела в кресле. На ней была широкая, колоколом, юбка до пола, на коленях она держала девочку с кривой голой ножкой. Это была умершая сестра Аночки. Рядом стоял отец в коротком сюртуке, в брюках раструбами. Он тогда служил ревизором поездов. Аночка не знала его таким, она всегда помнила отца грузчиком, в посконной рубахе или в толстовке — уже позже, когда он начал искать легкую работу. И у него и у мамы с девочкой вместо зрачков были точечки, словно наколотые булавкой.

Она наконец заметила, что в доме не хватает привычного хрустящего звука, и подняла голову к часам. Ходики стояли. Стрелки почти сливались на трех часах семнадцати минутах. Она спросила неуверенно:

— Павлик, может, их уже пустить?

Он не ожидал вопроса и не нашелся, что ответить. Он читал только о том, что часы останавливают, если в доме умирает человек. Но когда затем снова пускают часы, в книге ничего не было сказано. Может быть, их останавливают навсегда? Ведь человек умирает навсегда?

— Мы все равно никогда не забудем это время,— сказала Аночка, глядя на стрелки.

Но Павлик опять не ответил.

— Пойди узнай, который час,— велела она.

Он убежал к соседям. Без него она толкнула маятник.

Но все-таки она была не в силах решать все одна. Она пошла к отцу.

Парабукин сидел на дощечке, набитой на старый пень. Мефодий Силыч топтался возле него. Они, видимо, поспорили. У них было в обычае донимать друг друга каверзными рассуждениями,

но они никогда не ссорились и, пожалуй, не могли друг без друга жить. Несколько лет назад они сошлись на одной ступени, Мефодий — опускаясь вниз, Парабукин — немного поднявшись: одного все чаще выгоняли из театра за пьянство, другой, после болезни, стал пить меньше и пробовал счастье на разных службах. С тех пор они так и застряли на своих неудачах. Впрочем, как раз последние месяцы Тихон Платонович имел службу и тем несколько отличал себя от друга.

Он подвинулся и показал дочери, чтобы она села.

Но Аночка отказалась.

— Я только спросить тебя: может, мы дадим мамину кровать Павлику? Он вырос из своей.

— Я уж тоже думал. Тебе помочь, что ли?

— Нет, мы с Павликом,— сказала она, уходя.

Он качнул ей вслед головой.

— В мамочку, в Ольгу Ивановну. Хрупка и трепет такой в ней. Хотя и от меня есть: все чтобы по ее было. Опасная кровь.

— Плохо, коли в тебя,— сказал Мефодий.— Не дастся одно счастье — кинется очертя голову за другим. Только разве гордость не пустит. Она вон как мать-то свою от попа загородила! Смерть — это, брат, великая обида человеку. Обиде панихидой не поможешь.

— Ты меня панихидой коришь? А сам не подтягивал поповой погудке?

— Это воспоминания мои, а не я. Пережиток мой запел во мне,— слукавил Мефодий.

— Себе прощаешь, а мне нет? Я для чего попа звал? Перед покойницей надо было очиститься. Перед памятью ее.

— Бога забоялся?

— Что зря калякать! — печально сказал Парабукин.— Мало мы воду переливали? Мечтаний моих не знаешь?

— А это тот же бог, мечта-то! — обрадовался Мефодий и скоренько присел на край дощечки.— Ее ведь никогда не догонишь, мечту-то, а? А догонишь — она уж будет не мечта. Как с богом, пока его не видишь, он — бог. Увидал — он уж чурбан, идол.

— Сам говорил — без мечтаний человеку нельзя,— обиделся Парабукин.

— Говорил. Нельзя. Но и на землю мечту низвести невозможно. Как начнешь ее претворять в вещь, в ощутимость, так, глядь, а из-под рук твоих выходит чурбан. Понял?

— Сам ты чурбан.

— Верно! Сиречь материальная, как философски говорят, материализованная мечта.

— Оставь свой сиречь! Все хорошее в человеке есть мечтание. Твои же слова. Говорил? Говорил. Значит, если мечтание — бог, то, выходит, я — бог. И все могу. Захотел устроить полезный мир и — пожалуйста, устраивай. Тоже твои слова. Говорил? Говорил. И не мучай меня. Филосо́ф! У меня дети, я перед ними виноват. У меня к ним жалость. Я не могу, чтобы не верить.

Парабукин поднялся, захватил в кулак стволик акации, качнул его, стряхивая с куста желтые коготки цветов. Мефодий снизу прищурился испытующе:

— Ежели уж ты такой бог, устрой поминовение Ольги Ивановны. Да по-русски. Материально.

Парабукина передернуло, как от холодка, он вдруг попросил с покорной мольбой:

— Ты друг? Тогда утешь. Плачет у меня все внутри.

— Ладно, дожидайся.

Мефодий Силыч ушел решительно, а Парабукин, оставшись наедине, опять сел и закрыл лицо руками.

Мефодий был его учителем жизни, возвышаясь над ним семинарскими познаниями и той отравой сомнений, которая, как купоросная кислота, разъедает и камни. Парабукин же считал мир устроенным очень практично, настолько практично, что не у всякого доставало ловкости его уколупнуть. Людям вроде него — как он думал — отказано было судьбой в том, чтобы перемудрить хитрость житейского механизма. У них была короткая пружина. Люди с длинной пружиной никогда не отставали от бега дней. А у Парабукина не хватало завода: только он соберется с силами, чтобы потягаться за свое счастье, а завод и вышел. В наступивших после революции событиях он увидел тот смысл, что житейский механизм будет упрощен, и тогда короткого завода тоже хватит, чтобы и с таким заводом брать от мира себе на потребу. Он не заботился о своем личном переустройстве, он верил, что без всяких со своей стороны перемен подойдет для переустроенного мира. Ему представлялось, что именно ради таких, как он, всеобщие изменения и предприняты. Притом он не был человеком бессовестным. Наоборот, его часто мучила совесть.

Поэтому, едва Мефодий Силыч удалился, он бросил философствовать, а трезво задумался над своим положением. Со смертью Ольги Ивановны его завод еще больше укоротился. Окажись сейчас Тихон Платонович без службы, просто нечего будет положить на зуб. То он был на руках у Ольги Ивановны, а то вдруг у него самого на руках осталось двое детей. Правда, Аночка кончила учиться и теперь должна уже подумать о семье. А как с Павликом? Будь он хотя бы лет двенадцати, можно было бы сказать, что ему пятнадцатый, а в этом возрасте, с грехом пополам, Тихон

Платонович пристроил бы мальчика хотя бы при себе, в утильотделе. Там есть, к примеру, пакгауз с безхозными и конфискованными библиотеками. Подростки сидят и рвут ненужные книги. Переплеты идут в сапожное призводство, чистая бумага — в канцелярии, печатная — на пакеты. Труд пустяковый, а, глядишь, мальчик пришел бы домой с рабочим пайком. Ведь на одно-то свое жалованье Тихон Платонович его, поди, не прокормит?

Скорбно стало Парабукину от здравого хода мыслей, и тоска еще томительнее взялась точить его сердце.

Он насилу дождался Мефодия. Когда же тот пришел и Парабукин увидел его устало-виноватое лицо, он не мог удержать стона: верный друг явился ни с чем.

— Дожидайся теперь меня,— сказал Парабукин, опомнившись от удара, и живо, саженками огромных тонких своих ног, зашагал к дому.

Аночка к этому времени успела побороть себя, разработалась и уже много сделала. Невесомая золотистая пыль светилась в окнах, полных солнца. Павлик сцарапывал ножом наросты клякс с чернильницы. Визгу ножа отзывалось ширканье веника из другой комнаты. Сложенная кровать стояла прислоненной к косяку. Всюду лежали разобранные постели.

— Я помогу, дочка,— сказал Парабукин.

— Хорошо. Ты вынеси одеяла и развесь. Павлик знает, где веревка. Да недалеко от окон, чтобы видно.

Отец пошел натягивать веревку, привязал ее к резному оконному наличнику и к давно заброшенному дворовому фонарному столбушку, на совесть попробовал — крепко ли держит, и начал вместе с сыном выносить развешивать одеяла. Он что-то все мешкал, задерживался в комнате, перебирал разное тряпье, стал мудрить, посылая Павлика принести с веревки одно, вынести и повесить другое.

И вдруг Павлик, забарабанив в стекло, крикнул сестре со двора:

— Смотри, папа чего-то унес!

Аночка выбежала и еще из дверей увидела отца. Он резво шел напрямик к воротам, держа под мышкой прижатую к боку, накрытую клетчатой осенней маминой кофтой, неудобную кладь. Он был уже посередине двора, когда расслышал, что его нагоняют. Он побежал тяжко и широко.

Но Аночка перегнала его, домчавшись до ворот стремительным, почти беззвучным бегом, захлопнула с маху калитку и повернулась спиной к щеколде, закрыв собою ход.

Отец стоял с ней лицом к лицу.

Она рывком откинула край прикрывавшей его добычу кофты.

Это была швейная машинка под деревянным колпаком. Аночка потянула за ручку колпака.

— Ну, довольно, довольно,— сказал отец негромко.

Но она упрямо тянула к себе. Отстраняясь от нее, он затрясшимися от неверной улыбки губами пробормотал:

— Чего ты испугалась? Что я — враг разве вам?

Павлик уже стоял рядом и глядел на отца светло-желтыми от солнца глазами в слезах.

— Я ведь только на время, вместо залога. Не продам же... мамочкину память,— сказал Парабукин жалостно.

Аночка все молчала, ухватив уже обеими руками колпак. Потом она развела закушенные губы:

— Павлик, возьми папину руку.

— Ну, давай я сам отнесу. Он маленький, уронит,— будто смирился Парабукин.

Но она ловким и быстрым усилием со злобой надавила на машинку книзу и вырвала ее, едва удержав в своих тонких руках.

— Отнеси домой,— сказала она брату, и он понес машинку, сильно накренившись набок и махая далеко откинутой свободной рукой в лад частым маленьким шажкам, как несут переполненное водой ведро.

Аночка подняла с земли кофту, отряхнула ее, не глядя на отца.

Парабукин сказал заносчивым и обиженным голосом:

— Ты что хочешь? А? Переделать меня хочешь? Меня мать не переделала! А?

Она ответила коротко:

— Я попробую.

Краска спала у нее с лица. Она пошла двором медленно и легко.

Из-за куста акации все время подглядывал за ней присевший на корточки и не шелохнувшийся Мефодий Силыч.

14

Ознобишин сидел у постели Лизы, и на лице его уступали один другому оттенки заботы, испуга, благодарности, счастья. Счастье было самым сильным из них и придавало ему иногда наивно ликующий вид, так что Лиза говорила немного осевшим голосом: «Смешной, смешной!..»

Он притрагивался к одеялу, чтобы поправить его благоговейным движением, или поглаживал свои руки, ставшие будто еще менее мужскими. Он был доволен ощущением наступившего мира

после двух ураганов, которые пробушевали над головой и в сердце: тюрьма и болезнь Лизы.

Когда он узнал, что Лиза слегла, он подумал, что она непременно и сразу умрет. Но она поправлялась, он это видел по ровному свечению ее глаз. И главное — она была рада ему, она страдала за него, пока была в неизвестности насчет того — где он исчез, а потом — что с ним произойдет в ужасном заточении, куда он попал, может быть, из-за нее?! О, ее рассказ — как она мучилась до его появления, забывая о своей болезни,— взволновал Ознобишина до глубины. Кому не понятно, что означают женские терзания за судьбу мужчины? И разве не изумительно, что в момент опасности ее душа потянулась прежде всего к нему, и, вместо того чтобы думать о враче, Лиза послала маленького своего сына на розыски Ознобишина?

Холодной ночью, затерявшись во тьме, мальчик стучал в незнакомые дома, выспрашивая, где живет Ознобишин, и если ему не отвечало мертвое молчание, то раздавался бранчливый окрик либо подозрительный опрос — а кем он будет или что ему надо? Никто не знал такого человека: Анатолий Михайлович поселился в этом квартале недавно.

Витя бежал и бежал от двери к двери, от одной оконной ставни к другой, ощупью отыскивая на косяках звонки или барабаня пятками в запертые калитки. У него не было ни капли страха или, вернее, страх оставался позади и гнал его вперед. Страхом было то, что мама лежала на постели и у ней изо рта текла кровь, и раз она не побоялась послать ночью Витю на розыски Ознобишина, значит, только Ознобишин мог остановить кровь. Он прибежал домой, взмокнув от пота и в таком ужасе от своей неудачи, что мама испугалась и попросила у него прощения.

На другой день она послала Витю в контору нотариуса, где служила вместе с Анатолием Михайловичем. Но Ознобишин на службу не являлся. Она послала Витю второй раз, чтобы он с точностью узнал адрес Ознобишина и прямо из конторы пошел бы по этому адресу. Но Витя принес еще более странную весть: Анатолий Михайлович дома не ночевал. Она велела сыну отнести записку, в которой упрашивала одну сослуживицу разузнать у родственников Ознобишина — что с ним? Но пришел ответ, что о родных Анатолия Михайловича никто не слышал.

Ко всем этим розыскам Меркурий Авдеевич относился неприязненно и с тревогой. Он придумывал разные доводы несостоятельности такой спешки: время тяжелое, мало ли что случается. Зачем попусту гонять по городу мальчика? То Лиза запрещает послать его на базар, а то вытуривает ночью, сама не зная куда. Да и что дался этот Ознобишин? Кто он, в самом деле, Лизе?

Муж? Жених? Кавалер какой или, может... Но тут Меркурий Авдеевич не договорил. Лиза перебила настойчиво:

— Это касается одной меня. Он мой друг.

— А коли друг, сам придет. Вот ты его дружбу и проверишь.

— Я прошу тебя, помоги его разыскать!

Он понял, что перечить бесполезно.

Но едва он признался, что видел, как Ознобишина ночью забрал патруль, ему стало ясно, что лучше было бы это скрыть. Лизу обуяло смятение, она заявила, что теперь сама пойдет на розыски, что раз отказываются ей помочь, значит, ее хотят замучить — и правда, видно было, что она скорее замучит себя, чем отступится от требования, чтобы Ознобишин был найден.

С великой робостью Мешков принялся разузнавать по участкам милиции, где мог обретаться задержанный Анатолий Михайлович. Наконец он осторожно доложил дочери, что Ознобишин — в домзаке. Что такое домзак? Дом заключения. Тюрьма. Лиза была и потрясена и обрадована известием — неведение для нее было тяжелее печальной действительности. Она сказала отцу, что расцеловала бы его, если бы теперь имела право целовать: в признании этом скрывалась вся грусть ее положения тяжелобольной.

Но тогда у ней появилась новая мания — непременно поддержать Ознобишина в тюрьме. Оказалось, что нет никакой беды, если Витя сбегает на базар — продать какие-нибудь обноски и взамен купить сала и сахара. Если потом он постоит в очереди у тюремных ворот, чтобы передать посылку заключенному. Если вообще будет стараться утешить Анатолия Михайловича в его горькой доле: Витя — мальчик уже большой и должен понимать, что делать добро — его долг.

Мешков поворчал про себя, что, мол, для отца каждый пустяк в тягость, а ради какого-то друга Ознобишина не жалко и родного ребенка. Но ведь молился же он о «плавающих, путешествующих, недугующих и плененных»? Случай был явно неоспоримым: дочь заботилась о плененном, и Меркурий Авдеевич смирился.

Только теперь, глядя на растроганного Анатолия Михайловича, Лиза в полную меру могла оценить свое благодеяние. Он признался, что заплакал, когда ему в камеру принесли с воли гостинец, и ему вдруг стало очевидно, что тот последний памятный вечер с Лизой не был случайностью для них обоих.

— Что же там происходило с вами? Что? — допытывалась Лиза, стараясь угадать сокрытые чувства Ознобишина.

— Ах, Лиза! — вздыхал он, покачивая свое нескладное, широковатое книзу туловище, будто томясь расспросами.

— Страшно, да?

— Ах, Лиза! Слава богу, все позади.

— Но что, что? Почему вы не хотите сказать? Нельзя?

— Нет. Вам я все равно рассказал бы, что бы там ни было. Но не будем, не будем сейчас говорить!

— Бедный, как вам тяжело!

— Тяжело за вас.

— Нет, нет, я — что!.. А вы...

— Со мной все хорошо, очень хорошо обошлось. Мне помог один трезвый и, наверно, умный человек. Но все-таки... ужасно было каждую секунду ждать, что тебя обвинят, засудят, когда ни в чем не виновен. Ни в чем! Можете мне поверить?

— Что вы невиновны? Перед кем? Конечно, нет! — сказала Лиза, отводя взгляд с чувством неловкости, что мысль ее не полностью участвует в разговоре.

— Что это был за человек? Большевик? — спросила она.

— Наверное. Один из той комиссии, которая разбирала дело. Не знаю, как его по фамилии. Мне обещали узнать. Он как следует разобрался и, разумеется, ничего не мог найти.

— А что же искал?

— Ну, вы понимаете — следствие о бывшем царском чиновнике! Будто я умышленно родился и вырос при царе,— усмехнулся Ознобишин.— В конце концов убедились, что я — мелкая рыбка. Они ставят сети на леща. А я — густёрка.

Лиза посмотрела на него озадаченно, потом чуть улыбнулась.

— Сети могут поставить и на густёрку.

— Печально. Придется доказывать, что я уклейка.

Она стала серьезной. Неожиданно захотелось лучше распознать его. Оттого, что она с увлечением давала жить новорожденному своему чувству, ей казалось, она хорошо знает Ознобишина и смотрит на многое так же, как он.

История их отношений мысленно делилась ею на две неравные части. Одна была долгой и довольно бесцветной, другая быстро, почти внезапно привела к тому шагу, который — по виду — бесповоротно предрешал будущее.

Лиза в прошлом встречала Ознобишина редко — раз-другой в год, где-нибудь в магазине, на бульваре или на благотворительном вечере. Обычно он только раскланивался, правда, с необыкновенной приветливостью. Раз, в Липках, она заметила, что он пристально следит за ней. Это не понравилось ей, и, вероятно, он уловил ее неудовольствие, потому что в другой раз поздоровался до спесивости официально. Это тоже пришлось ей не по вкусу, она посмеялась в душе: «Подумаешь, какая чувствительность!» Потом он надолго исчез.

Уже после ухода Лизы от мужа Анатолий Михайлович встретился ей на улице. Произошло это при комическом обстоятельст-

ве: она вышла из аптекарского магазина, и у нее развязалась покупка — пузырьки, коробочки, пакетики высыпались на тротуар. Стояла весенняя оттепель, все это перепачкалось в слякоти, и Лиза, с другими покупками в руках, неловко пыталась справиться с бедой. На помощь ей и подоспел Ознобишин. Купив в киоске газету, он все упаковал и предложил проводить Лизу до дома. Он был весел, дорогой пошучивал насчет того, что узнал секреты Лизиной косметики, ее женские пристрастия и будет иметь в виду ее любимый запах: флакон с одеколоном, вывалившись на тротуар, треснул, и газета быстро пропахла экстрактом резеды. Может быть, потому, что слепило мартовское солнце и ветер нес с собою приятно утомляющую влажность талых снегов, Анатолий Михайлович понравился Лизе забавной простотой речи и даже странностью своей фигуры, напоминавшей кенгуру: с маленькими руками, веским корпусом и как бы мешкавшими переступать тяжелыми ногами.

Они расстались дружески. Потом она увидела его перед самой революцией. Уже давно тянулось дело о ее разводе с Шубниковым, и она просила Ознобишина рекомендовать умелого адвоката, так как Виктор Семенович чинил всякие препятствия расторжению супружества, ловко предупреждая все ее шаги в консистории и в суде. Ознобишин назвал несколько адвокатов и сам дал кое-какие советы, с деловым и очень тактичным участием. После революции в таких советах отпала надобность: браки расторгались по заявлению одной стороны, женщина была провозглашена свободной, наравне с мужчиной, невиданный новый закон говорил, что он не вмешивается в желание мужа и жены жить совместно или разойтись, и любому из этих состояний он тотчас придавал юридическую силу, как только супруги этого хотели.

Когда наступили трудные годы гражданской войны и Лизе наряду со всеми пришлось искать службу, она — опять случайно встретив Ознобишина — сказала ему, что нуждается в работе. Он давно снял форму чиновника и мечтал устроиться поотдаленнее от тех мест, где могли помнить его сюртук судейского ведомства. В виде переходного этапа он занимал должность помощника нотариуса и предложил Лизе поступить в его контору. Занятие, конечно, ничуть не поэтичное, но незаметное, по смыслу своему совершенно бюрократическое и, стало быть, безопасное — никаких выспренних требований к нему не предъявишь: сиди, составляй купчие на окраинные и слободские домишки не выше установленной властями для частной собственности предельной суммы или регистрируй мужнины доверенности женам — и всё. Мерку-

рий Авдеевич тоже нашел службу у нотариуса всесторонне безвредной, и Лиза начала ходить в контору.

Здесь встречи ее с Анатолием Михайловичем стали ежедневными. Он проявлял к ней невинные знаки внимания, которые так легко будят в женщине симпатию. Иногда они вместе уходили после службы и брели грустными улицами на Волгу. Со смертью матери Лиза сильнее чувствовала свое одиночество. Во всем свете только сын был ей близок, но в душе оставалось так много простора для неизведанных желаний, что заполнить его не могла даже непрерывно растущая материнская любовь.

Пожалуй, ничто быстрее не объединяет людей, как одинаковые переживания. Анатолий Михайлович был холостяк, одиночество стало его привычкой, но в самой привычке этой он постоянно слышал горклость скучновато сложившейся жизни. Он не считал себя несчастливым, но, когда Лиза спросила его, бывал ли он счастлив, он с полной искренностью ответил, что нет, он не счастлив. Доброе десятилетие он стремился наладить свою карьеру, полагал, что, сделав ее, получит счастье в придачу. Но карьера требовала таких кропотливых усилий, что до счастья он уже и не думал дотянуться. Его признание толкнуло Лизу к откровенности. Она высказала убеждение, что счастье никогда не приходит само по себе, его, наверно, надо приводить насильно, добиваться, брать. Вот она однажды не взяла своего счастья, упустила какой-то секрет — и уже не знает, как надо строить личную судьбу. Они оба были одиноки, хотя по-разному, оба несчастливы, хотя каждый на свой лад. Это сблизило их. Однако ни он, ни она не испытывали полной слитности своего чувства. Они увлекались взаимным тяготением и заманчивым любопытством друг к другу.

Болезнь Лизы все переменила.

Еще ранней весной Меркурий Авдеевич стал замечать ее похудание, кашель, чередующиеся возбуждение и усталость. Она сама ощущала непреходящую потребность отдыха, покоя. Отец настаивал, чтобы она показалась врачу. Ознобишин добыл адрес университетского клинициста и все не мог взять в толк — почему Лиза медлит. Однажды она созналась ему, что давным-давно была у врача и то, что ей стало известно, так устрашило ее, что она не может сказать дома о своей болезни. Ей казалось, прежняя жизнь кончилась безвозвратно. Безжалостной печатью, которую недуг накладывал на нее, она отвергалась от прочих людей. Больше всего она боялась за Витю: она обязана была отдалить его от себя, а как этого можно достичь? Вообще ведь известно, что роскошь успешной борьбы с чахоткой доступна богатым, а бедняки — это мыши, с которыми болезнь играет по-кошачьи. Лизе остается поднять руки.

Анатолий Михайлович с ожесточенным упорством запротивился такому упадку духа. Если Лиза не способна взять над собою власть, то он берется руководить ее лечением. Это все закоснелые предрассудки — будто бы на такую распространенную, превосходно изученную болезнь нет управы. Миллионы людей болеют, и миллионы поправляются. Слава богу, Лиза живет в университетском городе, к ее услугам самая просвещенная медицина. Надо только проявить твердость. Если Лизе тяжело сказать дома о характере заболевания, пусть до поры до времени болезнь называется как-нибудь по-другому. А лечиться Лиза будет, и Анатолий Михайлович руку дает на отсечение, что она вылечится!

Конечно, произнести горячую речь Ознобишину было несравненно проще, чем способствовать лечению. Как юрист, искусству красноречия он учился, а искусству медицины верил едва ли больше, чем красноречию. Поэтому, разведав, сколько можно было, о замечательных докторах, он стал прислушиваться ко всяким живучим поверьям о борьбе с туберкулезом и требовать, чтобы Лиза не пренебрегала народной мудростью. Что ни день, он приносил ей новые рецепты, доставал горшки с бабушником, свиной жир, коровье масло и пристально следил за исполнением всех предписаний и советов. На службе в его письменном столе образовалась коллекция склянок, а на окне растопырились колючие кинжаловидные голубоватые листья алоэ.

Лиза слушалась его в полушутку. То, что болезнь не отпугнула, а приблизила его, удивляло Лизу. Заботы его не только возрастали, они менялись в своей сущности, пока не превратились в обожание. Лиза становилась особым, единственным делом его сердца. Он думал больше всего о ней, и она поняла, что если бы он вдруг ушел, она лишилась бы вернейшей своей опоры.

В тот вечер, когда он явился к ней с потешным и трогательным снопом тополиных веток и они пошли гулять, беседа их приняла окраску воспоминательную: у них уже было нечто вместе пережитое. Им хотелось быть совершенно откровенными.

Они сидели в том саду, где играл оркестр, музыка то поддерживала их разговор, то пререкалась с ним. Люди, бродившие по аллеям, были сосредоточены на себе и внушали, что на свете живется беспечно и увлекательно. Было холодно, Лиза испытывала удовольствие, ощущая неизменное соседство ознобишинской руки. Они ушли из сада и долго бродили по улицам, которые медленно засыпали, пока весь город не окунулся в полуночное безмолвие. Они спохватились, что можно простудиться. Анатолий Михайлович накинул на спину Лизе один борт своего пальто, обняв ее плечо. Почти у самого дома он сказал:

— Если мы переживем вместе трудное время, то легкое нам будет очень легко.

— Сейчас, в иную короткую минуту, мне и трудное кажется легким.

Он вдруг спросил:

— Ты согласишься быть моей женой?

Она не ждала этого «ты» и этого слова — «жена», с которым у нее соединена была прошедшая и уже чуждая пора жизни. Она не отвечала долго, потом выговорила первые слова, поддавшиеся связной мысли:

— Надо было подумать о таком предложении.

— У меня было время.

— Нет, правда,— сказала она с горькой веселостью,— ведь меня и целовать нельзя: я заразная.

Он сразу остановился, повернул ее к себе лицом и поцеловал, не выпуская из своего пальто. Они сделали несколько тихих шагов. Он туго держал ее. У ворот он высвободил ее из пальто. Она ощутила свое лицо стиснутым его ладонями, и он опять надолго закрыл ее рот своим. Ей стало страшно холодно, она растворила калитку, хлопнула ею и побежала непроглядно темным двором к дому...

Как все больные, Лиза заполняла бессчетные часы лежания раздумьями. Это были медленные облака, проплывавшие перед взором из конца в конец прожитых лет. Она сравнивала облака по цвету, разглядывала их прихотливые очертания. Она видела среди них себя. Насмотревшись, она заставляла плыть их в другом порядке, перевертывая на разные лады, как это делает ветер с настоящими облаками. Так не осталось в ее прошлом ни одного шага, о котором она не передумала бы десять раз.

Когда Ознобишин находился в тюрьме, Лизу удивила пришедшая на ум своенравная игра случая: вот так же когда-то Кирилл Извеков был отнят у нее тюрьмой. Что сделала в то время Лиза для Кирилла? Ничего. Неужели она полюбила Ознобишина сильнее, чем любила Кирилла? О нет, насколько же тогда она была беспомощнее! Сейчас она прикована к постели, но никогда прежде ее слово не имело такой власти: даже отец уступает ей во всем. А в те далекие дни она была бессильна, несмотря на благодатное здоровье. К кому могла бы она пойти за поддержкой? В подругах ей не посчастливилось. Если же и нашлись бы подруги, то что она получила бы от них, кроме девичьего любопытства? Вера Никандровна относилась к ней, как к девочке. Да и правда, не слишком ли детским было это первое чувство Лизы?

Конечно, конечно, оно было прекрасно! Еще сейчас, вспомнив вдруг, как Кирилл неподвижно держал в своей жестковатой

руке ее пальцы и за непреодолимой робостью его она слышала упрямую силу и тоже не могла шевельнуться от страха и непонятного наслаждения,— еще сейчас Лиза испытывает медленный прилив крови к лицу. Ни с кем, никогда она не будет так мечтать, как мечтала с Кириллом! Она один раз сказала ему:

— Мы с тобой непременно будем читать вслух. Самых, самых любимых писателей! И если будем читать про несчастных героев, то будем еще счастливее. Потому что мы будем про них читать и думать: какие мы счастливые, что не несчастны, как эти герои!

Тогда Кирилл ответил:

— Нет. Мы будем читать и придумывать с тобой, как бы сделать несчастных героев счастливыми героями. И от этого мы будем с тобой самыми счастливыми.

До сих пор помнит Лиза, как ответил Кирилл и как поглядел на нее будто подожженными изнутри глазами. Ей тогда очень понравилось, как он это сказал и как посмотрел. А хорошо ли теперь помнит Лиза его глаза? Они желтые. Темно-желтые. Почти карие. Но все-таки какого оттенка? Вот у Павлика Парабукина тоже желтые глаза. Но ведь ничего похожего на глаза Кирилла! У Кирилла они быстро менялись: то вдруг тяжело блеснут матовым отливом старой меди, то посветлеют, как табак. А вечером они чернели, и однажды Лиза засмеялась: «Не гляди на меня, как цыган».

Что, если бы Кирилл был отцом Вити?

Может быть, теперь перед Лизой всегда находился бы любимый взор, и она не позабыла бы его поглощенных далью оттенков? А у Вити глаза матери, глаза Лизы. Он вообще почти ничего не перенял от Шубникова. Он — ее сын, и только. Скорее, в нем что-то напоминает Кирилла, как ни странно. Хотя почему — странно? Когда мальчик еще не появился на свет, когда Лиза носила его, она гораздо больше думала об Извекове, чем об отце ребенка. Такие вещи не могут не сказаться — все женщины верят в это.

Она и сейчас думает об Извекове. Правда, все реже, все созерцательнее. Раньше, перебирая свои заветные памятки и вынув из-под спуда записную книжку с буквами «Е» и «К», она подолгу сидела, держа ее в опущенных на колени руках. Ничуть не поблекла надпись, сделанная на первой странице Кириллом: «Свобода. Независимость». Эти два слова говорили сначала о том, что Лизу могло ожидать в будущем, потом стали напоминать, что ею утрачено. Не раз над этой книжкой у нее текли слезы. Как-то она решила записать в ней лермонтовское «Прощанье». Она заполнила всю вторую страничку и перешла на третью.

Прости, прости!
О, сколько мук
Произвести
Сей может звук.
В далекий край
Уносишь ты
Мой ад, мой рай,
Мои мечты.
Твоя рука
От уст моих
Так далека,
О, лишь на миг,
Прошу, приди
И оживи
В моей груди
Огонь —

Тут у Лизы получилась вместо слова неровная черточка: она оборвала записыванье, потому что услышала шаги Виктора Семеновича. Он был в духе, вошел шумно, от него веяло парикмахерской и ноябрьским ветром, он сказал обрадованно:

— Скорей, скорей собирайся! Мы едем смотреть этот самый заграничный синемаскоп с акустическими эффектами. Говорят — здорово! На экране бьют тарелки — и за полотном звенят черепки! Или вдруг мчится автомобиль, и ты слышишь рожок — гу-гу! Как на улице! Живей, а то опоздаем! Внизу ждет самовар! («Самоваром» он называл свою гордость — недавно приобретенный автомобиль, один из первых во всем городе.)

Так стихотворение и осталось недописанным, и Лиза больше никогда не могла что-нибудь добавить в книжку, а только едва вновь брала ее, договаривала в душе слово, которого недоставало на месте испуганно неровной черточки:

И оживи
В моей груди
Огонь любви.

Да, конечно, это была детская любовь. Сейчас Лиза уже не плачет, перебирая заветные памятки. Сейчас она грустит, задумчиво, почти светло. Совсем недавно она разглядывала большой картон с фотографиями гимназисток ее выпуска. Центр картона занят портретом начальницы и педагогами, а вокруг них, разбегаясь по правильным овалам, наклеены глазастые девицы с бантами на груди и в высоких взбитых прическах. Лиза Мешкова наклеена рядом с законоучителем — с грозным батюшкой, у которого смоляная борода росла больше в ширину и лежала на плечах. Не от этого ли неожиданного соседства у Лизы такой перепуганный вид? Нет, просто она еще девочка и не знает, как быть,

когда являешься к фотографу, и у тебя завиты щипцами волосы, и вся голова в шпильках.

Да, да, это была детская любовь. Какими силами могла воспротивиться Лиза миру злобы и несчастья, приведшему Кирилла в тюрьму? Может быть, она должна была поехать за Извековым в ссылку? Но отец предупредил ее, выдав замуж. Может быть, уйдя от мужа в первый раз, она должна была бежать не к отцу, а прямо в олонецкие дебри? Но замужество успело тоже предупредить: ей предстояло ждать ребенка. Может быть, Лизе вовсе не приходила в голову такая дерзновенная мысль? Ах, сколько дерзновений приходит на ум в минуты отчаяния или несчастья! Много ли из всех дерзаний или хотя бы дерзостей покинуло пределы ума, которого они коснулись? Не покоятся ли они в нем тихо и мирно, подобно добрым намерениям, которые человек складывает в своем сердце, нисколько его не обременяя?

Нет, Лиза не оправдывала свое прошлое. Она только видела себя в нем беспомощной. У ней не было своей воли. Свою волю она лишь начинала искать, когда Кирилл был для нее уже потерян.

До тех пор, пока не узнаешь горя, не станешь взрослым. Но и сделавшись взрослым, не со всяким горем справишься. Шесть лет жизни с Виктором Семеновичем Лизе и теперь еще кажутся наваждением. Несмотря на множество маленьких событий, составивших бойкую биографию Шубникова, все годы замужества слились в памяти Лизы в сплошную краску сумрака. Ребенок держал Лизу в доме его отца, но ребенок и вырвал ее из этого дома. Она была пронизана долгом перед сыном — тем, что обязана вырастить сына. Но она убедилась, что вырастить его в доме Шубникова — это значит вырастить второго Шубникова: ребенок не мог не повторить собою отца, впитывая каждую минуту его пример. И она бросила дом, чтобы выполнить материнский долг, как прежде оставалась в доме ради мнимого выполнения того же долга.

Сыну исполнилось тогда пять лет. Она схватила его, спящего, на руки и черной лестницей, вечером, ушла в одном платье, так же как почти за шесть лет перед тем первый раз пробовала убежать от мужа. Слишком долго зрело ее решение, чтобы слабость могла его пересилить. Слишком безответны стали ее ожидания помощи, чтобы она не уверилась, что ей никто не поможет.

Иногда жажда помощи так томила ее, что она искала сочувствия даже там, где заведомо его не могло быть. Так, однажды она рассказала все о себе Цветухину, нечаянно и нелепо — в театре, во время антракта, прогуливаясь в фойе и крутя в пальцах программку.

Не видя Егора Павловича годами, она после каждой встречи открывала в нем новые особенности. Но обаяние его, некогда почти ослепившее Лизу, все время тускнело. Она думала, что меняется он, а менялась она. Он как-то линял в ее глазах, живописность его становилась похожей на рисовку, и вдруг, не веря себе, Лиза обнаружила в нем пошлость. Однако она по-прежнему волновалась, слыша его многотонно переливавшийся голос.

Здесь, среди разодетых, чинных пар, мерно и серьезно кружившихся по фойе и разглядывавших особенно разодетую, особенно чинную пару — известную Шубникову с известным Цветухиным,— Лиза, сама не зная почему, сказала Егору Павловичу, что жизнь не удалась, и все надо перестраивать, и она не в состоянии найти выход. Он слушал ее с проникновением, и когда она выговорилась, ответил, что, вероятно, несчастье корнями своими уходит в тот дар, которым ее наделила природа.

— Что это за дар?

— Чистота,— сказал он, будто с сожалением.

Он даже назвал Лизу мадонной и процитировал: «чистейшей прелести чистейший образец». Это звучало шуткой, а Лизе хотелось говорить от всего сердца.

— Вы когда-то предостерегали меня от моего купца.

— Да, но вы не доверились мне. Теперь поздно предостерегать. Нужны иные советы.

— Какие? У вас жизненный опыт, я готова довериться.

— Вы требуете от всех слишком большой правдивости,— сказал он с видом вдумчивым и немного утомленным.— А люди всегда двойственны, и даже нищий играет какую-нибудь роль, если он не наедине с самим собою. От этой бытовой мудрости не уйти. Она целительна.

— Нельзя ли яснее? Как эту мудрость должна применить я?

У него был слегка комичный, но хитрый взгляд картинного змия, когда он тихо выговорил оттолкнувшие ее слова:

— Аромат лжи утешительнее зловонной правды.

Она прошла несколько шагов точно оглушенная, потом ответила:

— Поэт выразил это пристойнее: «нас возвышающий обман»,— так, кажется?

— Да. Однако, я припоминаю, вы боитесь поэзии. Поэтому я перевел ее на язык прозы.

— Но начали вы с поэзии, и, разрешите, я ею кончу: я предпочитаю оставаться «чистейшим образцом». Проводите меня в ложу.

Эти околичности и кокетство Цветухина отодвинули его в воображении Лизы неожиданно далеко, хотя был момент, когда он

легко мог бы стать ей другом, потому что Шубников толкал ее к поискам дружбы своими вздорными преследованиями.

Она не любила вспоминать жизнь с Шубниковым, но совсем незадолго до болезни один миг повторил в ее памяти весь путь с Виктором Семеновичем в таких разительных подробностях, словно это был предсмертный миг, о котором знают умиравшие и возвращенные к жизни люди.

Лиза проходила той отлично знакомой улицей, где помещался главный магазин ее бывшего мужа. Еще издали она заметила кучку зевак и перебегавших с места на место неуклюжих, в брезентовых одеяниях, рабочих. Она решила, что случился пожар, каких много бывало из-за распространенных самодельных печек. Звон железа, треск досок долетел до ее слуха. Она перешла на другую сторону и увидела, что все происходит вокруг магазина. Она невольно ускорила шаги.

Пожарными баграми срывали с дома вывеску. Аршинные золотые буквы по черному полю — Ш У Б Н И К О В — уже исковеркались на разорванных и свисавших со стен железных листах. Крючья багров скрежетали по железу, длинные гвозди со свистом вылезали из своих проржавленных гнезд в мясе полусгнивших досок. Наконец вывеска вместе с кусками деревянной рамы рухнула на тротуар под восторженные крики бегавших кругом мальчишек.

Был действительно один только миг, совпавший с грохотом обрушенного на асфальт железа, когда Лиза, словно во внезапном припадке, все озаряющем пронзительным светом, увидела себя за кассой этого шубниковского магазина, и все свое существование у Шубниковых, и мгновенно заново передумала прежние нескончаемые свои думы. Потом это исчезло, как исчезает взблеск магниевой вспышки, и ей почему-то сделалось необычайно легко, будто миновал мучивший страх. Лязг багров, детские голоса, треск деревянных рам, отдираемых от железа, показались ей веселым шумом ранней весны. Задорная уверенность вселилась в нее: теперь с Шубниковым кончено для всех и для всего! Она уже не гнала от себя воспоминаний о нем, они перестали ее пугать...

И вот проплывают в сознании Лизы непохожие друг на друга, но связанные в нераздельную череду эти далекие облака: Кирилл, Цветухин, Шубников. И — самое близкое, из-за близости неуловимое ни в расцветке, ни в очертаниях, с размаха полнеба занавесившее облако: Ознобишин. Кто из всех четверых проявил к ней столько человеческой заботы? Мыслимо ли, чтобы в трудную для нее пору болезни Анатолий Михайлович руководился чем-нибудь другим, кроме любви, поддерживая Лизу своей добротой?

Он был, несомненно, добр, хотя Лизу изредка останавливало на себе его маленькое игривое лукавство: вдруг будто проскользнет в мягком взгляде Анатолия Михайловича тоненький смешок, да и лицо станет хитрым-прехитрым, но всегда на одну секунду, а потом он снова добродушно смеется, и все в разговоре хочет смягчить и приладить. О добре он рассуждает с охотой, считая, что время должно бы научить людей преимуществу доброты над злобивостью.

— Человек плохо знает арифметику, если думает, что на злобе больше выгадаешь. Счастливее добрый, а не злой. Не говоря о том, что у доброго печень в лучшем порядке, ему всегда легче окажут услугу, в расчете на его доброту. Каждый ведь помнит о черном дне и прикидывает: я тебе, ты мне.

Лиза, слушая его, в раздумье сказала:

— Я припоминаю, меня, в сущности, только и учили что добру. На разный манер, но все то же: делай добро, делай добро. Отец с утра до ночи. Мать. В гимназии. В церкви. Добро, добро, добро — я больше ничего и не слышала. Готовили к миролюбию, к прощению, ко всякой боязненности, к тихому уюту. А когда вырастили, оглянулась я, вижу — вокруг борьба, ненавистничество, бесстрашие, пороховая вонь. Как быть с неглохнущим в ушах наставлением о добре? Чему теперь учить сына?

— Добру и учите,— без колебаний посоветовал Ознобишин.

— Чтобы он был беспомощен, как его мать? Вот вы, с вашим тихим идеалом — зеленым городком Васильсурском. На Волге, под горой,— песня. На Суре замерли рыболовы в лодках. Кругом — сады. Козы на травке-муравке. Из окна на сто верст — заливные луга. На столе — «Нива» за девяностый год, на стенке — часы с кукушкой. Так ведь вы мне рисовали? А вас взяли и посадили в тюрьму...

— Добро-то меня из тюрьмы и выручило,— с торжеством сказал Ознобишин.— Убедились, что вреда я никому не причинил, и выпустили.

У него скользнула на один миг улыбка, и тут же он проговорил в покаянном тоне:

— Когда я служил в палате, у меня было спокойное убеждение, что тюрьма — это непременно справедливость. А когда сел сам в тюрьму, я воспринял ее как крайнюю несправедливость. Странно, правда? Теперь мне справедливым кажется только освобождение. И я должен отблагодарить за добро добром. Сделаю это, тогда успокоюсь.

Лиза больше не расспрашивала, что же с ним произошло в тюрьме. Ей было довольно, что он на свободе, а ворошить пережитое для него слишком тяжело.

Пережитое не давало Анатолию Михайловичу покоя, это верно. Ему вдруг мерещилось, будто он снова погружается в глухоту одиночного заключения, и страх, что это повторится в действительности, заставлял его все время думать — как бы предотвратить такую грозную возможность? Он не мог допустить, чтобы существовало сомнение в его добропорядочности, и решил как можно скорее доказать верность своему слову.

Дела былой камеры прокурора палаты в эти дни перевозились на новое место, в помещение губернского архива. Ознобишин застал в сыром приземистом доме катакомбы пропыленных папок, тетрадей, перевязанных в пачки или наваленных вдоль стен врассыпную. Нельзя было надеяться что-нибудь отыскать в этом хаосе. Но Ознобишину повезло: знакомая старушка-архивариус, некогда известная среди судейских чиновников по прозвищу «Былое и думы», сказала ему, что архивы начала десятых годов свалили недавно в дальней комнате — и пусть он там попробует порыться.

Он остался один на один со штабелями дел, пристроился у окна, где легче было разбирать надписи на корешках папок, и неожиданно обнаружил сразу несколько связок с датой 1910 года. Он скоро напал на след нужного дела и выискал донесение канцелярии тюрьмы товарищу прокурора судебной палаты о погребении на Воскресенском кладбище, в братской могиле номер такой-то, находившейся под следствием и умершей в тюремной больнице от родов Ксении Афанасьевны Рагозиной. Он обрадовался, что память не обманула его, и продолжал листать тетрадь за тетрадью, рассчитывая найти еще какой-нибудь документ об умершей Рагозиной.

Но тут ему подвернулась папка с делами самого прокурора палаты. Он раскрыл ее. Это были всевозможные прошения и письма чиновников камеры на имя его превосходительства и с его начальственными резолюциями.

Ознобишин быстро перенесся в атмосферу быта, столь еще недавнего и в таких подробностях изученного, что почудилось, будто распахивались, после разлуки, двери родного дома. Как живые, заговорили голоса сослуживцев и начальников — о перемещениях с должности на должность, о производстве в чинах, о представлении к «Аннам» и «Станиславам», о зачислениях, о квартирных и подъемных.

Вдруг в этих голосах он расслышал самого себя, свой вкрадчиво-деликатный голос за каллиграфически написанным заявлением. Он, Анатолий Михайлович Ознобишин, кандидат на судебную должность, жаловался на товарища прокурора, не допускавшего его к участию в расследовании дела о привлекаемом по

государственному преступлению Петре Петрове Рагозине. Заявление свидетельствовало о стремлении просителя послужить на благо царю и отечеству, и на бумаге, рукою его превосходительства, была нанесена сочувственная надпись: «Лично говорил товарищу прокурора о желательности поощрить».

Анатолий Михайлович замер с развернутой папкой в руках. Документ был памятный, документ был страшный. Документ продолжал жить старой жизнью Ознобишина, тогда как он сам эту старую жизнь хотел бы считать несуществовавшей. Документ не имел права на то прежнее существование, в котором было отказано самому Ознобишину. Бумага говорила о рвении ее составителя к коронной службе. Бумага утверждала то, что Ознобишин должен был отрицать, если не хотел себе погибели.

Анатолий Михайлович обернулся на окно. Стекла были серы, за ними виднелась рано потемневшая зелень усталых от зноя деревьев. Он прислушался. Комнаты архива были немы и глухи.

Плотно накрыв бумагу влажной ладонью, Анатолий Михайлович чуть повернул кистью руки, и лист бесшумно отделился от корешка папки. Ознобишин сложил и спрятал документ в нагрудный карман. Папка была сшита шнуром, листы пронумерованы, но никакой описи в деле не имелось — никто не мог бы догадаться, какого именно документа недоставало теперь в папке. Ознобишин отнес ее в темный угол, закопал поглубже в кучу разрозненных листов и вернулся к окну. Он тщательно связал просмотренные раньше дела, сложил их на подоконнике и вытер лицо платком. Пальцы его немного вздрагивали.

Уходя из архива, он сказал об отложенных на окне связках и многозначительно просил не трогать их, потому что они могли скоро понадобиться:

— Делом интересуется ответственный товарищ. Оно имеет историко-революционное значение.

Ему обещали исполнить просьбу: обещания давались с легкостью безразличия, потому что архивисты видели в происходящем не просто беспорядок, но что-то похожее на всемирный потоп. Ломовые извозчики продолжали перетаскивать с телег вороха доставленных архивов, лестницы, коридоры были усеяны бумагой, и если бы исчез целый воз каких-нибудь документов, вряд ли кто бы сразу спохватился.

Анатолий Михайлович решил сжечь похищенную бумагу. Однако, придя домой, передумал: запах гари мог проникнуть к соседям, пепел было нелегко уничтожить. Он изорвал бумагу на крошечные кусочки и хотел выбросить их с мусором. Но и это показалось опасным. Тогда ему пришла на ум совершенно свежая мысль. В его холостяцком хозяйстве находился пакет с мукой. Он

развел немного теста, закатал в него изорванную бумагу и, завернув лепешку в обрывок газеты, отправился на улицу.

Он пришел к Волге в сумерки. Люди, изнуренные жарою, поодиночке поднимались ему навстречу в город. Лиловое марево затягивало всю луговую сторону, река шла молча и ровно, точно расплавленный свинец.

Ознобишин швырнул в воду лепешку, она погрузилась как камень, он посмотрел недолго на расплывавшиеся кольчатые следы всплеска и пошел дальше. Если бы все прошлое одним таким броском можно было потопить в воде! А оно плелось по стопам Анатолия Михайловича и, против ожиданий, в эту минуту словно бы еще больше потяжелело. Не осталось ли в архивном море еще какого-нибудь губительного клочка бумаги? Не навлек ли Ознобишин на себя подозрение своим приходом в архив? Как знать?

И вдруг, день спустя, Анатолию Михайловичу стало известно, что допрашивал его в тюрьме не кто иной, как Петр Петрович Рагозин. Мигом все будто обернулось против Ознобишина, и земля стала горячей у него под ногами. Человек, которого он считал своим доброжелателем и собирался отблагодарить, был не только трезв и умен, он был беспримерно коварен. Ураган еще не отбушевал, он уносил Анатолия Михайловича с собою в неизвестность.

Ознобишин бросился к Лизе. В великом треволнении он рассказал о поразительном случае в тюрьме, и она была подавлена необычайным и, как ей показалось, угрожающим стечением обстоятельств. Едва они опомнились и приступили к совету — надо ли что-нибудь предпринимать? — как новая неожиданность вмешалась в события.

Задолго до обычного часа явился домой Меркурий Авдеевич. Его как будто смутило присутствие Ознобишина, но только на минуту. Присаживаясь у кровати дочери, он обратился к нему почти родственно:

— Я забежал мимоходом. На всякий случай сказаться Лизе. Но рад, что застал вас, потому что ваше слово может мне быть сейчас очень полезно.

Он говорил чуть внятно, дышал часто, будто примчался неоглядкой, и вид его был помраченный.

— Вот. Подали мне на службе. Срочно. К трем часам дня вызван я, как видите...

Он протянул Ознобишину бумажку. Финансовый отдел городского Совета предлагал гражданину Мешкову явиться в сороковую комнату к товарищу...

Тут у Анатолия Михайловича, читавшего повестку про себя, вырвалось во всеуслышание:

— К Рагозину?

Лиза приподнялась на локтях и спросила шепотом:

— В тюрьму?

— В тюрьму? — подхватил Меркурий Авдеевич.— Почему в тюрьму?

Ознобишин встал и сделал два-три неопределенных шажка прочь от кровати и назад. Все трое некоторое время не могли выговорить ни слова. Меркурий Авдеевич испуганно смотрел на дочь. Она полусидела, упираясь в подушку локтями, и у ней были видны темные ямки, запавшие под ключицы.

— Может, это другой Рагозин? — несмело предположил Анатолий Михайлович.

— Какой там другой! — отчаянно махнул руками Мешков.— Тот самый Рагозин, я знаю!

— Тот самый? Который в тюрьме? — спросил Ознобишин.

— Был когда-то! Теперь все они на воле. Я уж разузнал: Рагозин, который у меня во флигеле квартирантом стоял. Назад с десяток лет. Тогда его у меня и забрали.

— Неужели Петр Петрович? — сказала Лиза.

— Он и есть.

— Так это же хорошо! Он ведь, наверно, тебя помнит.

— Не знаю, что лучше — чтобы помнил или чтобы забыл. Ты чего про тюрьму-то заговорила?

Анатолий Михайлович должен был наскоро пересказать свою историю знакомства с Рагозиным, и все трое попытались распутать неподатливый узел.

— Что же это? — недоуменно сказал Мешков.— Он и в тюрьме орудует, он и финансами заправляет? Что же это получается? — он вроде главной власти, что ли?

— Отчего же нет? Если с ним и царский режим не управился,— сказал Анатолий Михайлович.

— Может, у них только так называется — финансовый, мол, отдел. А придешь, тебя сразу цап! — и под замочек, а?

— Зачем же? Ведь указано — в городском Совете,— без уверенности возразил Ознобишин.

— А сороковая комната? — значительно проговорил Мешков.

Он тяжко вздохнул, вынул из бумажника гребенку, начал расчесывать бороду, но бросил и долго, нескладно засовывал бумажник назад, в карман.

— Скоро идти... ох, господи! Как же вы посоветуете, как мне себя в этой сороковой комнате держать?

— Говорите правду, Меркурий Авдеевич, и все. Против правды злодейство бессильно.

Меркурий Авдеевич испытующе вгляделся в Ознобишина, словно удивленный его шелковой речью.

— Я рад, что около тебя такой человек,— сказал он дочери и снова вздохнул.— За что все это испытание? Мало ли я добра делал? Тому же Рагозину квартиру сдавал. А ведь он был поднадзорный. И цену с него сходную брал, не грабил. Чай, вспомнит, а? Да нет, где вспомнить? Добро нынче не помнится. Эх...

— Помнится, помнится! — воскликнула Лиза и умоляюще взглянула на Анатолия Михайловича.

Мешков привстал и поцеловал дочь.

— Не собрать ли тебе чего? Возьмешь с собой,— сказала она в тревоге.

— Да что уж! Чай, вернусь, а? — спросил он, озираясь вокруг, точно в незнакомой комнате.

Помедлив, он шагнул к Ознобишину и вдруг раскрыл узенькие, неуверенные объятия.

— Если чего случится, вы уж не оставьте Лизу мою со внучком.

Он оглянулся на дочь.

— Да между вами, может, уже сговорено?

Он ответил себе сам, утвердительно тряхнув головой.

— Ну, слава богу. Тогда... в случае, не вернусь... мое вам благословение.

Он перекрестил по очереди Лизу и Анатолия Михайловича.

— Прощайте. Витю поцелуй, Лиза. Куда он делся? Пойду. Прощайте.

Он вышел, мелко шагая, сгорбленный и всклокоченный.

Лиза лежала сначала неподвижно, потом круто отвернула лицо к стене.

15

Об угрозе выселения Дорогомилова из квартиры мальчики узнали от Алеши. Кроме того что Алеша пережил сражение Арсения Романовича с Зубинским, он слышал очень важный разговор отца с матерью. Дело касалось тайны, которую Арсений Романович доверил Алешиному отцу, и в разговоре об этой тайне отец назвал имя какого-то Рагозина. За Рагозиным кто-то гнался, и Арсений Романович его спрятал. Теперь Рагозин мог бы защитить Арсения Романовича от Зубинского, но Арсений Романович не хочет даже слышать о Рагозине, и тут скрыта загадочная сердцевина тайны.

Павлик Парабукин наказал Алеше крепче держать язык за зубами, а сам принялся действовать. Он выспросил у своего отца — кто такой Рагозин. День спустя он сообщил Вите, что это — самый главный комиссар.

— Как бы не так,— возразил Витя,— самый главный! Есть главнее его.

— Главнее его нет,— сказал Павлик,— потому что у него все деньги, какие только есть. Он все может сделать, что захочет.

— Нет, не все, потому что есть военный комиссар, который сильнее всех, потому что он должен воевать.

— Умник какой! Так тебе ружья задарма и дадут? А деньги у кого?

Они поспорили, но потом сошлись на общем плане похода к Рагозину, чтобы искать защиту Арсению Романовичу. Павлик решил, что найти Рагозина можно, очевидно, в банке,— где же ему еще обретаться, если не там, куда складывают деньги.

Он привел Витю на Театральную площадь. Парадная сторона ее была занята зданиями коммерческих банков. Фасады потускнели — заботы давно были направлены на вещи более насущные, чем блеск цветных изразцов или полировка дверей на подъездах.

После Октябрьской революции банки были национализированы государством. Национализация происходила медленно. Банки саботировали, уклоняясь от проведения советской политики, изыскивая разновидные ходы, чтобы скрыть подлинные ценности и скорее обесценить невиданную гигантскую массу бумажных денег.

Стать хозяином страны мог только победитель на трех фронтах. Это были фронт военный, фронт хлебный, фронт денежный. События на денежном фронте совершались бесшумно, но они не останавливались, не прерывались ни на секунду, они текли, как вода, затопляя дворцы и подвалы столиц, разрушая работу заводов, просачиваясь в хаты деревушек. Сцепления жизни рвались, связки ослаблялись, суставы окаменевали. Паралич всякого обмена и за ним смерть всякой деятельности — вот чем угрожал революции бесшумный денежный фронт.

Банки обладали в денежном хозяйстве опытом тысячелетий. Орудия их отличались тонкостью и были гибки. Их яды могли сказываться мгновенно и могли действовать исподволь. Никто с момента революции так изящно не мистифицировал добродетель, как банки: их действия имели вид борьбы со спекуляцией золотом и валютой, и чем это казалось убедительнее, тем больше плодилось спекулянтов.

Банковская сеть России была обширна, в ее ячейки густо вплетались нити чужеземных банкиров. Национализация столкнулась с препятствиями, которые тотчас дали себя знать во внешней политике. Было недостаточно объявить банковский капитал собственностью государства. Надо было воспрепятствовать его утечке за рубежи, помешать его омертвлению. Поэтому не на каждом шагу национализации тактика центральной власти была понята в

провинции, на окраинах. К тому же столичные правления банков не переставали потихоньку штопать и подтягивать свои раскинутые по стране тенета.

Саратов задыхался от недостатка денег. Налоговые источники губернии уже иссякали. Оставалась одна надежда на печатный станок. Но как ни упрощенно выпускала казна кредитные билеты, мало чем отличавшиеся от трамвайных и достойно переименованные в «дензнаки», станок не успевал за нуждою. Банки на Театральной площади чувствительно мешали стараниям изыскивать деньги, и — наконец — городские власти решили подогнать события: была создана комиссия, которую назвали «инициативной», и она внезапно овладела аппаратами всех банков. Это был не очень большой, но внушительный шум на самом тихом из фронтов. Коммерческие банки перестали существовать.

Теперь, годом позже, финансы города еще острее испытывали расшатывающие потрясения времени, хотя и управлялись одной рукой. Рука эта тем больше обязана была к твердости, чем труднее становилось отыскивать деньги на войну и переустройство жизни. Поэтому на Петре Петровиче Рагозине сошлись все взоры: руку его знали и в нее верили.

Когда в заседании исполнительного комитета назвали его кандидатуру и было сказано, что город и губерния стоят перед финансовым крахом, Рагозину оставалось повторить, что он уже раз отказался от должности финансового комиссара по простой причине: он ничего не понимает в деньгах, а итальянскую бухгалтерию считает подозрительной, ибо она именуется двойной. Его успокоили: теперь он будет не комиссаром, а заведующим финансовым отделом. Он спросил, улыбнувшись: а на этой должности можно и не понимать в деньгах? Ему возразили: в этом состоит его преимущество перед финансовыми специалистами — понимать в деньгах он научится, зато ему не нужно учиться честности. На дебатах присутствовал Кирилл Извеков, не проронивший ни слова. После того как Рагозин дал согласие принять должность, Кирилл покосился на него, встретил грозный взгляд и закрыл ладонью лукавую улыбку.

Не согласиться Рагозин не мог. За десять лет пребывания в партии основой его сознания сделалось то, что он — большевик и принадлежит коллективному разуму, наделяющему целью все его существование. Он исполнял раз усвоенную обязанность, как долг, который стал привычкой.

Но, приступив к новому делу, он с первых же часов обнаружил, что еще никогда нога его не ступала в мир более хаотичный и менее податливый человеческой воле. Как всегда перед началом работы, Петр Петрович составил план, чтобы не растрачиваться

на мелочи, а идти по главным направлениям. Таких направлений было три. Требовалось проверить, как проводится конфискация денежного капитала, затем — как хранятся ценности (с мыслью подготовить их к возможной эвакуации ввиду прифронтового положения города) и, наконец, добиться основательного порядка в распределении ассигнований.

Он едва начал знакомиться со своими сотрудниками, как его заполонили бесчисленные неотложные требования. Деньги — это хлеб, в хлебе нельзя отказать, когда его ждет голодный, а единственно, чем без недостачи располагали двадцать комнат, поступившие в полное распоряжение Рагозина, было слово «нет».

Весь его день поглощали просьбы и просители. Шмелями гудели в приемной небогатые держатели процентных бумаг — мелкие адвокаты, чиновники, педагоги, владельцы пригородных дачек, популярные среди обывателей врачи. По закону всем им полагались ссуды под конфискованные облигации, если сумма бумаг не превышала десяти тысяч.

Вдруг впорхнет в кабинет рыдающая актриса и, утирая синие от ресничной краски слезы, примется доказывать возмутительную неправильность описи ее драгоценностей, хранящихся в банковском сейфе. У нее две пары настоящих бриллиантовых серег, а одну из них в описи обозначили бриллиантами «Тэта». Она никогда не положила бы в сейф тэтовские стекляшки. Поддельные украшения ей, чуть не каждый вечер, нужны были для сцены, и она держала их вот в этой сафьяновой коробке — вот, смотрите, товарищ комиссар, вот четыре браслета, вот два колье, вот кольца, вот сережки, сколько их? — она даже не считала. Она ведь не говорит, что это — бриллианты? А в сейфе были только настоящие камни чистой воды. Серьги ей поднесли поклонники на последнем бенефисе. Свидетели — вся труппа. Она не виновата, что сейчас отменены бенефисы и больше нельзя ждать никаких подношений. Ей нужно жить. В сейфе она хранила честные трудовые сбережения. Это не прихоть и не роскошь, а заработная плата актрисы. В банке либо подменили серьги поддельными, либо составили фальшивку, чтобы устроить какую-нибудь аферу. Она не девочка! Ее не обманешь! Она требует создать комиссию экспертов. Она скорее умрет, чем признает, что ей поднесли вместо бриллиантов химические суррогаты! Слава богу, ее поклонники — не немцы!

То заявится к Рагозину и просидит битый час заведующая отделом здравоохранения. Это — уважаемая женщина, старый врач. Мощь ее убеждений неотвратима, и Петр Петрович с непосильным трудом отыскивает возражения. Он знает, что она права, но он тоже прав: ей нужны деньги, потому что государство требует от нее народного здравия, а у Рагозина нет денег, потому что госу-

дарство не успевает изготовить столько, сколько диктуется обстоятельствами. Конечно, станок приспосабливается ко времени. На бумажке, которая вчера украшалась цифрой десять, сегодня печатается цифра тысяча, завтра к трем нулям той же бумажки прибавится еще три. Но рынок обгоняет нули, как гончие зайца, никакие петли и скидки не помогут зайцу уйти от погони. Рагозин слышит дружный хор двадцати своих комнат. «Нет!» — возглашают они.

— А я прошу вас вникнуть в положение,— настаивает докторица.— Ожидать денег из центра нечего. Мы ездили, нам сказали: вся постоянная медицина должна содержаться на местные средства, на нее мы ни копейки не дадим. На что же прикажете содержать наши больницы? Мы живы тем, что нам присылают на военнопленных, на лазареты, на холеру. Мы отказываем больным. Одеял нет, обуви нет. Назначают чрезвычайную комиссию, она спрашивает — почему нет подушек? А откуда взять? Я не финансист, я врач, я не могу изобрести деньги. Нам говорят, что мы не имеем права допускать, чтобы беженцы умирали. А стоит только перевести деньги из одной статьи в другую (если я израсходую на холеру то, что нам прислали на тиф), то мне грозят судом. Кто виноват, что еще не кончился тиф, как вспыхнула холера? Если бы вы видели, как мы бьемся! А вы обзываете нас, партийных врачей, саботажниками.

— Это вы зря,— укоряет Рагозин,— я вас никак не обзываю. Я говорю, надо пошевеливаться, составить сметы, предопределяя, кто покроет расходы.

— Смета мертвым не поможет. Деньги нужны сейчас, сию минуту. У нас окраины захлебываются в нечистотах. Четыре года назад мы могли очистить город всего только на одну пятую часть, когда в обозе было четыреста бочек. А знаете, сколько числилось бочек прошлым летом? Шестьдесят семь! А сколько сейчас? Двадцать. Вы интересовались?

— Ну, насчет бочек-то, это как будто не мое дело,— слегка обижается Рагозин.

— Это — дело денег. А вы — деньги. По адресу я обратилась или нет? Я предлагаю обложить население на медико-санитарные нужды.

— Нельзя.

— Почему нельзя? Без вас ведь прошлый год финансовая комиссия Совета наложила контрибуцию на имущих? Еще тогда купцы между собой перессорились, не могли разверстать сумму. Кто побогаче, старались свалить тяжесть на середняков, и под конец пришли с челобитной в Совет, чтобы он взял на себя разверстку.

— Не подрались? — вдруг с веселым интересом спрашивает Рагозин.

— Подрались или нет, а только контрибуция дала большие суммы, которые пошли на улучшение быта красноармейцев. Почему Красной Армии можно, а медицине нельзя?

— Теперь нельзя, контрибуции запрещены законом,— почти с сожалением отвечает Рагозин.

Так он говорит и говорит целыми днями, часто ища выход там, где его нет, точно человек, который знает, что у него давно не осталось ни копейки, и все-таки машинально шарит у себя по карманам.

В минуты передышки Рагозин, потянувшись, взглянет за окно, заметит между крыш тоненькое пятнышко речной сверкающей глади, подумает, что уж, наверно, никогда больше не съездит на рыбную ловлю с ночевкой, и только успеет вздохнуть, как ему доложат, что ожидает представитель отдела народного образования, или социального обеспечения, или еще кто-нибудь, и он снова сядет за стол, и ухмыльнется промелькнувшей мысли, что он, собственно, не просто человек, а как бы человек-ассигнация, и скажет громко:

— А ну-ну, давайте, кто там первый?..

Конечно, мальчики, остановившиеся перед богатым фасадом на Театральной площади, не имели понятия ни об истории национализации банков, ни о трудных обязанностях Рагозина. Они долго не решались отворить дверь, казавшуюся им, несмотря на тусклость, величественно строгой. Предприимчивый Павлик толкнул Витю в бок и сказал:

— Чего еще? Айда!

Они очутились перед широкой лестницей, покрытой истертым, но все еще парадным красным ковром с полосками по рантам. Было тихо, лишь издалека сверху доносилось неровное щелканье костяшек счетов, будто после дождя капало с крыш.

Сбоку из стеклянной дверцы вышел старик с голубой бородой, укрывавшей его до пояса. Он держал в одной руке жестяной чайник, из носика которого цепочкой вилась струйка пара, в другой — пустое блюдце.

— Вы зачем сюда?

— Нам нужен товарищ Рагозин,— сказал Павлик.

— Вона кого захотели.

Старик налил в блюдце кипятку и начал студить его, надувая щеки. Отхлебнув, он спросил:

— А зачем он вам требуется?

— Нас к нему послали,— ответил Витя.

— Куда послали?

Витя переглянулся с Павликом.

— Сюда послали,— сказал Павлик.

Старик допил воду и налил еще в блюдце.

— Здесь есть Волжско-Камский коммерческий банк,— сказал он и посмотрел мальчикам в ноги.— Надо пыль с башмаков смахивать, а не лезть, как в сарай. Никакого Рагозина тут сроду не было.

— Где ж он? — спросил Павлик.

— А кто он, ваш Рагозин?

Мальчики помолчали.

— Он начальство,— сказал Витя.

Старик надвинулся на них бородатой грудью, широко расставив руки с чайником и блюдцем.

— Ошпарю вот, чтоб не шмыняли, где не следует.

Витя и Павлик попятились к выходу.

— Начальство! — сказал старик, наступая.—Теперь все стали начальством. Ну и ищите его там, где начальство.

— А где? — спросил Павлик, уже с порога.

— В Совете начальство! Пошли отсюда!

— Вот ехидна! — сказал Павлик, когда, словно нехотя, затворилась тяжелая дверь.— Я знаю, где Совет.

— И я знаю. Бежим, а?

И они побежали.

Рагозин уже привык, что перед ним возникали самые невероятные посетители, но все-таки никак не ожидал увидеть у себя в кабинете детей. Он был уверен, что они пришли по ошибке, и повеселел, разглядывая их раскрасневшиеся лица с открытыми ртами. Он встал и смотрел на мальчиков молча, с улыбкой пощипывая ус.

— Вы — товарищ Рагозин? — спросил как можно тише Павлик.

— Ну, допустим.

— Нет, вы скажите, правда, потому что вон в той комнате нам сказали, что вы в этой комнате.

— Я и правда в этой комнете. Вы что, своим глазам не верите?

— А вы — товарищ Рагозин?

— А разве я не похож?

— Мы не знаем,— сказал Витя,— потому что мы вас не видели.

— Ну, а теперь-то видите? Похож я на Рагозина?

Павлик смерил его с головы до ног не допускающим шуток взором и признал убежденно:

— Похожи.

Он немного отступил и шепнул Вите в затылок:

— Ну, говори ты.

— Мы к вам, товарищ Рагозин, от Арсения Романыча.

— Не от Арсения Романыча,— опять выступил вперед Павлик,— потому что Арсений Романыч не знает, что мы к вам пошли.

— Ну да,— сказал Витя,— Арсений Романыч, правда, не знает. Но ведь мы насчет Арсения Романыча...

— Кто это — Арсений Романыч?

Оба мальчика глядели на Рагозина удивленно.

— Кто он такой? Почему вы от него утаили, что пошли ко мне?

— Разве вы не знаете Арсения Романыча? — чуть слышно выговорил Витя.

— А кто он?

— Арсений Романыч? Он Дорогомилов.

Рагозин выскочил из-за стола и остановился посередине кабинета.

— Дорогомилов? — повторил он, крепко растирая лысину ладонью.— Арсений Романович Дорогомилов? Он здесь?

— Нет, не здесь,— вдруг заспешил Павлик,— он у себя на службе. Мы ему ничего не говорили, потому что он ни за что не хочет идти к вам, и мы пошли одни, вот Витя и я.

— Не хочет ко мне? Что с ним случилось?

— С ним еще не случилось. А мы боимся. Потому что к нему приходил военный и грозился выселить из квартиры. И с библиотекой, и со всем.

— С библиотекой? — почти крикнул Рагозин.— Что за история! Значит, он жив? И все там же, со своей библиотекой? Ну, скажи пожалуйста! Ах, черт!

Он схватил стул, потом другой, третий, составил их в ряд, взял мальчиков за руки, посадил на крайние стулья и сел посередине.

— Ну, ребята, рассказывайте все по порядку.

Рассказывать мальчикам было нечего — они уже все выложили. Они не хотели дать в обиду Арсения Романовича — в этом состояло дело. Зато они знали решительно каждый гвоздик в старом жилище Дорогомилова и о каждом шаге его могли повествовать сколько угодно. И чем дольше они говорили, тем явственнее видел себя Рагозин на диване между книжных полок перелистывающим, в безмолвии, потрепанные страницы или помогающим мыть посуду косматому, всегда слегка возбужденному человеку, который надевал на сюртук клеенчатый фартук и, орудуя мочалкой, критиковал французские социальные утопии с таким пылом, будто они давно осуществились на земле и нанесли ему личный вред. В памяти Рагозина встала отчетливо эта странная фигура в

шляпе и несменяемом сюртуке, какой она высилась на берегу в предрассветном лиловом мраке. Рагозин, сидя в лодке, перебирал руками борты скученных дощаников и шлюпок, чтобы неслышно выйти на свободную воду, и уже когда провел лодку под пристанные мостки и обошел липкий от смолы борт пристани, снова последний раз приметил на берегу черный силуэт и над ним — прощально размахиваемое круглое пятно шляпы, похожее на живую мишень в ночи. В неведомый путь уносила тогда Рагозина Волга, и он оставлял на произвол неизвестности все родное — Ксану, ожидавшую мальчика, старых друзей, опоясанный подковой холмов незримый спящий город.

— Скажи пожалуйста, Арсений Романыч все такой же! — повторял он, слушая мальчиков.

Едва только они появились в кабинете, Рагозин почувствовал, как настойчиво заторкалось сердце. Его больше привлек Павлик — разящим своим взглядом, жизнерадостной рыжизною, вздернутым, как видно, чутким носом. Рагозин все оборачивался к нему со своим восклицанием — скажи пожалуйста! — и все думал — похож ли на этого рыжика маленький Рагозин, которого он непременно начнет разыскивать, непременно найдет, вот только немножко бы навести порядок на службе.

— Сколько тебе лет? — спросил он Павлика.

— Одиннадцатый. Я старше Вити.

— Старше Вити,— медленно сказал за ним Рагозин.— И старше еще одного мальчика.

— Какого?

— Одного такого... Такого, как ты,— засмеялся Рагозин.

Он положил руку на его плечо, слегка помял пальцем это худенькое, с острой ключицей ребячье плечо и помолчал. Потом выпрямился, поднимая вместе с собой обоих мальчиков, и расставил по местам стулья.

— Вот что, друзья, Арсений Романыч может не тревожиться. Никто его не выселит. А если кто обеспокоит, сейчас же прибегите ко мне. Да пусть он тоже зайдет. Скажите — я его хочу видеть. А заупрямится, так я и сам приду!

Он сложил все их четыре руки в своих и сильно тряхнул, так что оба они вдруг расхохотались.

Он закрыл за ними дверь и, присев на подоконник, минуту смотрел через распахнутую раму на город. Крыши и верхушки деревьев были остро очерчены слепящим светом, и весь небосвод дышал безжалостным жаром.

— Нет,— сказал он вслух, отходя от окна,— не половлю больше, наверно, не половлю! Какое там — рыбалка!..

Павлик, прытко шагая по коридорам, говорил:

— Попробуй теперь кто тронь Арсения Романыча! Правда?

— Попробуй тронь! — запальчиво вторил Витя.— Тронешь!

Они сбегали по людной лестнице, то расходясь, то сближаясь, чтобы не столкнуться со встречными; когда у самого выхода их удержал оклик: «Витя!» — они чуть не налетели на Меркурия Авдеевича.

Мешков потянул внука за рукав.

— Ты что здесь?

— Мы... это самое...— сказал Витя, от смущения оборачиваясь к Павлику.

— Мы ходили... нас послал Арсений Романыч. В сороковую комнату,— воинственно ответил Павлик и тоже потянул к себе Витю, словно беря его под защиту.

— В сороковую?

Меркурий Авдеевич кое-как утер вспотевшее лицо.

— Ну, что он?

— Кто? — не понял Витя.

— Да ведь в сороковой-то этой — Рагозин? Как он? Ничего? — с опаской выспрашивал Мешков.

— Ого! — в восторге дохнул Павлик.— Как бы не так, ничего!

— Злобен?

— Еще какой добрый,— сказал посмелевший Витя.

— Он, кому не надо, не спустит,— сказал Павлик.

— Эх, младость неразумная! Мне бы на ваше место! — пожалел Меркурий Авдеевич.— Ступай-ка себе, Паша, своей дорогой. Куда тебе надо. А ты, внучок, пойдешь со мной.

— Зачем?

— Покажешь мне эту самую сороковую комнату. Да подождешь, пока я оттуда выйду... Коли выйду...

Он повел Витю за руку.

Ожидая в приемной, когда пригласят, он снял свою соломенную, в прошлом шоколадную, а теперь сиреневую шляпу и дал ее держать Вите. Ему хотелось расспросить внука подробнее, но во рту пересохло, то ли от жары, то ли от волнения, и невозможно было отвлечь внимание от двери, которая вот-вот должна была его поглотить. Витя скучал и, не вытерпев, жалостно проскулил:

— Дедушка, я пойду-у...

Но дедушка только потряс головой и сжал его пальцы на шляпе, чтобы он ею не вертел.

И вот произнесено до странности чуждо прозвучавшее имя:

— Гражданин Мешков.

Он подскакивает на скамье и меленько перебирает ненадежными в коленях ногами. Остановившись при входе, он низко кланяется туда, где виден стол. Это он обдумал раньше: голова не

отвалится. Если Рагозин его узнает, то — глядишь — поклон придется по душе: ага, подумает он, Мешков-то покорился! Если не узнает, скажет: ишь ведь какие все-таки эти канальи купцы благовоспитанные!

— Пожалуйте, присаживайтесь,— слышит он и не может не изумиться: до чего вежливо, до чего обходительно — уж не изменил ли в самом деле слух?

Рагозин следит за Мешковым без напряжения, словно бы утомленно преодолевая посторонние мысли. Но глаза его ясно светятся под насупленными бровями. Он знает, кто перед ним. Стараясь сломить произвол бесконечных запутанных дел, он прорубает в нем свои плановые главные направления, как просеки в тайге. Это тоже его долг и его привычка — вмешательство в события. Он не хочет плыть с потоком, он либо режет его поперек, либо круто берет против воды. Прочитывая списки владельцев сейфов, Рагозин наткнулся на фамилию Мешкова, вспомнил не слишком обширное, но плотное хозяйство Меркурия Авдеевича и вызвал его в числе первых собственников, былые богатства которых собирался проверить.

«Не тот, нет, уже не тот, что прежде»,— думает Рагозин, всматриваясь в осунувшееся, будто безлюбовно запущенное лицо Мешкова, и напрямик говорит:

— Мы ведь с вами знакомы.

— Да что вы? — удивляется Меркурий Авдеевич.

— Помните, у вас в надворном флигеле стоял квартирант Петр Петрович?

— Петр Петрович? Батюшки! Да неужто это вы?

Мешков приподнимает руки так, что правая оказывается над столом, примерно с курсом на середину, где могла бы встретиться с неподвижной рукой Рагозина, если бы тот пожелал ею шевельнуть. Меркурий Авдеевич на секунду замирает в положении парящей птицы, прикидывая в уме — захочет или не захочет старый знакомец поздороваться, и уже намеревается сложить неуверенные свои крылья, но Рагозин, наклонившись, захватывает его пальцы и коротко пожимает. Видно, все-таки дружелюбного склада человек. Да и речь такая располагающая:

— Да, понимаете ли, какая история. Меняются времена.

— Истинные слова, Петр Петрович. Меняются. А вы, значит, слава богу, здравствуете? Мы-то думали про вас, думали...

— Да неужели думали? — тоненько усмехнулся Рагозин, подвигая вверх один ус.— Это в каком таком рассуждении думали?

— С супругой с моей, покойницей, о вас нет-нет да и потужим: хороший, скажем, бывало, человек, Петр Петрович, справедливый.

— Умерла, значит, супруга? — мимолетно говорит Рагозин и прибавляет: — Моя вот тоже.

— Да что вы! — поражается Мешков.— Такая была славная женщина. Мы ведь страсть как тогда по ней убивались.

— Убивались? — сурово спрашивает Рагозин.

— А как же? Увели-то ведь ее тяжелой. Должна ведь была наследника вам принести. Может, и родила? Не слышали?

— Не слышал,— еще суровее и как-то слишком врастяжку отвечает Рагозин, но сразу затвердевшим голосом словно подмененного человека произносит: — Вызвал я вас, чтобы опросить насчет капиталов. Финансовый отдел интересуется общей суммой вашей собственности.

— Интересуется? — переговаривает Мешков вдруг почти с заигрыванием.— Чего же теперь интересоваться? Капиталы-то не у меня.

— Вы держали бумаги в сейфе?

— Точно так. В сейфе Волжско-Камского банка.

— При изъятии у вас было обнаружено бумаг в общей сложности на двести двадцать тысяч?

— Двести двадцать одну пятьсот.

— И вы показали, что этим исчерпывается весь ваш капитал?

— Именно, что исчерпывается.

— Но у вас была еще лавка? Магазин на Верхнем базаре, москательный будто? Из чего собственно образовался ваш капитал в бумагах?

— Вот из этой самой лавки и образовался.

— То есть как?

— То есть так, что лавка была продана, а бумаги куплены.

Мешков говорил в разочарованном и даже оскорбленном тоне. Утрата первоначальной темы, обещавшей установить в разговоре доверительность, огорчила его, а размышления о потере состояния вызвали колючую досаду.

— Вы не обижайтесь, что я ворошу ваше счетоводство,— с улыбкой сказал Рагозин, словно читая в душе Меркурия Авдеевича.— Только вам придется поделиться со мной попространнее.

— Да уж с меня все сняли, до исподних — чем же еще делиться?

— Не так жестко, не так жестко,— мягко придержал Рагозин.

— Вы задайте вопросы, Петр Петрович, я отвечать не отказываюсь. Только не меня корить жесткостью.

— Чувствую. Но и вы чувствуйте, что я пригласил вас не пререкаться. Расскажите, в чем состояла ваша собственность — денежная, недвижимая, товарная. Да поточнее. Все будет проверено.

— Извольте,— уступчиво согласился Мешков.— Мне таить нечего. В шестнадцатом году торговые дела, вам известно, как покосились, и мало стало надежды, что поправятся. Под влиянием этого беспокойства решил я лавку ликвидировать и скоро продал ее. Выручил я больше, чем ожидал,— сто восемьдесят тысяч. Но это оттого, что деньги стали совсем не те, против довоенных. Еще перед этим уступил я одному купцу ночлежный дом, да лабаз у меня был, канатный амбар, если помните. Гнилье одно, на слом пошло. Деньгами до этого у меня ничего не было, все в обороте. Так и получилось, что перед самой революцией привел я все хозяйство к общему знаменателю.

— А знаменателем что было? Банк? — спросил Рагозин.

— Точно так. Банк.

— У вас ведь еще городское место было, земля?

— Место было, верно. Да на месте ничего не было. А теперь и места нет. Земля-то стала государственной?

— Ну, а дом?

— Что же дом, Петр Петрович? Дом отошел по муниципализации.

— Ну, а вот в сейфе вашем ничего не оказалось, кроме «Займа свободы». Что же, вы до революции обращали все в деньги, а потом все деньги так в один заем и вбухали?

— Все до копейки,— вздохнул Мешков и основательно, как после бани, утерся платком.

— Почему же этакое безрассудство? Все деньги — в одну эту «свободу», а?

— Я вам сознаюсь, Петр Петрович. Меня взяли уважением. Уважение мне было оказано такое, что я из рук кормовую лопатку выронил. Директор банка напустил на меня мороку, будто только он сам да я с ним — люди деловые, дальновидные. После революции должна была будто прийти победа над германцем, а за победой — подъем коммерческих дел. «Свобода» непременно укоренится, и с новым займом никакие бумаги, наипаче деньги, не пойдут в сравнение. Мы с вами, Меркурий Авдеевич, сказал директор, на процентах с «Займа свободы» как на граните будем стоять... Вот и стоим!

— На «свободе», значит, просчитались? — улыбнулся Рагозин.— Керенский подвел?

— Вам виднее, Петр Петрович, кто подвел. Я в политике не разбираюсь.

Они сосредоточенно замолчали. Вдруг отчетливо, но гораздо тише прежнего, Рагозин сказал:

— А я в политике малость разбираюсь... Золотом у вас ничего не было?

Он в упор глядел на Мешкова.

Меркурий Авдеевич развел руками.

— Ваша власть, хоть матрасы вспорите.

— Ну,— сказал Рагозин и поднялся,— матрасы ваши ни к чему, а книги банковские у нас в руках, они скажут, все ли так обстояло, как вы докладываете. Пока я вас не задерживаю.

Наполовину тоже поднявшись, Мешков, однако, не распрямился, а так полусогбенно и спросил:

— А потом что же — задержите?

— Нет, почему же, если вы на все ответили откровенно?

— Петр Петрович! Как на духу! Да и что от вас скроешь? Вы вон на мне все подоплеки вывернули: и ренту мою, и дом, и лавку припомнили. Да и зачем мне вас подводить? Я от вас худого не видел, а к вам всегда с симпатией.

— Ладно, ладно,— кивнул Рагозин.

— Правду говорю. Никогда о вас слова обидного не проронил. А ведь сколько из-за вас пострадать от охранки пришлось, когда в моем доме подполье обнаружили, а вы скрылись...

— Пострадали? От охранки пострадали? — с неожиданным хохотом перебил Рагозин.— Из-за меня, грешника? Эка вы, бедняга!

Он хохотал, то отталкиваясь от стола кулаками, то наваливаясь ими на край, и слезы истового веселья лучились в его сжатых глазах.

— Я вас, выходит, тоже... тоже подвел! — выталкивал он со смехом.— Не один... Керенский!

И у Мешкова будто блеснули слезы, но жар отхлынул с его лица, он стоял изжелта-бледный, все еще преклоненный, высоко вздернув потерявшие грозу брови.

Тут постучали в дверь, и Рагозин крикнул:

— Да, да! Заходите... Не думал не гадал, а подвел, что поделаешь! — продолжал он раскачиваться, смеясь.

Вошли двое мужчин с пиджаками через руку, в узеньких поясках, похожие на теннисистов, и девушка в белой блузке и короткой шотландковой юбке. Открыв дверь, они словно впустили в комнату добрый пай уличного горячего света — так вспыхнули в кабинете их рубашки, на одном голубая, на другом персиковая, чертовски утонченного оттенка, и даже гладко бритые лица мужчин были как-то по-особому светоносны. В том, как пришедшие поклонились и стали близиться к столу, заключалось соединение почтительности с уверенностью в самой, однако, благородной пропорции. Рагозин, еще не переключившись со смеха на другой лад, успел себе отметить: ишь, вальяжные! — и сказал Мешкову:

— Все-таки я вас меньше подвел, чем «Заем свободы», ей-богу. Давайте на том кончим.

Но Меркурий Авдеевич будто не вполне внял этому отпущению. Нечто отдаленно обидное почудилось ему в посетителях, которые не дали довести визит до какого-нибудь смягченного конца. И сейчас же он услышал знакомую атласную распевку:

— Артист Цветухин,— проговорил человек в голубой рубашке и, указывая на персиковую, добавил: — Пастухов.— А потом притронулся к голому локтю девушки и сказал пониже: — Моя ученица.

— А, как же! — ответил Рагозин и пригласил садиться, показав и на тот стул, у которого еще стоял Мешков, точно Меркурий Авдеевич вовсе не мог собою отнять никакого пространства.

Наступила маленькая пауза, пока рассаживались, и Мешкову пришлось отшагнуть в сторону, чтобы уступить Пастухову дорогу к стулу. Они совсем близко сошлись, и Меркурия Авдеевича осенило некоторое посмеление.

— Запамятовали? — спросил он у Пастухова.

Александр Владимирович, в момент самооткровенности, давно признал, что хорошо припоминает только тех знакомых, в которых у него могла быть нужда. А Мешкова он и правда забыл. Помигав на него, он оборотился к Рагозину, как бы спрашивая — какая цена этой захудалой бороденке? Рагозин решил дело недвусмысленно: он мотнул Мешкову головой и сказал:

— До свиданья. Я вызову вас, если понадобится.

Мешков поклонился в ответ Петру Петровичу, а затем поднял голову и остро глянул на Пастухова из-под бровей, снова обретших обычную свою грозу.

— Сравняли теперь знатных с незнатными,— выговорил он в глубокой укоризне,— пора гонор за пазуху спрятать. Учитесь у них (он повел бровями на Рагозина). Поважнее вас будут...

Тогда вдруг к нему подошла девушка.

— Здравствуйте, Меркурий Авдеевич. Я вас, простите, только сейчас узнала. Я — Аня Парабукина.

Он негромко и непонятно хмыкнул, точно ему помешала внезапная хрипота, и осторожно потряс в своей пригоршне ее длинноватую тонкую руку. С ним сейчас же поздоровался Цветухин, немного сконфуженно наклонил голову Пастухов, и все безмолвно смотрели ему в спину, пока он, пошатываясь, не исчез из комнаты.

— Вот, товарищ Рагозин,— заговорил Цветухин проникновенным голосом,— мы к вам по важному делу. Нам встретился

на улице Александр Владимирович, и я его пригласил себе в союзники.

— Слушаю.

— Позвольте без предисловий, чтобы, как говорится, взять быка за рога.

— Попытайтесь...— прищурился Рагозин.

— В том смысле, чтобы сразу деловым образом...

— Понимаю.

— Видите ли, мной организована в городе драматическая студия, которая...

В эту минуту распахнулась дверь, и Кирилл Извеков крикнул из приемной через всю комнату:

— Петр Петрович, можешь ко мне в кабинет, на два слова?

— Заходи, заходи,— ответил Рагозин, кругло обводя рукой своих посетителей,— видишь, у меня...

Но Кирилл уже разглядел гостей и сразу вошел.

— Целый клуб,— сказал он, прикрыв пальцами улыбку, и, направляясь к Аночке, сбавил шаг.

Цветухин смотрел, как Аночка здоровалась с Извековым: она, по гимназической выучке, еще не могла спокойно усидеть, когда к ней подходил старший. Но тут сдержала себя и, может быть, поэтому дала руку с преувеличенной женственной грацией.

Цветухин сказал Пастухову:

— Это тот товарищ Извеков, который был тогда — помнишь? — мальчиком.

— Ну, уж не таким мальчиком,— вскользь бросил Кирилл, отходя за стол, к Рагозину.— Что тут у вас?

Петр Петрович сказал со смешком:

— Видно, ходит молва, что я рогат: пришли меня взять за рога.

Цветухин принял смешок за добрый знак.

— Втроем-то как-нибудь осилим? А может, и товарищ Извеков поддержит? Я насчет нашей студии. Полагаю, не трудно догадаться, о чем мы хотим просить.

— Не знаю, как товарищу Извекову... а мне не очень трудно.

— Воображаю! — улыбнулся Цветухин.— К вам все приходят не иначе как с большими запросами. Но мы, люди искусства, привыкли, как говорится, по шпалам пешочком.

Рагозин протянул руку:

— Смета с вами?

— Смету мы немедленно представим — как только получим первое ассигнование. Мы хотели бы в принципе договориться о тех суммах...

— Вон ведь что! — рассмеялся Рагозин, не давая Цветухину досказать.— Вынь да положь денежки. Найдем, как истратить! У вас, что же, и на смету финансов не хватило? Вы при отделе искусств, что ли, находитесь?

— Нет, мы, так сказать, самостоятельны. Вернее, мы считаемся кружком при гарнизоне, в красноармейском клубе.

— Так ведь у Красной Армии на всякое дело есть свои ассигновки. При чем тут я?

— Дело в том, что...— собрался с духом продолжать Егор Павлович, но Рагозин все перебивал.

— Чем, собственно, вы занимаетесь, ваша эта студия?

— Мы... драматическая студия.

— Что же вы такое делаете?

— Мы... естественно, играем,— пожал плечами несколько задетый Цветухин.

— Ну, понятно. А для кого, для чего?

— Играем? Разумеется, для зрителя... чтобы зритель... Надо сказать, как студия, мы преследуем главным образом воспитательную цель. Но...

— То есть воспитание зрителя? Так?

— Само собой. Однако сначала мы учим, образовываем, создаем будущих исполнителей, ну, актеров, вот — актрис...

Цветухин взглянул на Аночку, не столько чтобы продемонстрировать, каких актрис он создает, сколько призвать ее к совместному наступлению.

Пастухов, сперва безучастный и немного напыщенный, все больше начинал развлекаться, с любопытством ожидая, к чему приведет эта канитель. Интерес его сосредоточился преимущественно на Егоре Павловиче, словно его забавляло, что тот натолкнулся на афронт.

— Но вы получаете деньги от клуба? — не унимался Рагозин.

— Клуб согласен давать на обычные занятия кружка. Но нам нужна оплата актерского труда, всей нашей работы в целом.

— Я понял — у вас ученики? О какой же оплате речь? Руководителей, да?

Цветухин встал. Он решил заставить наконец себя слушать. Он был внушителен.

— Я должен сказать о наших основных целях. Это революционные цели, и вы к ним отнесетесь, я убежден, с уважением.

Он метнул сердитый взор на Пастухова, осуждая его позицию наблюдателя.

— Основная идея моя — создание революционного театра. Что я под этим понимаю? Актер носит в себе лишь то, что есть в зрителе. Каков зритель, таков актер. Зритель мечтает, и актер

полон полета в неизведанное. Зритель подавлен буднями, и актер ползет с ним по низинкам. Забурлит у зрителя страсть — тогда и актера не удержать от экзальтации. Для того чтобы эта гармония между зрителем и актером прозвучала, театр должен быть свободен от предвзятостей. Мы объявляем войну рутине, условностям, всяческой старинке. Громоздкий, вросший в землю театр из храма искусства давно стал его тюрьмой. Сценические традиции стали оковами актера. Мы хотим вывести искусство из тюрьмы и вернуть его в храм. Мы разбиваем цепи на руках и ногах актера. Наш храм будет походным. Наш актер будет в вечном движении. Он будет зеркалом жизни. Сейчас мир объят огнем, и не время представлять в театре домашние сценки. Наша цель — душевная буря на сцене, отвечающая буре страстей в жизни!

Цветухин припечатал рот нижней губой, сел, но и сидя будто все еще стоял — так распрямился и возрос весь его стан.

Рагозин сказал мягко:

— Отвлеченно немножко... Как вы все это... практически-то, а?

— Практика родится из наших убеждений,— по-прежнему на высокой ноте продолжал Цветухин и повел рукой на Аночку,— а наши убеждения — молодость. Мы, профессиональные актеры, обучаем молодежь только технике. Молодежь делает главное: она учит нас своей вере в жизнь и революцию.

— Вы тоже участвуете в этой студии? — неожиданно спросил Извеков у Пастухова.

Александр Владимирович подождал с ответом, точно желая отделить свое слово ото всего, что было сказано.

— Нет. Я здесь новый человек. Студия возникла без меня. Но эти идеи, до известной степени, для меня не новы.

— И вы разделяете их?

— Я согласен, что Егор Павлович несколько отвлеченно высказался. Практически дело идет о молодом передвижном театре. По-моему, мысль следует поддержать. Я, впрочем, не вижу, чтобы она заключала в себе угрозу старому бедняге — традиционному театру.

— Посмотрим! — воинственно заметил Цветухин.

— Это мое мнение, и я не хочу возражать. Наоборот, я вполне поддерживаю... живое начинание с таким талантливым руководителем, как Егор Павлыч. Хотя, говорю, не вижу в самой мысли какой-нибудь театральной революции.

— Ну, конечно, где нам тягаться с тобой по части революции! — шутливо сбормотал Цветухин и остановил себя, и тотчас увидел, что поздно жалеть, потому что Извеков сразу же, как подсказку, перехватил его слова:

— Да, я читал. Вы, оказывается, участвовали в революции? Вы какой партии?

Александр Владимирович снова выдержал достойную паузу:

— Я никогда не принадлежал к партиям.

— Но были в подполье?

— Нет,— сказал Пастухов решительно.

— Это утка? — спросил Извеков.

Пастухов немного спал с лица. Отыскивая поворот разговору, он приметил раскаяние Цветухина, тотчас смыл ладонью со своих губ недовольство и неслышно засмеялся.

— Эмбрион утки. Преувеличение. Меня вместе вот с Егор Павлычем охранка подозревала в распространении ваших листовок, товарищ Рагозин. И это все. Вы ведь, кажется, печатали листовки?

— Вы были арестованы? — в свою очередь, спросил Рагозин.

— Нет, обошлось допросами.

— Но все-таки, значит, пострадали?

Рагозин внезапно расхохотался. Все недоумевали. Он хохотал и хохотал, вытирая кулаком слезы, так искренне, что рассмешил Аночку, и тогда все заулыбались.

— У меня такой день,— качал он головой.— Ко мне всегда приходят пострадавшие от Рагозина. А нынче, кто ни придет, оказывается — пострадавший за Рагозина. Везучий этот Рагозин!

Он вдруг серьезно посмотрел на Кирилла:

— Один ты, видно, не пострадал ни от меня, ни за меня.

— Тут ты можешь быть спокоен,— так же серьезно отозвался Кирилл и обратился к Пастухову: — Мне интересно, вы действительно не находите ничего революционного в работе студии?

— Ничего,— с чувством реванша отрезал Александр Владимирович.— Обыкновенный кружок начинающих любителей. Тот же занавес, те же ходули. Только что нет своего театра, где играть.

— Ну и союзничка вы себе отыскали! — прищуриваясь на Цветухина, опять засмеялся Рагозин.

— К сожалению, я ошибся,— с негодованием ответил Егор Павлович.

— Я обещал поддержать твою просьбу о деньгах, а вовсе не твои принципы.

— Александр Владимирович! — с горячей болью вырвалось у Аночки.— Уж лучше бы вы молчали!

Она вся устремилась вперед, сжав крепко руки, будто удерживая себя, чтобы не вскочить. Кирилл, взглянув на нее, резко отошел от стола и пристроился на подоконник, наблюдая оттуда Пастухова, который тотчас распалился:

— Почему я должен молчать, если меня спрашивают? Я размышлял о судьбах искусства никак не меньше Егора Павлыча и вправе высказать свои убеждения. Егор Павлыч говорит о вечном движении, о зеркале жизни. Но вечное движение существует только в головах доморощенных изобретателей perpetuum mobile, а вон возьмите «Зеркало жизни» — там показывают «Отца Сергия»... Что покажете вы в своем театре? Шиллера? И это революция? Уж если революция, то выходите на городскую площадь, на улицу. Сооружайте струги, пусть ватаги Степана Разина проплывут по Волге, а народ будет смотреть с берега, как разинцы выдергивают царских воевод вместо парусов и топят в реке изменников своей вольнице.

— Ты сочинишь нам тексты для такого зрелища? — вставил Цветухин.

— При чем здесь я? Ведь это ты претендуешь на переворот в искусстве. Я считаю — были бы таланты, а зритель будет счастлив без переворотов.

— А почему бы вам, правда, не сочинить для студии революционную пьесу? Таланты, наверно, найдутся,— сказал Извеков.

— Мы уже просили Александра Владимировича, это было бы замечательно! — порывисто обернулась к нему Аночка.

— В самом деле,— в голос ей вторил Кирилл,— если мы уговорим Петра Петровича субсидировать студию, будут и средства на хорошую постановку.

— Вон он где, союзник-то! — сказал Рагозин.— Тратить народные деньги на журавля в небе меня не уговоришь.

Аночка быстро привстала.

— Но вы же слышали — мы совсем не журавль! Обыкновенная любительская синица в кулаке Егора Павловича!

— И синица меня не уговорит,— улыбнулся Рагозин.

— Ведь все так просто! — воскликнула Аночка, оборачиваясь к Кириллу, уверенная, что найдет опору.— Представление о каком-то журавле получается оттого, что спор поехал бог знает куда! Зачем спорить о том, что когда-то будет с искусством или чего с ним не будет? Будущее всякий видит по-своему. А вы посмотрите, что сейчас уже есть, и все станет ясно. Есть совершенно новый молодой театр. Это можно сказать без скромничанья.

— Красноармейцам ваш театр понравится? — спросил Рагозин.

— Конечно!

— А на фронт вы с ним поедете?

— Конечно! Егор Павлович, поедем ведь?

— Это одна из наших целей! — тотчас подтвердил Цветухин.

— Да я просто убеждена — если вы посмотрите, как мы репетируем, так сразу и дадите денег!

— Непременно даст! — весело выкрикнул Кирилл.

Рагозин нахмурился на него, сказал тихо:

— Ты меня в это дело впутал, так теперь я уж хозяин: на ветер деньги пускать не намерен.

— Честное слово, я ни при чем, я только проголосовал за тебя со всеми... И ты вникни хорошенько, дело не пустяковое. (Кирилл опять подошел к столу.) Товарищ Пастухов нам не ответил, поработает ли он для революционного спектакля?

— Пока меня еще не осенило подходящей темой,— ответил Александр Владимирович любезно.

— А если мы вам подскажем?

— Подскажете... замысел?

— Да.

— Вероятно, не подскажете, а... закажете?

— Назовите так.

— Замысел художника — это его свобода.

— На вашу свободу не посягают. Но не найдется ли в ее пределах нечто такое, что понравилось бы молодому театру? Ведь ваши прежние пьесы кому-то нравились?

— Они нравились публике.

— Надо думать, вы немного зависели от того, кому нравились. Сейчас явилась другая публика.

— Вы хотите сказать — я теперь буду зависеть от вас?

— Очевидно, если ваши новые труды понравятся новой публике.

— Устанавливая зависимость, вы меня лишаете свободы.

— Это прежде всего касается ваших бывших заказчиков, которых я лишаю свободы ставить вас в зависимость.

— И берете эту свободу себе?

— Она мне принадлежит. Это — мой вкус.

Пастухов слегка передернул плечами и проговорил с той наставительной интонацией, в какой преподносится басенная мораль.

— Это было больше десяти лет назад. Я был новичком в искусстве и довольно много ходил по разным кружкам и собраниям. Однажды меня привели на совещание редакции «Золотого руна». Хозяином его был известный и вам Рябушинский. Чем-то он был рассержен и заявил примерно так: «Я вполне убедился, что писатели то же, что проститутки — они отдаются тому, кто платит, и если заплатить дороже, позволяют делать с собой что угодно...»

— Ну, вы великолепно поддерживаете меня! — перебил Извеков.

Пастухов испытующе помедлил.

— Ведь вы не хотите сказать, что ваш взгляд совпадает с Рябушинским?

— Я хочу сказать, что мы вас освободили от рябушинских!

— Благодарю вас. Позвольте мне воспользоваться освобождением.

— Пожалуйста,— сказал Кирилл, поворачиваясь к Цветухину.— Это значит только, что искусство революции будет жить без особого расчета на вас. Думаю, оно обойдется.

— Я надеюсь тоже,— отозвался Цветухин.

— А я думаю,— заявил Рагозин, вставая,— пока такие дискуссии продолжаются, моим финансам вступать в игру рано.

— Может быть, сегодня рано, а завтра поздно,— сказал Кирилл.— В помощи отказывать мы не имеем права. Надо различать, что — наше и что не наше. Столкуемся с клубом, в котором студия занимается, и если дело за деньгами, деньги найдутся. Ты зайдешь ко мне, Петр Петрович?

Он поклонился так, словно предназначал поклон одной Аночке, следившей за ним благодарно и строго, и ушел, вдруг будто спохватившись, что у него расстегнут воротник рубашки, и неловко прилаживая его на ходу.

Прощание с Рагозиным вышло суховатым. Пастухов направился из кабинета первым, обиженный и недоступный, до самой улицы не обернувшись на своих молчаливых спутников.

У дверей, посторонившись от прохожих, все трое по очереди взглянули друг другу в глаза. Пастухов спросил, как будто в смущении:

— Я, кажется, подпортил тебе, Егор, карьеру? Но себе тоже. И ты не унывай. Война — время легких карьер. Революция — вдвойне легких.

Аночка воскликнула:

— Неужели вы допускаете, что Егор Павлович заботится о какой-то карьере?

Разглядывая ее напряженное негодованием юности лицо, Пастухов слегка мигал. С гипсовой улыбкой он отчеканил неторопливо:

— О какой-то заботится несомненно. Я хорошо знаком с режиссерами. Будьте трезвее, милая девочка. Вам сулят славу, а за посулы потребуют дорогую цену...

— Вы... это грязно так думать! — едва слышно выдохнула Аночка и, точно от нестерпимого света, заслонила рукой глаза.

— Знаешь, как это называется? — вдруг на всю улицу крикнул своим маслянистым голосом Цветухин.— Это — подлость, вот что это!

Они мгновенно пошли в разные стороны. Егор Павлович — подпирая Аночкин локоть своей ладонью.

16

Лето началось грозно. Для тех, кто знал эти богатые, но капризные края, для коренных саратовцев упругие степные ветры предвещали сухой год. С весны пронесся один короткий ливень, воды сгладили поверхность и сбежали стремительно, не напоив землю. Влагу быстро выдуло, почву затянуло сверху плотной коркой. Зелень на горах посерела, они становились с каждым часом скучнее. Волга торопливо убывала, пески ширились и словно набухали над рекой.

В воскресенье, выйдя поутру из дома, Кирилл поднял голову к небу. Оно было полотняным, чуть-чуть подсиненным и вдали струйчато рябилось. В Заволжье в разгар жары уже появлялись миражи. Вдруг покажется над берегом невысоко приподнятая утонченно зеленая тополиная рощица, отчеркнутая от земли то бледной, то сияющей узкой полоской. Непонятно, растет ли рощица на берегу или поднимается прямо из воды: полоска играет переменчивым светом, и зеленая куща манит глаз нежной прохладой.

Кирилл услышал принесенный ветром запах гнилой рыбы. Со дня на день этот запах набирал силу. Весь город до самых верхних флигельков на горах пропитывался им, когда тянуло с Волги.

Распространился слух, что сельдь идет с низовьев вверх, выбрасывается от жары и мелководья на пески и гниет. Ход ее был неслыханно обильный, головные косяки, миновав город, уходили далеко вверх, до Хвалынска, Сызрани и Самарской Луки, а снизу надвигались новые косяки, томясь, спадая с тела, редея, вымирая по пути. Низовые промыслы не удержали рыбы, пропустили необъятную ее массу, и она поплыла навстречу самоуничтожению. Да, в низовьях было нынче не до рыбы.

С начала лета белые армии вооруженных сил Юга России предприняли наступательные действия против Красной Армии, самые широкие, какие до того времени знала гражданская война на юге. Добровольческая армия Деникина была двинута по дорогам на Харьков. Отдельному корпусу белых командование поставило задачу взять Крым. Особый отряд добровольцев должен был отрезать выход из Крымского полуострова. Восточнее Донская

армия казаков наступала на север против Донецкой группы революционных сил. Врангель со своей Кавказской армией продвигался Сальскими степями на Царицын. Войска Северного Кавказа выделили части для захвата Астрахани. Эти шесть направлений были раздвинуты по всему югу веером, будто игральные карты, снизу зажатые в кулаке екатеринодарского деникинского штаба. Действия белых начинались согласованно, и уже никогда позже коалиция царских генералов, помещиков, буржуазии и казаков не испытывала подобного единящего прилива радужных упований, как с открытием этого летнего кровавого похода.

Красная Армия отбила первую попытку Врангеля взять Царицын атакой и внезапным контрнаступлением отбросила войска Кавказской армии. Астрахань не только слала пополнения угрожаемому Царицыну, но сама сражалась против Северо-Кавказского отряда терского казачества, наступавшего на Волжскую дельту двумя колоннами — степями от Святого Креста и берегом Каспийского моря от Кизляра. Сжигаемые солнцем просторы Понизовья все гулче гремели громами боев. Тишина мирных занятий отлетала в прошлое, и даже исконный рыбацкий промысел волгаря замирал.

Кирилл все время остро слышал события войны, но этим утром душный ветер с Волги заставил его будто телесно ощутить бескрайнюю ширь охваченных борьбой фронтов. Он перебрал в уме все, что стало известно за последние дни о военных действиях. Он принимал в борьбе непрерывное участие своей работой, но ему все чаще стало казаться, что он стоит далеко оттуда, где должно было решиться будущее. Он и сейчас почувствовал это снова.

Но ветер принес с собою и другое чувство: Кирилла неожиданно потянуло на Волгу, куда-нибудь на островную косу, ближе к этому горклому запаху воды и рыбы, чтобы растянуться на прокаленном песке, подставив всего себя колючей ласке зноя, и долго пить слухом плеск мелкой волны да сухое жгучее царапанье по телу перегоняемых ветром песчинок.

Однако Кирилл вышел на улицу с иным намерением: он решил навестить лежавшего в лазарете Дибича. Откладывать это было нельзя, потому что слишком редко выдавался свободный час и потому что Дибич прислал записку, в которой сообщил, что надо поговорить.

Дибич находился в хорошем военном лазарете, куда его устроил Извеков. За четыре недели Василий Данилович очень окреп, сам себя не узнавая в зеркале. Исчезла краснота век, и глаза прояснились. Побритое лицо стало приветливее, моложе и тоньше в чертах. Весело раздвигалась при смехе ямка на середине подбородка, голос лился звонче.

Но, правда, смеяться доводилось редко. Дибич лежал в маленькой палате из четырех коек. На двух сменилось несколько красноармейцев, лечившихся после ранений. На одной, почти так же долго, как Дибич, лежал служивший в полковом штабе командир из бывших офицеров. Это был коротенький мужчина, с лиловыми сумками под глазами, сильно окрашенным рыхлым лицом и подвижными мягкими руками. Он часто страдал от припадков печени, но между ними оживлялся и охотно говорил. Он был постоянным собеседником Дибича и по натуре спорщик.

Дибич много накопил за истекшие дни. Каждый, кого он здесь видел, обладал своим особым познанием, приобретенным в революцию, и одновременно эти разные познания сливались в общий опыт людей, переживших нелегкую пору испытаний. Санитары, сестры, фельдшера и парикмахеры, сиделки, врачи и фронтовые бойцы — все приносили что-нибудь раньше неизвестное Дибичу, и понемногу он суживал брешь своего непонимания, которая образовалась за годы плена. Дибич больше слушал, чем говорил. И, медленно пропитываясь током чужих мыслей, иногда смутных, иногда отчетливых, либо восторженных, либо бесчувственных, то злобных, то одобрительных, он понял, что каждому эти мысли дались с такою болью и были так дороги, будто пришли со вторым рождением.

К исходу четвертой недели в палату поступил новый больной — пароходный механик, родом из Архангельска, веснушчатый, скуластый малый лет за тридцать. Он был прочно сшит, и все в нем производило впечатление основательности — от тяжелых жестов, которыми он как бы дорожил, до круглой поморской речи. Ему помяло ребра на паровой лебедке: неподпоясанную рубаху надул ветер, шестеренки закрутили ее, и шатуном угостило молодца в бок так, что он невзвидел света. Его продержали двое суток в госпитале и перевели в лазарет на долечивание: он сам сказал, что, мол, долго коечничать поморам несручно. В Поволжье он очутился случайно, бежав от белых из Архангельска, и попал в Затон, где ремонтировались суда для Волжской флотилии.

Одна койка как-то запустовала, больные остались втроем, штабист долго раскачивал северянина, выспрашивая — кто он да что, и малый разговорился.

— А в Мурманск не ходил?

— Как не ходить! — отозвался помор со своим круглым и таким славным открытым «о».— Я мальчонкой в десять лет как залез на карбас, так и не слазил. А с пятнадцати в пароходной кочегарке торчал. Сколько морей исходил, сколько за границей прожил!

— Научился чему за границей или нет? — спросил штабист.

— Много чему. Да раскусил-то ее только теперь. Вот как последним рейсом из Мурманска в Архангельск шел, так все и разъяснело.

— Как же это ты в русских водах заграницу раскусил?

— А вот так. Русские-то кораблики на севере нонче под английским флагом гуляют.

— Ну и что же?

— Да то-то что! Англичане весь рейс в кают-компании виску тянули да сигарками баловались. А нашего брата — без разбора, что мужика, что офицера — как в Мурманске свалили в трюм с тухлой треской, да так до Архангельска не дали нос высунуть.

Штабист мягко развел руками:

— Да, конечно. Беда, что иной готов год просидеть в трюме с треской, лишь бы стряхнуть большевиков.

Дибич покраснел и, видно, нарочно долго пересиливал себя, чтобы сказать тише:

— Я готов бы тоже посидеть в трюме, не знаю сколько, лишь бы сорвать с наших судов чужие флаги.

— Хотелось бы,— вздохнул штабист.— Да беда, европейский мир никогда не согласится признать Советы. Власть в его представлении — дело преемственное.

— Он признáет любую власть, которая будет платить ему царские долги, ваш европейский мир,— сказал Дибич.

— Почему, однако, мой? Уж скорее — ваш, раз вы так долго... проживали в Европе.

Дибич смолчал. Помор изредка обмеривал соседей коротким зорким взглядом.

— Посмотрел я на тех, которые готовы хоть в трюме, лишь бы не с большевиками,— сказал он не спеша.— На набережной Двины год назад английских добровольцев белогвардейцы хлебом-солью встречали. Шпалерами по всему Архангельску войска выстроили. Все правительство Чайковского на мостки вышло: добро пожаловать! Поелозьте, дорогие гости, поелозьте!

— Ты говоришь, англичане без разбора всех русских в трюм сажают,— сказал штабист, будто размышляя наедине с собой.— Но мы сами себя в этом смысле уравняли. Мы же вот лежим в одной палате — командиры и... не командиры. Европейцы думают — это в русском обычае. Ну и валят в одну кучу... Только трудно поверить, будто они не отличают офицеров.

— А вы поверьте,— словно нарочно спокойно ответил помор,— я говорю, что своими глазами видел. Англичане открыли артиллерийскую школу для белогвардейских офицеров. Поставили всех на положение солдат. Сержант английский бьет русского офицера — и ему ничего.

— Ну, батенька! — осадил рассказчика штабист и даже поднялся в постели.

— И очень хорошо,— сказал Дибич, снова наливаясь кровью,— и черт с ним, что сержант бьет русского офицера! Потому что это не русский офицер, если он зазвал иностранцев усмирять свой народ. Черт с ним! Ему мало сержантской пощечины!

— Позвольте, товарищ Дибич,— воззвал штабист, спустив ноги с кровати.

Сумки под глазами почернели, он точно укоротился, когда сел, рыхлые щеки отвисли, лицо стало больше.

— Сами-то вы разве не русский офицер?

— Нет! — крикнул Дибич.— Я — не русский офицер! Я не тот русский офицер, которых обучают английские сержанты! Я...

— Да все равно не откреститесь. Разве вы не так же, как те офицеры, от которых вы отрекаетесь, разве вы не давали одной с ними присяги?

— Присяга?

Дибич вскочил с постели. Запахнув коротенький, выше колен, горохового цвета халат вокруг худого тела и оставив на животе скрещенные длиннопалые бледные руки, он стоял босиком среди палаты, дрожа, поворачивая голову на тонкой голой шее то к штабисту, то к помору.

— Присяга? Кому? Строй, которому я присягал, не существует. Это освобождает меня от присяги ему. Армия, которой я присягал, не существует. Это тоже меня освобождает. Остается отечество, да? Земля отцов? Родина? Так я верен присяге своей родине. Эта присяга заставляет меня изгонять из пределов родной земли всех, кто на нее посягает. Эту присягу я готов выполнить. Но этим занята сейчас не та армия, которая привечает иностранцев хлебом-солью за то, что они бьют по морде ее офицеров. И кажется...

Дибич сдержал раззвеневшийся свой голос, отошел к кровати, язвительно досказал:

— ...кажется, вы, товарищ командир, принадлежите к другой армии, если не ошибаюсь...

— Не отказываюсь, не отказываюсь,— несколько присмирел штабист.— Да ведь нельзя добиться, чтобы у нас все полтораста миллионов одинаково думали. Иностранцы помогают своим единомышленникам, естественно. Мы ведь говорим об интернационале? А что это, как не наши иностранные единомышленники?

— Мы своего достояния нашим единомышленникам не сулим и не дадим.

— Это собственное мое дело,— хмуро сказал помор.

Он сидел на своей койке, широко расставив колени и прида-

вив их громадными кистями рук, которые казались почти черными на бумажных, не по росту тесных кальсонах.

— Мое дело, как я рассядусь у себя дома. Кого под кивоты посажу, а кого в заклеть пихну. Дом свой я от дедов наследовал, они мне его под стрехи вывели и кровью отстояли. Нет мне указчика, как его содержать! Коли я кого позвал зачем — будь гостем. А сам ко мне кто сунулся — ну, не посетуй, если я тебя твоим пречистым ликом да в назём... Всякий заморский шарфик меня принижать станет? Да я лучше кору с деревьев глодать буду, а пока земли своей не очищу, не успокоюсь.

— Ну и гложи, если тебе по вкусу,— сказал штабист, суетливо укладываясь в постель.

— Да мне не по вкусу,— обиделся помор,— кора кому по вкусу? Я говорю — я дом свой сам буду устраивать, и лучше на погост, чем под пришлого сержанта...

Разговор по виду кончился ничем. Но спустя день Дибич послал Извекову короткую записку и потом нетерпеливо ждал, как он отзовется.

Кирилл влетел в палату частой своей поступью, остановился, мигом оглядел всех обитателей, закинул руку за голову и потрепал себя по затылку. С крайней койки у окна улыбался навстречу совсем не тот Дибич, которого Кирилл откачивал у себя в кабинете валерьянкой. Это был скорее прежний Дибич — батальонный командир, читавший выговор рядовому Ломову в недостроенной фронтовой землянке. Впрочем, и от того старого Дибича этот отличался не только своей, еще не изжитой, худобой, но словно бы облегченностью всего выражения лица, казавшегося в эту минуту даже беззаботным.

— Здорово вас отремонтировали! Прямо хоть в строй!

Извеков сказал это в полный голос, без обычной оглядки на незнакомых больных, с какой входят в палаты гости.

— Я и думаю, не пора ли в строй? — улыбаясь, ответил Дибич.

— Ого! Но все-таки не рано ли? Неужели у вас все в порядке? Позади-то, можно сказать, голгофа!

— Неделя, как гимнастику начал. Вчера вот этот стул за ножку выжал.

— За заднюю или за переднюю?

— За заднюю.

— Ну вот, когда за переднюю выжмете, тогда и выписывайтесь.

Они громко посмеялись. Что-то молодое, как шалость, соединило их в болтовне, и они впервые ощутили себя ровесниками — стали говорить друг другу, где кто учился, вспомнили чехарду на

переменах, и как состязались поясными металлическими пряжками (кто выбьет глубже насечку на ребре пряжки), и как мерились силой (кто из двух, поставив локти на стол и взявшись накрест пальцами, пригнет руку соперника к столу), и Кирилл вдруг выпалил:

— А ну, давайте потягаемся!

Он присел на кровать против Дибича.

Неудобно нагнувшись, они сжали друг другу пясти и уперлись локтями в матрас. Дибич упрямо противился, побагровел от натуги, но постепенно рука его клонилась, и потом он сразу уронил ее на постель.

— Я говорю — рано выписываться,— весело сказал Кирилл и обернулся к больным: — Кто хочет помериться?

— В лазарет за легкими лаврами? — усмехнулся штабист.

— Не знаю, за легкими ли. Вот вы, пожалуй, пересилите,— сказал Кирилл архангелогородцу.

Помор ответил не сразу, будто подбирая в уме слова.

— Против двоих давайте, что ли,— буркнул он смущенно.

— Товарищ Дибич, покажем ему!

Вдвоем они сложили вместе правые руки — Кирилл и Дибич — и поставили локти на тумбочку перед койкой помора. Тот занял место напротив, захватил обе кисти противников в свою вместительную теплую длань и, как железным воротом, шутя припечатал их к тумбочке.

Кирилл увидел на распахнутой его груди татуированное сердце, пронзенное стрелой.

— Матрос? — коротко спросил он.— Как фамилия?

Помор качнул головой:

— Страшнов по фамилии.

— Матушки мои, а?! — отступил Извеков.

Он опять сел у кровати Дибича, изучая его озорным, необъяснимо довольным глазом.

— Что же не спросите, в какой я хочу строй идти,— сказал Дибич.

— А что спрашивать? Я по лицу вижу.

Дибич улыбнулся.

— Быстрый вы.

— Решили?

— Решил.

— Хорошо. Как выйдете отсюда — прямо ко мне. Я дам рекомендацию. Сейчас новые части сколачивать будем. Поработаете на формировании.

— Я думаю, может, сперва на побывку к матери? На коротенькую.

— А... Что же, как хотите,— сказал Кирилл.

— Вы устроите меня на пароход?

— Как хотите,— повторил Извеков.

Впервые за эту встречу они оба примолкли.

— Газеты вам дают? — спросил Кирилл.

— Да. Что там на фронтах?

— Ну, вы же читаете. Уфа наша. За Урал переваливать будем.

— А на юге?

— На юге хуже.

— Деникин, видно, в решительную перешел?

Извеков оглянулся на соседнюю койку. Штабист смотрел на него внимательно.

— Решать будем мы, большевики,— сказал Кирилл громче и подождал, будет ли ответ.

Но стало как будто только тише.

— Почему я так говорю? Народ с нами, вот почему. Согласны?

— Я то же думаю,— сказал Дибич.

— Безусловно. Заметили вы одну вещь? Народ чувствует, что в самом главном мы делаем как раз то, что отвечает его желаниям. Это не просто совпадение. Наши цели идут в ногу с историческими интересами России. Как раз в решающие моменты народной жизни они сливаются. Смотрите: народ требовал выхода из войны, он сбросил помещиков, сейчас он будет гнать в три шеи интервентов — мы на каждом его шагу с ним. Разве не так?

Кирилл не упускал из виду соседа Дибича. Во взгляде штабиста он угадывал тот метко нацеленный прищур, с которым следят за агитатором всё на свете отрицающие слушатели. И Кирилл вдруг почувствовал прилив давно неиспытанной услады, что он опять агитатор, каким бывал много и подолгу, и под своим именем, и под именем Ломова, на фронте, и всюду, куда его посылали. Он говорил, довольный, что слово его не вызывает в Дибиче протеста, но еще приятнее ему было, что оно явно претит другому слушателю. На фронте это называлось: насыпать соли на хвост. Наконец он прямо обратился к штабисту:

— А вы, я вижу, скептически относитесь к тому, что я говорю?

— Извините, товарищ, но здесь все-таки лазарет... И у меня печень.

— Ах, да. Тяжелая болезнь... Ну, значит, как, товарищ Дибич? — спросил Извеков, поднявшись.— На побывку домой, или как?

— Приду к вам после лазарета.

— Буду ждать. Да смотрите, не переусердствуйте...

Кирилл согнул в локте руку и показал на стул.

— И не оглядывайтесь. Окаменеете, как жена Лота,— опять засмеялся он.

Уходя, на одну секунду он остановился перед Страшновым.

— Извиняюсь, а кем вы будете? — захотел узнать помор.

— А я буду секретарь Совета, Извеков.

— У-у,— сказал помор,— слыхал про вас. Ну, правильно.

— Правильно? — улыбнулся Кирилл.

— Правильно,— тоже с улыбкою повторил Страшнов и медленно дал Извекову тяжелую руку.

Больше они ничем не обмолвились, а только еще секунду посмотрели друг на друга, улыбаясь, и Кирилл ушел.

Он двигался свободно, несмотря на зной, с ощущением какой-то проделанной гимнастики, и само собою, без рассуждений, пришло желание повидаться с Рагозиным.

Петра Петровича он застал в его приплюснутой комнатенке, у распахнутого окошка, за самоваром. Было душно, роились мухи, проносившаяся вдалеке тучными взвихреньями пыль мутила жаркий склон неба.

— Сижу, обливаюсь потом, и так, знаешь, подмывает двинуть на песочек — сил нет устоять.

— Купаться? Да ты что? Ясновидцем стал? Мысли-то мои читаешь,— сказал Кирилл.

— Что ты говоришь? — встрепенулся Рагозин.— Тогда, как тебе понравится: есть у меня задушевный старец один, у него — закидные удочки, котелок и все такое. И с лодочником он приятель. Поедем, искупаемся, вечерком закинем на живца и, может, переночуем, чтобы на зорьке еще попытать счастье. А поутру — назад, а?

Они скоро договорились на том, что Кирилл зайдет в гараж за машиной, съездит домой — сказаться до другого утра, и явится прямо на берег, а Рагозин возьмет на себя заготовку провизии и рыболовных снастей.

Через два часа они встретились у лодочной пристани: Кирилл — налегке, Рагозин и старик — увешанные всякой всячиной. Они взяли двухпарку, которую старик отрекомендовал послушной на ходу,— выгоревшую, не слишком опрятную лодчонку с навесным рулем, окрещенную по прихоти какого-то классика «Медѐей». Рагозин был возбужден, торопился, размещая в лодке пожитки, точно опасаясь, что давно соблазнявший план сорвется. Только когда все было уложено, он спросил Извекова:

— Не признал?

Кирилл посмотрел на старика. Лицо его было взрыто крепкими, будто нарочно выделанными морщинами и овчинно-желто

от загара. Рабочие очечки в белой оправе сидели на крупном горбатом носу. Кирилл проговорил неожиданно застенчиво:

— Тот, что ли?

У него потемнело и поползло в ширину пятно веснушек, которые умножались всегда к лету и делались заметнее, если он сдерживал улыбку. Рядом со спокойным стариком он стал больше похож на юношу.

— Тот и есть,— ответил Рагозин, почтительно ласково прикасаясь к сутулым лопаткам старика, крылами торчавшими под пиджаком.— На таких кремешках мы и держались. Великий конспиратор.

— Ишь отвеличал! — сказал старик, осторожно занося ногу в лодку.— Я-то думал, меня Матвеем кличут.

— Первый меня товарищем назвал,— слегка мечтательно припомнил Кирилл.— Совсем я еще был мальчишкой.

— И знаешь, где теперь проживает? Там, где мы с тобой листовки мастерили. У Мешкова.

— С господином Мешковым под общей кровлей,— сказал старик, надевая через голову рулевую бечевку.

— Мешкова я недавно видел, знаешь? — продолжал Рагозин.— Сбавил против прежнего.

— Сбавил, сбавил, а ерш в нем торчит,— заметил Матвей.

Но Кирилл не промолвил ни слова. Он сел в переднюю пару весел, Петр Петрович — в центре лодки, на другой паре, и они оттолкнулись.

Выйдя на середину Тарханки, они взяли вверх и гребли молча. Гуще и удушливее становились пронизанные рыбной гнилью накаты ветра. Все вокруг было упитано солнцем. Ни пятнышка тени на плоских песках. Ни перемены в ослепляющей ровной ряби воды. Ни свежего вздоха в разожженном воздухе. Только с каждым новым всплеском весел как будто подымается выше и выше, раздвигается дальше и дальше горящий над головой не измеримый никакой мерой почти бесцветный купол.

— Давно я не баловался весельцами. Последний раз — на Оке, в коломенских местах,— сказал Рагозин.

Ему не ответили. Старик, вскинув очечки под козырек картуза, глядел с кормы вперед, так туго прижмурившись, что в щелках его узких век не видно было и зрачков. Кирилл вработался в греблю и вскидывал весла на слух, совсем закрыв глаза. Когда проходили мимо Зеленого острова, он стащил с себя рубашку. Тело его сверкало от пота.

— Не сожгись,— предупредил Рагозин.

Но Кирилл опять ничего не сказал.

Обошли первый песчаный мыс и взяли наперерез протока, к дальнему стрежню. Тут слышнее стал запах рыбы, к приторной сладости его прибавилось кислоты.

Когда подошли к большим пескам, вдоль всего их края обозначились две-три серебристых каймы. В ближней к воде кайме серебро играло больше. Дальше тянулась кайма порыжее, последняя была сплошь черной. Скоро можно было различить в этих выброшенных на песок полосах отдельные рыбины, мертво блестевшие иссушенной чешуей на солнце.

— Держи поодаль,— сказал Рагозин старику,— дышать нечем.

— Селедочка-сестричка, рабочая рыбка,— качал головой Матвей.— Сколько добра прахом уплыло!

— Возьмем свое, наверстаем,— сказал Рагозин.

— Возьмем, да когда? Людям сейчас подай, люди жалостятся.

— Есть люди, только и знают — жаловаться.

Стало тяжелее выгребать — приближался стрежень, и пришлось налечь из последних сил. Рагозин тоже снял рубаху, положил под кепку обильно намоченный платок. Течение отжимало лодку к мысу, старик правил круто против воды, чтобы не прибило к пескам. Когда наконец обогнули косу и открылся впереди размах коренного русла, Матвей отпустил рулевую бечеву, и лодку понесло. Рагозин крикнул:

— Суши лопаты! — и первый вскинул так высоко в воздух весла, что вода ручьями побежала по ним через уключины в лодку. Он водрузил на рукояти весел раздвинутые ноги и сказал Кириллу: — Здоров, малыш, грести!

Все притихли, отдаваясь нераздельному скольжению с водой вниз и отдыхая. С левого берега дуло горячим, но чистым дыханием степей, все здесь на Коренной было вольнее и бесконечно просторней.

Старик выбрал место у мелководного затона с узким горлом. Сразу, как пристали, Рагозин и Кирилл бросились купаться.

Они попробовали соблазнить и старика, но он отговорился, что свое отплавал и теперь у него одно дело — размачивать мозоли.

— Да он, чай, и плавать не умеет,— поддразнил Петр Петрович.

— А когда ты будешь из воды караул кричать, тогда посмотришь — умею или нет...

Кирилл и Рагозин плавали по-волжски — саженками. Петр Петрович опускал лицо в воду, выставляя солнышку лысину, потом высовывался, фыркал, фонтаном вздувая брызги, кричал — ого-го! — и опять зарывал нос в воду. Кирилл шел ровно и уплыл

далеко вперед. Их руки взблескивали на свету, как полированные спицы медлительных колес.

После купания распределили работу. Старик пошел с ведерком и сеткой к затону — ловить уклейку для наживки, Рагозин взялся приготавливать закидные, Кириллу поручили собирать в тальнике валежник для костра. Заботы эти отняли много времени. Стайки рыбешек на отмелях вели себя хитро, молниеносно перебрасываясь всей слитной гурьбой с места на место. Тальник рос далеко, на самом горбу песков. Почти весь валежник унесло с полой водой, а сухостой поддавался рукам туго. На закидных оборвано было изрядное число поводков, и приходилось копаться с навязыванием новых крючков. Каждый намучился со своим делом.

Солнце уже порядочно опустилось, когда принялись насаживать живцов. Ставили четыре закидные, всего крючков на сто, и возни с наживкой оказалось много: живец был не стойкий, быстро засыпал в руках от жары, и пока добирались до последних крючков закидной, на первых уклейка уже плавала брюшком кверху, и надо было наживлять заново.

Наконец Рагозин старательно раскачал свинцовое грузило и запустил в реку последнюю закидную. Все трое с удовольствием смотрели, как увлекаемые бечевой живцы на поводках один за другим отрывались от прибрежья и, поблескивая в воздухе, неслись вслед за стремительным грузилом. Воткнули в песок у самой воды аршинные пруты, навязали на них концы закидных, а на верхушки — крошечные колокольца, и Рагозин сказал:

— Первая закидная твоя, Кирилл. С того края — моя. А обе посередке — Матвея. Айда чай пить!

К вечерней заре они лежали вокруг притихшего костра на животах, воткнув локти в песок и потягивая из кружек прикопченный дымком чай. Ветер спадал, вода успокаивалась, меняя краски своего наружного цветного щита. Очень хорошо и долго всем молчалось,— наверно, лучшие воспоминания передвигались чередой у каждого, а может быть, охотники вели друг с другом понятный без слов разговор. И когда заговорил старик, то голос его будто и не нарушил безмолвной беседы, но продолжал ее потихоньку вести:

— Ты верно, Петрович, сказал, что люди любят жаловаться. С тех пор как помню себя, каких я жалоб не наслышался? Овес дорог. Снегу мало выпало, озимые не прикрыло. Корма скудные. Работник в семье один, а ртов много. Наделы малы. Дожди залили, все в поле сгнило. Одна супесь. Один суглинок. Все как есть спалило, и соломы не собрали. Аренда дорогая, кулак задушил. Чересполосица замучила. Приработки плохие. Погорельцы, переселенцы...

— Что же,— сказал Кирилл,— это все правда.

— Правда-то оно правда. Только переделывать эту правду надо. А как к переделу подходит, так, глядишь, куда твои жалобщики подевались!

— Так что же ты хочешь?

— Хочу я много чего. Между прочим, как людей заставить, чтобы не жалостились, а переиначивали в жизни, что неудобно?

— Надо пример дать. Это мы сделаем.

— Пора говорить — делаем,— сказал Рагозин.— Да кое-что уже и сделали.

— Конечно,— согласился Кирилл,— но мы строим пока первые новые отношения между людьми, а Матвей говорит обо всем укладе, о нашем быте.

Старик негромко засмеялся.

— Ишь какой!.. Ты, чай, пока чижа не накормишь, песни от него не потребуешь, а? Птичью песню семечко питает, верно? Нет, ты, брат, и петь учи, и зерно расти, и неприятеля бей, обо всем сразу думай.

— Обо всем сразу рановато,— сказал Рагозин,— хоть мы это понимаем. Кто это сейчас нам даст?

Старик замолчал, то ли наговорившись, то ли не находя ответа, потом надумал поддакнуть:

— Едем давеча в лодке, а я думаю, мол, захотели на отдых, будто уж все поделано. А дела-то еще у-у-у!.. Одной грязи сколько выгребать.

— Декарт утверждал, что земной шар — это солнце, покрытое грязью,— проговорил Кирилл, ни к кому не обращаясь.

Старик встал, медленно потянулся, спросил:

— Ученый какой?.. Насчет солнца ученому виднее. А насчет грязи мы сами замечаем.

Он тут же, прикрыв от закатного света глаза, добавил:

— Кого это господь дает?

По краю берега близился оживленной походкой человек в большой соломенной шляпе. Двое мальчиков, то забегая перед ним, то отставая, пригибались и кидали в воду гальку на состязание — кто выбьет больше «блинчиков», то есть у кого запущенный камень сделает больше скачков по поверхности, прежде чем затонет. Было уже слышно, как они выкрикивали счет, ускоряя его к концу, вместе с учащающимся подскакиванием камней: пя-ять, шесть, семь, восемь-девять-десять!

Рагозин вдруг вскочил.

— Смотри-ка!.. Да ведь... да ведь это...

Он безотчетно шагнул вперед, воскликнул:

— Ну конечно, он! Арсений Романыч! — и пошел, стараясь шире ставить вязнувшие в песке босые ноги.

— Арсений Романыч! — крикнул он.

Мальчики понеслись ему навстречу, но, не добежав, растерянно стали и обернулись к Дорогомилову, который торопился за ними.

— Ну, здорово, вы, ходатаи по делам,— засмеялся Рагозин, сразу узнав Павлика и Витю.— Тащите скорее своего подзащитного!

Они и правда кинулись назад, схватили с обеих сторон Арсения Романовича за руки, и он пробежал с ними несколько шагов и остановился, почти такой же, как они, растерянный.

Сняв шляпу, он поправил или, пожалуй, старательнее запутал свои космы и стал одергиваться, явно стесняясь, что рубаха на нем заправлена в брюки и брюки кое-как держатся на стареньких подтяжках.

— Не грех ведь нам и облобызаться,— сказал сияющий Рагозин,— здравствуйте, дружище.

Они поцеловались. Мальчики подпрыгнули от восторга (они впервые видели, чтобы Дорогомилов целовался) и наперегонки сунули Петру Петровичу свои перепачканные руки.

— Вы, пожалуйста, Петр Петрович, пожалуйста, извините моих сорванцов,— заговорил счастливый, но ужасно как засмущавшийся после объятий Дорогомилов.— И не подумайте, прошу вас, что это как-нибудь я... То есть совсем не я их надоумил, ну, чтобы они пошли к вам... с этим выдуманным делом... Они сами, все как есть сами...

— Да Петр Петрович же знает, что это мы сами придумали, вот я и Витя...

— Погодите вы! Я хочу объяснить.

— Ничего не надо объяснять, ничего! — успокаивающе и с упреком перебил Рагозин.— Мне все известно, все! Неизвестно только, почему вы от меня прячетесь, а? Я-то ведь черт знает как все время занят. А вы...

— Именно, именно! — завосклицал Дорогомилов.— Потому мне и стыдно, ей-богу, как это все...

— Бросьте! Как вы здесь очутились, на косе?

— Мы с удочками, удить приехали,— за всех отозвался Павлик и махнул рукой назад,— вон там наша лодка. Поставили девять удочек еще в обед, и ни разу не клюнуло. Клева нет никакого, хоть лопни!

— А у вас закидные? — спросил Витя.

— На живца, да? — спросил Павлик.

— Верно ведь, на червя сейчас не берет? — спросил Витя.

Так они в кучу сыпали вопросы, не давая говорить взрослым и сами недосказывая всего, что хотелось, пока не подошли к костру и Рагозин не сказал им:

— Ну, знакомьтесь, как полагается: докладывайте, кого как зовут, кого как величают.

И мальчики назвали себя по-школьному вежливо: Витя Шубников, Павел Парабукин.

Кирилл даже вздернул голову от этого, словно нарочно подстроенного, сочетания фамилий. Он поздоровался с мальчиками без следа своей уверенной скорой манеры. Витино лицо поразило его — так много неуловимо памятного заключалось в милой связи детских черт.

— Твою маму зовут Елизаветой Меркурьевной?

— Да,— смущенно ответил Витя.— Вы разве знаете?

— Ты... один у нее? — спросил Кирилл, после маленького замешательства.

— Один... Вот дядя Матвей живет вместе с нами.

Старик кивнул:

— Мешкова внучонок...

Рагозин пристально наблюдал за Кириллом, но того как будто всецело занимали дети.

— Вы давно дружите? — обратился он к Павлику, разглядывая его почти так же настойчиво, как только что изучал Витю.

— Мы все время дружим,— смело ответил Павлик и обернулся на Дорогомилова: — Правда, Арсений Романыч?

Говоря с мальчиками, Кирилл, против воли, непрерывно слышал присутствие Дорогомилова, и ему мешало чувство, что этот неожиданный пришелец ждет его взгляда и тоже непрерывно и как-то особенно ощущает его присутствие. Как ни изумила его встреча с сыном Лизы и одновременно с братом Аночки, он будто умышленно затягивал с ними разговор, чтобы овладеть собой и спокойно ответить на ожидающий взгляд Арсения Романовича. Он смутно знал этого человека, но с очень ранних лет таил к нему бессознательную неприязнь, которая позже, когда стала известна история гибели отца, превратилась в затаенную вражду. Кириллу в детстве нравились уличные мальчишки, дразнившие Дорогомилова Лохматым, и про себя он называл его не иначе.

— А это Дорогомилов, будьте знакомы,— приподнято сказал Рагозин.

И Кирилл произнес по слогам с холодной отчетливостью — Из-ве-ков! — и в упор уставил глаза на Лохматого, и увидел на его старом смятенном лице бумажную бледность. Тогда он тотчас решительно ответил на свой бередивший чувство скрытый вопрос: да, виноват! И ему захотелось во всеуслышанье грубо спросить:

скажите, где утонул мой отец? Или уж еще злее: где вы утопили моего отца?

Но едва он ощутил трепещущее и в то же время обрадованное рукопожатие Арсения Романовича, совсем другой вопрос явился его мысли и отрезвил его. Не испытывает ли — подумал он — не испытывает ли тот, кто спасся из беды, всегда какую-то свою вину перед тем, кто от этой беды погиб? Может ли он быть спокоен, даже если сделал все, чтобы спасти погибшего?

— Знаешь, Кирилл,— все еще возбужденно сказал Рагозин,— я ведь в десятом году уцелел благодаря Арсению Романовичу.

— Ах, что вы, ах, что! — взмахнул шляпой и весь заколыхался Дорогомилов, протестующе и потрясенно.— Совсем не то, совсем! И не надо, что вы!

Бледность его прошла, заменившись неровными старческими румянцами, и он вдруг перешел на растроганный и слегка торжественный тон:

— Можно мне прямо сказать, в вашем присутствии (он несколько раз перебежал взглядом с Кирилла на Рагозина), вот для них, мальчиков? Вы извините. Вот, друзья (он сблизил Павлика с Витей привычным настойчиво мягким движением воспитателя). Посмотрите на этих людей и запомните их навсегда. Они работают, чтобы вы были счастливы сейчас и в будущем. Чтобы, когда вы станете взрослыми, в жизни вашей больше не было той тяжести и той неправды, которая была прежде и которую вы и сами так часто еще встречаете на земле. Они хотят сделать землю такой чистой, как вот это вечернее небо... Вы меня простите... я немножко...

Он оборвал себя, отвернулся лицом к закату и отошел на шаг, покашливая.

Кирилл внезапно увидел в этом неловком косматом человеке необычайное сходство с книголюбом, который в ссылке заразил его своей лихорадкой, и с облегчением вздохнул.

Мальчики смотрели на него серьезно и неподвижно. Потом почти без паузы, после такой неожиданной речи, Витя громко спросил:

— Дядя Матвей, а как лучше насаживать живцов? За спинку или за жабры?

Рагозин рассмеялся и толкнул маленьких товарищей к костру.

— Идемте-ка к чайку поближе, там и разберем, как надо насаживать.

И тут случилось небольшое событие, объединившее всех быстрее, чем это может сделать самый добрый разговор.

Только всем лагерем уселись вокруг огня, как Витя привстал на корточки:

— Взяла?

Все точно по сговору обернулись к закидным. Неподвижные пруты, воткнутые в песок, были четко видны на притихшей матово-желтой речной глади. Внезапно крайний прут пригнулся к воде, тотчас упруго выпрямился, и высокий тоненький звон захлебнувшегося колокольца растекся в тишине.

Витя, Павлик, Кирилл вскочили первыми. Рагозин схватил их и потянул книзу.

— Пусть возьмет! — страшным шепотом просвистел он.

Но, усадив мальчиков и дергая за рукав Кирилла, чтобы тот тоже сел, он сам, странно скорчившись, будто готовясь к смертельному скачку, подняв брови и выпучив глаза, стал, как в присядке, перебирать согнутыми в коленях ногами, загребая песок и все дальше отдаляясь от костра. Руки его, подлиневшие и выброшенные вперед, касались песка, он почти полз на четвереньках. За ним начали подниматься и тоже ползти мальчики, Кирилл и позади всех Арсений Романович, у которого лопнула от натуги и повисла под животом подтяжка.

Прут качнулся опять и мелко затрепетал испуганной дрожью, разливая вокруг беспокойный звон колокольчика. Рагозин, не отрывая глаз от прута, устрашающе махал рукой назад, чтобы все остановились, не ползли, а сам все быстрее загребал ногами, подбираясь к воде.

В шагах пяти он замер. Колокольчик смолк. Рыболовы позади Рагозина остановились в самых разновидных и неудобных позах. Арсений Романович торопился как-нибудь приладить подтяжку. Откуда-то издалека глухо доносилось трещание мотора. Прут стоял оцепенело.

Вдруг он сильно склонился, бечева закидной натянулась, выскочив из воды, колеблясь дернутой струной и ссыпая с себя частые сияющие капли.

— Взяла! — совершенно чужим и бесподобным голосом взвопил Рагозин и ринулся к закидной.

За ним бросились все сразу. Он ухватил бечеву, дернул наотмашь в сторону, потом припустил назад, подождал, ощупью слушая — что происходит в реке,— и опять крикнул:

— Матвей, подсак!

Старик тащил на плече сачок, трусцой перебирая негибкими ногами.

Кирилл, побледнев, сказал Рагозину:

— Дай. Это моя. Твоя — с того края.

— Постой, постой,— сказал Рагозин, с трудом выбирая закидную из воды и локтем останавливая Кирилла.— Пова́дить надо, пова́дить! Упустишь!

— Давай, давай,— повторял порывисто Извеков и, ступив в воду, в нетерпенье перехватил у Рагозина бечеву.

Тогда Петр Петрович вошел в воду глубже, по колено, и схватил закидную подальше.

— Упустишь, говорю... Трави! Трави, говорю! Оборвет!

Он дал добыче на минуту волю и опять начал выбирать. Стали показываться крючки с наживкой, раскачиваясь в воздухе или закручиваясь на бечеве.

— Здоровая! — по-детски сказал Кирилл, впившись глазами в натянутую закидную и невольно простирая к ней руки.

— Матвей, подсачивай!

Старик уже мочил свои мозоли, подводя сак под закидную, взбаламучивая железным обручем сетки податливый донный песок.

Сначала справа от бечевы, потом слева метнулась, гулко взбурлив тихую поверхность, рыба. Она почудилась всем титанической — так заволновалась, заходила, заискрилась растревоженная вода.

— Потрави еще,— присоветовал старик.

Рагозин отпустил, глянул через плечо на Кирилла и неожиданно протянул ему закидную:

— Ну валяй, что ли!

Кирилл так горячо принялся выбирать, что крючки на поводках заболтались широко из стороны в сторону, один впился ему в рукав, другой потянул Матвея за подол рубахи.

— Легше! — успел прикрикнуть старик.

Но тут бурный каскад воды вырвался из глубины вверх.

Всего в двух шагах от охотников мелькнул начищенным ножом рыбий хвост, и вода забушевала. Матвей подставил колено под саковище, нажал правой рукой, а левой вырвал из воды тяжелый сак. Разбрызгивая выбегающие из сетки струи, в нем бесновалось пойманное чудовище.

В четыре голоса взлетели кличи:

— Есть! Есть!

Кричали Витя, Павлик, Кирилл и бегавший кругом них Арсений Романович. Сак оттащили дальше от воды, и Кирилл вытянул на поводке в воздух извивающуюся белобрюхую с иссиня-рыжим хребтом щуку. Он подержал ее, вытер рукавом потное лицо, проговорил с благоговением:

— Фунтов семь.

Рагозин взял у него поводок, прикинул, сказал:

— Пять, не больше.

За ними то же проделал Матвей.

— Три фунта, от сил с половиной,— окончательно решил он.

После чего мальчики стали дергать щуку за хвост, и Арсений Романович начал читать наставление о том, почему нельзя класть палец щуке в рот, даже если она сонная.

Пока все были захвачены ловлей, шум мотора приблизился, и первым обратил на него внимание старик.

— Похоже, сюда заворачивает.

— А нам что? — ответил Рагозин.

— Катер-то чей? — загадочно прищурился старик.

— А нам не все равно? — еще раз отговорился Петр Петрович.

Опять занялись щукой. Конечно, уха должна была получиться не наваристой. Но, во-первых, солнце только что село и клев еще впереди, а во-вторых, рыболовы были людьми тертыми и всегда брали из дома на охоту мешки полнее, чем привозили с охоты домой.

— Подваливает катер-то,— опять сказал Матвей.

— Да ты что? Боишься — рыбу распугают?

— Нас бы не распугали...

Все стали глядеть на катер. Он летел напрямик к тому месту, где стояли закидные. Отваливая вздернутым носом два радужных вала с высокими белыми гребнями, волоча следом угольник исчезающих вдали волн, он вдруг оборвал треск мотора. Донеслось шипение рассекаемой воды, потом оно стихло, и катер врезался в песок, когда где-то далеко еще отзывался эхом его умолкший шум.

На берег выпрыгнул ловкий человек в щеголеватой гимнастерке. Он подбежал прямо к Извекову, и только песок помешал ему щелкнуть каблуками.

— Зубинский, для поручений городского военкома. Имею приказание доставить в город вас, товарищ Извеков, и товарища Рагозина.

— По какому поводу?

— Имею вручить пакет.

Кирилл сломал печать на конверте, развернул повестку. Губернский комитет вызывал его с Петром Петровичем немедленно явиться на экстренное партийное собрание.

Извеков дал прочитать бумагу Рагозину. Они переглянулись и пошли к костру — обуваться. Когда оба были готовы, Рагозин тронул Матвея по плечу с тем выражением, что, мол, прощай, старик,— такое вышло дело.

— Понятно,— проворчал Матвей,— меня, в случае чего, и в воду можно.

— Не брюзжи,— сказал Рагозин и хотел пожать ему руку, но тут самого его затормошили за локоть.

Арсений Романович, крайне всполошенный, отвел его чуть в сторону и, озираясь на Зубинского, шепнул с неудержимой поспешностью:

— Вы осторожно, Петр Петрович, с этим человеком. Это, может быть, совершенно неприязненный вам человек.

— Бросьте, дорогой! Мы не маленькие. Помогите лучше старику с его лодкой да со снастями.

— А щуку-то! Щуку! — закричал Павлик.

Рагозин притянул мальчика к себе, нажал пальцем на его облупившийся, спаленный солнцем нос, заглянул в глаза.

— Щуку — тебе. Хочешь — дай ее в общий котел, хочешь — съешь один!

Он шутя оттолкнул Павлика.

Кирилл, Зубинский и моторист раскачивали засосанный песком катер, и Рагозин тоже навалился всем телом на борт. Столкнув лодку в воду, они повскакали в нее на ходу. Зубинский сейчас же усердно начал обмахивать замоченные ботинки.

Мотор сильно взял с места, оглушив пространство нетерпеливым грохотом. Никто не обернулся на пески, где оставались розовые от заката неподвижные фигуры мальчиков — у самой береговой кромки, и стариков — поодаль.

Шли все время молча. Слышно было, как поднятый нос хлопает по воде, словно огромная ладонь. Только на виду сумеречно-багрового города в первых несмелых огнях Кирилл нагнулся к уху Зубинского и прокричал:

— Что там случилось, вам известно?

— На Уральском опять казаки шевелятся.

— На каком направлении?

— Говорят — у Пугачева.

Ботинки Зубинского просохли, он чистил носок правого башмака, натирая его об обмотку левой ноги. Лицо его было сосредоточенно.

— Как вы нас разыскали? — опять крикнул Кирилл.

— В гараже сказали, что вы уехали на стрежень. Вам подадут на берег машину.

Втроем, кроме моториста, они стояли на носу, когда катер пробирался между причаленных лодок. С нетерпением ожидая толчка, они все-таки чуть не повалились друг на друга и, перепрыгнув через борт, выскочили на землю и пробежали несколько шагов вперед.

Никакой машины на берегу не было.

— Кто обещал автомобиль?

— Механик гаража Шубников,— раздосадованно ответил

Зубинский.— Запоздал, дьявол. Я сбегаю в гараж, товарищи, а вы пока тихонько поднимайтесь.

Он бросился бегом, прижав согнутые локти к бокам, как спортсмен.

Рагозин и Кирилл шли вверх по взвозу солдатским шагом. Уже стемнело. Навстречу, дробно постукивая по мосткам, спускались к огням Приволжского вокзала гуляющие пары. Заиграл духовой оркестр, и гулкий барабан ретиво начал отсчитывать такты.

— Черт-те зачем держат в гараже какого-то купчишку,— сказал Кирилл.

— Специалист,— небрежно буркнул Рагозин.

— Мы тоже хороши,— продолжал Извеков, будто говоря сам с собой и не заботясь о связи.— Если бы прошлый год не пропустили казаков за Волгу, может, не знали бы никакого Уральского фронта...

— Забыл, что за время было? — спросил Рагозин.— Их пришло три полка, вооруженных по-фронтовому. А что мы могли выставить прошлый год в феврале месяце? Какое время — такая политика... А драться с казаками было не миновать.

Они остановились перевести дух: взвоз был взят одним махом. Наверху, в старинных улицах города, было малолюднее и душнее. Жизнь угадывалась только в отголосках сокрытых темнотою дворов и за приотворенными ставнями тихих флигелей.

Рагозин обнял одной рукой Кирилла.

— Может, этим летом нас ждет еще не самое тяжелое. Но, наверно, тяжелее всего, что осталось позади. Осилим?

— Обязаны,— сказал Кирилл.

Он с лаской потеребил сжимавшую его руку Петра Петровича.

Они двинулись дальше в ногу, ускоряя шаг и больше не говоря ни слова.

17

I

ПРОЛОГ К ВОЕННЫМ КАРТИНАМ

Если взглянуть на карту старой России, то казачьи земли начертаны на ней растянутой подковой от Дона на юг, к Азовскому и Черному морям, через прикавказскую сторону на восток, к морю Каспийскому и к северу от него, вверх по Уралу. Донские, кубанские, терские, астраханские, уральские, оренбургские казаки свои-

ми землями держались друг за друга, словно солдаты руками в цепном строю.

В гражданскую войну белоказачьи фронты простерлись из конца в конец подковы. Но фронты не были непрерывны — их резала надвое Волга своим ниспадающим в глубину этой подковы нижним плесом с Царицыном и Саратовом.

Занять сплошь все пространство, лежащее внутри подковы, ставил себе задачей раньше всех один из первых генералов контрреволюции — Каледин. Он взывал в письме к оренбургскому атаману Дутову: «Мы должны иметь Волгу во что бы то ни стало. Только тогда мы сорганизуемся и поведем общее наступление на Москву. Мешает Саратов. Представляется безусловно необходимым приложить все старания к наибыстрейшему его занятию. Вам это легче сделать...»

Дутов пробовал приложить старания. Еще в первые дни после Октябрьской революции он решил опрокинуть на Саратов свою расположенную неподалеку Оренбургскую дивизию и приказал ей в двадцать четыре часа взять «столицу Поволжья». Атаманский приказ остался на бумаге. Он не мог быть выполнен не только в сутки, но на протяжении двух месяцев, пока оренбуржцы пытались сломить выставленные городом красные войска. Это был первый белоказачий фронт под Саратовом.

Новый, девятьсот восемнадцатый год начался с мятежа на юге: астраханские казаки, взяв в осаду Астрахань, перерезали железную дорогу на Саратов. Это был второй белоказачий фронт, потребовавший от саратовцев борьбы в Заволжье. Они послали на помощь Астрахани испытанные сражениями части бойцов, получившие в Саратове громкое название «Восточной армии». Линия дороги была очищена от мятежников, Астрахань — воссоединена с Севером.

Но подняли голову белоказаки Дона. Опираясь на германцев, оккупировавших Украину и продолжавших движение за ее пределы на восток, донцы начали наступать на Волгу. Для укрепления Царицына Саратов выслал артиллерию с людьми и крепкую команду в сорок пулеметов.

Этот возникший в округе Саратова третий белоказачий фронт за годы гражданской войны не раз приобретал большое значение. В восемнадцатом году Краснов бесплодно бросал своих донцов против непреклонного Царицына. Казаков остановила у его степ не только отвага защитников революции. Атаманы и батьки впервые столкнулись здесь с обдуманным искусством военного маневра и огня. Эти бои в приволжских степях и нагорьях правого берега отметила история.

Опасный фронт донцов побудил Саратов ускорить создание

из партизанских отрядов регулярной армии. Ядром ее стали отборные части, действовавшие против астраханской контрреволюции. Но этой новой армии не привелось выступить на Царицынский фронт.

Весной восемнадцатого года уральские казаки арестовали уральский Совет, покорили своей власти город и провозгласили, что пришла пора проучить большевистский Саратов. Новая армия саратовцев вынуждена была отправиться не к Дону, а в Заволжье, на четвертый белоказачий фронт — Уральский.

Военная хроника этого фронта была открыта по весне дружным движением советских войск на восток. Василий Чапаев шел грунтовой дорогой из Николаевска, саратовцы, тамбовцы, новоузенцы следовали железной дорогой. У станции Алтата все силы объединились и развернутым по степной целине фронтом повели наступление через Семиглавый Мар на Уральск. В боях было разбито несколько вражеских полков. Но белые произвели контрудар, красные войска отошли почти к исходной позиции. Однако уже спустя десяток дней в Саратове на заседании исполнительного комитета Военный совет выступил с заверением, что наступление возобновлено. На этом заседании делегаты съезда астраханского трудового казачества сообщили, что съезд обращается с воззванием к «уральским братьям трудовым казакам», «дабы выкинуть из нашей среды всех тех, кто мешает нам создавать народную власть в лице Советов». Это был обнадеживающий просвет в борьбе.

Но именно в эти дни ворвались события, которые грозили перечеркнуть первые успехи под Уральском.

Когда главные силы были направлены на Уральский фронт, в оставшихся частях саратовского гарнизона вспыхнул бунт. Тайные офицерские организации объединились с правыми эсерами и спровоцировали выступление одной из батарей против отправки на фронт. Солдат напоили, началось подстрекательство к избиениям, были арестованы представители Совета, сами собой начали разряжаться винтовки и палить орудия. Когда словно уже все было ликвидировано, некий казачий офицер Викторов составил за ночь план разрушения здания Совета и с утра открыл из орудий ураганный огонь по городу. Отряд в полтораста рабочих удерживал разъяренный нажим бунтовщиков на Совет, пока мятеж не был подавлен ответным огнем.

Не это трехдневное происшествие могло, конечно, отразиться на фронтах войны. Но оно было слабым дуновением, предвещавшим ураган мятежей и восстаний, который промчался по Саратовской губернии, втянул в свою воронку все Среднее Поволжье и унесся через Урал в Сибирь.

Эшелоны бывших пленных чехословаков в союзе с белогвардейскими офицерами, захватив Ртищево, двинулись на Саратов и Пензу. Мобилизованные саратовские рабочие отряды удержали их, выбили из Ртищева и, вместе с подоспевшими аткарцами и балашовцами, стали освобождать занятые чехами города. На пути к Самаре мятежники арьергардным ударом разбили преследователей. Борьба приняла затяжной характер.

С момента, как Самара очутилась во власти чехов и Учредительного собрания, многими десятками саратовских волостей овладело восставшее кулачество, и, наконец, поднялись против Советов немцы-колонисты по обе стороны Волги.

В руках Саратова нашлись надежно сформированные батальоны, потушившие пожар восстаний, слитые затем в Вольскую армию и направленные по следам чехословаков вверх по Волге. Один из саратовских полков в числе первых вошел в отбитую у чехов Самару.

Оттесненные с правого берега мятежники угрожали Саратову с луговой стороны. Чехи взяли Николаевск, им на подмогу спешили из Самары учредиловские войска.

Чапаев, предупреждая угрозу, повернул со своей кавалерией от Уральска на Николаевск. Изгнав из него чехов, он разгромил в конце лета на Большом Иргизе, неподалеку от родимого своего Балакова, войска учредиловцев наголову.

Чапаевская дивизия выступила по Самарскому тракту, и ее состава полк имени Емельяна Пугачева — тот самый, что лихо брал Николаевск-Пугачев,— ворвался осенью в Самару.

В это время во главе Николаевской бригады своей дивизии Чапаев снова продвигался к Уральску. Казаки были уже достаточно сильны. Близ степной станицы Таловой они окружили Чапаева, и, после отчаянных стычек, он прорвался сквозь кольцо и вышел назад к Пугачеву.

Так наступил в Заволжье тысяча девятьсот девятнадцатый год.

Подвижность Уральского фронта в этот неповторимый историей год, в этой редчайшей по подвижности фронтов войне оказалась едва ли не исключительной. Уральск был завоеван Красной Армией в начале года, в феврале. Белоказаки отступили в глубину студеных степей. Лошади их выбивались из сил, по брюхо в снегах, днем и ночью на морозном буране. Чапаев, проведши конец осени и начало зимы в Московской военной академии, к февралю был опять в уральских степях, во главе своей дивизии. Он шел на юг, к концу месяца занял Александров-Гай, в середине марта взял Сломихинскую. Это было направление на Каспийское море и в тыл казакам. Путь чапаевских конников измерялся сот-

нями верст. Но истории было угодно, чтобы они мерили свои походы не сотнями, а тысячами верст.

Весенний прорыв белых армий Колчака к Средней Волге заставил сосредоточить все возможные силы революции на Восточном фронте. Уже в апреле полки Чапаева, переброшенные из уральских степей на север, в степи самарские, приняли участие в контрнаступлении против главных сил Колчака. В период великолепной Бугурусланской операции Фрунзе, в середине мая, чапаевцы достигли Белебея, разгромили корпус Каппеля, взяли город и начали движение на Уфу. В начале июня белая Уфа пала.

Борьба против огромных сил Колчака дала уральским белоказакам новый роздых, и они быстро оправились. В середине апреля они произвели налет на Лбищенск, к исходу месяца обложили кольцом Уральск. С этого момента гражданская война повела счет восьмидесятидневной осаде красных в Уральске.

На пятидесятый день осады, в середине июня, Ленин телеграфировал командарму Фрунзе:

«Прошу передать... героям пятидесятидневной обороны осажденного Уральска просьбу не падать духом, продержаться еще немного недель...»

В тот же день Фрунзе отдал приказ Чапаеву выступить со своей дивизией из Уфы на юг, против белоказаков и освободить Уральск. Через пять дней кавалерия Чапаева была уже на марше.

Действия уральских белоказачьих войск весною — осада Уральска, продвижение на запад к Пугачеву и по железной дороге на Саратов — облегчались не только борьбой Красной Армии с Колчаком, но и событиями на юге.

К началу мая разгорелся мятеж казаков на Дону, в районе Богучара — Вешенской. Стараясь использовать мятежников как опору, в середине мая предприняла наступление Донская армия, а в конце месяца красный фронт был прорван Деникиным, выступившим из Донецкого бассейна в направлении на Богучар через Миллерово.

Вожделения Каледина, Краснова — соединиться с заволжским казачеством — были преемственно унаследованы Деникиным. Он все время напряженно искал связи с изолированным Уральским фронтом. Его штаб с февраля девятнадцатого года имел постоянные сношения с уральцами. Либо это осуществлялось через захваченный англичанами Баку, либо через Петровский порт. Деникин слал отсюда уральским казакам на пароходах в Гурьев деньги и обмундирование, ружья и патроны, орудия и броневики — все, чем снабжала его усердствовавшая Антанта.

Но эти сношения не могли удовлетворить белых. В момент, когда ими делалась ставка на уничтожение Красной Армии и разгром революции, Деникину стало кровно необходимо, чтобы армии белых протянули друг другу руки через неприступную Волгу. В конце июня он решительно потребовал от казачества Заволжья: взять город Уральск и затем действовать на Бузулук или Самару — в тыл Красной Армии, на выручку бегущему Колчаку.

В эти дни топот чапаевской конницы, валом катившейся на юг от Уфы, уже разнесся по душным уральским степям.

И как раз в эти дни прилетевшие в Самару на аэроплане бойцы осажденного Уральска передали Красной Армии приветственное письмо его защитников. Они благодарили в письме за обещанную помощь. Они сообщали, что за время осады приняли три сильных боя, окончившихся поражениями противника, и отразили многие демонстративные наступления, выдерживая упорные бомбардировки города. Они писали, что в черте города подавили заговор белых, собравшихся встречать, под торжественный звон колоколов, генерала Толстова. И они заканчивали свое возвышенное письмо так:

«Может быть, у вас возникает вопрос — чем вооружились защитники Уральска, что их никак не взять. Так вот чем: революционным духом и непреклонным убеждением, что хлебородный Уральск должен прокормить наши голодающие красные столицы — Питер и Москву...»

Слова эти выразили коренное сознание народной России, которая вела неутомимую и беспощадную битву на юго-востоке: революции нужен был хлеб, революции нужна была нефть, революция не могла уступить Волгу белогвардейцам.

II

Для тех, кто изучает историческую военную карту ретроспективно, для потомка современников событий, она существует как незыблемая данность, но в то же время кажется гораздо сложнее, запутаннее, нежели казалась современникам. Чем пристальнее вникаешь в ее неподвижные зигзаги, тем больше требуется объяснений — почему та или иная линия проведена там, а не тут, почему она отклонилась в сторону через месяц, а не раньше или позже, почему она исчезла, а вместо нее появилась другая?

Современник событий усваивает военную карту так, как усваивается погода протекающего на ваших глазах дня: утром соби-

рались тучи, к полудню пошел дождь, потом дул ветер, потом разъяснило и стало чисто. По мере движения военных дел откладываются в представлении наблюдателя возникающие во времени подробности, и память удерживает живое значение каждого штриха, нанесенного на карту. Изображенный на бумаге театр военных действий полон для современника смысла, любая точка насыщена кровью, страданием, надеждой или торжеством сердца.

У Кирилла Извекова картина событий — расстановка сил, места сражений, время военных действий, их объем и важность — жила как бы в подсознании. То, что ежечасно дополняла действительность, переносилось мыслью на эту живущую в подсознании схему, и Кирилл ложился спать и просыпался с этим буквально подразумеваемым общим представлением о том, что сегодня происходит. Он не мог знать — что́ произойдет завтра. Но знал, что́ в конце концов неминуемо должно произойти, ибо со всей силой желал этого неминуемого и верил, что желаемое сбудется.

Когда вечером после рыбной ловли Кирилл и Рагозин явились в Совет, им стало известно, что дерзким набегом казаков захвачен город Пугачев, причем зарублен отряд коммунистов в сто человек. Чапаев, выступивший из Уфы за пять дней перед тем, стремительно вел свою дивизию на уральский театр, но его цель находилась глубоко в степи. А Пугачев отстоял от Волги в однодневном, самое большее в двухдневном переходе, и казачьи разъезды вот-вот могли очутиться на правом берегу.

Этот год был годом мобилизаций. Кончалась одна, начиналась другая. То они делались по предписаниям из центра, то их производили губернские или даже уездные власти. Мобилизовали в армию, в продовольственные отряды, в санитарную службу, на оборонительные или тыловые работы, на заготовку топлива. Мобилизовали коммунистов, рабочих, врачей, крестьянскую бедноту, членов профессиональных союзов, буржуазию, царских офицеров. Одни мобилизации вызывали бурный приток добровольцев, другие затихали, не успев развернуться. Почти за каждым большим событием на фронте следовала какая-нибудь военная мобилизация. Почти каждому неожиданному происшествию — мятежу, набегу, заговору, измене — сопутствовала равноценная мобилизации отправка наспех сколоченных боевых групп к месту происшествия.

Взятие казаками Пугачева и новая угроза из Заволжья пробудили новую решимость защищать Саратов. Сейчас же были намечены военные части, которые следовало послать на фронт. Сейчас же было решено придать частям ударный отряд. Сейчас же началось составление списка вновь мобилизуемых в отряд большевиков.

И Кирилл и Рагозин со странной уверенностью ожидали, что оба они войдут в список. То, как их разыскивали бог весть где на коренной Волге и потом доставили на катере в город; то, как возбужденно проходило партийное собрание и как оно закончилось в глубине ночи пением «Вы жертвою пали» в память погибших товарищей и потом — гимна, все это создало у них разгоряченное чувство, что они должны добровольно идти и непременно пойдут на фронт.

Но они не успели договорить о своем намерении, как им было отказано наотрез: об оставлении ими должностей не могло быть речи, положение вовсе не считалось таким, чтобы надо было мобилизовать «партийных работников губернского масштаба».

— Губернского масштаба! — воскликнул Кирилл.— Дело идет не о губернии, а кое о чем побольше!

— И когда же прикажете считать положение не таким, а этаким? — с сердцем вопросил Рагозин.— Может, когда опять с Ильинской площади по Совету из орудий задолбают? Так, что ли?

Но пыл не мог поколебать ответного спокойствия: существовало решение, что на заведующих отделами Совета мобилизация не распространяется. Рагозин обрушился на противника что было мочи:

— Может, на мое место чинуш не найдется? Что сейчас важнее — фронт или дебет-кредит? Все равно из меня министра финансов не сделаете! Витте какой нашелся! Что с тех пор переменилось, как меня деньги считать посадили? Цены стали ниже? Керенки подорожали? Штаты стали меньше раздувать? Я даже порядка в отчетности не добился, кавардак везде такой — ноги переломаешь!

Тирада встретила, однако, лишь замечание о «несознательности» да было произнесено под конец непреложное слово: «Придется подчиниться партийной дисциплине».

Подчиняться словно было все-таки легче, чем перетерпеть иронию: какая в самом деле несознательность могла обнаружиться в Извекове или Рагозине, когда все сознание их было слито в одно целое с судьбой революции?

Так они размышляли, так чувствовали, покинув Совет и маршируя обок друг с другом в молчании по непроглядным улицам.

Ночь стояла черная, затянутая тучами и как будто безвоздушная. Можно было ждать — соберется дождь. Безмолвие было полным, но город казался не спящим, а затаившимся. Какой-то незримый враг словно перехватил дыхание и бесцветными очами ночи провожал Кирилла и Рагозина, выглядывая из зарослей палисадников, через заборы и с нависших над тротуарами крыш.

Извеков решил переночевать у Рагозина: Вера Никандровна будет думать, что сын остался на песках, а дом Рагозина ближе к Совету — можно пораньше прийти на работу.

Они распахнули окно, зажгли настенную лампочку с круглой жестянкой рефлектора (электричества уже давно не давали) и, кое-что собрав из остатков еды, поужинали. Спать легли на полу, разостлав простыни и раздевшись догола. Но оба они не ответили бы — что больше мешало заснуть: духота или неунимавшееся снование мыслей.

Прислушиваясь в томлении к тяжелым вздохам Кирилла, Рагозин сказал:

— Раньше говорилось — работать на ниве. Черта с два, доберешься до нивы! Латай рукавом ворот, воротом рукав. Отмахивайся да отстреливайся. Не там — так здесь.

Кирилл вдруг усмехнулся.

— А ты приехал на рыбалку и хочешь, чтобы за тебя кто другой комаров гонял! Нет, ты и наживку наживляй, и от гнуса отбивайся. Матвей-то прав.

Он ненадолго примолк, потом досказал:

— Тебе что же жаловаться? Никто тебя с твоей нивы не гонит...

— Верно. Сиди, считай керенки да подмахивай бумажки.

— Упразднил бы керенки-то.

— Вон Колчак упразднил...

— Ну, видно, у него не все без мозга!

— Ан, видно, без мозга! Офицеры его бунт подняли — карманы-то керенками набиты. Не хочется нищать. У наших мужиков на деревне этого добра тоже не мало... Что ты понимаешь в керенках?!

— Ну, раз ты понимаешь, значит, правильно посажен. Сиди.

Рагозин поднялся. Было так темно, что даже его высокого белого тела Кирилл не мог разглядеть. Оно стало угадываться, когда Рагозин взгромоздился с ногами на окно: чуть-чуть начинал брезжить вялый рассвет.

— Ты полагаешь, я буду муслякать деньги да ждать, пока белые покажутся на Соколовой горе?

— Нет,— ответил Кирилл спокойно,— если белые дойдут до Соколовой, от тебя в городе и следа не останется.

— Пущусь наутек, да?

— Тебя первого заставят эвакуироваться.

— Спасибо. Ты мне удружил, ты меня и выручай, коли так: эвакуируй со мной мои сейфы.

Кирилл быстро привстал и, скрестив по-мусульмански ноги, выпалил:

— Я больше трех лет был военным работником. Привык к армии, и думаю — так уместнее. А меня держат за чернилами да промокашками.

— И что же?

— То, что я не хуже тебя. А подчиняюсь.

— А я не подчиняюсь?

— Ну и подчиняйся!

Кирилл отвалился на подушку, взял ее в обхват и задышал ровно и громко, то ли притворяясь, что засыпает, то ли действительно засыпая от усталости.

На другой день он работал как никогда скверно. Все было не по нем. Зудящий жар полыхал по груди и спине,— Кирилл подумал, что с непривычки обжег себя на Волге солнцем. С грехом пополам он дотянул до обеда летучие совещания, телефонные разговоры, перечитыванье и перечеркиванье бумаг. Потом велел позвонить в гараж и поехал домой.

У Веры Никандровны он застал Аночку, которая тотчас собралась уйти.

Что-то очень нежное показалось Кириллу в ее смущении, какое он уже не раз видел.

— Нет, нет,— возразила Вера Никандровна,— не уходи. Во-первых, в нашем деле полезна мужская голова, во-вторых, будешь с нами обедать.

Мужская голова, впрочем, не столько обнадеживала ее пользой, сколько беспокоила.

— Ночевал на песках?

Кирилл не торопился с ответом.

— Нет, вернулись поздно вечером. Но не было машины, я заночевал у Рагозина.

— Не унести было улов на плечах?

— Ага! — поддакнул он довольно.— Знаешь, я вытащил этакую вот щучину!

Он так развел руками, что Аночка посторонилась.

— Ее везут? — спросила она внушительно.

— На подводе. И позади тележка для хвоста — знаете, как возят бревна.

Вера Никандровна улыбнулась только из деликатности. Раз он ухватился за шутку, значит, был рад, что его не спрашивают о серьезном, и значит, недаром в городе шептались об экстренном ночном собрании. Аночка как будто догадалась помочь ей:

— Говорят — неприятные новости, да?

— Ничего чрезвычайного,— сказал он быстро.— А у вас что за совещание?

— Аночка с жалобой на брата. И я не могу ничего присоветовать. Расскажи, Аночка, Кириллу.

— Мало у вас, право, дел, кроме моего Павлика! — опять смутилась Аночка.

Но он настоял, чтобы она говорила,— он предпочитал расспрашивать, чем отвечать на расспросы.

Оказалось, Павлик совсем отбился от дома после смерти матери — пропадает на улице, на берегу, завел дружбу с беспризорными мальчишками. Даже ночует неизвестно где...

— Я видел его на песках, с Дорогомиловым,— сказал Кирилл, испытующе взглянув на мать.— Надеюсь, эта дружба не во вред?

— Арсений Романович сам жалуется на перемену в Павлике. Мальчишка даже книги перестал у него клянчить.

— Чего захотели! Каникулы! Я бы тоже пропадал на Волге. Счастливое время,— вздохнул от зависти Кирилл.

— В том-то и дело, что каникулы: никакого влияния школы,— произнесла Вера Никандровна строго, точно на учительском совете.

— Что ты на меня смотришь? — с улыбкой сказал Кирилл.— Ты педагог, тебе лучше знать.

— С мальчиком, правда, очень трудно,— заметила мать.

— А со мной было легко? — живо спросил он и обернулся к Аночке.— Вы ведь не хотите из него сделать паиньку?

— Я не хочу, чтобы он стал беспризорником. А к этому идет. У меня мало времени для него, и я недостаточный авторитет. На днях он заявил, что убежит на фронт. Что я могу сделать?

Кирилл засмеялся:

— И я с ним!

Вера Никандровна следила за сыном пристальнее, чем этого требовал разговор: несомненно, он что-то умалчивал важное!

— Затвердил какую-то глупую фразу: «Жизни не знаешь!» — сказала Аночка, улыбнувшись.

— Конечно, не знаете! — продолжал смеяться Кирилл.— Ко мне в Совет, что ни день, приводят таких героев. Убежит, непременно убежит воевать!

— Отца тоже не слушает. Отец хотел его устроить в утильотдел — рвать книжки...

— Как рвать книжки? — удивился Кирилл.

— Ну, вот именно. Повел Павлика в пакгауз, где рвут макулатуру. Павлик прибежал ко мне, чуть не в слезах, говорит: «Вот она, твоя революция! Жизни не знаешь! Поди посмотри, как отец дерет книги!»

— Книги? — повторил Извеков уже совсем серьезно.— Мне это неизвестно. Надо заняться. Что это такое?

Он отошел к своей полке. Она все еще была пустой — два-три десятка брошюр и газеты стопкой лежали в углу, и поверх них — картонки с названиями разделов. Он перебрал всю эту разрисованную рондо «Экономику», «Беллетристику» и спросил:

— А это что же, ваш отец определяет — что макулатура, что нет?

— Там есть какие-то люди для этого. Отец занят чем-то другим... то есть хозяйственным чем-то. И вообще... что же, отец? Он болен... вы же знаете, русской болезнью.

— Не понимаю, почему это зовется русской болезнью,— ухмыльнулся Кирилл.— Пьют не одни русские. Пьют и англичане. Однако английская болезнь — это рахит, а не алкоголизм.

Ему тут же стало стыдно этого, вероятно вычитанного каламбура, но Аночка расхохоталась тем хохотом, какой нападает на молоденьких девушек, например, в последних школьных классах, когда хохочут без особой причины, единственно потому, что молодое ликование жизни требует смеха.

Кирилл прикрыл рукой рот,— все-таки вырвалось что-то веселое, хотя и неловко, и было изумительно слушать плещущий на переходах разлив Аночкиного смеха. Вера Никандровна нашла момент подходящим, чтобы заняться обедом, и оставила Кирилла и Аночку вдвоем.

Он подождал, пока Аночка успокоится. Но они оба молчали слишком долго, и, чтобы побороть волнующую растерянность, которая внезапно явилась, когда он увидел себя наедине с этой казавшейся ему необычной девушкой, Кирилл спросил умышленно по-деловому:

— Что же делать с вашим братом?

— Если бы отец как следует зарабатывал, дом больше привлекал бы Павлика... не знаю, какими-нибудь занятиями, может быть, просто достатком...

— Я попробую сделать что-нибудь для вашего отца,— сказал Кирилл.

Она отбежала к окну и минуту не в состоянии была ничего выговорить, заслонив голову обернутой назад ладонью, будто мешало даже то, что Кирилл видит ее затылок.

— Ничего особенного,— хотел выручить ее Кирилл.

— Я совсем не то думала!.. Я скоро буду тоже зарабатывать, и тогда...

— Конечно,— сразу поддержал он,— все наладится, как только ваш театр станет на ноги.

— Правда? — мгновенно повернулась она с новым, горящим взором.— Вы поможете?

— Разумеется. Да и Рагозин тоже. Он ведь понимает, что искусство не может самозародиться. Мы с ним пьесу не разыграем.

— Нет, правда? — почти крикнула она.

— Конечно. Мы с ним не актеры.

— Нет, я не то! — смеясь и волнуясь, лепетала Аночка.— Я о том, что вы серьезно верите в наш театр?

— Ведь вы в него верите? А я смотрю на вас и не могу не верить.

— В театр или в меня? — спросила она с чуть заметным колебанием.

— Я вас тоже спрошу: а вы — в театр или в его людей?

— Это одно и то же,— ответила она, подумав, и тут же, разгадав его мысль, нахмурилась: — Вы не о Цветухине?

Он словно обиделся, что она его уличила, потом сказал твердо:

— Мне кажется, он может сделать много полезного, потому что увлечен и хочет работать. Но так же легко может много напутать, потому что — страшный фантазер.

— Вы считаете, что никогда ни в чем не ошибаетесь? — спросила она раздраженно.

— Нет, не считаю.

— Но хотите никогда не ошибаться?

— Хочу. Это я могу сказать. Хочу,— подтвердил он.

Она прошлась по комнате непринужденно, но он видел, что она подавляла мешающее ей чувство.

— Я тоже хотела бы. Но знаю, по крайней мере, в деле, которому хочу принадлежать, знаю, что в нем невозможно не ошибаться.

— В искусстве?

— Да.

— Кто вам это внушил? — сказал он, недоумевая.

— Я вижу, как работают старые актеры. Как они ищут, как им кажется, что они нашли, как потом отказываются от найденного, и все начинается сызнова.

— Так во всяком труде,— сказал Кирилл.

Она с грустью покачала головой, словно желая пристыдить его.

— Вы сами не верите в свои слова. Почти всякий труд состоит в повторении усвоенного. Попробуйте повторяться в искусстве. Художник умирает, если повторяется. Мечта его жизни — выразить себя отлично от других и отлично от того, чем он однажды уже был.

— Этому вас учит Цветухин? Я с ним не согласен. Артист должен выразить через себя всех. Одинаково со всеми. Иначе он будет непонятен.

Аночка была очень сосредоточенна. Она размышляла упрямо, как над задачкой. Она даже поднесла к губам палец. Вдруг с торжествующей улыбкой и тихо, как раскрывают чувство, которым дорожат, она сказала:

— Я согласна. И Егор Павлович, наверно, тоже. Но ведь это — цель, быть понятной. А я говорю о том, как ошибаешься по дороге к цели. В работе, в поисках. Никакая цель не мыслима без движения к ней, верно? Вот в движении и ошибаешься.

— Ошибаться не грех. Но стоит ли повторять ошибки других?

Она озорно повернулась на каблуках.

— Не-ет, не-ет! Вы плохо знаете Цветухина!..

Уже был накрыт стол. Хлопоча вокруг него, Вера Никандровна краем уха слушала разговор, отвлекший сына от скрытых мыслей, и, когда уселись, заключила с довольной добротой, будто радуясь, что все так удачно подстроила:

— Спорщица! Любишь свой театр, ну и люби, пожалуйста, никто не возражает.

— Да, да, да! — воскликнула Аночка.— Никто не возражает! Потому что это самое сильное переживание! Самое яркое! Самое полное! Самое (она столкнулась глазами с прямым, но слегка задорным взглядом Кирилла и неожиданно спуталась)... самое... налейте мне, пожалуйста, Вера Никандровна... что у вас, щи?

Начавшись этой забавной ноткой, обед прошел в шутливой болтовне, и Кириллу стало казаться, что он не только дома, но в кругу своей семьи. Он предложил Аночке довезти ее в город на машине, и она с удовольствием вскочила в потрепанный, однако все еще импозантный «бенц».

Горячий, но освежающий ток встречного ветра захватил ее. Она ничего не говорила, отдаваясь ни разу не испытанному властному движению. Толчки на древних выбоинах мостовой не сдерживали, а усиливали ощущение полета.

Кирилл сбоку глядел на ее лицо. Расширились и отчеркнулись резче ее легко изогнутые ноздри, смело держалась против ветра голова, и тонкая шея стала еще длиннее, вдруг выразив своим очертанием всю наивную прелесть девушки. Он смотрел на нее, и в ушах его повторялся такой певучий, такой бесхитростный возглас: «Самое сильное переживание, самое яркое, самое полное!»

На крутой яме машину подкинуло, где-то в утробе кузова инструменты весело громыхнули звонкой сталью, Аночку бросило в сторону, она всем весом оперлась на колени Кирилла, тотчас выровнялась, но он прижал ее руку к своей коленке и не хотел выпускать. Она отвернулась и с упрямством высвободила руку.

— Вон вы какая,— сказал Кирилл.

Она продолжала молчание, по-прежнему поглощенная единственным ощущением головокружительной езды, и только в конце пути, точно опомнившись, ответила:

— Откуда вам меня знать? Вы, наверно, и не подумали обо мне ни разу. А вот я о вас знаю все.

— Все? — не поверил он.

— Как вы были в тюрьме, как жили в ссылке, как пошли на войну...

— Еще не все,— подзадорил он.

— Ну... что же вам еще? О Лизе Мешковой? И о Лизе знаю. Словом — все!

Она обернулась к нему в первый раз за дорогу. Лукавое любопытство мелькнуло на ее лице, и он неожиданно отвел взгляд.

Ей надо было выходить. За эту секундную стоянку ему захотелось так много высказать о себе, что он не нашел ни одного подходящего слова.

— Давайте увидимся,— предложил он, протягивая ей руку, когда она уже стояла на тротуаре — тонкая, прямая, в сверкающем на солнце белом коротком платье, с растрепанными ветром волосами.

— Давайте.

— Приезжайте послезавтра вечером к маме, хорошо?

Она сказала, чуть кивнув:

— Хорошо,— и скрылась за угловым домом.

Эти два дня Кирилл занимался делами с увлечением, но чем настойчивее уводило его за собой дело, тем медленнее шли часы, и едва наступал вечер, он спрашивал себя с изумлением — почему назначил встречу на послезавтра, а не на сегодня, не на завтра? «Растерялся, молодой человек, растерялся»,— повторял он про себя с издевочкой и озорно.

Ему была знакома эта беспокоящая протяженность времени. Давней, почти забытой порой, вынужденный излишек времени заполнялся живучей тревогой об утрате, о потерянной надежде. Это бывало в Олонецких лесах, позже — в годы сормовского притворства, когда надо было жить надетой на себя скучной личиной благонамеренного чертежника Ломова. Тогда это чувство выливалось в тоску о Лизе.

Сейчас он испытывал что-то похожее и одновременно другое, новое, смешанное с нетерпением. Сходство и различие чувства шло дальше. Тогда, тоскуя о Лизе, он думал о Цветухине. Теперь не успевал он вспомнить Аночку — Цветухин тоже приходил ему на ум. Но в прошлом его столкновение с Цветухиным было иллюзией, выросшей из предчувствия опасности. Сейчас Цветухин казался живой угрозой, и он только не понимал — почему?

За сутки до назначенной встречи с Аночкой, ночью, лежа у отворенного окна и глядя в звездную неподвижность неба, Кирилл потребовал от себя объяснения странному чувству.

Прежде всего он решил, что у него нет никакой неприязни к Цветухину как к человеку. Наоборот, Цветухин делал, в сущности, как раз то, что Кирилл мог бы ожидать от актера в революционное время. Правда, Кириллу было неясно, что надо было делать в искусстве. Но искусство должно было быть с революцией, по эту сторону баррикад. Цветухин разделял такой взгляд и, значит, был естественным союзником. Отсюда следовало, что Кирилл прав, давая обещание поддержать Цветухина.

Но, поддерживая его, он поощрял одержимость Аночки театром. Разве это плохо? Наоборот — превосходно! Молодое увлечение, молодая страсть... Ах да! Не может же Кирилл Извеков из каких-то личных соображений поступать против принципиально правильного дела! Это умаляло бы нравственное сознание, весь умственный строй Извекова. Да и что за соображения в конце концов? Откуда Кирилл взял, что они — личные, эти соображения? Разве у него родилось какое-нибудь особое чувство к Аночке? Да если бы и родилось, если бы и нахлынуло, как ветер, как буря, как тайфун... Черт возьми!.. все равно Кирилл никогда бы не мог свалить в одну кучу совершенно разные вещи — общественное дело и личное чувство. Слава богу, ему не занимать выдержки!

Тем более — еще неизвестно, как отнесется Аночка к этим самым личным соображениям. Она может воспротивиться, может иметь собственные личные соображения. Просто может спросить — кто дал Кириллу право вмешиваться в ее жизнь? Ведь если она любит Цветухина... Вот именно!.. Если она его любит, значит, помогая Цветухину, Кирилл делает одолжение ее чувству. Он поддерживает вовсе не какое-то там революционное искусство, а роман довольно старого актера, не больше и не меньше!

А ведь Кирилл всегда терпеть не мог этого фразера, этого любимчика театральных барышень, этого писаного красавца, черт бы побрал его пресловутые таланты! Кирилл и не подумает возиться с его студией! Зачем это нужно? Чтобы Аночка испортила себе жизнь ради очередной прихоти избалованного успехами хлыща? Недоставало еще одной глупой жертвы! Ужасно, право, как все повторяется на белом свете, как летят и летят на огонь такие славные, такие милые, такие удивительные девушки!

Как хороша, в самом деле, Аночка! Что за пение льется в ее манящем смехе! Как чутко откидывается ее голова этим легким, этим быстрым поворотом шеи! И как она вдруг рассердится, задумается, смутится. И опять вдруг заспорит... Разве сравнишь ее с Лизой? Да и какой была Лиза? Кирилл не помнит. Да и была ли

когда-нибудь Лиза? Кирилл не знает. Что было главным в его чувстве к Лизе? Влекла ли она к себе Кирилла? Звала ли вот так, душной ночью, изнуряюще и неотступно, как зовет Аночка?

— Ах, дьявол, когда же конец этой духотище? — сказал Кирилл, бросаясь к окну.

Выпить воды? Умыться? Да и вода кажется больничной, прогретой, словно постель. И ни малейшего движения за окном! Стоит воздух, стоит одурелая от сна слободка, стоят звезды в небе, стоит все небо. Гляди, гляди в него — теплое, бездонно-черное — и не дождешься никакого знака, никакой перемены. Только звезды. Одни звезды. Вечность. Будущее. Неизменное всегда.

— Всегда! — сказал Кирилл и выплеснул подонки воды из кружки за окно.

Всегда на дороге будет стоять кто-нибудь другой. Чужой, ненужный, неприятный. Какой-нибудь Цветухин. Противно чувствовать себя его соперником. Противно вымолвить, хотя бы наедине с собою, пошлое слово — соперник. И хорошо, что слово это непрочно держится в воображении, оттесняемое нежным зовом мечтательного имени — Аночка. Душно, медленно, настойчиво поглощает собой ласковое имя все чувства. Поглощает, погружает на дно желаний, тяжко влечет в сон...

И вот наступило многожданное послезавтра. Аночки еще не было, когда Кирилл приехал домой и отпустил шофера.

— Ты сегодня рано,— встретила его мать.

Она видела перемену в сыне, но не могла распознать ее причину.

— Я немножко устал, хочу побродить,— ответил он.

Это значило, что он неразговорчив и озабочен. Что по-прежнему скрывает от матери нечто важное. Что она должна молчать, теряться в догадках.

И вдруг явилось настолько пустячное и в то же время примечательное обстоятельство, что не только материнский, но даже безучастный сторонний глаз вмиг разгадал бы, что происходит.

Пришла Аночка, веселая, поспешная, как всегда, и, как всегда — впрочем, самую малость горячее обычного (на чем впоследствии остановила внимание Вера Никандровна),— поцеловала в щеку хозяйку дома и заговорила о крайне срочных своих делах.

Кирилл не дал ей кончить, а сразу объявил, что вот как замечательно — он как раз собрался побродить, и тут судьба прислала ему такую хорошую компаньонку.

— Пойдемте со мной на бахчи, а? — сказал он.

Судьба, наверно, подмигнула откуда-то из уголка Вере Никандровне, потому что у нее немедленно отлегло от сердца, и она совсем неожиданно пошутила:

— Не заходите слишком далеко, в конце бахчей — психиатрическая колония!

— Вот чудно! — рассмеялась Аночка.— Кирилл Николаевич определенно считает, что с моими взглядами место как раз в этой колонии! Он все это хочет подстроить!

— Да уж подстроил, заранее подстроил,— говорил он, выводя ее из комнат.

«Подстроил, очевидно, подстроил»,— с необыкновенным облегчением вторила про себя Вера Никандровна, провожая их на лестницу.

Трудно было удержаться ей, чтобы не посмотреть через окно, как они пойдут по вечерней улице, сохраняя маленькое расстояние, чтобы не коснуться, не задеть нечаянно друг друга, как скроются за далеким поворотом дороги. Трудно было мыслью не следовать за ними дальше, мимо флигельков и долгих щербатых заборов с крапивой и лопухами, под железнодорожное полотно, перекинутое мостиком через проезжий путь, который пылит, дальше и дальше, в открытом вольному ветру просторе. Трудно было не гадать, о чем же они говорят на этом просторе, среди бесконечных желто-бурых борозд земли, увитых длинными кудрявыми плетьми арбузов, с бледно-зелеными или чернополосыми шарами плодов.

И правда, о чем говорить Кириллу с Аночкой? Оба подвижные, любящие быстроту и легкость, они нечаянно точно утяжелили вдвое свой вес, укоротили шаг, потеряли вкус к любимой скорости. Они бредут по обочинам проторенной узкой межи, вдоль бахчей, задевая ногами усатые, выползшие на тропу концы арбузных плетей да изредка отгоняя сорванными ветками ивы толкунов, которые увязались у самого выхода в поле и виснут неотвязно за плечами. Горы вдалеке уже потемнели, окаченные сзади полымем заката, краски их склонов охладились, а поле еще жарко, и зелень бахчей пропиталась освещенной желтизной земли и щедрым горением неба. И хотя шаги Кирилла с Аночкой как будто тяжелы, хотя отмахиваться от толкунов по виду трудно, обоим хорошо идти, обоим нравится молчать.

Где-то под обломанной ветлой с кроной, похожей на веник, у старого скрипучего чигиря они останавливаются. Одноглазый высокий мерин скучно перебирает распухшими от опоя ногами, вертя лежачее колесо. Хлебнув в глубине колодца воды, ползут кверху ковши. Звенит дождь несчетных серебряных струек, растерянных дырявыми донцами ковшей. Колода, в которую опрокидывается наверху вода, и желоба, бегущие от колоды на бахчу,— все насквозь прохудилось, течет, и чудесная пыльца рассеянной влаги свежит вокруг воздух, наполняя его волшебным запахом гнилого колодца.

Старикан-бахчевник отыскал у себя в бараке скороспелку арбуз в два кулака, попробовал — хрустит ли на нажим, подкинул его, поймал, протянул Аночке:

— А ну, красавица, отведай первого сбора.

Кирилл взрезал арбуз куцым клиновидным ножом, который старик сперва обтер об армяк, валявшийся на земле. Плод был мясист, бледно-розов, не очень обилен янтарно-красными семенами и медвян на вкус.

Аночка уселась на армяк и стала есть, поплевывая семенами и с присвистом всасывая сладкий сок. Кирилл стоял возле, ел сам и подавал ей новые куски, когда она бросала обглоданную корку. Словно ребенок, она намазала у себя на щеках усы. Кирилл посмеивался ей по-прежнему молча.

Отдохнув, они пошли назад. Все время играючи, менялись расцветки неба, гор слева и волжской дали справа. Земля обретала покой перед коротким и чутким сном.

— Мы, кажется, слишком усердно молчим,— сказала Аночка.

— Значит, не хочется, да и зачем говорить? О себе вы ничего не расскажете, обо мне все знаете.

— Вас задело, что я так сказала... будто все знаю?

Он не ответил. Она глядела на него с нарастающим любопытством, как женщина, которая готовится испытать сердце близкого человека.

— Вы знаете, что я, девчонкой, передавала ваши письма Шубниковой?

Он чуть вздернул плечи.

— Неужели вы с ней не видались, когда приехали?

— Нет.

— Почему?

— Когда хотелось видеться, это было невозможно. Когда стало можно — не захотелось.

— Она вас очень любила.

Кирилл опять замолчал.

— Мы как-то говорили с вашей мамой. Она считает, что Лиза была чересчур слаба, чтобы составить счастье сильного человека.

— Но может быть, сильный человек сделал бы ее тоже сильной? — сказал Кирилл.

Она подумала, по своей привычке низко опуская брови.

— Все дело, стало быть, в том, чтобы подчиниться?

— Довериться,— ответил он тихо.— Слабый должен довериться сильному.

Ей показалось, что он сам слушал себя удивленно, как будто

общение с ней открыло в нем особую, мягкую сторону души, которую он редко в себе слышал. У ней вырвался странный вопрос:

— Вы любите, когда вас боятся?

Он смутился, прикрыл рот и, не отнимая руки, еще тише выговорил в ладонь:

— Простите меня... это — глупость.

Она тотчас улыбнулась, однако ответила сама себе настойчиво и убежденно:

— Нет, нет. Любите. Я знаю. Это не глупость...

Уже спускались сумерки, свет был темно-рыжий, как опавшая хвоя, целые хоры трещащих кузнечиков вступали в ночное состязание. Пахло пересохшей горячей глиной и близким пастбищем, с которого недавно угнали скот.

— В такой вечер можно говорить молча,— сказал Кирилл.

— Я слишком болтлива? — весело спросила Аночка.

— Говорите, говорите больше, я хочу вас слушать!

Но они миновали все поле и вошли в слободку, не разговаривая.

Как только они повернули на свою улицу, перед школой вспыхнули и погасли автомобильные фары. Кирилл остановился на секунду и со внезапной уверенностью проговорил:

— За мной.

Они пошли очень быстро, совсем новым, подгоняемым тревогой шагом.

Шофер, увидев Кирилла, подбежал к нему и вынул из фуражки конверт.

— Зажги фары.

В разящем белом свете Аночке показалось, что пальцы не слушались Кирилла. Он прочитал записку и сказал тотчас:

— Поехали.

Он занес ногу в машину, но вернулся, взял Аночку за руку.

— Это я говорю только вам. Понимаете? Пал Царицын.

Он впрыгнул в автомобиль и уехал, не оглянувшись.

В тот же момент вышла на улицу Вера Никандровна. Сдерживая голос, она спросила, что случилось.

— Не знаю,— ответила Аночка,— он мне ни слова не сказал.

18

Не исполнилось месяца после похода Меркурия Авдеевича к Рагозину и не успел он хоть немного сжиться с сознанием, что ему угрожает смертная опасность, как его опять вызвали в финансовый отдел. Он отправился, точно на крестную муку.

Но, против самых угрюмых ожиданий, Рагозин принял его хорошо и говорил с оттенком поощрения, впрочем без всякого желания разговор затягивать. Оказалось, проверка, произведенная в банке, подтвердила целиком показания Мешкова о его капиталах. Он действительно утратил все, и его наивность не к лицу, с какой он доверился посулам «Займа свободы» (в чем сначала нещадно раскаивался), теперь обернулось своей благодетельной стороной. Он был нищим и тем мог быть счастлив. «Никогда прежде деньги не спасали так, как теперь спасал пустой карман»,— подумал Мешков, сообразив, что опасность миновала. Мысль эту с такой смелостью высказать он побоялся и облек ее некоторым орнаментом:

— В прежнее время как было не копить про черный день? Я от вас, Петр Петрович, ничего не скрыл, да и не удалось бы скрыть: вы помните, как я жил. Что было, то было. Но зла я никому не причинял. Что имел — собрал по щепотке неустанными своими трудами, с одной-единственной целью: придет старость — куда денешься? Теперь же, хоть я одной ногой скоро в гроб ступлю, все-таки спокойнее: угол мне оставили, работу мне дали, а подкрадется дряхлость, Советская власть обо мне позаботится, как о всяком трудящемся гражданине. Чего же еще?..

— Ну, значит, на том и закончим, трудящийся гражданин Мешков,— сказал Рагозин, разглядывая его остро, но не особенно подчеркивая свое исследовательское любопытство. Впрочем, он быстро спросил: — Что золота у вас нет, вы подтверждаете?

— Подтверждаю.

— Вопрос ваш выяснен, можете спокойно продолжать службу у себя в кооперации. Вы ведь в кооперации?

Да, Меркурий Авдеевич служил в кооперации, и ему казалось, что он уже раз сто говорил об этом Рагозину. Но, откланявшись ему с признательностью и возвеселившись, что крестная мука не состоялась и так все гладко окончено, он вышел на улицу с отчетливо протестующим чувством. Поощрение — спокойно продолжать службу — только еще больше увеличило неприязнь Мешкова к этой самой службе, которую теперь он словно получал из рук Рагозина как снисхождение и милость. А милость была ему в тягость, потому что к десяти страхам, подстерегавшим его за каждым углом, служба прибавлялась одиннадцатым страхом и притом самым ужасным из всех.

Недавно к нему в магазин явились какие-то люди с требованием на бумажный товар для профессиональных союзов и, нагрузив целый воз, расписались и преспокойно уехали. Уже занося требование в книгу, Меркурий Авдеевич неожиданно почувствовал, как на душе захолодело от тревожного сомнения, и бросился

к телефону. Тут он обнаружил, что никакие профессиональные союзы за товаром к нему не посылали: требование было подложным. Вне себя от страха он помчался в милицию. Пока там составляли протокол, думал, что уже не выберется на свет божий, а так и пойдет за решетку. Возвратившись в магазин, он встретил поджидавших его агентов уголовного розыска и от нового испуга едва не потерял чувств. Но тогда вдруг объяснилось, что случай выручил из беды: где-то на городской окраине воз, въезжавший в ворота обывательского флигеля, вызвал подозрение этих агентов, был задержан, и они явились в магазин распутывать дело. Непричастность Меркурия Авдеевича легко устанавливалась.

Он отслужил в церкви благодарственный молебен за избавление от опасности. Но это не было избавлением от страха: он окончательно убедился, что служба будет его погибелью. Ведь не произойди такого спасительного случая, кто поверил бы, что бывший торговец и собственник Мешков, которому, в нынешних представлениях, как бы по природе положено заниматься обманами, не замешан в воровской махинации с товаром?

Нет, нельзя было спокойно продолжать службу. И, несмотря на освобождение от новой беды, грозившей, но и миновавшей по милости Рагозина, его истязала тоска, и ноги вели не туда, куда следовало. Он мог к тому же воспользоваться, что на службе его не ждали, потому что ушел он по вызову начальства.

Меркурий Авдеевич всю жизнь предпочитал захудалые улицы. Покойница Валерия Ивановна терпит, бывало, терпит, да и раздосадуется: «Куда тебя, прости господи, тянет, обок с какими-то помойками?» Но он так и не изменил этой склонности даже для прогулок выбирать всегда задворки и пустыри. Он был не кичлив, а скрытен и больше всего опасался, как бы, лишний раз появившись в людном месте, не напомнить, что он богат.

Он свернул с оживленной улицы, прошел переулками, безлюдным бульваром в сизых, похожих на тальник, кустах, потом по краю наполовину засыпанного шлаком и мусором оврага и, перейдя его, зашагал нагорными дорогами к кладбищу. Было, как всегда эти дни, знойно, свет, пронизывая стоячую пыль, зыбко дрожал в воздухе, земля каменела в сухотке.

Меркурий Авдеевич помолился на могиле Валерии Ивановны, присел на насыпь. Он приходил сюда за утешением, весной — с лопатой, чтобы поправить бугор и упрочить крест, в большие праздники — чтобы раздать милостыню ссорившимся у ворот проныраммищенкам. Он слышал наплывавшее между крестов одноголосое панихидное пение: «Ужасеся о сем небо и земли удивишися концы...» Он вторил про себя: воистину ужаснулось небо! Воистину все концы шара земного дались диву! Что творится! Что только

творится! Благодари господа, Валерия Ивановна, что он уже сомкнул твои очи, и они более не узрят иного страха, разве страха божия. Он поклонился могиле и, выйдя с кладбища, усмиренный душою и словно возмужалый от кротости, направился через Монастырскую слободку в скит.

Этот скит известен был больше под именем архиерейской дачи. Сейчас же за мужским монастырем начиналась роща, взбиравшаяся по взгорью и невдалеке окружавшая своими дубками усадьбу. За ее стенами виднелись крашенные в желтое приземистые корпуса и церковный купол. Дачу эту занимал с недавних пор детский дом — заведение для мальчиков, которых прежде называли трудновоспитуемыми, а теперь — отстающими либо дефективными. Беспорядочные призывные голоса населяли от зари до зари в прошлом тихую рощу. Ворота в скит, раз отворившись после революции, теперь уже не закрывались, однако дубки были пока густы и пространство под дачей обширно, так что здесь еще обретались, несмотря на полную перемену жизни, укромные кущи.

В одном таком затененном углу, в келейно-обособленном строении, проживал викарный архиерей. Это был человек непривычного для церковных обычаев склада. Не сказать, чтобы он позволял себе какое-нибудь несогласие с выше стоявшими иерархами, а тем паче с канонами или обрядами. Он во всех правилах был совершенно послушен. Единственно, чем он отделялся от общепринятых начал — это образом жизни. И опять-таки, будь он простым монахом, этот образ жизни был бы вполне приличен ему и не вызывал бы ничего, кроме общего удовлетворения. Но сан его уже почти не допускал уклада, который он взял себе за образец и который, вознося простого монаха, мог только умалить достоинство столь вознесенное, как епископ.

Противоречие это породило особенность его положения. Жил он крайне просто, едва ли не нищенски, как будто не зная никаких потребностей, выходивших, скажем, за рамки послушнических. Почитатели его приносили ему не мало, но он с беззаботностью и бескорыстием все раздавал. Зная эту его слабость, к нему наведывались самые разные просители, в числе их, без дальнего раздумья и даже превесело, соседи мальчуганы из детского дома. Бессребреничество больше всего возбуждало к нему почтение, и число приверженцев его не слишком гласно, но живо увеличивалось. Вокруг него росла молва о некоем праведном житии, к нему шли за облегчением совести и с покаянием. Известность его не шла в сравнение с какими-нибудь привлекавшими к себе толпы народа монастырскими праведниками легендарных или хотя бы не очень отдаленных религиозных времен. Однако известности никто не мог отрицать, как и того, что покоилась она на людской

вере в его праведность. Но как раз это обстоятельство было причиной нерасположения к викарию и почти преследования его со стороны предержащей церковной власти. Епархиальный владыка, а за ним весь духовный синклит с консисторскими чиновниками усматривали в простоте викария хитрость, в безмездности — намерение уязвить сребролюбивое пастырство, в популярности его находили некий соблазн, в смирении — притязание на святость от гордыни. Словом, все, что в викарии для приверженцев его было непорочно, для его недругов было исполнено зазорного греха.

Мешков позволил себе впервые словно бы восстать против церковного мнения. Узнав викария, он сразу настолько покорился им, что стал порицать даже тех, кто колебался в признании за монахом неоспоримой безгреховности, а противников его невзлюбил, кажется, по вся дни.

Вошел Меркурий Авдеевич в скит, при всей кротости духа, с одним решением, давно и серьезно обдуманным, но теперь созревшим до неколебимой твердости. Пробираясь вдоль скитской ограды, он размышлял, что вот, мол, час назад ступал стезею нечестивою в горнило антихристова слуги Рагозина и терзался смертным страхом, а теперь идет стезею праведною в обитель слуги господня, и душа его безбоязненна, и уста славословят всевышнего, и слух услажден песнопениями, кои будто витают над проясненной главой.

Его встретил кучерявый старик келейник в завощенном подряснике и провел из первой горенки во вторую, а сам, постучав в дверь со словами: «молитвами святых отец наших...», отворил ее, исчез и сразу опять явился и сказал, что владыка просит.

Меркурий Авдеевич покрестился на киот с лампадкой, сделал поклон, тронув средним пальцем половичок, и подошел к благословению. Викарий качнулся навстречу из гнутого венского полукресла и попросил извинить, что затрудняется встать, так как нездоров. Лицо его было одутловато, как у страдающих сердцем, и с такой жидкой растительностью, что она нисколько не могла изменить тяжелого овала, который был ясен, как у бритого, а длинные серые волоски бороды казались по отдельности подвешенными к коже жидкого охрового оттенка. Маленькие глаза его были вполне спокойны, если говорить о движении, но почти совершенно лишенная цвета водяная прозрачность их придавала взгляду непреходящее возбуждение. Окно в стене занимало мало места, но солнце опаляло всю рощу, и свет в комнате был яркий.

На вопрос о болезни викарий не ответил, а только неторопливо развел кисти вздутых на суставах рук и почаще стал перебирать четки из бирюзово-холодных перенизок. Он смотрел выжи-

дательно, показывая, что надо, не мешкая, переходить к тому, что привело Меркурия Авдеевича в эту келью.

— Пришел просить благословения своему шагу, который я намерился сделать, владыко. Издавна имел желание постричься. Теперь настало время принять решение. Благословите, владыко.

Меркурий Авдеевич снова поклонился.

— Не поспешно ли решились? — спросил викарий тихо.

— Ведь уж шестьдесят, владыко.

— Вижу. Один в пятнадцать лет наденет клобук — будто родился иноком, на другом и под конец жизни ряса — будто с чужого плеча.

— Веление сердца, владыко.

— А вы присядьте, прошу вас. Да и успокойтесь. Что же волноваться, коли желание ваше созрело.

— Созрело, владыко. Одной думой жив: о спасении души.

— Давай бог. Да ведь спастись-то везде можно. В миру крест нести — заслуга едва ли не ценнейшая, чем за нашими стенами.

— Облегчить надеюсь крест свой...

— Понимаю. Ненависть-то бороть нелегко,— сочувственно качнул головой викарий и опять подался немного вперед, приближая взгляд свой к лицу Мешкова и вдруг договаривая еле слышно: — Примиритесь, вот вам и спасение.

Меркурий Авдеевич вздохнул и, уклоняясь от этого взгляда, похожего на накаленную током проволочку при солнечном свете, ответил смиренно:

— Сил нет совладать с собой.

— Значит, по слабости идете?

— Грешен, владыко.

— Отцу небесному не слабость угодна, но крепость духа.

Откидываясь назад, словно в изнеможении, викарий перестал перебирать четки, остановив пальцы на большой поклонной перенизке с крестиком, потом спросил неожиданно сурово:

— Стало быть, обиде своей ищете укрытие?

— Нет,— сказал Мешков твердо,— обида, правду сказать, торопит, владыко. Но желание родилось еще в юности. Я когда с молодыми приказчиками у хозяина жил, взялись они меня к старым обрядам склонять — из раскольников были. Я совсем было соблазну поддался, да один добрый человек посоветовал обратиться за правилами жизни к духовнику святой Афонской горы иеромонаху Иерониму. Я послушался, написал и получил в ответ наставление в православной вере и книгу. После чего отдался духовному чтению и восчувствовал наклонность уйти в обитель. Однако тот же святой муж отсоветовал делать такой шаг до кончины моей матушки, а там, если богу будет угодно,— намерение исполнить. Но

пока матушка жила, я женился. Впрочем, и в семейной жизни всегда призывал, чтобы господу благоугодно было, если овдовею, ниспослать мне окончание дней в монастыре. Теперь же я вдов, а у внука, который на моем попечении, скоро будет вотчим, так что меня и совсем в миру ничего держать не будет.

— Так,— сказал викарий, выслушав и помолчав.— Тогда что же? Раздай свое имущество и иди за мною.

— Да уж и раздавать-то нечего,— как-то даже встряхнулся от оживления Мешков.— Последнее, чем дорожил от имущества — Четьи-Минеи,— я принес вам, владыко. А что еще осталось в моем углу, можно и просто выкинуть.

Он оглядел стены кельи. Викарий весело улыбнулся:

— Что изучаете? Не находите дара вашего? Я его успел уже дальше передарить. Заезжал намедни ко мне один сельский попик, жалуется на тягость жизни, прихожане-де никаких треб не отправляют, иссякла народная щедрость. Бога забыли. Ну, я и пожалел его: грузи, говорю, себе в возок Четьи-Минеи, может, какой охотник, в уезде, купит. Сам-то попик, поди, давно житий не читает, непутевый такой, нос — сливой. Пропьет, наверно, Четьи-Минеи, бог с ним.

Мешков тихо покачал головой.

— Жалеете? — не без коварства спросил хозяин.

— Приятно мне было думать, что книги у вас находятся, владыко.

— Ну вот,— все еще с улыбкой покорил викарий.— Не только свое, а и чужое пожалел. Ведь уж подарил, чего же помнить?

— Грешен.

— То-то. Куда же хотите податься, в какую обитель? В монастырях-то нынче тоже не радость: братия вот-вот завоюет не хуже фронтовиков каких...

— Зовут меня, владыко, в один скиток, под самым Хвалынском. Не посоветуете?

— Знаю. Утешительное место, живописное. Но ведь там и староверы рядом. И посильнее наших будут. Не переманили бы...— опять весело, чуть не озорно сказал викарий.

— Коли надо будет состязаться за православие,— постою, владыко: в свое время посрамлению расколов учился в здешней кеновии.

— Ну,— сказал викарий с облегчением,— тому и быть. Могий вместити да вместит. С богом.

Меркурий Авдеевич помолился, стал на колени перед монахом, и тот благословил его, дав приложиться к руке. Уже собравшись уйти, Мешков, однако, приостановился, вопрошающе глянул

в спокойно обвисшее больное лицо викария и подождал, когда он поощрит его каким-нибудь знаком.

— Что еще смущает? — проницательно спросил викарий.

— Не ответите ли, владыко,— произнес Мешков вкрадчиво,— как надо понимать число 1335?

Прозрачные глаза долго покоились в неподвижности, как будто утрачивая последние следы какой-нибудь окраски, потом тоненько сузились, прикрылись и, опять раскрывшись, ожгли Мешкова своими накаленными зрачками.

— Откуда такие помыслы?

Мешков ответил крайне доверительным голосом, но и в крайней робости:

— Читал я труд, в котором история царств и деяний человеческих поверяется Священным писанием. И труд тот окончен словами пророчества: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней».

— И кто же оный труд составил?

— Ученый, как я понимаю, человек — Ван-Бейнинген.

— Немчура какой?

— О том не сказано. Обозначено только, что книга дозволяется цензурою.

— Что ж,— проговорил викарий сострадательно,— цензура, в силу подслеповатости своей, дозволяла и про социализм печатать.

— Однако, владыко, в труде пишется противу социализма.

— Еще не убедительно, ибо и папы римские прежестоко поносят социалистов.

— Но книга, владыко, и папство заклеймляет яко ересь.

— Опять же не убедительно, ибо и социалисты пап римских клеймят весьма прижигающе.

Меркурий Авдеевич наклонил голову с таким видом растерянности, что викарию оставалось только покарать либо помиловать заблудшую овцу, и он, подождав сколько требовалось для полного прочувствования его торжества, чуть слышно засмеялся и несколько раз слегка ударил себя по коленям, как бы посек, четками.

— Зачем нам диавол иноземный, егда у нас и свой неплох? — спросил он, очень развеселившись.

Потом лицо его сделалось сердитым, он захватил в щепоть один волосок бороды и медленно протянул по нему пальцами книзу.

— Придешь домой,— сказал он жестко,— разведи таганок и спали на нем своего Ван... как его? ученого немца. И не мудрствуй более, не суетись, не посягай все понять своим умом, ибо ум-то твой прост. Пророчества же разуметь надо как божественный гла-

гол, а не как арифметику. Сообрази-ка: чтобы человек хоть чему-нибудь внял, агнец божий должен был говорить на человеческом языке. А что наш язык? Немочь ума нашего — вот что такое наш язык. Господь глаголет: «день», а мы понимаем — двадцать четыре часа, сутки. А может, в один божественный день жизнь всех наших праотцев и всех правнуков уместится, как зерно ореха в скорлупе? Вот и толкуй библейские числа! Не толковать надо, а веровать. В чистоте сердца веровать. И помнить сказанное самим учителем нашим о втором пришествии своем: «О дне же сем и часе не знает даже и сын, токмо лишь отец мой небесный».

Он передохнул, еще раз пропустил между пальцев волосок бороды и окончил смягченно:

— Устал я с тобой. Иди. Начнешь послушание — покайся духовнику в грехе своем со ввозным этим супостатом, разрешенным цензурою. Может, и епитимию на тебя наложит. А я тебя отпускаю с миром. Большой искус предстоит тебе. Иди...

Меркурий Авдеевич возвращался домой так, словно оставил где-то далеко позади вес своего тела. Прошлое отрезывалось глубокой межой, и на старости лет, точно в юности, блаженное будущее казалось легко вероятным. Конечно, от прошлого давно уже ничего не оставалось, кроме поношенных штиблет с резиночками, но даже если бы это исчезнувшее прошлое каким-то чудом восстановилось, Мешков не мог бы обратиться к нему вспять. Благословение, испрошенное и полученное на будущее, обязывало его отказаться даже от воспоминаний. Ему не только предстояло стать другим человеком, ему чудилось, что он уже стал другим — настолько проникновенно отнесся он к решающему своему и торжественному поступку.

Дома его ожидала новость. Впрочем, он тоже ждал ее, и она вдобавок ускоряла освобождение, которое отныне становилось его целью. Новость эта восторгала Мешкова до просветления именно потому, что освобождала его, но в то же время он принял ее с затаенной грустью, потому что получалось, что не успел Меркурий Авдеевич уйти от своих близких и даже не успел сказать, что собрался уходить, а в нем, в его слове, в его участии уже как будто нимало не нуждались.

Стол был накрыт вынутой из сундука наполированной утюгом скатертью, и все вокруг, подобно скатерти, было празднично, разглажено, приподнято, как тугие ее топорщившиеся от крахмала складки.

Лиза оделась в белое платье. Ее голова словно поднялась над плечами. Опять облегчилась, наполнилась воздухом прическа. Опять загорелось на тонком пальце обручальное кольцо — новое, узенькое, такое же, как на руке Анатолия Михайловича. Она уже

кончила хлопоты — четыре стула выжидательно стояли крест-накрест перед столом. Витя одергивал на себе тоже разутюженную, еще без единого пятнышка, апельсинового цвета русскую рубашку. Ознобишин нарядился в летний китель, на котором пуговицы с царскими орлами были обтянуты полотняными тряпочками.

Когда остановился в дверях вошедший Меркурий Авдеевич, все степенно помолчали, не двигаясь. Он спросил, вскинув бровями на дочь:

— Расписались?

— Расписались,— ответила Лиза.

Он прошел к себе и через минуту вынес, с ладонь величиною, в позеленевшем окладе образ, благословил Лизу, потом Ознобишина, подумав при этом, что вот теперь заполучил второго зятя при одной дочери, и затем погладил по волосам Витю.

— У тебя теперь вотчим,— проговорил он,— слушайся его и почитай, как отца и наставника. Он будет главой дома, выше матери, понял? А я...

— Сядем к столу,— сказала Лиза.

— Перед тем, как сесть,— неторопливо, но с настойчивостью продолжал Меркурий Авдеевич,— хочу, чтобы вы меня выслушали. Вы свою жизнь переменяете, и я тоже решился переменить. Исполняя издавний обет, ухожу я провести конец положенных мне дней в монастырь. Простите, Христа ради.

Он поклонился дочери и Анатолию Михайловичу. Лиза сделала к нему чуть заметный шаг и нерешительно провела пальцами по своему высокому лбу.

— Ты, папа, никогда не говорил...

— Много думают, мало сказывают. А сказавши, не отступаются. За тебя я теперь спокоен, ты — за хорошим человеком. Над Витей есть опекун. А мне пора о душе подумать. Бодрствую о ней и сплю о ней.

Все трое глядели на него и молчали в каком-то стеснении, словно пристыженные. Витя спросил:

— Дедушка, ты камилавку наденешь?

— Витя! — сказала Лиза.

Меркурий Авдеевич удержал глубокий вздох.

— А комнатка моя вам перейдет,— обратился он к Ознобишину.

Анатолий Михайлович потер свои женственные ладоньки, возразил смущенно:

— Вы не думайте, нам с Лизой немного нужно.

— Я уж вам много-то и не могу дать,— сказал Мешков.— Потому и ухожу спокойно. А теперь, пожалуй, договорим за трапезой.

Он оглядел угощения,— тут была иззелена-черная старая кварта портвейна, искрился флакон беленькой. Снедь, от которой давно отвык глаз, манила к столу благоуханно.

— Ишь ты, ишь ты! — шепнул он.— Вот я и попал на первую советскую свадьбу.

Он поплотнее прикрыл входную дверь, и все уселись, он — между дочерью и внуком.

— Вроде обручения,— сказал он.— А венчание когда? Без благодати таинства супружество не может быть счастливым. Венчайтесь, пока я с вами.

— Да что же так вдруг? — все еще с чувством ей самой непонятной вины спросила Лиза.

Он коснулся ее плеча, увещая смириться с тем, что неизбежно.

— Не вдруг, моя дорогая. А только нынче получил я напутствие святого отца. И вот...— Он опять остановил глаза на столе, улыбнулся, понизив голос: — Налей-ка. Уж все равно: отгрешу — и в сторону. Навсегда.

Выпили в молчании, кивнув друг другу ободряюще, и так как успели позабыть, когда случались такие пиршества, все были покорены мгновенной властью ощущения. Витя чмокнул, впервые в жизни отведав портвейна.

— Где ж вы такое расстарались? — изумился Меркурий Авдеевич, уже взглядом союзника одаривая Ознобишина.— Живительно. Совсем прежняя на вкус, а?.. И вот, говорю я, у меня теперь к вам вопрос, как к юриспруденту. При нынешней трудовой обязанности, как же мне покинуть службу, чтобы без неприятностей, а?

— Надо заболеть.

— Понимаю. Обдумывал. Но чем же заболеть?

— Вопрос больше медицинский, чем юридический.

— Ну, а ежели, несмотря на преклонность возраста, я таки-таки вовсе здоров?

— Вы обратитесь к такой медицине, которая утверждает, что вовсе здоровых людей не существует.

— Которая всех считает больными от прирождения?

— Которая допускает, что всякий может сойти за больного по мере надобности.

— Которая допускает? — переспросил Мешков лукаво и потер большим пальцем об указательный, точно отсчитывая бумажки.

— Именно,— с тем же выражением поддакнул Анатолий Михайлович и взялся за графин.

Меркурий Авдеевич хмелел внезапно и ни разу не мог определить, в какой момент теряет над собой полноту управления. Происходил прыжок из буден в особый выпуклый мир, в котором краски становились будто сквозными, как в цветном стекле. С ярким задором этот мир звал к действию.

Лиза определяла такой момент по памятным с детства приметам: у отца начинали вздрагивать ноздри, и он с некоторой обидой, но решительно и даже возмущенно раскидывал на стороны бороду отбрасывающим жестом пальцев. Лиза отставила графин подальше. Отец смолчал неодобрительно.

— Нынче я еще — мирянин, раб суетных страстей,— сказал он будто в оправдание.— Стану скитником — облегчусь от мирских вериг, вкушу впервые истинной свободы.

— Это верно,— согласился Ознобишин,— настоящая свобода только и состоит в том, что человек освобождается от самого себя.

— Однако правильно ли — от себя? — усомнился Мешков.

— По-моему — правильно. Потому что религиозный человек полагает себя всецело на волю божию.

— Вот именно. Человек подчиняет свою волю воле избранного им наставника, а через него — покоряется воле божией. Почему и следует сказать: освбождается от воли своей, а не от себя. От себя мы освободимся только со смертию. От бренности бытия нашего.

Меркурий Авдеевич залюбовался мастерством своего рассуждения и опять потянул руку к водочке. Лиза предупредила его, налив неполную рюмку. Он раздвинул и снова сдвинул могучую заросль бровей.

— Ты вроде уж повелевать отцом хочешь! — произнес он сдержанно.

Но тут постучали в стенку, и за дверью кто-то кашлянул. Стенкой этой выделен был из большой комнаты сквозной коридор для прохода новых жильцов,— она была жиденькой, как гитарная дека, и шум от стука ворвался в беседу гулко. Лиза приоткрыла дверь.

В коридоре высился Матвей, жилец-старик, заглядывая, видимо, без умысла, а вполне невинно поверх своих рабочих очечков, в комнату и что-то негромко высказывая Лизе.

— Пришли насчет какой-то описи, папа,— оборотилась она к отцу.

— Описи? Что еще за опись? — вопросил Меркурий Авдеевич, поднимаясь, и попутно, с сердцем, долил рюмку водкой и выпил.

Отстраняя дочь от двери, он рассек надвое бороду посередине подбородка.

— Что за опись! — еще раз сказал он.— Чего описывать, когда ничего не осталось?

— Проводят учет строений,— с ленцой ответил Матвей,— требуется указать в описи жилищную площадь. Я сказал — вам, наверное, известна площадь.

— А кто вас просил?

— Да чего же просить? Вместо того чтобы людям крутить рулеткой, вы скажите — и вся недолга.

— Отчего же им не крутить рулеткой? Они жалованье по своей ставке получают? Пусть крутят.

— Да ведь скорее, чем если они по комнатам пойдут.

— А я здесь при чем? Дом-то ведь не мне принадлежит?

— Чувствую, чувствую, Меркул Авдеевич,— усмехнулся старик,— да вам же будет хуже, если они помешают вашему пированью.

— Пи-ро-ванью? — тихо выговорил Мешков, силясь заслонить собой проникавший в комнату взгляд старика и приподнимаясь как можно выше на цыпочках.— Пированью? — повторил он, немного взвинчивая голос к концу слова.— Ах, вона что усмотрели в моих комнатах! Пированье! Вона с какими целями заглядывают в чужие двери!

— Да чего заглядывать-то,— презрительно встряхнул головою Матвей,— когда на весь дом самогоном несет.

— Само-гоном? — угрожающе забирался вверх Меркурий Авдеевич.— Нет, уважаемый сожитель мой, извините!

— Папа! — остановила его Лиза.

Но он вдруг, будто только ожидая этого слабого препятствия, вскрикнул изо всей мочи:

— Очищенной царской водочкой! Царской водочкой, а не самогоном! Что? Скушал? Может, теперь побежишь докладывать, что Меркул Мешков предпочитает царское зелье вашему вонючему самогону? Беги, беги, докладывай на Мешкова, старый бесстыдник!

— Тьфу тебе, сам ты старый бесстыдник! — отвернулся прочь жилец и, сорвав с носа очки, пошел по коридору.

— Беги, беги,— кричал Мешков, уже захлопнув дверь и принимаясь подпрыгивать на носках, яростно перебегая из конца в конец комнаты.— Пускай знают, что Мешков в доме сороковки с царскими орлами держит! Что Мешков пиры задает! Свадьбы справляет! Гульбу устраивает, а своим соседям, шаромыжникам, ни полнаперстка под нос не подносит! Беги, беги!

Старик сильно ткнул в стенку и прогудел из коридора:

— Не распинайся! И так известно, что ты за элемент!

Мешков забил по стене кулаками.

— Не смей буйствовать! Элемент! Не я, не я, а ты — вредоносный элемент! Ты ворвался в чужой дом! Ты суешь свой табач-

ный нос по дверным скважинам! Кто меня раздел, а? Кто меня с голодранцами в ряд поставил? Ты, ты, ехидна злокозненная, вместе с твоей братией-шатией. Все, все до нитки взяли, до последней пустой облигации! Сами под свою свободу заем напечатали, печатники, сами его расторговали, сами назад отобрали! А все мало! Все шастают, вынюхивают, чего бы еще рулеткой обмерить, чего бы урезать, чего бы урвать! Ну что ж, режьте Мешкова, пока не дорезали! Рвите его сердце! Все равно ничего впрок не пойдет! Чужое-то добро не носко! Не разбогатеете! Не расхозяйничаетесь!..

Он подбежал к столу, быстро налил полную стопку, опрокинул ее, остановился с разинутым ртом, набирая воздуха, и нежданно рухнул на стул.

Лиза стояла все время лицом к окну. Когда-то отцовский крик пугал ее своей неукротимостью. Ей казалось, что в гневе отец способен ударить, прибить, убить насмерть. Теперь она не испытывала никакого страха. Все больнее чувствовала она жалость к отцу, и ей было стыдно ничтожной его беспомощности. Она вспомнила, как видела его во сне — безропотным и убогим. Надо было помочь, а ее не пускала к нему старая отчужденность. Он был так слаб, так жалок, и Лизу тяготило превосходство над ним, и она ничего не могла для него сделать. Сейчас ее жалость смешалась с неприязнью к нему за стыд перед Анатолием Михайловичем. Шум, поднятый отцом, отзывался в ней болью, но она не вдумывалась — о чем отец кричал. Она думала только о муже, который становился отныне участником ее домашней жизни и которого бесчинный этот шум грубо, нецеремонно вводил в ее дом. Не оборачиваясь, она как бы спиной ощущала, что Ознобишин не знает от растерянности, куда себя девать.

Когда же, выведенная из столбняка неожиданной тишиной, она обернулась, отец слепо нащупывал локтями упор о стол и бормотал:

— Что я им сделал? За что они меня преступником объявили? За что гонят? За что унижают? Разве мой труд хуже ихнего? Из всякого труда пропитание извлекается. Кто взалкал моего куска хлеба?

— Вы успокойтесь,— сказал Ознобишин, вежливо убирая посуду подальше от его непрочных локтей.

Сочувствие тотчас же расслабило Меркурия Авдеевича, он прослезился, язык его все больше выходил из повиновения:

— Согрешил! Согрешил, и замолю! Все замолю, простите меня, окаянного... Уйду... живите одни! Как в древние времена старики в тайгу, на Северную Печору, в скрытники уходили... так и я... заточусь в леса... Мальчика Витеньку жалко!.. Простите меня... остаток дней богу молить за вас буду... прости, господи...

Он ударился головой о край стола.

Лиза взглянула на Витю. Они взяли Меркурия Авдеевича под мышки и повели в его комнату. Он был нетяжелый, расхлябанный, странно маленький. Они уложили его в постель. Он цеплялся за Витю и успел поцеловать внука в щеку, Витя стащил с него штиблеты, отряхнул ладони, вытер щеку. Он никогда не видел таким дедушку и чувствовал над ним незнакомое суровое преобладание. Он одернул свою атласную апельсинную рубашку и осмотрел ее. Она помялась, но была чистой. Лиза прикрыла отца краем одеяла, и они оставили его одного.

Ознобишин несмело приблизился к жене, обнял ее плечи. Ей что-то мешало взглянуть ему в глаза. Потом она пересилила себя.

— Ты извини... Он в сущности хороший человек. Только... Домовладыко.

— Я вполне извиняю,— сказал Анатолий Михайлович, торопясь утешить ее.— Гордость ломить тяжело тому, у кого она есть, а не у кого ее нет. Это надо понять...

Она вдруг отошла от него с сильным и будто недобрым вздохом и залилась краской, стыдясь своей досады:

— Ах, ну какая же это гордость! Он нетерпим ко всем, кроме одного себя!..

Она села к столу и долго глубоким, замершим взглядом смотрела на Витю. Потом спокойно вздохнула:

— Как хорошо, что он от нас уйдет!..

19

Заплаканный Алеша лежал на траве в кустах сирени. Заросли дорогомиловского сада он хорошо изведал и все-таки постоянно открывал в них новую утешительную прелесть. Здесь вел он тот разговор со взрослыми, на который не хватало смелости в другом месте.

Его мокрых щек касались острыми кончиками сердцевидные жесткие листья. Уколы их он принимал, как сочувствие. Все было тут дружелюбно — свежие отпрыски корней, похожие на крошечные деревца; козявки с черноглазыми старческими рожицами, нарисованными на красных спинках; мучнистые семенные коробочки недозрелого просвирника, словно полотняные пуговицы ночной рубашки.

Можно было сказать этому уединенному миру в тени листвы — вот, ты понимаешь страдания Алеши и любишь его из всей силы, совершенно так же, как он самозабвенно любит тебя. А разве любит Алешу папа? Никогда!

Второй раз Арсений Романович собирается взять Алешу на пески. И второй раз папа говорит — нельзя! Уже пересмотрены и перещупаны все удилища. Уже починены сачки. Уже Витя раздобыл новые крючки — маленькие, как заусенец, и огромные, как шпильки Ольги Адамовны. Все приготовлено. И опять — отцовское нельзя!

А какой поплавок подарил Арсений Романович Алеше! Длиннущее полосатое перо дикобраза! Полоска белая, полоска черная. Другого такого поплавка не сыщешь на всей Волге. Перо на одном кончике продырявилось, это верно. Если через дырку наберется вода, то поплавок затонет. Но Арсений Романович отыскал на антресолях раму пчелиных сот и хочет залить дырку вощиной. От старости вощина сделалась как кремень. Однако у Арсения Романовича есть спиртовка, и вощину можно растопить. Правда, пока еще нет спирта, и спиртовка не горит. Но можно обойтись керосином. Недавно Ольга Адамовна достала керосин, и Алеша знает, куда она его запрятала.

Несчастья Алеши идут, скорее всего, от Ольги Адамовны. Она только и делает, что наговаривает на Арсения Романовича: он испортит нашего бедного Алешу! Это все от зависти, конечно, потому что — где ей до Арсения Романовича! С ним никто не может равняться. Если бы не мама, то Алеша мог бы твердо сказать, что ему больше всех на свете дорог Арсений Романович. И если бы Алешу спросили, кем он хочет быть, он ответил бы: Арсением Романовичем.

Он хотел бы им быть на всю, на всю жизнь, хотя с горечью понимает, что этого ни за что не достигнешь. Разве когда-нибудь будешь столько про все знать, сколько знает Арсений Романович? Откуда взять такой дом с садом и вещи, какими набит целый коридор? А верстак? А спасательный круг? Да разве за Алешей будут ходить толпой мальчики? И разве поступишь когда-нибудь на службу, на которой служит Арсений Романович? Вон папа — так совсем не ходит на службу. А, наверно, хотелось бы! А шляпа Арсения Романовича? А борода? Где уж там Алеше отрастить такую бороду!

Нет, Алеша хорошо видит, что из него Арсения Романовича не получится. Он только хотел бы пожить с ним, как другие мальчики. Бродить по горам, ездить на пески. Свободно, бесстрашно и всегда, всегда!..

Алеша утер высохшее лицо и стал собирать пуговки просвирника. Нащипав полную горсть, он решил съесть все в саду, чтобы никому не попасться на глаза. Иначе сразу же перепугаются за Алешин живот. Недавно Ольга Адамовна принесла с базара плошку черной смородины, и Алеша не успел пристроиться к ягодам,

как отец схватил плошку и высыпал все в помойное ведро. «Вы, мадам, другой раз достаньте поздники, от нее скорей сведет ноги холера!» — сердито сказал он.

Вообще папа стал всего бояться. Вдруг заявит, что они всей семьей перемрут с голоду. Или грустно вздохнет: «Мы тут с тобой, Ася, никому не нужны!» Или скажет что-то совсем непонятное: «Алексей, может быть, под конец жизни что-нибудь увидит, а мы с тобой, Ася, ничего не увидим».

— Если ты, папа, плохо будешь видеть, то купи себе пенсне, как у Ольги Адамовны,— сказал тогда Алеша.

— Ах ты мой нежный дурак,— ответил папа.

Вспоминая эти домашние разговоры, Алеша дожевал просвирник и вышел из зарослей на тропинку. Тут он поднял голову и нежданно обнаружил наверху, в открытом окне коридора, военного человека, который стоял спиной к саду. По стриженому затылку и необычайно гладкой спине он сразу узнал этого человека и сразу испугался.

Отряхнув ладони, он побежал домой. У него свалилась туфля, он на бегу вбивал пятку, поднимая задник, и торопился, чувствуя, как стучит сердце.

В коридоре находились папа с мамой и разговаривали с Зубинским.

— Я повторяю,— вежливо говорил Зубинский,— вопрос решен окончательно.

— Но ведь это вопрос нашей судьбы! — тихо ответила мама и удивительно большими глазами посмотрела на Зубинского.

— Сожалею. И понимаю, что все это в высшей степени некультурно. Но что я могу сделать? Положение на фронтах такое, что можно ожидать, простите, черт знает чего! Я исполняю приказание. Послезавтра дом должен быть свободен от жильцов. Он уже числится за военными властями. Прошу вас, передайте гражданину Дорогомилову, что это бесповоротно.

Зубинский шаркнул, надел фуражку, взял под козырек.

И снова, второй раз, Алеша услышал, как припечатывали по ступенькам его жесткие подошвы.

Папа молча ушел из коридора в комнату. Алеша, подкравшись к двери, затаил дыхание. Еще стучало сердце после бега. Еще не исчез испуг. Последнее — бесповоротное — слово Зубинского не угасло, как удар колокола, а разгоралось, как приближение несущегося паровоза. Вот паровоз мчится по улице. Вот он влетел в сад и мнет деревья. Вот ворвался в дом и валит в коридоре, без разбора, превосходные, милые вещи Арсения Романовича. Вот сейчас провалится от его тяжести пол под ногами Алеши!

— Да! — грозно обрубил молчание папа.

Он обернулся к маме и спустя секунду крикнул голосом, которого никогда прежде не слышал Алеша:

— Не смотри на меня своими акварельными глазами!

Он схватил коробку с табаком, рухнул на кровать и начал скручивать дрожащими пальцами папиросу. Мама приблизилась к нему, мягко провела рукой по его затылку, как делала с Алешей, когда хотела утешить.

— Не огорчайся,— сказала она.— Послушай меня. Ступай сейчас же к этому деспоту Извекову и обрисуй ему наше состояние.

— Обрисуй! — передразнил папа.— Сейчас не рисованием заниматься надо, а колотить дубиной! Все равно не услышат... Унижаться перед мальчишкой? Состояние! Это не состояние, пойми ты! Это — катастрофа! Катаклизм. Гробовая доска. Могила. Кол осиновый. Смерть!

— Что значит — унижаться? — сказала мама.— Когда идет дождь, ты раскрываешь зонт. Это не значит, что ты унижаешься перед дождем.

Папа вскочил, но, секунду постояв, мирно пробурчал:

— Где моя шляпа?

Он набрал из рукомойника горсть воды, выплеснул, погладил мокрой ладонью волосы, причесался, подтянул галстук. Потом взял мамину руку и долго держал ее у своих губ.

— Не сердись, пожалуйста,— произнес он неразборчиво.

В коридоре он увидел сына. Алеша хотел проскочить дверью к маме. Но он поймал его, поднял за локти, как совсем маленького, высоко над своей головой, немного приспустил и поцеловал в лоб. Тогда Алеша, задыхаясь от счастливого волнения, спросил:

— Папа-пап, ты ведь, правда, не скажешь Арсению Романычу про бесповоротно? Нет?

Папа поставил его на пол.

— Иди, тебе все объяснит мама...

На улице Александр Владимирович чувствовал себя странно. Его не привлекали люди, он не замечал жары, даже обоняние его притупилось. Все в нем сошлось на одной идее, которую он нес в себе, как болевое ощущение. Он назвал это последним часом приговоренного к смерти. Это было сожительство подавляющего по своему значению факта с болезненным желанием осмыслить факт. Фактом был приговор к смерти. Из желания осмыслить факт непрестанно рождалось и умирало противоречие: мысль то примиряла с приговором, то возмущалась им.

Фактом была гражданская война. Не перебирая в уме ее подробностей, Пастухов видел их в неумолимом единстве, как в одном

слове «смерть» приговоренный видит десятки подробностей расставания с жизнью.

Он шел по тихому городу, но где-то рядом, за близкими пределами улиц, слышал нарастающий шум. Вулканическое извержение июля, казалось, подступало к невинному уличному покою.

В июле Кавказская армия Врангеля медленно подбиралась по берегу Волги к Камышину. Уже больше месяца назад екатеринодарским приказом вооруженным силам Юга России Деникин объявил о признании им верховной власти Колчака, и правитель ответил генералу «с чувством глубокого волнения» телеграммой. Вскоре после акта соединения контрреволюции Востока и Юга Деникин, прибыв в завоеванный Царицын и приняв парады, подписал директиву, начинавшуюся до помпезности самоуверенным речением: «Имея конечной целью захват сердца России — Москвы, приказываю...»

Директива определяла тщательно разграфленные задачи белым генералам. Она словно нарочно напоминала теоретические планы ученого немца в русском генеральском, дурно сшитом мундире — того самого Пфуля из «Войны и мира», который чувствовал себя на месте только за картой. Врангелю директива предлагала выйти на фронт Саратов — Ртищево — Балашов и продолжать наступление через Пензу, Нижний Новгород на Москву. Сидорину — развивать удар через Воронеж — Козлов — Рязань, а также через Елец — Каширу. Май-Маевскому — наступать на Москву в направлении Курск — Орел — Тула. На юге директива ставила целью Киев и Херсон, Николаев и Одессу.

Исполняя приказ Фрунзе о занятии Уральска, Василий Чапаев, за день до «московской директивы» Деникина, начал наступление на Уральск. Казаки были разбиты, и через пять дней началось их бегство на юг. Еще через пять — в день, назначенный приказом Фрунзе,— Чапаев вступил со своими конниками в Уральск, освободив город от осады. А всего сутки спустя на Восточном фронте Красная Армия торжествовала другую победу: был занят Златоуст, и отброшенные за Уральские горы белые армии Колчака бросились в отступление по Сибири.

Человек, плутающий в лесу ночью, знает о существовании света и открытых дорог. Но это знание не устраняет ощущения темноты и безвыходности. Пастухов знал об Уральске, знал о Златоусте. Он узнал также о готовящемся контрнаступлении вниз по Волге, на Царицын. Но физическим существом своих чувств он испытывал только надвигающуюся духоту фронта, которая угрожала Саратову. Война катилась на город, война шумела за околицей, война наваливалась на Пастухова с его Асей, с его Алешей, с

его цветочками в стакане, рукописями, замыслами, ожиданиями будущего, с его жизнью. История, время, календарь, часовая стрелка приговорили Пастухова к войне. Приговорили к смерти. Это был факт.

Как можно было осмыслить этот факт? Зачем Александр Пастухов должен погибнуть в войне, которой он не призывал, не хотел, чурался? Ведь приговаривают за преступление, за вину. Что преступил он? В чем виновен? Он не красный, и, значит, его будут считать белым. Он не белый, и, значит, его будут считать красным. Он приговорен за то, что не белый и не красный. Ужели весь мир либо белый, либо красный? Что делать, если Пастухов оливковый? Убить его! Ультрамариновый? Тоже убить! Но почему оливковые, ультрамариновые не убивают, а убивают белые и красные? Впрочем, есть еще зеленые, и они тоже убивают. Курьезно то, что зеленые зовутся братьями — братья, которые убивают, зеленые братья, дезертиры, скрывающиеся в лесу. В лесу, где заплутался, в темноте, Пастухов. Он заплутался, он приговорен. Это факт. И осмыслить этот факт нельзя. Потому что приговоренный к смерти может понять значение своей смерти для других, но значения своей смерти для себя понять не может: его смерть зачем-то нужна истории, времени, календарю, часовой стрелке, но ему она не нужна. Для него, для Пастухова, который умрет, в смерти нет никакого смысла. И его мысль возмущается смертью.

Но его мысль вдруг ищет примирения со смертью, хотя он не хочет примиряться. Он думает так. Человек поставлен перед лицом исторической действительности, как перед лицом своей природы. Ему дана возможность бороться с силами природы за продление своей жизни. Но силы природы непременно побеждают смертью. Ему дано бороться за продление своей жизни, выбирая в действительности позицию, которая сильнее. Но если он не способен предугадать, какая позиция обережет его жизнь, и он становится жертвой преждевременной смерти, то ему остается найти смысл в этой жертве. Найти смысл в бессмыслии жертвы. И он его ищет. Ведь если молодой, здоровый, счастливый, талантливый человек, каким себя видит Пастухов, падет никому не нужной жертвой, люди поймут бессмыслие его гибели. Люди убьют одного, двух, десятерых Пастуховых и обнаружат, что убили их напрасно. Обнаружат, что утрата не только бесплодна, она невыгодна, вредна. Поймут, образумятся, и жертва из ненужной станет осмысленной.

Однако тут Пастухов возвращается к исходу. Совершенно верно, жертва может быть осмыслена. Но смысл жертвы является достоянием тех, кому она принесена, а не того, кто ее принес. Тот, кто пожертвовал собой «за други своя», ничего не приобрел. При-

обрели «други». Кто же эти «други», другие, друзья? Ради кого должен уничтожаться Пастухов?

Он думает о друзьях. Где они? Ася? Алеша? Их ожидает несчастье, если он погибнет. Его петербургские приятели? Они рассеялись по земле и безразличны к нему. Театральные дирекции, актерские труппы? Они скорее пожалеют его, чем извлекут из его смерти пользу. Кто же выгадает от исчезновения Пастухова? Два-три драмодела, которым мешал успех Пастухова. Они подпишут коллективный некролог и, растирая подошвами крокодиловы слезы, будут плясать от радости, что больше не появится ни одной новой пьесы Пастухова. И ради того, чтобы они пустились вприсядку, он должен умереть?

Нет, у Пастухова нет друзей. Может быть, вся беда в том, что у него нет друзей? Может быть, если бы друзья были, они помогли бы ему сделать выбор — куда пойти? Ради чего приносить себя в жертву, если история, время, календарь, часовая стрелка обрекли его в жертву? Выбор, выбор, вот что должен был сделать Пастухов! Все содержание жизни, вся ее сущность сводится к одному, и это одно — выбор!

Так, с этим ощущением приговоренного, Александр Владимирович явился к Извекову. Его заставили подождать в приемной. Он понимал, что его могут обидеть, и был готов к обиде. Даже в позе его проступила безропотность. Но он ошибся: его не собирались обижать. Через полчаса с необычайной поспешностью к нему вышел Извеков:

— Я был занят телефонными переговорами, извините. Пройдем ко мне. Вы ничего не имеете, если я пообедаю?

В смежной с кабинетом узенькой комнате Извеков снял салфетку, укрывавшую две тарелки. В одной была пшенная каша, на другой лежало яблоко, еще не совсем спелое, и кусок пеклеванного хлеба.

— Съешьте яблочко,— сказал Извеков.

— Спасибо. Я боюсь, помешаю вам. Но у меня короткое дело.

— Нисколько не помешаете,— возразил Извеков, отправляя ложку каши в рот.— А то, правда, съешьте, а? Из наших советских садов в Рокотовке. Бывали когда там?

— Да. Там прежде было прекрасно.

— И теперь тоже прекрасно.

— А вы были?

— Нет. Я представляю себе.

Пастухов почувствовал любопытство к этому молодому человеку, глотавшему холодную кашу с таким удовольствием, будто аппетит был пробужден изысканной гастрономией. Однако по-настоящему любопытно было не то, что он ел с аппетитом (редко кто

в эту эпоху ел без аппетита), а то, что во время еды лицо его не переставало отражать, видимо, нисколько ему не мешавшую настороженную мысль.

— Теперь везде одинаково, что в садах, что в огородах,— сказал Пастухов.

— Одинаково хорошо или одинаково плохо?

— Достаточно того, что одинаково. По-моему, несчастье человечества заключается в универсальных учениях. Нельзя создать общую, одинаковую форму жизни, одинаковое счастье для человека.

Извеков облизал губы и словно подмигнул собеседнику.

— Страшно хочется пофилософствовать, да? Как у Чехова. Ну, давайте. Вскроем, для начала, одно заблуждение. Общее не означает одинаковое. Общее — значит принадлежащее всем, но не одинаковое. Это общее будет разное, но равно доступное всем. Каждый будет выбирать деятельность по своему желанию, и один станет садоводом, другой хирургом, третий землепашцем или машинистом. Но каждому равно легко будет доступно счастье.

— Если он от него не откажется,— заметил Пастухов.

— Невыгодно будет отказываться.

— Невыгодно для одних, выгодно для других. Это доказывает война.

— Да, пока идет раздел. Тем, у кого отбираются излишки благ, конечно, выгодно... отказаться от счастья тех, кому излишки передаются,— усмехнулся Извеков.

Пастухов приметил оттенок нового удовольствия на его лице — немного лукавого удовольствия превосходства. Извеков со вкусом заедал свои реплики кашей, будто шутя вознаграждая себя за легко найденное соображение.

— Забавы мысли,— сказал Пастухов недовольно.— Жизнью движет чувство.

— И мысль! — живо воскликнул Извеков.— И, пожалуй, мысль раньше всего, потому что стремится руководить чувством.

— Это неверно,— запротестовал Пастухов, чуть-чуть раздражаясь.— Вначале была боль. Был жест. Был крик. Потом было слово. Из чувственного родится мысль. Не наоборот. Нет, не наоборот. Злоба, ненависть, любовь всегда сильнее сознания. Мы не хотим войны, но не можем без нее.

— Мы не хотим бессмысленной войны. То есть войны злонамеренной.

— Вы хотите войны, которая руководствуется любовью? Вы хотите доброй войны,— по ее целям, по ее намерениям, так? Но это значит, вы хотите облагородить или обогатить смыслом чувство, идущее впереди сознания,— чувство ненависти, потому что

война исходит из чувства ненависти. А это чувство сильнее осмысления, которым вы стараетесь его опередить. Зло войны сильнее добра ее целей.

Извеков отставил тарелку и поглядел в глаза Пастухова настойчиво жестко.

— Что значит «вы»? Кто это? — спросил он низким голосом.

Пастухов немного выждал, затем ответил, тяжело подымая плечи:

— Я не имею в виду вас лично. Но раз вами употреблено слово «мы»... я говорю... вообще...

— Чтобы отделить себя?

— Это воспрещено?

— Это ваше право. Я только хотел знать, ведем ли разговор мы, или мы и вы. По-видимому, последнее. Тогда я буду говорить только о нас... Да. В этой войне нами руководит ненависть. Но ненависть наша не слепа. У нее зоркий глаз. Этот глаз — справедливость. Мы ведем справедливую войну обездоленных, которые защищают свое право на достойное человека бытие. Мы не хотим войны, мы хотим мира для всех. Но к нам применено насилие, нам предложена война. Мы приняли ее. Мы воюем против войны. Поэтому наша война не злонамеренна и не бессмысленна. Она, как вы выразились, добра. У нее великий смысл и прекрасная цель. Если мы сложим оружие, мы будем преступниками, потому что нас не пощадят, раздавят и еще больше обездолят обездоленных.

Пастухов вскинул руку, чтобы остановить Извекова. Очень тихо, преодолевая вдруг вернувшееся к нему испытанное по дороге сюда страдание, он проговорил:

— Я никогда не сомневался в возвышенности целей, о которых вы говорите. Я не так наивен и в конце концов не так жалок, чтобы бояться осмысленной борьбы. Но, признаюсь, меня ужасает, что в битве за добро человек вынужден делать так много зла!

Кирилл молча взял яблоко, без усилия переломил его и, улыбнувшись, протянул половину Пастухову:

— Попробуйте все-таки...

Пастухов долго сохранял неподвижность, всматриваясь с каким-то глубоко утаенным опасением в зеленовато-белый, заискрившийся соком овал разломленного яблока.

— Ну что ж, постараюсь справиться один,— сказал Извеков, опять улыбаясь, и с хрустом перекусил половинку надвое.

Намек на знакомую с детства легенду праотцев был настолько очевиден, что Пастухов почел неостроумным сказать, что понял его. Он пристально следил, как Извеков разжевывал хлеб вприкуску с яблоком. Угловатые челюсти Кирилла сильно пружинились от крепкой работы мышц. Казалось, он всецело отдался

наслаждению приятной едой. И все же взгляд его сохранял настороженную и словно мечтательную мысль. Хрустя яблоком, он заговорил:

— Вы ужасаетесь войны, но под войной разумеете революцию. Я, по крайней мере, слышу это.

— Я разумею уничтожение человека человеком. А каким словом называется уничтожение — разве это существенно?

— Вы не были на войне?.. В армии есть понятие «невозместимого материала». Мораль обязывает нас дать в руки революции нечто подобное невозместимому материалу. В самом деле. Если война имеет право пользоваться ценностями и человеческой жизнью в целях разрушения во имя победы, во имя защиты от врага, то как же революционер будет лишен всяких ценностей, всякого права на жизнь, когда его целью является строительство нового мира? Солдат не отвечает за израсходованный боевой припас, за уничтоженный кров, за истребление богатств и жизней, если это сделано в интересах победы. Почему же революционеру должно ставить на счет всякую разбитую тарелку и тем паче всякое членовредительство, будь оно учинено даже явному врагу?

— Логично, но жестоко,— сказал Пастухов.

— А война? Та война, против которой вы, наверно, не возражали, пока она не обратилась в революцию. Она была жестока, но нелогична. Правда?

Кирилл смотрел на Пастухова с торжеством. Бог знает, куда могло завести неожиданное состязание! — подумал Пастухов и отозвался как можно ленивее, показывая, что устал спорить:

— Человек есть существо объясняющее. Без объяснения видимого или происходящего нет ему покоя. Но уж зато если он нашел объяснение — готов примириться с чем угодно.

— Не примириться, но отстаивать верно найденное объяснение.

Нет! Этот говорун находил в дебатах явную усладу! В конце концов не ради словопрений явился сюда Пастухов в такую тяжелую минуту.

— Стоит ли, однако,— сказал он с грустью,— стоит ли цепляться и виснуть на подножке трамвая, лишь бы угнаться за объяснениями? Не проще ли идти по-хорошему пешком?

— Можно еще верхом на осляти,— задорно добавил Извеков.

Пастухов снова пожал плечами:

— Мне кажется, в погоне за объяснениями вы не хотите понять Россию.

— Нет, я принадлежу к тем, кто хочет понять ее, чтобы делать новую Россию. В отличие от тех, кто хочет понять ее, чтобы сохранить старой.

— Вряд ли следует огулом отвергнуть все старое. Так, как думаю я, думают многие. Я не один.

— Знаю, что вы не один,— мгновенно усмехнулся Кирилл.— По данным на прошлый месяц, таких, как вы, двести тысяч. Сейчас наберется и больше.

— По каким это... данным?

— Центральной комиссии по борьбе с дезертирством. (Извеков прикрыл рукой расплывшуюся улыбку.) Впрочем — может, гораздо меньше. Комиссия, поди, раздувает цифры, чтобы похвастать — ловим, мол, с успехом, не дремлем...

Пастухов повременил, как будто подчеркивая, что даже не находит, как ответить, но вдруг деловым тоном, с виду совершенно отклоняющим шутливость, высказал мнение, которое еще больше развеселило Извекова:

— Вы — большевик? В таком случае последнее решение вашей партии обязывает вас к работе с... товарищами дезертирами. Если не ошибаюсь.

— Замечание, как говорится, не лишено...— поискал слово Извеков и не нашел и рассмеялся.

В смехе его было, пожалуй, не так много веселости, как вызова, и Пастухов решил, что не всякая шутка хороша. Он представительно поднялся, не спеша одернул на себе пиджак.

— Дезертир тот, кто нарушает присягу. Я присяги не давал.

Кирилл тоже встал. Сдвинув прямые свои брови, он секунду мерил сощуренными глазами Пастухова с головы до ног.

— Когда городу угрожает наводнение, жители выходят строить дамбу, не давая никакой присяги... И кто не вышел, кто спрятался, тот дезертир.

Пастухов достал платок, утер губы, в высшей степени деликатно поинтересовался:

— Вы пообедали?

— Да,— ответил Извеков.— Пойдемте в кабинет.

Там он остановился около своего места за столом, давая понять, что хотел бы скорее кончить с делом.

— Не знаю, угодно ли вам будет пойти мне навстречу после нашего... философского разговора,— проговорил Пастухов натянутыми губами.— Я с семьей очутился на улице. Квартиру, в которой мы жили, занимает городской военком под какое-то свое учреждение. Это квартира Дорогомилова. Вы слышали о таком? Его, между прочим, тоже выселяют, вместе с нами.

— Дорогомилова?

— Да. Мы должны выехать из квартиры завтра. Куда? Я не знаю. Я прошу либо остановить выселение, либо предоставить мне какое-нибудь жилье.

Тогда произошел разговор, который поистине не нуждался ни в каких философских предпосылках. Так как дом занимали военные власти, Извеков не мог приостановить выселения. Что же до жилья, то с помещениями в городе было из рук вон плохо, и Пастухову оставалось устраиваться частным образом. Сделать это в двадцать четыре часа было, очевидно, невозможно, но Извеков не видел иного выхода.

— Простите...— обиженно сказал Пастухов,— но в каком положении окажется Совет, если горожане увидят завтра мою семью на узлах и чемоданах, как цыган, под открытым небом?

— Этого не может быть. Жилищный отдел обязан дать помещение, хотя бы временное.

— Где-нибудь в бараке? — спросил Пастухов, легонько кланяясь, как бы в благодарность за утвердительный ответ, который он предвосхищал.

— Возможно,— бесчувственно сказал Извеков.— Во всяком случае, мы не будем проводить дополнительную муниципализацию домов, чтобы устроить вас в квартире.

Пастухов стоял, точно памятник самому себе — с опущенными руками, неподвижный и будто покрупневший. Вдруг сорвавшимся неверным голосом он выговорил, шумно вздохнув:

— Вы меня толкаете... бог знает на что!

— Мне не интересно, на что я вас толкаю,— быстро ответил Извеков.— Вы старше меня, у вас на плечах своя голова... Что такое? — спросил он тут же у вошедшей стриженой барышни.

— Вас ждут на заседание.

— Да, я кончил. Сейчас иду.

— Будьте здоровы,— негромко сказал Пастухов и коротким шагом пошел из комнаты, не подав руки.

Как только затворилась за ним дверь, Кирилл велел вызвать к телефону военного комиссара. Пока барышня вертела ручку аппарата, постукивала рычажком, читала наставления центральной станции, он успел несколько раз пробежать по кабинету из конца в конец. Потом он сам вступил в бой с телефонисткой, добился соединения и сказал военкому:

— Мне тут на тебя жалуются, что ты выселяешь из квартиры одного гражданина... Да, есть такой гражданин... Арсений Романыч Дорогомилов. Можешь узнать о нем у Рагозина, если хочешь... Как первый раз слышишь? Выбрасывают человека на улицу, а тебе неизвестно?.. Что ты меня спрашиваешь? Я должен тебя спросить — кто приходил. Приходили выселять от твоего имени... Как так — не нуждаешься в помещении? Странно. Разберись, пожалуйста... Ясно, что есть дела поважнее. Думаешь — у меня нет?.. Распутай, прошу тебя, а то нехорошо получается. И позвони мне.

Кирилл с силой хлопнул себя руками по бокам, отошел к окну. Не мог же Пастухов сочинить все от начала до конца! Вон он шествует вдалеке по тротуару, тем же коротким шагом оскорбленного и сдерживающего себя человека, каким покинул кабинет. Разве только прибавилось в осанке надменности, да голова поднялась немного выше, да правая рука значительно и в то же время свободно отсчитывает такт шагов. Нет, такой человек не может безответственно наболтать черт знает что! Такой человек уверен, что занимает свое место во вселенной не напрасно. Такому человеку уступают дорогу, по привычке уважать тех, кто знает себе цену. Тут что-то не то...

Да, тут было что-то не то. Пастухов шел полной достоинства походкой. Но это была прирожденная стать и привычка носить себя по земле сообразно представлению о выдающейся своей породе. На душе же Александра Владимировича не оставалось и следа порядка. Она была унижена и отвергнута миром, она с тоскою твердила одно: вот ты, красивый, статный, когда-то независимый, идешь по улице по-прежнему изящными шагами, так знай же — это твои последние шаги! Любуйся собою, неси свое добротное, складное, едва ли не великолепное тело в неизвестность — это твое последнее любованье, твои последние часы! Прощайся, прощайся со всем, что видишь. Прощайся с собой, ты скоро перестанешь быть.

Александр Владимирович возвратился домой мрачный, и Ася поняла, что они потерпели поражение. Он бросил шляпу, скинул пиджак, грузно придавил собою стул. Он был, как никогда, тяжел.

— Ну? — с извиняющейся улыбкой спросила Ася.

— Змий соблазнял меня вкусить от древа познания,— сказал он.

Она улыбнулась смятеннее, но игривей:

— И что же, грехопадение свершилось?

— Завари мне свежего чаю.

Он налил такого крепкого чаю, что она испугалась за его сердце. Он лег и пролежал до сумерек, глядя в потолок.

Потом он вывел Асю в сад. Они сели на перевернутую тачку, которую любил катать по дорожке Алеша. Они говорили неторопливо о вещах ясных и одинаково близких им обоим. Решение уже сложилось, но они вели к нему друг друга нарочно с оглядкой, проверяя заново все пережитое.

Они надолго примирились бы с тишиной этого заброшенного сада, где просвирник, перевитый вьюном, бедно стлался под ногами, да мальвы жались к забору, да плотные тополя навесом заслоняли небо. Конечно, это не был райский сад, но потому, что их изгоняли отсюда прочь, им было жаль его. Еще вчера беглецы, се-

годня они становились изгнанниками. Им оставалось стремиться к другому такому же укромному углу. Тот самый Балашовский уезд, вожделенный и недосягаемый, ради которого они покинули Петербург, опять делался единственной целью. Там, конечно, еще сохранилась хуторская усадьба, где доживали старики Анастасии Германовны, там найдется и хлеб, и кров над очагом, там никто не посягнет на человеческую неприкосновенность. Они договорились отправиться туда немедленно.

Вечером Пастухов сообщил решение Дорогомилову.

Арсений Романович в последнюю неделю обретался в непреходящем возбуждении. События будто дразнили его честолюбие. Он корил себя бездействием. В городе росла тревога, люди на разные лады готовились встретить надвигавшуюся грозную перемену. А он листал за конторкой ведомости и гроссбухи, как это делал всю былую жизнь. Он сердился на свою неспособность повернуть с проторенной дороги. Известие о том, что выселение из насиженного гнезда должно состояться, он встретил вдруг без всякого противления, но с тайной надеждой, что это будет толчок к каким-то очень важным действиям — может быть, к переходу на военную службу, а то и к выступлению на фронт. Да, он сменит заветшалый сюртук на гимнастерку, подтянется ремнем, выкинет галстуки, сбреет бороду и гриву! Маршировать он может превосходно, ходоком он был всегда неутомимым! Жизнь, в сущности, позади, но она еще теплится, и тепло ее надо отдать за благородное дело.

— Позвольте,— изумился Арсений Романович, когда Пастухов объявил, что завтра увозит семью в Балашов,— ведь там, подать рукой, идут бои! Как же можно — с мальчиком? Там кругом — белые!

— В нашем положении безразлично — какие. Раз меня до этого довели. Нам нужен дом,— даже с некоторой заносчивостью ответил Пастухов.

Арсений Романович не сказал на это ни слова, а только отшатнулся немного и потом молча, совершенно неучтиво удалился к себе темным коридором.

Короткий этот разговор слышал Алеша. Его поразило, как отвернулся Арсений Романович от отца. Он ни разу не замечал на лице Дорогомилова такого осуждения. Он насилу заснул, и ночью все время свергался и летел то с колокольни, то с горного обрыва, то с самого кончика мачтовой реи — в бурлящую воду, и просыпался в горячем поту, и слышал, как мама и Ольга Адамовна шуршат на полу газетами, завертывая посуду, и папа сопит, продергивая в свистящие пряжки и затягивая с хрустом ремни саквояжей.

К Вите и Павлику Алеша питал уважение с того первого часа, как увидел их в настоящей драке. Он ощущал перед ними почти-

тельный страх, как перед существами несравненно более ценными, чем он сам, и привык говорить им всю правду. Поэтому, когда на другой день мальчики забежали в обед к Арсению Романовичу, он приготовился обо всем рассказать. Но, очутившись с ними в саду, он догадался, что уже все известно, и ему сделалось почему-то до боли стыдно.

Павлик и Витя разглядывали его еще отчужденнее, чем в минуту незабвенного знакомства в кабинете Арсения Романовича. Павлик даже выпятил нижнюю губу, точно приготовился сплюнуть. Витя насвистывал неизвестный и потому крайне поддразнивавший мотив. Наконец он точно сжалился над растерянным Алешей и спросил презрительно:

— Утекаете?

— Мы уезжаем к маме домой. Это на хуторе у дедушки с бабушкой,— старательно объяснил Алеша.

— Рассказывай. Чего же раньше не уезжали? А как дошло до драки...

— До какой драки? — спросил Алеша.

— До такой...

— Они — белые,— сказал высокомерно Павлик.

— Нет, мы не белые,— сказал Алеша слабым голосом.

— А чего же вы против красноармейцев? — спросил Витя.

— Мы не против красноармейцев,— возразил Алеша, и один глаз его заблестел от слезы.

Все трое постояли безмолвно, не глядя друг на друга.

— Вы сердитесь? — робея, спросил Алеша и чуть подвинулся к Вите.

— Охота была! — ответил Павлик.

— Чего сердиться? — согласился Витя.— Ты маленький, тебя возьмут и увезут.

— Это все папа! — воскликнул Алеша отчаянно и с благодарностью за то, что Витя его понял.— Мне жалко Арсения Романовича... и вас тоже,— прибавил он, страшно краснея.

— Бедные лучше,— обличительно произнес Павлик.— Мой вот отец беднее твоего, а лучше. Только зашибала.

— Как зашибала? — спросил Алеша.

— Ну, когда на него найдет, он зашибает.

— Бьет?

— Не бьет... а пьет! Чудак ты какой...

Они еще постояли, и Павлик позвал Витю:

— Идем, чего дожидаться?!

Они ушли, не попрощавшись с Алешей, и он остался один, около черной лестницы, перед растворенной дверью, через которую

долетал сверху шум: там выносили в коридор запакованные тяжелые вещи.

Потом к этому волнующему шуму прибавились шаги по ступенькам, и Арсений Романович, без шляпы, расстегнутый и косматый, показался в дверях. Он пробежал мимо Алеши и уже взялся было за щеколду калитки, но вернулся.

Обняв Алешину голову, он с жаром трижды прижал ее к своему животу и потом словно залил лицо Алеши путаными холодноватыми волосами своей бороды. Весь этот необъяснимый, исступленный порыв объятий и поцелуя длился маленькую долю секунды, и затем, оторвавшись от Алеши, Арсений Романович опять побежал к воротам.

И когда до Алеши долетел дребезжаще звонкий стук калитки и он увидел, что остался опять один, совсем один! — он зажал кулаками глаза и, дергаясь от плача, стал медленно взбираться по лестнице на верхний этаж. Он так отчетливо понимал, что с ним произошло, что невольно находил новые, недавно совсем чуждые ему слова, определявшие его переживание. Ему казалось, что, всхлипывая, он выговаривает эти необыкновенные, отчаянные слова. Но он только плакал. Вместе с мамой и папой, вместе с Ольгой Адамовной он был отверженным и бежал неизвестно куда! Его все презирали за то, что его отец был хуже бедных, за то, что сам он был ничтожнее и малодушнее Павлика с Витей! Его жалел один Арсений Романович, жалел, любил, но не мог его спасти и покинул навсегда.

Алеша остановился наверху, в летней кухне, около плиты. Он отнял кулаки от глаз и, как когда-то, в первые минуты после приезда в этот дом, увидел перед собой спасательный круг.

Прекрасная вещь лежала на старом месте. Сколько было связано у Алеши ожиданий с этим кругом! Несостоявшиеся походы за рыбой, путешествия на пески к далекому коренному руслу, гребля веслами, может быть — горячая работа за парусной оснасткой, может быть — купанье в пароходной волне, и, уж конечно,— костры, костры, костры! Когда Арсений Романович ездил с мальчиками на лодке, он брал с собой этот круг, как верного товарища. И вот с этим верным товарищем Арсения Романовича Алеша прощался теперь, как с утраченной надеждой. Он чувствовал, что гибнет и что ничто на свете его не спасет.

Он погладил шершавое раскрашенное пробковое тело круга, подержал оцеплявшие это тело веревочные петли и крепко припал к нему влажной щекой.

Голос мамы прозвенел в коридоре: «Где наш Алеша, где Алеша?»

Он вытер насухо глаза, щеки и крикнул сурово:

— Я здесь! Пожалуйста... без волнений...

Еще до заката солнца Пастуховы прибыли, позади груженных багажом тележек, к вокзалу. Дорогомилов их не провожал. Алеша слышал, как Ольга Адамовна сказала маме: «Он мог не провожать, но проститься он был обязан... этот неприличный господин!» На что мама заметила со своей едва уловимой задумчивой улыбкой: «Он — строгий судия...»

Пастухов не участвовал в разговорах. Его захватило зрелище страстной и многоликой жизни, бившей на площади. Так же как весной, его семья беспомощно стояла перед вокзалом, прикованная к несуразной куче вещей, которую надо было оберегать от нетерпимой человеческой стихии. Но до чего разительны были изменения, происшедшие за недолгие месяцы!

Прежде всего, вокруг стало гораздо больше людей. Образуя сплошную массивную толпу, они рвали ее изнутри потоками, завихреньями маленьких толп, кучек и горсток. Одни текли и текли в вокзальные двери, другие напирали навстречу, вылетая наружу целыми гроздьями спрессованных, как изюм, едва не размятых тел.

Что дальше бросалось Пастухову в глаза — это обилие вооруженных красноармейцев. Они тоже непрерывно двигались в людской массе, то группами, то в одиночку. Повсюду над головами взблескивали исчерна-серебристые иглы штыков. Скинув с мокрых, почерневших плеч скатанные солдатские шинели, бойцы тащили их в руках, будто шли с хомутами запрягать лошадей, и тяжелая эта ноша казалась ненужностью среди распаренной зноем потной толпы, странно напоминая о далеких, неправдоподобно холодных ночах.

Огибая огромной живой скобой всю площадь, шевелились на мешках семьи беженцев. Витал неровный ропот голосов, и как бы ни был резок отдельный звук, он не мог отодвинуть этот ропот или стушевать его,— ни громко звякавший где-нибудь поблизости жестяной чайник, ни детский жалобный крик, ни даже перекатывающийся через крышу вокзала сполошный вопль паровоза. Шум был слитен и сомкнут, и чудилось — даже мысль человеческая не могла бы тут зародиться обособленно от разноголосого и тысячеголового единства во множестве.

Неожиданно перед задумавшимся Пастуховым остановился военный в одежде с иголочки. Он был слегка загорелый, худой и словно только что вымытый. Улыбка раздвигала ямку на его подбородке. Он смотрел предельно увлекшимся взглядом молодости на Пастухова, ожидая — что же может получить в ответ.

— Вы меня ни за что не признаете,— пробормотал он наивно, не вытерпев слишком долгого молчания.— У меня ведь была борода!

— Борода,— повторил за ним Пастухов.

— Вы нам тогда показывали ленточку,— вдруг сказал Алеша.

— Совершенно верно! — обрадовался военный.— Дибич. Я — Дибич.

— Боже мой, ну конечно! — воскликнула Ася.— Вы прямо-таки расцвели!

— Что вы! Просто — поправился. В первый раз за столько лет чувствую себя здоровым. А вы?.. Куда же опять собрались? Все еще не доехали?

— Вы, я вижу, уже... доехали,— проговорил Пастухов, останавливая медлительный взгляд на красной звезде Дибичевой фуражки.

— Да,— сказал Дибич все с той же улыбкой,— опять в армии. Формирую новые части.

— В канцелярии? — полюбопытствовал Пастухов.— Командовать вас, конечно, не допустят?

От Дибича будто отскакивали эти маленькие уколы. Он говорил живо, нисколько не тая восторга, что встретил приятных знакомых.

— Что там командовать! Теперь сколотить новую часть, пожалуй, хитрее, чем отбить у противника позицию. Заваруха — страсть!.. А я вас на днях вспомнил. Знаете почему? Помните солдата, который нас чуть не арестовал тогда, в Ртищеве?

— Белоглазый?

— Да, да. С одним глазом — в другом у него осколочек. Ипат Ипатьев.

— Ну?

— Так он ко мне явился добровольцем записываться. Вспомнили Ртищево, посмеялись. Смотри, говорю ему, что ты хотел учинить: человек революцию делал, а ты его в каталажку потащил... Я, когда лежал в лазарете, о вас заметку прочитал,— добавил Дибич с оттенком почтения.

— Да,— произнес Пастухов несколько властно и зажал двумя пальцами поясную пряжку Дибича.— Скажите мне. Неужели вы не понимаете, что впутались в историю, которая обречена?

Дибич неторопливо сдвинул фуражку на затылок.

— В историю? — переспросил он.— Да. С большой буквы.

— Но вы будете жертвой этой большой буквы! — резко сказал Пастухов и выпустил пряжку, немного оттолкнув от себя Дибича в пояс.

— Может быть,— серьезно согласился Дибич, но тут же, с вызывающей хитростью, как-то снизу, нацелился на Пастухова и спросил: — А если нет?

— Если нет? — помедлил Александр Владимирович.— Если нет, значит, я дурак.

Дибич засмеялся:

— Ну, если вы хотите...

Ася, со своим тонким чувством опасности, вмешалась, озаряя Дибича любвеобильным сиянием лица, которое он помнил с первой встречи:

— Чем же вы сейчас здесь заняты?

— Я тут с маршевой ротой из моих формирований. Провожу ее до Увека, там — перегрузка на пароходы. Фронт совсем недалеко. Вчера белые Камышин взяли. Слыхали?

Пастухов быстро взглянул на жену. Она сказала, прикрыв волнение шутливо-просительной улыбкой:

— Но значит, вы на вокзале — у себя дома! Может быть, и нас, бедных, погрузите?

— Куда же, куда вы собрались?

— Все туда же — домой.

— Домой? — ухмыльнулся Дибич.— Это как в сказке... Нет, правда,— в Балашов? Не легко. Но попробую.

Он затерялся в толпе, и его долго не было. Уже начинало темнеть, когда он пришел снова и сообщил, что разговаривал с комендантом вокзала, и тот ждет, чтобы Пастухов явился лично. Дибич наспех распрощался — рота его уже стояла на колесах.

Если бы в эту минуту Пастухову сказали, что ему предстоит десятеро черных суток ползти в товарном вагоне, простаивая дни и ночи на станциях и разъездах, чтобы опять приехать не туда, куда стремился, он предпочел бы раскинуть семью табором где-нибудь за полотном дороги, в Монастырской слободке, или подальше, в Игумновом ущелье, под садовым плетнем. Но он, закусив губы, добился посадки и тронулся в путь, как в плавание на утлом плоту по неизведанным водам.

Снова он попал в Ртищево, забитое вагонами, конями, платформами, ротными кухнями, интендантским сеном, некормленым скотом, поломанными автомобилями и людьми, людьми без счета. Снова он ходил по комендантам, начальникам, комиссарам, упрашивая, требуя, чтобы его пересадили на балашовский поезд. Он исхудал, истрепался. Ася потеряла сверкание своих красок, улыбка ее стала бедной. Алеша помногу спал или дремал, положив голову на колени Ольги Адамовны. Вокруг было серо от пыли и полыхало жаром иссушенных степей.

Раз поутру Пастуховы проснулись на полном ходу поезда. С громом и скрежетом сцеп вагон, раскачиваясь и гудя, летел по спуску между захудалых черных сосенок вперемежку с березняком. Как случилось, что вагон отправили с неизвестным составом,

куда мчится поезд и давно ли — никто не мог понять. Наконец на маленькой станции выяснилось, что вагон прицепили к порожняку, который гонят в Козлов.

— Наплевать,— сказал Пастухов,— я так или иначе ничего не понимаю. Не все ли равно? В Козлов ли, в Баранов...

Он увидел отчаяние на лице Аси и как можно спокойнее договорил:

— Это даже лучше. Из Козлова скорее попадем в Балашов. Через Грязи... или как они там называются...

Он бросил взор на Ольгу Адамовну и, будто сорвавшись, закричал изо всей мочи:

— Перестаньте тереть глаза, мадам! Вы живете в историческую эпоху! И обязаны быть ко всему готовой... Черт вас возьми совсем!

20

В первой декаде июля было опубликовано письмо Центрального Комитета Российской Коммунистической партии (большевиков) к организациям партии — «Все на борьбу с Деникиным!». Письмо было написано Лениным. Оно начиналось словами:

«Товарищи! Наступил один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции...»

Колчак и Деникин признавались этим письмом главными и единственно серьезными врагами Советской Республики. Вместе с тем устанавливалось, что только помощь Антанты делала этих врагов силой. И вместе с тем, несмотря на признание момента самым критическим, письмо провозглашало как свершившийся факт победу над всеми врагами: «И мы уже победили всех врагов, кроме одного: кроме Антанты, кроме всемирно-могущественной империалистской буржуазии Англии, Франции, Америки, причем и у этого врага мы сломали уже одну его руку — Колчака; нам грозит лишь другая его рука — Деникин».

Для того чтобы отразить эту занесенную над Республикой еще не сломанную руку врага, Ленин призывал партию приспособить к войне и перестроить по-военному всю работу всех учреждений. Он предлагал, не колеблясь, приостанавливать на время ту деятельность, которая не абсолютно необходима для военных целей. Он писал: «В прифронтовой полосе под Питером и в той громадной прифронтовой полосе, которая так быстро и так грозно разрослась на Украине и на юге, надо все и вся перевести на военное положение, целиком подчинить всю работу, все усилия, все помыс-

лы войне, и только войне. Иначе отразить нашествие Деникина нельзя. Это ясно. И это надо ясно понять и целиком провести в жизнь».

Письмо, исполненное убеждения, похожего на остроту и твердость алмаза, отозвалось, словно в горах, повсюду разраставшимся эхом. Касаясь будущего страны в целом, судьбы всей революции, письмо каждой строкой било как бы по отдельному месту, по определенному факту, по особому, как бы вполне оазисному положению. Так, для тех, кто в эти дни жил событиями Саратова, было совершенно очевидно, что отдельным местом, которое будто бы подразумевалось в письме, был именно Саратов; определенными фактами были саратовские, нижневолжские общественные факты; особенным положением, как бы выделенным из всероссийской обстановки, было оазисное саратовское прифронтовое положение. Другими словами, в Саратове письмо рассматривалось людьми, сочувствовавшими революции, как адресованное всей Республике вообще, а Саратову в частности и, пожалуй, даже в особенности.

Рагозин, прочитав письмо один раз на службе, во время занятий, другой — у себя дома, при свете керосиновой лампы и с карандашиком в руке, написал заявление в две строки о том, чтобы его перевели на военную работу.

Он был вызван в губернский комитет. Член бюро комитета сообщил ему, что освобождение от должности в финансовом отделе в данное время невозможно: благодаря усилиям Рагозина работа только начала налаживаться, и уход руководителя отразится на ней печально. Петр Петрович был вполне готов к возражениям, считая их естественными. Он извлек из кармана испещренный карандашом — в черточках, птичках и восклицательных знаках — печатный документ, отыскал жирно отчеркнутый абзац в разделе «Сокращение невоенной работы» и принялся читать вслух:

— «Возьмем для примера научно-технический отдел Высшего совета народного хозяйства. Это — полезнейшее учреждение, необходимое для полного строительства социализма, для правильного учета и распределения всех научно-технических сил. Но безусловно ли необходимо такое учреждение? Конечно, нет. Отдавать ему людей, которые могут и должны быть немедленно употреблены на насущную и до зарезу необходимую коммунистическую работу в *армии* и *непосредственно* для армии, было бы в настоящий момент прямо преступно».

— Позволь,— остановил Рагозина его оппонент.— Ты думаешь, мы тут этого не изучали?

— Изучали-то изучали, а ты разреши еще пару строчек. «Такого рода учреждений и отделов учреждений у нас, в центре и на местах, очень немало. Стремясь к полному осуществлению социа-

лизма, мы не могли не начать сразу постройку подобных учреждений. Но мы будем глупцами или преступниками, если перед грозным нашествием Деникина не сумеем *перестроить рядов* так, чтобы *все,* не безусловно необходимое, *приостановить и сократить*».

— Так что же, по-твоему, можно закрыть финансовый отдел?

— Можно закрыть меня в финансовом отделе.

— Кабы так, мы бы тебя туда не поставили.

— В свое время, в свое время! — выразительно сказал Рагозин и даже поднял над головой палец.— Мы ведь, как видишь, не против науки и техники? Не против. Но сейчас не до того. Верно я понимаю? Не до того... Финансами может управлять кто-нибудь другой. Об этом тоже определенно сказано. Смотри.

Он опять развернул документ, нашел другое отчеркнутое место и, читая, провел по строкам сложенными в щепоть пальцами:

— «...мы можем идти на такой риск, чтобы многие из сильно сокращаемых учреждений (или отделов учреждений) оставлять на время *без единого коммуниста*, сдавать их на руки работников исключительно буржуазных».

— Ты читай дальше,— сказал член бюро, видя, что Рагозин поставил точку, и вытягивая из его рук документ.— Что дальше сказано? «Этот риск невелик, ибо речь идет только об учреждениях, не безусловно необходимых...» Понял? А твой отдел необходим безусловно.

— Я тоже грамоте учился,— сказал Рагозин, поднимаясь и обходя вокруг стола. Он плотно привалился к товарищу и продолжал по-прежнему водить щепотью по бумаге, но уже не читая, а пересказывая напечатанное настойчиво и строго: — Какой ставится вопрос? Погибнем ли мы, если приостановим или сократим работу учреждения на девять десятых, оставив его вовсе без коммунистов? Кому поручается ответить на вопрос? Каждому руководителю ведомственного отдела в губернии или каждой ячейке коммунистов. Руководитель я отдела или нет? Могу я сам ответить на вопрос? Или, может, за меня ячейка должна ответить?

— Да за тебя уже отвечено,— раздосадованно сказал товарищ, отстраняя слишком тяжело навалившегося Рагозина.— И отвечено не ячейкой, а бюро губкома. Ты хочешь отозваться на призыв партии? Изволь. Финансируй погуще того, кто работает на войну, и зажимай всех, чья работа сейчас мало полезна войне. Вон в Затоне, на ремонте военной флотилии, недостает металлистов. Подкинь туда деньжонок, может, и металлисты найдутся.

Петр Петрович остановился на неудобном повороте корпуса, будто схваченный внезапной болью.

— А почему не слышно, что в Затоне не хватает металлистов? Я ведь тоже металлист.

— Опять свое! Людей берут от станков на руководящую работу, а ты от руководства к станку захотел!

— Да я не о том! В депо, на дороге, должны найтись старики, которые меня помнят,— я сколько лет там слесарничал. Их можно поднять, и — в Затон! Поручишь мне заняться?

— Что ж поручать? Делай. Только чтобы не во вред прямым обязанностям.

Рагозин слегка подмигнул:

— Я обязанности подсокращу. Не на девять десятых, а этак, скажем, на восемь.

— Шутить не время.

— Ладно, ладно! — уже в дверях сказал Рагозин со смехом.— На семь, на семь десятых, не больше, ей-богу!..

Так он попал сначала в депо — под задымленные, дышавшие гарью своды цехов, где сквозняки вели свои кадрили, присвистывая в пробитых черных стеклах, а потом — в Затон, под вольный свод неба, куда летели наперегонки яростные стуки клепальщиков, визг напильников, хрипы плотничьих пил.

В депо отыскались всего два токаря, которые припомнили далекое прошлое и от души покалякали со старым знакомым, но только один согласился прийти на работу в Затон («в порядке субботника», как он выразился), потому что на железной дороге своего дела было — не передохнуть. Зато оба обещали сагитировать на подмогу речникам кое-кого из молодых рабочих.

В Затоне Рагозин начал с помощи денежному ящику расплывшегося хозяйства, слабосильного, по сравнению с необычайными задачами, поставленными перед ним войной. Но, обходя суда, Петр Петрович попал на буксир, где расшивали железные листы фальшборта, взялся пособить, да так до вечера и не выпустил из рук тяжелого молота. После этого, приезжая в Затон на часок каждое утро, он прямо шел на этот полюбившийся буксир, и в руках его перебывали все инструменты, которыми когда-то он недурно владел. Власти удивительно скоро привыкли к тому, что за делами Затона наблюдает Рагозин, и не успел он оглянуться, как его потребовали к ответу: почему ремонт флотилии идет преступно медленными темпами? Он только позадорнее щипнул колечко своего уса:

— Вот тебе, непоседа-дурак,— напросился в преступники!..

Сейчас же после падения Царицына отряды военной речной флотилии, с успехом оперировавшие на Восточном фронте против Колчака, были отозваны из Камского бассейна на Нижнюю Волгу. Совпало это со взятием Красной Армией Перми.

Суда прибыли в район военных действий на юге, оказали артиллерийскую поддержку частям армии, которые сражались на берегах Волги, но вынуждены были вместе с этими частями отступить сперва к Камышину, затем дальше вверх на полторы сотни верст. К этому времени в боях принимала участие флотилия в несколько десятков судов, колонна ее растягивалась на версты, судовая артиллерия насчитывала до ста орудий. После отступления один из отрядов был снова направлен в глубокий тыл противника с заданием громить тыловые части Врангеля. В рейде он высадил несколько мелких десантов военных моряков, вызывая панику среди белых, внезапно обстрелял Камышин и лежащую против города, на левом берегу, Николаевскую слободу, стремясь поколебать приближавшийся к Саратову деникинский фронт.

Операции сопровождались серьезными потерями. Противник донимал речные силы интенсивными бомбежками с воздуха. Часть судов должна была стать в ремонт. В ремонте или на перевооружении находились и другие суда, готовившиеся влиться в Северный отряд Волжской военной флотилии, которому предстояло оборонять Саратов от врага. Город принял оттенок морского — с военным портом, черноморскими и балтийскими матросами, с особым флотским режимом, еще недавно совсем незнакомым мирному волжскому судоходству.

Тихие буксиры, привыкшие испокон века добродушно тянуть караваны баржей, да и сами баржи, с развешанным на рулевом бревне разноцветным бельем водолеев, наспех превращались в огнедышащие плавучие крепости. Буксиры становились канонерскими лодками, баржи — вспомогательными судами для десантов, для переброски пехоты при форсировании рек. Иные канонерки бывали внушительно вооружены — на наиболее сильных из них устанавливались два четырехдюймовых орудия, два трехдюймовых зенитных, четыре пулемета, им давалась радиостанция, дальномер.

Переоборудованный в канонерку буксир терял невинный облик парохода. На нем взвивался флаг Красного Военно-Морского Флота. Он переставал причаливать к конторкам: он пришвартовывался к стенке или становился на прикол. Уходя, он не отдавал чалки: он отдавал концы. Он уже не мерил задумчивый свой путь извечными верстами: он расценивал свои походы на мили. Про него уже не говорили, любуясь: ишь как бойко бежит! Нет: он имел хороший ход в двенадцать узлов. На его мостик больше не поднимался капитан: там высился командир. И даже старые его хозяева — матросы меняли прежнее свое имя водников на славное звание военморов.

Только одного человека не мог заменить на волжском судне никто из моряков, и этот человек лукаво поглядывал на боевые новшества. Шалишь, думал он, без меня ваша морская крепость, не моргнешь глазом, станет на обсушку: один я знаю кормилицу-матушку с ее мелями да перекатами, банками да косами. Человеком этим был урожденный волгарь-лоцман, который и в военной флотилии оставался душою многотрудного вождения судов по мелким водам. Впрочем, и сама канонерка, несмотря на всю перелицовку, в глубине души оставалась буксиром, который лихо шлепал гребными плицами да твердо помнил, что осадка его — неполных два фута, а мощность машины — каких-нибудь двадцать пять лошадиных сил.

Такому маленькому буксиру и отдал свою нечаянную привязанность Петр Петрович. Суденышко называлось «Рискованный», и это понравилось Рагозину. Оно вооружалось руками водников-добровольцев, но когда явились военные моряки, чтобы принять «Рискованного» в состав флотилии, они ахнули. На палубе, вдоль бортов, сооружен был из обыкновенного кровельного железа широкий фальшборт. Внутреннее полое пространство его заполняла пакля. Кое-где в этом грозном каземате были проделаны бойницы для стрельбы из ружей и пулеметов. С носа и с кормы фальшборт был открыт, и оттуда торчали по одному полевому трехдюймовому орудию на колесах. Никаких креплений орудия не имели.

— Братишечки, милые,— сказали моряки,— да ведь ежели вы откроете огонь с этого вашего монитора, пакля-то ведь вспыхнет! Да и фальшборт ваш кувыркнется в воду. Не-ет, это слишком рискованно даже для «Рискованного». Давайте-ка всё сначала.

Приказано было разобрать бойницы и перевооружить судно. Рагозин застал на нем сокрушающую работу в разгаре. Она втянула его запалом речного люда — машинистов и матросов, кочегаров и пристанных крючников, которые строили сначала эту маленькую крепость на защиту Республики своим волжским, невоенным разумением, теперь без жалости рушили ее, не щадя сил, и собирались так же истово строить вновь разумением морским и военным. Рагозину казалось, что вот такой работы — с потом, кровью, до устали, до упаду, работы, истинно вдохновленной наивысшей целью защиты найденной и попираемой врагом правды,— такой работы он и хотел всю жизнь. Но он не мог позабыть и того своего долга, который возлагали на него еще не снятые обязанности, сокращенные им не на девять и не на семь, а всего на каких-нибудь две десятых, «маненечко», как он говорил про себя. И он, после короткой работы, выходил из ворот Затона, охраняемых матросом под винтовкой, выходил вспотевший, с пожелтелыми от ржавчины и масла ладонями, но нисколько не усталый, а только

счастливо притомленный, и у него не было раздражения, что он опять должен сесть за бумаги, где почти не встречалось слов, а только — цифры и цифры, и астрономически, до невообразимой абстракции, много нулей и нулей.

Но однажды, выйдя из ворот и взбираясь в перекошенную, облезлую пролетку, добросовестно служившую ему все лето, Рагозин почувствовал какую-то недостачу, словно бы спохватившись о некоторой позабытой важной вещи и не в силах сразу догадаться, что именно забыто. Как будто что-то держал в руках, а руки пустые.

Кучка мальчуганов-распоясок баловалась у придорожной канавы. Старший ударил ногой обломок кирпича, сбросив его в канаву, за ним все по очереди сделали то же, выискивая себе подходящие камни. Самому младшему показалось этого мало, он схватил тяжелый кирпич обеими руками и, свирепо напыжившись, кинул его в канаву. На него никто из товарищей не смотрел, он, видно, старался заработать их уважение.

Этот маленький богатырь чем-то был похож на Павлика Парабукина.

— А что, если...— спросил Рагозин кучера,— что, если мы с тобой возьмем вон по той горной дороге? На Симбирский тракт мы не выедем?

Оказалось — почему бы и не выехать? И Рагозин совсем неожиданно для себя велел ехать.

Намерение разыскать сына не оставляло его. Но оно зрело рывками — то заноет сердце, то притихнет и забудется. С месяц назад он вдруг поехал в скит с целью нащупать какие-нибудь концы в тамошнем детском доме. Ему не давала покоя мысль, что сын, наверно, обретается в доме для трудновоспитываемых. Где мальчику иначе быть? Родился в тюрьме, рос, поди, в приюте, какое у него может быть воспитание? Попал, конечно, на улицу, испортился вконец, может, и ворует. Сколько таких несчастных кишит на берегу, на вокзале, на рынках!

В скиту о мальчике Рагозине ни воспитатели, ни дети не слышали. Один только учитель, служивший тут дольше других, начал что-то такое смутно припоминать: будто бы, когда он поступил на службу, одного мальчика, как правонарушителя, отправили на Гусёлку, в трудовую колонию, и мальчик по фамилии был не то Ремезов, не то Рагозин. Документов в доме не сохранилось, старые воспитатели ушли, детей прежнего состава тоже не было, все непрерывно менялось, перетасовывалось, ведомства нередко тягались между собою, оспаривая друг у друга компетенцию воспитания детей, суда над малолетними: в надзоре за детскими учреждениями участвовали сразу народные комиссариаты общественного призре-

ния, юстиции, просвещения, здравоохранения. В таких хитросплетенных обстоятельствах, как в дремучем бору, не хитро, конечно, было затеряться мальчику, особенно если неизвестно — существует ли в действительности этот искомый мальчик.

Покидая детский дом, Рагозин встретил в скитской роще одутловатого монаха, который, тяжко опираясь на посох и опустив глаза долу, брел между дубков. От учителя Рагозин узнал, что это — мирный сосед детского дома, викарный архиерей, и подумал не без досады: архиереи в полной сохранности, а в детском хозяйстве черт ногу сломит! А ведь архиереи — прошлое? Да. А дети-то — будущее? Да. Вот тут и покумекаешь...

Сейчас, трясясь по унылой дороге к Пристанному селу, Рагозин вспоминал, что доводилось слышать о Гусёлке. Имя это вселяло некогда страх. Гусёлка слыла жестоким наказанием для малолетних преступников, и если хотели непослушника запугать, то грозили ему Гусёлкой, а если о ком-нибудь говорилось, что он из Гусёлки, то взрослые пугались больше детей.

Вскоре завиднелись скучные каменные корпуса и на большом отстоянии от них — тягучие, кое-где щербатые заборы, ограждавшие небогатую зелень. Волга сверкала вдалеке. Обожженные горы были охрово-желты.

Дорога привела на обширную садовую и огородную плантацию. Было ярко на грядках и свежо. Шла поливка сада, и подростки — девочки и мальчики в серых блузах и платьях — мотыжили лунки под яблонями. Молодежь показалась Рагозину оживленной, поодаль слышался смех. Гусёлка, как видно, успела помрачить сияние былого своего мученического нимба.

Директор был в отъезде, и Рагозину пришлось говорить тут же, в саду, с очень юной воспитательницей. Она без всякой заносчивости сказала, что знает дела не хуже директора, потому что сама из Гусёлки — прошла исправление и теперь исправляет других.

— И с успехом? — спросил Петр Петрович недоверчиво.

— Как же иначе?

О мальчике Рагозине она ответила не моргнув глазом, так что Петр Петрович не дал ее словам никакой веры.

— Был, я знаю. Только он весной смылся.

— Как смылся?

— А как от нас смываются? Я его хорошо не запомнила, он был в мастерских, а не в садоводстве.

— Сколько ему лет, не знаете?

— Лет четырнадцать.

«Так и есть, болтает»,— решил Рагозин и спросил, как пройти в канцелярию. Она показала — так вот прямо, потом наискосок,

к правому корпусу. Но когда он сделал несколько шагов, она крикнула ему:

— Там никого нет. Сегодня канцелярия на картошке.

Он уехал ни с чем. Очевидно, происходила путаница, он напал на чужой след. Надо было идти совсем иным путем — не снизу, где, как в пучине, тысячеголовыми стаями мальков ходят похожие друг на друга человеческие детеныши, а сверху, откуда можно пронзить загадочную глубину разящим лучом прожектора и сразу безошибочно вырвать из стаи единственно нужную рыбку. Должны же где-нибудь находиться эти станции прожекторов — архивы, описи, книги, в которых под точной датой и точным номером значится заброшенный, наверно славный мальчишка — родной сын Петра Рагозина и его жены Ксаны...

Петр Петрович явился на службу не в духе, с порядочным запозданием. Его ожидало много народу. Вне очереди, с изрядным спором, к нему в кабинет ворвалась странная пара.

— Товарищ Рагозин! Что у вас такое творится? — воззвал посетитель.

— Невиданно! — в голос поддержала его спутница.

Смоляного волоса, остриженный в скобку, подобный мавру, студент в панаме и серой куртке с золотыми пуговицами сел без приглашения к столу, в то время как молодая дама, напоминавшая амазонку, продолжала стоять. Несмотря на отроковическое лицо и фигуру, она держалась удивительно солидно.

Предмет разговора заключался в том, что пять дней по столам финансового отдела безрезультатно гуляло срочное требование отдела народного образования на кредиты, задержанные по статье публичных выставок трудовых процессов школьного подотдела.

— По-вашему, пять дней — долго? — черство спросил Рагозин.

— Неслыханно! — прошептала девушка.

— Срочное требование! Пять дней! Скоро неделя! — возмущался студент.— Вы вставили в нашу работу палку, когда она доведена почти до самого конца.

— Нет, палка, я вижу, еще не доведена до конца,— буркнул Рагозин с недоброй улыбкой.

— Что вы хотите сказать?.. Из-за каких-то денег! — презрительно заметила партнерша студента, в то время как тот снял панаму и зловеще взбил художническую свою прическу.

— Подотдел командировал нас, как устроителей выставки, чтобы получить нужную нам сумму. Выставка раскинута, а мы не можем ее открыть, потому что нет денег, чтобы напечатать каталог и приглашения.

— Это наши деньги, а не ваши. Вы — только касса,— опять заметила барышня, выговорив слово «касса» с отвращением, точно это было пресмыкающееся.

— Мы открываем городскую выставку детского рисунка и скульптуры,— настойчиво продолжал студент,— чтобы впервые показать достижения трудовой школы и других воспитательных...

— Ну и открывайте, пожалуйста,— прервал Рагозин.— Я тут при чем?

— Ах, ни при чем? Тогда где наши деньги, которые вы незаконно задержали? — рассерженно сказала девушка.

Рагозин ответил, сжав зубы:

— Денег на это дело сейчас не будет, и времени говорить дольше у меня тоже нет. До свиданья.

— Позвольте! От каталога мы откажемся, но хотя бы только напечатать приглашения! — неожиданно взмолился студент, и лицо его, посветлев, утратило сходство с мавром.

— Напечатайте ваше приглашение в газете.

— Но... но у нас и на газету нет!

Рагозин засмеялся.

— Что я могу сделать, дорогие товарищи! Поймите, есть нужда куда острее, чем с вашей детской затеей.

— Затеей? — потрясенно проскандировала девушка и круто поставила кулачки на край стола.— Вы здесь сидите и за своими счетами ничего не видите, что делается в мире! Вы оторвались от действительности, как настоящий бюрократ.

Рагозин раскрыл глаза. Что такое несет эта распушившаяся пичуга? Ей лучше известно, что делается в мире? Он — бюрократ? Нет, он представлял себе бюрократа несколько иначе! Ну, покруглее, что ли, или хотя бы с золотым зубом...

— Вы только и знаете — отказывать,— не унималась барышня,— мешать революционным начинаниям! Мы строим школу на трудовых процессах, готовим Республике новых граждан! Вы посмотрели бы лучше нашу выставку, прежде чем...

— Посмотрю, посмотрю,— снова перебил Рагозин,— посмотрю, на что вы швыряете деньги...

Он совсем грубо, на народный лад, рассерчал и только что не выпроводил молодых людей за дверь.

Но в памяти у него сохранилось от этого посещения что-то озорное, и когда он получил, спустя недолго, пригласительный билет с раскрашенными акварелью зелеными и красными фонариками и старательной надписью, за которой слышался тоненький детский голосок: «Дорогой товарищ, приходите, пожалуйста, к нам, на открытие выставки наших работ по рисованию и лепке»,— ему стало приятно, и он сказал, посмеиваясь:

— И гораздо красивее, чем печатные билеты. И умнее гораздо.

Он решил, что непременно зайдет на минутку поглядеть, что там такое выставили эти головастики. А то, кой грех, и правда оторвешься от действительности,— еще посмеялся он и аккуратно спрятал приглашение в карман.

21

Выставка разместилась в центре города, в залах городской аудитории, и вокруг нее, еще до открытия, было немало разговоров в известном кругу. Город имел свои традиции в искусстве — он гордился старейшим в провинции Радищевским музеем и хорошим училищем живописи. Художники росли на западных образцах—музейная галерея славилась барбизонцами и боголюбовской школой. Но предреволюционные годы внесли в художественную жизнь бурю крайних влияний, и красочный, пышный Борисов-Мусатов иным своим землякам казался чересчур пряным в бульоне, вскипяченном новейшими экспериментаторами. Тут были даже супрематисты, пугавшие саратовцев хитрыми загадками из геометрических начертаний и преимущественно двух цветов — сурика с сажей.

Шумок вокруг детской выставки шел именно в этой, не очень обширной, среде живописцев. Были две темы лютых споров. Первая касалась метода обучения искусству. По этому новому методу педагог отступал на задний план, а ученик становился на передний. Детям предоставлялось выражать свое понимание мира своими детскими средствами. Очень высоко поднимали свободную фантазию. Подражание и копирование предавалось анафеме, натуру считали необязательной. Вторая тема затрагивала цели искусства. Призвано ли оно воспитывать вкус и в каком направлении? Или, может быть, все сводится к доступности пониманию зрителя? Те, кто отстаивал эстетико-воспитательные задачи, попадали в бессмертную тяжбу течений. Вечно ли прекрасное? Что значит — развитие искусства? Фидий или Роден? «Мир искусства» или футуристы? Сторонников доступности искусства всеобщему пониманию эти спорщики обливали презрением: что значит «понятно»? — вопрошали они. Понятны не только передвижники, понятны мыльные обложки Брокаря и К°. Куда же вы поведете новое поколение?

В конце концов кучка философов затерялась на вернисаже среди толпы людей, пришедших просто из любопытства: узнать, что делается в школах и — неужели дети интересно рисуют?

Рагозин удивился, что собралось много народу. Правда, большинство, так же как он сам, забежало сюда на минутку — всем было не до того, война стучалась в городские стены, а тут взрослые играли в куклы. Но еще больше изумило Рагозина странное зрительное ощущение, когда он вошел в светлый зал и в глазах зарябило от красочных пятен, рассеянных по стенкам.

Он стал рассматривать рисунки. Это была, на первый взгляд, обыкновенная ребячья мазня, какую хорошо знают те, кому пришлось растить детей. Домики с дымом из труб лепились на бумаге, и около них — заборы, деревья, собачки, телеги. Солнца, похожие на решето с клюквой. Звезды вроде хлопьев снега. Чернильные человечки, несущие знамена помидорного цвета. Война: из пушек рвется пламя, лиловый дым застилает всю картину. Еще война: кавалерия скачет на безрогих белых козах. Опять война: убитый лежит на бирюзовой траве и рядом — письмо с крошечными буковками: «пишет тебе твой сын Володя...»

Рагозин привык видеть во всякой картине объясненную мысль. Здесь странно привлекало что-то иное. Вдруг два схожих рисунка раскрыли ему — чем было это иное. Он увидел лимонного верблюда, стоящего в розовой, как разбавленное вино, пустыне. Грустью веяло от картинки, вся безнадежность пустыни, все одиночество животного вместились в лимонно-розовое сочетание. На соседнем рисунке пунцовый конь арабской стати с длинной шеей взлетал на коричневую скалу. Конь мчался почти по вертикали, но в окраске его было столько силы, что не оставалось сомнения — он взлетит и на небо. Волнение исходило от цвета, превращенного маленьким художником в свет.

Рагозин подошел ближе к необыкновенным рисункам и прочитал повторяющуюся в нижних правых углах крупную подпись: Иван Рагозин.

Он стоял и смотрел на верблюда и на коня, и перечитывал подпись, и чувствовал, как словно костенеют его ноги и руки и он не может сдвинуться с места. Страшный испуг зародился у него в эту минуту на душе: откуда взялась его уверенность, что Ксана родила мальчика? Почему он уговорил себя, что надо искать сына? Может быть, если бы он искал дочь, она давно бы нашлась?

Но глаза его, заслезившиеся от напряжения, ничего не хотели видеть, кроме подписей под конем и верблюдом. Все стало пунцово-коричневым, лимонно-розовым вокруг, и в этом ликующем свете-красках врезано было непоколебимо четкое имя — Иван Рагозин. Сын был жив! Он жил рядом. Он протягивал со стены перепачканную красками руку своему отцу. Он — одаренный мальчик, может быть — талант! Конечно, конечно, каким еще мог быть сын Петра Петровича и Ксаны, если не одаренным мальчиком?!

Быстро пробиравшийся толпой Кирилл Извеков пожал Рагозину локоть и громко спросил:

— Здóрово, правда, ведь здóрово, а?

— Здóрово,— ответил Рагозин так автоматично, что воспринял свой голос наплывшим будто из другого зала.

Потом он заметил Дорогомилова, окруженного детской ватагой и размахивающего рукой в жесткой манжете. Среди ватаги мелькнула рыжеватая голова Павлика. Рагозин вырвал себя из неподвижности, схватил мальчика за руку и подвел к рисункам.

— Смотри. Нравится, а?

— Ага,— сказал Павлик,— только лошадь не настоящая. Я знаю, чьи это рисунки! Это — Красилы-мученика.

— Какого мученика? — обиделся Петр Петрович.— Откуда ты знаешь?

— Мы вместе по берегу шастали. Его ребята зовут — Красила-мученик. Он все красит. Он нам свои рисунки показывал. У него есть лошади лучше этой.

— Послушай, ты,— решительно сказал Рагозин, подталкивая мальчика к рисункам,— читай, что написано.

Павлик прочитал подпись и вопросительно оглянулся на Рагозина.

— Так же, как вы,— сказал он растерянно.

— Это он?

79 — Подписаться — что же? Как хочешь, так и подпишись. А рисовал Красила-мученик, я знаю.

— Ты должен привести ко мне этого рисовальщика. Обещаешь?

— Где я его возьму? Он из детдома.

— Из какого?

— Много я знаю, из какого. Он не говорил.

— Но ведь ты его увидишь на берегу, а? Где вы там встречаетесь? Ну, давай слово, что приведешь!

В эту минуту Павлика заслонил подошедший старик в чесучовом изжеванном костюме, с отвислыми карманами пиджака. Он раскрыл рот в бездыханной улыбке:

— Извините, товарищ Рагозин. Я хотел бы, чтобы вы поделились впечатлениями от выставки. Для газеты. Я подписываюсь ЮМ. Может быть, приходилось читать?

— Так, так,— с предельной серьезностью отозвался Рагозин.— Напишите, что, как известный специалист по вопросам искусства, я нахожу выставку исторической вехой в развитии новейшей живописи.

Мерцалов опустил приготовленный блокнот. Пергаментная кожа его лысины тихо поползла на поднятые брови.

— У вас это должно получиться. Вы, как говорится, журналист с острым общественным темпераментом. Ведь это ваша была недавно статейка под названием «Где купить лобзик?..».

Рот Мерцалова раздвинулся еще больше, но глядел он со злостью и оскорбленно.

— То бишь нет, я путаю! — воскликнул Рагозин, вплотную подвинувшись к Мерцалову, и вдруг договорил нетерпимо: — Вы напечатали выдумку о том, что Пастухов распространял революционные прокламации. Вы? Да? А вам известно, что Пастухов сбежал к белым? Нет? Вас надо выгнать раз навсегда из газеты! Вы...

Не досказав, он круто отвернулся и будто сразу забыл о Мерцалове.

Он хотел найти в толпе Павлика, но увидел ту солидную девушку, чем-то напоминавшую амазонку, которая повздорила с ним из-за денег. Он попросил ее подойти к рисункам Ивана Рагозина.

— Знаете этого чудодея?

— Что? Хорошо? — торжествующе сказала она, откидывая назад голову с выражением — «чья взяла?».

— Да, да. Не укажете ли мне, как найти самого рисовальщика?

— Очень рада, что вы способны отличить хорошее от дурного. Вы чувствуете благородную простоту этой цельной линии (она энергично провела кулачком по гриве, спине и хвосту пунцового коня)? Это превосходит народный лубок, потому что обобщеннее и яснее лубка. Вы понимаете, что мы находимся у самого истока не развращенного влияниями искусства?

— Да, я все понимаю,— с нетерпением сказал Рагозин,— кроме одного: почему вы не отвечаете на вопрос? Картинки вы развесили славно, но кто их рисовал, вам нет дела.

— На этой стене — работы детских домов. Если хотите, я справлюсь, где находится автор интересующих вас произведений.

— Да, да, этих самых произведений! Этот самый автор! Очень хочу, милый вы товарищ, очень! И, пожалуйста, как можно скорее!

Он сильно потряс ее руку. Она впервые улыбнулась.

— Как же насчет наших денег?

— Насчет денег никак,— тоже улыбнулся Рагозин.— Зачем вам теперь деньги? Все сделано. Да, все сделано очень хорошо.

Он повторял эту фразу, спеша выбраться на улицу и уже не замечая ни людей, ни картинок.

Все в его ощущении жизни с этого момента остановилось, точно заклиненное одним вопросом — нашел ли он сына или нет?

Через день, возвращаясь из Затона, он увидел у самого входа в Совет двух мальчиков. Прислопившись к ограде палисадника,

сни шелушили подсолнухи. Он сразу узнал Павлика и сразу понял, кто с ним.

— Мы ждали, ждали, а вас нет и нет,— попрекнул Павлик.

— Пойдем ко мне,— сказал Петр Петрович, заставляя себя двигаться спокойно.

Закрывшись в кабинете, он прошелся из угла в угол, не зная, как лучше сделать: усадить мальчиков с собою рядом или заставить их стоять, а самому сесть, или — пусть они сядут, а он будет ходить. «Не важно, черт возьми»,— подумал он, продолжая расхаживать, и вдруг поймал себя на том, что ему трудно взглянуть на мальчика, которого привел Павлик. Тогда он сразу остановился перед ними и попробовал приветливо усмехнуться. Павлик небрежно посматривал по сторонам. Другой мальчик сохранял невозмутимость. Взъерошенная русая голова его была большелоба, уголки бровей у висков сильно подняты, карие глаза круглы и чуть выпячены. Худой, длинноногий, с большими руками, он держал локти оттопыренными от пояса, точно наготове к отпору.

— Так это я... твои рисунки видел? — спросил Рагозин, чувствуя, что говорит не так, как хотел бы.

— Не знаю.

Голос мальчика звучал грубовато-уверенно.

— Этакие, знаешь... Лошадь еще такая красная.

— Да ну, конечно, твоя лошадь,— сказал Павлик.— Чего боишься? Петру Петровичу нравится.

— И не думал бояться.

— Я не кусаюсь,— будто заискивая, проговорил Рагозин.— Мне, правда, понравилось. Ярко так, видишь ли... И все такое... Тебя как зовут?

— Иван.

— Иван Рагозин, верно? А годов? Десятый скоро, да?

— Может, и больше.

— Больше,— согласился Павлик.— Мне скоро одиннадцатый, а он сильней меня.

— Ну? — будто с облегчением вздохнул Петр Петрович.— Покажи-ка.

Он осторожно потрогал пальцами бицепсы мальчика, и пальцы сами собой остановились на сухих, тонких детских мускулах, пока мальчик не высвободился и не шагнул назад.

— Ваня,— сказал Рагозин медленно,— так, так. А отец у тебя есть?

— Думаю, был,— ответил мальчик с насмешливой улыбкой взрослого.

— Я тоже думаю,— неловко отступил Петр Петрович и опять прошелся по комнате.

— Мать свою не помнишь? — спросил он на ходу.

— Ее, наверно, отец помнит,— будто еще насмешливее сказал Ваня.

Он стоял боком к Рагозину, подняв голову и шире раздвинув локти. Видно было — он не лез за ответами в карман, потому что привык к расспросам об отце с матерью. Петр Петрович растерялся от этой жестокости ответа, тут же начал сердиться, что не владеет собой, и поглядел на мальчика с гневом. Но в этот миг резко увидел в профиле Вани в точности повторенный поворот лица Ксаны — с острым вздернутым носиком и круглым глазом немного навыкате. Он чуть не выкрикнул то, что все время готово было слететь с языка — сын, сын! — но удержал себя.

— Вы зачем меня звали?

— Познакомиться. Поближе...— сказал Петр Петрович, оглядывая выгоревшую серую блузу мальчика, завязанный узлом матерчатый поясок, сбитые набок туфли.

— Вы покупаете рисунки? — вдруг с любопытством спросил Ваня.

— Как так?

— Я думал, вы... которые на выставке рисунки хотите купить.

— Ты продаешь? — уже с улыбкой сказал Рагозин.

— Деньжонки пригодятся.

— На что же пригодятся? Ты ведь в детском доме?

— Когда где... Сейчас везде тепло.

— Ну, а где же ты столуешься?

— Столуешься! — передернул плечами Ваня.— Я не нахлебник — столоваться!

— На Волге всегда подкормиться можно,— сказал Павлик с видом берегового бывальца.

— У военморов либо еще где придется,— добавил Ваня.

— Тебе, видно, и на Гусёлке пришлось? — неожиданно отчеканил Петр Петрович.

Ваня нахмурился.

— Что не отвечаешь? Был на Гусёлке?

— Ну и был! Ну и что же?.. Пришили, будто я казенные чувяки на базаре загнал,— и судить! А у меня их шкет один стырил... я только ябедничать не хотел.

— Хорошо. Дело прошлое. А где живешь сейчас?

Ваня скрестил на груди руки, медленно оглянулся на дверь, будто заскучав от вопросов, затем нехотя выговорил:

— Меня назад в скит берут. И бумаги туда пошли.

— Так, так,— торопливо сказал Петр Петрович,— очень хорошо... Я тебе хотел предложить, может, поселишься у меня? Я один,

нам с тобой не скучно будет. Учиться станешь. Рисовать... понимаешь ли, и все такое.

Ваня молчал. Павлик сожмурился на Рагозина и тоненько свистнул:

— Э-э, а я кое-что знаю!

— Ничего не можешь знать,— едва не прикрикнул Петр Петрович.— Я о деле говорю!

Он шагнул к Ване, положил ему на плечи широкие, тоже немного растопыренные в локтях руки, сказал мягко:

— Приходи сюда сегодня к вечеру, понял? Или, если хочешь — прямо ко мне домой, понял?

Он растолковал свой адрес, стараясь поймать уклончивый взгляд мальчика. Павлик косился на Ваню подозрительно, словно опасаясь, что тот поддастся соблазну или нарушит какой-то существующий втайне сговор.

— Давай по рукам: вечером ты у меня,— упрямо повторял Петр Петрович.

— Обдумать надо,— сказал Павлик, как купец, решивший поторговаться.

Рагозин пригрозил в полушутку:

— Я тебе обдумаю!

Но Ваня вдруг смутил его прямым вопросом:

— А зачем хотите жить со мной вместе?

Петр Петрович не сразу нашелся и, чтобы скрыть щемящее обидой чувство, грубовато похлопал Ваню по спине:

— Много будешь знать — скоро состаришься. Приходи вечером, расскажу. А пока довольно. Ступайте.

Он закрыл за мальчиками дверь, но тотчас снова распахнул и крикнул Ваню.

— На, на,— быстро заговорил он, шаря у себя по карманам и потом втискивая в Ванин кулак скомканные деньги,— на, возьми. Купишь себе поесть. Да приходи обязательно! Слышишь?!

Он, настороживщись, постоял у двери, будто мог уловить сразу исчезнувшие в гуле коридоров и лестниц детские шаги. Но он только рассчитывал, когда мальчики выйдут на улицу, чтобы потом, не теряя лишней минуты, сбежать вниз, вскочить в свою пролетку и всю дорогу, тянувшуюся нескончаемо долго, подгонять и подгонять кучера: скорее, скорей!

Приехав в скит, Рагозин заставил разыскать бумаги воспитанника детского дома Ивана Рагозина. В папке под наименованием «личное дело» находились отзывы учителей, заключения педагогических и врачебных комиссий, постановление социально-правового отдела несовершеннолетних, или СПОН, по поводу продажи на базаре Иваном Рагозиным казенных чувяков и много других

солидных документов. Все они были наспех перелистаны Рагозиным и все сразу позабыты, едва он дошел до потертого, чуть пожелтевшего листа с царским гербом и печатным штампом министерства внутренних дел.

Взгляд Рагозина будто вырезал из бумаги единственное, все решающее слово, но он не мог бы в этот миг ответить — что это было за слово. Он поднялся, хотел прочитать бумагу стоя, но опять сел. Обхватив голову, он начал перечитывать строчку за строчкой.

Канцелярия тюрьмы адресовала свой гербовый лист в детский приют на Приютскую улицу, препровождая при бумаге младенца мужского пола для выкормления и воспитания за счет казны. Матерью младенца указывалась саратовская мещанка Ксения Афанасьевна Рагозина, подследственная арестантка, умершая от родов; отцом, со слов матери,— ее законный муж, крестьянский сын Петр Петров Рагозин, привлекаемый к суду по обвинению в государственном преступлении и неразысканный. О младенце было сказано, что он крещен в тюремной церкви и наречен Иваном.

Младенец, нареченный Иваном, стоял перед взором памяти Рагозина в образе большелобого мальчугана с круглыми глазами, и он будто еще осязал своими пальцами податливые теплые мускулы его ребячьих рук.

— Я беру мальчика на воспитание,— сказал Рагозин барышне, которая смотрела за ним, пока он разбирал папку.

— Чтобы сдать ребенка на патронат, мы должны иметь постановление СПОНа,— ответила барышня.

— То есть как — патронат?

— Вы желаете взять над ребенком опеку?

— Я его отец,— проговорил Рагозин со счастливым, почти ликующим вызовом и распрямился во весь рост.

— Безразлично. Если вы хотите...

— Мне тоже безразлично, как вы меня наречете — патроном, опекуном или еще как. Что я должен сделать, чтобы получить мальчика?

— Обратитесь в отдел народного образования. Там есть социально-правовой...

— Ах, что там еще есть! — как-то бесшабашно вскрикнул Рагозин.— Ребенка-то у вас нет, а? Ребенок-то у меня! Понимаете вы или нет? Я его нашел, понимаете?! Сына нашел! Эх, вы!..

Он весело хлопнул барышню по руке и побежал к пролетке.

Он отправился домой, дал хозяйке денег, наказал приготовить ужин и уехал на службу. Весь остаток дня ему казалось, что он чего-то не доделал: он все спохватывался, припоминая — все ли

велел купить на базаре, разузнавал, нельзя ли достать что-нибудь съестное в столовой, и еще до сумерек ушел домой.

Ваня не приходил. Петр Петрович со вниманием рассмотрел каждое приготовленное блюдо, по своему вкусу переставил на столе посуду, вынул из корзинки постельное белье, вместе с хозяйкой втащил в комнату матрас. Потом присаживался к столу, надумывая, что следовало бы еще сделать, подходил к окну, несколько раз вышел за калитку. Ночью он почти не спал, виня себя, что зачем-то отпустил мальчика, когда мог сразу привести его на квартиру.

Утром он первый раз не поехал в Затон. Он понял, что совершил ошибку, не спросив адрес Павлика, чтобы знать, каким путем снова найти Ваню. Ошибку можно было исправить с помощью Дорогомилова, и Рагозин сам себе дивился — как могло раньше не прийти на ум, что в розысках Вани Арсений Романович был бы идеальным пособником.

История сына и отца поразила Дорогомилова до восхищения. Он вспомнил необыкновенные рисунки на выставке, рассказы своих маленьких приятелей о Красиле-мученике, стал уверять, что розыски этого мальчика входили в его планы и что сейчас же, немедленно все сделает.

И правда, когда Рагозин в обед забежал домой — узнать, не являлся ли Ваня,— хозяйка встретила его радостью: мальчик пришел около часа назад, она накормила его, и он заснул.

Петр Петрович приоткрыл дверь и не вошел, а боком пролез к себе в комнату. На цыпочках он добрался до окна, присел на подоконник и затих.

Ваня лежал на матрасе, брошенном посередине комнаты на пол. Петр Петрович разглядывал его пристально. По босым ногам мальчика ползали мухи, но он спал крепко. На подошвах, черных от пыли, виднелись корки заживших ссадин. Кончики пальцев были немного приплюснуты. Вдруг Рагозин узнал в этих приплюснутых пальцах и в плосковатой ступне свои ноги. Он подвинулся ближе и рассмотрел Ванины руки. Кости на суставах пальцев слегка расширены, ногти невелики и на концах раздвинуты. Это были точь-в-точь повторенные кисти Петра Петровича, живой сколок с его рук, только поменьше. Странно, какие подражания лепит зачем-то природа, удерживая на земле сложившиеся формы. С лица Ваня был больше похож на Ксану. Особенно с закрытыми глазами. Ксана была такой же нежной и словно задумчивой, когда Рагозин глядел на нее во время ее тихого сна.

Петру Петровичу захотелось пить, он подошел к ведру, нечаянно звякнул ковшом и быстро оглянулся: нет, Ваня спал попрежнему спокойно. Рагозин накрыл его простыней, помахал по-

лотенцем, чтобы выгнать из комнаты мух, занавесил одеялом окно.

С чего он начнет разговор, когда Ваня проснется? Он скажет: ты — мой сын. Сын спросит отца: где же ты был раньше? Отец должен будет рассказать о преследовании, которому подвергся, о смерти матери. Ты спасал себя,— скажет сын,— но почему же ты не спас мать? Я спасал не себя, я спасал то великое общее дело, которому служил и служу,— ответит отец. Но ведь ты знал, что я должен родиться, почему же ты меня не искал? Это могло помешать великому делу,— скажет отец. Значит, ты любишь великое дело больше меня,— спросит сын,— зачем же я тебе? Ты не знал сына и жил. Я не знал отца и жил. Зачем я тебе?

Надо подумать, как вести разговор, надо подумать. Самое опасное в том, что сына легко отпугнуть. Что такое отец для ребенка, привыкшего считать себя безродным? Помеха своеволию, власть надзирателя, закон старших — все это Ваня вкусил полной чашей до того, как совершенно неизвестный, может быть не очень приятный, лысый человек назовет его сыном. Нет, отец должен пробудить в нем чувства, каких не может дать никакой воспитатель. Отец должен быть отрадой и примером существованья для сына.

Рагозин тихонько вышел из комнаты. Он надумал — пока сын спит — купить ему краски и тетрадь для рисования. Он сказал хозяйке, чтобы она не отпускала мальчика, если он проснется.

В ближнем магазине ни красок, ни тетрадей не нашлось. Рагозин пошел в центр города. Он торопился. Каждая мысль, приходившая ему на ум, была неожиданно новой, и мысли спешили еще больше, чем он сам. Он обнаружил, что прежде не думал о воспитании детей. То есть, конечно, он думал о воспитании, однако наравне со многими другими темами. Это был вопрос в числе других вопросов, которые отвлеченно более или менее удачно разрешались. Сейчас Рагозин должен был строить не теорию, а поведение — свое поведение отца. Ребенку надо видеть поведение отца, чтобы знать, как себя вести. Разумеется, обязанность воспитания лежит на обществе. Ребенок непременно будет подражать поведению общества. Чтобы построить общество, достойное подражания ребенка, нужно время. Но ведь Рагозин не может сказать сыну: погоди, вот мы построим примеры, достойные подражания, и ты будешь знать, как себя вести. Мы сейчас ведем войну за твое будущее, и пока нам не до тебя, а как только мы победим, мы тобой займемся. Это все равно что сказать: перестань расти. Нет, нет, ребенку следует дать безотлагательно все, что недостает для его развития.

Рагозин зашел во второй магазин и узнал, что краски найти

вряд ли можно, ибо сейчас нехватка в предметах куда более важных, чем краски, а тетради надо искать в третьем магазине, где они не так давно, кажется, продавались.

На улице он не сразу припомнил, на чем оборвались размышления. Ах да, он думал, что прежде всего должны быть ясно установлены цели воспитания. Вот мы хотим, чтобы наш гражданин хранил достоинство Советской страны непоколебимо везде и всюду. Очевидно, надо сделать так, чтобы чувство достоинства было спутником ребенка повседневно, чтобы оно не оскорблялось буднями отношений, а стало обычным состоянием человека с детских лет. Или вот мы призываем Красную Армию к братской связи между рядовым воином и командиром, к верности и чувству взаимного долга в бою. Очевидно, уже в школе должно насаждаться товарищество, в семье — дружба, в быту — внимание к встречному, вежливость и приличия. Позволь, позволь! — остановил себя Рагозин,— приличия? Это что-то из умерших условностей. Дружба вообще? Дружба как культ? Из какого это арсенала? С другой стороны, можно ли пробудить в ребенке этот высокий дар души, если насаждать дружбу от случая к случаю, в определенных интересах, с особыми намерениями? Здесь надо разобраться раньше, чем сын успеет найти себе друзей. Надо разобраться сию минуту, пока Ваня еще не проснулся. Может быть, он уже проснулся? Надо спешить. Надо быть готовым к любому вопросу сына. Надо думать о нем, думать за него. Да, да.

И в третьем магазине не было красок и не было тетрадей. Какие тетради? — сказали тут Рагозину,— откуда они, если сейчас каникулы?

Однако ведь не приснилось же ему, что на выставке детских рисунков по стенам развешана бумага, покрытая красками? До аудитории было рукой подать, и Рагозин вздумал забежать на выставку.

Он застал там своих знакомых — студента, напоминавшего мавра, и гордую барышню. Они о чем-то спорили, но, увидев Рагозина, стали к нему единым фронтом. Он посвятил их в свою беду. Они ответили, что он зря беспокоится, так как все обстоит нормально: тетради и краски распределяются в школах и детских домах, и дети достаточно снабжены.

— Кажется, это недостаточно продумано,— возразил Рагозин.— Как быть с домашними занятиями, с уроками?

— У наших детей понятие «дома» должно отмирать,— сказал студент.

— Уроки — это устарелая педагогика,— сказала барышня.

— Это все вызывает на споры. А мне хотелось бы короче: где я могу купить краски своему сыну?

— Мы не торгуем,— вспыхнула барышня.

— Мы боремся с чувством личной собственности в детях, и мы против того, чтобы детям дома подносились подарки, как барчукам,— сказал студент.

— Знаете,— ответил Рагозин, решительно поворачиваясь к выходу,— вы либо сильно переучились, либо просто — недоучки!

Он мерил улицы своими длинными ногами все быстрее. Ваня уже, наверно, проснулся. Сейчас Рагозин его увидит. Несомненно, болезненная точка в самосознании такого ребенка, как Ваня,— чувство свободы. Нельзя показать, что отец покушается на эту драгоценность. Нельзя врываться в маленькую жизнь, выспрашивать, допытываться, чем Ваня живет. Наоборот, надо сначала доверчиво ввести его в жизнь отца, рассказать о своей работе, о своей борьбе и планах будущего мира.

Рагозин внезапно замедлил шаг. Недурное начало! Вот он уже не поехал в Затон, бросил занятия на службе и носится по городу в поисках какой-то чепухи. Что он скажет Ване? Знаешь, дружище, я сегодня махнул рукой на свой общественный долг. Я так тебе рад, что мне, ей-богу, не до работы. Значит, если очень рад,— спросит сын,— можно наплевать на обязанности, правда?

Петра Петровича так смутила эта мысль, словно ее действительно высказал Ваня. Но ведь это же исключение,— подумал он. Первый раз за целую жизнь! Упущенное будет наверстано с лихвой. Работа как стояла, так и стоит у Рагозина на первом месте.

Он свернул за угол, решив предупредить на службе, что задержится еще часок-другой.

У самого крыльца шедший впереди, немного неуклюжий (как показалось) человек вдруг упал. Поднимался он тяжеловато, и Рагозин помог ему.

— Благодарю вас, ничего. Поскользнулся на арбузной корочке. Вон раздавленная корочка.

— Ушиблись?

— Пустяки. Немного, локоть,— сказал прохожий, отряхивая запачканный белый китель.

Он любезно взглянул на Рагозина и отступил.

— Удивительный случай! Я иду именно к вам. Здравствуйте, товарищ Рагозин.

Петр Петрович узнал Ознобишина.

— По какому делу? Я, извините, занят.

— По личному делу. Много времени не отниму. Если угодно — даже здесь, в сторонке от подъезда.

— По вашему делу?

— Нет, по вашему,— произнес Ознобишин доверительно.

— По моему?

Они отошли от крыльца и медленно двинулись вдоль палисадника.

— Только, пожалуйста, поскорее.

— В двух словах. Я очень признателен за внимание, с которым вы отнеслись ко мне и устранили недоразумение, весьма для меня щекотливое.

— Вы ведь бывший прокурор?

— Если бы так,— улыбнулся Ознобишин,— вряд ли я сейчас беседовал бы с вами... то есть на улице. Я именно хотел вас поблагодарить, что вы проявили терпение разобраться и снять с меня подозрения насчет моего прошлого.

— В чем же мое дело?

— Вы прямо тогда не высказали, но я понял, что вам крайне было бы ценно установить участь вашей супруги и, более того, вопрос — родился ли у нее ребенок и существует ли он.

— Так, так,— сказал Рагозин, приостанавливаясь.

— Я тогда не осмелился предложить вам услугу, но дал себе слово употребить все силы, чтобы быть вам полезным.

— И что же?

— И мне удалось, после кропотливых поисков, напасть на документ, который проливает свет, правда, на трагические обстоятельства, но одновременно дает в руки шанс некоторого счастливого оборота. Документ теперь доступен, вы можете его получить.

— Где?

— В архиве.

— Что это такое?

— К несчастью, это подтверждение, что супруга ваша скончалась в тюрьме. Указывается и место погребения.

— Да?

— Да. Но, вместе с тем, документом устанавливается, что она скончалась от родов и, таким образом, что у вас... осторожность требует допустить, во всяком случае, был ребенок.

— Вон что,— сказал Рагозин.

— Так или иначе, но я могу уверенно сказать, что след вашего ребенка мною найден.

— Да что вы?! И куда же след ведет?

— Это требует еще известных усилий, которые я с радостью приложу, если вы окажете мне поддержку.

— Поддержку в чем?

— В дальнейших розысках.

— Но если окажу, вы уж, конечно, наверняка отыщете след?

— Безусловно! — воскликнул Ознобишин почти вдохновенно.— Это для меня прямо-таки дело чести! Я начну с тюремных архивов, с года рождения ребенка.

— А если я скажу вам, что след приведет вас ко мне на квартиру?

— На какую квартиру?

— На которой я проживаю вместе с сыном.

— Вместе... Вы отыскали своего...

Ознобишин даже как будто испугался. Свежих красок лицо его поблекло, он немного вскинул руки, осторожно потер ушибленный локоть, но тут же устремился всем корпусом к Рагозину, освобожденно дохнув на него:

— Поздравляю, поздравляю ото всей души! Неужели возможно? Сын с вами? Тот, который...

— Вот так-то,— прервал Рагозин.— А из каких соображений вы, собственно, стараетесь? Можно спросить?

— То есть... Исключительно из доброго намерения быть вам полезным. Отблагодарить.

— Благодарить меня не за что.

— Я был бы счастлив вам просто услужить.

— Услужить мне не просто. Я услуг не принимаю.

Рагозин приложил руку к виску, откланиваясь, и пошел к подъезду, но на ходу обернулся, сказал с усмешкой:

— Поскользнулись... на корочке!

Он взбегал по лестнице, когда был остановлен одним из сотрудников своего отдела:

— Вы заходили в комитет? За вами присылали.

Не подымаясь к себе в кабинет, он направился коридорами в конец первого этажа.

Тот член бюро комитета, с которым он спорил, разбираясь в толковании письма Ленина, встретил его легким кивком и сказал:

— Ну, твое желание исполнено. Есть решение направить тебя на военную работу. Ты назначен в Волжскую флотилию комиссаром дивизиона. Обстановка на судах тебе немножко знакома.

— Немножко знакома,— ответил Рагозин, опускаясь на стул.— Когда я должен направиться?

— Позвони сейчас военкому. В дивизионе заболел комиссар, ты его заменишь. Выступление, наверно, завтра.

— Завтра?

Рагозин помедлил немного и отвел взгляд в сторону.

— Как же с моим отделом?

— Что тебя заботит? Сдашь дела заместителю.

— За несколько часов?

— Не знаю. Может — за несколько минут. Белые у Лесного Карамыша.

— Ну, счастливо оставаться,— сказал Рагозин, тяжело поднявшись.

— Ты будто недоволен?

— С чего ты взял?

— Тогда желаю тебе... Благополучно...

Они пожали друг другу руки.

Рагозин позвонил военному комиссару, узнал, что должен немедленно прибыть к нему для получения бумаг, и послал за своей пролеткой.

Он велел ехать домой.

Входя к себе в комнату, он растворил дверь нарочно шумнее, чтобы разбудить Ваню. Одеяло, которым он перед уходом занавесил окно, было опущено и висело на одном гвозде. Матрас был пуст, скомканная простыня откинута на пол.

Рагозин обернулся к хозяйке. Она в смущении развела руками. Она слышала, как Ваня вставал, пил воду, и она хотела согреть ему чайку, но когда заглянула в комнату, мальчика уже не было. Ушел ли он или выпрыгнул через окно, она не заметила. Она только боялась — не пропало ли, избави бог, что-нибудь из вещей?

Петр Петрович метнул на нее осуждающим взором, но невольно осмотрелся — все ли на своих местах. Но все было цело.

Он на минуту задержался в комнате. Странно пустынной и отчужденной она ему представилась, будто он никогда не был в ней наедине с собой. Ему ясно стало, что все его поведение было ошибочным: следовало с первой встречи открыть Ване истину. Догадался ли мальчик, что обрел своего отца? И что же будет с ним дальше? Неужели так все и кончится навсегда? Рагозин тщательно сложил помятую простыню и спрятал ее под подушку на своей постели.

— Я, наверно, должен буду экстренно уехать,— сказал он, волнуясь, хозяйке,— на некоторое время. У меня к вам будет просьба: если заявится этот парнишка, вы его, пожалуйста, не выгоняйте, а приютите. В моей комнате. Он того стоит. Я с вами рассчитаюсь, не беспокойтесь на этот счет. Прощайте.

Он выбежал на улицу и потребовал от кучера, чтобы он гнал по-боевому, как никогда еще не гнал.

У военного комиссара его ожидало направление в штаб Северного отряда Волжской флотилии. Там он получил приказание назавтра в шесть утра явиться на канонерку «Октябрь», которая, в голове дивизиона, стояла на якоре за песками.

Весь вечер и всю ночь Рагозин сдавал дела финансового отдела и прямо со службы, которая в этот момент делалась его бывшей работой и о которой он мог теперь не думать, так же как не думал о всех своих прежних службах и прошлых работах, поехал на берег.

Военный бот доставил его на коренную Волгу. Он поднялся на борт «Октября», встреченный вахтенными судна. Спустя час он начал, с командиром дивизиона, осмотр четырех судов, выстроенных колонной вдоль линии островных песков. Последним судном была канонерская лодка «Рискованный». С укороченной трубой и узким фальшбортом, свежевыкрашенный в зеленовато-серый оттенок воды, буксир казался очень воинственным. Хотя команда его состояла почти сплошь из военных моряков, Рагозин встретил на нем нескольких волжан, с которыми работал в Затоне, и эта встреча знакомцев на знакомом судне не только обрадовала Рагозина, но дала ему среди матросов первое молчаливое признание «своим»: стало известно, что в составе дивизиона есть корабль, который перевооружался комиссаром, и что комиссар этот умеет взять в руки какой угодно рабочий инструмент.

С полудня в рубке открылось заседание штаба дивизиона, и Петр Петрович Рагозин впервые в жизни увидел, как читают военную карту, и сам взял в пальцы легкий циркуль. Потом ему сделали доклады комиссары судов.

Оглушенный усталостью, он вышел к вечеру на палубу и, хотя провел на воде уже больше полусуток, только сейчас увидел Волгу.

Она была гладкой и розовой, и слева, к луговому берегу, розовое постепенно переходило в золото, а еще дальше, над золотом, точно горбы и головы верблюжьего каравана, неровно высились желтые от солнца хлебные амбары Покровска.

Вдруг Рагозин отчетливо вспомнил розовую пустыню с желтым верблюдом — на рисунке, который его так взволновал. Значит, правда, это бывает в жизни,— подумал он,— такие краски, такая пустыня и — неужели? — такая безнадежность. Он услышал неожиданные толчки сердца. Надо было отдохнуть: он не сомкнул глаз подряд две ночи. Воспоминание о сыне, выраженное этим розово-желтым тоном, благодаря необъяснимой способности мысли — видеть одновременно несколько картин, сопутствовалось другим воспоминанием: в неаполитанской желтизне песков и в розовой глади воды Рагозин обнаружил повторение того закатного часа, когда, на рыбной ловле, он заметил мчавшийся к острову моторный катер. Он и сейчас ясно увидел этот катер и крепко протер кулаками глаза, решив, что галлюцинирует от переутомления. Но, открыв глаза, он еще явственнее увидел катер, словно двумя лемехами отваливавший на стороны золотые клинья волн.

— Это что, катер? — спросил он у вахтенного.

— Катер, товарищ комиссар.

Лодка быстро приближалась, все больше вырастая, все громче шумя. Она описала разбежистый круг и подвалила против те-

чения к борту «Октября». С кормы канонерки спустили трап, и Рагозин разглядел ловко подымавшегося на судно человека.

— Кирилл! — крикнул он и побежал.

Они встретились на нижней палубе около машинного отделения. В горячем дыхании нефти и пригорелого масла, наполнявшем тесный проход, они обнялись. Рагозин повел Кирилла в свою каюту. Там они взглянули друг другу в глаза и, обрадованные, негромко посмеялись. Сон сняло с Рагозина как рукой.

— Что это у тебя? — спросил он.

Кирилл держал камышовый кошель, с какими хозяйки ходят на базар. Он ответил застенчиво:

— Это мама. С утра пекла. Я вчера сказал ей, что ты уходишь.

— Словно в больницу,— сказал Рагозин.

— Какая больница?

Кирилл порылся в кошеле, достал со дна бутылку, и они опять рассмеялись. Разложив на газете разрумяненные пирожки и разлив вино, они уселись плечом к плечу на неширокой койке. Выпили молча, только кивнув друг другу, и потом, прожевывая закуску, долго глядели через открытый иллюминатор на подожженное зарей водное зеркало, которое отсюда казалось лежащим выше уровня глаза, а движение речной массы — будто в сто крат сильнее своей мощи.

— Нынче снимаетесь? — спросил Кирилл.

— Ровно в полночь.

— Я торопился, думал — опоздаю.

— Не из тех, которые опаздывают,— сказал Рагозин и положил на колено Извекова ладонь.

— Но, видишь, ты — не военный, а меня обогнал.

— Не спеши. Хватит и на твою долю. Тебя берегут на самое важное.

— А что самое важное? Каждый час со своей задачей — самое важное.

— Да. Со своей главной задачей и со своими второстепенными. И главную надо немедленно решать, а второстепенные... их можно отложить.

Рагозин выговорил это в сосредоточенном раздумье, и Кирилл сторожко посмотрел на него.

— Ты о чем?

Рагозин вскочил, потянулся, по своей домашней привычке, но в каюте было ниже, чем дома,— он стукнул кулаками в потолок.

— Эх, черт! — воскликнул он, опять взяв и сжимая колено Извекова.— У меня есть задача, ты меня извини, может, она...

может, ее надо отложить, но... Я тебе не успел сказать. Я нашел, видишь ли, своего сына.

Кирилл рассматривал его все удивленнее.

— Да, сына. Моего и Ксении Афанасьевны. Она родила его тогда в тюрьме. Я узнал недавно.

— Где он?

— Он... Я его нашел, видишь ли, не совсем... Его еще надо искать. Но это легко, легко! (Рагозин заторопился, всем телом поворачиваясь к Кириллу.) Если ты согласишься... Я не успел его устроить. Ну, не до того! Понимаешь? Я только его нашел, и тут как раз...

— Да говори толком.

— Павлика Парабукина помнишь? Так это его приятель. Ты скажи Павлику, чтобы... Или, еще лучше, скажи Дорогомилову, что ищешь Ивана Рагозина, понял? Он все сделает. У него ведь, знаешь, все мальчишки за пазухой. И ты только скажи, пошли к нему... Ладно? А?

Кирилл никогда не видел таким Рагозина — лицо Петра Петровича соединяло в себе что-то настолько противоречивое, в нем трепетало такое неестественное сочетание отчаянной решительности с извиняющейся мольбой, что на него невозможно было дольше смотреть.

Кирилл, нагнув голову Рагозина, придавил ее к своему плечу и сказал горячо и твердо:

— Я все понимаю и все сделаю. Ты не волнуйся. Я мальчика найду и возьму его к себе. То есть, к себе с Верой Никандровной. И буду за него перед тобой в ответе. То есть, вместе с мамой. Согласен? И ты выкинь из головы, что это дело второстепенное, это ерунда. Я считаю это дело таким же главным, как и другое наше главное дело, за которое ты пойдешь сегодня в полночь. И ты можешь за это дело спокойно идти. За него и за своего сына одинаково. И счастливо возвращайся!

Они посидели еще и поговорили, успокоенные, и выпили расстанную в наступивших сумерках.

Когда они шли обратно к трапу тесным проходом мимо машинного отделения, им встретился могучий моряк. Он был чуть выше Рагозина и так пространен в груди, что, даже прижавшись к стенке спиною, почти загородил собой дорогу. Протискиваясь мимо него, Кирилл поднял глаза к его лицу, которое находилось чуть не вровень с потолочной электрической лампочкой, и в ее оранжевом свете различил широкие скулы, необычную основательность крупных надбровий и целую пелену веснушек вокруг носа. Моряк слегка улыбнулся, и спокойствие улыбки подсказало Кириллу, что он уже видел это лицо. Он тотчас же вспомнил по-

мора, с которым встретился в лазарете, когда навещал Дибича, и тоже улыбнулся.

— Товарищ Страшнов?

— Товарищ Извеков, вы что же — к нам? — отозвался помор со своим емким «о».

— Я только гостем. А вот мой друг, товарищ Рагозин, к вам хозяином. Любите да жалуйте.

— Милости просим,— опять окнул моряк.

— Смотрите, с вас за него спросится,— смеясь, сказал Кирилл.

— Мы постоим.

— Ну, правильно,— ответил Кирилл, отчетливо припоминая это словцо и свое свежее чувство будто только что оконченной гимнастики при расставании с помором в лазарете.

— Поправились?

— Забыл, в каком боку болело.

Кирилл с улыбкой пожал моряку руку.

Простившись с Петром Петровичем, он сошел в катер, крикнул вверх — «счастливо!»,— но в шуме запущенного мотора не расслышал ответа.

Рагозин долго смотрел вслед убегавшему фонарику на носу катера. Уже довольно стемнело, и вода стала буро-черной. В ней ступенчато отсвечивали мирные огни канонерок. Колонна была неподвижна. Холодок августовского вечера на воде давал себя знать. До полуночи оставалось больше двух часов. Необходимо было соснуть. Рагозин вернулся в каюту.

22

В очень тяжелой обстановке, которая сложилась для Красной Армии в результате весенних и летних наступательных действий Деникина, командование Южного флота разработало, в соответствии с указанием главкома, план контрнаступления. Основная идея плана заключалась в нанесении белым глубокого удара левым крылом Южного фронта через донские степи в общем направлении от Царицына на Новороссийск. С этой целью двум армиям, которые были сведены в ударную группу, ставилась главная задача — наступать на Царицын и далее через Дон, а на смежную группировку (к западу от главной) план возлагал вспомогательный удар на Купянск и Харьков. Эти наступательные операции были обеспечены значительным превосходством над Деникиным в пехоте, орудиях и пулеметах, тогда как кавалерия белых попрежнему имела огромный численный перевес.

Решившие участь Деникина события, которые начали развертываться поздней осенью, показали, что этот летний план главного и фронтового командования в основной своей идее наступления через Дон на Новороссийск утратил значение вскоре же после августовской попытки проведения плана в жизнь.

Чтобы сорвать готовившийся маневр красных, Деникин сам перешел в наступление. Он прибег почти одновременно к двум операциям, поручив их бывалым и старательным слугам контрреволюции — казачьему генералу Мамонтову и генералу добровольцев Кутепову.

В августе Четвертый Донской кавалерийский корпус под командованием Мамонтова численностью около шести тысяч сабель, с орудиями, бронеавтомобилями и пешим отрядом до трех тысяч штыков прорвал под Новохоперском линию советского фронта. Деникин ставил корпусу первоначальной задачей овладение железнодорожным узлом Козлов с целью разрушения и расстройства глубокого тыла Южного фронта Красной Армии. Затем он эту задачу изменил и дал корпусу направление на Воронеж, с тем чтобы разбить Лискинскую группу Красной Армии, к северо-западу от Новохоперска. Мамонтов приказания Деникина не выполнил и, пройдя фронт, повел корпус прямо на север, по направлению к Тамбову. Деникин пытался свернуть Мамонтова на запад, но безуспешно. С каждым днем уходя все дальше от живой силы Красной Армии, сосредоточенной на фронте, мамонтовский корпус быстро углублялся в тыл и на восьмой день марша захватил Тамбов.

С самого начала внезапного и угрожающего рейда донцов все, кому знакомо было июльское письмо Ленина, вспомнили строки, теперь вдруг изумившие безошибочностью предвидения. Ровно за месяц до мамонтовского прорыва Ленин писал: «Особенностью деникинской армии является обилие офицерства и казачества. Это тот элемент, который, не имея за собой массовой силы, чрезвычайно способен на быстрые налеты, на авантюры, на отчаянные предприятия, в целях сеяния паники, в целях разрушения ради разрушения».

Кирилл Извеков был тоже изумлен этой конкретностью предвосхищения событий. Ему казалось, что его товарищи и он лично были чуть ли не прямо предупреждены о предстоящем налете именно Четвертого Донского кавалерийского корпуса под командованием Мамонтова и непростительно оставили предупреждение без внимания. Ни у его товарищей, ни у него — казалось Кириллу — не было никакого оправдания, что прорыв Мамонтова застал их врасплох: не хватало, чтобы заранее было указано, какого числа и в каком месте фронта прорыв будет совершен! Ведь в том

же письме Ленин требовал исключительных мер предосторожности: «В борьбе против такого врага необходима военная дисциплина и военная бдительность, доведенные до высших пределов. Прозевать или растеряться — значит потерять все».

Проверяя свою работу, Кирилл убеждался, что исполнял все, на что способны были его силы в том положении, которое он занимал. Но он думал, что должен бы выполнить гораздо больше и что он даже именно «прозевал» вместе с другими и навлек несчастье, обрушенное на фронт и тыл налетом Мамонтова.

После ухода Рагозина на фронт возросла до беспокойства уверенность Кирилла, что будь он тоже в рядах армии, было бы лучше и для него, и для общего дела. Беспокойство это превратилось в тревогу, когда стало известно о новом прорыве белых.

Первый армейский корпус добровольцев под командованием Кутепова, перейдя на центральном участке Южного фронта в наступление, прорвал фронт на стыке двух соседних советских армий и, после ожесточенных боев, вынудил отойти одну в направлении на Курск, другую на Ворожбу. Последствием было то, что часть войск, которым предстояло содействовать вспомогательному удару Красной Армии на Купянск, оказалась неспособной это сделать.

И тем не менее на пятый день после прорыва Мамонтова и на третий после прорыва Кутепова, ровно в середине августа, главком Красной Армии и командование Южного фронта начали наступление против Деникина по плану, разработанному до этих прорывов.

Как подавляющее большинство советских (в том числе военных) работников, Извеков не мог знать, что начавшееся наступление становилось уже запоздалым в новой обстановке Южного фронта. Наоборот, он был необычайно обрадован самым фактом перехода Красной Армии к активным действиям на юге и счел за очень хороший знак и за выражение силы, что наступление было предпринято как бы вопреки контрманеврам белых и началось с успехов. Его лишь насторожило то, что руководство борьбой с мамонтовской конницей было возложено на командование главной ударной группы, выделившей для этого две стрелковых дивизии: это не могло не ослабить удара Красной Армии в основном направлении, вниз по Волге и к Дону. И он с волнением следил за развитием налета мамонтовцев, которые продолжали топтать на Тамбовщине поля и людей.

Едва поступали новые сообщения с фронтов, Кирилл бросал дела и развертывал карты, какие удалось раздобыть, начиная от школьных, кончая земскими трехверстками, стараясь точнее установить передвижения войск и угадать развитие дальнейших

операций. И по мере роста начальных успехов Красной Армии, он больше и больше завидовал Рагозину.

Углубленным в такое чтение карт его застала раз вечером Аночка. Она вошла в кабинет, забыв постучать, и остановилась в замешательстве, потому что Кирилл принял ее за свою помощницу и спросил, не подымая головы,— в чем дело? У него свисали на брови отросшие волосы, казавшиеся чернее обычного в низкой тени абажура, а ровный сжатый рот и подбородок сильно освещались лампой, и было видно, что он не брит.

— Ну, в чем же дело? — повторил он громко и оторвался от карты.

Почти сейчас же он выбежал из-за стола к Аночке, схватил ее руку и, только поздоровавшись, сказал другим, нетвердым голосом:

— Вы как здесь очутились?

— Мне сказали — можно... Нельзя, да?

— Можно, можно! Я не к тому. Я не понял, откуда вы взялись. Я вас ждал... То есть хотел повидаться с вами. Насчет одного дела... очень надо...

Он говорил быстрее, чем всегда, и уже заметил, что путается. Как на спасительную надежду, он оглянулся на карты и, снова ухватив Аночкину руку, повлек нежданную гостью к столу.

— Откладывал разговор со дня на день — нет и нет времени. И как хорошо, что вы пришли. Смотрите, кстати, что происходит.

Он держал ее левой рукой, а правую протянул над картой, застилавшей весь стол.

— Это — Волга. Видите? Вот уже где наша флотилия. Еще денек — и Камышин наш. Понимаете? Врангель пятится. А отсюда нажимает наша кавалерия (он показал на запад и надавил на плечо Аночки, тесня ее влево). Конный корпус Буденного. Слыхали? Нет? Вот он куда нацелен, видите? Против донской конницы Сутулова. Если мы ее опрокинем, то получится...

Он еще потеснил Аночку, она вдруг отстранилась, он взглянул на нее и сказал потише:

— Словом, получится очень хорошо.

Он говорил ей только о том, что его возбуждало и обнадеживало, умалчивая о скрытой тревоге сердца, и не поднимал глаз к северу карты, чтобы не толкнуть Аночку к тому же. Рассказывая же об отрадных событиях на Волге, он все время непроизвольно думал об угрозе событий к северо-западу от Саратова — на Тамбовщине, потому что мамонтовцы буйствовали к этому дню уже в Козлове, прямая дорога на Москву была перерезана и связь оставалась только кружным путем, через Пензу. Он решил непременно отвести Аночкино внимание от этих омрачающих событий,

был уверен, что скрывает от нее именно эти события, ничего, кроме них, и не признался бы, что не меньше озабочен тем, чтобы скрыть свое волнение от неожиданной ощутимой близости Аночки.

Он копнул свои карты, вытащил наверх маленькую и опять подвинулся к Аночке.

— Это я показывал направление Камышин — Царицын. А смотрите западнее. Наша другая группировка. Фронт пять дней назад, видите? А вот какой клин мы вколотили. Вот красная линия. Здорово, а? Если так пойдет дальше, то через неделю мы — в Купянске. Смотрите.

Он хотел слегка нагнуть Аночку к столу, но она сказала:

— Я хорошо вижу. Только почему в Камышине мы будем через день, а в Купянске через неделю? Ведь до Камышина вон еще сколько, а Купянск совсем рядом.

— Да,— сказал Кирилл, немного отходя в сторону,— это, конечно, большая неприятность. Но тут главное осложнение в том, что... карты разных масштабов. (Он потрогал свою небритую верхнюю губу.) На маленькой карте и далекое кажется близко.

— Значит, надо воевать по маленькой карте,— улыбнулась Аночка.

Он засмеялся. Она спросила и деловито и озорно:

— Вы говорите — собирались меня увидеть. Чтобы посвятить в стратегию, да?

— Нет, без всякой стратегии.

— Ну, как же так, если вы — стратег?

— Плохой стратег. Иначе я воевал бы по маленькой карте... с вами, во всяком случае.

— Вы собрались со мной воевать?

— Не с вами, собственно, а за вас.

Она опять улыбнулась не лукаво и не озорно, а с торжествующим удовольствием женщины, которая наслаждается тем, что шутя привлекла к себе все внимание мужчины. Но она в тот же момент как бы одернула себя и отклонила наивное кокетство разговора:

— У вас правда дело ко мне? Я тоже пришла по важному делу.

— Мне нужно поговорить с вашим братом.

— С Павликом?

— Насчет его приятеля — Вани Рагозина. Помните — Рагозин, у которого вы хлопотали о деньгах, тогда... с Цветухиным? Так вот, у него есть сын...

— Странно...— почти в смятении перебила его Аночка.— Как это совпало! Я — тоже по поводу Павлика. Он пропал.

— Пропал?

— Третьего дня поутру ушел и больше не возвращался.

— И вы искали его?

— Отец заявил в милицию, расспрашивал, кого мог, на берегу...

— Может, что-нибудь известно Дорогомилову?

— Арсений Романович говорил со всеми товарищами Павлика и ничего не узнал... Никаких следов. Ужасно.

— Ну, разумеется,— сказал Кирилл грубовато, с желанием подбодрить Аночку,— вам, поди, бог знает что лезет в голову: исчез, погиб, и еще что! Просто удрал на фронт. Он же грозил, что удерет.

— Но ведь это не утешение! Он совсем маленький и — конечно — не снесет головы.

— Вы что, серьезно думаете, что таких вояк пропускают на фронт?

— А как же, если он туда убежал?

Она взялась за спинку стула и опустилась неожиданно тяжело для своего легковесного хрупкого тела.

— Послушайте, Аночка,— начал Кирилл, но она не дала ему говорить.

— Я знаю, что я, я виновата! При маме этого ни за что не случилось бы! Она так любила Павлика! А я совсем забросила его. Ведь он ребенок, понимаете, он еще совсем ребенок!

Она уткнула лицо в острый сгиб своего локтя, по-прежнему держась за спинку стула.

— Вы сама ребенок,— сказал Кирилл, подходя к ней ближе.

Это будто разжалобило ее, она обиженно пробормотала себе в руку, едва не всхлипывая:

— Я хотела позвать вас на репетицию, у нас скоро генеральная репетиция, а теперь я знаю, что провалюсь, знаю, знаю, непременно провалюсь!

Он договорил еще суровее, боясь, что вдруг она расплачется:

— Не выдумывайте. Какое событие — репетиция! Прекрасно сыграете свою Луизу, или кого там? И я еще буду вам хлопать. Подумаешь! Невидаль какая — Луиза! Я хочу сказать — ничего не стоит сыграть вашу эту Луизу. А Павлика... Я должен был разыскивать одного, ну, буду разыскивать двоих. Уверен, его притащат к вам с милицией. Не первый такой герой.

Аночка приподняла голову.

— «Не первый такой герой! Разложить бы да всыпать пару горячих!» — сказала она, очень похоже подражая упрямому баску Кирилла, и он отвернулся, чтобы сохранить серьезность.

— Завтра с утра я подыму на ноги милицию, все будет сделано,— сказал он мягче.

— Правда? — почти весело спросила она.— Правда, по-вашему, я должна хорошо сыграть свою роль?

Он не ждал такого поворота.

— Если играли до сих пор...

— Откуда вам известно, что я играю Луизу?

— Спрашивал у мамы.

— Все-таки, значит, вспоминали обо мне?

— Все-таки да.

— И поэтому не видались со мной два месяца?

— Не может быть!

— Семь недель и три дня.

— Вы считали? — еще больше удивился Кирилл.

— А вы потеряли счет?

Он с сожалением повел рукой на бумаги и карты, из-под которых не видно было стола.

— Понимаю,— сказала Аночка,— не до того...

У нее медленно поднялись брови, и в этом невольном движении разочарования было столько горечи, что он смолчал.

— Надо идти. Спасибо вам. Я очень, очень боюсь за Павлика!

— Я провожу вас.

— Что вы, разве можно? — возразила она и, совершенно повторяя его жест, показала на стол.

— Постойте, постойте,— сказал он, разыскивая глазами и не находя свою кепку.— Я хочу пройтись так, как тогда, на бахчах.

— И потом скрыться на два месяца?

— Тем более хочу. Пошли!

Так и не найдя кепки, он вышел с непокрытой головой.

Прохладная тьма окутала их — вечера уже полнились предчувствием осени, их очарование казалось строгим и грустным. Воздух был крепок. Отчетливо наплывал прямой улицей долгий, зовущий гудок парохода.

Кирилл взял Аночку под руку. Второй раз держал он тонкую кисть, в которой прощупывалась каждая косточка. Ему пришла мысль, что, вероятно, часто эта рука ищет опоры и опускается от усталости. Но в резких сгибах кисти он будто услышал скрытое упрямство.

— Вам холодно... без фуражки?

— Вы совсем не то хотели спросить, — сказал он.

— Почему вы думаете? — тотчас возразила она, и запнулась, и прошла несколько шагов, ожидая — что он ответит.

— Я почему-то должна придумывать, как с вами заговорить,— сказала она, не дождавшись.— Наверно потому, что вы не хотите говорить о самом важном. Погодите, погодите! Я знаю, вы непременно сейчас спросите: а что самое важное? Правда?

Он усмехнулся и спросил:

— В самом деле, что самое важное? Сейчас, например, разыскать Павлика, верно?

— Да, конечно,— согласилась она чересчур поспешно.— Но вы не досказали мне тогда, в автомобиле, помните?.. Вы совсем не жалеете, что расстались с Лизой?

— Ах, вот оно, самое важное!.. Я не люблю возвращаться к прошлому.

— Она вышла второй раз замуж. Недавно. Когда вы уже вернулись в Саратов. Вы слышали? Это не прошлое, а настоящее.

— Но это такое настоящее, которое не должно меня касаться.

— Не должно? Или действительно не касается?

— Вы только в этом случае придира или вообще?

— Вообще! — безжалостно утвердила она.

Он снова усмехнулся, но будто с неохотой, и долго молчал.

— Чтобы с этим кончить, раз это вас занимает,— сказал он вполголоса,— я действительно перестал вспоминать о Лизе. Сначала себя заставлял, потом это вошло в привычку — не вспоминать.

— Значит, вы еще любите ее? — с нетерпением спросила Аночка, дернув рукой, точно собравшись высвободить ее, но тут же раздумав.

— Откуда это значит? Той Лизы, которую я любил — сколько лет назад, я уж и счет потерял,— той Лизы, может, и не было вовсе.

— Но ведь это же чепуха,— даже с некоторой обидой сказала Аночка и на этот раз решительно вытянула руку из его пальцев.

— Почему чепуха? Была наша с ней юность, наша надежда.

— Конечно, чепуха. Если было, значит, есть. А если нет, значит, вы просто неустойчивый человек.

— Вот верно! Неустойчивый!

Ему стало очень весело, он громко рассмеялся, и Аночка вдруг мягко вложила свою кисть ему в ладонь, словно и не отнимала руку, и они шли дальше, уже ничего не говоря, но чутко слушая друг друга, хотя слышен был только мерный хруст пыли об асфальт под ногами.

Когда они добрались до дома Аночки, она хотела проститься у калитки, но Кирилл сказал, что войдет во двор. Она подошла к освещенному окну — постучать, и вскрикнула:

— Господи! Смотрите!

Кирилл шагнул к ней.

На кровати сидел Павлик. Даже в тусклом свете видны были разводы на его щеках — он плакал и растер слезы по грязному

лицу. Рыжеватые волосы торчали, как перья потрепанной птицы. Он быстро наматывал на палец обрывок бечевки и сдергивал его.

Против него за столом восседал Парабукин с превосходным видом родителя, уличившего беспутное чадо в постыдстве. Он барабанил пальцами и метал гневные взоры на сына.

Впустив Аночку, он сразу заговорил, не уделяя внимания Извекову.

— Явился! Явился! Голод не матка. Кроме отца, никто этакому финтифлюю кофея не поднесет. В кого пошел, негодник, а? Мать была труженица, мыла его, поросенка, чистила. Сестра — примерная девица, вот-вот ему кормилицей будет, заместо матери. Отец... ну, что ж отец?

Тут Парабукин искоса глянул на дочь и ее спутника, осанился, пригладил бодрым взмахом руки взъерошенную гриву и бороду, и в этот момент обнаружилось, что он несколько отступает от общепринятого равновесия и подплясывает против своей воли.

— Отец тоже не какой-нибудь бессовестник, всю жизнь за семью горе мыкал...

— Погоди, папа,— сказала Аночка.— Где ты пропадал, Павлик?

Она, как вошла, смотрела на брата, не отрываясь, глазами, светящимися от любви и потрясения и выражавшими такой чистый, из души рвущийся упрек, что Павлик низко пригнул голову и перестал крутить свою бечевку.

— Чего ж годить? Я его уже исповедовал,— проговорил Парабукин и, раскрыв бугристую длань, потряс рукою увесисто и гордо.— И он мне свою морскую фантазию выложил полностью. В военморы, говорит, захотелось! Я ему прописал военморов!

Аночка бросилась к Павлику, прижала к себе его голову. Он с облегчением уткнул нос в ее грудь. Вздрогнув, он затем притих, и пальцы его опять старательно завертели бечевку.

— Забрался в пароходный трюм, доплыл до Увека, там его, миленыша, выкатили с бочками на сушу. Зачем, спрашиваю, поехал? Думал, говорит, морское сражение посмотреть. На каком, спрашиваю, море или на озере? А он мне: это военная тайна!

— Как мог ты, Павлик? — все еще в неусмиримом волнении сказала Аночка, приглаживая его вихры.

— Я, сознается под конец, решил с военморами жизнь положить за революцию. Вот шлюндрик! Что с ним делать, а?

— Разве не прав я был? — сказал Извеков.— Зов времени. Дети слышат его лучше взрослых — на фронт, на фронт!

Павлик оторвался от сестры на чужой голос, стремительно осмотрел и тотчас вспомнил Кирилла. Ободренный его нежданной

поддержкой, он с жалобой и вызовом стрельнул золоченым своим взглядом на отца.

— Кабы я один — еще так. А то все Ванька Красила-мученик. Небось сам увязался на катере, прямо во флотилию, на Коренную. А мне говорит: ты, Пашка, вали на каком ни на есть пароходе до Увека. Флотилия будет там мазут брать, я тебя подберу. Я прождал два дня, а флотилия и не думала на Увек заходить. Нужен ей Увек!

— Ай-ай, какой тебе несолидный товарищ попался,— серьезно сказал Извеков.— Уж не Ваня ли это Рагозин?

— А кто же? Ему хорошо. Его все военморы знают!

— Неужели ты ни капельки не раскаиваешься? — отшатнулась от брата Аночка.

Он опять опустил голову: самой тяжкой укоризной было ему страдание сестры.

Так просто отыскался один беглец и, словно по росе, проступил след другого. Кирилл мог быть доволен. Он уже решил прощаться, но Парабукин, сбитый со своей роли благородного отца, обратился к нему довольно высокомерно:

— Извиняюсь, вы будете театральным сослуживцем моей дочери или что другое?

— Это сын Веры Никандровны,— сказала Аночка,— ты ведь знаешь, папа.

Парабукин сразу низвергся из-за облаков на трезвую землю, оправил мешковидную свою толстовку и отозвался с некоторым подобием изысканности:

— Знаю более по служебному высокому положению. Насколько читаю вашу подпись под разными декретами. А также, как ваш подчиненный, являясь сотрудником утильотдела.

— Да, я все не соберусь в этот ваш отдел,— сказал Кирилл.— Что там у вас происходит? Вы, говорят, книги уничтожаете?

— Ни восьмушки листа без разрешения! Только согласно инструкции. Макулатуру церковных культов, своды царских законов — это да. Капитальную печать — скажем, отчет акционерного общества или рекламу.

— А будто пакеты из географии не клеили? — злорадно ввернул Павлик.

— Молчи. Тебе еще рано понимать. Не из географии, а из истории. Потому это бывшая история, которой больше не будет. Отмененная история. У нас в науке разбираются. Если что имеет значение — в сторону. Не имеет — в утилизацию. Корочки от книжек — на башмачную стельку. Испечатанные страницы — на пакет. Чистую бумагу — для письма.

— Обязательно приду к вам. Очень меня занимает ваш отдел,— сказал Кирилл.

— К нам самые сведущие люди заходят. И не обижаются. Настоящие библиóтеки составляют из книг. (Парабукин сильно нажал на «о».)

— Вот, вот,— улыбнулся Кирилл и протянул руку Павлику.— До свиданья, боевой товарищ. Мы с тобой, придет время, повоюем, войны на наш век хватит. А пока все-таки не огорчай Аночку, не надо, ладно?

Павлик не сразу решился подать руку, потом опасливо приподнял ее, не отнимая локтя от бока, и проворно отвернулся.

Аночка вышла проводить гостя. Волнение ее улеглось, она даже прихорошилась, успев причесать стриженую свою голову в то время, как Кирилл прощался с мальчиком.

— Надолго? — спросила она лукаво, когда они задержались в темноте у растворенной двери.

— До завтра. Хотите — завтра? — предложил он, будто вспомнив первую свою оплошность и решив не откладывать новую встречу в долгий ящик.

Он опять удивился,— как хрупка и тонка была ее кисть, и вдруг нагнулся к этой руке, не похожей ни на одну другую в целом свете, и дважды, торопливо и неловко, поцеловал ее.

— Что вы! — воскликнула она, отступая в сени, и уже из-за двери неожиданно прибавила: — Такой колючий!

Он сейчас же пошел прочь, некрупным, но сильным своим шагом. Он был рад и поражен, что так получилось, что он поцеловал ее руку. Никогда прежде не мог бы он себе представить, что поцелует женщине руку: это было что-то либо светское, либо ничтожное, рабское и допускалось людьми, которые не имели с Извековым ничего общего. Чуждый этот жест (если случалось со стороны увидеть его где-нибудь на вокзале) отталкивал Кирилла, и он рассмеялся бы над собой, если бы вообразил, что когда-нибудь попробует подражать унизительному для женщины и прибедняющему мужчину обычаю. Особенную дикость приобретал в его глазах поцелуй руки теперь, когда с женщины спадали все путы принижения и предрассудков. Нет, уж если галантное целование руки вздумал бы кто отстаивать, то пусть женщина и здесь была бы совершенно равноправна и прикасалась бы губами к руке мужчины, выражая ему свою приязнь. Нет, нет, Кириллу было совершенно враждебно целование женской руки. Его только наполняло счастье, что он поцеловал руку Аночки — изумительную руку необыкновенной девушки! Его поцелуй не имел никакого подобия с пошлой манерой, принятой хлыщами. Он поцеловал не руку, а какую-то особую сущность Аночки, так притягательно скрытую в

руке, он поцеловал Аночку, конечно, самое Аночку! — не всё ли одинаково в ней достойно поцелуя — лицо, шея, рот или рука? Он завтра скажет Аночке об этом чувстве равноценности для него каждой дольки ее тела, завтра, завтра,— как хорошо, что уже завтра!

Он шел обратно той дорогой, где только что они проходили вместе, и в нем повторялось, шаг за шагом, пережитое ощущение близости Аночки, остро подсказываемое мерным хрустом пыли под ногами в темноте пустынных улиц. Вот так хрустело, когда они шли вместе. Так хрустело под ее ногами. Он пел негромко и неразборчиво. У него не было слуха, но если он запевал для одного себя, ему нравилось, и он казался себе музыкальным. Завтра, завтра — означало его пение. Завтра, завтра — отвечал он мыслям о поцелуе. Завтра, завтра...

Он застал в своем кабинете несколько товарищей. Одни курили, сидя на подоконниках, другие рассматривали карты, которые Кирилл показывал Аночке. Он всех знал и сразу понял, что их собрала неожиданность.

— Куда запропастился? — спросил один из них.

— Никуда особенно. Видишь, без кепки,— сказал он, заставляя себя обычным шагом пройти к своему месту и окидывая взглядом стол.

Он тотчас заметил телеграмму, воткнутую стоймя за чернильницу. Пока он читал, все молчали. У него сжался и точно постарел рот. Он сложил телеграмму надвое, не торопясь опустился в кресло.

— Ты не садись,— заметили ему,— нас ждет председатель, он назначил совещание.

— Так, так. Ну, пойдемте,— сказал он с безусловной уверенностью, что все сразу за ним пойдут, будто это он сам назначил совещание, и быстро двинулся через кабинет в соседнюю комнату.

23

Только в конце следующего дня Кирилл выбрал минуту, чтобы послать Аночке записку, в которой сообщил, что встречу приходится отложить дня на два. Когда он писал — дня на два, он не верил, что это так, и все же не мог написать ничего другого. Он, правда, добавил, что ужасно хочется увидеться, и решил, что такая приписка, ничего не объясняя, все искупит.

Нельзя было загадать не только на двое суток вперед, как сложатся события, но и на два часа. Ночь прошла в совещаниях, телефон и телеграф работали не переставая: городу угрожал новый мя-

теж — с севера — и перерыв последней железнодорожной связи с Москвой — через Пензу.

Командир красной дивизии донцов, бывший казачий подполковник Миронов, формировавший в Саранске Пензенской губернии новый кавалерийский корпус, отказался подчиняться Революционному Военному совету. До этого он перестал считаться с политическим отделом дивизии, и на самовольно созванных митингах, внушая казакам и крестьянам, что он спасает революцию, натравливал их против Советов и большевиков. Вызванный от имени Реввоенсовета в Пензу, он ответил вооружением своих частей и ультиматумом, которым требовал, чтобы его беспрепятственно пропустили на фронт. Арестовав и посадив в тюрьму советских работников Саранска, Миронов во главе казачьих частей выступил на Пензу. По мере продвижения он рассылал по деревням своих агитаторов, подбивая крестьян на восстание, задерживаясь иногда в пути по многу часов.

Такие задержки помогли верным революции войскам стянуть части Первого конного корпуса, чтобы помешать выходу мироновцев к прифронтовой полосе и покончить с ними в тылу.

Пензенская губерния была объявлена на осадном положении, власть перешла к крепостному Военному совету, в уездах учреждались революционные комитеты. Деревенские коммунисты, вооруженные вилами и топорами, начали стекаться в уездные города, объединяясь для отпора изменившей дивизии. Налаживалась разведка, устраивались мастерские, где приводили в порядок неисправное оружие. Стали брать на учет лошадей и седла. В Пензе вели запись добровольцев в рабочий полк. В самых глубоких и спокойных углах губернии происходила мобилизация большевиков, и сотни людей становились под ружье.

Спустя четыре дня после выхода Миронова из Саранска его отдельные отряды, при попытке переправиться через Суру, были взяты под пулеметный огонь и обращены в бегство. Еще тремя днями позже около тысячи мироновцев выслали делегатов в Красную Армию и сложили оружие, заявив, что хотят вернуться в ее ряды.

Миронов с оставшейся частью мятежников продолжал марш к Южному фронту, оттесненный от Пензы, обходя ее, соприкасаясь с северными уездами Саратовской губернии и держа направление на Балашов. Силы его таяли, он шел теперь осторожно, не решаясь заходить в города. В результате стычек или из нежелания сражаться, от него откалывались либо просто сбегали группы и кучки казаков, уходя в леса и рассеиваясь по деревням и селам. Эти шайки наводнили окрестные места его следования, сам же Миронов, с бандой в пятьсот человек, был окружен и взят в плен

красной конницей в Балашовском уезде через три недели после измены[1], в середине сентября.

В первые дни мятежа немыслимо было, конечно, предвидеть, насколько он разрастется и скоро ли окончится. Своею вспышкой он угрожал Саратову не только потому, что потеря Пензы означала утрату кружного пути на Москву (в то время как прямой был перерезан находившимися в районе Козлова ордами Мамонтова), но и потому, что северные уезды Саратовской губернии прямо входили в орбиту мятежа. Красный петух мог забить крыльями в ближнем тылу, на севере, в то время как на юге алели пожары, зажженные деникинским фронтом. Из пензенского события мятеж мог каждый час сделаться событием саратовским.

Наступление на Южном фронте только словно бы начинало развертываться. В день, когда вспыхнул мироновский мятеж, матросы Волжской флотилии ворвались в Николаевскую слободу, против Камышина, а на другой день красная пехота заняла Камышин. Тем ожесточеннее встречал Кирилл известия об авантюре Миронова. Еще больше, чем прорыв Мамонтова, ошеломила его внезапность угрозы с севера. Саратов в непрестанной череде потрясений напоминал Кириллу больного, который не успевал одолеть одну болезнь, как на него наваливалась другая. Не успевали миновать «окопные дни», когда горожане толпами ходили на рытье траншей, как объявлялись «недели фронта» с их нескончаемыми мобилизациями. Это был кризис в кризисе.

И все же надо было отыскивать силы там, где они, казалось, иссякли.

Городской гарнизон, истощенный усилиями, которые понадобились на оборону от Врангеля и переход против него в наступление, мог выделить для борьбы с мироновцами лишь небольшие отряды.

Один такой отряд отправлялся в Хвалынский уезд и был — как сказал о нем военный комиссар — может, и не плох: до полутора сотен добровольцев и мобилизованных последнего призыва, сведенных в роту. Предстояло решить вопрос о командире: измена Миронова снова поднимала споры об отношении к бывшим офицерам царской армии как военным специалистам. При обсуждении кандидатуры военком назвал Дибича, отличившегося по формированию, но служившего в Красной Армии недавно и в боях не проверенного.

---

[1] Из архивных документов теперь стало известно, что мятежные действия Миронова на Южном фронте в 1919 году рассматривались Военным трибуналом. Миронов приговорен к расстрелу, но на суде раскаялся и был помилован ВЦИК. Впоследствии реабилитирован. Командовал 2-й Конной армией. *(Примеч. автора. 16 марта 1976 г.)*

— Да что же я толкую,— добавил военком,— Дибича рекомендовал товарищ Извеков, он, наверно, скажет.

Кто-то заметил полушутливо, что если, мол, Извеков рекомендовал, пусть он и проверит свою рекомендацию в деле: дать его к Дибичу комиссаром! Замечание так бы и осталось не слишком серьезным, но общая мысль в эту минуту искала человека недюжинного и решительного, на которого можно было бы возложить полномочия более важные, чем комиссарство в роте, вплоть до права образовать на месте и возглавить революционный комитет, если бы обстоятельства потребовали. Назначением Извекова на маленький пост разрешилась бы большая задача, и полушутка прозвучала кстати.

Кирилл сказал кратко:

— Дибича я видел в боях с немцами. Командир мужественный и не аферист, пошел служить к нам, а не к белым вполне сознательно. Я за него ручаюсь.

На этом с вопросом о доверии Дибичу было кончено,— не потому, что не нашлось охотников перетряхнуть прошлое бывшего офицера, а потому, что сразу повели разговор об Извекове, тут же утвердили его комиссаром, и на него, в глазах всех, легла ответственность не только за Дибича или за роту, но будто и за события, которые могли произойти в Хвалынском уезде.

Часом позже Василий Данилович — уже командир сводной роты — явился, чтобы договориться с Извековым о подготовке предстоящего похода.

— Что значит человек на своем месте,— встретил его Кирилл,— даже румянец выступил! И ведь опять я с вами в одной части!

— Только вы с повышением, а я не дотянул и до старого,— сказал Дибич.

— Горюете? Вам на подносе счастье подается: не пройдет недели, как вы у себя дома, в своем Хвалынске.

— И как еще почетно,— улыбнулся Дибич,— с оружием в руках! Вот только не пришлось бы дом-то с боем брать.

— А что же особенного! И возьмем! — сказал Кирилл.— Вот вам карандаш, садитесь.

Он развернул карту Волги, и тотчас с удивительной живостью увидел, как Аночка клонилась над этой картой, следя за его пальцем, и как он старался привлечь ее внимание к действиям на юге, чтобы она не подняла голову на север. Теперь он подогнул южную половину вниз.

Но начали не с карты. Дибич рассказал, чем была в действительности рота, аттестованная, как «может, и не плохая». Красноармейцы не закончили даже ускоренной подготовки, старых сол-

дат среди добровольцев числилось меньше половины, люди нуждались в одежде, сапогах, винтовок не хватало. Стали составлять списки потребного оружия, снаряжения, обмундирования, провианта. Когда подсчитали, сколько времени нужно на сборы, и выяснилось, что не меньше трех суток, Кирилл сказал:

— Плохо у нас получается. Мы должны это дело сократить вдвое.

— То есть как?

— А так, чтобы послезавтра на рассвете выступить.

— Я готов хоть сейчас выступить, да с чем? Палок в лесу нарезать — и то время надо. А тут придется каждую щель по цейхгаузам облазить.

— Придется проворнее лазить.

— И так мы с вами чуть не на минуты все рассчитали.

— Пересчитаем на секунды.

— Легко сказать. Я не первую роту сколачиваю.

— Наша рота особого назначения.

— Тем основательнее ее надо снабдить.

Кирилл посмотрел на Дибича тяжелым взглядом из-под осевших на переносье бровей.

— Вот что, Василий Данилович. Условимся, что бой уже начался. А в бою ведь у нас разногласий не будет, правда?

— Тут не разногласия, а простая арифметика.

— Значит, простая непригодна. Пересчитаем по арифметике особого назначения. Я беру на себя самое трудное. Что, по-вашему, труднее всего получить?

— Два пулемета нужно? Связь нужна? А попробуйте раздобыть провод.

— Хорошо. Попробую. Связь будет за мной. Срежу, на худой конец, вот этот аппарат,— сказал Кирилл, вдруг зачем-то стукнув ладонью по телефону.

— Один аппарат — еще не связь,— возразил Дибич.

— Найдем сколько надо. Дальше что?

Они перебрали и перечеркали свои списки, разделили между собой намеченную работу и взялись за карту.

Роте предстояло идти по большаку на Вольск и оттуда на Хвалынск. Это составляло двести двадцать верст. Дибич клал на весь марш пятеро суток, с привалами и ночлегами. На хорошем пароходе передвижение отняло бы день. Но все суда были брошены на южную операцию и пароход мог подвернуться только случайно. Поэтому Извеков предложил следовать на Вольск поездом (что больше чем удваивало путь до этого города, но сокращало время), а остаток дороги до Хвалынска — маршем. Такой комбинированный переход занял бы трое суток.

— Если не подведет чугунка,— сказал Дибич.— Пары-то разводят дровишками.

— Нарубим,— сказал Извеков.

— И если Миронов не двинет от Пензы на юг и не перережет железную дорогу где-нибудь под Петровском.

— А для чего нас посылают? Будем драться там, где встретим противника.

— Нас посылают в Хвалынск. В Петровск пошлют других. Мы обязаны выполнить свою часть задачи.

— Задача в том, чтобы переломать врагу ноги, а на какой станции мы их переломаем — не существенно.

— Напрасно так думать. Большая разница — кто кому навяжет бой, кто выберет время и место боя. Мы имеем дело с конницей. И она уже выступила. А мы будем готовы к маршу только на третьи сутки. Нас легко предупредить.

— Не на третьи,— поправил Кирилл,— а через полтора суток. И у нас больше шансов не быть предупрежденными, а предупредить самим, если мы перебросим роту по железной дороге.

— У меня нет возражений. Все равно неизвестно, что будет через трое или двое суток,— проговорил Дибич очень тихо и замолчал.

Неожиданно он побледнел и сказал с волнением:

— Вы начали о разногласиях. Давайте договоримся сразу. Вы мне доверяете или нет? Если нет, то не теряйте времени — вам нужен другой командир.

— Я вам доверяю,— спокойно ответил Кирилл.

— Вполне?

— Вполне.

— Благодарю. Тогда еще вопрос. Кто из нас будет командовать?

— Вы.

— Я хочу знать — не кто будет поднимать цепь в атаку, а кто будет определять тактику боя, я или вы?

— Мы вместе.

— Это значит, что я обязан присоединяться к тому, как вы решите, да?

— Нет. Это значит, что мы оба будем вникать в убеждения друг друга и находить согласие. Притом я потребую к себе такого же полного доверия, какого вы требуете к себе.

— А в случае расхождений?

Дибич глядел на Кирилла разожженными нетерпением глазами, все еще бледный, и Кирилл вспомнил, каким увидел его в этом кабинете первый раз — больного, измотанного судьбой и противящегося ей изо всех своих остаточных сил.

— Вы в Красной Армии,— ответил он,— устав ее не тайна. Но вряд ли между нами возможны расхождения. Во-первых, я не сомневаюсь в превосходстве ваших военных познаний и буду полагаться на них. А во-вторых, у вас ведь одинаковые со мной цели.

Кирилл подвинулся к нему и тепло досказал:

— Вы меня простите, я никогда не заставлю страдать ваше самолюбие.

Дибич, вспыхнув, махнул рукой.

— Я заговорил не потому... Просто чтобы раз навсегда... И чтобы к этому не возвращаться. Чтобы вы знали, что я ставлю на карту жизнь.

— На карту? — воскликнул Кирилл.— Зачем? Мы не игроки. Ваша жизнь нужна для славных дел.

— Я понимаю, понимаю! — отозвался Дибич с таким же порывом.— Я хотел, чтобы вы знали, что я во всем буду действовать только по убеждению, и никогда из самолюбия или еще почему... Так что если я с вами разойдусь в чем, то...

— Но зачем, зачем же расходиться? — сказал Кирилл, поднявшись и вплотную приближаясь к Дибичу.— Давайте идти в ногу.

— Давайте,— повторил за ним Дибич,— давайте в ногу.

Они улыбались, чувствуя новый приток расположения друг к другу и радуясь ему, как всякому вновь открытому хорошему чувству.

— Я вот еще что придумал,— сказал Кирилл.— Ежели какая непредвиденная задержка в наших сборах, то вы отправляетесь с эшелоном, а я доделываю здесь необходимое и нагоняю роту в Вольске, на автомобиле.

— Откуда же автомобиль?

— А это я тоже беру на себя.

— Ну, я вижу, с таким снабженцем, как вы, не пропадешь! — засмеялся Дибич.

Уже когда он уходил, Извеков задержал его на минуту.

— Я хотел спросить, что это за человек — Зубинский, вы не знаете? Военком дает нам его для связи.

— Бывший полковой адъютант. Форсун. Но исполнительный, по крайней мере — в тылу.

— Ты, говорит военком, будешь за ним, как за каменной стеной.

— Ну, если уж прятаться за каменную стену...— развел руками Дибич.

— Так как же, брать?

— Людей нет. По-моему — надо взять.

С этого момента начались стремительные сборы в поход. Это были ночи без сна и день, казавшийся ночью, как сон — когда

спешишь с нарастающей боязнью опоздать и все собираешь, собираешь вещи, а вещей, которые надо собрать, остается все больше и больше, словно делаешь задачу по вычитанию, а уменьшаемое растет и растет.

Зубинский носился по улицам на отличном вороном жеребце, в английском, палевой кожи, седле. Он был прирожденным адъютантом, любил выслушивать приказания, выполнял их точно и с упоением, доходившим до жестокости. Он покрикивал на всех, на кого мог крикнуть, сажал под арест, кого мог посадить, действовал именем старших с необычайной легкостью, как будто все, у кого он был под началом, в действительности ему подчинялись или состояли у него в закадычных приятелях. Перехваченный щегольской портупеей, в широком, как подпруга, поясе, со скрипучей кобурой маузера на бедре, он был под стать своему жеребцу. Не зная ни секунды передышки от трудов, он не уставал холить свою будто нарисованную внешность: разговаривая, он чистил ногти; на полном скаку лошади сдергивал фуражку и поправлял напомаженный пробор; расписываясь в бумагах, проверял свободной рукой пуговицы френча и пряжки своей гладко пригнанной сбруи. И походя он все чистился, отряхивался, одергивался, точно перед смотром.

— Да, молодой человек,— внушал он каптенармусу, который был по меньшей мере старше его в полтора раза,— если цейхгауз не отгрузит мне пятьдесят подсумков к тринадцати часам ноль-ноль, то вы через ноль-ноль минут сядете за решетку на сорок восемь часов ноль-ноль! Это так же точно, как то, что мы живем при Советской власти.

Свои угрозы он с удовольствием приводил в действие, его с этой стороны знали, и он достигал успехов. Полезность такого человека в определенных обстоятельствах была очевидна.

В канун выступления роты Извеков решил навестить мать, чтобы проститься. Он велел ехать по улице, где жили Парабукины. Он думал только взглянуть на ту дорогу, которой недавно прошел под руку с Аночкой.

Машина гнала перед собой белый свет, засекая в воздухе неровную волну дорожных выбоин, и полнолунно озаряла палисадники. Деревья словно менялись наскоро местами. Кирилл не узнавал, но угадывал очертания кварталов. Вдруг он тронул за локоть шофера и сказал — «стоп».

Один миг он будто колебался, потом распахнул дверцу и выпрыгнул на тротуар.

— Подождите, я сейчас.

После блеска фар на дворе показалось непроницаемо темно, так же темно, как было, когда он вошел сюда с Аночкой, и так же

скоро, как с нею, он различил в глубине освещенное окно. Прежде чем подойти к нему, он подумал, что это нехорошо, что этого нельзя делать, но не мог перебороть желания с точностью повторить недавно пережитые минуты. Он медленно приблизился к стеклу и заглянул через короткую занавеску.

Аночка была одна, и маленькая комната почудилась Кириллу обширнее той, которую отчетливо запечатлела его память.

Аночка стояла у кровати. В слабом мигании лампы бледность ее лица то притухала, то странно усиливалась, как будто кровь все время живо бросалась к ее щекам и тотчас снова отливала. Губы ее дрожали. Она что-то шептала. Худоба высокой ее шеи стала очень заметной, и какое-то болевое напряжение, как у певца, который берет едва доступную ему верхнюю ноту, крылось в темной жилке, проступившей у нее от ключицы кверху. Казалось, вот-вот вырвется у Аночки еле удерживаемый крик.

Она и правда вдруг закричала. Руки ее вскинулись, и — словно кто-то безжалостно потащил ее за эти вытянутые в надежде тонкие руки — она ринулась через всю комнату и с разбега упала на колени.

Она упала на колени перед накрытым плетеной скатертью круглым столиком, на котором высилась швейная машинка в деревянном колпаке. Она протянула к этому колпаку руки, скрестив их в мольбе, и начала мучительно выталкивать из себя перегонявшие друг друга беспамятные восклицанья. Она явно потеряла рассудок, и видеть ее отчаяние было невыносимо.

Кирилл с силой ухватил жиденькую раму окна, готовый вырвать ее и влететь в комнату. Но странное движение Аночки остановило его: она обернула лицо к окну, не спеша всмотрелась в пустоту комнаты, спокойно поправила прическу жестом, похожим на мальчишеский — запустив пальцы в свои короткие волосы,— и опять повернулась к столу.

Почти сейчас же она зажала лицо ладонями, потом снова простерла руки, до непонятности быстро поднялась и пошла к окну скованным шагом разбитого несчастьем человека. Страдание придавило ее жалкие девичьи плечи, оцепенение ужаса глядело из немигавших глаз. Никогда Кирилл не мог бы вообразить, что у Аночки такие огромные страшные глаза.

Она все шла, точно эта убогая комната была бесконечной, все тянулась к окну трепещущими бессильными пальцами. Он сделал шаг в сторону от света. Он увидел, как шевельнулась занавеска: Аночка тронула ее кончиками пальцев. Он расслышал стон: «Останься! Останься! Куда ты! Батюшка! Матушка! В эту страшную минуту он нас покидает...»

Кирилл крепко провел ладонью по лбу.

«Бог ты мой! — вздохнул он освобожденно.— Ведь она играет! Играет, наверно, свою Луизу!»

Он не мог удержать неожиданный смех и громко постучал в дверь.

Тотчас послышался голос:

— Это ты, Павлик?

— Это я, я! — крикнул он.

Она впустила его молча. Он смотрел на ее изумление, вызвавшее краску к ее щекам, и вдруг всем телом почувствовал счастье, что его приход поднял в ней смятение.

— Какой вы хороший, что пришли,— словно укрепила она его в этом ощущении.

— Я должен был прийти.

— Когда я получила вашу записку, я поняла, что вы не придете. Отчего вы такой веселый?

— Веселый? — спросил Кирилл.

Он как вошел смеясь, так с губ его все не исчезала улыбка.

— Ну, скажем, потому, что я не хочу повторять мину, с какой обычно приходят прощаться. Перед расставаньем.

— Прощаться? — сказала она с тревогой.

— Да вы не пугайтесь. Ничего особенного. Я должен поехать по одному делу.

— На фронт?

— Нет. Так. На небольшую операцию.

— Против этого самого Миронова, что ли?

Он ничего не ответил от неожиданности.

— Что же вы за друг, если у вас от меня тайны?

— Почему — тайны?

— Если вы верите в меня, не надо скрывать...

Она сказала это с детским укором, ему стало неловко, он отошел от нее, но сразу вернулся и взял ее руку выше локтя. Тогда отошла она и села у того столика, накрытого плетеной скатертью, перед которым Кирилл видел ее на коленях.

— Значит, так и не посмотрите нашу репетицию,— с грустью выговорила она.

— Я видел... как вы репетируете...

Она тяжело подняла брови.

— Только что,— договорил он, опять улыбаясь.

— Вы шутите.

— Нисколько. Хотите, повторю вашу реплику?

Он попробовал, довольно неудачно, изобразить ее стон: «Останься! Останься! Куда ты?..»

Она мгновенно закрыла глаза руками и вскрикнула:

— Вы подсматривали в окно!

Он испугался ее крика и стоял неподвижно. Она нагнула голову к столу.

— Как вы могли! — пробормотала она в свои согнутые локти.

— Честное слово, я только на минутку заглянул,— сказал он растерянно.

Она распрямилась, опять своим спокойным, но словно мальчишеским жестом поправила волосы.

— Ну хорошо. Если уж видели репетицию, то приходите на спектакль. Вы ведь вернетесь к спектаклю? Куда вы все-таки уезжаете? Я угадала, да? Кем вы туда едете?

Сам не зная зачем, он сказал:

— Я буду председателем ревкома. Слышали, что это такое?

Она всмотрелась в него изучающим взглядом чуть сощуренных глаз и спросила:

— Вы больше всего любите власть?

— Смертный грех властолюбия, да? — насмешливо сказал Кирилл.

— Нет, это не грех, если... на пользу человечеству.

— Так вот наша власть на пользу человечеству. Согласны вы с этим?

— Да.

— Значит, можно любить власть?

— Разумеется. Я спросила не об этом... вы не поняли. Я спросила — вы любите власть больше всего?

Он глядел на нее сначала строго, затем черты его, будто в накаливающемся луче света, смягчились и приобрели несвойственную им наивность. Не догадка ума, а волнение сердца подсказало ему, что Аночке совсем не важно в этот миг существо разговора и что только еле угадываемые оттенки слов доходили до ее внутреннего слуха.

— Нет,— проговорил он, уже всецело отдаваясь своему волнению,— я вас понял.

Она резко отвернулась, потом еще быстрее обратила к нему удивительно легкое лицо — свободное от недоумений, и он, подойдя, просто и сильно замкнул ее в свои руки, как в подкову. Короткий момент они оба пробыли без движения. Затем она с настойчивостью отстранила его, и он, как будто издали, услышал повторяющиеся упрямые слова:

— Когда вернетесь... когда вернетесь... не сейчас...

Он увидел ее первую улыбку в эту встречу — ее обычную, немного озорную, но вдруг словно и печальную улыбку.

— Я могла бы, и правда, повторить, что вы слышали через окошко: «Останься! Останься!..»

Она сама приблизилась к нему, в его неопущенные руки, и он услышал жаркое, незнакомо пахучее ее лицо.

Она проводила его спустя недолго до ворот. Шофер завел мотор, который поднял всполох в беззвучии вечера. Взрыв этого шума полон был предупреждающего, грозного беспокойства. Аночка сказала Кириллу, мягко касаясь губами его уха:

— Я жду непременно на первый спектакль.

Он ответил неожиданным вопросом:

— А почему Цветухин выбрал эту пьесу?

— Как — почему? Это же поймет каждый человек — как люди страдали под гнетом знати!

— Ах да! — шутливо спохватился он, но сразу, точно учитель, поощряющий ученика, одобрил серьезно: — Совершенно верно, поймет каждый человек.

Он сжал на прощанье ее пальцы.

В машине он не мог отделаться от назойливой мысли: вот он уезжает в то время, как Аночка остается с Цветухиным. Опять возникло в нем раздражение против этого человека, и опять он убеждал себя, что нет оснований раздражаться. Самое тягостное заключалось в том, что жизнь повторяла один раз испытанное положение, в котором преимущество снова было на стороне все того же Цветухина. Тот оставался, Кирилл должен был уезжать, когда ему ужасно хотелось жить, ужасно хотелось — потому что душу его осветила торжествующая ясность: он любит и любим! Неужели и правда пустозвону Цветухину суждено омрачать Кирилла в самые счастливые мгновенья жизни?

— Да никогда! Да ни за что!

— Что вы говорите? — спросил шофер.

— Давно работаете за рулем, говорю я, а?

— А что? Разве недовольны, как веду?

— Нет, ничего... Мотор знаете хорошо?

— Не могу похвалиться, чтобы очень. Справляюсь.

— Так, так...

Дома Кирилл не застал Веры Никандровны — она отлучилась на какое-то собрание и скоро должна была вернуться.

Кирилл решил приготовиться к отъезду. Он долго искал чемодан и наконец обнаружил его под кроватью матери. Он принялся вынимать из него вещи сначала поспешно, потом все медленнее, пока вовсе не остановился на предметах, которые увели его воображение далеко в прошлое.

Сложенный любовно чертеж речного парохода, в продольном и поперечном разрезах белыми линиями по выгоревшему, некогда синему фону; портрет Пржевальского и портрет Льва Толстого, два таких разных и таких схожих мудреца, изведывающих своими

взорами землю и человека,— эти трогательные бумажные листы заставили Кирилла переселиться в жилище своей юности. Он вспомнил, как мальчиком строил корабли и суденышки фантазий и плавал в неизвестные земли будущего. Вспомнил, как потом попробовал найти к этим землям дорогу в действительности и как пресекли его поиски на первых шагах. Вспомнил домашний обыск, жандарма, который сорвал со стены и швырнул на пол Пржевальского: верхние уголки портрета были надорваны с тех пор, и Кирилл неторопливо расправил их ногтем. Он вспомнил, что этот вечер ареста был вечером последнего свидания с Лизой. И хотя он знал, что весь путь с того вечера и всю дорогу от фантазий к действительности он прошел в твердом согласии со своими желаниями и не хотел бы пройти иначе, ему стало больно, что он так много и так часто в жизни оставался один на один с собой.

На дне чемодана он нашел полотняный конверт с фотографиями. Здесь были спрятаны старые снимки. Он увидел себя крошечного — не старше чем полуторалетнего — в длинном платьице с кружевным воротником. Это было едва ли не первым живым воспоминанием Кирилла — как он очутился у чернобородого дяденьки, который сперва дал ему лошадку с мочальным хвостом, сказал «ку-ку» и спрятался под черным одеялом, а потом вылез из-под одеяла и отнял лошадку, и он изо всей мочи кричал, ни за что не соглашаясь с ней расстаться. На карточке он сидел, крепко вцепившись в эту лошадку, и лицо его было смешно сердито.

Вдруг Кирилл услыхал шаги на лестнице. Он быстро вышел в другую комнату. Только тут, остановившись и прислушиваясь, он заметил, что дышит часто и громко.

Он справился с собой и вернулся в комнату, где разбирал чемодан.

Вера Никандровна стояла неподвижно около вороха выложенных на стол вещей. Он подошел к ней, молча обнял ее. Они долго не говорили, остановив глаза на этой беспорядочной куче предметов, которые будто участвовали в их бессловесной беседе. Потом Кирилл поцеловал мать в холодный и немного влажный висок.

— Что же ты не говоришь — когда? — спросила она, с трудом произнося непослушные слова.

— Сегодня ночью. Времени еще не знаю.

Она отвела его в сторону, к окну, и, внезапно потеряв голос, шепотом сказала:

— Ну, посиди... посиди со мной...

Было очень тихо, и ясно слышался со стола запах лежалых вещей и тепло большой, ровно горевшей лампы. Ее отсветы кое-где

на мебели казались тоже теплыми и наделяли всю комнату спокойной прелестью обжитого дома.

Так мать и сын просидели в безмолвии несколько минут. Потом Вера Никандровна помогла Кириллу собраться в дорогу, и они вместе вышли на улицу. Уже прощаясь, Вера Никандровна призналась, что все время ждала этой минуты и все-таки застигнута ею врасплох. Кирилл и без такого признания видел, что это так, и спешил скорее уехать, чтобы излишне не испытывать самообладание матери. Она смотрела вслед убегавшим по дороге огням автомобиля и, когда они исчезли, долго еще стояла, не шелохнувшись, в полной темноте.

На рассвете Извеков провожал свою роту. Она отправлялась эшелоном во главе с Дибичем. Кирилл должен был выехать в течение дня, как условились, на автомобиле и присоединиться к роте в Вольске. Ему предстояло забрать с собой медикаменты, бинокли, запас револьверных патронов — то, что не успели получить за слишком короткое время сборов. С ним отправлялись Зубинский и один доброволец-большевик, которого Кирилл прочил себе в помощники.

Совсем незадолго до выезда Зубинский отрапортовал, что все готово, но автомобиль капризничает, и ехать на неопределенно долгий срок с малоопытном шофером рискованно.

— «Бенц» в неумелых руках — дело опасное. Что, если сядем на полдороге?

— Какой же выход? — спросил Кирилл.

— Если вы похлопочете, вам, наверно, не откажут дать шофера-механика.

— Есть такой?

— Есть. Механик вашего же гаража Шубников. И водитель великолепный. Спортсмен.

Кирилл выдержал долгую паузу, прежде чем что-нибудь сказать. Вечерний разговор с шофером сейчас же пришел на память: ехать с человеком, который сам говорит, что не может похвастать знанием мотора, ехать не на прогулку, а в поход, было бы по меньшей мере глупостью. Но имя Шубникова вызвало в Кирилле протестующую неприязнь. Он пристально вгляделся в Зубинского. Тот стоял навытяжку, ожидая приказания, и глаза его высекали преданную решимость служаки.

— Хорошо, я сейчас позвоню,— сказал Кирилл и добавил про себя: «Черт с ним, если это необходимо!»

Через полчаса машинистке был продиктован приказ об откомандировании Виктора Семеновича Шубникова в личное распоряжение товарища Извекова в качестве шофера-механика.

В биографии Шубникова, как она сложилась после его женитьбы на Лизе, отыщется немало драгоценных подробностей. Мерцалов, например, считал его фигурой, достойной отражения в хронике русских нравов на рубеже революции. А среди газетчиков помельче Мерцалов слыл за человека, у которого есть что прибавить к подобного рода описательным сочинениям, все еще недостающим нашей литературе. Однако даже краткое изложение жизни Шубникова составило бы особую главу. Здесь достаточно привести две-три черты деятельности одного из представителей теперь вымершего или переродившегося типа не слишком крупных, но полных беспокойства дельцов, к каким принадлежал Виктор Семенович.

Он был из самых ранних автомобилистов в городе. Машиной, по виду близкой к фаэтону, он пугал лошадей и приводил в шумный восторг мальчишек. Бездельники на всю улицу подражали пронзительному рожку с черной каучуковой грушей, приделанному снаружи кузова вместе с рычагами тормоза и скоростей, которые напоминали механизм железнодорожной стрелки. Когда появились более удобные автомобили, Шубников приобрел новый, а старый пустил в прокат.

Рядом с биржей лихачей на дутых шинах, у подножия памятника «царю-освободителю», прокатный самоход часами ожидал любителей острых ощущений. Извозчики, не предчувствуя судьбы, ожидавшей их сословие в жестокий век двигателя внутреннего сгорания, смеялись над картонкой с обозначением таксы, которую шофер вывешивал на автомобиле. Они держались кучкой в той стороне, где высился бронзовый крестьянин-сеятель, предназначенный иллюстрировать царское обращение манифеста: «Осени себя крестным знамением, православный русский народ...» Шофер, со своей таксой, стоял в надменном одиночестве по другую сторону памятника, близ Фемиды. Она символизировала в данном случае не столько правосудие, сколько бесстрастие истории, и не желала смотреть из-под своей повязки на конкуренцию двух эпох. Победителями вышли извозчики. Витенька Шубников, со свойственным ему нетерпением, очевидно, переоценил завоевательную способность недоразвитой техники. Любители обгонять трамвай по асфальтовой мостовой остались верны лихачам, и прокат такси прогорел.

Войну Шубников отбывал дома. Призывная комиссия выдала ему белый билет ввиду эпилепсии. Припадки с ним на самом деле бывали, но только из озорства и лишь в той мере, в какой он считал нужным помучить ими Лизу либо разжалобить тетушку Дарью

Антоновну. Он хороводил с военными чиновниками и врачами в кабинетах зимнего сада Очкина и дружил с интендантами.

На второй год войны Дарья Антоновна скончалась, и ее богатство нераздельно перешло к Витеньке. Это очень ослабило на нем поясок — не на кого стало оглядываться. Он все больше погуливал с барыньками и уже совсем не давал покоя Лизе наигранной ревностью. Впрочем, как случается с избалованными, себялюбивыми существами, он и правда мог ревновать Лизу к чему угодно, даже до настоящего страдания, до плача с истериками.

Наконец Лиза ушла от него. Он сразу кинулся под сень закона, стал гулять с консисторскими писарями, с адвокатами, и дело совсем было наладилось — он уже ожидал привода жены с сыном и возмещения урона мужниной чести. Но пришел февраль, дело замялось, потом — Октябрь, и все расходы на восстановление домостроя пошли прахом.

Надо сказать, после смерти тетушки Витенька не только гулял и занимался семейными страданиями. Наоборот, предприимчивая натура ощутила острый вкус к размаху. Он привез из Москвы великолепного «мерседес-бенца», повергшего в конфуз богачей мукомолов, не говоря о всяческих властях, ездивших если не на лошадках, то на машинах глубокой довоенной давности. Потом он отстроил конюшню, продал иноходца и купил пару рысаков-фаворитов, один из которых тут же взял первый приз на бегах. Затем он продал коллекции почтовых марок, медалей, монет, продал яхту и купил сильную моторную лодку. На Зеленом острове, во время пикника, он договорился войти в компанию, которая собиралась строить сарпинковую фабрику. С серьезным лицом он заседал на учредительских собраниях будущего акционерного общества.

Но вдруг, под веселую руку, он поспорил с каким-то загульным фельетонистом московского «Раннего утра», что берется основать копеечную газету, которая через два месяца забьет в губернии всех конкурентов. Взявшись за это заманчивое дело, он ушел в него с головой.

Он набрал живописный штат репортеров с красными носами, удивительно знавших мрачный и темпераментный быт гор, бараков, пристаней, базаров, ночлежек. Фельетонист, рассчитав, что ему выгоднее проиграть пари, чем выиграть, подрядился писать для газеты сыщицкий роман приключений. Легендарный орехово-зуевский атаман-разбойник Василий Чуркин стал в газете чем-то вроде героя на жалованье. О нем собирались песни, анекдоты, ему посвящено было наукообразное описание вариантов народных драм и представлений театра-петрушки, воспевающих чуркинскую славу.

Сам Витенька литературных склонностей в себе не замечал. Он не собирался также хвастать своей образованностью. Ему ничто не стоило спутать Фермопилы с Филиппинами, и он это помнил. Но он давал газетке направление, названное им «мимополитическим», и у него был свой девиз: «Народ любит скандал». Поэтому все поножовщины, банкроты, пожары, громкие бракоразводы, схождение трамваев с рельсов ярко освещались уверенными перьями. Театр для газетки почти не существовал, но личная жизнь артисток считалась негаснущей злобой хроник. Успех цирковых борцов или кинофильмов, которые именовались «лентами», быстро подпал под зависимость от Витенькиного издания. Дешевое для читателей, оно скоро стало дорогим для всех, кто жил процентами с человеческого любопытства.

Гонорар своему штату Витенька нередко выплачивал водочкой в «Приволжском вокзале». Речной трактир настолько пробуждал поэтическое чувство, что лучше всего именно здесь придумывались похождения провинциальных шерлок-холмсов на потребу подписчикам, и фантазия издателя участвовала в общем деле наравне с тружениками изящной литературы. Даже менее заносчивый характер, нежели Шубников, убедился бы на этом сочинительстве, что воистину горшки обжигают не боги. Витенька же спьяна так воспарил, что уверял, будто не пишет романов и стихов единственно за отсутствием свободного времени, и когда кто-то попробовал восстать в защиту Аполлона, он блеснул единственным своим произведением лирического жанра, подписав его псевдонимом *Убикон*. Стишок начинался так:

Отрываясь от земли,
Несется дух и ввысь взлетает,
Оставив страсти позади,
В эфире легком он ныряет.

Вскоре, однако, Шубников остыл к печатному слову и вовремя продал газетку, отчасти по бездоходности (перед революцией меньше стали помещать рекламы), отчасти в неясном предчувствии лозунга, который впоследствии поверг на землю нырявших в эфире легком газетчиков-спортсменов. Лозунг гласил: «Вся власть Советам!»

С приходом этой власти капитал Шубникова подлежал полностью отчуждению в пользу государства. Шаг за шагом Витеньку лишили текущих счетов в банках, магазинов, рысаков, домовладения и «мерседес-бенца». «Бенца» он жалел больше всего. Он было всплакнул, когда явились уводить машину из гаража, но тут обнаружилось, что неопытный шофер не может завести мотора, и бывший хозяин, в припадке негодующего презрения, сам кинулся

к автомобилю и ухарски доставил его к месту новой стоянки. Прощаясь со своим любимцем, он поцеловал его в ветровое стекло.

С этого часа он втайне следил за судьбой автомобиля, знал всех его многочисленных пользователей, и если встречал мчащимся по улице, словно окаменевал и долго глядел «бенцу» вслед. Он дружил с шоферами, давал советы, как содержать машину, и был убит горем, узнав однажды, что «бенца» помял грузовик. Его пригласили чинить поломки, и он проявил себя находчивым мастером. Примерно в годовщину революции его приняли в гараж Совета, и он скоро успел прослыть незаменимым механиком.

С виду Шубников очень опростился. У него еще оставалось кое-что от туалетов щеголя, но он носил рабочий комбинезон, сменил усы колечком на усы кисточкой, любил класть на стол промасленные руки и говорить, что, мол, нам к труду не привыкать.

Меркурий Авдеевич дивился бывшему своему зятю — как он легко обрел подобающую условиям наружность. Пока Шубников надеялся, что Лиза вернется к нему, он забегал к сыну с игрушками, исподтишка настраивая мальчика против Лизы. После развода он пренебрег этой игрой и в душе был рад, что встретил революцию не обремененным узами семьи. Но к тестю он продолжал наведываться. Он чувствовал признательность за то, что, прощая Лизу в силу отеческой слабости, Мешков считал его более правым, чем свою дочь. И хотя Шубников не был единомышленником Меркурия Авдеевича, однако верил в него, как в безопасного собеседника, и только с ним говорил без оглядки. Они выступали друг перед другом в роли поучителей, но Мешков искал спасение в кротости, а Шубников не намеревался капитулировать перед действительностью, уверенный, что урок истории скоро кончится и люди будут поставлены на свои природные места.

— Вы, папаша, не дипломатичны,— говорил он,— не усваиваете каприза современной даты. Покуда *они* наверху, мы должны их одобрять. Обстоятельство преходящее. Пускай думают, что мы изумляемся ихней гениальности. А там увидим.

— Это, милый, за грехи наши наказание,— возражал Мешков.— Долготерпению господню настал конец. А ты говоришь — каприз даты! Что же, по-твоему, нынешней датой господь решил наказать, а завтрашней помилует? Нет, ты покайся, смирись, возложи крест на свои плечи, потрудись в поте лица за один кус хлеба насущного. Тогда всемилостивец, может, и сжалится.

— Потрудиться — не новость. Вы вот всю жизнь трудились, а толку что? Труд — это есть средство самозащиты, папаша. В самом труде, если вы хотите знать научную точку зрения, ума нет, в нем только печальная необходимость. Из нее никакой премудрости не выкроишь.

— Хочешь *их* перехитрить? *Они*, милый, хитрее, чем нам спервоначалу показалось.

— Чем *они*, папаша, хитрее? Не замечаю.

— Тем, что из-под тебя твою телегу выдернули, да тебя же в нее впрягли, и ты их возишь.

— Я их вожу до поры до времени.

— Это они тебя в хомуте держат до поры до времени, покуда ты с ног не сбился.

Перепалки эти иногда доходили до решительных размолвок, но Шубников снова являлся к тестю и опять подбивал на споры.

Перед удалением в скитскую жизнь Меркурий Авдеевич еще раз излил себя Виктору Семеновичу и окончательно убедился, что новый зять — Анатолий Михайлович — много достойнее старого. Ознобишин, вместе с Мешковым, объяснял происходящее гневом божиим, а Шубников говорил, что, мол, дело отца небесного — вносить в нашу жизнь неустройство, а наше дело — заботиться о своей судьбе, насколько хватит смекалки.

— Никогда я, папаша, не поверю, что вам нравится господне наказание. А если не нравится и вы недовольны — какое же возможно примирение? Это все лицемерие.

— Ты, Виктор, хулитель,— сказал Мешков на прощанье.— И я теперь рад, что Лизавета отняла у тебя сына. Иначе ты развратил бы отрока безбожием. Смотри, береги свою голову.

— Уж если не уберегу, то отдам недешевой ценой.

— А цену кто получит? Тебя-то ведь не будет?

— Посмотрим, кто будет...

Назначение ехать за шофера в Хвалынск грянуло на Виктора Семеновича громом из ясного неба. Едва он узнал, чем вызвана поездка, как на «бенце» отказались работать аккумуляторы. «Бенца» он обожал, но не настолько, чтобы ради его сохранности подавлять мироновский мятеж.

В Саратове Шубникова слишком хорошо знали, и за пределами города ему угрожало гораздо меньше превратностей. Но это — в равных, так сказать, в мирных условиях. В сопоставлении же тыла и фронта дело круто менялось. В Саратове, на самый худой случай, могли припомнить Витеньке его капиталы, или его газетку, или его купеческие грешки, а шальные пули на фронте относились к биографиям безразлично в гражданскую или какую иную войну.

Зубинский —приятель Шубникова по ночным похождениям с интендантами — держался иного мнения о фронтовых перспективах.

— Ты не блажи,— ответил он Виктору Семеновичу на его перепуг.— Умные люди давно гасят свечи, прячут огарки по карма-

нам. Игра перестает окупаться. Если белые нагрянут в Саратов — разговор короткий: на советской службе был? И готово. Культурному человеку еще хуже: вы, скажут, понимали, что делали. А на фронте в критическую минуту — тут тебе и поле, и лес, и хуторок какой, и своя линия и неприятельская. Большой выбор.

— На линиях не в подкидные дураки перекидываются. Там стреляют.

— А тебе что? Не будь и ты дураком. Стреляй... на своем «мерседес-бенце»,— ухмыльнулся Зубинский и, сняв с обшлага пушинку, кончил начальнически: — Короче говоря, машина должна быть в безукоризненном состоянии!

Виктор Семенович понял, что попал, как мышь в таз, и нельзя ждать, чтобы кто-нибудь пособил выкарабкаться. Наоборот, под горячую руку начальство не посчитается ни с чем. Поэтому «бенца» Виктор Семенович подал точно к назначенному часу, с усердием помогал увязывать багаж, а когда появился Извеков, козырнул ему, ничуть не уступая в изяществе Зубинскому.

Кирилл обошел автомобиль кругом.

— Все исправно?

— Горючего полный бак и бидон. Запасных два ската. Слабое место — мотор. Изношенность порядочная. Но, как говорится, господь не выдаст...

У Виктора Семеновича выработалась за последний год блаженная улыбочка, выражавшая нечто среднее между простодушием рубахи-парня и умилением льстеца.

Кирилл взглянул на него пристально:

— Мы будем требовать с вас, а не с господа.

— Понятно. Я ведь только ради поговорки...

Зубинский предложил Извекову переднее место, но он сел позади рядом с добровольцем. Посмотрев на часы, он приказал ехать.

В пути на машине есть время многое заново понять, охватить успокоенным взором происходящее. Толчок к размышлениям дают прежде всего пространства.

За Саратовом они то унылы, то даже грозны своим однообразием. Едва миновали небогатые пригородные рощи насаждений — возрастом немногим больше полутора десятка лет,— как потянулись лысые холмы, разделенные оврагами, с нищими купами тополей и ветел около разбросанных на версты и версты селений. Надо было бы обсадить дороги березой, раскинуть по низинам темные дубовые леса вперемежку с мохнатой сосной — прикрыть охровую наготу земель питательной тенью бора. Как вольно вздохнули бы нивы, если бы извечные степные ветры вместо жгучей суши принесли бы на пашню и рассеяли боровые туманы! Как сверкнули бы поднявшиеся в буераках зеркала родников, как за-

играли бы на заре росы, какой звон подняли бы речки! Это была мечта безвлажных пространств, расстилавшихся перед Кириллом. С детских лет он разделял тоску своего края, грезил о дубравах на этом нескончаемом плато. Теперь, припоминая из детства, какими он себе рисовал будущие леса, Кирилл удивился. Фантазия уносила его тогда в парки причудливых тропических растений, словно приподнятых над землей и оберегающих ее пышно соединенными кронами аллей. Эти странные парки возникали в воображении скачком — оно отталкивалось от голых степей и попадало прямо в кружевное плетение лиан. Мечтателя не занимали переходы. Вдруг степи покрывались парками. Как парки сделались — неинтересно. Фантазия наслаждается спелым плодом, не заботясь — кто насадил и вырастил его. Сорви и вкушай, плод сладок и душист, хотя бы плод далекого будущего, а печальные глины, поросшие полынью, отвращают от себя неискушенную мысль. Сейчас Кириллу казались удивительными похожие на каменноугольную флору тропические декорации, увлекавшие детский ум. Он занят был тем, что в детстве не существовало для воображения. Он думал о переходах — о том, что надо сделать для обогащения степей. Как напоить их? Какие деревья насадить по оврагам, какие на холмах? Где та порода, которая устоит от суховеев? Сколько ветряков, сколько водочерпалок соорудить в уезде, чтобы он из степного стал лесным? Как объединить деревни, села и повести их к преображению земли? Довольно ли десяти тысяч людей, чтобы создать уход за десятью миллионами деревьев? Много ли это, мало ли — десять миллионов? Через какое время лес перестанет требовать у человека влаги и сам станет ее источником? Нет, это была не мечта о переустройстве края, и может быть, это нельзя назвать даже думами, а только решением задачи, расчетом, черновым вычислением. Мечта устройства будущего становилась делом устройства, мечтатель становился делателем. И все-таки, все-таки! — вдруг мелькали в уме Кирилла разросшиеся дубравы, и где-то очень, очень далеко за синевой лесов на один миг приподнимались над землей гигантские тропические парки детства.

А дорога извивалась вправо и влево, змеилась вверх и вниз, не боясь наскучить, не заботясь о какой-нибудь пище для мечтаний. И то желтые глинистые, то бледные меловые круглоголовые холмы чудились пузырями, вспухшими на чреве земли от солнечного ожога. Поля уже повсюду убрали, и только кое-где поблизости деревень кучились бесцветные скирды.

Зубинский медленно обернулся, неуверенный — можно ли нарушить чересчур долгое молчание.

— Я хотел спросить, товарищ Извеков, как прикажете мне именоваться?

Кирилл, словно пожалев, что мешают его мыслям, не отозвался, разглядывая длинное и будто изогнувшееся в повороте лицо Зубинского. Что это был за человек? Что побудило его идти одним путем с Извековым? Кто соединил их на этом пути — общие противники или общие друзья?

— Именуйтесь по имени-отчеству,— ответил наконец Кирилл и усмехнулся.

— Я понимаю! — громко засмеялся Зубинский.— Но в смысле служебного положения?

— А как вы себе представляете свое служебное положение, в чем будут ваши обязанности?

— Я понимаю так,— сказал убежденно Зубинский и повернулся удобнее, навалившись локтем за спинку сиденья,— я буду при вас исполнять обязанности строевого адъютанта. Буду писать реляции.

— Это что еще?

— Описание боя. Дневник военных действий. Вы как командир...

— Я не командир...

— Я понимаю. Но, говоря прямо, как фактический командующий, будете отдавать общие приказания, командир будет вести бой, а я буду представлять вам реляции.

Кирилл долго смеялся, покачиваясь от толчков машины, потом остро посмотрел в глаза Зубинского так, что тот подобрал локоть, поерзал и сел прямее.

— Вы будете делать то, что я вам прикажу и что вам прикажет наш командир товарищ Дибич.

Зубинский проговорил как бы менее убежденно, но с достоинством:

— Разумеется, исполнять приказания мой долг... Но хотелось бы, чтобы вы очертили мне круг обязанностй, чтобы я знал. Строевой адъютант нес, например, в полку обязанности начальника команды связи: ординарцы, разведчики, телефонисты...

— Вот это я вам и дам,— быстро перебил Извеков и опять посмотрел в глаза Зубинского.— Кроме разведчиков...

Они снова надолго замолкли. Дорога укачивала и клонила в дрему, но не давала задремать, встряхивая на выбоинах. Шубников изредка ворчал, однако вел машину искусно. Зубинский опять обернулся.

— Я все восхищаюсь, как вы быстро снарядили и отправили отряд, товарищ Извеков. Без сучка без задоринки. Талант организатора. Редко другой такой найдется.

Извеков не ответил.

— Вам армией командовать,— продолжал Зубинский,— чест-

ное слово! В городе даже не могли понять: занимали такой пост, и вдруг вам дают роту...

— Обиделись за меня?

— Не то что обиделись, а не совсем понятно. Я считаю — не экономно. Крупные силы нужны в крупном деле. Смотрите, какие пошли успехи в международной революции. Вот где арена! А в нашем захолустье — это все возня с клопами.

— Интересная мысль,— сказал Извеков.— У вас, что же, своя стратегическая идея, да?

— Я думаю,— глубокомысленно произнес Зубинский,— я думаю, что правильно было бы сосредоточить все силы против украинской контрреволюции, ликвидировать ее и повернуть весь фронт на запад. Нас бы там подхватил гребень мировой войны.

— Интересно,— повторил Извеков.— А пока повернуться спиной к Деникину и Колчаку, чтобы они соединились и ударили нам в тыл с Волги. Так я понимаю?

— Конечно, мы кое-что потеряем, поворачиваясь спиной к востоку. Но то, что мы повернулись сейчас спиной к западу, станет нам гораздо дороже: упустим момент, он больше не вернется. Волна спадет.

— Да у вас целый план. Довольно распространенный, правда: славны бубны за горами!

Зубинский вскинулся возразить, но в этот момент автомобиль дал жесткий рывок и покатился на обочину, с визгом удерживаемый тормозами.

— Прокол! — воскликнул Шубников и с досадой распахнул свою дверцу.

Все начали выходить из машины.

Стояли высоко над рекой с ленивыми оползнями берегов и сумрачными шиханами, которые сонно сторожили округу. Солнце уже ложилось, тени возвышенностей придавали местности вид застывший и траурный. Безветрие было полным. Где-то горько посвистывал парящий кроншнеп.

Шубников взялся за смену резины, как заправский шофер — без раздумий и ладно. Извекову он понравился бережливостью движений. Зубинский тщательно оправлял и перетягивал на себе свои опояски. Доброволец, всю дорогу не вымолвивший ни слова, следил за ним недружелюбно.

Кирилл несколько раз вынул часы, прохаживаясь по береговому обрыву. Проехали уже больше половины пути, но остановка подрывала этот успех. Понемногу Кирилла начала раздражать возня Шубникова с колесом, расчетливость его работы стала казаться умышленной — он что-то слишком долго накачивал камеру.

— Давайте поживее, в очередь,— предложил Кирилл.

— Отчего же? — согласился Зубинский и принялся изящно расстегивать портупею.

Наблюдая его плавные жесты, Извеков чувствовал, как росла и теребила душу неприязнь к особе этого вышколенного франта.

— Так, значит, у вас нет охоты возиться с клопами? — спросил он Зубинского.

— Я говорил не про себя. Я — простой исполнитель, человек, так сказать, лишенный инициативы родом своей службы.

— Не скажите. Вам инициативы не занимать. Что это там вы задумали с выселением Дорогомилова из квартиры?

— А-а! Вам нажаловались? Но это дело мне подсказано самим военкомом. У нас недостает помещений для призывных пунктов. Я изъездил весь город. А ведь квартира Дорогомилова, собственно, городская, казенная квартира. И очень удобная.

— Для вас?

— Не для меня, а...

— А вы лично хорошо устроены?

— В отношении жилья? Отвратительно!

— И квартира Дорогомилова вам понравилась?

— Не понимаю, почему я, военный работник Красной Армии, должен ютиться где-то на горах, в тесовой лачуге...

— Когда Дорогомилов живет в удобной квартире,— досказал Кирилл.

— Я же не беру себе квартиру. Это сплетни. Я надеялся, военком разрешит призывному пункту выделить для меня комнату.

— И вы доложили военкому об этих планах?

Зубинский вздернул плечами. Он уже стоял в одной фуфайке и, вывернув снятый френч, опустил его на аккуратно сложенные при дороге свои ремни и маузер. Он пошел к автомобилю, взял из рук Шубникова насос, вытянул поршень, приостановился с растопыренными локтями, сказал:

— Вы, товарищ Извеков, мало меня знаете. Зубинский доводит дело до конца, прежде чем докладывать. Какой толк, если я сейчас доложу, что шофер качает воздух? Будет готово — я отрапортую: товарищ комиссар, машина исправна, можно отправляться!

Он энергично навалился на поршень...

Проехали, после этой остановки, еще около часа, когда мотор вдруг стал давать перебои. Шубникову пришлось им заняться (не ладилось с зажиганием), и опять все вышли на дорогу.

Кудрявые палисады деревушки тянулись по сторонам большака. Народ высыпал посумерничать на улице, автомобиль скоро собрал вокруг себя любопытных ребятишек.

Зубинский, скучая, отошел к крестьянам, которые держались поодаль. Вернулся он к машине возбужденным, что-то даже для своих привычек слишком усиленно охорашиваясь.

— Слышно что новое? — спросил Извеков.

— Новости с бородой царя Гороха, товарищ комиссар. Медвежья берлога! Торговался, хотел достать молока. За деньги не дают — на соль меняют. Скорее бы Вольск!.. Как у тебя, Шубников?

Виктор Семенович попенял, что не было времени заняться мотором перед отъездом и надо теперь просматривать контакты.

— Жалко «бенца», запорешь такой ездой.

Мотор, однако, заработал, и снова все расселись по местам. Никто не заговаривал. Дорога шла на восток, уже темный и остуженный. Чаще начали попадаться перелески, иногда массивные, глухие. Зажгли свет. Мир сразу сузился до обрубленной по сторонам ярко-белой прорези, навстречу которой, медленно вырастая и мигом рушась в мрак, неслись придорожные столбы.

Вблизи города, на виду у станционных огней, мотор опять отказал. Шубников выругался. Ровная тьма опоясала машину, как только выключили фары. Зубинский карманным электрическим фонариком взялся светить Виктору Семеновичу, который, подняв капот, уткнулся в мотор.

Кирилл, подавляя злобу, шагал по обочине, то скрещивая руки на груди, то закладывая их за спину. Внезапно он остановился.

Склоненные над мотором лица Шубникова и Зубинского были освещены неподвижным лучом фонарика. Зубинский, опустив глаза, рассерженно что-то говорил Шубникову, отвечавшему кратко и недовольно. Мотором они явно не занимались. Необычайными показались Кириллу ноздри Зубинского — очень остро прочерченных, почти вывернутых над кончиком носа линий.

Кирилл окликнул добровольца, тихо сказал ему, чтобы он не отходил далеко, и подошел к Зубинскому.

— Пока мы тут возимся, надо узнать, известно ли на станции, где находится эшелон. Ступайте, справьтесь.

— Слушаю, товарищ комиссар.

— Дайте фонарик, я посвечу шоферу.

— А как же мне, товарищ комиссар, по незнакомой дороге?

— Ничего, приглядитесь. Станция видна.

Зубинский молча ушел.

Кирилл приблизился к мотору.

— Ну, что у вас в конце концов происходит?

— Ума не приложу! — с отчаянием вздохнул Шубников.

— А вы приложите,— сказал Кирилл.

— Свечи в полном порядке, а искра потерялась. Нет хуже изношенных моторов. Другой раз такой ребус загадают, дьявол их раскусит!

— Подержите-ка,— сказал Кирилл, передавая фонарик Шубникову, и нагнулся над магнето.

— Магнето в исправности! — быстро сказал Шубников и отвел свет в сторону.

— Светите ближе,— приказал Кирилл.

Он снял крышку прерывателя-распределителя.

— Да что смотреть, я уж смотрел! — воскликнул Шубников, тоже берясь за крышку.

Кирилл оттолкнул его руку, взял ключ и начал отвинчивать гайку прерывателя. Шубников погасил фонарик. В тот же миг он ощутил крепкую хватку на своих пальцах: доброволец, навалившись сзади, держал его за руку, вырывая фонарик. Свет снова вспыхнул. Кирилл спокойно отвинтил гайку и вскинул глаза на Шубникова: прерыватель отсутствовал.

Доброволец навел луч на Шубникова. Нижняя губа Виктора Семеновича прыгала, пошлепывая, будто он пытался что-то проговорить и не мог.

— Кто вынул прерыватель? — спросил Извеков.

— Что я... враг себе? — вдруг охрипнув, вымолвил Шубников.

— Себе не враг.

— Я сам ничего не понимаю,— сказал Шубников, откашливаясь и стараясь улыбнуться.

— Я понимаю отлично,— сказал Кирилл.— Револьвер есть?

— Нет.

Кирилл ощупал его карманы.

— Садитесь в машину... Нет, нет, не за руль! Садитесь назад!

Виктор Семенович послушался без пререканий. Пока он влезал и усаживался, свет фонарика следовал за ним, потом угас. По обе стороны автомобиля встали Извеков и его помощник.

Долго никто не проронил ни слова. Печальным вздохом скользнул над головами полет полуночника, и дважды разнесся его замогильный крик. Дружнее застрекотали кузнечики. С прохладным течением воздуха наплыл запах обожженного кирпича. Со станции прилетел тоскливый гудок паровоза. Ее огни стали ярче видны. Кирилл сказал неторопливо:

— Не подозревали, что я кое-что смыслю в моторе, да?

— Ну как не подозревать! — будто с облегчением откликнулся из машины Шубников (голос его уже окреп).— Я хорошо помню, что по образованию вы — техник.

— Вон как! На что же вы рассчитывали?

— Даю вам честное слово — ничего не понимаю!

— Значит, прерыватель вынут Зубинским? О чем вы с ним толковали, а?

— Да ничего не толковали. Ругал меня, что не могу найти причину неполадки. Я, говорит, тебя рекомендовал товарищу Извекову, а ты, говорит, выходишь идиотом.

Опять наступила тишина, и ночь как будто еще больше углубилась.

— Вот уж, правда, на полную безграмотность надо рассчитывать, чтобы вынуть прерыватель,— сказал Шубников.

Кирилл промолчал.

— Напрасно меня подозреваете, я репутацией своей дорожу,— укоризненно говорил Виктор Семенович.— Это вы просто так, лично против меня настроены, товарищ Извеков. Из личных соображений.

— Что еще за чушь?! — сказал Кирилл.

— Я тоже думал — чушь, пустяки. Все, мол, давно забыто. А получается не так.

— Что — не так?

— Получается — не можете простить, что Шубников вам тропинку перешел. А ведь когда было? — травой поросло. Видно, у вас сердце неотходчивое.

— Перестаньте плести.

— Я уже давно успел от того счастья отказаться, за которое мы с вами, по неопытности, тягались. Я ведь ушел от Елизаветы Меркурьевны, товарищ Извеков. Не за что на мне вымещать сердце. Может, я своим несчастьем с Елизаветой Меркурьевной вас от большого разочарования избавил,— кто знает?

— Довольно! Молчать! — с лютой злобой крикнул Кирилл.

И все время безмолвный доброволец вдруг прогудел хмурым голосом, как спросонок:

— Закуси язык! Ты!

Прошло не меньше получаса, пока на дороге наметилась приближающаяся тень человека, который шел вымеренным маршевым шагом. На свету все резче проступал очерк френча раструбом от пояса и контур галифе, как два серпа рукоятьями книзу.

Кирилл дал Зубинскому дойти почти до автомобиля и зажег фары. Зубинский зажмурился, поднял к глазам руку, сказал:

— Свои, свои, товарищ комиссар.

— Ну, что? — спросил Извеков.

— Поезд с эшелоном находится на последнем перегоне, прибудет минут через двадцать. А как с машиной?

— Благодарю вас,— сказал Кирилл.— Снимите ваше оружие.

— Как — снять?

— Дайте сюда оружие, говорят вам!

— Вы смеетесь, товарищ Извеков.

Зубинский шагнул вбок, выходя из полосы света.

Кирилл достал из кармана револьвер.

— Снять маузер!

Зубинский своим изысканным жестом начал медленно отстегивать громоздкую кобуру. Слышно было, как поскрипывал пояс.

— Может быть, вы все-таки снизойдете объяснить мне, что произошло? — спросил он вызывающим, но несколько кокетливым тоном.

Кирилл схватил маузер и вырвал его у Зубинского, едва кобура была отстегнута.

— Это вы мне объясните, что произошло. Когда я вас спрошу...

Арестованным приказали откатить автомобиль на обочину: машину приходилось бросить на какое-то время в темноте ночи. Затем попарно двинулись большаком — позади Извеков с добровольцем, который, насадив на деревянную кобуру маузер, держал оружие наизготове.

Еще оставалось далеко до станции, когда их перегнал грохочущий на стрелках поезд, и по числу вагонов Кирил признал эшелон Дибича. Они застали роту в разгар выгрузки.

Дибич так обрадовался Извекову, словно расстался с ним бог весть когда, а не на рассвете минувшего дня, и — для обоих неожиданно — они обнялись.

— В роте полный порядок. А вы доехали хорошо?

— Обогнали собственную телегу.

— Поломка?

— Небольшая. Хотя натолкнулись на каменную стену. Помните? — с усмешкой сказал Кирилл.

— Каменную стену? — не понимая, переспросил Дибич и вдруг раскрыл глаза: — Зубинский?!

— Да. Я вас прошу, пошлите пару коняжек из обоза — пусть подвезут «бенца» к вокзалу. Сдадим его пока станционной охране, что ли...

Кирилл рассказал о происшествии, добавив, что арестованных необходимо взять с собой до места назначения и там разобрать дело.

— Наши первые потери в личном составе,— сказал Дибич, выслушав рассказ.

— Первые потери нашего противника,— поправил Кирилл.

— Успех разведки,— улыбнулся Дибич, глядя на Извекова с шутливым поощреньем.

— Ошибка разведки,— тоже улыбнулся Кирилл,— к счастью, вовремя исправленная.

— Я вас подвел, не отговорив брать Зубинского.

— Я поторопился,— строго закончил Извеков.— Буду осмотрительнее. А сейчас давайте действовать: мы должны еще затемно быть на марше.

25

Оставалось меньше однодневного перехода до Хвалынска, когда ранним утром разведка Дибича обнаружила красноармейский разъезд и узнала от него, что близлежащее село Репьёвка захвачено какой-то бандой. Разъезд был выслан маленьким хвалынским отрядом, пришедшим для подавления мятежа.

Подобные мятежи случались нередко, разжигаемые реакционными партиями, которые опирались на деревенских богатеев и рассчитывали на поддержку контрреволюции крестьянством. Иногда это были разрозненные вспышки, не выходившие за пределы волости или одного села. Иногда мятеж распространялся на уезды или даже целые губернии.

Так на Средней Волге возникло ранней весной этого года обширное брожение в соседних уездах Симбирской и Самарской губерний, получившее известность под именем чапанного восстания. (Чапаном зовется верхняя одежда волжских крестьян, в иных местах называемая азямом, армяком. Ходит шуточная побасенка: «Мы ехали?» — «Ехали».— «На мне чапан был?» — «Был».— «Я его сняла?» — «Сняла».— «На воз положила?» — «Положила».— «Да где ж он?» — «Да чаво?»— «Да чапан».— «Да какой?» — «Да-ть мы ехали?» — «Ехали».— «На мне чапан был?» — «Был...» И так далее, как в сказке про белого бычка.) За чапанами стояли партии правых и левых эсеров, выбросившие лозунг «освобождения Советов от засилия коммунистов» в целях мнимой защиты конституции РСФСР. Для большей мистификации чапанам раздавались знамена с провокационными надписями: «Да здравствуют большевики! Долой коммунистов!» Кроме того, восставшие кулаки оснастили свою агитацию призывами к защите православия. Чапанный комендант города Ставрополя Долинин первое свое воззвание к крестьянскому населению начал словами: «Настало время, православная Русь проснулась»,— и закончил: «Откликнитесь и восстаньте, яко с нами бог». Имя бога комендант начертал по правилу новой орфографии, со строчной буквы (очевидно, во внимание к объявленной приверженности Советам), но борьба за всевышнего, за иконы и за всяческую святость составляла важное подспорье в действиях чапанов, и тот же Долинин предписывал в одном из объявлений: «Приказываю гражданам, что по при-

ходе в присутствие головной убор должен быть снятым, так как это есть первый долг христианина». Чапанное восстание было подавлено местными силами через неделю после возникновения. Но отзвуки его еще долго таились в разбросанных деревенских углах лесного и степного Поволжья.

Богомольный разбой чапанов был частью российской Вандеи, так и не объединившейся в целое, несмотря на множество отчаянных попыток в годы гражданской войны — на Волге, на Украине, на черноземной Тамбовщине — обратить крестьянскую массу в стан контрреволюции. Мятежи случались грозные, затяжные, стоили большой крови. Но им не суждено было вылиться в решающие битвы. Участь будущего удерживалась в руках регулярной Красной Армии, сильнейшим противником которой оставались регулярные армии белых. Кулаческие восстания вспыхивали и разгорались, гасли и тлели в зависимости от событий на фронтах, и часто это были только крошечные угли, рассеянные бурей войны, зароненные в неведомую глушь деревень.

Едва разведка Дибича принесла донесение, что в Репьёвке находится противник, как была установлена связь с хвалынским отрядом, вышедшим на подавление мятежников. Во главе отряда стояли военком и член уездного исполнительного комитета, которым было известно о движении из Саратова сводной роты. Встреча командиров отряда и роты произошла на широком бугре, к югу от Репьёвки, откуда хорошо видна была вся местность.

Репьёвка находилась в низине, оцепленной с севера и юга отлогими холмами. Село густо затенялось садами, переходившими на западе в покрытую лесом материковую возвышенность. На востоке тянулись береговые кряжи, крутизна которых обрывалась к Волге. Низину пересекал большак. Спускаясь с южного и северного холмов, от большака отбегал проселок, терявшийся в садах, а потом, в виде главной улицы, деливший Репьёвку надвое. В центре села через бинокль виднелась базарная площадь — с церковью под васильковыми куполами, с волостной избой, трактиром, школой, ссыпным амбаром.

Позиционное положение мятежников казалось крайне невыгодным в охваченной высотами ложбине. Единственное преимущество занятого ими села составляли сады и близость леса. О численности мятежников соседние деревенские обитатели говорили спорно: кто ценил число в полсотню, кто в сотню человек. О происхождении банды тоже нельзя было судить с точностью. Одни говорили, что это зеленые, то есть дезертиры, явившиеся из леса. Другие уверяли, что — мироновцы. Третьи божились, что — репьёвские кулаки, отказавшиеся сдавать хлеб по государственной разверстке. Скорее, правы были все вместе, хотя сведений о миронов-

ском мятеже не поступало, кроме слуха, принесенного хвалынцами,— что Миронов разбит на Суре и конники его разбегаются.

Было принято решение о совместных действиях роты и отряда под общей командой Дибича и о создании революционной военной тройки, в которую вошли Извеков и хвалынские военком и член исполнительного комитета. Дибич тотчас, в сопровождении верховых, поехал выбирать позиции, а ревтройка приступила к решению очередных дел — сразу же, как обычно, возникла неизбежная очередь дел.

Первым в этой очереди Извеков доложил дело о саботаже шофера Шубникова и бывшего офицера Зубинского. Преступление было подсудно военному трибуналу. Правомочия такого суда в обстановке мятежа ложились на ревтройку, и она признала, что разбирательство не может быть отложено.

Эта высшая власть мгновенно зародившегося маленького фронта, в ряду десятков других фронтов, расположилась в крестьянской избе с оконцами на волнистые прибрежные горы, которые покоились в безветренном чистом полдне.

Когда в избу ввели Зубинского, воцарилась длительная тишина. Зубинский осунулся за время пешего перехода, но запыленный его костюм по-прежнему казался недавно разглаженным и ловко облегал прямой корпус. На нем не было пояса и портупеи, и на фуражке не алела рубиновая звезда. Он глядел на Извекова не мигая.

Кирилл сказал:

— Вы находитесь перед революционной военной тройкой, которая вас судит за совершенное вами преступление против Советской власти. Назовите себя полностью по имени и расскажите о своем происхождении.

Зубинский выполнил требование без запинки. Кончив, он вздернул бровь и спросил с подчеркнутой субординацией:

— Разрешите узнать, какое преступление вы хотите мне вменить?

— Вы обвиняетесь в злостном саботаже. Желая нанести вред Красной Армии, вы умышленно вывели из строя принадлежащий сводной роте, в которой вы служили, автомобиль.

— Каким образом? — удивился Зубинский.

— Объясните суду, что вы сделали, чтобы причинить поломку машине.

— Я не могу объяснить то, чего не делал.

— Какую цель вы преследовали, тайком выпув прерыватель из магнето?

— Я первый раз слышу, что существует какой-то прерыватель. Где он находится? Может быть, сидя с шофером, я задел что-

нибудь ногой? Я ничего не понимаю в машинах. Я понимаю в лошадях.

— Вы отвечайте: зачем понадобилось испортить машину? — нетерпеливо спросил военком.

— Я не могу на это ответить, потому что это дико — портить машину! Я предпочитаю ездить, а не ходить.

Извеков проговорил настойчиво:

— Мы находимся на фронте. Вы — военный и понимаете, что происходит. На войне мало времени для следствия. Отвечайте кратко. О чем вы шепотом договорились с Шубниковым во время подстроенной остановки, когда он смотрел мотор?

— Я не хотел говорить громко, что он — болван. Я говорил, что ему несдобровать, если он не найдет поломку. Мне стыдно перед вами, товарищ комиссар...

— Я вам не товарищ.

— Ну, я понимаю, в данный момент — граждане судьи, так? Я сказал Шубникову, что отвечаю за него перед товарищем Извековым. За свою рекомендацию.

— С какими намерениями вы рекомендовали Шубникова?

— Его считали классным механиком. Я думал — это так и есть. А потом, признаться, рассчитывал, что уж за своей собственной машиной Шубников ухаживать постарается. Чай, жалко!

Зубинский одернулся и чуть заметно повел уголком губ. Кирилл вскинул на него настороженный взгляд.

— Что значит — собственной машиной?

— «Бенц» был его собственностью. До революции.

— Почему вы это от меня утаили?

Оба других члена тройки, точно по сговору, повернули головы к Извекову. Он взял карандаш и завертел им, пристукивая по столу то одним, то другим концом.

— Я с седла не слезал двое суток,— ответил Зубинский.— Некогда было особенно размышлять. Рассчитывал, Шубников не подведет. А получилось...

— Что получилось? — пытливо спросил военком.

Новое обстоятельство вселило в Извекова смущение. Он все постукивал карандашом. То, что он взял Шубникова в поход, словно оборачивалось теперь против него самого. Он обязан был ближе узнать Шубникова, а не отмахиваться только потому, что этот человек был ему лично неприятен. Недоставало времени, это правда. Но спросить, какое отношение имеет Шубников к автомобилю,— для этого не надо было времени. Теперь следствие усложнялось. Впрочем, не наоборот ли? Не упрощалось ли? Что должен вообще делать следователь? Искать решение задачи собственными умозаключениями? Подсказывать обвиняемым возможные выводы из

дела? Что другое, а Кирилл не готовил себя к работе следователя. И вот он — следователь и одновременно судья. Прежде как будто эти функции строго разделялись. Может быть, только по видимости? Судья ведь тоже ведет следствие, которое является окончательным, решающим для вынесения приговора. Кирилл должен расследовать, судить, вынести приговор. По долгу совести перед революцией. Это не дознание, не следствие в прежнем понимании, не суд по царскому своду законов. Это суд революции. И Кирилл не следователь такого-то класса. Не коллежский асессор. Он — революционер. Он должен думать не о букве, но об интересах, которым служит, о кровных интересах революции. И, таким образом, дело саботажников Шубникова и Зубинского...

Вдруг Кирилл остановил нервное движение руки. Он держал карандаш и глядел на остро отточенный графит, которым были немного испачканы кончики пальцев. Он слегка улыбнулся.

— Что же получилось? — повторил он вслед за военкомом и, вынув платок, стал медленно стирать графит с пальцев.

— Получилась ошибка...— отвечая тоже легкой улыбкой, сказал Зубинский.

— Не ошибка, а преступление,— суровее проговорил Извеков.

— Если преступление, то не мое.

— Чье же? Яснее.

— Не знаю. Речь ведь обо мне и о Шубникове. Я не совершал преступления.

— Вы обвиняете Шубникова?

— У меня нет оснований.

— Вы давно знакомы с ним?

— Одно время я увлекался бегами, он тоже. Потом он увлекся автомобилем, и мы видались только случайно. Он спортсмен.

— Он спортсмен! — вдруг вскрикнул член исполкома и покосился на Извекова точно с сожалением и какой-то неожиданной догадкой.

— Нельзя представить, что Шубников нарочно испортил машину. Все равно что я лошади насыпал бы в овес стекла.

— Однако ведь испортил? — спросил Извеков.

— Может, он, правда, пожалел «бенца»,— будто между прочим предположил Зубинский.— Боялся, поди, что на фронте машина погибнет.

— Понятно,— еще более нетерпеливо, чем раньше, выговорил военком.— Вы показали, значит, что автомобилю причинена поломка, чтобы его нельзя было применить на фронте.

Зубинский поднял выделанные плечи своего необыкновенного френча.

— Если бы я капельку был в этом уверен, я сам поставил бы Шубникова в ту же минуту к стенке!

— По-моему, ясно,— сказал военком.

Все члены тройки переглянулись, и Кирилл приказал увести Зубинского.

Допрос Шубникова протекал в неуловимо изменившемся настроении суда, внесенном самим обвиняемым. Виктор Семенович держал себя всполошенно, озирался на конвойного, будто все время ждал какой-то внезапности, перебивал сам себя, не досказывал начатое. Он словно не мог угадать, какой надо взять голос — повыше или пониже. Одно он понимал ясно (и это горело в перетревоженных его глазах), что дело идет о всей его судьбе, которую вот тут же могут навсегда загасить легко, как спичку. Показывая о своем сословии и прочем, он остановился и спросил в полнейшем недоумении:

— Как такое — судить на дороге? Судят в установлениях, в городе, по форме. А тут и чернильницы нет!

Ему объяснили, что он на военной службе, но он запротестовал:

— Никогда не был! Освобожден по эпилепсии. Эпилептик. Белобилетник. Вот смотрите.

Он вытянул из-за жилетки кипу бумажек, поношенных и свежих, разбросал их по столу, ища и не находя, что нужно. Руки его плохо слушались.

Член исполкома собрал бумажки, отдал их Шубникову, сказал:

— У меня к обвиняемому один вопрос, к делу не имеющий, правда, отношения. Так, ради частного интереса. Поскольку я сам любитель спорта. Скажите, Шубников, это верно хвастал здесь нам Зубинский, что он в Саратове первый спортсмен был по автомобильной езде?

— Врет! — вскричал Шубников, замахав руками.— Он все врет! И не садился за руль! Какой он спортсмен! Он и лошадник дутый. Всегда потихоньку вызнавал, на какую лошадь я ставлю. Спросите в Саратове... я говорю, правильный суд может быть только в городе. Там свидетели. Они скажут, кто у нас первый автомобилист!

— А кто? — спросил член исполкома.

— А свидетели покажут кто! Шубников, вот кто!

— Зубинский, значит, не понимает в автомобилях?

— Он в портных понимает! — с презрением вырвалось у Шубникова, но он осекся, тускло уставился на Извекова и сбавил тон: — Нынче моторы стали каждому доступны. Не мудрено научиться.

Не отводя взора от Извекова, он блаженно ухмыльнулся:

— Бывает, человек не автомобилист, а в моторе разбирается. Может, и Зубинский так же вот... Он для меня загадочный.

— Вы спортом занимались на собственном «бенце»? — спросил член исполкома.

Шубников обернулся на дверь, подумал.

— На разных марках.

— «Бенц», который вы поломали, принадлежал прежде вам?

— Я не ломал. Зачем ломать? И марка по-настоящему не «бенц», а «мерседес-бенц», если вы спортом занимались.

— Отвечайте на вопрос: это ваш «бенц»? — спросил Извеков.

— Не мой, а советский,— опять поднял голос Шубников.— Зубинский, что ли, наговорил? Ну да, был мой. Был мой, ходил, как часы Мозера.

— А потом вы его испортили?

— Я! Все я, я! Без меня было бы у саратовского Совета кладбище, а не гараж. На мне на одном все ремонты, а говорят — я ломаю. Я советскую собственность поддерживаю. Советская собственность живет короче частной в четыре раза. Это статистика установила, если хотите знать. Я предупреждал товарища комиссара, когда выезжали, что мотор изношенный. Кто износил? Я, что ли? Я нанялся в гараж жизнь советской собственности поддерживать. У меня сердце кровью обливается, когда вижу, как с советской собственностью...

— Остановитесь,— перебил Извеков.— Зубинский показал, что вы вынули прерыватель, чтобы сделать машину негодной для похода.

— Зубинский врет! Он фанфарон, разве вы не видели? — закричал Шубников, наскоро вытирая ладонью рот.— Он ни черта не понимает в моторе, а говорит, что я там что-то сделал. Врет!

— Он не понимает в моторе и, стало быть, не мог вынуть прерывателя,— продолжал Извеков.— Значит, он правильно показал на вас. Признаете вы себя виновным?

Шубников огляделся, на один миг застыл, потом начал чаще и чаще обжимать губы рукой, как будто ему мешало говорить слюнотечение. Глаза его потемнели.

— Раз вы сами не отвечаете, зачем вы это сделали, тогда нам остается положиться на Зубинского. Он показал, что вы намеревались уберечь свою бывшую собственность и для этого вывели мотор из строя. Ответьте теперь: вы собирались затем дезертировать, да?

— Ну, ладно,— тихо произнес Шубников и тряхнул головой.— Ладно. Зубинский наврал, чтобы меня потопить. Он думает,

если я из купцов, так мне не поверят. Ладно. Он тоже не пролетарий. Ладно.

— Говорите яснее.

— Я говорю ясно,— громче, но малораздельно сказал Шубников.— Как на присяге. Перед Евангелием. И прошу записать. Хоть карандашом, все равно. Записывайте.

Он расстегнул ворот рубашки. На губах его двумя белыми точками показалась густая слюна. Он дышал громко, и слова вырывались скороговоркой.

— Зубинский хотел перебежать к белым. Я не хотел. Он угрожал, сказал, что пустит мне в затылок пулю. И что никто не узнает. Сказал, что на машине можно в одну ночь докатить до белых.

— Когда он это сказал? — спросил Извеков.

— На остановке. На последней. Он узнал в деревне, что в Пензе белые. Мужики уже ждут. Когда мы стояли у деревни, они сказали. И что идут на Саратов. Все кончено с красными, сказали ему мужики.

— Кто идет на Саратов?

— Мироновцы. Он не успел толком пересказать. Торопился. Сказал, что рассуждать поздно. Вот и все. Все он. Зубинский. Вот, теперь пусть.

Шубников вздохнул на всю избу.

— И он велел вам вынуть прерыватель?

— Он сказал: ты ковырни там, что надо.

— И вы вынули прерыватель?

— Товарищи! — вскрикнул Шубников.— Товарищ Извеков! Как вы можете говорить, будто я вынул! Это под револьвером, под страхом смерти! Да разве я волен был вынуть или не вынуть?

— Вы вольны были вовремя заявить мне об измене,— сказал Кирилл.— Когда Зубинский ушел на станцию, он был больше не опасен для вас.

— Так ведь Зубинский унес с собой на станцию прерыватель в кармане! — с отчаянием воскликнул Шубников.

На мгновение все смолкли.

— Но вы обманывали меня и покрывали Зубинского,— сказал Кирилл.

Шубников наклонился, словно готовясь упасть на колени.

— Виноват. В этом виноват. Побоялся. Не думал, что вы, товарищ Извеков, великодушно поверите. Все равно, думал, из личных наших отношений не захотите простить.

— О каких отношениях вы? — жестко сказал Кирилл, и лицо его стало медленно желтеть.

Опять оба члена тройки пристально посмотрели на него.

— Не буду же я в данном обществе рассказывать,— пробормотал Шубников со своей простецко покорной улыбочкой.

— Вы еще наглец к тому же! — не выдержал Извеков.— Признаете ли вы, что у вас с Зубинским был сговор в Саратове — перебежать к белым?

Шубников вытянул руки, словно обороняясь, и на миг остался в этой позе:

— Нет, нет, не предумышленно! То, что я здесь показал,— святая правда. Жертва чрезвычайной обстановки. Действовал под угрозой. И все. Сам никогда бы на это не пошел. Я — человек слова. Раз взялся служить Советской власти, значит, служу.

Военком сказал мрачно:

— По-моему, ясно. Обвиняемый умышленно привел машину в негодность и признался, что сделал это своими руками.

— То есть как — своими? Моими руками насильник действовал! Никак не я! Я жертвой сделался! За какую вину меня на одну доску с Зубинским ставите?

— Вы узнаете из приговора, за какую вину отвечаете,— сказал Кирилл и взглянул на конвойного.— Уведите его.

— Как из приговора?! — захлебываясь и налегая на стол, выдохнул Шубников.— Из приговора поздно! Я хочу сейчас. Чтобы очевидно, чья вина. Если меня преступником выставляют, я требую очной ставки!

— Я полагаю — излишне? — обратился Кирилл к членам тройки.

— Излишне? — на неожиданной истеричной ноте вскрикнул Шубников.— Что ж, выходит, Шубникова жизнь излишняя? Вам-то она, товарищ Извеков, наверное, всегда была излишня! Не можете мне Лизу простить! Теперь я к вам в руки попал, да? Выместить злобу решили, да?

— Я вас заставлю молчать! — тихо перебил его вопли Кирилл.

— Рот мне затыкаете, а? Из личной ненависти, а? Не-ет! Не на такого напали!

Шубников рванул на себе и отодрал ворот рубахи. Губы его дергались, взгляд блуждал мрачно. Вдруг он закатил глаза, взвизгнул и, побелевший, не сгибая колен, со всего роста повалился на пол. Его начало корчить, голова запрокинулась, дыхание почти остановилось, только изредка выталкивал он кряхтящие стоны. Бумажки высыпались у него из-за пазухи и усеяли половицы.

Все встали и молча смотрели за ним. Военком не спеша скрутил цигарку, закурил и, подымливая, косил глазом на искажаемое гримасами лицо Шубникова.

— Может, его — на воздух? — спросил взволнованный Извеков.

Ему не отозвались, и еще минуты две, так же молча, все продолжали наблюдать припадок. Потом, в спокойствии, но немного брезгливо, военком сказал:

— Такие нам знакомы. Есть, которые гораздо натуральнее работают. Даже врачи затрудняются.

Он отошел к окну, полуобернул назад голову и сквозь дым процедил:

— Вставайте, Шубников. Все ясно.

Но Виктор Семенович забился еще сильнее.

— Оттащите его в сени,— приказал Извеков, и конвоир приставил винтовку к косяку, подхватил Шубникова под мышки и выволок его из горницы.

В начавшемся после этого совещании вся тройка единодушно признала, что вина Шубникова установлена полностью тем, что он один физически выполнил акт саботажа. Что же касалось Зубинского, то соучастие его в деле устанавливалось лишь косвенно свидетельством Извекова о разговоре Зубинского с Шубниковым в момент совершения вредительства. Показания Шубникова на Зубинского могли быть продиктованы стремлением облегчить свою вину. Не исключалась даже и клевета, как месть за то, что Зубинский выдал Шубникова. Кроме недостаточности улик против Зубинского (в виновности которого тоже никто не сомневался), возникла опаска, что за человеком такого пошиба мог тянуться хвост других преступлений и что скорое решение помешает их раскрытию. Постановили поэтому дело Зубинского выделить и, если позволят обстоятельства, препроводить арестованного в Саратов.

В совещании не проявилось никаких разногласий, и уже встал вопрос о мере наказания, когда вдруг Извеков заявил, что он примет те предложения, которые будут на этот счет сделаны, но подписать приговор Шубникову отказывается.

Произнося это слово — отказываюсь,— Кирилл был готов встретить изумление. Но как только оба члена тройки смолкли, он невольно опустил взгляд и притих так же, как они. Потом он превозмог себя и, не дожидаясь расспросов, прибавил:

— Должен отказаться по личным мотивам.

Но слова его не разрешили, а как будто еще затянули тяжелое безмолвие.

— Вы оба слышали, Шубников утверждал, будто я свожу с ним личные счеты. Я не хочу, чтобы у вас или у кого бы то ни было осталась тень подозрения, что это так.

— Но ведь ты судил? — сказал наконец военком.

— Я не мог предвидеть, что мое право судьи будет подвергнуто сомнению. В сущности, подсудимым сделан отвод судье.

— Хе! — усмехнулся член исполкома.— Какое тебе дело до этакого отвода? Контрреволюционеры отводят всю революцию.

— Я не о признании нашего права белогвардейцами. Но революционер должен быть вне подозрений, что действует хотя бы косвенно из личных мотивов.

— Да что у тебя с ним, любовные дела? — бесцеремонно спросил военком.

Как всегда, смуглость Кирилла, если он бледнел, переходила в желтизну и сейчас приняла даже зеленоватый оттенок. Глаза его необычно вспыхнули.

— Вот именно,— сказал он, нажимая на каждый слог.

— Жену увел? О Лизе-то говорил, а?

— Это лишний разговор.

— Да ты что, против высшей меры, что ль? — воскликнул член исполкома.

Кирилл отошел к окну. Оба товарища повернули следом за ним головы, и все увидели, как через улицу конвойный повел Шубникова, довольно бойко маршировавшего.

— Вон твой подзащитный, здоровехонек! — сказал военком.

Кирилл быстро обернулся:

— Я защищаю не его, а всех нас против него!

— Хочешь выйти с чистыми руками?

— Разве вы делаете не чистое дело? Но чистоту дела угрожают запятнать кривотолки подлеца. И я не имею права это допустить.

— Словом, уклоняешься,— чуть язвительно заметил член исполкома,— поддаешься на провокацию.

Кирилл шагнул к двери, взялся за скобку.

— Если хотите, пусть моим поступком займется партия... Против ли я высшей меры? Нет. Считаю, что другой применить нельзя. Но подписи моей под приговором Шубникову не будет.

Он стукнул носком сапога по двери и вышел.

Оглядевшись, он, кроме связного красноармейца, сидевшего на крыльце, нигде не заметил людей из роты — дворы, улица, дальние холмы за деревней были пусты. Он перешел дорогу, миновал две-три избы и очутился перед садом с разваленным плетнем. Он вошел в сад.

Тут никто не хозяйствовал. Среди заросших осотом лунок корягами торчали когда-то расколотые тяжестью плодов стволы яблонь; в междурядьях кусты крыжовника зло топорщили свои колючие плети, увитые цветущим белым вьюнком.

Кирилл остановился перед сломанной яблоней. Обломок молодого ствола вышиной по грудь нес на себе большую ветвь, простертую, точно человеческая рука, вбок и кверху и страстно засы-

панную листом. На одной половине ствола древесина была совсем обнажена и уже засыхала, на другой — лента коры подогнула свои края внутрь, силясь плотно прикрыть еще живую часть ствола.

Кирилл положил руку на мозолистый слом дерева. Ему казалось, что все внимание сосредоточилось на мельчайших впечатлениях, которые давал заброшенный сад. Но за поверхностью этих впечатлений непрерывно работала мысль о том, не уступил ли он мимолетной слабости и не правы ли его товарищи, говоря, что он уклонился от выполнения долга. Кому-то он должен будет дать отчет в своем поступке. Кто-то будет его судьей, как он был судьей Шубникова.

С необыкновенной яркостью увидел Кирилл направленный на него взор Аночки. Конечно, она, может быть, не скажет, но непременно подумает, что Кирилл ненавидел личной ненавистью мужа Лизы. Может, придется встретиться в жизни с самой Лизой. И она, наверное, не скажет Кириллу, но подумает: это он отправил на тот свет отца моего мальчика. И мать Кирилла тоже, может быть, промолчит, но отведет глаза в сторону и подумает: было бы лучше Кириллу не порождать молвы, что он мог действовать из личных побуждений. А разве у тех же товарищей, которые разбирали с ним дело Шубникова, не останется в памяти, что в это дело замешалась какая-то интимная история Извекова? Любовная история, как выразился военком, то есть что-то недоступное постороннему глазу, скрытое, потайное.

Но неужели факт неподписания приговора имеет какой-нибудь смысл, кроме чисто внешнего? Шубников сам себе вынес приговор своим преступлением. Кирилл со всей глубиной убежденности находит правильной для Шубникова высшую меру наказания. Меняется ли что-нибудь по существу от того, что Кирилл не даст своей подписи? Да, меняется многое. Меняется то, что отказом подписать приговор Кирилл разоблачает клевету, будто Шубников — его жертва. Разоблачается ложь, которая стремится нанести вред солдату революции, значит, самой революции. Нет, нет, Кирилл прав!

Внезапное предположение обеспокоило Кирилла: а что, если Шубников останется жить? Ведь могут же судьи применить более мягкую меру наказания? Не будет ли тогда Шубников торжествовать, что его провокация увенчалась успехом?

Кирилл туго зажал в кулаке обломанный ствол яблони. Ощущение руки вернуло его к внешнему миру. Он опять оглядел засыпанную сырым листом ветвь. Странно было, с какой жаждой жизни эту ветвь простирал к небу жалкий обломок ствола. Дерево было обречено на гибель, но с тем более жгучей страстью цеплялось оно за существованье и последней, уродливой лентой коры, почти уже

с невероятной силой обилия, питало, насыщало единственную еще пышную ветвь. Выживет ли она? Нет. Какой-то крошечный срок она еще будет набирать новые почки, высасывая свои остаточные соки, когда уже омертвеет и превратится в полено исковерканный ствол. Потом она сбросит с себя пожухшие листья, чтобы никогда больше не зазеленеть. Если уж нужно возрождать такой полуумерший сад, то первым делом надо выкорчевывать старые пни и поднимать заново всю землю.

Кирилл сказал вслух:

— Нет, конечно, присудят к высшей мере...

Вдруг он услышал сухой выстрел.

Он осмотрелся. Позади соседнего с садом двора он увидел амбар и перед ним — красноармейца с винтовкой, который, в необычайной спешке, бросился к двери амбара и начал вытягивать засов. В ту же секунду Кириллу пришла на ум догадка, что в амбаре содержатся арестованные — в этом направлении конвойный повел Шубникова после допроса. Кирилл побежал на помощь.

Это был крепкий бревенчатый сруб, с узкими прорезями под крышей вместо окон, из тех ладных небольших амбаров, какие ставят крестьяне либо впритык к дворовым навесам, либо на задах, поодаль от двора, и куда ссыпают зерно.

С утра здесь поместили Зубинского с Шубниковым, и они, впервые после ареста, получили возможность переговорить без помехи. Пока шли из Вольска, в колонне и на привалах, они все время находились на людях.

Перед допросом разговор их сначала носил недружелюбный характер. Шубников обвинял Зубинского в торопливости, а Зубинский всю неудачу взваливал на Шубникова, слишком грубо-очевидно, в расчете на дремучую глупость, нарушившего работу мотора. Понимая, что печального положения, в каком они находились, попреками не изменишь, Зубинский и Шубников замирились и попробовали обдумать побег. Они пришли к выводу, что необходимо выждать, когда рота будет втянута в дело, а пока кругом тихо — понапрасну не испытывать судьбу. Затем разговор уклонился в лирику, и особенно Шубников изливал свою душу, вспоминая о золотых недавних днях. Под конец, скучно пережевывая пшеницу, которую наскребли в закроме, он даже всхлипнул:

— Сколько талантов пожрала проклятая междоусобица! Возьми меня. Какой талант! Эх, какой талант! А что толку, когда в наших исторических данных все дарование целиком уходит на то — как бы увернуться от тюрьмы?!

— Вот и не увернулся,— подлил масла Зубинский.

— По чьей вине? По твоей!

Опять они поссорились.

Для обоих было неожиданностью, когда явился конвой и неизвестно куда увел Зубинского. Он успел только шепнуть Шубникову: «Не признавайся в случае чего!» Возвратившись, он сказал, что судит ревтройка и что он все обвинения начисто отрицал. «Смотри, держись»,— напутствовал он Шубникова.

После допроса их уже не сдерживали ни осторожность, ни надежда, что они еще будут друг другу полезны. Ожесточение было единственным чувством, которым они пытались подавить отчаяние. Если бы они не набросились друг на друга с низкими ругательствами, им оставалось бы только трястись от ужаса. Страх они переключили на ярость. С ненавистью Шубников твердил, что Зубинский — предатель.

— Что заладил? Я сказал правду, что не понимаю в машине. Больше ничего.

— Нет, ты соврал, что ты первый гонщик на моторах! А раз ты такой, выходит, ты сам и навредил.

— Они тебя, дурака, вокруг пальца обвели.

— Выкручивайся. Кто же, получается, прерыватель в кармане унес, а?

— Не знаю, что у тебя в карманах напихано.

— А я знаю, что ты в свой карман сунул! И Извекову это тоже понятно, коли хочешь знать.

— Ты что, наклепал? — вдруг почти вежливо спросил Зубинский.

— А ты думаешь, я за тебя под расстрел пойду? На простофилю нарвался, хват!

— Может, я за тебя идти должен?

— Ты за себя пойдешь.

— Ну, ваше степенство, плохо еще вы мои карманы изучили.

— Не отвертишься! Как ты меня, так и я тебя! Потопить собирался? Я тебя скорее на дно пущу. Теперь уж известно, что я твоему насилию уступил. И что ты — перебежчик.

— Ценой моей головы жизнь себе покупаешь? — холодно сказал Зубинский.— Ну, так и черт с тобой, с собакой!

Шубников увидел в полумраке, как Зубинский ткнул руку за френч, под мышку, и тотчас выхватил назад. Виктор Семенович успел только раскрыть рот.

Зубинский убил его одним выстрелом в упор с необыкновенной легкостью и сделал два ровных шага к свету, проникавшему через прорезь отдушины в амбар. Осмотрев на себе френч и галифе, он обмахнулся от пыли левой рукой, а правую, сжимавшую револьвер, поднял вровень с грудью, ожидая, когда распахнется дверь: засов уже гремел, плохо поддаваясь усилиям постового.

Зубинский выстрелил, едва проглянул в амбар яркий свет, но сейчас же был сбит с ног красноармейцем, придавившим его винтовкой поперек груди.

В это мгновенье подбежал Кирилл и стал вывертывать из судорожно сжатых пальцев Зубинского плоский холодный браунинг. Сухо треснул еще один выстрел. Потом оружие перешло к Извекову. Зубинского перевернули ничком и заломили ему локти за спину. Красноармеец сказал Кириллу, что снаружи у амбара сложено надранное лыко. Длинной сырой лентой липовой коры Зубинскому скрутили руки.

Шубников лежал навзничь, широко разбросив ноги. Смертельная рана в голову была почти бескровной.

Постовому красноармейцу пуля поцарапала плечо, рукав его гимнастерки побагровел. Кирилл хотел поднять с пола винтовку. Солдат отстранил его.

— Не полагается. Вы, товарищ комиссар, скажите, чтобы меня сменили. Я с поста не могу.

Кирилл один привел Зубинского в избу.

Только теперь спохватились, что арестованные не были как следует обысканы: у Зубинского обнаружили внутренний карман, пришитый к френчу под мышкой, где он хранил браунинг. На разбор всего события ушло не больше четверти часа. Тройка нашла, что содержание Зубинского под стражей во фронтовой обстановке опасно. По совокупности преступлений его приговорили к расстрелу.

У ротного писаря достали чернил, но перо было вязкое и грязное. Кирилл старательно вычистил его.

Он первым подписал приговор прямым своим разборчивым почерком, с резким хвостом вниз у буквы «з».

26

Поутру другого дня Извеков и Дибич прорысили по позициям, осматривая расположение роты и отряда.

План Дибича, принятый тройкой, вытекал из благоприятных особенностей местности и состоял в кольцевом окружении мятежников. Хвалынский отряд остался на месте, которое занимал в момент встречи с ротой, немного спустившись с перевала северного холма под прикрытие погоста, заросшего березами. Роте принадлежали главные позиции. Часть ее отделений залегла на восток от Репьёвки, за большаком, и предназначалась для лобового удара. Другая часть растянулась по южному холму, довольно кустистому, переходившему на западе в лесной массив.

Этот лес на материковой возвышенности был малодоступен с флангов из-за густоты и отсутствия троп. Единственная лесная дорога шла прямо из Репьёвки и находилась в руках мятежников. Лазутчикам удалось заметить на заре передвижение противника по этой дороге: банда садами отступила из села и заняла лесную опушку на возвышенности, оставив в Репьёвке только свой заслон.

Выяснилось, таким образом, что, во-первых, полное окружение трудно достижимо из-за природного препятствия с запада и, во-вторых, что противник готовится либо принять бой в лесных условиях, либо рассеяться в глубине бора. Извеков поэтому предложил усилить фланговые кулаки в расчете на преследование врага в лесу. Дибич согласился и ускакал на большак — снять несколько отделений с восточной линии.

Кирилл остался на южном холме, спешился и пошел перелесками вдоль позиции.

Дымки утренних костров уже исчезли, и красноармейцы занимались кто чем — порознь и горстками в три-четыре человека. Кирилл удивился, как маловнушительны были эти группы, какой реденькой цепочкой легла линия вокруг окрестности, которую предстояло захватить с боем. Когда рота двигалась колонной по шоссе, она казалась плотной силой.

Из-за кустов крушины пахнуло теплом притухшего угля, и в тот же момент донесся певучий и задорный голос:

— Был у меня кобель — умом насыпан! Гоняли мы с ним зайцо́в.

— Постой, ты чем кроешь? — перебил другой голос, поважнее.

— Козырем, чем!

— Ты зубы не заговаривай про кобеля! Козыри ви́ни, а не кре́сти.

— Ах, ви́ни! — сказал задорный.— За ви́ни извиняюсь. Ви́ней нет.

Кирилл шагнул вперед и сквозь листву разглядел поодаль костра двух красноармейцев с поджатыми по-татарски ногами. Они играли в «простого дурака», щелкая картами по шанцевой лопате, служившей вместо стола. Он сразу признал обоих.

Еще в первый день по выходе из Вольска Кирилл невольно обратил на них внимание, и Дибич рассказал ему об этих разнолетках, друживших крепче ровесников.

Ипат Ипатьев и Никон Карнаухов во время войны служили в одной роте и в одном бою были ранены. Из госпиталя Ипат вышел раньше и опять попал на фронт, а Никон, встретив Октябрь в Москве, решил перед возвращением в деревню скопить деньжо-

нок и занялся торговлей вразнос. Но сколько ни торговал, денег у него не прибавлялось — они дешевели скорее, чем он накидывал цены. Он все же околачивался в городе, и однажды, во время облавы на Сухаревке, его прихватил патруль, в котором был Ипат — красногвардеец. По-приятельски он выручил Никона. Угодив вскоре на фронт против чехов, Ипат был ранен в глаз, явился на лечение в Москву, демобилизовался, и Никон поселил его в своем углу. После этого они не разлучались.

Оба были саратовские, но разных уездов. Деревня Ипата находилась под белыми, в деревне Никона была Советская власть. По приезде в Саратов Ипат узнал, что попасть домой нельзя, и уговорил Никона пойти добровольцем в Красную Армию. Никон уступил неохотно — бродячая жизнь осточертела ему, он тянулся домой. Но Ипат обладал беспокойным духом убеждения, и Никон, всегда возражая, поддавался его предприимчивости.

На марше, возвращаясь не раз к рассказу об Ипате и Никоне и наблюдая их, Кирилл напомнил Дибичу когда-то изумившее толстовское разделение солдат на типы. Они отнесли Никона к типу покорных, а Ипата к типу начальствующих. Но к старым чертам русских солдат и в Никоне и в Ипате с очевидностью прибавились новые. Никон был расчетливым мечтателем и покорялся обстоятельствам, чтобы вернее уберечь свою мечту и выйти к ней, при случае, наверняка. Ипат был типом начальствующего с явными особенностями времени — типом начальствующего революционного солдата, именно красногвардейцем, взявшим за воинский образец бойцов-рабочих. Пройдя Карпаты, отступив до Орши, приняв участие в изгнании немцев из Украины и в преследовании мятежных чехословаков, он относился к войне с притязанием понимать ее до самого корня и немного сердито, как к препятствию, которое, хочешь не хочешь, надо взять.

Глядя сквозь листву на картежную дуэль, Кирилл припомнил рассказ Дибича о первой встрече с Ипатом во Ртищеве и попутный разговор о Пастухове.

— Он тоже хвалынский,— сказал о Пастухове Дибич.

— Но в Хвалынск он не захотел,— заметил Кирилл.— Ипат-то его раскусил. Вы знаете, что Пастухов удрал из Саратова к белым?

— Я знаю, что он уехал...

Дибич не договорил, потом с какой-то виноватой тоской вздохнул:

— Жена у него красавица! Вот вернусь домой — найду себе Асю...

Он застенчиво покосился на Извекова, своротил коня с дороги и ускакал назад — подогнать отстающий от колонны обоз.

Между тем, с лихим вывёртом рук хлопая картами по лопате, игроки продолжали переговариваться:

— Был он, брат, такой богатей,— докладывал Ипат, раздвигая зажатый в щепоть карточный веер,— такой богатей, что вымочит в пиве веник, да в бане и парится. Да-а...

— А кралей короля не крой.

— Это я хлопа покрыл... А под светлое воскресенье один раз... так велел мочить веник в роме. Пил когда ром? Нет? Это, брат, тройной шпирт. Сто семьдесят градусов... Так вот. Послал купить рома в ренсковой погреб. Доставь, говорит, прямо на поло́к... И зажги, чтобы горел. Ром-то. И мочи. Веник-то... Вот ты опять же и выходишь дурак! Со вчерашним седьмой раз.

— Вчерашнее считать, так ты тоже не шибко умный,— сказал Никон, бросая карты и отваливаясь на локоть.

— Я беру чистый баланц. Семь раз. Соображения у тебя не прыткая. Недаром в Москве проторговался.

— А у тебя какая особенная соображения?

Ипат выпрямил ноги, лег на спину и сказал, взбросив глаза к небу:

— У меня есть всего два соображения. Как бы поохотиться, это первая. А вторая — как бы устроить правильную жизнь.

— Ты устроишь!

— Мы устроим.

— Это как же?

— Это вот как. Что́ не делится — то чтобы было общее. Скажем — лошадь не делится, тогда чтобы она и твоя, и моя, и еще чья. Чтобы кажный запахал, забороновал. Это есть соображение.

— У тебя лошадь есть?

— Нет.

— Вот и видно,— оскорбленно сказал Никон и тоже повалился на спину. Подумав, он спросил: — А что делится?

— Что делится, то поровну.

Никон опять примолк.

— Я в городе повидал,— обратился он словно бы к новой мысли,— понимаю, откуда она идет. Перекроить да перерезать. Перекройщики.

— А почему тебя жить оставили? — совсем неожиданно и свирепо спросил Ипат.

— Остерегался. Кабы не остерегся, ту же минуту бы — хлоп, и готово! Город мужикам салазки загинает.

— А что́ ты без города?

— А он без меня?

— Железо на лемеха надо? Сейчас кузнец — в город. Зубья на борону. В город. Обводья на колеса. Опять же в город.

— Это причина торговая. А ручкой вертеть кто будет? Вот она, главная вещь! — хитро сказал Никон.

— Согласие с мужиками имеется — сейчас совместно за ручку. И сразу тебе — полный поворот!

— Совместно! — насмешливо переговорил Никон.— Либо баба в доме голова, либо мужик. Совместно!

Кирилл выступил из кустов, поздоровался. Оба собеседника приподнялись на корточки. Ипат сказал довольно:

— Товарищ комиссар.

— Может, присесть желаете? — конфузливо предложил Никон, растягивая за полу валявшуюся на граве шинель и прикрывая ею карты.

— У нас вышел спор,— живо начал Ипат.

— Брось,— отмахнулся Никон,— нужна наша болтовня!

— Нет, погоди! Как в настоящее время имеется союз пролетариев с деревенской народной беднотой,— без заминки сказал Ипат, переходя на язык, который, по его мнению, был более естественным в обращении с комиссаром,— то Никон сомневается, за кем теперь главная правления будет? Потому как, говорит, либо баба, либо мужик голова, а совместно в одном хозяйстве не получается.

— Есть старая пословица,— ответил Кирилл.— Водой мельница стоит, да от воды ж и рушится.

— Это как понимать? — осторожно спросил Никон.

— Вот и понимай! — тотчас с восхищением вскричал Ипат.— Народ... он все в действие приводит. Но ты его направь на колесо. Направишь неверно, он тебе всю плотину сковырнет.

— Да ты что вперед лезешь? Пусть товарищ комиссар объяснят.

— Он верно говорит,— сказал Кирилл.— Направлять должна разумная передовая сила. Такая сила в руках рабочих.

— Видал? — опять торжествующе вмешался Ипат.— Возьми теперь белых. Идут к мужикам, а желают помещиков. Направляют куда не надо. Вот на их голову все и оборотилось.

Он с гордостью уставил почти совершенно белый свой взор на Извекова, ожидая дальнейшего одобрения. Кирилл кивнул ему. Тогда, поощренный, он задал личный вопрос, как человек, вошедший в доверие:

— Вы будете, видать, из образованных. И мы тут любопытствуем: был у вас какой умысел, что пришли к трудящей революции? Или, может, так почему?

Кирилл не успел ответить.

Винтовочный выстрел раздался в низине, быстро сдвоенный и строенный эхом в лесу, и затем с окраины Репьёвки был открыт

недолгий беглый огонь по большаку и по холмам. Чуть в стороне жикнула пуля, дробно пробив себе дорогу через листву.

Никон вскочил, шагнул назад, но остановился, сказал:

— Товарищ комиссар, отойдите за деревце. Так стоять очень на видимости.

Ипат легонько откинул полу шинели, подобрал с травы карты, аккуратно, насколько поддавались обтрепанные края, сложил колоду и спрятал в нагрудный карман, застегнув его на пуговицу.

— Интересуются определить наши линии,— проговорил он вдруг медлительно, на стариковский лад.— И обманывают опять же, будто ихнее нахождение в селе. А сами вона где!

Он показал отогнутым большим пальцем на лесную опушку.

— Вашим флангом командует сам комроты,— сказал Кирилл,— а мое место за большаком. Мы сегодня должны покончить с бандой.

— Как прикажете, тогда и покончим,— снова ретивым и певучим голосом откликнулся Ипат.

Он проводил Кирилла до лошади и готовно придержал стремя, помогая сесть в седло.

По пути Кирилл встретил Дибича, который вел группу бойцов, снятую с большака. Дибич был весел и крикнул издали:

— Нервничает неприятель-то! Не терпит больше молчания. Мы заговорим!

Остановившись на минуту, Кирилл и Дибич сверили свои часы, потом командир подал руку открытой ладонью вверх, комиссар громко ударил по ней, и, улыбаясь друг другу, они разъехались.

Еще ночью натянуло серых туч, они слились в завесу и осели, стало накрапывать. Безветренный, обкладной дождь,— из конца в конец горизонта — тонкий, как туман, внес в окрестность новые особенности, она начала на глазах меняться. Сразу посвежело, бойцы, лежа под насыпью шоссе, принялись раскатывать шинели, чтобы укрыться от дождя.

Кирилл обошел цепь, выбрал себе место посредине и лег. Все чаще он поглядывал на часы, и все медленнее, казалось, двигались стрелки.

Наступление должно было начаться правым флангом с северного холма. Хвалынскому отряду дана была задача перерезать дорогу из Репьёвки в лес и, развернувшись на запад, продвигаться садами к лесной опушке. К этому моменту приурочивалась атака Репьёвки в лоб цепью из-за большака, в расчете уничтожить заслон мятежников, отрезанный хвалынцами в селе. Решающая третья часть операции возлагалась на левый фланг, которому предстояло выйти с юга лесом в тыл главной позиции противника.

Весь план представлялся Кириллу абсолютно ясным, и он настолько уже вгляделся в местность и примерил в ней все действия, что, по его убеждению, они не могли произойти иначе, нежели по плану.

Но чем ближе подходила минута, когда правофланговому отряду назначено было открыть огонь, тем беспокойнее становилось Кириллу. Дождь затушевывал холмы, а лес уже отделяло от Репьёвки сплошное пасмурное полотнище. И, напряженно глядя через бинокль на погост с потемневшими березами, Кирилл чувствовал, что требуется все больше и больше усилий, чтобы лежать неподвижно и не показывать красноармейцам своего беспокойства.

Знакомый голос прозвучал поблизости Извекова.

— А где комиссар?

Он, не приподнимаясь, повернулся на бок.

Ипат, держа одну винтовку за плечом, а другую — наперевес, вел впереди себя безоружного Никона.

— К вам, товарищ комиссар,— сказал он громко, остановившись под дорожной насыпью и удерживая Никона за рукав.

— Ты как ушел с позиции? — быстро спросил Извеков, не сразу поняв неожиданную сцену и удивляясь виду обоих бойцов.

В глазах Ипата, выпяченных и точно остекленных, светилась безумная решимость. Он был бледен, голова его высоко вылезла из воротника гимнастерки на обнаженной худой шее.

— Товарищ командир приказал доставить к вам дезертира Карнаухова на полное ваше решение.

— Как — дезертира?

— Да брось ты,— промямлил Никон, глядя в землю.

— Разрешите доложить?

— Скорей.

— Мне его беседы который раз сомнительны, товарищ комиссар. Тут в соседнем уезде его деревня недалеко, откуда он родом, Никон Карнаухов, товарищ комиссар.

— Короче.

— Я коротко. Он и говорит, что всю, мол, войну провоевал, цел остался, а тут, мол, к порогу родному дошел — голову складать приходится. От кажного человека, говорит, какой ни на есть след останётся. Один скамеечку, заметь, сделает, другой ступеньки к речке откопает. А какое, говорит, от тебя наследство, кроме тухлого мяса?

— Да что он сделал-то? — нетерпеливо глянув на часы, поторопил Извеков.

— У меня один глаз, а я, думаю, тебя скрозь вижу! Ты, спрашиваю, в атаку пойдешь либо нет? Сам, говорит, ступай. И облаял меня. А я, вишь, к себе в деревню пойду. Ах, ты так, думаю!

Сейчас его винтовку — хвать! И говорю: нет, ты, дезертирская душа, не в деревню к себе пойдешь, а к стенке! Вот куда! И прямо его к командиру. Командир мне приказание: доставь комиссару, как комиссар решит, так и будет. Расстрелять его, товарищ комиссар, к чертовой матери! — ожесточенно кончил Ипат.

— Ну, ясно, а что же еще? — сказал Кирилл, отворачиваясь и глядя через дорогу и потом — снова на часы.

— Ага! Слыхал? — устрашающе шагнул Ипат к Никону.

— Ты что? Перед боем вздумал товарищей предавать, а? — спросил Кирилл.

— Это все он выдумал, товарищ комиссар,— умоляюще сказал Никон.— Он горячий.

— Выдумал? — закричал обозленно Ипат.— Ступеньки к речке выдумал?

— Он давно пужал нажаловаться. Не одобрял меня. Известно, спорили. Для одного разговора только, товарищ комиссар. Вроде в карты от скуки...

Никон держался на ногах неустойчиво, как человек в новых валенках, переминаясь, и лишь изредка с укором поднимал бегающие низко глаза на Ипата.

— Так, значит, в атаку, Карнаухов, не пойдешь? — спросил Извеков.

— Как не пойти, товарищ комиссар! Служба! Не хуже Ипата солдатом был.

Кирилл хотел что-то сказать, но пулеметная очередь вопросительно разрезала насыщенное влагой пространство, оборвалась, и следом врассыпную защелкала винтовочная стрельба. Били справа — это Кирилл тотчас уловил. Он только не понял направление огня. Он глубоко набрал в грудь воздуха и не сразу мог выдохнуть. Словно острая боль приостановила его сердце, и все, что он видел, в этот миг приобрело удивительную зримость и чем-то особо ознаменованное выражение.

— А за кого ты бьешься, я тебе говорил? — спросил Ипат снисходительнее, но с оттенком презрения.— За себя бьешься. От нас пойдет новый народ. Говорил я тебе, нет?

Кирилл обернулся. Будто из другого мира взглянув на этих бойцов, он повторил в уме последние расслышанные и непонятные слова и вдруг понял их: от нас пойдет новый народ. Он спустился с насыпи.

— Если покажешь себя молодцом в бою — прощу, Карнаухов. Если нет — вини самого себя.

Он положил на плечо Ипату руку.

— Отдай ему винтовку. И смотри за ним. Передаю его тебе на поруки. А сейчас — бегом, на свои места!

— Я по-смотрю-у! — пропел Ипат с ликованием.

Кирилл уже не видел, как они оба, прижимая локтями закинутые за плечи винтовки, побежали солдатской рысцой вдоль линии стрелков.

В бинокле погост стоял по-прежнему, как застывший, но словно расчлененный на мельчайшие подробности, в которые упорно всматривался Кирилл. Он все хотел распознать направление стрельбы — куда били, по селу или по лесу? — и распознать никак не удавалось, особенно после того, как вразброд взялась отвечать на обстрел Репьёвка, а за ней — дружнее, но глуше — скрытая дождем лесная позиция банды.

Кирилл перевел бинокль на село. Почти сейчас же, в нечаянную паузу стрельбы, до него долетели странные взвизгивания, и он увидел над полем, отделяющим шоссе от Репьёвки, мечущиеся черные стаи галок и грачей. Птицы врассыпную кружились над селом, отлетая от васильковых куполов церкви и возвращаясь к ним, и странный визг, соединенный с граем, все сильнее вплетался в ружейный треск и в короткие строчки пулеметного стука.

Все, что затем произошло, показалось Кириллу последовательным нарушением того плана, который он заранее так отчетливо себе представлял, хотя все время он старался выполнять его с неотступной точностью.

Хвалынский отряд поднялся с исходной позиции прежде положенного срока после начала обстрела. Кирилл различил на фоне берез бегущие с холма по погосту маленькие фигуры, которые, спускаясь, исчезали в зелени садов. Этот момент должен был по плану определить начало атаки с большака. Но этот момент пришел раньше, чем ждал Кирилл, и с мыслью, что все теперь не так, как нужно, он поднял над головой револьвер и, помахивая им и оглядывая вправо и влево свою цепь, прокричал: «Вперед!» Голос показался ему совершенно непохожим на тот, который хотелось услышать. Выскочив на дорогу, Кирилл пересек ее, сбежал вниз, оглянулся, увидел высыпавших на шоссе, почудившихся ему страшно высокими и растерзанными в своих шинелях нараспашку, красноармейцев и закричал еще раз: «Вперед, за мной!»

Он побежал полем, держа револьвер над головой и прислушиваясь. Сзади и по сторонам от него раздавался топот грузных ног, вверху взвизгивали продолжавшие кружить птицы. Он не ощущал своего тела, хотя ноги непрерывно натыкались на борозды и кочки распаханного поля. Он что-то закричал опять и опять.

Уже добежали до половины поля, когда из-за репьёвских сараев ахнул по атакующим ружейный залп. Кирилл на бегу осмотрелся. Второй слева от него красноармеец мгновенно стал, точно

налетев с разбега на незримое препятствие, сделал поворот всем корпусом назад и упал навзничь.

— Ложись! — крикнул Кирилл, махнув рукой книзу и падая.— Огонь по сараям!

Он еще не успел докричать команды и не вся цепь еще легла на землю, как в ответ на залп защелкали, чаще и чаще, винтовки. Он выпустил всю обойму револьвера по какому-то амбарчику и заложил новую.

Ближний к нему стрелок — усатый, тяжелый малый в фуражке, передвинутой козырьком на затылок,— сказал:

— По коноплям цельте. Ишь расступаются конопли!

Он отвернулся от Кирилла и крикнул спокойно, как кричат за общей работой:

— За коноплями гляди! На огородах!

Зоркость его озадачила Кирилла: он не сразу отыскал взглядом темные полосы конопляников, кое-где подымавшихся до крыш сараев. Но стрелки уже нащупали цель и вели по ней частый огонь.

Кирилл вдруг заметил человека, который прытко выскочил из-за угла строения и побежал через проулок. С никогда не бывалым физическим желанием охотника по зверю — не промахнуться! — Кирилл выцелил этого бегущего человека, но он мигом исчез. Вслед за ним так же быстро перебежали проулком двое других, потом еще и еще, и усатый малый, как будто разочарованно, сказал, щелкая затвором:

— Тика́ют.

Кирилл вскочил на ноги и поднял цепь. Обгоняя его, красноармейцы добежали до огородов и, перекидывая ружья и сами перескакивая либо переваливаясь через заскрипевшие плетни, бросились по грядам, топча лопоухие кочаны капусты. Цепь все больше сгруживалась в кучки, устремляясь в проходы между сараев, с непрерывной стрельбой и возникшими без всякой команды грозно-отчаянными криками «ура».

Кирилл бежал вместе со всеми и так же, как все, кричал и стрелял. Он видел несколько человек с винтовками, пролетевших стремглав по сельской улице, в которых он инстинктивно признал врагов и в которых не мог стрелять, потому что менял обойму. Ему попались по дороге к этой улице два других человека, которые лежали рядом, уткнувшись лицами в землю. Он перепрыгнул через них.

Он помнил только, что должен вывести бойцов на базарную площадь и там, в центре села, перебить или захватить живьем всех, кто сопротивлялся.

Но когда он выбежал на площадь, раздалась встречная беспорядочная стрельба. Он наскоро огляделся, отыскивая укрытие для своих бойцов. В это время на другой стороне площади, высыпая из поперечных улиц, из-за церкви, разбитой волостной избы, появились бойцы хвалынского отряда с такими же криками «ура», с какими выбегали за Кириллом его стрелки.

Это было решительно непонятное нарушение плана. Отряд должен был отрезать Репьёвку от лесной дороги и, не входя в село, наступать на главную позицию противника.

Кирилл побежал к хвалынцам, узнать — что происходит. Но они, не обращая на него никакого внимания, продолжали бежать площадью, на ходу заряжая ружья и по-прежнему крича. Он думал перехватить последнего из них и стал махать ему револьвером. Он почти настиг его у волостной избы. И тут остановился.

На самой дороге, поперек грязных колей, лежало распластанное тело. Это была девушка с широко раскинутыми руками, в изорванном, насквозь мокром от дождя и облепившем тело лиловом платье. Череп ее от лба и почти до затылка был рассечен, откинутая светлая коса — втоптана в колею. Верхняя половина лица — уцелевшая часть лба, закрытые глаза, переносица — все было черно от запекшейся и загрязненной крови. Но, начиная от ноздрей — очень тонких линий, приподнятой над ровными зубами молодой губки до подбородка и красивой шеи,— все это было чисто и как-то особенно мягко, как у спящей, которая, кажется, вот-вот глубоко вздохнет.

Кирилл глядел на убитую выросшими недвижимыми глазами. Необъяснимо отчетливо в ее подбородке и шее, запорошенных светящимися каплями дождя, ему виделись подбородок и шея Аночки, когда она, слушая, откидывала голову чутким поворотом.

Он расслышал всполошенный грай и визг вылетевшей из-за церковных куполов стаи галок и встрепенулся всем существом.

Площадь опустела. Красноармейцы, смешавшись в общую массу, бежали по большой улице между редко расставленных изб.

До сих пор Кирилл сверял происходящее с теми заданными в уме действиями, к которым себя готовил. Теперь поднялось в нем до полного господства единственное стремление уничтожать и уничтожать всех, кто отвечал за кровь распластанной на грязной дороге девушки. Он сорвался с места и полетел вдогонку за своими бойцами.

Стало очевидно, что засевший в Репьёвке заслон мятежников бежал к южному холму, в надежде рассеяться по кустам. В одиночку люди стали показываться на склоне, отстреливаясь и торопясь скрыться. Но преследование велось беспощадно.

Кирилл, пробежав село и очутившись на проселке, увидел, как один из бандитов — в неподпоясанной рубахе и простоволосый — кинул ружье, поднял руки, но в тот же момент свалился наземь. Вслед за этим и другие начали поднимать руки, а стрельба наступавших не прекращалась, и Кирилл тоже стрелял, не разбирая,— бросали оружие те, в кого он бил, или отстреливались.

К этому времени со стороны леса уже катился то слитный, то прерывистый шум боя, и по отдаленности огня можно было заключить, что фланг Дибича начал действовать.

Отдышавшись после почти непрерывного бега и придя в себя, Кирилл приказал брать сдающихся в плен. К нему подвели первую захваченную пару парней. Он встретился с их наполненными ужасом и жалкими глазами и тотчас отвернулся.

— Мироновцы? — выговорил он, не в силах разжать зубы.

— Не-е! Зеленые,— вместе ответили они со страшной поспешностью, чтобы скорее утвердить победителя в том, что ранг их банды самый захудалый.

— Сколько вас всего штыков?

— Меньше сотни не намного.

— Пулеметы?

— Один «максим».

Выделив охрану для пленных, которых продолжали приводить, Кирилл дал приказание собраться и построиться, хвалынцам — отдельно. Не спрашивая, он по наличному составу хвалынцев понял, что эту маленькую группу отделили от отряда для поддержки захвата Репьёвки. Среди них не было потерь. В строю у Извекова недосчитывались семерых. Санитар доложил, что четырем легко раненным сделал перевязку, и перечислил их на память. Стали называть по фамилиям убитых, и Кирилл удивился одной из них: Португалов.

— Который это, Португалов?

— Белоусый. Он один с такими усами.

— Здоровый малый? — спросил Извеков, сразу припомнив своего соседа по цепи, с таким спокойствием крикнувшего, чтобы целили по коноплям.

Кирилл неистово выругался и погрозил туда, откуда доносилась стрельба.

— Дело не кончено,— крикнул он, обращаясь к строю.— Месть за наших товарищей!

Он скомандовал идти за собой.

Молчаливо, не в ногу, прошли селом с затворенными у всех дворов воротами и с мертвыми окошками изб. Несмотря на то что быстро приближались к лесной позиции, затихавшая стрельба как будто отдалялась и становилась все менее сосредоточенной. На вы-

ходе из садов встретился связной, которого Дибич выслал узнать о положении в селе. Кирилл едва начал говорить с ним, как на лесной дороге раздался конский топот, и сам Дибич вылетел из-за поворота.

Это было первое весело оживленное, даже радостное лицо, какое увидел Кирилл за время боя.

— Вы что, на подмогу? Ну как у вас? Готово? Поздравляю! — разгоряченно и без пауз крикнул он, осаживая лошадь.— Есть потери? Ах, черт! Пленные? Сколько взяли? А мои ловят негодяев по лесу. Здорово мы их зажали! Вожака прикончили. Пулемет захватили. Все как по-писаному!

Глядя на Дибича и не успевая отвечать, Кирилл неожиданно для себя тоже увидел, что все выполнено как по-писаному. Ему только тут стало ясно, что происходившее вовсе не было нарушением плана, а было предельным беспокойством и желанием, чтобы план не был нарушен.

— А почему вы не верхом? Где лошадь? — продолжал расспросы Дибич.

— Хорош бы я был, если бы верхом повел в атаку по полю,— сказал Кирилл.

— Ах, верно! Я совсем окосел! — засмеялся Дибич.— Вы вон как себя разделали! Ползли, да?

Кирилл первый раз осмотрел себя. Грудь и живот, колени и голенища сапог были вымазаны землей, руки исцарапаны в кровь. Он не помнил, когда поцарапался, и не ощущал никакой боли.

Надо было уступить дорогу: из леса вели пленных. Снова Кирилл столкнулся с глазами, в которых искательное выражение соединялось со смертельным ужасом. В сборных отрепьях, потерявшие, кроме чуть уловимых остатков, все, что в них некогда было солдатского, люди эти тащились мрачным шествием отверженных. И вот где-то рядом с ними Извеков нечаянно схватил взгляд острый и гордый — одержимый веселым вызовом, белый взгляд. Он узнал его.

Ипат Ипатьев с другими красноармейцами конвоировал захваченных в плен зеленых.

— Могу доложить, товарищ комиссар,— выкрикнул он, не сбавляя шага.— Никон Карнаухов бился плечом к плечу, как красный воин!

— Он жив?

— Живой, товарищ комиссар.

— А! Ну, хорошо. Скажи ему, что хорошо.

Кирилл усмехнулся Дибичу, и оба поняли друг друга.

— Обращенный! — сказал Дибич, тоже улыбаясь.

Они договорились о дальнейших действиях, и Дибич ускакал...

Через день в Репьёвке состоялись похороны жертв мятежа. Банда вкупе с сельскими кулаками перед отходом в лес учинила расправу над заложниками — председателем волостного Совета, продовольственным комиссаром, прибывшим из города, и учительницей — той девушкой, труп которой остановил Кирилла на дороге, во время атаки. Вместе с ними хоронили павших в бою красноармейцев.

Восемь прямых, как ящики, гробов, сколоченных из неструганых досок, стояли на церковной паперти — самом высоком месте, хорошо видном для всех. Собралось много народу из окрестных деревень, да и Репьёвка опомнилась после грозы — со всех дворов вышли на площадь люди, и кучки детей, перешептываясь, с любопытством сновали в толпе.

Было очень ветрено, дождь переставал и снова принимался. Красное знамя, склоненное над открытыми гробами, тяжело покачивалось. Чем-то осенним веяло от березок и пахучих сосновых веток, которыми украсили паперть. К украшениям этим крестьянские девочки прибавили бумажные кружева, вырезанные из старых газет, желтой оберточной бумаги и набитые вокруг гробов.

Кирилл одно время долго смотрел на приподнятый тонкий подбородок убитой девушки. Лицо ее тянуло к себе, он должен был повернуться, чтобы не видеть его, и поднял глаза. Бурые тучи мчались низко, словно приземляя небосвод на окрестные холмы. Село казалось опущенным на дно громадного котла, исторгнувшего кверху клубы дыма.

Кирилл должен был открыть митинг и опять пробежал взглядом по гробам. Ветер шевелил белыми усами Португалова, и спокойное лицо солдата будто хотело улыбнуться.

Стало очень тихо, когда Кирилл проговорил первое слово: «Товарищи». Но, несмотря на тишину, он почувствовал, что его не слышат. Впервые он не мог совладать с голосом. И вдруг ему сжали горло слезы.

Потом гробы были подняты на плечи, толпа двинулась с пением на другой конец площади, к приготовленной братской могиле. Три ружейных залпа ударили в небо, опять вспугнув позабывших недавнюю тревогу птиц. Лес не спеша ответил на салют рокотом эха. Народ покрыл головы.

Часом позже хвалынцы провели селом пленных, построенных в колонну. Их пропустили мимо себя сидевшие на конях Извеков с Дибичем.

Пленные успели подтянуться. В осанке больше сквозило то общесолдатское, что делало их чем-то похожими на своих конвоиров. Шаг их говорил, что наступило покорное изнеможение духа, но ужас смерти миновал.

Появившееся в них сходство с красноармейцами словно обидело Кирилла, и лица пленных по-прежнему отталкивали его и наполняли тоскливой злобой. Сжав брови, он следил, как колонна вышла из Репьёвки и потянулась проселком к большой дороге, в город. Потом он повернул лошадь и, не сказав ни слова Дибичу, отъехал прочь: предстоял еще суд над репьёвскими кулаками.

27

Выкупанная дождями окрестность казалась невиданно яркой в тот солнечный день, когда Извеков с Дибичем выступили по большаку на север.

Осенние краски уже заметно вкрапились повсюду, но еще не пересилили общего землисто-зеленого фона. Трава оживилась после мокрых дней, вдруг по-майски налившись изумрудом. На ее сверкающих лужках особенно выпукло виднелись желтые лапы кленов. На черемухе одиноко вспыхивали от солнца прозрачно-малиновые, повисшие, как капли, листья. Перерытая земля огородов была лилова, а рядом с ее устало-спокойным цветом буйно отливали перламутром кудлатые гряды капусты.

Все эти отдельные пятна потерялись в неудержимом размахе пространства, едва Кирилл взял подъем изволока и, сидя в седле, оглянулся назад.

Слева уплывали вдаль береговые кряжи, вперемежку голые и курчавые, которыми начинались меловые Девичьи горы, уходившие на юг, к Вольску. За ними кое-где горела Волга. Справа дубравились угольники и овалы чернолесья, чем дальше по материковой возвышенности — тем более темные, загадочные, как бор. Внизу, чуть в сторону от большака, расстелилась Репьёвка, обернутая в слитную зелень садов.

При виде этого сельца, угнездившегося среди живописного сожительства холмов и перелесков, в сияющей чистоте утра и в такой тиши, что за версту слышно было кукареканье петухов, Кирилл нечаянно для себя застыл. Не поддавалось никакому уразумению, что в этом селе, будто нарочно созданном для вечного мира, только что пронесся кровавый ливень, ужаснувший тех, кого он застиг, и что сам Кирилл должен был окунуться в этот ливень.

Он сидел в седле неподвижно, опустив удила, и казался себе очень маленьким перед лицом пространства, которое невозможно было сразу окинуть взором, и перед тем громадным по значению событием, в котором участвовал трое истекших суток. В эту минуту он отдавал себе ясный отчет, что в охватившей Россию гражданской войне событие где-то под Хвалынском обречено на безвест-

ность и затеряется в общей памяти, как затерялась Репьёвка на карте земного шара. Но он так же отчетливо понимал, что это событие, обреченное на безвестность, составляет неотъемлемую тысячную часть из той тысячи частей, из которой слагается история. И, рассуждая так, он одновременно чувствовал, что ничтожное для подавляющего большинства людей событие в Репьёвке для него выражает сейчас неизмеримо много, как бы заменяя собою ход истории, и он не в силах во всей глубине уразуметь это событие, как не может сразу охватить взором все пространство, перед ним раскрывшееся с холма. Неожиданно вспомнил он поговорку: войну хорошо слышать, да тяжело видеть.

Он медленно отвел глаза от Репьёвки. К нему шагом подъезжал Дибич.

— Какое спокойствие вокруг, а? — сказал Кирилл, чтобы отвлечь себя от того, что видел в Репьёвке, и все продолжая думать о ней.

— Чудо! И ведь с каждым шагом я ближе к дому,— обрадованно ответил Дибич, придержал лошадь и тоже оглянулся назад.

По большаку, наклонившись и тяжело сгибая колени, поднимались изломанным строем красноармейцы. Это был небольшой отряд, человек в пятнадцать. Уже стало твердо известно, что нигде в уезде не возникло какого-нибудь непрерывного фронта, но что малочисленные шайки из числа разбитых на Суре мироновцев пробираются к Волге и производят налеты на деревни, угрозами и обманами увлекая крестьян к бунтам. Поэтому рота Дибича была поделена на отряды, которым ставилась задача очистить ближайшую окрестность от шаек. Рота должна была затем соединиться в Хвалынске, куда направлялся и отряд во главе с Извековым и Дибичем, сохранявший значение центра для всех разбросанных групп.

Отойдя верст на пять от Репьёвки, отряд свернул с большой дороги на проселок. Путь пересекали овраги, заросшие кустарником и буерачным лесом. Там, где тянулись участки чистого леса, дорожные колеи были бугорчаты от выпиравших на поверхность корней борового дуба, и бугры мешали идти.

К ночному привалу красноармейцы притомились, кое-кто заснул, не дожидаясь ужина. Ипат с Никоном раздували костер. Мальчуганы из деревни, возле которой остановился лагерь, сначала издали, потом все решительнее подступая, следили за тем, что делалось. Винтовки, составленные в козлы, не давали их любопытству покоя.

Кирилл лежал на траве, закинув руки под голову. Серые вершинные сучья водяного дуба чередовались с сосной, стрельчатым тыном иззубрившей закатное небо. Пахло грибной сыростью низины.

Вдруг насторожившись, Ипат бросил возню с костром.

— Слыхали?

Кирилл вслушался, но ничему не мог внять, кроме плавного мычанья пригнанного на деревню стада. Ипат с задором подмигнул:

— Сейчас он у нас заговорит!

Он встал, прижал ко рту ладонь и на нутряной, необыкновенно высокой ноте завыл. Скатываясь исподволь книзу, вой становился все сильнее, в то же время как-то противоестественно уходя в самого себя, точно заглатываемый животом, пока не перешел в басистый страшный рык. Ипат побагровел от усилия, глаза его вылезли из орбит и, налитые кровью, заискрились в зрачках. Он оборвал рык отвратительным звуком, похожим на рвоту.

Одни красноармейцы спросонья вскочили и забранились, другие начали смеяться. Какой-то мальчик выкрикнул с восторгом:

— Эх! Вот матерущий!

Ипат погрозил ему и потом, как регент, махнул растопыренными пальцами на своих товарищей, чтобы притихли.

Минуту спустя далеко в лесу повис ответный вой почти с точностью на той ноте, с которой начал подвывать Ипат. И так же, но словно еще отвратительнее, наполняя весь лес перекатами рыка, вой оборвался на судорожном извержении звериного нутра.

— Сама старуха,— важно и снисходительно проговорил один из мальчуганов.

— Ага, это она,— подтвердили другие.

— Видать, много у вас их развелось? — спросил Кирилл.

— Поди-ка сосчитай! Целый выводок на натёке держится.

— Далеко? — нетерпеливо спросил Ипат.

Взгляд его перебегал с Кирилла на детей, потом на тот клин леса, где будто еще раскатывался волчий голос, и опять на детей, и снова на Кирилла. Он совсем забыл думать о костре, и в лице его появились несовместимые выражения рассеянности и сосредоточенности. Важный мальчик толково ответил:

— Рядом. Сейчас за опушкой буровичник,— буровика растет, а за ней — натёк: лесные ручьи растеклись. Там и волчишня, на натёке на самом.

— А что, товарищ комиссар, с утра облаву не разрешите поставить? — беспокойно спросил Ипат.— Весь выводок возьмем. Прибылые щенки теперь подросли, крупные будут. А может, и переярки за матерью ходят. Я с ребячьих лет волчатник.

Мысль эта тотчас вызвала страстное оживление. Все разом заговорили, что, конечно, дело плевое — взять выводок, что надо только хорошенько обмозговать, как расставить стрелков да побольше собрать загонщиков. Нашлись и кроме Ипата охотники, ко-

торым доводилось бывать на облавах, или такие, которые явно подвирали и хвастали, так что мигом вспыхнул спор, перебиваемый рассказами о разных случаях на волчьих охотах.

— Что ж, ваша деревня многих овечек недосчитывается? — опять спросил мальчиков Кирилл.

— И-и-и! Овцы да гуси — что! Как начали выгонять скотину — корову зарезали! Потом нашли рога да два копыта. Все косточки растащили.

— Почему же вы их не перебьете?

— Палками, что ли?

— А ружьишек в деревне нет? — невинно спросил Дибич и взглянул на усмехнувшегося Кирилла.

— Были. Да весной отобрали, и дробовики, и винтовки. После чапанного бунта.

— Разве у вас чапаны были?

— Нет, у нас нет, мы советские,— отозвались парнишки в несколько голосов.

— У нас не чапаны, у нас азямы,— сказал важный мальчик, и все его приятели заулыбались шутке.

— Правда,— сказал опять с нетерпением Ипат,— разрешите, товарищ комиссар, наутро обложить. Я бы сходил, повабил, определил бы ихнюю точку нахождения.

Кирилл, посмотрев на Дибича, увидел, что и командиру тоже хотелось бы попытать счастья на охоте — он так же, как красноармейцы, глядел вопрошающе, в ожидании согласия.

— Нет, придется отложить,— сказал Кирилл так, чтобы все услышали.— У нас, товарищи, есть дело, которое не терпит. Облава нас задержит. Отвоюем, тогда уж поохотимся вволю.

— Эх! — даже крякнул Ипат и, быстро отходя в сторону, запел на весь лагерь: — Да мы их в один бы мах взяли! Тут и фокуса нет никакого! Не флачки развешивать! Не медведя на овсы ждать!

И долго еще звенело его пенье вперемежку с возгласами красноармейцев, возбужденных соблазном редкого удовольствия, каким для всех казалась возможная и напрасно упускаемая облава.

Ночь прошла тихо. Только дважды противно распорол округу тоскливый, еще более страшный, чем вечером, вой, и Кирилл, просыпаясь, различал в темноте приподнявшегося человека, который, видно, маялся и не мог спать.

Перед утренней перекличкой Кирилл сразу заметил отсутствие Ипата. Но тут, один за другим, прискакали двое связных с донесением отрядов. Нигде в ближайших окрестностях противник не был замечен, в деревнях царило спокойствие, и продвижение шло нормально.

Приняв рапорты, Извеков с Дибичем вернулись к отряду, и к нему подбежал Ипат. Все на нем кривилось: фуражка — козырьком на ухо, пояс — пряжкой набок, на вороте не хватало пуговиц, и видно было, что он черпнул голенищами воды. Он выпалил, не переводя духа:

— Рукой подать, товарищи командиры! Вот за этими березками сейчас брусничная полянка, за ней дубняк, а там мочажина, сосонкой прикрытая сперва реденько, потом гуще. Вот в самой гущине они, как есть, и находятся...

— Постой. На поверке ты был? — остановил его Кирилл.

— Точно так. Угодил как раз, как меня выкликали,— ответил Ипат, улыбаясь виновато и хитро.

— Прыткий. Кто тебе разрешил отлучаться?

— Так я же не отлучался, товарищ комиссар. Тут рукой подать. Все равно что оправиться сбегать.

— Смотри. В другой раз...

— Так ведь тут случай! Весь выводок у нас в руках, жалко не взять, товарищ комиссар, а?

Ипат глядел на Кирилла белесыми своими глазами, умоляющими, полными страстной жажды действовать.

Кирилл никогда не охотился на волков. Но в Олонецких лесах, в такую красную пору осени, ему не раз, бывало, случалось побродить с крестьянами, промышлявшими ружьишком. Нельзя было с любовью не вспомнить этих блужданий по золотым просекам, с пищиком в зубах, которому доверчиво отзывались трепетнокрылые порхающие рябцы. Кирилл глянул на лес. Утро было серое, но безветренное, и словно еще краше светились на березах первые зажелтевшие концы недвижно опущенных веток.

— Там что, болото? — спросил он.

— Какое! — воскликнул Ипат, почуяв, что дело приняло другой оборот.— Какое болото! Так себе, потное место!

— Как же ты на потном месте увяз по колено?

— По-русски сухо — увяз по брюхо,— улыбнулся Дибич.

— Да не увяз! Оступился в оконце. Ручеек растекся, полоем таким, вода собралась в ямке, я не приметил, оступился.

— Отстанем мы с твоими волками,— по виду недовольно сказал Кирилл и перевел взгляд на Дибича.

— Нагоним да еще перегоним,— уверенно сказал тот.— Наш маршрут самый прямой, раньше всех отрядов в Хвалынске будем.

— Ну, налаживай! — отмахнулся Кирилл и слегка приструнил: — Но чтобы на все дело не больше двух часов.

— Да мы, будьте покойны,— раз-два! — с упоением вскричал Ипат и, то срывая с головы фуражку, то опять кое-как нахлобучивая ее, кинулся к обступившим его красноармейцам.

Однако наладить облаву было не так легко. Все стрелки наотрез отказались идти изгонщиками, каждый требовал, чтобы его поставили в цепь.

В деревне мужики тоже упрямились. Когда одному сказали, что, мол, чудак-человек, тебе же будет хуже, если твою корову зарежут волки, он не торопясь сплюнул и ответил:

— А мою уж зарезали.

Началась торговля — кому идти.

— У кого больше скотины, тот пускай и идет,— говорили бедняки.

— Эка бестолочь,— кричал Ипат.— У кулака убудет — ему не страшно, а ежели у кого одна скотина, с чем он останется?

— На трудповинность положено брать сперва зажиточных, пускай они идут первые и в облавщики.

Вспомнили, что в прежнее время охотники всегда выставляли загонщикам вина. Но тут красноармейцы обозлились: они сами бы не прочь выпить, и — по справедливости — им надо бы поднести за то, что они перебьют зверя, а у мужиков, поди, полны жбаны самогона!

Только ребятишки рвались наперебой в дело, но и здесь не обошлось без раздоров и даже без плача: одних охотники взять соглашались, другим, по малолетству, идти запретили.

Наконец обе партии были готовы — человек до тридцати загонщиков, с палками в руках, и четырнадцать стрелков. Ипат обратился к ним со степенным наставлением:

— Операция будет, стало быть, такая...

Его выслушали, не прекословя. Он брал на себя расстановку номеров, а Никону поручал руководить загоном.

Партии, выступив и миновав березняк, разбились, и охотники пошли влево, загонщики вправо, гуськом, соблюдая полную тишину.

Кирилл шел по стопам Ипата. На брусничнике кое-кто попробовал присесть, пощипать ягоды, но Ипат, обернувшись, свирепо затряс кулаком. Началось дубовое мелколесье, за ним короткая, по пояс, сосонка, которую приходилось осторожно раздвигать. Потом ступили на сырую почву, сапоги зачавкали, Ипат все оборачивался, тараща глаза, и по безмолвно прыгавшим губам его было понятно, какие избранные поучения читал он нарушителям тишины.

Вдруг на затянутой осокой плешине он остановился, пальцем подозвал Кирилла и указал на маленькие зеркальца ржавой стоячей воды в траве.

— Молодые нарыли себе колодцы, для водопоя,— прошептал он на ухо Кириллу.— Вон по краям когтями нацарапано.

Он долго прислушивался к безмолвию, накренив голову на вытянутой шее.

— Сейчас мы повабим, убедимся, где они,— шепнул он.

Опять, как вечером, он прижал ко рту ладонь и завыл. Медленно наполнял ни с чем не сравнимый звук бездонные мешки и карманы лесной чащи, пока не захватил всего леса, не растекся и не исчез высоко над макушками деревьев. Долго этот мрачный зов оставался безответным. Затем, как отдаленное эхо, зародился в глубине леса и стал взбираться к небу тягучий отзыв зверя. Это взвыла волчица.

Но странно,— голос шел совсем не оттуда, откуда ждали его охотники: волчица обнаружила себя у них за спиной, вне круга, который собирались оцепить облавщики. Ипат вытянулся стрункой, напрягая слух, стараясь в то же время сообразить — можно ли поправить дело, и уже понимая, что оно непоправимо, если волчица увела за собой весь выводок.

Тут неожиданно заголосил впереди по-собачьему высокий лай молодых волков, рьяно и вперебой ответивших матери.

— Здесь! — почти вслух выговорил Ипат.

Он не в силах был удержать своего торжества, кровь хлынула к его лицу потоком, и он с усердием закивал товарищам, что все, мол, будет ладно.

Волки лаяли фальцетами с лихим подвыванием, все более забиячливо, и быстро приближались к охотникам, так что многие невольно вскинули винтовки, готовясь их встретить.

— Это они на добычу: мать с добычей,— шепотом объяснил Ипат.

В этот момент Кирилл щелкнул затвором. Сухой, не очень громкий металлический треск настолько был чужд естественности природных лесных звучаний, что волки сразу примолкли.

Ипат в необычайном страхе, исказившем его белый взгляд, смотрел на виновника. Кирилл, подавленный, стоял с открытым ртом, и над бровями его заблестел пот. Казалось, минуту Ипат не знал, что делать. Потом он овладел собой и торопливо, но с крайней настороженностью начал разводить и ставить стрелков на номера.

Цепь заняла линию двух заросших просек, и на самом скрещении этих просек Ипат поставил Кирилла, а рядом — Дибича. Это было верное место: сюда вели (как он выразился) «ихние преспекты» — нахоженные выводком тропы.

Кирилла прикрывала низкорослая сосна. Он нашел в ее мохнатых ветках просвет, дававший необходимую видимость участка. Через этот подзор он стал изучать отдельные коренастые стволы редкого дуба, путаную заросль бузины и столбами подымавшиеся

над подлеском золоченые сосны. Елок почти не было, но одна, не больше человеческого роста, лежала сваленной около гнилого пня и почему-то надолго остановила внимание Кирилла.

Смущение его прошло, хотя нет-нет да возникал в памяти исступленный взгляд Ипата, и неприятно мешала мысль, что если облава сорвется, то овиноватят в этом непременно Кирилла, потому что он щелкнул затвором.

Он устал держать на весу винтовку и опустил ее к ноге. Тишина была нетронутой. Желтоплёкий ремез обследовал ближнюю сосну, вьюном забираясь вверх по стволу. Пискнув, он перелетел на сваленную елку, потом умчался в чащу, и за ним погналась стайка таких же юрких птиц, вынырнув неизвестно откуда. У Кирилла похолодели промокшие ноги, он осмотрелся — нельзя ли присесть.

Тогда беззвучие пересек далекий выстрел, который будто раздвоился на вздох и присвист, и вздох глухо побежал от дерева к дереву, а присвист удальски махнул в поднебесье.

Не спеша и неровно, точно закапываясь в глубину бора, а потом всплывая к его вершинам, занялись вопли, непохожие на людские. В первую затем минуту можно еще было уловить визги мальчишек, звонкое «улюлю» мужиков. Но все быстрее, быстрее гиканье, свист, крики, стук палок по деревьям срастались в сплошной вал неподобного гула.

— Улю-у-у-у-у-ууу!..

Загонщики всей лавой двинулись на стрелков.

Тотчас, как сигналом разнесся выстрел, Кирилл поднял винтовку и, принагнувшись к своему подзору, начал остро разглядывать вдруг точно подмененные новыми кусты подлеска. Всякий сучок, всякий лист сделался изумительно отчетлив, и словно озадаченная неподвижность деревьев была несвязуема со страшным зыком, ломавшим воздух. Чудилось, будто корчуют сразу весь лес, и выдираемые из земли корни и сама земля стонут и вопят от боли.

Упал одинокий выстрел в цепи.

Стон на секунду чуть ослабел, но сейчас же набрал еще больше отчаянной силы. Кирилл слышал, как в теле его сжалась каждая мышца. И вдруг его словно окатило изнутри студеной водой: справа по цепи, там, где прозвучал одинокий выстрел, открылась беспорядочная пальба.

Было похоже, будто дети захлопали по лопухам свистящими прутьями. И каждый удар по лопуху ожогом отзывался на Кирилле. Он все больнее давил прикладом в плечо и смотрел, смотрел перед собой, боясь моргнуть глазом, так что веки защипало солью выступивших слез.

Тогда под сваленной елкой, которая уже привлекала его внимание, под самой звездочкой ее верхушки, мелькнуло светлое пятно. И тут Кирилл как будто оглох: не стало мигом ни шума загонщиков, ни стрельбы винтовок — весь мир вместился и замер в этом пятне.

Лобастая, с широко расставленными куцыми ушами морда волка выглядывала на просеку отливавшими черным лаком глазами. Вобрав голову в приподнятые лопатки, зверь чуть заметно крался.

Внезапно он дал легкий прыжок, растянув плавное тело над елкой, будто перелив себя через нее.

Прицел был взят Кириллом до этого мгновенья, но палец нажал на спуск в самый момент прыжка. Волк взвизгнул вместе с выстрелом. Еще находясь в полете скачка, он рванул головой к задней ляжке, словно огрызаясь на преследователя. Потом он упал. Дважды он схватил себя за ляжку, и вырванные клочья шерсти разлетелись от его хрипучего дыханья. Он пополз влево от Кирилла, часто перебирая передними лапами и волоча раненый зад. Иногда он по-щенячьи южал.

Кирилл видел, что подранок может уйти, и готов был ко второму выстрелу. Но пока волк переползал просеку, было рискованно стрелять, потому что где-то совсем близко стоял на своем номере Дибич. Этой короткой нерешительности было достаточно, чтобы волк выполз из круга за линию стрелков. Он скрылся в кустах.

Все чувства Кирилла сразу после выстрела ожили и горячо заработали опять. Пальбы уже не было, крики загонщиков утихали. Он сошел с номера и кинулся догонять волка. Он увидел сквозь листву его шубу и расслышал рычанье. Волк сидел, упершись выпяченными вперед лапами. На спине его топорщилась черная ость вставшей шерсти. Отвисший лиловый язык и пасть были облеплены светлым пухом.

В секунду, когда Кирилл разглядел эту облепленную пухом пасть, треснул выстрел, и Кирилл, почти не целясь, со вскидки, тоже выстрелил. Голова волка сделала поклон, и он как бы с осторожностью лег на бок.

Все было кончено. И, однако, Кирилл не двигался с места.

Сойдя с номера, он нарушил правило. Дибич мог видеть подранка и стрелять по нем, не замечая подходящего Кирилла. Это была опасность. Предупредить ее можно было только немедленным выстрелом, хотя торопиться было излишне, потому что волк уже сел, явно не в силах уйти далеко. К тому же выстрел отпугнул бы других волков, которые еще могли выйти на прочие номера. Но к опасению, что Дибич выстрелит, не видя Кирилла, прибавилась боязнь, что кто-то другой добьет подранка и возьмет трофей. Надо было стрелять!

Только теперь, после того как волк был убит, Кирилл стал вникать во все эти молниеносные соображения, толкнувшие его к выстрелу. И только тут он вдруг понял, что мимо всех соображений его толкал подсознательный страх перед раненым, смертельно ожесточенным зверем. И едва он признался себе в этом страхе, его охватил стыд, и он почувствовал, что все его тело залито жарким потом.

— Ну как? Готов? — услышал он оклик Дибича.

В голосе этом было столько счастливой гордости, что Кирилл напугался: а что, если подранок прикончен вовсе не им, а Дибичем? Ведь первым-то стрелял Дибич?

— А у вас есть? — вместо ответа спросил он, все еще не двигаясь.

— Е-е-есть! — так же гордо отозвался Дибич, и Кирилл услыхал неподалеку шелест раздвигаемых кустов.

Тогда он сорвался с места и подбежал к своей добыче. Слыша, как колотится сердце, он с дикой радостью ухватил волка за ухо, приподнял его толстолобую полупудовую голову и бросил оземь.

— У-у-ух, не-чи-стый! — гудел он упоенно, то расталкивая волка ногой в мягкое, пустое брюхо, то будто одобрительно теребя колючий мех его загривка.

Дибич вышел из зарослей, сияющий, быстрый, взял зверя за заднюю лапу и повернул с боку на бок.

— В окорок угодили? А я — слыхали? — с одного выстрела под лопатку!

— Так ведь у меня как вышло,— воскликнул Кирилл и неудержимо-пылко начал в подробностях объяснять, как выстрел совпал с прыжком волка, как волк стал уползать и как пришлось его добить. Он только не сказал, что стрелял по сидячему зверю.

Несколько загонщиков приблизились на голоса и с любопытством обступили добычу. Один из них — с кровоточащей царапиной поперек щеки и с разорванным рукавом — мазнул пальцем по щеке и, показывая кровь, проговорил:

— Оборвались все об сучья. Одними спрысками не обойтиться вам, товарищи.

— Радоваться надо, что покончили с чертягами,— весело сказал Кирилл, награждая волка добрым пинком сапога.

— Оно, кому радованье, кому что иное,— ответил загонщик, пробуя приладить рванье на рукаве и потом сощуриваясь на Кирилла: — Чуть не упустили, выходит, волчонка-то? Далеконько за линией стреляли...

— Почему упустил? — сердито остановил его Кирилл и опять принялся повторять сначала все, как было. Жар его не спадал, а все больше распалялся.

Сломав молодую сосну и оборвав ветки, загонщики продели жердину между связанных лап волка и понесли его на плечах. Кирилл шел позади, с чувством триумфа поглядывая на волчью морду, черным носом бившую об землю, и говоря, говоря краше и краше все подходившим из леса загонщикам об удивительном первом своем выстреле и помалкивая о втором.

Было взято четыре волка-переярка. Их свалили в кучу. Похожие друг на друга, как могут быть похожи только близнецы, они лежали в своих наполовину уже зимних шубах, изжелта-серые, в черноватых подпалинах по хребтам и лапам, со светлым подшерстком снизу и с боков. Глаза у них были крепко зажмурены, будто, издыхая, все четверо противились взглянуть на белый свет.

Когда окружившие их кольцом стрелки и загонщики разобрались, кто и как убил своего волка, раздался чей-то насмешливый вопрос:

— А что ж Ипат? Пустой?

Огляделись — туда, сюда: Ипата не было. Стали звать — никто не откликался. Начали спорить — где Ипат стоял. Никто толком не знал, потому что он разводил по номерам, а где сам стал — никому невдомек было полюбопытствовать. Даже тот, кого он поставил на номер последним, не помнил, куда затем Ипат пошел: как будто направо, а может, и налево. Заспорили и о том, кто первый выстрелил в цепи, когда двинулись загонщики. Каждый уверял, что первым стрелял кто-то другой.

— Да зачем вы пальбу-то подняли? — спросил Дибич.— Припаса извели — хватило бы на оборону целого взвода. Охотнички!

— Мы, товарищ командир, беглым огнем, чтобы наверняка!

Тогда выступил перепуганный Никон и сказал, что, по его мнению, стрельбу открыл Ипат.

— Как мы, после моего сигнала, погнали, так вскорости я слышу — раз! — жигануло и вроде сразу хлипнуло. Ишь, думаю,— Ипат: у него ружье с хлипом. Он еще мне говорил намедни, что, мол, у ружья ствол простуженный, с трещинкой. Он стрельнул, а погодя ребята по-ошли палить по всей цепи! Ипат с краю бил, с самого фланга.

Пререканья так встревожили Кирилла, что почти не осталось следа ни от чувства триумфа, ни от неловкости за какую-то конфузную промашку, ни от стыда за мимолетный страх. Он будто впервые понял, что один отвечает за всю охоту и за все, что бы ни случилось с Ипатом. Да и не с одним Ипатом. Он был тем сознанием, которое взяло на себя ответственность за каждого человека — от Дибича до последнего деревенского мальчугана, ради забавы увязавшегося с облавщиками в лес.

Нарядив красноармейцев пройти всей линией, которую зани-

мали стрелки, Кирилл взял с собой Никона и направился туда, где — по догадке — мог стоять Ипат. Они осмотрели множество укрытий в кустах, какие могли привлечь охотника, они кричали, они прислушивались к далеким голосам товарищей, наконец вернулись назад и встретились с теми, кто ходил искать вдоль просек. Ипата не нашли.

Загонщики подняли на плечи трофеи, и за ними двинулась вся вереница людей.

По пути Кирилл сказал Дибичу:

— Неужели его могли невзначай пристрелить? Ведь бывалый парень. Немыслимо!

— Я думаю другое,— ответил Дибич.— Не встретит ли он нас сейчас в деревне?

Кирилл остановился от недоуменья.

— Не удрал ли Ипат от позора: выставил себя первейшим волчатником, все сам затеял, а как раз у него добыча ушла между пальцев!

— Ну, это слишком тонко,— убежденно возразил Кирилл и все-таки задумался, и чем ближе подходили к лагерю, тем больше обнадеживала его высказанная Дибичем мысль.

Однако в деревне ожидало разочарование: Ипат не возвращался. Так же скоро, как разлетелась весть, что красноармейцы перебили выводок волков, крестьяне узнали об исчезновении на охоте одного стрелка. Невозможно было выступить в поход, не разыскав пропавшего, и Кирилл, после совещания с Дибичем, снова отправил в лес поисковую партию.

Время подходило к полдню. Кирилл сидел в избе у растворенного окна, дожидаясь обеденной похлебки. Слышно было, как озорничали ребятишки вокруг сваленных под сараем волков да люто брехали на звериный дух попрятавшиеся собачонки. Что часто случается бабьим летом, с утра затянутое небо днем стало веселеть, и мягкое солнце без теней осветило землю.

В эту минуту Кирилл рассмотрел троих путников, вышедших из леса по дороге в деревню. Они шли в ряд нескорой походкой. У одного был в руке узел, двое других несли на плечах мешки. Когда они немного приблизились, сделалось видно, что позади выступает еще один человек, которого передние собою все время заслоняли. Потом можно стало различить, что человек с узлом что-то прижимает свободной рукой к груди и, видимо, ему это неудобно, потому что он кособочит.

Уже неподалеку от деревенской улицы трое передних расступились, обходя рытвину, и Кирилл увидел, что четвертый человек, отставая шагов на пять, держит наперевес винтовку. Почти тотчас Кирилл высунулся за окно, узнав в человеке с винтовкой Ипата.

Не отрывая своих издалека белеющих глаз от конвоируемых людей, Ипат ступал жестким шагом, чуть вразвалку. Ружье вздрагивало у него в руках, отвечая шагу.

Кирилл вышел на крыльцо избы. Крестьяне и красноармейцы собирались у открытых ворот, молчаливо ожидая пришельцев. Мальчишки вбегали с улицы во двор, оборачиваясь и наступая друг другу на пятки.

Когда Ипат ввел подконвойных в ворота, он по-солдатски выступил вперед и взял винтовку к ноге. Через его распахнутую гимнастерку виднелась блестевшая от влаги грудь, удивительно светлая рядом с медно-алым загаром лица. Рапорт его звонко прозвучал на весь двор.

— Принимайте, товарищ комиссар. В лесу — мной задержанные неизвестные численностью три человека. Один названный неизвестный, раненный в оконечность при попытке от меня к бегству.

Двое арестованных были преклонных лет. Бородатые, довольно испитые, они казались очень усталыми, и оба, как только остановились, бросили наземь запачканную поклажу — холщовый мешок и перехваченный веревкой тюк. Третий тоже опустил свой небольшой узел, с трудом нагнувшись и сразу подхватив замотанную окровавленной тряпкой руку. Приподняв эту раненую руку повыше, он затем снял кепку, вытер ладонью мокрую, совершенно лысую голову и поправил съехавшие с переносья очки.

И как только он обнажил лысину и сквозь очки глянул вверх, чтобы рассмотреть на крыльце возвышавшегося комиссара, Кирилл поднял брови, откачнулся и крепко прислонился к косяку плечом.

Лысый же продолжал глядеть на него через очки в металлической тонкой оправе, нисколько не изменившись в лице, а только опять поддержав снизу раненую руку.

— Поставить к ним караул,— тихо приказал Кирилл.— И обыскать.

28

Происшествие, о котором Ипат доложил Извекову, рисовалось так.

Заняв крайний в цепи охотников номер, Ипат начал приглядываться в ту сторону, откуда, в ответ на подвыванье, долетел голос волчицы. Он рассчитывал, что она должна выйти на лай молодых волков, и не ошибся. Наверно почуяв неладное в том, как оборвался лай, она пробиралась к логову с большой осторожностью, однако подошла близко к линии стрелков. Едва разнесся

крик загонщиков, она метнулась назад, и тут Ипат заметил ее и выстрелил. Взять старого зверя ему было лестно. Он махнул рукой на облаву. Он обнаружил кровь на кустах там, куда стрелял, и побежал по следу уходившего подранка. По мере отдаления от места облавы следы крови попадались все реже, пока совсем не потерялись. Но Ипат упрямо продолжал искать. Давно уже притих лес после гая облавщиков, а он все рыскал, забираясь в самую чащобу. И вот в густой поросли лещины глаз его поймал пятно, которое он принял сперва за настигнутую цель, и чуть было не выстрелил. Но пятно оказалось мешком с кладью, рядом лежали узел и тюк, а за ними, скорчившись, прятались люди. Ипат заставил их вылезти, забрать пожитки и повел арестованных лесом, крепче сжав винтовку и отвечая на прекословья единственным оправдавшим себя в веках афоризмом: «Там разберут!» Пока он сообразил, в каком направлении следует идти, утекло порядочно времени. Один из задержанных, когда проходили мимо лесного буерака, кинулся под откос. Ипат разрядил в него ружье, ранил в руку выше кисти и угрозой нового выстрела принудил выбраться из оврага. Он дал беглецу перевязать рану рубахой, которую тот извлек из своего узла, и после этого весь марш до деревни продолжался без приключений,— выглянувшее солнце довело Ипата куда надо.

Перед тем как арестованных посадили в амбар, Кирилл велел задать им вопрос: откуда они идут и далеко ли держат путь. Они ответили, что все трое идут из города Хвалынска в Заволжье. Выслушав Ипата, Кирилл принял решение доставить арестованных в Хвалынск, но сначала дознаться об их намерениях. Он велел привести в избу того из этой тройки, кто назовется хвалынским старожилом. Дибичу он ничего не сказал о своем замысле, но просил присутствовать на допросе.

Степенного вида бородач, в шерстяном платочке вокруг шеи, заправленном под глухой ворот сильно ношенного пиджака, сказал Кириллу о себе, что он — из хвалынских мещан, что у него за Волгой, на Малом Иргизе, родственники, и он направляется к ним. На вопрос — зачем он прятался со своими спутниками в лесу — он ответил, что все трое испугались шума и стрельбы и думали отсидеться, а лесом шли для сокращения дороги. Когда Кирилл начал допытываться, кто же эти спутники и давно ли старику они известны, тот сказал, что они в Хвалынске люди новые, но он с ними знаком, и один из них даже стоял у него на квартире.

— Это который ранен, да? — спросил Кирилл.

Нет, раненого старик знал мало. По фамилии он Водкин, в Хвалынске поселился года два назад, родом будто пензенский, владеет садочком, купленным по приезде.

— У вас, значит, после революции поселился?

— Словно бы после. А может, и в войну.

— Ну, вы собрались к своим родственникам. А у попутчиков ваших тоже на Иргизе родня?

По словам старика, попутничество было довольно случайно: он и его квартирный постоялец вознамерились податься на Иргиз потому, что там спокойнее, а Водкин присоединился к ним в расчете вывезти из Заволжья две-три семьи пчел,— тамошняя пчела славится. Знал же он Водкина потому, что тот приходил к нему менять на очках оправу (старик немного ювелирничал).

— Прежде он золотые носил очки-то? — спросил Кирилл.

— Помнится, будто золотые.

— Кто же ваш постоялец?

Постояльцем у старика был человек православного исповедания, приехавший в Серафимовский скит с желанием принять впоследствии монашество, но пока не нашедший там пристанища из-за тесноты. Братия очень стеснена — народу притекает все больше, а скиток маленький. Фамилия этого человека — Мешков.

— Саратовец?

— Да, оттуда.

— Зовут не Меркурием Авдеевичем?

Дибич, чутко следивший за разворотом дела, не мог бы определить — кто в эту минуту был больше изумлен — старик ли, услышав вопрос, или Извеков, получив утвердительный ответ.

Кирилл сидел неподвижно, точно ему требовалось крайнее усилие воли, чтобы возвратить себя из бесконечной дали к тому, что находилось перед его взором. Потом он велел увести старика и заметил Дибичу:

— Я думал, в этой троице у меня найдется один старый знакомец. А выходит, кажется, двое. Странно.

— Что это за антик такой — Меркурий?

— Попросту русский Меркул... Посмотрим, посмотрим,— опять задумался Кирилл.

Ввели Водкина. Он раскачивал туловищем, прижимая руку к груди.

— Нельзя ли показать меня фельдшеру? Рана не дает покоя,— сказал он, опускаясь на скамью.

Кирилл долго глядел на него. Это был человек на шестом десятке, с примечательной головой — сдавленная с боков, она сильно выпиралась вперед лбом, а на затылке, очень похожем на отражение лба, имела математическую шишку. Желтоватые ресницы ободками вычерчивали пристальные, недовольные глаза.

— Санитар перевяжет вам руку,— ответил Кирилл после молчания.— Почему вздумали бежать, когда вас задержали?

— Решил, что попал к бандитам.

— Со страха, значит?

— Да. Рассказывают, сюда стали забредать из соседнего уезда какие-то мироновцы.

— Как же вы отважились на путешествие, когда кругом этакие страхи?

— Нужда. За Волгой обещали пару ульев. Я пчелками занимаюсь.

— Ах, пчелками? И давно?

— Не очень. На старости надо чем-нибудь промышлять.

— Чем же раньше изволили промышлять?

— Я был ходатаем по делам в Наровчате.

— По судебному ведомству, стало быть?

— По гражданским делам, частный ходатай.

— Только по гражданским? — немного выждав, поинтересовался Кирилл.

— Исключительно.

— Документа у вас никакого не найдется?

— Вам не передали? У меня сейчас при обыске отобрали.

— Паспорт?

— Да. Бессрочный паспорт.

— Что же в нем обозначено?

— Вы бы посмотрели. Ничего особенного. Уроженец города Пензы. Сын личного гражданина. Место жительства — Наровчат. Род занятий — писарь. Я начинал писарем, так и проставили.

— Значит, до Хвалынска в Наровчате проживали?

— Почти всю жизнь.

— А в Саратове не жили?

— В Саратове не бывал. В Симбирске, в Самаре — случалось. В Пензе, конечно. В Москву раз ездил. Третьяковскую галерею осматривал. Живопись уважаю очень.

— По фамилии вас?

— Водкин. Иван Иванович Водкин.

— Одна фамилия?

— То есть как? — удивился допрашиваемый.

— Я в том смысле, что бывают двойные фамилии. Одно лицо носит две фамилии.

— А-а! Бывают. Вот, родом как раз хвалынский, наполовину однофамилец мой, Петров-Водкин. Может, слышали? Известный живописец.

— Вот видите,— привстал Кирилл,— какой удачный пример! Не наполовину, а почти полное совпадение!

— Почему совпадение? — обиженно проговорил Водкин.

— Другая-то фамилия у вашего однофамильца на букву «п»!

Кирилл насилу удерживал в голосе рвущееся наружу торжество. Водкин обнял кистью правой руки жесткую от высохшей крови перевязку и опять закачал туловищем.

— Болит? — спросил, изучая его пальцы, Кирилл.

Дибич беспокойно отвернулся к окну.

— Болит,— терпеливо подтвердил Водкин, но сейчас же еще с большей обидой прибавил: — Не понимаю вас, товарищ комиссар, о чем вы хотите дознаться. Так с советскими гражданами не поступают. Арестовали неизвестно за что, да еще вдобавок раненому в помощи отказываете. Это все незаконно.

— Старый законник! — быстро воскликнул Кирилл.— Не сомневайтесь, санитара мы вам дадим. Закон будет соблюден. Только не тот, который блюли вы.

— Это мне не в укор. Я хоть и маленький человек, а всегда готов был постоять за правого.

— Постоять вы умели,— убежденно согласился Кирилл, все еще не отрывая взгляда от руки Водкина.— Хватка у вас была поострее, чем теперь. Вы ведь отращивали да полировали свои коготочки-то, а?

Водкин перестал раскачиваться и сокрушенно покачал головой.

— Вы хотите меня кем-то другим выставить. Или, правда, приняли за другого?

— Нет, почему же? Именно за того, кто вы есть.

С улыбкой и будто раздумьем Водкин посмотрел на свои загрязненные пальцы.

— Нынче приходится все делать, как садовому мужику. А прежде, конечно, руки чище были.

— Ну, особенно чисты они у вас никогда не были.

— Не знаю, о чем вы...

— Хотя раньше у вас, правда, было как-то все изящнее. Золотые очки, к примеру.

— Золотых я не носил.

— Ну как так? Когда вы задумали перебраться в укромный Хвалынск, вам ведь пришлось все менять — от гардероба до паспорта. А очки купить новые не успели. Торопились, наверно. И вот эта оправа на вас — это уже хвалынская. Но очки можно переменить, хотя и с опозданием. А голову-то не подменишь! Вот ведь какая неприятность.

Водкин развел обеими руками, забыв о ране, но тотчас, впрочем, опять прижал замотанную руку к груди.

— Вы, кажется, действительно жестоко на мой счет заблуждаетесь, товарищ комиссар.

Кирилл вскочил, оттолкнув ногой табуретку, и нацедил сквозь

зубы воздуха, готовясь крикнуть. Но вместо крика произнес очень раздельно и гораздо спокойнее, чем все время говорил:

— Наши биографии переплелись довольно туго, хотя между ними... собственно, никакого сходства. Вы постарались начать мою биографию. Я вашу постараюсь закончить (он примолк на секунду и затем будто выстукал по буковке на машинке)... господин жандармский подполковник Полотенцев.

— Боже мой, что за убийственная ошибка,— прошептал Водкин и зажал здоровой рукой лицо.

Дибич, который все время с болезненным напряжением ожидал какой-то необычайной развязки, громко ахнул и потянулся руками к Кириллу.

— Ошибки никакой,— сказал ему Извеков, пожелтевший от бледности и странно тихий.— Этот человек вполне овладел притворством. Он артист. Я его лично знаю: он некогда препроводил меня в Олонецкую губернию.

— Если вы убеждены, что это он, то... я поражаюсь вам,— торопливо сказал Дибич.— Что вы с ним забавляетесь? Ведь не находите же вы в этом удовольствия?

— Нет, разумеется,— усмехнулся Кирилл.— Скорее, противно... И все же, честное слово, когда подумаешь, чего только не проделывали эти господа в недавние времена... да и сейчас еще кое-где проделывают, то... можно даже увлечься!

Полотенцев открыл лицо. Оно было совершенно прежним, только неяркие с желтизной бровки взбежали кверху над очками. Он сказал в каком-то слащавом разочаровании:

— Ваша слепая ошибка может мне стоить многого, я отдаю себе отчет и тем более должен сохранить мужество, как это ни трудно. Однако если уж вы искренне принимаете меня за... жандарма, то ведь жандармы были извергами, исчадием! Как же вы... Извините, я обращался к вам, как к товарищу, но теперь, когда вы столь недоказательно обвиняете меня... (Он беззвучно и как-то в нос посмеялся.) Вероятно, со временем будет какое-нибудь величание, соответствующее высокоблагородию или светлости. Может быть — ваша справедливость или ваша безусловность, ну, я не знаю, хе-хе! Так вашей справедливости едва ли пристало следовать худым примерам проклятого прошлого. Всем этим исчадиям, которые позволяли себе измываться над беззащитными при дознаниях...

— Прорвало! — вскричал Кирилл, не давая Полотенцеву досказать тираду и рассмеявшись.— Старая желчь взбурлила! Помню, слишком хорошо помню,— вы были джентльмен иронический! И не без остроумия, черт побери, нет, нет, не без этого! Оно вас выдало не меньше даже головы с шишкой.

— Все это может показаться увлекательно, как вымысел,— скромно возразил Полотенцев,— однако несколько по-детски увлекательно. Чересчур косвенно, на неубедительном для закона единоличном, мнимом опознании. Прямого же ничего нет. И, позвольте вас разуверить, ничего не может найтись.

— Найдется, когда мы вас доставим к месту вашего проживания. Не в Наровчат, конечно, а в Саратов. Наровчат вас только отвергнет, как Водкина. Зато Саратов примет, как Полотенцева.

— Ничего это не может дать, кроме излишних испытаний для меня.

— О, только не излишних, совсем, совсем не излишних! — с глубокой убежденностью воскликнул Кирилл.

Четверо красноармейцев во главе с Ипатом внесли в избу разобранные узлы арестованных. Ипат выложил на стол документы, деньги, часы вороненой стали и серебряные, с ключиком на шнурке, потом взял у Никона жестяную банку, которую тот держал с благоговейным почтением, и так же благоговейно поставил ее на особом расстоянии от других вещей.

— Оружия при обыске не обнаружено, а вот издесь имеется капитальная сила,— доложил он, постукав ногтем по жестянке, и значительно оборотился к красноармейцам.

Кирилл хотел придвинуть банку к себе, но рука его остановилась на ней, и он вопросительно поднял глаза на Ипата. Ипат выпятил нижнюю губу, важно вскидывая голову: мол, смотри сам, я говорю — не шутка!

Это была обыкновенная круглая банка с осетром на крышке, опоясанным надписью: «Астраханская малосольная». Однако вес жестянки оказался непомерно большим. Кирилл с одного края приподнял крышку и сразу опять закрыл.

— У кого обнаружено? — спросил он.

— В самом этом нутре,— возбужденно сказал Никон, показывая распоротую подушку,— промежду самого пера.

— Это которого вы еще не опрашивали,— разъяснил Ипат.

Кирилл повел головой на Полотенцева.

— Ты, Ипат, его привел, я с тебя за него и спрошу. Лично тебе приказываю: стой начеку и береги как зеницу ока.

— Я свою зеницу берегу вдвойне: она у меня одна...

Как только Полотенцева увели и оставшийся в избе Никон, с помощью другого красноармейца, взялся раскладывать на полу пожитки арестованных, Дибич шутливо мигнул на жестянку.

— Адская машина?

Кирилл подозвал красноармейцев. Все обступили его. Он открыл крышку, зажал ладонью банку и опрокинул.

На ладонь, покрыв всю ее, увесисто высыпалась горка золотых, и верхние монеты маслено сползли на стол, как зачерпнутое сухое зерно с лопаты. Он тихо вытянул из-под золота руку. Чуть звонкий шелест металла мягко держался в воздухе, пока горка, оседая, будто растекалась по столу.

— Мамынька, родимая! Тыш-ша! — ошалело дохнул Никон.

— Приданое! — протянул другой красноармеец.

— Меркурий, вот он где, Меркурий,— бормотал Дибич.

Никто не отводил вдруг выросших очей от золота, только Кирилл рассеянно смотрел на всех по очереди. Он отошел затем к окну, постоял, вернулся к столу. Вскользь, улыбнувшись, он сказал Дибичу:

— Вы не угадаете, о чем я сейчас вспоминаю. Это многое мне объясняет, очень многое...

И он дотронулся пальцами до золотых, и они с тонким звуком еще шире распространились на столе.

— Мамынька! — безголосо, одними губами повторял Никон.

Третий арестованный, когда его привели, показался совсем убитым. Весь его стан как бы тонул в костюме, который его облачал, хотя было видно, что одежда не с чужого плеча, и владелец прежде хорошо знал, что шил. Давно не стриженные волосы и борода спутались, увеличивая смятенность убогого, словно просящего лица. Но в глазах, под растрепанными крылами бровей, светился до странности тихий восторг, будто человек этот заслуженно торжествовал достигнутую справедливость, в которой не сомневался.

Глядя особенным этим взором на Извекова и вовсе не замечая золота, он сел на краешек скамьи.

— Мешков, Меркурий Авдеевич?

— Да.

— Вы давно из Саратова?

— Третью неделю.

— Погостить в эти места или на постоянное жительство?

— Полагал навсегда.

— Почему же оставили родной город?

— По своему желанию удалиться в обитель. Но прибыл, и не мог быть устроен. Келья, которую мне обещали в скиту, оказалась занятой, и я пока стоял на городской квартире.

— И, видно, не понравилась квартира?

— То есть, зачем я опять в дорогу тронулся? От беспокойства. Беспокойные вести пришли, что к Хвалынску фронт приближается. Я искал уединения старческим дням своим и забоялся, что мечтание мое нарушится.

— Кто же ваши мечтания должен оградить в Заволжье? Казаки?

— Почему казаки? — спросил Меркурий Авдеевич странным голосом, как будто сделавшим реверанс.— И в помыслах не было.

— Да ведь за Волгой-то казаки?

— Так далеко я не собирался. Меня Малым Иргизом прельщали — будто бы туда война не дойдет, места спокойные. Хотя мне не очень по душе.

— Что ж так?

— Там люди больше старой веры. Квартирохозяин мой тоже кулугур. Вот и приходится раскаиваться, что дал себя смутить: это он меня уговорил идти.

Кирилл качнул головой, показывая на золото:

— Ваше собственное?

— Да,— сказал Меркурий Авдеевич, не только по-прежнему не глядя на деньги, а еще больше отвернувшись и, однако, нисколько не сомневаясь, что спрашивают именно о золоте.

— Укрытое вами от Советской власти, да?

— Укрытое может быть то, что ищут. У меня никто не искал. Так что не укрытое, а сбереженное.

— Для спасения души?

— Я думал в дар принести обители.

Красноармеец, все время хмуро следивший за Меркурием Авдеевичем, неожиданно сказал:

— Что же раздумал? Кабы принес, небось келья-то для тебя сразу бы нашлась.

Мешков смиренно оставил эти слова без внимания.

— Мы должны будем передать вас для следствия,— сказал Извеков.

— Воля ваша.

— А золото сейчас пересчитаем, составим акт, вы подпишете.

— И это в вашей воле,— бесстрастно сказал Мешков.

Он только прикрыл глаза и продолжал недвижимо сидеть на самом краю скамьи, будто присел на один миг и сейчас встанет и пойдет. Невозможно было уловить, о чем он думал, но — конечно — он должен был думать и о деньгах, особенно когда в избе заворковал их однозвучный льстивый звон: Кирилл и Дибич принялись неуклюже отсчитывать и столбиками расставлять золотые. Он не мог не думать о деньгах, потому что мысль о них всегда то забегала перед прочими его размышлениями, то отставала от них, но была неотлучна, как тень, бегущая впереди или сзади. Он все время сравнивал прошлое с настоящим. В прошлом чем больше у человека накоплялось денег, тем больше к нему притекало новых. Они несли рост в себе. Было труднее всего когда-то раздо-

быть первый золотой. Каждый последующий давался легче и легче, как заметил еще Руссо (которого Мешкову не надо было читать, чтобы с ним на этот счет вполне согласиться). Теперь чем больше было у человека денег, тем меньше их оставалось, ибо тем больше у него отбирали.

И вот у Мешкова отобрали последние золотые. Это были на самом деле последние. Он припрятывал их исподволь, когда уже почти рухнуло все богатство. Он припрятал их ото всех. Было бы противно его естественным понятиям не припрятать сколько-нибудь ото всех, даже от святого духа. Он не сказал об этих золотых ни покойнице Валерии Ивановне, ни Лизе, ни своему духовнику, ни викарию, благословившему его в монашество. Он умолчал о них в финансовом отделе, хотя у него оледенела спина, когда Рагозин спросил, не осталось ли у него золота. Если бы человек был устроен так, что способен был бы утаивать свои поступки от самого себя, он и себе не сказал бы о своей банке из-под икры, чтобы в минуту слабости не посвятить в тайну кого-нибудь еще. Он держал эту отяжелевшую от золотых банку под своим ложем и унес ее с собой в подушке. Он туго набил между монетами ваты, чтобы они, кой грех, не звякнули. Он клал во сне щеку на эту банку, и жесть была ему мягче пуха, и золотые словно бы шептали ему, когда он дремал: мы — твои, мы — твои, мы — твои. И вот тайны не стало! Счет был кончен.

Да, счет был кончен. Дибич начал составлять акт. Кирилл вывел цифры огрызком карандаша на липовой доске стола, сделал умножение, сказал:

— Всего пять тысяч шестьсот сорок рублей. Правильно, гражданин Мешков?

— Нет,— ответил тихо Меркурий Авдеевич,— неправильно. Обсчет.

— Как обсчет?

— Обсчитались. Не надо было и высыпать. По кругу в банке умещалось девятнадцать монет. В высоту по тридцать десятирублевых, то есть в столбике триста рублей. Триста на девятнадцать получается ровно пять тысяч семьсот рублей, а не пять шестьсот сорок. Коли, понятно, шесть золотых не... потерялись куда во время операции.

— А, к черту! Шесть золотых! Извольте пересчитать сами! — крикнул Кирилл, темнея от приступившей к лицу краски.

Меркурий Авдеевич подсел ближе. Окинув взглядом аккуратно выстроенные столбушки денег, он поперхнулся и долго не мог откашляться. Потом заговорил будто с самим собой:

— Ежели б стол гладкий, нет ничего легче проверить — во всяком ли столбике по сто рублей. А то на щелях неровность. Воз-

вышение одних досок против опущения других. Вот столбик выдается, замечаете? Это он угодил на опущенную доску. А в нем между тем лишняя монетка. Вот еще. Разрешите просчитать?

— Просчитайте.

Мешков подвинул к себе столбик золота, нажал пальцами, и монеты с послушной трелью развернулись перед ним в цепочку. Он подставил горсть левой руки под край стола. Захватывая средним и указательным пальцами правой руки враз по две монеты, он начал скидывать деньги в горсть с такой игривой быстротой, что все застыли от удивленья.

— Одиннадцать,— сказал он и со звоном откинул в сторону лишнюю десятирублевку.

Он безошибочно отыскивал неверно сосчитанные столбики, изымал их, пересчитывал, отбрасывал лишние золотые, пока не набралось шести штук, недостающих до круглой сотни. Пальцы его словно помолодели.

— Скажи на милость,— не утерпел Никон, завороженный его виртуозной работой,— стрекочет, ровно кузнечик.

Точно очнувшись, Меркурий Авдеевич вскинул на Никона брови. Взгляд его совсем потерял свечение тихого восторга, с каким он вошел в избу. Зрачки были мутны, трезвый смысл будто отлетел от них в одно мгновенье.

Все смотрели на него молча. Он стал медленно отворачиваться от стола и вдруг задергал плечами, согнувшись над скамьей.

— Развезло,— сказал красноармеец,— жалко прощаться с игрушками-то...

— Верен счет или нет? — спросил Извеков, одергивая Мешкова резким, почти озлобленным голосом.

Всхлипнув, Меркурий Авдеевич отозвался едва слышно:

— Верен не по-вашему. Верен по-моему. Пятьдесят семь по сто. Как было. Как было, о господи!

Он обхватил голову, вздрагивая от плача.

Дибич проставил в акте сумму — пять тысяч семьсот рублей. Стали укладывать деньги в жестянку. Не ладилось, потому что надо было спешить — слишком много времени отняли все эти неожиданности. Дали подписать акт Мешкову. Он овладел собой и приложил руку к бумаге, не колеблясь.

Его выводили из избы, когда Кирилл задал еще вопрос:

— Раненого компаньона вашего вы по Саратову не знали?

Мешков остановился.

— Я ни за кого не ответчик, кроме себя.

— Каждый ответит за себя, разумеется. Но, думаю, вам зачтется, если вы его назовете.

Мешков помедлил немного.

— Он о себе не докладывал.

— Наверно, у него есть основания — не докладывать. Но я ведь не его спрашиваю, а вас.

Мешков опять помолчал.

— Он мне ни кум, ни сват,— вымолвил он все еще нерешительно.— Только зачем наговаривать? Ошибешься — согрешишь.

— А вы не ошибайтесь.

— Что ж, я правды не боюсь. Не знаю, какого он чина-звания. Похоже, будто раньше видал я его жандармским подполковником.

— Полотенцев?

— Полотенцев,— без раздумья подтвердил Меркурий Авдеевич и, опустив глаза, порывисто вышел за дверь.

Кирилл переглянулся с Дибичем.

Наконец выступили в поход. Солнце уже опускалось. Впереди отряда шли арестованные. В хвосте тянулась подвода, груженная волками. Собаки, ощетинившись, провожали ее истошным лаем далеко за околицу деревни.

Ипат маршировал подле верхоконных командира и комиссара. Он видел, что они неразговорчивы, и тоже помалкивал.

Дибич оглядывал окрестности свежим взглядом человека, давно не бывавшего в родных местах и за переменами угадывавшего памятные черты. По привычке юности, он мурлыкал под нос нехитрую песенку. С коня ему хорошо видна была дорога, как только расступался лес, и на лице его подолгу держалась задумчивая улыбка, если он узнавал какую-нибудь излучину холмистого пути. Было очень кудряво на этих холмах от буйного неклена, который любит склоны. Все чаще стали попадаться деревушки, и колеи ширились пыльными разъездами, указывая на близость города.

Кирилл с закрытыми глазами покачивался в седле. Его не клонило в сон, но не хотелось, чтобы с ним заговорили. Репьёвские события потеряли свою разительную краску, оттесненные внезапной и почти фантастической встречей с прошлым, совпадением двух встреч, каждая из которых уводила к былому и могла бы надолго поглотить все мысли. Но вместе с тем была какая-то настойчивая связь, пожалуй, зависимость между разоблачением Полотенцева, мешковским золотом, распластанной на дороге девушкой, ветром, шевелящим бумажные кружева поднятых над головами гробов, волком, кусающим себя в ляжку, расстрелянным Зубинским и убитым Шубниковым, прощенным дезертиром Никоном и философствующим об устройстве жизни Ипатом. Все это сплеталось туго, как лозняк в сырой корзине, и нельзя было остановиться на одной мысли, чтобы она не повлекла за собой другой

и третьей, как нельзя вытянуть из корзины одного прута, чтобы он не задел других. Кирилл видел, что за короткие эти дни он преодолел все препоны, которые воздвигались на его пути, и верно разрешил все испытания. Больше того, как никогда прежде, он был уверен, что одолеет гораздо более трудные препятствия, и воля его не согнется, может быть, ни перед чем на свете. Он спросил себя — доволен ли собой, и ответил, что должен быть доволен. И когда он ответил себе так, сейчас же возник новый вопрос: почему же ему грустно? И этот новый вопрос оставался без ответа, и он все повторял его, и все не мог вникнуть в него умом, а только чувствовал грусть. Не переставая, роились перед ним люди, которых он незадолго видел, судьбы которых решал, и он вновь проверял себя — безошибочно ли решал, и убеждался, что безошибочно. А грусть не проходила.

Он услышал жалобный вздох шагающего обок Ипата и открыл глаза.

— Что, Ипат,— спросил он с улыбкой,— иль загрустил?

— Во сне будет являться, как я за ним бежал! Истинный бог!

— За кем бежал?

— Да за матерым! Теперь, поди, издох где в буераке. Жалко шкуру... А все из-за этих окаянных, чтоб их рбзорвало!

Он со злостью погрозил кулаком на арестованных.

— Были б у нас награды, я бы тебя представил за этих окаянных,— сказал Кирилл.

— А мне матерый волк дороже наград. У меня в подсумке два «Егория» болтаются.

Он примолк на минуту, потом вскинул меткий взгляд, точно нацелившись разгадать мысли Кирилла.

— Вы мне грамоту выпишите, товарищ комиссар, что я имею заслугу перед рабочей крестьянской армией. Я в рамочку оправлю, на стенку вывешу в горнице. Пускай знают. (Он с хитринкой прищурился.) Да за волка еще с вас приходится. И с товарища командира тоже. На верные номера я вас поставил. Целое искусство!

— Возьми шкуру с моего волка, если уж дошло до расчета,— опять улыбнулся Кирилл и дернул повод, догоняя Дибича.

— Как самочувствие, Василий Данилыч?

— Превосходно! — сказал Дибич с таким движением всего тела, вдруг поднятого на стременах, что конь под ним сбился с шага и затанцевал, готовясь перейти на рысь.

— Видите перевал? — продолжал Дибич, указывая протянутой рукой на взгорье, накрытое густым багрово-сизым от заката лесом,— во-он сосны золотятся. Дальше будет с полверсты ложбина, потом холмы, и между ними в ущельях скиты староверов,

женский и мужской, по соседству. Еще немного податься к Волге, и начнется слобода. Так вот, в слободе...

— Что там?

— Моя хижина,— смутившись, негромко кончил Дибич.

Заговорив с ним, Извеков ожидал, что он непременно захочет подробно узнать — кто же такие Мешков и Полотенцев, и собирался рассказать о своем прошлом. Но Дибича, видно, совсем перестали занимать люди, которых вел конвой впереди отряда. Будь они ничем не связаны с судьбой Кирилла, безразличие Дибича не особенно задело бы его: бывший офицер согласился драться с врагами революции, нес свой долг добросовестно, и ждать от него чего-нибудь, кроме исполнительности, было бы нелепо. Но ведь в избе, показывая на высыпанные из банки деньги, Кирилл сам напросился сказать, как неожиданно много из прошлого объяснило ему мешковское золото. Пройдя мимо откровенности Кирилла, Дибич словно говорил, что личная жизнь — частное дело каждого, и это было черство и обидно.

— Значит, скоро Хвалынск?

— Рысью минут двадцать, не больше.

— Тут, наверно, тихо — к городу банды подойти не посмеют.

— Конечно, вряд ли кого встретим. Не знаю, как другие отряды. Наверно, тоже дойдут без стычек.

— Вы довольны?

— Чем особенно? Серьезного дела пока не видно.

— А вам хочется серьезного? Довольны, что пошли с нами?

— С красными? Мне хорошо с этими солдатами... вот с этими комиссарами.

Ямка на подбородке Дибича раздвинулась и почти совсем исчезла: он смотрел на Кирилла с любовной улыбкой.

— Я испытываю это больше как ощущение,— сказал он.— Ясно не могу объяснить, почему, собственно, хорошо. Например, философски мотивировать, что ли.

— Философия нынче — не абстракция, а деятельность. Вы разберитесь политически, как деятель. Тогда все станет на место.

— Да у меня, собственно, все на месте,— не переставая весело улыбаться, проговорил Дибич.— Я думаю, решил для себя все, как должно быть.

Кирилл не мог не ответить тоже весело: очень ему показался Дибич свободным и открытым в эту секунду.

— Рассказывайте! Просто счастливы, что добрались до дому.

— Пять лет! И каких лет! Подумать только! — воскликнул Дибич и тут же, робким, прозвучавшим юношески голосом, спросил: — Выберем с вами часок, Кирилл Николаевич, заглянем к моей матушке, а?

— Нет, что ж, зачем я буду мешать...

— Честное слово, не помешаете! Она у меня такая славная — вот увидите!

— Нет, я уж за вас покомандую, справлюсь как-нибудь, а вы...

Кирилл вгляделся пристальнее в растерянное от волнения лицо Дибича и неожиданно предложил:

— Хотите, поезжайте сейчас вперед, домой, а завтра явитесь, поутру? К тому времени, надеюсь, рота будет в сборе.

— Правда? — чуть ли не испуганно вырвалось у Дибича.

Он придержал лошадь и, сбоченясь в седле, наклонился к Извекову. Глаза его сияли, но он колебался — поверить ли тому, что слышал.

— Роту мне боитесь передать? — засмеялся Кирилл.— Если б вы из боя выбыли, я принял бы командование по уставу. А ведь боя нет. Езжайте. Придет случай — поеду я, останетесь вы. Кстати, за вами мой внеочередной отпуск. Помните, за немца? Я еще не использовал... Ну?!

И Кирилл протянул руку Дибичу.

Дибич скомандовал отряду остановиться и отдал приказание, что свои обязанности командира возлагает на комиссара, а сам вернется к ним из отлучки завтра, в городе, к восьми часам.

Он пожал руку Извекову, дважды сильно ударил коня шенкелями и, подпрыгивая в седле, крупной рысью обогнал отряд.

Он скоро свернул в лес. По глухой дороге, не убавляя рыси, а только все чаще кланяясь встречным ветвям, он перевалил гору, спустился в ложбину. Здесь было местами так просторно, что несколько раз Дибич пускал лошадь вскачь. Но когда он достиг холмов, дорога перешла в тропу. Неклен сплетался над ней сплошным низким сводом. Дибич спрыгнул с лошади и повел ее под уздцы.

С пологой высоты он различил в междухолмье раскинувшийся сад, затененный наступившим вечером. Два-три дымка виднелись среди яблонь. Это были самые уединенные кельи скитов. Сюда в давние-давние годы забредал Дибич с маленькими своими приятелями ловить певчих птиц.

Он шел быстрее и быстрее, разминая усталые от седла ноги. Ветви бурно зашумели в нескольких шагах впереди него и стихли. Лошадь вздрогнула, испуганно потянула повод назад. Дибич расстегнул кобуру револьвера. Ему послышался короткий болезненно-неприятный звук, и вслед за тем лес повернулся вокруг него каруселью, сонно качаясь. «Не может быть!» — хотел крикнуть Дибич, но голос уже не повиновался ему...

...В тот же момент сквозь листву он увидел над собой набирающего высоту ястреба. Бесшумно взмахивая черневшими снизу огромными треуголками крыльев и накренив маленькую головку, птица косила на тропу яркой пуговицей глаза. Пройдя немного, Дибич заметил под ногами разлетевшийся пух, потом ворох крупных перьев, по рябизне рисунка которых узнал тетерку. В другое время он, наверно, остановился бы и поискал в кустах растерзанную жертву, но сейчас он даже не убавил шага. Мелькнуло только в памяти, что когда-то он уже видел на этой тропе такого же ястреба, разорвавшего тетерку...

Он вышел из зарослей неклена, вскочил в седло и без оглядки миновал разбросанные кельи и притулившуюся в низине церковку скитов. На виду слободы он погнал лошадь под гору в карьер.

В конце длинного порядка одинаковых тесовых флигелей с палисадниками высился серебристый тополь. По-прежнему вытянутым нижним суком он прикрывал конек светло покрашенного дома.

Дибич осадил лошадь. Сердце его больно стучало, будто он пробежал всю дорогу, не передохнув. Он решил не подъезжать к дому и привязал лошадь у соседнего палисадника.

Калитка стояла настежь. Он ступил во двор. Виноград наглухо обвил террасу перед дверью, которая звалась парадной, и взобрался на крышу. Жидкий дым винтом подымался из трубы. Вишни разрослись на весь двор, их запущенные безлиственные ветки отвисали до земли. Деревянный настил дорожки прогнил и уже не скрипел, как прежде. Колодец припал набок. В собачьей будке валялась фарфоровая барыня с отбитыми руками.

Дибич тихо вошел в дом. В кухне на полу стоял самовар. В жестяной трубе, воткнутой в печную отдушину, свистел огонь разожженной лучины, и сквозь прогоревшие дырки оранжевым кружевом высвечивало пламя. Все казалось уросшим, игрушечным под этой кровлей, и когда Дибич входил в комнату, которую — как помнил себя — именовал «залом», он пригнул голову. Вещи были знакомы и близки, но каждую приходилось узнавать вновь: налет престарелости покрывал весь дом, как пепел — отгоревший костер.

На комоде зажжен был ночник. Раньше эту крошечную лампочку мать ставила у своей постели. Дибич заглянул в спальню. Старое плетеное покрывало отчетливо белело на кровати. Он вернулся в зал, подвинул ночник к фотографиям.

Он увидел себя с необыкновенно гладким лицом, в студенческой форме, с папиросой между кончиков пальцев. В плену он отучился курить. Студенческая форма осталась у московской квартирохозяйки. Тысячелетия легли между нынешним Дибичем и мальчиком с папиросой. Напротив стояла неизвестная фотография се-

стры об руку с надутым человеком, чрезвычайно похожим на Пастухова.

В кухне раздалось шарканье. Дибич обернулся. Грудь его была сжата никогда не испытанной болью. Через дверь, раздвинув бордовую занавеску с помпонами по бортам, на него смотрела очень маленькая женщина. Она не испугалась, а только удивленно вытянула голову, и Дибич узнал в ней свою московскую домохозяйку, которой оставил студенческую форму, уходя в школу прапорщиков.

— Никак, сынок вернулся. Васенька? — спросила женщина, все еще держа раздвинутой занавеску, на которой дрожали помпоны.

— Где же мама? — мучительно выговорил Дибич.

— Ты разве не видался с ней, голубчик?

— Где? Где я мог с ней видаться?

— Она, как получила твое письмо, что ты в лазарете, в Саратове, так и принялась к тебе собираться. Да все никак не могла попасть на пароход. Вот только неделя, как уехала с подводами.

— Почему же она меня не дождалась?

— Она, милый мой, устала тебя дожидаться.

— А сестра?

— Сестрица давно замужем.

— За этим? — спросил Дибич, показывая на фотографию.

— За этим. Пастуховы-то ведь тоже хвалынские.

Дибич увидел недовольного Пастухова, который высился во весь рост об руку с неповторимо прекрасной своей женой, улыбавшейся светло и чуть виновато.

— Это не моя сестра. Это — Ася. Вы обманываете меня.

— Зачем обманывать, родной мой? Вот и тужурка твоя студенческая, на-ка, примерь.

— Вы лжете, лжете! — крикнул с невыносимой болью Дибич.— Мама! Где ты?!

— А ты не кричи. Ты лучше скажи мне, а я передам твоей матушке, давно ль ее Васенька пошел служить в Красную Армию?

Он хотел кинуться на женщину, чтобы столкнуть ее с дороги, но она вдруг спряталась, сомкнув перед своим носом борты занавески. Притаившись, она выглядывала в щелку одним глазом, и помпоны мелко тряслись от ее неслышного хихиканья.

Дибич выпрыгнул через окно на террасу, прорвал путаный переплет винограда и бросился прочь со двора.

Он отвязал коня и перекинул повод. Улица была темной, но прозрачной, точно отлитая из бутылочного стекла. Едва он вставил ногу в стремя, как лошадь рванулась и помчала. Он все не мог сесть и тщетно отталкивался правой ногой от земли и чувствовал,

как немеют руки, и седло, в которое он вцепился, сползает на бок лошади, и огненный встречный ветер душит, душит нестерпимо.

— Нет, нет, война не кончилась, Извеков ждет. Я сейчас, сейчас! — шептал он сквозь зубы, в ужасе ожидая, что вот-вот расцепятся руки и он выпустит седло — тело его уже волочилось по земле.

Потом пальцы слабо разжались, он оторвался, упал, и конь ударил его задними копытами по груди с такой чудовищной силой, что он пришел в себя...

Он лежал один на тропе, под густым прикрытием неклена. Лошади не было. Он вгляделся в просвет неба и подумал, что ястреб улетел. В тот же миг режущая боль словно расплющила его грудь, и он застонал:

— О, бред... все бред... Бан-диты!..

Он ощупал себя клейкой ладонью. Кобура револьвера была пуста. Он пополз, задыхаясь, по тропе и достиг склона. От бессилия он перевернулся, и голова его очутилась ниже ног. Мелкая галька, шурша, посыпалась из-под него по склону. Он увидел опрокинутый, словно в зеркальном отражении, огромный яблоневый сад с крошечными разбросанными избами и признал скит. В давние-давние годы ловил он где-то здесь с приятелями певчих птиц.

— Мама! — успел он прохрипеть.— Боже мой, мама!

Кровь хлынула у него горлом. Захлебнувшись, он опять потерял сознание.

29

— Весьма благодарен за доверие и честь,— сказал Пастухов со своей гипсовой улыбкой,— но я в городе человек случайный, и мое участие в таком представительном деле будет мало уместно.

— Помилуйте, Александр Владимирович,— на проникновенной ноте возразил человек, прической и бородой напоминавший те светлые личности, некрологи которых печатала «Нива».— Помилуйте!

Двое других лидеров общественности города Козлова, явившиеся к Пастухову с просьбой, чтобы он вошел в депутацию к генералу Мамонтову, протестующе пожали плечами.

— Вы, Александр Владимирович, не только для нашего города, вы для всей цивилизованной России человек не случайный.

— Поверьте! — задушевно поддержал человек из некрологов.— Имя ваше знает и офицерство. Прогрессивный слой нашего офицерства безусловно! И, может быть, ваше имя в самом гене-

раде пробудит лучшую часть души, которая у него, под давлением военных обстоятельств, если позволено выразиться, находится в дремотном виде.

— Которую генерал в своем освободительном походе, во всяком случае, недостаточно обнаружил,— добавил другой лидер ядовито.

— И на которую нам единственно остается уповать,— сказал третий со вздохом.— Так что мы вас просим и прямо-таки увещеваем не отказываться!

Пастухов выжидательно помигал на Асю.

Она сидела тут же, в этой комнате с балконом на пыльную площадь. Как всегда, когда она бывала сильно возбуждена, лицо ее сделалось покоряюще красиво с его нарядным взором: приподнятые ресницы словно круче изогнулись, и веки были тоненько смочены кристальной слезой.

Все четверо мужчин стояли, окружая ее, в почтительном ожидании.

— Я думаю, Саша, если можно принести пользу... хотя бы минимальную пользу! Ведь это же кошмар — что творят эти страшные люди! Пусть хоть генерал... хоть кто-нибудь остановит их!

— Они вламываются в спальни,— вырвалось у светлой личности,— тащат даже просто... белье!

— Но только, господа! Возглавлять депутацию я ни в коем случае не могу согласиться,— сказал Пастухов с отклоняющим мановением рук.

— Нет, нет! Александр Владимирович! Возглавлять будет известнейший у нас педагог. И тоже, обратите внимание, сперва не соглашался. Но — гражданские чувства! Вас же мы просим быть в числе депутации. Только в числе! Только поддержать!

— В общей куче, хорошо, я согласен,— снисходительно пошутил Пастухов.

Все улыбнулись ему благодарно, но он снова похолодел.

— И потом, господа, никаких адресов. Я против. Ничего письменного. Без слезниц и восклицательных знаков.

— Нет, нет! Исключительно на словах. Настойчивая... мы сказали бы — не правда ли, господа? — не просьба, а категорическое требование: оградить наш город и мирное население от разнузданных грабежей. Немедленно пресечь!

— И потом, эти насилия! — брезгливо сказала Ася, приложив к виску руку с оттопыренным мизинчиком.

— Я не возражаю,— повторил Пастухов.

— Вы, Александр Владимирович, пожалуйста, будьте готовы. Сейчас же, как генерал согласится принять, мы вас известим.

Визитеры стали раскланиваться, но самый молодой из них,

тот, что ядовито заметил об освободительном походе генерала, задержался:

— Позвольте, на минутку?.. по личному вопросу...

— Я провожу,— сказала Ася, выходя в переднюю и оставляя мужа наедине с молодым человеком, который подождал, когда затворится дверь, и нервно помялся.

— У вас, может быть... стихи? Вы сочиняете? — сочувственно спросил Пастухов.

— Нисколько! Хотя вообще в газетной области — да. Меня тоже уговорили войти в состав депутации. Но, откровенно, хотелось бы знать ваше мнение насчет того, как вы думаете поступить в случае... если они вернутся?

— Большевики?

— Именно.

Пастухов наблюдал предусмотрительного человека беззастенчиво, как особь, подлежащую исследованию. У особи были разные уши, одно — маленькое, другое — огромное, с оттянутой книзу и приросшей мочкой, будто созданное нарочно, чтобы внимать, и Пастухову пришло на ум новое слово: «Ишь слухарь!»

— Очень может произойти, что все это задержится у нас не дольше, чем в Тамбове. В виде набега. И кроме временного управления, не будет учреждено никакой власти. А потом придут *они*.

— Вы допускаете?

— Очень. Придут и узнают, что мы с вами ходили к генералу.

— Но ведь это в интересах всей массы населения,— попробовал найти оправдание Пастухов, отвлекаясь от рассматривания особи.

— Э, знаете, доказывай там! Масса!

Пастухов утер лицо ладонью, смывая печать озабоченности, и выпалил мгновенно осенившее его открытие.

— Знаете, что очень было бы оригинально? Спрятаться в сумасшедший дом. Да! Купить себе мешок муки и спрятаться. Мешка хватит надолго. Непременно, непременно спрятаться у сумасшедших! — стал повторять он, будто и правда проникаясь верой в неотразимость своей идеи.

— Вы это советуете мне или сделаете сами?

Пастухов основательно потряс гостю руку, выпроводил его и неслышно засмеялся.

— Какой подлец! — проговорил он тихо.

Он вышел на балкон.

По другой стороне площади вдоль кирпичного фасада былого коммерческого училища, поднимая пыль, цепью мчалась кавалькада казаков с тюками, перекинутыми позади седел. Верховые взмахивали плетьми, удальски свистели и гикали. Кое-кто из них

бережно придерживал прыгающие на конских крупах узлы добычи. У одного раскатался кусок украденного ситца, и ярко-голубая длинная лента змеилась позади лошади.

— Саша, Саша! Ты не в своем уме! — воскликнула Ася, вбегая и бросаясь затворять балконную дверь.— Ведь они могут выстрелить! На самом виду!

— Черт знает на что это похоже! — с отвращением сказал Александр Владимирович, принимаясь ходить по комнате...

С того часа, когда в город ворвались мамонтовцы и начались грабежи, ему было жутко и в то же время до странности любопытно — какая перемена предстоит для него с семьей? Волнующее ожидание непредвосхитимого напоминало ему состояние детей в канун елки, но страх преобладал над любопытством, потому что Пастухов знал, что кровь льется ручьем и ручей все ближе подбирается к его новому пристанищу.

Дом, где Пастуховы проживали вторую неделю, принадлежал не слишком заметному торговому человеку, сын которого состоял директором городского театра. Мысль обратиться за помощью к театру принадлежала Анастасии Германовне и оправдала себя: директор знал драматурга по имени, его самолюбию было приятно сделать Пастуховым одолжение, и в результате они устроились в двух недурных комнатах неподалеку от главной улицы.

Они начали привыкать к довольно размеренной жизни, понимая, что благополучие так же недолговечно, как нечаянно, и все-таки с удовольствием пользуясь им и закрывая глаза на будущее. Пребывание здесь было столь же случайно, как в Саратове, но случайность тяготила теперь меньше в силу того, что одним этапом меньше оставалось до непременной окончательной развязки, в которую нельзя было не верить.

Алеше на новом месте нравилось не так, как у Дорогомилова, и он скучал. Не чувствуя в установленном житейском порядке что-нибудь непреложное, Алеша, как все дети, принимал случайность за такую же закономерность, как порядок. Ему казалось, что папа и мама поехали на Волгу, в Саратов, потому что надо было пожить у Дорогомилова, а затем не сразу попали к дедушке с бабушкой, потому что сначала надо пожить в Козлове, у директора театра. Алеше интереснее было играть в саду у Арсения Романовича, чем на дворе у директора театра, но он воспринимал свою игру в Саратове и в Козлове, как нечто одинаково естественное, однородное с прежними его играми в Петербурге. С ним рядом находились Ольга Адамовна и папа с мамой, его кормили, мыли в тазу или в корыте, ему стригли ногти и делали замечания,— значит, жизнь, раз начавшись, продолжалась неизменно, иногда веселее, иногда скучнее, но никаких случайностей в себе не содер-

жала, а являлась именно жизнью, установленной в меру своих законов.

Для Александра Владимировича с Асей жизнь последних двух лет состояла исключительно из нарушений закономерности безостановочными отступлениями от порядка. Одну случайность они считали терпимой, другую принимали за муку. Но даже то, что Алешу приходилось купать не в ванне, а в тазу или в корыте, являлось для них крушением непреложного порядка.

Оба они хорошо знали, что для облегчения жизни полезно отыскивать в ней смешные стороны. И они старались шутить.

Никто из них не живал прежде в этих краях. Тамбов знаком им был по лермонтовской «Казначейше», и они соединяли его с «Госпожой Курдюковой» Мятлева. Козлов, в их представлении, уже тем воспроизводил тамбовский колорит, что славился конскими ярмарками. Ася, обладая памятью на стихи, очень к месту прочитывала слабоумные излияния мадам Курдюковой, и Пастухов с хохотом повторял их:

Мне явились, как во сне,
Те боскеты, те приюты,
Роковые те минуты,
Где впервые Курдюков
Объявил мне про любовь.

Раз, сидя на балконе и наслаждаясь мертвым сном уездного города, они отдавались тому умиротворенному течению мыслей, какое приходит звездной ночью, когда воспоминания сливаются с надеждами и неясно, надо ли строить расчеты на новое будущее или принять настоящее, как полное счастье.

— Упала звезда,— сказала Ася.— Ты что-нибудь задумал?

— Нет, ничего. А ты?

— Я тоже ничего. Я всегда не успеваю.

Они долго молчали.

— Пыль наконец села,— сказал Пастухов.— Слышишь, что-то похожее на запах пионов? В народе их зовут — марьин корень. Неужели еще доцветают где-нибудь?

— Да, правда,— солгала Ася.— Хотя для пионов слишком поздно.

— Странный аромат. Одновременно — розы и взмыленной лошади.

— У тебя странное чутье. Ты всегда разлагаешь запах на прекрасное и гадкое.

— Беру в сочетании, а не разлагаю. Запах неразделен, как чувство. Кто хочет разделить чувство на составные части — либо теряет его, либо лишен его от природы. Чувство всегда — хорошее и плохое вместе. Отдели от пиона розу или взмыленную лошадь — и не будет пиона.

— У меня нет ничего плохого в чувстве к тебе.

Он погладил ее колено.

— Ты женщина физическая. Преимущественно. Тебе присущи раньше всего свойства. Как звездам. У них нет качеств. Они ни плохие, ни хорошие.

Он засмеялся.

— Господи, какую я несу чушь!

Потянувшись к ней, он сонливо поцеловал ее в оба глаза.

Они опять долго не шевелились, потом Ася сказала так, будто разговор не прекращался.

— Знаешь, ведь это тоже — Мятлева: «Как хороши, как свежи были розы».

— Подумать, что он соблазнил Тургенева! Как у него дальше?

Она прочитала:

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду. Как взор прельщали мой.
Как я молил осенние морозы
Не трогать их холодною рукой.

— Что это была за жизнь? — изумилась она.— Как люди должны были жить и что были за люди, чтобы могло появиться такое стихотворение?

— С такими рифмами! — сказал Пастухов.— Если бы эти розы всерьез продекламировал конферансье Гибшман — «Бродячая собака» полегла бы костьми от хохота.

— Нераздельное чувство! — вздохнула Ася.— Ваша «Собака» все рвет на куски. И каждый озирается на нее из боязни быть высмеянным. Искусству не осталось ни одного цельного переживания. Для него смешно, что мы смотрим на звезды. Смешно, что вспоминаем стихи Мятлева. Смешно, что любим друг друга. Для него все смешно.

Он усмехнулся, ничего не ответив. Барабаня ногтями по чугунной решетке балкона, он будто предлагал оставить разговор неоконченным. Но заговорил снова.

— Мне ни разу не удалось додумать до конца — что же такое искусство? Всю жизнь им занимаюсь — и не знаю, что это такое. Ради удобства считаю, что мне все ясно. Иначе ничего не создашь. Поймешь до конца — захочешь делать безупречно. Но безупречного искусства не бывало. Оно больше, чем наука, чем всякий иной идеальный мир, делает петли, ошибается.

— Ошибайся, мой друг. Ты ошибаешься прекрасно...

Они расслышали топот бегущего человека. Звук приближался издалека, от собора, высокой тенью раздвоившего небосклон, переместился на площадь, стал громче, и они одновременно различили в свете звезд темную фигуру, стремившуюся прямо к дому.

— Почему он бежит? Уйдем,— шепотом сказала Ася.

— Погоди. Может, его ограбили?

Но они все-таки ушли с балкона и продолжали слушать из комнаты. Взвизгнул блок калитки, застонала от стука дверь.

— Где спички? Это к нам,— сказал Пастухов, обшаривая стол.

Они не успели зажечь лампу.

Прижимая руки к сердцу, к ним наверх взбежал их молодой покровитель — директор театра.

— Идемте вниз! К папаше! Скажу всем сразу!

Он задыхался. На лестнице он не утерпел — новость распирала его и вырвалась одним паническим словом:

— Белые!

Александр Владимирович обжег пальцы догоревшей спичкой. Остановились в темноте.

— Идемте, идемте! — торопил директор.

Внизу он прикрыл щели на окнах шторами, заставил всех сесть. Его мать — медлительная, глуховатая женщина — непонимающе беспокойно ждала, что же должно последовать. Папаша, в жилетке и с засученными манжетами, переплетя пальцы, водрузил руки на толстый том иллюстрированного журнала. Он смотрел картинки и остановился на изображении библиотеки румынской королевы Елизаветы — Кармен Сильвы.

— В Тамбове донцы! Дорога перерезана! — возгласил мрачный вестник, найдя законченными несколько театральные приготовления.

Он рассказал затем, что один актер удрал из Тамбова на маневровом паровозе, которому удалось, рискуя столкновением, проскочить по левой колее, когда в городе уже хозяйничали кавалеристы корпуса Мамонтова. Перерезанный участок дороги беглец объехал на крестьянском возу, а потом сел на товарный поезд. Казаки с хода в карьер принялись за погромы. Большевиков ловят и вешают на телефонных столбах. По деревням крестьян истязают, как во времена Салтычихи. Всюду пожары, и мамонтовцы не дают тушить.

— Да они кто? — спросила мамаша.

— Белые.

— Да им словно бы и неоткуда взяться.

— Генерал привел. Белогвардейский генерал!

— Ах, генерал! — сказала мамаша и перекрестилась (Пастухов не понял — от испуга или с благодарностью).— И чего народ мечется, как флаг на бане? — посмотрела она на мужа.

— Наше дело тихое. Мы в стороне,— сказал папаша, не поднимая глаз.

— Они могут очутиться у нас завтра. Конница,— сказал сын.

— Очень вероятно, что — конец? — несмело выговорила разрумянившаяся Анастасия Германовна.

— Чему конец?.. Все через ученых! Вон сколько книг-то,— сказал папаша, мотнув головой на библиотеку Кармен Сильвы.

Пастухов косвенно мог отнести этот жест на свой счет. Осаниваясь и тоже опуская глаза, он ответил:

— Не книги повинны в варварстве. Не ученые порют мужиков. Разум не отвечает за бессмыслие. Но вы правы в том отношении, что мы в стороне. Нам остается спокойно ждать событий.

Он поднялся. Больше обычного проступившая в нем статность была даже величественной. Афоризмы понравились ему самому.

— Если можно ждать спокойно,— дополнила их Ася и поднялась вслед за мужем.

— Что ж не посидите? Я подогрею самоварчик,— сказала мамаша, утирая пальцами губы и медленно поворачиваясь на стуле (глухота облегчала ей вопросы жизни уже тем, что уменьшала их число).

Но Пастуховы пошли к себе. До зари они не ложились в постель, рассуждая о предстоящем, поочередно успокаивая и волнуя друг друга. Только один раз Ася пошутила, выглянув на балкон, когда рассветало:

— Запах, который ты принял за пионы, сложнее, чем тебе казалось, Саша. В нем есть что-то от пороха.

— Ну, насчет лошадей-то я, во всяком случае, прав: пахло казаками.

. . . .

Если вглядеться, каким представлялся набег Мамонтова рядовому козловскому обитателю, который сначала по слухам узнал о внезапном захвате Тамбова белыми, а потом воочию увидел захватчиков у себя на улицах, то раскроется необычная картина.

Эти города с момента установления советского строя не знали никакой иной власти. Юг, изобиловавший сменами всевозможных мимолетных правителей, был отсюда далеко, фронт, казалось, обеспечивал прочность зачинавшейся новой жизни. Губерния коренная русская, притом не окраинная, а примыкающая к центральным, она — естественно — и в глазах своего населения составляла часть самой основы государства, его национально спаянного ядра, то есть именно России, установившей Советы и за них боровшейся.

Весть о падении Тамбова свалилась как снег на голову. Первый момент в Козлове вообще никто ничего не понимал — ни гражданские власти, ни рабочий люд, ни обыватели. Как мог вдруг

очутиться целый корпус белых за двести пятьдесят верст от фронта, отрезав одним махом дороги на Саратов и на Балашов? Был ли дан бой, и где, и когда, и почему он проигран?

День спустя из Тамбова прорвался поток известий, но поток мутный: страшные новости по-прежнему ничего не объясняли, а только поражали.

Штаб Тамбовского укрепленного района оказался первым распространителем слухов о безнадежном положении города. Сам комендант открыто говорил, что на Тамбов наступают двадцать полков противника. Обороны на подступах к городу создано не было, подготовка к уличным боям не велась. Однако и приказа об отступлении не издали. Это внесло в части гарнизона расстройство и посеяло в умах чудовищную неразбериху.

За день до прихода мамонтовцев ранним утром автомобили и телеги столпились у железнодорожных пакгаузов и на товарных дворах. Грузили все, что нужно и что не нужно, вплоть до ломаных стульев и шкафов учреждений. Вскоре обозы потянулись в два ряда, и населению предстало зрелище бегства. В городе вспыхнула паника. Начальник броневого отряда, решив своим разумением, что паника должна быть подавлена, открыл пулеметную стрельбу по домам Советской улицы, а затем самовольно отошел с броневиком из Тамбова на Моршанск.

На станцию ворвались казаки. Курсанты пехотной школы начали с ними перестрелку. Она не могла принести ощутимого результата. Тамбов пал. Гибли отстреливавшиеся до последнего патрона не снятые с постов красноармейцы. Гибли в одиночку сопротивлявшиеся коммунисты.

Не прекращая марша, корпус Мамонтова взял западное направление и пошел на Козлов.

Это — главное, что узнали козловцы в первое время после падения своего центра — своей «губернии».

Городские власти Козлова пытались организовать сопротивление. Они заверяли, будто считают, что сил достаточно. Бригада большевиков с артиллерией была выслана на позиции верстах в тридцати от города. Около станции Никифоровка появились разъезды донцов. Бригада завязала перестрелку.

Но в то же время власти колебались, ожидая указаний — «как поступить?». Сообщения их были полны противоречий, действия растерянны. Они эвакуировали в Москву банк, но не решались эвакуировать до сотни вагонов ценных грузов. Они запрашивали — «следует ли эвакуировать отделы Совета, куда и какие?». И в том же запросе утверждали: «Что же касается отделов и их служащих, то, разумеется, они будут работать до последнего момента». Они доносили, что «все коммунисты и местные силы мобилизованы и

находятся на позиции». Но тут же автор этого донесения признавался, что никто, собственно, не знал, на каких позициях следовало находиться. «Говорить об устойчивости сейчас не приходится лишь потому, что, к несчастью, наша разведка не может точно установить, где, в каком количестве оперирует противник, с какой приблизительно силой он наступает на Козлов, все это у нас неизвестно... Прошу сообщить о положении Моршанска, так как мы имеем сведения, что противник часть своих сил направил на Моршанск и Ряжск».

Устойчивости не было не только из-за негодной разведки. Тревогу вселял не только противник. Ее причины лежали еще и по эту сторону позиций.

Дело заключалось в том, что на все обращения к отделу штаба Революционного Военного совета Республики — как обстоит с обороной Козлова, есть ли надежда, что он не будет сдан — город не получал никакого ответа. Отдел штаба стоял уже на колесах, предварительно эвакуировав свое имущество и готовый сняться, а штаб Южного фронта выбыл из Козлова сразу после возникновения угрозы городу и находился уже в Серпухове. Жители так же, как власти, все это знали, все видели своими глазами.

Трудно было городу в таких обстоятельствах рассчитывать на устойчивость. Он пал на пятый день после захвата Тамбова.

Немедленно покровительством Мамонтова была учреждена газета.

Играя в «демократа», генерал разрешил ей называться довольно гротескно и для демократа — «Черноземная мысль». На вторые сутки она оповестила население особым бюллетенем о событии: «...после трехдневного сопротивления казакам красноармейцы и коммунисты оставили Козлов. В город вошли донские казачьи полки генерала Деникина, с генералом Мамонтовым во главе командного состава. Коммунисты большей частью перебиты, красноармейцы сдались, частью разбежались, а остальные преследуются казаками...»

Для козловцев к этому времени вступление Мамонтова в город представлялось уже давностью. Они могли только вспоминать, как накануне, около трех часов пополудни, из-за реки Воронеж и с Турмасовского поля донесся топот передовых эскадронов; как ровно в три на Ямской улице появился, окруженный свитой, сам белый генерал, не слишком твердо держась в седле после походного завтрака; как молча и недвижно стоял народ перед своими домами; как на перекрестке выскочили вперед мещаночки с цветами, и бородатый казак, приняв букет, вез его в вытянутой руке, точно боясь обжечься; как ввечеру особенно внушительно звонили церкви.

Все это отошло в воспоминание. Потому что когда «Черноземная мысль» расклеивала по заборам свой бюллетень, другие события совершались в Козлове, другие картины возникали на его улицах.

Громили еврейские квартиры, громили склады и магазины. Мелкий люд выставил на окнах иконы — в ограждение от казачьих банд. Над пойманными евреями измывались, потом зарубали их шашками. С убитых стаскивали окровавленную одежду. Трупы волочили во дворы, охраняемые конными,— чтобы народ не глазел, не вел счета замученным.

Выискивали, тащили всякое добро. Выкатывали из подвалов бочки с вином и медом, взламывали их, пили и ели, кормили медом с лопат лошадей. Разъезжая, торговали с седел мануфактурой. Очищали от денег кассы. Уводили с конюшен лошадей.

Станция дрожала от взрывов. Взлетела в воздух вокзальная вышка. Рухнули мосты. Покатились под откос пущенные друг на друга паровозы. Зачадили подожженные поезда. Двинулись по путям специальные команды — сокрушать стрелки.

В городском саду играл казачий оркестр. Барышни вышли гулять с мамонтовцами. Появились чиновники в жеваных сюртуках — только что из сундуков. За собором, под откосом, тюкали плотничьи топоры — тюк... тюк: тесались брусья под виселицы.

Мамонтов принимал своих командиров дивизий — генерала Постовского, генерала Толкушкина, генерала Кучерова. Утверждал членов временного городского управления. Подписывал приказы о мобилизации лошадей, об устроении милиции из горожан, о введении для нее белых нарукавных повязок. Рассматривал золотую церковную утварь, драгоценные оклады с икон, награбленные по церквам, и указывал — что в обоз, что к себе в личный багаж.

На главной улице состоялся смотр частям корпуса. Промчались на рысях эскадрон за эскадроном, протарахтели пушки, продымили бронеавтомобили, грузовики с пулеметами, прошел церемониальным маршем пеший отряд казаков.

Мамонтов принимал парад на коне. Он сидел, нахлобучив на глаза фуражку с красным околышем, в синей шинели и огромных черных рукавицах, расшитых золотом по тыльной стороне. Он держал поводья так, чтобы шитье рукавиц всем было видно. Он подчас взглядывал свысока на толпу, резко отворачивался, приподнимался в стременах и черным кулаком недовольно вскалкивал кверху усы: толпа не проявляла восхищения.

Таким воочию увидел козловский обитатель набег мамонтовцев на родной город, и только из этого личного видения и знания мог тогда исходить в своем понимании события...

Если рассмотреть набег Мамонтова на основе знаний о событии, накопленных после того, как оно совершилось, то значение набега в ходе гражданской войны проглянет яснее.

Уходя из Козлова, Мамонтов отстоял на площади молебен с колокольным звоном и заявил обступившим его после богослужения облаченным в ризы попам, что сейчас он идет на Москву — «спасать столицу от красной заразы».

Движение, взятое корпусом после захвата Козлова, давало основание допустить, что если Мамонтов и не мог отважиться на бессмысленную попытку рейда на Москву, то намерение попугать таким рейдом у него, конечно, было. Корпус пошел в район Раненбурга, к дорогам, указывавшим направление на Павелец и Тулу.

Мамонтов пугнул рейдом на Москву вполне сознательно. Он не только хвастал, но и хитрил. Он хорошо знал свои преимущества. Они заключались в коннице, способной к самым внезапным изменениям направлений и — значит — в том, что корпус имел возможность произвольно избирать в жертву наименее защищенные города с малочисленными, слабо вооруженными гарнизонами, предназначенными для местной охраны. Безнаказанно углублять свое движение к центру Мамонтову мешали два фактора: время, с течением которого должна была улучшиться организация обороны против налетчиков, и массовость рабочих сил примосковных промышленных районов, с красным арсеналом пролетариата во главе — Тулой. Мамонтов заранее знал о ближайшей *неизбежности* поворота назад к югу, на соединение с белым фронтом. Тем более ему надо было демонстрировать движение на север, к центру, чтобы затруднить разгадку своей тактики и ослабить сопротивление там, куда он в действительности метил проникнуть.

Свое демонстративное движение к северо-западу он быстро сменил поворотом на юго-запад. После Раненбурга был совершен набег на Лебедянь и на Елец. Затем направление рейда было резко изменено на юго-восточное, и мамонтовцы покатились через Задонск большим трактом на Воронеж.

Сопротивление советских городов на пути рейда донцов не ослаблялось, а возрастало. Самое беспомощное в начале рейда, при захвате Тамбова, оно оказалось настолько внушительным к концу, что мамонтовцы уже не могли полностью овладеть Воронежем, продержались в городе лишь одни сутки и, потерпев поражение, отступили. Боями у Воронежа закончился последний этап рейда. Мамонтов повел корпус назад, и этим исчерпались бы результаты его рейда, если бы Деникин не выдвинул, специально для содействия донцам, третий конный корпус чернознаменного генерал-лейтенанта Шкуро, который две недели спустя и ворвался в Воронеж доделывать то, что не удалось Мамонтову.

Почему одни города оказывали сопротивление мамонтовцам, другие были сданы без боя?

Первоначальный успех Мамонтова основан не на одной внезапности налета. Ему способствовала измена.

Командование Южного фронта почти игнорировало существовавшее указание — создать надежные укрепленные районы в стратегически важных пунктах своего тыла. Оборона Тамбова, Ельца была совсем не налажена. Действовала разведка белых. Ей было известно, что, например, в военных частях и учреждениях Тамбова деникинцы встретят необходимых им предателей.

Когда курсанты пехотной школы взялись поутру отстаивать тамбовский вокзал, казаки кричали им с уверенностью: «Все равно вам нечем стрелять! Сдавайтесь!» Они были правы: еще ночью бывшие офицеры сняли с орудий замки и во главе с командиром дивизиона ушли к мамонтовцам. Оперативная часть укрепленного района была вверена командиру Отдельной стрелковой бригады, который немедленно перебежал на сторону белых. Начальник броневого отряда, вместо того чтобы искать встречи с противником, обстреливал город под видом наведения порядка. Сам комендант района пустил панический слух, что на Тамбов идут двадцать полков белых, тогда как в действительности к Тамбову подступали две с половиной тысячи сабель, то есть всего три полка. Однако город был сдан без боя.

Лебедянь узнала о захвате Тамбова лишь на третий день, и так же, как Козлов,— по смутным слухам. Город сделал попытку обороняться. Ему помог Раненбург пешими и конными отрядами. Однако все эти попытки обороны предпринимались местными силами без содействия штаба Южного фронта, покинувшего Козлов, едва возникла для города угроза. Тамбовские организации впоследствии откровенно заявили, что «многие разумные распоряжения укрепленного района наталкивались на невероятное сопротивление со стороны командования Южного фронта».

Измена была прощупана, подготовлена белыми и сослужила им пользу. Они опирались на нее, как на подсобную силу, действовавшую против Советов и в поддержку успеха Мамонтова.

Но с течением времени действие основных преимуществ мамонтовского маневра уменьшалось. Ослаблялся фактор внезапности: близлежащие города уже энергично готовились к возможной встрече с казаками. Увеличивалась бдительность местных властей против вероятных измен.

Кроме того, начинали действовать иные факторы, служившие на пользу советской обороне и во вред мамонтовцам.

Первым из этих факторов было разложение среди частей донского корпуса, наступившее быстро и возраставшее непрестанно.

Погромы и грабежи разнуздали мамонтовцев настолько, что казаки перестали внимать приказам Мамонтова уже в Козлове, где за его подписью был издан бесплодный запрет грабить население. Считать этот запрет лишь выражением лицемерия Мамонтова нельзя: он сам грабил, но в то же время видел, что его войско предпочитает рвению в боях старательность в поживе. Дивизии гнали с собой обозы награбленного добра, занимавшие на дорогах больше места, чем воинский состав. Разложение круто понизило боеспособность всего корпуса.

Другой фактор, препятствовавший развитию успеха мамонтовцев, состоял во враждебности советского населения. Расчет на сочувствие крестьянства принес Мамонтову разочарование. Крестьяне не поддержали казаков, а истязания и грабежи сильнее восстановили деревню против целей контрреволюции.

Результат изменившейся обстановки сказался при повороте мамонтовского рейда на юг.

Средняя колонна Мамонтова натолкнулась на первое серьезное сопротивление у Задонска. Городу удалось провести мобилизацию, набрать отряды и развернуть их в полк численностью больше полутора тысяч штыков. Штаб Воронежского укрепленного района, проявивший решимость в подготовке к обороне и находчивость в оперативном руководстве, помогал созданию Задонского полка. Отдельные роты этого полка показали героическое желание сражаться до последней капли крови. Но защитники города повели тактику полевой войны, требующей резервов и достаточных огневых средств. У задонцев было всего восемь пулеметов и не оставалось никаких запасных сил в своем тылу. Их разжиженные на большом пространстве цепи не могли не оставить поле боя за казаками. Тактики уличной борьбы, которая была бы уместнее, Задонск не применил.

Воронеж своей искусной подготовкой к самозащите достиг того, что встретил мамонтовцев морально и качественно превосходящими силами. Бой под Воронежем длился четверо суток и, несмотря на все усилия белых, принес им только кратковременный захват отдельных частей города, откуда они были выбиты уличными боями, и ускорил отступление корпуса к линии Южного фронта...

Чтобы затушевать свою ответственность за результаты мамонтовского прорыва в тыл Красной Армии, виновники создавшегося положения из числа руководителей штаба Южного фронта и Революционного Военного совета Республики старались представить дело, как «призрачную удачу» белых. Разумеется, ничего призрачного не было в огромном уроне, понесенном населением более десяти городов, подвергшихся набегу, в страданиях женщин, детей,

в разрушениях дорог, станций, в разгроме складов, в уничтожении советских хозяйств. Не исчерпались потери народа и Красной Армии множеством погибших в боях с мамонтовцами. И желание уменьшить значение истребительного рейда Мамонтова могло диктоваться единственно нечистой совестью тех, кто сыграл роль пособников Деникина в его борьбе против Советов.

В то же время возвеличивать значение набега могли только сами мамонтовцы, при готовности белых и зарубежных газет создать им ореол.

Рейд Мамонтова белые считали одной из крупнейших стратегических операций. Какую, однако, жатву снял Деникин в результате этой своей стратегии? Мамонтовский набег восстановил против белых народные массы близлежащих к фронту губерний. Он ускорил дальнейшее формирование красной конницы, и ее буденновский корпус (к этому времени уже с успехом действовавший против белой кавалерии юго-западнее Саратова) вскоре вырос в Первую Конную армию. Он, наконец, способствовал обнаружению самых уязвимых звеньев в командовании Южного фронта, а это помогало выработке плана военных действий, решивших исход борьбы с Деникиным.

Таков был действительный политический и военный результат рейда Мамонтова. Набег был показателем самой слабой стороны деникинской стратегии: ее политической необоснованности. Он был проявлением существа деникинской тактики, определенного в июльском письме Ленина как *авантюра.* Он был именно «отчаянным предприятием, в целях сеяния паники, в целях разрушения ради разрушения».

. . . .

Согласившись принять участие в депутации к Мамонтову, Пастухов чувствовал себя неуверенно: шаг был политический, а он сторонился политики, считая ее виновницей человеческих несчастий. Но, во-первых, этот шаг поддерживала Ася, во-вторых, уже некогда было раздумывать. Он только что оделся в лучший костюм и приготовил любимое пальтецо с белой искоркой, как за ним пришли: генерал назначил депутации пожаловать немедленно.

Ася поцеловала Александра Владимировича и, целуя, меленько перекрестила его в пояс, чтобы он не заметил.

Мамонтов со штабом корпуса стоял в единственной большой гостинице города, на главной улице,— в Гранд-отеле, под охраной конных и пеших донцов. Двое хорунжих встретили депутацию при входе и высказали сомнение, что генерал пожелает видеть столь большое число просителей — группа состояла из восьми человек. Но никто из депутатов, дойдя до порога спервоначала пугавшей цели, не захотел воспользоваться отступлением, словно жалея, что

затраченные на мобилизацию духа усилия пропадут впустую. Особенно переполошилась светлая личность, приходившая уговаривать Пастухова.

— Помилуйте! Извольте прочитать состав. Представители исключительно благонамеренных слоев горожан. Менее этого числа прямо-таки невозможно!

Пастухов перезнакомился со всеми и стал рядом с главой депутации, который понравился ему,— тяжеловесный мужчина с голубыми, словно извиняющимися глазами. Он очень волновался и все почесывал в седой бороде и, спохватившись, разглаживал ее, пока дожидались пропуска во внутренние комнаты штаба.

Наконец депутацию провели наверх к полковнику — личному адъютанту командующего. Он просмотрел список явившихся, спросил — кто возглавляет господ, и потом, поразмыслив,— кто господин Пастухов?

Александр Владимирович выставил одну ногу вперед, слегка наклонил голову. Полковник остановил на нем долгий взор, еще поразмыслил и, звеня длинными звонкими шпорами, подгарцовывая, вышел в соседнюю комнату. Возвратившись, он оставил дверь открытой, сказал — «командующий приглашает» — и пропустил мимо себя всех восьмерых поодиночке.

Мамонтов сидел за столом, наклонив голову над бумагами. Виден был ровный ежик его волос и растопыренные, огромные усы, похожие на лопнувшие еловые шишки.

За спиной его, поодаль стола, высился молодой казак, державший руку на серебряном эфесе шашки. Двое других казаков стали позади депутации, которая, разогнутой подковой, выстроилась в корректном отдалении от стола. С момента как она вошла в здание, ей никто не предложил сесть.

Уже давно все разместились и окаменели, а Мамонтов продолжал читать. Вдруг он поднял голову и жикнул отточенным взглядом из конца в конец подковы, точно проверяя правильность строя.

— С кем имею удовольствие? — спросил он, не вставая.

— Господин генерал! — начал глава депутации, набрав полную грудь воздуха и чуть выходя из фронта, но Мамонтов перебил:

— Вы кем были до революции?

— Статским советником.

— Так вы должны знать, что ко мне обращаются как к превосходительству.

Захватывая в щепоть сначала один, потом другой ус, он жестко прокрутил их вправо и влево (отчего они только больше растопырились) и обратился к полковнику:

— Поименный перечень, чтобы я знал.

— Список представлен,— сказал полковник, отделяясь от двери.

— Позвольте сюда.

Полковник подвинул на столе лист бумаги. Мамонтов нагнул голову и спросил таким тоном, будто в комнате никого, кроме него, не было:

— Кто же эти, однако?

— Самая разнообразная публика,— сказал полковник,— вплоть до красных.

Мамонтов отбросил бумагу.

— Более чем великолепно! Ко мне?! Большевицкая депутация?!

— Вот, в числе прочих, господин Пастухов. Он — красный,— не без удовольствия сказал полковник.

— Который? Который Пастухов? — крикнул Мамонтов, опять прошлифовав весь фронт острым взглядом.

— Пастухов — я. Но господин полковник принимает меня за кого-то еще,— не двигаясь и стараясь говорить убедительно, отозвался Александр Владимирович.

— Тут написано — литератор. Это про вас? — спросил полковник.

— Я — петербургский драматург. Театральный автор.

— Так чего же отказываться? Я своими глазами читал в большевицкой газете, что вы из саратовского подполья,— сказал полковник.

— Это недоразумение, если не клевета,— выговорил Пастухов, чувствуя, как коснеет язык.

— У меня нет времени разбирать недоразумения! — снова крикнул Мамонтов.— На замок! Смеет ко мне являться! Интеллигент... с-сукин сын!

Пастухова кто-то потянул за пальтецо, которое он держал через руку. Он оглянулся. Казак тяжело взял его под локоть. Пастухов отстранился и хотел что-то сказать. Но его уже выводили.

Он еще уловил и будто узнал проникновенный голос светлой личности: «...ваше превосходительство... купечество... чиновничество... духовенство...» — и потом ясно расслышал окрик Мамонтова: «обольшевичились!»

Затем все восприятия его странно изменились: как во сне, они приобрели вязкую слитность, но в этой слитности вспыхивали разрозненные куски слепящего озаренья.

Он увидел скуластого казака, вертевшего в бронзовых пальцах бумажку. Эта бумажка имела роковое отношение к Пастухову, но что было написано в ней, он отчетливо не знал. Казак кого-то

спросил: «Эсер, что ль, шляпа-то?» Потом хорунжий с чернявым чубиком, щелкая хлыстом по голенищу, обратился к офицеру в уланской форме: «А через улицу дом, там что было?» — «Женская гимназия».— «Эх, черт,— сказал чернявый,— было время! Гимназисточки!» Почти тотчас Александр Владимирович возник сам перед собой в виде второго лица, бывшего тоже Пастуховым, но совершенно отдельного от него. Лицо шло по мостовой между двух верховых казаков, несло через руку пальтецо в белую искорку и осматривало улицу. По этой длинной Московской улице Пастухов не раз прогуливался до поворота к вокзалу и теперь узнавал ее, но она была тоже какой-то второй Московской улицей, по которой вели второго Пастухова. Навстречу рысью близилась казачья сотня с песней, и, едва поравнялась с Пастуховым, один казак, поджигитски перегнувшись в седле, свистнул. Нечеловеческой силы свист резанул Пастухова до боли, и ему показалось, что его ударили по голове нагайкой, и ощущение было настолько резким, что он схватился за затылок. И вдруг он увидел плоский фасад с безнадежными оконцами по линейке и вспомнил, что на повороте к вокзалу стоял острог с проржавленной вывеской под крышей — «Тюремный за́мок». Воспоминание возникло потому, что Пастухов изумился вывеске, прочитав впервые неживое слово «за́мок», однако тот отдельный от него Пастухов, что сейчас подходил к воротам «замка», вспомнил слово не только без удивления, но с уверенным сознанием, что происшедшее должно было закончиться непременно «замком».

Цельное чувство действительности вернулось к Александру Владимировичу, когда его втиснули в камеру. Его именно втиснули, а не ввели, не ввергли, не втолкнули, не бросили. Он ощутил себя в массе тел и тотчас закашлялся от удушающего запаха. Нет, это был не запах (сразу решил он), это были наружные условия, в которых человеческое обоняние должно быть совершенно исключено. Действие наружных условий было таково, что у Пастухова переменился цвет кожи — он заметил это по рукам, поднося их ко рту. Наружные условия действовали на пигментацию — человек землenел от удушья.

В этот миг он отчетливо подумал об Асе, об Алеше, и только тут в полноте понял, что с ним случилось. Он понял, что ни Ася, ни Алеша никогда больше его не увидят, потому что он погиб. Он понял это и, наверное, застонал, так как кто-то рядом с ним издевательски вопросил: «Не любишь?» — и нагло засмеялся. Он ничего не сказал в ответ, предвидя более жестокую пробу терпения, его ожидавшую.

Как всюду, где бы ни обретались люди, образуется зависимость отношений, вытекающая из силы одних и слабости других,

так в этой тлетворной свалке тел, невозможной для человеческого существования, установился порядок, подмеченный Пастуховым, как только кровь его начала приноравливаться к новым условиям дыхания. Людей оказалось не так много, как думал сначала Пастухов, или — вернее — камера могла вместить их меньше, чем то множество, каким представилась ему масса, когда он был в нее втиснут. Позже он сосчитал, что был сорок восьмым человеком в камере с двенадцатью нарами в два этажа. Здесь находились тюремные завсегдатаи, выпущенные в первый день набега мамонтовцами и затем снова посаженные; почтенные старцы и робкие юноши с невинными глазами; рабочие и служилые люди. Одна часть толпой стояла возле двери, другая сидела на полу, третья занимала нары. По истечении некоторого срока лежавшие освобождали нары и становились в толпу, сидевшие на полу лезли на их место, а на пол садилась часть людей из тех, которые стояли. В этом круговращении заключался основной порядок, дополнявшийся тем, что три-четыре человека надзирали за его соблюдением, не подчиняясь ему, и, лежа на нарах, командовали всем населением камеры. Они и были самыми сильными людьми общежития.

Пастухов не скоро получил место для сидения. Знакомый издевательский голос, во время спора — чья очередь сидеть, просипел: «Он с воздуха! Постоит!»

Но сперва Пастухов даже предпочитал стоять. Его потребность наблюдать все, что находилось в поле внешних чувств, не могла ни на минуту остановить горячечной работы мысли. Он непроизвольно запечатлевал мелкие особенности своего вынужденного окружения и одновременно ставил себе один за другим вопросы, как будто не связанные с тем, что видели его глаза, слышали уши, испытывало тело.

Настойчивее других вопросов возвращалось к нему недоумение — зачем же все-таки он погибает? Ведь он же ровно ничего *не сделал!* Если бы он дал хотя бы повод причислить себя к красным! Мерцалову хотелось заработать себе расположение большевиков, и он сделал из Пастухова красного. Но ведь он сделал его красным в глазах белых! В глазах красных он как был, так и остался белым. А белые посадили его в «замок» как красного. Этого ли хотел Мерцалов? Но черт с ним, с Мерцаловым! Чего хотела судьба Пастухова, запутав его в эти клейкие тенета? Где тут правда? В чем правда? Ведь Пастухов действительно ничего *не сделал* против правды, как он ее понимал. Почему же правда отвратила от него свой лик?

Неужели он неверно понимал правду? Неужели его ошибки были преступлением против правды, и она наказывает его за

ошибки? Неужели он не смел ошибаться? Не имел права допускать роскошь ошибок? Боже мой милостивый, неужели здесь, в этой пакости, в этом зловонии, Пастухов должен наново решать еще на школьной скамье решенные вопросы? «Не любишь?» — слышится ему сипучий голос.

«Попробую, попробую наново»,— говорит себе Пастухов, покачиваясь на отекших ногах.

...Я прихожу в этот мир помимо моей воли, прихожу внезапно для зарождающегося моего самосознания. Меня встречают два закона, независимых от моей воли: закон биологии с его требованием, заложенным в мои клетки,— «Хочу жить!» — и закон социально-исторический с его ультиматумом: «Будешь жить только тогда, если подчинишь свою волю мне, иначе ты уничтожишься как человек». Если бы я вздумал жить отдельно от человечества, я стал бы только животным. Я обречен быть среди себе подобных. Я принял это, потому что это неизбежно. Принял то, что существовало в мире, когда я невольно появился в нем. Принял мир, как произвол над собой.

Внутренний, неприятно чуждый голос, чем-то похожий на тот, который нагло оскорбил Пастухова, вмешался в ход рассуждений: «Принял мир вместе с ретирадником, куда тебя сейчас ткнули?»

...Я не был ни в чем повинен ни тогда, когда сидел в кабинете карельской березы, ни теперь, когда сижу в ретираднике (ответил себе Пастухов). Но в котором случае со мной поступили справедливее? Когда держали меня в кабинете карельской березы или когда ткнули в ретирадник?

«Если ты принял мир, как произвол, то зачем же вожделеешь справедливости? — спросил неприятный голос.— Когда тебе было хорошо, ты не искал справедливости. Ты вспомнил о ней, когда тебе стало худо. Но тогда признай, что требования справедливости со стороны тех, кому худо, имеют тверже почву, чем безучастие к справедливости тех, кому хорошо».

...Я не оспаривал ничьих требований справедливости. Природу таких требований я считал благородной. Я только полагал, что эти требования преувеличивают значение общественного устройства для целей справедливости. Каково бы ни было общество, человеку надо биться за существование. Так биться и этак биться. Не знаю, как и когда больше.

«Тебе не приходилось биться, сидя в кабинете карельской березы. Твое существование было обеспечено тем устройством мира, которое ты принял, как произвол над собой. Этот произвол был приемлем для тебя. Но он не был приемлем для других. Прислушайся: все время ты говоришь об одном себе: я, я, только я!»

...Но я не виноват, что обречен на бытие! Мои претензии к миру несравненно меньше его претензий ко мне!

«А чем обоснованы твои претензии к миру? Мир так же не волен в твоем бытии, как ты. Ты хочешь получать, ничего не давая».

...Как — не давая? А мое искусство?

«Ты сам назвал его прекрасной ошибкой».

...Это не я назвал. Это сказала Ася. Бедная моя! Как она будет терзаться, когда я погибну! Ах, Ася! Сколько ошибок, сколько ошибок! Прекрасные ошибки? Ах, черт, это ведь просто поза! Разве всю жизнь я не был уверен, что нигде, как в искусстве, существуют законы, осмысленные по своему прообразу — природе? Вон — дом. Он безобразен, потому что у него нет затылка, нет плеча, нет бока. Это всякий видит, всякий говорит: дом безобразен. О, если бы человеку удалось построить жизнь без ошибок, по законам искусства как природы,— может быть, мы увидели бы счастливое общество.

«Ага,— опять послышался неприятный внутренний голос,— теперь ты взыскал счастливого общества! Не принимаешь мир, как произвол, а намерен строить его по своей воле. Ступай, ступай этой тропинкой дальше. Может, она выведет тебя на дорогу...»

— Ступай садись, что ль! Эй, с воли! Новичок! Упарился стоямши!

Пастухов не сразу понял, что крики относятся к нему. Его выжали из толпы. Он насилу согнул ноги, опускаясь на пол. Исподволь блаженная сладость потекла по его жилам, и он задремал, уткнув подбородок в грудь.

Так влился он в медленное круговращение тел по камере, начал существование, общее с другими заключенными.

Когда-то он слышал о занятиях в тюремных камерах: чтобы убить время и не разучиться мыслить, заключенные преподавали друг другу языки, проходили целые курсы наук. Проверяя себя — чем мог бы он поделиться, Пастухов обнаружил, что, несмотря на разнообразие своих знаний, он ничего не знал до конца. Одно было забыто, другое — не изучено полностью, из третьего он помнил только выводы, в четвертом по-настоящему не разбирался. Языки ему знакомы были лишь настолько, чтобы поговорить с французом о завтраке и вине, с немцем о погоде и дороговизне. Но ему не пришлось горевать о негодности своей к просветительству: никто не собирался слушать лекций, да у него не хватило бы сил читать. Без прогулок, без умыванья, он постепенно стал примиряться с грязью, потому что разбитость тела была страшнее грязи, голод — страшнее разбитости, неизвестность — страшнее голода. Как с са-

мого начала притупилось обоняние, так со временем затухали другие чувства, и только слух неизменно остро разгадывал каждое движение за дверью, в коридорах «замка».

Как-то рано утром, очнувшись на полу после дурманного забытья, Пастухов увидел маленькое серое существо, неуклюже — то вприпрыжку, то ползком — приближавшееся к нему по вытянутым ногам соседей. Пастухов содрогнулся. Страшно и отвратительно сделалось ему, что он беспомощно валяется на полу и по его телу, как по трупу, ползают гады. Он распознал сверчка, и хотя в тот же миг в воображении его воскресло все сказочно-доброе, связанное с этим запечным домоседом, он не мог одолеть к нему отвращения. Сверчок подскакивал и полз все ближе. Он был не саранчой и не тараканом, а саранчой и тараканом вместе и поэтому вызывал невероятную гадливость. Он прыгнул на Пастухова. Пастухов вскочил, стряхнул его и растоптал на полу с мучительным чувством детского испуга и омерзения. Он долго растирал мокрое пятно подошвой и все не мог побороть в себе брезгливость.

Сутки делились на полосы рассветов и сумерек, полдней и полуночей, но все часы стали казаться одинаковыми, наполненные небывалым у Пастухова томлением, которое он назвал спором души с телом. Он ждал конца и уже не мог бы точно ответить, сколько прошло времени в ожидании, когда однажды за дверью вдруг поднялся шум.

Он был сначала непонятен — гулкий, перекатывающийся по коридорам, перебиваемый стуками и лязгом нарастающий шум. Но еще до того момента, как распахнулась дверь, в камере кто-то ликующе и безумно закричал:

— Красные!..

Повскакали все с нар и с пола, и даже для этих привыкших к тесноте людей давка сделалась невыносимой, когда, не щадя друг друга, они стали рваться к выходу. Кулаки били в дверь, в откинутые к стенам нары, крики в камере заглушали всеобщий шум тюрьмы, и нетерпение обновило лица узников проснувшейся волей к действию.

— Открыва-ай! Свои-и,— вопила камера, и все больше, больше голосов вступало в этот вопль, все исступленнее громыхали кулаки, пока на месте двери не появился свет, в нем не сверкнули иглы штыков, под ними не колыхнулись фуражки с красными звездами.

Шум сразу упал. Потому что все замерли, не веря своим глазам, стало на мгновенье будто просторнее, и в это мгновенье Пастухов услышал молодой голос:

— Которые сидят через мамонтовцев — выходи!

Снова зашумели и опять начали давить друг друга, и Пастухов протискивался вперед, бессознательно работая всеми мышцами, давя собою тех, кто давил его.

Где-то внизу, в коридоре, его поставили в очередь, и он не помнил, как добрался до стола, за которым сидели, разбирая бумаги, красноармейцы. Его спросили:

— Вы кем, гражданин, будете?

(Как ни был выпачкан и смят на Пастухове костюм — вид его бросался в глаза.) Он ответил:

— Театральный работник.

— А! Театр! — весело посмотрели на него из-за стола, и дали ему какой-то квиток, и сказали: — Ну, выходите.

Он шел по двору с квитком в руке, оглядываясь на тех, кого вместе с ним выпускали на волю, и лица спутников казались ему глупыми от счастья, и он чувствовал, что его лицо тоже глупо и счастливо, и его бесконечно волновало, что это так.

У ворот его задержали.

Красноармейский конвой вводил во двор арестованных. В первом ряду тяжеловесно выступал старик, нервно почесывая в седой растрепанной бороде. Он глянул на Пастухова голубыми, словно извиняющимися глазами, и Пастухов узнал в нем главу депутации к генералу Мамонтову.

На одну секунду сознание как будто сделало курбет. Пастухов подумал, что сейчас сойдет с ума. Но вслед за этой секундой у него потребовали квиток, он отдал его, вышел за ворота на улицу, поднял взгляд, увидел безбрежную легкость неба и не совсем прочными ногами, но с удивительным вкусом к ходьбе зашагал по мостовой.

На перекрестке дорог он увидел женщину и мужчину, сосредоточенно мастеривших что-то молотком у оконной рамы ларька. Он остановился, чтобы справиться со слабостью в коленях, и заглянул через разбитое окно в ларек. Там было пусто, но на подоконнике стояли в ряд стеклянные баночки с залитыми сургучом горлышками. У Пастухова приятно кружилась голова, и он испытывал потребность радушного общения и шутки.

— Чем торгуете? — спросил он.

Женщина посмотрела на него, ничего не говоря, мужчина продолжал орудовать молотком.

Пастухов взял с подоконника баночку, прочитал: «Подливка из хрена на уксусе». Он ухмыльнулся и стал разбирать на этикетке незнакомое слово, напечатанное русскими буквами. Ему очень хотелось сострить, но мозг его будто упивался бездеятельной счастливой своей пустотой. Наконец он что-то разобрал на этикетке, сказал:

— Правда ведь! Как было прежде длинно — говоришь, говоришь: тамбовский... губернский... потребительский... А теперь — одним духом (он прочитал по складам) Тамгубпотребкоопартинсоюз. И все!

Мужчина опустил молоток, спросил:

— Оттуда, что ли? — и мотнул головой на тюрьму.

— Оттуда.

— Оно видно.

— Вы возьмите, если хотите,— сказала женщина.

Пастухов развел руками: пальтецо его вместе с мелочью в карманах так и осталось в тюремном замке.

— Берите, все равно этим товаром не расторгуешься.

Что-то проказливое мелькнуло в его лице, он сунул баночку в карман, сказал «спасет Христос» и пошел почти прежней независимой походкой, ощущая все ту же приятную пустоту в голове и воскресающее самодовольство артистизма.

К дому он подходил быстрее, быстрее и взбежал по лестнице, как мальчишка.

Ася вскрикнула, необыкновенно сильно обхватила его шею. Алеша выбежал из другой комнаты, оцепенел, потом бросился к отцу и прильнул к его ноге. Он раньше всех, глядя снизу сияющими, как у матери, глазами, прервал молчание:

— Пап, ты бородатый.

Александр Владимирович не в силах был одолеть немоту. Он задыхался от объятий и волнения.

Алеша нащупал у него в пиджаке баночку.

— Что это, пап? Вот это — что?

Пастухов вытянул ее из кармана и дал Асе. Она ничего не могла понять и, держа в одной руке склянку, а другой по-прежнему обвивая его шею, заглядывала ему в самые зрачки, ища там ответа на единственное свое чувство к нему, которое ее потрясало. Ему хотелось, чтобы она прочла, что написано на баночке, и чтобы они вместе посмеялись. Жажда шутки не проходила у него, но первые его слова прозвучали так, что даже Ася, изучившая его манеру говорить чепуху с серьезной миной, приняла их за чистую монету.

— Арестантику подали ради Христа,— сказал он.

Она приложила к своей груди эту нелепую склянку с благодарным и растроганным порывом. И тогда Пастухов, со своим внезапным простодушием, захохотал, отнял у Аси баночку и швырнул на стол, бормоча сквозь смех:

— Потом... потом... посмотришь, что это за соус!

Она старалась улыбаться его смеху, все еще ничего не понимая и не желая ничего понимать, кроме своего счастья.

Ольга Адамовна, вытирая платочком глаза, стесняясь, выглядывала из-за двери: она вполне отдавала себе отчет, что это нескромно, но не могла не участвовать в необычайном свидании супругов.

Пастухов важно приблизился к ней, нагнулся к ее руке. Лицо ее покрылось пятнами, кудерьки задрожали. Она притворила за собой дверь.

Он крикнул ей:

— Ольга Адамовна, милая! Умоляю — поскорей помыться! Нельзя ли там, у хозяев, баньку, а?

Когда улеглось смятение поднявшихся с самой глубины души переживаний, и разум восстановил свое господство над мыслями, и Пастухов смог наскоро рассказать о себе, и Ася смогла выслушать рассказ — к этому времени Алеша был уже занят своими играми, а Ольга Адамовна воевала с коптившими фитилями керосинки.

Прохаживаясь по комнате со стаканом чаю, Пастухов увидел на постели разрозненные листы какого-то томика.

— Ты читала?

— Да. Я плакала над ним, и все читала,— ответила Ася, будто прося, своей неуловимой улыбкой, извинить за такое признание.

— Что это?

— Тут перепутано. Из разных книг «Войны и мира». Но, знаешь, мне нравилось, что перепутано. Это как-то грустнее.

Она присела на постель, начала быстро листать страницы.

— Здесь есть одно место...

Она бросила искать.

— Все равно не найдешь в этой лапше.

— О чем?

— Это, знаешь, из тех мест, которые мне раньше казались скучными. Я всегда пропускала. А тут я задумалась... То место, где об истории.

— Знаю. Я *там* тоже думал об этом.

— Правда? Может быть, как раз в то время, когда я читала... Знаешь, где говорится, что это отживший взгляд на историю, как на произведение свободной воли человека.

— Да, да. О том, что нельзя, изучая историю, пользоваться этим воззрением наравне с признанием истинными законов статистики, политической экономии, прямо противоречащих этому устарелому взгляду на историю.

— Как ты помнишь!

Как всегда, когда муж думал вслух, Ася с восхищением следила за ним увеличенными глазами.

— Ну и что же?

Она притихла в нерешительности.

— Сперва я думала вместе с ним, а потом не так, как он.

— Не так, как Толстой?

— Да. Я думала, что ведь теперь уже победило новое воззрение на историю. Правда? Ведь теперь утверждают, что изучение истории согласовано со всеми этими науками, о которых Толстой говорит... ну, со статистикой, естествознанием. Ведь так?

Она опять замолчала, и во взгляде ее появилось что-то двойственное, как будто она чувствовала себя виноватой, что затеяла отвлеченный разговор, и в то же время считала его очень нужным и гордилась им.

— Ну? — снова поторопил он.

— Я подумала, что как прежде человек подчинялся истории, толкуя ее ложно, так и теперь подчиняется ей, толкуя ее правильно. Она управляет им, как инструментом. Я не права? — спросила Ася с нарастающим выражением двойственности на лице.

Пастухов отхлебнул чаю, взял стул, сел против жены. Он делал все крайне медленно.

— Не права? — еще раз спросила она.— Я не переставая думала о тебе, Саша, думала о нас. Я не спала, читала больше от бессонницы. Но к этому месту возвращалась несколько раз. И у меня создалось свое убеждение... Может, оно и не противоречит Толстому, я не знаю. Но для меня оно идет дальше его. Я решила, раз нами управляет история и мы — ее жертва, то какой же исход?

Он смотрел ей прямо в глаза, и ему сдавалось, что странным выражением вины прикрывается на ее лице хитрость. Видимая слабость и скрытая сила — эти противоречия, жившие в ее чертах, составляли так хорошо ему известное, чуть улыбающееся и мгновеньями будто нерешительное лицо Аси, казавшееся ему в эту минуту еще красивее, чем прежде.

— Какой исход,— увлеченно и вкрадчиво продолжала она,— если независимо от того, ложно мы понимаем историю или правильно, мы остаемся ее жертвами? Покориться — вот в чем исход. Правда?

— Чертовски умная баба,— сказал он серьезно, однако так, что она могла принять похвалу в полушутку и предпочла это сделать, возбужденно засмеявшись.

Но он не ответил на ее смех и заговорил, придавая каждому слову особое, как бы решающее значение.

— Оставим в стороне, что нельзя смешивать изучение истории с движением событий, в котором мы живем и которое только со временем станет предметом изучения. Я не хочу сейчас разбираться в ложных или истинных научных толкованиях предмета

истории. Я живу своим ощущением. Понимаешь? Оно обогащено у меня жизнью как никогда. Это — история, в которой я — действующее лицо. Понимаешь меня? И я тебе должен сказать: у меня нет ни малейшего желания быть жертвой истории. Я не хочу быть жертвой! К черту! Ко всем чертям!

Пастухов поднялся, отодвинул ногой стул, опять заходил.

— Уразуметь, что происходящее в Петербурге, в Саратове, в Козлове и не знаю — где, с нами и с нашим Алешкой, есть движение истории — это не фокус. Фокус в том, чтобы внутри этого движения найти поступательную силу. Надо быть там, где заложено развитие истории вперед. Мамонтовцы — тоже история. Но благодарю покорно! Если я при всяких условиях подчиняюсь движению событий (в чем, я полагаю, ты совершенно права), то в моей воле выбрать, каким из составных сил движения я хочу себя подчинить. Жертва? Смерть со славой и с честью — не жертва, а подвиг. Протянуть ноги во вшивой каталажке неизвестно за что и почему — тоже не жертва, а идиотство!

Он недовольно оборвал себя:

— Вот видишь, оказывается, я умею произносить речи.

Он увидел Алешу, который прижался к косяку и глядел на отца с гордым и перепуганным выражением.

— Ты что?

— Я думал — ты меня звал...

— Звал?

— Ты крикнул: Алешка!

— Не подходи ко мне, я должен помыться, ступай играй,— сказал Пастухов немного растроганно.

Взгляд Аси заволокла та вдохновенная слеза, которая всегда размягчала Пастухова, и он старался поменьше глядеть на жену, чтобы сохранить разбег своей решимости.

— Ты помнишь разговор с Дибичем у саратовского вокзала? Так вот я теперь вижу, что Дибич прав. Такие, как он, если и погибнут, будут принадлежать Истории с большой буквы (это его слово, помнишь?), а не так называемым обломкам истории. Я тоже не намерен валяться в обломках. С какой стати, черт возьми?

Он с наслаждением от оживающей в нем силы распрямился, выставил подбородок.

— Ничего себе обломочек! — задорно сказал он.

Ася с одобрением, но слегка задумчиво покачала головой.

— Он очень милый... этот Дибич,— проговорила она.

Пастухов остановился и помигал на нее, упустив свою мысль. Подойдя к столу, залпом допил чай.

— Ты любишь, когда тают от твоих акварелей. Дибич созерцал тебя умиленно... На тебя и старик Дорогомилов вздыхал...

Она поправила мизинчиком волосы на виске.

— Так приятно-приятно, когда тебя немножко приревнуют!

Он опять подвинул стул, уселся против нее.

— Мой выбор окончателен. Понимаешь? Я сделал его *там*, в местном филиале Дантова ада. Решил, что если останусь в живых,— первое, что сделаю, напишу Извекову, что я был олух. И Дорогомилову тоже. Чтобы знали, что я не белогвардеец...

Он сказал это твердо и, пожалуй, торжественно. Вдруг, близко наклонившись к Асе, он снизил голос.

— У меня был *там* один момент... ужасный и отвратительный. Вот послушай...

Он рассказал и даже наглядно изобразил, жестикулируя, как на него полз сверчок и как он его растоптал. На лице Аси повторялись оттенки брезгливости, с которыми он восстанавливал остро запомнившееся впечатление.

— Самым отталкивающим в этом насекомом мне показалось то, что оно — не таракан и не саранча, а какой-то межеумок. Вдобавок, в нем было что-то самодовольно важное, точно гнус считал себя неотразимым красавцем. Это невозможно видеть без содрогания! Я потом все вспоминал, и у меня по спине мурашки бегали. Бр-р-р!

Он потер руки и, вскочив, стал отряхиваться. Несколько листов книги слетели на пол. Он поднял их.

— На свете нет ничего омерзительнее межеумков. И я тогда подумал, что мое положение, ко всему прочему, мерзко.

— Саша! — неподдельно пугаясь, воскликнула Ася.

Он попробовал сложить ровнее листы книги. Они рассыпались у него в руках.

— Я представил себя со стороны. Каков я в глазах разумного человека. И сделал выбор... И когда остановился на своем выборе — можешь мне поверить? — в этой клоаке, обреченный и ждущий конца, я почувствовал себя гораздо свободнее. Понимаешь? Гибнуть из-за недоразумения, из-за анекдота — даже не смешно. Это унизительно! Я решил и совсем ясно представил себе: если уж все равно должен пропасть — так я им крикну: да, да, я красный! Красный — черт вас побери! — и ненавижу вас утробной ненавистью!

Он опять заметил в дверях возбужденное лицо сына.

— Пап,— сказал Алеша тихо,— а разве другие сверчки кусаются?

— Нет,— ответила Анастасия Германовна, чуть улыбнувшись,— другие сверчки не кусаются. Не мешай нам с папой.

Она приподнялась с желанием успокоить мужа или, может быть, удержать от опасного шага. Он отвел это движение, словно

боясь, что она посягнет на шаткое здание, которое он едва начал возводить, и оно разрушится.

— И никуда я больше не побегу! — нетерпимо обрезал он.— Конец! Я понимаю Дибича, что он бежал из плена. Ему надо было домой. А мне не надо. Я дома. Мы с тобой дома, понимаешь меня? И нам надо разделять судьбу нашего дома.

Она все-таки с кроткой настойчивостью обхватила его пальцы своими мягкими ладонями, развела его руки, прижала себя к его груди.

— Милый, но я ведь с тобой совсем, совсем согласна!

Он высвободился. Ему хотелось все привести к окончательному строю, положить предел угнетавшему спору души с телом, а главное — увериться, что его выбор не зависит от подсказок или давления, что он свободен. Он опасался возражений и в то же время не хотел, чтобы Ася поспешно соглашалась с ним. Он не мог уступить ей первенство в решении, которое должно было изменить всю жизнь.

Он сложил наконец листы книги и, с уважением поглаживая ее рваные края, проговорил:

— Ты именно придерживаешься Толстого, если считаешь, что все дело только в том, чтобы покориться движению. А я не согласен с ним. Раз выбор зависит от меня, значит, я участвую в развитии событий своей свободной волей. Сумма таких свободных воль прилагается к равнодействующей всех сил истории. И, значит, история, в какой-то части, становится произведением свободной воли человека. Моей свободной воли.

— Я только и хотела тебе это сказать,— шепнула Ася, обнимая его голову.— Конечно, конечно, ты волен во всем... Как блудный сын, когда он вернулся в отчий дом, мы с тобой тоже вольны вернуться. С повинной головой. Повинную голову не рубят.

Она теребила его волосы, он хотел отвернуться, но вдруг рассмеялся своим обычным взрывом, и они остановили глаза друг на друге, довольные собой и будто омоложенные.

— Выходит, получилось по-твоему? — спросил Пастухов, едва заметно подмигивая Асе.

Ольга Адамовна заглянула к ним и с потерянным видом, с каким докладывают о нежданных праздничных визитерах, сообщила, что явились хозяева — директор театра с мамашей.

— Мы только поздравить, только поздравить! — возвестил директор, тряся Пастухову руки.— Какое счастье! Как вы себя чувствуете? Ей-богу, мы за вас перетрухнули! Вот мамаша скажет, ей-богу! Ведь это же все бесконечно грустно, честное слово!

— Как вам сказать,— с тонкой улыбкой ответил Александр Владимирович.— Не помню, в каком романе Стендаль написал

о своем горе: «Грусть сделала его душу доступной восприятию искусства». Так что это на пользу...

— Не били вас там, а? — спросила мамаша, выпростав из-под волос ухо.

— Бог миловал! — крикнул он ей весело.

Она перекрестилась.

— Бегу в театр, извините! — сказал директор.— Мы готовим апофеоз. Такой подъем, знаете ли, ей-богу!

— Что готовите?

— Апофеоз.

— Чей же это? Что такое?

— Ничей. Силами самой труппы. Как-нибудь, знаете, с музыкой, с пением, все такое.

— Погодите,— строго сказал Пастухов, прихватывая директора за рукав.— Погодите... я для вас напишу апофеоз. Он будет называться «Освобождение».

Он медленно обвел всех великодушным взором.

— Александр Владимирович! Да мы... мы на руках вас... ей-богу, всей труппой на руках вас носить будем!

Директор бросился к выходу, что-то еще восклицая на бегу.

— Чего это он, а? — не поняла мамаша.

— На руках меня хочет носить,— нагнулся к ней Пастухов.

— А-а! И верно. Мы ведь совсем вас похоронили... А я вам баньку затопила.

Александр Владимирович обнял ее за плечи.

— Веник-то есть ли, веник-то, а? — крикнул он.

— Есть, да больно облезлый. Как помело.

— Спасибо и на том! Спасибо на помеле, мамаша!

— Парьтесь, батюшка, на здоровье...

— Смыть все с себя к черту! — громко вздохнул Пастухов, оставшись опять наедине с женой.

Они вышли на балкон. Он посмотрел из конца в конец безлюдной площади.

— Что за день! И как чудесно, кисленько пахнет уличной пыльцой, правда? Ах, Ася, Ася!

Он еще раз полно вздохнул большой своей емкой грудью.

30

Внешняя неизменность Рагозина, выделяя его среди экипажа «Октября», всем казалась совершенно обыкновенной, и сам он не придавал значения своему отличию от моряков. По-старому он носил косоворотку, пиджак, слегка нахлобученную кепку блинком,

которою иногда прихватывал с виска завиток волос. Зато ступал Рагозин даже больше моряков по-морски — прежняя развалка его стала опять заметнее, может потому, что он будто помолодел, кончив свою безнадежную битву с финансовой цифирью и выйдя на певучий волжский ветер.

К высокому сутуловатому его сложенью скоро привыкли в дивизионе. Он появлялся на виду команды часто, хотя первое время подолгу приходилось сидеть в штабных каютах: надо было вникать в военно-морское хозяйство и продолжать перестройку политической работы сообразно меняющимся на ходу условиям.

Рагозин попал во флотилию за несколько дней до начала августовского наступления советских армий к юго-западу от Саратова. Он не был ни военным, ни моряком, он владел лишь одним оружием, довольно хорошо знакомым рабочему люду России: браунингом. Убежденный, что всегда находится на месте, если поставлен на это место своей партией, он приступил к обязанностям дивизионного комиссара, не сомневаясь, что они ему под силу и он овладеет ими — дали бы срок.

В составе судовых команд были моряки-балтийцы, встречался судовой народ с Каспия и Приазовья, волжане, коренные поморы с Севера. Все это водное племя обладало навыками долголетних плаваний, в большинстве прошло войну и самой природой было словно выделано для пребывания на судах.

Пестрота народа сглаживалась военно-морским порядком и тем, что примером для команд служили балтийцы, принесшие на Волгу двойную славу своей беззаветности — в борьбе на Балтике с германским флотом и на революционных фронтах Петрограда, откуда послала по России первый раскат Октября легендарная «Аврора». Каждый считал за правило подражать балтийцам — их самозабвенной ярости в бою, их прибауткам на роздыхе, даже их манере носить бескозырку — не набекрень, а прямо, в линию к надбровью, что придавало моряку облик не столько лихой, сколько непреклонный.

Кроме дивизионов канонерок, в Северный отряд Волжско-Камской флотилии вошли плавучие форты с батареями морской артиллерии, вспомогательные суда — ремонтных мастерских и госпиталей, дивизионы катеров, воздушный, воздухоплавательный, отряды десантные и минные. Когда эта вооруженная разномастная армада судов и суденышек, пятная берега и небо черными, рыжими, свинцовыми дымами труб, пыхтя и стуча машинами, лязгая в клюзах якорными цепями, мигая на мостиках быстрыми флажками сигнальщиков,— когда эта многочисленная плавучая крепость заняла протянувшуюся на версты исходную позицию и Рагозин, на моторном боте, по дороге в штаб флотилии, прошел только

мимо передовых дивизионов, у него захватило дух. Впервые с такой властью очевидности развернулось перед ним могущество красного фронта, и он как бы предметно, на грозных вещах, обнаружил величие двинувшегося за своим правом народа.

Рагозин зачерпнул через борт горсть прогретой солнцем воды, хлебнул глоток, вытер лоб ничуть не остуженной ладонью и, не зная — как бы излить волнение, крикнул мотористу:

— Закурим, что ли? — хотя давным-давно отвык от табака...

С того момента, как в штабе дивизиона вскрыт был пакет с приказом о переходе в наступление и сигнальщик передал узорчатой игрой флажков приказание командира дивизиона — «следовать за мной кильватерной колонной», Рагозин больше не заглядывал к себе в каюту. Пребывание на палубе, или на командном мостике с биноклем перед глазами, или у орудий, среди молчаливых, серьезных матросов, делало его чувство торжественным и напряженным. Он был уверен, что первый же предстоящий бой будет решительным, и странным казались ему невозмутимое спокойствие берегов, нежная, как оперенье снегиря, краска восхода, одиноко возносящийся над деревней дымок затопленной печки. Полным кругом выкатилось над луговой стороной солнце, и другой высокий берег оживился. Взбивая пыль, тянулись по нагорью бесконечными цепочками гурты овец и волов: команды армейского снабжения погнали скот. Это был знак, что наступление на суше началось в один час с флотилией. Клубы береговой пыли будто переговаривались с редкими дымами канонерок: локоть к локтю, отважнее вперед!

Но эти клубы пыли навлекли на себя противника. Две тройки самолетов быстро близились навстречу дивизиону, вырастая на безоблачном небе из едва приметных воробьиного размера пятнышек в парящих воронов и накатывая на окрестность свирепый гул. Передняя тройка пронеслась вдоль берега, задняя шла над руслом. Взорвались одна за другой первые бомбы, вскинув веера земли в воздух. Над гуртами выше поднялась непроницаемая туча пыли — скот бросился врассыпную.

Застукали зенитные трехдюймовки дивизиона. Суда начали маневрировать. Многосаженными стеклянными бокалами взвились над Волгой и ливнем пали водяные столбы от разорвавшихся бомб. Канонерки закачались на неровных волнах.

Кое-кто из нижней команды «Октября» поднялся на палубу. Все смотрели, как разворачиваются и заходят с тыла самолеты. На этот раз вся шестерка взяла курс вдоль русла. Бомбы легли на воду кучнее, но суда успели к этому моменту отойти друг от друга на большое расстояние. Зенитный огонь усилился, легкие, будто пуховые звезды разрывов в небе стали чаще, самолеты должны были

подняться выше. Но они вновь описали полукруг и вновь вернулись.

Одна бомба, со свистом раздирая воздух, низринулась поблизости от «Октября». Белый шквал пены окатил палубу канонерки, борта ее ответили взрыву утробным воем, со звоном вылетели в крохи размолотые стекла штурвальной будки.

Молодой матрос был сброшен с носовой части в воду. Ему кинули с кормы конец. Он кошкой вскарабкался на борт. С него струилась вода, фланелевка и штаны облепили его резиновое тело. Он поглядел вслед ушедшим самолетам, поднял кулак, крикнул:

— Я вам попомню! — и ругнулся так звонко, что услышала вся верхняя палуба.

Страшнов, вылезший из машинного отделения, стоял во время взрыва позади Рагозина. Он утер от воды выпачканное маслом желтое лицо и прогудел недобрым басом, с особым упором на свое «о».

— Горячий привет дорогой Антанты...

Рагозин, тоже вытирая платком загривок (его обдало со спины), проговорил спокойно:

— Союзнички.

— Французского изготовления птички-то?

— Черчи-илль старается,— протяжно ответил Рагозин и вдруг, повернувшись к Страшнову, быстро спросил: — А твое место боевого расписания здесь?

— У нас на месте обе смены,— отозвался Страшнов куда-то вбок.

Рагозин промолчал.

Все время налета он пробыл около зениток, присматриваясь к незнакомой работе артиллеристов. Он боялся упустить какой-то важный миг, который мог потребовать его вмешательства, и внимание его, отточенное до небывалой остроты, подавило в нем все другие способности. Он только потом, когда самолеты скрылись, словно бы с головы до пят ощутил, что момент был жестокий: если бы хоть одна бомба угодила в судно, урон был бы велик. Его поразило, что зенитки не причинили никакого вреда самолетам — они удалились пренебрежительно-спокойно,— и он не знал, как ответить себе — хорошо ли велся огонь и можно ли назвать происшедшее боем? Но команда молча приводила в порядок корабль, и Рагозин тоже многозначительно помалкивал, делая вид, что грохот таких схваток с противником ему вполне привычен.

Высланная вперед канонерка «Рискованный» подошла близко к неприятельскому берегу и высадила на лодке разведчиков. Матросы забрались на крышу разрушенной дачи.

Степь простиралась в однотонном покое сожженного солнцем

былья. Пологая возвышенность тянулась под углом к берегу. Справа от нее видна была цепь залегшей лицом к югу пехоты, слева далекой грядою вздулись холмы, похожие на курганы. Сильно маревело, и нельзя было тотчас увериться — где призрак, где настоящее окаймление курганов. Потом стало угадываться через бинокль суетливое движение людей вокруг раскинутых по гряде точек.

И вот, будто проступая из земли, выплыли открытые артиллерийские позиции белых.

Разведчики попрыгали с крыши, бросились назад, на канонерку. Под прикрытием береговых обрывов она пошла полным ходом, но не успела передать штабу добытых сведений, как белые открыли по кораблям огонь.

Канонерки начали спускаться по течению, в расчете зайти белым в тыл. Ответный огонь их нарастал. Подтягивались к месту дуэли корабли других дивизионов. Открыла стрельбу плавучая батарея. Гулкие вздохи морских орудий Канэ ворвались в рокот канонады. Как пузыри в воде, всплыли в воздух змейковые аэростаты. Светящимися облачками они повисли в прозрачной высоте, сигналами корректируя стрельбу.

Когда «Октябрь» обогнул протяженную береговую излучину, перед ним, словно ущелье в горах, раздвинулся глубокий буерак, жерловина которого выходила к реке, а другой конец, далеко в степи, упирался в подошву курганов. Сквозь это ущелье с борта стали видны непрерывно бившие батареи деникинцев.

Перед глазами Рагозина выросла та живая, замкнутая в своей жгучей ясности цель, которую дóлжно было уничтожить. В желтом, позолоченном солнцем чаду над степью он остро различал вспышки орудий, пыль, завихряемую выстрелами, взлеты земли от разрывавшихся корабельных снарядов — будто кто-то вскапывал почву огромными заступами и кидал в воздух.

«Октябрь» навел четырехдюймовку вдоль буерака, коридором открывавшего путь для удара с тыла. Раздалась команда — и последовал выстрел. Корабль дрогнул.

Рагозин, установив локти на палубном поручне, глядел в бинокль. Если бы он мог в эту минуту наблюдать самого себя, он изумился бы скованности своего тела. Широко расставив ноги, пригнувшись, он прогибал тяжестью корпуса металлический прут, на который упирались локти. Иначе, нежели этой натугой всех мышц, нельзя было удержать в повиновении прежде никогда не ведомое чувство. Это была окрыленная злоба, звавшая его туда, где рвалась на комки и развевалась в золотую пудру земля. Он смотрел и смотрел в далекий светящийся чад, напутствуя этой злобой снаряд за снарядом, летевшие с корабля на вражеские батареи.

Вдруг огонь флотилии начал утихать. «Октябрь» прекратил стрельбу. Рагозин оторвался от бинокля, подскочил ближе к мостику.

— Что такое? Почему замолчали?

Голос его после гула орудия прозвенел по-птичьи.

— Пехота с десантом пошли в атаку! — крикнул сверху командир.

Рагозин глянул на берег.

По полосе между водой и подножьем берегового обрыва бежали узкой тесьмою матросы десантного отряда. Один за другим исчезали они в крутобокой жерловине буерака. Несколько тесных кучек людей катили пулеметы, впрягшись в них спереди и подталкивая сзади.

Рагозин опять прижал к переносью бинокль. Пыль медленно оседала на курганы. Реже и реже вспыхивали огни выстрелов. Возник на бугре дымный шар, стремительно разбухая, и спустя секунду волной разлился по степи тягучий удар взрыва. Кто-то закричал на палубе:

— Орудия рвут!

Рагозин увидел, как совсем близко от позиций белых десантники, цепляясь друг за друга и скатываясь по оползающим откосам, выбирались из буерака наверх. Вот передовые выпрямились в рост на равнине. Вот со дна оврага потянули кверху пулеметы. Все больше появлялось на кромке буерака матросов, длиннее растягивались по степи их ряды. Прострекотала первая строка пулемета. Воздух словно задрожал от далекой ружейной пальбы.

— Пошли, пошли! — с нетерпением раздался новый выкрик.

Сразу в дюжину голосов со всех концов корабля начали кричать столпившиеся на палубе моряки:

— Бей их! Бей, в душу так...

Рагозин перевел бинокль на курганы. По степной целине полные упряжки коней галопом уводили орудия. Почти в тот же момент на окоемку холмов россыпью вымахнула красная пехота. Цепь ее просвечивала, как частокол против солнца. Десантный отряд матросов прянул наперерез бросавшим позицию белым.

Рагозин поднял голову на мостик.

— Сбили! Сбили! — кричал ему командир, непонятно взмахивая обеими руками.

Рагозин быстро оглядел моряков. Со смехом крича и бранясь, они смотрели на берег и тоже махали руками. Лица их сияли тем высокомерным и наивным счастьем, какое приносит успех.

Вдруг прямо против себя Рагозин опять увидел Страшнова. Залитый солнцем и потому еще больше лоснившийся от масла, помор довольно улыбался.

— Лиха беда начало,— сказал он.

Рагозин нахмурился.

— Ты что за мной ходишь?

— Я тут... в случае чего исправить на палубе...

— Ты что мне — нянька, за мной смотришь? Я за тобой буду смотреть, а не ты за мной!

— Я что ж? Я как все...

— Нет, не как все,— с неожиданной угрозой оборвал Рагозин.— Мне опахала не требуется. Я не генерал — ходить за мной...

Он круто повернул плечо и ушел. У него явилась раздражающая мысль — будто он что-то задолжал. Вот сбили артиллерию деникинцев, матросы с пехотой бросились преследовать ее, а он только поглядывал в бинокль. Это был уже настоящий бой, и кончился он удачей. А что Рагозин сделал для удачи? И что ему надо делать в боях? Глядеть в бинокль?

— Опахало! — негодующе буркнул он, взбираясь на мостик и резко откидывая вбок болтавшийся на ремешке тяжелый бинокль.

Командир дивизиона — уже немолодой и рыхлый морской офицер — проговорил навстречу Рагозину, когда комиссарская кепка только показалась над последней ступенькой к мостику:

— Пошло, Петр Петрович, теперь пошло!

Он не приподнял, а лишь дотронулся левой рукой до козырька, делая вид, что приподнимает фуражку, и не перекрестился, а лишь наметил правой рукой перед лицом своим мановение, похожее на крестик.

— Господи благослови.

Он как-то официально и в то же время пытливо смотрел в лицо Рагозину. Петр Петрович подвил растрепанные колечки усов. Он не возражал против обычая: отчего не перекреститься, если дело пошло на лад?

— Приняли с флагмана радио,— как бы докладывал и вместе с тем просто делился новостью командир.— Наступление развивается по всему фронту. Дивизиону идти полным вперед, очищая берега от противника.

— Не оторваться бы от пехоты,— с видом стреляного воробья заметил Рагозин.

— А зачем у нас глаза, Петр Петрович? Глаза прежде всего.

Офицер уважительно постучал ногтем по биноклю Рагозина. Ему нравилось, что комиссар не говорит лишнего и не мешает ему держаться так, как он привык, то есть слегка отечески.

— Значит, полный вперед?

— Вперед, Петр Петрович. Отдаю приказание.

...Этот день открыл собою обширные наступательные операции особой ударной группы советских армий Южного фронта по плану главкома, начавшиеся с успехов, но приведшие затем к отступлению.

Провал удара Южного фронта по казачьим армиям белых обнаружил себя через две недели для вспомогательной группировки, действовавшей на Купянск, и через три недели — для армий, наступавших в основном направлении на Царицын. Вспомогательная группа, вклинившись центром глубоко в расположение белых и заняв Валуйки и Купянск, оставила свои ослабевшие в боях фланги далеко позади и оказалась под опасностью полного окружения. Попытки ликвидировать угрозу флангам, созданную кубанской конницей Шкуро и донцами, не дали положительных результатов, и вся группировка вынуждена была с тяжелыми потерями отойти в исходное положение, а потом и за его пределы. В направлении на Царицын упорные бои сначала принесли красным войскам немало успехов, но группа в целом быстро разбросала свои силы на широком фронте и не могла выполнить своих задач. Армия, продвинувшаяся до подступов к Царицыну, попала под удар маневренной кавалерийской группы Врангеля, не выдержала ее сосредоточенных атак и отступила к северу от города.

Однако пока наступление развивалось, оно дало примеры из ряда выходящей боеспособности солдат, сплоченных знаменами революции.

Особенный порыв проявился на главном направлении, где советская пехота действовала совместно с кавалерией и при поддержке Волжско-Камской флотилии.

Тут объединенные в конный корпус под командованием Буденного дивизии, не прекращая формирования частей и черпая конский состав в окрестных селениях и станицах, вышли победителями в больших боях с казачьими массами белых. Корпус разгромил под Каменночерновской донскую конницу генерала Сутулова, а спустя три дня нанес сильнейший удар противнику под Серебряковым. Быстро перебрасывая свои лавины с участка на участок, корпус как будто предвосхищал в краткодневных боях разительные походы Первой Конной армии недалекого будущего.

Левый фланг наступавшей на Царицын армии опирался на Волгу, где действовала, продвигаясь к югу, речная военная флотилия, созданная Советами. В этом походе она прогремела бесстрашием и самоотверженностью русских матросов...

У Рагозина очень скоро исчезло ощущение неполноты своего участия в боях. Наоборот, ему стало очевидно, что он нужен дивизиону, требовавшему от него все больше усилий, чтобы соединить

волю людей и бросить ее на определенное дело. Сложнее и длительнее становились операции: то обходный маневр десанта на берегу, то заградительный огонь с кораблей в поддержку атакующей пехоте, то отчаянная разведка в неприятельском тылу. А в то же время на ходу велись ремонты повреждений, множилось число раненых в госпитале, истощались запасы снарядов, безвозвратно выходили из строя люди.

Рагозин в какой-то час уловил сознанием самое существо своей задачи на судах, которую он выполнял сначала безотчетно, в силу течения вещей. Существо этой задачи состояло в том, чтобы любая необходимая работа исполнялась командами в полную силу воодушевления.

У него был странный случай при взятии Николаевской слободы. На «Октябре», который бил по отступавшим белым, когда десант моряков уже влетел на улицу слободы, от некалиброванного шрапнельного снаряда взорвалось носовое орудие.

Был убит наповал комендор — молодой моряк, державший орудие всегда на «товсь!», так и прозванный товарищами — «Товсь» и любимый ими за веселый нрав. Взрывом опалило лица двум патронным и сбросило с мостика командира дивизиона — он оказался легко контуженным.

Скомандовали развернуться кормой и стрелять из кормовой пушки. Но комендоры, напуганные смертью товарища и опасаясь, что негодна вся партия снарядов, не решались продолжать огонь.

За истекшую неделю боев Рагозин успел приглядеться к работе судовых артиллеристов. Он пошел на корму, приказал команде отойти на бак, сам зарядил орудие и выстрелил. Он выпустил три снаряда и обернулся. Орудийная прислуга виновато стояла позади него. Он сказал:

— Ну, теперь валяйте, ребята, не страшно. Снаряды вполне приличные.

Матросы кинулись к пушке, мигом взяли прицел и открыли стрельбу с таким неистовым старанием, что раскалился орудийный ствол.

Рагозин, только отойдя в сторону, почувствовал, что прилипла к телу рубашка, и ему показалось, это не сам он орудовал у пушки, а какой-то особый в нем человек, и этому человеку он должен без колебаний повиноваться.

Все пережитое за эти недели Рагозиным он позже отнес к тому роду напряжения человеческих возможностей, которое для своей разрядки словно уже не нуждается в отдыхе, а может быть выдержано только с помощью нового напряжения, еще большей силы.

Но случилось в то же время два обстоятельства, как будто незначительных, тем не менее запомнившихся Рагозину и выведших его из напряжения действительности в какой-то особый мир прихотливого или даже не совсем реального беспокойства. Было похоже, будто Рагозин долго обретается в доме с занавешенными окнами, и — от привычки — дом мнился большим. И вдруг раскрылась одна занавеска, и в окне он увидел неожиданную синюю даль с деревьями над водой. Свет там за окном был совсем иным, чем в доме. Потом занавеска закрылась, глаз снова привык к дому, и дом стал мниться большим, как прежде. Но память удержала представление о другом расстоянии, о той дали с деревьями, о том свете, который был иным.

Еще в ночь после первого боя комиссар «Рискованного», докладывая о положении на канонерке, сказал, между прочим, что матросы взяли с собой на судно одного парнишку и что теперь надо бы этого парнишку списать на берег, потому что жалко, если его покалечит: суется куда не надо.

— Откуда взяли? — будто тоже между прочим спросил Рагозин.

— Еще из Саратова.

— Большой?

— Да нет, так, малец. Лет, самое большее, двенадцати.

— Как зовут?

— Так все и зовут — малец и малец!

Рагозин взялся руками за край скамьи, точно собравшись сесть, но не сел, а быстро выпрямился и, глядя прочь от комиссара, сказал черство:

— Не знаешь поименно личного состава своего экипажа?

Комиссар засмеялся:

— Это приблудный мальчишка-то — состав?

— А что у тебя на борту? Постоялый двор?

— Так я спишу,— как о нестóящем деле, кончил разговор комиссар.

Рагозин сурово помолчал.

— Парню на берегу с голоду умирать? Азиатчина, брат. Развели вот так... беспризорников. Спиши его на госпиталь. Там хоть сыт будет. И безопаснее.

Мысль о мальчике отвлекла Рагозина ненадолго, но резко, будто его кто-то взял за плечи и повернул назад. Бродячий парнишка объявился на «Рискованном», с которым были связаны в памяти розыски Вани, и это ожгло возобновленной тревогой за судьбу найденного и потерянного сына. Рагозин вовсе не хотел внушать себе, что опять напал на след Вани. Но в самом уязвимом углу сердца затаилось чувство иной жизни, отдельной ото всего, чем

был поглощен Рагозин, и существование этой вымышленной жизни было больно, как неутоленная обида.

События заглушили отвлекающий зов сердца. Они потребовали от Рагозина той брони, которая вырабатывается нервами для самозащиты в условиях, когда все время стоишь лицом к лицу с опасностью и должен ее не замечать. Он ощущал в себе такую броню, и она была нетяжела ему. И, однако, в очень сильный момент этой гордой и уже нравившейся ему неуязвимости, как раз после случая с пушкой — когда он стрелял и ждал, что попадется некалиброванный снаряд и пушку взорвет,— как раз после этого случая Рагозина новым ожогом резнуло воспоминание о сыне.

Дивизион спускался к Быковым Хуторам, прославленным по всему низовью «арбузной столицей». Стояло удивительно тихое утро, либо оно чудилось удивительным после грома боев за Николаевскую слободу и Камышин. Здесь было очень высоко для левого берега, и заросшие травой обрывы с недвижными ивами зелено повторялись в воде. Ожидая сведений от высланной к Быкову разведки, суда задержались против разбросанных на берегу бахчей.

Дощаники, груженные арбузами, с деревенскими мальчиками на веслах, подошли вплотную к канонеркам. По воде далеко на стороны разносились тонкие голоса бахчевиков в перекличку с матросским смехом на судах. Шла бойкая торговля. Арбузы, подбрасываемые с лодок, взлетали вверх, а с бортов канонерок падали в лодки бумажные свертки с солью и спичками, ломти хлеба, папиросы. Поплыли по воде, приплясывая, обглоданные арбузные корки, которыми с веселым озорством кидались матросы.

Рагозин долго смотрел на воду, испытывая то счастливое недоумение, какое бывает у горожанина, если он, подняв голову, нечаянно увидит легко наслоенные друг на дружку перистые облака в приволье неба. Да, существовала извечная счастливая тишина воды и неба, и дерзость мальчишеских дискантов населяла эту тишину молодостью, и берега звали к себе ласково, как может звать человека только земля. И вот все вместе — Волга с арбузными корками, перезвон голосов в тишине, погожее утро — опять связало Рагозина, как путами, мыслью о сыне, о жизни с сыном, непохожей на все прежнее и безраздельно отвлеченной от настоящего. Броня, защищавшая Рагозина от грома, до непонятности легко пробивалась тишиной, и боль опять проникла в сердце.

Далекий орудийный выстрел разбудил пространства, за ним — другой. Перепуганные мальчики на дощаниках, прыгая и переваливаясь через горы арбузов, бросились на весла. Баграми матросы помогали отвалить грузные лодки от бортов кораблей. Запели

скрипучие уключины, забулькала вода под веслами, окунаемыми по-волжски часто и глубоко. И тут над самой речной гладью разорвался шрапнельный снаряд.

Рагозин видел, как притаились на секунду маленькие гребцы и как потом, сбившись с удара, беспомощно забрызгали водой тяжелые весла.

Он побежал к мостику, чертыхаясь. Нет, нельзя было даже долькой души отдаваться раздумью! Все было призраком — тишина, сонное утро, заманчивая ласка берегов. Ни смех, ни детские голоса не могли звенеть на земле, находившейся во власти порохового грома. Артиллеристы заняли места у орудий, плицы колес шумно вспенили воду, сигнальщик начал свое тревожное письмо в воздухе...

Поход на Царицын одни моряки называли церемониальным маршем, другим он казался непрерывной цепью горячих боев. Как во всяком сражении, одни части армии наносят и принимают на себя решающие удары, а другим выпадают либо схватки, либо готовые результаты успеха,— так и в походе Волжской флотилии тысячи матросов, выйдя из тяжелого боя, вступали в еще более тяжелый, а тысячи других шли от легкого боя к легкому либо совсем не вступали в дело и радовались, что противник бежит, уклоняясь от встречи.

Так десантный отряд и партизаны, нанесшие деникинцам удар под посадом Дубовкой, знали настоящую цену своему стремительному успеху. Их путь был прегражден кинжальным огнем батарей белых. Десантники с хода выбросились на берег в тылу у артиллерии, опрокинули защищавшую ее пехоту, разгромили батареи и, обернувшись на Дубовку, ворвались в посад. В представлении участников этой десантной операции бой за Дубовку был лихим обходным маневром, потребовавшим исключительной отваги и жертв. В представлении же тех экипажей, которые не участвовали в бою, взятие Дубовки было только одним из других таких же успехов десантных отрядов.

Но никто из команд флотилии не мог разойтись во взгляде на Царицынский бой, в котором приняла участие вся матросская масса и которым несчастливо оборвалось наступление.

Этот трехсуточный бой за Царицын начался штурмом города при поддержке ураганного огня кораблей. Ряд поражений и глубокий отход, казалось, расшатали силы деникинских войск. Еще на дальних подступах к Царицыну с судов видны были пожарища: белые сжигали все, что не могли взять с собой, подготовляя эвакуацию города. Опыт сопряженных действий военной флотилии с пехотой, оправдавший себя за время похода, должен был быть применен под Царицыном в невиданном на Волге масштабе. Все

как будто сулило смелому предприятию удачу. И, однако, события приняли иной оборот.

Прибрежный участок белых был сбит огнем судовой артиллерии и сухопутным отрядом моряков. Матросы атаковали и захватили Французский завод.

Справа, на внешнем поясе окопов, действовала одна из отличившихся пехотных дивизий Красной Армии. Врангель, готовясь к обороне, стянул около трех кавалерийских корпусов в маневренную группу. Дивизия попала под фланговый контрудар превосходящих конных сил. Тем временем моряки, увлекаемые своим успехом, обособленно продвигались с Французского завода к городу и ворвались в Царицын. Дивизия принуждена была отойти. Тогда белые перебросили силы против моряков и отрезали им отступление из города. В отчаянном сопротивлении большая часть матросов погибла.

Преобладание белых становилось очевидным. Они располагали крупным узлом железных дорог, быстро маневрирующей конницей, хорошей разведкой. Но борьба не утихала.

Флотилия применила заградительный огонь и остановила белых. Еще и еще раз красные части переходили в атаки. Деникинцы обратили против наступающих все свои силы. Они ввели в бой танки и авиацию. Английское и французское оружие, присланное на помощь Деникину, нашло здесь поле для широкого употребления: самолеты делали по двенадцати групповых атак в день, сбрасывая сотни бомб, особенно — на воду.

Стоял общий гул. Только залпы плавучих фортов да отдельные выстрелы орудий более крупного калибра выделялись из канонады. Корабли подошли вплотную к поясу окопов белых, навлекая на себя ожесточенный огонь.

С борта «Октября» Рагозин видел, как вышел из строя «Рискованный»: два снаряда друг за другом попали в камбуз и в палубу. Катера помчались снимать раненых. Задымилась исковерканная снарядом палуба. С «Октября» запросили — нужна ли помощь. «Рискованный» ответил: «Благодарю, справляюсь, бейте белых».

Вскоре замолкло носовое орудие на «Октябре». Чтобы не терять времени, решено было не разворачиваться, а перетащить на место поврежденного орудия пушку с юта. Но винты креплений проржавели, гайки не поддавались ключам. Пришли механики — распиливать и сбивать гайки.

Рагозин смотрел, как Страшнов — в одной полосатой тельняшке — бил клепальным молотком, и правая лопатка у него арбузом каталась под огромным плечом.

«Эка, чертушка!» — вдруг залюбовавшись, подумал Рагозин.

Он вместе со всеми был поглощен работой, не обращая внимания на обстрел с берега, не слыша пушечного зыка, к которому успело привыкнуть ухо: «Октябрь» подводил к концу третью тысячу снарядов, и многие канонерки от него не отставали.

Когда вручную перетащили пушку на бак и, закрепив, возобновили стрельбу, Рагозин хлопнул Страшнова по лопатке. Тот мазнул засученным рукавом мокрый лоб, обвел взглядом дымную окрестность, сказал, что-то одобряя:

— Да, голка!

— Что говоришь?

— Голчи́сто, говорю.

Рагозин не понял слова, но понял, что все равно нет на языке такого слова, которым можно было бы назвать почти трехсуточное беснование взрывов и стрельбы, и тоже с одобрением мотнул головой Страшнову.

Под вечер третьего дня дивизион получил приказание послать на берег с каждого корабля ударные группы добровольцев в подкрепление отрядам моряков. На «Октябре» вызвалось идти больше людей, чем требовалось, и Рагозин отставлял тех, кого считал незаменимым на корабле. Страшнов хотел идти, Рагозин приказал ему остаться. Но когда катера высадили на берег добровольцев и матросы начали строиться, Рагозин увидел в шеренге, на полголовы выше правофланговых, громоздкого человека в бушлате и кожаной фуражке: Страшнов глядел вбок, и лицо его было неприступно. Рагозин сделал вид, что не приметил его.

Подкрепление, разделенное на два взвода, каждый до полусотни человек, было немедленно направлено на переднюю линию. Рагозин со своим взводом попал на участок, занятый остатками отряда, который брал Французский завод. Это был пустырь, захламленный и наскоро изрытый шанцами, немного поднятый над степью, где виднелась искривленная линия залегших цепей.

Велся орудийный обстрел противника с кораблей, пыль закрывала собой позиции белых. Было гораздо тише, чем на борту «Октября», но Рагозин чувствовал, будто его вместе с тихой этой землей так же покачивало, как на корабле.

Он лежал в неудобной яме, защищенной спереди бугром глины и открытой по сторонам. Глядя вправо на такой же бугор, который ему указали, он ждал, когда с этого бугра командир отряда даст сигнал поднимать цепь.

Солнце село за тучи, пронизав их багровым светом, как это бывает перед ветреной погодой. Все на земле вторило закату, и глина шанцев отливала красным. Рагозин насчитал на земле десяток английских матерчатых подсумков, брошенных белыми при отходе.

Едва артиллерия стихла, он увидел, как закарабкался на бугор и потом скачком распрямился на нем и поднял над головой руки высокий человек. Рагозин тоже вылез из ямы, так же вскочил на свой бугор и так же, подняв руки, спрыгнул с бугра и пошел вперед.

Цепь начала подниматься, и Рагозин заметил, что она гуще, чем он думал, когда она лежала. Он следил, катят ли пулеметы (перед высадкой были сняты с треног и поставлены на колеса пулеметы «максима»), и успокоился: их катили, не отставая от побежавшей цепи. Он следил, не отставал ли его взвод от соседей справа, и опять успокаивал себя, потому что матросы бежали в линию. Он проверил, спущен ли на маузере предохранитель, и уверился, что спущен. Он вгляделся, не забыл ли кто насадить на винтовку штык, и ему показалось, что щетина выставленных вперед, прыгающих на бегу штыков нерушимо стройна.

Задавая эти вопросы и отвечая на них, он все глядел перед собой на пустырь, который покойно стлался впереди, облитый чуть-чуть потемневшим закатом.

Он скоро заметил красно-желтое пыльное облако наискосок от наступавшей линии матросов. Затем он услышал голоса, передававшие справа по цепи команду. Он сначала не разобрал слов, потом до него долетели крики: «Ложи-ись!» — «Ого-онь по кавалери-и-и!» Он тоже крикнул влево от себя:

— Ложи-ись! Ого-онь по кавале...

Немного спереди пыли он рассмотрел длинный строй низеньких коней, часто перебиравших ногами. Над строем светящимися нитями загорались и потухали клинки сабель. Казаки лавой лились по степи, накатываясь ближе и ближе с каждой секундой.

Грянул винтовочный залп, и его подхватили, соревнуя друг другу в завывающем стуке, пулеметы.

В казачьей лаве появились бреши, плотный строй расчленился на столпившихся кучками коней в одних местах и на реденькие цепочки в других. Но лава еще накатывалась, вырастая, и топот копыт уже передавался землей телу Рагозина, точно сердце его стучало не в грудь, а прямо в почву.

Новые залпы кое-где еще больше сжали кавалерию в отдельные кучки, кое-где рассыпали. Одни кони стали выбрасываться вперед, другие отставать.

Рагозин уже различал передних коней по мастям и видел закинутые кверху ощеренные морды, за которыми пригибались седоки, когда пулеметы подняли свой металлический вой до визга, и стало видно, как с седел срывались то тут, то там казаки, и лошади, обезумев, мчались без седоков либо тоже рушились на землю.

Тогда Рагозин расслышал чугунный конский топот совсем рядом и вовсе не оттуда, откуда ждал. В небывалом страхе глянул он и перекинул налево свой маузер.

На виду у его взвода вынеслись на пустырь из-за разрушенных хибар яростные всадники. Их было до сотни — на крупных, тяжелоногих конях — и впереди летел, клинком вычерчивая в воздухе спирали, моряк в распахнутом бушлате и бескозырке. Конь серой масти под ним недовольно крутил головой. Ленточки винтились у моряка над затылком, и полы бушлата били по коленям. Он привстал в стременах. Рот его был открыт. Сотня позади него кричала «ура!».

Рагозин прежде только слышал о матросах-всадниках, воевавших об руку с сухопутными отрядами моряков, но никогда не видел их в строю. Теперь он смотрел на них в деле. Они скакали на грузных своих лошадях, как истые конники, но вид у них был такой, будто они рванулись в рукопашную схватку: все на них развевалось и плясало под порывами тела и встречного вихря.

Крайний из этой сотни всадник промчался совсем близко от Рагозина. Он разглядел лицо матроса, перекошенное застывшим смехом, и разобрал необычайную команду-крик.

— Лево руля, братишки! За мно-ой! — кричал со своим выражением недвижимого хохота матрос.— Та-ак держать!.. Туды-т-твою...

— А-а-а! — неслось следом за умчавшейся сотней.— А-а-а!..

Стрельба остановилась. Рассеянная огнем кавалерия в беспорядке поворачивала назад, прибавляя ходу. Матросы-всадники уже сидели у казаков на плечах, и в воздухе засверкали шашки.

В этот момент цепи опять поднялись в атаку.

У Рагозина было такое состояние, что разгром белых только задерживается, но что он неминуем, и вот теперь осталось последнее усилие, чтобы сломить сопротивление и захватить город.

Вид конных матросов только укрепил это чувство, и, оглянувшись на свою цепь, Рагозин увидел, что взвод его — не хуже всадников, а так же яростен, так же стремителен на бегу, так же слит в нераздельный сгусток.

Матросы бежали за Рагозиным, овеваемые своими вьющимися винтом ленточками, либо гололобые, потерявшие бескозырки, кто с трепыхающимися за спиной воротами рубах, кто в одних тельняшках, мокрые, как пловцы, кто в кожанках нараспашку, кто с патронными лентами крест-накрест по груди.

«Такие люди если идут, то идут только за победой,— подумал Рагозин,— и победа — вот она! — впереди!»

Стала ясно видна наконец позиция белых — изломанный окоп в конце пустыря, и Рагозин услышал нарастающее по цепи гудение голосов: матросы зачали «ура!».

В то же время справа он опять близко увидел конных моряков, вразброд скакавших по пустырю, и за ними — новую лаву казаков, наползавшую оттуда, где только что спасалась бегством расстроенная кавалерия.

И тогда из-за окопов хлынул по наступающим беглый огонь.

Рагозин споткнулся, упал лицом вперед, хотел встать. Но будто кто-то придавил сапогом к земле его плечо и не отпускал.

— Пусти,— крикнул он, но рот ему залепило глиной, и он сам расслышал только мычанье.

Он повернул голову и стал со злобой выплевывать глину.

В двадцати шагах от него мчался на коне тот моряк в распахнутом бушлате, который повел на казаков сотню.

Едва Рагозин признал моряка, как тот изо всей мочи натянул повода, отвалился спиной на круп коня, но тут же выпустил повод, и конь стряхнул его наземь. Одна нога всадника мгновение еще торчала в стремени, потом выскользнула.

Конь же, как в цирке, встав на дыбы, пошел на задних ногах, колотя копытами передних воздух. Серый, в яблоках, освещенный закатом, он переливался пунцовыми пятнами и словно взлезал по вертикали на небо. Он вдруг показался Рагозину таким маленьким, что его можно было бы уместить на листе бумаги. Потом он опять вырос и поскакал в степь.

Среди криков, долетавших до него, Рагозин услышал сильнее всего:

— Комиссар!.. Комиссар!..

Он еще больше повернул голову, чтобы посмотреть — кто же его так прижал сапогом к земле.

Он увидел прямо перед своим лицом будто знакомое, но неузнаваемое лицо скуластого человека с раздутыми ноздрями и тяжелым, подавляющим все черты подбородком. Человек этот, оскаливаясь, кричал ему на ухо:

— Куда тебя? Куда?

Рагозин не понял, что нужно этому человеку, но тут же вспомнил, что это — Страшнов, и почему-то обрадовался, и хотел ему крикнуть в ответ, но не мог, а только прокряхтел кое-как:

— Я сам,— и стал подыматься.

Никогда не испытанной силы боль в ключице и плече принудила его не двигаться.

— Что сам? Несогласный! Сам...— сердито гудел Страшнов, поворачивая его и подсовывая свои руки ему под спину и под колени.

Потом Страшнов поднял его и побежал с ним, как с ребенком. Рагозин ничего не слышал, кроме толчков боли, от которых мутилось сознание. Страшнов же набавлял шаг, пригибаясь под тяжестью ноши и от ужаса, что не успеет вынести раненого с поля, как настигнут казаки. Топот кавалеристов слышался громче, чем в первый раз, и опять раздались залпы...

Уже почти на берегу Страшнов перехватил санитаров с носилками и затем доставил Рагозина моторным ботом на «Октябрь».

Но корабль был поврежден: снаряд разорвался в кубрике, наспех шла починка рулевого управления мастерами плавучей ремонтной мастерской, пришвартованной к борту. На этой самоходной барже-мастерской нашлась каюта, в которую перенесли Рагозина. Командир дивизиона пришел к нему, когда судовой врач, осмотрев раненого, доложил, что раздроблена левая ключевая кость, задет нервный узел и нужна операция.

— Вот, видите ли,— снисходительно строго, как положено с больным, сказал командир,— мы вас, голубчик, эвакуируем в госпиталь.

В спокойном положении боль не так люто мучила Рагозина. Он ответил тихо:

— Я вам не подчинен, товарищ командир.

— Мы, голубчик, пять лет кряду воюем. А вы — подчинение!

— Словом... остался.

— Нет, родной. При наличии возможности, обязан эвакуировать. Вас там маленько прозондируют — что к чему.

— Как там... на берегу?

— Зачем — на берегу? На судне госпитальном медики прощупают.

— Дела, говорю... на берегу... а?

— Дела своим чередом. Делами мы займемся. Вот пока огонь не открыли, мы вас и транспортируем полегоньку.

— Какой огонь?

— Прикрывать будем. Отход прикрывать, голубчик.

Рагозин не сводил взгляда с командира. Глаза его светились лихорадкой. Было явно — у него начался жар. Он потянул голову кверху, но не удержался. Сморщившись, он спросил:

— Отход?.. Страшнов!.. Как — отход?

Страшнов, заглядывавший через приоткрытую дверь, шагнул в каюту.

— Лежи, ладно,— сказал он шепотом,— все хорошо.

Рагозин стонущим криком оборвал его:

— Что баюкаешь?! Нянька!..

Потом притих и выговорил глуховато:

— Небось выдержу... Чего хорошего, когда отступаем?

— Как чего? — обиженно сказал Страшнов.— От Саратова мы их отжали? За Волгу не пустили? Они у Эльтон-озера ручку было потрясли уральцам. А мы им пальцы-то укоротили...

— Баюкай! — вздохнул Рагозин и прикрыл глаза.

Командир, выходя, шепнул Страшнову:

— Зови санитаров. На бот с правого борта...

Доктор следил, как несли раненого и потом вставляли носилки в люльку, подвешенную на трос лебедки. Моряки скучились на борту. Зашипел пар, трос медленно натянулся. Страшнов наблюдал, чтобы носилки не сплющило концами люльки.

Рагозин рассмотрел его над собой, чуть приподнял правую руку. Страшнов пожал ее бережливо.

— Да,— сказал он.

— Вот так,— ответил Рагозин.

— Да уж ладно,— согласился Страшнов.

Трос натянулся туже, люлька поднялась, и Страшнов стал отводить ее за борт.

— Ви́ра, ви́ра, помалу,— негромко сказал он, и моряки передали на ют: «Ви́ра, помалу!»

Уже совсем как оттолкнуть люльку, Страшнов увидел в полутьме, что Рагозин хочет еще говорить. Он придержал на мгновенье трос.

— Помогай тут,— сказал Рагозин быстро,— чинить корабль...

— Учи волгаря рыбу пластать,— усмехнулся Страшнов.

— Жалко, ты не волгарь!..

— Ви́ра! — громко скомандовал Страшнов.

Он оттолкнул трос и напутственно крикнул опускавшемуся, дочерна затененному бортом Рагозину:

— У нас в Поморье не хуже волгарей окают! До свиданья, Петр Петрович! Поправляйся лучше!

— Поправляйся, товарищ комиссар,— разноголосо повторили за ним моряки, перевешиваясь через поручень и глядя книзу, в темноту.

Минуты две спустя бот отвалил и, шумно развернувшись вокруг «Октября», пошел на середину реки. Огонек его еще светился желтым пятнышком на воде, когда флотилия открыла стрельбу своей артиллерии, преграждая огневой завесой путь нажимавшим к северу белым.

31

Лиза венчалась с Анатолием Михайловичем в середине сентября.

В ненастные сумерки два извозчика подъехали к Казанской церкви, и Лиза, подбирая белое платье, перешитое из первого ее

подвенечного наряда, вошла в ограду. На миг проглянула через решетку стальная полоса Волги — все та же, какой Лиза видела ее каждую осень, и она удивленно подумала, что вот так же все еще течет непрерывная жизнь прежней Лизы. Она ступала на паперть с этим чувством удивления, что она — все та же Лиза.

Горело несколько тоненьких свечей за аналоем в середине церкви, а по углам было темно. Казалось, что как раз в темноте будет совершаться та тайна, ради которой сюда приехала Лиза, а там, где было светлее, произойдет что-то очень обыкновенное.

Витя смотрел венчание впервые. Оттого, что мама стояла лучистая и строгая, а Анатолий Михайлович был важен (наверно, чтобы показать, что он теперь Вите отец, а не просто Анатолий Михайлович), Витя не сомневался в праздничном значении церемонии. Но когда, с поднятым венцом над головой, Анатолия Михайловича стали водить вокруг аналоя об руку с мамой, шедшей под таким же венцом, Вите сделалось ужасно весело. Анатолий Михайлович под этой золоченой короной в самоцветных камнях стал разительно похож на царя Николая, и Витя тихонько хихикнул. Его одернули. Он обернулся и увидел поодаль двух таких же, как он, мальчишек, забежавших с улицы, которые глазели на Анатолия Михайловича и щерились. Витя попятился, пролез через ряды взрослых, заткнул рот ладонью и дал волю смеху.

Насмеявшись, он заметил, что прислонился к холодноватой каменной колонне. Он немножко отодвинулся.

В полумраке с колонны глядел высокий обнаженный старец, прикрытый до ступней белой бородой. Взор его был голоден и жгуч. Витя отошел еще дальше. Он чувствовал, что поступил предосудительно. И вдруг его стало беспокоить непонятное и пугающее разноречие между Анатолием Михайловичем в короне и нагим старцем с голодным взором. Весь обряд до конца он простоял в этом беспокойстве и все озирался на святого.

Но в общем свадьба Вите понравилась. Он проехал оба конца на извозчике — в церковь и домой. И там и тут было оживленно. Среди гостей находились незнакомые Вите люди, приглашенные Анатолием Михайловичем. За столом они скоро развеселились, стали говорить в безглагольной форме:

— А мы ее сейчас... вот под это самое...

— Ух!.. Хо-ро-ша-а...

— На чем вы ее?

— Ах, на зверобое! Ну, тогда, коне-ечно!

— Калган вот тоже — ух!..

— Куда! Против зверобоя не-е!..

Вдруг — словно шквал налетел на листву — зашумели все сразу:

— Позвольте! — Нет, я сейчас кончу! — Тише! — Одна минутка! — Да ты погоди, так же мы никогда... — А я о чем? Я о чем? — Э, не-е-е, не-е-е!.. Дайте же договорить, так нельзя-а-а!.. Вот то-то и оно!..

Затем шквал пронесся, листва успокоилась. Гости начали тяжело мигать, разряжать длинные паузы неопределенными н-н-да-м-м... и низко клонить головы. В эти минуты те, кто умел поораторствовать, проявили глубокомыслие.

— Обратите внимание,— отвечал на спор Ознобишин, чуть дирижируя своей женственной кистью.— Запрет одного деяния всегда поощряет деяние, ему противоположное. Запрещено враждовать — значит заповедано любить. Осуждая жестокость, мы тем самым одобряем милосердие. Теперь представьте наоборот: мы стали преследовать милосердие. Что же получится?

— Беспощадность! — воскликнул один гость, мрачно подняв и снова роняя голову.

— Кто же преследует милосердие? — спросил студент (его пригласили, потому что он лечил Лизу впрыскиваниями кальция).— Возьмите народное здравоохранение, которому предстоит...

— Ну что же это за милосердие,— шутливо вмешалась Лиза,— когда вы вот такой иголкой — прямо в мясо!

Она была хороша в своем убранстве, знала это, и ее немного задевало, что гости захмелели, понесли вздор, отвлекая от нее Ознобишина и забывая, что ведь это свадьба и все должно быть полно счастья. Ей показалось, что только сын любуется ею чаще и больше других. Она налила ему бокал свекольного морса.

— Это ты должен за меня, за себя и за Анатолия Михайловича с нами.

Она с радостью смотрела, как жадно Витя глотал, краснея и восторженно глядя ей в лицо.

Нет, все-таки это была настоящая свадьба, хотя и с извозчиками вместо карет, с морсом вместо шампанского, без музыки и новых туалетов. Не торжественная, но приподнятая значительность лежала на каждом предмете комнат, по крайней мере — взгляд Лизы придавал им эту особенность.

Гости скоро разошлись — до того часа, после которого запрещено было ходить по улицам,— и дом наполнился торопливым звеньканьем и стуком уборки.

Когда навели порядок, Анатолий Михайлович сел рядом с Лизой на диванчик. Он обнял обеими руками ее руку и своим преданным взором с хитринкой безмолвно сказал, что теперь достигнуто то, к чему оба стремились, что у них теперь семья, нора, скорлупа, в которой можно, прижавшись друг к другу, укрыться от непогод человечества.

— Я такой богач! Все, что есть твоего,— проговорил он после молчанья,— сейчас мое. Спасибо тебе.

— Уже давно твое,— ответила Лиза.

— Теперь по-настоящему, без остатка. Как в старинных купчих крепостях говорилось, знаешь? С хлебом стоячим, и молоченым, и в земле посеянным...

Они услышали покашливанье за дверью. Анатолий Михайлович встал.

Матвей, старик сосед, топтался в коридоре, стесняясь постучать. Оказалось, пришел с улицы какой-то мужчина и, хотя Матвей сказал ему, что время неудобное — после свадьбы! — настаивает, чтобы его допустили к Лизавете Меркурьевне. Может, вернулся кто из гостей? Нет, это чужой, который себя не называет.

Лиза вышла на шептанье в коридор, сразу встревожилась, велела пустить.

Минутой позже Анатолий Михайлович привел незнакомца в комнаты.

Это был низенький человек неопределенного возраста, несмелых манер, с лентой седины на темени, давно не бритый. Перебирая пальцами поля соломенной шляпы, он внимательно осмотрелся и быстро проверил, застегнут ли на все пуговицы пиджак. Видимо, он был озабочен, чтобы внешность не помешала расположить к нему хозяев дома.

— Я — могу? — спросил он тихо и опять скользнул глазами по стенам комнаты.

— Что вам угодно? — невольно тихо, как он, спросила Лиза.

— Лизавета Меркурьевна?

— Да, да, пожалуйста, говорите.

— Считая долгом выполнить обещание, которое дал вашему родителю, я поспешил вас разыскать... извините, не в урочный час.

— Вы от отца?

— Если вы будете Меркурию Авдеевичу дочерью, то я имел бы...

— Я дочь Меркурия Авдеевича Мешкова. Вы от него? Из Хвалынска?

— Нет, я здешний.

— Но вы были... вы приехали из Хвалынска?

— Имела место случайность, которая привела увидеть вашего родителя неожиданно, как для меня, так равно...

— Вы виделись?.. Что с моим отцом? — громко вырвалось у Лизы, и она не шагнула вперед, к чему толкал ее вдруг поразивший страх, но отшатнулась и туго сдавила руку мужа. Она уже ясно видела в низеньком приличном господине недоброе, знала, что он конторским своим языком объявит сейчас беду, и все в ней

готовилось встретить удар, и словно только рука мужа, которую она сильнее и сильнее сжимала, могла помочь ей собрать силы.

— Вы видели Меркурия Авдеевича не в Хвалынске? А где же? — спросилОзнобишин, поглаживая руку Лизы.

— Я здешний, как вам доложил, и никогда выезжать из города не имел намерения. Но, волей независимой случайности, выехал не так давно... гораздо точнее, очутился вывезенным неотдаленно, и к моему счастью, не на продолжительный срок.

— Вы хотели о Меркурии Авдеевиче,— сказал Ознобишин.

— Совершенно верно. О том, на каком случайном основании с ним встретился. Я имел неприятность быть вывезенным на Коренную. Изволите знать?

— На Коренную? — переспросил Ознобишин, хотя, очевидно, переспрашивать ему было не нужно, потому что он тотчас осунулся и в испуге глянул на Лизу.

— Что это? — спросила она, тоже понимая, о чем шла речь, но еще не желая признаться себе, что все понимает.

— На баржу,— объяснил деликатный человек.— Был вывезен на баржу. И сегодня отпущен, в силу полной выясненности досадного недоразумения. Отпущен в Покровск, и оттуда на пароме прибыл сюда, и поспешил к вам, не теряя времени. В исполнение долга обещания.

— Он... там? — спросила Лиза, вытягиваясь, будто вырастая на виду у всех.

— К печальному сожалению, извините, в настоящий момент Меркурий Авдеевич на барже...

Лиза всем телом прижалась к мужу. Он обнял ее, подвел к диванчику, и она села.

— Вы, безусловно, меня извините, но я — как человек слова, а также в интересах вашего родителя, с которым последнее время содержался вместе. Он меня очень просил, и я дал обещание передать, как для него дорога в его прискорбном положении каждая минута.

— Какая минута? Для чего? — уже действительно не понимая, сказала Лиза.

— Ваш родитель попал в нехорошее общество. И был доставлен по этапу водой, как я сейчас по вашим словам могу судить, из Хвалынска. Меркурий Авдеевич са́м мне про это не говорил. И, по прибытии с этапом, оставлен на воде. То есть путем переведения на баржу, поскольку плавучая тюрьма была ближе прочих таких мест. Общество, в котором он задержан, состояло, собственно, из одной личности. Но личность, как мне Меркурий Авдеевич высказал, нехорошая. Извините, бывший жандарм. Будто бы с известной фамилией Полотенцев.

— Бог ты мой! — всплеснул руками Ознобишин.

— Как на барже стало известно, Полотенцев вскоре же по прибытии (тут этот человек сделал кривую мину, отчасти похожую на улыбку) отошел в селение праведных, хэ... идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание. Или, как говорится, жития его было столько и столько лет.

— Но говорите же, пожалуйста, об отце! — неожиданно сурово остановила его Лиза.

Он чуть осекся, но продолжал опять с завитками.

— В связи с прямолинейным развитием дела Полотенцева Меркурий Авдеевич имеет крайнее опасение за собственную участь.

— Отец не мог иметь ничего общего с каким-то жандармом!— с негодованием сказала Лиза.

— То есть не подлежит сомнению, нашему с вами сомнению. Наблюдая, я пришел к заключению, что в силу личных склонностей ваш родитель ни к чему не причастен, кроме святой молитвы. Меркурий Авдеевич усердно молится. Но в настоящий момент, в чем на себе убеждаюсь, действуют фатумы.

— Что? — спросил Ознобишин.

— Фатумы. И Меркурий Авдеевич просит вас приложить все усилия к помощи, потому что может ожидать каждую минуту что угодно, вплоть...

Здесь незнакомец боязливо обернулся назад.

Из другой комнаты тихо вышел Витя и остановился, разглядывая его вызывающе гневными глазами.

— А дедушка жив? — спросил он как-то очень грубо.

— Да,— ответил приличный господин, будто заробев под взглядом мальчика.— Могу твердо сказать за сегодняшнее утро, когда был отпущен, что Меркурий Авдеевич еще оставался на барже.

— Я знаю баржу на кореннике,— решительно сказал Витя.— Мы когда с Арсением Романычем ездили па пески, мы видали, где она. Она на мертвом якоре. Арсений Романыч говорил — там сидят контрреволюционеры. А дедушка наш совсем другой! Возьмем, мама, лодку и поедем!

— Перестань, Витя, ступай отсюда,— сказал Анатолий Михайлович, но Лиза быстро подняла руки к сыну:

— Иди ко мне.

Она притянула Витю к себе.

— Я, таким образом, обещание сдержал,— сказал пришелец, накладывая шляпу на сердце и вежливо шаркая ногой.— Со своей стороны, советую как можно поспешить.

— Не знаем, чем вас отблагодарить,— сказал Ознобишин.— Хотя благодарить как-то даже... вы понимаете? Такая весть...

— Вполне! Поскольку сам находился в замешательстве, чтобы вас безболезненнее подготовить.

— Подготовить? К чему? — вдруг вспыхивая, привстала Лиза.

— Извините! Не подготовить, а произвести вас к действиям для спасения родителя. Я без корысти, а только из одного расположения к Меркурию Авдеевичу. Он меня покорил смирением. Достойный человек! Я его давно уважаю.

Он приподнял руку ко рту.

— Между нами, конечно: до ликвидации Меркурием Авдеевичем торговли я состоял доверенным в соседней лавке. Так что вас, Лизавета Меркурьевна, по прежним годам сейчас вспоминаю. И желаю вам успеха в смысле помощи родителю.

Он еще раз прижал к груди шляпу, стал откланиваться. Вите он поклонился отдельно.

Анатолий Михайлович проводил его и вернулся, стараясь не шуметь.

Лизу он застал в том положении, в каком оставил, когда выходил. Она сидела, обняв сына, сосредоточенно что-то рассматривая перед собой. Она была строга, обтянутая своим торжественным белым платьем. Анатолий Михайлович присел напротив и скрестил руки. Некоторое время все были неподвижны. Потом Ознобишин наклонил туловище вперед, стараясь перехватить взгляд Лизы.

— Затруднительно может быть, если Меркурий Авдеевич замешан... с этим самым Полотенцевым,— сказал он тревожно.

Лиза тотчас взглянула на него теми большими глазами, которыми что-то рассматривала в пространстве.

— Не все ли равно, замешан или нет?

— Юридически отягощающее вину обстоятельство — факт такого общения.

— Разве наше дело в его вине? — с изумлением спросила она.

— Нет, Лиза,— сказал Ознобишин, мягкостью голоса торопясь сгладить впечатление от своих слов,— я говорю не о вине, я вместе с тобой уверен, что Меркурий Авдеевич ни в чем не виновен. Я говорю о препятствиях, которые могут помешать нашим хлопотам.

— Зачем думать о том, что может помешать? Надо думать, как скорее помочь.

— Именно, именно! Но изыскать верный путь как раз и означает предусмотреть препятствия, которые могут возникнуть. Чтобы их обойти. Ведь так?

— Ну, я же вам говорю, что знаю самый верный путь на баржу! — горячо и с недоумением, как это его не понимают, воскликнул Витя, подпрыгивая на диванчике.— У Арсения Романовича есть знакомый лодочник. Дядя Матвей его тоже знает. Возьмем лодку, и я вас...

Мать не дала Вите договорить, пригнув к себе его голову.

— Ты не думаешь о Рагозине? — спросила она мужа, ища ответа на его лице.

Витя вырвался из ее рук, вскочил и, раньше чем она вновь притянула его к себе, закричал обрадованно:

— Я, мама, думал о Рагозине, ей-богу! Я ведь у него был с Павликом! И все, как мы просили, так он все как есть сделал! Для Арсения Романыча. Петр Петрович сразу все сделает: он ведь дедушку знает!

— Нет, горячая голова, ты еще не годишься в советчики,— сказал Анатолий Михайлович с улыбкой, которая на мгновение отводила внимание от вопроса Лизы на мальчика.

Ознобишин сам не переставая думал о Рагозине с того момента, как понял, с чем явился нежданный вестник. Он понял в тот момент, что немедленно должны начаться хлопоты за Мешкова, что эти хлопоты целиком падут на него, что они опасны и, наверно, безнадежны, что, однако, он не может уклониться от них, как бы они ни были опасны и бессмысленны, и обязан их взять на себя. Он был испуган, что событие отзовется на здоровье Лизы, еще совсем не окрепшем, и что тем более он должен будет действовать, чтобы поддерживать в ней надежду на хороший исход дела. Но он был испуган не меньше тем, что хлопоты за Мешкова могут получить в глазах властей вид хлопот за Полотенцева, если Мешков обвинен в сообществе с Полотенцевым. Он чувствовал в то же время, что наступил час, когда он должен отплатить добром за добро, отблагодарить делом за ту заботу о нем, которую проявила Лиза и проявил Мешков, когда он попал в тюрьму. Он чувствовал, что благородство его призвано на проверку. Но он отдавал себе ясный отчет в своей беспомощности. Он был уверен, что в положении бывшего чиновника, заподозренного однажды в сокрытии своего прошлого, немыслимо рассчитывать на снисходительность или внимание властей к его просьбам. И он заранее убеждал себя, что ничего хорошего из его хлопот получиться не может. Ему был знаком единственный человек из тех, кто мог бы повлиять в таком трудном деле, как хлопоты за арестованного. Этим человеком был Рагозин. Но, сразу вспомнив о Рагозине, он тут же увидел его, каким тот остался в памяти после встречи на улице, когда Ознобишин упал, поскользнувшись на арбузной корочке. Рагозин остался в памяти жестко-прямым и насмешливым, со сво-

им отпугивающим словом: «Услужить мне не просто, я услуг не принимаю». Вместе с тем Ознобишин не мог не вспомнить своего страха и колебаний, с какими шел тогда к Рагозину, опасаясь, что вдруг откроется проделка с бумагой, украденной из архива. С тех пор как он утащил эту бумагу и закинул ее в Волгу, его преследовала болезненная тоска — а что, если обнаружится где-нибудь еще подобная вредная бумажонка? Ведь не могло же быть уничтожено все прошлое, оно где-то живет, и вдруг высунется из какой-нибудь глупой щели на свет божий? Что тогда? Как у юриста, у него было повышенное правосознание, и та придирчивость, с какой он прежде относился к чужой ответственности за проступки, оборачивалась теперь на него самого и лишала спокойствия. Ему было боязно думать, что придется опять глядеть в глаза Рагозину.

Эти мысли, и опасения, и страх за себя, за жену, за ту жизнь, к которой он только что понадеялся прийти и которой с первой же минуты угрожало испытание, все это много раз с непонятной скоростью успело обернуться в его голове и в сердце, пока он слушал извитую речь непрошеного гостя с соломенной шляпой, и все это продолжало еще стремительнее оборачиваться в воображении и в чувствах теперь, когда Лиза ожидала ответа на свой вопрос.

Вдруг Витя снова высвободился из рук матери, но не бурно, а тихо и сказал расстроенно:

— Я, мам, забыл: Рагозина-то больше нет! Павлик сказал, Петр Петрович — теперь морской комиссар и уехал. Может, Павлик наврал, а? — перебил он себя почти отчаянно и опять притих.— Только он сказал, что Петр Петрович уехал со всем флотом...

— Какое несчастье, если это действительно так! — поспешно выговорил Ознобишин.

Но уже до этого восклицания Лиза прочитала по лицу мужа ответ на свой вопрос. Она прочитала не весь ход его мыслей и чувств, но самое главное из того, что ей нужно было знать: она прочитала, что он боится хлопотать за отца и что ему стыдно в этом признаться.

Она улыбнулась горько и медленно.

— Вот он, мой хлеб стоячий, и молоченый, и в земле посеянный,— сказала она, покачивая головой и прямо глядя в глаза мужу.

Он не выдержал упрека, бросился к ней и, отрывая ее руки от сына, к которому она все тянулась, начал их целовать, бормоча:

— Не отчаивайся... Мы будем добиваться, мы добьемся!.. Мы найдем другой ход... другого человека, который нас поддержит...

Она сказала:

— Я уже нашла такого человека.

Он немного откинулся от нее. Во взгляде ее — ровном и тихом — он увидел как будто прощающее снисхождение. Он тотчас спросил:

— Кто?

— Извеков.

Это имя Лиза выговорила вслух впервые за много, много лет, и выговорила в странном спокойствии.

Ознобишин поднялся. Что-то отдаленное проступило в его памяти, связанное в прошлом с этим именем и с Лизой — какая-то детская ее растерянность или даже испуг, и особая ее прелесть, которая однажды привлекла его к себе, где-то на улице, или в камере прокурора, или на гимназическом балу,— он не помнил того, где это было. Но зато он мгновенно припомнил, что имя Извекова было связано с Петром Рагозиным, с несчастным делом, грозившим опять выплыть с другого бока, если бы пришлось столкнуться с Извековым.

— Это счастливая мысль, Лиза, право! — воскликнул Анатолий Михайлович, принимаясь ходить по комнате, чтобы как-нибудь затруднить Лизе почти холодное чтение мыслей по его лицу и не видеть ее неестественного спокойствия, которое начинало его преследовать.

— Прекрасная мысль! Мы непременно должны с этого начать — пойти к Извекову!

— Я пойду одна,— сказала Лиза.

— Я тоже, мам, с тобой! — опять вмешался Витя.— Я Извекова знаю. Когда мы ездили на пески с Арсень Романычем...

— Ах, ты с твоим Арсением Романычем! — отмахнулся Ознобишин.— Перестань, пожалуйста. Какая польза от этого блаженного!

— Ничуть не блаженный! — оскорбился Витя.— Он и в церковь не ходит, если хотите знать! Вот!

— Идем, я тебе постелю, давно пора ложиться,— сказала Лиза и увела с собой Витю.

Анатолий Михайлович продолжал узенькими своими шажками мерить комнату. Чуть медленнее, но все в одном направлении вращалась его мысль о беспомощности перед лицом несчастья, вдруг свалившегося на его плечи, не успел он заложить первый прутик своего гнезда. Да, эти часы после свадьбы прошли совсем не так, как заранее представлял их себе Анатолий Михайлович. И на рассвете, глядя воспаленными глазами за окно, он так же, как в ночной темноте, ничего не мог рассмотреть: ночь была холодной, и стекла запотели.

Поутру он собрался проводить Лизу, но она захотела идти

одна. Он поцеловал ее, и его обидело, что она отозвалась на поцелуй немыми губами.

Ее план был очень прост: она шла туда, где находился Извеков,— к месту его службы, чтобы говорить с ним, как с человеком, занимающим ответственную должность, говорить как просительница. Она шла не к тому Кириллу, с которым когда-то была близка. Она шла к секретарю городского Совета, к тому товарищу Извекову, фамилию которого прочитала в газете, когда он появился в городе после девяти лет отсутствия.

Она тогда сказала себе, что не должна с ним встречаться. По буквам разнимая и складывая в уме его фамилию, перечитывая ее до ряби в глазах и слушая, как — по буквам — она выстукивается сердцем, Лиза застыла над строчкой с этой фамилией и уговаривала себя, что того Извекова, который был ей близок, больше нет, и поэтому она не в состоянии его увидеть, а тот Извеков, о котором напечатано в газете, ей вовсе не близок, и поэтому ей незачем с ним видеться.

Теперь, идя к нему, она так же уговаривала себя, что идет к секретарю Совета, а не к Кириллу. Но совершенно так же, как было, когда она перечитывала фамилию Извекова в газете и сердце ее не соглашалось с тем, будто это не прежний, а какой-то другой Извеков, который ей совсем не нужен, так теперь сердце не соглашалось, что она идет не к прежнему Кириллу, а к какому-то неизвестному ей секретарю Извекову, в котором у нее нужда.

Если бы она не рассчитывала найти в секретаре Извекове именно Кирилла, способного увидеть в ней Лизу и выполнить ее просьбу ради прежних отношений, то почему ей было бы не пойти к другому секретарю, или к председателю Совета, или к любому власть имущему человеку со своей просьбой? Однако она шла именно к Кириллу и все-таки уговаривала себя, что идет не к Кириллу, а к секретарю Совета, как простая просительница.

Но когда она пришла в Совет, ей сказали, что Извеков только утром возвратился из командировки, поехал домой, и на службе будет неизвестно в какое время.

Очутившись вновь на улице, Лиза остановилась у палисадника. Акация еще не пожелтела, но листва была блеклой и сухой. Ветер что-то шарил в ней, она не шумела, а жестко шуршала. Лиза оторвала одно солистье, стала откусывать ногтями и бросать на землю листочек за листочком. Вдруг, как в детстве, она загадала — дожидаться Извекова или пойти к нему домой? Она быстро оборвала листочки до конца. Вышло — идти к Извекову домой!

Она все равно пошла бы к нему домой — получилось бы по загаданному или нет. Но оттого, что получилось, она тут же ска-

зала себе: это к счастью. Ведь секретарь Совета остается секретарем и у себя дома. И если Лиза пойдет к нему на дом, это не будет означать, что она пошла к Кириллу.

Она вернулась в Совет и спросила домашний адрес товарища Извекова. Ей не дали адреса.

Она опять вышла на улицу. Она находилась в том состоянии человека, как сомнамбула стремящегося к цели, когда препятствия только усиливают стремление. Она рассудила, что Извеков должен жить вместе с матерью, в противном случае — Вера Никандровна скажет ей, где сын живет. Значит, она должна была немедленно идти к Вере Никандровне. Это очень воодушевило ее — что она идет не к Кириллу, а к Вере Никандровне. Удивительно, как она раньше не подумала, что лучше всего начать именно с Веры Никандровны, которая все сразу поймет и, конечно, повлияет на сына, чтобы он помог Лизе. Ведь не могла же Вера Никандровна позабыть, как Лиза вместе с ней хлопотала о Кирилле, когда, девять лет назад, его арестовали.

Мысль ее опять натолкнулась на препятствие: она не знала, где живет Вера Никандровна. Можно было поехать по старому адресу. Очень, очень давно, когда Лиза еще ждала ребенка, она однажды почти собралась к Вере Никандровне и узнала адрес от Аночки Парабукиной. Она не поехала тогда к Извековой — чего-то устрашившись,— но запомнила, что Вера Никандровна учительствует в Солдатской слободке. Ах да, Аночка! Вот кто, конечно, знал адрес Веры Никандровны — ее любимица Аночка.

К Парабукиным Лизе доводилось заглядывать не раз в поисках заигравшегося сына. Они жили недалеко от Совета. Еще не приняв решения — узнать адрес у Аночки, Лиза направилась к Парабукиным: действия предупреждали ее решения.

По дороге ей встретился Павлик. Он шел, размахивая пустым кошелем, на базар — разживиться к обеду, как он тут же доложил Лизе.

— Аночка на репетиции,— ответил он,— наверно, до самой ночи!

— Что ж, она совсем стала актрисой?

— Да-а, как бы не так! Она все репетирует, разве это актриса?

Адрес Веры Никандровны Павлик помнил твердо, но где живет Извеков, не знал, а только добавил, что Извекова искать нечего — он все равно на фронте. Это испугало Лизу, хотя не могли же ее обмануть в Совете, что он вернулся.

Она почти побежала к трамваю — время текло и текло, а ведь каждая минута была драгоценна, как, может быть, никогда в жизни...

Извеков был дома и, продолжая наскоро кое-что рассказывать матери из пережитого в походе и умалчивая о том, к чему особенно часто возвращалась память и что могло особенно взволновать Веру Никандровну, кончал переодеванье.

— И ты понимаешь,— говорил он громко через закрытую дверь, в то время как мать расставляла на столе посуду,— ты понимаешь, как все это вышло? В восемь утра Дибич должен был явиться. И не явился. В девять я посылаю связного разыскать его дом, а в десять связной прискакал назад и доложил, что дом-то он нашел, но Дибич ни с вечера, ни поутру домой не показывался.

— От кого же он узнал? — спросила Вера Никандровна, захваченная тем переживанием, какое выпало сыну и передавалось теперь ей.

— Связной? Как — от кого? От матери! Понимаешь, от матери, к которой Дибич все время рвался.

— Какое несчастье, а?! Ведь — мать, подумай только!

Кирилл вышел, затягивая ремень на новой гимнастерке, очень юный после бритья и умывания и в этой свежей военной одежде, похожей на школьную.

— Я чуть не смалодушничал потом,— сказал он тише.

— Когда потом?

— Думал, у меня не хватит сил зайти к его матери.

— Как же было не зайти!..

— В том-то и дело! Но тут одно обстоятельство...

Он не договорил, отошел к открытому окну и замолчал.

— Ты садись, все готово.

— Да,— повернулся он,— я не досказал, что дальше. Я взял несколько красноармейцев, и мы двинулись по той дороге, по которой Дибич должен был приехать в город. Когда мы дошли до скитов, там уже была милиция. Его обнаружил на рассвете монах — садовый сторож. Оказалось — монахи слышали вечером выстрел, но побоялись пойти в лес. Нас повели к нему. Он лежал у самого выхода тропы в сад, на склоне, головой вниз. Он задохнулся от крови. Рана была в грудь.

— Что же это за злодеи! — сказала Вера Никандровна, вдруг простым женским движением подпирая голову рукой.

— Он, наверно, недолго жил. Его ранили в каких-нибудь трех шагах от того места, где он умер, под большим кустом неклена. Следы крови виднелись на тропе. Красноармейцы и милиция оцепили холм, и к обеду бандиты сдались. Этих сволочей было всего четверо. У них взяли револьвер Дибича, его лошадь. Они показали, что собрались ночью пограбить скит, залегли на опушке. Но тут подвернулся Дибич. Они выстрелили в него из кустов.

— Значит, простая случайность! — изумилась Вера Никандровна, как будто именно случайность больше всего поражала в смерти Дибича.

— Случайность,— хмуро согласился Кирилл,— но случайность, которую можно было предвидеть.

Он опять смолкнул и, необычайно для себя сгорбившись, опустил голову.

— Я тебе налила. Чай остынет.

— Я обязан был предвидеть,— сказал Кирилл.

— Что?

— Надо было предвидеть вероятность такого случая.

— Как же можно, когда, ты сам говоришь — такая обстановка.

— Вот, вот. Обстановка. Когда кругом шайки! Когда мы вышли их ловить! Какое я имел право отпустить Дибича одного?

— Но... он ведь сам... И потом, разве ты ему начальник? Ведь ты не мог запретить, правда?

— Но, значит, не имел права и отпускать. А я еще сам ему предложил. Надоумил. Толкнул на этот шаг.

— Но ты же хотел ему добра, Кирилл! — сказала Вера Никандровна, сочувственно заглядывая сыну в глаза.

— Вот именно, добра,— воскликнул он, срываясь со стула и опять отходя к окну.— Почему же у меня не хватило мужества сказать потом его матери, что я ему хотел добра?! Я хотел доставить ее сыну удовольствие. Почему же мне было стыдно, и ужасно, и страшно к ней идти? Я хотел сделать ее сыну приятное, разнежился, растрогался. И его убили. В конце концов разве не я виноват, что его убили, нет? Как ты думаешь?

— Я думаю... ты зря себя казнишь. Ты не можешь отвечать за стечение... такое трагическое стечение случайностей. Не можешь укорять себя, что хотел сделать хорошее, доброе дело.

— Доброе дело, в результате которого погиб добрый человек, так? Знаю я такое добро! Добро из импульса. Без ума, без разума, без смысла. Просто так — потому, что приятно. Тебе самому приятно. Чтобы про тебя подумали, что ты добренький. Ну вот, я добренький. Мне было приятно доставить человеку удовольствие. А человека нет. И какого человека, мама, если бы ты знала!..

Он навалился на подоконник, высовываясь наружу, чтобы глотнуть еще не развеянной утренней прохлады.

Вера Никандровна, подождав, сказала:

— Если бы человек всегда рассчитывал, к каким последствиям может привести благородный поступок, хорошие побуждения были бы мертвы. Я помню твой рассказ о Дибиче. Если бы он стал рассуждать, он, может быть, пришел бы к выводу, что лучше от-

дать тебя под суд за пораженческую агитацию на фронте. А он не отдал.

Кирилл не ответил. Она еще помолчала, затем спросила:

— Как же встретила тебя мать Дибича? Ты ей помог чем-нибудь?

Кирилл вернулся к столу. Огорченная и нежная улыбка медленно появилась в его глазах.

— Что же ты спрашиваешь? Как встретила мать! Да ты сама-то кто, мама, а?

— Правда,— слегка потупилась Вера Никандровна,— все так понятно, к сожалению...

Они переговаривались редкими словами, когда к ним постучали. Дверь приоткрывалась неуверенно, точно младенческой рукой, и Вера Никандровна встала из-за стола, думая встретить в передней кого-нибудь из своих учеников. Но дверь вдруг решительно отворили.

— Вера Никандровна, вы? — громко спросила Лиза, останавливая глаза на Кирилле, не в силах оторвать их от него, но движением всего тела показывая, что хочет подойти к Извековой.

Она была очень бледна, насильственно вежливая улыбка не оживляла, а мертвила ее еще больше и делала неловкой. Первые слова, к которым она, наверно, приготовлялась, прозвучали у нее почти звонко, как крик, но голос упал, едва она опять заговорила:

— Простите, что я так...

— Лиза?.. Елизавета Меркурьевна? — прервала ее Вера Никандровна, тоже оборачивая взгляд на Кирилла.

Он поднялся, услышав это имя и только теперь поняв, кто эта женщина.

— ...что я так непрошено,— досказала Лиза, все продолжая глядеть на него.

Она глядела на него, как смотрят на человека, в котором увидели то, что ожидали, и который поражает именно тем, что — несмотря на долгую разлуку — остался совсем прежним и перемены не властны над ним. Не только в существе своем, заложенном во взгляде и незабываемых прямых чертах лица, Кирилл казался Лизе прежним, но также его наружная стать, с этим ремнем, в этой гимнастерке, повторялась в настоящем, как точное отражение былого.

Он тоже смотрел на Лизу. Вся она была для него нова, но будто новизной подновленного здания, за которой только значительнее видится протекшее время.

Он первый подошел к ней и быстро протянул руку.

— А я к Вере Никандровне,— сказала она, в тепле его жестких пальцев ощутив холод своей руки.

— Так что же? Я должен уйти? — улыбнулся он молодо.

— Нет. Я... тоже и к вам,— призналась она, смущаясь чуть не до слез.

— Выходит, уйти надо мне? — засмеялась Вера Никандровна.

Поздоровавшись и не отпуская руки, она подвела Лизу к столу.

Начался разговор, который должен был помочь справиться с замешательством,— о том, что Лиза похудела и что она не совсем здорова; что Вера Никандровна видела ее два раза в театре, но это было давно, и тогда Лиза была полнее; что вот уже она вырастила большого сына и что Кирилл познакомился с ним на рыбной ловле — славный мальчик, весь в нее; что — верно ли, будто она вышла снова замуж — и за кого (это, конечно, Вера Никандровна).

— За одного сослуживца. Нотариуса,— ответила Лиза,— собственно, за помощника нотариуса,— сразу поправилась она.

— Какую же вы носите фамилию?

— Старую... как сын.

— А фамилия мужа?

— Ознобишин.

— Ознобишин? — переспросила Вера Никандровна и повторила, задумываясь: — Ознобишин,— и поднялась и пошла в другую комнату.

— Нет, вы, пожалуйста, не уходите,— остановила ее Лиза,— я хочу, чтоб вы...

— Я сейчас вернусь...

Так Лиза осталась вдвоем с Кириллом.

Только на одно мгновение наступило молчание, и это мгновение напугало Лизу. Оба они думали о своем прошлом, оба видели его с подавляющей ясностью, и Лиза чувствовала, что никогда не найдет в себе сил словами коснуться этого чудом ожившего прошлого. Кирилл помог Лизе быстрым вопросом, мягкость которого и прямота отрезвили ее:

— У вас что-то неотложное ко мне, правда?

— Простите, что я решилась. Это важно... не для одной меня. И вы не откажете, нет?

— Вы только не извиняйтесь.

— Вы один можете помочь. Я прошу за отца.

Она остановилась, ожидая, что он начнет спрашивать. Но он молчал, и ей показалось — его глаза тускнели.

— Я узнала, что отец арестован. Что он в тюрьме. На барже. Вы знаете, есть тюрьма на Коренной?

Он молчал.

— Ну, что я спрашиваю! Конечно, вы знаете! — сказала она,

поправляя свою наивность и не понимая его молчания.— С каких пор отец там, на этой барже, я не знаю.

Она снова подождала. Было что-то неуловимое в том, как Кирилл менялся у нее на глазах. Но перемена была слишком явной — уже почти ничего не оставалось от того прежнего Кирилла, каким он представился ей минуту назад. Она увидела морщины на его лице, особенно крутую между прямых бровей. Она тотчас сказала себе, что так и должно быть: ведь она шла к неизвестному ей должностному лицу, к секретарю, а вовсе не к Кириллу.

— Я не знаю, когда отца арестовали,— сказала она решительнее.— Мне вчера поздно вечером сообщил об этом человек, который отпущен на свободу.

— Значит,— сказал наконец Кирилл, немного отворачивая голову и глядя в окно,— вам неизвестно, за какую вину он арестован.

— Я не знаю за ним никакой вины! Я даже не знаю, где он мог быть арестован. В начале августа я проводила его в Хвалынск. С тех пор о нем ничего не слышала, он не писал. Доехал ли он? Не могу... просто не в состоянии вообразить, что с ним случилось! Но это, конечно, ужасная случайность!

— Случайно на баржу не попадают,— сказал Кирилл, попрежнему глядя за окно.

— О, в такое время! Не это ведь важно. Пусть вы правы, пусть не случайно! Но сейчас там, где он находится, там ему угрожает слишком много случайностей. С этим вы согласитесь. И я должна... Мы... Вы можете ему помочь! Я прошу вас!

Скованно и несмело она показала, что хочет приблизиться к нему, чтобы жестом этим усилить настойчивость просьбы. Он становился все больше чужим, и это подрывало ее надежды, ей казалось, что от ее чувства остаются одни слова.

— Надо знать вину человека, чтобы думать о помощи. А вина — дело суда. Что же тут можно?

— Можно узнать, есть ли вина. Может, ее вовсе не существует? Мне не скажут, а вам должны сказать. Если вы только спросите, это уже будет помощь.

Он опять промолчал. Тогда она договорила с раздражением:

— Вам обязаны все разъяснить. Вы — власть. Поэтому я пришла к вам.

Он резко бросил ей в глаза желтый свет своего прямого взгляда и спросил:

— Только на этом основании пришли ко мне?

Она опять увидела в нем Кирилла — в этой пронизывающей желтизне глаз и в голосе, полном юношески уверенного вызова.

Она не могла ответить, всю свою волю сосредоточив на том, чтобы выдержать его взгляд.

— Зачем ваш отец поехал в Хвалынск?

— Это его давнишнее желание. Он хотел дожить там...

— У него там друзья?

— Наоборот, он искал одиночества. Хотел поселиться в одном скиту. Хотел принять... монашество.

Она вспыхнула, выговаривая это слово и почему-то испытывая стыд, но вдруг ее осенила догадка, и она сказала неожиданно дерзко:

— Я уверена, он за это и пострадал! Совершенно уверена! За то, что пошел в монастырь. Но это жестоко — преследовать человека за убеждения! Он старик, его поздно переделывать. И он... он не из тех, кого можно переделать. Я его слишком хорошо знаю. У него есть слабости, причуды. Но он честный человек. Нельзя его совесть лишать свободы.

— Может, все-таки вы не очень его знаете,— будто нечаянно сказал Кирилл.

Лиза неровно и сильно дышала, проговорив так долго и убеждая не только Извекова, но и себя в том, что ей самой внезапно пришло на ум.

— Но вы-то его совсем не знаете! — с упреком сказала она.

— Все-таки отчасти знаю... хотя бы по тому, как он относился к вам. По его роли в вашей судьбе.

— Моя судьба! — протестующе воскликнула Лиза.— Я отвечаю за нее больше, чем кто-нибудь еще! Но ведь так естественно, что меня растил *мой* отец, а не кто другой, и что он вырастил меня по-своему! Он в ответе за мою участь? Согласна. Был когда-то в ответе. Но перед кем? Я не буду его судить. Неужели... вы хотите быть ему судьей?

— Я сказал, что — не судья. Поэтому и не могу помочь. А если и вы не хотите судить, то как же оправдываете его, не зная, в чем он виновен? Нельзя же серьезно думать, будто его арестовали за то, что он молится богу.

— Я не сужу его за свою участь. Не ношу в сердце злобы на него. Он в беде. Он — мой отец.

Она вскрикнула:

— Вы же понимаете — отец! Неужели вы не защитите свою мать, если ей нужна будет защита? Какое же у вас сердце?!

— Сердце? — тихо повторил Извеков, поднявшись и точно с изумлением прислушиваясь ко внезапному чувству, ему подсказанному.— Отец, мать, брат... эти слова звучат, как завороженные, и мы поддаемся им, как в старину поддавались ворожбе. Но... вот

у вас был муж — Шубников. Вы что — тоже встали бы на его защиту, только потому, что он вам муж?

Она не ждала ни того, что это имя будет произнесено, ни укора, вдруг зазвучавшего в тихом голосе Кирилла. Ей показалось, что начат разговор, который она не раз представляла себе много лет назад, когда еще жива была мысль о встрече с Кириллом и о том, как объяснить ему замужество, необъяснимое для самой Лизы.

Она ответила, стараясь говорить спокойно (она все время напоминала себе о своем зароке — не волноваться и говорить с Извековым как просительница, спокойно).

— Да, когда Шубников был мне мужем, я встала бы на его защиту. Встала бы, наверно, и теперь, потому что он — отец моего сына.

— Почему такое ослепленье?! Разве вы не слышите, что это только заклинания — муж, отец! Ведь за этими словами — люди, а за людьми — их дела. Ведь Каин тоже носил имя брата!

— В чем вы меня обвиняете? — возмущенно сказала Лиза.— В том, что мои родные — это мои родные? Что они мне близки и дороги?

— Обвиняю? — спросил он с недоуменной улыбкой, будто это слово ущемило его.

— Я же не виновата, что в нашей жизни все так случилось,— быстро заговорила Лиза, тоже поднимаясь.— Что судьбы наши не зависят от нашей воли! И ведь не я же толкнула тебя (у нее страстно прорвалось это нечаянное «ты», и она на один миг остановилась)... толкнула на путь, который отнял меня у тебя!

Он стоял неподвижно. Она опомнилась, провела рукой по лбу, точно снимая наплывшее головокружение.

— Никогда за всю жизнь и ни в чем я не думал вас обвинять,— сказал Кирилл.— Вы поступали, как свободный человек, потому что были свободны. Наши отношения тогда, в юности, не приневоливали ни вас, ни меня. Я думаю, тем меньше они могут к чему-нибудь обязать сейчас.

— Простите, у меня вылетело это, потому что вы начали о моем замужестве. Я считала себя тогда жестоко наказанной за то, что не нашла сил ожидать вас или пойти за вами... (Она глядела на него почти с гневом, подняв голову.) Теперь вы хотите уверить меня, что я еще больше была бы наказана вашей жестокостью, если бы пошла за вами!

Снова, точно возвращенная к действительности его растущим изумлением, Лиза приложила ладони ко лбу. Отведя взгляд, она увидела Извекову, стоявшую в дверях соседней комнаты.

— Я, не желая того, слышала разговор,— сказала Вера Ни-

кандровна,— не обижайтесь. Вы пришли и к сыну, и ко мне, ведь так?

— Я очень надеялась на вас! — с покорной усталостью ответила Лиза. Воля ее иссякала, и — казалось — уже не загорится больше ни возмущение, ни отчаяние мольбы.

— Я все понимаю,— сказала Вера Никандровна, осторожно приближаясь к Лизе.— Просьба ваша не нуждается в объяснении. И Кирилл извинит упреки в бессердечии... даже в жестокости.

Она взглянула на сына, точно подсказывая, что он должен с ней согласиться. Он не отозвался.

— Я только подумала,— продолжала она,— может быть, вы напрасно воскресили прошлое. Оно — плохой помощник. Его все равно немыслимо забыть. И мне вы разве что сильнее напомнили, как Меркурий Авдеевич отказался помочь, когда Кирилл нуждался в помощи. Или как мы вместе с вами напрасно стучались в ледяные стены, за которыми подвизался тогда и господин Ознобишин... если это тот самый Ознобишин...

— Боже мой! — прошептала Лиза.

— Я ведь не вас укоряю этим прошлым, поверьте! — волнуясь и боясь, что Лиза не даст договорить, торопилась Вера Никандровна.— Но разве заслужили упрека в бессердечии люди, которые испили до дна самую бесстыдную жестокость прошлого и в борьбе с ней готовы теперь отдать жизнь?

— Нет, нет,— вдруг твердо остановил ее Кирилл,— это неверно. Я не хочу действовать кому-нибудь в отместку.

— Конечно, конечно, Кирилл! Я же знаю, ты не способен действовать из каких-либо личных побуждений,— обрадованно и с гордостью подхватила мать.

— Подумайте! — в изнеможении воскликнула Лиза...— Неужели я здесь для того, чтобы слушать это разбирательство?! Неужели мне легко было прийти сюда к вам, к вам! — повторила она, порываясь шагнуть к Извекову.— Скажите же прямо, что вы отказываете мне... и я уйду!

У нее недостало сил сделать этот последний шаг к Кириллу. Она ухватилась за спинку стула и хотела опуститься. Но, словно продолжая расслабленное свое движение, она нагнулась и упала. Однако это не было падением — Лиза удержалась на коленях и стояла именно так, как будто нарочно хотела упасть на колени и стоять перед Кириллом, поднимая к нему отяжелевшие руки.

Он стремительно взял ее за эти протянутые руки, и Вера Никандровна кинулась к Лизе, чтобы поднять ее. Но в этот момент новый голос, которого никто не мог ждать, испуганно раздался в комнате:

— Что это? Что?

Все посмотрели на дверь, оставленную полуоткрытой с тех пор, как пришла Лиза.

Аночка, стоя в передней и распахнутыми руками упираясь в косяки, клонилась вперед, в комнату, будто через силу остановившись на полном бегу.

Кирилл тотчас выпустил руки уже поднявшейся Лизы и пошел навстречу Аночке.

Но она, минуя его, подбежала к Вере Никандровне, наскоро много раз поцеловала ее, огромными глазами взглянула на Лизу, поздоровалась с ней и только потом обернулась к Кириллу.

— Вы приехали? — спросила она как-то мельком и опять перевела все еще широко раскрытые глаза на Лизу.— Витя рассказал Павлику про Меркурия Авдеевича. Я все знаю,— выговорила она в порыве участия и почти с детским страхом.— Вы еще не узнали подробностей, нет? Вы не волнуйтесь, это, я уверена, все не так опасно. Нужно только как следует похлопотать.— Она опять повернулась к Кириллу: — Вы ведь, наверно, обещали все сделать, Кирилл Николаевич, правда?

Он ответил умышленно отобранными и отчетливыми словами:

— Я обещаю Елизавете Меркурьевне узнать, в чем ее отца обвиняют.

— И помочь ему, чем только можно? — спросила Аночка необычайно утвердительно.

— И помочь — если это будет можно,— так же отчетливо сказал Кирилл.

Лиза непонимающе смотрела на них обоих. В первый раз за эти короткие отчаянные минуты она увидела в Кирилле не человека двух раздельных существ (как ей все казалось), а слитного в одно целое, такого памятного, юного Кирилла и нового, чем-то ей недоступного Извекова. Она увидела в то же время глаза Аночки, в которых светилось не только великодушное сострадание к ней, не только детски наивный страх, но и счастливое, чуть дикое торжество.

Лиза вдруг распрямилась.

— Я пойду. Извините меня.

Она поклонилась, ни на кого не глядя.

— Одна? Я провожу вас! — воскликнула Аночка.

— Не надо, я спешу.

— Я не пущу вас одну,— вмешалась Вера Никандровна.— Вы совсем не успокоились. Я доведу вас до трамвая.

Лиза пошла к двери настойчивым шагом, но Вера Никандровна догнала ее, взяла под руку, и они вышли вместе.

Кирилл улыбался Аночке неуверенно и будто с удивлением. Она сказала:

— Лиза ужасно изменилась...

— Очень изменилась.

— Правда, ее жалко?

— Очень жалко.

Он ждал каких-то иных вопросов и стоял против нее, не двигаясь. Она взглянула из-под опущенных низко бровей.

— Я, как приехал, решил сейчас же пойти к вам,— сказал он, словно ощупью отыскивая ее сочувствие.

Она все испытывала его взглядом. Он подошел к ней близко.

— Вы, правда, не знали, что я приехал?

Она неожиданно схватила его пальцы, прижала их с женской жадностью к своей груди и, слыша, как они, поддаваясь ласке, теряли свою жесткую силу, сказала тихо:

— Отлично знала, что приехал! Потому и прибежала...

Кирилл нагнул к ее груди голову, впервые за эти недели непрерывных страшных испытаний чувствуя, что наступает покоряющее все существо облегченье.

32

Когда Кирилл вошел в госпитальную палату, он невольно остановился. Ему сказали, что ранение Рагозина не тяжелое, а он увидел Петра Петровича в странной и поражающей позе: койка была отодвинута от стены, между ними помещалась подставка, на которой лежала левая, толсто забинтованная рука Рагозина, и бинт окручивал не только всю руку, вытянутую под прямым углом к телу, но и плечо, и шею, и часть груди.

Но Рагозин, не двигая забинтованной частью тела, легко поставил на локоть другую руку, помахал ею и подмигнул гостю.

— На мертвом якоре, а? — сказал он.— Ничего, скоро пойдем в новый рейд. Правый борт в исправности.

Он улыбался ласковыми, усмешливыми глазами.

— Бери стул. С приездом.

Кирилл, осторожно пожав его пальцы, присел поодаль, чтобы раненому удобно было его видеть.

— Давно? — спросил он, головой показывая на перевязку.

— Завтра неделя. Под Царицыном.

— Мне рассказывали. Вот когда принести бы кошелку-то,— с улыбкой неловкости сказал Кирилл.— Не успел, извини. Я только утром приехал.

— Спасибо. Кошелку мне доставляют, об этом не думай.

— В гипсе? — опять показал на раненую руку Кирилл.— Кость, да?

— Я молодой, срастется,— все улыбался Рагозин.

Его стесняло принужденное и, как ему представлялось, стыдное положение бессилия. Кроме того, едва вошел Кирилл, запросилось наружу то беспокойство, которое нарастало во время эвакуации с фронта изо дня в день и которое Рагозин скрывал. И так как они оба занимали друг друга расспросами о личных переживаниях, обходя то общее, что внутренне объединяло их, то Рагозину все труднее становилось скрывать свое беспокойство.

Оно возникло, когда Рагозину сделалось известно о поражении под Царицыном и об остановке наступательных действий по фронту особой ударной группы. Нарастало же беспокойство вследствие накоплявшегося знания военных событий на других фронтах и в результате того, что это знание было неполно и не могло объяснить причину всех событий.

Рагозин, и Кирилл Извеков, и сотни и тысячи других советских военных работников, стоявших примерно на одной с ними ступени, складывали свои знания о происходящем прежде всего из наблюдений, которые были доступны этой ступени. Действительность, попадавшая непосредственно в поле зрения; газеты, приносившие, по неизбежности, только часть нужных известий; собрания, обсуждавшие те же газеты или распоряжения, присылаемые из центра и не являющиеся тайной; слухи о планах, приготовляемых высокими штабами и сохраняемых в секрете,— вот из чего составлялось Рагозиным и Кириллом знание событий. Им обоим, как — по-своему — всякому человеку, независимо от того, на какой ступени он стоит, был понятен общий смысл совершающегося в России и были понятны видимые причины маленьких событий, доступных глазу. Но действие движущих пружин огромного события гражданской войны было для них доступно только по результатам, и важнейшие причины изменений в ходе этого события оставались для них скрытыми, пока не проявлялись для всех.

Рагозин и Кирилл как бы бились на одной улице обороняемого города, и за баррикадами, домами этой улицы им не было видно бесчисленных других улиц и домов — они только знали, что там тоже бьются на баррикадах, и если доходил слух, что часть города пала, они не понимали, почему же она пала, когда их улица продолжает сопротивляться и когда командование города считает, что он не может быть сдан и должен победить.

Понимая, что их знания недостаточны, Рагозин и Кирилл судили о ходе событий на основе только этих знаний, поневоле создавая свою воображаемую действительность, то отстававшую от действительности живой, то забегавшую вперед.

Так Кирилла в день встречи с Рагозиным в госпитале еще волновал вопрос — удастся ли подавить Миронова,— тогда как за

день до этого остатки мироновцев уже были окружены в Балашовском уезде и сам Миронов захвачен в плен кавалерийской дивизией Оки Городовикова из состава буденновского корпуса. Так и Кирилл и Рагозин в этот день, тревожась больше всего за надвигавшиеся новые события на Южном фронте, все еще исходили в своих представлениях из обстановки, позволившей Красной Армии начать на этом фронте августовское контрнаступление.

Между тем к этому дню середины сентября положение на Южном фронте коренным образом изменилось.

Контрнаступление, начатое в августе по плану командования Южного фронта и главного командования, кончилось провалом. Особая ударная группа войск, дойдя до северных границ Донской области и потерпев поражение на левом фланге под Царицыном, сплотила против себя массы белого казачества, готовые любой ценой положить предел проникновению Красной Армии в глубинные казачьи земли. Вспомогательная группа войск, действовавшая справа от ударной, еще ранее потерпела поражение и была отброшена белыми за пределы тех позиций, с каких она предприняла в середине августа свое наступление. Добровольческая армия Деникина тем временем стянула свои главные силы для удара на север, в центральном Курско-Орловском и Воронежском направлениях.

Рагозину и Кириллу была известна «московская» директива Деникина — его июльский план наступления на Москву,— и они строили домыслы о возможных операциях белых, считаясь с этим своим знанием деникинской директивы.

Но план сентябрьского наступления Деникина на Москву уже не имел почти ничего общего с его июльским планом. По «московской» директиве на столицу должны были наступать все деникинские армии одновременно в четырех направлениях, из которых три принадлежали казачьим армиям и одно — Добровольческой. По плану, примененному Деникиным в сентябре, наступление вела в основном Добровольческая армия, в центральном направлении при поддержке добровольческой кавалерии Шкуро и донской конницы Мамонтова. На казачьи армии Деникин возлагал обеспечение границ Донской области без глубокого продвижения за пределы казачьих земель.

Деникин основывал свой новый план, исходя из того, что казачьи армии неохотно сражались за чертой исконных своих территорий, зато с яростью обороняли их, в надежде закрепить за собой, как основу будущей, вожделенной для белого казачества, контрреволюционной «автономии». Он возлагал на казаков оборонительную задачу, которую они успешно выполняли, а задачу на-

ступательную перелагал на плечи Добровольческой армии с ее офицерством, стремившимся к столице для реставрации русской монархии.

Ни этого плана Деникина, ни ошибок командования Южного фронта Красной Армии Рагозин и Кирилл не знали.

Они не могли знать, что за четыре дня до наступления Деникина на Курск Революционный Военный совет Республики принял и утвердил доклад главного командования, в котором устанавливалось, будто «Курско-Воронежское направление как не было ранее главным, так и ныне не стало таковым» и будто «перенос центра тяжести с нашего левого фланга (то есть с придонских степей) на Курско-Воронежское направление привел бы к отказу от только что вырванной из рук противника инициативы и к подчинению наших действий желаниям противника». Им не было известно, что в результате утверждения этого доклада, в тот момент, когда силы Добровольческой армии были стянуты для удара на Курском направлении, главком послал командованию Южного фронта директиву, гласившую, что «основной план наступления Южфронта остается без изменений: именно главнейший удар наносится особой группой... имеющей задачей уничтожение врага на Дону и Кубани».

Не зная ни этой директивы главного командования, ни плана Деникина, они не могли подозревать, что главком, настаивая на повторении удара через Дон на Кубань, именно «подчинял наши действия желаниям противника», вполне основательно полагавшегося здесь на оборону казаков. Они только желали, чтобы прерванные успехи Красной Армии как можно скорее возобновились и чтобы белые были разбиты.

Но Рагозину и Кириллу было известно, что ко дню их свидания в госпитале, то есть в середине сентября, после поражения под Царицыном, действия там приостановились, и они не понимали, почему это произошло, когда все так удачно началось в августе. Им было известно также, что в далекой Сибири разбитый и отступавший адмирал Колчак вдруг, в конце августа, предпринял под Петропавловском контрудар, принудив одну из советских армий Восточного фронта отойти на двести верст за реку Тобол, и причина этого была для них тоже необъяснима. Наконец, самым угрожающим событием, им тоже известным, было то, что Добровольческая армия Деникина сосредоточенным ударом прорвала советскую линию на стыке двух армий центрального участка Южного фронта, наступая на Курск, и начала быстро развивать прорыв.

Все эти знания, накопленные Рагозиным, накопляясь, питали беспокойство, которое он таил в глубине души. Сейчас он видел,

что Извеков улавливает его состояние и отвечает таким же затаенным беспокойством. Для них обоих неизбежно было заговорить об ощущении неблагополучия, но оба они не решались начать такой разговор. Кризис еще не был назван своим именем. Штабы армий и за ними штабы дивизий старались отражать настроение командования Южного фронта, выдававшего кризис (вполне солидарно с главкомом) за небольшие неприятности. Поэтому для Рагозина с Кириллом кризис не мог быть очевидностью, но только подозревался ими, и они ожидали, что он непременно вскроется в каком-то надвигающемся событии или каким-то вмешательством проницательной, властной силы.

Но даже позже, когда события осени, нагромождаясь, создали сначала всем очевидную угрозу полной военной катастрофы для Южного фронта Красной Армии, а затем обратились в решительный разгром Деникина, даже тогда Рагозин и Кирилл, переосмысливая события, по-прежнему не обладали полнотою знаний о причинах, которые поставили Южный фронт на грань катастрофы, а потом вывели его из катастрофы на путь победы.

Эти причины были раскрыты с полнотою лишь историей, и среди фактов, вскрытых историей, был один, давший первый толчок к повороту событий гражданской войны на юге.

В день, когда Рагозин и Кирилл еще не могли решиться высказать друг другу подозрения о неблагополучии на Южном фронте, когда Деникин бурно развивал свой прорыв в направлении на Курск, когда главное командование Красной Армии считало вынужденную остановку контрнаступления ударной группы «выполнением первого этапа плана», провал маневра вспомогательной группы — «заминкой в операции», а истребительный рейд Мамонтова — «призрачной удачей» противника,— в этот день Ленин написал письмо, явившееся приговором виновникам военных поражений Красной Армии.

Письмо было адресовано одному из членов Революционного Военного совета Республики, бывшему одновременно и членом Революционного Военного совета Южного фронта.

Ленин писал:

«...Успокаивать и успокаивать, это — плохая тактика. Выходит «игра в спокойствие».

А на деле у нас застой — почти развал.

...С Мамонтовым застой. Видимо, опоздание за опозданием. Опоздали войска, шедшие с севера на Воронеж. Опоздали с перекидкой 21 дивизии на юг. Опоздали с автопулеметами. Опоздали с связью. Один ли Главком ездил в Орел или с Вами,— дела не сде-

лали. Связи с Селивачевым[1] не установили, надзора за ним не установили, вопреки *давнему* и *прямому* требованию Цека.

В итоге и с Мамонтовым застой и у Селивачева застой (вместо обещанных ребячьими рисуночками «побед» со дня в день — помните, эти рисуночки Вы мне показывали? и я сказал: о противнике забыли!!).

Если Селивачев сбежит или его начдивы изменят, виноват будет РВСР, ибо он спал и успокаивал, а дела не делал. Надо лучших, *энергичнейших* комиссаров послать на юг, а не сонных тетерь.

С формированием тоже опаздываем. Пропускаем осень — а Деникин утроит силы, получит и танки и пр. и пр. Так нельзя. Надо *сонный* темп работы переделать в *живой.*

...Видимо, наш РВСР «командует», не интересуясь или не умея следить за *исполнением.* Если это общий наш грех, то в военном деле это прямо гибель».

Но даже после этого письма Ленина (три дня спустя после его написания) главком продолжал ждать военной развязки на Донском направлении, потребовав от ударной группы армии «резкого маневра» с выходом правого ее фланга на рубеж Дона.

Лишь еще через три дня, уже после падения Курска, новое вмешательство Ленина побудило начать переброску резервов в угрожаемый район Орла, что, впрочем, и на этот раз еще не означало отказа главкома от упорства, с каким он искал спасения все в тех же донских степях...

Рагозин, подергивая ус, щурился на Извекова, ожидая, что он заговорит о самом главном. Кирилл ждал, что о самом главном заговорит Рагозин.

В окне беззвучно раскачивалась занавеска, кое-как сшитая из перевязочных бинтов. Залетевший в палату шмель сердито щелкался об оконное стекло. За дверью шаркали туфлями санитарки.

Около трех месяцев назад, когда здесь размещался лазарет и Кирилл навестил Дибича, этот большой дом производил совсем небольничное впечатление. В нем было что-то обнадеживающее, будто он давал обещание все скоро переменить к лучшему. Теперь, превратившись в госпиталь, он насторожился и тишиной своей точно предупреждал, что людям тяжко и надо быть осмотрительным.

— Ты на меня не сердись,— сказал Кирилл,— я не успел разузнать о твоем сыне. Пока ты лежишь, я этим займусь.

---

[1] Селивачев — командующий группой армий, на которой лежала задача вспомогательного удара в августовском контрнаступлении на Южном фронте; бывший царский полковник.— *Ред.*

— А-а, да, да,— вновь улыбаясь и как-то хитровато поднимая сощуренный глаз к потолку, ответил Рагозин.— Погоди... погоди малость... Не до сердечных дел. Другому о своих ребятишках некогда вспомнить, где там до чужих! Поспеется!

— Я займусь, не отказываюсь,— неожиданно пылко подтвердил Извеков.

— Ладно, не обижайся. Я ведь слышал, у тебя тоже была горячка. Рассказал бы о своем походе.

— Ты знал такого Зубинского?

— Кто это?

Кирилл рассказал историю с саботажем Зубинского.

— Хорошо еще, он тебе в спину пулю не пустил,— сказал Рагозин.

— Я к нему спиной не оборачивался.

— И правильно. Не мало у нас бед оттого, что к военным спецам затылком становимся... Может, наш городской военком тоже из специалистов?

— Не знаю.

— Надо проверить. Зачем он тебе Зубинского подсунул? Не без дальней мысли, а?.. Ты как думаешь о юге? — вдруг спросил Рагозин.

— О каком юге? — словно не понял Кирилл.

— Под Курском. Похоже, мамонтовский урок не впрок, а? Попробовали — получилось. Отчего еще не попробовать, а?.. О белых я говорю, о белых, а?

— Хуже бы не было, чем с Мамонтовым.

— А я про что? Отворят настежь ворота господа военные специалисты — и пожалуйте! — расхлебывай.

— Не все же дело в специалистах. И не все они одинаковы. Вот Дибич... я тебе прежде не говорил о нем? Командиром моей роты был...

— Убили?

— Да. Не могу забыть человека!

Кирилл задумался на мгновенье, потом — будто настала пора оценить путь, пройденный с этим человеком,— стал вспоминать о всех встречах с ним, вплоть до последней на тропе, под кустом неклена, когда Дибич уже не мог отозваться на отчаянный взгляд своего товарища.

Рагозин ни разу не прервал печальной повести и только в конце, туго растирая ладонью свою лысину, сказал:

— Это так, дружище. Хорошую душу нельзя не пожалеть, это так.

— Что ж пожалеть! — встрепенулся Кирилл.— А отвечать за нее надо или нет?

— Отвечать? — переспросил Рагозин и помолчал.— Отвечать будто тоже надо бы... Вот какого рода вещь, понимаешь ли, да. Отвечать, да. Приходится, если этакий случай.

Кирилл грустно усмехнулся.

— Что ж, раскаянием, что ли? Раскаянием отвечать или как?

— Раскаяние перед собой — весьма похвально, пожалуй. Отчего же? Для самосовершенствования. Весьма. Но в смысле ответственности... Маловато, если перед одним собой.

— Так вот я и спрашиваю — что значит отвечать? — немного раздраженно сказал Кирилл.

— А это значит, чтобы кто-то с тебя спросил. Спросил, понимаешь ли, с тебя ответ — как и что, по чьей вине верный нам человек потерян... Ты отчитываться будешь в исполнении своего задания, вот тогда и скажи.

— Выходит, ты считаешь, вина на мне есть? — спросил Извеков, горячо всматриваясь в лицо Рагозина.

— А сам как считаешь?

Кирилл молча кивнул.

— По букве по военной, может, покойник больше виноват,— продолжал Рагозин.— Разве он смел оставить роту во время операции? Ведь командир, а? Дисциплинарно отвечает он. Да с мертвых не взыщешь. Поплатился. А ты, слава богу, живой. Отлучился Дибич с твоего согласия, да? А в партийном смысле ты ведь тоже командир. И получается, понимаешь ли... Хотя поголовному это можно было бы обойти, а по-душевному — надо сказать...

— Спасибо, я тоже так думал,— быстро проговорил Кирилл, торопясь освободиться от мешающей мысли.— У меня еще к тебе вопрос. Или уж — просьба...

Но, быстро начав, он тут же остановился, потому что едва представил себе яснее, о чем хочет просить, как понял всю трудность задуманного. Он принудил себя улыбнуться.

— Но тогда тебе придется выслушать еще одну историю. Не измучил еще я тебя, нет? Я коротко.

Как только он заговорил о Мешкове, Рагозин стал ворочать головой на подушке, и вся свободная от бинтов часть тела — рука, и плечо, и ноги — тоже нетерпеливо задвигалась под простыней, которой она была накрыта, и сделалось будто виднее, какой он громоздкий и как, наверное, ему неудобно на койке. Он не мог дослушать до конца рассказа о мешковском золоте:

— Ах, купецкая душонка! Обманул! Ведь как притворился! Хоть, говорит, матрас мой вспорите — ни одного золотого! Надо было его подушку вспороть, выходит дело, а?! Обвел меня, хитрец! И все ведь со смирением! Что будешь делать, а?

Он не мог остановить своих возгласов и то поднимал, то ронял на подушку голову.

— Деньги, которые мы конфисковали, доставлены в Саратов,— сказал Кирилл,— а сам Мешков — на барже!

— Там ему и место.

— Да, наверно, если суд найдет это место для него подходящим. А до суда... Я хотел с тобой посоветоваться, Петр Петрович. Меня просила дочь Мешкова, если возможно для старика что сделать...

Кирилл смолкнул. Рагозин перестал двигаться, затих и скошенным взглядом словно просматривал Извекова насквозь.

— Благодетелем заделаться вздумал? — сказал он после молчания.

— Похоже! — насмешливо тряхнул головой Кирилл.

— А что? Разве нет? Я этой святоше доверился, а он меня надул. И вышел я дураком. Ты его из ямы собираешься тянуть, а он, поди, думает, как бы тебя туда столкнуть.

— Да в яму-то он угодил не без моего содействия, верно?

— Сам посадил, сам пожалел...

— Я не по жалости. Он свою меру получит. Я хочу, чтобы не меньше и не больше меры.

— Боишься лишнего передать? Чтобы Соломон рассудил, да? А ты сам суди. За Дибича готов ответить — бери на себя ответ и за Мешкова.

— Я свое дело сделал.

— Чье же теперь собираешься делать?

Кирилл дернул плечами. Он не находил возражений, но и с возражениями Рагозина не чувствовал согласия.

— Ты не понял. Я не собираюсь вызволять Мешкова. Я обещал его дочери узнать, в каком положении дело и что с самим стариком.

— За дочь страдаешь?

— Она за отца страдает.

— А тебе она кто?

— Ну! И ты туда же! — досадливо отвернулся Кирилл и таким тоном, будто решил бросить бесплодный разговор, прибавил, скорее из упрямства: — Ты посоветуй, у кого можно справиться о деле, ты ведь лучше меня знаешь.

— Делай как хочешь. Тебе я не учитель, а обманщикам не пособник.

— Нет, видно, учитель, если поучаешь меня, как маленького. В чем я пособник Мешкову? Что я, не понимаю, что он коли не по злобе, так по природе своей — наш естественный враг?

— Умные речи отрадно слышать.

Кирилл посмотрел на Рагозина. Странная усмешка скользила под его спутанными усами. Но нет, это была не усмешка, а непонятная застенчиво-нежная и хитрая улыбка, какой никогда Кирилл не видал на его лице. Как будто Рагозину было совестно и вместе непреодолимо приятно так хитро улыбаться.

— Вот и кошелка для меня прибыла,— выговорил он таким же странным, как улыбка, голосом, силясь приподняться с подушки и глядя прямо перед собой.

Кирилл повел взглядом за его глазами.

В палату входил мальчик — длинноногий, поджарый, с большим лбом и вскинутыми к вискам углами бровей. Любопытство и внимание, которыми светились его выпяченные глаза, противоречили беспечности всего его выражения. Он был еще ребенком, но в нем уже чуть проступала та нескладность, какая отличает подростков. И вдруг эта нескладность длинных ног и рук напомнила Кириллу что-то очень знакомое.

— Поставь пока корзиночку в уголок,— сказал Рагозин,— и познакомься с Кириллом Николаевичем Извековым.

— Рагозин,— сказал мальчик, не кланяясь, а вызывающе вздергивая голову, и далеко вперед вытянул руку.

— Ваня,— мягко договорил за него отец.

— А-а, вижу,— сказал Извеков и опять обернулся к Петру Петровичу.— Нашелся?

Улыбка Рагозина показалась Кириллу еще более неожиданной. К ее хитроватой нежности присоединилось нечто заискивающее, как у бабушки, которая не может досыта налюбоваться внучком. Это удивительно шло к лицу лысого, вдруг словно постаревшего человека и одновременно так не вязалось с установившимся обликом слегка сурового, ироничного Рагозина, что Кирилл захохотал. Петр Петрович, смутившись, тоже рассмеялся. Добродушный их смех наполнил палату гулом, и только Ваня сохранял серьезность, неодобрительно следя за отцом и новым своим знакомым.

— Садись,— сказал Рагозин, отодвинув под простыней ноги и показывая сыну на край койки.— Теперь, видно, моя очередь рассказывать истории, а?

— Да, как же это случилось? — воскликнул Извеков.

— У нас с Ваней вроде бы одно подшефное судно оказалось: канонерка «Рискованный». Я ее — помнишь? — перевооружал, а он на ней плавал...

Рагозин начал рассказ, стараясь говорить без затяжек, а в это время память его десятый раз повторяла подробности, которые казались очень значительными и без конца к себе привлекали.

Петр Петрович встретил сына на госпитальном пароходе, че-

рез день после того, как был доставлен ботом с «Октября» и госпиталь, заполненный ранеными, направился в Саратов.

Боли немного отпустили Рагозина, хотя еще мучило чувство, будто он окружен хмарью, и мозг работал урывками, с усилиями пробивая мысль сквозь эту хмарь. Думать было не только физически тяжело, но и неприятно, потому что все сводилось к сознанию огромной неудачи и безрезультатным поискам ее причин.

К тому дню, когда Рагозин был ранен, его уже обогащал опыт боевого похода, и он жил с ощущением, что идет все время куда-то вверх. Он инстинктивно слышал в себе неизвестное прежде качество, не думая его определить или как-нибудь назвать,— качество нового умственного глазомера. Как никогда, он далеко видел и знал, как надо действовать. Он словно бы взобрался на высоту, с какой можно было легко помогать успеху оружия, которое носил народ.

И как раз в это время все достигнутое будто и не достигалось Рагозиным; поход кончается отступлением, и сам он угрожающе полно испытывает личное свое бессилие.

В одну из таких минут урывочной работы мысли в каюту к Рагозину зашла медицинская сестра и сказала, что его хочет видеть один мальчик из команды парохода.

Позже Рагозин понял, что его поразила не столько сама встреча с сыном, сколько то, что он предчувствовал эту встречу с момента, когда комиссар «Рискованного» доложил ему о мальце, которого надо списать на берег. Услышав от сестры о мальчике из команды, Рагозин тотчас решил, что это тот самый малец, которого он приказал списать не на берег, а в госпиталь. Он вспомнил малолетков-бахчевиков на лодках под Быковыми Хуторами, и разрыв снарядов в воде, и перепуганный плеск весел, и свой страх за гребцов, и свою злобу, и то, что страх, злоба слились тогда с болью за сына. Теперь он уже не сомневался, что увидит его, потому что мальчик из команды — не кто иной, как сын. Уверенность эта несла с собой живительный приток крови к мозгу, и хмарь, мешавшая думать, развеялась, а боль отошла и угнездилась где-то поодаль.

Разговоры с сыном на пароходе были короткими (врачи не разрешали мальчику подолгу оставаться у раненого), но Рагозин на все лады перебирал в уме каждое слово этих разговоров, и они жили в нем незатухающим светом.

— Ты что же от меня с квартиры удрал? — спросил Петр Петрович, когда Ваня, войдя в каюту, прислонился к косяку и смотрел, как провинившийся упрямец — боязливо и дерзко.

— Получилось хорошо, что удрал.

— Почему это хорошо?

— Буду теперь ухаживать... братом милосердным.

— А-а, ну спасибо... Какой же ты мне брат, если ты... Знаешь, кто мне ты, а?

— Знаю.

— То-то и есть... знаешь!

— Я еще и тогда знал, на квартире.

— Знал, а сбежал!

— Ага.

— То-то... ага!

— А что?

— Зачем, говорю, сбежал, если знал, кто я тебе?

— Ну так что ж, что знал?

— Как — что?

— А так.

— Разве от отца бегают?

— Еще как!

— Может, от дурного отца. А я тебе хорошего желаю. Радуюсь, что тебя нашел. Ты-то рад?

Ваня заложил руки за спину.

— Кабы мне сказали, что вы — комиссар... А то я спросил, а мне говорят — он на счетах считает. Все равно, как в детском доме... булгалтер.

— Булгалтер! Эх, грамотей!... А разве бухгалтер — это плохо? Я тебе покажу одного бухгалтера — Арсения Романыча. Посмотри, как его ребята уважают.

— Как бы не так — булгалтер! Я знаю, кто он.

— А кто же он?

— Он как художник.

— Вон куда ты! — улыбнулся Рагозин.— Пожалуй, верно — как художник... Ну вот, я тебя отдам учиться, будешь художником.

Ваня замолчал. Рагозин с нетерпением ждал ответа.

— Не умеешь — так учись не учись! — сказал Ваня убежденно.

— Уменье придет с наукой.

— Видел я таких! Учатся, учатся! А я подошел — раз! И сделал.

— Ишь...— только и сказал Рагозин, удивленно рассматривая маленького гордеца.

Уже тогда он предугадывал, что судьба этих едва возникавших отношений будет зависеть от желания сына учиться, и в новую встречу опять заговорил с ним о том же. Ему казалось — то, что он считал главным и необходимым в жизни, составляет главное и необходимое также в жизни мальчика. И он терялся, сталкиваясь с совершенно непохожими воззрениями Вани.

— Выучишься как следует работать, будешь приносить пользу,— сказал Петр Петрович внушительно.

— Откуда приносить? — наверно, не понял Ваня.

— Ну, как тебе объяснить... Был когда в музее?

— Был.

— Понравились тебе картины?

— Ага.

— Значит, художники принесли тебе своим трудом пользу. Картинами своими, понимаешь?

Ваня мечтательно смотрел в отворенное окошко каюты. Там мчалась Волга — слышно было бурленье воды под колесами огромного парохода, виднелись клином отбегавшие назад зеленые валы, и песчаная отмель окатывалась ими, белея па окоемке от разбитых в пену гребней.

— Это — не польза,— ответил Ваня, и так загадочно сделалось его серьезное лицо, словно только он один знал — что же такое польза.

— Как не польза? А что же?

— Это... когда завидно, что не ты нарисовал. Что у тебя ни за что так не получится.

— Ну вот, вот! — обрадовался Рагозин.— Когда тебе хочется сделать так же хорошо, как другие. Чтобы твоей работой другие тоже любовались, как ты. Это и будет польза для них, а как же?

— Чудно́ как архиреите,— с насмешкой сказал Ваня.

— Это что еще за «архиреить»?

— Ну, как духовник.

— Что — духовник? Откуда ты знаешь — как духовник?

— А мы в скиту бегали к архирею за сахаром. Он даст всем по кусочку да начнет архиреить: играйте, детки, без ссор и без брани, внимайте слову наставников ваших, бог господь с вами.

Ваня ловко передразнил елейную речь.

— Ну, а вы что? — с усмешкой, хотя немного потерянно спросил Рагозин.

— А мы ничего. Съедим сахар, опять прибежим. Он даст еще, и опять нас архиреить... А вы, чай, комиссар! — вдруг с укором взрослого объявил Ваня.

На следующий раз Рагозин попробовал зайти с другого бока.

— Не будешь ходить учиться — кто тебе даст бумагу, карандаши? Ведь рисовать-то ты не перестанешь?

— А когда мне было надо чего, я тырил,— не раздумывая, ответил Ваня.

— Ну, милок...

— Жди, когда тебе дадут! Разве дождешься? Стырю где придется — и рисую.

— Это, братец, воровством называется. Вот какая вещь, видишь ли!

— Карандаши-то?! — вытаращил глаза Ваня.

— Карандаши и все такое. Ты эти приютские замашки брось. Я буду давать все, что потребуется.

Ваня пригорюнился, потом сказал упавшим голосом:

— Если товара много — лафа, конечно.

Но тут же и утешил отца, настолько позабывшись, что впервые обратился к нему по-приятельски:

— А если у тебя не будет, ты не думай: я расстараюсь — чего не хватит!

Нечаянный этот порыв был отцу и страшен и восхитителен, обнажив перед ним все уродство представлений и всю непочатость простодушия ребенка...

Рагозин вспомнил это, пока рассказывал Кириллу о встрече с сыном на Волге.

Ваня сидел у отца в ногах, независимо поглядывая на гладко выбеленный потолок. Уже вторично доставил он в госпиталь заготовленные хозяйкой Рагозина кушанья и знал, что половину унесет назад: отец был настойчив в своих заботах о нем. Мальчик видел, какое место занял собой в существовании отца. Находя это чувствительностью взрослых, он, с некоторой гордостью за себя, поощрял ее и допускал даже ласку большого человека, раненного в сражении и нуждавшегося в помощи.

— Теперь мы с ним договорились жить вместе,— сказал Рагозин, одобряя Ваню взглядом.— И знаешь, Кирилл, к чему я прихожу после всей этой истории? Время-то у меня есть — размыслить. Вот мы радуемся, что идем к цели, которую хотим достичь. Думаю, радость станет еще больше, ежели мы нашу цель, которую предстоит достичь, хоть бы отчасти, что ли, отыскали в том, что уже нами достигнуто. Понял меня?

— Более или менее,— улыбнулся Кирилл.

— Ну да насчет отвлеченного я, знаешь, не очень... Я практически. Думаешь ты о человеческих отношениях в будущем? Думаешь. Так вот ты ищи такое в нынешней жизни, чтобы уже сейчас в тебе хоть немножко зажило из будущего, понял? Как бы тебе сказать? Ну... воплоти, что ли, свой план в живом человеке. В отношении своем к человеку, понятно? Чтобы практика была. А то ты будешь поклоняться своему желанию, скажем, коммунистического общества, когда еще общества такого нет. И привыкнешь поклоняться — желанию. А от человека отвыкнешь. Верно? А ты его сейчас найди. Хоть немножко в человеке найди от будущего. И установи с человеком такую связь, как будто он уже наш идеал. Так? И чтобы таким путем действовал каждый. Тогда будет

кое-что закрепляться из наших желаний будущего в нынешней жизни. Посев будет, понял?

— Понял. Но рецепт-то не ко всякому человеку приложим. Особенно теперь. Помнишь, ты мне сказал: какое время — такая политика.

— А как же! Ты умей найти такого человека, в котором немножко будущего есть. В труде его, в службе народу, еще в чем. И на нем учись. Практикуй свой идеал-то на человеке. Умей найти,— повторил Рагозин и опять остановил довольный взгляд на сыне.

— А ведь ты прав! — воскликнул Кирилл.— Я припоминаю в этом духе у Чернышевского: приближайте будущее, говорил он, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести.

— Видишь! Оно крепче, когда своей голове подпорку-то найдешь,— весело мигнул Рагозин, не отрывая глаз от сына.

Кирилл тоже посмотрел на Ваню.

Мальчик беспечно и сладко позевнул.

Кирилл спросил его, сдерживая невольную улыбку:

— Как же получилось, что сам ты ушел на флот, а товарища бросил? Мне ведь Павлик Парабукин рассказал, как ты его подвел.

— А я виноват? Меня военморы надули. Пашка знает. Мы помирились. Еще хотели с ним к вам идти.

— Ко мне? Зачем?

— А жаловаться.

— На кого?

— На отца на его.

— Чем это его отец провинился?

— А он из книжек Арсения Романыча пакеты клеит.

— Арсения Романыча? — вскрикнул Рагозин, оторвав от подушки голову и тотчас, с гримасой боли, медленно опуская ее назад.

— Арсений Романыч отдал свои книжки в одну библиотеку. А библиотека половину свезла в утиль. А Пашкин отец пустил книжки на пакеты. Пашка сам видел!

— Что такое, Кирилл, а? Ты сходи посмотри,— весь как-то затихнув, сказал Рагозин.— Не шутка — библиотека Арсения Романыча! Его нам грех обижать.

— Пойду сейчас же,— поднялся Извеков,— я давно хотел забраться к этим просветителям. Ты не тревожься.

Он взял с постели руку Рагозина. Петр Петрович придержал Кирилла, будто подыскивая на расставанье слово.

— У тебя жар? Ты со мной заговорился.

— Ничего. Баня здоровит, разговор молодит.

Он все не выпускал Извекова.

— Будут новости — сообщай. Понял?

Он ближе притянул Кирилла к себе.

— Тут должен меня навестить один товарищ. Я ему поручу разузнать насчет твоего дела. Он может.

— Моего дела?

— Ну да. О чем тебя Мешкова дочь просила.

Он вдруг хитро сощурился и шутливо оттолкнул Извекова.

— Чудак ты! — захохотал Кирилл.

— Да я не о Мешкове забочусь! Его песня спета. Я о его дочери. В ней-то, чай, малость какая есть от будущего? От твоего, скажем, будущего, а?

— Чудак! — смеялся Кирилл, неожиданно краснея и отступая к двери.— В Мешкове, это ты верно, от будущего ничего. Ну, а в настоящем он даже может пригодиться. Ты не поверишь: Мешков показал мне на Полотенцева!

— На жандарма? Да неужели? И ты не говоришь! Это, как хочешь, брат, за-слу-га!

— Расскажу после. Выздоравливай.

— Так ты прямо в утильотдел? — крикнул Рагозин вдогонку Кириллу, когда он уже вышел в коридор.

— Прямо туда.

— Выбери мне там что почитать,— кричал Петр Петрович.— Да не забудь для своей полочки тоже. Постарайся!

Отдел утилизации был частью того организма, который носил именование Губернского совета народного хозяйства и гигантский мозг которого насилу вмещался в гостинице «Астория», построенной на главной улице в совершенном духе законодательства «модерн». Трудно сказать, что по своему значению аппарат утильотдела составлял полушарие этого мозга. Но по объему он был едва ли не полушарием, и потому не мог найти достаточно места в ряду с другими отделами в «Астории», а получил особую оболочку по соседству с главной улицей, как бы на правах сепаратного мозга.

Здесь разнообразнейшие люди роились, как птицы на перелете. И, однако, они не в состоянии были своими усилиями исчерпать заботы о деятельности всего утильотдела. Во главе каждого его предприятия стояли собственные аппараты со своими густо роившимися людьми. Наконец, в фундаменте этого мироздания заложены были производительные силы: салотопня, фуражечный и столярный цехи, сапожная и пакетная мастерские. Чем ниже спускалось строение от вершины к основанию, тем реже были людские рои, и где-нибудь в салотопне, у мыловаренного котла, или в сапожной, где стегались суконные голенища из армейского сырья, было совсем малолюдно и тихо.

На всем этом изветвленном учреждении сказывалось противоречие эпохи.

Предприятия, объединенные громадным управлением, сами по себе заслуживали только скромных похорон. Они кустарничали без тени надежды чем-нибудь заменить свои ремесленные орудия праотцев. Фуражечник довольствовался иглой, ножницами и утюгом. Плотник — топором и пилой. Да и правда: много ли было нужно, чтобы из выброшенной в ветошь шинели смастерить кепку, а из сырой сосны сколотить табуретку или гроб? Никто из людей, роившихся по комнатам гостиницы в стиле модерн, не собирался ломать голову над механизацией цехов утильотдела.

Но хотя эти цехи заслуживали лишь бесславных похорон, хоронить их было слишком рано. Как ни слабосильны казались их труды, обойтись без них было немыслимо. Разруха хозяйственной жизни достигла к этому времени неслыханных размеров и была открыто признана одним из опаснейших врагов революции. Кусок мыла, клок бумаги, подошва, годная хотя бы на неделю, пуговица, способная удержать на человеке незамысловатое одеянье,— все стало драгоценностью.

И, может быть, именно в силу противоречия, до крайности нужные производства утильотдела, несмотря на их вековую отсталость, так ценились и побуждали к такому деятельному роению вокруг себя людей, старавшихся подогреть в них теплившуюся жизнь и отдалить неминучую кончину.

Извекову не сразу удалось разыскать пакетную мастерскую. Склады и цехи были раскиданы от Волги до Монастырской слободки и занимали пакгаузы, лабазы, ветхие соляные мельницы в старом городе, подвалы и лавки базаров. Надо было узнать, где подвизается Парабукин, а он не настолько славился, чтобы любой делопроизводитель утильотдела догадался, о ком идет речь.

Тихон Платонович сидел в своей фанерной каморе, выгороженной на стыке двух обширных залов, один из которых предназначался для журнальной и газетной свалки, другой заключал неразобранные библиотеки. Через пробитую стену первый зал соединялся с пакетной мастерской.

Человеческие тени скользили по бумажным нагромождениям, появляясь и пропадая. В тишине слышалось изредка шуршание тронутого сквозняком листа бумаги. Запахи свежего клейстера, заплесневелой кожи, отсырелого коленкора, напоминая цветущий пруд, легко проносились от дверей к окнам.

Тихон Платонович, выпив неизвестного напитка, доставленного Мефодием Силычем, убрал в письменный стол кружечку и слушал своего друга.

— Что ты толкуешь о Цветухине! Он мне как близнец, я его

чувствую лучше себя,— говорил Мефодий.— Страдалец, как я. Но тайный. Гордыня не пускает склонить выю. Гений в нем не вылупился. Все стучит клювиком в скорлупку. А пробить скорлупку не может. Он и страдает. Я рядом с ним — инфузория. Хотя — актер. Тоже актер!

— Тоже в скорлупке,— вставил Парабукин.

— Признаю. Смиренномудро признаю. Ибо не горд, а только суетен. Мне не так больно. Он — гений, ему больнее. А что ему мешает? Рисовка. Принципами рисуется. Какие у актера могут быть принципы? Сыграл хорошо — вот и принцип. Не сыграл — в чем же принцип? У нас был трагик — беспардонный черт, ни одного принципа, а весь театр рыдает. В нашем деле надо животом брать. А Егор много понимать хочет.

— Сгубит он мою Аночку,— горестно вздохнул Тихон Платонович.

— О ком говоришь? — оскорбился Мефодий.— О Гамлете говоришь, ты, затычка! Он от актеров чистоты требует, не клубнички. Учеников поучает, чтобы у них душа, как хрусталь, пела. Я у него две недели в ногах валялся, пока он меня к себе в студию принял. Талант, говорит мне, любит две вещи — чистоплотность и трезвость. Тот, говорит, кто пропивает талант, тот — вор. Он, говорит, крадет у людей то, что им дано природой, ибо дарования отпускаются на пользу всех людей в лице одной персоны. Люди, говорит, были бы в сто раз счастливее, если бы талант не перепадал бы пропойцам. Бросишь пить — приходи, играй. А так, говорит, черт с тобой. У меня молодежь, я отвечаю.

— А сам он что — на водопровод молится?

— Вот. Я у него в ногах валяюсь, а между тем отвечаю: мало ты со мной, Егор, выхлестал, что меня лишней рюмкой укоряешь? А он мне: Цветухин, мол, не пропойца. Если, говорит, я пью — я пью для радости. Пирую. Веселюсь. И понимаю, что это не всерьез, а для удовольствия и смеха. А горькую запивать — разнузданность. Да как рассердится! Это, говорит, все из гениальничанья. Все пропойцы гениальничают. Заметил, говорит, они и разговаривать не умеют без претензий. Все удивить норовят, остроумничают. Это, говорит, антихудожественно. Понимаешь — куда?

— Отбрил тебя.

— Почему — меня? — снова обиделся Мефодий.— Я — простой человек, вместилище жидкости. Претензий не имею никаких. Пью, как обыкновенный пролетарий.

— Это ты-то пролетарий? Отец Мефодий!

— А кто же? Я — неимущая Россия! Вот кто я. На таких, как я, отечество держится! Кариатида!

— Кари-ати-да! — иронически перепел Парабукин.

И тут его лицо обвисло, он наскоро провел рукой по гриве и нерешительно начал приподниматься.

— Где здесь хозяин всех этих богатств? — громко спросил Извеков, отворив фанерную дверцу и заглядывая в чулан.

— Товарищ секретарь,— проговорил Парабукин, и одернул куцую свою толстовку, и погладил усы с бородой, и откашлялся, не находясь, что бы еще сделать в таких нечаянных обстоятельствах.

— Ожидаем давно,— сказал он.— Позвольте представить. Мефодий Силыч, сотрудник студии Цветухина. Так сказать, коллега моей дочери по театральному поприщу. Кариатида.

— То есть... по фамилии? — сурово удивился Извеков.

— Более в метафорическом смысле,— сказал Мефодий, раскланиваясь с важностью.

— Вы что же, закусывали? — на шаг отступая перед непонятным запахом, спросил Извеков (он внимательно глянул на перебитый сократовский нос Мефодия и подумал: этот, пожалуй, еще отменнее Парабукина).

— В виде перерыва между занятиями,— торопился объяснить Тихон Платонович.— Так кое-чем. Нынче не до разносолов.

— Скажите, что у вас делается с библиотекой Дорогомилова?

Парабукин, радуясь, что одна щекотливая тема миновала, и опасаясь — не возникла бы другая, вполне, однако, успел овладеть собой и подставил гостю просиженный венский стул.

— Спасибо, не побрезговали, зашли в наш антиквариат.

— Покажите, что сюда попало из дорогомиловских книг.

— Это вам, поди, мой Павел донес? Все как есть придумал мальчишка, от своего рвения не по разуму, не по возрасту.

— Проведите меня, я хочу видеть.

Они вдвоем двинулись между бугров и куч бумажного хлама, навалом ссыпанного и образовавшего целые улицы и переулки, за которыми нельзя было окинуть глазом всего помещения. Парабукин, путеводительствуя, не переставал говорить:

— От Дорогомилова к нам ничего не поступало. А поступило от библиотеки, которой он свое добро пожертвовал. Добра-то оказалось меньше, чем мусора. Библиотека весь мусор сюда и сбагрила. Журналишки, газеты, счетоводство разное. Ничего себе сырье. Кое-что на фунтики пойдет, другое на конверт. Есть которые поплотнее листы, можно канцелярский пакет клеить. Вот, как раз, поинтересуйтесь, этот ворошок дорогомиловский. Павел разворочал, копался чего-то, негодник.

Кирилл взял сверху переплетенную тетрадь в писчий лист. Это были печатные доклады городского управления двадцатилетней давности.

— Бумажку-то ставили, а? Говард! — сказал Парабукин, потирая в пальцах глянцевитый лист и зажмурившись.

Кирилл поднял другую тетрадь. В ней заключался отчет городского театрального комитета управе и отчет о приходе и расходе городских сумм по театру. Сезон, которому посвящались документы, был памятен: в тот год Кирилл последний раз побывал в этом театре — с Лизой, и наутро после спектакля, с неизгладимым ощущением ее соседства по креслу, был введен жандармами во двор тюрьмы.

Непроизвольно пальцы его перелистывали тетрадь. Потом они остановились. Он не сразу понял, что заставило его сосредоточиться. Он читал примечание в конце страницы о том, что господин антрепренер оспаривает удержание городом такой-то суммы с бенефисного сбора артиста Цветухина. Фамилия Цветухина была выделена жирным шрифтом.

Кирилл швырнул тетрадь прочь.

— А книги у вас где, книги? — настойчиво повторил он.

— Книги совершенно особо. Можно сказать, в хранилище. Пожалуйте.

Они прошли в смежный зал. Чуть не до потолка высились тут кучи книг, причудливые, как горные цепи со своими вершинами, ущельями, обрывами склонов.

Кирилл медленно обвел взором эту стихию. Вот она, жизнь, честь, слава, вспомнил он, богатство, высочайшие взлеты, неизмеримое счастье! Могучая любовь человечества!

— Тут у нас происходит ученая обработка,— бормотал Парабукин, отодвигая пяткой мешавший ему стоять толстый том.— Изыскания, всякая сортировка.

— Гм,— промычал Извеков.

— А как же! Решается экспертами — что есть научность, а что, согласно инструкции,— утиль. Пожалуйте сюда. У этой стенки разные духовные писания, православные, римско-католические, немецко-лютеранские. Очень плотного переплета.

— Это не эксперт с вами закусывал?

— Нет, мой личный друг. Мужчина образованный, антицерковный, знает по-древнелатински. В искусстве старый воробей, поскольку актер. Но на сортировку искусства нам присылают больших знатоков. Один даже собственное сочинение в книгах обнаружил, называется «Что такое светотень». Не читали? По театральной части, к примеру, отбирал науку Егор Павлович Цветухин.

Извеков быстро перебил:

— Я хочу знать, где книги Дорогомилова?

— У самой двери. С полвоза, не больше. Жидкая литература. Без корочек.

— Оставьте меня одного.

— Пожалуйста! — обрадовался Парабукин.— Посмотрите, что вам подойдет. Многие были довольны выбором.

Кирилл остался один. Через окно обрывисто влетали шумы улиц, легкое дуновение иногда шевелило раскрытыми страницами. Выдернутая из вороха книга задевала другие, они скатывались, падали. Из несвязных и будто раздумчивых звуков складывалась та тишина, в которой так бесконечно хорошо находиться наедине с собой.

Кирилл нагнулся, поднимая с пола книгу, сел на корточки и притих, изредка перелистывая страницы или меняя одну книгу на другую.

Если судить об Арсении Романовиче по сборищу изданий, какие угодили на этот склад, то это был необъяснимый человек. Книги накапливались у него десятилетиями, и за этот срок он, видно, отдал дань множеству увлечений, от ремесла часового мастера и фотографии до истории философии и пароходостроения. Здесь были и буддизм, и комнатная гимнастика, консервирование фруктов, русское сектантство, рыборазведение. Среди дешевых брошюр, как баржа между лодчонок, плавала фундаментальная теория чисел, и вдруг — немецкий перевод похождений Казановы, и немец Гофман по-французски, с гравюрами Гаварни, и первый русский «Дон-Кишот Ламанхский».

И вот владетелю этой окрошки, чернилами проставлявшему на книжных титулах свою звонкую фамилию и дату приобретения книги (наверно, на базарном развале), суждено было остаться в памяти Кирилла загадочным, неприязненным существом — Лохматым, при встрече с которым на улице он перебегал на другую сторону. Чем же могло существо это расположить к дружбе отца Кирилла? Может быть, странная ярмарка интересов Арсения Романовича — простые случайности, которыми обрастает жизнь, как днище корабля — ракушками? Ведь если взглянуть на такое днище из-под воды, корабль покажется тоже странным. В самом деле, что особенного в человеке, находящем удовольствие расписываться на каждой брошюре? Книголюб, когда-то прививавший Извекову почитание к печатному слову, сказал: ставить свое имя допустимо лишь на той книге, которую сам написал.

Кирилл развернул оказавшийся в куче тяжелый том русской истории Соловьева и, полусогнув листы, пропустил их из-под большого пальца жестом книжника, проверяющего цельность страниц. В глазах мелькнули карандашные надписи на полях. Кирилл вернулся к этим страницам и нашел резко подчеркнутые строки. Это

были слова пугачевской грамоты, жаловавшей рать рекою и землею, травами и морями, и денежным жалованьем, и провиантом, и свинцом, и порохом, и вечною вольностью. На полях стояла надпись: «Так будет».

Кто-то думал над великолепием щедрых и свободных этих слов, кто-то хотел, чтобы читающие эти слова тоже задумались над ними, кто-то ждал, что они станут из слов делом. Неужели Дорогомилов?

Кирилл отложил том в сторону. Минутой позже он прибавил к нему томик запрещенных в России сочинений Льва Толстого. Еще немного спустя он бросил ворошить дорогомиловские книги и перешел к другим.

Ему подвернулись «Губернские очерки» Щедрина. Отличная книга валялась вместе с какими-то руководствами по плетению ковров и ткачеству. Он отложил Щедрина. Потом он нашел драмы Ибсена (всего два тома — собрание было разрознено). Он присоединил их туда же. Пробираясь глубже в горные теснины, он поднял с пола Ломброзо (неважная книжка, с надорванным углом) — о сумасшествии и гениальности. Книга была давно разругана, он знал это, но не читал ее. Не мешает, конечно, прочитывать и то, что бранят. Ему бросилась в глаза старенькая корочка с фамилией — Бельтов. Он прошел мимо, но вернулся, прочитал название «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю». Плеханов! Четвертьвековая давность! Вероятно, эта книга была кем-то отобрана до него. Она лежала слишком на виду. Но Плеханов-то Извекову, во всяком случае, нужен. Это — не Ломброзо!

Вдруг он увидел Шекспира. Четыре роскошных тома, один как другой, с золотом по черной коже. Он раскрыл переплет. Он никогда не видел подобных переплетов. Бумага форзацев была нежна и гладка, как шелк. По ней вились птицы и цвели цветы. Они были не синие и не коричневые. Они были синими и коричневыми сразу. Серебряный волосок неумолимо вился между птиц и цветов. «Это хорошо для Аночки», — тотчас подумал он, прикоснувшись рукой к форзацу. «Аночка может брать у меня», — добавила за него другая мысль.

Эти книги были, во всяком случае, из числа отобранных до Кирилла. Они аккуратно стояли в ряд с другими прекрасными книгами. Но в конце концов кто мог здесь отбирать книги? Кто назначал сюда сортировщиков, специалистов, экспертов и как их еще? У Кирилла вряд ли меньше оснований отбирать книги наравне с ними. Может быть, даже у него больше оснований, чем у них. Так или иначе, но пока он поставит Шекспира к своим отложенным книгам.

Он стал торопиться. Книг было слишком много, задерживаться подолгу над каждой означало бы ничего не отобрать. Он хорошо представлял себе вид своих полок, когда на них станут книги. Очень важно положить в основание будущей библиотеки известную систему. Обеспечить прежде всего главные разделы. Но ведь он выбирает книги не по своему произволу, а только бродит по лабиринту и берет лучшее из того, что попадается. Надо пока мириться, взять все, что жалко не взять. «Я — как Дорогомилов, черт возьми»,— подумал он. Но сейчас же другая мысль успокоила его: «Можно будет потом выбросить из отложенного, что лишнее».

На него напала алчность. Он нес и нес к своей стопе новые сокровища. Ум его сам, помимо желания, называл эту стопу «моими книгами». Воображение говорило ему: «Это интересно для мамы — педагогика». Или: «Эту я дам почитать Рагозину».

Надвигались сумерки. Он подносил книги ближе и ближе к глазам. Он был один. Никто не заглянул к нему ни разу. Это было самозабвение. Он копал и копал эти горы, прорывая в них туннели: в глубине могли таиться дорогие сердцу имена! Подхватив снизу пачку отобранных книг и прижимая ее сверху подбородком, качаясь от усталости, он пробирался к своей стопе, которая росла и росла. Потом он шел туда, где еще не был, смотрел то, что еще не видел, и опять рылся, разгребал уступ за уступом, переходил с места на место, взбирался на оползающие книжные холмы и съезжал вниз по их склонам. Руки его стали скользкими от пыли. Он наглотался этой тонкой, сладкой, щекочущей горло пыли и кашлял.

Наконец холмы и горы слились в общую массу, читать стало невозможно, светлели только окна.

Кирилл отряхнулся и подошел к своим богатствам. «Бог ты мой! — изумился он.— Как же унести эту поленницу? Нужна лошадь». Он постоял, словно недоумевая — почему все это случилось? И что за книги он набрал? Ему показалось, будто кружится голова и его клонит куда-то вбок.

Вдруг через окно ворвалась маршевая песня. Грубые голоса, дружно нарубая такт топотом ног по булыжнику, сильнее и сильнее сотрясали улицу:

Сме-ло
    мы в бой пойдем
За власть
    Сове-та-ав...

Кирилл вытер рукавом лоб. Его действительно качнуло, и он вздрогнул.

Ударив обеими ладонями по двери, он распахнул ее и едва не сшиб отступившего от неожиданности Парабукина.

Тихон Платонович стоял с маленьким светильником, подняв его вровень с головой. Грива и борода его золотились в мерцании огонька.

— А я хотел вам лампочку предложить. Стемнело. Отобрали чего подходящее?

— Нет,— коротко сказал Кирилл.— Потом. Прощайте.

— Ежели вам неудобно или еще что, так мы пришлем. Только прикажите — куда.

— Никуда. Прощайте,— еще раз сказал Кирилл и чуть не побежал по бумажному хламу к выходу.

33

В искусстве существуют вопросы, кажущиеся решенными только потому, что зрелые художники сжились с ними и привыкли считать, что они решены. Если молодой художник ставит такие вопросы перед зрелым, то получает в ответ не решение, а ссылку на опыт, которым обладает зрелость. Опыт заменяет собой решение, не существующее в виде вечного закона, но отыскиваемое каждым художником для себя и своего времени.

Едва только Аночка Парабукина занесла ногу на сцену, десятки недоумений обступили ее, как деревья обступают зашедшего в бор человека. Среди туманностей, тупиков один вопрос казался ей необыкновенно важным, и с решением его было невозможно медлить.

Вопрос состоял в том, из какого источника черпать средства для воспроизведения незнакомого образа?

Если бы Аночке Парабукиной предстояло сыграть на сцене Аночку Парабукину, то задача решалась бы просто: Аночка должна была бы шагнуть из жизни на подмостки, оставаясь собой.

Но Аночке предстояло сыграть Луизу из «Коварства и любви». Аночка никогда не видела Луизу. То есть, совсем еще девочкой, она видела Луизу на сцене Народного театра, в саду, известном под именем сада Сервье, на окраине города. Но это была Луиза, сыгранная актрисой. Луизы Миллер, жившей в восемнадцатом веке в каком-то немецком герцогстве, Аночка не могла знать.

Почему же говорят, что театр — это жизнь? Какая жизнь? Жизнь, которой никто не видел? Кого должна играть Аночка? Актрису из сада Сервье?

Когда Аночка спросила об этом Егора Павловича, он не задумался ни на секунду:

— Луиза — это ты. Играй себя.

— Как,— серьезно сказала Аночка,— как это может быть? У меня короткая юбка, я шагаю, как барабанщик. А ведь у Луизы — фижмы?

— Когда наденешь фижмы, все станет на место. Только помни, ты — Луиза.

— А ноги, руки? Разве у Луизы они такие длинные?

— Да, такие же длинные. Не думай о них. Думай, что ты любишь Фердинанда, что ты могла быть счастлива со мной... с Фердинандом, а я... А Фердинанд тебя сделал несчастной. Думай о своем чувстве ко мне.

— Я только и знаю, что думаю! Но подумайте и вы!

— О,— с улыбкой пропел Цветухин, давая понять, что даже обаятельная девушка тоже обязана не забывать своего положения ученицы.

Это смутило ее, но она не могла подавить искренность и умоляюще сложила руки:

— Чем же я виновата, что не понимаю! Луизе кажется ее положение безысходно, а я легко нашла бы выход. Значит, она не такая, как я.

— Очень хорошо! Ты именно такая, как Луиза. Она точь-в-точь как ты сжимает руки, когда бросается с мольбой к Фердинанду. Запомни.

— Но я не бросилась бы к нему с мольбой! Ни за что! Я его отпустила бы. Пусть уходит!.. Все равно ко мне вернется! — вдруг кончила она строптиво.

Он рассматривал ее лицо с чувством растроганного и любующегося поклонника.

— Послушай, друг мой. Найди в Луизе хотя бы частицу того, что ты сама когда-нибудь переживала.

— А если в ней нет ничего от моих переживаний?

Он поправился:

— Хорошо. Не думай — что в ней от тебя. Ищи что-нибудь в себе от нее. Какое-нибудь сходство.

Он тут же задал в уме вопрос: что ей делать с отчаянием Луизы, если она еще не любила и не испытала отчаяния?

— Вдобавок,— сказал он,— самое перевоплощение — это отчасти техника.

Разговор шел наедине, после репетиции в клубе, где работала студия. Они стояли у окна запыленного зала, со стульями, перевернутыми вверх ножками вдоль стен.

— Ну, чтобы тебе было понятнее, если хочешь, я могу сейчас заплакать,— сказал Цветухин, улыбаясь.

Он поглядел за окно. Шел меленький дождик. Булыжник мостовой поблескивал разъезженной грязью. Ломовик с подоткнуты-

ми за кушак полами кафтана стегал концом вожжей свою клячу. Воз был ей не по силам. Подковы соскальзывали с круглых лысин булыжника. Лошадь, спотыкаясь, вздергивала кверху морду на вытянутой, словно вылезавшей из хомута шее.

Аночка увидела, как медленно выросшие черные глаза Егора Павловича засветились, будто кто-то мазнул по зрачкам слоем лака. Потом верхние веки дрогнули, на нижних появилась нитка влаги, утолщаясь в уголках глаз у переносицы. Это было прозрачное зерно, которое крупнело все быстрее, и вдруг, на левом глазу, оно оторвалось от века и тонкой струйкой прозмеилось по щеке.

Глядя на улицу, Егор Павлович плакал.

— Не надо! — порывисто сказала Аночка: у ней самой глаза вспыхнули от влажного налета.

Он вытер лицо платком.

— Хочешь, теперь я побледнею?

Он взял Аночку за руку и, сжимая свои пальцы, всем корпусом отшатнулся от нее. Она увидела его отвисшую нижнюю губу и неподвижный полуоткрытый рот. Краска исчезла с его щек, все черты его заострялись, утрачивая жизнь.

Она насилу вырвала из его пальцев руку.

Он засмеялся, довольный успехом урока.

— Знаешь, что это? Это воскрешение в себе пережитой однажды скорби, воскрешение когда-то испытанного страха.

Он глядел на нее с превосходством и выжидающе.

— Надо переживать. И потом возобновлять в себе переживания повторением. Остальное сделает твое тело. Оно должно быть послушно чувствам, как инструмент послушен музыканту.

Ей не понравились его ждущие глаза.

Она понимала, что все это не отвечает на вопрос: какой была Луиза. Но то, что можно упражнять чувства так же, как пальцы, и этой «техникой» пробуждать ответные чувства в других людях, изумило ее.

Она попробовала вызвать слезы по произволу. Оставаясь наедине с собой, она заставляла себя припоминать свои старые слезы. Но так, как она плакала прежде, ей не хотелось плакать теперь. У нее ничего не получалось.

Только однажды, проснувшись ночью и думая о матери, Аночка с такими подробностями разглядела ее мертвую руку, пригретую солнцем, с шершавыми, исколотыми кончиками пальцев, и так страшно ощутила прикосновение своих щек к этим пальцам, что ей стало себя жалко. Она заметила похолодевшую мокрую подушку, догадалась, что плакала во сне, и тогда стала вновь разглядывать в памяти руку матери, и у нее навернулись слезы. Она

вытерла глаза наволочкой, полежала и заснула с тяжелым чувством чего-то нехорошего.

Утром она опять думала о матери — о ее руке — и опять заплакала. Ей было мучительно стыдно, что она *это* делает с матерью, с памятью о матери, и было даже боязно *это* так кощунственно нарочно повторять. Но она повторяла, и хотя ей было стыдно и боязно, она радовалась, что всегда получалось по ее желанию: вспомнит, как целовала руку матери,— и сейчас же выступят слезы. Она стала при этом просить у матери прощения за свое кощунство и словно объяснять ей, что ведь слезы эти глубоко правдивы.

Что же в самом деле оставалось Аночке, если у нее не было в жизни иного потрясения, кроме прощанья с матерью, и если только оно в любую минуту вызывало слезы? Она делала из памяти о матери свою «технику», но ведь это предназначалось для искусства — священного искусства, каким она его считала.

Если она хотела стать актрисой, ей предстояло сотни раз повторять на сцене одни и те же переживания, и она понимала, что ведь нельзя произвольно сотни раз полюбить или возненавидеть какого-нибудь героя, не превратив любовь или ненависть в «технический прием». Ей надо было приобретать «технику», и пока ей был указан один источник такого приобретения: действительность или познание жизни. У нее еще не было времени узнать любовь актера к роли (она сыграла всего одну роль и всего один раз), и она не знала, что любимая роль способна тысячи раз породить в актере одно и то же непроизвольное переживание, которого в действительности он мог не испытать ни разу.

А стать актрисой Аночка хотела всеми силами своего существа. Она уже прошла в фантазиях долгий путь к этой цели, может быть нисколько не оригинальный, обыкновенный путь девочек, мечтающих о сцене. Но она считала его небывалым и предначертанным. И об этом пути у нее накопились неповторимые воспоминания.

Вера Никандровна, определив Аночку в училище, запретила ей бегать за кулисы театра. Это было не легко, потому что Ольга Ивановна работала для костюмерной и посылала дочь в театр с поручениями.

— Если хотите, чтобы я помогала вашей девочке учиться,— внушала Вера Никандровна,— вы должны это прекратить.

Ольга Ивановна легче послушалась, чем Аночка. Мать мечтала дать дочери образование, а для дочери за кулисами все казалось любопытнее, чем в школе. Но влияние Веры Никандровны взяло верх.

Когда Аночка подросла, ее тяга к театру обрела новый смысл: то, что делалось позади кулис, было таинственно, но еще таинственнее стало в зрительном зале, откуда открывалась чудом рожденная на сцене жизнь.

Но и тут Вера Никандровна уступила не сразу.

— Вот поэтому-то,— говорила она,— каждое посещение театра и должно быть праздником, что на сцене показывается жизнь человеческой души. А в человеческую душу нельзя ведь забегать, как в чайную, мимоходом, верно? Туда надо ходить, как в храм.

Эти наставления она с учительской последовательностью распространяла на книгу.

— Просматривать, перелистывать книгу — это не чтение. Читать надо так, как слушаешь исповедь человека. Углубляясь в книгу. Тогда она раскроет себя, и ты постигнешь ее прелесть. Как лес нельзя узнать, не углубляясь в него, а только поглядев на него издали или пройдясь по опушке, так и книга не принесет тебе радости познания, если ты не научишься углубляться в чтение.

При этом Вера Никандровна делала настолько ласковое лицо и так убедительно качала головой, что Аночке становилось неловко за себя, потому что и в книги она не успевала особенно углубляться, и в театр готова была забегать каждый день, утром и вечером, хотя бы на минутку. Храмом от такой непочтительности он не переставал для нее быть. Наоборот, он поглотил собою все храмы мира и звал к себе, как мир.

Потом пришла пора сменить внушения на советы, а затем и советы должны были уступить место благосклонной улыбке.

Аночка кончила школу в то время, когда еще не умерли все гимназические обычаи. Довольно сказать, что бывшая классная дама, сохранившая место преподавателя словесности, переименованной в «литературу», одобрив Аночкино сочинение, спросила негромко после урока:

— Парабукина, дома вам уже разрешили писать без твердого знака?

Ей хотелось, чтобы ученица унесла с собой в пошатнувшийся мир хотя бы кое-что от разрушенных добрых устоев.

Но уже появились в стенах былой женской гимназии мальчики, уже начальницу сменил заведующий школой, уже забыл дорогу в классы расчесанный законоучитель с наперсным крестом, и, наконец, девушки самочинно пригласили профессионального актера руководить постановкой «Недоросля». Это был взрыв исконной традиции, по которой гимназические спектакли выпускной класс репетировал с преподавателем словесности,— взрыв, подготовленный Аночкой Парабукиной.

Во главе таких же, как она, смущенных своей смелостью подружек, Аночка явилась к Егору Павловичу Цветухину.

Он довольно долго приводил себя в порядок. Приход девочек был неожиданным, Цветухин воспринял его, как визит преданных театралок, что стало редкостью в эти годы.

Сидел он дома, в ночной рубашке, за стаканом холодного чаю. Его мучила беспредметная грусть, он чистил гусариком трубку, засоренную махоркой. Только что он прогнал Мефодия, который, придя к нему с похмелья, просил денег и жаловался, что в башке дым, как в чистый понедельник.

За стенкой, откашливаясь, пробовала голос Агния Львовна, около года назад седьмой раз вернувшаяся к Егору Павловичу в надежде на окончательное учреждение верности и счастья. Он с неприязнью слушал севшее от табака контральто и думал о далеком прошлом, когда называл глаза Агнии Львовны очами, ее щеки ланитами. Тогда ее красочность была натуральной, хотя немного олеографичной. Агния Львовна нравилась, ее охотно приглашали антрепренеры, пока неспособность ее к сцене не сделалась общеизвестной. Репутация скучной актрисы волочилась за ней из театра в театр.

В жизни Цветухина Агния Львовна была началом несущественным и, однако, сопутствовала ему, как нечто существенное, всю его молодость. После первого ее ухода он не хотел с ней считаться, и, однако, она делала так, что он всегда с ней считался. От этого он не только меньше и меньше ее любил, но больше и больше не любил, и, однако, не мог так сделать, чтобы она навсегда оставила его, потому что ее желание не оставлять его было настойчивее его нежелания с ней оставаться.

По натуре Агния Львовна принадлежала к тому застарелому роду жен, которые сравнительно спокойны, когда водят мужа, как мопса, на поводочке,— сравнительно, потому что крайне раздражаются, если мопс больше, чем надо, потянет, и немедленно начинают плакать, убиваться, пить валерьянку, если поводок лопнет.

Егор Павлович не отвечал таким требованиям питомничества. Искания, любовь к изобретательству делали из него человека мечтательного и не совсем удобного для покорного счастья. Может быть, его удержала бы цепь, а не поводок, который он то тянул, то дергал, то теребил, то рвал. Но, чтобы выковать цепь, чары Агнии Львовны были недостаточны. Она только штопала, надвязывала непрочно поводок, снова и снова накидывая его на непослушную шею.

Со временем метания Цветухина обратились отчасти в старые чудачества, отчасти в беспокойство характера. Скрипка забывалась, так как эластичность пальцев утрачивалась скорее, чем при-

обретала беглость. Размышления о новых летательных конструкциях притуплялись, потому что настойчивость прогресса, с какой во время войны строились самолеты, перегнала цветухинскую дерзость. Чтобы не засыпать над своими безрезультатными вычислениями, он начал раскладывать по вечерам пасьянс.

Оставался театр.

Егор Павлович был привержен своему искусству искренне и пылко. На сцене ему больше всего хотелось придумывать, изобретать. Но и здесь время осаживало его порывы, полет превращался в бег, бег переходил на ровный шаг, да и шаг иногда приостанавливался в нерешительности.

Цветухин спорил с актерами часто уже по привычке, а не по страсти. Театральные кулисы наделили его навыками, с помощью которых препятствия одолевались гораздо легче, чем это могли сделать новшества. Исподволь он приживался к неподвижному складу рутины и все безразличнее грешил против своих настоящих склонностей. Немногих старших его друзей давно укатали горки, как поговорочную сивку. Они даже за грех не считали безучастие актеров к большим целям искусства.

— Ты нас не инструктируй,— говорили Цветухину старики,—а покажи, как у тебя получается. Мы за тобой пойдем, ежели нам по душе придется. Шли же, бывалоче, за Сарматовым али за Орленевым.

С первым раскатом революции Цветухин прянул к небу. Казалось, сама эпоха будет теперь творить за человека все то, что прежде было не по его робким силам. Он думал сразу увлечь за собой весь театр. Но его слушали нехотя. Слишком привыкли в этих стенах к его вызывающим речам. Он был просто старым оригиналом, его выдумки не хотели признавать за порождение революции. И в ответ он слышал знакомые погудки:

— Ты все про то, что должно быть. А искусство, братец, то, что есть. Разродись! Что там должно вытанцеваться из твоих помышлений — сие никому не ведомо. Актер, милый,— Фома неверующий. Не пощупал — не признал.

Надо было выходить на немощеную дорогу, а может, даже сворачивать на степную целину.

И вот Егор Павлович сидел с обидой на превратную актерскую судьбину, слушая ненавистное контральто и думая о его обладательнице, что все в ней неестественно, наигранно, натянуто! Она любила играть кошечку и все забиралась с ногами на кушетку, а у нее были сухопарые ноги, коленки торчали пирамидами. Она подражала актрисам, которые умели на народный лад и по плечу хлопнуть приятеля, и подбочениться, и объятия распахнуть любому знакомцу, словно родному брату, и похристосовать-

ся всласть. Но все это у нее выходило, как у трактирщицы, и поднимало в Егоре Павловиче протест.

Он собрался постучать в стенку, чтобы Агния Львовна прекратила упражнения голоса, когда явились девушки.

Облачившись и наспех прибрав комнату, он впустил их, и они скучились в дверях, не смея переступить порог в алтарь своего божества.

Удивительно, какое чисто физиологическое действие оказывает на человека поклонение. Увидев пылающие лица девушек, их разнокрасочные глаза, которыми они не решались мигнуть, Егор Павлович ощутил пение в каждом суставе. Будто хмель прокатился у него по жилам, играючи и подбивая развеселиться. Гибкий, выросший, моложавый, перед девушками стоял совсем не тот Цветухин, что, болтая ложкой в стакане морковного чая, воевал с желчью, поднятой Агнией Львовной.

Аночка, как зачинщица всего предприятия, заговорила совершенно в духе предводителей депутаций:

— Уважаемый Егор Павлович! Мы, ученицы выпускного класса школы номер...

Он улыбался подбадривающе и увлеченно, поняв намерения школьниц гораздо раньше, чем Аночка дошла до приглашения посмотреть и, если можно, поддержать ученический спектакль.

— «Недоросль»! — воскликнул он, броском поднимая голову, точно собираясь кивнуть давнишнему другу.— Ну, и кто же из вас Софья?

— Я,— ответила Аночка бесстрашно и покраснела.

— Ах, ты...— начал и не досказал Егор Павлович.

После революции он ни разу не видал Аночку, и она предстала перед ним сейчас еще более неожиданной, чем было во время войны, когда — за долголетним перерывом — он встретил ее уже девушкой, в гимназической форме, и все никак не мог поверить, что это та маленькая девчонка с белобрысыми косицами, которая давно-давно вертелась при артистических уборных и бегала за папиросами актерам.

Он тотчас согласился прийти в школу. У него родилось предчувствие перспективы, какую могли открыть занятия вот с этими восхищенными и перепуганными девушками, вряд ли знавшими, куда они стремятся. Но, кроме того, его подстегнуло тут же возникшее острое любопытство к Аночке: в ней ярче, чем в подружках, горело это восхищение, и она смелее боролась со своим испугом.

Начав ходить в школу, он быстро уверился в безошибочности предчувствия. Для молодежи любое его мнение было непреложно. Он мог свободно толковать все роли «Недоросля», и артисты с

доверчивой готовностью шли за ним, стараясь точнее поставить свои подошвы в намеченный учителем след.

Конечно, это было далеко от революции! Ее вольный ветер дышал только в новизне общения, в отсутствии сбруи, какая удерживала бывалых актеров в театральных упряжках. Здесь искренность не считалась наивностью. Девушки еще восклицали: «Как я плакала!» — не стесняясь простоты сердца и не зная, что в этом случае требования жаргона обязывают актрису сказать с усмешкой: «Я, милая моя, совершенно изревелась!»

Из «Недоросля» получился, конечно, вполне школьный спектакль, вплоть до традиционного анекдотического происшествия, когда госпожа Простакова, усердно бегая в конце четвертого акта по сцене, затушила юбкой лампу в суфлерской будке, и хлебнувший сажи суфлер во всеуслышанье зачихал.

Но Цветухин черпнул в этом спектакле свежий вкус к работе, увидел, откуда надо ждать удовлетворения.

Он решил собрать такую труппу, где главное место займут люди, еще далекие от сцены, и прежде всего молодежь, не боясь высокомерного осуждения в любительстве, помня, что открытия в искусстве первоначально были непременно любительством.

Самым сильным побудителем к новому делу стала Аночка. Цветухин не сомневался, что она должна прийти в театр. Со своими острыми локотками, худой шеей и будто излишней длиной рук, она казалась не вполне сложившейся девушкой. Но молодая эта несложенность странно одушевила образ Софьи, едва Аночка надела ее костюм. Она была чересчур жива, лицо ее чересчур резко меняло выражение — растерянное на хмурое, насмешливое на строгое. Но ее живость превратилась на сцене в волнение, насмешка стала участием к партнеру, растерянность — чистотой, хмурость — задумчивостью.

Егор Павлович не заметил, как из увлечения артистизмом Аночки его чувство перешло в обожание к самой носительнице дарованья. Пока готовился «Недоросль» и потом с великими хлопотами собиралась студия, Цветухин испытал перерождение, какое бывало ему и раньше знакомо, но на этот раз почудилось неслыханно новым, как весна чудится неслыханной, если вдруг двинется в расцвет. На виду у всех Цветухин сделался тенью Аночки, и только она сама, захваченная работой, понимала это меньше других.

Труппа Цветухина получалась пестрой. К невинной в делах искусства молодежи присоединились старые актеры. Студии посчастливилось заручиться поддержкой военного клуба, а это значило — заручиться хлебом. Актеры надели на плечи мешки, и Егор Павлович тоже носил неразлучную суму с красноармейски-

ми пайками. Он утешал пшеном и воблой Агнию Львовну, подавленную тем, что, как она выражалась, даже в собственной труппе ей не хотят дать достойной роли.

Сам Егор Павлович готов был питаться воздухом, репетициями и ежедневными провожаниями Аночки. Когда он однажды надел холщовую русскую рубашку, вышитую красными цветочками, и Аночка воскликнула: «Ах, как к вам идет!» — ему представилось, что он так всю жизнь и проносит эту холстину, не снимая. Он помолодел и будто первый раз за все актерство репетировал свою роль Фердинанда, в прошлом доставившую ему много счастья.

Он выбрал для начальной работы «Коварство», как одно из самых в революцию популярных романтических представлений, где был заложен огонь, которому прежде побаивались давать выход. Но актеры не видели в пьесе ничего, кроме давным-давно игранных ролей, опять предназначенных для переигрывания, и не собирались особенно утруждать себя, а больше любопытствовали — что же получится из цветухинской любительщины с подростками.

Как только Аночка показала, что способна играть, так к ней приступили — кто с чем. Одни толковали о французской школе, другие о реализме, третьи о Станиславском, а то и просто о значении благозвучного псевдонима для актерского успеха.

— Нехорошо, детка, звучит — Пара-букина! — увещевал актер на амплуа стариков.— Вообрази, будут кричать с галерки: бу-у-кину!

— Имя человека украшается делом,— возражала Аночка, скрывая доктринерским тоном одной ей внятную обиду.

— Оно, конечно, украшается. Да, поди-ка укрась свое имя, ежели ты — Титькин. Надо поблагороднее: Пара... белла, пара... целла... Что-нибудь этакое. У нас такой был случай. Играет один любовник — дух захватывает! А в публике — гроб. Почему бы? Фамилия не понравилась. Веретёнкин! Едет в другой город. Играет — вроде тачку везет, самому тошно. А публика ревет. Почему бы? Фамилию переменил. Фамилия понравилась: Расковалов!

Мефодий, подслушавший разговор, счел долгом успокоить огорченную Аночку.

— Что ты обращаешь внимание! Разве это актер? Заведующий столовой, а не актер! Вечно что-нибудь делит с другими, как черт — яблоки.

— Не понимаю, Аночка! — что это Егор Павлович помешался на зубрежке ролей? — говорила Агния Львовна.— А что же делать суфлеру? Не помню сейчас, но я читала в каком-то французском романе — даже, кажется, у Бальзака. Такая молодая звезда, артистка Флорина, и к ней набились в уборную поклонники, и она их гонит вон, перед самым выходом, когда уж в коридорах

звонок. И говорит: «Уходите отсюда все, дайте мне прочитать свою роль и постараться ее понять». Это после-то звонка, милочка! Постараться понять! Перед выходом! Вот — артистка! А ты зубришь, зубришь, который уж месяц! Играть-то ведь надо не точки и не запятые, а еще кое-что. Вот есть ли у тебя это кое-что — посмотрим, душечка.

Все они, эти верные солдаты кулис, простоявшие целую жизнь в очередях ко вратам славы, щедро предлагали свой опыт бедной познаниями девушке, и если Аночка не потеряла голову от советов, то единственно потому, что выше всех ставила Егора Павловича и ему одному пробовала себя подчинить, если могла.

Он, может быть, и не в силах был словами ответить ей на ее вопросы — что же такое в искусстве перевоплощение и как играть Луизу Миллер, если ты — Аночка Парабукина, но он был художником, и опыт заменял ему слова. Он предлагал Аночке найденные им решения, и время должно было показать — способна ли она эти решения понять и хочет ли их сделать своими.

Наконец, уже к исходу октября, спектакль был готов.

34

Спектакль был готов.

Его играли в полковых казармах, рядом с университетом. Большой зал, еще ни разу не протопленный, из конца в конец заняли нового призыва мобилизованные, в шинелях, полушубках, иные — караульной роты — даже с винтовками в руках. Но собралось много и невоенной публики, не испугавшейся полгорода пройти пешком во тьме и холоде ради события, которому имя Цветухина придало заманчивость. И — само собой — лучшие ряды стульев попали во власть к родным и знакомым актеров-новичков.

Парабукин, никогда в прошлом не сидевший так близко к занавесу, держался с мучительной солидностью. Выпил он до прихода только чуть-чуть, для смелости, старательно это скрывал, но раньше всех в переполненном зале почувствовал скопление тепла и начал прессовать лоб сложенным в тетрадочку платком.

Дорогомилов всю осень прихварывал, однако не мог отказать мальчикам в своем присутствии. Они тянулись на стульях, то примериваясь — все ли будет видно через рампу, то вертя своими стрижеными головами. Глаза их заранее горели энтузиазмом и ярко отвечали лампочкам: клубу на этот вечер было дано электричество.

Лиза и Анатолий Михайлович устроились в боковом ряду так, чтобы наблюдать за Витей и не быть на виду у Веры Никандровны. Лизе хотелось быть незаметной, обстановка волновала ее —

непохожая на театр, но сразу всколыхнувшая о нем множество воспоминаний.

Вера Никандровна приберегла место для Кирилла, и он пришел в самый последний момент, когда погас свет и разговоры зрителей быстро притихли.

В эту минуту Аночка еще глядела со сцены в зал, капельку раздвинув занавес. Егор Павлович сказал ей, чтобы она выбрала в публике какое-нибудь лицо, которое ей понравится, и потом играла бы для этого лица:

— Я всегда для кого-нибудь играл и думал, что мой избранник будет меня судить, вынесет моей игре приговор.

Она перебрала десятки лиц, не решаясь, на ком остановиться. Это была щелка в мир. Щелка в будущее Аночки, которому сейчас она должна была выйти навстречу. У нее замирало сердце.

И вдруг она увидела пробирающегося между рядов Кирилла. В тот же миг зал исчез во мраке. Ей сделалось страшно до головокружения, у ней подогнулись коленки, и тут она услышала, как подошел Фердинанд и выговорил над ее ухом:

— Довольно, Луиза, начинаем.

Действие «Коварства и любви» с первого акта увлекает за собой весь зал тем более властно, чем непосредственнее зритель. На сцене сразу раскрывается всем понятное положение и возникает завязка, которая будит любопытство уже назревшим противоречием страстей.

Тем, что актеры облачатся в камзолы, наденут парики и туфли с золочеными пряжками, они не будут отчуждены от зрителя. Необычный облик героев лишь увеличивает занимательность происходящего на сцене. Смысл зрелища лежит за пределами масок.

Какому сердцу не доступны первый пыл юноши или боязнь девушки за свое неискушенное чувство, и невозможность это чувство сдержать, и желание дать ему волю? Кому не знаком рассерженный отец, обвиняющий мать в потворстве опасному влечению дочери? Кто в жизни не встречал маленьких или больших вельмож, ради корысти разрушающих чужое счастье?

За стенами полковых казарм, в городе и за его чертой, в бесконечной стране велась борьба с произволом за тех, кто веками страдал от него и теперь призывал к своему освобождению. Красноармейцы, заполнившие клуб, в крошечных происшествиях мещанской трагедии явственно слышали отзвук живых своих чувств. Там, на подмостках, господствовал произвол. Здесь, в зале, произвол вызывал возмущенье. В зале горела жажда справедливости. На подмостках справедливость преследовалась, и к ней рвалось через рампу неудержимое участие и сострадание зрителя.

Нет, Луиза не напрасно терзалась своими муками. Она была

не одинока в своем презрении к насилию, в своей гордости перед лицом властелинов, не одинока даже в бессилии и слезах. Солдат революции, искавший правду жизни повсюду, становясь зрителем, требовал правды и от театра. Он находил частицу этой правды в беззащитной девушке, и чем возвышеннее казались ему страдания Луизы, тем искреннее готов он был протянуть ей руку защиты.

В зале все притаилось, точно в поле ночным безлунным часом. Удивление было самым сильным чувством из всех, которые владели зрителем, удивление — что подкрашенные фигурки в цветных камзолах, в треуголках и чепцах жили, как настоящие люди.

Потоки, реки, океаны слов, изливавшиеся со сцены, не похожие ни на одно из тех обыкновенных слов, которыми объясняется простой человек, в журчании своем магически несли доступную всем мысль.

Ни ходульность, ни кудрявость восклицаний Фердинанда не могли помешать доверию, возникшему в публике к Цветухину, когда он — порывистый, горячий и легкий — юношески щедро нагромождал перед Луизой свои клятвы в любви.

Каждый солдат, закутанный в суконную шинель, кашляя в рукав, чтобы не помешать соседу, сам боялся упустить хотя бы звук приподнятого маслянистого голоса Цветухина. Каждый переводил на свой язык колдовскую декламацию Фердинанда и, может быть, думал однажды сказать кому-нибудь, как Фердинанд: «Пусть даже встанут горами между нами препятствия — они послужат мне лестницей, и я устремлюсь по ним в объятия Луизы! Бури враждебной судьбы раздуют мои чувства: опасности лишь придадут больше прелести моей Луизе!» И каждый, может быть, думал однажды услышать от кого-нибудь в ответ, как от Луизы, страшно громкий шепот ужаса и страсти: «Довольно! Умоляю тебя, молчи! Если бы ты знал!..»

Эта Луиза, с такой трудно запоминаемой фамилией, проставленной чернильной мазилкой на афише,— Парабукина,— влекла к себе девичьей искренностью, простотой, смятением неопытной души, которое должна была передать своей ролью. Наверное, так только казалось. Наверное, она трепетала, что не справится с задачей, столь дерзко на себя взятой. Но страх ее перед зрителями необъяснимым образом поглощался другим страхом — страхом девушки-мещанки перед своей нечаянной и обреченной любовью.

Лиза следила за игрой Аночки с недоумением, завистью, почти не веря, что на сцене та самая девочка, которая неприметной травинкой росла где-то поодаль, когда Лиза уже наслаждалась театром, наедине с собой грезя о нем, как о высшем мыслимом на земле уделе. Да, да, травинка вытянулась и окрепла. Это — не

девочка, это — женщина накануне предназначенного ей цветения. Откуда у Аночки эти скользящие жесты? Кто научил ее так свободно носить старомодное длинное платье? Не мог же это сделать Цветухин! Она играет с Цветухиным. С самим Цветухиным! Аночка, которая в детстве с боязнью звала его «черным»! Как сыграла бы с Цветухиным Лиза? Актрисой она, наверно, была бы очень хороша — с достоинством ее поступи, с очарованием лица. Но актрисой сделалась не совсем складная и — право же! — не очень красивая Аночка. А Лиза так, наверно, и умрет обыкновенной женщиной провинции, в грустной незаметности. Не к лучшему ли это? Может быть, судьба спасла Лизу от унижения? В жизни она оставалась привлекательной, на сцене могла бы стать жалкой — как знать? Не лучше ли решила судьба, милостиво предоставив Лизе любить сцену тайно, как любят ее множество женщин?

Лиза оторвалась на секунду от сцены и разыскала глазами Кирилла.

Он сидел прямой, немного подавшись вперед. В отраженном кирпичном свете рампы лицо его было как будто бледнее обычного и остро вычерчивалось на какой-то тени. Нельзя было издали в точности распознать выражение этого лица, но было видно, что Кирилл глядит на Луизу.

Удивление, вызванное зрелищем у публики, казалось, захватило и его. Но он удивлялся не зрелищу, а только одной Аночке. Впрочем, он удивлялся одинаково и себе: как мог он прежде не оценить, не видеть самой сильной, самой поражающей стороны ее существа — ее таланта! Она была несравненно богаче, несравненно шире, чем он ее себе представлял. Она была выше всего, что приходило ему на ум, едва он начинал о ней думать.

Улыбка нежности медленно, непривычно легла на его губы и застыла. Слишком чистосердечны, слишком невинны были все эти театральные страдания, чтобы не размягчить и непреклонную душу.

Когда Луиза, вскочив с колен и вырываясь из рук отца, бросилась за уходящим Фердинандом и простонала: «Останься! Останься! Куда ты? Батюшка! Матушка! В эту страшную минуту он нас покидает»,— Кирилл еще больше подался вперед и закашлял, чтобы приглушить какой-то странный звук, вылетевший с перехваченным дыханьем. Он вспомнил свой смех около окна, где поздно вечером расслышал этот мучительный стон, который сперва перепугал, а потом развеселил его: «Останься! Останься!» Но сейчас ему не было смешно. Волнение соединяло его с Аночкой больше, чем в тот вечер, когда он обнял ее в первый раз. Ему хотелось скрыть это волнение, и он все больше подавался вперед —

на самый край стула. Но тем удобнее было смотреть за его лицом Вере Никандровне, отклонившейся назад и не устававшей переводить взор с Аночки на сына: все, что еще могло быть для нее вопросом, само собой разъяснялось до конца в эту минуту.

Второй акт закончился отлично, и артистов стали вызывать. Взявшись за руки, они цепочкой потянулись перед рампой, и счастливое их возбуждение словно колыхало занавес, который переливался у них за плечами, как волны.

Аночка, раскланиваясь, опустила глаза, чтобы взглянуть на Кирилла. И вдруг сияющая ее улыбка исчезла. Она увидела красноармейца, наклонившегося к Извекову и что-то шепчущего ему на ухо. В ту же секунду Кирилл поднялся и быстро пошел через зал за красноармейцем.

Зрители продолжали шуметь и все разгоряченнее выкрикивать имена актеров. К Аночке прорвался высокий молодеческий голос: «Пара-бу-у-кину-у!» Право же, это звучало внушительно и даже музыкально, несмотря на «бу-укину-у!», на эти долгие, пожалуй, озорные «у-у». Но внезапная печаль мешала ей насладиться шумным прологом успеха: Кирилл не поднял на нее глаз и, наверно, совсем исчез теперь из клуба — есть ведь более важные дела, чем любительские спектакли!

Актеры в четвертый раз взялись за руки, и герой, во главе всего хоровода, уже потянул за собой героиню, когда за кулисами появился красноармеец, который только что увел Кирилла из зала.

— Товарищ Цветухин, погодите!

Несколько сказанных им слов заставили Цветухина бросить хоровод, и через мгновенье на сцене все переменилось.

Плотники бросили оттаскивать в стороны декорации, выжидательно перекладывая в руках молотки и гвоздодеры. Вылез, отряхиваясь, взъерошенный суфлер, сошел с поста пожарный, показались статисты в форме полицейских какого-то лютого государства. Актеры обиженно переглядывались: в зале еще не улеглись аплодисменты.

— Не расходитесь, товарищи, не расходитесь! — кричал помощник режиссера, тряся над головой истрепанным Шиллером.

— Весь состав! — приказывал Цветухин.

— Зал потушить? — через всю сцену спрашивал электротехник.

— Подковой, товарищи, подковой,— суетился помощник.

— Да что случилось-то? Фотограф, что ли?

— Позовите гримера! Марь Иванну позовите!

— Исполнители, вперед! Ближе, ближе! Луиза, в середину! Президент! Гофмаршал! Плотнее!

— Что же, петь будем?

— Товарищи плотники! Становитесь в ряд! Куда же вы?

— Правый софит! Софит потух!

— Митинг? По какому поводу?

— Длинный звонок в зал! Есть кто на звонках?

— Готово, Егор Павлович. Все в сборе.

Цветухин осмотрел труппу, стал в самый центр подковы и кивнул помощнику.

— Давай! — закричал тот, вскинув над головой и опустив затрепыхавшего листочками Шиллера.

Занавес торжественно пошел.

Публика начала усаживаться, переговариваясь и опять зааплодировав. Никто не знал, что, собственно, должно последовать, и многие приняли неожиданный парад за благодарность коллектива на вызовы — все ведь было по-новому: и публика не знала традиций, и театр не собирался традициям следовать.

Но вдруг, пересекая частым шагом сцену, на середину ее — к суфлерской будке — вышел Извеков и быстро поднял руку. Все затихло.

— Товарищи,— произнес он голосом совершенно несхожим с актерскими — громко нерасчетливым, вскрикивающим, а не плавным голосом. И это было так ново, что все театральное сразу будто отзвучало, отодвинулось вдаль, и на смену пришло что-то совсем иное.

— Только что получено по телеграфу известие о нашей огромной победе на Южном фронте.

Зал словно зароптал, потом сам себя остановил и замер.

— Под Воронежем красной конницей товарища Буденного наголову разбиты два кавалерийских корпуса белых — Мамонтова и Шкуро! Воронеж...

Ему не дали говорить дальше. Не исподволь, а сразу гулким обвалом под откос рухнул на сцену шум. Крики будто хотели заглушить хлопанье ладош, топот подавлял стуки ружейных прикладов об пол. Сначала дальние ряды, потом все ближе и ближе красноармейцы начали вскакивать с мест, кучно высыпать в проходы между стульев и надвигаться к сцене.

Кирилл опять поднял руку и шагнул навстречу к толпе. Она неохотно стихала.

— Воронеж освобожден! В руки наших войск попала масса трофеев! Белые бегут!

Снова его перебили молодыми криками «ура» и треском аплодисментов. Глянув вниз, он с одного взора схватил и запечатлел в себе множество бесконечно разнородных лиц, соединенных как бы в одно пылающее лицо.

— Подробностей мы ждем с часу на час. В телеграмме ска-

зано, что преследование продолжается. Мы бьем казаков Мамонтова, бьем добровольцев Шкуро. Это, товарищи, начало их конца. Деникин будет разбит. Деникинщина будет погребена навеки. Красная Армия выкопает ей бездонную могилу. Да здравствует славная советская конница рабочих и крестьян!

Это было уже призывом к ликованию, и ликование всколыхнуло старые стены казарм — дом начал вторить шуму, умножая его перекаты.

Поднялись со своих мест и передние ряды — вся невоенная публика. Забрались на стулья мальчики — Павлик, за ним Ваня и Витя. Арсений Романович бил в ладоши, высоко подняв над головой руки, и сивые его космы тряслись в такт ударам. Парабукин почему-то махал своим аккуратно сложенным платочком. Лиза аплодировала, глядя на сына, и все ждала, когда он обернется, чтобы показать ему, что надо слезть со стула. Даже Ознобишин чинно похлопывал пальцами в свою маленькую ладонь.

На сцене актеры близко подступили к Извекову, сломав весь строй подковы. Они дружно поддерживали овацию и не давали Кириллу уйти за кулисы. Его гимнастерка хаки казалась вызывающей среди цветных нарядов под восемнадцатый век — атласных лент гофмаршала, кружев и газа леди Мильфорд из рода герцога Норфолька, бархата и шелка президента. Извеков один был темноволос в окружении напудренных париков. И ему было так неловко своей естественности, будто это он один нацепил на себя мишуру, а маски рядом с ним были натуральны, как обыкновенные люди. От этой неловкости он спрятал руки в карманы, но тотчас выдернул назад и, сам не зная — зачем, быстро протянул руку Цветухину, пожал его крепкую кисть, и потом, еще быстрее, схватил и тряхнул руку счастливо смеющейся Аночки.

Ему показалось, что в этот момент аплодисменты накатились на сцену шумнее, и он подумал, что своим нежданным рукопожатием переключил внимание зала с известия о победе на актеров и что это недопустимая ошибка. Он решительно двинулся со сцены.

Аночка догнала его за кулисами. Такая же смеющаяся, она громко спросила, торопясь за ним поспеть:

— Вы теперь, наверно, не останетесь на спектакле, после такого известия!

Он остановился и первый раз вблизи увидел ее сверкающую пудрой шею и приоткрытую грудь, и словно лаковый рот, и темно-синюю краску глаз, которая будто растеклась и подсинила широкие веки. Но за всем этим на него с поразительной ясностью смотрела Аночка, какою она была всегда в его неустанном представлении о ней. Аночка, которую никакой грим не мог ни ухудшить, ни улучшить и которая с трепетом ждала — что он скажет.

— Нет, я останусь до конца. Я только буду ходить к телефону. Тут, через две комнаты.

Он подождал. Ему было жалко оторваться от того, что он разглядел за ее гримом, как за стеклом, которое припорошено пылью.

— Вы очень хороши,— сказал он.

Она немного отодвинулась от него.

— Посадите кого-нибудь на телефон,— сказала она.

— Я должен сам.

— Тогда посадите кого-нибудь вместо себя в зале, чтобы вам доложили, как я провалюсь.

— Я буду уходить только в антракты,— улыбнулся он.

В лице ее не было ни тени каприза или кокетства — она просто не верила в серьезность его обещания. На них глядели издали актеры, и плотник прогудел сердито: па-ста-ранись! Кирилл ободряюще качнул головой и ушел.

Цветухин сейчас же, на ходу, спросил у Аночки:

— Что он сказал, а?

— Ему нравится,— ответила она также мимоходом и безразлично.

Во время действия она не могла видеть Кирилла (она вообще боялась глядеть в зал), а в антракты его место пустовало. Она так и не знала, сдержал ли он слово.

Спектакль, раз выбравшись на гладкую дорогу, катился к концу без всяких злоключений. Наоборот, успех все время рос и рос. Может быть, повышенное настроение, созданное вестью о победе, сказалось на зрителях — они стали еще добродушнее, чем вначале, и не щадили ладоней, но актеры относили расположение зала целиком на счет своих талантов и делали свое дело уверенно и стройно.

Вызовы с окончанием последнего акта были бурны и щедры. Все толпились у сцены. Труппа аплодировала Цветухину, он аплодировал труппе, брал Аночку за руку и выводил вперед. Нельзя было счесть поклонов, отвешенных публике.

Парабукин стоял гордый, ждал поздравлений. Арсений Романович первый с горячностью пожал ему руку.

— Видите ли, какого типа, а? Надежда! Надежда, открытая на своей родине. Так сказать, самобытность, а? И ведь все Цветухин! Великий пример!

Тихон Платонович, вытираясь давно развернутым и насквозь мокрым платком, кивал и покашливал многозначительно. Поймав за руку сына и подтягивая его к себе из толпы, он нагнулся к нему:

— Теперь, Павел, мы с тобой Ротшильды! Егор Павлыч сестру-то твою озолотит!

Лиза медленным взглядом встречала и провожала выходившую к рампе Аночку. И в эти минуты Лиза как будто не помнила ни об Ознобишине, который терпеливо ее дожидался, ни даже о Вите. По-прежнему спрашивала она себя — откуда же эта девочка взяла силы отважиться на такой бой и выиграть его? — и по-прежнему не находила ответа. И тут она заметила почти рядом с собой Кирилла.

Он, приподнявшись, глядел через плечо Веры Никандровны на сцену. Губы его вздрагивали, ему, видно, хотелось остаться строгим судьей, а переживание увлекало его, и радость сквозила в этой явной борьбе. Он будто почувствовал, что на него смотрят, беспокойно обернулся, увидел Лизу и смутился. Протиснувшись к ней, он поздоровался.

— Я вижу, вы тоже восхищены Аночкой? — спросила она.

— По-моему, у нас новый готовый театр. Я не думал, что Цветухину так все удастся. Смотрите, как приняли красноармейцы.

— Но Аночка-то! Правда? — настаивала Лиза.

— Да, Аночка,— опять уклончиво сказал он.— Для такой благодарной аудитории легко играть.

— А мне кажется, не легко. Надо, чтобы все было понятно.

— Никакой особой понятности не нужно. Народ достаточно развитой,— сказал он и приостановился, словно задержавшись на какой-то мысли, и вдруг добавил: — Но вы правы в том смысле, что непонятное делать гораздо легче.

Было все еще шумно, и они говорили громко, стоя так близко, что плечи их касались.

— Я рада, что вас встретила.

— Я тоже.

— Я не решалась прийти к вам, сказать — спасибо.

— Это за что же?

— За отца. Уже две недели, как он дома.

— Он... Ах, да! Понимаю. Только я здесь ни при чем.

— Неправда.

Он засмеялся.

— Зачем мне приписывать чужие благодеяния? Это — хлопоты Рагозина. Он ведь знал вашего отца.

— Но это же неправда! До меня дошел этот слух, будто помог Рагозин. Мой муж ходил к нему — поблагодарить. Но Рагозин сказал, что знать не хочет об этом деле, и прогнал мужа.

— Он дядя серьезный,— опять засмеялся Кирилл,— и тоже не из благодетелей. Да и вообще отец ваш вряд ли кому особенно обязан. Чем должен был — он, видно, поплатился.

Лиза, насколько могла, отстранила свое плечо от Кирилла и молча глядела ему в глаза.

— Вы, как всегда, исполнили дочерний долг и должны быть довольны. Чего же больше?

— Это — что? Злопамятство? — с горечью сказала Лиза.

— Это — истина,— ответил он сухо и огляделся по сторонам.— Артисты больше не выходят. Надо расходиться.

Он торопливо попрощался.

Стало действительно тише в зале, но еще многие хлопали, и Цветухин последний раз вывел за руку Аночку.

У нее был такой вид, будто она не могла отрезветь от неожиданного успеха — улыбка ее совсем затвердела и поклоны потеряли гибкость. Она все тревожнее искала взглядом Кирилла и все разочарованнее уходила за кулисы.

Наконец она прибежала в свою крошечную уборную — уголок, отгороженный картоном, почти упала на стул и закрыла глаза. Все вышло так, как ей мечталось в сокровенные минуты наедине с собой: она сыграла главную роль, она одержала победу! И вот она не ощущала ничего, кроме полной потери сил и тупой печали. Ей хотелось заплакать от изнеможения.

Она только успела глубоко вздохнуть, как дверь задребезжала от ударов и тотчас наотмашь раскрылась.

Влетел Цветухин. Он сорвал с себя парик и, схватив его за косицу, вертел над головой, точно трофей. В одном шаге от Аночки распахнул руки:

— Роднуша моя! Дай я тебя поцелую!

С нее точно свалилась усталость. Она вскочила, откинув стул, и бросилась ему на шею. Он обнял ее и поцеловал в губы. Оторвавшись, он сказал:

— И еще раз, чудесная моя актриса! Еще!

Она сама поцеловала его. Он опять нащупал губами ее рот. Она хотела откинуться. Он зажал ее голову в крепко согнутой руке. Она все-таки вырвалась. Он проговорил поспешно и очень тихо:

— Еще. Ну, скорее... Ты!

Аночка разглядела его новые, чем-то страшные, темные глаза.

Она нагнулась, подняла стул, села за свой столик спиной к Цветухину. Через зеркало она видела, как он потирал лоб, резко разделенный на две полосы — верхнюю смуглую с седовато-черной шевелюрой над ней, и нижнюю, оранжевую от грима, под которой грубее проступали морщины.

— Егор Павлович, уйдите, пожалуйста. Я должна переодеваться.

Цветухин постоял еще мгновенье. Вдруг он махнул париком, точно собрался его бросить, повернулся и ушел, затворив за собой осторожно дверь.

Аночка сидела неподвижно. Опять вернулось к ней изнеможение, и руки не поднимались, чтобы отколоть шпильки и снять чепец. Начало небывалой, опасной жизни чудилось ей на этой грани между шумом зрительного зала и странным одиночеством среди притихших закоулков уборных.

Внезапно донесся низкий женский голос. Аночка узнала его и принялась раздеваться.

— Ну, где же ты, милочка, прячешься? — распевало контральто Агнии Львовны.— К тебе пришли с поздравлениями, а ты убежала!

Она ворвалась в уборную, обхватила сидящую Аночку со спины и звонко облобызала в ухо, в шею, в щеку.

— Ну, я должна признать, должна признать! — восклицала она между поцелуями.— Просто очень, очень мило, и с природным темпераментом! Я не думала, честное слово! Конечно, у тебя, душечка, нет еще внутренней страсти. Но нельзя же и требовать с такого цыпленка! Право, душечка, не сердись. И потом — конечно — еще никакой школы! Я сыграла Луизу только на четвертый год. И какой фурор! Незабвенно! А ты хочешь сразу! Разумеется, будет поверхностно! Но ничего, ничего, не убивайся и не вздумай, пожалуйста, реветь. Главное — очень мило и дошло до публики. Школа — дело наживное. А что касается страсти...

Агния Львовна горячо прижалась щекой к Аночкиному уху:

— Не вздумай, дружок мой, в этом отношении поддаться Егору Павловичу.

— Откуда вы взяли? — отшатнулась Аночка.

— Ах, деточка, что же я, не знаю, что ли, его? Он сейчас же полезет целоваться! И потом начнет тебе плакаться на свою судьбу. На то, что я его терроризую и что только ты можешь положить конец моему своевластию над его погибшей жизнью! Ничему не верь! Все это притворство и чушь! Просто он старый ловелас! И больше ничего! И если бы не мои вожжи, он никогда не стал бы Цветухиным. Так бы и путался с девчонками. А я из него сделала гения!

Аночка старалась возразить и даже поднялась, высвобождаясь из этого бушевания закруживших ее фраз, но Агния Львовна туго зажала ей рот ладонью и, вплотную надвинувшись, прошептала с расстановкой, как заклинательница змей:

— Запомни! Я тебя сживу со света, если ты раскиснешь от посулов моего Егора.

В тот же миг Агния Львовна рассмеялась и снова звучно пропела:

— Рано, рано, милочка, зазнаваться! К тебе пришла толпа!

Как волхвы на поклонение под предводительством, кажется, твоего папаши. А ты не хочешь показаться! Вон, смотри-ка. Принимай. А я — к Егору Павловичу.

Толпы никакой не было, но Тихон Платонович с Павликом действительно заглядывали к Аночке из коридора. Таинственным образом Парабукин успел немного подкрепиться. Вероятно, он захватил в кармане посудинку, на случай сильного волнения, за которым и правда дело не стало.

— Аночка! Дочь моя родная! — одышливо дунул он, войдя.— Смотрел и не верил глазам! Ты ли это? Пустил слезу! Каюсь! Прошибла! Кого прошибла? Батю Парабукина! Голиафа! Возвращаешь отца к благородной жизни. Поклон тебе родительский и спасибо!

Он поклонился и обнял Аночку.

— Готов за тобой остаток дней своих ездить из одного театра в другой театр. Куда ты, туда я. Занавес тебе буду открывать! Платьица твои, коли пожелаешь, буду разглаживать. А уж Павлик теперь на твоем попечении. Как хочешь! Расти его заместо матери. Маленько не дождалась, покойница, нашего счастья! Вот бы поплакала!

— Хорошо, папа, иди, иди. Подожди меня, пока не выйду.

Тихон Платонович загадочно погрозил пальцем.

— Подождать не могу. Подождать желает другой человек. У двери, через которую сюда ход...

Он тихонько качнулся к Аночке:

— Товарищ Извеков! Сам.

— Где? — чуть не вскрикнула она.

— Пойдем, я покажу! — с восторгом отозвался Павлик.

Но она выбежала, не глядя на них, и, пролетев коридорами, остановилась перед выходом в зал. Тут никого не было. Она тихо отворила дверь.

По самому краю ступеней, отделенных от зала куском кумача, отмеривал, как в клетке,— по три шага взад и вперед — Кирилл.

— Вы еще не готовы? — обрадованно спросил он.

— Где вы были? — сказала она, с трудом переводя дыхание.

— Я никуда не уходил.

— Я не видала вас.

— Но я видел вас. По-моему, так и должно быть. Скорее снимайте грим, я хочу вас проводить домой.

— Если вы торопитесь, я не буду задерживать.

— Я хочу, чтобы у нас было больше времени.

Она как будто не слышала его, и вдруг с детским отчаянием у нее начали вырываться, сквозь слезы, укоризненные и жалкие слова:

— Ступайте, ступайте! Если вам так некогда... Я и не думала, чтобы вы дождались, чтобы бросили дела! Идите по своим делам! Ну, что же вы?

Он сжал ее руки.

— Дорогая, дорогая,— повторил он с беспомощной улыбкой.— Такой большой день. Правда же!

К ней словно вернулось сознание. Никогда еще так не дрожал переволнованный его голос.

— Ведь это только от счастья, да? Правда? Не надо! Не надо же, Аночка!

Слезы еще стояли у ней в глазах, но всю ее пронизало новое ликующее чувство. Она перехватила и тоже сжала руки Кирилла.

— Сейчас! Погоди! — быстрым шепотом сказала она и бросилась назад, с силой толкнув дверь.

Она вбежала к себе в уборную, на ходу сдергивая парик вместе с чепцом.

— Идите домой одни, меня проводят! — говорила она, выпроваживая отца с Павликом и в то же время задерживая их короткими приказаньями брату:

— Передник! Развяжи передник. Расстегивай крючки. Да сначала верхний! Ну, скорей! Да ты не бойся. Просто нажимай с обеих сторон, они сами расстегнутся. Господи, что за растяпа! Ну довольно, я сама! Уходи, ступай...

Она стащила через голову платье Луизы и, намазав лицо вазелином, привычно нырнула в платье Аночки. Стирая полотенцем грим, она по-ребячьи трясла ногами, чтобы сбросить туфли. Больше всего времени отняла шнуровка ботинок — впервые эта глупая мода (матерчатый ботинок до колен, снизу доверху на шнурках, которые продеваются в кольчики!) возмутила ее прямо-таки до глубины души. Но в конце концов было покончено и с этой пыткой. Она накинула пальтишко, подхватила, как мячик в воздухе, с гвоздя берет и выскочила вон. На счастье, ей никто не попался по дороге.

Публика уже разошлась, и улицы пустовали, когда Кирилл вывел Аночку во тьму осенней ночи. Они обошли огромный корпус казарм и за углом различили отсвечивавший кузов автомобиля.

— Машина? — воскликнула она с неудержимым разочарованием.— Минута — и опять прости-прощай?

Он потянул ее за руку.

— Не торопясь, к старому собору,— сказал он шоферу.

Это означало — через весь город.

Дул ветер, но в автомобиле было не холодно. Стекло, отделявшее передние места, зеркально повторило все их движения, пока они усаживались, и потом Аночка увидела голову Кирилла совсем

близко от своей. Оба они чуть покачивались в стекле, и Аночка не могла оторваться от этого смутного, баюкающего отражения. Сквозь щели в дверцах тянуло ровной ниткой колючего воздуха, что-то тоненько на одной нотке звенело под сиденьем, и сонно урчал мотор.

И вот, после тоски, страха, мученья, надежды, которыми был переполнен весь день; после триумфа, пустоты, оскорбления, обиды, слез и вспышки радости, которыми кончился вечер, Аночка почувствовала странное спокойствие. Будто вслед за глубоким обмороком кто-то уложил ее с необычайной заботой и накрыл и сказал тихое слово. Она даже не изумилась этой странности, настолько ей стало спокойно. Ей все казалось само собой разумеющимся, точно она уже в сотый раз ехала так вот рядом с Кириллом, и всем телом, от плеча до колена, в сотый раз касалась его тела, и это было естественно, и ей не хотелось больше никакого другого состояния, а только бы так ехать, ехать без конца.

Никто не встречался по пути, ничего не видно было за окнами, шофер не подал ни одного сигнала. В самое лицо лилась нескончаемая свежая нитка ветра, и было похоже, что это она звенит на тоненькой ноте.

В центре города, когда выехали на асфальт и машина покатилась как утюг по гладильной доске, Аночка тихо заговорила:

— Сегодня я вспоминала, как мы, гимназистками, бегали в театр, на балкон. У нас была одна любимая актриса. Вас тогда не было здесь.

— «Вас»? — словно в шутку обронил он.

Она подумала немного. Взяв руку Кирилла и слегка надавив ею на его колено, она просто пересказала:

— Тебя тогда не было... Ты ее не знаешь... Мы, когда она нас захватывала своей Катериной или Прибытковой, мы все, все хотели стать такой, как она. А теперь я хочу, чтобы все, все были такой, как я. Чтобы всем было, как мне сейчас.

Он ничего не ответил, а только обернулся к ней и стал на нее смотреть. Машина катилась и катилась, почти без толчков. Потом асфальт кончился, и отраженья в стекле опять закачались.

— Тебе понравился Цветухин? — спросила она.

— Да. Он гораздо лучше, чем я ожидал. Я его невзлюбил после одного спектакля... еще перед моей ссылкой.

Она долго молчала.

— Я, может быть, скоро уйду из его труппы.

Теперь молчал Кирилл, не понимая, что она думает сказать, и все рассматривая ее лицо. Она не глядела на него.

— Он хочет обучать меня не только искусству,— сказала Аночка и совсем отвернулась от Кирилла.

— Я предполагал это,— быстро отозвался он и, помедлив, утверждающе спросил: — Но ведь это ему не удастся?

Она вздернула плечами.

— Куда дальше? Направо, налево? — крикнул из-за стекла шофер.

— Стойте!

Кирилл отворил дверцу. Островерхая колокольня собора чернела в буром небе. Ветер с Волги шел широкой стеной.

— Выйдем.

Они очутились на площади. Влажный и щекочущий запах обдал их потоком, в котором слилось все: береговая тина, прелые канаты, смола, машинное масло, сладкая гниль плавуна.

— Ах, хорошо! — воскликнул Кирилл и сильно взял Аночку под руку.

Они стали медленно спускаться по взвозу. Выплыли издали два-три глазка бакенов. Какое-то суденышко одиноко трудилось, что-то вытягивая против воды, и огни его то вспыхивали, то словно застилались слезой.

Они не дошли до самого берега и остановились на откосе, едва перед ними размахнулся темный, кое-где отдающий свинцом простор воды. Слышался сбивчивый плеск прибоя, и удары ветра заставляли скрипеть рассохшиеся на суше барки.

И все же Аночке было спокойно, и она только прильнула к Кириллу, когда он ее обнял.

— Я смотрю в эту темень,— сказал он,— и вижу неисчислимые огни и множество людей, и слышу говор, говор, который не смолкает. А ты?

— Почему, если мы говорим о хорошем, то всегда думаем о том, что когда-нибудь будет?

— Чтобы идти к лучшему.

— Но бывает же лучшее вот сейчас? Я гляжу в эту темень, и она мне — лучше. И сейчас я не хочу никакого другого лучшего.

— Я тоже,— сказал он, крепче сжимая ее.

— И, по-моему, такой ночи я никогда не видела.

— И я.

— И такого ветра еще не было.

— Да.

— И смотри — все-таки тихо.

— Правда. Жалко уходить.

— Уже?

— Жалко, немыслимо жалко! И — надо.

— И когда же конец?

— Конец?

— Конец этому бесконечному «надо».

— Конец? Послушай меня. И ответь мне. Мне сейчас нужен твой ответ. Согласна?

— Хорошо.

— Вот. Никакой полет в небо невозможен без земли. Чтобы взлететь, нужно твердое основание. Мы сейчас отвоевываем себе это основание. Именно сейчас. Строим аэродром будущего. Это работа долгая и тяжелая. Скорее всего — самая тяжелая, какая только может быть. О перчатках приходится забыть. Мы, если надо, землю руками разгребаем, ногтями ее рыхлим, босыми подошвами утаптываем. И не отступимся, пока не будет готов наш аэродром. Отдыхать у нас нет ни минуты. Иной раз и улыбнуться некогда. Надо спешить. Может, от этой работы мы и стали такими суровыми. Иногда ведь сам себе покажешься бирюком, каким детишек пугают. Настолько вдруг неуживчивым станешь. Я вполне серьезно! Но перемениться мне невозможно. Я буду укатывать землю, пока она не станет годна для разбега. Чтобы оторваться потом в такую высь, какой люди никогда не знали. Я ее вижу, все время вижу, эту высь, веришь мне? Скапываю бугры, засыпаю ямы, а сам смотрю вверх! И людей, и себя с ними вижу совсем другими, новыми, легкими. И ничего во мне нет от бирюка, веришь?

Пока он говорил, Аночка все отстранялась от него, чтобы лучше различить его в темноте, и когда он кончил — улыбнулась, потому что уж очень он серьезно сказал о бирюке.

— На что же я должна ответить? На бирюка?

— Ты спросила, когда конец. Не знаю. Не скоро. Но он может быть и очень скоро.

— Не понимаю.

— Ты не видишь конца моему «надо», потому что это «надо» — не твое. Если оно станет и твоим и моим, тебе не так важно будет — скоро ли наступит ему конец.

— Но скорее от этого он не наступит? — опять улыбнулась она.

Он тоже улыбнулся:

— Немножко скорее — да. Ведь одним землекопом будет больше... Ну, и это мой вопрос. Хочешь со мной вместе аэродром строить?

— Я думала... мы уже начали? — ответила она очень тихо, искоса на него поглядев и потом отводя глаза.

Он рассмеялся, повернул ее и повел быстро вверх по взвозу.

Он отвез ее домой, проводил двором, и они простились — до скорой встречи.

Парабукин с сыном явились почти сразу, как она вошла в комнаты. Ей хотелось остаться одной, но отец опять приступил с поздравлениями. На холоде хмель забродил в нем живее.

— Уж ты меня прости, дочка! Я ведь о-очень сомневался, чтобы так все путно вышло. Где, думал, там до этаких вершин! Артистка! У Тихона Парабукина дочь — артистка! Так себе, думал, что-нибудь такое, вроди Володи... А нынче смотрю — в публике разговор! Меня и то изучают — артисткин, мол, родитель! Поздравляю, доченька, порадовала.

Он похлопал в ладоши.

— Опять же и в Егоре Павловиче, грешный человек, не был в уверенности. Куда, думал, загибает? Что еще произведет с порядочной девицей, а? А нынче посмотрел, вижу — выводит в люди, поднимает. Поздравляю!

— Побереги, папа, поздравления, они еще понадобятся.

— Понимаю. В отношении артистического будущего! Понимаю.

— И артистического, и всякого другого.

Тихон Платонович не сразу уразумел, о чем речь, и долго топтался на своих поклонах и поздравлениях. Но неожиданно что-то сообразил, словно громом пораженный опустился на стул, крикнул:

— Пашка! Иди сюда! Что я тебе говорил? Говорил я тебе — Цветухин твою сестру озолотит? Говорил? Иди, скажи Аночке, говорил? Аночку Егор Павлович замуж берет! Так? А? Верно?

Потом он вдруг оторопел:

— Как же это он позволяет себе, а? При собственной своей жене? Что же это? Развод? Развод, я тебя спрашиваю, а?

— Да ведь это ты сам выдумал! — сказала Аночка.— Укладывайся-ка спать.

— Как, то есть, выдумал? А что же ты требуешь, чтобы я поздравлял? Выдумал! Нет, шали-ишь! Я давно вижу! Что, у меня глаз нету? Слепой у тебя отец или зрячий? Слепой?.. Стой! Быть не может! — еще громче крикнул он и вскочил.— Извеков, а?!

Он вытаращил глаза на дочь и, опираясь кулаками в стол, перегнулся к ней всем исхудалым, плоским своим телом.

Она весело захохотала и ушла к себе — раздеваться.

— Пожалуйте, Тихон Платоныч, с дочкой-невестой вас! — гудел он через дверь.— Пока отец тебя тянул, он был нужен. А теперь его, старика, можно за борт! Поставил тебя на ноги, вывел в люди, а ты — ха-ха-ха — и прочь со двора? А брата кто кормить? Может, товарищ Извеков? Они тебя всю жизнь от семьи отбивали, твои Извековы! Им только все по-ихнему. Всех бы поучать. То меня учительница поучала, то теперь, выходит, сынок ее будет учить, а? Нет, ты сначала поработай, а потом — ха-ха-ха!..

Аночка долго слышала отцовскую ворчню, но все меньше вникала в ее неустойчивый смысл.

Еще не заснув, она словно плыла в длинном укачивающем сне,

который вынимал и раскладывал, как карты в гаданье, отрывки пережитого за истекший удивительный вечер. Аночка пыталась усталым умом отделить приобретения этого вечера от утрат. Но все больше кружилась у ней перед глазами какая-то путаница, и в путанице виделось, будто Извеков уходит вместе с ней в ее сон, а маленький-маленький Цветухин машет напудренным париком откуда-то из-за далекой, темной и огромной воды.

Последнее, что до нее донеслось из яви, был тяжелый вздох ворочавшегося на кровати отца:

— Господи, прости меня, сукина сына!

К старости, особенно после смерти жены, Парабукин начал побаиваться небесных сил — это Аночка за ним давно замечала.

35

ЭПИЛОГ К ВОЕННЫМ КАРТИНАМ

В равноденственные бури сентября белые, развивая свое генеральное наступление на юге, захватили район Курска. Именные пехотные офицерские дивизии Добровольческой армии, составлявшие корпус Кутепова, веером двинулись на север, северо-запад, северо-восток. Корниловцы шли к Орлу, дроздовцы — на Брянск, алексеевцы и марковцы — на Елец. Конный корпус Шкуро, соединившись с Мамонтовым, направлялся к Воронежу для совместных действий с левым крылом Донской армии.

В середине октября пал Орел, и войска Деникина вышли на дорогу к Туле, создав прямую угрозу главному источнику снабжения Красной Армии патронами, винтовками, пулеметами.

Все более страшная нависала опасность над Москвой.

Это была кульминация успехов деникинских «вооруженных сил Юга России» и вместе с тем высшая точка напряжения в борьбе Советов с контрреволюцией на фронтах гражданской войны.

Тысяча девятьсот девятнадцатый год был для России таким предельным испытанием, что если бы силы народа надломились и не выдержали бедствий, обрушенных на страну историей, то народ лишил бы себя надолго того будущего, ради которого совершил Великую социалистическую революцию.

Знаменитые «пространства», о которых столь много и столь часто говорилось, что это они спасали Россию в годины нашествий на нее врагов, в подавляющей своей площади обретались под властью контрреволюционных правительств и чужеземных интервентов. В разгар гражданской войны в руках Советов оставалась лишь часть внутренней Европейской России, вокруг ее центра — Москвы.

У России не было не только Дальнего Востока и необъятной Сибири, но — одно время — всего Урала и почти всего Заволжья. У нее не было всего юго-востока с Туркестаном, всего юга с Кавказом, Кубанью, Доном и бассейном Донца. От нее были отрезаны Украина с Молдавией и — на западе — Белоруссия с прибалтийскими землями. Она лишена была Озерного и всего Северного края. Нигде с четырех сторон света ей недоступен был морской берег.

Все эти окраинные просторы составляли самые ценные богатства громадного государства. К девятнадцатому году Россия лишена была, в результате военных захватов контрреволюции, основной массы хлеба, руды Урала, хлопка Средней Азии, нефти и угля, степных и горных пастбищ, промышленного леса.

России, с ее внутренними областями и двумя столицами, были оставлены, в ходе событий, только холод и голод, взамен богатств, ей принадлежавших и у нее отнятых.

И вот теперь, осенью, враг проникал с юга к Москве, с запада и северо-востока к воротам Петрограда.

После неудачи первого весеннего похода Антанты, кончившегося разгромом на востоке Колчака, капиталистические правительства — противники Советской России — подготовили второй поход, намереваясь новым сокрушительным ударом покончить с революцией. По максимальному плану главного инициатора этого похода, английского военного министра Черчилля, предприятие должно было быть проведено объединенными усилиями четырнадцати государств — Англии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии, Италии, Финляндии, Польши и других. Этот блок четырнадцати быстро обнаружил свое мифическое существо, чему способствовали четыре основных причины. Во-первых, поражение Колчака показало быстро растущую мощь Красной Армии. Во-вторых, большинство малых государств (на которых рассчитывала Антанта, как на исполнителей похода) надеялось и предпочло извлечь выгоду из национальной политики Советской власти, провозгласившей право народов на государственное самоопределение. В-третьих, попытки западноевропейских интервентов применить собственные войска для захвата советских территорий кончались возмущением среди этих войск, наряду с протестами рабочих и ростом стачек внутри государств-интервентов. В-четвертых, сами эти государства не могли примирить своих противоречий в отношении к России, что особенно сказывалось во внешней политике Франции и Англии: французы хотели восстановить «неделимую» и сильную Россию, как постоянную угрозу побежденной Германии; англичане добивались расчленения России, чтобы устранить всякую опасность для своих колоний в Азии.

Согласованный удар всех четырнадцати враждебных Советам государств, о котором мечтал вдохновитель интервенции Черчилль, не мог быть организован, и Антанте пришлось удовольствоваться созданием как можно более основательной опоры для внутренней контрреволюции в России. Ставка была поставлена на Деникина — его сделали центральной фигурой второго похода Антанты против Советов.

«Вооруженные силы Юга России» на протяжении полугода бесперебойно снабжались через черноморские порты всеми видами военного оружия. По признанию самого Деникина, к сентябрю его армии получили от Англии больше пятисот пятидесяти орудий и около миллиона семисот тысяч снарядов. Англичане прислали сто тысяч винтовок, сто шестьдесят восемь миллионов ружейных патронов, двести пятьдесят тысяч комплектов солдатского обмундирования. Соединенные Штаты Америки, идя об руку с Англией, предоставили Деникину тоже сто тысяч винтовок и огромное количество обмундирования. Были присланы танки, аэропланы. Фунты и доллары обильно струились в казну Деникина.

В то же время Красная Армия, имевшая источником снабжения исключительно отечественную военную промышленность, не могла полностью удовлетворить свои боевые потребности. Производство винтовок и ружейных патронов к весне упало до одной трети по сравнению с концом семнадцатого года. Выпуск артиллерийских снарядов на протяжении первых четырех месяцев девятнадцатого года сократился в пять раз. Здесь сказалось все: общая разруха хозяйственной жизни, недостаток сырья, мобилизация рабочих на фронты войны, небывалая смертность от эпидемии сыпного тифа, голод. Хлебный паек городского населения доходил к этому времени до четверти фунта в день.

Как же случилось, что белая армия Деникина была разгромлена и уничтожена? Почему, когда у Советской России отняты были все окраинные пространства, все сокровища недр и почти весь хлеб, когда противник ее, перенасыщенный военным снабжением, привел на край катастрофы важнейший фронт Красной Армии и угрожал Москве,— почему Советская Россия вышла победителем?

В критические дни конца сентября укрепление дрогнувшего Южного фронта становится основной задачей в защите всего дела революции. По предложению Ленина Центральный Комитет Российской Коммунистической партии решает направить на военную работу максимальное количество партийцев, перебросить на юг сильные войсковые резервы, создает новое командование Южного фронта, назначает членом Реввоенсовета Сталина. Был разработан и утвержден Центральным Комитетом новый стратегический план

нанесения главного удара деникинским армиям по линии Харьков — Донбасс — Ростов-на-Дону взамен изжившего себя летнего плана наступления со стороны Царицына на Новороссийск.

Десятки тысяч коммунистов и комсомольцев потянулись на фронт. «Партийная неделя» дала сотни тысяч новых членов партии из рабочих, крестьян, красноармейцев. Порыв и стремление покончить с Деникиным были настолько повсеместны, что балтийские моряки, несмотря на острое положение под Петроградом, где снова наступал генерал Юденич, послали в помощь Южному фронту тысячный отряд матросов, а многие комсомольские организации в полном составе отправлялись на юг, оставляя на дверях своих комитетов объявления: «Комитет закрыт. Все ушли на фронт».

Так открылась новая — роковая для всего белого движения, для всей контрреволюции — страница борьбы с деникинщиной.

Проведение военного плана в жизнь требовало исключительной решимости. Исходную группировку сил Южный фронт вынужден был создавать, опираясь почти целиком на части, уже находившиеся в линии боя. Требовалось остановить продолжавшееся отступление и перегруппировать войска для перехода в немедленное контрнаступление.

Задача решалась одновременно с очисткой фронта от негодных работников. Замена таких людей новыми работоспособными руководителями коснулась многих, начиная с прежнего командующего фронтом.

Восстановление боеспособности армий, благодаря наплыву народных резервов, преображавших усталые войска, проводилось с необычайной быстротой. На важнейшем направлении Воронеж — Донбасс Восьмая армия (являвшаяся здесь основной силой, так же как конный корпус Буденного, на соседство с которым она опиралась) выводила из линии фронта одну дивизию за другой, в течение нескольких дней пополняла их и возвращала на линию обновленными. Через неделю она увеличила свой численный состав в три раза. Вся грандиозная работа по перегруппировке и пополнению сил Южного фронта для перевода его в контрнаступление была закончена в небывало короткий срок.

Планирование борьбы с Деникиным в стратегическом масштабе предусматривало два этапа: рассечение деникинского фронта на две части — добровольческую и казачью — и последующий разгром обеих частей порознь. Для выполнения первого этапа плана Южному фронту ставились две оперативные задачи. Одна состояла в том, чтобы, пробив брешь в деникинском фронте на Воронежском направлении, выйти в Донецкий бассейн. Другая заключалась в задержке наступления белых на Москву, для чего должно было быть предпринято контрнаступление на Орловском участке.

РВС Южного фронта была создана ударная группа войск для действий против деникинской армии под Орлом. Эта ударная группа сыграла выдающуюся роль в тех первоисходных сражениях, которые обозначили поворот событий на Южном фронте.

Когда белые открыли себе дорогу на Тулу, когда Москва, казалось, вот-вот могла сделаться мишенью деникинских пушек,— успехам Добровольческой армии был положен предел.

Еще до занятия корниловцами Орла РВС Южного фронта дал приказ о переходе ударной группы войск, образованной из переброшенных с Западного фронта частей, в контрнаступление против главной группировки противника, действовавшей на Орловском направлении. Удар должен был быть нанесен с запада на юго-восток, во фланг корниловцам, и имел целью перерезать железную дорогу Орел — Курск у них в тылу.

Белые располагали крупными силами. Прорвав советский фронт на стыке двух армий, они заняли город Кромы, к юго-западу от Орла. Бои велись ожесточенно, белогвардейцы чувствовали их решающее значение и не жалели своих лучших офицерских полков. Дроздовцы стремились продвинуться западнее Кром на север, корниловцы нанесли поражение советским дивизиям, прикрывавшим Орел с юга, и принудили части Красной Армии оставить город.

Это был момент необычайно тяжелого положения для ударной группы, оказавшейся без обеспечения с флангов и тыла. Зажатая между корниловцами и дроздовцами, она истощала силы в длительных боях. На четвертый день своего участия в сражении, медленно продвигаясь, она вышла в район Кром.

Так как дроздовцы, стремясь прорваться на Брянск, расстроили левый фланг западного соседа ударной группы и угрожали Кромам справа; так как в то же время корниловцы, демонстрируя наступление по дороге на Тулу, направили свой основной удар на Кромы слева, то командование Южного фронта приняло решение действовать сразу против обеих группировок противника. Ударной группе была дана задача наступать в расходящихся направлениях основными силами против корниловцев, на Орел, а другими частями своей группы — против дроздовцев, на Дмитровск.

Операция привела к затяжным кровопролитным боям под Дмитровском, где части ударной группы сражались с переменным успехом. Но под Орлом на протяжении трех дней основные силы ударной группы в ряде жестоких боев нанесли крупное поражение корниловской дивизии. Благодаря этим боям удалось окружить Орел с трех сторон — с севера, запада и юго-запада. Белые, исчерпав свои резервы, вынуждены были вывести корниловцев из Орла по единственной свободной дороге на юг.

Освобождение Орла упрочило уверенность Красной Армии в своем превосходстве над деникинскими войсками, всего неделю назад захватившими город. Наметилось истощение белых, стало очевидно, что советское командование закрепляет инициативу за собой.

Однако со взятием Орла не был еще достигнут перелом во всей обстановке на центральном участке Южного фронта. Деникин продолжал активно действовать, его добровольцы напрягали отчаянные усилия, чтобы не упускать результатов недавних своих успехов.

Битва под Кромами не переставала бушевать.

На отрезке фронта в тридцать километров дроздовцы повели наступление на Кромы с юго-запада и, ценой непомерных потерь, сломили сопротивление советских стрелков, вновь захватив город. На другой день защитники Кром совместно с подкреплениями отважной атакой выбили белых из города. Но на следующие сутки дроздовцы опять двинулись вперед, прорывом на одном из участков создали угрозу окружения, и советские части отступили к северу. Кромы в третий раз перешли в руки белых.

В результате неутихавших двухнедельных боев ударная группа израсходовала резервы и разбросала свои части на огромном фронте. Между тем после своего поражения под Орлом белые стянули против центрального участка Южного фронта все свои силы в расчете разбить ударную группу по частям и снова взять Орел.

Но намерение противника было разгадано. Командование построило такой план действий, чтобы обе армии, оперировавшие на центральном участке, сосредоточили свои удары на отчетливо определенных направлениях против орловской и против кромской группировок белых и наступали не разрозненно, а массивными группами.

Двадцать четвертого октября на главном направлении удара был достигнут блестящий оперативный успех: частями конницы Буденного и Восьмой армии был взят Воронеж. Это открывало перспективу нанесения удара в тыл Добровольческой армии и обеспечивало решающую поддержку затянувшейся борьбе на центральном участке фронта.

Борьба под Воронежем носила совершенно особый характер. Это была великая битва конниц, после которой белым стало ясно, что преимуществу их в этом роде войск наступает конец.

В начале октября, после захвата Воронежа, конный корпус Шкуро двинулся на север. Мамонтов поддерживал его, рейдируя по районам расположения Восьмой советской армии. Правый северный фланг этой армии был обнажен, кавалерия белых могла легко выйти в глубокие тылы Южного фронта.

Единственной силой, способной противодействовать Шкуро и Мамонтову, был конный корпус Буденного.

Но существовала старая директива о движении корпуса в Донскую область.

Буденный, предвидя опасность проникновения Шкуро на север, решительно повернул свою конницу и еще до падения Воронежа устремился к северу, ища встречи с неприятельской кавалерией. Этот ответственный смелый шаг был оправдан всем последующим ходом событий.

Вскоре РВС Южного фронта дал Буденному директиву разбить конницу противника в районе Воронежа и способствовать выходу Восьмой армии в кратчайший срок на линию Дона. Буденный быстро сосредоточил свой корпус северо-восточнее Воронежа.

Подготавливая части к операции и выясняя группировку белых, Буденный прибегнул к военной хитрости. Он включился в телеграфные провода связи корпуса Шкуро и передал ложный приказ Первому конному корпусу Буденного. В приказе говорилось о подготовке наступления на Воронеж с основным ударом с юго-востока, тогда как в действительности удар готовился с северо-востока. Штаб корпуса Шкуро счел якобы перехваченный «приказ красных» за правду.

Шкуро, опасаясь упустить инициативу, перешел в наступление с двенадцатью полками кавалерии. На первых порах ему удалось потеснить одну из двух дивизий Буденного, но затем другая дивизия вышла ему во фланг и тыл. Маневр решил схватку. Буденновцы разбили казачью дивизию кубанцев, уничтожили полк белой пехоты и преследовали бегущего неприятеля до восточных окраин Воронежа.

После этого Буденный произвел новую перегруппировку. Главные силы были сосредоточены в расчете атаки Воронежа с севера. Остальным частям корпуса ставилась задача охватить город с юго-запада. Вся артиллерия и огромное число пулеметов были сконцентрированы в районе расположения этих частей.

В день решающего боя за город, рано поутру, шквал артиллерийского огня был обрушен на противника, и одна дивизия Буденного в пешем строю переправилась через реку Воронеж. Вспыхнул бой на востоке города, постепенно втянувший главные силы белых. Тем временем главные силы Первого корпуса появились с севера и северо-запада, стремительно приближаясь к Воронежу. Удар застиг белых врасплох. Шкуро ничего не оставалось, как отдать приказ к отступлению. Его кавалерия побросала орудия, пулеметы и ринулась к переправам через Дон.

День спустя после воронежского разгрома донской и добровольческой кавалерии ударная группа, перебросившая свои части

из-под Орла в район Кром, снова перешла в наступление. За двое суток боев частям кутеповского корпуса были нанесены поражения на всех трех участках того рубежа, на котором Красная Армия поставила крест деникинскому «походу на Москву»: Орел — Кромы — Дмитровск. Ударная группа ночной атакой выбила белых из Кром; соседняя с запада дивизия опрокинула дроздовцев и ворвалась в Дмитровск; дивизии, действовавшие слева от ударной группы, разбили корниловцев под Орлом, наступая к югу вдоль железной дороги.

Начался общий отход белых на всем центральном участке Южного фронта.

Вместе с тем начались с каждым новым боем возраставшие успехи советской конницы. Форсировав Дон и нанеся еще крупное поражение кавалерии Шкуро, Буденный отбросил ее в район станции Касторной по направлению к Курску. Здесь, в середине ноября, в разгар бушевавшей метели необычно ранней зимы, он вновь разгромил белых сокрушительным ударом соединенных конных и пеших сил.

Отступление добровольцев Деникина стало приобретать характер повального бегства. В этих условиях преследование врага кавалерией, преобразованной в Первую Конную армию во главе с Ворошиловым и Буденным, имело решающее значение. Невиданно поднялся среди полков боевой дух уверенности в победе. С каждым шагом вперед сильнее сказывались в действии советских войск те выгоды, которые были заложены в стратегическом плане наступления.

Главный удар из района Воронежа выводил основную группу армий — во взаимодействии конницы и пехоты — с северо-востока на юго-запад, в Донецкий бассейн. В то же время удар из района Орла открывал выход правофланговой армии фронта на юг, через Курск к Харькову.

В Донецком бассейне победы советских войск были облегчены дружной поддержкой рабочих. Эти победы имели следствием то, что действовавшая на стыке Донской и Добровольческой армий Конная армия кратчайшим путем выходила к Азовскому морю. А этим предрешалось осуществление конечной цели первого этапа плана — рассечение деникинских сил на две части: добровольцев, которые отбрасывались в Правобережную Украину и к Крыму, и казаков, которые оттеснялись в низовья Дона и на Северный Кавказ.

В ноябре и декабре Деникин терпел поражения уже на огромных пространствах от Днепра до Волги. Красная Армия победоносно освобождала Украину. Двинулся вперед Юго-Восточный фронт. Пошла в наступление руководимая Кировым армия со сто-

роны Астрахани против группы белых войск Северного Кавказа. Полная победа над «вооруженными силами Юга России» неудержимо приближалась.

«Главное — не останавливаться на Волге,— писал Деникин Колчаку,— а бить дальше на сердце большевизма, на Москву. Я надеюсь встретиться с вами в Саратове...»

Ни в Саратове, ни еще где-либо Деникину встретиться с Колчаком не довелось. Колчак был разбит в Заволжье, войска его бежали за Урал.

На высшей точке успехов второго — южного — похода Антанты деникинцы были абсолютно уверены в своем триумфе. Они собирались пожаловать в Москву «не позже конца декабря, к рождеству 19-го года», как заявил генерал Май-Маевский после захвата белыми Орла. Однако к рождеству, потеряв не меньше половины состава Добровольческой армии, белые были отброшены за Полтаву и обращены в бегство из Донецкого бассейна, капиталисты которого в октябре объявили приз в миллион царских рублей тому из полков добровольцев, который первым вступит в столицу.

Орел и Воронеж — первые из рычагов, которые повернули события девятнадцатого года в пользу Советской России и опрокинули расчеты Антанты на «московский поход» Деникина.

Мамонтов, с его набегом донцов, Кутепов, с его нашествием отборных офицерских дивизий, были белыми генералами, достигшими пределов внутренней России и даже переступившими в глубину ее пределов. Они не дошли до Тулы всего каких-нибудь полтораста — двести километров — первый с юго-востока, второй с юго-запада.

Кончился деникинский поход Антанты в глубь России тем, что крестьянские массы решительно поддержали Советы, в самый острый момент встав на сторону революции против опаснейшего ее врага — Деникина. Кончился этот поход тем, что рабочие не только выставили хоровод новых полков в помощь своей армии, но и в стане белых подняли партизанские красные знамена. Не только на территориях, занятых властью Советов, но и там, где находилась власть белых, народ был уверен в правде революции и доверял лучшей, здоровой, сильнейшей своей части — рабочей части населения, считая, что именно эта часть населения — пролетариат — направит всю жизнь на справедливый для него, для народа, путь.

В самом начале января Конная армия, прорвав фронт Деникина и нанеся ему тяжелое поражение у Таганрога, сломила отчаянное сопротивление белых под Ростовом и заняла город.

Добровольческая армия была разгромлена и утратила значение главной силы деникинщины. Роль главной силы возлагалась те-

перь Деникиным на казачьи войска, от них ждал он спасения, к ним обращал разбитые свои последние надежды.

Но это был уже новый, тысяча девятьсот двадцатый год — новое лето господне, как говорили старики, новый рубеж молодой Советской России, после того, как вершинный рубеж гражданской войны необыкновенного тысяча девятьсот девятнадцатого года был перейден с победой.

36

Раз поутру, в последних числах ноября, Павлик попросил у сестры денег. Когда Аночка стала допытываться, зачем нужны деньги, он признался, что мальчики уже не впервые делают складчину, чтобы покупать на базаре молоко Арсению Романовичу.

Так стало известно о болезни Дорогомилова — Аночка сказала о ней Извекову, он передал матери.

— Ты не думаешь, ему надо бы помочь?

— Мне кажется — да,— ответила Вера Никандровна.

Все-таки в ее тоне он уловил неуверенность. Он сам не мог решить, как следовало относиться к этому человеку.

— Рагозин его уважает.

Она промолчала. Он понял, что уважение, конечно, не обязывает к симпатии. Говорить, что Аночка ценит Дорогомилова, как человека доброй души, ему показалось лишним. Вера Никандровна знала это от самой Аночки. Можно было бы ждать только один ответ — что расположение к людям мало зависит от чужого мнения о них. Слишком лично развивалась история отношений семьи Извековых к Арсению Романовичу, чтобы кто-то со стороны мо́г вызвать здесь перемены. Да и нужны ли были перемены?

— История настолько давняя и в конце концов настолько неясная,— сказал Кирилл.— Вряд ли можно сейчас что-нибудь иметь против старика.

— Я давно ничего не имею. Да и в прошлом он только будил во мне тяжкие воспоминания. Больше ничего.

— Может быть, не мешало бы ему увериться в этом?

— Я поговорю с Аночкой. Если она согласна, мы вместе сходим к больному.

— Она, конечно, согласна,— вырвалось у Кирилла, и он, поймав себя на этой категоричности, которая могла бы принадлежать только самой Аночке, смолкнул.

Дорогомилов начал прихварывать ранней осенью. Определенной болезни он не замечал, ему было просто не по себе. Как раз когда он вознамерился вылезть из сюртука и надеть гимнастерку, когда стал поспрашивать в военных учреждениях о новой службе и вдруг расстался со своей библиотекой,— он занемог.

Первый приступ слабости он почувствовал в день вывоза книг. Приехали сразу две телеги, и не успела закончиться погрузка, как уже больше чем наполовину опустошились полки. Бронзовая пыль заметалась в комнате, словно протестуя, что посмели нарушить ее покой. Случилась непонятная вещь: едва принялись за самую большую полку и освободили одну ее сторону, вся полка обрушилась. Столб пыли взвился к потолку, и мыши с писком промчались по книжной куче.

Дорогомилов не вынес зрелища крушения и лег на диван. Лежа, он отчетливее ощутил слабость — у него дрожали ноги и руки. Он не встал, когда приехали за остатками книг.

Он пожертвовал свою драгоценность библиотеке, открывавшей детскую читальню. Лучшей участи он не мог ждать для книг, собранных в интересах детей. К тому же он решил по возможности облегчить себя для не совсем ясного, но мужественного похода, о котором мечтал. И, однако, после вывоза книг его стало мучить давно забытое одиночество. Он безразличнее начал отзываться на события, прежде вселявшие в него смятение, может быть потому, что теперь грозность их как будто миновала.

Мальчики не переставали наведываться к нему, но он подозревал, что они остывали к его дому из-за отсутствия книг. Ему пришлось мирить Павлика с Витей, потому что Павлик отстаивал читальню, а Витя был против.

Недомоганье Арсения Романовича повторялось чаще и чаще. Наверно, сказывалось понемногу все: жалкое питание, сырость и холод осени, а главное — старость. И вдруг его свалило воспаление легких.

Новый его почитатель — Ваня Рагозин — сказал отцу об этой тяжелой беде. Был прислан доктор, доставлен воз дров, мальчики поделили между собой дежурства.

Как никогда длинны стали ночи, как никогда велика квартира. Болезнь текла вяло, кроме слабости да колотья при кашле, Арсений Романович ничего не испытывал. Его томила бессонница.

Мысли его привязывались к мелочам. Он останавливал глаза на одном из сотен предметов, которыми завален был кабинет, и начиналось бесконечное припоминание былого. Как спутники кометы, окружали его жизнь когда-то нужные вещи. Все они имели свои биографии, и он высчитывал, сколько десятилетий служили ему какие-нибудь ножницы, которые от дряхлости уже не подчинялись никому, а в его руках годились одинаково для гигиенических операций, вытаскивания гвоздей и даже как музыкальный инструмент — когда Арсений Романович позвякивал ими, задумавшись и напевая «Дунайские волны».

Внезапно он вспоминал редкую книгу — не столько по содер-

жанию ее, сколько по связи с определенным обстоятельством жизни, по приметам, выделявшим эту книгу из сотен других особенностей ее биографии — где куплена, в какой день, кем переплетена, куда поставлена, почему не дочитана.

Дочитывал книги Арсений Романович вообще редко, так же как редко доводил до конца начатое дело. Попробует что-нибудь мастерить, убедится, что получается,— и возьмется за другое. Сядет за книгу, придет в восторг, размечтается — и бросит. Он будто сам дописывал книги в своей фантазии и запоминал их больше по началу, с лица, как запоминают человека. Поэтому весь мир его вещей, мир его книг был миром неоконченным, словно вечным. И нельзя было понять — зачем же теперь вечность кончалась? — ушли книги, наверно уйдут вещи, за ними уйдет он сам.

Ко дню прихода Аночки с Верой Никандровной он стал очень слаб. Но появление их лихорадочно возбудило его, он сделался говорлив, суетливость вернулась к нему, поневоле выражаясь только в лице и руках. Он смотрел все время на Аночку, лишь украдчиво покашиваясь на другую гостью, но Вера Никандровна физически ощущала, как он ждал, чтобы она заговорила. У нее не находилось слов — ее поразил вид старика с горящим розовым лицом в ореоле сивых волос.

Аночка простодушно спросила — что, наверно, ему скучно в одиночестве? Он возразил торопливо, насколько позволяло короткое дыхание:

— Я никогда не бываю один. Меня тянут в разные стороны мои мальчуганы.

Отдышавшись, он сказал помедленнее:

— Одиночество ужасно, когда ты никому не нужен, и стоишь на улице, и тебя все обходят... Оно прекрасно, если у тебя есть угол, и ты иногда закроешься дверью—отдохнуть от тех, кому ты нужен.

— Поправитесь,— сказала Аночка,— тогда можете запираться на все замки и отдыхать от нас, а сейчас надо сделать, чтобы за вами был уход.

— О, я доволен! Ваш Павлик топит печь. Ваня Рагозин моет посуду. Они стараются.

— Мальчишки ничего не понимают. Нужна сиделка. Мы устроим, Вера Никандровна, правда?

Дорогомилов перепуганно взглянул на Извекову.

— Что вы! Я уже очень бодро чувствую себя. У меня служба!

— Служба не уйдет,—немного повелительно заметила Аночка.

Он улыбнулся воспаленными глазами, по-стариковски игриво и будто извиняясь:

— Я еще пойду на войну.

— Как Павлик! — засмеялась Аночка.

— И потом займусь чем-нибудь поэтичным.

— Вот это чудесно! Чем, например?

— Стану рыболовом.

— Так это же времяпрепровождение, а не занятие,— засмеялась Аночка.

— Нет, почему же? Можно и зарабатывать... рыбной ловлей.

— Тогда вы будете рыбаком, а не рыболовом.

— Рыбак хорошо. Рыболов поэтичнее.

Он начинал уставать, щеки его бледнели, глаза делались печальнее.

— Вы как думаете, букинисты не будут упразднены... со временем? — неожиданно спросил он.

— Это — которые продают на базаре книги?

— Старые книги.

— Вы хотите продавать книги? Лучше быть библиотекарем.

— Букинист лучше. Он, если любит какую книгу, отдаст только тому, кто любит еще больше, чем он... Библиотекарь... хорошо. Но должен угодить на всякий вкус.

— Сделайтесь, сделайтесь букинистом, пожалуйста! — вся загораясь, воскликнула Аночка.— Я буду ходить к вам рыться в книгах!

— Приходите с Павликом. Беречь... мальчикам, которые любят...

Ему становилось все труднее говорить, он как будто начинал бредить.

Явился Витя, сел в стороне, требовательно поглядывая на женщин. Они поднялись.

Вера Никандровна, быстро пожимая руку Арсения Романовича и наклоняясь над ним, проговорила единственную фразу, какая могла выразить ее убежденность, что он не встанет.

— Как встанете, прошу вас к нам с Кириллом, очень прошу!

— Пришли!.. Хорошо,— слабым голосом отозвался Дорогомилов и, сморщившись, туго сжал дрожащие веки.

Он умер спустя недолго после этого визита, ночью, один в своей нелепой квартире. Ваня Рагозин утром застал его холодным. Ваня не боялся мертвых — на своем маленьком пути он видел их нередко. К тому же Дорогомилов казался по-старому добродушным. Он только держал правую руку сложенной в кулак, будто кому-то грозил или, может быть, с кем-то здоровался. Ваня побыл около него минуту, потом сорвался с места и побежал сказать отцу о происшедшем.

Странно, но похороны этого одинокого человека собрали довольно большую толпу провожающих. Тут была молодежь самых разных возрастов, от мальчиков до юношей в солдатских шинелях

или в полинялых студенческих фуражках. Большинство помнили друг друга по детским похождениям. Но за гробом шло много взрослых, не знавших друг друга, соединившихся на этот час в кольцо что-то одинаково понимающих людей. Конечно, были здесь и родные дорогомиловских любимцев, среди них — Лиза, Парабукин, Аночка. Был Рагозин, шедший одним из первых за дрогами. Он и помог устройству похорон, столь хлопотному в эти дни.

Обычные в былой провинции расспросы встречных — кого хоронят? — стали в суровое это время редки. Смертей было много, похороны — одинаковы, по одному «разряду» и разнились только тем, что одни гробы были некрашены, другие красились в красный цвет.

Но все-таки обилие провожающих останавливало любопытных, и вопрошавшие не могли взять в толк, почему совсем непрославленный покойник собрал за собой столько народа.

— Учитель, что ли?

— Да нет, не учитель. По счетной части.

— Чего же за ним ребятишки идут?

Иная городская тетушка, однако, сразу догадывалась, кто умер:

— Дорогомилов? Да это не Лохматый ли?

— Он самый.

— Сумасшедшего хоронят.

— А-а! Тоже отжил, голубчик, свое...

Находилось, таким образом, основательное объяснение — почему идет столько людей, ибо сумасшедший всегда представлял как-никак больше интереса, чем человек обыкновенный.

На кладбище провожавшие тесно сгрудились вокруг могилы. Хотя дул сильный ветер и начинало крутить недавней порошей, все стояли с открытыми головами — даже мальчики, которые не слушали старших, заставлявших надеть шапки. Почему-то все ждали, что минута прощанья должна быть отмечена особенно, и насторожились, когда Рагозин ступил на бугор земли у могилы.

Он помолчал секунду. Выше толпы чуть не на голову, взойдя на бугор, он стал еще больше виден, и лысина его с трепыхавшими на висках и затылке кудрями привлекла к себе взоры отовсюду.

— Умер человек, которого многие знали в нашем городе,— сказал он негромко.— Знали сослуживцы по работе, которой он отдал три с половиной десятка лет. Знали дети, с которыми он любил проводить свой досуг. Знали, как труженика, как скромного человека, как друга детей. Но одной своей стороной известен он был, пожалуй, меньше всего. А сторона эта была в нем самой главной, и о ней сейчас надо сказать.

Петр Петрович поглядел на красный гроб, вдоль крышки которого ветер гнал снежинки, и поднял выше голову.

— Арсений Романович Дорогомилов,— сказал он громче,— был мечтателем. Всю свою жизнь мечтал он о будущем, о великом будущем человечества, и помогал растить это будущее, делая свое дело незаметно, только потому, что верил в него, и не мог его не делать.

Теперь уже многие знают, что в годы царской реакции у нас в Саратове основано было общество «Маяк». Оно имело просветительные цели и действовало легально. Но в то же время, лет за пять до революции, у нас образовалась довольно крепкая подпольная организация большевиков. В ней работали тогда, вместе с другими товарищами, сестры Владимира Ильича Ленина. Сочувствие рабочих и ремесленников к своей партии росло быстро, и в войну у нас уже издавалась легальная газета большевиков. Она расходилась почти по всей России. Ее читали и в Белоруссии, и под Москвой, и в Питере. Но жандармы закрыли газету. Тогда большевики нашли другой путь общения с массами. Было использовано с этой целью общество «Маяк», в котором создалось партийное ядро. «Маяк» стал легальным прикрытием революционной работы, проходившей на заводах, в кружках, в гарнизоне. Результат этой работы сказался с яркой силой к началу революции. Гарнизон наш в шестьдесят тысяч солдат, подготовленный пропагандой, сыграл выдающуюся роль в февральские и октябрьские дни. А в помещении «Маяка», вскоре после февраля, на собрании большевиков был избран наш партийный комитет...

Вите, слушавшему сначала очень внимательно, стало понемногу казаться, что речь Петра Петровича ушла чересчур далеко от Арсения Романовича. Он стоял прижатый людьми к намогильному кресту и, неудобно повернув шею, читал жестяную дощечку:

«Здесь покоится прах Алексинского уезда Тульской губернии деревни Корочки Агриппины Родионовны Калинниковой. Господи приими ее дух с миром. И упокой ее в селении праведных», и затем, под херувимом лазоревой краски: «Незабвенной дочки Вери от мами и папи».

Над прахом Алексинского уезда Витя размышлял недолго — это не было серьезным вопросом: очевидно, прах географической местности известным образом соединялся с умершим. Это был момент формальный. Но селение праведных заставило Витю призадуматься. Он не мог решить, о каком селении надо просить для Арсения Романовича, какие вообще существуют селения, где собственно и к кому следует обратиться с просьбой о селении, если не к господу. Тут могло быть решение только по существу, так как от этого зависела будущая надпись на могиле Арсения Романовича. Селение праведных для него, вероятно, было бы тоже достаточно, как для праха Алексинского уезда, но, может быть, все-таки

есть какие-нибудь селения лучше? На такой важный вопрос должен был ответить Петр Петрович, если он взялся говорить. И Витя опять начал слушать.

— Арсений Романович помогал революционерам еще до возникновения «Маяка»,— говорил Рагозин.— Но после того, как в этом обществе создалось партийное ядро, с Арсением Романовичем была установлена постоянная связь. Квартира его сделалась местом явок. Он скрывал у себя подпольщиков. В своих книгах, часть которых он собрал нарочно без всякого толка, для маскировки, в книжном хламе он иногда хранил агитационную литературу. Делал он все так искусно, что долгие годы водил за нос царскую охранку, и ни один революционер, который ему доверялся, не был разоблачен. Ради конспирации он даже не вошел в члены «Маяка», который ему светил, как многим из нас. Вот тут, среди провожающих, находятся несколько старых партийцев, хорошо помнящих предреволюционную работу покойного.

Товарищи! Об Арсении Романовиче я не сказал бы, что он был высоким маяком в ночи, на котором выверяют свой курс дальние корабли. Но он был бакеном, маленьким фонарем бакена, который обозначал своим нетухнущим глазком поворот широкой реки. Всякий, кто плыл этой рекой к морю будущего, в ветер и в непогоду, видел светлый глазок бакена, и плыл дальше, уверенный, что о нем подумали и что он не один.

Теперь все мы вступили в это море, и оно, оставаясь будущим, стало также нашим настоящим. Простор его необъятен, и не мало еще пронесется над ним бурь и шквалов. Но маяки теперь сияют на нем для всех с одинаковой силой, и путь наш открыт всем.

Я начал с того, что Арсений Романович был мечтателем. Это верно, и это больше всех чувствовали в нем дети — мечтатели по природе. Мечта Арсения Романовича была, конечно, расплывчата. Дети, каждый на свой лад, вкладывали в нее свои желания, свой, скажем так, сон будущего. Мы, коммунисты, не можем мечтать бесформенно, потому что хотим не только мечтать, но и строить прекрасное будущее. А строить без ясной цели, без программы нельзя. Но в нашей программе заключен все тот же простор моря, который нужен для мечты. Тот простор, который влечет к себе чистое воображение ребенка, требующее от мира справедливости, красоты, счастья. Мы должны мечтать с той страстью, какая привлекала детей в Арсении Романовиче. Мы должны у него поучиться его страсти. Но мы должны указать нашим детям верный путь к мечте. На пути этом они безбоязненно будут разрушать все, что противоречит нашей цели, нашему плану будущего. Вместе с молодежью, которая сражается сейчас за Советскую республику, дети наши пойдут навстречу коммунизму.

Я кончу прощальное слово об Арсении Романовиче обещанием. Недавно я слышал от наших моряков, что кочегарам судов, курсирующих в Красном море, кажется, будто у котлов прохладнее, чем на палубе. Так вот нам, большевикам, кажется, что трудности борьбы за новый мир легче мещанского бездействия мира старого. Мы не отойдем от наших котлов, не выйдем отдыхать на палубу — нам там душнее. И мы можем пообещать нашему другу Арсению Романовичу, что, стоя у котельных топок, никогда не перестанем мечтать и научим мечтать наших детей, которых он так любил, научим их не упускать из вида маяков будущего.

Рагозин одним большим шагом спустился с бугра.

Его сменили еще два оратора. Но они говорили кратко — все было сказано до них, да и ветер разгуливался сильнее, мело метелицей, люди жались теснее друг к другу.

Могилу еще не сровняли с поверхностью земли, когда начали разбредаться. Трамваи не доходили до кладбища, надо было идти пешком к университету. По широкому полю перед кладбищем вожжами тянулась поземка, закручиваясь вокруг трамвайных столбов. Местами проступила голая земля, расчищенная ветром. Снег сдуло к тесовым кварталам, и они насупленно темнели на ярко-белых тротуарах.

Мальчики — руки в рукава или в карманы,— намерзнув, пока стояли у могилы, почти бежали впереди не поспевавших за ними взрослых.

— Как летит время,— сказала Вера Никандровна Аночке,— ведь это с Павликом рядом — сын Лизы будто?

— Да, Витя.

— А Павлик совсем молодец.

— Да. Иногда не верится, что я его нянчила.

Аночка засмеялась.

— Ты что?

— Помните историю с шоколадом?

— С шоколадом?

— Это еще перед войной. Помните, вы подарили Павлику на именины плитку шоколада? Мама ему велела поделиться со мной. Он долго мучился, все не хотел давать. Потом говорит: «Ну хорошо, мама, я только дам Аночке ма-аленький кусочек».— «Почему же маленький, когда у тебя много?» — «Я боюсь, большим кусочком как бы она не подавилась».

Теперь они вместе засмеялись, но смех как-то сразу оборвался, точно они вспомнили, что идут с похорон. Прикрывая от порыва метели рукавом лицо, Аночка мельком спросила:

— Почему не пришел Кирилл Николаевич?

— Да, жалко. Он понял бы своего отца, после этой речи —

почему дружил отец с Дорогомиловым... Кирилл хотел пойти. Но что-то неотложное в военном комиссариате.

Аночка резко вскинула брови, но промолчала и сосредоточенно прибавила шаг: мальчики слишком далеко убежали вперед.

Они кучкой семенили посередине мостовой, нагнувшись против ветра, мешавшего как следует говорить. Они перекидывались короткими словами, подолгу не отвечая друг другу.

— Здорово мой отец говорит, а, Пашка? — спросил Ваня.

— Ага,— согласился Павлик, но подумал и прибавил: — Зря это он про книжный хлам. Мой отец обрадовался.

— Чего обрадовался?

— Толкнул меня и говорит: товарищ Рагозин со мной согласен — Арсений Романович держал один хлам.

— Ну и пусть. Тоже! Твой отец!

Вите думалось, что Петр Петрович не сказал об Арсении Романовиче самого важного. Самое важное состояло в том, что Арсения Романовича больше нет и что таких, как он, никогда больше не может быть.

— А как мы об Арсении Романыче напишем? — спросил он.

— Что напишем? — захотел узнать Ваня.

— На кресте.

— Правда, а? — встрепенулся Павлик.

— На кресте! — насмешливо переговорил Ваня.

— А что? — сказал Витя, принимая вызов.

— У Арсения Романыча будет памятник, а никакой не крест.

— Ну да, памятник. Большо-ой! — протянул Павлик.

Все трое по очереди потерли уши.

— Ребята! Мужик на санях! — воскликнул Витя.

— Дурак какой! Снегу-то с гулькин нос, а он вылез,— сказал Ваня.

— Надо так написать,— проговорил Павлик сосредоточенно: — Здесь лежит наш Арсений Романович, и потом подписи.

— Какие подписи? — спросил Ваня.

— Ну, подписи — ты, я, Витя, еще кто, еще.

— Тоже выдумал! Кто это на могилах расписывается? Я на кладбище целое лето жил, знаю.

— Ну и что же, что жил? Разве есть закон? Захотим, так распишемся.

— А чего такое — селение праведных? — спросил Витя.

— На кресте, да? Знаю,— сказал Ваня.

— На кресте, да? — повторил за ним Павлик.

— Это всё попы! — сказал Ваня.— Воскресение, селение. Начнут архиреить! А ничего и нет. Закопают, так не воскреснешь.

— Ну да,— согласился Павлик.— Отзвонил, и больше каюк.

— А на Марсе? — скептически спросил Витя.

— На Марсе! Подумаешь! — дернул плечами Павлик.

— Ты не читал, вот и говоришь.

— Ты читал, да плохо,— сказал Ваня.— На Марсе не мертвецы, а живые люди.

— Ага,— подтвердил Павлик.— Только там марсисты.

— Надо так,— предложил Витя.— Здесь покоится (он сделал паузу, сомневаясь — нужно ли что-нибудь о прахе и о местности)... покоится Арсений Романович, самый хороший человек!

Он неуверенно взглянул на товарищей. Павлик подумал и признал, что проект удачен. Ваня был не очень доволен.

— Надо еще нарисовать и выбить на камне,— дополнил он.

— Рисунок?

— Ага.

— А про что рисунок?

Тут мальчиков догнал Рагозин и положил им на плечи тяжелые руки в варежках.

— Замерзли?

— Не-ет! — дружно откликнулись они, опять потирая ладонями уши.

— Петр Петрович, мы спорили про памятник, какую сделать надпись.

— Ну, какую же решили сделать?

Они опять заспорили наперебой, выдумывая новые предложения и в конце концов заставив Рагозина сказать, какую надпись сделал бы он сам.

— По-моему, надо просто: Арсений Романович Дорогомилов, революционер.

— И всё? — спросил Павлик, от неожиданности разинув рот.

— И всё.

— И всё! — вскрикнул Ваня.— Вот это да-а!

— Это да-а! — закричал тогда и Павлик.— Арсений Романыч тоже был бы рад, правда, а?

И только Витя задумался и ничего не сказал. Ему было грустно, что о таком человеке, как Арсений Романович, будет написано всего одно слово.

Мальчики шли в ряд с Петром Петровичем, стараясь так же широко шагать, как он, и скоро добрались до площади, где толпа людей дожидалась трамвая.

Становилось очень морозно, быстро темнело, вьюга крутила и крутила всё злее. Но мальчики, прохваченные холодом и засыпаемые снегом, присоединились к толпе и стали терпеливо, вместе со взрослыми, ждать, чаще растирая уши, щурясь сквозь метель на далекие неясные фасады университета.

37

После первого спектакля «Коварства» Аночка и Кирилл видались каждую неделю, и в день похорон Дорогомилова тоже должна была состояться встреча.

Кириллу казалось, что они видятся очень часто, то есть что чаще видеться невозможно — так трудно и хитро было выкроить два-три часа, свободных одновременно и у него и у ней. Сложнее, конечно, было для него. Аночка как-то спросила, договариваясь о свидании:

— Но ведь есть у тебя расписание?

— Расписание — чего?

— Ну, когда ты занят, когда нет.

— Когда нет? — усмехнулся он.— Тогда находится что-нибудь непредвиденное.

Усмешка его сразу улетучилась.

— Непредвиденное — довольно существенная часть работы. Иногда самая существенная. Это — школа, в которой учишься предвидеть.

— Есть, значит, надежда, что ты выучишься предвидеть, в какой день можешь по-настоящему со мной встретиться?

— По-настоящему?

— Да. Чтобы не на минутку.

Он с такой основательностью задумался, что ей стало весело.

До сих пор Кирилл ни разу не обманул Аночку, если обещал прийти, вернее — успевал заранее предупреждать, если встречу приходилось отложить. Но в этот день его неожиданно назначили выступить за городом на митинге.

Он рассчитывал вернуться к условленному часу. Но все сложилось не по расчету.

Митинг был созван для записи добровольцев в кавалерию. На горах, в одном из унылых зданий разросшегося Военного городка, народ теснился плечом к плечу. Все стояли. Тут собрались служащие городка, новобранцы Красной Армии, пестрый люд Монастырской слободки, обитатели разбросанных по округе выселок — рабочие окрестных кирпичных сараев.

Извеков говорил с помоста, который дышал у него под ногами. Он любил прохаживаться во время речи, это напрягало его и в то же время удерживало в сосредоточенности — мысль текла мерно с шагом. Он не замечал, как вздрагивает на помосте накрытый кумачом стол.

Говорил он легко. События, которых он касался, сами по себе приковывали слушателей — дело шло о победах на юге, о бегстве в

белую Эстонию разбитого Юденича, о новом наступлении в Сибири против Колчака — все фронты гражданской войны находились в невиданном движении, но уже движение это было дано фронтам не по почину контрреволюции, как случилось два-три месяца назад, а сосредоточенной волею Красной Армии. Она несла свои знамена вперед, возвращая России ее далекие окраинные земли.

С какой-то взыскательной пристальностью, хмуро и настороженно, собрание сотнями взглядов следило за Кириллом, будто испытывая его выдержку, проверяя знания. Но он упрямо шагал под этими взглядами, приостанавливая себя на поворотах и — видно, для прочности речи — изредка перерубая кулаком воздух. Знания же его были столь основательны, что, когда он начал перечислять победы красной конницы, народ словно решил, что он выстоял проверку: люди расправили брови, зашевелились, гул голосов прошел в разных углах, и потом вдруг, как стрельба ракет, рассыпалась трескотня захлопавших ладош.

Кирилл кончил тем, что враг опозорен, разбит, отступает, но еще не уничтожен, и чтобы добить его, нужен приток свежих сил в ряды бойцов. И он призвал вступать в Конную армию — старых и молодых кавалеристов, пулеметчиков бывалых и малоопытных, с конями и без коней — всех, кто слышит в плече своем силу, а в душе ненависть к белогвардейцам и преданность делу освобождения рабочих и крестьян.

Он ждал, что сразу после этого призыва начнут записываться добровольцы. Но из собрания раздались вопросы и вызвались ораторы — поговорить.

Вышел на помост усатый астраханец с желтыми лампасами на шароварах. Речь повел он сначала не столько красно, сколько громко, и дивовались больше не его словам, а богатырскому его голосу. Говорил же он, что бывают всякие казаки — есть и генеральские приспешники, и кулаки лютые, и лавочники, но есть и такие казаки, как он. А он казак настоящий — из пригоршни напьется, на ладони пообедает. Слушали его недоверчиво, но под конец он сказал такое, от чего все притихли и проводили его сочувственным глазом.

— Настоящий казак красную кавалерию уважает. Нонче только одни красные строевой верности держатся. Они перед противником своему строю верны все по-одинаковому, а не по-разному. От переднего до последнего. В прятки не играют. Ну, только медаль эта с обратной стороной. Какая у нее сторона? А вот я скажу. От кого у нас, от первого, уральцы деру задавали? От Василья Иваныча Чапаева. Даром что не казак, а самого скорого казака обходил на полный корпус. А где нонче товарищ Чапаев обретает-

ся? На дне быстрины уральской, что пониже буде Лбищенского. Как же, спрашиваю, его не уберегли? Как его грудьми не закрыли? Как его из Лбищенского на конях не упасли? Мало чего ему самому рубать уральцев захотелось! Его надо было на крыло посадить да крылом понакрыть. Он бы и остался нам целёхонек. Красных атаманов у нас немного, они только стали объявляться. И надо нам такой устав иметь, чтобы верность перед строем у всех была одинакова, а чтобы обереженье каждый получал по своей заслуге перед всей красной кавалерией. Атаманов своих надо беречь. Такое будет мое предложенье товарищам.

За этим оратором потянулись другие, потом стали говорить из толпы, не поднимая даже рук и не прося слова. Кирилл понял, что это далеко уводит от дела.

Он опять потребовал слова, ответил на вопросы и сказал о Чапаеве, что, мол, верно — ни товарищи его не уберегли, ни сам он не уберегся, и что надо быть день и ночь начеку, потому что ни в какой прежней войне не знавали такого врага, как белые,— ни по беспощадности, ни по коварству.

— Геройскую гибель Чапаева оплакивает вся Советская Россия, и особенно тяжела эта гибель для Волги, которой он был кровным сыном. Но в самой гибели Чапаева заложено нечто роднившее его судьбу со жребием былинных и народных героев. Он, как Василий Буслаев, не знал перед смертью ни раздумий, ни робости. Он, как Ермак Тимофеевич, нашел кончину, переплывая реку, прославленную его великими делами. На смену ему придут другие богатыри. И тем скорее придут, чем больше вольется трудового люда в нашу армию, в нашу конницу. Придут богатыри из рядов народа, из ваших закаленных рядов, товарищи!

Кирилл подошел к столу, схватил и поднял над головой лист бумаги.

— Кто хочет поддержать победоносную нашу кавалерию новым боевым эскадроном? Объявляю запись открытой и сам иду добровольцем в Первую Конную армию. Кто следующий, товарищи? Подходите!

Он обмакнул перо в чернильницу. Стол шатался под его локтями, перо просекало бумагу на мягком кумаче. Собрание изо всех сил хлопало в ладоши, пока он писал, а когда на помост начали взбираться и становиться в очередь к столу добровольцы из участников митинга, рукоплесканья разгорелись еще горячее.

Кирилл громко выкликал имена и фамилии записавшихся, и все, кто сидел за столом, пожимали добровольцам руки, и они отходили с празднично строгой солидностью и, сойдя с помоста, рьяно уговаривали других — последовать своему примеру.

Открывая собой список, Кирилл знал, что — сделает это или нет — он все равно идет на фронт и что это будет не позже чем завтра утром — направление военного комиссариата уже лежало у него в кармане. Но он чувствовал, что не сделать это было невозможно перед лицом тех, кого он звал поступить так же. Необходимый во всяком деле почин застрельщика здесь был очевиднее необходим, чем в любом ином случае. Кирилл вызвался записаться первым, не обдумывая своего шага, по внутренней подсказке, что шаг этот сдвинет дело с места.

Когда он сделал этот шаг и увидел, что не ошибся и все пошло на лад, ему стало очень хорошо, будто он на миру получил открытое одобрение тому решению, которое для него лично уже само собой сложилось и было бесповоротно. Ему передалось общее, увлекшее всех настроение, которого сперва вовсе не было и которое трудно было ожидать от неоднородной толпы жителей слободки и пригородных крестьян. Конечно, главную роль в общем подъеме сыграли новобранцы, чуть не сплошь требовавшие, чтобы их перечислили из пехоты в кавалерию. Но они захватили своим молодым волнением многих.

Кирилл покинул митинг в возбужденно-довольном настроении человека, выполнившего важное предприятие. Он думал, что опоздает к Аночке не намного, и с удовольствием забрался в автомобиль. Но машина не успела въехать в город, как передний баллон спустил воздух.

Метель, разгулявшаяся с сумерек, к вечеру крутила без передышки. Зимы, если слишком рано выпадут, почти всегда начинаются с нещадных вьюг, рвущих и треплющих все на поверхности земли, наметающих сугробы по низинам и слизывающих последнюю былинку с бугров. Пыль, жесткая, как толченое стекло, носится вперемешку со снегом. Сами дома клонятся и стонут под напором ветра. Все гнется, приникает, дрожит и высвистывает многоголосую недобрую песню.

Кирилла, едва он вылез на дорогу, чуть не столкнула дверца машины, откинутая вихрем. Воронка снега злобно вилась вокруг него, точно собравшись натуго запеленать и покатить его — спеленатого по рукам и ногам — по сугробам вместе с поземкой. Шофер начал с самого драгоценного словца из своего аварийного запаса ругательств и полез за домкратом.

Кирилл хотел было опять спрятаться в автомобиле, но вдруг раздумал и заявил, что пойдет пешком, чтобы не мерзнуть в поле.

Он поднял воротник шинели, сунул в рукава кисти рук и, нагнувшись, зашагал посередине дороги. Он не узнавал окрестность, не представлял себе с точностью, по какой улице войдет в город — впереди было так же темно, как по сторонам. Холод забирался все

глубже под шинель, полы ее то распахивало, то вдруг кидало в ноги и запутывало между колен. Все непослушнее, сбивчивее становился шаг.

Незаметно приподнятое настроение Кирилла исчезло. Ему было досадно, что он не предупредил Аночку о вероятном опоздании. К досаде прибавилась тревога, бередившая его уже несколько дней с того момента, как ему стало известно о предстоящем отъезде на фронт. Он все откладывал свое сообщение об этом Аночке и матери, надеясь, что чем короче будут проводы, тем легче они пройдут. Теперь ему вдруг стало очевидно, что он поступил жестоко, что Аночка непременно будет укорять его в бесчувственности, в пренебрежении к ней и что он действительно не может перед ней оправдаться.

Сквозь жгучее метание вьюги Кирилл видел теплый свет маленькой комнаты, в которую ему хотелось скорее войти и до которой было все еще далеко. С каждой минутой выплывала в уме какая-нибудь подробность этой комнаты, и досада его на себя росла.

Ветер грубо подогнал его в спину. На один миг у него явилось ощущение, будто он идет под гору, и он вспомнил покатый пол в комнате Аночки: флигель, где ютились Парабукины, одной стеной осел в грунт. Плетеная, похожая па сотовые ячейки, скатерть; на стене — вырезанная из журнала «Березовая роща» Куинджи; коричневые и лимонные бессмертники, пучком воткнутые за фотографию Аночкиной матери; конус картонного абажура с шоколадно-рыжим прожженным боком и фестонами по нижнему краю; колпак швейной машинки, уважительно накрытой полотенцем с вышитым изречением: «Коли вся семья вместе, то и душа на месте»,— все эти мелочи легко изученного и уже милого обиталища проходили перед взором Кирилла, и — окруженную ими — он видел Аночку сидящей на кровати, уставившей неподвижные синие глаза в холодное окно: «Не пришел, не пришел». Он нахлобучивал фуражку, ниже пригибался против ветра, подтягивал на уши воротник, набавлял ход.

Конечно, не нужно было много фантазии, чтобы издалека рассмотреть каждый уголок незамысловатой комнаты и каждое движение в ней Аночки. Она успела посидеть не только у себя на постели (именно так, как вообразил Извеков), она двадцать раз перешла с места на место, присаживаясь и опять поднимаясь, подбегая то к двери, то к окну, вслушиваясь в стоны и присвисты вьюги и боясь не отличить от них стук Кирилла.

Придя с похорон Дорогомилова, она поставила самовар, чтобы как следует отогреться. Павлика она отпустила в гости к Вите (и сделала это с необыкновенной охотой), Тихон Платонович за-

явил, будто его ждут государственной спешности дела на службе (и как же она могла возражать против государственных дел, хотя ни на волосинку не поверила, что отец сказал правду). Она была счастлива, что оставалась одна.

Через час на ней было самое хорошее платье, и весь дом был прибран, и она еще раз раздула самовар, чтобы Кирилл тоже согрелся, когда придет. На дворе завывало свирепо, ветер выискивал в окнах микроскопические щели, и они пищали, точно в стекла бились налетевшие комары.

Время тянулось убийственно, Аночка начала отчаиваться. Она переворошила в памяти все мимолетные фразы, которые Кирилл когда-нибудь сказал в оправдание или объяснение своей занятости, или долга, или вообще чего-нибудь связанного с тем различием, какое было между ним и ею, с его ответственностью перед людьми, перед революцией, перед эпохой — ах, мало ли что обязывало Кирилла жить особой жизнью, совсем несхожей с обыкновенной маленькой жизнью Аночки!

Почему она до сих пор не задумывалась над значением всех его отговорок, мнимых нечаянностей, мешавших встречам на протяжении целого лета и осени? Как она не замечала, что ему в тягость, в обременение, в обузу эти ее ожидания встреч, эти обещания, которые она берет с него — чтобы он пришел, чтобы пренебрег непредвиденными делами, как рогатка стоящими поперек дороги? О, разумеется, у него чрезвычайно значительные дела. Они могут быть даже действительно государственной спешности. Извеков — не Парабукин. Привирать он не станет. Ему незачем даже преувеличивать.

Но если так, то ведь разница между большими делами Кирилла и маленькими — Аночки никогда не исчезнет. Разница может только вырасти, углубиться. Значит ли это, что Кирилл еще больше будет тяготиться Аночкой и что она будет еще больше обречена на бесплодные ожидания — когда он снизойдет выделить ей минутку своего времени и, как милость, пожертвовать свое занятое внимание?

Почему, собственно, он считает себя в таком привилегированном положении? Разве для нее время не так же дорого, как для него? Разве ей легко далось вот сегодня, ради этой несчастной встречи с Кириллом, отказаться от читки новой пьесы, в которой Цветухин обещает ей новую роль? Не явиться в театр, когда ее там ждут, когда она только что начала работу, с детства ее манившую во сне и наяву! Это ли не жертва? А как поступает Кирилл? Он обманывает ее. Он ее обманул! Он не пришел!

Все-таки, может быть, он еще придет? Может быть, его задержало что-нибудь из ряда выходящее? Ведь сейчас так много боль-

ших событий! А он такой большой человек! У него такие обязанности! Как можно сравнивать его обязанности с какой-то читкой пьесы, в которой Аночка, поди, и роли-то никакой никогда не получит! Она слишком обидела Цветухина, чтобы он дал роль. Она должна за счастье считать, что любит такого выдающегося человека, как Кирилл, и что он любит ее.

Он, конечно, конечно, ее любит! Он просто задержался. Не обманщик же он, в самом деле! Он сейчас придет. Что она должна для него сделать? Ах, господи, она готова все, все для него сделать, только бы он пришел! Но он не придет! Он опоздал на целых два часа. Нет, уже на два часа четыре минуты. Четыре минуты! Мама милая, боже мой, что же все-таки сделать, чтобы он пришел?! Подогреть еще раз самовар? Он остыл. Труба гудит, как домовой. А он уже остыл. Кирилл Извеков уже остыл. Господи, что за нелепица лезет в бедную голову!

Она нащепала лучины, бросила ее в самовар и села на кровать. Положив локти на колени, она обхватила руками голову. Не лучше ли лечь в постель? Так жарко горит лоб.

И вдруг Аночка стремительно сорвалась с места и тотчас затихла. Стук в дверь. Да, она не ошиблась! Настойчивый, быстрый стук!

Пришел!

Она бросилась в сени, с разбегу отодвинула щеколду. Облепленный с головы до ног снегом, согнувшись под порывами вьюги, на нее обрушился из темноты захолодавший человек.

— Скорее, скорее! — пробормотала она, распахивая дверь в комнаты и стараясь удержать другой рукой и коленкой входную дверь, на которую нажимал ветер. Она насилу справилась с запором, кинулась назад в дом, остановилась у косяка и чуть не вскрикнула.

Отворотив с плеч шубу и одним рывком стряхнув на пол снег, перед ней распрямился Цветухин.

— У-ф-ф, черт! Валит с ног! Здравствуй, дружок. Одна? Вот это отлично.

Прижавшись спиной к холодному косяку, Аночка смотрела на Егора Павловича огромными глазами. Смятение, охватившее мгновенно, свело черты ее в гримасу беспомощности и испуга.

— У тебя самовар! — говорил Егор Павлович, платком разминая сосульки на висках и протирая мокрые брови.— Стаканчик горячего сейчас волшебно! И как хорошо натоплено! Ты что, ждешь своих?

Он похлопал ей руку с неуверенной лаской.

— Нездорова? Почему не пришла? Я прямо с читки. Решил — ты заболела.

Наконец к ней пришло самообладание, и она ответила на все сразу,— да, она плохо себя чувствует после кладбища и поэтому не явилась на читку, и сейчас должны вернуться домой отец и Павлик.

— Да, Дорогомилов! — воскликнул он.— Жалко чудака. Я тоже хотел проводить его, но весь день ушел черт знает на что. Большой был оригинал. Местный саратовский раритет. Племя, которое вырождается... А ты не в духе?

Она занялась чайным столом — обычным укрытием, за которым гостеприимные хозяйки прячут свои чувства к незваным гостям.

Цветухин придержал ее за руку и усадил против себя.

— Послушай, Аночка. Я ведь у тебя неспроста.

Он глядел ей в лицо решительно, но что-то, словно обиженное, было в его вздрагивавшей нижней губе.

— Мы должны поговорить. Положение, которое создалось... которое создала ты своим поведением...

— Поведением? Я нехорошо себя веду?

— Ты, думаю, в состоянии решить — хорошо это или нет, если ты вызываешь нездоровый интерес... нездоровое любопытство всей труппы.

— К себе? Вызываю любопытство к себе? И притом всей труппы? И еще — нездоровое?

Аночка слегка отодвинула от него свой стул.

— Пожалуйста, не говори таким языком,— попросил Егор Павлович.— Это не твой язык. Да. К сожалению, также и к себе.

— Но к кому же еще?

— Ты делаешь вид, что я не существую.

— Егор Павлович, я вас обидела? — вдруг искренне, упавшим голосом спросила Аночка.

— Что значит — обидела? — воскликнул Цветухин, и уже открытая обида, делающая мужчину немного смешным и заставляющая его сердиться, прорвалась в его тоне.— Это скорее оскорбительно, а не обидно, если у тебя за спиной шепчутся на твой счет и над тобой хихикают.

— Егор Павлович!

— Я говорю не о тебе. Не ты шепчешься. Но все другие! Я верю тебе, что ты это не вполне понимаешь. Поэтому и не обижаюсь. Но, ты извини, нельзя же, наконец, не разъяснить тебе, что происходит. Если ты этого не замечаешь сама или если... если ты все-таки делаешь это немного нарочно.

— Я, правда, не совсем понимаю,— будто веселее сказала Аночка.

— Но как же? Целый месяц, как ты ввела в обращение со мной чуть ли не официальную манеру. И, прости, в этом есть что-то мещанское. Здравствуйте, до свиданья, благодарю вас — и все! Что это такое? Ведь это же все видят! Если бы еще многоопытная, прожженная какая-нибудь ветеранша интрижек — никто бы не обратил внимания. А ведь ты — ученица. Сейчас же у всех любопытство — что происходит? Наверно, у Цветухина что-то с ней вышло! Что-то получилось! Или не получилось! И... понимаешь теперь мое положение?

— Ну, и если понимаю,— медленно проговорила Аночка и как-то очень пристально вгляделась в Егора Павловича,— если это я все-таки немного нарочно?

Он встал, потеребил волосы, прошелся инстинктивно рассчитанным па размер комнаты шагом.

— Не верю. Слишком тебя знаю. Ты могла бы это умышленно сделать только в одном случае: если бы в тебя вложили чужое сердце.

Она задумалась. Ей хотелось прислушаться, что же происходит в перетревоженном ее сердце и нет ли в нем действительно чего-нибудь навеянного чужим чувством. Но нет, нет.

— Нет! — сказала она с неудержимым волнением.— Я хотела остаться самой собой. Мне страшно, страшно горько было за вас, тогда, после того спектакля. Горько и — знаете? — очень стыдно.

— Но ведь я и хотел быть только самим собой! — вскрикнул Егор Павлович вдруг почти умоляюще.— Неужели ты до сих пор не хочешь видеть...

Она тоже поднялась:

— О да, я увидела! Я вдруг увидела и напугалась, что, может быть, Пастухов был прав. Тогда летом.

Он опять вскрикнул, но голосом непохожим на свой:

— Пастухов! Барин, за всю жизнь не сказал искреннего слова! Все только поза и ходули! Ты помнишь, он рисовался и хвастал, что сочиняет только по вдохновению? А нынче приехали актеры, рассказывают — он в Козлове, в этом лошадином сеновале, стряпает какие-то живые картины! Напакостил, напаскудил при Мамонтове и теперь расшаркивается, готов на что угодно! Пришлось слезать с ходуль! Болтун!

Егор Павлович оборвал себя, точно застыдившись, что вышел из всякой мерки. Одернув пиджак и опять пройдясь, он сказал все еще раздраженно, но тихо:

— Странно, как ты могла подумать обо мне одинаково с Пастуховым. Ты сама назвала его гадкие слова грязью.

— Помню. Я только напугалась — неужели он прав?

— Но неужели он может быть прав?

— Егор Павлович, кто же виноват, что я вспомнила его слова!

Он шагнул к Аночке и, сжимая ее руки, стараясь притянуть их к себе, заговорил с жаром, так, что она не могла ни остановить его, ни возразить хотя бы жестом.

— Послушай, послушай меня! Кто тебя успел заразить, кто успел внушить тебе пошлый взгляд на актера? Я ведь вижу, как твое мнение обо мне несвободно! Холодность, недоверие, пусть даже неприязнь — я понял бы это и простил бы, если бы ты меня только что встретила. Но ты не можешь меня не знать! Я столько делаю для тебя, столько готов и буду делать единственно из своего чувства к тебе, Аночка! Как можешь ты мне не верить? Разве в чем-нибудь я тебя обманул? Я никогда еще не испытывал влечения более чистого, более цельного, чем к тебе! Ты — мое новое рождение. Понимаешь ты это? Новое будущее! Зачем мне таить от тебя свою надежду?

— Но как я должна поступить, когда...— стараясь прервать его, воскликнула Аночка.

Но он не дал ей договорить:

— Постой! Ответь на один только вопрос, глядя на меня — ну, смотри, смотри на меня! — веришь ли, что я никогда не знал такого нераздельного обожания, как к тебе?

— Но это же мучительно — заставлять говорить, о чем я не могу!

— Не можешь? Постой, постой отвечать! Хорошо. Я подожду. Я буду ждать. Я терпелив, о, я терпелив,— с горечью сказал Цветухин.

— Я не буду испытывать ваше терпенье,— сказала она в приступе подмывавшего ее упрямства.

— Погоди! Никакого решения! Ничего окончательного. Ты убедишься сама. Ты увидишь, ты оценишь потом это переживание.

У нее дрогнул подбородок, и нельзя было понять — подавила ли она улыбку или сейчас заплачет.

— Переживать... и потом повторять переживания,— проговорила она будто самой себе.

— Нет, в невинном сердце немыслима такая жестокость! — с отчаянием вздохнул Егор Павлович и сильнее сдавил ее руки.

— Пустите. Слышите? Слышите — стучат! — крикнула она, вырываясь и отбегая.

Она прислушалась и вышла в сени. К воплям вьюги ясно прибавился нетерпеливый гулкий стук. Как только она отодвинула запор, дверь сама растворилась, кто-то ступил в сени, и в тот же миг Аночка догадалась, что это Кирилл.

— Я запру. Ступай, простудишься,— сказал он охрипшим от ветра голосом.

Она бросилась в комнату. Цветухин стоял, заслонив собою окно, как-то по-военному подтянувшись. Она подняла руку, словно подготавливая его к неожиданности, но рука тотчас опустилась. Извеков уже входил в комнату.

Он с трудом расстегнул шинель закоченевшими пальцами. Снег пластами вывалился из складок его рукавов. Он стукнул сапогами об пол, бросил шинель, взглянул на Аночку, на Цветухина и попробовал улыбнуться. Лицо его, залубеневшее от мороза, багрово-красное, осталось неподвижно.

— Нет, товарищи, я не согласен! Это самый настоящий февраль!

Он наскоро подал обоим ледяную руку, отошел к железной круглой печке и обнял ее, прижавшись всем телом. Он пробыл в этом положении несколько секунд и повернулся к печке спиной.

— Ты заждалась, Аночка? Сердишься? Я был в Военном городке. По дороге спустила шина. От самого кладбища пешком.

— От самого кладбища?! — повторила она за ним и оглянулась на Цветухина, точно призывая разделить с ней изумление и испуг.

Егор Павлович вдруг продекламировал:

— «То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит...»

Он незаметно отвел руку за спину, постучал в окно и сделал вид, что прислушивается к чему-то таинственному.

— Это вы? — тихо спросила Аночка.

— Это я,— испуганным шепотом ответил он.— А ты разве ждешь еще какого-нибудь путника?

Кирилл засмеялся. Быстро нагнувшись к самовару, он сдунул золу с крышки, поднял его и перенес на стол:

— Хозяйничай, Аночка!

— Продрог, да? — спросила она, оживляясь, и опять поглядела на Цветухина с таким выражением, что, мол, судите сами, как все у нас с ним запросто!

Кирилл предложил Цветухину присаживаться к столу, но Егор Павлович отказался: ему пора идти, он ведь заглянул к Аночке на минутку — узнать, не заболела ли она.

— Заболела?

— Она должна была явиться на читку и не пришла. Прежде с ней этого не случалось.

— Что же ты молчала? — сказал Кирилл.— Назначили бы нашу встречу на другое время.

Все трое переглянулись, и — для всех троих неожиданно — Аночка выскочила в другую комнату и захохотала, как пойманная на проказе озорница.

На лице Егора Павловича опять появилась очевидная обида,— он в такие минуты слишком выпячивал нижнюю губу и брезгливо припечатывал ее к верхней.

Подавляя улыбку, Кирилл сказал:

— Вы не очень давайте Аночке своевольничать. У нее к этому наклонность есть.

— Да, в ней еще что-то детское,— осуждающе проговорил Цветухин.— Конечно, непосредственность — драгоценное качество. Но одной непосредственностью искусство не создается. Искусство — это больше всего труд, труд, труд (он рассерженно выдавил из себя в третий раз — труд!). Оно требует человека нераздельно. Личная жизнь должна быть отодвинута на задний план, подчинена (он чуть не со злобой рассек это слово на кусочки — под-чи-не-на!) делу художника, если он хочет служить искусству. Это надо принять, как закон.

— Я разделяю ваш взгляд,— серьезно, а вместе с тем как бы насмешливо сказал Кирилл.— И очень вас прошу не поступаться этой требовательностью в отношении к Аночке.

Он сделал паузу. Брови его тяжело оседали, он не сводил глаз с Цветухина.

— То есть, чтобы в личной жизни Аночки не случилось ничего в ущерб труду. Особенно в мое отсутствие. Если я уеду.

Аночка вышла из другой комнаты. Она держала лист бумаги, и рука с этим листом медленно опускалась, вторя каждому маленькому неслышному шагу.

— Если уедешь? — тихо спросила она.

Он не нашел решимости сразу ответить правдиво и пошутил:

— Ну да, если мне придется уехать, то какому же еще наставнику тебя поручить?

Она почувствовала его уклончивость и — по-прежнему настороженная — улыбнулась.

— Вот вы меня оба браните. А я работаю гораздо лучше не когда меня бранят, а когда хвалят. Можно, Егор Павлович, я похвастаюсь, а?

Она дала Кириллу бумагу.

Это была старательно расписанная кармином, гуммигутом, лазурью благодарственная грамота, поднесенная Луизе Миллер бойцами кавалерийского отряда (Аночка уже целых семь раз сыграла в клубе свою единственную роль). Составители грамоты обошлись с полюбившейся артисткой по обычаю, применяемому к покойникам,— они восхваляли ее достоинства так щедро, как будто она уже никогда больше не могла подвести своих песнопевцев. Они писали, что ее игра объяснила им, как терпели бедные люди от издевательства монархической власти. Они уверяли, что такие за-

мечательные представления, как «Коварство и любовь», еще крепче закалили их волю к победе над буржуями. Они называли товарища А. Т. Парабукину несравненной, глубокой, яркой и заявляли, что хотя некоторые из них уже дважды смотрели спектакль, но готовы смотреть еще много, много раз. И они звали А. Т. Парабукину и других товарищей артистов поехать с ними на фронт. «Вы будете нам показывать свое пролетарское искусство, а мы будем дорубать до смерти гадину Деникина!» И почти у каждой подписи почитателей Аночкина таланта были сделаны приписки: «До скорого свидания», «Приезжайте к нам на фронт» и даже — «Даешь Ростов!».

Кирилл с удивлением всматривался в причудливые росчерки вдоль и поперек бумаги, изучая особый смысл, которым дышала сердечная и простодушная грамота. Потом он достал из кармана карандаш.

— Что ты делаешь? — ужаснулась Аночка и бросилась к нему, чтобы вырвать бумагу.

— Я хочу тоже расписаться.

— Нельзя! Это нельзя! Я не позволю смеяться над этим... над этой памятью! Я хочу ее сберечь.

Защищаясь от Аночки, он встал, повернулся к ней спиной и, приложив грамоту к стене, резко и крупно подписался — со своим хвостатым «з» — наискось по верхнему углу листа.

— Зачем ты это сделал! — почти плача воскликнула она.

— Во-первых, я тоже хочу, чтобы ваш театр поехал на фронт,— ответил он как можно спокойнее,— во-вторых, я имею право подписаться вместе с этими бойцами.

— Никакого права. Ты и смотрел меня всего только один раз! И теперь насмехаешься.

— Это мой отряд конницы. Я назначен, за старшего, сопровождать его на фронт. Завтра утром мы уходим эшелоном.

Аночка неподвижно глядела на него. За миг до того еще красное от мороза лицо Кирилла быстро желтело. Он словно растерялся перед тем впечатлением, какое произвели на Аночку его слова. Он придвинул ей стул.

Цветухин откашлялся, громко вздохнул.

— Ах да! Как это было бы идеально! Мы мечтаем о такой поездке. Фронт! Что может быть соблазнительнее? Но — репертуар! Ведь пока только одна пьеса. И довольно громоздкая. Правда, можно сыграть в сукнах. Облегчить, упростить...

Он тревожно подождал — что ему ответят. Голос его переливался своим обаятельным тембром чересчур сильно для этих маленьких стен.

— Но мы будем стараться! Правда, Аночка?

— Будем стараться,— сказала она за ним безразлично.

— А вы, значит, завтра? — все так же ненужно громко продолжал Цветухин.— На Деникина, да? Ну что ж, остается пожелать вам всего самого счастливого. От себя могу обещать одно: будем работать, будем беззаветно работать.

Он выразительно потряс руку Кириллу и начал одеваться.

— За Аночку можете быть спокойны. Я знаю ей цену, знаю ее недостатки и буду к ней всегда требователен. Очень требователен. До свиданья. Если нам понадобится поддержка — не откажите. Я говорю о нашем театре. Мы с вами союзники!

— Я закрою за вами,— сказал Кирилл.

То, что он двинулся и пошел к двери, словно привело Аночку в себя. Она решительно оторвалась от места, удержала Кирилла и вышла за Цветухиным в сени. Он успел в темноте пробормотать несколько отчаянных фраз:

— Все ясно, дружок. Ну, что ж! Ты для меня осталась прежней! Будь счастлива. Будь только...

Бушующим потоком ветер вырвал у него — едва он перешагнул порог — его последние слова и унес с метелью.

Аночка захлопнула дверь, вбежала в комнату, остановилась перед Кириллом. Видно было, что ей страстно хотелось и невозможно было примирить свои чувства с происшедшим.

— Я ведь ничего не требую, кроме того, чтобы — не было так внезапно,— горько сказала она.

Он протянул ей руки, она будто не заметила его немного виноватого движения.

— Почему, почему всякий раз — в последнюю минуту?

— Я думаю — так лучше.

— Чтобы избежать лишнего часа, который можно бы пробыть вместе?

— Чтобы не говорить о том, что понятно без слов.

— Чтобы было больнее?

— Чтобы боль была короче.

— И тебе не кажется, что это жестоко?

— Слишком часто жестокостью называют мужество. Зачем ты это повторяешь? Единственно, что сейчас нужно для твоего и моего счастья — это мужество.

Она ответила ему взглядом, раскрывшим ему еще никогда не бывалую в ней женскую мягкость, и — странно — он не усомнился, что это было ее готовностью к мужеству, которого он ждал. Они сели рядом на край кровати. Он держал ее руки и смотрел на нее.

В буйстве ветра, гулко раздававшемся за стенами, тишина комнаты была удивительно полной, и они слышали дыхание друг

друга, несмелое потрескивание огонька в лампе, комариные песни в оконных скважинах. Под потолком с хрустом отщелкивали свое тик-так веселые ходики. Кириллу мелькнуло, что в Аночке наступало то примирение, которое еще минуту назад ей казалось невозможным.

— Я очень, очень прошу, когда ты судишь мои поступки, будь немного старше себя.

— Я, кажется, всегда была старше себя. Но зачем это?

— Я не имею права поступать только так, как мне приятно или как приятно кому-нибудь из близких. Я должен отвечать за свои поступки, понимаешь? — отвечать.

— Понимаю. Это не трудно понять. Отвечать перед всеми. А передо мной?

— Насколько могу,— ответил он и добродушно улыбнулся.— Знаешь, я, когда шел сюда, вдруг пожалел, что не сказал тебе об отъезде раньше.

Она стиснула ему пальцы.

— Значит, раскаялся в своем поступке?

— Я, наверно, недостаточно подумал о нем.

— Но неужели вечно, вечно надо думать о всяком поступке?!

Он ничего не ответил, а только нагнулся и приложил щеку к ее ладони. Она другой рукой попробовала его жестковатые, давно не стриженные волосы. Он поднял голову и стал опять смотреть на нее.

— Ах, ты, ты,— сказала она шепотом.

Он поцеловал ее. Она долго молчала, потом у нее появилась рассеянная и совсем новая улыбка.

— Ты подумал, как поступаешь? — спросила она чуть погромче, скосив на него большой потемневший глаз.

Он еще сильнее поцеловал ее. Отодвигаясь, она вытянула свой легкий, чуткий подбородок, глядя на окна.

Он вскочил, шагнул к столу и, наклонившись, одним шумным дуновением загасил лампу.

38

За ночь вьюга улеглась.

Едва начался декабрьский рассвет, Аночка вышла на улицу. Было странно тихо. Вдоль тротуаров лежали снежные волны, на которых застыла рябая зыбь, как на песках дюн. Мостовые посредине были голы, только кое-где по краям кособочились сугробы с острыми ребрами сверкающих верхушек. Вороны молча сидели на черных деревьях.

Спокойствие отдыхавшего после метели города не только не усмиряло волнения Аночки, но все больше бередило его. Она очень торопилась.

На вокзале недоспавшие, нетерпеливые люди неизвестно откуда появлялись, неизвестно куда исчезали, вдруг снова кучились и снова рассасывались. Двери маячили качелями, дребезжа и хлопая. То вдалеке, то где-то рядом, словно грозя ворваться в здание, шипели паровозы.

Аночка остановилась в главном зале, у дальнего окна на платформу,— как накануне условилась с Кириллом. Его долго не было, так что она устала глядеть в толпу, роями качавшуюся от выхода к выходу.

Когда он показался, она не сразу узнала его. На нем был овчинный полушубок по колено, белые валенки, короткошерстая рыжая папаха. Он стал неуклюжим и не подходил к Аночке, а будто подкатывался.

— Ты не замерзнешь,— сказала она с улыбкой.

Он снял меховые варежки, на солдатский манер заложил их под мышку.

— Если бы ты заранее сказал, когда уезжаешь, я не пришла бы с пустыми руками.

Он взял ее руки, погладил каждый палец в отдельности, сказал:

— Они для меня никогда не пустые.

Минуту они глядели друг другу в глаза.

— Эшелон погрузился. Поезд у платформы. Нас сейчас отправляют.

— Уже? — проговорила она тихо, и взгляд ее сурово опустился.

— Пойдем,— сказал он.

Он вывел ее, держа за локоть, на перрон, и они пошли вдоль поезда. Из дверей катился пар, ледяные сосульки свисали с крыш, от товарных вагонов пахло лошадьми.

— Далеко? — спросила Аночка.

— Последний вагон.

— Идем тише.

Они не слышали ни криков, ни песен, упрямо споривших между собой на протяжении всего поезда, ни лихих переборов гармошки-саратовки. Они шли, шли, и шаг все замедлялся, помимо их воли.

Наконец они увидели Рагозина и возле него Веру Никандровну. Они постояли вчетвером, говоря о самых обычных вещах. Паровоз начал гудеть. Сильнее, гулче, перекатистее несся его бесстрашный голос, насыщая и содрогая пространство.

— Ну вот,— неслышно сказал Кирилл, глядя на мать, и обнял ее.

Потом он всмотрелся в Аночку, обхватил ее обеими руками и вдруг несколько раз кряду, до боли сильно поцеловал в губы.

Оторвавшись от нее, он опять поглядел на мать. Вера Никандровна улыбалась и кивала ему. Он шагнул к ней. Она прижала к себе его голову и — в то время, как оборвался гудок,— сказала шепотом заговорщицы:

— Я ее поберегу. Поберегу!

Она продолжала кивать. Ее пожилые годы резче проступили на лице после этой ночи сборов. Вдруг сделалось видно, как она старится.

Кирилл круто повернулся к Рагозину. Поезд уже шел. Они оба побежали за площадкой вагона, обвешанной бойцами. Кирилл вскочил на приступку.

— Я скоро за тобой следом! — крикнул Рагозин и снял шапку.

— Лечись сначала, Петр Петрович! Выздоравливай! И — до свиданья,— успел ответить Кирилл и глянул поверх рагозинской лысины назад.

Аночка стояла с высоко поднятой неподвижной рукой. Кирилл стал махать своими варежками. Только тут и он и она заметили, какая толпа провожала поезд: почти мгновенно они потеряли друг друга из вида за мельканьем рук, шапок, платков.

Людские голоса, сначала заглушив собой шум поезда, быстро упали, и уже издалека долетел до Аночки рокот колес, учащаясь и затихая.

Проводы близкого человека в неизвестность тяжелы особенно в эту секунду ухода поезда, в секунду исчезновения последнего вагона, когда вдруг пронизывает чувство физической утраты принадлежащего тебе существа, которого миг назад можно было коснуться и которое сразу стало недосягаемо.

Рагозин и Вера Никандровна заметили остроту этой секунды друг на друге, заметили на Аночке. Но, кроме того, им бросилась в глаза особая сполошная мысль на лице Аночки, как будто она не только была подавлена разлукой, но боролась еще с другим труднейшим испытанием. Она была бледна, и казалось, вот-вот упадет.

— А ну-ка, пожалуйте сюда,— сказал Рагозин, подставляя Аночке руку подчеркнуто бодро и с нарочитым шиком.

— Может, мы посидим,— предложила озабоченная Вера Никандровна,— а потом поедем все ко мне.

— Я не могу, спасибо,— сказала Аночка,— мне надо еще съездить... вот если бы вы могли со мной съездить, Вера Никандровна!

— Конечно, голубушка, если надо. Но куда же ты вдруг?

— В больницу.

— В больницу? Да ты не расхворалась ли?

— Нет, нет! К отцу. Отец попал в больницу. Еще вчера.

— Как так попал? Что с ним?

Они остановились посреди перрона, уже наполовину опустевшего, и Аночка наспех рассказала, что стало ей известно с вечера о Тихоне Платоновиче.

Вскоре после ухода от нее Кирилла возвратился домой Павлик. Пришел он не один, а со знакомым сослуживцем Парабукина. Этот сослуживец по дороге из утильотдела, где оставался работать весь вечер, нарочно, несмотря на вьюгу, разыскивал квартиру Тихона Платоновича и встретился с Павликом на дворе. Шел же он затем, чтобы сообщить, что с Тихоном Платоновичем случилось недоброе.

Выяснилось, что Парабукин, вернувшись с похорон Дорогомилова, заперся в своей каморе и вместе с другом Мефодием устроил поминки. Вышли они из каморы навеселе, еще не поздно, и Мефодий заявил, что поминки не пропорциональны прискорбию, которое оба друга испытывают с утратой такого праведника, как Арсений Романович Дорогомилов. После чего оба ушли, очевидно — в поисках этой недостигнутой пропорции. А часа три спустя, когда свидетель окончил свою работу и собрался тоже уходить, в утильотдел позвонили по телефону из больницы. Оказалось, Тихон Платонович и Мефодий подобраны на улице и доставлены в приемный покой с признаками отравления.

Было уже слишком поздно, чтобы в метель добираться до больницы. Поэтому Аночка решила ожидать утра.

Она остановила свой рассказ на том, что не могла заснуть всю ночь. Никому, разумеется, не надо было знать, что к мучительному страху за отца прибавлялось все пережитое в этот короткий, полный противоречивых событий вечер — от терзаний одиночества до объяснения с Егором Павловичем, от поразившего известия об отъезде Кирилла до тех минут наедине с ним, которые сделали Аночку и Кирилла счастливым достоянием друг друга навсегда.

Рагозин решил:

— У меня лошадь. Садитесь и езжайте. Если нужно будет в чем помочь, сообщите мне.

Обе женщины тотчас отправились в больницу. По дороге Вера Никандровна задала всего один вопрос — сказала ли Аночка о несчастье с отцом Кириллу?

— Зачем? Он ничего не успел бы сделать, и это отяготило бы его еще одной заботой.

Вера Никандровна, держа Аночку по-мужски, за талию, плот-

нее приблизила ее к себе, и так они проехали весь долгий неудобный путь — пролетка то увязала в сугробы, то ныряла на выбоинах голого булыжника.

Аночка владела собой, черпая силы в упорстве молчания. Все хождения по больнице она выдержала с напряженной собранностью всего тела и с бледным недвижным лицом.

Везде надо было подолгу ждать, потому что каждый, к кому Извекова и Аночка обращались, был занят сразу многими делами. Всюду бродили туда и сюда сестры, сиделки, врачи. Их останавливали по дороге, либо они останавливались сами и толковали о своих неотложных житейских вопросах. Для этих постоянно работавших в больнице людей пребывание здесь было профессией, службой, производством, которыми они занимались всю свою жизнь, день и ночь. Для тех же, кто сюда приходил из-за болезни или смерти близких, пребывание здесь было из ряда вон выделяющимся событием, испытанием судьбы и часто неизгладимым горем. Те, кто работал в больнице, считали, что для больных всегда сделано все возможное, и волнение посетителей им казалось чрезмерным и обременительным. Посетители же были твердо убеждены, что для больных непременно что-нибудь не сделано, и спокойствие людей больничной службы их тревожило и раздражало. Как в камере судьи, здесь слишком наглядна была разница в отношении человека к участи своей и чужой.

В приемном покое барышня в белой косынке, исследовав запись соответствующего дежурства, подтвердила, что Тихон Платонович и Мефодий Силыч действительно поступили и направлены из сортировочной в палату номер такой-то. О состоянии больных следовало узнать в справочном бюро посетительской приемной. Справочная, после розысков по журналу ночного дежурства, установила, что оба больных приняты указанной палатой и что состояние их тяжелое, а температура такая-то. Утренних сведений еще не было, и следовало вызвать из палаты няню и попросить ее, чтобы она узнала у ординатора, в каком положении находятся больные. Няни добрых полчаса не могли разыскать. Придя, она сообщила, что, когда поутру сменяла дежурство, ей никаких новых больных палатная не передавала. Она взялась справиться у сестры или в ординаторской — может, кто знает, но по пути очень долго простояла в дверях справочного бюро, на виду у Аночки и Веры Никандровны, разговаривая с другой няней и показывая ей у себя на ноге прохудившуюся войлочную туфлю. Спустя еще добрых полчаса явилась сестра с игрушечным красным крестиком на переднике и сказала, что оба больных еще ночью переведены из общей палаты номер такой-то в отдельную палату номер такой-то и что допуска к ним нет. До того, как утренние сведения будет да-

вать справочная, о состоянии больных можно узнать с разрешения заведующего отделением, но сейчас этого сделать нельзя, потому что у него начался обход. Мог еще дать разрешение главный врач, но он сейчас в операционной.

Сестра пошла назад к той двери, откуда все время выходили и куда входили белые халаты, но, не дойдя, вернулась и указала на тощего человека с запавшими бритыми щеками:

— Вот Игнатий Иванович, попросите его. Заведующий отделением.

Она сама подошла к нему и что-то сказала. Он поглядел на Веру Никандровну и Аночку, качнул головой и продолжал свой разговор с женщиной, которая перебивала его вопросами и крутила себе пальцы. Потом к нему подошла девушка из справочного и стала громко уверять, что ни от кого не получала какой-то книги. Они вместе удалились в бюро. Из окошечка, через которое давались справки, вылетали вперегонки их голоса, и было слышно, что спор идет о той же книге, которой девушка ни от кого не получала.

— Игнатий Иванович! — неслось через окошко,— неужели я позволю себе трепаться?

Наконец Игнатий Иванович вновь появился в приемной и пошел прямо к двери, но заметил Аночку с Извековой и повернул к ним.

— Вы насчет Парабукина? — спросил он доверительным голосом.— Вы кем ему будете?.. Ах, ваш отец...

Он медленно отвел взгляд на дверь, в которую собирался пойти, и один миг подождал.

— Да, да,— проговорил он таким тоном, будто Аночке и Вере Никандровне было уже известно, чему он поддакнул.— Да, в семь часов. Скончался.

— Так... сразу? — словно ища смысл в этих своих словах, выговорила Вера Никандровна и взяла Аночку под руку нескладным движением, так что нельзя было понять, хочет ли поддержать ее или сама ищет поддержки.

— Ну, как сразу? Часов десять жил. Еще здоровое сердце. Хотя он, видимо, давно употреблял? Сильного сложенья, да.

— Он ведь не один? — все еще отыскивала нужные слова Вера Никандровна.

— Да, тот тоже. Послабее. Несколько астенический субъект. Часа на полтора раньше. Тоже ваш родственник? Нет?

Он всмотрелся пристальнее в Аночку и сказал утешительно:

— Вы не горюйте слишком. Это ведь много лучше. Если бы выжили, то ведь оба ослепли бы. Метиловый спирт, да.

Он еще раз покосился на дверь.

— Где он? — беззвучно спросила Аночка.

— После вскрытия вас допустят,— сказал доктор.

Он стал завязывать тесемки на обшлаге халата, прижимая запястье к животу.

— Извините, у меня обход. Вы присели бы. Я скажу, чтобы с вами побыли.

Он откланялся им порознь и двинулся немного приподнятой поступью поджарого легковеса к двери, все время его манившей.

Аночка и Вера Никандровна сели на скамью. Они не смотрели друг на друга, но в том, как обе держались, тесно, плечом к плечу, было видно, что обоюдное ощущение близости для них спасительно и ничто не могло бы ее сейчас заменить.

К ним подошла та сестра с игрушечным крестиком, которая заявила им, что допуска в палату нет. Она протянула Аночке маленький тонкостенный стакан с отогнутыми краями и желтоватым пахучим снадобьем, налитым до половины.

— Выпейте это. Вам надо выпить,— убедительно сказала она, и у ней был такой спокойный вид, будто между тем, что она говорила прежде и говорит сейчас, не существовало ни малейшего расхождения.

Вера Никандровна взяла стакан и поднесла Аночке. Послушно и старательно Аночка проглотила лекарство.

Лицо ее как было, так и оставалось недвижным и бескровным. Не то чтобы она не воспринимала происходившего вокруг, но ей было безразлично, что воспринимать, точно для нее не стало никакой разницы между нужным и никчемным, важным и пустячным. Она сосредоточенно поглядела на девушку из справочной, опять возбужденно кому-то крикнувшую через окошко:

— Я говорю, что в глаза не видала! Что я — треплюсь, что ли?

И одинаково сосредоточенно Аночка слушала, как Вера Никандровна подбирала утешения, стараясь вызвать в ней живое желание сопротивляться горю и действовать:

— Ты не бойся, я буду с тобой. И у нас есть друзья. Мы не одни.

Но при всем очерствении к окружающему, при том безразличии, которое выражалось в эти минуты внешним существом Аночки, была одна черта, одна точечка, затаенная в глубине ее взгляда, в зрачках, соединявшая в себе уже почти отсутствие рассудка с жадными поисками мысли, как бывает только у человека больной души. Аночка в эти минуты равно могла поддаться бессилию и заболеть, и могла найти такую опору в самосознании, что уверилась бы в своих силах на всю жизнь.

Этой точечкой взгляда видела она острейшие миги промчавшихся суток, и ей казалось, что до нее доносится рокот колес по рельсам, и она глядит на последний вагон поезда, ускользающего вдаль, и слышит голос — «будь немного старше себя», и другой голос — «еще здоровое сердце». В бессвязности этой заключалось что-то цельное, и в то же время одно исключало другое. Как будто душа Аночки раздваивалась, и одна часть, уходя с последним вагоном поезда, оставалась надолго жить, а другая, оставаясь здесь, в больнице, уходила из жизни навсегда.

В необычайной грусти Аночка улыбнулась. Как будто изумившись неожиданно сделанному открытию, она сказала:

— А знаете, Вера Никандровна, Кирилл ведь очень любил моего папу!

Вера Никандровна с материнской страстью прижала ее руку к своей груди.

— О, как ты права! Ты даже не знаешь, как ты права, моя умница!

— Папа ведь был удивительно сердечный человек,— сказала Аночка все с той же грустью.— Он только был несчастный.

— Ты, ты возьмешь за него счастье, которое ему не далось!

— Что же мы сидим? — сказала Аночка, всхлипывая, как после облегчающих слез,— надо ведь что-нибудь делать. Поедем к Рагозину. И потом к Егору Павловичу. Мефодий Силыч отнял у него сегодня полжизни.

— Да, да. Поедем. Мы не одни, мы не одни,— повторяла Вера Никандровна.

Они вышли на мороз, и это было словно телесным возвращением к действительности. Опять попеременно колеса пролетки то дребезжали по булыжнику, то скрипели в снегу. Город все еще отдыхал, все не мог отдохнуть от вьюги. И с каждым новым домом, с каждым кварталом, отдалявшим пролетку от больницы, Аночке яснее виделся вагон, который плыл где-то среди безграничных белых полей и в котором она сама будто присутствовала, сидела против Кирилла, вычитывая его мысли в ровном взгляде табачных глаз.

Мысли были, конечно, о ней, об Аночке. Он не мог оставить ее одну, он взял ее, он увозил ее с собой в этом вагоне, в этом огромном поезде, пересекавшем равнину России.

На каком-то далеком разъезде выйдя из вагона и щурясь на солнечное лучение заснеженной степи, Кирилл нечаянно вспомнил толстовское наблюдение о путешественниках: первую половину пути, заметил Толстой, человек думает о том, что им оставлено позади, откуда он едет, вторую половину пути — о том, что его ожидает впереди, куда он направляется.

Чем дальше продвигался поезд, тем разнообразнее становились связи Кирилла со множеством его спутников. Это был не рядовой поезд, пассажиры которого случайно соединились и тотчас разрознятся, как только доедут до места.

Эшелон был подобен маленькому шумному городу на колесах. И как жителей города связывают в целое одни дороги, одни источники, одна плодоносящая земля, так спутников эшелона роднила одна общая цель, лежавшая за пределами движения поезда. Интересы их объединялись не только ежечасной заботой о фураже, провианте, не только закрытым семафором на разъезде, или игрой в шашки и карты, или табачком и гармошкой, но теснее всего — предстоявшей им борьбой за свое будущее.

И Кирилл все больше чувствовал свою принадлежность этому городу на колесах, все чаще задумывался, как сложится ожидавшая его на фронте работа, все реже возвращался мыслью к оставленному Саратову. Поэтому и пришло ему на ум толстовское наблюдение, и он проверил его на себе и удивился, что — правда — за последний день даже Аночка вспоминалась гораздо меньше, чем в начале пути. Но это не беспокоило его. Аночка только отступила в сокрытую глубину его сердца, и он знал, что она будет там жить, пока живо само сердце.

Эшелон следовал через Балашов — Поворино с задержками, простоями, неизбежными в прифронтовой полосе. Лишь на третьи сутки прошли места недавних великих сражений — Воронеж, Касторную. Зима везде установилась, все время было вьюжно, снегом прикрыло следы истребительных полевых боев, и только в селах, при дорогах, на станциях траурно чернели пожарища да громоздились обломки взорванных сооружений.

Отряд был наконец влит в кавалерийскую бригаду, которая формировалась из пополнений, и на этом кончилась основная часть задания Извекова — сопроводить и передать эшелон по месту назначения. Он распрощался с земляками и двинулся дальше на юг, в район действий Первой Конной армии.

В тот день, когда он приехал в Новый Оскол, все вокруг было бурно оживлено: над обывательскими домиками трепыхали флаги, по дороге мчались всадники, через распахнутые ворота дворов виднелись оседланные кони и кучки спешившихся бойцов. Укутанные в теплые одежки дети выводками бежали по улицам, и взрослые тянулись следом за ними — все в одном направлении — за город.

После неудачных расспросов — куда идти — Кирилл натолкнулся на молодого командира, распоряжавшегося красноармейцами, которые втаскивали в дом большой неуклюжий стол. Двери были узки, стол то клали и заносили ножками вперед, то протискивали стоймя.

— Давай выворачивай ножки,— крикнул один из красноармейцев.— В горнице сколотим.

— Вали,— безнадежно махнул рукой командир и отвернулся.

Он недовольно поглядел на Кирилла, как будто тот виноват был, что стол не пролезает в дверь.

— Вы что здесь, товарищ?

Кирилл ответил, что ему надо, и это вызвало еще большее неудовольствие командира.

— А ну, документы!

По самому тону Кирилл понял, что если и не напал на верный адрес, то находится от него неподалеку. Он достал свои бумаги. Не снимая толстых перчаток, командир зажал документы в горсти и — пока стол хрустел, точно раскалываемый гигантский орех,— читал углубленно и строго. Потом он обернулся, увидел, что ни стола, ни красноармейцев уже не было на улице, и сразу радушно возвратил бумаги.

— Значит, из Саратова? В Саратове не бывал. А вот в Царицыне доводилось. С товарищем Ворошиловым тоже... Зайдем в горницу.

Он оказался из ординарцев Ворошилова и послан был в Новый Оскол с квартирьерским поручением. От него Кирилл узнал, что в соседнем селе состоялось объединенное заседание Революционных Военных советов Южного фронта и Первой Конной армии. Прибывший из Серпухова (где стоял штаб фронта) Сталин выступил на заседании с речью о задачах Первой Конной в дальнейшем осуществлении плана разгрома Деникина. В район были стянуты соединения Конной армии, и под Новым Осколом предстоял большой смотр (на фронте продолжали биться по одной бригаде от каждой дивизии).

— Хотите поехать? Через час у меня будут санки,— предложил ординарец.

Он чем дальше разговаривал, тем словно гостеприимнее становился. Вероятно, его на самом деле рассердила незадача со столом; теперь, когда все налаживалось и он распоряжался расстановкой мебели в мещанской гостиной и куда-то уносил цветочные горшки и перевешивал картинки,— хозяйственная стихия делала его, видно, сообщительнее.

— Поедем! Все равно ваше назначение мимо товарища Ворошилова не пройдет. И рапорт ваш об отряде тоже. Значит, время есть. Увидите, что у нас нынче за дивизии. Дух замирает!

Он призадумался.

— Как по-вашему — оставить? Или лучше убрать?

Он с сомнением мотнул головой на закопченную олеографию, изображавшую боярышню в кокошнике.

— А что вас смущает?

— Да тут командиров с комиссарами будут Реввоенсовету представлять.

— Ну и что же? Ведь это — Маковский.

— Черт его — с этим искусством! Никогда наперед не знаешь.

Они оба засмеялись, каждый своим мыслям. Уже входила в права та короткость отношений, которая особенно быстро завязывается на фронте, нередко столь же быстро позабывается, а то вдруг переходит в солдатскую дружбу до скончания дней.

На смотр Кирилл и ординарец ехали приятелями. Подрезанные полозья санок выпевали неустанную скрипучую нотку, легко ныряя в ямы и медленно вылезая из них, причем седоки дергались к передку, а потом откидывались на спинку, и в это время разговор их сначала убыстрялся, затем растягивался.

Сразу за городом открылась нескончаемая степь, кое-где в холмистых грядах, и стало видно, как ее сахарную гладь лизала длинными языками поземка. Был самый светлый зимний час, но свинцовая навись снежных туч низко спускалась с неба.

Еще издалека Кирилл увидел темные расчлененные линии построенных конных войск. Они занимали огромное пространство своими, похожими на шпалы, разделеньями. Ближе чернела сплошная полоса народа, вытянутая по нитке, и, подъезжая к ней, санки все больше обгоняли запоздавших и торопящихся людей.

Когда приблизились к толпе и вылезли из санок, было уже невозможно пробраться вперед в той центральной части зрителей, где виднелись красные знамена и отведено было место для тех, кто должен был принять парад. Кирилл с ординарцем опять забрались в санки и поехали позади толпы, выискивая удобный, не очень плотно занятый народом участок.

Слышны были перекаты «ура», ветер то доносил музыку, то заглатывал ее. Смотр уже начался — члены Революционных Военных советов, объезжая построенные дивизии, здоровались с частями.

Отыскав наконец подходящее место и протиснувшись в передний ряд, Кирилл окинул взором степь. Прямо перед ним и справа она уходила к небу, и не было видно на ней почти ни пятнышка, только далеко-далеко телеграфные столбушки, в карандаш высотой, неясно проглядывали сквозь рябизну поземки. Слева виднелась кавалерия, и можно было, всмотревшись, отделить глазом на передней линии строя полосу коней и узенькую полосу всадников над ними и кое-где — знамена, вдруг вырастающие на ветру.

Музыка и крики кончились, стали перебегать линейные, появились санитары с повязками на рукавах и сумками на бедрах. Когда это мгновенное нервное оживление улеглось, Кирилл уви-

дел, как слева приближается вдоль толпы к центру горстка верховых, и с ними санная упряжка.

— Едут, едут,— сказал ординарец, подталкивая Кирилла в бок.

Но почти сейчас же вся эта группа скачущих людей настолько приблизилась к переднему ряду толпы, что почти слилась с ним, и Кирилл ничего не мог различить впереди, хотя и выступил за край толпы на полный шаг.

Вслед за тем пронесся позывной медью сигнал фанфар и отдаленно запели чуть слышные голоса команды. Но все это неслось влево, почти поглощалось степью, и тут Кирилл понял, как далеко он стоит от того места, где сосредоточилось самое ядро происходящего события. Ему было досадно, что он затерялся где-то в стороне, и хотелось быть в центре, но, несмотря на досаду, в нем все росло настроение праздничности, создаваемое зрелищем далекой неподвижной стены войск, которая напряженно ждала призыва к движению, и особенно — зрелищем снежного пространства, словно подчиненного общему строю людских масс.

Голоса команды совсем замерли, и в степной тишине стало слышно, как припадал на землю ветер и шуршала снегом жесткая поземка.

И вот загремела где-то близко музыка. Это был возбуждающий кавалерийский марш, в котором сплетаются голоса отваги и игривости и ритм которого рожден гарцеваньем вышколенного коня. И медленно, после того как заиграл оркестр, в музыку вступил глухой гул, накатом близившийся под землей: конница двинулась, торжественный марш начался.

Но это было особое, вряд ли когда бывалое движение, так же мало похожее на марш, как полет голубиной стаи мало похож на шаг человека.

Дивизии шли по номерам, и парад открывала Четвертая. Головной эскадрон, снявшись и пойдя с места рысью, почти сразу затем поскакал. Бойцы вскинули над головами шашки. Знаменщик, пригнувшись к седлу, охваченный, как языком огня, красным полотнищем знамени, и — как пику — устремивший вперед древко, взрезывал собой, точно клином, ледяной воздух, и следом, в распахнутые ворота простора, летел неудержимый эскадрон.

К тяжелому гулу прибавилось звонкое пение мерзлой земли — подковы пробивали снежный покров, и почва звенела, словно тысяча бубен. Конники грянули «ура». Эскадрон перешел на полный карьер. Снег крутым паром заклубился под копытами и каскадами ударил по сторонам.

С подавляющей быстротой передний этот вал нахлынул к тому месту, откуда еще минуту назад слышался марш музыкантов. В гу-

дении земли, в крике бойцов, в барабанном топоте сотен копыт музыка бесследно исчезла. Народ, в первый миг оглушенный низвергшимся обвалом лавины, вдруг ответил встречной волной криков, и все слилось в нераздельный громокипящий стон.

Кирилл едва успел выхватить взглядом из промчавшегося эскадрона какой-то восторженный бронзово-красный лик со сверкающим оскалом длинных зубов; какую-то пламенно-желтую папаху; какую-то закинутую морду вороной лошади, перекошенным ртом ожесточенно жевавшей удила; и потом — сверкание размахиваемых клинков; и вдруг — огромный черный сапог, бьющий шпорой по животу коня; и так же вдруг — припавшее к рыжей гриве бледное лицо юноши,— едва все это взгляд Кирилла выхватил из белокипенной клубящейся тучи, как уже эскадрон умелькнул далеко вправо, а слева налетел другой, с гиком и неистовым «ура», в топоте и храпе обезумевших коней.

Так рушился на Кирилла эскадрон за эскадроном, в перемешанных одеждах — в полушубках, в шинелях, в казацких поддевках и бурках, в рабочих стеганых куртках, в отвоеванной у белых английской форме, за плечами — винтовки, на головах — папахи да шапки, фуражки да треухи, под седлами — разномастные, разнопородные кони. И только клинки отточенных шашек зияли в воздухе одинаково горячим блеском да нет-нет одинаково дзинькали певучей русской сталью.

— Шестая! Пошла дивизия Шестая! — закричал над ухом Извекова его новый товарищ.

И Кирилл уже перевел глаза на знаменщика, пронзавшего острием древка встречный ветер, когда внезапно оторвался от последнего эскадрона Четвертой темный комок и закрутился в снежной пыли.

— Упал, упал! — раздались рядом с Кириллом возгласы.— Сомнут! Затопчут!

Свалившийся конник лежал на спине, шагах в десяти от края толпы, и чуть подальше била копытами воздух, стараясь повернуться с бока и вскочить на ноги, упавшая лошадь.

Кирилл вырвался из линии, в три прыжка очутился над бойцом и, схватив его за руку, начал тянуть по снегу. Но другая рука бойца была продета в темляк шашки, которая воткнулась в землю и точно не желала пускать от себя своего обладателя. Кирилл вырвал шашку из земли и снова потащил бойца. Он слышал, как пронесся мимо знаменщик и уже наваливался топот головного эскадрона Шестой. В этот миг подоспевший санитар перехватил вместе с ним тяжелую ношу, и вдвоем они вынесли ее за линию. Испуганная лошадь уже поднялась, к ней бросился линейный, рванул под уздцы и отбежал с ней в последнее мгновенье, когда эскад-

рон был тут как тут. Конь правофлангового ударил перебегавшую дорогу лошадь грудью в круп с такой силой, что она опять чуть не повалилась и не смяла собой людей.

Все это отняло несколько секунд, и так как очень торопились, то бойца, как только вытащили из предела опасности, бросили на снег.

От толчка он пришел в себя. Это был плотный мужичок в казачьей форме, какую носили в Конной «иногородние» с Дона и казаки червонных частей. На голове его торчмя вилась природная шапка русых кудрей, а то, что их покрывало, осталось на попрание эскадронам. Приподнявшись и мутным взором глянув на народ, он быстро нащупал эфес шашки (Кирилл успел вложить ее в ножны), как пружина вспрыгнул на ноги, запустил руки в кудри и провопил изо всей мочи:

— Машка! Где Машка, стерва?!

Тотчас разглядев за плечами людей свою кобылу, взволнованно мотавшую мордой с пегим пятном на храпе, он кинулся к ней, размашисто свистнул ее ребром ладони между глаз и, вцепившись в поводья, дергая их из стороны в сторону, закричал:

— Подвела! Язви тя в сердце! Позарился я на твою белогвардейскую стать, пострели тя зараза!

На него скоро перестали смотреть, потому что сотни и эскадроны продолжали и продолжали нестись со своими штандартами на пиках.

— Одиннадцатая! — с упоением крикнул ординарец, когда появились буйные всадники, как на подбор, до одного, в шишаках-буденовках. Азарт их карьера казался еще разительнее из-за однородности невиданной этой формы, еще отчаяннее был их напор, еще беспощаднее крик — они словно шли в смертельную атаку.

С момента, когда Кирилл бросился на помощь упавшему с лошадью кавалеристу, его праздничное возбуждение превратилось в острое чувство участника этого марша в карьер. Он как будто не смотрел на мелькание эскадронов, а сам летел на незримом взмыленном коне в гуще армии. Разница была разве в том, что любой из бойцов проносился перед народом только один раз в строю своего эскадрона, а Кирилл несся своим сердцем в каждом эскадроне и чуть не в каждом бойце. Ему было жарко, он горел и задыхался.

Весь марш прошел молниеносно быстро. Едва ли не две трети всего состава сабель Первой Конной пролетели перед своими вождями, принимавшими парад, в какую-нибудь четверть часа.

Народ немедленно сломал порядок и бросился к центру линии. Опять стала слышна музыка. Заколыхались знамена. В толпе задвигались в разные стороны отдельные всадники.

— Смотрите прямо,— сказал не отступавший от Кирилла спутник.— Конь белой масти. Вот группа верховых едет на нас. Видите?

Кириллу мешали толпившиеся перед глазами люди. Потом пронесли мимо стяг, за ним — другой.

— Направо, глядите направо! Скорей!

Кирилл увидел верховых, рысью отъезжавших в ту сторону, куда умчались дивизии. Он старался разглядеть всадников, но они ехали кучно и закрывали друг друга. Он услышал голоса в народе:

— Буденный, Буденный!

Ординарец потянул Кирилла в сторону.

— Санки видите? Сталин! В санках — Сталин.

На секунду Кирилл отчетливо увидел седока в шинели солдатского сукна, в меховой шапке, похожей на шлем. Опущенные наушники скрывали лицо.

Упряжка быстро исчезала на повороте, и только мелькнул ковровый задок легких русских санок, вроде тех, на которых приехал сюда Кирилл.

Он еще глядел вслед этой санной упряжке, в то время как ему опять что-то сказал ординарец. Когда Кирилл оглянулся, не было уже ни ординарца, ни его саней с лошадью — он вдруг еще легче бросил Кирилла в поле, чем взял его с собой на смотр.

Кирилл засмеялся и с удовольствием зашагал вместе с народом в город.

Как всегда в минуты душевного подъема, работа мысли была одновременно ощущением. Телесное чувство жизни сливалось с тем неустанным ходом картин и рассуждений, который занимал собою мозг. Степное однообразие и беспрепятственная мерность шага только упрочивали это единство дум и чувств. Идти становилось наслажденьем.

Кирилл не отбирал в мыслях отдельных черт поразившего переживания. Он нес в себе это переживание неизменным, во всей полноте.

Но за этот легкий путь в степи память несколько раз повторила последнее сохранившееся впечатление. Оно было как будто очень скромно: мелькнувшие на повороте ковровые санки, седок в них, его плечо в солдатской шинели, его наглухо закрытая сзади шапка.

Кирилл вошел в город, когда смеркалось. Он не знал, где придется заночевать. Но забота о ночлеге не смущала его. В нем появилось чувство военного, подсказывающее, что если он в армии, то все непременно устроится.

На перекрестке его окликнул громкий голос. Разбежавшуюся

лошадь осадили посередине дороги. На маленьких сапях сидели четверо командиров, друг у друга на коленях. Один из них соскочил. Кирилл узнал ординарца.

— Вы ступайте прямо к дому, где мы с вами были! — кричал он, подбегая.— Только вас не пустят в этот дом. А там подальше, еще через дом, есть флигелек... Да я вас сейчас догоню!

Он не добежал до Кирилла, повернулся назад и прыгнул на колени товарищу, когда уже дернула и пошла лошадь.

Вскоре Кирилл добрался до знакомого дома. Потемнело. Светились желтыми огнями узкие оконца. У палисада стояли на привязях оседланные кони. У дверей Кирилл заметил пику со штандартом — матерчатым, наверно алым, но в темноте почерневшим флажком. Бывалый кавалерист понял бы, что здесь — специальная сотня штаба. Двое караульных охраняли вход. Кругом, скрипя по снегу, двигались одинаковые в темноте фигуры.

Пройдя шагов полсотню, Кирилл увидел такие же огни в маленьком флигеле. Из дверей выходили, шумно разговаривая, красноармейцы. Он только что хотел к ним обратиться, как сзади подлетели сани.

— Вы уже здесь? Пошли закусывать! — воскликнул ординарец, выпрыгивая из саней и подхватывая Кирилла под руку.

В горнице толпились командиры. На круглом столе резали ситный, украинское сало в четыре пальца толщиной, говядину. В россыпь лежали соленые огурцы, развороченный вилок розоватой квашеной капусты. По рукам ходил стакан. Широкоплечий усач в распахнутой овчинной бекеше разливал из четверти густую, как варенье, чернильно-лиловую наливку.

— А ну, тесней, товарищи! Дайте-ка перехватить волжанину,— сказал ординарец.

Кириллу налили вина. Дохнув пахучей снеди, он почувствовал голод. Ему дали увесистый охотничий ножик. Он отрезал горбушку хлеба. Его спросили, из каких он мест. Кирилл выпил залпом полный стакан и, отдышавшись, ответил. Начался разговор.

После еды Кирилл обошел комнатки флигеля. Ординарец, перед тем как снова скрыться, сказал ему, что здесь можно переночевать, а поутру все разберется и станет на место. Но несколько кроватей и сплоченные кухонные лавки были уже заняты спящими людьми.

Кирилл вернулся в горницу, где у стола, точно на вокзале, все появлялись и исчезали новые едоки. В переднем углу он обнаружил кривоногое кресло с промятыми пружинами. Он расстегнул полушубок и уселся. Тепло и усталость быстро нагнали дремоту.

Закрыв глаза, Кирилл думал, что непременно, как только отдохнет, напишет письмо. Он выбирал то самое существенное из

своих мыслей, что надо было лучше запомнить и для этого записать, чтобы новые переживания не оттеснили первых впечатлений. Сначала он писал в уме одной Аночке. Потом прибавилось письмо к матери. Он несколько раз начинал с того, что ему сейчас очень хорошо и что он даже не может объяснить какими-нибудь словами — почему так хорошо. Он просто хотел, чтобы ему поверили без всяких слов, как ему хорошо. Но он все-таки искал объяснения — почему же ему хорошо? И он думал написать, как оглушил его и унес с собою гул земли, раздавшийся из-под копыт эскадронов в степи. Что этот гул слышен на весь мир. Что это — шаг истории. И что ему, Кириллу Извекову, так хорошо сейчас, потому что он к удару громового этого шага присоединил свой маленький, но верный шаг. Сказав себе это слово — шаг истории,— Кирилл понял, что пишет не Аночке и не матери, а пишет Рагозину. Все три письма тут же слились в его мыслях в одно. Но он с усилием, которым человек борет сон, отделил от письма всем троим письмо Аночке. И тогда он решил, что напомнит Аночке давнишний разговор с ней, когда они впервые встретились у матери. И он ясно-ясно увидел эту встречу, когда мать пригладила на голове Аночки торчащий вихор и улыбнулась ей. Кирилл напомнит в письме Аночке свой разговор с ней об искусстве, о том, что он любит искусство. И он напишет, что ему хорошо, потому что только здесь, где он сейчас находится, с полной силой звучит для него поэтическое содержание земли, только здесь и в эту минуту — нигде больше. Что-то туманное начало затем являться его представлениям, и ему все казалось, что он глубоко и плодотворно думает, и все пишет письмо, и только одного не мог он подумать: что это уже наступил крепкий миротворный сон.

Кирилл очнулся, наверно, от тишины. В горнице за столом сидел в папахе боец и мерно жевал сало. Другой боец спал на полу, положив голову на предплечье далеко протянутой вперед руки. Лампа потрескивала, догорая.

Застегнувшись, Кирилл вышел на улицу. Ветер улегся, мороз сильно набавил, очищенное небо было светло — луна, на второй четверти, забралась высоко. Снег трепетал в ночном блеске, и улица, словно убегая кверху, звала идти по белой своей целине.

Два-три человека, выйдя на волю, так же как Кирилл, неподвижно залюбовались зимней ночью. Безмолвие было почти совершенным, лишь изредка раздавался где-нибудь спросонок бурный храп коня.

Красноармеец выскочил из дома, который охранялся караулом, и побежал. Снег пел под его валенками хрустящую плясовую. Скрывшись во флигеле, красноармеец через минуту опять показался на улице.

— Эй, товарищи! — голосисто позвал он.— Нет издесь с вами такого Извекова?

Кирилл откликнулся.

— Идите со мной, вас требовают!

Он провел Кирилла мимо караульных.

В той большой комнате, где Кирилл пробыл дневной час с ординарцем, было людно. Командиры, комиссары стояли у стен, сидели на подоконниках и вокруг стола. Кирилл остановился в дверях. Несколько разнообразных ламп многотонно освещали всю картину. Бросалась в глаза большая карта юга России на стене, позади стола. Флажки на карте и зримо нанесенные красные, синие скобки, овалы, стрелы показывали, чему она была посвящена. Стол украшался самоваром и такой же простой народной снедью, какую Кирилл застал по соседству, во флигеле. Вино уже не просвечивало в разноцветных бутылках. Сборная посуда была перепутана по краям стола. Ужин, как видно, кончился.

У окон и стен вполголоса разговаривали, а те, кто обступил стол, вслушивались в общую, тоже негромкую беседу маленькой группы, рассмотреть которую Кириллу мешала лампа. Было накурено, ламповые стекла окружались голубыми мячами дыма.

Кирилл продвинулся от двери, чтобы разглядеть беседующих за столом. В это время ординарец вдруг оказался рядом с ним и достаточно слышно, но почему-то над самым ухом сказал:

— Пошли представляться.

Едва подойдя к углу стола, он одернул Кирилла за рукав и проговорил, обращаясь к спине военного, накрест перетянутой портупеями:

— Товарищ Ворошилов, по вашему приказанию — тот саратовец, о котором я вам докладывал.

Ворошилов повернулся, быстро оглядел Извекова, сказал:

— Здравствуйте, товарищ комиссар.

— Я, товарищ Ворошилов, не комиссар,— ответил Кирилл.

— Как не комиссар? А мне про вас такого насказали, что хоть сейчас вам бригаду давай!

Кирилл промолчал. Отвечая на приветствие, он энергично сдвинул вместе подошвы и забыл при этом, что на ногах — валенки: получилось что-то развалистое, и он немножко смешался.

— Ну, а в седле-то вы когда-нибудь сидели? — спросил Ворошилов.

— Сидел.

— И ничего? Держались?

— Держался.

Ворошилов улыбнулся, слегка кивнул.

— Ну, пойдемте.

Они подошли к той группе за столом, где велась беседа. Тут плотно друг к другу жались командиры, и кто-то неторопливо говорил. Ворошилов развел рукой кольцо стоявших. Кирилл продвинулся за ним.

В центре кружка сидели Сталин и Буденный. Рассказчик чуть нагнулся к ним, опираясь локтями в колени, и держал речь без всякой жестикуляции, с расстановкой, видимо привыкнув, чтобы его слушали.

Сталин коротко и пристально взглядывал на него, пропуская папиросный дымок под темными усами.

— Сейчас же после Воронежа,— говорил рассказчик,— посылаю я по пятам белых Мироненку. Он, знаете, из бывших унтер-офицеров. Донбасский шахтер. Даю ему приказание разведать со своей бригадой наступлением — в каких деревнях белые стали, когда, в каком составе, ну и все прочее. По исполнении спешно доложить. Да. Жду час, другой, третий. Полночь. Ничего нет. Наконец, глухой ночью, влетает с пакетом вестовой. Вскрываю пакет, смотрю — всего две строчки: «Противник бежит в панике в направлении города Ростова». А до Ростова пятьсот верст!

Сталин рассмеялся. Закуривая от одной папиросы другую, он сказал весело:

— Когда спишь и видишь Ростов, тут уж не до тактической разведки!

Несколько голосов живо подхватили этот разговор. Один сказал:

— Устав-то все труднее соблюдать. Недавно назначаю положенную дневку. Вдруг мне докладывают: бойцы обижаются — на дневку уходит время, а надо наступать!

Другой заметил:

— На родину торопятся.

— На родину? — словно мимоходом спросил Сталин.

— В моей части больше донцы да кубанцы. Скорее бы на Дон, на Кубань.

Сталин медленно, с лукавой усмешкой осмотрел собеседников.

— Я в общем за соблюдение устава. Но, откровенно говоря, я против того, чтобы дневки чересчур затягивались. Мы, товарищи, кажется, немного засиделись?

Он поднялся. Все, кто сидел, принялись быстро вставать, вынимая из карманов часы. Сталин еще раз, уже серьезно, обвел взглядом окружавшие его лица и проговорил по-прежнему тихим голосом:

— Повторяю: нам надо поспешить. Еще раз, товарищи комиссары и командиры, желаю вам успеха. Успеха, который будет полным уничтожением деникинских армий. Нынешний смотр бу-

денновской конницы показал, что мы можем в этом не сомневаться.

Сталин пожал руку Буденному и повернулся, чтобы идти. Ворошилов шагнул к нему.

— Я вам хочу, товарищ Сталин, представить саратовского товарища. Он прибыл с отрядом конников для наших новых формирований.

Сталин поздоровался с Кириллом и вдруг начал задавать ему вопрос за вопросом: велик ли отряд, каков в нем народ, хорошо ли обучен, сколько дней был в дороге, где выгрузился, и затем — как Кирилла по фамилии, служил ли в царской армии, где работал, каково настроение в Саратове.

— Продолжается набор добровольцев в кавалерию, люди идут с охотой,— ответил Кирилл, припоминая митинг в Военном городке.

— Это хорошо. Волжане народ горячий, а в коннице горячих ценят,— сказал Сталин.— Я полагаю, если саратовцы помогут разгромить Деникина в Донбассе, они тем самым наверняка устранят угрозу своей Волге.

Он взглянул на Ворошилова.

— Ну, что же, дело за назначением товарища в Первую Конную.

— Да я уж думаю для него о бригаде, — сказал Ворошилов.

— Не маловато? По виду человек молодой, но, как мне кажется, бывалый. К тому же волжане себе цену знают.

Сталин улыбнулся Кириллу и протянул руку.

Все направились к выходу. Громче, полнозвучнее перемешались голоса. Старые половицы сеней заскрипели под тяжелой поступью плотной массы людей.

Ворошилов, оглянувшись и рассмотрев под мерклой настенной лампой лицо Кирилла, сказал:

— Так ты, значит, поутру являйся ко мне! Да пораньше!

Неожиданное, простое это «ты», вдруг изумив, напомнило Кириллу необычайное чувство, когда в юности, на саратовских горах, впервые в жизни старик-рабочий сказал ему ласково — «товарищ» и когда он побежал по горам, чтобы усмирить свое волненье.

С клубом тепла, который катился через отворенные двери и таял на морозе, Кирилл вышел из дома. По прямой снежной улице, как будто поднимавшейся кверху, он двинулся в путь со своими новыми товарищами, на солдатский ночлег, чтобы, отдохнувши, встретить будущее утро.

1945—1948

ПРИМЕЧАНИЯ

Трилогия — «Первые радости», «Необыкновенное лето», «Костер» (этот роман остался незаконченным, опубликованы первая его книга и некоторые главы второй) — занимает особое место в творчестве Конст. Федина...

Заставляя героев романического цикла, основные из которых проходят через все повествование, действовать и мыслить в поворотные моменты более чем тридцатилетнего отрезка русской истории, писатель вглядывался вместе с тем и в разные периоды собственной биографии, выводил уроки из долгого по времени жизненного и творческого развития. Воистину читателю был предложен как бы цикл художественных итогов.

Работа над трилогией, если вести счет от возникновения замысла, продолжалась более сорока лет. После смерти К. А. Федина (июль 1977 г.) в его архивах и на рабочем столе осталось большое количество набросков, эпизодов и сцен второй книги «Костра», которые должны были открыть для нас окончательно взаимосвязь, соотнесенность и цельность многотомного ансамбля.

Художественный цикл Федина построен своеобразно. Каждый из романов — относительно самостоятельное произведение со своим сюжетом, особенным жанровым рисунком и складом композиции, отличающимся от других. Каждый из них можно читать и отдельно, независимо от предыдущего и последующего. И вместе с тем романический цикл явно распадается как бы на две «серии», разграниченных между собой и более значительным промежутком по времени действия (двадцать два года!), и различием большинства персонажей.

И если вторая «серия» художественного цикла (роман о начальном периоде Великой Отечественной войны «Костер», в двух книгах) осталась незавершенной, то историко-революционная дилогия Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето», опубликованная в середине и конце 40-х годов, сразу привлекла к себе читателя и была удостоена Государственной премии первой степени.

Широкая популярность в нашей стране, переводы на многочисленные языки мира, экранизации и театральные инсценировки на протяжении трех

десятилетий уже сами по себе красноречиво свидетельствуют о независимой значимости, какую обрели романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето» в читательском восприятии. (Кстати, по завершении тогдашней дилогии какое-то время Федин намеревался ограничить на ней свой замысел.) И, однако, зная все это, при чтении романов теперь уже нельзя полностью отвлечься от художественного контекста, который продолжением цикла придал им автор.

Не только формальной общностью судьбы основных героев, но, что важнее, и смысловым развитием, и тональностью своей романы историко-революционной дилогии Федина составляют часть одного обширного архитектурного ансамбля, который строил и не достроил автор.

Подобно тому, как первый катящийся камень влечет за собой горный обвал, неторопливый, более других традиционный по жанру «семейно-бытовой» роман о 1910 годе «Первые радости» подготовляет напряженную сумятицу исторических катаклизмов «Необыкновенного лета», а в событиях 1941 года, обрисованных в «Костре», порой неожиданно и странно прорывается как будто бы скрыто и мирно дремавшая до того энергия людских страстей и побуждений 1919 года... Когда Кирилл Извеков в «Костре», получив известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз, извлекает из-под спуда старую комиссарскую форму времен гражданской войны, такое переодевание полно для него смысла. Оно отвечает в какой-то мере глубокому ходу раздумий Кирилла (а также романиста, добавим мы), для которого исход схватки с фашизмом связывается в первую очередь с судьбой революции. «Дело *сего* дня — судьба революции» — вот то силовое поле, преемственность проблематики, которые сплачивают и объединяют в целое три довольно непохожих произведения Федина — и книгу о заре революционного подъема «Первые радости», и эпический роман о переломном годе гражданской войны «Необыкновенное лето», и последнее углубленно психологическое полотно о начале решающего противоборства с фашизмом «Костер».

В таком преломлении получают развитие почти все основные темы, которые волновали Федина на протяжении писательского пути и которые можно назвать сквозными в его творчестве. Попытаемся перечислить их тут: это — «судьбы людей в истории явлений», как выразился однажды сам автор, движение истории и частная жизнь человека, соотношение интересов отдельной личности и общества, гуманизм истинный и мнимый, нравственные принципы старого и нового мира, рождение характера человека социалистической эпохи, судьбы людей искусства в революции.

Примечательна история художественного замысла трилогии.

6 мая 1938 года в газете «Красная Карелия», наряду с заметками Вс. Иванова и А. Макаренко, под общей рубрикой «Над чем работают советские писатели», было опубликовано выступление К. Федина, озаглавленное «Роман нравов». Это первое печатное свидетельство о возникновении замысла будущей трилогии.

«Главная моя работа в этом году,— писал Федин,— новый роман, замысел которого возник сравнительно давно.

Книга будет состоять из трех частей. Действие первой относится к 1910 году, второй — к 1919-му. События, изображаемые в этих частях, протекают в богатом провинциальном городе. Я даю большое число действующих лиц, разнообразные круги общества — начинающего подпольную жизнь юношу-революционера, рабочего депо, грузчиков, торговца, актеров «губернского» театра. Театр вообще должен занимать в романе существенно важное место потому, что коллизия «искусство и жизнь» является основой замысла.

В 1910 году протекает ранняя юность героя романа — революционера и детство героини — будущей актрисы. Здесь завязываются первоначальные отношения главных фигур романа — на фоне торгового русского города с его уродствами противоречий нелепого богатства и отчаянной нищеты. Театр с вечным своим стремлением «отразить» действительность будет показан здесь в образе российской провинциальной сцены и ее актерства.

Героический 1919 год будет дан в романе как картины гражданской войны. Город обороняется от белых полчищ... Баталии перемежаются с театральными представлениями в перерывах между боями. Самое жаркое жизнебиение сердца сменяется отважной смертью во имя победы жизни. Героиня романа начинает свою большую судьбу в битвах против контрреволюции, в беззаветной службе Красной Армии и в трепетном первом волнении сердца на подмостках фронтового театра... Наконец, третья часть романа. Ее действие относится к 1934 году, и в ней я хочу дать синтез больших человеческих судеб нашего времени...

Далеко позади осталась гражданская война, шествует второе пятилетие побед социализма. Верные ему люди живут в небывалых условиях плодотворного освобожденного труда... Нити, переплетенные когда-то в провинции, связаны временем и в Ленинграде.

Путь замечательной актрисы по-новому пересекается с жизнью выдающегося большевика, со старым актером и былым провинциальным драматургом...

Мне хочется наполнить этот роман большим движением, связать его четким сюжетом... Это должен быть роман нравов, в котором реалистические картины будут сочетаться с романтикой героизма».

Сопоставляя эти авторские намерения с произведениями, опубликованными много позже, легко обнаружить прежде всего устойчивость ряда образных мотивов первоначального замысла. Эта устойчивость настолько велика, что по описаниям в давней газетной заметке мы без труда узна́ем романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето», с их действием соответственно в 1910 и 1919 годах в губернском центре, почти с той же расстановкой основных действующих лиц, схемой судьбы главной героини, узна́ем персонажей, которые получили теперь имена — Аночка Парабукина, Кирилл Извеков, Цветухин, Пастухов, Рагозин, Мешков... Даже предполагавшаяся заклю-

чительная часть, действие которой должно было происходить через пятнадцать лет не только в провинциальном городе, но и в Ленинграде, так сказать, далекий пред-«Костер», как и нынешний роман «Костер», тоже должна была дать «синтез... человеческих судеб», показать, как «путь замечательной актрисы по-новому пересекается с жизнью выдающегося большевика, со старым актером и былым провинциальным драматургом»...

Вместе с тем ранняя авторская «программа» будущей книги хорошо оттеняет многие последующие отклонения от замысла и принципиальные перемены в его основе.

На свет появился не «роман нравов» в трех частях, а фундаментальная нравственно-историческая эпопея. Так, думается, вернее всего определить ее жанр. Значительная подверженность замысла романтической красочности, фабульной эффектности («Баталии перемежаются с театральными представлениями...» и т. п.) явно отступила в трилогии перед строгим и неторопливым реалистическим письмом. Коллизия «искусство и жизнь» стала лишь одним из мотивов широкого изображения людских судеб и событий.

Что же вызвало эти далеко идущие перемены?

Авторское свидетельство об этом содержится в известной статье «По поводу дилогии» (1949), где подробно переданы сами обстоятельства возникновения и творческая история замысла романов «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Зимой 1936 года К. Федин ездил в Минск, и виды совершенно незнакомого большого заснеженного города (в котором существовали «как бы два города в одном: кварталы новых громадных зданий... перемежались с деревянными домиками старинных улиц») произвели на писателя сильное впечатление. «Тогда, на этих улицах, я очень сильно ощутил, как наша новая действительность проникает в старую ткань прошлого... Я сделал тогда записи к будущему большому роману,— рассказывает писатель,— который представлялся мне романом об искусстве, скорее всего — о театральном искусстве, вероятно — о женщине-актрисе, о ее развитии с детских лет до славы и признания...

Но пришла война. Роман был отодвинут. Неслыханные события пересмотрены сознанием, обогащенным великим историческим опытом...»

Таким образом, решающее значение в пересмотре замысла будущей трилогии имел опыт войны народов против фашизма. Эта война поставила в повестку дня самые коренные и первостепенные вопросы — судьбы нации, государства, человечества. Пережив то, что с собой принесла и что показала Великая Отечественная война, нельзя уже было мыслить и писать по-прежнему. Именно в переломном 1943 году Федин «увидел весь роман иными глазами». Именно тогда предполагавшийся «роман нравов» из жизни людей искусства начал превращаться в романический цикл с повествованием, близким к эпическому, при котором многие сюжетные «узлы» воссоздают важнейшие коллизии эпохи, а повороты в судьбах персонажей нередко определяются поворотами в судьбе народной.

Отличия жанровых устремлений в трилогии от того, что обычно называют «роман нравов», писатель подчеркивал неоднократно. В связи с завершающей ее книгой (где жизненные впечатления периода войны объективируются уже непосредственно) он писал в «Автобиографии» (1957): «Действие нового романа, названного мной «Костер», развивается во вторую половину 1941 года... Постоянное мое стремление найти образ времени и включить время в повествование на равных и даже предпочтительных правах с героями повести — это стремление выступает в моем нынешнем замысле настойчивее, чем раньше. Другими словами, я смотрю на свою трилогию как на произведение историческое».

Историзм взгляда предполагает способность художника постигать «связь времен», рассматривать настоящее как результат прошедшего и намек на будущее — по выражению Белинского. Очевидно, что произведение, претендующее на подлинный историзм, должно не просто обращаться к историческому материалу, а содержать художественный анализ опыта прошлого именно с точки зрения «связи эпох», показывая, как сопрягаются человеческие судьбы с ходом времени. Этим и отличается реалистическая проза от той ложноисторической беллетристики, которая берет на прокат из музейных арсеналов костюмы и имена действующих лиц, пользуясь ими лишь для литературного маскарада.

В трилогии Федина перипетии развития и сама участь персонажей поставлены в прямую и тесную зависимость от хода исторических событий, от движений и перемен в судьбе народной. А эпический разворот этих событий широк. Жизнь героев развертывается на крутых гребнях общественных переломов. 1910-й год, конец столыпинской реакции — «Первые радости»... 1919-й, переломный год гражданской войны — «Необыкновенное лето»... «Костер» — первые шесть месяцев Великой Отечественной войны, июнь 1941-го, утро, разбуженное взрывами фашистских бомб...

Но историческое повествование в трилогии Федина отличается тем, что в нем действуют по преимуществу или даже почти исключительно вымышленные герои. Это историческая проза без реальных исторических лиц. Автор стремится воссоздать «образ времени», духовную и психологическую историю эпохи, его занимает воздействие переломных событий на определенные общественные слои, типизированные в фигурах придуманных персонажей. Они, а не судьбы каких-либо реальных деятелей эпохи оказываются в центре авторского изображения. Поэтому обозначение — *нравственно-историческая эпопея* — и представляется в данном случае более всего подходящим.

В романическом цикле Федина подчеркнута преемственность литературной традиции, которую можно назвать в широком смысле «толстовской»,— и, пожалуй, в первую очередь ее вдохновляют художественные открытия автора «Войны и мира» в жанре социально-философской исторической эпопеи. К 40-м годам, когда создавались романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето», эта традиция в советской литературе имела значи-

тельные достижения. Были написаны уже такие произведения, как «Тихий Дон» Шолохова, «Разгром» А. Фадеева, «Хождение по мукам» А. Толстого.

Вместе с близкой по ряду творческих принципов трилогией А. Толстого «Хождение по мукам», также обращенной по преимуществу к теме — интеллигенция и революция,— романический цикл Федина оказал заметное воздействие на последующее литературное развитие, способствуя распространению и утверждению жанра нравственно-исторической эпопеи в многонациональной советской прозе последующих десятилетий.

Обстановкой действия и многими деталями исторического фона событий романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето» связаны с родным для Федина Саратовом и близлежащей округой Поволжья. «Образ времени» при большинстве вымышленных персонажей возникает, среди прочего, за счет точности исторических подробностей.

Документальный материал, «факты», как его обозначал Федин, занимает относительно скромное место в обоих произведениях, но зато романист тем более добивается характерности и точности при отборе и воплощении реалий места и времени в ткань произведений. И эта точность такова, что хороший знаток фактов П. Бугаенко в недавней книге «Константин Федин и Саратовская земля» (Приволжское книжное издательство, 1977) называет романы Федина «как бы своеобразным путеводителем по Саратову» той эпохи (с. 35).

«Первые два романа трилогии,— отмечает автор,— плотно прикреплены к Саратову. Множеством точно воспроизводимых признаков и определенных названий писатель живописует конкретно существовавшие места... Вот сад «Липки» (ныне сад имени Горького), консерватория, старая гостиница..., Радищевский музей, военный городок, корпуса университета, Затон, Зеленый остров... Удивительно точны их описания... Но и в тех случаях, когда адреса точно не названы Фединым, еще и сейчас на саратовских улицах можно найти дома, очень напоминающие по описаниям и месту расположения и «мешковский», и «драгомиловский», и следы старых лабазов и ночлежек» (с. 31, 33).

Можно согласиться с П. Бугаенко, что выбор Саратова местом действия романов не случаен: «Не просто автобиографические соображения обусловили этот выбор. Здесь голос сердца совпал с требованиями разума... И для изображения глухой провинции переломного 1910 года Саратов оказался подходящим и типичным губернским городом, что касается «необыкновенного лета» 1919-го, то роль Саратова и Поволжья в переломе хода гражданской войны была весьма велика» (с. 35, 30). О военно-стратегическом смысле тогдашних событий у Саратова, как он изображен в романе «Необыкновенное лето», П. Бугаенко пишет: «Если в первом романе Саратов — один из многих губернских городов, то во втором — это город, в округе которого развертывались решающие события гражданской войны. В ходе военных событий 1919 года определилось стратегическое значение Саратова как «ворот на Москву»... Белые армии рвались к Саратову. Саратов «мешал» соединению

сил уральского и донского казачества... Рабочие Саратова и их собратья из Царицына должны были сорвать этот весьма опасный для революции план...» (с. 34).

Сцена застольного спора об искусстве после посещения ночлежки (главы 5 и 7 «Первых радостей») имеет важное значение не только для начинающегося выявления общественно-эстетических позиций главных ее участников — драматурга Пастухова и актера Цветухина. Определенным образом отразились в ней и некоторые автобиографические моменты творческого пути самого Федина.

Оба героя в этой сцене выступают подчас во всеоружии эстетических аргументов. Однако роман, конечно, не теоретический трактат,— хотя тема искусства одна из важнейших в трилогии. Следя за беспорядочным спором, за словесным турниром двух незаурядных художников, улавливаешь чувством, а позже можешь и точно рассудить по сочетанию изобразительных средств и поворотам событий, каким взглядам и позициям героев писатель отдает предпочтение, а какие развенчивает или отвергает. Пастухову «достается» за многое, и прежде всего — за общественный нейтрализм, нотки которого читатель начинает улавливать уже в этом ключевом для развития романа застольном споре. Тут Федину-писателю, как выявится в дальнейшем, безусловно, симпатичней гражданский темперамент Цветухина, его «жар семинариста», его старания поставить искусство на службу жизни. Ведь в конце концов воистину по всем статьям окажется, что не зря «Художественный театр на Хитров рынок ездил». И, однако, при всем том устами Пастухова высказаны и некоторые заветные убеждения Федина-художника.

«Бог искусства — воображение» и «Фантазия — плод наблюдений» — это не только два как будто бы взаимоисключающих, а на самом деле взаимодополняющих афоризма Пастухова, но и две основы понимания проблем самим Фединым.

Согласие с подобными суждениями Пастухова романист обозначает, помимо контекста произведения, и тем, что придает им подчас как бы автобиографическую окраску, запечатлевая в них нелегко давшиеся итоги собственных исканий, и даже прямо используя отдельные формулировки из своей переписки с А. М. Горьким тех лет, когда молодой Федин много размышлял о «специфическом» в искусстве, о природе художественной фантазии и т. п.

Особенно показательна в этом отношении заключительная реплика Пастухова в споре: «Пыль впечатлений слежалась в камень. Художнику кажется, что он волен высечь из камня то, что хочет. Он высекает только жизнь. Фантазия — это плод наблюдений». Достаточно сравнить эти слова Пастухова со следующим местом из «Автобиографии» (1957) К. Федина: «Я думал, что между отражением в литературе действительности и «чистым вымыслом», фантазией писателя существует коллизия. На самом деле такой коллизии в искусстве реалиста нет. Горький очень точно писал мне в одном из писем, что черты героя, встреченные в тысячах людей,— «пыль впечат-

лений», слежавшаяся в камень, превращается художником в то, что я называл «чистым вымыслом».

...Умозрительно понять это,— заключает Федин,— может быть, совсем несложно. Но ухватить чувственно, писательским опытом — как в произведении сделать органичным образ, возникающий из наблюдений реальной жизни,— это было трудно».

Вылепливая фигуру одного из главных персонажей первого романа трилогии, Федин как бы провожал взглядом эстетические противоречия и блуждания своей писательской молодости.

В 29-й главе романа «Первые радости» широко раскрывается «тема» Льва Толстого, чрезвычайно важная для трилогии Федина. Так или иначе она проходит через все романы. Переживания Пастухова, связанные с последним подвигом Льва Толстого — его уходом из Ясной Поляны,— и изображенное по контрасту с величественной смертью писателя суетливое, неблаговидное поведение Пастухова в деле о подпольной типографии — лишь один из художественных способов воплощения этой темы. Можно назвать и другие: например, многочисленные споры и размышления героев «Первых радостей» и «Необыкновенного лета» о месте искусства и художника в жизни, при которых порой невольно как бы встает образ Толстого; или, скажем, посещение Пастуховым яснополянской усадьбы и могилы Льва Толстого в «Костре».

Известно, что в прозе и драматургии существуют косвенные пути создания персонажа, когда он сам ни разу не появляется на «сцене». Лев Толстой в трилогии Федина — именно такой персонаж, материализованный многими и разными средствами художественной изобразительности.

Вот он глядит на Пастухова с газетных страниц, крикливо сообщающих последнюю сенсацию об «уходе» Л. Толстого — «большеголовый старик... с пронзающе-светлым взглядом из-под бровей и в раскосмаченных редких прядях волос на темени. Старик думал и слегка сердился. Удивительны были морщины взлетающего над бровями лба,— словно по большому полю с трудом протянул кто-то борозду за бороздой. Седина была чистой, как пена моря, и в пене моря спокойно светилось лицо земли — Человек».

В воображении Пастухова не раз (особенно на страницах «Костра») осязаемо возникает образ Толстого. То — за рабочим столом,— даже слышалось, как вспискнуло перо, легко и порывисто двигавшееся по листу бумаги, то на лесной дороге к Ясной Поляне. В важные и поворотные для судьбы Пастухова минуты «тень» великого старца является ему.

Образ Льва Толстого в романах трилогии Федина, где столь большое место занимает тема искусства,— это одновременно идеал и антипод драматурга Пастухова, представление о высшем художественном авторитете и о нравственных нормах поведения писателя. «Тень» Льва Толстого в трилогии — это неподкупная, мятежная совесть русской литературы, неколебимо убежденная в своем высоком народном предназначении, та самая совесть, с которой часто не в ладах Александр Владимирович Пастухов, кото-

рую ему временами удается обхитрить, усыпить, но окончательно отделаться от которой он не может.

Пастухов во многом — приспособленец, отступник от великой гражданской традиции русской классики. Но талант, зоркость художника, запасы внутренней честности, сознание единственной истинности этих подвижнических традиций, к которым он и тянется и которых себялюбиво страшится, заставляют Пастухова в нерешительности топтаться где-то неподалеку от последней роковой черты. Одной из кульминаций такого отступничества в романе «Необыкновенное лето» является участие Пастухова в верноподданнической депутации к белогвардейскому генералу Мамонтову (гл. 29). И примечательно, что в первом же разговоре после выхода из тюрьмы Пастухов по-новому задумывается о понимании исторических закономерностей в романе Л. Толстого «Война и мир». Толстой — кладезь мудрости даже тогда, когда Пастухов не разделяет некоторых представлений и взглядов великого художника и мыслителя...

В беседе о литературном труде «Распахнутые окна» (1965) К. А. Федин подробно остановился на жизненных истоках «темы» Льва Толстого в романах трилогии, рассказал об автобиографических и художественных мотивах, повлекших за собой возникновение этого образа, начиная с романа «Первые радости» (о собственных переживаниях в молодости, связанных с «уходом» и смертью писателя, о позднейших посещениях Ясной Поляны, о своем писательском отношении к Толстому в разные годы жизни и т. д.).

Об автобиографических истоках этого персонажа, который находится все время как бы «за кулисами» действия, но является одним из важных действующих лиц трилогии, К. Федин говорил:

«В 1910 году я был восемнадцатилетним выпускником последнего класса комерческого училища в Козлове: «Уход» и смерть Льва Толстого я глубоко пережил. Козлов (ныне Мичуринск) находится на той же дороге, что и Астапово. События в Астапове всколыхнули самые разные слои русского общества, народа. Гул земли, сопутствовавший последнему жизненному шагу и смерти Льва Толстого, особенно чувствовался в нашем городишке из-за соседства с Астаповом. Смерть Льва Толстого была для меня болью.

Художнически я принял и понял Льва Толстого,— продолжает К. Федин,— где-то к сорока годам, когда он стал для меня наивысшим авторитетом, слегка потеснив собой Достоевского — кумира моей молодости. Несколько позднее я стал посещать Ясную Поляну...

Но «тема» Льва Толстого в моих романах вызвана не только этими авторскими впечатлениями и литературными пристрастиями. Замысел в целом определился временем действия «Первых радостей» — 1910 годом. А можно ли было, изображая тогдашнюю русскую интеллигенцию, жизнь людей икусства, обойти такое событие этого года, как смерть Льва Толстого? Сами картины, понятно, были подготовлены во многом давними воспоминаниями. В романе «Первые радости» тональность событий, связанных со смертью Льва Толстого,— это воспоминательная тональность, а эпизоды

вымышлены, хотя и в разной степени. Газетный корреспондент действительно поторопился передать сообщение о смерти Толстого — это исторический факт, когда-то тоже пережитый мной...

По моему представлению, исторически существенные мотивы вынесли опять на важнейшее место «тему» Льва Толстого и в «Костре».

К. Федин далее подробно перечислил и охарактеризовал их. Помимо того, что «тему» ведет за собой на новом этапе характер Пастухова, на важное место в романе «Костер» выносят ее и другие мотивы. Прежде всего — это элементы переклички двух Отечественных войн, что возникла в самой жизни с момента немецко-фашистского вторжения и в которой особое место занимает фигура создателя национально-исторической эпопеи «Война и мир».

Далее, что также немаловажно для «Костра» как произведения исторического жанра,— это роль тульской обороны в событиях первого военного полугодия, благодаря чему был сорван фашистский план захвата столицы, близость к Туле Ясной Поляны, осквернение оккупантами могилы Толстого и т. д. Все это, вместе взятое, открыло писателю новые грани в продолжении «темы» Льва Толстого в романе, которым замыкается сюжет «Первых радостей» и «Необыкновенного лета».

Стр. 508. *Целый клуб,— сказал он...*— Эпическому характеру повествования в романе «Необыкновенное лето» отвечает частое присутствие и особое значение в нем многогеройных сцен. Развивая творческий опыт предыдущих своих произведений, в частности романа «Братья», восходящий в немалой степени к традиции Достоевского, К. Федин с большой психологической проницательностью и мастерством сюжетного построения создает в «Необыкновенном лете» сцены, где в равной мере интенсивно живут, мыслят, чувствуют и действуют пять, шесть и более персонажей.

Показателен в этом отношении «клуб», возникающий в кабинете Рагозина, когда он волей обстоятельств только что вступил на должность городского комиссара финансов. В названной сцене круто завязываются и определяются дальнейшие отношения почти всех основных героев романа. У Рагозина встречаются пришедшие к нему по разным делам Цветухин с Аночкой Парабукиной и Пастуховым, Мешков и, наконец, Извеков. Действуют сразу шесть основных персонажей, и ни один не находится на роли статиста. Для каждого из них происходящие в эти минуты события являются по-своему важными. Психологические реакции любого одинаково существенны для автора, поэтому в сцене нет какого-либо избранного персонажа и единого центра восприятия, а фокус изображения по мере развития событий перемещается с одного действующего лица на другое.

Сцена держится на смысловом стержне, на проблеме, вокруг которой сталкиваются герои. Существо ее в одной из бесед К. Федин пояснял так: «Денег у молодой Советской власти меньше, чем мало, и главная задача Рагозина — без крайности никому ничего не давать. Вокруг такой позиции и сталкиваются эти люди, иные из которых к тому же не виделись друг

с другом много лет, завязывается борьба, всплывают старые симпатии и антипатии... новые узнавания, зреют поступки...

Цветухин разражается пылкой, может быть, несколько выспренней, нарядной речью в пользу революционного театра, а Пастухов разумными, холодными фразами все время опускает его на грешную землю. Вчерашняя гимназистка Аночка, ученица Цветухина, волнуется и негодует. Рагозин мало что понимает в словах актера и в расхождениях его с Пастуховым, но обоих их мерит своим испытанным принципом — что на пользу революции, то хорошо и правильно, что во вред — плохо...» («Творить — значит постигать развитие действительности...» — «Литературная газета», 1972, 19 июля). За сложными спорами, различием чувствований и образа мышления столь непохожих людей обозначается главное — их отношение к революции, к происходящему в стране, к народу. На выявление этого эпического пафоса произведения и направлено часто мастерство Федина-психолога при создании многогеройных сцен.

Стр. 535. *Если взглянуть на карту старой России...*— Особенностью построения романа «Необыкновенное лето» по сравнению с другими книгами трилогии является наличие в нем хроникально-публицистических отступлений и «военных картин», широко воссоздающих реальную историческую обстановку борьбы за Советскую власть летом 1919 года.

Стремление писателя обозначить общий поток событий, в котором действуют персонажи, представить панораму народной жизни естественно для такого многопланового и многогеройного произведения, как «Необыкновенное лето», отвечает эпическому его замыслу. Наибольшей впечатляющей силы и эмоционального воздействия автор достигает там, где из картин исторического фона событий возникает затем живое движение сюжета. Многие трудности художественных задач такого рода успешно разрешены в романе. Достаточно назвать хотя бы картины, предшествующие той же сцене приема генералом Мамонтовым верноподданнической депутации, в которой участвует Пастухов (гл. 29). Или, например,— описание восстания чапанов, на борьбу с которым выступает отряд Извекова (гл. 25).

В таких эпизодах достигается органический сплав передачи документальных фактов и лепки характеров, изображения хроники и лиц, фона и действия. Широко используются при этом и автобиографические переживания 1919 года, сходные по атмосфере с изображаемыми событиями. «...1919 год застал меня в Сызрани,— отмечал Федин на встрече в Саратовском университете 9 марта 1949 года,— которая была близка по атмосфере к событиям в Саратове... Кроме того, я служил в Петрограде в отдельной Башкирской дивизии, защищал Ленинград от Юденича, атмосфера была схожей. Остальное — труд».

Создавая «переходы» от хроникально-публицистических отступлений и «военных картин» к течению сюжетного повествования, Федин широко пользуется правом художника на творческий вымысел, помогающий глубже передать смысл и дух исторических событий. «В романе «Необыкновенное

лето»,— свидетельствует, например, автор,— я перенес кулацкий мятеж в вымышленное село Репьевку — на самом деле похожие события происходили в других местах Поволжья, где «чапаны» жестоко расправлялись с советскими людьми (я участвовал в похоронах жертв одного такого мятежа на городской площади в Сызрани)...» (Беседа «Распахнутые окна»).

Однако не все хроникально-публицистические отступления и «военные картины» органично вписались в образную ткань произведения, есть и такие, что заметно выпадают из художественного строя романа, на что неоднократно указывала критика (см., например: Б. Брайнина. Константин Федин. Очерк жизни и творчества. М., Гослитиздат, 1962, с. 298). Некоторые композиционные излишества «Необыкновенного лета» остались данью стилю ложной монументальности тех лет, когда писался роман.

Стр. 627. *Командир красной дивизии донцов, бывший казачий подполковник Миронов...*— При переиздании романа «Необыкновенное лето» в 1961 году в девятитомном Собрании сочинений Федин сделал довольно значительную правку, касающуюся почти исключительно хроникально-публицистических отступлений и «военных картин». Существенной правке подверглись «Пролог к военным картинам» (гл. 17) и особенно — «Эпилог к военным картинам» (гл. 35). В ряде случаев автором проведены сокращения текста, а также уточнения исторической конкретики и исправления отдельных смысловых трактовок, отвечающие представлениям о ходе гражданской войны в советской исторической науке после XX съезда партии.

Новым уточнением в этом плане является авторское примечание на с. 630, касающееся Ф. К. Миронова. Однако в данном случае уточняющая работа не была доведена до конца. На некоторых страницах романа остались следы тех неверных представлений о характере и побудительных мотивах действий Миронова и вверенного ему казачьего корпуса в августе — сентябре 1919 года, которым длительное время следовали официальные публикации и источники информации, какими располагал писатель при работе над произведением.

О жизни и деятельности Федора Кузьмича Миронова (1872—1921), который уже после затронутых в романе событий стоял во главе Второй Конной армии, освобождавшей Крым от Врангеля, в т. 16-м последнего (третьего) издания Большой Советской Энциклопедии говорится: «После Февральской революции 1917 примыкал к эсерам-максималистам, был избран командиром 32-го Донского казачьего полка. В январе 1918 привел полк на Дон и участвовал в борьбе за Советскую власть, был окружным комиссаром на Верхнем Дону. В 1918 — начале 1919 командовал полком, бригадой, 23-й стрелковой дивизией, группой войск 9-й армии в боях против белоказачьих войск генерала П. Н. Краснова. С июня 1919 командовал экспедиционным корпусом Южного фронта. За самовольное выступление на Южном фронте в конце августа 1919 с частями сформированного в Саранске Особого казачьего корпуса в конце сентября был арестован и в октябре приговорен военным трибуналом к расстрелу, но тут же помилован ВЦИК и реабилитирован Полит-

бюро ЦК РКП(б). В конце октября введен в состав Донисполкома, был заведующим земельным отделом. 2 сентября — 6 декабря 1920 успешно командовал 2-й Конной армией в боях против войск генерала П. Н. Врангеля. Награжден 2 орденами Красного Знамени и Почетным революционным оружием».

Стр. 709. ...*В тот же момент... он увидел над собой набирающего высоту ястреба.*— Смерть Дибича — эта сцена нередко приводится в критических работах о Федине в качестве примера, показывающего, какой силы психологического анализа достигает писатель, вверясь художественной фантазии при изображении человеческих переживаний.

В романе «Необыкновенное лето», как и во всей нравственно-исторической эпопее Федина, где жизненные закономерности изображаются главным образом через фигуры и судьбы обобщенных героев, психологический анализ их духовного мира составляет первостепенную задачу писателя. Этим и определяется общее соотношение «факта» и «вымысла» в художественной структуре произведений.

«Факт в большинстве случаев — лишь точка приложения силы, которую мы зовем фантазией...— отмечал К. Федин.— Сейчас после окончания огромной дилогии, в общей сложности в 60 печатных листов, я оцениваю общее соотношение вымысла и «факта» как 98 к 2. Конечно, я много знал и знаю жизненных фактов из русской действительности 1910 и 1919 годов. Но только оттолкнувшись от них в простор воображения, я мог сочинить людей, в жизни мною никогда не виданных, не встреченных, но как бы безусловно живших».

Именно исследовательская и обобщающая сила писательского воображения, проникновенно разворачивающая многие жизненные картины прошлого, открывает мир фединских книг современному читателю.

Ю. Оклянский

СОДЕРЖАНИЕ

Федин К. А.

Ф 32 Первые радости: Роман. Необыкновенное лето: Роман/Вступит. статья Б. Брайниной; Примеч. Ю. Оклянского.— М.: Худож. лит., 1979.— 895 с. (Библиотека классики. Советская литература)

В историко-революционной эпопее К. А. Федина (1892—1977)— романах «Первые радости» (1945) о заре революционного подъема и «Необыкновенное лето» (1948) о переломном 1919 годе гражданской войны — воссоздан, по словам автора, «образ времени», трудного и героического.

Ф $\frac{70302\text{-}200}{028\,(01)\text{-}79}$ **6-79** **Р2**

БИБЛИОТЕКА КЛАССИКИ

Советская литература

Константин Александрович Федин

ПЕРВЫЕ РАДОСТИ
НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЛЕТО

*

Редактор
И. Чеховская

Оформление библиотеки
И. Сальниковой

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
В. Кулагина

Корректоры
Н. Замятина
и В. Широкова

*

ИБ № 1455

Сдано в набор 17.08.78. Подписано к печати 19.01.79. Формат $60 \times 84^{1}/_{16}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 52,248+0,059 вкл.+1,866 нак.=54,173 усл. печ. л. 59,134+1 вкл.+8 нак.=60,244 уч.-изд. л. Заказ № 3036. Тираж 500 000 (1-й завод 1—150 000) экз. Цена 5 р.

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

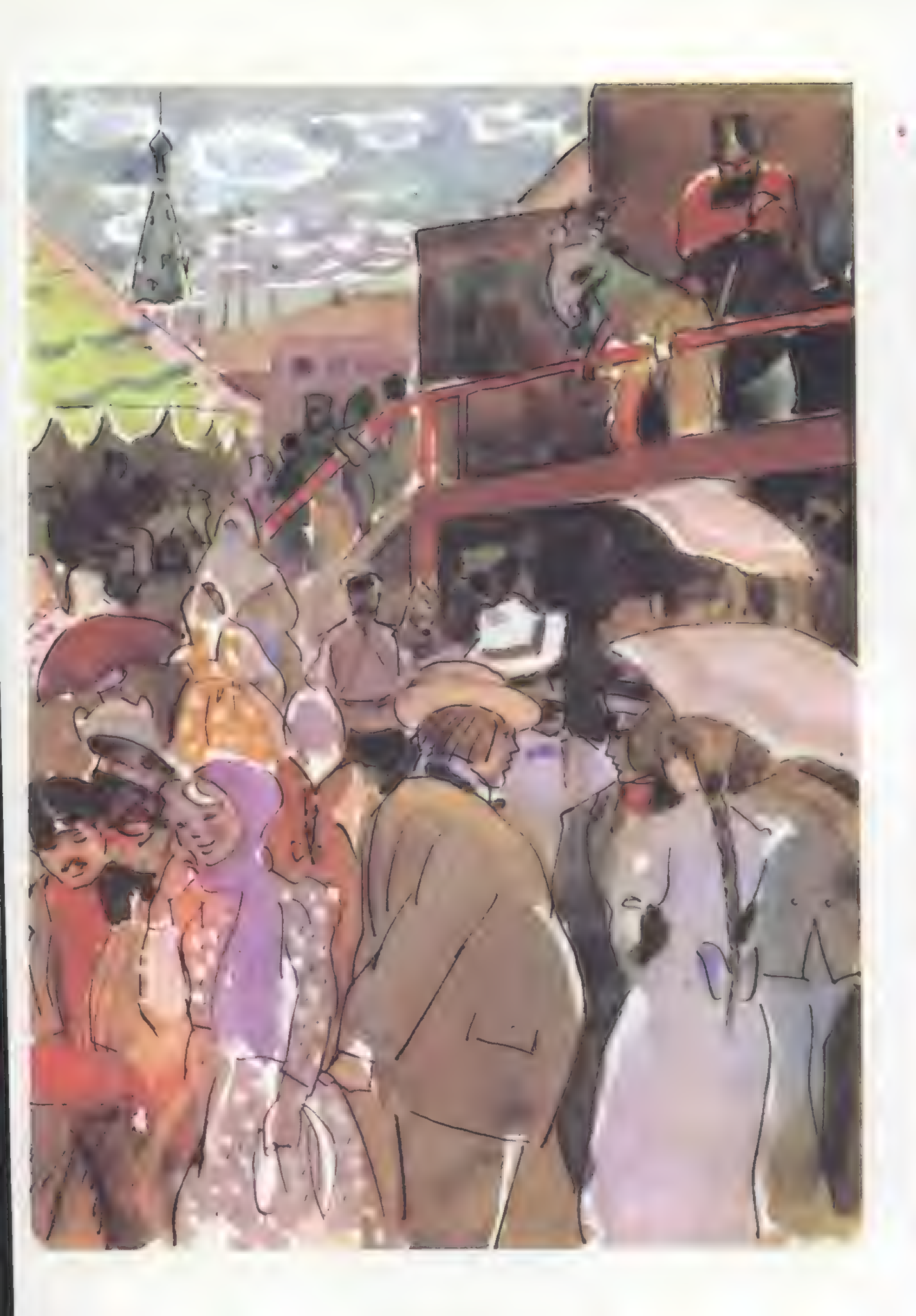
*

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, М-54, Валовая, 28

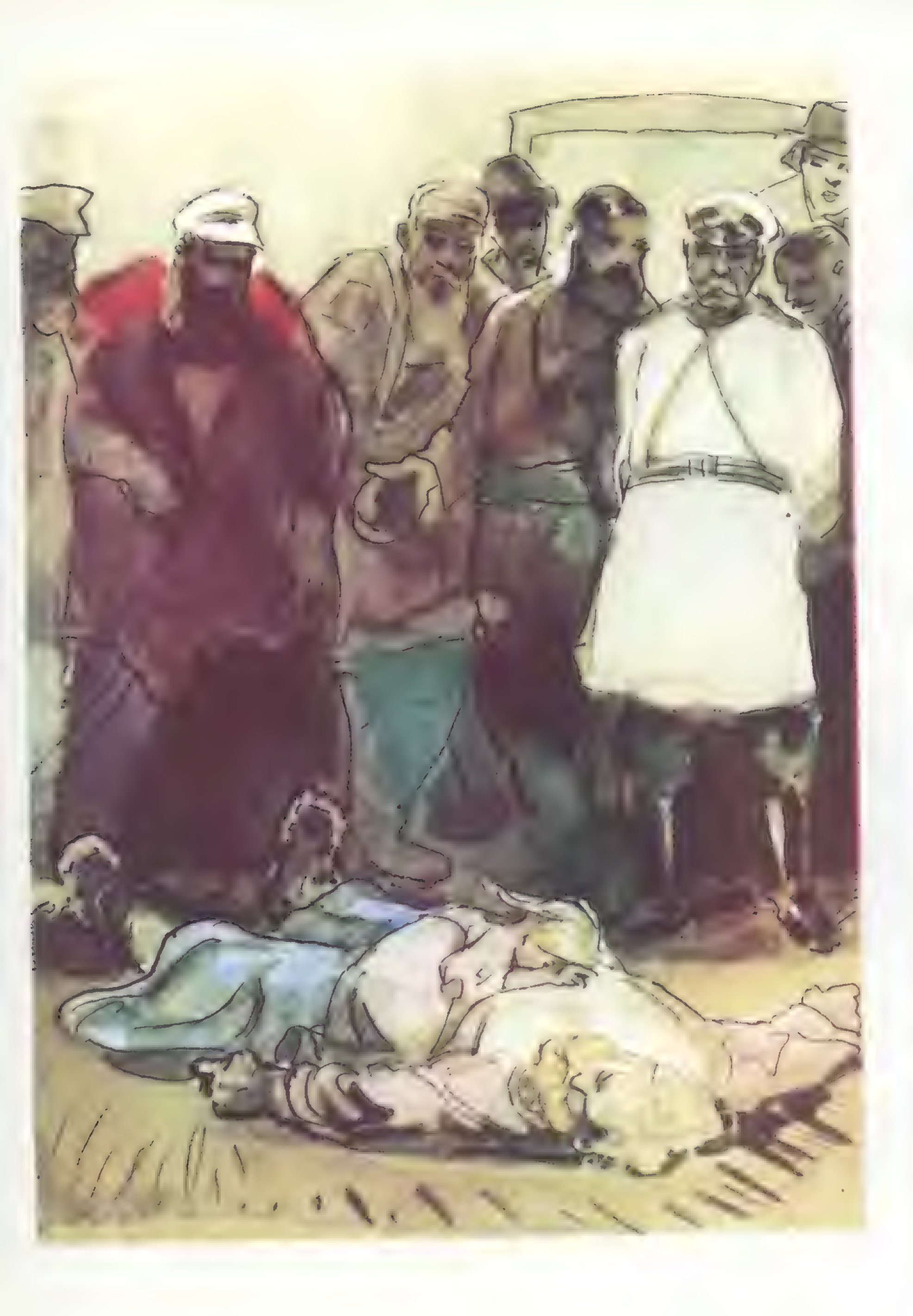




«Первые радости»



«Первые радости»



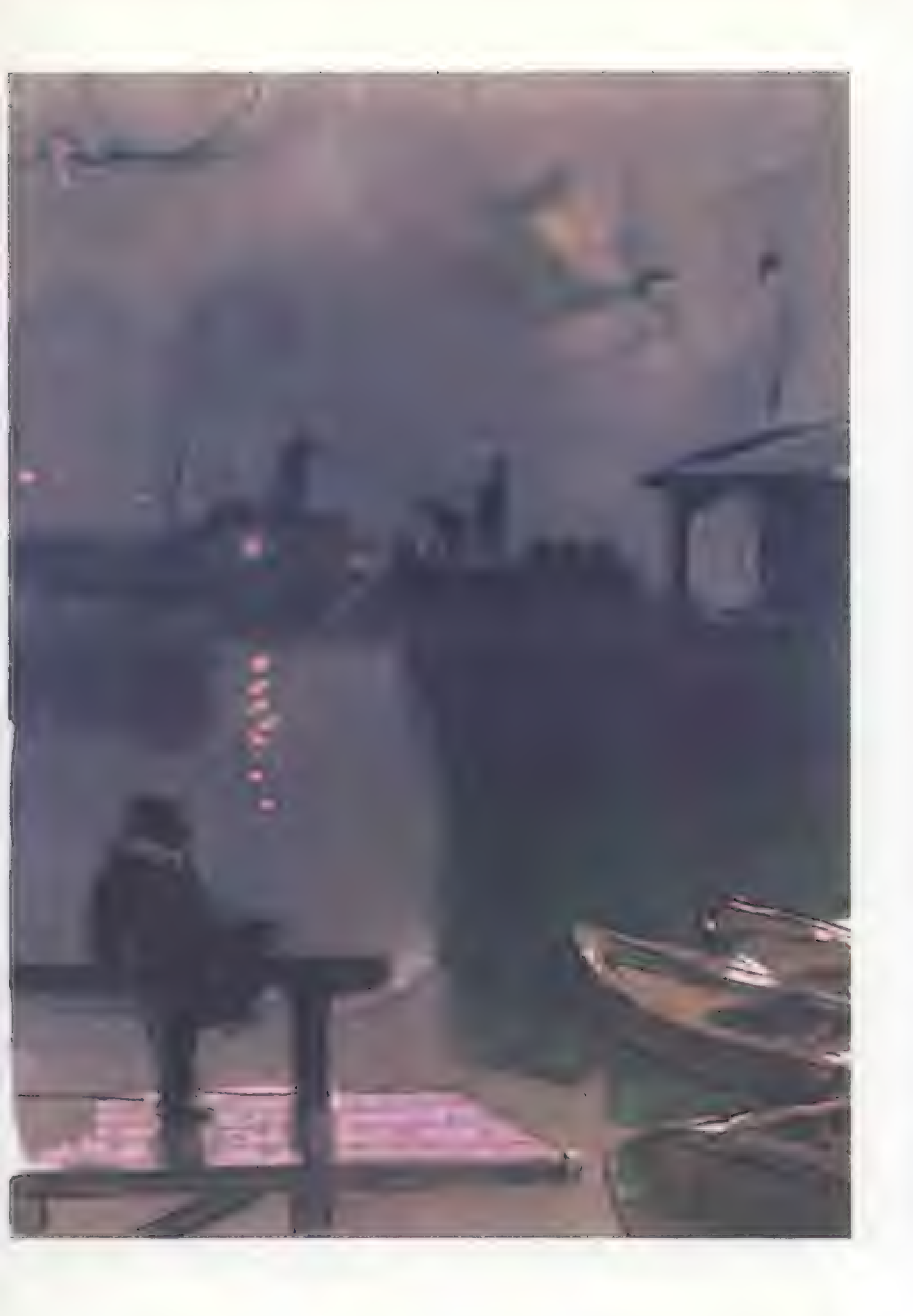
«Первые радости»



«Первые радости»



«Первые радости»



«Первые радости»



«Первые радости»




«Первые радости»



«Первые радости»



«Первые радости»



«Необыкновенное лето»



«Необыкновенное лето»



«Необыкновенное лето»



«Необыкновенное лето»



«Необыкновенное лето»



«Необыкновенное лето»


5 руб.